

Гайто ГАЗДАНОВ

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том первый

РОМАНЫ
РАССКАЗЫ
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ЭССЕ
РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ

Москва
ЭЛЛИС ЛАК
2009

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Г 13

Издание осуществлено при финансовой поддержке:
Главы Республики Северная Осетия-Алания Таймураза Дзамбековича Мамсурова,

Художественного руководителя-директора, главного дирижера Государственного академического Мариинского театра Валерия Абисаловича Гергиева

Под общей редакцией *Т.Н. Красавченко*

Составление, подготовка текста
Л. Диенеша (США), Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко, С.Р. Федякина, Ф.Х. Хадоновой

Комментарии
Л. Диенеша, Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко, Л.В. Сыроватко, С.Р. Федякина, Ф.Х. Хадоновой

Художник *В.М. Мельников*

ISBN 978-5-902152-71-2
ISBN 978-5-902152-72-9 (Т. 1)

Писатель со странным именем

Посвящается Вс. М. Сечкареву

Я уверен, что когда-нибудь...
собрание сочинений Газданова будет издано...
не в Париже или Нью-Йорке, а в Москве...
Юрий Иваск (1970)

В этом кратком предисловии не место ни для биографии, ни для подробного анализа творчества Гайто Газданова – я попытался это сделать в своих работах. Да и российскому читателю интереснее, мне кажется, если я расскажу о том, что ему, по всей вероятности, еще мало известно, – например, о том, какой была писательская и критическая судьба этого замечательного русского прозаика на Западе, где он прожил почти всю свою жизнь и где так же, как и в России, мы все еще ждем его полного признания.

Впервые с именем Гайто Газданова я познакомился в 1973 году, в семинаре по истории зарубежной русской литературы профессора Всеволода Михайловича Сечкарева, известного ученого и прекрасного историка русской литературы, любимого всеми преподавателя и блестящего оратора, чьи лекции привлекали сотни студентов и научили их наслаждаться шедеврами русской литературы в Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс), где я был тогда аспирантом. В семинаре мы читали самых признанных, маститых классиков эмиграции: Бунина, Мережковского, Гиппиус, читали также известных, но еще не ставших общепризнанными классиками русской литературы ни, разумеется, в советской России, ни даже на Западе – Георгия Иванова, Ирину Одоевцеву, Владислава Ходасевича, Марка Алданова, Бориса Зайцева, Ивана Шмелева, Михаила Осоргина, Павла Муратова и многих других.

Но откровением оказались не эти имена (вернее, не только эти – богатство их творчества в эмиграции ошеломило нас всех), а другие, новые, мне (и не только мне) тогда еще неизвестные, так

называемые молодые авторы, поэты и прозаики, о которых мы, будущие слависты и русисты Америки, люди все-таки не совсем невежественные, никогда до этого не слышали. Это молодое, второе поколение в то время, к сожалению, было все еще почти незамеченным, за одним, всем известным исключением: именно в ту пору достигла своего апогея слава Владимира Набокова, еще при жизни признанного классиком, величайшим американским прозаиком XX века – так его многие величали за вклад в литературу США. Естественно, мы, молодые русисты, знали, что был и русский (и тоже великий) Набоков. Но чего мы не знали, так это того, что, кроме Набокова, были и другие, пожалуй, не менее крупные таланты, что рядом с Набоковым жила и творила целая плеяда интересных писателей, все еще ждущая признания. Не только в среде аспирантов, но и среди большинства западных специалистов, за исключением Вс. М. Сечкарева, Глеба Струве и еще десятка эмигрантских ученых (я не говорю сейчас о почти никогда не существовавшем эмигрантском читателе, который если когда-либо и жил, то к тому времени просто уже обитал в мире ином, – новой же, бродско-солженицынской эмиграции еще не существовало), почти никто не знал о Борисе Поплавском, Нине Берберовой, Анатолии Штейгере, Георгии Пескове, Василии Яновском, Юрии Фельзене, Илье Зданевиче, Владимире Смоленском, Сергее Шаршуне, Александре Гингере, Игоре Чиннове, и, наконец, никто не подозревал о писателе с таким странным, нерусским именем: Гайто Газданов.

И мы стали их читать. Они нам понравились по-разному. Некоторые, особенно поэты, поразили своим голосом, стилем, образами, своей музыкой стиха; другие, особенно прозаики, оказались менее состоятельными – похоже, не всем удалось полностью самореализоваться; третьи представляли интерес в первую очередь как экспериментаторы, новаторы стиля, языка или композиции, но, увы, на зрелых художников слова «не тянули». Были, однако, исключения. Одним из них можно считать Гайто Газданова. Достаточно было прочесть несколько страниц – и сразу становилось ясно: здесь звучит музыка, язык звенит, светится, даже пахнет (как о том не раз писал Адамович), это настоящее искусство слова – не эксперименты, не опыты, а достижения, причем небывалые, экстраординарные. Новый голос звучал так прозрачно, с такой невероятной легкостью и кажущейся простотой, что было совершенно

непонятно: как он это делает? в чем тайна газдановской речи? Ее хотелось слушать и слушать, и сразу возникло огромное любопытство: что он еще написал? что о нем думали корифеи зарубежной России? И когда я узнал, что в начале 1930-х годов о Газданове заговорили как о втором, наряду с Набоковым, молодом писателе, подающем большие надежды, и даже как о его возможном сопернике, – не осталось сомнений: это писатель перворазрядный, очень высокого уровня, и «открыть» его, быть первым его исследователем – большая честь, большая награда.

Вел свой уникальный семинар (едва ли не единственный в своем роде, насколько мне известно, для тогдашней Америки) Всеволод Михайлович очень умно. Он знал: здесь сокрыты большие возможности для будущих исследователей, и очень поддерживал и одобрял студентов и аспирантов, когда они решали избрать эмигрантскую тему для своих диссертаций. Положение в это время на Западе было не очень благоприятным для таких начинаний. Естественно, «последние могикане» первой и второй эмиграции, такие как, например, Глеб Струве, Владимир Вейдле и Юрий Иваск, продолжали писать о литературе русского зарубежья, но почти все созданное ими было написано и напечатано по-русски – для русскоязычной западной прессы и для русского эмигрантского читателя, а не по-английски – то есть не для западных литературоведческих журналов и западного читателя. Большинство американских и западноевропейских славистов относилось к так называемой эмигрантской литературе снисходительно, если не откровенно иронически или даже враждебно. Для одних ее как бы не существовало, для других она имела совершенно второстепенное значение – это считалось «несерьезным» делом (категории «специалист по эмигрантской литературе» еще не существовало – она только зарождалась, медленно и с трудом, пока без признания и без уважения к профессии). Бытовало мнение (и, к сожалению, не только среди нерусских «специалистов»), что в эмиграции литература не выживет, что в этих условиях ее просто не может быть, а если она все-таки и есть, то скоро умрет, ибо создать новую, чего-то стоящую русскую литературу вне России совершенно немыслимо, это идея абсурдная, нелепая, – и все это вопреки в то время уже всемирно известному Набокову. Нет-нет, говорили: Набоков – исключение, лишь подчеркивающее правило. Нужна была «третья

волна», чтобы об эмиграции стали говорить и думать иначе. Ведь не перестали же быть великими русскими писателями Бродский и Солженицын оттого, что пересекли границу?

Я помню, с каким наслаждением, с какой даже жадностью я стал искать и читать этого неизвестного мне писателя со странным именем – а найти его было легко благодаря невероятно богатой коллекции Библиотеки Гарвардского университета, – и чем больше я читал, тем больше убеждался: вот настоящее искусство! И каково же было мое удивление, когда я узнал, что об этом замечательном писателе почти ничего не известно, что о нем, кроме разве что небольших рецензий, ничего не написано. И какова была моя досада, когда я узнал, что умер он лишь за год перед тем, как я открыл его для себя весной 1973 года. Когда-нибудь я, возможно, напишу «историю одного исследования», историю моей «газдановианы», расскажу о встречах в Европе и Америке в 1975 году с вдовой писателя Фаиной Дмитриевной Ламзаки, с еще живыми друзьями и знакомыми Газданова, с писателями и критиками, его коллегами по радио «Свобода», об истории его архива и о том, как он попал в Америку. Придется, видимо, написать вообще о 1970—1980-х годах, когда я был практически единственным человеком в мире, который «занимался» Газдановым; в те годы я добился переиздания на русском языке его романа «Вечер у Клэр» в знаменитом американском издательстве «Ардис», издал о нем монографию в Германии и составил его библиографию для прекрасной парижской серии эмигрантских библиографий.

* * *

Можно думать об эмиграции не как о несчастье, а как о новой жизни, о новой задаче, даже как о некоем освобождении. Парадоксально, но бывает так, что преодоление трудностей само по себе становится великим стимулом и приводит к непредвиденным, зачастую весьма положительным результатам. Да, работать без стимула, ни для кого, – тяжелая доля, но, как всегда, есть и оборотная сторона медали: можно отнестись к этому как к «вызову», как к борьбе за преодоление препятствий, как к задаче – духовной, душевной, даже художественной – найти смысл жизни внутри себя, если ничто вокруг не помогает, если ничто кругом

этому смысла не придает. Страшное одиночество, отсутствие читателей, иной, отличный от российского, стиль жизни могут погубить писателя – или, напротив, помочь ему, дать стимул обрести новые человеческие и художественные силы и цели. Отношение к этому Набокова сегодня общеизвестно, но оно было известно и разделялось многими еще и в довоенные времена. Часто не только говорили: «Мы не в изгнании, мы в послании», – но и действительно верили в то, что настоящая русская литература и культура сохраняются именно за рубежом, что Серебряный век продолжается не в Ленинграде, а в Париже, что эмигранты «унесли Россию» в себе и что все равно, рано или поздно, они в Россию вернутся. Набоков знал, что «веку вопреки, / тень русской ветки будет колебаться / на мраморе моей руки»; и Ходасевич был уверен, что наступит время, когда «в России новой, но великой, / Поставят идол мой двуликий». А набоковский Федор говорит в «Даре»: «Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, – во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно, через сто, через двести лет, – буду жить там в своих книгах...»

Юрий Иваск в предисловии к антологии «На Западе» писал в 1953 году: «Обреченные на эмиграцию, то есть на несчастье, зарубежные поэты... творили, творят. Полная оценка этого творчества – удел будущих... читателей. Но, думаю, справедливо было бы признать, что самый факт эмиграции обогатил русскую поэзию "новым трепетом" и – следовательно, наше несчастье было одновременно нашей удачей». Надо ли ныне спорить о том, что эмиграция обогатила новым (набоковским, газдановским) трепетом и русскую прозу, что она была не только губительной, но и творческой?

Даже западное влияние на Газданова я воспринимаю как явление положительное. «Чистая и простая интеллектуальная проза Газданова» – результат влияния не столько, может быть, Пруста, как говорили, сколько некоторых традиций французской литературы вообще. В слиянии двух разнородных элементов – русского и западного – в одно целое – прозрачную классическую прозу с новым тревожным содержанием, с ее «арзамасским ужасом» XX века, с утратой веры и всех ценностей и в то же время с духовным преодолением пустоты и, в конечном счете, торжеством над этими разрушительными стремлениями – Газданов создал нечто новое в русской литературе, такое, чего до него не было. И его опыт, может

быть, понятнее и ближе российскому читателю, после развала империи и ее идеологии.

Свобода духа и внутренняя независимость («никаких авторитетов не признавал») – самые существенные черты газдановского характера – и искусства. Даже резкие высказывания молодого автора о некоторых маститых представителях эмиграции (возможно, и сознательно рассчитанные на откровенный эпатаж), скорее всего, говорят о том, что сохранить полную внутреннюю интеллектуальную независимость было для Газданова важнее, чем быть в выгодных отношениях с теми, от кого во многом могла зависеть его писательская судьба. Газданов терпеть не мог рабской психологии, бессмысленного преклонения даже перед классиками. Он никогда не колебался и всегда настаивал на своем, если был уверен в правоте, рискуя испортить хорошие взаимоотношения с критиками, издателями или какой-нибудь «знаменитостью» и продолжал делать свое дело вопреки всему и всем – как и следует истинно свободному и независимому человеку и художнику. Газданов учит нас жить между чудом и рабством в той стране, которая называется Свобода Духа и в которой заключено, по словам Набокова, «все дыхание человечества». Вместе с тем хотелось бы сказать и о природной доброжелательности Гайто Газданова (замеченной Адамовичем только к концу жизни писателя). Все, кто знал его ближе (или прочел лучше!), единодушно говорили об этой прекрасной черте газдановского характера. Было что-то очень здоровое, очень положительное, жизнерадостное и добродушное в Газданове: крепкое начало доброты, благородства и жизненной силы, направленной к творчеству, к вере и надежде, а не к сатире и разрушению, – начало, в конце концов оказавшееся сильнее его иронии, насмешки, сомнения и всего его страшного жизненного опыта.

* * *

После головокружительных похвал начала 1930-х годов на протяжении всей последующей жизни Газданова ожидали либо пренебрежительное отношение к его творчеству со стороны критики, либо полное замалчивание его: в середине 1930-х годов критика кое-как еще хвалит Газданова, но похвала эта почти всегда

двусмысленна (что порой хуже отрицания), а с 1940-х годов вокруг писателя образуется «мертвая зона» – почти полное молчание эмигрантской критики в последние двадцать лет его жизни! Ни одного отклика на его последние три романа (1953–1971)! Ни одного! Три небольшие рецензии-одиночки на рассказы за весь послевоенный период. Пришлось ждать полвека до первого полного издания и его единственному, полностью не напечатанному при жизни писателя роману «Полет» (1939). Даже возвращение Газданова на родину произошло далеко не так благополучно, как хотелось бы. События опередили публикации; Газданов не попал в первую волну возвращавшейся литературы, а потом вместо достойного форума (каким был бы, скажем, «Новый мир», в редакции которого лежал роман Газданова «Вечер у Клэр», ожидая публикации, но предпочтение – по вполне понятным для тех времен причинам отдали Солженицыну) впервые его стали печатать в малоизвестных и малопрестижных изданиях. Первый, и навсегда оставшийся самым популярным, его роман «Вечер у Клэр», который принес Газданову славу и признание в 1930 году и заставил говорить о нем как о втором Набокове и который через полвека мог бы (и должен был бы!) стать литературным событием в России конца 1980-х годов, так и не получил адекватной своим достоинствам оценки на родине. Его рассказы, по крайней мере десять или пятнадцать самых лучших из них, являются несомненными шедеврами и, безусловно, обеспечивают Газданову постоянное место в истории русской литературы, – будь они опубликованы отдельным сборником, они могли бы произвести огромное впечатление, – но не было и этого. Когда в 1990 году однотомники Газданова вышли в Москве, было очевидно, что «уже поздно» – наиболее благоприятный момент упущен. Социальные потрясения вообще не способствуют открытию новых писателей, а особенно тогда, когда книги их, по непостижимой причине, оказываются на прилавках уже после того, как было открыто множество других имен. Итак, Газданову опять не повезло; в Москве его называют писателем «элитарным», считают, что он не для «масс» (а это только отчасти правильно). Хотелось бы, чтобы развернулось более живое обсуждение творчества Газданова, чтобы его имя прозвучало в стране громче, чтобы писателя услышали – он этого заслуживает... Подлинное, широкое признание еще впереди.

Хочется верить, что настоящее издание – самое полное собрание сочинений Гайто Газданова – станет переломным в этой ситуации. Я убежден: не может такого быть, что читателю, открывшему любой из этих томов, не понравятся эти замечательные романы и шедевры-рассказы, что не потрясут они русского читателя своей психологической и философской глубиной, размышлениями о жизни и смерти, о любви и случайности, о смысле и бессмысленности бытия, своим тончайшим выражением этих мыслей и «движений души», своей неповторимой, спокойной, но в то же время напряженной словесно-камерной музыкой, своим непогрешимым ритмом, интонацией, своим чистейшим, прозрачным, звенящим великолепным русским языком.

Ласло Диенеш

Загадка Газданова

Еще совсем недавно имя Гайто Газданова (1903–1971) ничего не говорило русскому читателю. Не сумевший при жизни напечатать ни строчки на родине, известный прежде лишь узкому кругу русских эмигрантов, сегодня Гайто Газданов стал нужным и актуальным для многих и многих своих соотечественников, чему свидетельство и выпускаемое наиболее полное собрание его сочинений. Со времени появления первых публикаций писателя в Советском Союзе прошло чуть более двадцати лет. За эти годы как в России, так и за рубежом появилось почти два десятка книг, посвященных Газданову, более пятисот статей, были защищены диссертации. И все они в той или иной мере расширяют наши знания, вносят новые детали, штрихи в понимание его личности и творчества, в какой-то степени дополняют многоаспектное исследование американского слависта Ласло Диенеша «Russian Literature in Exile: The Life and Work of Gajto Gazdanov» (Munchen, 1982).

Несмотря, казалось бы, на столь массовое внимание к творчеству одного из наиболее интересных русских писателей XX века, признанного сегодня классиком, все же читатели его мало знают, и он остается пока в сфере интересов той относительно немногочисленной части общества, которая все еще ищет смысл в жизни, прекрасное – в искусстве, одухотворенность – в земном и повседневном.

Разумеется, в создавшейся ситуации желательно хотя бы приблизительно обозначить место писателя в потоке имен и названий, выплеснувшемся внезапно на читателя, привыкшего к более или менее размеренному течению событий, информации, жизни. Ведь прошло почти сорок лет со дня смерти Гайто Газданова, а интерес к его творчеству, хотя и медленно, но растет. А ведь в истории чаще происходит противоположное: популярного и известного при жизни художника прочно забывают через пять–десять лет после кончины.

Русская зарубежная критика часто сопоставляла Газданова с Владимиром Набоковым, отдавая предпочтение то тому, то другому

писателю. Французская критика сравнивала его с Альбером Камю и Жюльеном Грином. Ласло Диенеш, собственно, и открывший для нас Газданова, видит в нем наследника традиций Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина и вместе с тем пишет: «Хотя язык, которым он пользуется, делает его русским писателем, Газданов, без сомнения, принадлежит современной европейской культуре»[1]. Русский ученый Вяч. Вс. Иванов называет Газданова представителем «магического реализма». Все эти оценки в той или иной мере помогают пониманию творчества писателя. Но, думается, ближе всех к истине русский критик и поэт Юрий Иваск, когда он говорит: «Вообще, не нахожу у него предшественников среди русских прозаиков. Газданова сравнивали с Набоковым, и здесь опять прав Л. Диенеш: между ними мало сходства. Набоков, при всей своей оригинальности, все же включается в гоголевскую, гротескную традицию русской литературы. А Газданов остается реалистом, но на свой «газдановский» лад»[2].

Гайто Газданов неоднократно иронизировал по поводу многочисленных статей и книг «о жизни и творчестве» того или иного писателя. Он считал, что ни одна жизнь ни одного писателя не может объяснить ни сущности его творчества, ни вообще того, почему он стал писателем, и именно таким писателем. Вот Чехов, говорил Газданов, разве можно объяснить его творчество тем, что он родился в Таганроге и, получив медицинское образование, некоторое время работал врачом? Ведь были десятки других людей, родившихся в Таганроге и работавших врачами, но ни один из них не стал Чеховым. И защитников Севастополя было много, однако Лев Толстой лишь один.

Трудно не согласиться с этими простыми доводами.

Конечно же, обстоятельствами жизни невозможно объяснить, почему Гайто Газданов стал писателем. И все же судьба, неповторимый жизненный опыт сыграли в его творчестве весьма определенную и значительную роль.

* * *

«Я родился на севере, ранним ноябрьским утром. Много раз потом я представлял себе слабеющую тьму петербургской улицы,

---

[1] *Dienes L.* Introduction // Газданов Г. Полет. The Hague, 1992. P. VII.

[2] *Иваск Ю.* Две книги о Газданове // Русская мысль. 1983. 28 апр.

и зимний туман, и ощущение необычной свежести, которая входила в комнату, как только открывалось окно»[3]. Гайто (Георгий Иванович) Газданов родился в Петербурге 6 декабря (23 ноября) 1903 года. Родителями его были Иван Сергеевич Газданов и Вера Николаевна Абациева. Отец принадлежал к большой семье, жившей во Владикавказе с начала XIX века, известной в Осетии своими военными и культурными традициями. Дед писателя Саге (Сергей) участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Двоюродный брат Саге, Гурген Газданов, – народник-семидесятник, член кружка «кавказцев» в Петербурге. Дядя Гайто, Данел Газданов, был известным адвокатом.

Вера Николаевна воспитывалась в семье своего дяди Магомета (Иосифа Николаевича) Абациева, жившего в Петербурге. Дом Абациевых на Кабинетской улице на протяжении десятилетий служил прибежищем для земляков хозяина, здесь же укрывались революционеры-террористы, к числу которых принадлежал в молодые годы Магомет[4]. В этом доме родился будущий писатель. Свое осетинское имя Гайто получил в честь друга отца. И лишь в последние годы жизни предпочитал, чтобы друзья называли его Георгий Иванович.

Отец писателя учился в Лесном институте, по окончании которого последовали путешествия по стране – он стал лесоводом, и служебные дела забрасывали его то в Сибирь, то в Белоруссию, то на Украину, то в Тверскую губернию, то в Смоленск. Выросший в русской среде, мальчик впитал в себя богатую русскую культуру. В мае 1964 года Газданов писал литературоведу А.А. Хадарцевой: «Осетинского языка я, к сожалению, не знаю, хотя его прекрасно знали мои родители... Учился я в Парижском университете, но русский язык остался для меня родным»[5].

---

[3] *Газданов Г.* Третья жизнь // Современные записки. 1932. № 50. С. 223.

[4] Приводимые сведения о семье писателя почерпнуты из статьи Руслана Бзарова «О Гайто Газданове» // Лит. Осетия: Альм. Орджоникидзе, 1988. № 71. С. 90–97, его же статьи «Устная история и письменные источники о семье и предках Гайто Газданова» // Гайто Газданов в контексте русской и западноевропейской литератур. М.: ИМЛИ, 2008. С. 213–219, из книги Ласло Диенеша, а также из бесед с двоюродным братом Гайто Газданова Тотром Джиоевым.

[5] *Хадарцева А.А.* К вопросу о судьбе литературного наследия: Гайто Газданов // Лит. Осетия: 1988. № 71. С. 109.

Память об отце (он умер, когда мальчику не исполнилось и восьми лет) получила воплощение в романе «Вечер у Клэр». Отец интересовался социальными проблемами, философией, собрал богатую библиотеку. В возрасте тринадцати–четырнадцати лет Гайто познакомился с сочинениями Юма, Фейербаха, Ницше, Спинозы, Гюйо, Конта, Спенсера, Канта, Шопенгауэра, Бёме... Но интересы подростка были шире чисто философских. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Аввакум, Блок, Анненский, Брюсов, Данте, Шекспир, Сервантес, Юлий Цезарь, Байрон, Гюго, Мопассан, Диккенс, Эдгар По, Вольтер, Бодлер, Гофман – все это Гайто прочитал задолго до окончания гимназического курса. Классическая литература формировала вкус, помогала находить критерии отбора.

Гайто учился в кадетском корпусе в Полтаве, затем в Харьковской гимназии, которую он покинул после седьмого класса. Шла Гражданская война, и Гайто не считал себя вправе оставаться в стороне. В 1919 году, простившись с матерью (больше им не довелось свидеться), он вступает в Добровольческую армию и служит солдатом на бронепоезде. Этот поступок, этот выбор можно было бы истолковать как сознательную защиту классовых интересов, но не все так просто. В романе «Вечер у Клэр» можно найти некоторое разъяснение. Герой романа Николай, подобно автору, идет воевать: «Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию».

И тем не менее в споре с дядей Николай высказывает свое кредо: «Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые». Разумеется, не следует отождествлять героя романа и его автора. Но Газданов сам признавал, что его произведение автобиографично (даже возраст Николая и Гайто совпадает – пятнадцать с половиной лет).

Восприимчивый, впечатлительный, наблюдательный юноша оказался в центре решающих событий, он прошел через все ужасы кровопролитных сражений, каждодневно видел смерть – трупы повешенных на телеграфных столбах махновцев, конвульсии умирающих. Все это не забылось – потому так много смертей в произведениях Газданова. (И позже, уже в эмиграции, в Париже, смерти друзей, родных, близких преследовали его.)

Под ударами конницы Буденного белые откатывались на юг, в Крым. В ноябре 1920 года пароход, на котором вместе с остатками врангелевских войск находился и Гайто Газданов, взял курс на Константинополь. Некоторое время Гайто провел в русском военном лагере в Галлиполи. Невыносимые условия, военная муштра, деморализованные офицеры и солдаты, окружавшие его, – все это побудило Гайто бежать из лагеря. Он попадает в Константинополь, ему удается поступить в последний класс русской гимназии, которую вскоре перевели в Болгарию, в Шумен (об этом рассказ-воспоминание «На острове»).

В 1923 году, окончив гимназию, Газданов переезжает в Париж. Здесь он работает портовым грузчиком, мойщиком паровозов, рабочим на автомобильном заводе и, наконец, ночным таксистом. Природное здоровье и сила духа помогают ему вынести все тяготы жизни русского эмигранта. Но он видит, как другие умирают, кончают жизнь самоубийством, сходят с ума, впадают в нищенство и полную духовную деградацию. И это станет в будущем одной из ведущих тем его творчества.

Газданов поступает в Сорбонну. Начинает писать и публиковаться. (Первые попытки сочинительства относятся еще к самым ранним школьным годам, однако рукописей той поры, разумеется, не сохранилось.) Его рассказы, во многом экспериментальные, в 1926–1928 годах печатаются на страницах пражских журналов «Своими путями» и «Воля России» («Гостиница грядущего», «Повесть о трех неудачах», «Общество восьмерки пик», «Рассказы о свободном времени», «Товарищ Брак»). В них Газданов стремится запечатлеть события Гражданской войны. Он ищет новые формы выражения своих мыслей и чувств и при этом опирается на опыт Бабеля, Пильняка. Его рассказы калейдоскопичны, дробны, слегка ироничны. И уже здесь проглядывает существеннейшее свойство будущей зрелой газдановской прозы – способность несколькими точными фразами нарисовать характер и судьбу каждого персонажа.

В декабре 1929 года в Париже в издательстве Поволоцкого выходит первый роман Газданова «Вечер у Клэр». Имя молодого писателя сразу же становится известным в среде русской эмиграции. Написанный от первого лица, роман-воспоминание в свободной повествовательной манере дает живой портрет молодого поколения эпохи Гражданской войны. Сегодня, пожалуй, роман можно признать одним из лучших произведений об этом периоде русской истории.

Книга была тут же отправлена Горькому. «Прочитал я ее с большим удовольствием, даже с наслаждением, а это – редко бы-

вает, хотя читаю я не мало, – писал Горький. – Вы, разумеется, сами чувствуете, что Вы весьма талантливый человек. К этому я бы добавил, что Вы еще и своеобразно талантливы. Право сказать, это я выношу не только из "Вечера у Клэр", а также из рассказов Ваших – из "Гавайских гитар" и др. Вы кажетесь художником гармоничным, у Вас разум не вторгается в область инстинкта, интуиции там, где Вы говорите от себя. Но он чувствуется везде, где Вы подчиняетесь чужой виртуозности словесной. Будьте проще, – Вам будет легче, будете свободней и сильней»[6].

Внимание Горького, его доброжелательное отношение, глубокие замечания, несомненно, благотворно сказались на дальнейшем творчестве Газданова.

«Я особенно благодарен Вам за сердечность Вашего отзыва, – писал Газданов Горькому 3 марта 1930 года, – за то, что Вы так внимательно прочли мою книгу, и за Ваши замечания, которые я всегда буду помнить, многие из них показались мне сначала удивительными – в частности, замечание о том, что рассказ ведется в одном направлении – к женщине – и что это неправильно. Я не понимал этого до сих пор, вернее, не знал, – а теперь внезапно почувствовал, насколько это верно.

Очень благодарен Вам за предложение послать книгу в Россию. Я был бы счастлив, если бы она могла выйти там, потому что здесь у нас нет читателей, и вообще нет ничего. С другой стороны, как Вы, может быть, увидели это из книги, я не принадлежу к "эмигрантским авторам". Я плохо и мало знаю Россию, т.к. уехал оттуда, когда мне было 16 лет, немного больше; но Россия моя родина, и ни на каком другом языке, кроме русского, я не могу и не буду писать». И далее в письме следует неожиданное признание: «Я вовсе не уверен, что буду вообще писать еще, так как у меня, к сожалению, нет способности литературного изложения: я думаю, что если бы мне удалось передать свои мысли и чувства в книге, это, может быть, могло бы иметь какой-нибудь интерес, но я начинаю писать и убеждаюсь, что не могу сказать десятой части того, что хочу. Я писал до сих пор просто потому, что очень люблю это, – настолько, что могу работать по 10 часов подряд»[7].

Газданов – уже автор нескольких опубликованных и замеченных критиками рассказов в журнале «Воля России» напечатаны его литературные эссе, роман «Вечер у Клэр» пользуется огромным

---

[6] ИМЛИ. АГ. ПГ-РЛ-10-1-2.

[7] *Там же*. КГ-НП/а-7-51.

успехом. В чем же дело? Что это – кокетство, неверие в собственные силы, страх перед читателем? Думается, что в этом фрагменте письма, быть может, единственный раз в жизни Газданов открылся в своих сомнениях другому писателю, писателю признанному и прошедшему большой жизненный путь. И эти сомнения вовсе не признак слабости, а признак серьезного отношения к творчеству. Только ремесленник, сколачивающий из набора слов и сюжетов один за другим романы, ни в чем не сомневается. А настоящий писатель, настоящий художник, пишущий «из сердца» (по словам Толстого), не может не испытывать сомнений. Этими сомнениями выложен путь великих мастеров. Ибо творческий акт – не прямая линия, а постоянный поиск, движение.

К сожалению, на родине публикация «Вечера у Клэр» так в то время и не состоялась, несмотря на все хлопоты Горького. Зато за рубежом, вероятно, не было ни одного русскоязычного журнала или газеты, которые не откликнулись бы доброжелательно на газдановский роман. А маленькая заметка в берлинской газете «Руль» так и называлась: «Похвальное слово Гайто Газданову».

Пожалуй, наиболее точную и лаконичную характеристику дал роману Михаил Осоргин: «“Вечер у Клэр” – рассказ о жизни юноши, которому ко дням Гражданской войны едва исполнилось шестнадцать лет и который, не окончив гимназии, был втянут в водоворот российской смуты. Но “событий” в книге мало, центр рассказа не в них, а в углубленных мироощущениях рассказчика, юноши несколько странного, который “не обладал способностью немедленно реагировать на происходящее” (существенное свойство самого Газданова; каждое событие воспринималось им и запечатлевалось в памяти не просто как данность, реальность, но одновременно как материал для будущего художественного произведения; обладая феноменальной памятью, он спустя десятилетия воспроизводил облик людей, каких когда-то знал, с необычайной точностью деталей. – *Ст. Н.*) и как бы плыл по течению, пока не уплыл за пределы страны, где эти мироощущения сложились... В искусном кружеве рассказа незаметно ставятся и не всегда решаются сложнейшие духовные проблемы и жизни, и смерти, и любви, и того неразрешимого узла событий, который мы одинаково можем называть и судьбой, и историей»[8]. Осоргин подметил важнейшее свойство газдановской прозы вообще – воссоздание целого мира, эпохи и ее проблем через единичные, как бы случайные события, через героев, чьи судь-

[8] *Осоргин М.* «Вечер у Клэр» // Последние новости. 1930. 6 февр.

бы почти не связаны и лишь слегка соприкасаются в пространстве и во времени.

Большинство критиков, говоря о литературных предшественниках Газданова, чуть ли не хором называли Марселя Пруста. Газданов не отрицал этого, но и не соглашался с подобными утверждениями. Лишь спустя почти сорок лет в одном из интервью он признался, что ко времени написания «Вечера у Клэр» он Пруста попросту не читал и познакомился с его знаменитой серией романов «В поисках утраченного времени» значительно позже. И в самом деле, кроме внешнего признака – погружения в воспоминания и путешествия в них, – ничто, кажется, не сближает Газданова с Прустом. Газданов лаконичен; по своему объему короткий роман Газданова несопоставим с многотомной, многословной, многослойной эпопеей французского писателя. И вместе с тем «Вечер у Клэр» настолько плотно написан, фраза Газданова обладает такой необычной емкостью, а характеристики персонажей, несмотря на краткость, столь глубоки и ярки, что в результате газдановский роман обретает свойства эпического произведения.

Успех романа позволил Газданову стать одним из авторов самого авторитетного русского журнала в зарубежье – «Современных записок». До начала Второй мировой войны на страницах этого журнала было напечатано восемь больших рассказов писателя, роман «История одного путешествия» (1934–1935), началась публикация романа «Ночные дороги», в 1940 году прерванная войной. Публиковались произведения Газданова и в других русскоязычных изданиях: в журнале «Встречи», в сборниках «Числа», в новом журнале «Русские записки», где в 1938–1939 годах появляются три его больших рассказа – «Бомбей», «Хана» и «Вечерний спутник», а в трех последних номерах за 1939 год печатается начало романа «Полет» (в связи с войной издание журнала прекращается, и роман при жизни автора полностью так и не был опубликован).

Интенсивность творческой жизни Газданова в предвоенное десятилетие поразительна, ведь все эти годы он продолжает работать ночным таксистом, продолжает посещать собрания литературного объединения «Кочевье», где выступает с чтением своих рассказов и участвует в обсуждении произведений других авторов. В начале тридцатых он все еще посещает Сорбонну (впрочем, по всей вероятности, университет он не закончил в силу некоторых объективных и субъективных причин – во-первых, приходилось много времени отдавать работе ради заработка, во-вторых, лекции профессоров

зачастую кажутся ему весьма абстрактными, далекими от жизни, а их теории – попросту незрелыми).

Весной 1932 года по приглашению старшего друга, Михаила Осоргина, Газданов вступает в русскую масонскую ложу в Париже «Северная звезда». Вскоре из нее выделилась неофициальная группа, в которую входила главным образом молодежь, – «Северные братья». До начала войны состоялось 150 собраний группы, на которых обсуждался самый широкий круг вопросов – от творческих исканий пифагорейцев до проблем современной науки и современной общественной жизни.

Однако Газданова, при всей его внешней активности и литературных успехах, не покидало ощущение, что его литературная работа никому не нужна. Сказался и изнурительный ночной труд шофера. В статье «О молодой эмигрантской литературе», вызвавшей бурную полемику, он писал: «Культурные массы эмигрантских читателей есть очередной миф, может быть, не лишенный приятности для национального самолюбия, но именно миф... Неверно то, что бывшие адвокаты, прокуроры, доктора, инженеры, журналисты и т.д., став рабочими или шоферами такси, сохранили связь с тем соответствующим культурным слоем, к которому они раньше принадлежали. Наоборот, они по своей психологии, "запросам" и взглядам приблизились почти вплотную к тому классу, к которому нынче принадлежат и от которого их, в смысле их теперешнего уровня, отделяет только разница языка»[9].

Эти обстоятельства существования накладывали отпечаток и на характер писателя. «Газданов был человеком замкнутым, – сообщала в письме ко мне от 26 апреля 1989 года Татьяна Алексеевна Осоргина, видный библиограф и пропагандист русской литературы за рубежом, вдова Михаила Осоргина. – Жизнь его была очень трудная и матерьяльно, и лично. Он об этом не говорил. Его книга "Ночные дороги" многое Вам может объяснить. Человек был умный, но умом острым и ехидным. Не был совершенно злым, но иногда очень метко подмечал смешные стороны у человека». Об этих же свойствах характера пишут в своих воспоминаниях Зинаида Шаховская и Георгий Адамович. Так, Г. Адамович рассказал в статье «Памяти Газданова»: «...сблизился и подружился я с Газдановым сравнительно недавно, а в последние годы телефонировал он мне чуть ли не ежедневно, беседовали мы подолгу... Именно в те годы я оценил его бы-

---

[9] *Газданов Г.* О молодой эмигрантской литературе // Современные записки. 1936. Т. 60. С. 406.

стрый, своеобразный ум, его острое чутье и даже его природную доброжелательность, ускользнувшую от моего понимания – или от моего внимания – прежде. В довоенный период эмиграции что-то меня от Георгия Ивановича отдаляло, сближению мешало. Держался он вызывающе, в особенности на публичных собраниях... Никаких авторитетов не признавал»[10].

В середине тридцатых годов Газданов узнает о тяжелой болезни матери, которая жила тогда во Владикавказе и с которой ему удавалось поддерживать связь: они переписывались, и мать внимательно следила за литературной работой сына, получая от него книги и журналы. Тревога за мать побуждает Гайто Газданова снова обратиться к Горькому. 20 июня 1935 года он, напомнив о своем давнем обращении и благожелательном отношении Горького, продолжает: «Сейчас я пишу это письмо с просьбой о содействии. Я хочу вернуться в СССР, и если бы Вы нашли возможность оказать мне в этом Вашу поддержку, я был бы Вам глубоко признателен...

В том случае, если бы Ваш ответ – если у Вас будет время и возможность ответить – оказался положительным, я бы тотчас обратился в консульство и впервые за пятнадцать лет почувствовал, что есть смысл и существования, и литературной работы, которые здесь, в Европе, не нужны и бесполезны»[11].

Горький ответил незамедлительно: «Желанию Вашему возвратиться на родину – сочувствую и готов помочь Вам, чем могу. Человек Вы даровитый и здесь найдете работу по душе, а в этом скрыта радость жизни»[12].

Однако последовавшие вскоре болезнь и смерть Горького, очевидно, помешали осуществить обещанное. А тем временем с родины приходили все более тревожные вести. Процессы над «врагами народа» освещались на Западе, и среди имен людей, подвергшихся репрессиям, встречались имена, хорошо Газданову знакомые, приходили сведения, что вернувшихся на родину называли врагами, и они бесследно исчезали в бескрайних просторах архипелага ГУЛАГ.

Попыток вернуться домой Газданов больше не предпринимал. Вера Николаевна умерла, не дождавшись сына, в 1939 году.

А над миром уже нависла новая война. Присягнув в верности французскому государству, писатель не эмигрирует – остается в стране и готов сражаться с нацизмом. Но «странная война» быстро

[10] Новое русское слово. Нью-Йорк. 1971. 11 дек. С. 3.
[11] ИМЛИ. АГ. КГ-НП/а-7-51.
[12] *Там же*. ПГ-РЛ-10-1-1.

закончилась. Оказавшись в оккупированном Париже, Газданов все же находит пути послужить Франции.

С началом войны пришла безработица, таксисты стали не нужны. Чтобы не погибнуть от голода и нищеты, Газданов и его жена Фаина Дмитриевна Ламзаки (он познакомился с ней во время первой поездки на юг, на Ривьеру, в августе 1936 года; она – дочь одесских греков, давно жила во Франции; вместе они вернулись в Париж и уже не разлучались) давали уроки русского языка французам и французского языка – русским. В 1942 году Газдановы вступили в ряды Сопротивления: помогали советскому партизанскому отряду, Гайто издавал информационный бюллетень, Фаина Дмитриевна была связной.

После войны, в 1946 году, Гайто Газданов выпустил книгу о советских партизанах во Франции. Она вышла в переводе на французский. Это единственное документальное произведение в творческом наследии Газданова, не прекращавшего писать художественные произведения и во время войны. Но закончены и напечатаны они были уже в послевоенные годы – это романы «Призрак Александра Вольфа» (1947–1948) и «Возвращение Будды» (1949–1950), которые привлекли внимание иностранных издателей. В 1950–1951 годах «Призрак Александра Вольфа» был переведен на английский и французский языки, «Возвращение Будды» – на английский, испанский, итальянский. Однако этот явный, казалось бы, успех мало что изменил в материальном положении писателя – Газданову по-прежнему приходилось работать таксистом.

В 1953 году он принимает предложение американской радиостанции «Свобода» и несколько лет работает корреспондентом в Париже, а с 1967 года возглавляет русскую службу радио «Свобода». (Вот почему так долго замалчивалось имя писателя на родине!)

Новая деятельность принесла Газданову материальное благополучие, но времени для собственного литературного творчества не прибавилось. Почти за двадцать лет он публикует только три романа – «Пилигримы» (1953–1954), «Пробуждение» (1965–1966), «Эвелина и ее друзья» (1968– 1971). В эти же годы появляется в печати несколько его рассказов – в их числе такие шедевры, как «Судьба Саломеи», «Панихида», «Нищий», «Письма Иванова». Проза Газданова становится еще более лаконичной и емкой. Сущность человека часто не видна окружающим, и нужен какой-то толчок, чрезвычайные обстоятельства, которые обнажают скрытое и невидимое, – ярко, убедительно раскрывает это в своих последних рассказах Гайто Газданов.

Что же касается литературной работы на радио «Свобода», то здесь писатель проявил незаурядный дар критика и эссеиста, пропагандиста русской литературы. Свои выступления он посвящал Гоголю и Чехову, Алексею Ремизову и Борису Пастернаку, провел интервью с Борисом Зайцевым о Марке Алданове и Михаиле Осоргине, большую передачу посвятил самому Борису Зайцеву; но не только к явлениям русской литературы обращался он в своих передачах – его интерес вызывали и крупнейшие представители западной культуры – М. Пруст и Г. Грин, Ж.П. Сартр и П. Валери, Ф. Мориак и С. Мрожек, а также такие теоретические проблемы, как тенденциозность в литературе и взаимосвязь пропаганды и литературы, соотношение журнализма и литературы в творчестве, оценка современниками произведений искусства и их испытание временем. Литературный материал к некоторым из этих передач лег впоследствии в основу статей, опубликованных в журналах и газетах, к другим сохранились рукописи, и, возможно, когда-нибудь они станут достоянием читателей.

В разнообразном и богатом творческом наследии Гайто Газданова поднимаются многие вечные проблемы – о смысле жизни, трагизме человеческого бытия, о красоте и величии любви, о добре и зле, о преступлении и наказании, о судьбе и характере, о счастье и его относительности, о человеке и социальной среде, о выборе жизненного пути... Его творчество пронизано острым ощущением напряженной потребности жить, действовать, размышлять, спорить. И рядом с иронией и скептицизмом, разочарованием во всем и вся присутствует удивительная нежность к человеку, сожаление об ограниченности его бытия и духовной жизни.

Для Газданова литература была смыслом всей его жизни. Он мучительно переживал то, что не мог в своих книгах с достаточной полнотой передать, выразить переполнявшие его мысли и чувства. В его произведениях не раз прорывается сожаление о бессилии понять ход событий и человеческих поступков, о невозможности заглянуть в сокровенные глубины души и постичь импульсы, побуждающие человека совершать действия, зачастую вызывающие разрушение судеб других людей и саморазрушение. И эти мучения и поиски – и изначально, и в конечном счете – приводят, при всем трагизме мироощущения, к светлому, в общем, решению – жизнь имеет ценность именно сейчас, в данный момент; каким бы случайным и печальным ни было прошлое, полнота сиюминутного ощущения жизни, интуитивное осознание единства, слияния со всем миром и в то

же время единственности, уникальности каждого существования и дают человеку то, что можно назвать счастьем...

В небольшой статье-воспоминании о Борисе Поплавском Газданов писал: «Если можно сказать “он родился, чтобы быть поэтом”, то к Поплавскому это применимо с абсолютной непогрешимостью, – и этим он отличался от других. У него могли быть плохие стихи, неудачные строчки, но неуловимую для других музыку он слышал всегда»[13]. В полной мере слова эти можно отнести и к самому Газданову.

Гайто Газданов умер 5 декабря 1971 года в Мюнхене, но похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, там, где нашли последнее земное пристанище крупнейшие русские писатели XX века – Иван Бунин и Иван Шмелев, Борис Зайцев и Виктор Некрасов.

* * *

Русская литература зарубежья еще ждет своего исследования. И одна из проблем, нуждающихся в изучении, – общепсихологическая: как сохранить себя русским писателем в чужой языковой среде, в чужом быте, в отрыве от читающей публики. Ведь, как известно, хотя истинный писатель пишет, потому что не может не писать, но лишь внутреннее сознание, что его прочтут и поймут соотечественники, служит тем мощным стимулом, который помогает в работе. У абсолютного большинства русских писателей зарубежья такого стимула не было.

С самых первых шагов в литературе Газданов выступил как русский писатель со своим видением мира и людей, со своей собственной способностью постижения действительности и умением вести повествование увлекательно вне зависимости от предмета рассказа. На это обратили внимание первые же его рецензенты. Георгий Адамович в рецензии на «Вечер у Клэр» отмечал влияние на Газданова Пруста и Бунина. Подобно Прусту, «Газданов все время прерывает свой рассказ замечаниями в сторону, наблюдениями, соображениями, стремится в самых обыкновенных вещах увидеть то, что в них с первого взгляда не видно. Как бунинский Арсеньев, он пренебрегает фабулой и внешним действием и рассказывает только о своей жизни, не стараясь никакими искусственными приемами вызвать интерес читателя и считая, что жизнь интереснее всякого вымысла.

[13] *Газданов Г.* О Поплавском // Современные записки. 1935. Т. 59. С. 463.

Он прав. Жизнь, действительно, интереснее вымысла. И потому, что Газданов умеет в ней разобраться, его рассказ ни на минуту не становится ни вялым, ни бледным, хотя рассказывает он, в сущности, "ни о чем"»[14].

Итак, с самого начала были найдены слова: *ни о чем*. И этот упрек (или комплимент?) будет повторяться то Ходасевичем, то Адамовичем из рецензии в рецензию. Но можно вполне принять эти слова за одобрение, если понимать под ними – все, то есть *жизнь*.

Один из редакторов «Современных записок» Илья Фондаминский, посетив Бунина в Грассе, поделился своими впечатлениями о Газданове. Вот что записала об этом 4 января 1931 года в своем «Грасском дневнике» Галина Кузнецова: Фондаминский «познакомился с Газдановым. Сказал о нем, что он произвел на него самое острое и шустрое, самоуверенное и дерзкое впечатление. Дал в "Современные записки" рассказ, который написан "совсем просто". Открыл в этом году истину, что надо писать "совсем просто"»[15].

В произведениях Газданова постепенно исчезает усложненность формы (особенно присущая, например, рассказу «Водяная тюрьма»); его стиль обретает те существеннейшие черты, которые так пленяют: легкость, плавность, безошибочный ритм, способность выразить словом краски, запахи, всю «влажную живую ткань бытия», передать мельчайшие, неуловимые движения души, сложнейшие переживания героев.

В положительных отзывах в прессе недостатка не было. Почти на каждый рассказ Газданова откликались Г. Адамович, В. Ходасевич, В. Вейдле, другие критики. Но что показательно: старые, присущие предыдущему столетию традиционные принципы анализа и оценки они применяли к совершенно новой прозе, самобытной, яркой, емкой, нетрадиционной. И Адамович, и Ходасевич, и Вейдле, и Г. Хохлов, и другие критики искали у Газданова фабулу, сюжет, «свою» тему, однако не находили их и обрушивались на автора с упреками: «...бесфабульные рассказы Чехова рядом с "Бомбеем" могут показаться чуть ли не авантюрными... Остается всё то же: чудесно написанный рассказ о том, чего не стоило рассказывать»[16]; «Небольшой рассказ Г. Газданова "Воспоминание" представляет собой необычное соединение банально-искусственного, шаблонно-

---

[14] *Адамович Г.* Литературная неделя: «Вечер у Клэр» Г. Газданова // Иллюстрированная Россия. 1930. 8 марта.

[15] *Кузнецова Г.* Грасский дневник. Вашингтон. 1967. С. 200.

[16] *Ходасевич В.* Книги и люди: Русские записки, апрель-июль // Возрождение. 1938. 22 июля.

модернистического замысла с редким даром писать и описывать, со способностью находить слова, будто светящиеся или пахнущие, то сухие, то влажные, в каком-то бесшумном, эластическом сцеплении друг с другом следующие...»[17]

Газданова упрекали, что персонажи в его произведениях часто никак не связаны друг с другом, случайно появляются и исчезают, что в его вещах нет стройной композиции, что у них слабая архитектура, что автор никак не найдет своей темы... И вместе с тем, говорили критики, – блестяще, талантливо написано!

В чем же дело? Почему такие замечательные критики, отличающиеся тонким вкусом и высокой культурой, как Ходасевич и Адамович, не смогли в полной мере оценить талант Газданова и, более того, упрекали его в том, в чем меньше всего можно было обвинить автора – в мелкотемье, в бессодержательности?

Нам представляется, что ошибка их заключается в том, что они, если можно так выразиться, применяли константы физики Ньютона, тогда как имели дело с явлением, описываемым лишь в категориях теории относительности, согласно которой любая точка в пространстве может служить центром Вселенной и началом отсчета. И если подходить с подобных позиций к творчеству Газданова, то мы не скажем, что его рассказ «Бомбей» – ни о чем. Как и большинство других его рассказов.

Несомненно, в произведениях Газданова мы не ощущаем той отточенности, математической выверенности, высшей стилистической шлифовки, которые сразу же бросаются в глаза в романах и рассказах Набокова. И тем не менее они производят впечатление законченности, полноты. Несмотря на кажущуюся неожиданность концовки того или иного произведения или даже ее случайность, вряд ли можно сказать, что автор чего-то недоговорил, недописал.

В каждом рассказе, в каждом романе он говорит ровно столько, сколько хотел или мог сказать. Но ведь было бы несерьезно предъявлять претензии писателю, обвиняя его в том, что он не написал того или иного эпизода или не до конца раскрыл тот или иной образ. Оценивая произведение, мы можем исходить лишь из того и судить лишь о том, что в нем есть. А то, чего мы там не находим, – это весь остальной сущий мир. И о нем говорят иные писатели и в иных произведениях.

[17] *Адамович Г.* Современные записки. Кн. 54. Часть литературная // Последние новости. 1937. 7 окт.

Но, справедливости ради, следует отметить, что уже самим фактом своего пристального внимания к творчеству молодого писателя и Ходасевич, и Адамович отдавали дань его таланту, признавали его значимость, выделяли среди других русских писателей зарубежья.

Своим творчеством Газданов показал, что дело, в конечном счете, вовсе не в теме, фабуле или композиции, а в личности автора, в способности выразить внутренний мир, свое восприятие жизни в адекватной форме прозрачно-чистым, прекрасным, ясным языком.

Принципы творчества, мироощущение Газданова необычайно емко выражены в заключительном фрагменте его романа «Полет»: «...всякую человеческую жизнь и всякое изложение событий мы стремимся рассматривать как некую законченную схему, и это тем более удивительно, что самый поверхностный анализ убеждает нас в явной бесплодности этих усилий. И так же, как за видимым полукругом неба скрывается недоступная нашему пониманию бесконечность, так за внешними фактами любого человеческого существования скрывается бесконечная сложность вещей, совокупность которых необъятна для нашей памяти и непостижима для нашего понимания. Мы обречены, таким образом, на роль бессильных созерцателей, и те минуты, когда нам кажется, что мы вдруг постигаем сущность мира, могут быть прекрасны сами по себе – как медленный бег солнца над океаном, как волны ржи под ветром, как прыжок оленя со скалы, в красном вечернем закате, – но они так же случайны и, в сущности, почти всегда неубедительны, как все остальное. Но мы склонны им верить, и мы особенно ценим их, потому что во всяком творческом или созерцательном усилии есть утешительный момент призрачного и короткого удаления от той единственной и неопровержимой реальности, которую мы знаем и которая называется смерть. И ее постоянное присутствие всюду и во всем делает заранее бесполезными, мне кажется, попытки представить ежеминутно меняющуюся материю жизни как нечто, имеющее определенный смысл; и тщетность этих попыток равна, быть может, только их соблазнительности».

Это размышление автора помогает глубже понять весь многообразный мир произведений Газданова, их стилистику. Мы пришли в этот мир случайно, и, как бы ни стремились к поставленной цели, к реализации своих способностей и устремлений, всегда может появиться непредвиденное обстоятельство, которое способно круто изменить направление жизни, обнаружить скрытые черты характера

и, возможно, истинную, а не придуманную сущность. И в этом непредсказуемом мире каждое мгновение может таить красоту и надежду при всей конечной безнадежности... «Всякий писатель должен прежде всего создать в своем творческом воображении целый мир, который, конечно, должен отличаться от других, – и только потом о нем стоит, быть может, рассказывать...» – писал Газданов в статье «О молодой эмигрантской литературе»[18].

И мир, созданный воображением Газданова, был отличен от других миров. Истоком этого мира служил богатейший собственный несладкий жизненный опыт, который мало кому выпадал на долю в столь короткие сроки. И дело даже не во внешних перипетиях, эмигрантских мытарствах, постоянном хождении по грани между жизнью и смертью в период Гражданской войны, в стремлении выжить во что бы то ни стало в чужом и чуждом зарубежье без средств к существованию, без профессии и связей. Вся эта как бы внешняя жизнь сочеталась с напряженнейшей жизнью духа, с осмыслением судьбы собственной и судеб тех русских, кого забросило в Европу, почти для всех неприютную, чуждую, чужую.

Эта тема стала ведущей в творчестве Газданова – от ранних рассказов и романов до самых последних и зрелых. Разумеется, в каждом произведении эта тема решается по-своему, принимает свои образные очертания, свое словесное оформление. Мотив этот звучит и в романах «Вечер у Клэр», «История одного путешествия», «Ночные дороги», и в таких рассказах, как «Воспоминание», «Панихида», «Письма Иванова», и особенно в записках «Из блокнота»...

После «Вечера у Клэр» вторым крупным произведением Гайто Газданова стала «История одного путешествия». Это роман о любви, о счастье, о встречах и потерях, о наслаждении жизнью такой, какова она есть. В романе Газданов пытается дать картину идеальной жизни русского человека на чужбине, человека, который вживается в среду и, сохраняя свою самость, становится деятельным участником жизни в чужой стране. Пожалуй, это единственное произведение, где у автора еще теплится иллюзия возможности насыщенной полноценной жизни вдали от родины. Но иллюзия эта искренняя, как все, что создано писателем. В этой книге меньше всего смертей, и остается от нее впечатление светлое, окрашенное легкой грустью от сознания, что молодость и свежесть жизни, увы, преходящи.

«История одного путешествия» – это рассказ о путешествии молодого человека, ровесника автора, близкого ему по духу и жиз-

---

[18] *Газданов Г.* О молодой эмигрантской литературе. С. 407–408.

ненному и душевному опыту, в глубь своих чувств и ощущений. Хотя повествование здесь и не ведется от первого лица, но в основном мы видим происходящее глазами главного героя – Володи.

Рецензенты упрекали автора в том, что в романе нет стержня, что он рассыпается на новеллы об отдельных героях – Сереже, Артуре, Николае, Одетт и других, что все эти новеллы органически не связаны между собой.

Вместе с тем Адамович, близко подходя к пониманию специфики таланта Газданова, замечал: «Он мог бы сочинить роман традиционно законченный и округленный и сделал бы это, поверьте, не хуже других! Но для него, по свойствам его натуры, это была бы унылая механическая работа, и потому она его не интересует. Писатель может расти, совершенствоваться, но не может стать иным, чем создан... Газданов не любит резких красок, пышных выражений и декламации. Он рассказывает о тихом помешательстве, овладевшем жизнью, о неразберихе в поступках, о путанице в страстях и стремлениях, о призрачности того, что мы называем личностью, о том, наконец, что «все течет», и только расстроенное человеческое воображение находит в этом стихийном потоке источник, русло и даже цель»[19].

Позже, уже в связи с романом «Полет», Адамович подошел еще ближе к существу творчества Газданова. «Если бы волею судеб книги Газданова не дошли до будущих читателей, а сделались известными лишь в разрозненных частях, автор “Вечера у Клэр” был бы, вероятно, включен в число самых оригинальных и крупных “художников послереволюционного времени”», – писал он в первой рецензии на начальные главы романа «Полет»[20]. В следующей рецензии на этот роман Адамович дает наиболее глубокое осмысление специфики и направленности писательского дара Газданова: «Газданов и не гонится за психологическими редкостями. Наоборот, он ищет той сложности в общей панораме, которая произвела бы впечатление, что изо дня в день “так было, так будет” – и вместо одного человека мог бы на данном месте оказаться другой, без того, чтобы изменилось что-либо существенное. Главное у него не люди, а то, что их связывает, то, чем заполнена пустота между отдельными фигурами, – бытие, стихия, жизнь, не знаю, как это назвать»[21].

---

[19] *Адамович Г.* Литературные заметки: Г. Газданов. История одного путешествия. Роман. «Дом книги». 1938 // Последние новости. 1938. 26 янв.

[20] *Адамович Г.* Литература в «Русских записках» // Последние новости. 1939. 29 июня.

[21] *Там же.* 3 авг.

Действие этого романа о различных ипостасях любви, о взаимоотношениях, главным образом, в узком кругу лиц происходит во Франции и Англии. Главные персонажи – русские. Газданов исследует самые потаенные движения человеческой души, тончайшие психологические мотивы поведения, самые неожиданные повороты в судьбах героев. Он смело вводит такую непривычную для русской литературы тему, как любовные взаимоотношения тридцатидвухлетней тетки (сестры матери) и ее шестнадцатилетнего племянника Сережи. К тому же оказывается, что эта тетя Лиза до недавнего времени и на протяжении нескольких лет была любовницей отца Сережи.

Будучи агностиком, отказывая человеческому разуму в возможности дать логическую картину мира, Газданов в эпизодах романа демонстрирует случайность, непредсказуемость движений человеческой души и последовательности человеческих поступков. Его герои живут чувствами, они строят какие-то планы, совершают какие-то поступки, но им не дано предугадать, как и чем обернется следующий их шаг. Смерть в горящем самолете уравнивает героев, каковы бы ни были их предшествующие поступки, мотивы, планы... Собственно, в этом и заключался замысел писателя, о чем он и сообщал французскому издателю: «...то, для чего я писал “Полет”, это внутренняя психологическая последовательность разных жизней, остановленная слепым вмешательством внешней силы, уравнявшей в несколько секунд судьбы этих героев, независимо от того, в какой мере каждый из них заслуживал или не заслуживал этой участи...»[22]

Роман «Ночные дороги», как никакое другое, видимо, произведение русской зарубежной литературы, обнажил безысходность жизни в эмиграции. В кратких эпизодах перед нами предстают бывшие князья и графы, полковники и ротмистры, солдаты и купцы, генералы и денщики, ставшие шоферами такси, грузчиками, мошенниками, клошарами, швейцарами, официантами, никем... В этом романе, естественно, показано и дно исконно парижское – проституток и сутенеров, бандитов и любителей удовольствий, ибо перед ночным таксистом-рассказчиком все они как на ладони. И чем большим доверием мы проникаемся к рассказчику, тем убедительнее эта страшная ночная картина человеческого убожества.

«Ночные дороги», возможно, в наибольшей степени, чем другие романы Газданова, – произведение автобиографическое. «Я всегда жил в глубокой нищете, и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне отно-

[22] Цит. по: *Диенеш Л.* «Рождению мира предшествует любовь...» // Дружба народов. 1993. № 9. С. 139.

сительное богатство впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в других условиях», – замечает о себе их герой, от лица которого и ведется повествование.

«Ночные дороги» – жестокая книга. И некоторые критики усмотрели в ней авторское пренебрежение к людям, уничижение их. Однако критики зачастую забывают о моральной позиции автора. Гайто Газданов копается в мерзостях жизни не из удовольствия и вовсе не стремится показать ничтожество человека, его животное состояние. Он привлекает внимание к этому низменному, чтобы пробудить сознание, чтобы незрячие увидели за фасадом европейского благополучия мрачную и чреватую любыми неожиданностями изнанку. Искусству доступны все уголки жизни, как бы они ни были неприглядны, и оно может говорить обо всем. Лишь бы говорилось это на уровне искусства.

И здесь хочется привести еще одно высказывание из уже упоминавшейся статьи Газданова. Это высказывание – не просто декларация, а кредо писателя:

«В статье “Что такое искусство”... Толстой... определяя главные качества писателя, третьим условием поставил “правильное моральное отношение автора к тому, что он пишет”... В самом широком и свободном толковании это положение есть не требование или пожелание, а один из законов искусства и одно из условий возможности творчества.

И совершенно так же, как нельзя построить какую-либо научную теорию, не приняв предварительно ряда положительных данных, хотя бы временных, – так нельзя создать произведение искусства вне какого-то внутреннего морального знания»[23].

В «Ночных дорогах» автор-рассказчик вглядывается в людей, сколь бы мелкими и чуждыми ему они ни были, и стремится понять, узнать их, найти им место в этой жизни. Да, он наблюдатель – в силу своей профессии, – но он и участник, и воспитатель там, где считает нужным и не совсем бесполезным применить свое воздействие. В никому не нужной падшей Ральди он видит не примитивное существо, а человека, создавшего свою жизнь по собственным законам красоты и любви, увы, извращенным законам...

По сути дела, роман этот, как и большинство газдановских произведений крупной формы, состоит из разрозненных эпизодов, спонтанно возникающих по воле автора из какой-либо детали, слова, воспоминания, но создающих в целом объемную, стереоскопическую картину, насыщенную живыми обликами, красками, ароматами, звуками, полную мысли, заставляющую думать.

---

[23] *Газданов Г.* О молодой эмигрантской литературе. С. 406.

В будущем Газданов продемонстрирует, что он вполне владеет умением создавать стройные по своей композиции (в традиционном понимании) романы – например, один из его поздних романов, «Пробуждение», соответствует канонической романной структуре позапрошлого века, да и «Призрак Александра Вольфа» (начатый еще в годы Второй мировой войны) полудетективным сюжетом может удовлетворить требования сторонников определенной романной структуры.

Но, думается, традиционный роман – это вовсе не ответ критикам и не демонстрация своих технических возможностей. Газданов не боялся экспериментировать и применять неожиданные стилистические приемы, используя материал столь, казалось бы, необычный для автобиографической прозы, сколь в то же время и правдивый. Ибо форма в большинстве его произведений содержательна, а содержание обретает адекватную форму выражения.

Многие рассказы Газданова тридцатых годов написаны от первого лица, и повествование в них ведется так психологически убедительно, с такой точностью деталей, что у читателя создается полнейшая иллюзия слияния рассказчика и автора. Так, известно, что жена одного из редакторов «Современных записок» В.В. Руднева, прочитав рассказ «Бомбей» (1938), воскликнула: «Да когда же Газданов успел побывать в Индии?!» В действительности автор не был в Индии ни до, ни после написания рассказа. А по поводу рассказа «Вечерний спутник» (1939), где русские парижане в образе старого государственного деятеля мгновенно увидели не только абсолютное портретное сходство с Жоржем Клемансо, но и глубокий психологический анализ такого незаурядного характера, Георгий Адамович лишь выразил удивление: «Придет же такая фантазия!»

В произведениях Газданова перед нашими глазами предстает мир, быть может, ранее нам неведомый, но тем не менее убедительный – своей яркостью, точностью и осязаемостью материальных деталей, своей психологической атмосферой, своим соответствием нашим интуитивным предчувствиям. И уже воссоздание этого мира само по себе – большое художественное достижение. Ведь писатель открывает для нас, сегодняшних читателей, то, что было скрыто не только завесой расстояния и идеологической предвзятости, но теперь уже и плотным туманом времени, сквозь который писательское слово пробивается, как ледокол сквозь зимнюю полярную мглу. Пробивается и делает живыми и людей, и их быт, мысли, надежды, безысходность, отчаяние...

Как уже говорилось, у Газданова основное – не сюжет, не композиция, не монтаж частей, эпизодов, а общее впечатление, общая картина, создаваемая отдельными мазками, судьбами, характерами персонажей, сплетением их судеб, и новое знание, новое впечатление, вызревающее из недр – деталей, частностей, мелочей. Поэтому любое из его произведений можно рассматривать и как законченное, и как движущееся, развивающееся. В этом смысле они максимально приближаются к реальной жизни, каждый эпизод которой мы лишь условно можем считать законченным.

В романе «Призрак Александра Вольфа», опубликованном после войны, и во вскоре последовавшем за ним романе «Возвращение Будды» писатель вновь обращается к эпизодам Гражданской войны в России, хотя они и не являются в них главным.

«Призрак Александра Вольфа» – это, по сути дела, развернутая притча о предопределенности судьбы. Здесь, как и в других романах Газданова, есть вставные эпизоды, вроде бы лишние, не имеющие отношения к сюжету (например, подробно описанный эпизод матча по боксу), но они в то же время несут определенную смысловую нагрузку. Ибо, помимо того, что этот эпизод вполне логично включен в роман, поскольку герой романа – журналист, он еще дает нам некоторое дополнительное представление об авторе (Газданов никогда не писал специально для газет, но он пытался примерить к себе эту роль).

Роман «Призрак Александра Вольфа» относится к тем нескольким поздним произведениям Газданова, в которых довольно четко просматривается сюжетная линия и довольно проста композиция (позже этим же приемам писатель будет следовать в «Возвращении Будды», «Пробуждении», «Пилигримах»). Но это вовсе не означает, что он разочаровался в прежних методах и принципах создания литературного произведения. Как не означает и того, что проза Газданова поднялась на новый, более высокий уровень.

Персонажи «Призрака Александра Вольфа» – ничем не выдающиеся, обычные русские эмигранты, но их чувства, поступки, переживания, помимо нашей воли (но по воле автора), с самых первых страниц затягивают читателя, и мы невольно прислушиваемся к рассказам пьяного Владимира Петровича Вознесенского о его друге и храбром офицере Александре Вольфе, ставшем вдруг английским писателем, следим за развитием любви рассказчика к загадочной Елене Николаевне и уж совсем не удивляемся трагической развязке, когда рассказчик на последней странице убивает Александра Вольфа. Завершение этой истории настолько логично, что даже кажется искусственным (и, вероятно, здесь можно было бы упрекнуть

автора в нарочитости и преднамеренности). Однако, как мы помним: жизнь богаче искусства и преподносит самые неожиданные сюрпризы. В том числе и логичные развязки сюжетных узлов.

В «Возвращении Будды» – та же идея предопределенности судьбы, воздаяния, что и в «Призраке Александра Вольфа». Герой-рассказчик «Возвращения Будды» подает в Люксембургском саду подошедшему к нему нищему десять франков; нищий, Павел Александрович Щербаков, впоследствии получает крупное наследство и завещает все свое состояние пожалевшему его тогда молодому человеку – вот контуры сюжета этого романа. Но внутри этих контуров и немного за их пределами – и долгое существование героя-рассказчика между сном и явью, когда сон или забытье становились более реальными, чем сама жизнь (во время одного из таких состояний герой проживает целую жизнь в тоталитарном Центральном Государстве, весьма напоминающем Советский Союз или же кафкианский Замок), и его встречи и беседы с Щербаковым, и его воспоминания о лагере на берегу Дарданелльского пролива, и убийство Щербакова неизвестным, и необоснованное подозрение в совершении этого преступления, допросы в полиции, и надежда на встречу с любимой, и опять путешествие...

Романы «Пилигримы» и «Пробуждение», опубликованные с разрывом в двенадцать лет, ведут повествование от третьего лица, с позиции всеведения – и это вполне объяснимо, поскольку эти романы впервые написаны Газдановым на чисто французском материале и о французах.

В обоих романах, созданных в традиционной манере классического романа XIX столетия (весьма подробные биографии героев; меньше свойственных Газданову отступлений, разветвлений), писатель ставит перед собой и решает моральные проблемы. Их можно назвать морализаторскими (в лучшем смысле этого слова). И в то же время на них лежит печать таланта Газданова, его способности создавать лаконичными средствами характеры персонажей и направлять их в психологические путешествия в глубины своего «я», где они совершают неожиданные открытия. Более того, в этих романах явственно проступает вера писателя в способность человека изменить ход своей судьбы, прожить жизнь не так, как обусловлено данными изначально обстоятельствами, а так, как, возможно, хотелось бы ее прожить.

В «Пилигримах» – масса героев, и на первый план, в конце концов, выходит не Робер Бертье, сын богатого промышленника, человек замечательный во многих отношениях, а вор и подонок Фред, который в какой-то момент, под влиянием случайно услышанного и

не понятого им разговора, постепенно перевоплощается, ищет и находит в себе другого человека, способного и стремящегося к жертве во имя людей.

Сюжет «Пробуждения» незамысловат: молодой француз Пьер Форэ, приехав на отдых к другу в лесную глушь, находит там сошедшую с ума женщину и увозит ее к себе в Париж, где благодаря его заботе и вниманию она вновь возвращается к нормальному существованию. Короче говоря, Газданов создает историю о современных ему Пигмалионе и Галатее.

Несмотря на банальность сюжета – и в том, и в другом романе, – писатель благодаря присущим ему мастерству и чувству меры, таланту создавать живые картины жизни, правдоподобные ситуации, живые характеры, ведет повествование легко, динамично, увлекательно, так что ни на мгновение не возникает сомнения в правдивости рассказанных историй.

Возможно, если бы Газданов не уделял слишком много времени работе на радио «Свобода», он написал бы гораздо больше.

Созданные им в послевоенные годы рассказы, особенно такие, как «Панихида», «Письма Иванова», «Нищий», свидетельствуют, что он по-прежнему оставался одним из наиболее оригинальных и крупных русских писателей, творящих за рубежом. Но, очевидно, Газданов чувствовал, что основную свою писательскую миссию он выполнил: написал то, что хотел, воплотил основные свои замыслы. Теперь его в большей мере привлекает осмысление самого искусства, поэтому столь много он выступает в последние годы жизни на радио со своими эссе о писателях, о роли литературы, о связи литературы и идеологии. Видимо, этим интересом к творческому процессу объясняется и то, что в своем последнем законченном романе, «Эвелина и ее друзья», Газданов так много страниц посвятил размышлениям о литературе и искусстве.

«Эвелина и ее друзья» – типично газдановский роман, в котором он собрал основные свои темы воедино и использовал прием потока сознания, порою идентичного потоку жизни, столь характерный для его первых, довоенных романов. Здесь и путешествия в глубины памяти, и диалектика добра и зла, и тема судьбы и характера человека, и странные пути и перепутья любви, и трагизм человеческого бытия...

Каждый настоящий художник, несомненно, создает в своих произведениях новую реальность. Но если, например, Набоков провозглашал едва ли не единственной целью искусства возведение из кубиков новых реальностей и тем самым признавал за своими героями лишь роль марионеток, которых, дергая за веревочки, он, ху-

дожник, их создатель, демиург, приводит в движение, то Газданов, напротив, стремится приблизить искусство, создаваемую им новую реальность к жизни, сделать своих персонажей столь убедительными, чтобы читатель в них поверил (племянница жены писателя Мария Ламзаки вспоминала, что Газданов и в устных своих рассказах добивался такой убедительности, что не могло и возникнуть сомнения в реальности описанных событий, и лишь впоследствии выяснялось, что все это – выдумка).

В романе «Эвелина и ее друзья» герой размышляет о композиции литературного произведения, и это размышление переплетается с осмыслением потока жизни: «Я убеждался в том, что классическое построение всякой литературной схемы чаще всего бывает произвольным, начинается обычно с условного момента и представляет собой нечто вроде нескольких параллельных движений, приводящих к той или иной развязке, заранее известной и обдуманной. От этого правила бывали отступления, как, например, введение пролога в старинных романах, но это было, в сущности, отступлением чисто формальным, то есть переносом действия на некоторое время назад, когда происходили события, не входящие в задачу данного изложения. Вместе с тем мне теперь казалось, что всякая последовательность эпизодов или фактов в жизни одного человека или нескольких людей имеет чаще всего какой-то определенный и центральный момент, который далеко не всегда бывает расположен в начале действия – ни во времени, ни в пространстве – и который поэтому не может быть назван отправным пунктом в том смысле, в каком это выражение обычно употребляется. Определение этого момента тоже заключало в себе значительную степень условности, но главная его особенность состояла в том, что от него, – если представить себе систему графического изображения, – линии отходили и назад, и вперед».

Это размышление может служить ключом как к последнему газдановскому роману, так и ко многим предыдущим его произведениям. И хотя в «Эвелине и ее друзьях» действуют герои-французы, не прошедшие страшными путями Гражданской войны, они очень близки первым героям Газданова, их волнуют вечные вопросы, характерные для русской литературы (возможно, именно поэтому некоторые рецензенты эмигрантской прессы называли Газданова «нашим Достоевским»).

Дар Газданова, как и его опыт, жизненный и писательский, уникален.

Ст. Никоненко

Составители выражают глубокую благодарность

за предоставление новых и использование опубликованных материалов:

Хотонской библиотеке (Houghton Library) Гарвардского университета и его куратору Лесли Моррис; журналу «Harvard Library Bulletin» и его главному редактору Уильяму П. Стоунмену (W.P. Stoneman);

«Новому журналу» (Нью-Йорк), впервые напечатавшему роман Газданова «Переворот» (1972);

издателю Антони Крёнеру, впервые (в 1992) напечатавшему роман «Полет» (Leuxenhoff Publishing, Гаага, Нидерланды);

Амхерстскому центру русской культуры (Amherst Center for Russian Culture, Массачусетс, США);

Бахметевскому архиву русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета, его кураторам – профессору Ричарду Уортману и Тане Чеботаревой (Нью-Йорк);

Восточноевропейскому центру Исторического архива Бременского университета и его консультанту Габриэлю Суперфину (Германия);

Библиотеке Байнеке (Beinecke Rare Book and Manuscript Library) Йельского университета и ее сотрудникам Лори Клейн и Наталье Шиарини;

Гуверовскому институту Стэнфордского университета;

Библиотеке современной документальной литературы (BDIC, Нантер, Франция);

сотрудникам Отдела рукописей РГАЛИ;

сотрудникам Архива А.М. Горького (ИМЛИ);

Культурному центру Дому-музею Марины Цветаевой и заведующему его Архивом и библиотекой русского зарубежья Д. Беляеву (Москва);

научно-исследовательскому Отделу рукописей Российской государственной библиотеки и ее сотруднику А.И. Серкову;

ученому секретарю Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» М.А. Васильевой;

М.Н. Шабуровой, С.Н. и Е.Н. Муравьевым, О.М. Орловой, А.Б. и Д.А. Сосинским, О.Н. Стеблиной-Каменской, Д. Спевякиной (Москва), Ренэ Герра, Ольге де Нарп, Н.А. Струве (Париж), Е. Габоевой, А.А. Хадарцевой, Т. Цомаевой (Владикавказ); А. Арсеньеву, З. Паунковичу (Сербия), И. Лукшич (Хорватия);

за помощь в работе над изданием: В.Б. Земскову, Н.Г. Мельникову, К.Е. Мурадян, О.Г. Ревзиной (Москва), В.П. и В.А. Крейд, Ю. Равинской, А. Тюрину (США);

за помощь в подготовке комментариев: З.Н. Афинской, К.В. Душенко, О.А. Коростелеву, А.Н. Дорошевичу, П.Б. Михайлову, Н.А. Старостиной, Ю.С. Цурганову (Москва), И. Толстому (Прага).



ВЕЧЕР У КЛЭР

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой.
А.С. Пушкин

Клэр была больна; я просиживал у нее целые вечера и, уходя, всякий раз неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена и шел потом пешком с улицы Raynouard на площадь St. Michel, возле которой я жил. Я проходил мимо конюшен École Militaire[1]; оттуда слышался звон цепей, на которых были привязаны лошади, и густой конский запах, столь необычный для Парижа; потом я шагал по длинной и узкой улице Babylone, и в конце этой улицы в витрине фотографии, в неверном свете далеких фонарей на меня глядело лицо знаменитого писателя, все составленное из наклонных плоскостей; всезнающие глаза под роговыми европейскими очками провожали меня полквартала – до тех пор, пока я не пересекал черную сверкающую полосу бульвара Raspail. Я добирался наконец до своей гостиницы. Деловитые старухи в лохмотьях обгоняли меня, перебирая слабыми ногами; над Сеной горели, утопая в темноте, многочисленные огни, и когда я глядел на них с моста, мне начинало казаться, что я стою над гаванью и что море покрыто иностранными кораблями, на которых зажжены фонари. Оглянувшись на Сену в последний раз, я поднимался к себе в комнату и ложился спать и тотчас погружался в глубокий мрак; в нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы и так и пропадающие, не воплотившись; и я во сне жалел об их исчезновении, сочувствовал их воображаемой, непонятной печали и жил и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не узнаю наяву. Это должно было бы огорчать меня; но утром я забывал о том, что видел во сне, и последним воспоминанием вчерашнего дня было воспоминание о том, что я опять опоздал на поезд. Вечером я снова отправлялся к Клэр. Муж ее

---

[1] Военное училище (*фр.*).

несколько месяцев тому назад уехал на Цейлон, мы были с ней одни; и только горничная, приносившая чай и печенье на деревянном подносе с изображением худенького китайца, нарисованного тонкими линиями, женщина лет сорока пяти, носившая пенсне и потому не похожая на служанку и раз навсегда о чем-то задумавшаяся – она все забывала то щипцы для сахара, то сахарницу, то блюдечко или ложку, – только горничная прерывала наше пребывание вдвоем, входя и спрашивая, не нужно ли чего-нибудь madame. И Клэр, которая почему-то была уверена, что горничная будет обижена, если ее ни о чем не попросят, говорила: да, принесите, пожалуйста, граммофон с пластинками из кабинета monsieur – хотя граммофон вовсе не был нужен, и, когда горничная уходила, он оставался на том месте, куда она его поставила, и Клэр сейчас же забывала о нем. Горничная приходила и уходила раз пять за вечер; и когда я как-то сказал Клэр, что ее горничная очень хорошо сохранилась для своего возраста и что ноги ее обладают совершенно юношеской неутомимостью, но что, впрочем, я считаю ее не вполне нормальной – у нее или мания передвижения, или просто малозаметное, но несомненное ослабление умственных способностей, связанное с наступающей старостью, – Клэр посмотрела на меня с сожалением и ответила, что мне следовало бы изощрять мое специальное русское остроумие на других. И прежде всего, по мнению Клэр, я должен был бы вспомнить о том, что вчера я опять явился в рубашке с разными запонками, что нельзя, как я это сделал позавчера, класть мои перчатки на ее постель и брать Клэр за плечи, точно я здороваюсь не за руку, а за плечи, чего вообще никогда на свете не бывает, и что если бы она захотела перечислить все мои погрешности против элементарных правил приличия, то ей пришлось бы говорить... она задумалась и сказала: пять лет. Она сказала это с серьезным лицом – мне стало жаль, что такие мелочи могут ее огорчать, и я хотел попросить у нее прощения; но она отвернулась, спина ее задрожала, она поднесла платок к глазам – и когда, наконец, она посмотрела на меня, я увидел, что она смеется. И она рассказала мне, что горничная переживает свой

очередной роман и что человек, который обещал на ней жениться, теперь наотрез от этого отказался. И потому она такая задумчивая. – О чем же тут задумываться? – спросил я, – ведь он отказался на ней жениться. Разве нужно так много времени, чтобы понять эту простую вещь? – Вы всегда слишком прямо ставите вопросы, – сказала Клэр. – С женщинами так нельзя. Она задумывается потому, что ей жаль, как вы не понимаете? – А долго длился роман? – Нет, – ответила Клэр, – всего две недели. – Странно, она ведь всегда была такой задумчивой, – заметил я. – Месяц тому назад она так же грустила и мечтала, как сейчас. – Боже мой, – сказала Клэр, – просто тогда у нее был другой роман. – Это действительно очень просто, – сказал я, – простите меня, я не знал, что под пенсне вашей горничной скрыта трагедия какого-то женского Дон-Жуана, который, однако, любит, чтобы на нем женились, в противоположность Дон-Жуану литературному, относившемуся к браку отрицательно. – Но Клэр прервала меня и продекламировала с пафосом фразу, которую она прочла в рекламной афише и, читая которую, смеялась до слез:

Heureux acquéreurs de la vraie Salamandre
Jamais abandonnés par le constructeur[1]

Затем разговор вернулся к Дон-Жуану, потом, неизвестно как, перешел к подвижникам, к протопопу Аввакуму, но, дойдя до искушения святого Антония, я остановился, так как вспомнил, что подобные разговоры не очень занимают Клэр; она предпочитала другие темы – о театре, о музыке; но больше всего она любила анекдоты, которых знала множество. Она рассказывала мне эти анекдоты, чрезвычайно остроумные и столь же неприличные; и тогда разговор принимал особый оборот – и самые невинные фразы, казалось, таили в себе двусмысленность – и глаза Клэр становились блестящими; а когда она переставала смеяться, они делались темными и преступными и тонкие ее брови хмурились; но как только я подходил ближе к ней, она сердитым шепотом говорила: mais

[1] Счастливые обладатели настоящей «Саламандры»,
Никогда не оставляемые фабрикой! (*фр.*) – *Пер. автора.*

vous êtes fou[1] – и я отходил. Она улыбалась, и улыбка ее ясно говорила: mon Dieu, qu'il est simple![2] И тогда я, продолжая прерванный разговор, начинал с ожесточением ругать то, к чему обычно бывал совершенно равнодушен; я старался говорить как можно резче и обиднее, точно хотел отомстить за поражение, которое только что претерпел. Клэр насмешливо соглашалась с моими доводами; и оттого, что она так легко уступала мне в этом, мое поражение становилось еще более очевидным. – Oui, mon petit, c'est très intéressant, ce que vous dites là[3], – говорила она, не скрывая своего смеха, который относился, однако, вовсе не к моим словам, а все к тому же поражению, и подчеркивая этим пренебрежительным «là», что она всем моим доказательствам не придает никакого значения. Я делал над собой усилие, вновь преодолевая искушение приблизиться к Клэр, так как понимал, что теперь было поздно; я заставлял себя думать о другом, и голос Клэр доходил до меня полузаглушенным; она смеялась и рассказывала мне какие-то пустяки, которые я слушал с напряженным вниманием, пока не замечал, что Клэр просто забавляется. Ее развлекало то, что я ничего не понимал в такие моменты. На следующий день я приходил к ней примиренным; я обещал себе не приближаться к ней и выбирал такие темы, которые устранили бы опасность повторения вчерашних унизительных минут. Я говорил обо всем печальном, что мне пришлось видеть, и Клэр становилась тихой и серьезной и рассказывала мне в свою очередь, как умирала ее мать. – Asseyez-vous ici[4], – говорила она, указывая на кровать, и я садился совсем близко к ней, и она клала мне голову на колени и произносила: – Oui, mon petit, c'est triste, nous sommes bien malheureux quand même[5]. – Я слушал ее и боялся шевельнуться, так как малейшее мое дви-

---

[1] но вы с ума сошли (*фр.*). – *Пер. автора.*

[2] Боже, как он прост! (*фр.*) – *Пер. автора.*

[3] – Да, то, что вы говорите, очень интересно (*фр.*). – *Пер. автора.*

[4] – Садитесь сюда (*фр.*). – *Пер. автора.*

[5] – Да, это грустно, мы все-таки очень несчастны (*фр.*). – *Пер. автора.*

жение могло оскорбить ее грусть. Клэр гладила рукой одеяло то в одну, то в другую сторону; и печаль ее словно тратилась в этих движениях, которые сначала были бессознательными, потом привлекали ее внимание, и кончалось это тем, что она замечала на своем мизинце плохо срезанную кожу у ногтя и протягивала руку к ночному столику, на котором лежали ножницы. И она опять улыбалась долгой улыбкой, точно поняла и проследила в себе какой-то длинный ход воспоминаний, который кончился неожиданной, но вовсе не грустной мыслью; и Клэр взглядывала на меня мгновенно темневшими глазами. Я осторожно перекладывал ее голову на подушку и говорил: простите, Клэр, я забыл папиросы в кармане плаща – и уходил в переднюю, и тихий ее смех доносился до меня. Когда я возвращался, она замечала:

– J'étais etonnée tout à l'heure. Je croyais que vous portiez vos cigarettes toujours sur vous, dans la poche de votre pantalon, comme vous le faisiez jusqu'à present. Vous avez change d'habitude?[1]

И она смотрела мне в глаза, смеясь и жалея меня, и я знал, что она прекрасно понимала, почему я встал и вышел из комнаты. Вдобавок я имел неосторожность сейчас же вытащить портсигар из заднего кармана брюк. – Dites moi, – сказала Клэр, как бы умоляя меня ответить ей правду, – quelle est la différence entre un trench-coat et un pantalon?[2]

– Клэр, это очень жестоко, – ответил я.

– Je ne vous reconnais pas, mon petit. Mettez toujours en marche le phono, ça va vous distraire[3].

В тот вечер, уходя от Клэр, я услышал из кухни голос горничной – надтреснутый и тихий. Она пела с тоской веселую песенку, и это удивило меня.

---

[1] – Я была удивлена. Я думала, что вы носите папиросы в кармане брюк, как вы это делали до сих пор. Вы изменили этой привычке? (*фр.*) – *Пер. автора.*

[2] – Скажите мне... какая разница между плащом и брюками?.. (*фр.*) – *Пер. автора.*

[3] – Я вас не узнаю. Заведите граммофон, это вас развлечет (*фр.*). – *Пер. автора.*

C’est une chemise rose
Avec une petite femme dedans,
Fraîche comme la fleur éclose,
Simple comme la fleur des champs.[1]

Она вкладывала столько меланхолии в эти слова, столько ленивой грусти, что они начинали звучать иначе, чем обычно, и фраза «fraîche comme la fleur éclose» сразу напоминала мне пожилое лицо горничной, ее пенсне, ее роман и постоянную ее задумчивость. Я рассказал это Клэр; она отнеслась к несчастью горничной с участием – потому что с Клэр ничего подобного случиться не могло, и это сочувствие не пробуждало в ней личных чувств или опасений – и ей очень понравилась песенка:

C’est une chemise rose
Avec une petite femme dedans.

Она придавала этим словам самые разнообразные оттенки – то вопросительный, то утвердительный, то торжествующий и насмешливый. Каждый раз, как я слышал этот мотив на улице или в кафе, мне становилось не по себе. Однажды я пришел к Клэр и стал бранить песенку, говоря, что она слишком французская, что она пошлая и что соблазн такого легкого остроумия не увлек бы ни одного композитора более или менее способного; вот в этом главное отличие французской психологии от серьезных вещей – говорил я: это искусство, столь же непохожее на настоящее искусство, как поддельный жемчуг на неподдельный. – В этом не хватает самого главного, – сказал я, исчерпав все свои аргументы и рассердившись на себя. Клэр утвердительно кивнула головой, потом взяла мою руку и сказала:

– Il n’y manque qu’une chose[2].

– Что именно?

Она засмеялась и пропела:

---

[1] Почти непереводимо. Буквально это значит следующее:
Это розовая рубашка,
Внутри которой – женщина,
Свежая, как распустившийся цветок.
Простая, как цветок полей (*фр.*). – *Пер. автора.*

[2] – Здесь не хватает только одного (*фр.*). – *Пер. автора.*

C'est une chemise rose
Avec une petite femme dedans.

Когда Клэр выздоровела и провела несколько дней уже не в кровати, а в кресле или на chaise longue[1] и почувствовала себя вполне хорошо, она потребовала, чтобы я сопровождал ее в кинематограф. После кинематографа мы просидели около часа в ночном кафе. Клэр была со мной очень резка, часто обрывала меня: когда я шутил, она сдерживала свой смех и, улыбаясь против воли, говорила: «Non, ce n'est pas bien dit, ça»[2], – и так как она была в плохом, как мне казалось, настроении, то у нее было впечатление, что и другие всем недовольны и раздражены. И она с удивлением спрашивала меня: «Mais qu'est ce que vous avez ce soir? Vous n'êtes pas comme toujours»[3], – хотя я вел себя нисколько не иначе, чем всегда. Я проводил ее домой; шел дождь. У двери, когда я поцеловал ей руку, прощаясь, она вдруг раздраженно сказала: «Mais entrez donc, vous allez boire une tasse de thé»[4], – и произнесла это таким сердитым тоном, как если бы хотела прогнать меня: ну, уходите, разве вы не видите, что вы мне надоели? Я вошел. Мы выпили чай в молчании. Мне было тяжело, я подошел к Клэр и сказал:

– Клэр, не надо на меня сердиться. Я ждал встречи с вами десять лет. И я ничего у вас не прошу. – Я хотел прибавить, что такое долгое ожидание дает право на просьбу о самом простом, самом маленьком снисхождении; но глаза Клэр из серых стали почти черными; я с ужасом увидел – так как слишком долго этого ждал и перестал на это надеяться, – что Клэр подошла ко мне вплотную и ее грудь коснулась моего двубортного застегнутого пиджака; она обняла меня, лицо ее приблизилось; ледяной запах мороженого, которое она ела в кафе, вдруг почему-то необыкновенно поразил меня; и Клэр сказала: «Comment ne compreniez

[1] шезлонге (*фр.*).

[2] «Нет, это не остроумно» (*фр.*). – *Пер. автора.*

[3] «Что с вами сегодня вечером? Вы не такой, как всегда» (*фр.*). – *Пер. автора.*

[4] «Ну, входите же, выпейте чашку чая» (*фр.*). – *Пер. автора.*

vous pas?..»[1], – и судорога прошла по ее телу. Туманные глаза Клэр, обладавшие даром стольких превращений, то жестокие, то бесстыдные, то смеющиеся, – мутные ее глаза я долго видел перед собой; и когда она заснула, я повернулся лицом к стене и прежняя печаль посетила меня; печаль была в воздухе, и прозрачные ее волны проплывали над белым телом Клэр, вдоль ее ног и груди; и печаль выходила изо рта Клэр невидимым дыханием. Я лежал рядом с Клэр и не мог заснуть; и, отводя взгляд от ее побледневшего лица, я заметил, что синий цвет обоев в комнате Клэр мне показался внезапно посветлевшим и странно изменившимся. Темно-синий цвет, каким я видел его перед закрытыми глазами, представлялся мне всегда выражением какой-то постигнутой тайны – и постижение было мрачным и внезапным и точно застыло, не успев высказать все до конца; точно это усилие чьего-то духа вдруг остановилось и умерло – и вместо него возник темно-синий фон. Теперь он превратился в светлый; как будто усилие еще не кончилось и темно-синий цвет, посветлев, нашел в себе неожиданный, матово-грустный оттенок, странно соответствовавший моему чувству и несомненно имевший отношение к Клэр. Светло-синие призраки с обрубленными кистями сидели в двух креслах, стоявших в комнате; они были равнодушно враждебны друг другу, как люди, которых постигла одна и та же судьба, одно и то же наказание, но за разные ошибки. Лиловый бордюр обоев изгибался волнистой линией, похожей на условное обозначение пути, по которому проплывает рыба в неведомом море; и сквозь трепещущие занавески открытого окна все стремилось и не могло дойти до меня далекое воздушное течение, окрашенное в тот же светло-синий цвет и несущее с собой длинную галерею воспоминаний, падавших обычно, как дождь, и столь же неудержимых; но Клэр повернулась, проснувшись и пробормотав: «Vous ne dormez pas? Dormez toujours, mon petit, vous serez fatigué le matin»[2], – и глаза ее опять было потемнели. Она, однако,

[1] «Как, вы не понимали?..» (*фр.*) – *Пер. автора.*

[2] «Вы не спите? Спите, утром вы будете усталым» (*фр.*). – *Пер. автора.*

была не в силах преодолеть оцепенение сна и, едва договорив фразу, опять заснула; брови ее оставались поднятыми, и во сне она как будто удивлялась тому, что с ней сейчас происходит. В том, что она этому удивлялась, было нечто чрезвычайно для нее характерное: отдаваясь власти сна, или грусти, или другого чувства, как бы сильно оно ни было, она не переставала оставаться собой; и казалось, самые могучие потрясения не могли ни в чем изменить это такое законченное тело, не могли разрушить это последнее, непобедимое очарование, которое заставило меня потратить десять лет моей жизни на поиски Клэр и не забывать о ней нигде и никогда. – Но во всякой любви есть печаль, – вспоминал я, – печаль завершения и приближения смерти любви, если она бывает счастливой, и печаль невозможности и потери того, что нам никогда не принадлежало, – если любовь остается тщетной. И как я грустил о богатствах, которых у меня не было, так раньше я жалел о Клэр, принадлежавшей другим; и так же теперь, лежа на ее кровати, в ее квартире в Париже, в светло-синих облаках ее комнаты, которые я до этого вечера счел бы несбыточными и несуществующими – и которые окружали белое тело Клэр, покрытое в трех местах такими постыдными и мучительно соблазнительными волосами, так же теперь я жалел о том, что я уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда; и что пройдет еще много времени, пока я создам себе иной ее образ и он станет в ином смысле столь же недостижимым для меня, сколь недостижимым было до сих пор это тело, эти волосы, эти светло-синие облака.

Я думал о Клэр, о вечерах, которые я проводил у нее, и постепенно стал вспоминать все, что им предшествовало; и невозможность понять и выразить все это была мне тягостна. В тот вечер мне казалось более очевидно, чем всегда, что никакими усилиями я не могу вдруг охватить и почувствовать ту бесконечную последовательность мыслей, впечатлений и ощущений, совокупность которых возникает в моей памяти как ряд теней, отраженных в смутном и жидком зеркале позднего воображения. Самым прекрасным, самым пронзительным чувствам, которые я

когда-либо испытывал, я обязан был музыке; но ее волшебное и мгновенное существование есть лишь то, к чему я бесплодно стремлюсь, – и жить так я не могу. Очень часто в концерте я внезапно начинал понимать то, что до тех пор казалось мне неуловимым; музыка вдруг пробуждала во мне такие странные физические ощущения, к которым я считал себя неспособным, но с последними замиравшими звуками оркестра эти ощущения исчезали, и я опять оставался в неизвестности и неуверенности, мне часто присущими. Болезнь, создававшая мне неправдоподобное пребывание между действительным и мнимым, заключалась в неуменье моем ощущать отличие усилий моего воображения от подлинных, непосредственных чувств, вызванных случившимися со мной событиями. Это было как бы отсутствием дара духовного осязания. Всякий предмет был почти лишен в моих глазах точных физических очертаний; и в силу этого странного недостатка я никогда не мог сделать даже самого плохого рисунка; и позже, в гимназии, я при всем усилии не представлял себе сложных линий чертежей, хотя понимал ясную цель их сплетений. С другой стороны, зрительная память у меня была всегда хорошо развита, и я до сих пор не знаю, как примирить это явное противоречие: оно было первым из тех бесчисленных противоречий, которые впоследствии погружали меня в бессильную мечтательность; они укрепляли во мне сознание невозможности проникнуть в сущность отвлеченных идей; и это сознание, в свою очередь, вызывало неуверенность в себе. Я был поэтому очень робок; и моя репутация дерзкого мальчика, которую я имел в детстве, объяснялась, как это понимали некоторые люди, например, моя мать, именно сильным желанием победить эту постоянную несамоуверенность. Позже у меня появилась привычка к общению с самыми разнообразными людьми, и я даже выработал известные правила разговора, которых почти никогда не преступал. Они заключались в употреблении нескольких десятков мыслей, достаточно сложных на вид и чрезвычайно примитивных на самом деле, доступных любому собеседнику; но сущность этих простых понятий, общепринятых и обязательных, всегда

была мне чужда и неинтересна. Я, однако, не мог победить в себе мелочного любопытства, и мне доставляло удовольствие вызывать некоторых людей на откровенность; их унизительные и ничтожные признания никогда не возбуждали во мне вполне законного и понятного отвращения; оно должно было бы появляться, но не появлялось. Я думаю, это происходило потому, что резкость отрицательных чувств была мне несвойственна, я был слишком равнодушен к внешним событиям; мое глухое, внутреннее существование оставалось для меня исполненным несравненно большей значительности. И все-таки в детстве оно было более связано с внешним миром, чем впоследствии; позже оно постепенно отдалялось от меня – и чтобы вновь очутиться в этих темных пространствах с густым и ощутимым воздухом, мне нужно бывало пройти расстояние, которое увеличивалось по мере накопления жизненного опыта, то есть просто запаса соображений и зрительных или вкусовых ощущений. Изредка я с ужасом думал, что, может быть, когда-нибудь наступит такой момент, который лишит меня возможности вернуться в себя; и тогда я стану животным – и при этой мысли в моей памяти неизменно возникала собачья голова, поедающая объедки из мусорной ямы. Однако опасность того сближения, мнимого и действительного, которое я считал своей болезнью, никогда не была далека от меня; и изредка в приступах душевной лихорадки я не мог ощутить моего подлинного существования; гул и звон стояли в ушах, и на улице мне вдруг становилось так трудно идти, так трудно идти, как будто я с моим тяжелым телом пытаюсь продвигаться в том плотном воздухе, в тех мрачных пейзажах моей фантазии, где так легко скользит удивленная тень моей головы. В такие минуты меня оставляла память. Она вообще была самой несовершенной моей способностью, – несмотря на то, что я легко запоминал наизусть целые печатные страницы. Она покрывала мои воспоминания прозрачной, стеклянной паутиной и уничтожала их чудесную неподвижность; и память чувств, а не мысли, была неизмеримо более богатой и сильной. Я никогда не мог дойти до первого моего ощущения, я не

знал, каким оно было; сознавать происходящее и впервые понимать его причины я стал тогда, когда мне было лет шесть; и восьми лет от роду, благодаря большому сравнительно количеству книг, которые от меня запирали и которые я все-таки читал, я был способен к письменному изложению мыслей; я сочинил тогда довольно длинный рассказ об охотнике на тигров. Из раннего моего детства я запомнил всего лишь одно событие. Мне было три года; мои родители вернулись на некоторое время в Петербург, из которого незадолго перед этим уехали; они должны были пробыть там очень немного, что-то недели две. Они остановились у бабушки, в большом ее доме на Кабинетской улице, том самом, где я родился. Окна квартиры, находившейся на четвертом этаже, выходили во двор. Помню, что я остался один в гостиной и кормил моего игрушечного зайца морковью, которую попросил у кухарки. Вдруг странные звуки, доносившиеся со двора, привлекли мое внимание. Они были похожи на тихое урчание, прерывавшееся изредка протяжным металлическим звоном, очень тонким и чистым. Я подошел к окну, но как я ни пытался подняться на цыпочках и что-нибудь увидеть, ничего не удавалось. Тогда я подкатил к окну большое кресло, взобрался на него и оттуда влез на подоконник. Как сейчас вижу пустынный двор внизу и двух пильщиков; они поочередно двигались взад и вперед, как плохо сделанные металлические игрушки с механизмом. Иногда они останавливались, отдыхая; и тогда раздавался звон внезапно задержанной и задрожавшей пилы. Я смотрел на них как зачарованный и бессознательно сползал с окна. Вся верхняя часть моего тела свешивалась во двор. Пильщики увидели меня; они остановились, подняв головы и глядя вверх, но не произнося ни слова. Был конец сентября; помню, что я вдруг почувствовал холодный воздух и у меня начали зябнуть кисти рук, не закрытые оттянувшимися назад рукавами. В это время в комнату вошла моя мать. Она тихонько приблизилась к окну, сняла меня, закрыла раму – и упала в обморок. Этот случай запомнился мне чрезвычайно; я помню еще одно событие, случившееся значительно позже, – и оба эти воспоминания

сразу возвращают меня в детство, в тот период времени, понимание которого мне теперь уже недоступно.

Это второе событие заключалось в том, что когда меня только что научили грамоте, я прочел в маленькой детской хрестоматии рассказ о деревенском сироте, которого учительница из милости приняла в школу. Он помогал сторожу топить печь, убирал комнаты и очень усердно учился. И вот однажды школа сгорела, и этот мальчик остался зимой на улице в суровый мороз. Ни одна книга впоследствии не производила на меня такого впечатления: я видел этого сироту перед собой, видел его мертвых отца и мать и обгоревшие развалины школы; и горе мое было так сильно, что я рыдал двое суток, почти ничего не ел и очень мало спал. Отец мой сердился и говорил:

– Вот, научили так рано читать мальчика, – вот все потому так и вышло. Ему бегать нужно, а не читать. Слава Богу, будет еще время. И зачем в детских книжках такие рассказы печатают?

Отец мой умер, когда мне было восемь лет. Помню, как мать привела меня в лечебницу, где он лежал. Я не видал его месяца полтора, с самого начала болезни, и меня поразило его исхудавшее лицо, черная борода и горящие глаза. Он погладил меня по голове и глухо сказал, обращаясь к матери:

– Береги детей.

Мать не могла ему отвечать. И тогда он прибавил с необыкновенной силой:

– Боже мой, если бы мне сказали, что я буду простым пастухом, только пастухом, но что я буду жить!

Потом мать выслала меня из комнаты. Я вышел в садик: хрустел под ногами песок, было жарко и светло и очень далеко видно. Сев с матерью в коляску, я сказал:

– Мама, у папы все-таки хороший вид, я думал, гораздо хуже.

Она ничего не ответила, только прижала мою голову к коленям, и так мы доехали до дому.

Было в моих воспоминаниях всегда нечто невыразимо сладостное: я точно не видел и не знал всего, что со мной случилось после того момента, который я воскрешал: и я оказывался попеременно то кадетом, то школьником,

то солдатом – и только им; все остальное переставало существовать. Я привыкал жить в прошедшей действительности, восстановленной моим воображением. Моя власть в ней была неограниченна, я не подчинялся никому, ничьей воле; и долгими часами, лежа в саду, я создавал искусственные положения всех людей, участвовавших в моей жизни, и заставлял их делать то, что хотел, и эта постоянная забава моей фантазии постепенно входила в привычку. Потом сразу наступил такой период моей жизни, когда я потерял себя и перестал сам видеть себя в картинах, которые себе рисовал. Я тогда много читал; помню портрет Достоевского на первом томе его сочинений. Эту книгу у меня отобрали и спрятали; но я разбил стеклянную дверцу шкафа и из множества книг вытащил именно том с портретом. Я читал все без разбора, но не любил книг, которые мне давали, и ненавидел всю «золотую библиотеку», за исключением сказок Андерсена и Гауфа. В то время личное мое существование было для меня почти неощутимо. Читая Дон-Кихота, я представлял себе все, что с ним происходило, но работа моего воображения совершалась помимо меня, и я не делал почти никаких усилий. Я не принимал участия в подвигах Рыцаря Печального Образа и не смеялся ни над ним, ни над Санчо Пансой; меня вообще как будто не было и книгу Сервантеса читал кто-то другой. Я думаю, что это время усиленного чтения и развития, бывшее эпохой моего совершенно бессознательного существования, я мог бы сравнить с глубочайшим душевным обмороком. Во мне оставалось лишь одно чувство, окончательно созревшее тогда и впоследствии меня уже не оставлявшее, чувство прозрачной и далекой печали, вполне беспричинной и чистой. Однажды, убежав из дому и гуляя по бурому полю, я заметил в далеком овраге нерастаявший слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле; но он слабо блестел сине-зеленым цветом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго

вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб. И уже несколько лет спустя, когда я читал одну трогательную книгу без заглавных листов, я представил себе весеннее поле и далекий снег и то, что стоит только сделать несколько шагов, и увидишь грязные, тающие остатки. – И больше ничего? – спрашивал я себя. И жизнь мне показалась такой же: вот, я проживу на свете столько-то лет и дойду до моей последней минуты и буду умирать. Как? И больше ничего? То были единственные движения моей души, происходившие в этот период времени. А между тем я читал иностранных писателей, наполнялся содержанием чуждых мне стран и эпох, и этот мир постепенно становился моим: и для меня не было разницы между испанской и русской обстановкой.

Я очнулся от этого состояния через год, незадолго до поступления в гимназию. И уже тогда все мои ощущения были мне известны, и в дальнейшем происходило только внешнее расширение моих знаний, очень незначительное и очень неважное. Моя внутренняя жизнь начинала существовать вопреки непосредственным событиям; и все изменения, происходившие в ней, совершались в темноте и вне какой бы то ни было зависимости от моих отметок по поведению, от гимназических наказаний и неудач. То время, когда я был всецело погружен в себя, ушло и побледнело и только изредка возвращалось ко мне, как припадки утихающей, но неизлечимой болезни.

Семья моего отца часто переезжала с места на место, нередко пересекая большие расстояния. Я помню хлопоты, укладывание громоздких вещей и вечные вопросы о том, что именно положено в корзину с серебром, а что в корзину с шубами. Отец неизменно бывал весел и беспечен, мать сохраняла строгое выражение; всеми заботами по укладыванию и путешествию ведала она. Она взглядывала на свои маленькие золотые часики, висевшие, по тогдашнему обычаю, на груди, и все боялась опоздать, и отец ее успокаивал, говоря с удивленным видом:

– Ну, у нас еще масса времени.

Сам он всегда и всюду опаздывал. Случалось, что, когда ему нужно было уезжать, он вспоминал об этом за

три дня, говорил: ну, уж на этот раз я буду точен – и неизменно, после поцелуев, прощанья и слез моей маленькой сестры, возвращался домой через полчаса.

– Просто не понимаю, как это могло выйти. В моем распоряжении было не меньше четырнадцати минут. Являюсь на вокзал – только что, говорят, ушел поезд. Удивительно.

Он всегда был занят химическими опытами, географическими работами и общественными вопросами. Это всецело его поглощало, и об остальном он нередко забывал – точно остального и не существовало. Впрочем, были еще две вещи, которые его интересовали: пожары и охота. На пожарах он проявлял необычайную энергию. Он вытаскивал из горящего дома все, что мог; и так как он был очень силен, то нередко спасал от пламени шкафы, которые выносил на спине, и однажды, в Сибири, когда пылал дом одного из богатых купцов, он ухитрился спустить по деревянной лестнице несгораемую кассу. Между прочим, незадолго до пожара он обращался к этому купцу с просьбой сдать внаем одну из квартир, которая находилась в другом доме купца; но тот, узнав, что отец не коммерсант, наотрез отказался. После пожара он пришел к нам и попросил отца переехать в тот дом и даже принес какие-то подарки. Отец успел забыть о пожаре: он был рад помочь кому угодно, но его влекло туда не только сочувствие людям, находящимся в несчастье; он питал непонятную любовь к огню. Купец между тем настаивал. – Разве ж я знал, что вы мою кассу спасете? – простодушно говорил он. Отец, наконец, вспомнил, в чем дело, рассердился и выпроводил купца, сказав ему: вы тут всякие глупости говорите, а я занят.

Он любил физические упражнения, был хорошим гимнастом, неутомимым наездником, – он все смеялся над «посадкой» его двух братьев, драгунских офицеров, которые, как он говорил, «даже кончив их эту самую лошадиную академию, не научились ездить верхом; впрочем, они и в детстве были не способны к верховой езде, а пошли в лошадиную академию потому, что там алгебры не надо учить», – и прекрасным пловцом. На глубоком месте он

делал такую необыкновенную вещь, которой я потом нигде не видал: он садился, точно это была земля, а не вода, поднимал ноги так, что его тело образовывало острый угол, и вдруг начинал вертеться, как волчок: я помню, как я, сидя голым на берегу, смеялся; и потом, вцепившись руками в шею отца, переплывал реку на его широкой волосатой спине. Охота была его страстью. Иногда он возвращался домой на розвальнях, после суток осторожного и утомительного выслеживания зверя, – и с саней глядели стеклянные, мертвые глаза лося; он охотился за турами на Кавказе; и ему ничего не стоило поехать за несколько сот верст по простому охотничьему приглашению. Он никогда ничем не болел, не знал усталости и просиживал в своем кабинете, заставленном колбами, ретортами и ящиками с какой-то вязкой массой, много часов подряд, а потом уезжал на три дня охотиться за волками, мало спал и, вернувшись, опять садился за письменный стол как ни в чем не бывало. Терпение его было необычайно. Целый год, вечерами, он лепил из гипса рельефную карту Кавказа, с мельчайшими географическими подробностями. Она была уже кончена. Я как-то вошел в кабинет отца; его не было. Карта стояла наверху, на этажерке. Я потянулся за ней, дернул ее к себе, – она упала на пол и разбилась вдребезги. На шум пришел отец, посмотрел на меня укоризненно и сказал:

– Коля, никогда не ходи в кабинет без моего разрешения.

Потом он посадил меня к себе на плечи и пошел к матери. Он рассказал ей, что я разбил карту, и прибавил: представь себе, придется карту опять делать с самого начала. Он принялся за работу, и к концу второго года карта была готова.

Я мало знал моего отца, но я знал о нем самое главное: он любил музыку и подолгу слушал ее, не двигаясь, не сходя с места. Он не переносил зато колокольного звона. Все, что хоть как-нибудь напоминало ему о смерти, оставалось для него враждебным и непонятным; и этим же объяснялась его нелюбовь к кладбищам и памятникам. И однажды я видел отца очень взволнованным и расстроенным, – что случалось с ним чрезвычайно редко. Это про-

изошло в Минске, когда он узнал о смерти одного из своих товарищей по охоте, бедного чиновника; я не знал его имени. Помню, что он был высоким человеком, с лысиной и бесцветными глазами, плохо одетым. Он всегда необыкновенно оживлялся, говоря о куропатках, зайцах и перепелах; он предпочитал мелкую дичь.

– Волк – это не охота, Сергей Александрович, – сердито говорил он отцу. – Это баловство. И волк баловство, и медведь баловство.

– Как баловство? – возмущался отец. – А лось? А кабан? Да знаете ли вы, что такое кабан?

– Не знаю я, что такое кабан, Сергей Александрович. Но вы меня, повторяю, не переубедите.

– Ну, Бог с вами, – неожиданно успокаивался отец. – А чай вы тоже баловством считаете?

– Нет, Сергей Александрович.

– Ну, тогда идемте пить чай. Мелочью все занимаетесь. Вот я посмотрю, сколько вы чаю можете выпить.

В Минске частыми нашими гостями были этот чиновник и художник Сиповский. Сиповский был высокий старик с сердитыми бровями, борзятник и любитель искусства. Он был громаден и широк в плечах; карманы его отличались страшной глубиной. Один раз, придя к нам и не застав дома никого, кроме меня и няни, он поглядел на меня в упор и отрывисто спросил:

– Петуха видел?

– Видел.

– Не боишься?

– Нет.

– Вот смотри.

Он залез в карман и вытащил оттуда огромного живого петуха. Петух застучал когтями по полу и принялся кружиться по передней.

– А вам петух зачем? – спросил я.

– Рисовать буду.

– Он не будет сидеть смирно.

– А я заставлю.

– Нет, не заставите.

– Нет, заставлю.

Мы вошли в детскую. Няня, взмахивая руками, загнала туда петуха. Сиповский, придерживая его одной рукой, другой обвел мелом круг по полу – и петух, к моему изумлению, покачнувшись раза два, остался неподвижным. Сиповский быстро нарисовал его. Помню еще один его рисунок: охотник, наклонившись набок, скачет на лошади: прямо перед ним две борзые наседают на волка. Лицо у охотника красное и отчаянное; все четыре ноги коня как-то сплелись вместе. Эту картину Сиповский подарил мне. Я очень любил вообще изображения животных, знал, никогда их не видя, множество пород диких зверей и три тома Брэма прочел два раза с начала до конца. Как раз в то время, когда я читал второй том «Жизни животных», ощенилась сука отца, сеттер-лаверак. Отец роздал слепых собачонок знакомым и оставил себе только одного щенка, самого крупного. Дня через три вечером к нам прибежал чиновник.

– Сергей Александрович, – сказал он со слезами в голосе, даже не поздоровавшись. – Вы всех щенят роздали? Что же, обо мне забыли?

– Забыл, – ответил отец, глядя в пол. Ему было неловко.

– Так ни одного и не осталось?

– Один есть, да это для меня.

– Отдайте его мне, Сергей Александрович.

– Не могу.

– Я, Сергей Александрович, – сказал чиновник с отчаянием, – честный человек. Но если вы не отдадите щенка, я решусь и украду.

– Попробуйте.

– А если украду и вы не заметите?

– Ваше счастье.

– Требовать обратно не будете?

– Нет.

Когда он ушел, отец засмеялся и сказал с удовольствием:

– Вот это охотник. Вот это я понимаю.

Он был очень доволен, и когда щенок через несколько дней действительно пропал, он для виду рассер-

дился, даже сказал, что, дескать, в доме ничего уберечь нельзя, – его неожиданно поддержала няня, сказав: нынче собаку, а завтра самовар унесут, – и сестра моя, необыкновенно любопытная, спросила мать: а потом, мама, пианино, да? – но исчезновение щенка, видимо, нисколько его не огорчило. Чиновник не показывался недели две, потом явился. – Как собака? – спросил отец. Тот только широко улыбнулся и ничего не ответил. Щенок этот вырос необыкновенно быстро. Звали его Трезором; и очень часто, когда чиновник приходил к нам, Трезор прибегал вслед за ним, и мы его считали почти что собственным. Один раз – отец куда-то уехал, мать читала у себя, был осенний солнечный день – Трезор с высунутым языком и окровавленной мордой выскочил откуда-то из-за угла, бросился ко мне, завизжал, схватил меня зубами за штаны и потащил вон. Я побежал за ним. Мы прошли сквозь еврейский квартал, находившийся на окраине, вышли за город, в поле, и там я увидел чиновника, который неподвижно лежал на траве, лицом вниз. Я тормошил его, звал, пытался заглянуть ему в лицо, но он оставался неподвижен. Трезор лизал его голову, на которой запеклась кровь, растекшаяся по исковерканной лысине. Потом пес сел на задние лапы и завыл; он захлебывался от воя и то визжал, то опять принимался выть. Мне стало очень жутко. Мы были втроем в поле, дул ветерок с реки; страшное старинное ружье валялось рядом с телом чиновника. Не помню, как я добежал домой. Увидев отца, я тотчас рассказал ему все. Он нахмурился и, не сказав ни слова, ускакал на лошади, которую еще не успели расседлать, так как он только что приехал. Он вернулся через двадцать минут и объяснил, что чиновник, неловко разряжая ружье, пустил себе в лоб весь заряд крупной дроби. Отец был чрезвычайно расстроен несколько дней, не шутил, не смеялся, даже не ласкал меня. За обедом или за ужином он вдруг переставал есть и задумывался.

– Ты о чем? – спрашивала мать.

– Какая бессмысленная вещь! – говорил он. – Как глупо погиб человек! Вот, нет его больше – и ничего не поделаешь.

И только спустя некоторое время он опять стал таким же, как всегда, и по-прежнему каждый вечер рассказывал продолжение бесконечной сказки: как мы всей семьей едем на корабле, которым командую я.

– Маму мы с собой не возьмем, Коля, – говорил он. – Она боится моря и будет только расстраивать храбрых путешественников.

– Пусть мама останется дома, – соглашался я.

– Итак, мы, значит, плывем с тобой в Индийском океане. Вдруг начинается шторм. Ты капитан, к тебе все обращаются, спрашивают, что делать. Ты спокойно отдаешь команду. Какую, Коля?

– Спустить шлюпки! – кричал я.

– Ну, рано еще спускать шлюпки. Ты говоришь: закрепите паруса и ничего не бойтесь.

– И они крепят паруса, – продолжал я.

– Да, Коля, они крепят паруса.

За время моего детства я совершил несколько кругосветных путешествий, потом открыл новый остров, стал его правителем, построил через море железную дорогу и привез на свой остров маму прямо в вагоне – потому, что мама очень боится моря и даже не стыдится этого. Сказку о путешествии на корабле я привык слушать каждый вечер и сжился с ней так, что когда она изредка прекращалась – если, например, отец бывал в отъезде, – я огорчался почти до слез. Зато потом, сидя на его коленях и взглядывая по временам на спокойное лицо матери, находившейся обычно тут же, я испытывал настоящее счастье, такое, которое доступно только ребенку или человеку, награжденному необычайной душевной силой. А потом сказка прекратилась навсегда: мой отец заболел и умер.

Перед смертью он говорил, задыхаясь:

– Только, пожалуйста, хороните меня без попов и без церковных церемоний.

Но его все-таки хоронил священник: звонили колокола, которых он так не любил; и на тихом кладбище буйно рос высокий бурьян. Я прикладывался к восковому лбу; меня подвели к гробу, и дядя мой поднял меня, так как я был слишком мал. Та минута, когда я, неловко вися

на руках дяди, заглянул в гроб и увидел черную бороду, усы и закрытые глаза отца, была самой страшной минутой моей жизни. Гудели высокие церковные своды, шуршали платья теток, и вдруг я увидал нечеловеческое, окаменевшее лицо моей матери. В ту же секунду я вдруг понял все: ледяное чувство смерти охватило меня, и я ощутил болезненное исступление, сразу увидев где-то в бесконечной дали мою собственную кончину – такую же судьбу, как судьба моего отца. Я был бы рад умереть в то же мгновение, чтобы разделить участь отца и быть вместе с ним. У меня потемнело в глазах. Меня подвели к матери, и ее холодная рука легла на мою голову; я взглянул на нее, но мать не видела меня и не знала, что я стою рядом с ней. С кладбища вскоре мы поехали домой; коляска подпрыгивала на рессорах, могила моего отца оставалась позади, воздух качался передо мной. Все дальше и дальше беззвучно скользят лошадиные спины; мы возвращаемся домой, а отец неподвижно лежит там; с ним погиб я, и мой чудесный корабль, и остров с белыми зданиями, который я открыл в Индийском океане. Воздух колебался в моих глазах; желтый свет вдруг замелькал передо мной, невыносимое солнечное пламя, кровь прилила к моей голове, и я очень плохо себя почувствовал. Дома меня уложили в постель: я заболел дифтеритом.

Индийский океан, и желтое небо над морем, и черный корабль, медленно рассекающий воду. Я стою на мостике, розовые птицы летят над кормой, и тихо звенит пылающий, жаркий воздух. Я плыву на своем пиратском судне, но плыву один. Где же отец? И вот корабль проходит мимо лесистого берега; в подзорную трубу я вижу, как среди ветвей мелькает крупный иноходец матери и вслед за ним, размашистой, широкой рысью, идет вороной скакун отца. Мы поднимаем паруса и долго едем наравне с лошадьми. Вдруг отец поворачивается ко мне. – Папа, куда ты едешь? – кричу я. И глухой, далекий голос его отвечает мне что-то непонятное. – Куда? – переспрашиваю я. – Капитан, – говорит мне штурман, – этого человека везут на кладбище. – Действительно, по желтой дороге

медленно едет пустой катафалк, без кучера; и белый гроб блестит на солнце. – Папа умер! – кричу я. Надо мной склоняется мать. Волосы ее распущены, сухое лицо страшно и неподвижно.

– Нет, Коля, папа не умер.

– Крепите паруса и ничего не бойтесь! – командую я. – Начинается шторм!

– Опять кричит, – говорит няня.

Но вот мы проходим Индийский океан и бросаем якорь. Все погружается в темноту: спят матросы, спит белый город на берегу, спит мой отец в глубокой черноте, где-то недалеко от меня, и тогда мимо нашего заснувшего корабля тяжело пролетают черные паруса Летучего Голландца.

Через некоторое время мне стало лучше; и няня подолгу сидела у моей постели и подолгу рассказывала мне о разных вещах – и я узнал от нее много интересного. Она рассказала мне, как в Сибири на улицах продают замороженные круги молока, как ставят на ночь провизию у окон для беглых каторжников, скитающихся лютой зимой по городам и селам. Жизнь моих родителей в Сибири, по словам няни, была прекрасной.

– Ничего барыня в хозяйстве не знала, – говорит няня. – Ничего. Курей с утками путала. Курей было много, ну только ни одна не неслась. Покупали яйца на базаре. Дешевые были яйца, тридцать пять копеек сотня, не то что здесь. Мяса фунт две копейки. Масло в бочках продавали, вот как. А экономка была очень хитрая. Идет раз барин покойный по улице, к нему баба подходит.

– Не знаете, говорит, и где здесь лесничего дом? То есть наш, значит. Он говорит: знаю. А вам кого? Ихнюю экономку, говорит. Она, говорит, яйца вот как дешево продает, а на базаре, говорит, дороже. Пошли они с барином за покупками, впереди идет баба, а за ней барин. Ну, экономка и призналась, да все плакала, плакала, прямо совестно.

– Няня, а про Васильевну?

– Сейчас про Васильевну. Наняла барыня повариху. Уже серьезная была женщина, лет пятьдесят, а может, тридцать.

– Как же, няня, это большая разница.

– Разница небольшая, – убежденно говорит няня. – Ты слушай, а то я рассказывать не стану.

– Я больше не буду.

– Звали Васильевной. Я, говорит, нездешняя, только у меня сын на каторге. А сама я из Петербурга. Все, говорит, умею готовить. И верно, все готовила. Жили, жили, вот раз барыня гостей созвала. Васильевна пирог делает, а стол накрыли еще днем. Вечером барыня приезжает, а она все на лошади ездила, хорошая лошадь, гнедая, хоть гнедые нам не ко двору, но хорошая. Приезжает, значит, и видит: ничего, то есть, нет, все чисто. Пирога нет, посуда разбросана. Идет на кухню. А Васильевна сидит, вся красная, злая, не дай Бог. Барыня спрашивает: почему не готово? Что вы, говорит, Васильевна? А та отвечает: я сама барыня, ишь как раскричалась. Не хочу больше подавать, хочу сама есть. И весь пирог обкусанный. Потом Васильевна как сбежала со двора, так только на шестой день воротилась. Пришла грязная, обтрепанная, все платье оборвано, а сама плачет. Простите, говорит, меня, такой у меня запой бывает, ничего не поделаешь. Большая аккуратистка.

– Кто это, няня?

– Аккуратистка? Васильевна. А теперь ты спи; и болезнь твоя будет спать, а после пройдет. Спи.

Был легкий, паутинный день, когда я впервые вышел. Убегали белые, маленькие облака; но уже на востоке синел холодеющий воздух, и я подумал, что в такой же день полевая мышь Андерсена, приютившая Дюймовочку, запирала дверь своей норки, осматривала запасы зерна, а вечером, ложась спать, говорила: «Ну, теперь остается только сыграть свадьбу. Ты должна быть благодарна Богу, ведь не у всякого жениха есть такая шуба, как у крота. И, пожалуйста, не забывай, что ты бесприданница».

Я очень жалел Дюймовочку и особенно сочувствовал тому, что она была одинока, – потому что все мое детство я провел один. Впрочем, я не дичился моих сверстников. Я играл и в войну, и в прятки, был, по мнению многих, даже слишком общительным; но я никого не любил и без сожаления расставался с теми, от кого меня отделяли

обстоятельства. Я быстро привыкал к новым людям и, привыкнув, переставал замечать их существование. Это была, пожалуй, любовь к одиночеству, но в довольно странной, не простой форме. Когда я оставался один, мне все хотелось к чему-то прислушиваться; другие мне мешали это делать. Я не любил откровенничать; но так как я обладал привычкой быстрого воображения, то задушевные разговоры были мне легки. Не будучи лгуном, я высказывал не то, что думал, невольно отстраняя от себя трудности искренних признаний, и товарищей у меня не было. Впоследствии я понял, что, поступая так, я ошибался. Я дорого заплатил за эту ошибку, я лишился одной из самых ценных возможностей: слова «товарищ» и «друг» я понимал только теоретически. Я делал невероятные усилия, чтобы создать в себе это чувство; но я добился лишь того, что понял и почувствовал дружбу других людей, и тогда вдруг я ощутил ее до конца. Она становилась особенно дорога, когда появлялся призрак смерти или старости, когда многое, что было приобретено вместе, теперь вместе потеряно. Я думал: дружба – это значит: мы еще живы, а другие умерли. Помню, когда я учился в кадетском корпусе, у меня был товарищ Диков; мы дружили потому, что оба умели хорошо ходить на руках. Потом мы больше не встречались – так как меня взяли из корпуса. Я помнил о Дикове, как обо всех остальных, и никогда не думал о нем. Спустя много лет в Севастополе в жаркий день я увидел на кладбище деревянный крест и дощечку с надписью: «Здесь похоронен кадет Тимофеевского корпуса Диков, умерший от тифа». В тот момент я почувствовал, что потерял друга. Бог весть, почему этот чужой человек стал мне так близок, точно я провел с ним всю мою жизнь. Я заметил тогда, что чувство утраты и печали особенно сильно в дни прекрасной погоды, в особенно легком и прозрачном воздухе; мне казалось, что такие же состояния бывают и в моей душе; и если где-то далеко внутри меня наступает тишина, заменяющая тот тихий непрестанный шум моей душевной жизни, которого я почти не слышу, но который звучит всегда, а в иные моменты лишь слегка ослабевает, – это значит, что произошла катастрофа. И мне

представилось огромное пространство земли, ровное, как пустыня, и видимое до конца. Далекий край этого пространства внезапно отделяется глубокой трещиной и бесшумно падает в пропасть, увлекая за собой все, что на нем находилось. Наступает тишина. Потом беззвучно откалывается второй слой, за ним третий; и вот мне уже остается лишь несколько шагов до края; и, наконец, мои ноги уходят в пылающий песок; в медленном песчаном облаке я тяжело лечу туда, вниз, куда уже упали все остальные. Так близко, над головой, горит желтый свет, и солнце, как громадный фонарь, освещает черную воду неподвижного озера и оранжевую мертвую землю. Мне стало тяжело – и я, как всегда, подумал о матери, которую я знал меньше, чем отца, и которая всегда оставалась для меня загадочной. Она совсем не походила на отца – ни по привычкам, ни по вкусам, ни по характеру. Мне казалось, что и в ней таилась уже та опасность внутренних взрывов и постоянной раздвоенности, которая во мне была совершенно несомненной. Она была очень спокойной женщиной, несколько холодной в обращении, никогда не повышавшей голоса: Петербург, в котором она прожила до замужества, чинный дом бабушки, гувернантки, выговоры и обязательное чтение классических авторов оказали на нее свое влияние. Прислуга, не боявшаяся отца, даже когда он кричал своим звучным голосом: это черт знает что такое! – всегда боялась матери, говорившей медленно и никогда не раздражавшейся. С самого раннего моего детства я помню ее неторопливые движения, тот холодок, который от нее исходил, и вежливую улыбку; она почти никогда не смеялась. Она редко ласкала детей; и в то время, как к отцу я бежал навстречу и прыгал ему на грудь, зная, что этот сильный человек только иногда притворяется взрослым, а, в сущности, он такой же, как и я, мой ровесник, и если я приглашу его сейчас идти в сад и возить игрушечные коляски, то он подумает и пойдет, – к матери я подходил потихоньку, чинно, как полагается благовоспитанному мальчику, и уж, конечно, не позволил бы себе кричать от восторга или стремглав нестись в гостиную. Я не боялся матери: у нас в доме никого не наказывали – ни меня,

ни сестер; но я не переставал ощущать ее превосходство над собой, – превосходство необъяснимое, но несомненное и вовсе не зависевшее ни от ее знаний, ни от ее способностей, которые, действительно, были исключительны. Ее память была совершенно непогрешима, она помнила все, что когда-либо слышала или читала. По-французски и по-немецки она говорила с безукоризненной точностью и правильностью, которая могла бы, пожалуй, показаться слишком классической; но и в русской речи моя мать – при всей ее простоте и нелюбви к эффектным выражениям – употребляла только литературные обороты и говорила с обычной своей холодностью и равнодушно-презрительными интонациями. Такой она была всегда; только отцу она вдруг за столом или в гостиной улыбалась неудержимо радостной улыбкой, которой в другое время я не видал у нее ни при каких обстоятельствах. Мне она часто делала выговоры, – совершенно спокойные, произнесенные все тем же ровным голосом; отец мой при этом сочувственно на меня смотрел, кивал головой и как бы оказывал мне какую-то безмолвную поддержку. Потом он говорил:

– Ну, Бог с ним, он больше не будет. Не будешь, Коля?

– Нет, не буду.

– Ну, иди.

Я поворачивался, а он замечал извиняющимся тоном:

– В конце концов, было бы печально, если бы он не шалил, а был тихоней. В тихом омуте черти водятся.

Делая мне замечания и объясняя, почему следует поступать так, а не иначе, мать, однако, со мной почти не разговаривала, то есть не допускала, что я могу возражать. С отцом я спорил, с матерью – никогда. Однажды, я помню, я пытался ей что-то ответить; она посмотрела на меня с удивлением и любопытством, точно впервые заметив, что я обладаю даром слова. Я был, впрочем, самым неспособным в семье: сестры мои целиком унаследовали от матери быстроту понимания и феноменальную память и развивались быстрее, чем я; мне никогда не давали понять этого, но я очень хорошо знал это сам. В детстве, как и позже, я был чужд зависти; а мать мою очень любил, несмотря на ее холодность. Эта спокойная женщина, похо-

жая на воплотившуюся картину и как будто сохранившая в себе ее чудесную неподвижность, была в самом деле совсем не такой, какой казалась. Мне понадобились годы, чтобы понять это; а поняв, я сидел долгими часами в задумчивости, представляя себе ее настоящую, а не кажущуюся жизнь. Она любила литературу так сильно, что это становилось странным. Она читала часто и много; и, кончив книгу, не разговаривала, не отвечала на мои вопросы; она смотрела прямо перед собой остановившимися, невидящими глазами и не замечала ничего окружающего. Она знала наизусть множество стихов, всего «Демона», всего «Евгения Онегина», с первой до последней строчки; но вкус отца – немецкую философию и социологию – недолюбливала: это было ей менее интересно, нежели остальное. Никогда у нас в доме я не видел модных романов – Вербицкой или Арцыбашева; кажется, и отец, и мать сходились в единодушном к ним презрении. Первую такую книгу принес я; отца в то время не было уже в живых, а я был учеником четвертого класса, и книга, которую я случайно оставил в столовой, называлась «Женщина, стоящая посреди». Мать ее случайно увидела – и, когда я вернулся домой вечером, она спросила меня, брезгливо приподняв заглавный лист книги двумя пальцами:

– Это ты читаешь? Хороший у тебя вкус.

Мне стало стыдно до слез; и всегда потом воспоминание о том, что мать знала мое кратковременное пристрастие к порнографическим и глупым романам, – было для меня самым унизительным воспоминанием; и если бы она могла сказать это моему отцу, мне кажется, я не пережил бы такого несчастья.

Моего отца мать любила всеми своими силами, всей душой. Она не плакала, когда он умер; но и мне, и няне было страшно оставаться наедине с ней. Три месяца, с раннего утра до поздней ночи, она ходила по гостиной, не останавливаясь, из одного угла в другой. Она ни с кем не разговаривала, почти ничего не ела, спала тричетыре часа в сутки и никуда не выходила. Родные были уверены, что она сойдет с ума. Помню, ночью в детской проснешься и слышишь быстрые шаги по ковру; заснешь, проснешься – опять: все так же чуть-чуть скрипят туфли

и слышится скорая походка матери. Я вставал с кровати и босиком, в рубашке шел в гостиную.

– Мама, ложись спать. Мама, почему ты все время ходишь?

Мать смотрела на меня в упор: я видел бледное, чужое лицо и пугающие глаза.

– Мама, мне страшно. Мама, полежи немного.

Она вздыхала, точно очнувшись.

– Хорошо, Коля, я сейчас лягу. Иди спать.

Вначале жизнь моей матери была счастливой. Мой отец отдавал все свое время семье, отвлекаясь от нее только для охоты и научных работ, – и больше ничем не интересовался; с женщинами был чрезвычайно любезен, никогда с ними не спорил, соглашаясь даже в тех случаях, когда они говорили что-нибудь совершенно противоположное его взглядам, – но вообще, казалось, недоумевал, зачем на свете существуют еще какие-то дамы. Мать ему говорила:

– Ты опять Веру Михайловну назвал Верой Владимировной. Она, наверное, обиделась. Как же ты до сих пор не запомнил? Она ведь у нас года два бывает.

– Да? – удивлялся отец. – Это которая? Жена инженера, который свистит?

– Нет, это свистит Дарья Васильевна, а инженер поет. Но Вера Михайловна тут ни при чем. Она жена доктора, Сергея Ивановича.

– Ну как же, – оживлялся отец. – Я ее прекрасно знаю.

– Да, но ты называешь ее то Верой Васильевной, то Верой Петровной, а она Вера Михайловна.

– Удивительно, – говорил отец. – Это, конечно, ошибка. Я теперь совершенно точно припоминаю. Я прекрасно знаю эту даму. Она, кажется, очень милая. И муж у нее симпатичный; а вот пойнтер у него неважный.

Никаких размолвок или ссор у нас в доме не бывало, и все шло хорошо. Но судьба недолго баловала мать. Сначала умерла моя старшая сестра; смерть последовала после операции желудка от не вовремя принятой ванны. Потом, несколько лет спустя, умер отец, и, наконец, во время великой войны моя младшая сестра девятилетней

девочкой скончалась от молниеносной скарлатины, проболев всего два дня. Мы с матерью остались вдвоем. Она жила довольно уединенно; я был предоставлен самому себе и рос на свободе. Она не могла забыть утрат, обрушившихся на нее так внезапно, и долгие годы проводила, как заколдованная, еще более молчаливая и неподвижная, чем раньше. Она отличалась прекрасным здоровьем и никогда не болела; и только в ее глазах, которые я помнил светлыми и равнодушными, появилась такая глубокая печаль, что мне, когда я в них смотрел, становилось стыдно за себя и за то, что я живу на свете. Позже моя мать стала мне как-то ближе, и я узнал необыкновенную силу ее любви к памяти отца и сестер и ее грустную любовь ко мне Я узнал также, что она награждена гибким и быстрым воображением, значительно превосходившим мое, и способностью понимания таких вещей, о которых я ничего не подозревал. И ее превосходство, которое я чувствовал с детства, только подтвердилось впоследствии, когда я стал почти взрослым. И я понял еще одно, самое важное: тот мир второго моего существования, который я считал закрытым навсегда и для всех, был известен моей матери.

В первый раз я расстался надолго с моей матерью в тот год, когда я стал кадетом. Корпус находился в другом городе; помню сине-белую реку, зеленые кущи Тимофеева и гостиницу, куда мать привезла меня за две недели до экзаменов и где она проходила со мной маленький учебник французского языка, в правописании которого я был нетверд. Потом экзамен, прощание с матерью, новая форма и мундир с погонами и извозчик в порванном зипуне, беспрестанно дергавший вожжами и увезший мать вниз, к вокзалу, откуда уходит поезд домой. Я остался один.

Я держался в стороне от кадет, бродил часами по гулким залам корпуса и лишь позже понял, что я могу ждать далекого Рождества и отпуска на две недели. Я не любил корпуса. Товарищи мои во многом отличались от меня: это были в большинстве случаев дети офицеров, вышедшие из полувоенной обстановки, которой я никогда не знал; у нас

в доме военных не бывало, отец относился к ним с враждебностью и пренебрежением. Я не мог привыкнуть к «так точно» и «никак нет» и, помню, в ответ на выговор офицера ответил: вы отчасти правы, господин полковник, – за что меня еще больше наказали. С кадетами, впрочем, я скоро подружился; начальство меня не любило, хотя я хорошо учился. Методы преподавания в корпусе были самыми разнообразными. Немец заставлял кадет читать всем классом вслух, и поэтому в немецком хрестоматическом тексте слышались петушиные крики, пение неприличной песни и взвизгивание. Учителя были плохие, никто ничем не выделялся, за исключением преподавателя естественной истории, штатского генерала, насмешливого старика, материалиста и скептика.

– Что такое гигроскопическая вата, ваше превосходительство?

И он отвечал:

– Вот если такой молодой кадет, как вы, бегает по двору и скачет, вроде теленка, а потом случайно порежет себе хвост; так вот, к этому порезу прикладывают вату. Делается это для того, чтобы кадет, похожий на теленка, не слишком огорчался. Поняли?

– Так точно, ваше превосходительство.

– Так точно... – бормотал он, мрачно улыбаясь. – Эх вы...

Не знаю почему, этот штатский генерал мне чрезвычайно нравился; и когда он обращал на меня внимание, я бывал очень рад. Однажды мне пришлось отвечать ему урок, который я хорошо знал, и я несколько раз сказал «главным образом», «преимущественно» и «в сущности». Он посмотрел на меня с веселой насмешкой и поставил хорошую отметку.

– Какой образованный кадет. «Главным образом» и «в сущности». В сущности, можете идти на место.

Другой раз он поймал меня в коридоре, сделал серьезное лицо и сказал:

– Я попросил бы вас, кадет Соседов, не размахивать на ходу так сильно хвостом. Это, наконец, привлекает всеобщее внимание.

И ушел, улыбаясь одними глазами. Это был единственный, не похожий на других, преподаватель в корпусе, – как единственной вещью, которой я там научился, было искусство ходить на руках. И потом, по прошествии значительного времени после моего ухода из корпуса, если мне приходилось стать на руки, я сейчас же видел перед собой навощенный паркет рекреационного зала, десятки ног, идущих рядом с моими руками, и бороду моего классного наставника:

– Сегодня вы опять без сладенького.

Он всегда говорил уменьшительными словами, и это вызывало во мне непобедимое отвращение. Я не любил людей, употребляющих уменьшительные в ироническом смысле: нет более мелкой и бессильной подлости в языке. Я замечал, что к таким выражениям прибегают чаще всего или люди недостаточно культурные, или просто очень дурные, неизменно пребывающие в низости человеческой. Присутствие моего классного наставника было само по себе неприятно. Но особенно тягостной в корпусе мне казалась невозможность вдруг рассердиться на все и уйти домой; дом был далеко от меня, в другом городе, на расстоянии суток езды по железной дороге. Зима, громадное темное здание корпуса, плохо освещенные длинные коридоры, одиночество; мне было тяжело и скучно. Учиться мне не хотелось; лежать на кровати не разрешалось. Мы развлекались катаньем «на коньках» по свеженавощенному паркету; мы открывали на всю ночь кран в умывальной, прыгали через табуретки и кафедры и держали бесчисленные пари на котлеты, сладкое, сахар и макароны. Учились все довольно средне, за исключением первого в классе Успенского, самого усердного и несчастного кадета нашей роты. Он зубрил с исступлением; он готовил уроки все время, с обеда до девяти часов вечера, когда мы ложились спать. Вечерами он простаивал на коленях по полтора часа и молился, беззвучно всхлипывая. Будучи сыном очень бедных родителей, он учился на казенный счет и должен был непременно иметь хорошие отметки.

– Ты о чем молишься, Успенский? – спрашивал я, проснувшись и видя его фигуру в длинной ночной рубахе

перед небольшим образом над его изголовьем: он спал через две кровати от меня.

– О том, чтобы учиться, – быстро отвечал он своим обыкновенным тоном, каким говорил всегда, и сейчас же продолжал исступленным голосом:

– Отче наш! Иже еси на небесех... – причем слова молитвы он понимал плохо и говорил «иже еси» так, как если бы это значило: «уж раз Ты на небе...»

– Ты неправильно молишься, Успенский, – говорил я ему. – «Отче наш, иже еси на небесех» – это все вместе надо произносить.

Он вдруг обрывал молитву и начинал плакать.

– Ты чего?

– Зачем ты мне мешаешь?

– Ну, молись, я не буду.

И опять тишина, кровати, коптящие ночники, темнота под потолком и маленькая белая фигурка на коленях. А утром гремел барабан, играла труба за стеной и дежурный офицер проходил по рядам постели:

– Подъем, вставайте.

Я так и не мог привыкнуть к военному, канцелярскому языку. У нас дома говорили по-русски чисто и правильно, и корпусные выражения мне резали слух. Как-то раз я увидел ротную ведомость, где было написано: «Выдано столько-то сукна на предмет постройки мундиров», а дальше было сказано о расходах на «застекление» окон. Мы обсуждали эти выражения с двумя товарищами и решили, что дежурный офицер, – мы были убеждены, что это написал он, – необразованный человек; это вряд ли, впрочем, было далеко от истины, хотя офицера, дежурившего в тот день, мы знали плохо: было только известно, что он человек чрезвычайно религиозный. С религией в корпусе было строго: каждую субботу и воскресенье нас водили в церковь; и этому хождению, от которого никто не мог уклониться, я обязан был тем, что возненавидел православное богослужение. Все в нем казалось мне противным: и жирные волосы тучного дьякона, который громко сморкался в алтаре и, перед тем как начинать службу, быстро дергал носом, прочищал горло коротким кашлем, и лишь

потом глубокий бас его тихо ревел: благослови, владыко! – и тоненький, смешной голос священника, отвечавший из-за закрытых царских врат, облепленных позолотой, иконами и толстоногими, плохо нарисованными ангелами с меланхолическими лицами и толстыми губами:

– Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков...

И длинноногий регент с камертоном, который и сам пел и прислушивался к пению других, отчего его лицо выражало невероятное напряжение; мне все это казалось нелепым и ненужным, хотя я не всегда понимал почему. Но, уча Закон Божий и читая Евангелие, я думал:

– Какой же наш подполковник христианин? Он не исполняет ни одной из заповедей, постоянно наказывая меня, ставит под часы и оставляет «без сладенького». Разве Христос так учил? Я обратился к Успенскому, признанному знатоку Закона Божия.

– Как ты думаешь, – спросил я, – наш подполковник христианин?

– Конечно, – сказал он быстро и испуганно.

– А какое он имеет право меня наказывать почти каждый день?

– Потому что ты плохо себя ведешь.

– А как же в Евангелии сказано: не судите, да не судимы будете?!

– Не судимы будете, это страдательный залог, – прошептал про себя Успенский, точно проверяя свои знания. – Это не про кадет сказано.

– А про кого?

– Я не знаю.

– Значит, ты не понимаешь Закона Божия, – сказал я и ушел; и мое неприязненное отношение к религии и к корпусу еще более утвердилось.

Долго потом, когда я уже стал гимназистом, кадетский корпус мне вспоминался как тяжелый, каменный сон. Он все еще продолжал существовать где-то в глубине меня; особенно хорошо я помнил запах воска на паркете и вкус котлет с макаронами, и как только я слышал что-

нибудь, напоминающее это, я тотчас представлял себе громадные темные залы, ночники, дортуар, длинные ночи и утренний барабан, Успенского в белой рубашке и подполковника, бывшего плохим христианином. Эта жизнь была тяжела и бесплодна; и память о каменном оцепенении корпуса была мне неприятна, как воспоминание о казарме, или тюрьме, или о долгом пребывании в Богом забытом месте, в какой-нибудь холодной железнодорожной сторожке, где-нибудь между Москвой и Смоленском, затерявшейся в снегах, в безлюдном, морозном пространстве.

Но все же ранние годы моего учения были самыми прозрачными, самыми счастливыми годами моей жизни. Сначала – как в корпусе, так и в гимназии, куда я потом поступил, – меня смущало количество моих одноклассников. Я не знал, как мне относиться ко всем этим стриженым мальчикам. Я привык к тому, что вокруг меня существует несколько жизней – матери, сестры, няни, которые мне близки и знакомы; но такую массу новых и неизвестных людей я не мог сразу воспринять. Я боялся потеряться в этой толпе, и инстинкт самосохранения, обычно дремавший во мне, вдруг пробудился и вызвал в моем характере ряд изменений, каких в иной обстановке со мной, наверное, не произошло бы. Я часто стал говорить совсем не то, что думал, и поступать не так, как следовало бы поступать; стал дерзок, утратил ту медлительность движений и ответов, которая после смерти отца безраздельно воцарилась у нас в доме, точно заколдованном холодным волшебством матери. Мне трудно было дома отвыкать от гимназических привычек; однако это искусство я скоро постиг. Я бессознательно понимал, что нельзя со всеми быть одинаковым; поэтому после короткого периода маленьких домашних неурядиц я вновь стал послушным мальчиком в семье; в гимназии же моя резкость была причиной того, что меня наказывали чаще других. Хотя в семье я был самым неспособным, я все же частично унаследовал от матери хорошую память, но восприятие мое никогда не бывало непосредственно сознательным, и полный смысл того, что мне объяснялось, я понимал лишь через некоторое время. Спо-

собности отца мне передались в очень измененной форме: вместо его силы воли и терпения у меня было упрямство, вместо охотничьих талантов – острого зрения, физической неутомимости и точной наблюдательности – мне досталась только необыкновенная, слепая любовь к животному миру и напряженный, но невольный и бесцельный интерес ко всему, что происходило вокруг меня, что говорилось и делалось. Занимался я очень неохотно, но учился хорошо; и только мое поведение всегда служило предметом обсуждения в педагогическом совете. Объяснялось это, помимо других причин, еще и тем, что у меня никогда не было детского страха перед преподавателями, и чувства мои по отношению к ним я не скрывал. Мой классный наставник жаловался матери на то, что я некультурен и дерзок, хотя развит для своих лет почти исключительно. Мать, которую часто вызывали в гимназию, говорила:

– Вы меня извините, но, мне кажется, вы не вполне владеете искусством обращаться с детьми. Коля в семье очень тихий мальчик и вовсе не буян и не дерзит обычно.

И она посылала служителя за мной. Я приходил в приемную, здоровался с ней; она, поговорив со мной десять минут, отпускала меня.

– Да, с вами у него совершенно другой тон, – соглашался классный наставник. – Не знаю, как вы этого достигаете. В классе же он нетерпим. – И он обиженно разводил руками. Особенное осуждение и классного наставника, и инспектора вызвала моя дерзость преподавателю истории (с ним у меня был однажды такой разговор: – Кто такой Конрад Валленрод? – спросил я, так как прочел это имя в книге и не знал его. Он ответил, подумав: – Такой же хулиган, как и вы), который поставил меня к стенке за то, что я «неспокойно сидел». Я был не очень виноват; мой сосед провел резинкой по моей голове – этого учитель не видел, а я ударил его в грудь – что было замечено. Так как товарища я выдать не мог, то в ответ на слова историка: станьте сейчас же к стенке; вы не умеете себя прилично вести, – я смолчал. Историк, привыкший к моим постоянным возражениям, не услышав их на этот раз, вдруг рассердился на меня, раскричался, ударил своим стулом об пол, но, сделав

какое-то неловкое движение, поскользнулся и упал рядом с кафедрой. Класс не смел смеяться. Я сказал:

– Так вам и надо, я очень рад, что вы упали.

Он был вне себя от гнева, велел мне уйти из класса и пойти к инспектору. Но потом, так как он был добрым человеком, он успокоился и простил меня, хотя я не просил прощения. Он, в общем, относился ко мне без злобы; главным моим врагом был классный наставник, преподаватель русского языка, который ненавидел меня, как ненавидят равного. Ставить мне плохие отметки он все-таки не мог, потому что я знал русский язык лучше других. Зато я оставался «без обеда» чуть ли не каждый день. Помню бесконечно грустное чувство, с которым я следил, как все уходят после пятого урока домой; сначала идут те, кто быстро собирается, потом другие, наконец, самые медлительные, и я остаюсь один и смотрю на загадочную немую карту, напоминавшую мне лунные пейзажи в книгах моего отца; на доске красуется кусок батистовой тряпки и уродливый чертик, нарисованный Парамоновым, первым в классе по рисованию, и чертик почему-то кажется мне похожим на художника Сиповского. Такое томительное состояние продолжалось около часу, пока не приходил классный наставник:

– Идите домой. Постарайтесь вести себя не так по-хулигански.

Дома меня ждали обед и книжки, а вечером игра на дворе, куда мне запрещалось ходить. Мы жили тогда в доме, принадлежавшем Алексею Васильевичу Воронину, бывшему офицеру, происходившему из хорошего дворянского рода, человеку странному и замечательному. Он был высок ростом, носил густые усы и бороду, которые как-то скрывали его лицо: светлые, сердитые глаза его, помню, всегда меня смущали. Мне казалось почему-то, что этот человек знает про меня много таких вещей, которых нельзя рассказывать. Он был страшен в гневе, не помнил себя, мог выстрелить в кого угодно: долгие месяцы порт-артурской осады отразились на его нервной системе. Он производил впечатление человека, носившего в себе глухую силу. Но при этом он был добр, хотя разговаривал с

детьми неизменно строгим тоном, никогда ими не умилялся и не называл их ласкательными именами. Он был образован и умен и обладал той способностью постижения отвлеченных идей и далеких чувств, которая почти никогда не встречается у обыкновенных людей. Этот человек понимал гораздо больше, чем должен был понимать офицер в отставке, чтобы счастливо прожить свою жизнь. У него был сын, старше меня года на четыре, и две дочери, Марианна и Наталья, одна моих лет, другая ровесница моей сестры. Семья Воронина была моей второй семьей. Жена Алексея Васильевича, немка по происхождению, всегдашняя заступница провинившихся, отличалась тем, что не могла противиться никакой просьбе. Бывало, скажешь ей:

– Екатерина Генриховна, можно попросить у вас хлеба с вареньем, знаете, тем самым, что вы на Новый год сделали?

– Что ты, голубчик! – ужасалась она. – Этого варенья нельзя трогать.

– Екатерина Генриховна, мне очень хочется. Может быть, можно?

– Ах, какой ты странный. Ну, я тебе дам другого варенья, английского, оно тоже очень вкусное...

– Нет, Екатерина Генриховна, я знаю, что оно невкусное. Оно пахнет смолой. Можно новогоднего?

– Ты не понимаешь самых простых вещей. Ну, давай хлеб – я тебе принесу.

В ней текла такая стойкая и здоровая кровь, что за долгие годы она совсем не изменилась и, казалось, не могла постареть: достигла возраста двадцати пяти лет и такой осталась на всю жизнь. Ни в каких обстоятельствах она не теряла своей постоянной, спокойной хлопотливости, не забывала ни о чем и не волновалась. Когда однажды во дворе случился пожар – загорелся дровяной сарай – и я проснулся ночью оттого, что все вокруг было ярко освещено пламенем и стекла моего окна трескались от пожара, я увидел стоящую у моей кровати Екатерину Генриховну, совершенно так одетую, как если бы это происходило среди бела дня, причесанную и спокойную.

– А мне жалко тебя будить было, – сказала она. – Ты так сладко спал. Ну, вставай, не дай Бог, еще дом загорится. Только не засни опять, пожалуйста, мне еще надо пойти разбудить твою маму. Вот ведь, как неосторожно люди с огнем обращаются, оттого все и происходит.

Сын ее был тогда уже гимназистом четвертого класса, добрейшим мальчиком, но очень беспутным и неуравновешенным. Моя мать очень не любила его игры на пианино, хотя он обладал некоторыми музыкальными способностями; но он обрушивался на клавиатуру с такой яростью и так немилосердно нажимал педали, что она говорила:

– Миша, зачем вы тратите столько энергии?

И он отвечал:

– Это потому, что я очень увлекаюсь.

Младшую дочь в семье Ворониных мы дразнили Sophie, так как она очень походила на маленькую героиню книжки «Les malheurs de Sophie»[1], которую мы читали. У этой девочки была любовь к необыкновенным приключениям: она то убегала на базар и вертелась там целый день среди торговок, карманщиков и воров покрупнее – людей в хороших костюмах, с широкими внизу штанами, точильщиков, букинистов, мясников и тех продавцов хлама, которые существуют, кажется, во всех городах земного шара, одинаково одеваются в черные лохмотья, плохо говорят на всех языках и торгуют обломками решительно никому не нужных вещей; и все-таки они живут, и в их семьях сменяются поколения, как бы самой судьбой предназначенные именно для такой торговли и никогда ничем другим не занимающиеся, – они олицетворяли в моих глазах великолепную неизменность; то снимала чулки и туфли, и ходила босиком по саду после дождя, и, вернувшись домой, хвасталась:

– Мама, посмотри, какие у меня ноги черные.

– Ноги, действительно, очень черные, – отвечала Екатерина Генриховна. – Только что же в этом хорошего?

Старшая дочь, Марианна, отличалась молчаливостью, рано развивавшейся женственностью и необыкно-

[1] «Злоключения Софи» (*фр.*).

венной силой характера. Один раз, когда ей было одиннадцать лет, отец обозвал ее дурой: он находился в одном из своих припадков гнева, заставлявших его терять всегдашнюю вежливость. Она побледнела и сказала:

– Я теперь с тобой не буду разговаривать.

И не разговаривала два года. С сестрой и братом она обращалась как старшая; и в семье ее не то что побаивались, а остерегались. Все дети были красивы хорошей, крепкой красотой, были сильны физически и склонны к веселью; но русский сангвинический тип не был в них доведен до конца благодаря германской крови матери.

И Воронины, и я составляли только часть того детского общества, которое собиралось по вечерам в саду или во дворе воронинского дома; с нами бывало еще несколько мальчиков и девочек: маленькая красавица еврейка Сильва, ставшая потом артисткой; двенадцатилетние сестры-близнецы Валя и Ляля, вечно друг с другом враждовавшие, реалист Володя, вскоре умерший от дифтерита. Пока было светло, все играли в классы, то есть прыгали по квадратам, нарисованным на земле; квадраты эти кончались большим неправильным кругом, на котором было написано: «рай», и маленьким кружком, «пеклом». Когда темнело, начиналась игра в прятки; и мы расходились по домам только после того, как горничная звала нас по крайней мере три раза. Я делил свое время между чтением, гимназией и пребыванием дома, на дворе, и бывали долгие периоды, когда я забывал о том мире внутреннего существования, в котором пребывал раньше. Изредка, однако, я возвращался в него, – этому обыкновенно предшествовало болезненное состояние, раздражительность и плохой аппетит, – и замечал, что второе мое существо, одаренное способностью бесчисленных превращений и возможностей, враждебно первому и становится все враждебнее по мере того, как первое обогащается новыми знаниями и делается сильнее. Было похоже, что оно боится собственного уничтожения, которое случится в тот момент, когда внешне я окончательно окрепну. Я проделывал тогда безмолвную, глухую работу, пытаясь достигнуть полноты и соединения двух разных жизней, которые мне удавалось

достигать, когда представлялась необходимость быть резким в гимназии и мягким дома. Но то была простая игра, в этом же случае я чувствовал, что такое напряжение мне не по силам. Кроме того, мою внутреннюю жизнь я любил больше, чем другие. Я замечал вообще, что мое внимание бывало гораздо чаще привлекаемо предметами, которые не должны были бы меня затрагивать, и оставалось равнодушным ко многому, что меня непосредственно касалось. Прежде чем я понимал смысл какого-нибудь события, проходило иногда много времени, и только утеряв совсем воздействие на мою восприимчивость, оно приобретало то значение, какое должно было иметь тогда, когда происходило. Оно переселялось сначала в далекую и призрачную область, куда лишь изредка спускалось мое воображение и где я находил как бы геологические наслоения моей истории. Вещи, возникавшие передо мной, безмолвно рушились, и я опять все начинал сначала, и только испытав сильное потрясение и опустившись на дно сознания, я находил там те обломки, в которых некогда жил, развалины городов, которые я оставил. Это отсутствие непосредственного, немедленного отзыва на все, что со мной случалось, эта невозможность сразу знать, что делать, послужили впоследствии причинами моего глубокого несчастья, душевной катастрофы, произошедшей вскоре после моей первой встречи с Клэр. Но это было несколько позже.

Я долго не понимал внезапных припадков моей усталости – в те дни, когда я ничего не делал и не должен был бы утомиться. Однако, ложась в кровать, я испытывал такое чувство, точно проработал много часов подряд. Потом я догадался, что неведомые мне законы внутреннего движения заставляют меня пребывать в постоянных поисках и погоне за тем, что лишь на мгновение появится передо мной в виде громадной, бесформенной массы, похожей на подводное чудовище, – появится и исчезнет. Физически эта усталость выражалась в головных болях, да бывала еще иногда странная боль в глазах, как будто кто-то надавливал на них пальцами. И в глубине моего сознания ни на минуту не прекращалась глухая, безмолвная борьба, в которой я сам почти не играл никакой роли.

Я часто терял себя: я не был чем-то раз навсегда определенным; я изменялся, становясь то больше, то меньше; и, может быть, такая неверность своего собственного призрака, не позволявшая мне разделиться однажды и навек и стать двумя различными существами, – позволяла мне в реальной моей жизни быть более разнообразным, нежели это казалось возможным.

Эти первые, прозрачные годы моей гимназической жизни отягчались лишь изредка душевными кризисами, от которых я так страдал и в которых все же находил мучительное удовольствие. Я жил счастливо – если счастливо может жить человек, за плечами которого стелется в воздухе неотступная тень. Смерть никогда не была далека от меня, и пропасти, в которые повергало меня воображение, казались ее владениями. Я думаю, что это ощущение было наследственным: недаром мой отец так болезненно не любил всего, что напоминало ему о неизбежном конце; этот бесстрашный человек чувствовал здесь свое бессилие. Бессознательное, холодное равнодушие моей матери точно отразило в себе чью-то последнюю неподвижность, и жадная память сестер вбирала в себя все так быстро потому, что где-то в отдаленном их предчувствии смерть уже существовала. Иногда мне снилось, что я умер, умираю, умру; я не мог кричать, и вокруг меня наступало привычное безмолвие, которое я так давно знал; оно внезапно ширилось и изменялось, приобретая новое, доныне бывшее мне неизвестным, значение: оно предостерегало меня.

Мне всю жизнь казалось – даже когда я был ребенком, – что я знаю какую-то тайну, которой не знают другие; и это странное заблуждение никогда не покидало меня. Оно не могло основываться на внешних данных: я был не больше и не меньше образован, чем все мое невежественное поколение. Это было чувство, находившееся вне зависимости от моей воли. Очень редко, в самые напряженные минуты моей жизни, я испытывал какое-то мгновенное, почти физическое перерождение и тогда приближался к своему слепому знанию, к неверному постижению чудесного. Но потом я приходил в себя: я сидел, бледный и обессиленный, на том же месте, и по-прежнему все

окружающее меня пряталось в свои каменные, неподвижные формы, и предметы вновь обретали тот постоянный и неправильный облик, к которому привыкло мое зрение.

После таких состояний я надолго забывал о них и возвращался к ежедневным моим заботам и к сборам в отъезд, если наступало лето, – потому что каждый год во время каникул я ездил на Кавказ, где жили многочисленные родные моего отца. Там из дома моего деда, стоявшего на окраине города, я уходил в горы. Высоко в воздухе летели орлы, я шагал по высокой траве с моим ружьем монте-кристо, из которого стрелял воробьев и кошек; в стороне с шумом тек Терек, и черная мельница одиноко возвышалась над его грязными волнами. Вдалеке, на горах, блестел снег – и я вспоминал опять о сугробе, который видел возле Минска несколько лет тому назад. Дойдя до леса, я ложился возле первого муравейника, который мне попадался, ловил гусеницу и осторожно клал ее у одного из входов в высокую, ноздреватую пирамиду, из которой выбегали муравьи. Гусеница уползала, подтягивая к себе извивающееся мохнатое тело. Ее настигал муравей; он хватался за ее хвост и пытался задержать ее, но она легко тащила его за собой. На помощь первому муравью прибегали другие: они облепляли гусеницу со всех сторон, живой клубок медленно подвигался назад и, наконец, скрывался в одном из отверстий. Та же судьба постигала крупных мух с синими крыльями, дождевых червей и даже жуков, хотя с последними муравьям было труднее всего справиться: жуки гладкие и твердые, их нелегко ухватить. Но самую жестокую борьбу я наблюдал в тот раз, когда пустил в муравейник большого черного тарантула. Я не видел более свирепого существа ни среди зверей, ни среди насекомых, известных своей жестокостью – если можно так назвать их непостижимый инстинкт. Самые злые зверьки, которых мне доводилось встречать – хорьки, хомяки, ласки, – обычно обладают известными аналитическими способностями и в случае опасности отступают, бросаются же на врага, только если нет возможности бегства. Я видел всего один раз, как ласка вцепилась в руку конюха, ранившего ее камнем: обычно же ласки убегали с

чудесной, змеиной быстротой. Тарантул никогда не отступает. Я осторожно выпустил его из стеклянного пузырька: он упал прямо на муравьиную кучу. Муравьи тотчас напали на него. Он передвигался по земле прыжками и отчаянно сражался, и вскоре множество перекушенных пополам муравьев билось на земле, умирая. Он с яростью бросался на все, что шевелилось, не воспользовался тем, что мог уйти, и оставался на месте, как бы ожидая новых противников. Битва длилась более часа, но, наконец, и тарантул был втянут в муравейник. Я смотрел на этот бой с томительным волнением, и смутные, бесконечно давно забытые воспоминания будто брезжили во мгле моих навсегда похороненных знаний. И сейчас же после этого я отправился дальше: ловить ящериц, лить воду в норки сусликов. После долгого ожидания из воды показывался мокрый зверек; он быстро выскакивал оттуда, мчался в строну и исчезал в какой-нибудь другой дыре. Но и суслики, и ящерицы, и муравьи, и даже тарантулы – все это было ничто по сравнению с необыкновенным зрелищем, которое мне пришлось увидеть как-то ранним утром июльского дня. Я видел переселяющихся крыс. Они шли неправильным четырехугольником, волоча по земле хвосты и перебирая лапками. Я сидел на дереве и глядел, как быстро чернела земля, как крысы дошли до маленького оврага, пропали в нем и потом снова появились, пища и стремясь все дальше; как потом они дошли до Терека, как остановилось на минуту их стадо и как затем, переплыв реку, они скрылись в чьем-то саду. Я слез с дерева и пошел лежать на опушку леса.

Тишина, солнце, деревья... Изредка слышно, как сыплется земля в овраге и трещат маленькие сухие ветки: это бежит кабан. Я засыпал на траве и просыпался с влажной спиной и желтым огнем перед глазами. Затем, оглядываясь на красное, заходящее солнце, я шел домой, в прохладные комнаты дедовской квартиры, и приходил как раз вовремя для того, чтобы увидеть пастуха в белой войлочной шляпе, гнавшего стадо с пастбища; и бодливые коровы деда, славящиеся злым нравом и хорошим удоем, мыча, входили в ворота скотного двора. Я знал, что сей-

час к коровам бросятся телята, что работница будет отводить упрямые телячьи головы от вымени, и об белые донья ведер зазвенят упругие струи молока, и дед будет смотреть на это с галереи, выходящей во двор, и постукивать палкой по полу; потом он задумается, точно вспоминая что-то. А вспомнить ему было что. Когда-то давным-давно он занимался тем, что угонял табуны лошадей у враждебных племен и продавал их. В те времена это считалось молодечеством; и подвиги таких людей были предметом самых единодушных похвал; все это происходило в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия. Я помнил деда маленьким стариком, в черкеске, с золотым кинжалом. В девятьсот двенадцатом году ему исполнилось сто лет; но он был крепок и бодр, а старость сделала его добрым. Он умер на второй год войны, сев верхом на необъезженную английскую трехлетку своего сына, старшего брата моего отца; но несравненное искусство верховой езды, которым он славился много десятков лет, изменило ему. Он упал с лошади, ударился об острый край котла, валявшегося на земле, и через несколько часов умер. Он знал и помнил очень многое, но не обо всем рассказывал; и только со слов других стариков, младших его товарищей, я мог составить себе представление о том, что дед был умен и хитер, как змея, – так говорили простодушные выходцы из середины девятнадцатого столетия. Хитрость деда заключалась в том, что после прихода русских на Кавказ он оставил навсегда в покое табуны и зажил мирной жизнью, которой никак нельзя было ожидать от этого неудержимого человека. Все его товарищи погибли жертвами мести; на его дом дважды производили нападение, но в первый раз он узнал об этом заблаговременно и уехал со всей семьей, на второй раз – отстреливался несколько часов из винтовки, убил шесть человек и продержался до того времени, пока не подоспела помощь. Нападавшие все же успели причинить деду некоторый вред: они срубили его лучшую яблоню. Садом своим дед гордился и не пускал туда никого, кроме меня. В саду этом росли яблоки «белый налив», золотые громадные сливы и овальные груши необыкновенной величины, а посередине, в глубине оврага,

который на кавказско-русском языке называется балкой, тек ручей, в котором водились форели. Я объедался незрелыми фруктами и ходил с бледным лицом и страданием в глазах. Тетка укоризненно говорила деду:

– Вот, пустил мальчика в сад!

Она фактически управляла всеми делами и по мере того, как дед все больше старел, забирала себе власть в руки. Но возражать деду она обычно не смела – и когда она сказала: вот, пустил мальчика в сад, – дед разгневался и закричал высоким старческим голосом:

– Молчать!

Она до полусмерти испугалась, пошла к себе в комнату и лежала целый час на диване, уткнувшись лицом в подушки. – Почему ты так испугалась? – спросил я. – Ты ничего не знаешь, – ответила тетка. – Дед меня зарубит. Дед страшный человек. – Ты просто трусиха, – сказал я. – Дед очень симпатичный, он тебя пальцем не тронет, хотя ты злая и скупая. Почему ты не хочешь, чтобы я ходил в сад? – продолжал я, забыв о дедушке и внезапно раздражившись. – Ты хочешь, чтобы все яблоки тебе остались? Ты их все равно не съешь. – Я напишу твоей маме, что ты говоришь мне дерзости. – Но угроза тетки меня нисколько не пугала, тем более что даже с теткой я редко ссорился: я был слишком занят стрельбой по воробьям, охотой за кошками и путешествиями в лес. И, прожив у деда месяц или полтора, я уезжал в Кисловодск, который очень любил, – единственный провинциальный город со столичными привычками и столичной внешностью. Я любил его дачи, возвышающиеся над улицами, его игрушечный парк, зеленую виноградную галерею, ведущую из вокзала в город, шум шагов по гравию курзала и беспечных людей, которые съезжались туда со всех концов России. Но начиная с первых лет войны Кисловодск был уже наводнен разорившимися дамами, прогоревшими артистами и молодыми людьми из Москвы и Петербурга; эти молодые люди ездили верхом на наемных лошадях и отчаянно трясли локтями, точно кто-то подталкивал их под руку. В Кисловодске я пил нарзан, разбавленный сиропом, ходил по парку и взбирался в гору к маленькому белому

зданию с колоннами, которое стояло высоко над городом; оно называлось «Храм воздуха». Я не знал, кому принадлежало это претенциозное название, достойное уездного поэта с длинными волосами и тремя классами высшего начального училища в прошлом. Но я любил подниматься туда: там ветер, как воздушная река, журчал и струился между колоннами. Белые стены были покрыты надписями, в которых изощрялись российская безнадежная любовь и тщеславное стремление увековечить свое имя. Я любил красные камни на горе, любил даже «Замок коварства и любви», где был ресторан, а в ресторане прекрасные форели. Я любил красный песок кисловодских аллей и белых красавиц курзала, северных женщин с багровыми белками кроличьих глаз. Я проходил в парке мимо того пустячного утеса на Ольховке, где постоянно дежурил фотограф, который снимал дам и барышень, стоящих над падающей водяной стеной; эти снимки я видел везде, в самых глухих углах России.

– А это я в Кисловодске снималась...

– Как же, как же, – говорил я. – Я знаю.

Тот Кисловодск, который я видел в детстве, остался в моей памяти белым зданием с чувствительными надписями. Но вот по вечерам уже начинало делаться чуть-чуть прохладно; ранней осенью я возвращался домой, чтобы опять погрузиться в ту холодную и спокойную жизнь, которая в моем представлении неразрывно связана с хрустящим снегом, тишиной в комнатах, мягкими коврами и глубочайшими диванами, стоявшими в гостиной. Дома я точно переселялся в какую-то иную страну, где нужно было жить не так, как всюду. Я любил вечерами сидеть в своей комнате с незажженным светом; с улицы розовое ночное пламя фонарей доходило до моего окна мягкими отблесками. И кресло было мягкое и удобное; и внизу, в квартире доктора, жившего под нами, медленно и неуверенно играло пианино. Мне казалось, что я плыву по морю и белая, как снег, пена волн колышется перед моими глазами. И когда я стал вспоминать об этом времени, я подумал, что в моей жизни не было отрочества. Я всегда искал общества старших и двенадцати лет всячески стре-

мился, вопреки очевидности, казаться взрослым. Тринадцати лет я изучал «Трактат о человеческом разуме» Юма и добровольно прошел историю философии, которую нашел в нашем книжном шкафу. Это чтение навсегда вселило в меня привычку критического отношения ко всему, которая заменяла мне недостаточную быстроту восприятия и неотзывчивость на внешние события. Чувства мои не могли поспеть за разумом. Внезапная любовь к переменам, находившая на меня припадками, влекла меня прочь из дому; и одно время я начал рано уходить, поздно возвращаться и бывать в обществе подозрительных людей, партнеров по биллиардной игре, к которой я пристрастился в тринадцать с половиной лет, за несколько недель до революции. Помню густой синий дым над сукном и лица игроков, резко выступавшие из тени; среди них были люди без профессии, чиновники, маклера и спекулянты. У меня было несколько товарищей, таких же, как я; и после общего выигрыша мы все в десять часов вечера отправлялись в цирк, смотреть на наездниц; или в какое-нибудь кабаре, где пелись скабрезные куплеты и танцевали шансонетки; они приплясывали, стоя на эстраде и складывая руки ниже пояса таким образом, чтобы концы большого и указательного пальца левой руки соприкасались с концами тех же пальцев правой. Это стремление к перемене и тяга из дому совпали со временем, которое предшествовало новой эпохе моей жизни. Она все вот-вот должна была наступить; смутное сознание ее нарастающей неизбежности всегда существовало во мне, но раздроблялось в массе мелочей: я как будто стоял на берегу реки, готовый броситься в воду, но все не решался, зная, однако, что этого не миновать: пройдет еще немного времени – и я погружусь в воду и поплыву, подталкиваемый ее ровным и сильным течением. Был конец весны девятьсот семнадцатого года; революция произошла несколько месяцев тому назад; и, наконец, летом, в июне месяце, случилось то, к чему постепенно и медленно вела меня моя жизнь, к чему все, прожитое и понятое мной, было только испытанием и подготовкой: в душный вечер, сменивший невыносимо жаркий день, на площадке гимнастического общества «Орел», стоя

в трико и туфлях, обнаженный до пояса и усталый, я увидел Клэр, сидевшую на скамье для публики.

Утром следующего дня я опять пришел на площадку, чтобы принимать солнечную ванну, и лежал на песке, закинув руки за голову и глядя в небо. Ветер шевелил складку на моем купальном трико, которое было мне чуть-чуть просторнее, чем следовало бы. Площадка была пуста, только в тени сада, прилегающего к соседнему дому, Гриша Воробьев, студент и гимнаст, читал роман Марка Криницкого. Через полчаса молчания он спросил меня:

– Читал ты Криницкого?

– Нет, не читал.

– Это хорошо, что не читал. – И Гриша опять замолчал. Я закрыл глаза и увидел оранжевую мглу, пересеченную зелеными молниями. Должно быть, я проспал несколько минут, потому что ничего не слышал. Вдруг я почувствовал холодную мягкую руку, коснувшуюся моего плеча. Чистый женский голос сказал надо мной: – Товарищ гимнаст, не спите, пожалуйста. – Я открыл глаза и увидел Клэр, имени которой я тогда не знал. – Я не сплю, – ответил я. – Вы меня знаете? – продолжала Клэр. – Нет, вчера вечером я увидел вас в первый раз. Как ваше имя? – Клэр. – А, вы француженка, – сказал я, обрадовавшись неизвестно почему. – Садитесь, пожалуйста; только здесь песок. – Я вижу, – сказала Клэр. – А вы, кажется, усиленно занимаетесь гимнастикой и даже ходите по брусьям на руках. Это очень смешно. – Это я в корпусе научился.

Она помолчала минуту. У нее были длинные розовые ногти, очень белые руки, литое, твердое тело и длинные ноги с высокими коленями. – У вас, кажется, есть площадка для тенниса? – Голос ее содержал в себе секрет мгновенного очарования, потому что он всегда казался уже знакомым; мне и казалось, что я его где-то уже слыхал и успел забыть и вспомнить. – Я хочу играть в теннис, – говорил этот голос, – и записаться в гимнастическое общество. Развлекайте меня, пожалуйста, вы очень нелюбезны. – Как же вас развлекать? – Покажите мне, как вы делаете гимнастику. – Я ухватился руками за горячий турник, показал все, что умел, потом перевернулся в воздухе

и опять сел на песок. Клэр посмотрела на меня, держа руку над глазами; солнце светило очень ярко. – Очень хорошо; только вы когда-нибудь сломаете себе голову. А в теннис вы не играете? – Нет. – Вы очень односложно отвечаете, – заметила Клэр. – Видно, что вы не привыкли разговаривать с женщинами. – С женщинами? – удивился я; мне никогда не приходила в голову мысль, что с женщинами нужно как-то особенно разговаривать. С ними следовало быть еще более вежливым, но больше ничего. – Но вы ведь не женщина, вы барышня. – А вы знаете разницу между женщиной и барышней? – спросила Клэр и засмеялась. – Знаю. – Кто же вам объяснил? Тетя? – Нет, я это знаю сам. – По опыту? – сказала Клэр и опять рассмеялась. – Нет, – сказал я, краснея. – Боже мой, он покраснел! – закричала Клэр и захлопала в ладоши; и от этого шума проснулся Гриша, мирно заснувший над Марком Криницким. Он кашлянул и встал: лицо его было помято, зеленая полоса от травы пересекала его щеку.

– Кто этот красивый и сравнительно молодой человек?

– К вашим услугам, – сказал Гриша низким голосом, еще не вполне чистым, еще звучавшим из сна. – Григорий Воробьев.

– Вы это говорите так гордо, как будто бы вы сказали: Лев Толстой.

– Товарищ председателя этой симпатичной организации, – объяснил Гриша, – и студент третьего курса юридического факультета.

– Ты забыл прибавить: и читатель Марка Криницкого, – сказал я.

– Не обращайте внимания, – сказал Гриша, обращаясь к Клэр. – Этот юноша чрезвычайно молод.

Я переходил тогда из пятого класса в шестой; Клэр кончала гимназию. Она не была постоянной обитательницей нашего города; ее отец, коммерсант, временно проживал на Украине. Они все, то есть отец и мать Клэр и ее старшая сестра, занимали целый этаж большой гостиницы и жили отдельно друг от друга. Матери Клэр никогда не

бывало дома; сестра Клэр, ученица консерватории, играла на пианино и гуляла по городу, куда ее всегда сопровождал студент Юрочка, носивший за ней папку с нотами. Вся жизнь ее заключалась только в этих двух занятиях – прогулках и игре; и за пианино она быстро говорила, не переставая играть: – Боже мой, и подумать, что я сегодня еще не выходила из дому! – а гуляя, вдруг вспоминала о том, что плохо разучила какое-то упражнение; и Юрочка, неизменно при ней находившийся, только деликатно кашлял и перекладывал папку с нотами из одной руки в другую. Это была странная семья. Глава семейства, седой человек, всегда тщательно одетый, казалось, игнорировал существование гостиницы, в которой жил. Он ездил то в город, то за город на своем желтом автомобиле, бывал каждый вечер в театре, или в ресторане, или в кабаре, и многие его знакомые даже не подозревали, что он воспитывает двух дочерей и заботится о своей жене, их матери. С ней он встречался изредка в театре и очень любезно ей кланялся, а она с такой же любезностью, которая, однако, казалась более подчеркнутой и даже несколько насмешливой, отвечала ему.

– Кто это? – спрашивала спутница главы семейства.

– Кто это? – спрашивал мужчина, сопровождавший его жену.

– Это моя жена.

– Это мой муж.

И они оба улыбались и оба знали и видели: он – улыбку жены, она – улыбку мужа.

Дочери их были предоставлены самим себе. Старшая собиралась выходить замуж за Юрочку; младшая, Клэр, была равнодушно-внимательна ко всем; в доме их не было никаких правил, никаких установленных часов для еды. Я был несколько раз в их квартире. Я приходил туда прямо с площадки, усталый и счастливый потому, что сопровождал Клэр. Я любил ее комнату с белой мебелью, большим письменным столом, покрытым зеленой промокательной бумагой, – Клэр никогда ничего не писала, – и

кожаным креслом, украшенным львиными головами на ручках. На полу лежал большой синий ковер, изображавший непомерно длинную лошадь с худощавым всадником, похожим на пожелтевшего Дон-Кихота; низкий диван с подушками был очень мягок и покат – уклон его был к стене. Я любил даже акварельную Леду с лебедем, висевшую на стене, хотя лебедь был темного цвета. – Наверное, помесь обыкновенного лебедя с австралийским, – сказал я Клэр; а Леда была непростительно непропорциональна. Мне очень нравились портреты Клэр – их у нее было множество, потому что она очень любила себя, – но не только то нематериальное и личное, что любят в себе все люди, но и свое тело, голос, руки, глаза. Клэр была весела и насмешлива и, пожалуй, слишком много знала для своих восемнадцати лет. Со мной она шутила: заставляла меня читать вслух юмористические рассказы, одевалась в мужской костюм, рисовала себе усики жженой пробкой, говорила низким голосом и показывала, как должен вести себя «приличный подросток». Но, несмотря на шутки Клэр и ту пустоту, с какой она постоянно ко мне относилась, мне бывало не по себе. Клэр находилась в том возрасте, когда все способности девушки, все усилия ее кокетливости, каждое ее движение и всякая мысль суть бессознательные проявления необходимости физического любовного чувства, нередко почти безличного и превращающегося из развязки взаимных отношений в нечто другое, что ускользает от нашего понимания и начинает вести самостоятельную жизнь, как растение, которое незримо находится в комнате и наполняет воздух томительным и непреодолимым запахом. Я тогда не понимал этого, но не переставал это ощущать; и мне было нехорошо, у меня срывался голос, я невпопад отвечал, бледнел и, взглядывая на себя в зеркало, не узнавал своего лица. Мне все чудилось, что я погружаюсь в огненную и сладкую жидкость и вижу рядом с собой тело Клэр и ее светлые глаза с длинными ресницами. Клэр как будто понимала мое состояние: она вздыхала, потягивалась всем телом – она обычно сидела

на диване – и вдруг опрокидывалась на спину с изменившимся лицом и стиснутыми зубами. Это могло бы продолжаться долго, если бы через некоторое время я не перестал приходить в гости к Клэр, обидевшись на ее мать, – что случилось очень неожиданно; я сидел как-то у Клэр, как всегда, в кресле; Клэр лежала на диване; внезапно я услыхал за дверью низкий женский голос, раздраженно говоривший что-то горничной. – Моя мать, – сказала Клэр. – Странно, она в такое время редко бывает дома. – И в ту же минуту мать Клэр вошла в комнату, не постучавшись. Она была худощавой дамой лет тридцати четырех; на шее у нее было бриллиантовое колье, на руках громадные изумруды: меня сразу неприятно удивило это обилие драгоценностей. Она могла показаться красивой, но ее лицо портили толстые губы и светлые, жестокие глаза. Я встал и поклонился ей: Клэр меня тотчас представила. Ее мать, едва на меня взглянув, сказала: бесконечно счастлива с вами познакомиться, – и в ту же секунду обратилась к Клэр по-французски:

– Je ne sais pas, pourquoi tu invites toujours des jeunes gens, comme celui-là, qui a sa sale chemise déboutonnée et qui ne sait même pas se tenir[1].

Клэр побледнела.

– Ce jeune homme comprend bien le français[2], – сказала она.

Мать ее посмотрела на меня с упреком, точно я был в чем-нибудь виноват, быстро вышла из комнаты, шумно закрыв за собой дверь, и уже в коридоре закричала:

– Oh, laissez-moi tranquille tous![3]

После этого случая я перестал бывать у Клэр; наступала поздняя осень, в теннис больше не играли, я не мог видеть Клэр на гимнастической площадке. В ответ на мои письма она назначила мне два свидания, но ни на одно не

---

[1] – Я не знаю, почему ты всегда приглашаешь таких молодых людей, как вот этот, у которого грязная, расстегнутая рубашка и который даже не умеет себя прилично держать (*фр.*). – *Пер. автора.*

[2] – Этот молодой человек понимает по-французски (*фр.*) – *Пер. автора.*

[3] – Ах, оставьте меня в покое! (*фр.*) – *Пер. автора.*

явилась. И я не встречал ее четыре месяца. Потом была уже зима; и в лесу, за городом, куда я ходил на лыжах, деревья звенели от мороза, как серебро; и лихачи неслись по укатанной дороге в загородный ресторан «Версаль». Над снежными равнинами, которые начинались за лесом, медленно летали вороны. Я следил за их неторопливым полетом и думал о Клэр; и странная надежда встретить ее здесь вдруг начинала мне казаться возможной, хотя не было никакого сомнения в том, что Клэр не могла сюда прийти. Но так как я готовился только к встрече с ней и забывал обо всем остальном, то способности здравого размышления были во мне заглушены; и я походил на человека, который, потеряв деньги, ищет их повсюду и главным образом там, где их никак быть не может. Все эти четыре месяца я думал только о Клэр. Я все видел перед собой ее невысокую фигуру, ее взгляд, ее ноги в черных чулках. Я представлял себе диалог, который произойдет между нами; я слышал смех Клэр, я видел ее во сне. И, медленно скользя на лыжах, я с бессознательным вниманием смотрел на снег, точно искал ее следы. Остановившись в лесу, чтобы закурить папиросу, я слушал хруст веток, согнувшихся под тяжестью снега, и ждал, что вот-вот послышатся шаги, взовьется снежная пыль и в белом ее облаке я увижу Клэр. И хотя я хорошо знал ее наружность, но я не всегда видел ее одинаковой; она изменялась, принимала формы разных женщин и становилась похожей то на леди Гамильтон, то на фею Раутенделейн. Я не понимал тогда своего состояния; теперь же мне казалось, что все эти странности и изменения походили на то, как если бы по широкой и гладкой полосе воды вдруг пробежал бы луч прожектора, и вода рябилась бы и блестела, и человек, глядящий туда, увидел бы в этом блистании и изломанное изображение паруса, и огонек далекого дома, и белую ленту известкового шоссе, и сверкающий рыбий хвост, и дрожащий образ какого-то высокого стеклянного здания, в котором он никогда не жил. Мне становилось холодно; я опять пускался в дорогу и шел к городу; был уже вечер; розовый от заката снег расстилался кругом, и за дальним поворотом шоссе бряцали колокольчики под дугой, и звуки их сталкивались и перебивали друг

друга, лепеча невнятные мелодии. Темнело; и как будто синее стекло застывало в воздухе, – синее стекло, в котором возникало изображение города, куда я возвращался, где в белом высоком доме гостиницы жила Клэр; наверное, думал я, она лежит теперь на диване, все так же безмолвно скачет желтый Дон-Кихот на ковре и темно-серый лебедь обнимает толстую Леду; и дорога от Клэр ко мне стелется над землей и прямо соединяет лес, по которому я иду, с этой комнатой, с этим диваном и Клэр, окруженной романтическими сюжетами. Я ждал – и обманывался; и в этих постоянных ошибках черные чулки Клэр, ее смех и глаза соединялись в нечеловеческий и странный образ, в котором фантастическое смешивалось с настоящим и воспоминания моего детства со смутными предчувствиями катастроф; и это было так невероятно, что я много раз хотел бы проснуться, если бы спал. И это состояние, в котором я и был и не был, вдруг стало принимать знакомые облики, я узнал побледневшие призраки моих прежних скитаний в неизвестном – и я снова впал в давнишнюю мою болезнь; все предметы представлялись мне неверными и расплывчатыми, и опять оранжевое пламя подземного солнца осветило долину, куда я падал в туче желтого песка, на берег черного озера, в мою мертвую тишину. Я не знал, сколько времени прошло до той минуты, когда я увидел себя в своей постели, в комнате с высокими потолками. Я измерял тогда время расстоянием, и мне казалось, что я шел бесконечно долго, пока чья-то спасительная воля не остановила меня. Я видел однажды на охоте раненого волка, спасавшегося от собак. Он тяжело прыгал по снегу, оставляя на белом поле красные следы. Он часто останавливался, но потом с трудом снова пускался бежать; и когда он падал, мне казалось, что страшная земная сила тщится приковать его к одному месту и удержать там – вздрагивающей серой массой – до тех пор, пока не приблизятся вплотную оскаленные морды собак. Эта же сила, думал я, точно громадный магнит, останавливает меня в моих душевных блужданиях и пригвождает меня к кровати; и опять я слышу слабый голос няни, доходящий до меня будто с другого берега синей невидимой реки:

Ах, не вижу я милова
Ни в деревне, ни в Москве,
Только вижу я милова
В темной ночке да в сладком сне.

На стене висит давно знакомый рисунок Сиповского: петух, которого он рисовал при мне. – А у Клэр лебедь и Дон-Кихот, – думаю я и тотчас приподнимаюсь. – Да, – говорю я себе, точно проснувшись и прозрев, – да, это Клэр. Но что «это»? – опять думаю я с беспокойством – и вижу, что это – все: и няня, и петух, и лебедь, и Дон-Кихот, и я, и синяя река, которая течет в комнате, это все – вещи, окружающие Клэр. Она лежит на диване, с бледным лицом, со стиснутыми зубами, ее сосцы выступают под белой кофточкой, ноги в черных чулках плывут по воздуху, как по воде, и тонкие жилки под коленями набухают от набегающей в них крови. Под ней коричневый бархат, над ней лепной потолок, вокруг мы с лебедем, Дон-Кихотом и Ледой томимся в тех формах, которые нам суждены навсегда; вокруг нас громоздятся дома, обступающие гостиницу Клэр, вокруг нас город, за городом поля и леса, за полями и лесами – Россия; за Россией вверху, высоко в небе летит, не шевелясь, опрокинутый океан, зимние, арктические воды пространства. А внизу у доктора играют на пианино, и звуки качаются, как на качелях. – Клэр, я жду вас, – говорил я вслух. – Клэр, я всегда жду вас. – И опять я видел бледное лицо, отдельно от тела, и колени Клэр, словно отрубленные чьей-то рукой и показанные мне. – Ты хотел видеть лицо Клэр, ты хотел видеть ее ноги? Смотри. – И я смотрел в это лицо, как глядел бы в паноптикуме на говорящую голову, окруженную восковыми фигурами в странных костюмах, нищими, бродягами и убийцами. Но почему, думал я, все эти частицы меня и все, в чем я веду столько существований, эта толпа людей и бесконечный шум звуков и все остальное: снег, деревья, дома, долина с черным озером – почему-то вдруг сразу воплощалось во мне, и я был брошен на кровать и осужден лежать часами перед воздушным портретом Клэр и быть таким же неподвижным ее спутником, как Дон-Кихот и Леда, стать романтическим персонажем и спустя

много лет опять потерять себя, как в детстве, как раньше, как всегда? Когда моя болезнь прошла, я продолжал всетаки жить точно в глубоком черном колодце, над которым, беспрерывно возникая, и изменяясь, и отражаясь в темном водяном зеркале, стояло бледное лицо Клэр. Колодец раскачивался, как дерево на ветру, и отражение Клэр бесконечно удлинялось и ширилось и, задрожав, исчезало.

Больше всего я любил снег и музыку. Когда бывала метель и казалось, что нет ничего – ни домов, ни земли, а только белый дым, и ветер, и шорох воздуха; и когда я шел сквозь это движущееся пространство, я думал иногда, что если бы легенда о сотворении мира родилась на севере, то первыми словами священной книги были бы слова: «Вначале была метель». Когда она стихала, из-под снега вдруг появлялся целый мир, точно сказочный лес, выросший из чьего-то космического желания; я видел эти кривые линии черных зданий, и ложащиеся со свистом сугробы, и маленькие фигуры людей, идущие по улицам. Я особенно любил смотреть, как во время метели летят сквозь снег и опускаются на землю птицы: они то складывают, то вновь раскрывают крылья, точно не хотят расставаться с воздухом – и все же садятся; и сразу, будто по волшебству, превращаются в черные комки, шагающие на невидимых ногах, и выпрастывают крылья особенным, птичьим движением, мне почему-то необыкновенно понятным. Я давно уже не верил ни в Бога, ни в ангелов, но зрительные представления небесных сил сохранились у меня с детства; и я думал, что эти крылатые красивые люди летели бы и садились не так, как птицы: они не должны были бы делать быстрых движений, так как такие взмахи крыльев свидетельствуют о суетливости. Когда я смотрел на птиц, опускающихся с большой высоты, я всегда вспоминал убитого орла. Я вспоминал, как однажды отец с винтовкой за плечом возвращался с неудачной охоты на кабана; я пошел ему навстречу. Мне было тогда лет восемь. Отец взял меня за руку, потом поглядел наверх и сказал:

– Смотри, Коля: видишь, птица летит?

– Вижу.

– Это орел.

Очень высоко в воздухе, расправив крылья, действительно парил орел; то наклоняясь набок, то опять выпрямляясь, он медленно, как мне казалось, пролетал над нами. Было очень жарко и светло. – Орел может, не мигая, смотреть на солнце, – подумал я. Отец долго целился, ведя мушку винтовки за полетом орла, потом выстрелил. Орел тотчас же дернулся вверх, точно пуля его подбросила в воздухе, сделал несколько быстрых взмахов крыльями и упал. На земле он вертелся, как волчок, и раскрывал грязный клюв; перья его были в крови. – Не подходи! – закричал мне отец, когда я бросился было к тому месту, где упала птица. И я приблизился к орлу только после того, как он перестал шевелиться. Он лежал на земле, полураскрыв согнутое сломанное крыло, подогнув голову с кровавым клювом, и желтый его глаз уже становился стеклянным. На одной его лапе блестело медное кольцо, по которому что-то было нацарапано. – Орел-то старый, – пробормотал отец. Я вспоминал об этом каждый раз, когда бывала метель, потому что впервые вспомнил об убитом орле именно во время метели; я был тогда в парке, на лыжах, и метель заставила меня искать убежища в небольшой избушке, находившейся посередине пригородного леса. В этой избушке была лыжная станция. Дождавшись тихой погоды, я снова вышел в лес: лыжи глубоко погружались в мягкий, только что нападавший снег. Через некоторое время ударил мороз и все небо мгновенно покраснело. – Будет ветер, – подумал я. Но пока что стояла тишина. – Будет ветер, – повторил я вслух. И тогда далеко-далеко в лесу вдруг что-то прозвенело. Упала ли ледяная сосулька с дерева, зацепился ли легкий ветер об один из тех прозрачных сталактитов, которые нависают на елях, – я не знаю. Знаю только, после этого вновь наступило молчание, – и потом опять зазвенел лед. Будто маленький лесной карлик, живущий где-нибудь в дупле, тихо играл на стеклянной скрипке. И вдруг мне показалось, что громадное земное пространство свернулось, как географическая карта, и что вместо России я очутился в сказочном Шварцвальде. За деревьями стучат дятлы; белые снежные горы засыпают над ледяными полями озер; и внизу, в долине,

плывет в воздухе тоненькая звенящая сеть, застывающая на морозе. В ту минуту – как каждый раз, когда я бывал по-настоящему счастлив, – я исчез из моего сознания; так случалось в лесу, в поле, над рекой, на берегу моря, так случалось, когда я читал книгу, которая меня захватывала. Уже в те времена я слишком сильно чувствовал несовершенство и недолговечность того безмолвного концерта, который окружал меня везде, где бы я ни был. Он проходил сквозь меня, на его пути росли и пропадали чудесные картины, незабываемые запахи, города Испании, драконы и красавицы, – я же оставался странным существом с ненужными руками и ногами, со множеством неудобных и бесполезных вещей, которые я носил на себе. Жизнь моя казалась мне чужой. Я очень любил свой дом, свою семью, но мне часто снился сон, будто я иду по нашему городу и прохожу мимо здания, в котором живу, и непременно прохожу мимо, а зайти туда не могу, так как мне нужно двигаться дальше. Что-то заставляло меня стремиться все дальше, – как будто я не знал, что не увижу ничего нового. Я видел этот сон очень часто. Я нес в себе бесконечное количество мыслей, ощущений и картин, которые я испытал и видел, – и не чувствовал их веса. А при мысли о Клэр тело мое наливалось расплавленным металлом, и все, о чем я продолжал думать, – идеи, воспоминания, книги, – все неизменно торопилось оставить свой обычный вид, и «Жизнь животных» Брема или умирающий орел – неизменно представлялись мне высокими коленями Клэр, ее кофточкой, сквозь которую были видны круглые томительные пятна, окружающие соски, ее глазами и лицом. Я старался не думать о Клэр, но лишь изредка это мне удавалось. Были, впрочем, вечера, когда я вовсе о ней не вспоминал: вернее, мысль о Клэр лежала в глубине моего сознания, а мне казалось, что я забываю о ней.

Однажды, очень поздно ночью, я возвращался из цирка домой пешком – и не думал о Клэр. Шел сильный снег; сигара, которую я курил, поминутно потухала. На улицах не было никого, все окна были темны. Я шел и вспоминал песенку клоуна:

Я не советский,
Я не кадетский,
Ах, я народный комиссар... –

и тот странный, зыбучий отклик, который получается всегда, если артист играет на каком-нибудь музыкальном инструменте и поет на песчаной <арене> под аккомпанемент этого мотива, не перестававшего мне слышаться. Вместе с тем ожидание какого-то события вдруг появилось во мне – и тогда, подумав над этим, я понял, что давно уже слышу за собой шаги. Я обернулся: окруженная лисьим воротником своей шубки, как желтым облаком, широко открыв глаза, глядя сквозь медленно падающий снег, – за мной шла Клэр. Мне показалось, что недалеко за углом вдруг раздалось быстрое бульканье стекающей на тротуар воды, потом ударили молотком по камню – и сразу после этого наступила та тишина, которую я слышал во время припадков моей болезни. Мне стало трудно дышать; снежный туман стоял вокруг меня – и все, что затем произошло, случилось помимо меня и вне меня: мне было трудно говорить, и голос Клэр доходил до меня словно издалека. – Здравствуйте, Клэр, – сказал я, – я вас очень давно не видел. – Я была занята, – ответила Клэр, смеясь, – я выходила замуж. – Клэр теперь замужем, – подумал я, не понимая. Но страшная привычка к необходимости вести разговор как-то удерживала небольшую часть моего ускользающего внимания, и я отвечал, и говорил, и даже огорчался во время этого разговора; но все, что я произносил, было неправильно и не соответствовало моим чувствам. Клэр, не переставая смеяться и пристально смотреть на меня – и теперь я вспоминал, что на секунду в зрачках ее мелькнул испуг, когда она поняла, что не может вывести меня из состояния мгновенно наступившего оцепенения, – рассказала, что она замужем девять месяцев, но что она не хочет портить фигуры. – Это хорошо, – пробормотал я, поняв только фразу о том, что Клэр не хочет портить фигуры; а почему фигура могла бы испортиться, этого я не слышал и не понял. В другое время простое заявление о нежелании портить фигуру меня бы, конечно, удивило, как удивило

бы, если бы кто-нибудь сказал ни с того ни с сего: я не хочу, чтобы мне отрезали ногу. – Вам придется примириться с тем, что я перестала быть девушкой и стала женщиной. Помните наш первый разговор? – Примириться? – подумал я, поймав это слово. – Да, надо примириться... Я не сержусь на вас, Клэр, – сказал я. – Вас это не пугает? – продолжала Клэр. – Нет, напротив. – Мы шли теперь вместе; я держал Клэр под руку; вокруг был снег, падавший крупными хлопьями. – Запишите по-французски, – услышал я голос Клэр, и я секунду вспоминал, кто это говорит со мной. – Claire n'était plus vierge[1]. – Хорошо, – сказал я: – Claire n'était plus vierge. – Когда мы дошли до гостиницы Клэр, она проговорила:

– Моего мужа нет в городе. Моя сестра ночует у Юрочки. Мамы и папы тоже нет дома.

– Вы будете спокойно спать, Клэр.

Но Клэр рассмеялась опять.

– Надеюсь, что нет.

Она вдруг подошла ко мне и взяла меня двумя руками за воротник шинели.

– Идемте ко мне, – сказала она резко. В тумане передо мной, на довольно большом расстоянии, я видел ее неподвижное лицо. Я не двинулся с места. Лицо ее приблизилось и стало гневным.

– Вы сошли с ума или вы больны?

– Нет, нет, – сказал я.

– Что с вами?

– Я не знаю, Клэр.

Она не попрощалась со мной, поднялась по лестнице, и я слышал, как она открыла дверь и постояла минуту на пороге. Я хотел пойти за ней и не мог. Снег все шел по-прежнему и исчезал на лету, и в снегу клубилось и пропадало все, что я знал и любил до тех пор. И после этого я не спал две ночи. Через некоторое время я опять встретил Клэр на улице и поклонился ей, но она не ответила на поклон.

В течение десяти лет, разделивших две мои встречи с Клэр, нигде и никогда я не мог этого забыть. То я жалел,

[1] – Клэр не была более девушкой (*фр.*). – *Пер. автора.*

что не умер, то представлял себя возлюбленным Клэр. Бродягой, ночуя под открытым небом варварских азиатских стран, я все вспоминал ее гневное лицо, и, спустя много лет, ночью я просыпался от бесконечного сожаления, причину которого не сразу понимал – и только потом догадывался, что этой причиной было воспоминание о Клэр. Я вновь видел ее – сквозь снег, и метель, и безмолвный грохот величайшего потрясения в моей жизни.

Я не помню такого времени, когда – в какой бы я обстановке ни был и среди каких бы людей ни находился – я не был бы уверен, что в дальнейшем я буду жить не здесь и не так. Я всегда был готов к переменам, хотя бы перемен и не предвиделось; и мне заранее становилось немного жаль покидать тот круг товарищей и знакомых, к которому я успевал привыкнуть. Я думал иногда, что это постоянное ожидание не зависело ни от внешних условий, ни от любви к переменам; это было чем-то врожденным и непременным и, пожалуй, таким же существенным, как зрение или слух. Впрочем, неуловимая связь между напряженностью такого ожидания и другими впечатлениями, доходившими до меня извне, все же, конечно, существовала, но была необъяснима никакими рациональными доводами. Помню, незадолго до моего отъезда, который тогда не был еще решен, я, сидя в парке, вдруг услыхал рядом с собой польскую речь; в ней часто повторялись слова «вшистко»[1] и «бардзо»[2]. Я почувствовал холод в спине и ощутил твердую уверенность в том, что теперь я непременно уеду. Какое отношение эти слова могли иметь к ходу событий в моей жизни? Однако, услыхав их, я понял, что теперь сомнений не остается. Я не знал, появилась ли бы такая уверенность, если бы вместо этой польской речи рядом со мной раздался свист дрозда или меланхолический голос кукушки. Тогда же я внимательно посмотрел на человека, говорившего «вшистко» и «бардзо»; это был, по-видимому, польский

---

[1] все (*польск.*).

[2] очень (*польск.*).

еврей, на лице которого стояло выражение испуга и готовности тотчас же улыбнуться и еще, пожалуй, едва заметной, едва проступающей, но все же несомненной подлости: такие лица бывают у приживальщиков и альфонсов. С ним сидела девица лет двадцати двух; у нее были кольца на покрасневших пальцах с нечищеными длинными ногтями, печальные, закисающие глаза и такая особенная улыбка, которая вдруг делала ее близкой всякому человеку, на нее случайно взглянувшему. Я никогда больше не видел этих людей; и, однако, я запомнил их очень хорошо, как будто знал их долго и давно. Впрочем, незнакомые люди всегда интересовали меня. В них явственнее было то, что у знакомых становилось чем-то домашним, неопасным и поэтому неинтересным. Тогда мне казалось, что каждый незнакомый знает что-то, чего я не могу угадать; и я различал людей незнакомых просто от незнакомых par excellence[1], тип которых существовал в моем воображении как тип иностранца, то есть не только человека другой национальности, но и принадлежащего к другому миру, в который мне нет доступа. Может быть, мое чувство к Клэр отчасти возникло и потому, что она была француженкой и иностранкой. И хотя по-русски она говорила совершенно свободно и чисто и понимала все, вплоть до смысла народных поговорок, – все же в ней оставалось такое очарование, которого не было бы у русской. И французский язык ее был исполнен для моего слуха неведомой и чудесной прелести, несмотря на то, что я говорил по-французски без труда и, казалось, тоже должен был знать его музыкальные тайны, – не так, как Клэр, конечно, но все-таки должен был знать. И, с другой стороны, я всегда бессознательно стремился к неизвестному, в котором надеялся найти новые возможности и новые страны; мне казалось, что от соприкосновения с неизвестным вдруг воскреснет и проявится в более чистом виде все важное, все мои знания, и силы, и желание понять еще нечто новое; и, поняв, тем самым подчинить его себе. Такие же стремления, только в иной форме, воодушевляли, как я думал тогда, рыцарей и

[1] предпочтительно (*фр.*).

любовников; и воинственные походы рыцарей, и преклонение перед иностранными принцессами любовников – все это было неутолимым желанием знания и власти. Но тут же возникало противоречие, которое заключалось в том, что были для походов рыцарей непосредственные причины, в которые они сами верили и из-за которых они шли воевать; и не были ли эти причины настоящими, а другие – выдуманными? И вся история, и романтизм, и искусство являлись лишь тогда, когда событие, послужившее основанием их возникновения, уже умерло и более не существует, а то, что мы читаем и думаем о нем, – только игра теней, живущих в нашем воображении. И как в детстве я изобретал свои приключения на пиратском корабле, о котором рассказал мне отец, так потом я создавал королей, конквистадоров и красавиц, забывая, что иногда красавицы были кокотками, конквистадоры – убийцами и короли – глупцами; и рыжебородый гигант Барбаросса не думал никогда ни о знании, ни о фантазии, ни о любви к неизвестному; и, может быть, утопая в реке, он не вспоминал о том, о чем ему полагалось бы вспоминать, если бы он подчинялся законам той воображаемой своей жизни, которую мы создали ему много сот лет после его смерти. И когда я думал об этом, все представлялось мне неверным и расплывчатым, как тени, движущиеся в дыму. И опять от таких напряженных, но произвольных моих представлений я обращался к тому, что видел вокруг себя, и к более близкому знакомству с людьми, меня окружавшими; это было тем важнее, что я чувствовал уже приближающуюся необходимость покинуть их и, может быть, никогда потом не увидеть. Но когда я сосредоточивал на них свое внимание, я замечал чаще всего их недостатки и смешные стороны и не замечал их достоинств; отчасти это происходило от моего неумения разбираться в людях, отчасти потому, что критическое отношение к ним было у меня сильно, а искусства воспринимать и понимать их почти не было. Оно появилось значительно позже, и то нередко бывало неверным, хотя подчас очень искренним и чистосердечным. Мне нравилось любить некоторых людей, не особенно сближаясь с ними, тогда в них оставалось нечто недоска-

занное, и, хотя я знал, что это недосказанное должно быть просто и обыкновенно, я все же невольно создавал себе иллюзии, которые не появились бы, если бы ничего недосказанного не осталось. Из таких людей я любил больше других Бориса Белова, инженера, только что кончившего технологический институт. Он отличался тем, что никогда серьезно не разговаривал, и когда кадет Володя, у которого был прекрасный голос (он приехал в отпуск из какого-то партизанского отряда, и Белов говорил о нем, представляя его кому-нибудь: – Владимир, певец и партизан), пел в гостиной Builder Ворониных романс «Тишина» и доходил до того места, где луна выплывает из-за лип, Белов за его спиной изображал плывущую луну, размахивая руками и отдуваясь, как человек, попавший в воду. Как только Володя кончал петь, Белов говорил:

– Плачу крупную сумму за неопровержимое доказательство того, что луна действительно плавает и что липы делаются из кружева. – И художник Северный, находившийся тут же, замечал с печальной улыбкой:

– А вы все шутите... – так как сам он никогда не шутил, потому что был к этому не способен и из-за этого недолюбливал шутников; он был всегда и неизменно грустен. – Непобедимый человек, – сказал про него Белов, – и чемпион меланхолии. Но самое удивительное в нем то, что нет на земле другого мужчины, который обладал бы таким невероятным аппетитом. – Северный, ну, почему вы все время грустите? – спрашивала его какая-нибудь барышня. И Северный, с ожесточением улыбаясь и рассеянно глядя перед собой, отвечал: – Трудно сказать... – Но великолепную паузу, следовавшую за этой фразой, прерывал Белов, декламировавший: кому повем печаль мою? При этом Белов оказался не только шутником; однажды, когда я пришел к нему невзначай, я услышал, приближаясь к его дому, как кто-то играл на скрипке серенаду Тозелли, и увидел, что играет сам Белов. – Как, вы играете на скрипке? – изумился я. Он сказал просто, не шутя и не смеясь, как обычно:

– Нет ничего в мире лучше музыки.

И затем прибавил:

– И обидно не обладать никакими талантами.

Потом он сейчас же спохватился и, повторив фразу о том, что нет ничего лучше музыки, – но уже другим, всегдашним, своим тоном сказал: – Разве, пожалуй, дыни?.. – И сделал вид, что задумался. Но я уже знал то, что он считал нужным скрывать (он, вышучивавший всех, пуще всего боялся насмешек), – и после этого Белов стал относиться ко мне более сдержанно, чем раньше.

Художник Северный был человеком очень ограниченным. Он обыкновенно молчал, но зато если принимался разговаривать, то непременно говорил глупости. Он был очень доволен своими картинами, своей наружностью и успехом у женщин. – Вы знаете, – рассказывал он, – ведь я недурен собой. Вот, выхожу на днях из театра, ко мне нервно подбегает одна известная артистка и говорит: кто вы такой? Как ваша фамилия? Вы слышите? Я вас жду у себя сейчас... Что мне было делать? Я печально улыбнулся (он так и сказал: я печально улыбнулся) и ответил: моя дорогая, я не люблю артисток. Она закусила губу до крови, ударила себя веером по подбородку и, резко повернувшись, ушла. Я пожал плечами. – Я запишу этот рассказ, – сказал Белов. – Так, вы говорите, закусывала губы и резко поворачивалась, не считая ударов веера, которые она наносила себе по подбородку? А вы печально улыбались? – Северный ничего не ответил и стал говорить о своем ателье. Его ателье было, кстати сказать, маленькой аккуратной комнатой с симметрично развешенными картинами. Белова, который как-то туда пришел, поразила нарисованная птичья голова, держащая в клюве какой-то темный кусок, отдаленно напоминавший обломок железа. Под картиной было написано: этюд лебедя. Белов недоверчиво спросил: это этюд? – Этюд, – твердо сказал Северный. – А что такое этюд? – Видите ли, – ответил Северный, подумав, – это такое французское слово. – И он посмотрел вокруг себя, и взгляд его остановился на Смирнове, его ближайшем товарище и поклоннике его таланта. Смирнов кивком головы подтвердил слова Северного.

Смирнов ничего не понимал в живописи, как не понимал ничего, выходящего за пределы его знаний,

весьма скромных. Он учился в той же гимназии, что и я, но был тремя классами старше и во времена своей дружбы с Северным числился студентом местного университета. Он всегда носил с собой революционные брошюры, прокламации и готовый запас мыслей о кооперации и коллективизме; но он знал все эти вопросы только по популяризаторским книгам, а в истории социализма был слаб и не имел представления ни о сектантстве Сен-Симона, ни о банкротстве Оуэна, ни о сумасшедшем бухгалтере, прождавшем всю жизнь великодушного чудака, который пожелал бы ему дать миллион с тем, чтобы потом устроить при помощи этих денег счастье сначала во Франции, потом на всем земном шаре. Я спрашивал Смирнова:

– Тебе не надоели эти брошюры?

– Они помогут нам освободить народ. – Я не стал ему возражать; но в разговор вмешался Белов. – Вы твердо уверены, что народ без вас не обойдется? – спросил он. – Если все будут так рассуждать, мы никогда не станем сознательной нацией, – ответил Смирнов. – Смотрите, – обратился ко мне Белов, – до чего довели этого симпатичного человека брошюры. Никогда нигде не существовало сознательных наций. Почему вдруг при помощи безграмотных книжонок мы все станем сознательными? И Смирнов нам будет читать об эволюции теории ценности, а Марфа, наша кухарка, жена чрезвычайных добродетелей, об эпохе раннего Ренессанса? Смирнов, предложите эти брошюры Северному. Скажите ему, что это этюды. – Но тут оказалось, что Северный давно уже коммунист и член партии. Белов очень обрадовался этому, пожимал Северному руку и говорил:

– Ну, голубчик, поздравляю. А я думал, что это он этюды все рисует?

Смирнов, говоривший всегда странным и напыщенным, специально агитационным языком, заметил:

– Ваша пустая ирония, товарищ Белов, может оттолкнуть от наших рядов ценных работников.

– Это не человек, – убежденно сказал Белов, обращаясь ко мне и к Северному. – Нет. Это газета. И даже не газета, а передовая статья. Вы передовая статья, вы понимаете?

– Я понимаю, может быть, больше, чем вы думаете.

– Какие глаголы! – насмешливо сказал Белов. – Понимать, думать. Кооперативная идеология не приемлет таких вещей.

Но насмешки Белова не могли подействовать ни на Северного, ни на Смирнова, так как, помимо того, что они были глупы, они еще находились во власти господствовавшей тогда моды на политические разговоры и социально-экономические рассуждения. Меня эта мода оставляла равнодушным; я интересовался только такими отвлеченными идеями, которые могли бы мне быть близки и имели бы для меня дорогое и важное значение; я мог часами сидеть над книгой Бёме, но читать труды о кооперации не мог. И время разговоров на политические темы – Россия и революция – мне представлялось странным, но смысл его, вернее, его движение казалось мне совершенно иным. Я вспоминал о нем, как и обо всем другом, чаще всего ночью: горела лампа над моим столом, за окном было холодно и темно; и я жил точно на далеком острове; и сейчас же за окном и за стеной теснились призраки, входившие в комнату, как только я думал о них. Тогда, в России, был холоден воздух, был глубок снег, чернели дома, играла музыка и все текло передо мной – и все было неправдоподобным, все медленно шло и останавливалось – и вдруг снова принималось двигаться; одна картина набегала на другую – словно ветер подул на пламя свечи и по стене запрыгали дрожащие тени, внезапно вызванные сюда Бог весть какой силой, Бог весть почему прилетевшие, как черные немые видения моих снов. А когда мои глаза уставали, я закрывал их, и перед моим взглядом как бы захлопывалась дверь; и вот из темноты и глубины рождался подземный шум, которому я внимал, не видя его, не понимая его смысла, стараясь постигнуть и запомнить его. Я слышал в нем и шорох песка, и гул трясущейся земли, и плачущий, ныряющий звук чьего-то стремительного полета, и мотивы гармоник и шарманки; и, наконец, ясно доходил до меня голос хромого солдата:

Горел-шумел пожар московский...

И тогда я вновь открывал глаза и видел дым и красное пламя, озарявшее холодные зимние улицы. Тогда вообще было чрезвычайно холодно: и в гимназии, например, – я был в шестом классе, – мы сидели, не снимая пальто, и преподаватели ходили в шубах. Им очень редко платили жалованье – и все же они всегда аккуратно являлись на уроки. Было несколько предметов, по которым некому было преподавать, образовывались свободные часы – и мы пользовались этой свободой, чтобы распевать всем классом каторжные песни, которым нас учил Перенко, высокий малый, лет восемнадцати, живший на неспокойной окраине города, росший среди будущих воров и, может быть, убийц. Он носил с собой финский нож, говорил всегда воровскими словечками, как-то особенно щелкал языком и плевал сквозь зубы. Он был прекрасным товарищем и плохим учеником – не потому, однако, что не обладал никакими способностями, а по другой причине: родители его были люди простые. Никто в семье не мог ему помочь в его занятиях. В маленькой квартире, прилегавшей к столярной мастерской, которую держал его отец, никто не знал ни Столетней войны, ни войны Алой и Белой розы, и все эти названия, и иностранные слова, и запутанные события новой истории, точно так же, как законы теплоты и отрывки из французских и немецких классиков, – все это было настолько чуждо Перенке, что он не мог этого ни понять, ни запомнить, ни, наконец, почувствовать, что это имеет какой-то смысл, который был бы хоть в незначительной степени для чего-нибудь пригоден. Перенко мог бы заинтересоваться этим, если бы духовные его потребности не нашли другого применения. Но, как большинство людей такого типа, он был очень сентиментален; и каторжные свои песни он пел чуть ли не со слезами на глазах: они заменяли ему те душевные волнения, которые вызывают книги, музыка и театр – и потребность которых была у него, пожалуй, сильнее, чем у его более образованных товарищей. Большинство преподавателей этого не знали и считали Перенку просто хулиганом; и только учитель русского языка относился к нему с особенной серьезностью и вниманием и никогда не сме-

ялся над его невежественностью, за что Переико сердечно его любил и отличал от других.

Этот учитель казался нам странным человеком – потому, что на своих уроках говорил не о тех вещах, к которым мы привыкли и которым я учился пять лет в гимназии, до тех пор, пока не перевелся в другую – именно в ту, где преподавал Василий Николаевич; его звали Василий Николаевич. – Вот я назвал вам имя Льва Толстого, – говорил он. – А ведь в народе о нем совсем особенное было представление. Моя мать, например, которая была совсем простой женщиной, швеей, как-то хотела идти к Толстому после смерти моего отца, советоваться с ним: что ей делать дальше; положение было плохое, она была очень бедная. А к Толстому хотела идти потому, что считала его последним угодником и мудрецом на земле. У нас с вами другие взгляды, а мать моя была проще и, наверное, психологии Анны Карениной, и князя Андрея, и уж особенно графини Безуховой, Элен, не поняла бы; мысли у нее были несложные, зато более сильные и искренние; а это, господа, большое счастье. – Потом он заговорил о Тредьяковском, объяснил разницу между силлабическим и тоническим стихосложением и в заключение сказал:

– Тредьяковский был несчастный человек, жил в жестокое время. Положение его было унизительное; представьте себе, при тогдашней грубости придворных нравов, эту роль – нечто среднее между шутом и поэтом. Державин был много счастливее его.

Сам Василий Николаевич напоминал раскольничьего святого – в седой бородке, в простых железных очках; говорил он скоро, тем северорусским языком, который звучит на Украине так неожиданно. Одевался он очень плохо и бедно; и не знающий его человек, увидя его на улице, никогда бы не подумал, что этот старичок может быть прекрасным и образованным педагогом. В нем было что-то подвижническое: я вспоминал его хмурые седые брови и покрасневшие глаза, глядящие сквозь очки; его искренность, мужество и простоту: он не скрывал ни своих убеждений, которые могли показаться чересчур левыми при гетмане и слишком правыми при большевиках, ни

того, что его мать была швеей, – а в этом редко кто признался бы. Мы учили тогда протопопа Аввакума, и Василий Николаевич читал нам длинные отрывки:

«...Егда же рассветало в день недельный, посадили меня на телегу и растянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря, и тут на чепи кинули в темную полатку, ушла в землю, и сидел три дни, ни ел, ни пил; во тме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, – сиречь, есть захотел, – и после вечерни ста предо мною не вем – ангел, не вем – человек, и по се время не знаю, токмо в потемках молитву сотворил, и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки дал, и хлебца немношко, и штец дал похлебать, – зело привкусны, хороши! – и рекл мне: «полно, довлеет ти ко укреплению». Да и не стало его... Отдали чернцу под начал, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь трогают, и в глаза плюют. Бог их простит в сий век и в будущий: не их дело, но сатаны лукаваго».

«Таже ин началник, во ино время, на мя рассвирепел, – прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки огрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покиня меня, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И егда шел путем, наскочил на меня он же паки со двема малыми пищальми, и близ меня быв, запалил из пистоли, и, Божиею волею, на полке порох пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ея на землю, и из другия паки запалил так же, и Божия воля учинила так же, – и та пищаль не стрелила. Аз же прилежно, идучи, молюсь Богу, одиною рукою осенил его и поклонился ему. Он меня лает; а я ему рекл: «благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет!» Сердитовал на меня за церковную службу: ему хочется скоро, а я пою по уставу, не борзо; так ему было досадно. Посем двор у меня отнял, а меня выбил, всего ограбя, и на дорогу денег не дал».

Он читал очень хорошо; и мой товарищ, Щур, один из самых способных и умных, каких мне приходилось встречать, говорил мне: – Ты знаешь, Василий Николаевич сам похож на протопопа Аввакума; такие вот люди и шли на костер.

– Кто из вас не знает легенды о плясуне Богоматери? – спросил однажды Василий Николаевич. Легенду эту знал только один человек в классе: это был еврей с нежным детским лицом, по фамилии Розенберг; он был такой маленький, что на вид ему можно было дать двенадцать или одиннадцать лет, а на самом деле ему уже исполнилось шестнадцать. По утрам гимназистки восьмого класса, встречая его на улице, кричали ему: мальчик, мальчик, беги скорей, опоздаешь! – и Розенберг обижался до слез. Он был гораздо умнее и развитее, чем можно было ожидать в его возрасте: он очень много читал и помнил и нередко знал странные вещи, прочитанные им когда-то в большом календаре и оставшиеся в его памяти: способы удобрения в Мексике, религиозные суеверия полинезийцев и анекдоты, относящиеся ко временам зарождения английского парламентаризма. И этот Розенберг знал легенду о плясуне Богоматери – потому, говорил он, вызванный на объяснения Василием Николаевичем, что кто же ее не знает? Но все-таки большинство учеников никогда не слыхали об этой легенде; и Василий Николаевич рассказал нам ее: все слушали внимательно, и Перенко, разглядывавший перед тем свой финский нож, так и остался сидеть, не отводя глаз от белого металла и глубоко задумавшись. Дня через два Василий Николаевич советовал нам прочесть то начало позднейшей биографии Толстого, где говорится о муравейных братьях, – и о муравейных братьях ничего не знал даже Розенберг. В тот же день на меня обиделся новый священник, только что прибывший в гимназию, носивший шелковую рясу и лакированные ботинки. Он вошел в первый раз в класс, перекрестился с особой, как мне показалось, кокетливостью, осмотрел учеников и сказал:

– Господа, теперь такое время, когда Закон Божий и история церкви, кажется, не в моде. – Он покачал голо-

вой, скривил губы и иронически хихикнул несколько раз. – Может быть, среди вас есть атеисты, не желающие присутствовать на моих уроках? Тогда, – он насмешливо улыбнулся и развел руками, – пусть они встанут и уйдут из класса. – Дойдя до слов «уйдут из класса», он стал серьезен и строг, как бы подчеркивая, что теперь с насмешкой над невежественными атеистами покончено и что, конечно, никто об уходе из класса не подумает. Этот человек был пропитан гордостью и никогда не упускал случая напомнить, что религия теперь гонима и что подчас от служителей ее требуется незаурядное мужество, – как это бывало во времена начала христианства, – и он приводил священные цитаты, причем постоянно ошибался в текстах и заставлял святого Иоанна произносить слова, принадлежащие чуть ли не Фоме Аквинскому; я думаю, впрочем, что это не имело в его глазах большого значения: он защищал не догматическую религию, в которой был нетверд, а нечто другое. И это другое выражалось в том, что он привык к положению «гонимаго» и мало-помалу так сжился с ним, что если бы религия вновь вошла в почет, то ему решительно нечего было бы делать и стало бы, наверное, очень трудно и скучно.

Я встал и вышел из класса. Он провожал меня глазами и сказал: – Помните место в богослужении: «Оглашенные, изыдите!»? – Через неделю Василий Николаевич спросил меня: – Вы, Соседов, в Бога верите? – Нет, – отвечал я, – а вы, Василий Николаевич? – Я очень верующий человек. Кто может до конца веровать, тот счастлив.

Вообще слова, которые он употреблял чаще всего, были «счастливый» и «несчастный». Он принадлежал к числу тех непримиримых русских людей, которые видят смысл жизни в искании истины, даже если убеждаются, что истины в том смысле, в котором они ее понимают, нет и быть не может. Преподавание русского языка всегда было связано у него с замечаниями о других вещах, нередко не имевших непосредственного отношения к его предмету, с рассуждениями о современности, религии, истории; и во всем этом он обнаруживал удивительные познания. Вдруг выяснялось, что он был за границей, долго жил в Швейца-

рии, Англии, Франции, хорошо знал иностранные языки, и ко всему, что он видел там, он отнесся со вниманием: он все искал свою истину – везде, где только ни был. Я часто потом думал: найдет ли он ее, хватит ли у него мужества обмануть себя – и умрет ли он спокойно? И мне казалось, что даже если бы ему почудилось, что он ее нашел, он, наверное, поспешил бы отречься от нее – и снова искать: и, может быть, его истина не носила в себе наивной мысли о возможности обретения того, чем мы никогда не обладали; и, уж наверное, она не заключалась в мечте о спокойствии и тишине, потому что умственное бездействие, на которое это обрекло бы его, было бы для него позором и мучением. Василий Николаевич был одним из тех преподавателей, которых я любил за все время моего пребывания в разных учебных заведениях. Все остальные были людьми ограниченными, заботились только о своей карьере и на преподавание смотрели как на службу. Хуже других были священники – самые тупые и невежественные педагоги. Только первый мой законоучитель, академик и философ, казался мне человеком почти замечательным, хотя и фанатиком. Он не был педантом: в пятом классе, когда я подолгу расспрашивал его об атеистическом смысле «Великого Инквизитора» и о «Жизни Иисуса» Ренана, – тогда я читал «Братьев Карамазовых» и Ренана, а курса не учил и не знал ни катехизиса, ни истории церкви, и он целый год не вызывал меня к ответу, – в последней четверти, однажды, поманив меня к себе пальцем, он тихо сказал:

– Ты думаешь, Коля, – он называл всех на ты и по именам, так как преподавал у нас с первого класса, – что я не имею никакого представления о твоих познаниях в катехизисе? Я, миленький, все знаю. Но я все-таки ставлю тебе пять, потому что ты хоть немного религией интересуешься. Ступай. – Когда он произносил свои проповеди, на глазах у него стояли слезы; в Бога, впрочем, он, кажется, не верил. Он напоминал мне Великого Инквизитора в миниатюре: он был непобедим в диалектических вопросах и вообще был бы более хорош как католик, чем как православный. И у него был прекрасный голос – сильный и умный, – потому что мне неоднократно приходилось заме-

чать, что голос человека, так же, как его лицо, может быть умным и глупым, талантливым и бездарным, благородным и подлым. Его убили спустя несколько лет, во время гражданской войны, где-то на юге – и известие о его смерти мне было тем более тягостно, что я вообще не любил священников и, следовательно, поступал нехорошо по отношению к этому человеку, которого теперь уже нет в живых.

Я не знал, собственно, почему я питал неприязнь к людям духовного звания; пожалуй, в силу какого-то убеждения, что они стоят на более низкой социальной ступени, чем все остальные, – они и еще полицейские. Им нельзя было подавать руку, нельзя было приглашать их к столу; и я помнил длинную фигуру околоточного, приходившего ежемесячно получать взятку, – Бог знает за что, – терпеливо ожидавшего в передней, пока горничная не выносила ему денег, после чего он молодцевато кашлял и уходил, звеня огромными шпорами на лакированных сапогах с чрезвычайно короткими голенищами, какие носили только околоточные да еще почему-то регенты церковных хоров. С взятками же священникам мне пришлось столкнуться однажды, когда я учился в третьем классе, заболел за две недели до Пасхи и не говел в гимназической церкви; и отец Иоанн сказал мне, что необходимо осенью принести в гимназию свидетельство о говении, иначе меня не переведут и оставят на второй год. То лето я проводил, как почти всегда, в Кисловодске. Дядя мой, Виталий, скептик и романтик, оставшийся навеки драгунским ротмистром за то, что вызвал на дуэль командира полка, а в ответ на его отказ драться дал ему пощечину в офицерском собрании и сидел потом пять лет в крепости, откуда вышел очень изменившимся человеком и где он приобрел удивительную и вовсе уж для офицера необыкновенную эрудицию в вопросах искусства, философии и социальных наук, и затем продолжал служить в том же полку, но не продвигался в чинах, – дядя мой сказал мне:

– Возьми, Коля, десять рублей и пойди к этому долгогривому идиоту. Попроси у него свидетельство о говении. В церковь тебе нечего ходить, лоботрясничать. Просто дай ему деньги и возьми у него свидетельство.

Заказ 3235

Дядя Виталий всегда всех ругал и всем был недоволен, хотя в личном обращении и отношении к людям был, в общем, добр и снисходителен, и когда тетка собиралась наказывать своего восьмилетнего сына, он брал его под защиту и говорил: – Оставь ты его в покое, он не понимает, что он сделал. Не забывай, что этот ребенок поразительно глуп; и если ты его высечешь, он умнее не станет. Кроме того, бить детей вообще нельзя, и этого не знают только такие невежественные женщины, как ты. – Почти каждую свою речь дядя начинал словами:

– Эти идиоты...

– Мне священник не выдаст свидетельства так просто, – сказал я, – ведь я должен сначала говеть.

– Это все глупости. Заплати ему десять рублей, и больше ничего. Делай так, как я тебе говорю.

Я пошел к священнику. Он жил в маленькой квартире с двумя креслами ярко-желтого цвета и портретами архиереев на стенах. В ответ на мою просьбу о свидетельстве он сказал:

– Сын мой, – меня покоробило это обращение, – приходите в церковь, сперва исповедуйтесь, потом причаститесь, потом можно будет через недельку и свидетельство выдать.

– А сейчас нельзя?

– Нет.

– Я бы хотел сейчас, батюшка.

– Нельзя сейчас, – сказал священник, начиная сердиться на мою непонятливость. Тогда я вынул десять рублей и положил их на стол, а на священника не посмотрел, потому что мне было стыдно. Он взял деньги, засунул их в карман, отбросив полу рясы и обнаружив под ней узкие черные штаны со штрипками, и позвал: – Отец дьякон! – Из соседней комнаты вышел дьякон, жуя что-то; лицо его было покрыто потом от сильной жары, и так как он был очень толст, то пот буквально струился с него; и на его бровях висели светлые капельки.

– Выдайте этому молодому человеку свидетельство о говении.

Дьякон кивнул головой и тотчас написал мне свидетельство – особенным квадратным почерком, довольно красивым.

– Что я тебе сказал? – буркнул дядя. – Я, брат, их знаю...

Тетка ему заметила:

– Ты бы хоть мальчику таких вещей не говорил.

И он отвечал:

– Этот мальчик, как и всякий другой мальчик, понимает нисколько не меньше тебя. Я, матушка, это прекрасно знаю. Уж если ты меня начнешь учить, то мне только повеситься останется.

Вечерами Виталий сидел на террасе дома, погруженный в задумчивость. – Почему ты так долго сидишь на террасе? – спрашивал я. – Я погружаюсь в задумчивость, – отвечал Виталий и придавал этому выражению такой оттенок, точно он действительно погружался в задумчивость – как в воду или в ванну. Изредка он разговаривал со мной:

– Ты в каком классе?

– В четвертом.

– Что же ты теперь учишь?

– Разные предметы.

– Глупости тебе все преподают. Что ты знаешь о Петре Великом и Екатерине? Ну-ка, расскажи.

Я ему рассказывал. Я ждал, что после того, как я кончу говорить, он скажет:

– Эти идиоты...

И он действительно так и говорил:

– Эти идиоты тебе преподают неправду.

– Почему неправду?

– Потому что они идиоты, – уверенно сказал Виталий. – Они думают, что если у тебя будет ложное представление о русской истории как смене добродетельных и умных монархов, то это хорошо. В самом же деле ты изучаешь какую-то сусальную мифологию, которой они заменяют историческую действительность. И в результате ты окажешься в дураках. Впрочем, ты все равно окажешься в дураках, даже если будешь знать настоящую историю.

– Непременно окажусь в дураках?

– Непременно окажешься. Все оказываются.

– А вот ты, например?

– Ты говоришь дерзости, – совершенно спокойно ответил он. – Таких вопросов нельзя задавать старшим. Но если ты хочешь знать, то и я сижу в дураках, хотя предпочел бы быть в другом положении.

– А что же делать?

– Быть негодяем, – резко сказал он и отвернулся.

Он был несчастен в браке, жил почти отдельно от семьи и хорошо знал, что его жена, московская дама, очень красивая, была ему неверна; он был намного старше ее. Я приезжал в Кисловодск каждое лето и всегда заставал там Виталия – до тех пор, пока меня не отделили от Кавказа движения различных большевистских и антибольшевистских войск, происходившие на Дону и на Кубани. И только за год до моего отъезда из России, во время гражданской войны, я опять приехал туда и снова увидел на террасе нашей дачи согнувшуюся в кресле фигуру Виталия. Он состарился за это время, поседел, лицо его стало еще более мрачным, чем раньше. – Я встретил в парке Александру Павловну (это была его жена), – сказал я ему, здороваясь. – У нее прекрасный вид. – Виталий хмуро на меня посмотрел.

– Ты помнишь пушкинские эпиграммы?

– Помню.

Он процитировал:

Тебе подобной в мире нет.
Весь свет твердит, и я с ним тоже:
Другой, что год, то больше лет,
А ты, что год, то все моложе.

– У тебя очень недовольное выражение, Виталий.

– Что делать? Я, брат, старый пессимист. Ты, говорят, хочешь поступить в армию?

– Да.

– Глупо делаешь.

– Почему?

Я думал, что он скажет «эти идиоты». Но он этого не сказал. Он только опустил голову и проговорил:

– Потому что добровольцы проиграют войну.

Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что

такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию. Но меня удивило, что Виталий, старый офицер, относится к этому с таким неодобрением. Я не вполне понимал тогда, что Виталий был слишком для этого умен и вовсе не придавал своему офицерскому чину того значения, какое ему обычно придавалось. Но все же я спросил его, почему он так думает. Равнодушно поглядев на меня, он сказал, что они, то есть те, в чьих руках находится командование антиправительственными войсками, не знают законов социальных отношений. – Там, – сказал он, оживляясь, – там вся северная голодная Россия. Там, брат, идет мужик. Знаешь ли ты, что Россия крестьянская страна, или тебя не учили этому в твоей истории? – Знаю, – ответил я. Тогда Виталий продолжал: – Россия, – говорил он, – вступает в полосу крестьянского этапа истории, сила в мужике, а мужик служит в красной армии. – У белых, по презрительному замечанию Виталия, не было даже военного романтизма, который мог бы показаться привлекательным; белая армия – это армия мещанская и полуинтеллигентская. – В ней служат кокаинисты, сумасшедшие, кавалерийские офицеры, жеманные, как кокотки, – резко говорил Виталий, – неудачные карьеристы и фельдфебели в генеральских чинах.

– Ты все всегда ругаешь, – заметил я. – Александра Павловна говорит, что это твоя profession de foi[1].

– Александра Павловна, Александра Павловна, – с неожиданным раздражением сказал Виталий. – Profession de foi. Какая глупость! Двадцать пять лет, со всех сторон и почти ежедневно, я слышу это бессмысленное возражение: ты все ругаешь. Да ведь я думаю о чем-нибудь или нет? Я тебе излагаю причины неизбежности такого исхода войны, а ты мне отвечаешь: ты все ругаешь. Что ты – мужчина или тетя Женя? Я Александру Павловну упрекнул за

[1] *Букв.*: исповедание веры (*фр.*); кредо.

то, что она все какую-то Лаппо-Нагродскую читает, и она мне тоже сказала, что я все, по обыкновению, ругаю. Нет, не все. Я литературу, слава Богу, знаю лучше и больше люблю, чем моя жена. Если я что-нибудь браню, значит, у меня есть для этого причины. Ты пойми, – сказал Виталий, поднимая голову, – что из всего, что делается в любой области, будь это реформа, реорганизация армии, или попытка ввести новые методы в образование, или живопись, или литература, девять десятых никуда не годится. Так бывает всегда; чем же я виноват, что тетя Женя этого не понимает? – Он помолчал с минуту и потом отрывисто спросил:

– Сколько тебе лет?

– Через два месяца будет шестнадцать.

– И черт несет тебя воевать?

– Да.

– А почему, собственно, ты идешь на войну? – вдруг удивился Виталий. Я не знал, что ему ответить, замялся и, наконец, неуверенно сказал:

– Я думаю, что это все-таки мой долг.

– Я считал тебя умнее, – разочарованно произнес Виталий. – Если бы твой отец был жив, он не обрадовался бы твоим словам.

– Почему?

– Послушай, мой милый мальчик, – сказал Виталий с неожиданной мягкостью. – Постарайся разобраться. Воюют две стороны: красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича. – Конец Смутного времени, – пробормотал я. – Да, конец Смутного времени. Вот тебе и пригодилась гимназия. – И Виталий принялся излагать мне свой взгляд на тогдашние события. Он говорил, что социальные категории – эти слова показались мне неожиданными, я все не мог забыть, что Виталий – офицер драгунского полка, – подобны феноменам, подчиненным законам какой-то нематериальной биологии, и что такое положение если и

не всегда непогрешимо, то часто оказывается приложимым к различным социальным явлениям. – Они рождаются, растут и умирают, – говорил Виталий, – и даже не умирают, а отмирают, как отмирают кораллы. Помнишь ли ты, как образуются коралловые острова?

– Помню, – сказал я. – Я помню, как они возникают; и, кроме того, я сейчас вспоминаю их красные изгибы, окруженные белой пеной моря, это очень красиво; я видел такой рисунок в одной из книг моего отца.

– Процесс такого же порядка происходит в истории, – продолжал Виталий. – Одно отмирает, другое зарождается. Так вот, грубо говоря, белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные – это те, что растут.

– Хорошо, допустим, что это так, – сказал я; глаза Виталия вновь приняли обычное насмешливое выражение, – но не кажется ли тебе, что правда на стороне белых?

– Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть?

– Хотя бы, – сказал я, хотя думал совсем другое.

– Да, конечно. Но красные тоже правы, и зеленые тоже, а если бы были еще оранжевые и фиолетовые, то и те были бы в равной степени правы.

– И, кроме того, фронт уже у Орла, а войска Колчака подходят к Волге.

– Это ничего не значит. Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных – если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии – если автор будет на стороне красных.

Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые.

– Это гимназический сентиментализм, – терпеливо сказал Виталий. – Ну, хорошо, я скажу тебе то, что думаю. Не то, что можно вывести из анализа сил, направляющих нынешние события, а мое собственное убеждение. Не

забывай, что я офицер и консерватор в известном смысле и, помимо всего, человек с почти феодальными представлениями о чести и праве.

– Что же ты думаешь?

Он вздохнул.

– Правда на стороне красных.

Вечером он предложил мне пойти вместе с ним в парк. Мы шагали по красным аллеям, мимо светлой маленькой речонки, вдоль игрушечных гротов, под высокими старыми деревьями. Становилось темно, речка всхлипывала и журчала; и этот тихий шум слит теперь для меня с воспоминанием о медленной ходьбе по песку, об огоньках ресторана, который был виден издали, и о том, что, когда я опускал голову, я замечал свои белые летние брюки и высокие сапоги Виталия. Виталий был более разговорчив, чем обыкновенно, и в его голосе я не слышал обычной иронии. Он говорил серьезно и просто.

– Значит, ты уезжаешь, Николай, – сказал он, когда мы углубились в парк. – Слышишь, как речка шумит? – перебил он себя внезапно. Я прислушался: сквозь ровный шум, который доносился сначала, слух различал несколько разных журчаний, одновременных, но не похожих друг на друга.

– Непонятная вещь, – сказал Виталий. – Почему этот шум так меня волнует? И всегда, уже много лет, как только я слышу его, мне все кажется, что до сих пор я его не слыхал. Но я хотел другое сказать.

– Я слушаю.

– Мы с тобой, наверное, больше не встретимся, – сказал он. – Или тебя убьют, или ты заедешь куда-нибудь к черту на кулички, или, наконец, я, не дождавшись твоего возвращения, умру естественной смертью. Все это в одинаковой степени возможно.

– Почему так мрачно? – спросил я. Я никогда не умел представлять себе события за много времени вперед, я едва успевал воспринимать то, что происходило со мной в данную минуту, и потому все предположения о том, что, может быть, когда-нибудь случится, казались мне вздорными. Виталий говорил мне, что в молодости он был таким

же; но пять лет одиночного заключения, питавшие его фантазию только мыслями о будущем, развили ее до необыкновенных размеров. Виталий, обсуждая какое-нибудь событие, которое должно было, по его мнению, скоро случиться, видел сразу многие его стороны, и изощренное его воображение точно предчувствовало ту неуловимую психологическую оболочку и оболочку внешних условий, в каких оно могло бы происходить. Кроме того, его знание людей и причин, побуждающих их поступать таким или иным образом, было несравненно богаче обычного житейского опыта, естественного для человека его возраста; и это давало ему ту, на первый взгляд почти непостижимую, возможность угадывания, которую я наблюдал лишь у редких и все почему-то случайных моих знакомых. Виталий, впрочем, почти не пользовался ею, потому что был презрительно равнодушен к судьбе даже близких своих родственников, – и его доброта и снисходительность объяснялись, как мне казалось, этим, почти всегда одинаковым и безразличным, отношением ко всем.

– Я очень любил твоего отца, – сказал Виталий, не отвечая на мой вопрос, – хотя он смеялся всегда над тем, что я офицер и кавалерист. Но он был, пожалуй, прав. Я и тебя люблю, – продолжал он. – И вот перед твоим отъездом я хочу сказать тебе одну вещь: обрати на нее внимание.

Я не знал, что Виталий мне хочет сказать, в мое отношение к нему как-то не вмещалась мысль о том, что он может интересоваться мной и советовать мне что бы то ни было: он предпочитал всегда бранить меня за мое непонимание чего-нибудь или за любовь к разговорам на отвлеченные темы, в которых я, по его словам, ничего не смыслил; и однажды он чуть не до слез смеялся, когда я ему сказал, что прочел Штирнера и Кропоткина, а в другой раз он сокрушенно качал головой, узнав о моем пристрастии к искусству Виктора Гюго; он презрительно отозвался об этом, как он выразился, человеке с ухватками пожарного, душой сентиментальной дуры и высокопарностью русского телеграфиста.

– Послушай меня, – говорил между тем Виталий. – Тебе в ближайшем будущем придется увидеть много гадо-

стей. Посмотришь, как убивают людей, как вешают, как расстреливают. Все это не ново, не важно и даже не очень интересно. Но вот что я тебе советую: никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым. И помни, что самое большое счастье на земле – это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни. Ты не поймешь, тебе будет только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько времени, то увидишь, что понимал неправильно. А еще через год или два убедишься, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни.

– Хорошо, – сказал я. – Но какой же смысл в этих постоянных ошибках?..

– Смысл? – удивился Виталий. – Смысла, действительно, нет, да он и не нужен.

– Этого не может быть. Есть закон целесообразности.

– Нет, мой милый, смысл – это фикция, и целесообразность – тоже фикция. Смотри: если ты возьмешь ряд каких-нибудь явлений и станешь их анализировать, ты увидишь, что есть какие-то силы, направляющие их движения; но понятие смысла не будет фигурировать ни в этих силах, ни в этих движениях. Возьми какой-нибудь исторический факт, случившийся в результате долговременной политики и подготовки и имеющий вполне определенную цель. Ты увидишь, что с точки зрения достижения этой цели и только этой цели такой факт не имеет смысла, потому что одновременно с ним и по тем же, казалось бы, причинам произошли другие события, вовсе непредвиденные, и все совершенно изменили.

Он посмотрел на меня; мы шли меж двух рядов деревьев, и было так темно, что я почти не видел его лица.

– Слово «смысл», – продолжал Виталий, – не было бы фикцией только в том случае, если бы мы обладали точным знанием того, что когда мы поступим так-то, то последуют непременно такие, а не иные результаты. Если это не всегда оказывается непогрешимым даже в примитивных, механических науках, при вполне определенных задачах и столь же определенных условиях, то как же ты хочешь,

чтобы оно было верным в области социальных отношений, природа которых нам непонятна, или в области индивидуальной психологии, законы которой нам почти неизвестны? Смысла нет, мой милый Коля.

– А смысл жизни?

Виталий вдруг остановился, точно его задержали. Было совсем темно, сквозь листья деревьев едва виднелось небо. Оживленные места парка и город остались далеко внизу; слева синела Романовская гора, покрытая елями. Она казалась мне синей, хотя теперь, в темноте, глаз должен был видеть ее черной, но я привык смотреть на нее днем, когда она действительно синела; и тогда вечером я пользовался моим зрением только для того, чтобы лучше вспомнить контуры горы, а синева ее была уже готова в моем воображении – вопреки законам света и расстояния. Воздух был очень чистый и свежий; и опять, как всегда, в тишине до меня явственнее доносился далекий и протяжный звон, замирающий наверху.

– Смысл жизни? – печально переспросил Виталий, и в его голосе мне послышались слезы, и я не поверил себе; я думал всегда, что они неизвестны этому мужественному и равнодушному человеку.

– У меня был товарищ, который тоже спрашивал меня о смысле жизни, – сказал Виталий, – перед тем как застрелиться. Это был мой очень близкий товарищ, очень хороший товарищ, – сказал, часто повторяя слово «товарищ» и как бы находя какое-то призрачное утешение в том, что это слово теперь, много лет спустя, звучало так же, как раньше, и раздавалось в неподвижном воздухе пустынного парка. – Он был тогда студентом, а я был юнкером. Он все спрашивал: зачем нужна такая ужасная бессмысленность существования, это сознание того, что если я умру стариком и, умирая, буду отвратителен всем, то это хорошо, – к чему это? Зачем до этого доживать? Ведь от смерти мы не уйдем, Виталий, ты понимаешь? Спасения нет. – Нет! – закричал Виталий. – Зачем, – продолжал он, – становиться инженером, или адвокатом, или писателем, или офицером, зачем такие унижения, такой стыд, такая подлость и трусость? – Я говорил ему тогда, что есть воз-

можность существования вне таких вопросов: живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мысли о том, зачем ты все это делаешь. Но он не поверил мне, он застрелился. Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю.

В тот день мы вернулись домой очень поздно; и когда сонная горничная подала нам на террасу чай, Виталий посмотрел на стакан, поднял его, поглядел сквозь жидкость на электрическую лампочку – и долго смеялся, не говоря ни слова. Потом он пробормотал насмешливо: смысл жизни! – и вдруг нахмурился и потемнел и ушел спать, не пожелав мне спокойной ночи.

Когда, спустя некоторое время, я уезжал из Кисловодска, с тем, чтобы, добравшись до Украины, поступить в армию, Виталий попрощался со мной спокойно и холодно, и в его глазах опять было постоянно-равнодушное выражение, готовое тотчас же перейти в насмешливое. Мне же было жаль покидать его, потому что я его искренне любил, – а окружающие его побаивались и не очень жаловали. – Каменное сердце, – говорила о нем его жена. – Жестокий человек, – говорила тетка. – Для него нет ничего святого, – отзывалась его невестка. Никто из них не знал настоящего Виталия. Уже потом, размышляя об его печальном конце и неудачливой жизни, я жалел, что так бесцельно пропал человек с громадными способностями, с живым и быстрым умом, – и ни один из близких даже не пожалел его. Расставаясь с ним, я знал, что вряд ли мы потом еще встретимся, мне хотелось обнять Виталия и попрощаться с ним, как с близким мне человеком, а не просто знакомым, явившимся на вокзал. Но Виталий держался очень официально; и когда он щелчком пальцев сбросил пушинку со своего рукава, то по этому одному движению я понял, что прощаться так, как я хотел сначала, было бы нелепо и ridicule[1]. Он пожал мне руку, и я уехал. Была поздняя осень, и в холодном воздухе чувствовались печаль и сожаление, характерные для всякого отъезда. Я никогда не мог привыкнуть к этому чувству; всякий отъезд был для

[1] смешно (*фр.*).

меня началом нового существования. Нового существования – и, следовательно, необходимости опять жить ощупью и искать среди новых людей и вещей, окружавших меня, такую более или менее близкую мне среду, где я мог бы обрести прежнее мое спокойствие, нужное для того, чтобы дать простор тем внутренним колебаниям и потрясениям, которые одни сильно занимали меня. Затем мне было еще жаль покидать города, в которых я жил, и людей, с которыми я встречался, – потому что эти города и люди не повторятся в моей жизни; их реальная, простая неподвижность и определенность раз навсегда созданных картин так была не похожа на иные страны, города и людей, живших в моем воображении и мною вызываемых к существованию и движению. Над одними у меня была власть разрушения и создавания, над другими только клубилась моя память, мое бессильное знание; и оно было недостаточным даже для того угадывания, даром которого обладал дядя Виталий. Я видел еще некоторое время его фигуру на перроне; но уже исчезал Кисловодск, и звуки, доносившиеся с его вокзала, тонули в железном шуме поезда; и когда я приехал в тот город, где учился и жил зимой, то увидел, что идет снег, мелькающий в свете фонарей; на улицах кричали лихачи, гремели трамваи, и освещенные окна домов проезжали мимо меня, обходя широкую ватную спину извозчика, который взбрасывал вверх локти рук, державших вожжи, беспорядочными и суетливыми движениями, похожими на дерганье рук и ног игрушечных деревянных паяцев. Я прожил тогда в этом городе неделю перед отправкой моей на фронт; я проводил время в том, что посещал театры и кабаре и многолюдные рестораны с румынскими оркестрами. Накануне того дня, когда я должен был уехать, я встретил Щура, моего гимназического товарища; он очень удивился, увидав меня в военной форме. – Уж не к добровольцам ли ты собрался? – спросил он. И когда я ответил, что к добровольцам, он посмотрел на меня с еще большим изумлением.

– Что ты делаешь, ты с ума сошел? Оставайся здесь, добровольцы отступают, через две недели наши будут в городе.

– Нет, я уж решил ехать.

– Какой ты чудак. Ведь потом ты сам будешь жалеть об этом.

– Нет, я все-таки поеду.

Он крепко пожал мне руку. – Ну, желаю тебе не разочароваться. – Спасибо, я думаю, не придется. – Ты веришь в то, что добровольцы победят? – Нет, совсем не верю, потому и разочаровываться не буду.

Вечером я прощался с матерью. Мой отъезд был для нее ударом. Она просила меня остаться; и нужна была вся жестокость моих шестнадцати лет, чтобы оставить мать одну и идти воевать – без убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания вдруг увидеть и понять на войне такие новые вещи, которые, быть может, переродят меня. – Судьба отняла у меня мужа и дочерей, – сказала мне мать, – остался один ты, и ты теперь уезжаешь. – Я ничего не отвечал. – Твой отец, – продолжала мать, – был бы очень огорчен, узнав, что его Николай поступает в армию тех, кого он всю жизнь не любил. – Дядя Виталий мне говорил то же самое, – ответил я. – Ничего, мама, война скоро кончится, я опять буду дома. – А если мне привезут твой труп? – Нет, я знаю, меня не убьют. – Она стояла у двери в переднюю и молча смотрела на меня, медленно открывая и закрывая глаза, как человек, который приходит в себя после обморока. Я взял в руки чемодан; одна застежка его зацепилась за полу моего пальто, и, видя, что я не могу ее отцепить, мать вдруг улыбнулась: и это было так неожиданно – потому что она редко улыбалась, даже тогда, когда другие смеялись, и, конечно, зацепившаяся пола пальто никогда бы не могла рассмешить ее – и столько в этой улыбке было разных чувств – и сожаления, и сознания невозможности устранить мой отъезд, и мысль об одиночестве, и воспоминание о смерти отца и сестер, и стыд перед подступающими слезами, и любовь ко мне, и вся та долгая жизнь, которая связывала мать со мной от моего рождения до этого дня, что Екатерина Генриховна Воронина, присутствовавшая при нашем прощании, вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Когда, наконец, за мной закрылась дверь и я подумал, что, может

быть, никогда больше не войду в нее и мать не перекрестит меня, как только что перекрестила, – я хотел вернуться домой и никуда не ехать. Но было слишком поздно, та минута, в которую я мог это сделать, уже прошла; я был уже на улице, – я вышел на улицу, и все, что было до сих пор в моей жизни, осталось позади меня и продолжало существовать без меня; мне уже не оставалось там места – и я точно исчез для самого себя. Много времени спустя я вспомнил еще, что в тот вечер шел снег, засыпая улицы. А через два дня путешествия я был уже в Синельникове, где стоял бронированный поезд «Дым», на который я был принят в качестве солдата артиллерийской команды. Был конец тысяча девятьсот девятнадцатого года; с той зимы я перестал быть гимназистом Соседовым, перешедшим в седьмой класс, перестал читать книги, ходить на лыжах, делать гимнастику, ездить в Кисловодск и видеть Клэр; и все, что я делал до сих пор, стало для меня только видением памяти. Впрочем, и в эту новую жизнь я принес с собой давние мои привычки и странности; и подобно тому, как дома и в гимназии значительные события нередко оставляли меня равнодушным, а мелочи, которым, казалось бы, не следовало придавать значения, были для меня особенно важны, – так и во время гражданской войны бои и убитые и раненые прошли для меня почти бесследно, а запомнились навсегда только некоторые ощущения и мысли, часто очень далекие от обычных мыслей о войне. Самое лучшее мое воспоминание, относящееся к этому времени, заключалось в том, как однажды меня послали на наблюдательный пункт, находившийся на верхушке дерева, в лесу, – и оставили одного, а бронепоезд ушел за несколько верст назад набирать воду. Был сентябрь месяц, зелень уже желтела. Опушку, где был наблюдательный пункт, обстреливали неприятельские батареи, и снаряды пролетали над деревьями с необыкновенным воем и гудением, какого никогда не бывает, если снаряд летит над полем. Дул ветер, верхушка дерева раскачивалась; маленькая белка с быстрыми глазами, что-то жевавшая теми смешными, частыми движениями челюстей, которые свойственны только грызунам, вдруг заметила меня, очень испуга-

лась и мгновенно перепрыгнула на другое дерево, расправив свой желтый пушистый хвост и на секунду повиснув в воздухе. Далеко-далеко стояла батарея, обстреливавшая лес, – и я видел только тусклое красное пламя коротких вспышек, вырывавшихся из орудий при каждом выстреле. Шумели листья от ветра, внизу стрекотал неизвестно откуда взявшийся кузнечик и вдруг умолкал, словно ему зажимали рот ладонью. Было так хорошо и прозрачно, и все звуки доходили до меня так ясно, и в маленьком озере, которое мне было видно сверху, так сверкала и рябилась вода, что я забыл о необходимости следить за вспышками и движением неприятельской кавалерии, о присутствии которой нам сообщила разведка, и о том, что в России происходит гражданская война, а я в этой войне участвую.

На войне мне впервые пришлось столкнуться с такими странными состояниями и поступками людей, которых я, наверное, никогда не увидел бы в других условиях, и прежде всего наблюдать самую ужасную трусость. Она никогда не вызывала, однако, во мне ни малейшего сожаления к тем, кто ее испытывал. Я не понимал, как может плакать от страха двадцатипятилетний солдат, который во время сильного обстрела и после того, как в бронированную площадку, где мы тогда находились, попало три шестидюймовых снаряда, исковеркавших ее железные стены и ранивших несколько человек, – ползал по полу, рыдал, кричал пронзительным голосом: ой, Боже ж мой, ой, мамочка! – и хватал за ноги других, сохранивших спокойствие. Я не понял, почему его страх вдруг передался офицеру, командовавшему площадкой, человеку вообще очень храброму, который закричал механику: полный ход назад! – хотя никакой новой опасности не представлялось и снаряды неприятельской артиллерии продолжали все так же ложиться вокруг бронепоезда. Я не мог бы сказать, что во время боев мне никогда не приходилось испытывать страха, но это было такое чувство, которое легко подчинялось рассудку; и так как в нем не было никакого сладострастия или соблазна, то преодолеть его было нетрудно. Я думал, что, помимо этого, сыграло роль еще и другое обстоятельство: в те времена – так же, как и

раньше и потом, – я по-прежнему не владел способностью немедленного реагирования на то, что происходило вокруг меня. Эта способность чрезвычайно редко во мне проявлялась – и только тогда, когда то, что я видел, совпадало с моим внутренним состоянием; но преимущественно то были вещи, в известной степени, неподвижные и вместе с тем непременно отдаленные от меня; и они не должны были возбуждать во мне никакого личного интереса. Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги, за которым открывались тростники и болота, или человеческие глаза ручного медведя, или в темноте летней густой ночи вдруг пробуждающий меня крик неизвестного животного. Но во всех случаях, когда дело касалось моей участи или опасностей, мне угрожавших, заметнее всего становилась моя своеобразная глухота, которая образовывалась вследствие все той же неспособности немедленного душевного отклика на то, что со мной случалось. Она отделяла меня от жизни обычных волнений и энтузиазма, характерных для всякой боевой обстановки, которая вызывает душевное смятение. Многих это душевное смятение всецело захватывало – как трусливых, так и храбрых. Но особенно чувствительны были простые люди, крестьяне, сельские рабочие; у них и храбрость, и страх выражались сильнее всего и доходили до равной степени отчаяния – в одних случаях спокойного, в других безумного, – как будто это было одно и то же чувство, только направленное в разные стороны. Те, которые были очень трусливы, боялись смерти потому, что сила их слепой привязанности к жизни была необычайно велика; те, которые не боялись, обладали той же странной жизненной силой – потому что только душевно сильный человек может быть храбрым. Но это загадочное могущество облекалось в разные формы, которые были так не схожи между собой, как жизнь паразитов и тех, на чей счет они кормятся. И потому, что, с одной стороны, все, кого я знал и видел из прежних моих наставников и знакомых, внушали мне всю жизнь презрение к трусости и долг мужества и я никогда в этом не сомневался – и, с другой стороны, в силу недостаточного моего ума, кото-

рый не мог постигнуть душевного состояния трусов, – и недостаточно богатых чувств, в которых я мог бы найти подобные состояния, – я относился к ним с отвращением, особенно усиливавшимся в тех случаях, когда трусливыми были не солдаты, а офицеры. Я видел, как один из них во время сильного боя, вместо того чтобы командовать пулеметами, забился под груду тулупов, лежавших внутри площадки, заткнул пальцами уши и не вставал до тех пор, пока сражение не кончилось. Другой раз второй офицер пулеметной команды тоже лег на пол, закрыв лицо ладонями; и, хотя была зима и железный пол был очень холоден, – едва не прилипали пальцы, – он пролежал так около двух часов и даже не простудился, – наверное, потому, что сильнейшее действие страха создало ему какой-то мгновенный иммунитет. Третий раз, когда над базой – так назывался поезд, в котором жили солдаты и офицеры, приехавшие с фронта для смены, потому что было две смены – одна на передовых линиях, другая в тылу; они чередовались каждые две недели, – и, кроме этого, вся нестроевая часть, то есть солдаты, работавшие на кухне, офицеры, занимавшие административные и хозяйственные должности, жены офицеров, писаря, интенданты и около двадцати женщин, числившихся прачками, судомойками и уборщицами офицерских вагонов; это были женщины случайные, подобранные на разных станциях и соблазненные комфортом базы, теплыми вагонами, электричеством, чистотой, обильной пищей и жалованьем, которое они получали взамен нетрудных своих обязанностей и требовавшейся от них прежде всего чисто женской благосклонности, – когда над базой, стоявшей, как всегда, на сорок верст в тылу, появился неприятельский аэроплан и начал сбрасывать бомбы, поручик Борщов, фельдфебель бронепоезда, посмотрел на небо, торопливо перекрестился, ахнул и полез на четвереньках под вагон, не стесняясь того, что окружающие видели это. Тогда же из одного вагона выскочил артельщик Михутин, хитрый мужик и вор, никогда не бывавший в бою; он спрыгнул с подножки вагона и, не оглядываясь по сторонам, побежал по полю, достиг водокачки и быстро в ней скрылся. Ни одна из сбро-

шенных бомб в базу не попала, как этого и следовало ожидать; вообще же единственная бомба, причинившая вред, разрушила часть той самой водокачки, на которой сидел Михутин. Его, правда, не ранило, но сильно побило кирпичами: толстое лицо его, с брюзгливым свиным выражением, было в синяках, одежда была выпачкана белой известкой, и, когда он вернулся в таком виде к себе, его подняли на смех, – что, впрочем, его совершенно не устыдило, так как чувство страха было в нем непобедимым. Другой солдат, Тиянов, широкоплечий мужчина, свободно крестившийся двухпудовой гирей, был настолько боязлив, что, выехав впервые на фронт и услыхав отдаленные выстрелы пушек, он спрыгнул с полуторасаженной высоты площадки вниз и хотел бежать обратно, в базу, но не мог из-за вывихнутой ноги; вывиху ноги он очень обрадовался, так как его действительно отправили в тыл. Он же как-то во время обстрела – ему пришлось все-таки ездить на фронт – упал в обморок и лежал с бледным лицом, не шевелясь; но, когда я случайно взглянул в его сторону, а он этого не ожидал, я увидел, как он быстро открыл глаза, посмотрел вокруг и сейчас же закрыл их. Но, наряду с такими людьми, я знал иных. Полковник Рихтер, командир бронепоезда «Дым», лежал, я помню, на крыше площадки, между двумя рядами гаек, которыми были свинчены отдельные части брони. Неприятельский снаряд, с визгом скользнув по железу, сорвал все скрепы, бывшие слева от полковника; он даже не обернулся, лицо его оставалось неподвижным, и я не заметил решительно никакого усилия, которое он должен был сделать, чтобы сохранить хладнокровие. Старший офицер артиллерийской команды, поручик Осипов, сойдя однажды с площадки, чтобы осмотреть позиции, и выйдя в поле, попал между двух цепей пехотных солдат – с одной стороны лежала цепь красных, с другой – белых. Обе, не зная, кто это такой, – красные приняли его за белого, белые – за красного, – стали по нем стрелять, и мы видели с площадки, как столбики пыли каждую секунду прыгали рядом с его ногами. Он все так же продолжал идти вперед, не обращая на пули никакого внимания; затем вернулся назад: одна пуля слегка оцара-

пала ему руку. Солдат Филиппенко во время боя пел тихие украинские песни, пытался заводить неторопливый разговор с другими и печально удивлялся, когда в ответ слышал ругательства: он не понимал ни нервного возбуждения, владевшего людьми, ни их страха. – Ты не боишься, Филиппенко? – спрашивал его командир. – А чего бояться? – удивленно говорил Филиппенко. – Боязно ночью на кладбище, вот то боязно. А днем не боязно. – Но одним из самых смелых людей, каких я когда-либо видел, был солдат Данил Живин, которого все звали Данько. Он был добродушный, худой, маленький человек, большой любитель посмеяться и хороший товарищ. Он был в такой степени лишен честолюбия и так был способен забывать о себе для других, что это казалось невероятным. Он пережил множество приключений, служил во всех армиях гражданской войны – у красных, у белых, у Махно, у гетмана Скоропадского, у Петлюры и даже в отряде эсера Саблина, просуществовавшем всего несколько дней. Его служба на бронепоезде была прервана тем, что он попал в плен к Махно – вместе со всей командой, находившейся в тот раз на фронте. У Махно его назначили в особую роту пехотного полка, охранявшую мост через Днепр.

Мост, длиной в версту и три четверти, был занят с одной стороны махновцами, с другой – белыми. На обоих его концах стояли устремленные друг на друга пулеметы. Данько, попавший на сторожевой пост со стороны махновцев, решил вернуться на бронепоезд. Он отослал в землянку подчаска, взял свой пулемет на плечи и пошел по мосту в сторону добровольцев, которые тотчас же открыли ожесточенную стрельбу. Данько, невзирая на это, продолжал двигаться, точно шел не по узкому пространству, пронизываемому десятками пуль в секунду, а по спокойному российскому большаку, ведущему откуда-нибудь из Тулы в Орел. Его подчасок, обеспокоившись такой неожиданной стрельбой, выбежал из землянки и, увидев уходящего Данько, тоже принялся палить в него из второго пулемета. Данько перешел мост, даже не будучи ранен. Его арестовали белые, и какие-то глупые пехотные офицеры – два штабс-капитана – приняли его за шпиона и хотели рас-

стрелять. Данько разразился страшными ругательствами с упоминанием Господа Бога и апостолов; это бы ему не помогло, если бы с площадки бронепоезда, стоявшего неподалеку, не пошли узнать, в чем дело. И поручик Осипов увидал оборванного Данько, оравшего на пехотных офицеров и хватающегося то за револьвер, то за винтовку. После вмешательства бронепоездного офицера его отпустили, сказав, что такого недисциплинированного солдата они еще не видели. – Я... вашу дисциплину! – закричал Данько. – Как же ты, Данько, не испугался? – спрашивали его уже после того, как он был переодет и накормлен и сидел у печи теплушки, куря папиросу из табака Стамболи. – Кто не испугался? – ответил Данько. – О, я очень испугался. – В другой раз Данько, отправившийся на разведку, опять угодил в плен, потому что пришел в деревню, занятую красными, вошел в избу, начал балагурить с хозяйкой и поинтересовался тем, есть ли в деревне большевики или, может быть, нету, – за несколько секунд до неожиданного появления трех красноармейцев. Данько не успел даже схватиться за винтовку. Его обезоружили, заперли в сарай, приставили к сараю стражу, и Данько приговорили к высшей мере наказания. И все-таки через три дня, отыскав базу своего бронепоезда, успевшую уехать за шестьдесят верст, Данько явился как ни в чем не бывало. Я присутствовал при его разговоре с командиром. – Ты где был, Данько? – А в плену. – Как же ты попал в плен? – Красные арестовали. – И они тебе ничего не сделали? – Ни, они хотели меня расстрелять. – А ты что? – А я убежал. – Как же тебе удалось? – Убил часового и убежал. – И не поймали тебя? – Ни, – сказал Данько, – я шибко бежал, – и рассмеялся. Мне же мысль о том, что Данько мог убить часового, казалась странно не соответствовавшей его характеру. По-видимому, это было для него просто необходимо; и, конечно, инстинкт самосохранения заглушил в нем возможность размышления – следует ли убивать часового или нет, – и если бы не этот инстинкт, Данько давно не было бы в живых. Он был очень молод и несерьезен, как говорили про него солдаты: он рассмешил однажды всю команду бронепоезда, гоняясь за маленьким белым поро-

сенком, которого он где-то купил; он долго бежал за ним, кричал на него и пытался накрыть его шапкой; он свистел, размахивал руками на бегу, и мы следили за ним до тех пор, пока и он, и поросенок не скрылись с глаз. Вечером он вернулся, ведя за веревку свинью, на которую он ухитрился выменять поросенка. Над ним шутили и говорили, что за время долгой погони Данько поросенок успел вырасти. Данько смеялся, держа в руках шапку и потупившись. Он был веселый, бесконечно добрый и бесконечно отчаянный человек. – Данько, ты поехал бы на северный полюс? – спрашивал я. – А там интересно? – Очень интересно и много белых медведей. – А, ни, – сказал он, – я медведей боюсь. – Почему же ты их боишься? Они тебя к высшей мере не приговорят. – А они укусят, – ответил Данько и засмеялся. Он не мог отвыкнуть говорить мне вы. – Данько, – объяснял я ему, – ты такой же солдат, как и я. Почему ты мне говоришь вы? Ты можешь ведь разговаривать со мной, как с Иваном, – это был его приятель. – Не могу, – отвечал Данько, – совестно. – Этот Иван, умный хохол, спокойный и храбрый солдат, спросил меня как-то:

– Что такое Млечный Путь?

– Почему это вас вдруг заинтересовало?

– А меня солдаты спрашивают: Иван, что там в небе, как молоко? Я говорю: Млечный Путь. А что такое Млечный Путь, не знаю. – Я объяснил ему, как мог. На следующий день он опять подошел ко мне:

– А скажите мне, пожалуйста, чему равняется длина окружности?

– Она определяется специальными математическим терминами, – говорил я. – Не знаю, будут ли они вам понятны. – И я привел ему формулу длины окружности.

– Ага, – подтвердил он с довольным видом. – А я вас нарочно пытал, думал, может, не знаете. Я раньше спросил у вольноопределяющегося Свирского, а потом записал и пришел вас пытать.

Он был прекрасным рассказчиком; и в среде так называемых интеллигентных людей я не видал никого, кто бы мог с ним сравняться. Он был очень умен и наблюдателен и обладал творческим даром создавать смеш-

ное из того, в чем другой не нашел бы его, без которого юмор всегда бывает несколько вял. Я не помнил рассказов Ивана, в которых он проявлял свой удивительный имитаторский талант; и потому, что искусство его было легким и мгновенным, оно трудно поддавалось запечатлению; и теперь я вспоминал лишь то, как он передавал свой разговор с красным генералом, когда в батарею, которой командовал в те времена Иван, прислали плохих лошадей. – Я ему говорю, – рассказывал Иван, – товарищ командир, разве ж то кони? Кони ходят и очень удивляются, что они еще не подохли. А он отвечает: благодарю верховную власть, что не все у меня такие командиры капризные, как те бабы. А я говорю: вот вы, не дай Бог, товарищ командир, помрете, так мы вас на тех конях хоронить будем, чтоб не очень трясло.

Я проводил свое время с солдатами, но они относились ко мне с известной осторожностью, потому что я не понимал очень многих и чрезвычайно, по их мнению, простых вещей – и в то же время они думали, что у меня есть какие-то знания, им, в свою очередь, недоступные. Я не знал слов, которые они употребляли, они смеялись надо мной за то, что я говорил «идти за водой»: за водой пойдешь, не вернешься, – насмешливо замечали они. Кроме того, я не умел разговаривать с крестьянами и вообще в их глазах был каким-то русским иностранцем. Однажды командир площадки сказал мне, чтобы я пошел в деревню и купил свинью. – Должен вас предупредить, – сказал я, – что я свиней никогда не покупал, такого случая в моей жизни еще не было; и если моя покупка окажется не очень удачной, вы уж не будьте в претензии. – Что ж, – ответил он, – ведь свинью покупать – это вам не бином Ньютона какой-нибудь. Мудрость тут невелика. – И я отправился в деревню. Во всех избах, куда я заходил, на меня смотрели с недоверием и усмешкой. – Нет ли у вас свиньи продажной? – спрашивал я. – Кого? – Свиньи. – Ни, свиньи нема. – Я обошел сорок дворов и вернулся на площадку ни с чем. – У меня создалось впечатление, – сказал я офицеру, – что эта разновидность млекопитающих здесь неизвестна. – А у меня создалось впечатление, что вы про-

сто не умеете покупать свиней, – ответил он. Я не стал спорить; и тогда Иван, присутствовавший при этом разговоре, предложил свои услуги. – Идемте со мной, – сказал он мне, – и зараз свинью купим. – Я пожал плечами и опять пошел в деревню. В первой же избе – той самой, где мне сказали, что свиньи нет, – Иван купил за гроши громадного борова. Перед этим он поговорил с хозяевами об урожае, выяснил, что его дядька, живущий в Полтавской губернии, ближайший друг и земляк зятя хозяина, похвалил чистоту избы – хотя изба была довольно грязная, сказал, что в таком хозяйстве не может не быть свиньи, попросил напиться, – и кончилось это тем, что нас накормили до отвала, продали свинью и проводили за ворота. – Вот вам и бином, – сказал я командиру, вернувшись. И всегда бывало так, что там, где мне приходилось иметь дело с крестьянами, у меня ничего не выходило; они даже плохо понимали меня, так как я не умел говорить языком простонародья, хотя искренне этого хотел. На бронепоезде у нас преобладали, однако, люди, уже обтершиеся и получившие известный лоск: железнодорожные служащие, телеграфисты. Солдаты наши очень франтили, носили «вольные» брюки, что считалось вольнодумством, а некоторые унизывали пальцы кольцами и перстнями таких гигантских размеров, что поддельность их ни у кого решительно не вызывала ни малейших сомнений. Самое большое количество драгоценностей носил первый из бронепоездных негодяев, бывший мясник Клименко. Все свободное время он находился в состоянии напряженного внимания: левая рука его не переставала крутить усы, а правую он держал в воздухе, поближе к глазам, чтобы лучше видеть блеск своих колец. О его дурных качествах узнали после того, как он украл у своего соседа деньги, попался и когда командир сказал ему: – Ну, Клименко, выбирай: или я тебя под суд отдам и тебя расстреляют, как собаку, или я выстрою весь бронепоезд и перед фронтом дам тебе несколько раз по физиономии. – Клименко стал на колени и просил, чтобы командир дал ему по физиономии. Клименко сказал: по морде. Это было сделано на следующее утро; и потом у себя в вагоне Клименко часто вспоминал

это и говорил: – Я могу только смеяться с дурости командира, – и действительно смеялся. Вторым негодяем считался бывший начальник какой-то маленькой железнодорожной станции Валентин Александрович Воробьев. Как большинство пожилых уже негодяев, он был чрезвычайно благообразен: носил пушистую бороду, которую бережно расчесывал; он был очень любезен в обращении, пел высоким голосом грустные украинские песни – и вместе с тем тип отъявленного мерзавца был доведен в нем до конца. Он мог подвести товарища под суд, мог, как Клименко, обокрасть своего же соседа и, уж конечно, в трудных обстоятельствах выдал бы всех. Когда я приехал на бронепоезд, он в тот же день украл у меня коробку с тысячью папирос. Кажется, этого человека очень любили женщины, он жил со всеми служанками и подметальщицами, которые находились в его подчинении; а когда одна из них отвергла его, он написал на нее донос, обвинив ее в социализме, хотя бедная женщина была неграмотной; и ее арестовали и отправили куда-то по этапу; была зима, женщина эта уехала с двухлетней своей девочкой на руках. Глядя на Воробьева, я часто думал о том, почему женщины нередко отдают предпочтение негодяям: может быть, потому, говорил я себе, что негодяй более индивидуален, чем средний человек; в негодяе есть что-то, чего нет в других, и еще потому, что каждое, или почти каждое, качество, доведенное до последней своей степени, перестает рассматриваться как обыкновенное свойство человека и приобретает притягательную силу исключительности. И так как, несмотря на то, что прежняя моя жизнь кончилась, я еще не совершенно ушел от нее и некоторые гимназические привычки еще оставались у меня, я был еще гимназистом, то мои мысли принимали особый оборот, заранее обрекавший их на бесплодность и несоответствие первоначальным соображениям, которые, таким образом, служили мне только предлогом для возвращения моей фантазии в ее излюбленные места. Женщины любили палачей; и исторические преступления, совершенные сотни лет тому назад, до сих пор не утеряли для них своего волнующего интереса, и почему не предположить,

что Воробьев – это миниатюра грандиозных преступлений? Но это было нелепо и не походило ни на что. Воробьев занимался тем, что воровал в соседних товарных составах сахар и мануфактуру, а однажды ухитрился, маневрируя ночью на паровозе, увести из поезда генерала Трясунова, командующего фронтом, новенький желтый вагон второго класса. Но вечерами, лежа на своей койке с побледневшим от пьянства лицом и мутными, печальными глазами, он все сокрушался о том, что волею судеб вынужден принимать участие в гражданской войне.

– Боже мой! – говорил он чуть ли не со слезами. – Какая обстановка! Расстрелянные, повешенные, убитые, замученные. Да я-то тут при чем? Кому я какое зло сделал? За что все это? Господи, мне бы домой; у меня жена, ребятишки маленькие спрашивают: где папа? А папа сидит тут, под виселицами. Что я детям скажу? – кричал он. – Где мое оправдание? Одно вот утешение: приедем в Александровск, приду к жене ночью, неожиданно. Скажу: заждалась, милая? А я вот он.

И действительно, в Александровске Воробьев побывал у жены и вернулся умиротворенным. Но когда мы отъехали верст сорок и простояли на маленькой станции трое суток, он опять загрустил:

– Боже мой, какая обстановка! Расстрелянные, повешенные. За что? – опять кричал он. – Дети спросят: ты где был, папа? Что я им скажу? – Он умолк, вздохнул и потом сказал задумчиво: – Вот приедем в Мелитополь, пойду к жене, снова буду дома. Что, скажу, заждалась, милая? А я вот он.

– А ваша жена уже в Мелитополе? – спросил я. Он поглядел на меня невидящими, пьяными глазами, в которых стояло выражение умиления и благодарности.

– Да, милый друг, в Мелитополе.

Но, и уехав из Мелитополя, он продолжал мечтать, как приедет к жене на этот раз уже в Джанкой.

– У тебя, брат, жена прямо клад, – говорили ему с насмешкой. – Не жена, а Богородица вездесущая. Как же это она – в Александровске, и в Мелитополе, и в Джанкое? И везде детишки и квартира. Здорово ты устроился.

И тогда Воробьев привел объяснение, которое, по-видимому, казалось ему совершенно достаточным. Всех остальных оно очень удивило.

– Дети, – сказал он, – да ведь я железнодорожник.

– Ну так что же?

– Чудаки, – изумился Воробьев. – Видно, службы железнодорожной не знаете. В каждом городе жена, дорогие, в каждом городе.

Третий негодяй был Парамонов, студент, которого незадолго до моего поступления легко ранили в ногу. Он, собственно, зла никому не причинял; но каждый день часа за два до докторского обхода он втирал себе в рану масло, не давая ей таким образом заживляться; и поэтому он считался раненым бесконечно долго и не ездил на фронт. Все видели и знали, как он поступает, но относились к нему с молчаливым презрением и брезгливостью, и ни у кого не хватало духа сказать ему, что так делать нехорошо. Он всегда бывал один, с ним избегали разговаривать; он сидел обычно в своем углу и, украдкой поглядывая кругом, ел сало и хлеб – он был очень прожорлив. Он жил как одинокое животное, присутствие которого терпят, хотя оно и неприятно. Он был молчалив и враждебен ко всем, и когда проходили мимо его койки, он следил за проходившими настороженным и злым взглядом. Потом его куда-то откомандировали. Я вспомнил о Парамонове через несколько лет, уже за границей, когда видел умирающего филина, привязанного туго замотанной тесемкой к дереву; едва заслышав чьи-нибудь шаги, филин выпрямлялся, перья его топорщились, он медленно взмахивал крыльями и щелкал клювом; и желтые его глаза слепо и злобно смотрели перед собой. Были на поезде вруны, мошенники, был даже один евангелист, который пришел неизвестно откуда, поселился в нашем вагоне и жил безбедно и беззаботно, проповедуя непротивление злу. – Я до этой вашей винтовки никогда не дотрагивался и не дотронусь, – говорил он. – Грех. – А если на тебя нападут? – Словом буду отражать. – Но однажды, когда он принес себе обед – котелок с борщом и котелок с кашей, – а его у него потихоньку стащили, он пришел в ярость, схватил по

странной случайности ту винтовку, к которой обещал не прикасаться, и наделал бы много бед, если бы его не обезоружили. Но самым удивительным человеком, которого я видел на войне, был солдат Копчик, внешнее отличие которого заключалось в его непобедимой лени. Он ненавидел всякую работу, все делал с величайшим трудом и вздохами, хотя был совершенно здоров и силен. Солдаты недолюбливали его за постоянное увиливание от нарядов; им приходилось многое за него делать. Он всегда жил, как-то скрываясь, полный боязни перед тем, что его вдруг заставят грузить в вагоны муку, или носить воду, или чистить картофель. Он изредка проходил вдоль базы – и тотчас же его небритый подбородок, слезящиеся глаза и вся фигура в обтрепанном и грязном френче и таких же штанах исчезали, и уже через минуту его с собаками не сыскали бы. На фронт он старался не ездить по той же причине, по какой прятался в базе; там тоже нужно было работать, но если в тылу была еще возможность уклониться от этого, то на площадке, в бою, это становилось немыслимым. Лень этого солдата была в нем неизмеримо сильнее, нежели страх смерти, – потому, что смысла опасности он до конца не понимал, а то, что работа мешала ему жить в праздности и мечтать – что он любил больше всего на свете, – это он знал превосходно. Я не представлял себе такого случая, когда Копчик вдруг мог бы проявить хоть часть своей огромной энергии, уходившей на придумывание способов уклониться от всякого труда и на долгое лежание под вагоном, как он это делал в жаркую летнюю погоду. Я не знал, способен ли Копчик совершить хоть ничтожный поступок, но который бы каким-нибудь образом показал, что он думает, чем он живет и что составляет предмет его долгих размышлений, наполняющих обычное его безделье. И вот однажды на площадке, во время сильного боя, когда Копчик со страданием в глазах вытаскивал снаряды из их гнезд и подавал их к орудию и каждый снаряд сопровождал жалобным вздохом, а после пятого сказал: спина разболелась, тяжелые очень снаряды, – неприятельская граната разорвалась над нашим орудием; раненный в живот наводчик упал на пол, и пушка перестала стрелять.

В мгновенно наступившем замешательстве никто не знал, что делать, и только Копчик, который увидел, что больше ему покамест работать не придется, облегченно вздохнул, похлопал рукой горячую еще пушку и изменившейся, почти подпрыгивающей походкой подошел к раненому. Кровь заливала пол, смертельная последняя тревога была на лице раненого. – Ты не помрешь, – сказал ему Копчик среди общего молчания. Вдалеке с равными промежутками времени раздались четыре пушечных выстрела. – Посмотри, какой ты здоровый, – спокойно продолжал он, – кровь у тебя очень красная, а который человек больной, у того она синяя. – Сердце не выдержит, – сказал наводчик. – Сердце? – переспросил Копчик. – Это неправильно. Сердце у тебя крепкое, а если бы было слабое, тогда, конечно, не выдержало бы. Вот я тебе расскажу про слабое сердце. Пошел я раз коней купать, вижу, недалеко сидит водяной, и очень грустный. – Наводчик с усилием посмотрел на Копчика. – А ну-ка, думаю, дай пугну. И пугнул. Как крикну: ты чего, борода, здесь делаешь? Он и помер с испугу, потому что сердце у него слабое, не человеческое, вот какое сердце. А у тебя сердце очень крепкое. – Но, не доехав до базы, наводчик умер; и когда через три дня я, проходя по полотну, увидел из-под вагона свалявшиеся волосы Копчика, у меня стало странно на душе и смутно – и я поскорее от него отвернулся: было в этом солдате что-то нечеловеческое и нехорошее, что я хотел бы не знать. Но мое внимание отвлекла ссора главной кухарки офицерского собрания – помещавшегося в особом пульмановском вагоне – с бронепоездным чистильщиком сапог, пятнадцатилетним красивым мальчишкой Валей, который, будучи любовником этой немолодой и хромой женщины, изменил ей не то с прачкой, не то с судомойкой; она при всех ругала его за это нецензурными словами, и три солдата, стоявшие неподалеку, смеялись от всего сердца. Романы со служанками отнимали у офицеров и наиболее предприимчивых солдат довольно много времени; служанки быстро поняли себе цену и заважничали, и одна из них, крупная ярославская баба Катюша, не хотела знать никого и не внимала никаким уговариваниям до тех пор, пока ей не пла-

тили вперед. Бронепоездной рассказчик сальных анекдотов, поручик Дергач, жаловался на нее всем окружающим.

– Нет, господин поручик, – гордо говорила Катюша. – Я теперь задаром ни с кем не сплю. Дайте мне кольцо с вашей руки, я с вами спать буду. – Дергач долго колебался. – Вы понимаете, – рассказывал он, – это кольцо – священный подарок моей невесты, – но любовь, как он говорил, превозмогла, и нет теперь кольца у поручика Дергача, разве что другое купил. Самой недоступной женщиной на бронепоезде была все-таки сестра милосердия, надменная женщина, презрительно относившаяся к солдатам и лишь изредка снисходившая до пренебрежительных разговоров с ними. Я вспоминал, как лежал вечером на своей койке, когда она перевязывала Парамонова, приведя его предварительно в мое купе, где была ярче электрическая лампочка; она подняла голову и увидела мое лицо. – Какой молоденький, – сказала она. – Ты какой губернии? – Питерской, сестрица. – Питерской? Как же ты попал на юг? – А вот, приехал. – Что же ты раньше делал? В разносчиках, что ли, служил? – Нет, сестрица, я учился. – В церковноприходской школе, наверное? – Нет, сестрица, не в школе. – А где же? – В гимназии, – сказал я и, не выдержав, рассмеялся. Она покраснела. – Вы из какого класса? – Из седьмого, уважаемая сестрица. – Потом она обходила меня, как только замечала издали.

Так же, как для того, чтобы совершенно отчетливо вспомнить мою жизнь в кадетском корпусе и ни с чем не сравнимую каменную печаль, которую я оставил в этом высоком здании, мне было достаточно почувствовать вкус котлет, мясного соуса и макарон, так, как только я слышал запах перегоревшего каменного угля, я тотчас представлял себе начало моей службы на бронепоезде, зиму тысяча девятьсот девятнадцатого года, Синельниково, покрытое снегом, трупы махновцев, повешенных на телеграфных столбах, – замерзшие твердые тела, качающиеся на зимнем ветру и ударяющиеся о дерево столбов с тупым легким звуком, – селение, чернеющее за вокзалом, свистки паровозов, звучавшие, как сигналы бедствия, и белые верхушки рельс, непонятных в своей неподвижности. Мне казалось,

что они мчатся, вздрагивая на стыках, и точно безмолвно рассказывают о далеком путешествии сквозь снег и черные поселения России, сквозь зиму и войну, в необыкновенные страны, напоминающие гигантские аквариумы, наполненные водой, которой можно дышать, как воздухом, и музыкой, которая колеблет зеленоватую поверхность; и под поверхностью шевелятся длинные стебли растений, за стеклами проплывают на листьях виктории-регии несуществующие животные, которых я не мог себе представить, но присутствие которых не переставал ощущать, когда глядел на рельсы и полузаметенные снегом шпалы, похожие на доски кем-то перевернутого бесконечно длинного забора. И пребыванию на бронепоезде я обязан еще одним: чувством постоянного отъезда. База уезжала из одного места в другое, и те предметы, которые постоянно и неподвижно окружали меня: мои книги, костюмы, несколько гравюр, электрическая лампочка над головой, – вдруг начинали двигаться, и я явственнее, чем когда бы то ни было, постигал мысль о движении и повелительную природу этой мысли. Я мог хотеть или не хотеть ехать; но уже покачивалась на ходу лампа, уже подпрыгивали книги на полке, сновал по деревянной стенке подвешенный карабин, и за стеклом кружилась покрытая снегом земля, и свет из окон базы быстро бежал по полю, то подымаясь, то опускаясь, оставляя за собой длинную прямоугольную полосу пространства, дорогу из одних стран в другие. Когда, выходя со станции, поезд ускорял ход, мимо окон пролетали скорченные ноги повешенных в белых кальсонах, которые ветер раздувал, как паруса лодок, застигнутых бурей. Давно прошли те сложнейшие сплетения самых разнообразных и навеки переставших существовать причин, – потому что ничья память не сохранила их, – которые зимой того года заставили меня очутиться на бронепоезде и ехать ночами на юг; но это путешествие все еще продолжается во мне, и, наверное, до самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней койке моего купе и вновь перед освещенными окнами, разом пересекающими и пространство, и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми пару-

сами в небытие, опять закружится снег и пойдет скользить, подпрыгивая, эта тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни. И, может быть, то, что я всегда недолго жалел о людях и странах, которые покидал, – может быть, это чувство лишь кратковременного сожаления было таким призрачным потому, что все, что я видел и любил, – солдаты, офицеры, женщины, снег и война, – все это уже никогда не оставит меня – до тех пор, пока не наступит время моего последнего, смертельного путешествия, медленного падения в черную глубину, в миллион раз более длительного, чем мое земное существование, такого долгого, что, пока я буду падать, я буду забывать это все, что видел, и помнил, и чувствовал, и любил; и, когда я забуду все, что я любил, тогда я умру. И одним из последних моих спутников я забуду Аркадия Савина. Это был единственный человек, который походил на людей, живших в моем воображении, и чудесная сила в двадцатом столетии сделала его конквистадором, романтиком и певцом, точно вызвав его широкоплечую тень из мрачных пространств средневековья. Он служил вместе с нами и так же, как мы, ездил на фронт, но все, что он делал, было исключительно и необыкновенно. В бою с пехотой Махно, когда на площадке бронепоезда из четырнадцати человек команды остались только двое – остальные были убиты или ранены, – Аркадий, с искривленной контузией челюстью, наступая на труп первого номера, которому оторвало голову – и безглавое тело его еще корчилось, и пальцы его уже не человеческих, отдельных рук еще царапали пол, – Аркадий, пачкая свой френч в человеческих мозгах, долго стрелял один из пушки в сплошную массу махновских солдат, карабкавшихся на насыпь. Его храбрость была не похожа на обычную храбрость: и все поступки Аркадия отличались точностью, невероятной быстротой и уверенностью; и, казалось, сознание своего неизмеримого превосходства над другими не покидало его никогда. Движения его во время опасности были быстры, как движения японского фокусника или акробата: в нем вообще было что-то азиатское, часть того таинственного душевного могущества, которым обладают люди желтой

расы и которое непостижимо для белых. Вместе с тем Аркадий был тяжел и широк. Офицеры не могли ему простить тех презрительных усмешек, какими он сопровождал их неудачные распоряжения во время боя. Когда бронепоезд выезжал на фронт и площадки, весившие по нескольку тысяч пудов, неудержимо катились по рельсам, вздрагивая и громыхая, – фигура Аркадия, стоявшего впереди и глядевшего перед собой, – несмотря на то, что в такой позе его не было ничего неожиданного и непривычного, – казалась мне мрачной статуей на машине войны. Таким он представлялся мне на фронте. В тылу он становился другим.

Он очень любил хорошо одеваться, много пил, уходил всегда в город или селение, возле которого стояла база; и ночью мы просыпались оттого, что слышали раскаты его сильного баритона; он всегда пел, возвращаясь. Он вообще пел очень хорошо; он по-настоящему знал, что такое музыка. С побледневшим лицом, с головой, склоненной на грудь, он просиживал в купе долгие минуты совершенно неподвижно; и потом вдруг глубокий грудной звук наполнял вагон; и через секунду я не видел больше ни стен вагона с развешенными по ним винтовками, ни книг, ни ламп, ни моих товарищей – точно их никогда и не было, и все, что я знал до сих пор, было страшной ошибкой, и ничего не существовало, кроме этого голоса и белого лица Аркадия со смеющимися глазами, хотя он всегда пел только печальные песни. И тогда же я думал, что нет плохих печальных песен и что если в иных плохие слова, то это оттого, что я не сумел их понять, оттого, что, слушая наивную песнь, я не мог всецело отдаться ей и забыть о тех эстетических привычках, которые создало во мне мое воспитание, не учившее меня драгоценному искусству самозабвения. Чаще всего Аркадий пел романс, стихотворная форма которого могла бы в иное время вызвать у меня только улыбку; но если бы я мог заметить недостатки этой формы во время пения Аркадия, я стал бы в тысячу раз несчастнее, чем был. Этого романса я потом нигде и ни от кого не слыхал:

Заказ 3235

Я одинок. А время быстро мчится,
Несутся дни, недели и года.
А счастье мне во сне лишь только снится,
Но наяву не вижу никогда.
Вот скоро-скоро, скоро в море жизни
Исчезнет мой кочующий челнок.
Прислушайся к последней укоризне,
И ты поймешь, как был я одинок.
Прислушайся к последней укоризне,
И ты поймешь, как был я одинок...

Под окнами вагона собирались солдаты, офицеры и бронепоездные женщины. Летом он пел по вечерам, и голос его тонул в далеком и жарком безмолвии темного воздуха. Аркадий пел эту песнь и в те дни, когда уже синели перед нами маленькие озера Сивашей и было последнее отступление: мы уезжали из Таврии; и, стоя у окна, Аркадий все пел о челноке, и поезд гудел, железные колеса его скрежетали и скрывались в тучах колючей пыли; и толстые купола какой-то церкви то скрывались, то вновь возникали перед нами.

Аркадий часто видел сны; и незадолго до этого отступления ему приснилась русалка: она смеялась, и била хвостом, и плыла рядом с ним, прижимаясь к нему своим холодным телом, и чешуя ее ослепительно блестела. Я вспомнил об этом сне Аркадия, когда поздней ночью в Севастополе, на осенних волнах Черного моря увидал моторную лодку, которая быстро шла к громадному английскому крейсеру, стоявшему на рейде; она поднимала за собой сверкающий гребень воды, и мне показалось вдруг, что сквозь эту пену доносится до меня едва слышный смех и нестерпимый блеск проступает через темную синеву.

Целый год бронепоезд ездил по рельсам Таврии и Крыма, как зверь, загнанный облавой и ограниченный кругом охотников. Он менял направления, шел вперед, потом возвращался, затем ехал влево, чтобы через некоторое время опять мчаться назад. На юге перед ним расстилалось море, на севере ему заграждала путь вооруженная Россия. А вокруг вертелись в окнах поля, летом зеленые, зимой белые, но всегда пустынные и враждебные. Броне-

поезд побывал всюду, и летом он приехал в Севастополь. Лежали белые известковые дороги, проходившие над морем, глиняные горы громоздились по берегам, летели и стремительно падали в воду маленькие нырки. На забытых пристанях стояли заржавевшие броненосцы, у их глубоко сидящих бортов прыгали морские коньки; черные крабы боком двигались по дну, стеклянные рыбы проплывали, как слепые; и у темных ямок подводной земли неподвижно стояли ленивые бычки. Было очень жарко и тихо; и мне казалось, что в этой солнечной тишине, над синим морем умирает в светлом воздухе какое-то прозрачное божество.

Жизнь того времени представлялась мне проходившей в трех различных странах: стране лета, тишины и известкового зноя Севастополя, в стране зимы, снега и метели и в стране нашей ночной истории, ночных тревог, и боев, и гудков во тьме и холоде. В каждой из этих стран она была иной, и, приезжая в одну из них, мы привозили с собой другие; и холодной ночью, стоя на железном полу бронепоезда, я видел перед собой море и известку; и в Севастополе иногда блеск солнца, отразившийся на невидимом стекле, вдруг переносил меня на север. Но особенно не похожей на все, что я знал до того времени, была страна ночной жизни. Я вспоминал, как ночью над нами медленно проносился печальный, протяжный свист пуль; и то, что пуля летит очень быстро, а звук ее скользит так минорно и неторопливо, делало особенно странным все это невольное оживление воздуха, это беспокойное и неуверенное движение звуков в небе. Иногда из деревни доносился быстрый звон набата; красные облака, до тех пор незримые в темноте, освещались пламенем пожара, и люди выбегали из домов с такой же тревогой, с какой должны выбегать на палубу матросы корабля, давшего течь в открытом море, вдали от берегов. Я часто думал тогда о кораблях, как бы спеша заранее прожить эту жизнь, которая была суждена мне позже, когда мы качались вверх и вниз на пароходе, в Черном море, посредине расстояния между Россией и Босфором.

Было много невероятного в искусственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и пулеметов: они двигались по полям южной России, ездили верхом, мчались на поездах, гибли, раздавленные колесами отступающей артиллерии, умирали и шевелились, умирая, и тщетно пытались наполнить большое пространство моря, воздуха и снега каким-то своим, не божественным смыслом. И самые простые солдаты, единственные, которые оставались в этой обстановке прежними Ивановыми и Сидоровыми, созерцателями и бездельниками, – эти люди сильнее, чем все другие, страдали от неправильности и неестественности происходящего и скорее, чем другие, погибали. Так погиб, например, бронепоездной парикмахер Костюченко, молодой солдат, пьяница и мечтатель. Он кричал по ночам, ему все снились пожары, и лошади, и паровозы на зубчатых колесах. Целыми днями, с утра до вечера, он точил свою бритву, покрикивая и смеясь сам с собой. Его начинали сторониться. В один прекрасный день, брея утром командира бронепоезда, в присутствии которого солдату не полагалось разговаривать, он вдруг запел скороговоркой пляшущий мотив с неожиданно обрывающимися звуками, характерными для некоторых солдатских песен:

Ой, ой!
Подхожу я к кабаку,
Лежит баба на боку,
Спит.

Он голосил, не переставая привычными механическими движениями брить сразу покрасневшие щеки командира. Потом он отложил бритву в сторону, сунул два пальца в рот и пронзительно засвистел; затем опять схватил бритву и изрезал занавески на окне. Его вывели из купе командира и долго не знали, что с ним делать. Наконец решили – и втолкнули его в пустой товарный вагон одного из тех бесчисленных поездов, которые везли неизвестно зачем и куда трупы солдат, умерших от тифа, и подпрыгивающие тела больных, не успевших еще умереть.

Больные лежали на соломе, деревянный пол с многочисленными щелями трясся и уносился вместе с ними; и куда бы ни ехал поезд, они все равно умирали; и после суток путешествия тела больных делали только те мертвые движения, которые происходили от толчков поезда – как происходили бы с тушами убитых лошадей или околевших животных. И Костюченко увезли в пустом вагоне; никто не узнал, что с ним потом сталось. Я представлял себе в темноте наглухо закрытой теплушки его блестящие глаза и то непостижимое состояние его смутного ума, где-то вдали мерцающего сознания, которое бывает у сумасшедших. Но случай с Костюченко был последним, относящимся ко времени нашего пребывания в прифронтовой полосе, потому что после долгой зимы, и синих ледяных зеркал Сивашей, и этого постоянного вида песчаной дамбы с черными шпалами – от красных огней семафоров, от пузатых водокачек с замерзшей водой, которые мы видели, проводя дни и недели «на подступах к Крыму», после Джанкоя, где долго стояла наша база, – мы уехали в глубь страны. Мы долго стояли в Джанкое с темными домами, где ютились какие-то офицерские мессалины, давно оставшиеся без мужей и приходившие к нам в вагоны пить водку, есть бифштексы, принесенные из вокзального буфета, и, насытившись, с икотой утомленной жадности беспокойно ерзать по сиденьям купе и быстрыми незаметными движениями расстегивать потертые платья и потом плакать и кричать от страсти и через две минуты опять плакать, но уже умиленными, более прозрачными слезами, и жалеть, как они говорили, о прошлом; и сожаление их вдруг окрашивало в небывалые, праздничные цвета глухую жизнь в провинции, замужем за пехотным капитаном, пьяницей и игроком; им казалось, что они не понимали тогда своего бедного счастья и что их жизнь была хорошей и приятной; они не владели, однако, искусством воспоминания и все всегда рассказывали в одних и тех же словах, как в ночь под Пасху они ходили с зажженными свечами и как звонили колокола. До войны и бронепоезда я никогда

не видел таких женщин. Они говорили с военными словечками и выражениями и держались развязно, особенно после того, как утоляли голод, хлопали мужчин по рукам и подмигивали им. Знания их были изумительно скудны; страшная душевная нищета и смутная мысль о том, что жизнь их должна была бы идти иначе, делали их неуравновешенными; и по типу своему они больше всего походили на проституток, но проституток с воспоминаниями. Только одна из этих женщин, которые теперь неотделимы для меня от грязного бархата диванов, от джанкойских керосиновых фонарей и аккуратных ломтиков маринованной селедки, подававшейся к вину и водке, Елизавета Михайловна, была не похожа на своих подруг. Как-то случалось всегда так, что она приходила к нам, когда я спал, это бывало или часов в девять утра, или часа в два ночи. Меня будили и говорили: проснись, неудобно, пришла Елизавета Михайловна, – и это соединение имен на минуту пробуждало меня; и через некоторое время получилось так, что Елизавета Михайловна – это неведомая спутница моих снов: Елизавета Михайловна – слышу я, и сплю, и опять слышу: Елизавета Михайловна. Открывая глаза, я видел невысокую худую женщину с большим красным ртом и смеющимися глазами; и на желтоватой коже ее лица будто плясали синеватые искры. Она была похожа на иностранку. Я бы никогда не узнал о ней ничего, если бы однажды, проснувшись, не услыхал ее разговора с одним из моих сослуживцев, филологом Лавиновым. Они говорили о литературе, и она нараспев читала стихи, и по звуку ее голоса было слышно, что она сидела и покачивалась. Лавинов был самым образованным среди нас: любил латынь и часто читал мне записки Цезаря, которые я слушал из вежливости, так как совсем недавно учил их в гимназии; и как все, что вынужден был учить, находил скучными и неинтересными; но с любовью к лаконическому и точному языку Цезаря у Лавинова соединялось пристрастие к меланхолической лирике Короленко и даже некоторым рассказам Куприна. Больше всего, впрочем, он любил

Гаршина. Однако, несмотря на такой странный вкус, он всегда прекрасно понимал все, что читал, – и понимание его превышало его собственные душевные возможности; и это придавало его речи особенную неуверенность; знания же его были довольно обширны. Он говорил своим низким голосом:

– Да, Елизавета Михайловна, вот как приходится. Нехорошо.

– Да, нехорошо.

Так разговор продолжался довольно долго, – все о том, что хорошо или нехорошо. Казалось, что у них нет иных слов. Но Елизавета Михайловна не уходила; и по ее тону было слышно, что в ответ на каждое «хорошо» или «нехорошо» Лавинова в ней происходит нечто важное и вовсе не имеющее отношения к этому разговору, но одинаково значительное и для нее, и для Лавинова. Так бывает, что когда тонет кто-нибудь, то над ним на поверхности появляются пузыри; и тот, кто не видел ушедшего в воду, заметит только пузыри и не придаст им никакого значения; и между тем под водой захлебывается и умирает человек и с пузырями выходит вся его долгая жизнь со множеством чувств, впечатлений, жалости и любви. То же происходило и с Елизаветой Михайловной: «хорошо» или «нехорошо» были только пузырями на поверхности разговора. Потом я услыхал, как она заплакала и как Лавинов говорил с ней дрожащим голосом; затем они оба ушли. Больше она к нам не приходила, и только незадолго до отъезда я видел ее с Лавиновым на вокзале; я сидел за столом против них и обедал, и, когда я съел четвертый пирожок, Елизавета Михайловна засмеялась и сказала, обращаясь к Лавинову:

– Ты не находишь, что у твоего спящего коллеги, когда он бодрствует, прекрасный аппетит?

Лавинов глядел на нее стеклянными от счастья глазами и на все вопросы отвечал утвердительно. Елизавета Михайловна была чисто одета; вид у нее был уверенный и довольный. И теперь, когда она была, по-видимому, счастлива, я вдруг ощутил сожаление, точно было бы лучше,

если бы она оставалась такой, как раньше, когда я видел ее сквозь сон, просыпаясь и засыпая и слыша это соединение имен: Елизавета Михайловна; оно не переставало оставаться именем женщины, но стало для меня одним из моих собственных состояний, помещавшимся между темными пространствами сна и красным бархатом диванов, который появлялся передо мной, как только я открывал глаза.

После Джанкоя и зимы в моей памяти возникал Севастополь, покрытый белой каменной пылью, неподвижной зеленью Приморского бульвара и ярким песком его аллей. Волны бьются о плиты пристаней и, отходя, обнажают зеленые камни, на которых растет мох и морская трава; она бессильно полощется в воде; и ее свисающие стебли похожи на ветви ивы; на рейде стоят броненосцы, и вечный пейзаж моря, мачт и белых чаек живет и шевелится, как везде, где было море, пристань и корабли и где теперь возвышаются каменные линии домов, построенных на желтом песчаном пространстве, с которого схлынул океан. В Севастополе яснее, чем где бы то ни было, чувствовалось, что мы доживаем последние дни нашего пребывания в России. Приплывали и отплывали пароходы, уходили с берега английские и французские матросы, и их корабли скрывались в море – и, казалось, возвращаться отсюда назад в Россию невозможно; казалось, море всегда было входом в нашу родину, которая находилась далеко от этих мест, на картах тропических стран с прямыми деревьями и ровными квадратами зеленой земли; и то, что мы считали родными – сухой зной южной России, безводные поля и соленые азиатские озера, – было только заблуждением. Однажды я убил из винтовки нырка; он долго качался на волнах и должен был, казалось, вот-вот подплыть к берегу, но прибрежное течение снова относило его, и я ушел только тогда, когда стемнело и нырок стал не виден. С таким же бессилием и мы колебались на поверхности событий; нас относило все дальше и дальше – до тех пор, пока мы не должны были, оставив зону российского притяжения, попасть в область иных, более вечных влияний

и плыть, без романтики и парусов, на черных угольных пароходах прочь от Крыма, побежденными солдатами, превратившимися в оборванных и голодных людей. Но это случилось несколько позже; а весной и летом тысяча девятьсот двадцатого года я скитался по Севастополю, заходя в кафе, и театры, и удивительные «восточные подвалы», где кормили чебуреками и простоквашей, где смуглые армяне с олимпийским спокойствием взирали на пьяные слезы офицеров, поглощавших отчаянные алкогольные смеси и распевавших неверными голосами «Боже, царя храни», которое звучало одновременно неприлично и грустно, давно утеряло свое значение и глохло в восточном подвале, куда из петербургских казарм докатилось музыкальное величие прогоревшей империи: оно скользило по закопченным стенам и застревало между грузинскими грудями нарисованных голых красавиц с широкими крупами, лошадиными глазами и необыкновенно ровными деревянными струями табачного дыма, выходившего из их кальянов. Вся грусть провинциальной России, вся вечная ее меланхолия наполняла Севастополь. В театрах одесские артистки с аристократическими псевдонимами пели грудными голосами романсы, которые, совершенно независимо от их содержания, звучали чрезвычайно печально; и они пользовались большим успехом. Я видел слезы на глазах обычно нечувствительных людей; революция, лишив их дома, семьи и обедов, вдруг дала им возможность глубокого сожаления и на миг освобождала от грубой, военной оболочки их давно забытую, давно утерянную душевную чувствительность. Эти люди точно участвовали в безмолвной минорной симфонии театрального зала; они впервые увидели, что и у них есть биография, и история их жизни, и потерянное счастье, о котором раньше они только читали в книгах. И Черное море представлялось мне как громадный бассейн Вавилонских рек, и глиняные горы Севастополя – как древняя Стена Плача. Жаркие воздушные волны перекатывались через город – и вдруг принимался дуть ветер, поднимая рябь на воде и еще раз напоминая о неминуемом отъезде. Уже говорили о

заграничных паспортах, уже начинали укладывать вещи; но некоторое время спустя бронепоезд опять послали на фронт, и мы уезжали, оглядываясь на море, ныряя в черные туннели и вновь возвращаясь к тем враждебным российским пространствам, из которых с таким трудом выбрались прошлой зимой. Это было последнее наступление белой армии: оно продолжалось недолго, и вскоре опять по замерзающим дорогам войска бежали на юг. В те месяцы судьба армии меня интересовала еще меньше, чем раньше, я не думал об этом; я ездил на площадке бронепоезда мимо выжженных полей и желтых деревьев, мимо рощ, сопровождавших рельсы; а осенью меня отправили в командировку в Севастополь, немного изменившийся, потому что было уже начало октября. Там я чуть не утонул, переплывая на дрянном катере с северной стороны бухты в южную – во время бури; и, пробыв в Севастополе несколько дней, я отправился обратно на бронепоезд, который еще был в моем воображении таким, каким я его оставил; в самом же деле он давно был захвачен красноармейскими отрядами, база его тоже досталась им, команда его разбежалась – и только три десятка солдат и офицеров кое-как отступали вместе с остальными войсками: они поместились все в одной теплушке и тряслись в ней, мутно глядя на красные стены и не вполне еще поняв, что нет теперь ни бронепоезда, ни армии, что убит Чуб, наш лучший наводчик, что умер Филиппенко, которому оторвало ногу, что остался в плену Ваня-матрос, умевший очень замысловато ругаться, и что вся хозяйственная часть, во главе с артельщиком Михутиным, индюком, одной живой свиньей, телятами и лошадьми, тоже не существует в том прекрасном зоологическом виде, к которому они привыкли. Лапшин, один из моих товарищей, не расстававшийся и в теплушке со своей мандолиной и игравший то «Похоронный марш», то «Яблочко», беззаботно говорил:

– Если погибли индюк и свинья, не выдержав этого поворота колеса истории, то нам уж и подавно... Нам только ехать да ехать...

Многие остались, не желая отступать, – кое-кто отправлялся назад на север, в красную армию, и на одном из встречных поездов они увидели Воробьева в железнодорожной фуражке с красным верхом; он медленно уезжал, грозил кулаком и протяжно кричал: сволочи! сволочи! – точно ехал на плоту, сплавляя по реке лес и напрягая голос именно так, как надо напрягать на реке или на озере.

Поезд, в котором я ехал навстречу отступающим войскам, остановился на маленькой станции и не пошел дальше. Никто не знал, почему поезд стоит. Потом я услыхал разговор какого-то офицера с начальником состава. Офицер быстро говорил: – Нет, вы мне скажите, почему мы стоим, нет, я вас спрашиваю, какого черта мы тут застряли, нет, я, знаете, этого не потерплю, нет, вы мне ответьте... – Нельзя дальше ехать: у нас в тылу красные, – отвечал второй голос. – В тылу – это не впереди. Если бы было впереди, тогда действительно нельзя было бы ехать. Ведь не назад же нам двигаться, не в тыл, поймите вы, черт возьми... – Я состав не пущу. – Да почему? – В тылу красные. – После этого послышались ожесточенные ругательства, и затем начальник состава сказал плачущим голосом: – Не могу я ехать, в тылу красные. – Он повторял эту фразу, потому что был объят смертельным страхом; и ему казалось, что, куда бы он ни поехал, везде его ждет одна и та же участь: он перестал понимать, но упирался, бессознательно, как животное, которое тянут на веревке. Так поезд никуда и не двинулся. Я перешел в один из вагонов базы легкого бронепоезда «Ярослав Мудрый», который стоял тут же. И так как перед тем я не спал две ночи, то, улегшись на койку, сейчас же заснул. Я увидел во сне Елизавету Михайловну, которая превратилась в испанку с трескучими кастаньетами. Она плясала, совершенно голая, под музыку необычайно шумного оркестра; и в шуме его сильнее всего проступали глубокий рев контрабаса и резкие, высокие звуки валторны. Шум стал невыносимым; и, когда я открыл глаза, я услышал рев ручного медведя,

который, волоча по полу свою длинную цепь, метался взад и вперед по вагону; иногда он останавливался и принимался раскачиваться из стороны в сторону. В вагоне не было никого, кроме меня, медведя и еще какой-то крестьянки в платке; она попала сюда неизвестно как и почему – и очень испугалась, она громко кричала и плакала. Едва начинало светать. Звенели и сыпались стекла, дул ветер: базу бронепоезда усиленно обстреливали из пулеметов. – Буденновцы! – плакала крестьянка. – Буденновцы! – Неподалеку от нас тяжело бухали шестидюймовые орудия морской батареи, отвечавшей на обстрел красной артиллерии. Я вышел на площадку вагона и увидел в полуверсте от базы серую массу буденновской кавалерии. В воздухе стоял стон и грохот от стрельбы. Близко послышался звук полета снаряда среднего калибра – и по звуку легко было определить, что снаряд попадет в наш или в соседний вагон; и потому, как замолкла баба, бессознательно подчиняясь ощущению душевной и физической тишины, предшествующей минуте страшного события, я понял, что она, не знающая ничего о тех различных тонах жужжания гранат, по которым артиллеристы слышат, куда приблизительно попадет разрыв, – почувствовала страшную опасность, угрожавшую ей. Но снаряд попал в соседний вагон, набитый ранеными офицерами; и из него сразу понеслась целая волна криков – как это бывает в концерте, когда дирижер быстрым движением вдруг вонзает свою палочку в правое или левое крыло оркестра и оттуда мгновенно рвется вверх целый фонтан звона, шума и трепета струн. Шестидюймовые орудия не переставая посылали снаряд за снарядом прямо в черную массу людей и лошадей, – и в столбах, поднимаемых разрывами, мелькали какие-то черные куски.

Я стоял на площадке вагона, смотрел перед собой, мерз на шестнадцатиградусном морозе – и мечтал о теплом купе в базе моего бронепоезда, электрической лампочке, книгах, горячем душе и теплой постели. Я знал, что та часть составов, где я находился, была окружена буденновской кавалерией, отрезана, что снарядов хватит еще

на несколько часов и что рано или поздно, но не позже сегодняшнего вечера, мы будем убиты или взяты в плен. Я знал это хорошо, но мечта о тепле, и книгах, и белых простынях так занимала меня, что у меня не оставалось времени думать о чем-нибудь другом; вернее, мечта эта была приятнее и прекраснее всех остальных мыслей, и я не мог с ней расстаться. Черный дождь разрывов и различные звуки – от сухого царапания пуль об камни и упругого звона рельс и вагонных колес до низких раскатов орудийных выстрелов и человеческих криков, все это соединялось в один шум, но не смешивалось, и каждая серия звуков вела свое самостоятельное существование, все это продолжалось с раннего утра до трех или четырех часов дня. Я возвращался в вагон, снова выходил из него, не мог ни согреться, ни заснуть – и, наконец, увидел на горизонте черные точки, которые приближались к месту боя. – Красная кавалерия! – закричал кто-то. – Конец! – Но все так же беспрестанно стреляли орудия и пулеметы, изредка стихая, как сильный ливень, который возобновится, дождавшись первого порыва ветра. Старый офицер с плачущим лицом, интендантский полковник, несколько раз прошел мимо меня, по-видимому, не зная, куда и зачем он идет. Какой-то солдат залез под вагон и скрутил посиневшими от холода пальцами папиросу, пустил сразу целое облако едкого махорочного дыма. – Сюда, брат, пуля не достанет, – сказал он мне с улыбкой, когда я наклонился, чтобы посмотреть на него. Но вдруг бой стал ослабевать, выстрелы стали реже. С севера надвигалась кавалерия. Взобравшись на крышу поезда, я ясно увидел лошадей и всадников, густая лава которых рысью шла на нас. Забившись между буферами, плакал старый полковник: рядом с ним, держась за конец его желтого башлыка, стояла закутанная девочка лет восьми; и дым, выходивший, казалось, из-под земли от цигарки курящего солдата, быстро уносился ветром. Скоро стал слышен топот коней; и через несколько минут ожидания, томительного, как в театре, сотни всадников сделались совсем близкими к нам. Масса кавалерии Буденного зашевелилась, до нас донеслись крики, и через короткое время все пришло в движение: войска Буденного

стали отступать, кавалерия, которая шла с севера, их преследовала. Недалеко от меня проскакал офицер в черкеске, ежесекундно оборачивавшийся и что-то кричавший; и я видел, что не только его солдаты, следовавшие за ним, ничего не понимали, но что он и сам не знал, почему и что он хочет сказать. Сейчас же после этого я опять увидел старого полковника, который только что плакал; теперь он пошел к своей теплушке со значительным и деловым выражением лица; а дым из-под вагона прекратился; солдат выбрался оттуда, крикнул мне: – Ну, слава Богу! – и побежал куда-то в сторону.

Еще через день блуждания между бесчисленными вагонами, товарными составами и обозами я нашел тех сорок человек, которые продолжали называться бронепоездом «Дым», хотя бронепоезда больше не было. Армия таяла с каждым часом: обозы ее гремели по мерзлой дороге, армия скрывалась на горизонте, и ее шум и движение уносились с сильным ветром. Это происходило шестнадцатого и семнадцатого октября; а в двадцатых числах того же месяца, когда я сидел в деревенской избе, недалеко от Феодосии, и ел хлеб с вареньем, запивая его горячим молоком, в комнату с возбужденным и улыбающимся лицом вошел мой сослуживец Митя-маркиз. Его называли так потому, что, когда его однажды спросили, какая из всех прочитанных им книг понравилась ему больше всего, он сказал, что это роман неизвестного, но несомненно хорошего французского писателя, – и роман назывался «Графиня-нищая». Я читал этот роман, потому что Митя возил его с собой; главными действующими лицами там были особы титулованные; Митя не мог без волнения читать такие книги, хотя сам был уроженцем Екатеринославской губернии, не видел ни одного большого города и о Франции не имел решительно никакого представления, – но слова «маркиз», «граф» и особенно «баронет» были исполнены для него глубокого значения – и поэтому его прозвали маркизом. – Джанкой взят, – сказал Митя-маркиз с радостью, которую всегда испытывал даже в тех случаях, когда сообщал самые печальные новости; но вся-

кое крупное событие пробуждало в нем счастливое чувство того, что он, Митя-маркиз, опять остался невредим; и раз уж начали происходить такие важные вещи, то, значит, в дальнейшем предстоит что-то еще более интересное. Я помнил, что в самых тяжелых обстоятельствах, если даже кто-нибудь был убит или смертельно ранен, Митя-маркиз говорил с оживлением и часто дыша, чтобы скрыть свой смех: – А Филиппенко ногу оторвало, а Черноусов в живот ранен, а поручик Санин в левую руку: прямо судьба! – Взяли Джанкой, значит, плохо дело, – сказал Митя. Джанкой действительно находился по эту сторону укреплений, уже в Крыму. Джанкой: керосиновые фонари на перроне, женщины, приходившие в наш вагон, бифштексы из вокзального буфета, записки Цезаря, Лавинов, мои сны – и во сне Елизавета Михайловна. Мимо деревни один за другим прошли четыре поезда по направлению к Феодосии. Через несколько часов путешествия мы тоже были уже там; был вечер, и нам отвели квартиру в пустом магазине, голые полки которого служили нам постелью. Стекла магазина были разбиты, в пустых складах раздавалось гулкое эхо наших разговоров, и казалось, рядом с нами говорят и спорят другие люди, наши двойники, – и в их словах есть несомненная и печальная значительность, которой не было у нас самих; но эхо возвышало наши голоса, делало фразы более протяжными; и, слушая его, мы начинали понимать, что произошло нечто непоправимое. Мы с ясностью услышали то, чего не узнали бы, если бы не было эха. Мы видели, что мы уедем; но мы понимали это только как непосредственную перспективу, и наше воображение не уходило дальше представления о море и корабле; а эхо доносилось до нас новое и непривычное, точно раздавшееся из тех стран, в которых мы еще не были, но которые теперь нам суждено узнать.

Когда я стоял на борту парохода и смотрел на горящую Феодосию – в городе был пожар, – я не думал о том, что покидаю мою страну, и не чувствовал этого до тех пор, пока не вспомнил о Клэр. – Клэр, – сказал я про себя и тот-

час увидел ее в меховом облаке ее шубы; меня отделяли от моей страны и страны Клэр – вода и огонь; и Клэр скрылась за огненными стенами.

Долго еще потом берега России преследовали пароход: сыпался фосфорический песок на море, прыгали в воде дельфины, глухо вращались винты и скрипели борта корабля; и внизу, в трюме, слышалось всхлипывающее лепетание женщин и шум зерна, которым было гружено судно. Все дальше и слабее виднелся пожар Феодосии, все чище и звучнее становился шум машин; и потом, впервые очнувшись, я заметил, что нет уже России и что мы плывем в море, окруженные синей ночной водой, под которой мелькают спины дельфинов, и небом, которое так близко к нам, как никогда.

– Но ведь Клэр француженка, – вспомнил вдруг я, – и если так, то к чему же была эта постоянная и напряженная печаль о снегах и зеленых равнинах и о всем том количестве жизней, которые я проводил в стране, скрывшейся от меня за огненным занавесом? – И я стал мечтать, как я встречу Клэр в Париже, где она родилась и куда она, несомненно, вернется. Я увидел Францию, страну Клэр, и Париж, и площадь Согласия; и площадь представилась мне иной, чем та, которая изображалась на почтовых открытках – с фонарями, и фонтанами, и наивными бронзовыми фигурами; по фигурам непрестанно бежит и струится вода и блестит темными сверканиями – площадь Согласия вдруг предстала мне иной. Она всегда существовала во мне; я часто воображал там Клэр и себя – и туда не доходили отзвуки и образы моей прежней жизни, точно натыкаясь на незримую воздушную стену – воздушную, но столь же непреодолимую, как та огненная преграда, за которой лежали снега и звучали последние ночные сигналы России. На пароходе отбивали склянки, их удары сразу напомнили мне бухту в Севастополе, покрытую множеством судов, на которых светились огоньки, и в определенный час на всех судах звучали эти удары часов, на одних глухо и надтреснуто, на других тупо, на тре-

тьих звонко. Склянки звенели над морем, над волнами, залитыми нефтью; вода плескалась о пристань – и ночью Севастопольский порт напоминал мне картины далеких японских гаваней, заснувших над желтым океаном, таких легких, таких непостижимых моему пониманию. Я видел японские гавани и тоненьких девушек в картонных домиках, их нежные пальцы и узкие глаза, и мне казалось, что я угадывал в них ту особенную смесь целомудрия и бесстыдства, которая заставляла путешественников и авантюристов стремиться к этим желтым берегам, к этому монгольскому волшебству, хрупкому и звонкому, как воздух, превратившийся в прозрачное цветное стекло. Мы долго плыли по Черному морю; было довольно холодно, я сидел, закутавшись в шинель, и думал о японских гаванях, о пляжах Борнео и Суматры, и пейзаж ровного песчаного берега, на котором росли высокие пальмы, не выходил у меня из головы. Много позже мне пришлось слышать музыку этих островов, протяжную и вибрирующую, как звук задрожавшей пилы, который я запомнил еще с того времени, когда мне было всего три года; и тогда в приливе внезапного счастья я ощутил бесконечно сложное и сладостное чувство, отразившее в себе Индийский океан, и пальмы, и женщин оливкового цвета, и сверкающее тропическое солнце, и сырые заросли южных растений, скрывающие змеиные головы с маленькими глазами; желтый туман возникал над этой тропической зеленью и волшебно клубился и исчезал – и опять долгий звон дрожащей пилы, пролетев тысячи и тысячи верст, переносил меня в Петербург с замерзшей водой, которую божественная сила звука опять превращала в далекий ландшафт островов Индийского океана; и Индийский океан, как в детстве в рассказах отца, раскрывал передо мной неизведанную жизнь, поднимающуюся над горячим песком и проносящуюся, как ветер, над пальмами.

Под звон корабельного колокола мы ехали в Константинополь; и уже на пароходе я стал вести иное существование, в котором все мое внимание было направлено

на заботы о моей будущей встрече с Клэр, во Франции, куда я поеду из старинного Стамбула. Тысячи воображаемых положений и разговоров роились у меня в голове, обрываясь и сменяясь другими; но самой прекрасной мыслью была та, что Клэр, от которой я ушел зимней ночью, Клэр, чья тень заслоняет меня, и когда я думаю о ней, все вокруг меня звучит тише и заглушеннее, – что эта Клэр будет принадлежать мне. И опять недостижимое ее тело, еще более невозможное, чем всегда, являлось передо мной на корме парохода, покрытой спящими людьми, оружием и мешками. Но вот небо заволоклось облаками, звезды сделались не видны; и мы плыли в морском сумраке к невидимому городу; воздушные пропасти разверзались за нами; и во влажной тишине этого путешествия изредка звонил колокол – и звук, неизменно нас сопровождавший, только звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбивающимся, с прекрасным сном о Клэр.

Париж, июль 1929 г.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Володя уезжал из Константинополя один, никем не провожаемый, без слез, без объятий, даже без рукопожатия. Дул ветер с дождем, было довольно холодно, и он с удовольствием спустился в каюту. Он приехал на пароход почти в последнюю минуту, и потому едва он успел лечь и закрыть глаза, как пароход двинулся. – Надо все же посмотреть в последний раз на Константинополь. – Он поднялся на палубу. Было почти темно, скользко и мокро; сквозь дождь уходили неверные очертания зданий, ветер бросал брызги воды в лицо; шум порта с криками турок и гудками катеров, влажно раздававшимися сквозь густеющую темноту, стал стихать и удаляться. Володя постоял некоторое время и опять спустился в каюту. – Ну, поехали, – вслух сказал он себе. Он лег и закрыл глаза, но не засыпал, лишь начал дремать; из далекой каюты послышалась музыка. Володя силился разобрать мотив и не мог, и, как всегда в таких случаях, ему казалось, что это нечто знакомое. Потом музыка умолкла, и он задумался, глядя на толстое стекло иллюминатора, пересеченное неправильными линиями дождя.

Затем начался обычный для путешествия ход его мыслей, – всегда один и тот же. Всякий раз, когда ему приходилось уезжать, когда он оказывался либо в поезде, либо на пароходе и начинал ощущать свое полное и глубокое одиночество, – но это было не грустное, а скорее спокойное и немного презрительное чувство, – он думал, что вот теперь, именно теперь, когда он отделен, в сущности, от всего мира и не должен в эти минуты ни лгать, ни притворяться перед собой или перед другими, ни создавать иллюзии чувств, которые были необходимо требуемы особенной условностью человеческих отношений – и которых он на самом деле не ощущал или ощущал их другими, нежели те, за которые он их выдавал, невольно обманывая и себя, и других, – что в это время он яснее представлял себе, все при-

чины и побуждения, руководившие его жизнью, так же, как подлинный смысл тех или иных отношений с людьми. Пока он находился в центре событий, составляющих его существование, пока он сам играл в них какую-то роль, он был лишен возможности правильно понимать их. И только тогда, когда он оставался, – так, как теперь, – совсем один, ему начинало казаться, что все ясно и понятно, как простой логический ход рассуждений. И особенно хотелось остановить и записать, покуда это не исчезло, множество незначительных вещей, воспоминаний, запахов, впечатлений, вызванных из глубокого небытия этим мерным движением парохода и глуховатым звуком волн, бежавших вдоль его крутого борта. Бывали минуты в его жизни, когда он, в остальное время равнодушный ко всему, вдруг испытывал острое сочувствие к людям и вещам, иногда почти вовсе ему неизвестным, иногда чрезвычайно далеким от него – сквозь годы, чужой язык и чуждую национальность; и судьба какого-нибудь голландца, француза или англичанина, жившего много лет тому назад, становилась ему необычайно близка, как жизнь когда-то давным-давно потерянного им брата. Он думал иногда о судьбе нескольких женщин, и с самого давнего времени, чуть ли не с того, когда он впервые прочел об этом, некоторые женские образы неизменно сопровождали его; они меняли свою внешность, представая перед ним во всем своем немыслимом богатстве превращений; и в них оставалось нечто то же самое, что было раньше и всегда, может быть, воспоминание о первом толчке, о начале того движения, которое влачило все время за собой его отстающую, не поспевающую за этим великолепием, слишком бедную и слишком скучную, как казалось Володе, жизнь. Ему казалось, что он принадлежит к людям, которым судьба дала что-то лишнее и тяжелое, что их давит все время и стесняет их движения и еще заставляет считать, что настоящее и то, в чем они живут, это все только случайность и недоразумение; и всю жизнь они бессознательно чего-то ждут, и, что бы ни случилось, это окажется не тем, – и им суждено умереть с этим ожиданием. Они могут быть скептиками, не верить ничему, не хранить никаких иллюзий,

и все же есть нечто, мечтательное и далекое, что, несмотря на свою хрупкость, весь свой явный, безумный мираж, сильнее их и их отрицания. Володя вспоминал одну женщину, немку, нервную и истерическую; она была учительницей немецкого языка в гимназии и ставила ему дурные отметки, к которым он относился совершенно спокойно. – Warum wollen Sie nicht arbeiten?[1] – злобно спрашивала она его. Он пожимал плечами и усаживался на свое место; было особенно ленивое, южное лето, сонный воздух был неподвижен; было так тихо в гимназическом саду, где Володя и его товарищи ложились на выгоревшей траве, подстелив одеяло, где они ели дыни и арбузы и говорили о необходимом существовании какого-то одного, абсолютного и неизменного начала, которым объяснено раз и навсегда все, что живет, и все, что может появиться. Им всем было тогда меньше чем по двадцать лет; и они были склонны искать в этом гигантском клубке, чудовищно сплетенном из запахов, разочарований, надежд и неисчислимого количества разнообразнейшей мерзости, – каким Володя потом представлял себе всякую человеческую жизнь, – искать в этом все того же, торжественного, как гимн, необычайно гармонического начала. И вот, однажды днем, встретив Володю в длиннейшем коридоре, учительница немецкого языка вдруг сказала ему: – Вы можете прийти ко мне сегодня после обеда? – В котором часу? – Она назначила ему время, и он явился, недоумевая, зачем она его вызвала. У нее была довольно большая комната, с креслами, диваном, гравюрами; и одну из стен занимал большой кусок черного прекрасного бархата, на котором тонкими линиями тускло сверкающих тонов был нарисован, как показалось сначала Володе, величественный замок над рекой; и только вглядевшись как следует, он увидел, что это был не рисунок, а вышивка, сделанная с необычайным, почти японским искусством. – Это вы вышивали? – Я, – сказала она, вздрагивая: она вообще все время вздрагивала. Она подвинула к нему блюдо пирожных. – Спасибо, я не ем пирожных, – сказал он. Она вспыхнула, сказала: – Ах, извините, я не знала, –

[1] – Почему вы не хотите работать? (*нем.*)

и, раньше чем он успел что-либо сказать, выбежала из комнаты и вернулась с коробкой папирос, которую положила перед ним. Он поблагодарил. – Вы знаете, зачем я вас пригласила? – Откровенно говоря, нет. – Я хочу с вами поговорить. – Если мои реплики могут вас в какой-нибудь степени интересовать... – Она была очень образованной женщиной, прекрасно говорила по-русски, по-французски, по-турецки, по-английски, не считая немецкого и латышского, – она была рижанкой. – То, что я вам скажу, вам покажется, может быть, нелепым и странным. Вы видите эту вышивку, о которой вы меня спрашивали? Я рисовала ее из головы, просто так; сначала нарисовала, потом вышила. И вот, вы знаете, я однажды совершала прогулку по Рейну, и когда мы подъезжали к одному замку, у меня сильно забилось сердце и я сказала моим спутникам, что знаю точно расположение комнат и все входы и боковые двери. Я никогда до того не бывала в этой части Германии. И чтобы проверить это, мы сошли с лодки и попросили разрешения осмотреть замок; я шла с завязанными глазами и говорила, что где находится, и все было точно, за исключением одной двери, которую замуровали около пятидесяти лет тому назад. Это все казалось невероятным моим спутникам; и тогда я показала им эти вышивки, которые я сделала, не зная даже о существовании такого замка.

Потом она рассказала Володе множество других вещей такого же порядка; и его особенно поразило то, что она сказала, что помнит, как была маркитанткой в войсках крестоносцев, в походе Фридриха Барбароссы, и что несколько лет тому назад, в Константинополе, она встретила одного англичанина, которого помнила именно по крестовому походу, – но что он ее не узнал. Она потом уехала из того города, где учился Володя, была в Риге, в Москве, путешествовала по Европе; и Володя был уверен, что всюду ее мучили и преследовали эти неправильные, чужие воспоминания о разных эпохах, в которых она видела себя, точно в далеком и темном зеркале, себя, и это свое такое отдаленное лицо, эту бледную кожу, белокурые волосы и синие, страшные глаза; и то, что об этом по-настоящему знала только она одна, – всем дру-

гим это могло только казаться нелепым, – это фантастическое волнение, этот постоянный мираж заполняли всю ее жизнь и делали все окружающее бессмысленным, несвоевременным и скучным. После этого единственного разговора с ней Володя невольно изменил к ней равнодушно-насмешливое отношение. Он не понял, однако, – ни тогда, ни позже, – почему для рассказа о крестовых походах и замке над Рейном она выбрала его, самого ленивого из своих учеников, – любившего больше всего спать и бесцельно гулять и ничего не делать. Никогда потом эта женщина ничем не проявила к нему своего внимания, не разговаривала с ним, не вызывала его и по-прежнему ставила дурные отметки, – и только раз вскользь сказала: – Вы могли бы делать гораздо больше, чем вы делаете, – но это было так туманно и так механически сказано, что явно не имело никакого значения. Но Володя был убежден, что и потом, в дальнейшем, ей все виднелась вечером в пустынном воздухе каждой страны или каждого города, где она находилась, – будь то Константинополь, Берлин, Рига или Москва, – смутно белеющая вдали башня какого-то давно затерявшегося во времени здания, может быть, одной из крепостей, к которой был направлен тяжелый карьер взмыленных, свирепых лошадей крестоносцев. – Я была маркитанткой в обозе Фридриха Барбароссы, – она так просто говорила эту фразу, в тысяча девятьсот двадцать втором году, когда прошли почти бесчисленные дни, почти непредставляемые годы после того, как все покрылось забвением, – чтобы теперь опять призрачно воскреснуть и прогреметь в ее невероятной фантазии. В жизни, которую она вела и которая состояла из преподавания немецкого языка, она была забывчива, растеряна и несчастна, как все фантазеры и мечтатели; она нервничала оттого, что ее объяснения не сразу понимались, что по-немецки можно было говорить с таким ужасным славянским акцентом. Иногда с ней случались истерики в классе; и тогда она особенным движением мизинца поднимала свою правую, как-то заскакивавшую бровь, и ее глаз открывался во всю ширину, – синий, громадный и совершенно пустой в те минуты.

И теперь, вспоминая это нелепое и призрачное существование, Володя подумал, что оно в тысячу раз лучше других, таких счастливых жизней, которые ему приходилось наблюдать. Он сам так часто терял все, что ему, казалось, принадлежало, так много раз замечал, что вот, живешь среди известных людей, связанный прочными отношениями, неподвижный, как раз навсегда задуманный и осуществленный чьей-то волей человек, которого ни с кем нельзя смешать, – живешь и через долгое время вдруг начинаешь понимать, что все это родное и как будто неотделимое от тебя с каждым днем становится все дальше, делается все более чуждо – до тех пор, пока в одну неожиданную минуту, – вот точно проснувшись однажды утром, – не поймешь с безнадежной окончательностью, что и ты чужд всему, в чем живешь, что ты уже не узнаешь ни этих людей, ни этих отношений, ни даже домов и улиц родного города, – и тогда начинается иное странствие и снова длится много времени, пока не наступит следующая минута этого тускнеющего, точно слепнущего взгляда, после которого опять одиноко, гулко и тяжело. Володя так часто терял все это – и не мог к этому привыкнуть, – что существование одной, сквозь всю жизнь проходящей мысли казалось ему недостижимым счастьем; и он никогда его не знал. А счастливых людей было много, больше даже, чем несчастных. Была, например, эта дама, французская журналистка, жившая в Константинополе; она разговаривала с Володей на самые возвышенные темы, относясь ко всему с неподдельной печалью, все казалось ей сумрачным и грустным. Володя пытался узнать, что ее, сравнительно молодую женщину – ей было двадцать девять лет – погрузило в такой неожиданный пессимизм; тем более, думал Володя, что она обладала редким аппетитом, в чем он убедился, бывая иногда ее спутником в ресторане. Она была очень проницательна и умна, особенно в том, что касалось отношений между мужчиной и женщиной, – в остальном она чувствовала себя несколько менее уверенно, как человек, попавший в незнакомую квартиру. Она сообщила ему, наконец, что разошлась со своим мужем, которого безумно любит, – она так и сказала: que

j'aime follement; и всякий раз, когда она о нем говорила, ее обычный, несколько суховатый и быстрый язык вдруг делался медленным и приобретал новые выражения какого-то особенного и печального в своей шаблонности великолепия. Когда он однажды не удержался и заметил ей это, она подняла на него глаза, которые ничего перед собой не видели, и сказала: я боюсь, что вы меня не понимаете, может быть, вы слишком молоды. Потом он с ней не встречался несколько недель; а затем встретил ее как-то вечером, совершенно случайно. Она была непохожа на себя, необычайно весела и оживлена; и он сказал ей: – Я очень рад за вас, у вас такой вид, точно вы получили наследство. – В тысячу раз лучше, – ответила она. – J'ai retrouvé mon mari[1]. Она была искренна и счастлива. – Я вас познакомлю, я скажу, что вы были моим лучшим другом. – Зачем так преувеличивать? Я не мог бы претендовать... – Si, si[2], – перебила она, и ей, по-видимому, стало казаться, что Володя действительно был ее лучшим другом и всегда сочувствовал ее несчастью, – хотя он явно был к нему равнодушен; и он помнил даже, что вопрос, о котором она как-то заговорила с неожиданным простодушием, – именно вопрос о ее физических страданиях от разлуки с мужем, – показался ему нелепым и неприличным в устах женщины, несмотря на то, что это и было, судя по всему, главным в тогдашний период ее жизни. Потом она представила Володю своему мужу, и это было неловко и немного грустно. Это был маленький, лысеющий человек, чрезвычайно самоуверенный, обидчивый и болезненно нетерпимый; и вдобавок он говорил с таким ужасным овернским акцентом, что Володя вначале подумал, что это просто шутливая манера, несколько затянувшаяся; но потом оказалось, что он действительно говорил так и иначе говорить не мог. Володе стало так неприятно, что даже кофе ему показался невкусным, и он быстро ушел, отговорившись необходимостью идти на свидание, которого не было. И вместе с тем, несомненно, эта женщина

[1] – Я вновь нашла своего мужа (*фр.*).

[2] – Но это так (*фр.*).

была теперь счастлива; и он с недоумением спрашивал себя, неужели можно быть таким нетребовательным, неужели нужно так мало для того, чтобы чувствовать себя счастливым? – Возможно, что я ошибаюсь, – говорил он себе. И он думал, что, наверное, она создала себе какой-то прекрасный миф, к которому не подходит никто, и только у этого человека есть нечто поразительно напоминающее ей ее воображаемого героя, – как в пейзаже скучной и скупой страны вдруг встречается только одна подробность, свойственная воображаемой природе, которую человек любит так давно и постоянно, и это сразу делает близким и родным такой на первый взгляд чуждый и печальный вид. Но сколько он ни искал в этом человеке чего-нибудь, достойного внимания, он ничего не нашел; и, по-видимому, чтобы понять ее несложное и нетребовательное счастье, нужно было обладать ее глазами или ее телом. Володя думал о других людях, которые были по-настоящему счастливы, получив небольшое повышение по службе; о рабочих, совершенно довольных своей судьбой, хотя они проводили десять часов ежедневно в дымных и гремящих мастерских металлургических заводов; эти люди были лишены фантазии, не искали ничего другого, их представление никогда не доходило до возможности увидеть какой-то иной мир, они были счастливы особенным и неподвижным счастьем, – с дурными запахами, подвалами, в которых они жили, плохой пищей, которой они питались. – И еще, – думал Володя, и может быть самое важное, что характерно и для этой французской журналистки и для этих несчастных людей, этого chair à canons[1] – это что они никогда не останавливаются. Они начинают жить, – и тотчас же тысячи забот, задач, требующих немедленного разрешения, личных дел, диктуемых теми или иными другими чувствами – любовью, вернее, тем, что эти люди называют таким словом, местью, голодом, – занимают весь их досуг, заставляют их совершать множество поступков, ошибок и преступлений, вся чудовищная нелепость и глупость которых может быть только объяснена

[1] пушечное мясо (*фр.*).

совершенным отсутствием обдумывания или понимания, – и потом идут нищета, или счастье, или катастрофа, или убийство. И всякий раз, когда какой-нибудь из этих людей в силу вынужденного досуга, – на каторге, в последние годы своей жизни, на своей постели незадолго до смерти или где-нибудь еще впервые остановится и всё перед ним станет идти тише, прозрачнее и медленней, – он вдруг начинает понимать всю непоправимую бессмысленность своей жизни. Но они не останавливаются, и даже в последние их часы они все еще по инерции продолжают мечтать или жалеть – мелочно и скучно – и умирают, так и не поняв, хотя бы на секунду, как все это началось бесконечно давно, как проходила жизнь и как теперь – вот все кончается и уже больше никогда ничего не будет, – как у этого константинопольского старика, который поразил Володю тем, что оставлял в мокром асфальте тротуара – это было после дождя – следы босых ног, пять пальцев и пятки, хотя был в ботинках. Володя даже обогнал его и поглядел внимательно на его ноги; старик был обут в лакированные туфли, правда, давно потерявшие свой блеск, но все же сохранившие форму обуви; затем Володя отстал и снова посмотрел на следы, – опять отпечаток босой ноги на тротуаре. И он понял, что от этих лакированных туфель остался только верх, а подошвы не было совершенно. Позже Володя познакомился со стариком и узнал все, что тот мог о себе рассказать. Он учился на «медные деньги», был сыном бедных родителей, давал уроки, голодал, жил в отвратительных меблированных комнатах и мечтал о богатстве и комфорте. Ему повезло – или не повезло, – он начал заниматься коммерцией и со сказочной быстротой разбогател. И потом, когда все, о чем он мечтал, исполнилось, он уже не мог остановиться: все его время было занято финансовыми делами, биржевыми спекуляциями, покупками, продажами, деловыми путешествиями; мельком и случайно было несколько женщин, которых он даже плохо помнил, – кажется, ее звали Зина... – если не ошибаюсь, ее звали Катя... – Это было chemin faisant[1], – не то в

[1] между прочим (*фр.*).

гостинице «Метрополь» в Харькове, не то в московской «Астории», потом была гречанка Марика на пароходе, – природа, облака, знаете, море, пролив, – он не чувствовал этого, как следует – ни облаков, ни моря, ни звучности прекрасного слова «пролив», все это было на ходу, этот человек точно быстро ехал мимо своей собственной жизни, – «Астория», «Метрополь», Марика, – и все не мог остановиться. Его состояние все увеличивалось, деньги росли, как во сне, уже было много миллионов, банк, поместья, мельницы, подряды, и вдруг все сразу рухнуло и поплыло; и как ни быстро было его обогащение, разорение шло еще скорее. Стреляли пулеметы в Петербурге, на юге были восстания, война, пожары, революция; и все стало тихо, и все остановилось только в одно апрельское, блистательное утро на берегу Босфора. И не осталось ничего: ни денег, ни забот, ни богатства, ни перспектив, ни необходимости быть тогда-то в Москве, а тогда-то в Киеве. – И тогда я начал понимать, – сказал он. Но в противоположность громадному большинству людей, находившихся в его положении, он не жалел о потерянном богатстве; ему было только обидно, что так незаметно и глупо прошла жизнь. Он вспоминал студенческие времена, и уже здесь, в Константинополе, он начал читать книги, – а книг он не читал очень много лет. Особенно его волновали стихи, и теперь этот старый человек, знавший всю жизнь «покупать», «продавать», «не пропустить», «баланс», «итог», спрашивал Володю, помнит ли он эти строки:

Слабеет жизни гул упорный,
Уходит вспять прилив забот,
И некий ветр сквозь бархат черный
О жизни будущей поет.

Он спрашивал Володю, что тот собирается делать; и, узнав, что Володя уезжает в Париж, просил ему прислать оттуда «Madame Bovary». Володя обещал; но еще до его отъезда старик умер от припадка астмы, – там, где он жил, в глубоком и низком Касим-паше. И Володя представил себе его смерь, поздним и душным константинопольским вечером, в маленьком деревянном доме, – и ночной

Босфор со светлой водой, и астматические, задыхающиеся всхлипывания его собеседника.

Он приехал тогда в Константинополь из Греции, – он ехал в бурную февральскую ночь на каботажном катере через Мраморное море; катер подбрасывали медленные волны, корма его высоко поднималась, и тогда освобожденный от воды винт вращался в воздухе с глухим и тревожным шумом. Точно на сказочном корабле, на нем не было видно ни души, ничей голос не отдавал команды, только тьма и вода, как во сне, и холодное ночное море; он приехал в Константинополь утром, было ясно и прохладно, и синие Принцевы острова все точно плыли из светлой глубины Босфора и не могли доплыть до берегов. Его поразил запах жареного мяса, доносившийся из какого-то портового ресторана, крутые и высокие улицы Галаты и еще особенная константинопольская шарманка с необычайным количеством булькающих переливов мелодии, точно кто-то в такт музыке лил воду из большой бутылки. Поздним вечером того же дня, после душной, горячей ванны, одетый в новый и непривычный штатский костюм, – поздним вечером этого дня он пошел в ресторан «Printania» и сидел за столом в зале с танцующим над негритянским оркестром синим дымом от папирос и сигар, слушал звуки модного тогда фокстрота и был совершенно и беззвучно пьян, хотя не пил ничего; и находился в таком состоянии, когда странно меняются предметы, – из большого барабана растет высокая пальма, вместо рояля течет река и только глаза женщин остаются неизменными, как всегда. Было два часа ночи, когда он возвращался домой, темная тишина стояла на улицах, и вдруг до него донесся хрипловатый женский голос, говоривший по-французски с теми неторопливыми русскими интонациями, с какими говорили только в нашей медлительной России и с какими никогда не говорят французы. Володя находил вообще непонятную прелесть в голосе у женщин, – может быть, потому, что они напоминали ему «королеву бриллиантов», Дину, блистательную Дину, появлению которой всюду предшествовали толки о знаменитых ее бриллиантах, о разорившихся на нее мил-

лионерах и о многочисленных самоубийствах, – так, точно одна эта женщина после своего прохождения в каком-либо городе оставляла за собой только дымящиеся развалины и трупы умерших от любви людей; приводились имена, неизвестные, но неизменно звучные, скандальные истории, рассказывающиеся шепотом, и сообщение о том, что на днях в собственном спальном вагоне лучшего в России курьерского поезда Дина приезжает сюда; уже снят весь этаж самого дорогого отеля, уже прибыл ее багаж из заграничных чемоданов; и оставалось предположить, что уже чистится стальной револьверный ствол для очередного самоубийства, однажды ночью, в номере гостиницы, с классической запиской: «В смерти моей никого не винить» – и грузно летит в воздушную пропасть, разверзающуюся под божественными ногами Дины, следующий, невозвратно растраченный миллион.

Он ее увидел однажды под вечер; она проходила по прозрачно-хрустящей аллее кисловодского парка, в белом платье, в белых туфлях; воздушный тюль, как легкие крылья, медленно летел над ее плечами; Володя стоял на краю аллеи, засунув руки в карманы безжалостно разглаженных белых брюк, она прошла мимо него и в течение очень короткого времени смотрела, не замечая его, в его глаза – и тогда он заметил красные жилки на ее белках. Она давно прошла, и давно, все слабея, доносился до него ее низкий голос с легкой хрипотой, – она разговаривала со своим спутником, высоким кавалергардским офицером – а он все стоял в том же положении и не двигался, точно боялся, что первое же движение заставит исчезнуть навсегда эту женщину, эти глаза, этот голос. Кажется, она была очень красива.

И вот константинопольской далекой ночью он услышал такой же низкий, хрипловатый голос другой женщины, которая ему напомнила Дину. Она шла не очень далеко от него и разговаривала с человеком в мягкой шляпе и желтых туфлях. Все это теперь неважно, – говорила она, – я уезжаю в Америку и оттуда уже иначе не приеду, как первым классом и как богатая американка. К черту все это, – сказала она, и так тревожно раздалось в

воздухе это медленное, почти ленивое «au diable»[1]. – Я вас понимаю и могу только пожалеть об этом, – ответил мужской голос. – Au diable, – повторила она. И еще, после долгого молчания, ее голос сказал: – Итак, если вы не очень далеко живете... – и они свернули за угол, где начиналась точно сорвавшаяся вниз и чудом удержавшаяся в падении узкая улица необычной, головокружительной крутизны, из глубины которой медно и тускло блестели в воздухе далекие, желтые огни фонарей. И Володе захотелось тогда пойти за ней и сказать ей много ненужных слов, – все о том, что она посылала к черту, что он так любил и измена чему вызывала у него долгое и томительное ощущение, состоявшее из грусти и чувственности. Он знал наизусть всю историю этой женщины, – тогда все биографии женщин были почти одинаковы: они начались с гимназии или института, проходили сквозь гражданскую войну, иногда они ее не пересекали и терялись навсегда в дыму давно забытых сражений, – но чаще они кончались в Константинополе, Афинах, Вене, Берлине, Париже, Нью-Йорке или Лондоне, в неизменной обстановке русских кабаре, сомнительных цыганских романсов, американских фокстротов, коктейлей, англичан, французов, левантинцев, турок, – и потом гостиница или квартира с чужой постелью и этим невыносимым холодом простынь, который особенно силен, когда ночуешь не дома и, может быть, от которого голос делается несколько хриплым, как от простуды, или болезни, или внезапного и необычайно сильного воспоминания.

Когда потом он возвращался к впечатлениям этой константинопольской ночи, ему каждый раз нужно было делать усилие, чтобы восстановить обстановку, в которой это происходило, и особенно погоду. С давнего времени у него образовалась привычка исправлять воспоминания и пытаться воссоздавать не то, что происходило, а то, что должно было произойти, – для того, чтобы всякое событие как-то соответствовало всей остальной системе представлений. И вот, ему все казалось, что в ту ночь в Константинополе была сухая воздушная буря. В самом же деле было

[1] «к черту» (*фр.*).

очень тихо и душно. Он отчетливо вспомнил тяжелое чувство, с которым вернулся домой и которое даже мешало ему заснуть в течение некоторого времени. Теперь же ему казалось, что константинопольская незнакомка с хриплым голосом была, в сущности, права, и поступала правильно: как иначе она могла бы устроить свою жизнь? Теперь ему вообще все казалось иным. – Да, – сказал он себе, уже засыпая, – итак, это, кажется, просто: не лгать, не обманывать, не фантазировать и знать раз навсегда, что всякая гармония есть ложь и обман. И еще: не верить никому, не проверяя.

Всю ночь шел дождь, утро тоже было дождливое и пасмурное, и только под вечер появилось солнце и стало теплее; установившаяся хорошая погода уже не менялась до Марселя. Володя садился возле самой кормы у борта и следил, как взбивается и шипит пена за винтом, оставляя чуть извилистый и исчезающий, широкий водяной след. Иногда, не очень далеко от парохода, он замечал маленький силуэт нырка, сидящего на воде и уносимого волнами; потом черная птичья голова быстро опускалась; мелькал в воздухе темный задок птицы, и она исчезала в глубине. Или вдруг почти у самого борта парохода, над которым, свесившись до половины, стоял Володя, плыла на небольшом расстоянии от поверхности воды полупрозрачная, громадная медуза, распластавшаяся матовым, стеклянным пятном с медленно движущимися очертаниями. Затем резкий, пискливый крик над головой заставил его поднять глаза: большая белая птица пролетела, пересекая вкось движение парохода; и так же мерно и безошибочно, как билось ее сердце, без устали взмахивала в светлом воздухе своими длинными бесшумными крыльями; потом вдруг растягивала их во всю длину и, перестав ими шевелить, склонив набок все свое тело, стремительно опускалась до поверхности моря и, почти не задевая ее, так же легко и сильно взмывала вверх и потом улетала все дальше и дальше, и уже издалека тускло блестели ее белые перья под лучами солнца.

Первым же поездом из Марселя Володя поехал в Париж, денег было мало, пришлось брать билет третьего

класса, и всю дорогу у Володи болела голова от невытравимого запаха чеснока, которым были пропитаны, казалось, не только пассажиры, но и самые стены вагона. В девять часов утра, не спав всю ночь, с сильной головной болью и дурным вкусом во рту, Володя приехал в Париж. Справившись еще раз в записной книжке, он опять посмотрел адрес брата, который и без того знал наизусть, сел в такси и велел везти себя на rue Boissière. Головная боль сразу стихла; Володя смотрел по сторонам, его поразило сильное движение на улице – в остальном Париж показался ему похожим на все остальные большие города.

Он позвонил у двери дома, в котором жил его брат; улица оказалась неожиданно тихой и несколько сумрачной, и звонок прозвучал особенно резко. Он подождал минуту и услышал мягкие шаги, спускавшиеся по лестнице. Потом дверь приоткрылась и горничная в спальных туфлях – что удивило Володю – показалась на пороге.

– Puis-je voir M. Rogatchev?[1] – спросил Володя.

– De la part de qui?[2]

Володя не сразу понял. Что за черт, de la part de qui? – подумал он, – потом сообразил; дверь все оставалась полуоткрытой, и горничная стояла наполовину на улице, наполовину в доме. – Dites lui que c'est son frère[3], – сказал Володя. При этом его ответе наверху послышались еще одни шаги, затем лестница затрещала под быстро спускающимся грузным человеком, который поскользнулся на предпоследней ступеньке, сказал по-русски «а, дьявол», – и Володя увидел своего старшего брата, Николая, в длинном лиловом халате, небритого, растрепанного, но очень веселого и довольного. Он оттолкнул горничную, втянул Володю внутрь, сказал удивленно и радостно: – Володька, сволочь! – и шумно поцеловал его раньше, чем Володя успел произнести хоть одно слово.

Николай был старше Володи на шесть лет и уехал за границу, будучи уже студентом. Он был и похож и непохож на своего брата. Он был ниже его, но шире в плечах, и

[1] – Могу ли я увидеться с мсье Рогачевым? (*фр.*)
[2] – От чьего имени? (*фр.*)
[3] – Скажите ему, что это его брат (*фр.*).

мохнатое его тело было сколочено из совершенно несокрушимого матерьяла – он ничем не болел, все порезы и раны заживали у него с поразительной быстротой. Он был в детстве драчлив, стремителен и до ужаса не любил гимназию, книги, тетради и все, что этого как-либо касалось, убегал с уроков, чтобы кататься на коньках или играть в футбол; во время богослужения в церкви, стоя на коленях, просовывал с необыкновенной гибкостью голову между ног и в таком неестественном положении показывал язык своим товарищам – до тех пор, пока однажды это не увидел надзиратель и не наказал его. Он был вспыльчив, по всякому поводу лез в драку с кем угодно и ходил с крупными синяками на физиономии, – но никогда не врал и быстро успокаивался, когда ему объясняли его ошибку. Его рассудок не поспевал за его бурными чувствами; но когда это оказывалось необходимо, Николай все понимал быстро и верно, и если хотел учиться, то учился хорошо. Младшего брата он очень любил и считал, что заменяет ему отца, – так как отец Рогачев давно не жил со своей женой и ограничивался тем, что посылал ей изредка деньги – каждый раз очень большие, это бывало обычно после крупного выигрыша – и потом не давал о себе знать в течение долгого времени. Чаще всего долгое его молчание совпадало с тем, что в дом Рогачевых приходила какая-нибудь дама с заплаканным лицом и почему-то непременно с черной вуалью и жаловалась матери «этого хулигана», как все официально называли Николая – так и в гимназии о нем говорили товарищи «Колька-хулиган»; только на товарищей он не обижался, успев за несколько лет передраться и помириться со всеми своими одноклассниками, а взрослым говорил дерзости, что приводило в ужас его мать, – итак, дама приходила жаловаться на отца Рогачева, который ее обманул и бросил: и мать Рогачева плакала в такие дни, вспоминая своего неверного мужа, самого очаровательного и умного, и в то же время самого ненадежного человека, которого она знала, неисправимого Дон-Жуана и картежника, не раз проигравшего и выигравшего целые состояния, посетителя бесчисленных клубов, бильярдных, ресторанов, всегда одетого в самый модный костюм, улы-

бающегося, остроумного и не верящего ни во что на свете, «кроме козырного туза и женской приятности», как кто-то сказал о нем.

Но насколько сам Рогачев был неточен и небрежен в своих обязательствах, настолько его сын, этот самый Колька-хулиган, был безупречен в роли второго отца для своего младшего брата. В последние годы у матери братьев Рогачевых очень ослабело – от какой-то глазной болезни – зрение, она стала почти беспомощна; и Николай, только что кончивший гимназию, стал главой дома – вел все расходы, посылал кухарку за провизией, входил во все подробности хозяйства и делал это, ко всеобщему удивлению, быстро и толково; денег стало уходить меньше, а жить стало лучше. Потом, когда однажды мать привезли домой умирающей – она, воспользовавшись тем, что никого не было, вышла на улицу и попала под трамвай – и через несколько часов скончалась – умирая в сознании, сказала, гладя жесткие курчавые волосы Николая, стоявшего на коленях перед ее кроватью: – Я знаю, мой мальчик (слезы все лились, не останавливаясь, по крепкому лицу Николая), что ты позаботишься о Володе, ты не сердись, что я тебя хулиганом называла, я знала всегда, что ты самый лучший, Бог мне дал хорошего сына. – Николай только кивал головой и плакал и все просил: – Мама, не уходи, мама, не уходи, – и сильное тело его дрожало мелкой дрожью – пока, наконец, мать не умерла, и Николай всю ночь, не двигаясь, просидел у холодного и искалеченного трупа.

После ее смерти, приведя в порядок дела, Николай продал небольшой дом, в котором они жили и который им принадлежал, – опекун его, благодушный нотариус с висячими седыми усами, ни во что не вмешивался, – и на эти деньги братья продолжали жить так же, как жили раньше, и Володя по-прежнему ходил в гимназию. Николай давал уроки, потом налег на изучение иностранных языков и обнаружил необыкновенные к ним способности. Когда волна гражданской войны докатилась до их города, Николай, не имевший права, по его словам, рисковать своей жизнью, поступил в штаб британской миссии. В начале тысяча девятьсот двадцатого года он уехал за гра-

ницу, поселился вместе с братом в Константинополе, и тут с ним случилась неожиданная вещь, когда он единственный раз в жизни забыл о своих обязательствах по отношению к Володе, которому было тогда уже шестнадцать лет. Он встретил англичанку, девушку двадцати лет, в первый же вечер в нее влюбился и сразу сделал ей предложение, которое так ее поразило, что она даже не ответила категорическим отказом. Она жила в Буюк-Дарэ. Николай уехал туда и три дня не возвращался домой и в течение всех этих трех дней, за обедом, за завтраком, вечером, во время прогулки уговаривал Вирджинию – ее звали Вирджиния – в том, что не выходить замуж было бы величайшей бессмысленностью с ее стороны; что он готов для нее на все, что угодно, но если счастье само пришло к нему, то он просто не имеет морального права его выпустить; одним словом, она должна выйти за него замуж. – Но я здесь одна, необходимо, чтобы мои родители знали хотя бы... – Мы протелеграфируем, – сказал Николай. – Боже мой, такие вещи не делаются по телеграфу, – почти с отчаянием ответила она. Но Николай уже шел к почтовой конторе, поднимаясь наверх по горе со своей всегдашней быстротой, она не поспевала за ним; тогда он легко поднял ее, посадил на плечо – она отбивалась и кричала, что он сошел с ума, – и добежал до почты; оттуда они вдвоем отправили длинную, очень дорогую и очень бестолковую телеграмму в Лондон. На следующий день Николай вернулся в Константинополь, явился домой и застал Володю за чтением романов Уэллса. – Ну, слава Богу, – насмешливо сказал ему Володя, – а я думал, что ты заблудился в городе. – Нет, а вот Вирджиния, – сказал Николай по-русски, беря за руку Вирджинию. Володя поднялся, поздоровался и стал говорить, что он очень счастлив. – Ты совсем заврался, – сказал Николай, – счастлив это я, а не ты.

Вирджиния должна была ехать в Англию, Николай поехал вместе с ней, оставив брата в Константинополе и сказав ему, чтобы он ни о чем не беспокоился... С тех пор он аккуратно, каждые две недели, присылал Володе письмо и каждый месяц – деньги. Из писем Володя знал, что Нико-

лай занялся продажей автомобилей – место, которое ему устроил отец Вирджинии, и года через три он переехал в Париж с женой. Прошло пять лет, Володя за это время кончил французский лицей в Константинополе, побывал в Праге, Берлине, Вене, затем снова вернулся в Турцию, где прожил полгода, и, наконец, собрался в Париж к брату и предполагал здесь уже обосноваться надолго.

Николай между тем уже бежал вверх по лестнице, крича брату: – Направо не сворачивай, Вирджиния еще не одета! – потом провел его в столовую, показал, где находится ванная, и сказал, что ровно в десять они пьют чай.

Володя принял ванну, побрился, надел новый костюм, причесался и вышел в столовую, когда Николай и его жена уже сидели за столом. – Какой франт! – сказал Николай. Насмешливые глаза Вирджинии осмотрели Володю с ног до головы. – Очень хорошо, – сказала она, – а галстук вы тоже покупали в Стамбуле? – Oui, madame[1], – полупочтительно, полунасмешливо ответил Володя. – А почему вы это спрашиваете? – Не знаю, в нем есть что-то восточное, – и Вирджиния и Николай, не сговариваясь, расхохотались. – Я вижу, – язвительно сказал Володя, – что вас рассмешить очень нетрудно. Николай просто захлебывался от смеха, Вирджиния смеялась несколько тише, но так же весело и искренно; и по одному этому смеху было видно, что оба очень здоровы, молоды и счастливы. – Ты не обижайся, Володя, – сказал Николай, – она у меня немного насмешливая, но очень хорошая. Но постой, – перебил он себя, прислушиваясь, – кажется, едет барышня. Володя только тогда вспомнил, что Николай ему писал о своей дочери, которой был год. Действительно, через секунду горничная ввезла в комнату коляску, в которой лежала пухлая девочка с синими, удивленными глазами.

После чая, когда Вирджиния ушла, братья остались сидеть за столом.

– Итак, Володя? – сказал Николай.

– Итак, посмотрим, что в Париже.

– Я подумал об этом. Ты не забыл немецкий?

[1] – Да, мадам (*фр.*).

– Нет, помню.

– Английский?

– Хуже, но знаю.

– Хорошо, о французском говорить не приходится.

– Знаешь, Коля, – сказал Володя, вытягиваясь на стуле, – знаешь, у меня иногда впечатление, что я не русский, а так, черт знает что. Страшно сказать, ведь я даже по-турецки говорю, – а потом вся эта смесь – французский, английский, немецкий, – и вот когда от всего этого тошно становится, я всегда вспоминаю русские нецензурные слова, которым мы научились в гимназии и которыми разговаривали с женщинами Банного переулка. Это, брат, и есть самое национальное – никакой француз не способен понять.

– Да, язык у нас хороший, грех жаловаться, – сказал Николай, улыбаясь. – Но я все о деле. Какие у тебя проекты?

– Черт его знает. Буду искать какую-нибудь работу.

– Ну, вот, ну, вот, – хмурясь, сказал Николай, – ты всегда был идиотом. А между тем у меня для тебя есть место. – Николай придвинулся к столу. – Я веду переписку на разных языках. Пришлось снять бюро и так далее. У меня этим заведует человек полезный и старательный, но из-за каждого пустяка он звонит мне по телефону, а у Вирджинии голова болит. Я против него ничего не имею, – оживленно говорил Николай, точно Володя с ним спорил, – пусть работает. Но тебя я поставлю в качестве ответственного руководителя. Поработаешь неделю, поймешь, дело нехитрое. О жалованье мы с тобой условимся: авось не подеремся.

– Ça dépend[1].

– Ну, хорошо. Сейчас я уезжаю; Вирджиния отвезет тебя в бюро, потом заедет за тобой в пять часов. А вечером мы с тобой зальемся. Ну, хорошо, бегу.

И через секунду Николая уже не было в комнате, а через пять минут хлопнула входная дверь. Володя все сидел, не двигаясь, на стуле. Вошла Вирджиния – в маленькой кремовой шляпе, в юбке кремового цвета, в

[1] – Кто знает (*фр.*).

синем, почти мужском пиджаке. – Ну, молодой человек, – сказала она, – едем. Николай просил вас отвезти в бюро. Я в вашем распоряжении.

Они спустились вниз, Вирджиния села за руль автомобиля, небольшого «buick», и сразу, мягко и быстро, поехала вниз по улице, нажимая на акселератор и чуть-чуть не задевая встречные машины. Через минуту автомобиль мчался почти полным ходом, на каждом углу чудом, как казалось Володе, избегая столкновения, прохожие оборачивались, полицейские неодобрительно смотрели вслед. Все так же, почти не уменьшая хода, Вирджиния выехала на площадь Этуаль. Длинное и широкое avenue Елисейских полей поплыло, как во сне, навстречу автомобилю – и тогда наконец Володя сказал:

– Я теперь понимаю, Вирджиния, почему вы вышли замуж за моего брата.

– А?

– Да. Вы такая же сумасшедшая, как он.

Вирджиния улыбнулась и сразу замедлила ход. Потом ее лицо стало серьезным, и она, точно в раздумье, проговорила:

– Я вас почти не знаю, я вас помню мальчиком в Стамбуле. Но я думаю, что вы не стоите вашего брата. Я его люблю, – прибавила она просто, точно объясняя этой фразой все решительно.

– Я тоже, – тихо сказал Володя, – я очень люблю Николая.

– Я не знаю, как вам объяснить, – продолжала Вирджиния. – Он мужчина, понимаете? Вот если будет кораблекрушение, он пропустит всех женщин и детей и потом утонет. И у него очень сильная воля. Я ведь не сразу его полюбила, он заставил меня выйти за него замуж. Но потом я его узнала. И теперь, – Вирджиния на секунду остановилась, – если бы он умер, я бы тоже умерла.

Володе было немного странно слушать признания Вирджинии. В его представлении Николай никак не вязался со всем, что говорила Вирджиния, не потому, что это было неверно, а потому, что Володя думал о нем совсем

по-иному: это был все тот же, почти не изменившийся Колька-хулиган, драчун и любимец матери. Володя вспомнил почему-то, как мать однажды делала строгий выговор Коле – ему было лет двенадцать, а Володе шесть – и сказала, что ей стыдно иметь такого сына, – и поставила его в угол. Он постоял минут десять, потом вдруг подбежал к матери и уткнул голову в ее колени. – Что тебе? – Мама, – сказал Николай, – я понимаю, что тебе стыдно. Но скажи мне правду: ты меня все-таки любишь? – Глупый мальчик, – сказала мать, – да, ты очень скверный, я знаю, но ведь у тебя нет другой мамы – кто же тебя будет любить? Ступай. – И Николай убежал.

Бюро было большое, прохладное, с кожаными креслами; на стенах висели плакаты вертикальных и горизонтальных разрезов всевозможных автомобилей, фотографии сложных машин с гигантскими рубчатыми колесами; за столиком сидела дактилографистка с красивым, но деревянно-неподвижным лицом и черным accroche-coeur'ом[1] на лбу, необыкновенно почему-то неуместным. Вирджиния даже не поднялась в контору, – которая находилась на втором этаже, – и сказала, что вернется к пяти часам. Володю встретил этот самый старательный француз, о котором говорил Николай, человек среднего роста, совершенно безличный; и даже голос у него был такой, что Вирджиния о нем сказала:

– Всякий раз, когда мне в телефон отвечает автомат: votre correspondant a changé de numero, veuillez consulter le nouvel annuaire[2], – мне кажется, что я узнаю его голос, и мне хочется сказать: bonjour, M. Dumat, comment allez vous?[3]

Он был убежден в необычайной важности своей работы и в ее чрезвычайной сложности. Почтительно и любезно улыбаясь, он долго излагал Володе самые простые вещи и о каждой из них говорил с увлечением и осо-

---

[1] замысловатым завитком (*фр.*).

[2] ваш корреспондент изменил свой номер, пожалуйста, поищите его в новом ежегодном справочнике (*фр.*).

[3] здравствуйте, мсье Дюма, как поживаете? (*фр.*)

бенно торжественным языком, точно все это происходило в академии, а не в конторе.

– Видите ли, monsieur, эти досье распределены по номерам. Что такое классификация? – Володя посмотрел на него с любопытством. – Классификация, – продолжал monsieur Dumat; veuillez consulter le nouvel annuaire – вдруг послышалось Володе, – классификация, в сущности, это такая система распределения досье, при которой вы сразу находите имя клиента, как только в нем появилась необходимость. Заметьте, monsieur: как только появилась необходимость. – Володя через полчаса убедился, что все было чрезвычайно несложно. Он, однако, не сказал этого M. Dumat.

В час дня он спустился вниз и пообедал в соседнем ресторане. В пять – с неженской точностью – наверх поднялась Вирджиния. – Бедный мальчик устал? – с насмешливым участием спросила она. Володя ограничился вздохом, и они поехали домой. Николая еще не было, Володя прилег на диван в своей комнате и сразу так крепко заснул, что проснулся только в восемь часов от того, что его за плечо тряс Николай, зовущий его обедать. – Сначала обедать, потом кататься, потом на Монмартр, – сказал Николай. – Реплик не нужно. – Я уже Вирджинии сказал, что вы оба сумасшедшие. – Да, да, – согласился Николай, – не будем спорить. На обед, между прочим, фаршированная утка.

После обеда Володя спустился по лестнице последним. Вирджиния и Николай шли впереди. Вечер был очень теплый, автомобиль тускло сверкал у подъезда. – А кто теперь будет править? – спросил Володя. – Николай не позволяет мне сидеть за рулем, когда он ездит со мной, – ответила Вирджиния. – Я его понимаю, я бы тоже не позволил. – Вы любите неторопливую езду, vous serez bien servi[1], – сказала Вирджиния. Николай бережно усадил ее, раскрыл дверцу перед Володей: – Желаете-с прокатиться, Владимир Николаевич? – сел наконец сам, и автомобиль медленно и плавно двинулся по блестящему

[1] вы останетесь довольны (*фр.*).

асфальту. Володя откинулся назад, Николай обернулся, потом посмотрел смеющимися глазами на Вирджинию, и автомобиль вдруг понесся с чудовищной, как показалось Володе, скоростью: как ни быстро ездила Вирджиния, Николай ездил еще в два раза быстрее. – Ты с ума сошел? – закричал по-русски Володя. Улыбающееся лицо Вирджинии обернулось и тотчас же исчезло, сместившись вправо, и на его месте возникло мгновенно выросшее и пропавшее дерево – Николай въехал в лес. Не замедляя хода, он пролетел по широкой аллее, свернул в глубь леса, поднялся на гору и под сплошным, влажно-прохладным и темным сводом деревьев, освещая путь ослепительными световыми ручьями фонарей, он ехал все дальше и дальше, и прошло всего несколько минут, когда он сказал Володе: – Въезжаем в Версаль, тот самый, с карпами времен Людовика Четырнадцатого.

В этот вечер, проезжая через Елисейские поля и Большие бульвары, поднимаясь по узким и кривым, пахнущим кошками улицам верхнего Монмартра до кабаре «Lapin agile»[1], Володя видел Париж таким, каким потом никогда уже не мог увидеть. Эти все время движущиеся в неведомых направлениях огни, бесконечно смещающиеся световые сферы фонарей и это ни на секунду не прекращающееся движение, точно ритм сказочного, огромного и сверкающего мира, возникшего в чьем-то блистательном воображении и чудесно расцветающего сейчас здесь, перед его глазами, под вырывающимися яркими музыкальными флагами из открытых, зеркально громадных витрин кафе, уносимыми тотчас же легким парижским ветром, – и неповторимо тающий, как ежеминутно являющееся воспоминание, воздух. Много раз потом, проходя или проезжая мимо этих мест, по этим же бульварам, в такие же вечера ранней осени, Володя тщетно пытался воскресить и воссоздать это впечатление, но оно было невозвратимо, как прошедший и исчезнувший год. В «Lapin agile» некрасивая, но чем-то чрезвычайно привлекательная женщина пела Беранже:

[1] «Проворный кролик» (*фр.*).

Oh, que je regrette
Le bras dodu
La jambe bien faite,
Et le temps perdu...[1] –

и песенку – «Un peu de tes yeux»[2], потом был поздний, рассветный Монпарнас и мутные Halles[3] – и домой Володя ехал, почти засыпая.

На следующий день было воскресенье, контора Николая была закрыта, и сразу после завтрака Володя ушел к себе: – Надо кое о чем подумать. – Иди, фантазируй. – Иду.

И опять – диван, папироса, далекая и слегка головокружительная мечта о незнакомой женщине, – даже не мечта, а чувство, даже не чувство, а предчувствие, – говорил себе Володя, – и опять все, что было, исчезает, уходит, ушло, а есть только медленный дым от папиросы и смутные звуки в страшной и сверкающей дали. – Не может быть, чтобы этого не было, я этого еще не знал. – Сколько он ни вспоминал, ни в чем и никогда он не находил оправдавшихся ожиданий, он не знал ни одной «незнакомой женщины», все всегда было так похоже, и даже кровати скрипели одинаково. Легкий, грустный и равномерный скрип вдруг явственно вспомнился ему, и те же запахи и тот же мутный, соленоватый вкус на распухших и всегда чужих губах. – Так жил мой отец, – думал Володя, – но он, наверное, знал что-то другое, и не козырный же туз был этим другим. Нет, это все-таки, наверное, есть. Найдешь, потеряешь все, потом ищешь хотя бы обманчивого воспоминания; и не находишь много времени, как я, и все ждешь, как влюбленный на свидании: давно уже прошел назначенный час, давно наступила ночь, и ее все нет, и она уже больше не придет, а ты стоишь на том же месте: идет дождь, и рядом с тобой мокнет дерево и памятник со статуей; ночь все дальше и глубже – и вот в тишине идешь один домой.

---

[1] Уж пожить умела я!
Где ты, юность знойная?
Ручка моя белая!
Ножка моя стройная!
(*Пер. В.С. Курочкина*)

[2] Взглянуть бы в твои глаза (*фр.*).

[3] *Здесь*: Центральный рынок (*фр.*).

Все глубже и глубже. Что это мне напоминает? Все глубже и тише – где я уже это видел? Ах, да – в бочке.

И Володя вспомнил большую, всю черную и зеленую внутри бочку, стоявшую в глубине двора, под водосточной трубой. После долгих дней сухого зноя вода в бочке начинала чуть-чуть пахнуть сырым и знакомым запахом болота, темная ее глубина потихоньку оживала, далеко внизу – как казалось тогда Володе, которому было восемь лет – в ней появлялись красные, очень живые и такие тихие червячки, которые никак не удавалось поймать ни сачком для бабочек, ни удочкой. В черную воду бочки Володя опускал короткую, сухую палочку; и сколько он ни держал ее под водой, она все всплывала наверх, как пробка. Но после того, как она оставалась в бочке несколько дней и дерево набухало, пущенная с силой вертикально ко дну, она всплывала все медленней и медленней, и наступал, наконец, день, когда она оставалась внизу и не всплывала вовсе. Какое громадное, красное солнце заходило в те годы по вечерам над черной деревянной колокольней, мимо высокой каланчи, на которой дежурил двоюродный брат кухарки Рогачевых, как бессменный часовой на роковом посту, мимо сырых и темных домов окраин и соснового леса, начинающегося тотчас за городом, мимо зеленого, так буйно заросшего кладбища, на котором Володя с товарищами хоронил белую мамину кошку, упавшую с крыши шестого этажа и разбившуюся насмерть; и вот вечером, чтобы никто не видел, ее положили в украденный ящик от шампанского и мальчики понесли ее на кладбище – и забыли лопату, и Володя побежал с полдороги домой, за лопатой; и, вернувшись, долго копал сухую землю, заросшую тугой и цепкой травой. Потом они опустили кошку в могилу, Володя даже заплакал, вспомнив, как однажды ударил кошку ногой – она жалобно замяукала. – Я ее ударил, а вот теперь она мертвая. – Затем молча пошли домой, – летний вечер, тишина и едва ощутимая, так легко оседающая в воздухе прохлада. Темные тени стелются по саду, высоко в воздухе и покачиваются, и не покачиваются верхушки деревьев; крикнет какая-то птица, и снова все стихнет – и только изредка послышатся

по мостовой заснувшей улицы шаркающие шаги нищего Никифора, страшного и оборванного старика, ходившего босым летом и зиму и только жутко мычавшего в ответ на вопросы. Давным-давно, когда еще город был совсем небольшой и тихий, Никифор был молод, и буен, и свиреп; и вот, после бессонной и пьяной ночи, проведенной у Марьи-солдатки, вернувшись домой – осенним и ветреным утром, последние желтые листья устилали холодную и длинную улицу, – он с пьяных глаз пырнул ножом старшего брата; его тотчас же арестовали, и тогда началось – сначала острог и колодки, потом суд с непонятными для Никифора словами, потом приговор – двенадцать лет каторжных работ. Потом побег в лютый сибирский мороз, погоня, опять каторга, потом Никифор смирился, отбыл пятнадцать лет каторги и двадцать лет поселения; и, пропив то немногое, что купил и заработал, оборванным пришел в родной город, которого не узнал. И с тех пор стал нищенствовать – то на паперти черной, насквозь пропитавшейся ладаном и воском церкви, то на мосту через медленную и широкую реку, то просто на улицах. У Никифора были маленькие черные глаза под лохматыми седыми бровями, темные от грязи руки и серо-белые волосы; и Володя видел однажды, как ранней зимой Никифор остановился у края тротуара, под которым холодно синел замерзший ручей, надавил пяткой босой ноги тонкий лед и, став на колени, начал жадно и долго пить воду из образовавшейся дырки. И другой раз – это было тогда, когда Володя смертельно испугался Никифора и едва не заболел от испуга, – компания веселящихся людей, проходившая по улице и к которой Никифор протянул руку, увела его с собой, в отдаленный зал шумного ресторана, где был устроен бал с переодеванием, напоила его допьяна и выпустила на улицу, надев на него черную, бархатную маску, – и Никифор заснул на первой же скамье, с открытым ртом и туго завязанной маской на серо-красном обветренном лице, и Володя увидел его.

– Как давно это было! – думал Володя. – Теперь я за тысячи верст от родного города, в Париже, rue Boissière, – ведь Никифор, наверное, никогда бы не мог даже произ-

нести эти звуки – rue Boissière, rue Boissière, – повторял он про себя, прислушиваясь, точно кто-то другой это говорил, чей-то чужой и незнакомый голос.

– Да, но вернемся к прежнему, – продолжал думать Володя. – Мамина кошка, конечно, Мурочка, ведь все же кошки Мурочки, это русская простодушная нежность; от слов мурлыкать – потом кладбище, наш сад, вечер, каланча, Никифор, и началось это откуда? – Да, из бочки. Глубже и тише – и запах сырости и болота, – вот откуда идет все. Но это не то. Что же я должен был понять? На пароходе все было так ясно и просто. Но пароход пришел и ушел – и может быть, на этом пространстве, от Марселя до Константинополя, и сейчас все ясно и просто, как было три дня тому назад?

– Ты, наверное, окончательно расфантазировался? – сказал Николай, постучав в дверь и войдя со своей всегдашней стремительностью. – А дым какой, прямо точно в кузнице! Едем со мной, посмотрим Париж, тут тебе, брат, не Галата.

– Ты считаешь, что это необходимо? Я хотел еще подумать немного, мне только одну вещь понять осталось – и тогда все хорошо.

– Одну вещь? Самую главную, да?

– Да.

– Все равно не поймешь, – убежденно сказал Николай. Голова Вирджинии, поднявшейся на цыпочках, посмотрела на Володю из-за плеча Николая.

– Почему?

– Потому что неженатые этого не понимают.

– C'est stupide[1], – сказала Вирджиния. Оба брата в один голос спросили:

– Qu'est ce que c'est qui est stupide?[2]

– Le russe. C'est une langue de sauvages[3].

– Вирджиния, стань в угол за дерзость, – сказал Николай.

– Votre ignorance m'écrase, madame[4], – сказал Володя. – Ну, хорошо, едем осматривать Париж.

[1] Глупо (*фр.*)
[2] Что же в этом глупого? (*фр.*)
[3] Русский язык – это язык дикарей (*фр.*).
[4] Ваше невежество меня убивает, мадам (*фр.*).

Но едва они выехали, начался сильный дождь – и они прервали прогулку и просидели до вечера в маленьком кафе на бульваре Saint Germain, где, по словам Николая, бывали все знаменитые люди; но только в этот день никто из них не пришел, и, вернувшись домой, Володя сказал брату:

– Да, совесть у меня чиста: теперь я знаю о Париже ровно столько, сколько знал до того, как ты мне его показал.

* * *

– Вы играете в теннис, Володя?

– Я играю в теннис, Вирджиния.

На теннисную площадку они пошли пешком, было недалеко. Николай, задержавшийся в городе, должен был прийти позже. Володя повертел ракеткой в воздухе – не забыл ли, как играть, – сделал несколько пробных ударов, потом нахмурился и проиграл партию Вирджинии. Играл он чрезвычайно плохо, что дало повод Вирджинии к новым насмешкам. – Я проиграл из вежливости, – пожав плечами, сказал Володя, – не могу же я выиграть у дамы, это было бы не по-джентльменски. – Хорошо, – ответила Вирджиния, – я дам вам возможность выиграть у мужчины. Подождите.

Она ушла и быстро вернулась. Вслед за ней легкой и гибкой походкой, странно не соответствующей высокому росту, очень широким плечам и тяжелой, могучей фигуре, шел какой-то бледный человек. – Артур, – сказала ему Вирджиния, – вот этот молодой человек, о котором я вам говорила. – Артур поклонился: Вирджиния представила их друг другу, Володя расслышал фамилию – Томсон. Разговор происходил по-французски, Томсон говорил с почти незаметным английским акцентом. Едва только партия началась, Володя понял, что выиграть у Артура невозможно. Казалось, что после первой же service'a[1] Володи Артур потерял свой вес, передвигаясь по корту с легкостью, почти невероятной для своего роста и ширины. Он оказывался везде, он занимал, казалось, все простран-

[1] подачи (*фр.*).

ство, каждый мяч Володи неизменно встречал его ракетку и потом возвращался, наперекор всем законам физики, в такое место, где его Володя никак не мог ожидать. И через четверть часа Володя поднял вверх обе руки и заявил, что сдается. Артур, улыбаясь, подошел к нему и, к величайшему удивлению Володи, сказал на чистом русском языке:

– Вам прежде всего не хватает тренировки.

– Вы русский?

– Нет, англичанин.

Громадные электрические лампы освещали красный песок площадки, в открытых высоких окнах проезжали автомобили. Володя посмотрел на своего победителя и еще раз удивился впечатлению необыкновенной физической силы, которое производила вся фигура Томсона. Несколько растерянно улыбаясь, как атлет, которого рассматривают в цирке, Томсон рассеянно смотрел прямо перед собой. Володю, при этом втором, более внимательном осмотре, удивил неожиданный налет печали на лице Артура и грустные его глаза; можно было подумать, что этот Геркулес либо болен какой-нибудь тяжелой болезнью, либо чем-то раз навсегда огорчен.

– Но где же вы научились русскому языку?

– В России, я жил там некоторое время.

– Поразительно! – пробормотал Володя.

Дверь быстро распахнулась: наклонив голову, крепко сжимая ракетку в волосатой руке, вошел Николай. Вирджиния в это время разговаривала с высокой женщиной, которая стояла спиной к Володе, Володя видел только ее смуглую, блестящую кожу с неглубокой и ровной выемкой, начинавшейся между лопатками и спускавшейся вниз. Николай подошел к Вирджинии сзади и немного приподнял ее, – она повернула к нему удивленное и потом сразу улыбнувшееся лицо, – затем пожал руку даме, спина ее шевельнулась, у Володи тревожно дрогнуло тело, – и, подойдя к Артуру, слегка толкнул его кулаком в грудь: Артур отступил на шаг и протянул руку.

– Реванш, Артур, – сказал Николай своим решительным голосом. – Вы думаете, я всегда буду проигрывать? Вирджиния! – закричал он. – Артур играет и проигрывает.

Дама, разговаривавшая с Вирджинией, повернулась, и Володя увидел ее лицо – с длинными, оживленными глазами, полными губами большого рта и несколькими веснушками на носу, которые вдруг придавали милый характер всему ее выражению. Она была очень молода, ей было не более двадцати двух, двадцати трех лет.

– Артур не может проиграть, – сказала Вирджиния, подходя к группе, состоявшей из Артура, Николая и Володи. – Элла, вы незнакомы с братом моего мужа?

Володя пожал ее мягкую руку с длинными пальцами; и, приблизившись, почувствовал легкий, чуть слышный запах пота – и в этом запахе неожиданно ощутил непривычный и незнакомый привкус чего-то горького, как миндаль, и ни на что не похожего.

– J'ai mal entendu votre nom, mademoiselle[1], – сказал он.

– Меня зовут Аглая Николаевна.

– А? – удивленно сказал Володя. – Впрочем, тем лучше, конечно.

Николай решил выиграть во что бы то ни стало. Он был так же неутомим, как Артур, так же быстр в движениях – и, поглядев на бешеный темп игры, Володя понял все свое глубочайшее теннисное ничтожество. Партия шла очень ровно, капли пота сверкали на лбу Николая, под курчавыми волосами; один раз Артур, стремительно отбегая в глубь корта, поскользнулся и упал, но тотчас же повернулся в воздухе, коснулся земли вытянутой рукой и вскочил, как подброшенный пружиной; Артур играл молча, Николай изредка бурчал – дьявол! здорово! черт! Вирджиния, не отрываясь, смотрела на Николая, все время дергая за руку Володю, и точно безмолвно участвовала в матче. Артур увидел ее отчаянное лицо, и Володя заметил, как он улыбнулся. И вдруг Артур потерял свою точность ударов; это продолжалось очень недолго, но в решительную фазу борьбы – и Артур проиграл матч – из-за нескольких ошибок и нескольких минут замедления темпа. Николай

[1] – Я плохо расслышал ваше имя, мадемуазель (*фр.*).

выиграл. – Ты у меня самый лучший, – полунасмешливо-полунежно сказала Вирджиния.

– Кто они такие? – спрашивал Володя брата, возвращаясь домой. Николай шел под руку с Вирджинией, стараясь делать такие же маленькие шаги, как она, и постоянно сбиваясь. – Кто такие? Артур, кажется, музыкальный критик; а вообще милейший человек на свете, англичанин, хорошо знает русский. – Это я заметил. – Ты у нас, Володя, вообще очень умный. – Хорошо, а та барышня? – Что барышня? – Ну, кто она такая? – Она? Она, кажется, учится в университете. – Ну, брат, от тебя толку, я вижу, немного. – Что я, сыскное бюро, что ли? Вот ты меня спроси о Вирджинии, я тебе все расскажу. Я тебе даже расскажу, как она завещание писала. – Это правда, Вирджиния, вы писали завещание? – Вирджиния густо покраснела и засмеялась.

И Николай рассказал Володе, что в последние месяцы беременности Вирджиния начала бояться, что она умрет от родов, – причем боязнь была основана на двух вещах: во-первых, у нее было предчувствие, во-вторых, она видела во сне Звездочку. Звездочка была ее любимая лошадь, на которой она училась ездить верхом, когда ей было лет десять. Звездочка умерла незадолго до отъезда Вирджинии в то роковое, как сказал Николай, путешествие, из которого она вернулась уже дамой. Звездочка приснилась Вирджинии за два месяца до родов; она стояла у их подъезда на rue Boissière и ржала так жалобно, что Вирджиния проснулась в слезах. После этого Вирджиния решила, что она умрет, и составила у нотариуса завещание: она оставляла все свое имущество, в частности то, которое должно было перейти к ней от отца, – мужу и дочери – она была убеждена, что родится девочка, – с тем чтобы девочку воспитывали бы самым лучшим образом и никогда не наказывали. Потом Вирджиния призналась Николаю, что она написала завещание, – ее дочери было тогда уже полгода; и Николай отправился к нотариусу и взял завещание.

– Оно лежит у меня теперь в письменном столе, – сказал Николай. – Ну, и совершенно ясно, что судьба была

против меня. Конечно, Вирджиния бы умерла, девочку я бы отдал в приют или, еще лучше, продал бы цыганам, а сам бы вел развратный образ жизни, предаваясь всяким порокам и постепенно опускаясь. Вот какая у меня была программа. Но Вирджиния все спутала.

И вдруг Николай – они подходили уже к rue Boissière – поднял Вирджинию в воздух, как ребенка, и, приблизив к себе ее лицо, сказал:

– Какая ты глупая, Вирджиния! Я бы не дал тебе умереть, ты понимаешь? Я тебя не отдал бы смерти.

Ложась в постель, Володя думал о Николае и Вирджинии, – какое удивительное счастье, какая удачная судьба. «Колька-хулиган», – нет, недаром его так любила мать. Володя стал засыпать, и все плыло, шумя и переливаясь обрывками музыки, перед ним – Вирджиния, плечи и губы Аглаи Николаевны, косматая рука Николая, громадная фигура Томсона, Звездочка – и еще далекий, тающий, как дым, горьковатый запах, исходивший от тела Аглаи Николаевны и от ее губ и глаз, которые все вытягивались, вытягивались и превратились в узенький ручей на зеленой траве, светлый ручей, который он где-то давно видел. И тогда появилась стая белых птиц, две черточки крыльев в черном бархатном воздухе южной ночи: бесшумный их полет – и все летят одна за другой, одна за другой без конца, как снег, – и вдруг острый и страшный звук прорезает испуганный, вздрогнувший воздух, и опять тихо, и все летят и летят белые птицы. Ночь плывет тяжело и душно, крылья летят, как бесчисленные паруса- и вот поворот неизвестной, горной дороги, и за поворотом далеко видна блестящая даль, как внутренность гигантского стального туннеля. – Опять неизвестно, – сказал чей-то голос рядом с Володей. – Опять сначала, – подумал Володя; птицы стали лететь медленнее, таяли в воздухе, бархатная тишина влажно шевелилась во тьме – как на берегу моря: и Володе послышался тихий шум неторопливого прибоя – в летнюю темную ночь – и запах водорослей; длинные, зеленые, они прибивались к берегу и лениво полоскались в наступающей воде, и, когда волны откаты-

вались назад, легкий ветер доносил до Володи их увядающий запах. Володя втянул в себя воздух, стараясь отчетливее вспомнить их исчезающую, пахучую тень – и внезапно почувствовал – до того сильно, что открыл глаза и приподнялся на локте – то горьковатое, почти миндальное, что, поколебавшись секунду в воздухе Володиной комнаты, вдруг стало плечами и ртом Аглаи Николаевны.

Он встретил ее на улице, через полторы недели, было уже холодно; его почему-то удивило, как она хорошо одета. Он подошел и поздоровался. Проезжали автомобили по почти пустынному, внезапно ставшему особенно осенним avenue Kléber, ветер трепал отстающий плакат на грязно-желтом деревянном заборе, окружавшем начатую постройку.

– Здравствуйте, – сказала она, протягивая руку. Он взял ее пальцы, почувствовав их тепло сквозь перчатку, взглянул на раздвинувшиеся в медленной улыбке губы – и почувствовал, что ему жарко в застегнутом пальто.

– Вы куда? – спросил он; он очень волновался; он предложил проводить ее, узнав, что она идет домой. Был воскресный и пустой день, в котором до сих пор ему было так неприятно просторно и в котором сейчас ему стало свободно и хорошо. – Какой воздух, точно пьешь холодную воду, не правда ли? – Несколько свежо, – сказала она. – Там эта площадь, это, кажется, Трокадеро? – Да. Здесь хорошо в этом районе, правда? – Как поразительно, что ее губы двигаются, – думал Володя. – Да, здесь свободно, широкие улицы, как в России. – Я Россию знаю плохо, – голос ее точно удалился и вновь приблизился. – Я чаще всего жила за границей и довольно много в Париже. Вы ведь не парижанин? – Нет, я здесь недавно, но, наверное, надолго. – Вы свободны по вечерам? – Да, конечно. Как поразительно, что я вас встретил, какая необыкновенная случайность. – Нет, что же удивительного? Мы живем в одном квартале – это как в провинциальном городе. Вы свободны послезавтра?

Они подходили к Трокадеро, направо ровными воздушными рядами уходили облетавшие деревья avenue Henri Martin, темная и высокая, чуть покосившаяся стена тихо и тяжело стояла в светлом воздухе по левой стороне;

железные прозрачные решетки шли вдоль тротуаров, за решетками были сады и дома. – Я в вашем распоряжении. – Приходите ко мне, будет два-три человека. – Хорошо.

Она жила в небольшой квартире, мягкой и необыкновенно удобной, с маленькими столиками, низким диваном, тумбочками, пуфами, тоненькими полочками для книг и круглым стеклянным аквариумом, где неустанно плавала небольшая рыбка рыжевато-серого цвета. Про эту квартиру Володе говорил Николай:

– Поразительно, до чего все неудобно.

– Что именно?

– Да все: пепельницы маленькие, на одну папиросу, столики маленькие – что на таком столе делать? обедать нельзя, писать нельзя, только разве кофе пить. Пуфы маленькие и трещат, как орехи: все неудобно. И аквариум – что это за аквариум? Это стакан какой-то и всего одна рыбка.

– Вот тебе бы аквариум, ты бы, наверное, крокодила туда пустил.

– Почему крокодила? Крокодил не рыба. Рыб надо.

– Да не карпов же, черт возьми?

– Карп прекрасная рыба, – сказал Николай. – И очень питательная; и в стаканчике Аглаи Николаевны ты его не поместишь.

Володя застал там Артура, который ему поклонился, как старому знакомому. Рядом с ним, на одном из тех самых пуфов, которые Николай находил такими неудобными, сидела дама лет тридцати четырех с презрительным и сухим лицом, насмешливыми глазами и особенной ленивостью тела, сразу в ней угадывавшейся, еще до того, как она делала какое-либо движение. Она чем-то не понравилась Володе. В ту минуту, когда он вошел, она возобновила рассказ о том, как она познакомилась с monsieur Simon, ce pauvre M. Simon[1], который вообще очень мил, но ничего не понимает в женщинах. Артур высказал вежливое предположение, что M. Simon, может быть, не встречал до последнего времени женщин исключительных и что поэтому...

[1] месье Симоном, этим бедным месье Симоном (*фр.*).

– Et avec ça?[1] – сказала дама.

Дело заключалось в том, что ce pauvre M. Simon имел счастье пользоваться благосклонностью рассказчицы – ее звали Odette, – но стал предъявлять ей такие неслыханные деспотические требования, что единственное объяснение этому Odette находила только в его исключительной глупости. Позже, когда Володя лучше узнал Odette, он понял, насколько этот разговор был для нее характерен. Вся мужская половина человечества делилась для Odette на две неравные категории: тех, кто стремится к ее благосклонности, и тех, кто к ней не стремится. Вторых она не замечала, они для нее почти не существовали; и всякий раз, когда ей почему-либо приходилось более или менее близко сталкиваться с таким человеком, она находила, что он неинтересен и неумен и как-то особенно неуместен. Она теоретически понимала законность существования и таких людей, но это были совершенно чуждые и бесполезные явления; и в тех случаях, когда она поневоле должна была их замечать, она их презирала – даже не пониманием и не умом, а чем-то другим, что было важнее всего остального и чего эти люди, по-видимому, не знали. При всем этом она была не лишена своеобразной иронической верности в описаниях людей. Итак, ее внимание было привлечено первой, менее многочисленной категорией мужчин, – но и здесь у нее постоянно возникали недоразумения. Многие из них – подобно этому бедному M. Simon – не были способны понять ее исключительность и ревновали друг к другу, что приводило Odette в бешенство и изумление.

– Cet imbécile de Simon,[2] – рассказывала она, – заявляет, что я должна прекратить знакомство с Дюкро. Non! mais il y a des limites...[3] Дюкро мой старый друг и оттого, что он не нравится Симону и Альберту, – по мере ее рассказа мужские имена появлялись и исчезали, сменяясь одно другим, и потом опять возникая, как тонущий человек, судорожно выскакивающий из воды много раз, – я

[1] – Ну и что? (*фр.*).

[2] – Этот болван Симон (*фр.*).

[3] – Нет, ну есть же какие-то пределы... (*фр.*)

должна с ним расстаться? Что же он сделал мне плохого, je vous le demande un peu?[1] – Ничего, ce sont tout simplement des principes, qui doivent...[2]

– Des principes? – с ужасом в голосе говорила Odette. – Des principes? Non, mais vous êtes fou! Que voulez-vous que cela me fasse, des principes?[3] Она, однако, твердо знала несколько вещей, которые заменяли ей принципы, она усвоила их еще в пятнадцатилетнем возрасте и с тех пор им никогда не изменяла. В минуты «безрассудной откровенности» – как она сама потом говорила – она рассказывала очередному M. Simon свою жизнь – и все было так свежо и поэтично; детство и годы учения в закрытом заведении недалеко от Парижа, где был такой громадный сад, потом путешествие в Испанию – oh, Barcelone, oh, Madrid – бой быков, тореадоры с необыкновенным sex-appeal[4] и M. Simon оставалось только удивляться, как до сих пор ему не приходило в голову задуматься над этой чертой тореадоров, которая, по мнению Odette, была, в сущности, самой для них характерной; опасности же, которым подвергались эти люди, носили добавочный характер, «иллюстративный», как она говорила. После Испании была Англия, после Англии Америка и так все вплоть до того дня, когда Odette впервые вышла замуж за человека, который не сумел ни понять ее прелестной непосредственности, ни оценить независимости ее взглядов от вздорных моральных принципов. – Это был мой первый, муж, – говорила Odette. – До мужа у меня был только один роман с Дюкро. О, это было ужасно. Это было действительно нехорошо: шестнадцатилетней Odette впервые делали операцию, чтобы избежать последствий ее романа с Дюкро – и Odette, семнадцать лет спустя, отчетливо помнила летний день, желтоватые, матовые стекла клиники, длинное и невыразимо тоскливое ожидание операции, невыносимый и неиспаряющийся запах хлороформа – и потом

[1] скажите, пожалуйста (*фр.*).

[2] это попросту принципы, которые должны... (*фр.*)

[3] Принципы? Принципы? Нет, вы с ума сошли! На что мне эти принципы, по-вашему? (*фр.*)

[4] сексуальным обаянием (*англ.*).

тяжелое пробуждение с отчаянным сознанием того, что она задыхается от этого запаха, и долгой режущей болью ниже поясницы. Потом был второй муж, затем опять первый, потом снова Дюкро, потом создалось такое глупое положение, – но об этом Odette рассказывала чрезвычайно редко, – когда оба ее мужа и ее новый поклонник Альберт оказались в одно и то же время – один в Фонтенебло, другой в St. Cloud, третий в Париже, на rue la Boëtie, и жизнь тогдашнего периода представлялась Odette как бесконечное путешествие то туда, то сюда, то в автомобиле Альберта, отвозившего ее в St. Cloud, где, как она говорила, жила одна из ее подруг, то из St. Cloud на такси до Лионского вокзала и оттуда в Фонтенебло; и все было так разно устроено: у Альберта в ванной было то, чего не было у первого мужа, а привычки второго мужа были не такие, как у первого; один любил, чтобы Odette говорила ему именно те вещи, которые он сумел оценить, другому были нужны совсем иные чувства; один допускал одно, другой другое, а Альберт вообще терял голову и не знал, что делать, – и запомнить все это было так трудно, что Odette искренно считала эту эпоху своей жизни, – продолжавшуюся два месяца, – одной из самых тяжелых. «Pauvres petits! – говорила она, имея в виду обоих мужей и Альберта. – Pauvres petits, ils ont tous besoin de moi, allez![1] – Так потом Odette и жила все время, то там, то здесь – и иногда даже у себя дома, – переезжая из одного квартала в другой, проводя целые дни в поездах и только, как в гигантском мебельном магазине, все менялись, бесконечные в своем разнообразии, диваны – то бархатные, то кожаные, то с книжными полками, то без книг, то бесшумные, то с насмешливо пощелкивающими пружинами – и разные звуки часов: почти неслышный ход маятника и равномерное мелькание золотого его диска, которое Odette видела полузакрытыми глазами, лежа на спине, закинув руки за голову и глубоко вздрагивая всем телом, то стрекочущий, как кузнечик, звук стоячего хронометра на низеньком столике, то, наконец, тихое, но мелодичное тиканье маленьких часов-

[1] Бедняжечки... Бедняжечки, они так во мне нуждались, понимаете! (*фр.*)

браслета на напряженной волосатой руке, тянувшейся от середины ее тела к подушке и поддерживающей ее тяжело падающую голову с черными курчавыми волосами.

Теперь она рассказывала о M. Simon, подражая его интонациям, – по-видимому, очень похоже, – и изображая в лицах весь разговор с необыкновенной живостью. Она бегло и точно вопросительно посмотрела на Володю, потом перевела глаза на Аглаю Николаевну, чуть заметно пожала плечами и, сказав еще несколько слов, стала прощаться, так как, по ее словам, торопилась на поезд – может быть, в St. Cloud, может быть, в Фонтенебло, но вообще на поезд и вообще на диван. После ее ухода все несколько минут молчали.

– Вы напрасно ее не любите, Артур, – сказала Аглая Николаевна таким голосом, точно об этом давно уже шла речь.

Артур сразу ответил:

– Не знаю, просто не люблю. Она все сводит к очень элементарным вещам, это неправильно, мне кажется.

– Это хорошо, Артур, ей можно позавидовать.

– Да, но я бы отказался от этой завидной способности.

– А вы как думаете? – спросила Аглая Николаевна, взглянув на Володю.

Володя совсем не думал об этом, Володя вообще ни о чем не думал, видел только легкий туман и в тумане только Аглаю Николаевну и слышал только ее голос, почти не различая слов и лишь бессознательно следя за волшебными, как ему казалось, изменениями ее интонаций.

– Я? – сказал он. – Я скорее согласен с мистером Томсоном. Мне кажется, что есть люди, существующие только наполовину, частично, понимаете? Они чего-то лишены, поэтому они кажутся странными, – я думаю, что Odette такая же. Конечно, возможно, что некоторые вещи относительны, как, например, принципы, о которых она говорила, а ведь это не принципы, это чувства. Если их нет – хорошо, конечно; но как-то беднее, по-моему.

Опять стало тихо; и вдруг раздался звон часов. Било одиннадцать; и первый звук еще не успевал умолкнуть,

его тяжко и звонко перебивал второй, и дальше они звучали уже вместе; первый, слабея, провожал второй и исчезал, и в эту секунду раздавался третий, и опять шло два отчетливо отдельных замирания, в них вступало четвертое, и так все время, покуда били часы, все слышались два звука, возникшие в тишине, еще полной точно безмолвного воспоминания о только что звучавших ударах, и потом раздался одиннадцатый, чуть надтреснутый, чуть менее сильный, последний удар. Володе не хотелось бы, чтобы в эту минуту в комнате раздался бы какой бы то ни было звук; только голос Аглаи Николаевны мог бы еще нарушить эту еще упругую, еще мелодичную тишину. И голос Аглаи Николаевны – у Володи забилось сердце от сбывшегося ожидания – сказал:

– Артур, вы очень давно у меня не играли.

Артур, не отвечая, подошел к пианино, сел на бережно придвинутый стул и начал играть. Володю поразила вначале печальная неуверенность его музыки; было удивительно видеть, что из-под пальцев его сильных рук выходили такие неуверенные звуки. Если бы Володя не видел Артура, он подумал бы, что играет маленькая девочка со слабыми пальцами – и все же это было не лишено некоторой минорной прелести. Аглая Николаевна села на диван и показала Володе место рядом с собой, – он просто лег, подперев голову рукой и глядя на черное платье Аглаи Николаевны, из-за которого беспорядочно и случайно были видны стены, часы, двери и широкая фигура Томсона, сидевшего, как громадная, доисторическая птица, над белой полосой клавиатуры, пересеченной черными линиями.

Володя прислушался к музыке и понял, почему в первую минуту она показалась ему странной. Артур начал со старинной серенады, которую Володя знал наизусть, но название которой вдруг забыл. Знакомый ее мотив прозвучал и повторился, и потом вслед за ним, хрупко и звонко, точно ломающееся стеклянное облако, прозвучала иная мелодия, сквозь которую изредка проступал мотив все той же серенады; и за этими двойными звуками росла и изменялась еще одна, третья мелодия, почти невнятная и не

похожая ни на какую другую музыку. Как три жизни, – подумал Володя. Перед его глазами были плечи и затылок Аглаи Николаевны – может быть, это – самое главное? Артур все играл, музыка все точно силилась сказать нечто невыразимое и чудесное, и в ту секунду, когда ее звуки уже были готовы, казалось, прозрачно воплотиться в то, чего нельзя ни забыть, ни увидеть, вдруг все становилось глуше и тише, точно над этой плещущей страной опускалась едва не опоздавшая ночь, и опять издалека начиналось то музыкальное путешествие, ощупью, по невнятным и смутным звукам, за живыми и колеблющимися стенами этих двух предварительных мелодий; и тогда первая из них звучала гулко и твердо, как музыкальное изображение средневекового, заснувшего города – со стенами, бойницами, чугунными жерлами тяжелых пушек и белой и хрупкой луной, возникающей над этим видением.

Артур и Володя вышли вместе, ночь была очень свежая и холодная.

– Я пришел пешком сегодня, – сказал Артур, – мой автомобиль чинится.

– Я тоже пешком, но по другим причинам: во-первых, недалеко, во-вторых, я не умею править автомобилем.

Звезды были очень светлые и далекие; мотив серенады еще звучал в ушах Володи. Артур медленно шел, глубоко засунув руки в карманы пальто.

– Вам не приходилось думать, – сказал Володя, – что если внимательно следить за всеми, решительно всеми впечатлениями одного только вечера, то это будет чуть ли не изображением целой человеческой жизни? Я хочу сказать: так же много.

– Потому, что этому предшествует все, что вы знали, и за этим следует все, на что вы надеетесь?

– Возможно; не знаю. Очень часто кажется, что вот-вот поймаешь самое главное – и все никак не удается. Вам не кажется?

– Это несколько туманно, – сказал Артур. В пустынном воздухе был слышен легкий скрип его ботинок – шагал он беззвучно. «Резиновая подошва», – подумал Володя.

– Нет, – сказал опять Володя, – мы не знаем, что самое главное.

– Иногда одно, иногда другое, в зависимости от силы желания, я думаю, и обстоятельств.

– Да, но это только предположение, а здесь необходима уверенность.

Они шли по набережной Сены, холодная, черная вода медленно струилась внизу, заплывая светлеющими и меркнущими струями у быков низкого моста.

– Я хочу сказать – безошибочность: ведь бывает так, что нельзя ошибиться, и вот это-то и есть одновременно самое прекрасное, самое нежное, самое гордое и чистое, что только может быть.

– Самая лучшая иллюзия? – Какая-то маленькая птица на облетевшей высокой ветке чирикала монотонно и непрерывно. – Нет, не иллюзия. Недаром ваш брат называет вас фантазером: ведь это не так.

– Но это должно быть так.

Артур засмеялся, поднял с земли камень и бросил его сильным взмахом вниз, так что он запрыгал по воде – три, четыре, пять, шесть, семь – считал Володя.

– Мой рекорд одиннадцать. А ваш?

– Я никогда не считаю, – ответил Артур.

Они расстались на avenue Kléber.

– Спокойной ночи, – сказал своим низким голосом Артур.

– Спокойной ночи.

Володя заснул, едва успев раздеться и закрыть глаза, утром его разбудил Николай – и ему во сне было обидно, что его будят, казалось, он только что лег и не могло быть, чтобы уже прошла целая длинная ночь.

Артур поднялся по широкому, легко вздрагивающему лифту, открыл ключом коричневую, блестящую дверь и, войдя, потянул в себя воздух. В темной квартире, высоко, почти под потолком, плыл холодноватый, чуть аптекарский запах; это значило, что Marie, горничная Артура, мыла пол в ванной и не открыла окна. Артур снял пальто и шляпу и прошел в комнату со стеклянной

дверью, за которой раздался спотыкающийся топот неуверенных лап.

– Ну, маленький дурак, – сказал Артур, открывая дверь. Послышался короткий, тоненький лай. Толстый, белый щенок, сердито глядя на Артура, лаял, угрожающе подпрыгивая на месте. Артур нагнулся – протянул руки, и тогда щенок радостно завизжал, завилял хвостом и через секунду успел лизнуть языком подбородок Артура.

– Боже, какой ты глупый, – сказал Артур, – это просто невероятно. – Он пошел на кухню, достал из garde-manger[1] бутылку сливок, налил полное блюдечко и спустил щенка на пол: тот принялся жадно хлебать, вылакал все блюдечко, белый живот его раздулся, и походка стала еще менее уверенной. Артур отнес его опять в столовую, положил на маленький матрац и ушел; щенок заснул, свернувшись, как еж.

Как только Артур вошел в свой кабинет и опустился в невысокое кожаное кресло у окна и с книжных полок на него, как каждый день, тускло блеснули корешки книг с тиснеными буквами, толстые тома Шекспира, Шиллера, Сервантеса, знакомое чувство пустоты, которая особенно сильно чувствовалась именно здесь, опять охватило его. И опять вернулось все то же, постоянное видение: осенний день, пустой, ветреный и солнечный, и перрон вокзала, где нет ни одного человека и от которого давно уже отошел последний поезд; и остался только ветер, и гул в темных телеграфных столбах, и легкая пыль над галькой железнодорожного полотна. Артур не мог понять, почему именно эта картина так неотступно преследовала его – так как в тот, самый печальный день своей жизни, когда он уезжал из Вены, был жаркий воздух поздней, отцветающей и тяжелой уже весны, и множество народу на вокзале, и целая стая белых платков, плещущих, как маленькие флаги на далеко идущем судне. Но не было ни прохлады, ни гула, ни пустоты, а только толстые стекла вагонного окна, и белые рельсы, и игрушечно зеленые, как в детских книгах, сельские пейзажи Европы. И Артур все

[1] буфета (*фр.*).

не мог этого забыть. Методически и упорно, внушив себе мысль, что надо жить по-иному, он думал о том, как и что следует знать, чтобы объяснить и, однажды их поняв, раз навсегда уничтожить все те напрасные чувства, которые не давали ему покоя в течение долгого времени. Он стал учиться и читать, он распределил таким образом свои дни, что у него не должно было остаться времени ни для сожаления, ни для воспоминаний, – и вот, вдруг, во время тренировки с Дюбуа, преподавателем бокса, или на трехсотой странице Дон-Кихота звон и стук вагонных колес вдруг наполнял комнату, за ним стелился запах перегоревшего каменного угля и гремел вокзал в душный, весенний день, – и, раскрыв свою garde[1], Артур получал сильный удар в лицо; или Дон-Кихот, садившийся на коня, все только подымал ногу к стремени и не садился, точно поджидая, когда же Артур последует за ним, и проходили долгие минуты, пока, вместо пустынного вокзала, вырастали худые бока Росинанта и длинная фигура рыцаря с медным щитом в левой руке.

Такое состояние было особенно невыносимо для Артура, – он не мог к нему привыкнуть. Он всегда считал, что, поставив себе в жизни какую-либо цель, ее необходимо во что бы то ни стало добиться; если что-нибудь мешает, это следует уничтожить, если что-нибудь непостижимо, это следует понять – какой угодно ценой. Только все же в нем бродило иногда какое-то буйное начало, он чувствовал, что способен на безрассудные поступки; и тогда он усиленно принимался за работу – учился или занимался спортом, и опять все приходило в порядок. Он любил путешествовать, и это он объяснял наследственностью: его отец, которого он помнил коренастым, улыбающимся блондином, погиб в одной из своих полярных экспедиций – его все тянуло к полюсу – северное сияние, безграничные, белые пространства, синеватый лед и точно закипающая, смерзающаяся вода арктического океана; он поехал туда в последний раз перед войной – и больше не вернулся. Мать Артура очень скоро после этого снова вышла замуж. Артур не любил своего отчима, так непохожего на отца,

[1] *Здесь*: защиту (*фр.*).

всего какого-то темного: цилиндр, черное пальто, черные волосы, желтоватые зубы, темная кожа сухих, гладких и сильных рук. Он был банкиром. Артур, живший вдалеке от Лондона, лишь изредка приезжал домой, последнее свидание было лет восемь тому назад, когда Артур из Франции приехал повидаться с матерью, и громадная его фигура как-то сразу загромоздила всю квартиру; и банкир, улыбаясь недобрыми черными глазами, сказал ему:

– Я думаю, из тебя вышел бы хороший боксер.

– Если бы было нужно выбирать между банком и рингом, я выбрал бы ринг, – холодно ответил Артур. Его мать пожала плечами. Артур был ей совершенно чужд – молчаливый, сдержанный и, конечно, как она думала, неспособный понять ни ее жизнь, ни ее второй брак, скрыто недоброжелательный, всегда чуть нахмуренный Артур; она поймала как-то его тяжелый взгляд, когда он мельком взглянул на ее обнаженные плечи, – она была в вечернем платье, они ехали в театр. Но она промолчала, хотя вспыхнула от обиды. И тогда же она поняла, что ее сын, Артур, перестал для нее существовать. Было неловко, что она – мать этого гиганта, она «l'incomparable»[1], как ее называл первый муж; она – никогда не была красива, но неподвижная прелесть ее асимметричного лица не портилась с годами. Она и не замечала своего возраста, вся жизнь в ее воспоминании была сменой мод, курортов и путешествий.

– Это было в тот сезон, когда носили такие короткие платья с воланами – ты помнишь? – мы провели тогда лето в Бретани. – Да, тогда появились еще эти крылья по бокам шляпы: это было в Лозанне, – да, именно в Лозанне я их увидела в первый раз и тогда же написала тебе об этом. – И лишь изредка в эту непогрешимую память о шляпах, платьях и летних городах ее жизни входили иные впечатления: голос Шаляпина, певшего «Марсельезу» в Лондоне, канун войны и первый букет цветов – пармские фиалки, да, конечно, пармские – от этого сумасшедшего итальянского журналиста, которого потом убили на войне, летом семнадцатого года; да, лето семнадцатого года, костюмы

[1] «несравненная» (*фр.*).

tailleur[1], маленькие, совсем без полей шляпы и зеленые ветви над озером, на юге Англии, в имении ее мужа. Артуру не было места в ее жизни; если бы еще он остался таким, каким был много лет тому назад – бархатная курточка, короткие штаны и загорелые коленки, – но он стал настолько велик и широк, что она казалась рядом с ним совсем маленькой. Он на все смотрел иными глазами – в этом отчасти был виноват его дядя, брат ее первого мужа, выписавший Артура в Россию, где Артур научился русскому языку, побывал в разных городах и откуда они оба еле выбрались в девятьсот девятнадцатом году, и оба явились в Лондон, в невозможных костюмах, с обтрепанными чемоданами – она встретила их на вокзале, и в дороге еще Артур позволил себе какую-то шутку по-русски, и они оба смеялись, не понимая, насколько это невежливо по отношению к ней. И Артур уехал из родительского дома во Францию, в Париж, и лишь несколько раз в году присылал лаконические открытки. Однажды, впрочем, в Париже он встретил своего отчима в большом кафе на бульварах – тот сидел рядом с какой-то блестящей и сомнительной красавицей, и Артур только молча и тяжело-насмешливо взглянул на него и прошел мимо.

Артур думал обо всем этом, сидя у себя; щенок, спавший в столовой, вдруг зарычал и залаял во сне. И тогда перед Артуром явственно встало женское лицо, которое давно уже было готово появиться – все точно чего-то ожидая – и теперь появилось: откинутая голова, чуть прищуренные, самые дорогие на свете глаза и потом голос и этот французский язык со смешным и очаровательным женским акцентом и бесчисленными ошибками:

– Cela ne peut pas continuer, Arthur, il faut que tu partes[2].

– Je suis parti, – вслух сказал Артур. – Non, cela ne peut pas continuer ainsi c'est vrai[3].

И вот уже два года он все точно уезжал – и сожаление было так же сильно, как в день его действительного

[1] в талию (*фр.*).

[2] – Это не может продолжаться, Артур, ты должен уйти (*фр.*).

[3] – Я ушел... Да, это не может продолжаться, ты права (*фр.*).

отъезда. Это был бесконечный день, растянувшийся уже на несколько лет, – ни вечера, ни ночи, ничто не могло потушить его весеннего, сверкающего на вагонных стеклах света, ничто не могло вырвать и сдвинуть с места все те же, неподвижные и непрекращающиеся, чувства, которые Артур испытал в день отъезда из Вены. Что с ней теперь, кто смотрит в ее закрывающиеся глаза с длинными коричневыми ресницами? Может быть, у нее есть ребенок?

Что-то хрустнуло под рукой Артура, он замигал глазами, как приходящий в себя от забытья человек. Деревянная ручка кресла под кожаной обшивкой была сломана. Артур вздохнул, опустил голову, вошел в ванную, разделся и стал под холодный душ, закрыв себя резиновой круглой ширмой; ему стало трудно дышать, вода казалась ледяной, но он продолжал стоять так некоторое время. Затем, надев халат и растерев докрасна свое тело, он лег в постель, закрыл глаза и стал засыпать: был уже пятый час утра.

* * *

В тот день, когда Аглая Николаевна вернулась из Берлина, куда она уезжала на месяц, в Париже с утра шел снег. На rue Boissière он падал с безмолвной торжественностью, шел без конца, улетая вниз, в незримую глубину; возле Северного вокзала он валился беспорядочно и неравномерно, превращаясь в жидкую грязь под колесами автомобилей. Поезд приходил в поздний вечерний час, рука Володи застыла в кожаной перчатке, бесформенные пальцы сжимали букет белых роз. Он приехал задолго до прихода поезда, сидел некоторое время в кафе перед стаканом теплого и мутного кофе, отпил один глоток, поднялся и снова вышел под снег. – Какой абсурд – кофе, – сказал он вслух. Его наконец пустили на перрон; ожидание сделалось еще томительнее, и появилось – неизвестно откуда и совершенно незаметно возникшее – ощущение, будто забыто что-то очень важное, будто чего-то не хва-

тает. – Но чего же? – Проходили носильщики, смазчики, служащие. В темноте показались огни паровоза, которые Володя видел уже секунду, не понимая. С успокаивающим щелканием поезд остановился.

Аглая Николаевна была в маленькой шляпе, в черной шубе с белым воротником. Володя подошел к ней – и ничего не мог сказать от волнения.

– Владимир Николаевич, вы потеряли дар слова?

– Кажется, да.

– А красноречие и лирические пассажи?

– Все. Кроме вас.

Она пожала его руку в перчатке.

– Какие милые цветы. Вы один?

– Конечно. Вы ждали?..

– Мог прийти Артур.

– Нет, как видите.

Сидя в автомобиле, Володя слушал, как Аглая Николаевна рассказывала о Берлине, и молчал. Слова, названия мест имели для него иное значение, нежели то, которое придавалось им обычно. Берлин, это значило: ее нет. Париж, это значило: я ее увижу. Рельсы, поезд, вокзал: я жду. Charlottenburg: она проходит по этим улицам. Gare du Nord[1]: только она.

– Вы сказали?

– Нет, это непохоже на скуку. Это иначе.

– И «замечательней»?

– Несомненно.

Автомобиль проезжал возле Оперы.

– Я вспоминала вас неоднократно.

– Аглая Николаевна!

– Мне не хватало вас, я к вам привыкла.

– Как к шкафу или креслу?

– Иначе.

– «Замечательнее»?

– Несомненно.

Опять молчание и легкий шум автомобиля.

– Итак?

[1] Северный вокзал (*фр.*).

– Я оказываюсь в несвойственной мне роли, – изобразительницы аллегорий.

– Аллегория – представление обо мне?

– Да. Представьте себе зеркало. Смотришь долго-долго – только блеск и стекло: а потом видишь далекие картины и даже как будто бы слышишь музыку.

– Я понимаю: невнятные картины, невнятную музыку.

– Да. И потом вдруг, медленно, из самого далекого зеркального угла – фигура.

– Джентльмена в черном костюме?

– Почти.

Стыл чай в маленьких чашках, звонили часы, медленно двигался вечер. – Мы точно едем, Аглая Николаевна, – сказал Володя, едва слыша свой собственный голос, – не правда ли? Как в море, очень далеко. Вам не кажется?

– Да; в тропическую ночь, Володя, вы понимаете? – И Володя впервые услышал особенный, горячий голос Аглаи Николаевны – раньше он был неизменно прохладен, чуть-чуть далек и насмешлив.

– Так душно и хорошо и теплые, соленые волны. Вы понимаете, Володя?

Володя молчал и только смотрел в побледневшее лицо с необычайным усиленным вниманием.

То, что случилось потом, было непохоже, как казалось Володе, на все, что он знал до этого: душно и нежно близкое тело, мягкие руки с острыми холодноватыми ногтями, запах волос, несколько детски-беззащитных движений и опять доверчивые, устремленные к нему руки. И голос Аглаи Николаевны, вдруг ставший точно частью ее тела.

– Я никогда этого не знал, – думал Володя. – Никогда, наверное, этого вообще нет. Но мыслей почти не было, они терялись, кровь текла с почти слышным, как ему казалось, шумом.

Он пошел пешком домой, холодным январским утром, не застегнув пальто. В кабинете Николая был свет. Володя привычным движением поднял руку к глазам,

чтобы посмотреть, который час; но часов не было, он забыл их у Аглаи Николаевны, – наверное, на этом маленьком столике, рядом с узким и длинным бокалом, в котором стояли его вчерашние – самые лучшие – цветы. Дверь из кабинета открылась, и в осветившемся четырехугольнике показалась широкая фигура Николая.

– Доброе утро, Володя, – сказал Николай густым шепотом, – где это ты засиделся?

– Я гулял.

– Врешь как собака, знаем мы эти гулянья.

– Коля, ты никогда этого не поймешь, – твердо сказал Володя.

– Да, да, знаю, ты все облака видишь или волны, а облаков никаких нет. Иди спать.

– Не хочется. А ты почему не спишь, и который час вообще?

– Вообще пять часов утра, а я не сплю по серьезному делу: мне надо составлять годовой отчет. Я вчера вечером напился вдребезги, – сказал Николай, – мы с Вирджинией вдвоем выпили бутылку шампанского.

– По какому случаю?

– Годовщина рождения дочери; выпили и ослабели, faiblesse humaine[1], понимаешь?

– Понимаю: faiblesse humaine.

– Вирджинию я, просто смешно сказать, отнес на руках и уложил спать – какой срам, Володя, а? – вот я ее целую неделю дразнить буду.

– А тебя кто отнес?

– Сам, – сказал Николай, – и спал не раздеваясь. И можешь себе представить, приснилось мне какое-то чудовище, и вдруг я вижу, что голова у него – это лицо моего тестя, отца Вирджинии. Тогда я проснулся и вот с двух часов ночи сижу и пишу, как Боборыкин. Ну, хорошо, иди спать, я тебя завтра разбужу на службу.

Но проснулся Володя только поздно днем. В столовой Вирджиния что-то напевала вполголоса, читая, – эта ее способность одновременно петь и читать всегда изумляла

[1] человек слаб (*фр.*).

Володю. Рядом с диваном, на котором он лежал, он нашел записку Николая: «Ты спал, как сурок, я решил тебя не будить. Выношу тебе общественное порицание».

Вечером Володя, наскоро пообедав, – что вызвало ироническую заботливость Вирджинии: – Николай, отчего наш хрупкий ребенок так мало ест? – и деловой вопрос Николая, вышедшего провожать Володю до двери: – Может быть, у тебя живот болит? – и сердитый ответ Володи: – Vous êtes bêtes tous les deux[1], – и хохот Николая:

– Вирджиния, пари, что он влюблен! – Ответ из столовой: – Tenu[2], – и вот, наконец, улица и возможность взять автомобиль и через десять минут быть у Аглаи Николаевны.

Она сидела в кресле, Володя поцеловал ей сначала руку, подошел сзади и обнял ее – и все опять стало душно и хорошо, как накануне.

Поздней ночью она спросила его:

– Ты пришел, все спали?

– Нет, Николай работал.

– Что же ты сказал?

– Что я гулял. Но он не поверил.

– Правда? – Она засмеялась. – А он умнее тебя, ты знаешь?

– Возможно.

– Я думаю, несомненно: только ты иначе.

– Хуже или лучше?

– О, милый Володя, конечно, хуже.

– Спасибо.

– Ты обиделся?

– Нет, – сказал он, чувствуя на своей руке ее горячую шею, – нет, конечно, нет.

Проходили недели, Володя в бюро был рассеян и задумчив, день заключался в ожидании вечера. Иногда Володя говорил брату:

– Коля, у меня сегодня дела, я не буду в бюро.

---

[1] Вы оба дураки (*фр.*).

[2] – Принято (*фр.*).

– Хорошо, – отвечал Николай, – я надену траурный костюм. – И Володя уезжал с Аглаей Николаевной в Булонский лес.

Были тихие зимние дни, по холодной воде озер плавали лебеди. Аглая Николаевна и Володя отправлялись в зоологический сад, где бесшумно, не останавливаясь, ходил по клетке волк, белые медведи ныряли в неглубокой канаве; в жарко натопленном стеклянном помещении неподвижно часами лежали крокодилы; маленькие зверьки – мангусты, мускусные крысы, хорьки, ласки – спали в небольших будках в глубине клеток. Раскачивалась длинная шея верблюда, резко кричали тюлени, медленно и тяжело ступал чудовищный гиппопотам, и громадный слон стоял, как гигантский часовой у ворот тропического государства. В дурно пахнущих клетках, сложив навсегда длинные крылья, полузакрыв глаза, сидели на скрюченных ветвях, запачканных пометом, орлы, кондоры, грифы. Тускло и непримиримо блестели желтые глаза тигров, жалобно рычали неуклюжие львы с оседающими задами; над холодной водой искусственной реки, застыв в неправдоподобно декоративной позе, стояли фламинго, которых когда-то, давным-давно Володя видел еще на Волге. Резко кричали обезьяны со сморщенными лицами, похожими на лица якутских старух; павианы со свирепыми мордами лениво гонялись за пугливыми самками; бесшумно и печально, ступая по вытоптанной траве тонкими, неутомимыми ногами, плавно неся в воздухе тяжелые головы с причудливыми рогами, ходили антилопы и олени; мелькали полосатые тела зебр; и близко, возле самых прутьев огороженного рва, чернела косматая громада бизона.

Потом они уходили в лес; пахло поздней осенью, бензином, асфальтом, холодными деревьями; и они возвращались домой в сумерки; над Триумфальной аркой вспыхивало электрическое сияние, струившееся вниз по avenue Булонского леса, покрытого в этот час черным блеском автомобильных крыльев, под светом громадных, круглых фонарей, висящих на высоких столбах; и вверху, начина-

ясь непосредственно от автомобильных крыш, все темнел и темнел зимний воздух, сгущаясь в легкую тьму на высоте пятого или шестого этажа домов.

Опять был отъезд, неожиданный, как и в прошлый раз, опять в Берлин, и Володя снова остался один; и так же, как тогда, почувствовал, что у него слишком много свободного времени. Не зная, куда себя девать, он три вечера подряд ходил в кинематограф, побывал в театре и даже пошел на балет, устроенный знаменитой балериной; она «играла» мифическую царицу, отдающуюся пленному воину. Володя не помнил точно, был ли этот воин варваром или нет, потому что в ту минуту, когда не следовало, неожиданно задремал. Балерина говорила какие-то стихи, воин, опираясь на бутафорское копье, жалобно сгибавшееся под его тяжестью, тоже отвечал ей стихами, потом вышли танцевать пять девочек в белых платьях и царица с варваром присоединились к их танцу, перестав на это время читать стихи; в общем, все было так чудовищно глупо, что у Володи от раздражения разболелась голова, и он ушел, не досидев до конца. На следующий вечер он зашел к Артуру, который сам открыл ему дверь.

– А, милый друг, как хорошо, что вы пришли, – сказал Артур своим тихим голосом.

– Скажите, пожалуйста, как вы не умерли от тоски в Париже? – спросил Володя. – Куда можно пойти? Только не в кинематограф, не в театр и не на балет.

– Хотите послушать диспут о советской литературе?

– Нет, уж лучше кинематограф.

– Хотите поехать на Монпарнас?

– C'est une idée[1].

За столиками Coupole сидело множество народа, слышалась русская речь – с польским акцентом, еврейским акцентом, литовским акцентом, малороссийским акцентом. Невзрачные художники с голодными лицами, нелепо одетые – особенно удивил Володю маленький чело-

[1] – Это мысль (*фр.*).

век в клетчатых штанах для гольфа и черной бархатной куртке, усыпанной пеплом и перхотью, – спорили о Сезанне, Пикассо, Фужита; за ближайшим к Володе и Артуру столиком какой-то развязный и многословный субъект ожесточенно хвалил французскую поэзию и цитировал стихи Бодлера и Рембо.

– Слушайте, Артур, как он может понять это, когда он ни одного слова правильно не выговаривает? – тихо спросил Володя.

– Он, наверное, чувствует, – серьезно сказал Артур; Володя пожал плечами.

С Артуром многие раскланивались.

– Вы их знаете? Кто они такие?

Артур рассказывал Володе то, что на Монпарнасе знали все, где вообще всё знали друг о друге. Вот этот сорокалетний мужчина уже пятнадцать лет сидит то в Rotonde, то в Coupole, то в Dôme, пьет кофе-крем и не просит в долг больше двух франков, – пишет стихи, ученик знаменитого поэта, умершего за год до войны; этот – художник, рисует картины еврейского быта Херсонской губернии – еврейская свадьба, еврейские похороны, еврейские типы, еврейская девушка, еврейский юноша, еврейская танцовщица, еврейский музыкант. Вот поэт, недавно получивший наследство, лысеющий, полный человек лет пятидесяти. Вот молодой автор, находящийся под сильным влиянием современной французской прозы, – немного комиссионер, немного шантажист, немного спекулянт – в черном пальто, белом шелковом шарфе; вот один из лучших комментаторов Ронсара, прекрасный переводчик с немецкого, швейцарский поэт тридцати лет – умен, талантлив и очень мил; по профессии шулер. Вот подающий надежды философ – труд об истории романской мысли, книга в печати о русском богоборчестве, интереснейшие статьи о Владимире Соловьеве, Бергсоне, Гуссерле; живет на содержании у отставной мюзик-холльной красавицы, с которой ссорится и мирится каждую неделю.

– Неприятная вещь, Монпарнас, – сказал Володя, поднимаясь.

– Да; только это хуже, чем вы думаете, – ответил Артур. – Я его знаю хорошо.

Они проехали почти до моста Альма. Вдоль avenue Bosquet стояло множество автомобилей, в одном из больших домов был бал. На левой стороне улицы тускло светилось маленькое кафе.

– Зайдем на минуту, хочется пить.

Кафе было набито шоферами и бездомными, оборванными людьми, открывавшими дверцы автомобилей и получавшими за это – кто два франка, кто франк, кто пятьдесят сантимов. Один из таких бездомных, молодой еще человек с темным и обветренным от непрерывного пребывания на воздухе лицом, с выбитыми или выпавшими зубами нечистого рта, совершенно пьяный от двух стаканов красного вина, стоял у стойки и пел. И Артур и Володя прислушались к словам романса. В романсе говорилось, как хороша Италия, как прекрасна природа и любовь.

Jamais les deux amants
N'ont connu de soirs aussi doux...[1] –

пел бродяга. Володя вдруг поперхнулся от судорожного смеха и быстро вышел на улицу. Артур последовал за ним. Володя продолжал смеяться. – Jamais les deux amants... – начинал он декламировать и останавливался. – Jamais les deux amants... – он опять хохотал, – n'ont connu de soirs aussi doux.. – Потом он сказал:

– Нет, Артур, вы только подумайте, этот человек спит под мостом, питается объедками и заживо гниет всю жизнь. Amour?..[2] Он знает женщин с Севастопольского бульвара от двух до пяти франков. И он поет, – нет, вы только послушайте:

Jamais les deux amants
N'ont connu de soirs aussi doux...

Артур молчал – и смотрел прямо перед собой на Сену и на мост. Ночь, казалось, становилась темнее, холоднее и глубже. С набережной дул сильный ветер.

---

[1] Никогда еще влюбленные
Не переживали таких дивных вечеров... (*фр.*)

[2] Любовь?.. (*фр.*)

Артур отвез Володю домой, поставил автомобиль в гараж и, несмотря на очень поздний час, снова вышел на улицу.

Сначала он думал о Монпарнасе. Будучи еще студентом, он нередко проводил там целые ночи и с тех пор запомнил все лица, бывавшие там, всех женщин, карьера которых проходила на его глазах, всех этих Жинет, Жаклин, Луиз, которых он видал еще тогда, когда они впервые попадали на Монпарнас – и некоторые из них даже выдавали себя за студенток – они все были молоды и свежи; но за три или четыре года с непостижимой и грустной быстротой полнели, грубели и старели, – так что Артур не сразу узнавал их. Все так же, каждый вечер, за одними и теми же столиками, окруженные печальной монпарнасской сволочью, они просиживали долгие часы, ожидая клиента, потом уходили в один из отелей за углом – и снова возвращались на прежнее место. Все те же художники, бесчисленные художники, – некоторые с папками, некоторые без папок, – прохаживались вдоль столиков, не решаясь сесть до тех пор, пока не встретят знакомого, готового заплатить два франка за их кофе. Поэтов становилось все меньше и меньше – и потому, что поэзия явно шла на убыль, и потому, что для поэзии нужно было хотя бы уметь грамотно писать и чему-то когда-то учиться; и хотя к монпарнасским поэтам никто не предъявлял требований особенной культурности – как, впрочем, ни к кому на Монпарнасе, – все же какие-то зачатки, какие-то проблески культуры надо было иметь, чтобы как-нибудь превысить умственный уровень международного спекулянта, или газетного репортера, или стриженой дамы лет сорока, обожавшей «богему».

«Ce sont des ratés»[1], – думал Артур. Здесь были педерасты, лесбиянки, морфинисты, кокаинисты, просто алкоголики всех сортов, и все эти люди, задыхающиеся от испорченных легких, последнего, неизлечимого кашля,

[1] «Все они пропащие» (*фр.*).

обнаруживающие первые признаки белой горячки, сифилиса, хронических воспалений и тысячи других болезней, вызванных голодом, нечистоплотностью, наркотиками, вином, – презирали «толпу», которой бессильно завидовали – за ежедневные обеды, удобные квартиры и отсутствие венерических заболеваний; и наименее глупые из постоянных посетителей Монпарнаса или те, кому явно недолго уже оставалось жить и не стоило питать несбыточные иллюзии, понимали в глубине души, что ничего никогда не выйдет ни из картин, ни из стихов, ни из романов, потому что нет денег, нет знаний, нет работоспособности и не о чем, в сущности, писать, если только не обманывать себя и других или быть идиотом. Но это понимали лишь немногие: остальные же были твердо убеждены, что рано или поздно их оценят, вспоминали примеры ныне знаменитых художников, принадлежавших в свое время к этой же монпарнасской богеме. – Они забывают, – думал Артур, – что у тех был талант, редчайшая вещь и, кажется, неизвестная на теперешнем Монпарнасе. – Тупая скука была на лицах неподвижных женщин, до которых тоже доходили обрывки споров об искусстве, звучавших, как слова на мучительно непонятном языке, все эти упоминания каких-то иностранных фамилий и сложные фразы, в которых не было ничего ни интересного, ни родного, ни просто понятного, как разговор о заработке, о своей семье – где-нибудь в глухом углу Оверни или Бретани, где нет ни искусства, ни Монпарнаса, а есть сабо, работа, коровы, сведенные мозолистые пальцы и приятный, родной запах навоза; и как ни мало понимали в искусстве спорящие, слушающие понимали еще меньше. – Зачем эти женщины приехали сюда? – думал Артур. – И зачем попали сюда, в среду, которая навсегда останется им чуждой и непонятной, все эти молодые люди из Бессарабии, из Румынии, из Польши, Литвы, Латвии и еще каких-то русских, Богом забытых станций и городов – Кременчуга, Жмеринки, Житомира? Чтобы голодать и пить café-crème[1] и навсегда сгинуть в этой толпе сутенеров и наркоманов, страдающих манией величия и хроническими болезнями?

[1] кофе со сливками (*фр.*).

Артур шел вдоль реки; это были его обычные прогулки – путешествия над Сеной; он заходил далеко, туда, где уже начинали выситься мрачные дома бедных кварталов Парижа, где светились мутные стекла убогих кафе и за цинковой стойкой плохо одетые люди пили красное вино. Тогда он переходил мост и шел обратно, к просторным набережным, по которым свободно гулял ветер – от Конкорд до Трокадеро.

В эту ночь он остановился у перил моста Александра Третьего и долго смотрел на воду; она текла, чуть плескаясь у быков моста, – темная, медленная и густая. Вокруг было совершенно пусто. Артур закурил папиросу. Сильный ветер поднял рябь на реке. Артур внимательно, не отрываясь, смотрел на поверхность воды – и вдруг вспомнил опять сине-желтый Дунай с невысокими волнами и лодку Victoria, которую он нанимал потому, что ее имя было такое же, как имя женщины, с которой он плыл по Дунаю. Виктория! Он видел ее как сейчас – в синем платье, с босыми смуглыми ногами в белых сандалиях, с белым шелковым платком вокруг загорелой шеи; она лежала на спине, глядя вверх и покачиваясь вместе с лодкой на волнах, и изредка Артур брызгал на нее водой из-под весла, и она приподнималась и говорила ему на своем смешном французском языке: insupportable! insupportable, Arthur![1] Потом они причаливали к пустынному островку, раздевались и шли купаться. Виктория выросла на тирольских озерах и плавала с такой же легкостью, как ходила. Артур любил следить, как она удалялась от высокого берега, поднимая за собой легкую, белую пену. Когда он догонял ее, она внезапно ныряла, он опускался вслед за ней, и они долго плыли рядом, под водой, пока она не поднималась на поверхность и ложилась на спину, заложив руки за голову и не делая ни одного движения.

Он познакомился с ней случайно, приехав со своими товарищами на экскурсию в Вену на два дня; вечером второго дня они все толпой в двадцать человек отправились на ярмарку, убогую ярмарку почти нищей в те времена Вены;

[1] несносный! несносный, Артур! (*фр.*)

крутились скрипящие деревянные карусели, летели шары в вечернем воздухе, и, перебивая друг друга, звучали многочисленные мотивы фокстротов и вальсов. Артур остановился у карусели с деревянными, картинными лошадьми в золотых и бархатных седлах, вращавшимися под стариннейший вальс, хромающая мелодия которого навсегда запомнилась ему. Когда карусель остановилась, женщина в большой белой шляпе, в белом платье, хотела спрыгнуть вниз, но зацепилась и падала с высоты полутора метров; Артур успел заметить выражение испуга в ее глазах. Он поймал ее длинное тело на лету и мягко опустил его на землю.

– Danke schön, – сказала она. – Sie sind sehr stark, mein Herr[1].

Да, это были ее первые слова, сказанные с неповторимой и певучей интонацией. Артур пошел провожать ее домой, по незнакомым улицам Вены, куда-то на Schmalzhofgasse, где она жила. По дороге они зашли в кафе. Артур рассказал, что он англичанин, студент и что он рад видеть хоть одного человека, знающего Вену, так как и он и его товарищи здесь впервые. Она назначила ему свидание на следующий вечер, в этом же кафе; Артур попрощался с ней у порога ее дома и вернулся в гостиницу в состоянии несвойственного ему радостного волнения, напевая вдруг вспомнившееся ему и не перестававшее звучать всю дорогу «O sole mio»[2], и, только поднявшись в свою комнату, вспомнил, что завтра утром он должен уезжать в Париж, где его ждут занятия, курс французской литературы, история экономических доктрин и множество строгих и скучных вещей, таких далеких от карусельной мелодии, белой шляпы, сине-серых глаз и всего, что занимало сейчас его мысли.

Он уехал из Вены лишь много месяцев спустя. Встретив Викторию в кафе – в тот вечер – он сказал: – Теперь, кроме вас, у меня никого нет в Вене. – А ваши товарищи? – Они уехали в Париж сегодня утром. – И вы должны были

[1] – Огромное спасибо... Вы очень сильный, мой господин (*нем.*).

[2] «О мое солнце» (*ит.*); известная неаполитанская песня.

ехать с ними? – Нет. – Неправда, вы остались, чтобы не пропустить свидания, на котором вы обещались быть. Так должен поступить джентльмен, не правда ли? – Нет, просто человек, которому Бог дал глаза, чтобы видеть вас, – сказал Артур. – Это начало? – Я надеюсь. – Она вздохнула.

Она прожила с Артуром полгода – и все это время он был почти совершенно счастлив. Иногда только он думал, что, в сущности, не знает почти ничего о Виктории, кроме ее имени и фамилии и того, что она старше его на два года, что она была замужем и развелась и что ее мать живет в Тироле. Если Артур начинал ее расспрашивать, она зажимала ему рот рукой, – нельзя быть таким любопытным, Артур. Он настаивал. Тогда она говорила:

– Артур, тебе хорошо со мной?

– Да.

– Ты меня любишь?

– Да.

– Если этого недостаточно, я больше ничего не могу тебе дать, Артур. Это то, что у меня есть. Больше у меня нет ничего. – И Артур замолкал.

Он предложил ей выйти за него замуж – она рассмеялась. – Мой мальчик, если бы ты знал, в какой степени это невозможно! – Но почему? – Не будем говорить об этом.

Она любила, как ребенок, чтобы Артур носил ее по квартире; длинное ее тело казалось особенно легким в его руках. Однажды, обняв его шею и близко глядя в глаза – были сумерки летнего дня, – она сказала с необыкновенным сожалением:

– Ах, Артур, если бы это было возможно!

– Что, моя дорогая?

– Ты не понимаешь. Ты не первый, Артур. Подними меня еще выше, ты можешь? Я бы хотела сейчас, с твоих рук упасть вниз, на мостовую – так, раз навсегда, и ничего бы не осталось, и последнее, что было бы, это воспоминание, что ты держал меня на руках. Артур, бедный Артур! – И она заплакала – в первый и последний раз за все время. Было в ней нечто, чего Артур не знал, – и это не

было пустяком, за этим должны были существовать вещи, которых смутное присутствие Артур подозревал, не зная, однако, в чем они заключались. Иногда он говорил себе, оставаясь один, что он совсем не знает Викторию, не знает почти ничего, кроме ее тела и голоса, легкого, глубокого и нежного, как голос, который слышался ему точно из далекого детства. Иногда утром, после очередной попытки неудачных вечерних расспросов – ах, Артур, ты неизлечим, ты все так же напрасно любопытен, – он с сумрачной нежностью смотрел на это чужое и прелестное лицо с закрытыми глазами, и ему хотелось разбудить Викторию и сказать: проснись и расскажи мне все.

Но при первых звуках ее голоса он забывал о своих вопросах. Последние дни Артура в Вене были особенно тягостны для него. Виктория внезапно раздражалась, чаще хмурила свои тонкие брови. – Артур, ты должен уехать. Может быть, мы с тобой еще увидимся. Ты не будешь обо мне вспоминать дурно, Артур? – Нет, почему? Я не уеду, я ничего не понимаю. В чем дело, Виктория? – Ничего, Артур; тебя, наверное, ждут в Париже? – Нет. – Никто не ждет, Артур? Ни мать, ни сестра, ни любовница? – Нет, Виктория, у меня нет сестры, моя мать в Лондоне; и у меня нет любовницы. – Правда, Артур? И даже ни одной petite femme?[1] – Нет, Виктория, у меня нет никого, кроме тебя. – Какой ты бедный, Артур, ты и сам не знаешь, какой ты ужасно бедный. – Виктория! – Нет, ничего. Мы идем в кинематограф? Ты обещал, Артур.

И однажды утром она исчезла. Она не оставила ни записки, ни клочка бумажки – ничего. Артур спустился вниз, и ему сказали, что Виктория уехала с небольшим чемоданом. Он вернулся наверх и долго ходил по комнате, не зная, что делать. Он позвонил на прежнюю квартиру – там ничего не знали. Он провел так две недели и наконец уехал из Вены, ничего не понимая, кроме того, что ему несомненно тяжело, пусто и тревожно. Была поздняя весна: летом и осенью он возвращался в Вену, но всякий

---

[1] малышки (*фр.*).

раз его розыски оставались тщетными, и кончилось тем, что он почти потерял надежду когда-либо увидеть Викторию.

* * *

– Николай, что делает твой брат?

– Милая Вирджиния, я мог бы тебе ответить, как Каин: разве я сторож моему брату? Но я тебе просто скажу, что не знаю. И он ведь вообще ненормальный.

– Ненормальный? Почему, Николай?

Разговор происходил вечером в кабинете Николая: Вирджиния стояла у полки с книгами, заложив руки за спину и опирась на толстые тома, в которых трактовались вопросы экономического и статистического порядка. Николай сидел за столом перед раскрытым полицейским романом со сложнейшей интригой и многочисленными револьверными выстрелами: в романе фигурировали и пустынные ночные набережные Сан-Франциско, и Бродвей, и Вашингтон, и множество персонажей, принадлежащих то к аристократии, то к полиции, но в одинаковой степени подозрительных. Николай очень любил такие книги; и когда Вирджиния презрительно отзывалась о них, он протестовал: – Нет, нет, ты не права. Это все-таки большое напряжение фантазии и очень увлекательно. Посмотри, как все сложно, и до конца не знаешь, кто преступник. А если даже знаешь, можно сделать вид, что не знаешь. – Ты, однако, согласен, что это глупо? – Да, ну, это бесспорно, – говорил Николай, – Но интересно. И на следующий день он опять принимался за очередное убийство в каком-нибудь сквере с одноруким преступником и проницательным инспектором Скотланд-Ярда.

– Почему он ненормальный? Я тебе сейчас объясню. – Он подумал минуту и сказал: – Видишь ли, он фантазер и путешественник: он не такой, как другие. Мы живем среди чувств, которые мы испытываем, и вещей, которые нас окружают. Нам этого достаточно, Вирджиния, правда? А Володе недостаточно. Его все тянет куда-то, ему все чего-то не хватает. Он лежит на спине и придумывает

необыкновенные истории, в которых сам участвует, или ходит без толку по городу, точно ищет что-нибудь, точно что-то потерял. А что? Спроси его, он сам этого не знает. Вот почему я говорю, что он ненормальный.

Внизу позвонили. Незнакомый мужской голос говорил какие-то слова, которых нельзя было разобрать. Потом раздался стук в дверь кабинета, и вошедший субъект в черном пальто и котелке сказал Николаю, что его брат был сбит с ног автомобилем на бульваре Strasbourg и отвезен в госпиталь. Николай быстро вышел в переднюю. – Я с тобой, – сказала Вирджиния. – Он только кивнул головой. Николай вывел из гаража автомобиль, и они поехали в госпиталь, где лежал Володя. – И надо же было! – повторял Николай. – Идиот, наверное, был пьян. – Вирджиния понимала, что это относилось к шоферу автомобиля, наехавшего на Володю. – Если бы я был там! – говорил Николай, нажимая одновременно на гудок и акселератор.

Володя лежал на кровати. Лицо его было забинтовано. – Он очень опасно ранен? – спросил Николай, сняв шляпу со своей курчавой головы. – Повреждена голова, правая рука, и сломано ребро, – сказала сестра. – Но?.. – Надо надеяться.

Володю перевезли домой, Николай и Вирджиния уложили его в постель; по телефону Николай вызвал сиделку и до поздней ночи пробыл в комнате Володи, который бредил и не приходил в себя.

Бесконечная желтая дорога все вилась и вилась перед глазами Володи. Травы и ковыль росли по ее краям, ветер с легким треском катил по ней гальку, такую же, как на морском берегу. Тень чьих-то крыльев бесшумно ползла по ней. – Орел? – думал Володя и вдруг видел ворона, улетавшего куда-то вправо. – Да, ведь тень все увеличивает. А почему нет столбов вдоль дороги? – Но дорога начинала потихоньку шуметь и бурлить, и Володя замечал, что это уже не дорога, а синий поток, уносящий его в неизвестные края. – Что это за страна? – Только небо было знакомое, милое домашнее небо с белыми барашками и одиноким обтрепанным грозовым облачком. Вот чья-то черная лодка

у берега. – Боже мой, ведь я, кажется, раздет, – думал Володя. Он посмотрел на себя – на нем был гимназический мундир с белым крахмальным воротничком – как глупо, воротничок только давит шею, ведь теперь лето. Мундир был расстегнут и серые гимназические брюки тоже. Он силился застегнуть их, но не мог достать – и внезапно увидел женскую руку с блестящими ногтями, которая быстро, уверенно и ловко застегнула все пуговицы. – Слава Богу, теперь все прилично, – все шумело, как река, и двигалось перед ним; на грозовом облачке сначала появились квадратные края, потом совершенно расплылись и исчезли, и, вглядевшись, Володя увидел картину: массивный старый дуб с резными листьями, рядом с ним береза, под ними зеленый берег тихого залива, и на берегу, весь осыпанный дрожащим, пятнистым светом пробивающегося сквозь листья солнца, стоит с двухстволкой охотник в ярко-зеленом костюме. – Ах, да, это наша картина, висевшая в столовой, – вспоминал Володя, – как же она попала сюда? – Я здесь, Володя, – сказал чей-то голос из-за спины. Он силился увидеть, кто это говорит, но не мог, и голос слабел и удалялся. – Если ты не увидишь меня сейчас, ты не увидишь меня никогда. – Володя сделал необыкновенное усилие, чтобы повернуть голову, повернул – и вдруг все грозно ухнуло и потемнело, и долго ничего не было видно, пока не застучал по звонкой крыше частый и сильный дождь. Он струился все сильнее и сильнее, он тек уже по лицу Володи и попадал в рот и был теплый и соленый.

– Он резко повернулся и дернул головой, – говорила Вирджиния Николаю, – и вот, ты видишь, кровь просачивается сквозь повязку и заливает ему лицо.

Дождь стих, влажный ветер мягкими бархатными кругами летел вокруг Володи. Вдалеке шумел лес; в лесу росли вперемежку с ольхой, кленом тяжелые каменные кресты. Кто-то ехал вдалеке в длинной повозке, фыркала лошадь, стучали подковы по крепкой, глинистой дороге. Все опять стало темнеть в глазах Володи, все тихо скрывалось. Явственно доносились, часто произносимые протяжным голосом, давно знакомым Володе, все те же слова: до

свиданья, до свиданья! – Ты понимаешь? – говорил в это же время чей-то другой голос. – Ты понимаешь? До свиданья? – А может быть, я просто умираю? – подумал Володя. Черные волны внезапно показавшегося моря шумели и разбивались где-то вблизи. И Володя сам из страшной дали увидел себя: он лежал на песчаном берегу под высоким желтым обрывом, с которого свешивалось чье-то огромное и неподвижное лицо с медными волосами. Все было пусто и жутко вокруг, лишь шумела вода невиданной, непроницаемой черноты и низкое небо осталось прорезанным длинным крылом, исчезнувшим стремительно и беззвучно.

У постели Володи стояли Вирджиния, Николай и доктор. Засунув руки в карманы, доктор внимательно, как казалось, смотрел на ту часть лица Володи, которая была видна из-под перевязки. Николай несколько наклонился вниз; Вирджиния крепко сжимала его руку.

– Я надеюсь, – сказал доктор, – что все кончится благополучно. Но рана на голове довольно серьезна. Главное, это чтобы он не двигался.

– Володя! – сказал Николай.

И вдруг глаза Володи открылись. Светлый, непонимающий их взгляд остановился сначала на Вирджинии, потом на Николае, потом перешел на доктора. Затем глаза закрылись и снова открылись, и очень тихо, так что трудно было расслышать, Володя произнес:

– Я понимаю. Это Вирджиния и ты. Но кто же третий?

– Тебе лучше? – сказал Николай. – Третий – это доктор. Как ты себя чувствуешь?

– Я очень устал.

– Постарайся заснуть.

– Хорошо. До свиданья.

– До свиданья, – улыбнувшись в первый раз за все время, ответил Николай. И они вышли из комнаты Володи.

Свой первый визит после выздоровления Володя, еще не очень твердо державшийся на ногах, сделал Александру Александровичу. Это объяснялось тем, что в течение дня Володя ходил по комнатам и решение выйти на улицу принял лишь в половине двенадцатого вечера. Этому предшествовал разговор с Николаем.

– Я не виноват, что ты идиот, – кричал Николай. – Ну, куда тебя черт несет, на ночь глядя? Ну, признай же сам, что это чистейший идиотизм. Ты лежал три недели, как последняя собака, потом поднялся, и изволите видеть, monsieur намерен совершить ночную прогулку.

– Не кричи, Коля.

– Я не кричу, – мгновенно успокоившись, как всегда, сказал Николай. – Я только хочу тебе сказать, что ты поступаешь неправильно.

И когда Володя надел пальто, то рядом с ним оказался Николай – тоже в пальто и шляпе.

– Ты, Коля, куда?

– Я тебя одного не пущу. Спорить тебе не советую, бесполезно.

Они вышли вдвоем; от свежего холодного воздуха Володя вдруг почувствовал слабость в ногах и покачнулся. Крепкая рука Николая придержала его за локоть.

– Эх ты, Геркулес!

Володя медленно шагал рядом с Николаем. Потом сказал:

– Знаешь, Коля, ходить мне действительно трудно. Я поеду в гости.

– Не поздно ли, Владимир Николаевич? Первый час ночи.

– Нет, я к Александру Александровичу.

Николай остановил такси и поехал вместе с Володей в Латинский квартал. Автомобиль остановился у дома, где жил Александр Александрович. Николай проводил Володю до дверей.

– Кланяйся, пожалуйста, Александру Александровичу. И возвращайся домой благополучно. Автомобиль будет тебя ждать.

– Спасибо, Коля, спокойной ночи.

Николай посмотрел наверх – окна у Александра Александровича были освещены. – Он подождал пять минут, потом сел в автомобиль и сказал шоферу:

– Отвезите меня на rue Boissière. Потом вы вернетесь сюда и будете ждать моего брата.

Комната была большая и белая, вдоль потолка шли матовые стеклянные цилиндры; не было ни ламп, ни мебели – только у одной из стен стоял длинный и высокий стол, на котором Александр Александрович обычно рисовал. Висело несколько окантованных рисунков: голые женщины и мужчины, очерченные нежными, воздушными линиями и точно летящие в воздухе, набросок лошади, похожей на стремительное чудовище, и два цветка гигантских размеров и причудливой формы. Во второй комнате стоял большой и тяжелый стол, широкий диван и два кресла под полкой с книгами. Там царствовала Андрэ, всегда в резиновых туфельках, бесшумная, быстрая и насмешливая.

К Александру Александровичу никто не приходил. Давно уже он отошел от своих прежних товарищей, давно уже тот мир, в котором он жил, рос и учился, ушел от него навсегда, сменившись десятками новых представлений, сквозь которые проходило его воображение; все окружающее было непрекращающейся пляской линий, цветов, очертаний; иногда проявлялись случайные, всеобъясняющие идеи, объединявшие на секунду весь мир в одну хрупкую гармоническую систему; потом все рассыпалось с легким, стеклянным треском, и опять начиналась погоня за чем-то, неуловимо скрывавшимся повсюду – в позе бродяги у церкви Notre Dame, в изгибе лошадиной спины на дождливой парижской улице, в неожиданном, каменном взмахе старинной башни где-нибудь в Пикардии, летом, во время каникул Александра Александровича.

Андрэ разделяла – одна только Андрэ – с Александром Александровичем его неправдоподобное существование, похожее на фантастический роман. Он излагал ей свои идеи, идущие так далеко от обычных предметов разговора, говорил, беспорядочно и сбиваясь, о музыке линий, о Библии, о русских поэтах, которых она

не знала, – путая русские и французские слова, останавливаясь, задумываясь и чертя в воздухе углы и полукруги своими длинными пальцами. – Ты понимаешь, Андрэ? – Приблизительно. – И Александр Александрович садился чертить свой очередной проект со сложно пересекающимися черными и красными линиями, и, когда Андрэ долго смотрела на их сплетения, у нее начинало рябить в глазах, – она уходила в соседнюю комнату, где ее ждала уже начатая книга. Утром Александр Александрович шел в свое бюро и сидел до четырех или пяти часов вечера за вычислениями и проектами построек, потом возвращался домой. Обедали они в ресторане; Александр Александрович чаще всего ложился спать в семь часов вечера, вставал ночью, часа в три, и долго ходил по комнате, заложив руки за спину и повторяя вслух отрывочные и бессвязные слова; или садился на высокий табурет к столу – и под его карандашом появлялись вызываемые им к бесшумной и фантастической жизни чудовища, люди, фавны и звери, населявшие его неутомимое зрительное воображение. Все, чем жили люди, с которыми ему приходилось сталкиваться, все, о чем говорили его прежние товарищи из École des Beaux Arts[1], все, из чего состояло их существование, все, о чем Александр Александрович изредка читал в газетах, – все это было бесконечно чуждо ему. Он жил в ином воздухе – особенного, хрупкого искусства, где сплетались в неправдоподобных соединениях законы физики или химии с отдельными строчками стихов или полузабытыми музыкальными мелодиями, отдельные, почти магические слова со струящимися, неверными линиями исчезающих, как во сне, изображений, где проплывали – высоко над головой – душные и знойные потоки внезапно раскаленного и омраченного воздуха – эти минуты особенно хорошо знала Андрэ. Потом опять проходил точно медленный снежный ураган по комнате, и вновь особенно чисто, хрустально и звонко клубилась прозрачная мелодия под потолком.

Так жил в Париже, на улице Четырех Ветров, Александр Александрович Рябинин, бывший поручик артил-

[1] Школа изящных искусств (*фр.*).

лерии, далекий от всего мира – путешественник, как сказал бы о нем Николай. Володя приходил к нему – чаще всего глубокой ночью; появлялся на пороге незапертой двери, с потухшей от рассеянности папиросой во рту. – Здравствуйте, Александр Александрович. – Здравствуйте, Володя. – Андрэ спит, я ее не побеспокою. – Нет, нет, садитесь, пожалуйста, – Александр Александрович делал жест рукой, забывая, что сидеть было не на чем. И начинался разговор, состоящий из полуслов, намеков, цитат.

– Я вспомнил, Александр Александрович, не знаю почему, случайно... Помните этот вечный монотонный мотив: «положи меня, как печать, на сердце твоем...»

– Да, да, я вижу: зной и песок, и каменный храм, и легкое тело Суламифи под деревьями, горячая ночь, южный воздух и последняя, самая последняя надежда: «положи меня, как печать, на сердце твоем», потому что уже известно, что все остальное суета: власть, мудрость, богатство и – «я, Екклезиаст, был царем над Израилем во Иерусалиме». Итак, может быть, еще возможно...

– Но ведь он понимал, Александр Александрович.

– Он хотел остановиться, Володя.

– Теперь второе: помните ли вы, когда и как это началось – движение, в котором мы находимся? Я вот не помню: мне кажется всегда – точно сон и медленно летишь во сне: одно идет за другим – а вокруг растет трава или бурьян. Я задумался, кажется, впервые в поле – и вот с тех пор все точно снюсь себе – и ничего не знаю. А вы помните, когда это началось?

– Помню, Володя, у меня это началось поздно.

– Да, и как же?

И Александр Александрович еще раз вспомнил ту минуту, с которой, как казалось ему, началось его путешествие. Он был тогда болен; все его тело от головы до пят было покрыто гнойными овальными язвами, по краям которых копошились бесчисленные вши; белье прилипало к ранам, при каждом движении отрывалось от них и снова прилипало – и глубокой осенью, последней осенью гражданской войны в России, в зеленой армейской шинели, с винтовкой за плечом, Александр Александро-

вич, отставший от своей батареи, шел на юг по черной земле, поминутно вздрагивающей от поднимающихся разрывов. Он давно устал, давно шагал только по инерции, десятки людей, конных и пеших, перегоняли его, проехало несколько подвод – не подвезете ли? – спрашивал Александр Александрович и получал неизменный ответ: к... матери! Он продолжал шагать по замерзшей земле; поздний октябрьский день близился к концу, идти становилось все труднее – как вдруг, в одну неожиданную секунду, все горячо ахнуло вокруг Александра Александровича, он ощутил острую боль в животе и груди и прямо, не сгибаясь, упал на холодную землю: винтовка тяжело ударила его по голове.

Когда он очнулся и открыл глаза, было пустынно и ветрено, не было слышно ни голосов, ни шагов. Кровь запеклась на обрывках шинели, больно резал кожу золотой погнувшийся крест на тоненькой цепочке. Снег и град били в лицо Александра Александровича, падая сверху косыми линиями и затекая потом под затылок. Далеко вокруг свистел ветер, гудели вдоль дороги черные столбы.

Александр Александрович не мог шевельнуться. Почему-то вспомнились ходули, река, домашняя кровать со стеганым синим одеялом, географический атлас с яркими красками и зеленой поверхностью тропических стран, вспомнился бородатый воспитатель в кадетском корпусе, стенные часы с гулко щелкающим маятником, мраморный крест с золотыми буквами на могиле отца и уютная решетка фамильного склепа с постоянно горящей лампадой внутри и железными листьями искусственного венка. – Где все это теперь? Что значит все остальное? – спрашивал себя Александр Александрович. – Ах, Саша, ты такой у меня художник! Теперь был ледяной дождь и рассвет бесконечно далекого, враждебного дня, и пустое поле в холодной России. И не оставалось ничего, кроме начала иного беспощадного существования; и с той минуты все изменилось и исчезло. Не было ни смысла, ни воспоминаний, ни любви, во всем мире не было ничего, кроме ледяного дождя, и обрывков кожи на ране, и язв,

в которых кишат вши. Россия, родина, – как фальшиво и не нужно – с медными трубами, барабанами и гимном – такая густая, такая торжественно глупая музыка. Нет, не осталось ничего.

И тогда впервые легкий хруст ветра в вытоптанной траве раздался недалеко от Александра Александровича. Он тихонько звенел и воздушно сыпался сверху, точно в воздухе летел прозрачный водопад легких звуков, теней и отблесков какой-то неотразимо прекрасной жизни – выше земли и дождя и этого бедного тела с разорванным животом. Далекие мелодии умирали в светлеющем воздухе, все лилось и сверкало вокруг Александра Александровича. – Я понимаю, – хотел он сказать и не мог, и закрыл глаза.

Второй раз он пришел в себя на больничной койке, в госпитале. Через два месяца он выздоровел и встал, – но уже в глазах его застыло навсегда то восторженно-чужое выражение, которое знали все, кто встречался с ним теперь, и которое не знали его прежние товарищи, – то же самое выражение, с которым он жил в Париже, – один в высокой и белой комнате, не разговаривая ни с кем, кроме Андрэ и Володи.

Володя знал Александра Александровича еще по Севастополю, где они ежедневно встречались в ресторане за обедом; Александр Александрович был тогда юнкером. Они говорили о литературе и Библии – конечно, – и так продолжалось несколько месяцев. Потом Володя встретил Александра Александровича в Париже, стал к нему приходить и познакомился с Андрэ, которая сначала невзлюбила его.

– Он слишком хорошо говорит по-французски, – объяснила она Александру Александровичу. – Он никогда не ошибается, у него такие длинные и красивые фразы – и он так невыносимо правильно произносит и так сложно говорит.

Когда Александр Александрович сказал это по-русски Володе в присутствии Андрэ – она, начинавшая понимать по-русски и догадывавшаяся, о чем идет речь, внимательно смотрела на обоих. – Володя улыбнулся и ответил, обращаясь к ней:

– Vous avez tort, Andrée, voyons[1]. Я говорю так «красиво и сложно», потому что недостаточно хорошо знаю ваш язык. Вы понимаете? Я – как человек, попавший в чужую квартиру: я знаю назначение всех предметов, которые в ней находятся, но я не хозяин, я с ними слишком бережно и неумело обращаюсь.

И Андрэ примирилась с Володиным французским языком. Иногда Александр Александрович просил Володю развлечь Андрэ: – Поведите ее в кинематограф, а то она все со мной да со мной.

– Andrée, nous allons au cinéma. – Avec vous? – Mais parfaitement. – Et Alexandre? – Le vieux restera à la maison[2].

Они вышли в тот раз на улицу, был дождь. – Вы знаете, Андрэ, когда идет дождь – вы заметили? – такое впечатление, что все струится, – здания, улицы, все; и вдруг вам начинает казаться, что весь этот каменный мир сдвигается и уплывает, что-то вроде того давнего человеческого представления, которое должно было создать миф о потопе. Я бы даже сказал, что это грустно, Андрэ.

– Âme sensible, allez![3]

Она была очень насмешлива – и чувствительна. Сначала она была только насмешлива. Но потом, после нескольких разговоров, она стала доверчивее. – Я теперь никогда не буду счастлива, Володя, – говорила она. – Вы подумайте, я живу в такой необыкновенной атмосфере, в таком постоянном душевном напряжении. После Александра мне все другие кажутся ничего не понимающими людьми. Я знаю, что он, может быть, сумасшедший, но вне этого я не могу теперь жить и никогда уже не смогу, наверное. Но вы тоже сумасшедший, Володя, иначе о чем бы вы с ним разговаривали?

– Сумасшедший? О, Андрэ, бесконечно меньше и совершенно иначе. Я просто мечтатель.

---

[1] – Вы ошибаетесь, Андрэ, понимаете (*фр.*).

[2] – Андрэ, мы идем в кино. – С вами? – Конечно. – А Александр? – Старина останется дома (*фр.*).

[3] – Идемте, чувствительная душа! (*фр.*)

– Да, может быть. Но и Александр, и вы – я никогда не видела таких людей. Я выросла в совсем иной среде. – И она рассказывала Володе о своем детстве в Авиньоне, – строгий дом, мать, братья – это нельзя, это недопустимо, это неприлично, платья должны быть такой длины, – как если бы самые длинные платья могли превратить то, что находится под ними, в нечто другое, совсем приличное, совсем comme il faut[1] – а вместе с тем, под самым длинным платьем все то же, что под самым коротким.

– Андрэ!

– Да, мой дорогой.

– Я знаю, Андрэ, я читал о вашем детстве. Я мог бы написать книгу о вашем детстве. Именно так, именно Авиньон, и строгость, и провинциальная французская тоска, и непреодолимое желание сделать что-то абсолютно абсурдное и не comme il faut; и эти холодные комнаты с высокими синими окнами и узкой и твердой кроватью. Да, Андрэ?

Они сидели после кинематографа в угловом кафе; у себя наверху Александр Александрович работал над срочным чертежом. В кафе было почти пусто, они заняли столик в самом далеком углу; и, смешиваясь с трамвайным звоном, до них доходила музыка – скрипка и рояль. Андрэ была очень чувствительна к музыке, она иногда почти заболевала от назойливого мотива, и Александр Александрович говорил, что вся ее жизнь тогда подчинялась этому произвольному ритму, и музыка шла и развивалась, как необычайно удивительное в своей рассказывательной, скользящей рапсодии объяснение всего – сомнений, остановок, высокого синего неба – летом с Александром Александровичем на Ривьере – над морем, в прозрачном солнечном блеске.

– Вас любили женщины, Володя?

Володя вздрогнул от неожиданности. Обрывок мелодии пролетел и скрылся, оставив за собой звуковую, смутную тень воспоминания.

– Нет, Андрэ: ни одна женщина никогда не любила меня. Да, конечно, – сказал он, встретив ее вопросительный взгляд. – Но не любя, Андрэ, а так, по-иному.

[1] комильфо (*фр.*).

– И вы не знаете?..

– Кажется, нет, Андрэ.

Она молчала некоторое время; за нее печально говорила музыка – она лилась, как последний, стихающий дождь, она уходила как река и не оставляла никакой надежды.

– Я тоже долго не знала этого, – сказала наконец Андрэ. – Ничего, что я говорю вам такие вещи?

– Нет, Андрэ, это музыка говорит.

– Да, может быть. Но я это узнала. Так свежо, глубоко и прекрасно, как самый лучший сон. Я не умею рассказать. Володя, вы бы это сделали лучше меня.

– Я этого не знал, Андрэ.

Она пожала ему руку – с сочувствием; они вышли из кафе, звуковой туман стелился за ними, смешиваясь с серым воздухом влажной ночи. На четвертом этаже ярко светилось окно: на секунду к нему приблизился высокий силуэт Александра Александровича и исчез.

– Спокойной ночи, Володя.

Он постоял некоторое время, глубоко задумавшись. Горели фонари, шел дождь, не переставая. Ему стало холодно и сразу захотелось спать – он остановил такси и, дремля по дороге, доехал до дому.

В один из вечеров февраля Володя получил письмо из Берлина от Аглаи Николаевны.

«Милый друг, я надеюсь, что вы не сохраните обо мне слишком дурного воспоминания. Я пишу – воспоминания, потому что, если нам еще суждено встретиться с вами, то не так, как раньше, как в эти вечера, когда вы приходили ко мне, приносили белые розы – и у меня никогда не хватало жестокости вам сознаться, что это единственные цветы, которых я не люблю, – и потом сидели до поздней ночи. Я должна была бы рассказать вам все раньше, но я уверена, что так лучше. По крайней мере, то время, которое вы пробыли со мной, не было отравлено никакими сомнениями и даже – может быть – было, как вы гово-

рите, «извнутри освещено» какой-то, скажем, очень милой надеждой».

Володя прочел эти строки, и им сразу овладело давно знакомое двойное чувство: первое – это холодок внутри и сознание смертельной, непоправимой потери, второе – точно кто-то, насмешливо сочувствующий ему, ей и себе, говорил: это следовало предвидеть: судьба всех иллюзий всегда одинакова. Он прочел дальше: Аглая Николаевна объясняла, что в одном письме она не может изложить всю биографию и что, впрочем, не видит в этом надобности; что, во всяком случае, ее жизнь связана с другим человеком, что Володя должен это понять, не сердиться, «n'avoir pas de rancune»[1] и что она, со своей стороны, желает ему счастья и успехов.

Володя положил письмо в ящик стола и задумался. Кончик письма выглядывал наружу, ящик был набит газетами, рукописями, конвертами и всяким бумажным хламом, который Володя возил с собой повсюду, никогда туда не заглядывая, но не решаясь с ним расстаться. Он не знал, о чем он думал: когда через полчаса того, что он называл душевным молчанием, он вернулся к обсуждению этих вещей, он с удивлением заметил, что мысль об Аглае Николаевне потеряла свою болезненность. И только печаль, постоянная печаль стала сильнее и прозрачнее, – но это не было сожалением об Аглае Николаевне, это была печаль вообще, но только вызванная сейчас этим эпистолярным исчезновением. Голос Вирджинии позвал Володю в столовую, он вышел из своей комнаты, точно оставив там тающее облако грусти, – и за столом смеялся шуткам и аппетиту Николая.

* * *

Подобно тому, как всякое напряжение должно рано или поздно найти себе выход, как нагреваемая вода взрывает тяжелые стальные стенки котла, как ломается лед на реке со страшным пушечным шумом – подобно этому всякий период человеческой жизни, состоящий из постоянно

[1] «не таить зла» (*фр.*).

накопляемого отчаяния, бессилия что-то сделать, тоски и задыхающегося, безнадежного ожидания невозможных вещей, – должен кончиться либо смертью и тишиной, либо катастрофой. Так думал Артур в последнее время. В течение двух лет он не знал ни одного дня душевного спокойствия. Он метался из стороны в сторону: ездил в Англию, занимался боксом, погружался в книги, проводил целые дни в воде, тренируясь в плавании, – и все не мог забыться. Однажды, шагая беспечно по улице, он встретил Одетт. – Здравствуйте, Артур, – сказала она своим обычным голосом, которым разговаривала почти со всеми мужчинами – так что со стороны можно было подумать – по этому звуку ее голоса, – что ее с Артуром соединяет долгая любовь и множество одинаково понятых чувств, – почему вас нигде не видно? Куда вы идете? – Никуда, собственно.

Она держала в руках какие-то свертки. – Помогите мне это нести, и идем ко мне обедать, voulez-vous?[1] – Я боюсь вас стеснить. – Ne dites pas de bêtises, venez[2]. Будет еще два человека.

Артур послушно взял ее пакеты и пошел. В ее квартире – квартира была особенна тем, что всякий, кто туда входил, тотчас же испытывал желание лечь – почему, этого никак нельзя было объяснить, что это было именно так; и хотя там были кресла и стулья, но они носили явно второстепенный характер, и главными предметами казались именно диваны – он застал одного молодого композитора, с которым был давно знаком, застенчивого, краснеющего и очень талантливого человека, и еще одного «субъекта», как внутренне назвал его Артур. Субъект был отлично одет, носил маленькие черные усики; глаза у него были миндалевидные и сладкие, волосы черные, как черный лак, такие же блестящие и подбритые выше висков, чтобы лоб казался больше. Во время обеда он рассказывал на плохом французском языке – он был австриец – о своих «приключениях» в больших гостиницах разных городов, на курортах, на море, вообще везде. На лице композитора

---

[1] согласны? (*фр.*)

[2] – Не говорите глупостей, идем (*фр.*).

после первого же его рассказа установилось выражение смертельной скуки, так и не сходившее до конца. Артур почти не слушал его, поглощенный собственными мыслями. Одна Одетт живо интересовалась всеми подробностями и вместе с рассказчиком переживала, казалось, все эти приключения.

– Да, – говорил этот человек, он был доктор, фамилия его была Штук, – но самая замечательная женщина, которую я знал, была венка, ее звали Виктория, Виктория Тиле.

Артуру показалось, что все поплыло в его глазах, ему сразу стало необычайно душно, лицо его мгновенно побледнело. Но он сидел в тени, и так как он не сделал ни одного движения, то никто ничего не заметил.

– Она была, к сожалению, просто женщиной легкого поведения, – продолжал доктор. Слова его приглушенно доносились до Артура. Бессознательно напрягая все мускулы своего тела, сделав над собой страшное усилие, чтобы сдержаться, Артур сам с удивлением услышал собственный вежливый голос, просивший доктора продолжать свой интересный рассказ.

– ...Очень, очень сентиментальна... Какой-то роман с молодым англичанином, студентом, о котором она рассказывала в самые, вы понимаете, неожиданные и неподходящие минуты, – пот катился по изменившемуся лицу Артура, – которого она, понимаете ли, любила больше всего в жизни, но от которого ушла, так как считала себя недостойной стать его женой. Англичанин был, по-видимому, глуповат, насколько я сумел составить себе о нем представление. Со мной она хотела остаться, в данном случае, – доктор засмеялся, – она не считала себя недостойной. И я должен был указать ей на ее истинное положение и на то, что я не могу позволить себе роскоши... вы понимаете, я женат, меня знают в Вене, и вдруг... Затем, когда нужно было расставаться, она попросила у меня денег, ей, как она сказала, было нечем платить за квартиру. Милая моя, мне-то уж не следовало бы рассказывать такие вещи, я ведь не англичанин. Я не англичанин, – с удовольствием повторил Штук. – И я уехал. Но она была очень хороша.

Артур не помнил, как он вышел вместе с молодым композитором и доктором, как он дошел с ними до avenue de la Motte Picquet, где они расстались. Но, вспоминая потом все, что произошло, он с удивлением убеждался, что не сделал ни одной ошибки.

Был поздний час, улицы были пусты. Он подошел к доктору Штуку, когда тот поднимался к Трокадеро по avenue du Président Wilson. Он взял его за плечо. Доктор с удивлением обернулся. Артур навсегда запомнил это испуганное лицо с маленькими усиками и подбритыми выше висков волосами.

– Вы знаете, что вы мерзавец? – почему-то по-немецки сказал Артур. Больше не было произнесено ничего. Артур не мог выговорить ни слова и только сжимал все сильнее и сильнее шею доктора своей рукой в кожаной, похрустывающей перчатке. Неподалеку отчаянно и часто – как казалось тогда Артуру – звонил колокол. Доктор уже перестал хрипеть, тело его обвисло, руки опустились в последний раз. Артур протащил его несколько шагов. Навстречу ему, спускаясь по тротуару, прошел пожилой рабочий с сумкой за плечом, из которой выглядывало горлышко бутылки. Он тупо и вместе с тем боязливо посмотрел на Артура и молча прошел мимо, ускоряя шаги. Артур бросил доктора, затем, подумав секунду, вытащил из его карманов бумажник с документами и деньгами, два письма, несколько квитанций и записанных адресов, pochette и надушенный носовой платок, потом засунул руки в карманы и медленно пошел наверх. Была неожиданно теплая февральская ночь, мягко блестели звезды. Артур дошел до дому, не встретив ни одного человека. Он вошел в кабинет, лег на диван и мгновенно заснул.

Едва за Артуром закрылась входная дверь дома, где он жил, на улице показался небольшой полицейский автомобиль. Доехав до неподвижно лежащего тела доктора, шофер замедлил ход и вопросительно обернулся назад: один из полицейских пожал плечами – и автомобиль поехал дальше. Но еще через десять минут двоих полицейских на велосипедах заинтересовал человек, зимней ночью лежащий на каменном тротуаре. Они подошли

к нему вплотную, один из них потряс мертвое плечо, и еще через некоторое время санитарный автомобиль увез доктора Штука, победителя стольких женских сердец.

Артур прочел на следующий день в вечерней газете в отделе faits divers[1] о найденном трупе на avenue du Président Wilson, об убийстве и невозможности установить личность убитого. Осмотр тела, не потребовавший даже вскрытия, показал, что смерть последовала от удушения. Прошел еще день, Артур ждал появления свидетельского показания старого рабочего, но показания не было. Он отправился в морг и увидел голое тело доктора – ошибки быть не могло. Он вышел оттуда с некоторой тяжестью ниже груди и легкой головной болью. Документы, бумажник и письма доктора – среди них оказался конверт с адресом Виктории – давно были сожжены в камине при помощи сильного пламени паяльной лампы, которую Артур купил на следующий день в большом магазине на rue de Rivoli. Убедившись наконец, что единственный свидетель того, как он тащил тело доктора, молчит, не желая, по-видимому, ни осложнений, ни допросов, ни фотографий в газетах, – старому рабочему было совершенно все равно, кто и почему убит, – Артур понял – что это преступление останется нераскрытым, как тысячи других. Он был у Одетт и спросил ее о докторе – она ответила, что доктор должен был на следующий день уехать в Вену и почему-то не зашел попрощаться; впрочем, она была уверена, что он просто не успел этого сделать. Тот факт, что несколько дней тому назад на avenue du Président Wilson было найдено тело задушенного человека, остался ей неизвестным – она не читала газет; впрочем, даже если бы она прочла об этом, она все же была бы чрезвычайно далека от предположения о том, что задушен был именно доктор Штук, а не кто-нибудь другой из четырех миллионов жителей Парижа.

Так кончилась жизнь доктора Штука, и точно так же, как Одетт, никому другому тоже не пришло бы в голову искать в очередном трупе парижского морга, перенесенном потом в анатомический театр, – доктора, милого

---

[1] хроники (*фр.*).

Макса, который так хорошо шутил, так легко относился ко всему и у которого было такое великодушное и любвеобильное сердце. Доктор Штук, Макс Штук, австрийский подданный, врач по женским болезням, принимавший ежедневно от двух по шести, уехал однажды вечером с Westbahnhof[1]: поезд, увезший его, много раз возвращался и снова уходил с того же Westbahnhof, но никогда больше из-за стекла синего вагона «Compagnie internationale des Wagons-lits et grands express européens»[2] не показалась улыбающаяся физиономия Макса с маленькими усиками и выбритыми висками. И только через месяц после его отъезда широкоплечий, очень хорошо одетый мужчина, проходя мимо его дома, остановился на секунду перед медной дощечкой «М. Штук, доктор по женским болезням. Прием ежедневно, кроме воскресения, от двух до шести», глаза его приняли сумрачно-насмешливое выражение – и он пошел дальше большими, размашистыми шагами; и он был единственным человеком, точно знавшим, почему доктор Штук не примет больше ни одной пациентки, ни от двух до шести, ни в какое бы то ни было другое время.

* * *

Бывают особенные дни в Европе, чаще всего в начале холодной весны, под дождем. С утра он струится сверху вниз, стекает небесной водой с подбородков каменных героев, безмолвных и неподвижных путешественников сквозь долгие годы войны, восстаний, задыхающегося мирного быта еще сытых городов, он тихонько шумит и капает, он течет в тысяче различных направлений; потом с наступлением мутного европейского вечера, затянутого туманным и сумрачным небом, он темно сверкает в свете фонарей; и в стихающем к ночи движении городов – людей, автомобилей – он звучит особенно грустно и неповторимо, все с той же непередаваемой влажной печалью. В такие вечера города грустны, музыка, внутрен-

---

1 Западного вокзала (*нем.*).

2 «Международная компания спальных вагонов и европейских экспрессов» (*фр.*).

няя музыка жизни безмолвна, каждый фонарь похож на маяк внезапно возникшего и беспредельного черно-синего моря с каменным тяжелым дном; и издалека в нем движутся, расплываясь сквозь туман и дождь, чудовищные, мутные фигуры прохожих, и ночью, уже в глубокие часы медленно-медленно приближающегося утра, начинает казаться, что тысячи лет тяжело и влажно проплывают мимо окна и что никогда не кончится – как никогда не прекращалась – эта бесконечная ночь, пронизанная миллиардами сверкающих и холодных капель.

Именно в такую мартовскую ночь, ухватившись руками за бархатные занавески, заняв своей громадной фигурой весь темный просвет, Артур глядел сквозь струящееся окно высокой гостиницы вниз, на мостовую, где вскакивали белые пузыри от дождя. На следующее утро он должен был увидеть Викторию. Он не мог заснуть и то принимался ходить по комнате, то приближался к окну и опять смотрел, как бесконечно идет и падает дождь. Было тихо; только глубокий металлический звон часов через равные промежутки времени звучал как напоминание и умолкал, и тишина снова клубилась в комнате. – Макс Штук, доктор по женским болезням, – опять подумал Артур, и снова лицо с усиками и выбритыми висками мелькнуло и исчезло. Да, с первой же минуты, когда доктор сказал – ее звали Виктория Тиле, – Артур знал, что он убьет его. Он вспомнил, как сразу отяжелели его руки, как пересохло горло и как с самого начала все было известно. Точно в бреду поплыли тогда навстречу улицы, дома, тротуары, такие незнакомые и чужие, – хотя он хорошо знал, знал до последнего камня эту часть Парижа. И приближение к доктору, там, на avenue du Président Wilson; расстояние между ними с каждой секундой уменьшалось – вплоть до наконец наступившего мгновения, когда рука Артура легла на плечо доктора. В ту минуту – Артур твердо это помнил – он не думал ни о Виктории, ни о своей любви, он забыл о них, точно их никогда не существовало, и если бы между ним и доктором вдруг появилась бы фигура Виктории, это ничего не изменило бы и не остановило бы Артура. И испуганное лицо старого рабочего, его одежда

и сумка с жалко высовывающимся горлышком бутылки и сухой, непрерывный звук – ноги доктора волочились по тротуару, – все это Артур видел сейчас точно со стороны. Как, в силу какого расчета – в то время как в его голове не было, казалось, ни одной мысли – он спокойно опустошил карманы доктора, чтобы сделать правдоподобной абсурдную версию убийства с целью ограбления и помешать полиции установить личность убитого? Как, почему вообще все это могло произойти? Ни одной секунды Артур не жалел доктора – доктор не заслуживал лучшей участи, это было бесспорно и несомненно. Но все же откуда появилось это непреодолимое чувство убийства, откуда возникло это ощущение тяжелеющих рук и сжимающегося горла – и когда он знал уже нечто похожее?

– Виктория! – вдруг сказал Артур, глядя восторженными, широко раскрытыми глазами в окно, – точно поняв и забыв одновременно, в одну короткую секунду, все, что произошло.

Он подходил к ее дому, когда было около девяти часов утра. Много времени спустя он вспомнил, что заходил по дороге в кафе и пил кофе, что движение на улице было больше обычного; несколько человек задело его и извинилось – он плохо слышал их и не сразу понимал, в чем дело. Наконец он подошел к дому, в котором жила Виктория. Дом был высокий и белый с легкими балконами и большими окнами. Артур вошел через стеклянную дверь и спросил очень тихим голосом, где живет фрау Тиле. – Второй этаж, налево.

Только второй этаж! Артур думал, что это выше, что надо еще идти некоторое время, поднимаясь все выше и выше, пока наконец... Он не мог себе представить встречу с Викторией, не знал, что он скажет, как он посмотрит на нее; он знал только, что теперь уже ничто не могло бы задержать его. Из-за двери первой квартиры слышались звуки рояля. Незнакомый мотив в одной проскользнувшей

ноте был похож на карусельный вальс; и он уносил с собой первый вечер в Вене, и белое платье Виктории, и ее первые слова. Еще один этаж, дверь и белая кнопка звонка. Артур нажал ее и, забывшись, долго не отнимал пальца – и звонок дребезжал и катился по проснувшейся квартире. Незнакомое женское лицо выглянуло оттуда, Артур вошел; из дальней комнаты в освещенную переднюю проходил легкий и нежный сумрак спальни. – Что вам угодно? Что вам угодно? – повторил, точно в назойливом сне, женский голос возле Артура. Снизу еще раз всплеснул в воздухе обрывок музыки. Не отвечая, Артур сделал несколько шагов и остановился на пороге комнаты. Со света он неясно видел широкий диван, белые потоки простынь и волосы Виктории. Он не мог идти дальше. Приподнявшись на локте, она всматривалась едва проснувшимися глазами в человека, стоявшего на пороге. Это продолжалось, может быть, одну секунду, потом раздался пронзительный, непохожий на звук обычного голоса Виктории, нечеловеческий крик: – Артур! и следующее, что он увидел – он не знал, как это вышло, – это были глаза Виктории у его лица. Он стоял, не сняв пальто, держа на руках ее тело.

– Артур! Артур! – повторяла она, точно ища в этом имени объяснение того, что сейчас происходило с ней и что было похоже на то, как если бы она летела в мягкую головокружительную пропасть, стены которой гудели, как колокольная медь. – Артур, как я ждала тебя! Артур, – голос ее изменился от проскользнувшего испуга, – пусти меня, я в пижаме, это стыдно.

Он послушно опустил ее на пол, но она уже забыла про пижаму и, положив руки на плечи Артура, продолжала говорить:

– Артур, я знала, что ты вернешься. Ты не мог не прийти, правда, Артур? Как я ждала тебя!

– Виктория! – Это было первое слово, которое он произнес. Он хотел сказать, что теперь уже никогда не уйдет от нее, что они уедут из Вены и что на свете существует самое настоящее счастье, которое дано испытать лишь немногим людям среди миллионов, которые... Он хотел сказать вообще очень много. Но он ничего не говорил и

только сжимал все сильнее и сильнее ее тело. – Ты задушишь меня, Артур, – сказала она с жалобной улыбкой, трогательной и покорной, – ты забываешь, как ты силен.

Артур смотрел в ее глаза и молчал.

– Ты думал обо мне, Артур? Ты не забывал меня? Я все точно носила тебя в себе, как ребенка, ты понимаешь, мой мальчик? Это, наверное, смешно, Артур, я говорю «мальчик» о таком гиганте, как ты, Артур, я не смела, я не думала: но если бы ты не пришел, моя любовь была бы с тобой повсюду.

Он так и не нашел слов, они исчезли, повелительно уносимые этим последним путешествием, они были далеки, бледны и ничего не выражали; и сколько ни глядел Артур, не отрываясь, в глубину этих минут, он не видел ни одного слова, – было только далекое движение, точно в темноте неизвестного мира, более беспредельного, чем все, что он знал до сих пор, и совершенно невыразимого.

* * *

Вокзал неузнаваемо изменился, свежо и сильно сверкали синие молнии рельс, катился удаляющийся и возвращающийся грохот колес, летели птицы вдоль железнодорожного полотна, и волосы Виктории – у открытого окна – улетали вслед за ними золотым, прозрачным облачком; на первой остановке в поле сладко гудели черные столбы, как шмели над цветами в знойный день, и Артур вспомнил, как давным-давно, еще маленьким мальчиком он читал о песенке земли. Она послушно расстилалась вокруг, то черная, то зеленая; глубокие реки пролетали под грохотом мостов, слоились красные черепичные крыши, и наконец, мартовским вечером, холодным и сверкающим, поплыли навстречу глазам дома улицы La Fayette, огни Opéra и весенние просторы avenue Kléber.

* * *

– Вот мы продаем автомобили, Володя пишет роман, – говорил Николай за обедом. – Автомобили продаются, роман пишется...

– Дальше, дальше, Коля.

– Вирджиния читает книги, Володя пишет роман...

– Волга впадает в Каспийское море, – сказал Володя.

– Именно. Вот ты меня прервал, и я потерял нить мысли. Да, вспомнил. Я хотел сказать, что все наши человеческие дела суть ничто и прах, и доказательство – это что после зимы наступает весна...

– А после весны лето, вслед за которым осень.

– Да, и происходит это так, как если бы не было ни романа, ни автомобилей, ни вообще ничего. Медведь выходит из своей берлоги, змея выползает из-под скалы...

– Ты скажи прямо, в чем дело.

Вирджиния знала, что Николай не произносил бы такой речи, если бы за ней не должен был последовать какой-нибудь план или проект; и судя по тому, что он говорил о погоде и весне, следовало предположить, что он задумал куда-нибудь поехать. Но Николай не уступал.

– У римских ораторов, как это известно всякому бывшему гимназисту, – Вирджиния дернула за рукав Володю, собиравшегося прервать брата, – итак, у римских ораторов речь была построена так: вступление – раз, изложение – два, заключение – три. Не желая быть голословным, я считаю достаточным сослаться на знаменитую и довольно каверзную в синтаксическом смысле речь Цицерона против Катилины.

– Николай!

Но Николай продолжал говорить: в его речи фигурировали и Гракхи, которых он вспомнил одновременно с Цицероном, и соображения о шоссейных дорогах, и хвалебное описание природы – «понимаете, тихий остров в середине реки, а на острове – камыши и в омуте лилии и шелест травы». – Это в омуте-то у тебя трава шелестит? – Где надо, там и шелестит, – невозмутимо сказал Николай. Другими словами, Николай предполагал в ближайшее время – это происходило в конце мая – предложить Артуру принять участие в автомобильной поездке за город, скажем, в окрестности Фонтенебло. Можно захватить с собой купальные костюмы. Было решено, что Володя отправится к Артуру и пригласит его. Володя раскланялся и ушел.

За дверью квартиры Артура слышался смех и лай, сразу оборвавшийся после того, как раздался звонок. Горничная открыла дверь, и в эту же секунду показался Артур.

– А, Володя! Милый друг, тысячу лет вас не видел. Здравствуйте. – У него было гибкое и сильное рукопожатие, которое с первого же раза расположило к нему Володю.

– Что это у вас тут – лай и хохот?

– Это моя жена с собакой.

Только тогда Володя вспомнил, Николай за столом говорил, что встретил Артура с молодой женщиной в белом и что она оказалась его женой. – А она красивая? – спросила Вирджиния. – Замечательная, – сказал Николай, – красавица. – Брюнетка или блондинка? Николай задумался. В самом деле, брюнетка или блондинка? Он решительно не помнил этого. – Она была маленькая, «изящная, как статуэтка». – La comparaison est plutôt usée[1], – заметил Володя. – Да, уж ты у нас известный стилист – с черными глазами, большими, как блюдечки. – Как у андерсоновской собаки? – смеялась Вирджиния. – Да, только очень красивыми. – Впоследствии Вирджиния убедилась, что описание Николая совершенно не соответствовало действительности, что жена Артура была высокая, а не маленькая и что глаза ее были сине-серые. И хотя она шутила над Николаем и его ненаблюдательностью, но эта резкая неправильность описания доставила ей удовольствие; и, поймав себя на этой мысли, она с досадой пожала плечами. – Ты такой глупый, Николай, – говорила она ему вечером, когда они остались вдвоем, – ты такой глупый, как же ты не видел, что она высокая и что у нее волосы светлые с золотым отливом? А меня ты мог бы описать? Ну, какие у меня глаза? – Не знаю. А нет, знаю. – Какие? – Самые лучшие. – Она поцеловала его и, подумав, прибавила: – А Володя не ошибся бы. – Ну, ведь он специалист. – Почему? – Он писатель.

---

[1] Пожалуй, избитое сравнение (*фр.*).

– ...Да, так на какой же день это назначено? – спрашивал Артур. – На следующую пятницу? Я спрошу Викторию, кстати, представлю вас. Одну минуту.

Он вернулся в кабинет вместе с Викторией. Володя внимательно на нее посмотрел. Первое впечатление, которое она производила, было – что это неправдоподобно, что это экранное изображение, а не живая женщина. Блистательная молодость Виктории сразу заставила Володю вспомнить свои гимназические годы, lady Hamilton, Дину и долгие романтические мечты, целый мир – музыки, женщин, медленного разгона синих волн далекого, воображаемого моря. Это ощущение с такой силой охватило Володю, что он не сразу ответил на первый вопрос Артура, который спрашивал, говорит ли Володя по-немецки.

– Да, да, конечно. – Володя встряхнулся и заговорил по-немецки, чему Виктория по-детски обрадовалась. Проект пикника она встретила с восторгом, и Володя ушел, условившись о том, что в назначенный день в восемь часов утра Вирджиния, Николай и он будут ждать их у подъезда Артура. Провожая Володю, Артур вдруг, неожиданно для самого себя, спросил его:

– Володя, вы свободны завтра часа в два дня?

– Конечно.

– Хотите встретиться? Я вас давно не видел, мы поговорим.

– Хорошо. В два часа у метро Трокадеро.

– Entendu[1].

Все эти месяцы Артур находился в состоянии, которого он никогда не испытывал. Он не знал, что жизнь заключает в себе столько радости, что самые незначительные вещи, которые раньше он делал механически, могут доставлять столько удовольствия – все, вплоть до хождения в магазины перчаток, белья, материй, куда его водила Виктория. Ему казалось, что вся его жизнь до этого вре-

[1] – Договорились (*фр.*).

мени была чудовищно ошибочна и бессмысленна и что только теперь он жил впервые.

Вечер после визита Володи был такой же густой и счастливый, как другие, неясный и теплый; мягкий струился бордюр обоев на стене; Виктория в мохнатом белом халате, выйдя из ванны, сидела на коленях Артура. – Мы самые счастливые в мире, Виктория, правда? – Он почему-то вспомнил, – может быть, по противоположности ощущения тепла с тогдашним ощущением холода – Россию, позднюю осень, ледяной ветер над пустынной мостовой, пулеметную стрельбу, катившуюся вдоль стен, лохматых, нечищеных лошадей красной кавалерии, нетопленую комнату, заплаканное лицо квартирной хозяйки – какой вы счастливый, что уезжаете в Англию, только дал бы Бог доехать благополучно – и высокие волны Черного моря, и дядю, такого же широкого и громадного, как он сам, отчаянного, веселого и насмешливого. И путешествие сквозь этот незабываемый российский ледяной вихрь.

– Поезда не идут, пути взорваны.

– Артур, мы едем верхом.

И вот – два невысоких коня с непривычными казацкими седлами и отчаянный карьер через пустынную степь с ледяными лужами и сильным ветром в лицо, от которого захватывало дыхание и глазам становилось больно.

– Едем, Артур? Не устал ли мой бедный, хрупкий мальчик? – И дядин хохот летел по ветру. – Если лошади пристанут, мы их понесем, Артур? Ты видишь, они совсем маленькие. Ну, едем. – И после короткой остановки – быстрая дробная рысь. Пальцы ног Артура застыли, рука не чувствовала поводьев, но никогда он не сказал бы дяде, что он замерзает. – Молодцом, Артур, еще немного тренировки, и из тебя выйдет настоящий человек, как твой отец, а не бабий угодник, каким бы сделала тебя твоя мать. – И тотчас же по приезде в маленький уездный город, в единственной гостинице с разбитыми стеклами окон, заклеенными бумагой, – три раунда бокса: два синяка на

лице Артура, опухший глаз у дяди и на следующее утро – опять такое же путешествие. – Это тебе не салон Констанции, – салоном Констанции, матери Артура, дядя называл все, что имело отношение к женщинам, которых он терпеть не мог и в светской жизни. Тогда Артур разделял его взгляды. Что сказал бы дядя теперь, увидев Викторию на коленях Артура? Салон Констанции? А что сказала бы мать? Артур представил себе ее медленные движения, рассчитанные повороты головы, изученные интонации: – Артур, но эта комната ужасна. Кто мог выбрать такие обои? Артур, разве можно покупать гладкие ошейники для собак? Собака должна быть декоративна, Артур. Все должно быть хорошо подобрано, декоративно и заранее известно. «В этом месте он должен остановиться и сказать: простите, я сделал два лишних шага». Больше всего мать Артура любила повторять знаменитый рассказ об офицере, прискакавшем с докладом к Наполеону, изложившем все, что было нужно, и покачнувшемся в седле.

– Vous êtes blessé?[1]

– Non, Sire, je suis mort[2].

– Удивительно, это совсем по-английски, – говорила она. Артур вспомнил ее тщательное французское произношение:

– Vous êtes blessé? – Non, Sire, je suis mort.

– Да? Из Вены? Но она не говорит по-английски? И даже не свободно по-французски? Это поразительно. У нее большое приданое, Артур? У вас может быть ребенок? Но это невозможно. Значит, я буду бабушкой? Но разве ты не понимаешь, что это абсурд, Артур»?

Володя вернулся домой после короткой прогулки вечером. Николай и Вирджиния были в театре, маленькую девочку давно уложили спать; в квартире было тихо, только рояль изредка чуть-чуть позванивал, когда по

[1] – Вы ранены? (*фр.*)

[2] – Нет, сир, я мертв (*фр.*).

улице проезжал грузовик. Володя сел было писать, но ничего не получалось. Он несколько раз вывел свою фамилию, изменяя росчерк – В. Рогачев, В. Рогачев, В. Рогачев, потом вкось написал:

«Что день грядущий мне готовит?» –

и задумался. Легкие шаги по коридору вдруг привлекли его внимание. Он поднялся, открыл дверь и увидел няню, молодую девушку, только что вышедшую из ванной. Он посмотрел на часы: было половина десятого. В коридоре было темно; и, когда няня поравнялась с комнатой Володи, он заметил, что на ней был только легкий капот.

– C'est vous, Germaine?[1] – сказал он вдруг изменившимся голосом. Он видел ее белое тело у шеи, где сходились полы капота, и руки – рукава Жермен были засучены, – ее ноги без чулок. – Qu'est ce que vous faites? – Je rentrais chez moi, monsieur Vladimir. – Venez donc pour un instant[2], – сказал он, не узнавая своего голоса и понимая, что он не может сейчас иначе говорить и действовать. В глазах Жермен появился испуг, и за этим испугом Володя заметил еще что-то, точно это был двойной взгляд. – Может быть, мне так кажется, – успел он подумать, – может быть, это просто отражение моего же желания? Губы его пересохли, он провел по ним языком: неподвижные глаза Жермен были направлены на него с тем же двойным выражением. – Mais venez donc, n'ayez pas peur, voyons[3]. – Он взял ее руку выше локтя, и – хотя он знал это раньше и Жермен знала это так же, как он, – сейчас это стало неминуемо. Он поднял ее на руки, капот опустился и повис, открыв все ее тело. – Laissez moi[4], – сказала Жермен, но по тому, как она вздрагивала в его руках, Володя чувствовал, что ее слова не имеют никакого значения и никакого отношения к тому, что происходило.

---

[1] Это вы, Жермен? (*фр.*)

[2] Что вы делаете? – Я ухожу к себе, месье Владимир. – Подождите минутку (*фр.*).

[3] Ну подойдите, не бойтесь (*фр.*).

[4] Оставьте меня (*фр.*).

– Vous vous déshabillez?[1] – Жермен прошептала это с тем же невыразительным ужасом, с каким она сказала: laissez-moi.

Она ушла в двенадцать часов – за несколько минут до того, как открылась входная дверь и голос Николая сказал:

– Тебе не хочется есть, Вирджиния? Нет? А мне очень хочется.

Володя лежал в темноте, ощупывая свое тело. – Кровоподтек на шее – c'est plutôt idiot[2]. И зачем на свете существуют женщины?

– А у Володи темно, – сказал голос Вирджинии. Голос начался за шаг до двери и замолк за дверью. – Неужели он спит в это время?

– Он настолько ненормален, что от него можно всего ожидать, – ответил из темноты голос Николая.

Но Володя не спал. Далекое детство вспомнилось ему, когда он услышал, как в столовой звенели вилки, ножи и тарелки. Так в давние, безвозвратные времена он слышал из детской, как мать возвращалась из театра, из такого чужого и блестящего мира бархатных лож и люстр, неузнаваемая в вечернем платье, нарядная и почти чужая женщина, непохожая на всегдашнюю маму. И чтобы убедиться, что это все-таки она, он звал ее, – она входила в детскую на цыпочках и обнимала его:

– Спи, мой мальчик, спи, Володенька.

И тогда он чувствовал, что она была такая же мягкая и теплая, как всегда, только платье обманчиво струилось в полутьме, – чужое до слез, все сделанное из лож, театра и электричества. – А где они были, в каком театре? – вспоминал Володя. – Ах, да, в Marigny, там же, где я видел Артура и его жену. – Володя представил себе белое платье Виктории и смокинг Артура. – Белое – черное, белое – черное, – повторил он несколько раз. Жермен тоже – белое – черное. Как все остальное. Обрывки стихов вспомнились ему.

Он мною был любим, он мне был одолжен
И песен и любви последним вдохновеньем.

---

[1] Вы раздеваетесь? (*фр.*)

[2] идиотизм какой-то (*фр.*).

– А путешествие все продолжается. «Rappelez-vous, vieux amis, mes frères, ces années?..»[1] – откуда это? Что же остается? Несколько соединений звуков, сумевших что-то удержать, воспоминания о нескольких чувствах, выцветающих, как фотографии и перспективы дальнейших странствий. Хорошо было бы остановиться однажды, на берегу светлой реки, в небольшом доме: белое здание, белый песок, белые придорожные камни, белое платье – как развевающийся белый шарф матери Юлиана, который он пригвоздил дротиком к воротам, приняв его издали за птичьи крылья. И вот время заливает все, и целая жизнь потом, как подводное царство, неподвижно стоит на дне, как эти морские леса, растущие глубоко под поверхностью, чуть колыхаемые незримым течением, точно задумавшиеся раз навсегда, точно пронизанные слишком поздним пониманием безвозвратных вещей. – Пониманием? – думал Володя. – Что можно понять? Что все было даром? – Он вспомнил рассказ Артура о своем дяде, который возненавидел женщин, потому что с ним случилась обыкновеннейшая вещь – его невеста вышла замуж за другого, не дождавшись его возвращения: он уехал на год за границу, писал ей пламенные письма и вернулся – как раз вовремя, чтобы узнать, что на этот раз уехала она – в свадебное путешествие. И мать Артура сказала ему фразу, которой он никогда не мог ей простить: – Vous voyez, c'est toujours les voyages qui vous perdent[2].

– Это было зло.

– Да, но почти невинно. И это не все, – сказал Артур. И он рассказал, что муж этой женщины вскоре разорился и пустил себе пулю в лоб, она осталась без средств, с двумя маленькими детьми, и дядя, этот самый дядя, ненавидящий всех женщин и ее больше других, посылал ей ежемесячно деньги. Володя пожал плечами.

– Действительно, подите, разберитесь в этом.

---

[1] «Помните ли вы, мои старые друзья, мои братья, эти годы?..» (*фр.*)

[2] Вас губят путешествия (*фр.*).

– Мне кажется все-таки, что я понимаю, – задумчиво сказал Артур.

– Что же это?

– Я думаю, уважение к собственному чувству, неудачному, но все же лучшему, которое он знал.

Это было незадолго до того незабываемого разговора, когда Артур, неизменно сохранявший внешнее спокойствие, но с лицом, унизанным многочисленными каплями пота от волнения, которое ничем, кроме этого, не выражалось, рассказал Володе историю доктора Штука. Он сам не понимал, почему он это сделал; он просто не мог больше молчать об этом, это душило его. Он знал, конечно, что, рассказывая это Володе, он ничем не рискует. Но и Володя не понимал так же, как Артур, что могло вызвать это необычайное признание. Теперь Володя вспомнил эту историю – и с тем бóльшим вниманием стал думать о ней, что она отвлекала его от мысли о Жермен. – Да, Николай прав: проблем не существует, есть только чувства. Но Николай не знает, что они так же обманны и несущественны, как проблемы, что они тоже вянут и изнашиваются, стареют и умирают. Можно любить и быть неверным – вопрос темперамента и случайности. Можно быть джентльменом и никогда не совершить ни одного дурного поступка – кроме одной биографической подробности: однажды ночью, на парижской улице задушить человека, который не заслуживал иной участи. И вместе с тем Виктория несколько месяцев тому назад принадлежала этому человеку и просила у него денег на квартиру, за которую ей нечем было платить. Какая чудовищная, какая невероятная вещь! Нет, надо отказаться раз навсегда от иллюзии понять и привести хоть в какой-нибудь порядок все эти несовместимые и невероятно соединяющиеся вещи.

– Существование синтетических концепций невозможно. Всякая логическая система предполагает ряд положительных и неизменных величин, вернее, меняю-

щихся лишь в известных пределах, – минимум и максимум, – как в теореме о пределе вписанных и описанных многоугольников.

Это говорил Володе Александр Александрович. Он находил своеобразное успокоение в этих формулах, в этой терминологии; они переставали выражать мнения о психологии или эволюции чувств, они становились строгими, самостоятельными понятиями, с которыми было легче действовать, чем с ответами или желаниями Андрэ или сожалением по поводу того, что у такого-то человека мало денег и много неприятностей.

– Мы должны найти абсолютное, – и Александр Александрович шагал по комнате, держа в руке Библию.

– Знаете, Александр Александрович, мне иногда кажется, что у нас все – как номера в старинном Стамбуле. Вы помните номера в Стамбуле? Кажется, вышло так, что, стремясь к цивилизации, константинопольская администрация предложила гражданам перенумеровать дома и явиться за номерами. Граждане явились, но каждый выбрал себе номер, который ему понравился, – и прикрепил его к своему дому, не интересуясь тем, какой номер у его соседа. И получилось так, что улица начиналась со сто тридцать седьмого номера, вслед за которым шел двадцать четвертый, а потом одиннадцатый и семьдесят третий. Такая же путаница в наших понятиях и чувствах. On ne s'y reconnaît plus[1].

– Руда, руда, – сказал Александр Александрович. Володя не понял.

– Почему руда?

– Потому что вы хотите абсолютных и очевиднейших вещей. Любовь значит любовь, голод значит голод, жажда значит жажда и ненависть значит ненависть. Это как металл – золотая жила в камне. Расплавьте это, отделите золото от камня, это будет чистое чувство – и тогда это Петрарка или Песня Песней. Но в жизни, Володя, в каменном сплаве, это только блестит и исчезает.

---

[1] не разобраться (*фр.*).

И Александр Александрович, который всегда думал образами и самые отвлеченные вещи сводил к изображениям, продолжал:

– Каменистая, пустынная страна, коричневые скалы, круглые, лиловые облака – понимаете, Володя? И ручей с золотым, переливающимся дном – понимаете? И воздух высокий и чистый, как лед. Все точно профильтровано, все настоящее. Любовь значит любовь, жажда значит жажда. Но надо, чтобы это находилось за миллион верст, в идеальном воздушном оазисе, – чтобы туда не проникало ничто извне. И тогда можно было бы – там – понять истинную ценность вещей.

– Да, да, Александр Александрович. Попробуйте объяснить это вашим профессорам.

Володя встретил Александра Александровича – после их расставания в Севастополе, девять лет тому назад, – в Сорбонне, на лекции, после которой он подошел к нему и заговорил. Это была лекция профессора по социологии, которому весь мир представлялся ветвистой сетью социальных систем, озаряемых в редкие минуты профессорского вдохновения par le flambeau de la vérité[1], факелом истины. Кто-то вошел, открыв дверь, – с десятиминутным опозданием, Володя повернул голову и увидел Александра Александровича, которого нельзя было не узнать: его продолговатое лицо, нависшие над глазами веки и легкие, светлые волосы, точно поднятые ветром. Он впервые пришел на лекцию по социологии – Володя знал всех слушателей профессора уже несколько месяцев. Рядом с ним сидела обычно девушка с тугим узлом черных блестящих волос, безжалостно скрученных над затылком; она была богата и красива, у выхода из университета ее ждал автомобиль, увозивший ее с волшебным серебряным хрустом на ту далекую улицу Парижа, где густо цвели каштановые деревья, где по песчаным аллеям проезжали всадники, точно появляющиеся из прошлого столетия и смутно дви-

[1] светоч истины (*фр.*).

гающиеся в туманном утре двадцатого века; где за закрытыми ставнями громадных окон все так же медленно струилась давно устаревшая, давно ставшая несовременной жизнь последних представителей исчезнувшего мира, проводивших дни в тяжелых старинных библиотеках с книгами старых и умных писателей, которые так страшно, так непоправимо ошиблись, создав навсегда рассыпавшуюся легенду о том, каким должен был быть мир. Слушательница профессора неодобрительно смотрела на Володю, когда он улыбался в тех местах, где профессор допускал лирические отступления вроде flambeau de la vérité или feu sacré de la Révolution[1]. Володе стоило сделать небольшое усилие памяти, и тотчас парижская аудитория наполнялась различными людьми, несущими feu sacré и вместо ряда последовательных imparfaits du subjonctif[2] профессора, он слышал крики солдат, и выстрелы, и удаляющуюся канонаду сражений и видел выжженные поля, разрушенные дома, седого почтенного горожанина, убитого шальным снарядом у своего крыльца, в маленьком и тихом городе, где до революции не было, казалось, ничего, кроме пасьянсов, зимы, внуков, бесконечной тяжбы в местном суде, где все звали друг друга по имени и отчеству и где не существовало незнакомых. Там было тихо, хорошо и скучно до той минуты, пока не вспыхнул le feu sacré, неосторожно произносимый профессором, – уничтоживший эту жизнь и осветивший иначе страшные картины: корчившихся от ран людей, пылавших домов, неподвижных виселиц, точно заботливо сохраненных со времен Пугачева, когда, озаряемые факелами, они медленно плыли по течению Волги, грузно качаясь в темноте исчезающего, смутного и страшного времени. И все-таки – каждый раз Володя с силой произносил это слово – и все-таки, несмотря ни на что, революция была лучшим, что он знал, и революция России представлялась ему как тяжелый полет громадной страны сквозь ледяной холод и тьму и огонь. Но ни девушка, ни профессор ничего не знали об этом: они

[1] светоч истины... священный огонь Революции (*фр.*).

[2] *Здесь*: сложных, изысканных выражений (*фр.*).

знали только искусственные и игрушечные изображения войн и революций, которые изготовили в спокойных кабинетах смешные и немного сумасшедшие ученые люди; изображения состояли из аналогий и параллелей, сравнений, сопоставлений и диаграмм, в то время как на самом деле не было ни аналогий, ни диаграмм, а была смерть, и печаль, и последнее человеческое – отчаянное или радостное – исступление.

Но Володя ни с кем не мог поделиться этими мыслями, потому что никто из присутствующих не знал ничего ни о революции, ни о виселицах, ни о Пугачеве. Только Александр Александрович, который тоже заметил Володю, мог бы его понять. Когда лекция кончилась, Володя быстро подошел к нему и лишь в эту минуту понял, как он рад его видеть.

– Александр Александрович! Смотрю и глазам не верю.

Он крепко жал руку Александра Александровича и громко говорил по-русски. Александр Александрович не успевал отвечать.

– Если бы вы знали, как я рад! Настоящий, живой, русский Александр Александрович! А помните Севастополь и Приморский бульвар?

Володя почувствовал, пожав руку Александра Александровича, что есть нечто, не изменившееся, неиспортившееся за эти девять лет – и так же, как в Севастополе, над бесконечной перспективой Черного моря, открывавшейся со скалы, на которой они сидели летними жаркими вечерами, – здесь, в Париже, за тысячи верст от этих мест, опять точно севастопольский воздух наполняет грудь. И Александр Александрович, отвечая на его мысль, сказал, проводя в воздухе ломаную линию – все тем же давно знакомым движением:

– Помните, Володя, как изгибается бухта? И какой песок и густой, кожаный цвет листьев на деревьях? И какая свобода! Это мы с вами потеряли. А как ваш брат?

– Женат, отец семейства, процветает.

Они шли по бульвару St. Michel. Александр Александрович рассказал, что он давно в Париже, что он архи-

тектор, что он закончил École des Beaux Arts, – и пригласил Володю прийти к нему поздно вечером.

И потом часто, не вечером, а ночью, Володя приходил к Александру Александровичу, и начинались разговоры – о неразрешимых вещах, о невозможности жить иначе и о многом другом. Однажды Володя рассказал Александру Александровичу об одном из своих первых романов в Константинополе, героиней которого была гречанка, говорившая по-английски, Мэри. Был блестящий под луной Босфор, и ночное купанье, и после купанья – турецкий кофе.

– Обидно, – сказал Александр Александрович. – Обидно, что мы, в сущности, рабы грубейших, несовершеннейших вещей. Я подумал об этом, слушая ваш рассказ.

– Да, Александр Александрович.

– Вот вы говорите – море, ночной воздух, тело, рассекающее воду, и еще, скажем, кофе и Мэри.

– Мэри и кофе, Александр Александрович.

– Мэри и кофе, если хотите. Но дело в том, что вам двадцать лет и ваше тело – идеальный механизм. Поэтому вы влюблены, и вы плывете в лирическом океане: ваши движения неутомимы, сильны и равномерны. Но вот происходит глупейшая вещь: у вас заболевает селезенка, или печень, или еще что-нибудь. Кроме этого, ничто, казалось бы, не изменилось. И вот весь лиризм идет к черту, и то, что было прекрасно вчера – и вообще прекрасно, – становится скучным и ненужным.

Было тихо: Андрэ лежала на диване и внимательно слушала, с трудом понимая русскую речь.

– И возникает вопрос, все тот же самый, по-прежнему, кажется, неразрешимый: какова истинная ценность этих вещей и каково ее положение вне селезенки? Я хочу освобождения, Володя. Если бы мир был организован рационально...

– Как termitière?[1]

– Как termitière? Почему непременно как termitière? Нет, нужно только правильное распределение функций.

[1] муравейник (*фр.*).

Нужны ученые и производители, и не нужно этой ужасной, мучительной смеси. Полная свобода, вы понимаете?

– Понимаю. Гипертрофически развитая голова и хилое тело ученых, чудовищные тела производителей... Нет, Александр Александрович, это было бы ужасно. И потом – что вы сделаете с женщинами?

– Женщины настолько ближе нас к правильному распределению функций, Володя. Elles n'ont que très peu de chemin à faire[1].

– Александр Александрович! А донна Анна, а lady Hamilton?

– Володя, ведь это все театр. Тяжелый занавес, огромные декорации, тысячи глаз, оркестр и все остальное. Мы внушаем женщине сотни лет все те фантазии, по которым нас ведет наше вдохновение; мы создаем ее тысячу раз, и она только следует за нами в нашем лирическом путешествии. Но ее вообще не существует, это мы ее выдумали. Для чего – я не знаю; думаю, что ответ на этот вопрос лежит в области скорее физиологической, онтологической, если хотите; объяснение – в эволюции культурных форм, во всяком случае это не есть отдельно существующее божество, это даже почти не индивидуальность.

– Я бы согласился с вами, Александр Александрович, если бы тому, что вы говорите, не мог бы противопоставить неопровержимые доводы.

– Какие?

– Исторические, Александр Александрович.

– Voyons[2], Володя, ведь эти вещи хрупки, как игрушки. Есть история – статистика; тогда она скучна и произвольна. Есть другая история – это роман, то есть то же самое, что поэзия. Я говорю об исторических методах, с которыми мы имеем дело. А история Рима, например, или вообще история античного мира, это даже не статистика и не роман, это опера, Володя. По крайней мере, в вашем и моем представлении.

Он рисовал карандашом самые разные вещи; он точно издевался над ними, заставлял их оживать на

[1] – Они гораздо ближе к этому (*фр.*).

[2] – Полноте (*фр.*).

бумаге в своих видоизмененных, мучительных формах, где сочетались его непогрешимое знание внешнего мира и того абстрактного аспекта, в котором они представлялись его чудовищному воображению. Он рисовал скачущих лошадей с короткими ногами и длинным, вытянутым телом, деревья неизвестной породы, выросшие в стране бреда или неведомой людям земли, слепых с тревожно-мертвенным выражением лица. В Севастополе ему поручили расписать церковь: и вот на ее стенах появились сияющие архангелы с грешными женскими глазами, и деспотическое, каменное лицо Саваофа, и мутная, сладострастная прелесть «единственной женщины, познавшей физическое единение с Богом».

Мир звучал для него двумя десятками первоначальных мелодий, он пропускал их бесчисленные изменения, он видел так много и быстро, что ему не оставалось времени слушать.

После первых же парижских разговоров с Александром Александровичем Володя явственнее, чем когда-либо, ощутил тревогу за этого человека. Александр Александрович «душевно задыхался», как сказал Володя Николаю, рассказывая об этих встречах. – Он слишком чувствителен, il n'a pas la peau assez dure[1], – говорил Володя, – чтобы безболезненно переносить ту чудовищную нелепость, мерзость и идиотизм, в которых протекает нормальная человеческая жизнь. – Нам ничего, а он не может.

* * *

Вирджиния чрезвычайно любила порядок и не выносила плохо рассчитанных или непредусмотренных вещей. Все должно было быть предвидено до мельчайших подробностей, до цвета носового платка, до количества и размера пуговиц на платье. За стол надо было садиться именно без четверти восемь, в театр выезжать без двадцати пяти девять; все события следовало обсудить заранее, и при этом детально.

---

[1] у него недостаточно грубая кожа (*фр.*).

За две недели до пикника Вирджиния начала беспокоиться о провизии: что надо взять и в каком количестве. Володя стал спорить, говоря, что достаточно нескольких сандвичей. Николай настаивал на холодной телятине. Вирджиния не соглашалась ни на то, ни на другое; и, как это ни было странно, в этом вопросе оказалось труднее столковаться, чем в споре о литературе или театре.

Тогда Николай нашел выход:

– Оставьте все заботы, я это устрою. Вирджиния, ты ничего не имеешь против приглашения мистера Свистунова?

– Ты прав, очень хорошо, – сказала Вирджиния.

– Что за нелепость? – спросил Володя. – Свистунов и вдруг мистер. Какой же он, к черту, мистер, если он Свистунов? И кто он такой вообще?

– Как, ты не помнишь? – сказал Николай. – Это Свистунов, Сережка Свистунов. Он у нас бывал – в Ростове и Севастополе. – И Николай объяснил, что Сережа женился на француженке из Канады и что история его вообще по-учительна. По словам Николая, правдиво написанная история Сережи должна была представляться не как авантюра, не как роман, не как поэма, а как бесконечно длинное меню. Если среди товарищей Сережи бывали разногласия и сомнения по поводу того, что им ближе и интереснее всего – социальные вопросы, искусство или даже коммерция, у Сережи этих сомнений никогда не возникало: ему всегда было ясно, что и общественные вопросы, и искусство могут рассматриваться только как вещи второстепенные и несущественные. Главное же в его жизни, чему он никогда и ни при каких обстоятельствах не изменял, был вопрос о том, что, как и в каком количестве есть.

– Было что-нибудь страшное в твоей жизни? – спросил его однажды Николай. У Сережи была круглая голова, кожа розовая – как уши маленького поросенка, по определению Вирджинии, – мечтательные черные глаза, очень широкая и высокая грудь и крепкое короткое тело.

– Я пережил необычайные, да, прямо страшные страдания, – нахмурившись при одном воспоминании об этом,

сказал Сережа. – Нечеловеческие. Я был болен брюшным тифом, и мне не давали есть. Я был близок к самоубийству.

И революция, и война, и заграница – все это представляло для Сережи сложную прелесть, смесь вкусов и запахов: запах сена и чуть-чуть подгоревшая полевая каша; удаляющаяся стрельба на окраине деревни и холодное, густое молоко с белым хлебом и сотовым медом; ночной десант с моря и утренняя ловля крабов, которых он варил на костре, – и нежный их вкус, почти мечтательный, отличавшийся от вкуса раков тем, что он заключал в себе еще влажную прелесть моря. Потом, в Константинополе, ни с чем не сравнимый, душистый кебаб в греческом ресторане и киевские котлеты – с маслом внутри, с далеким, облачным вкусом и тугое, старое вино, волшебное, густое и неповторимо прекрасное. Потом Вена, где в ресторане не подавали к столу хлеба, то есть так просто не подавали, точно было естественно обедать без хлеба, и где, конечно, Сережа пробыл лишь несколько дней. И потом, наконец, Париж. Сначала Сережа мыл тарелки в ресторане, потом стал помощником повара; и ему предстояла бы, несомненно, блистательная кулинарная карьера, если бы в этот период своей жизни он не встретил свою будущую жену. Она приехала во Францию, недавно овдовев, из канадских просторов; с Сережей она познакомилась в кинематографе, где оказалась его соседкой. Он держал в руке бумажный мешочек с виноградом, – конечно, самым дорогим и самым лучшим – и молча протянул его своей соседке, которая так же молча, автоматическим движением, взяла самую большую кисть. – У тебя, голубушка, губа не дура, – тихо сказал Сережа по-русски. На третьей кисти начался разговор. По необъяснимому совпадению, оказалось, что она так же любила есть, как он, – toutes proportions gardées[1], – говорил Сережа с извиняющейся улыбкой. И через некоторое время Сережа женился. Это произошло не сразу – и была минута, когда брак мог расстроиться. Это случилось вечером, после обеда в малень-

[1] в соответствующей пропорции (*фр.*).

ком ресторане Латинского квартала, где готовили лучше всего в Париже blanquette de veau[1]. Сережа провожал свою невесту домой, дорогой был мрачен и нахмурен.

– Что с вами? – спросила она.

– Моя дорогая, – сказал Сережа, – я очень грустен.

– Но по какой причине? Вы разлюбили меня?

– О, нет! – Столько воспоминаний связывали Сережу с этой женщиной за такое короткое время – тающее мясо поросенка в «Au cochon de lait»[2], прохладный виноград в первый вечер их знакомства, дикая утка, которую они однажды ели на Монпарнасе, и эта blanquette de veau, вкус которой еще не исчез, еще не растворился в воздухе, и губы и нёбо Сережи еще хранили это хрупкое воспоминание.

– О, нет!

И он объяснил, что не имеет права жениться, но не решался об этом говорить, стремясь сохранить как можно дальше эту очаровательную иллюзию счастья. Она молчала.

– Но, наконец, что же это? – Ей вспомнилась история одного расстроившегося брака – из-за того, что у жениха оказался туберкулез. Но Сережа был так здоров, и это было так очевидно...

– Я беден, – сказал Сережа с глубоким вздохом. Он вздохнул, и когда он опять втянул в себя воздух, ни вкуса, ни запаха blanquette уже не оставалось.

– Я с вами не желаю разговаривать, – резко сказала она. – Завтра же отправляйтесь в мэрию, в комиссариат, куда хотите, и вечером я вас жду с документами. – Она притянула его к себе и поцеловала, – и вдруг Сережа с удивлением почувствовал – это было беглое, тотчас исчезнувшее ощущение, – что его связывают с этой женщиной еще какие-то иные вещи, далекие от ресторана и похожие, как он сказал потом Николаю, на полевые цветы. – И тогда я понял, – говорил он, – что, может быть, я не только обжора.

---

[1] телятину под белым соусом (*фр.*).

[2] «У молочного поросенка» (*фр.*); бистро в Париже.

И этот самый Сережа Свистунов был теперь приглашен Николаем на пикник, и ему была поручена забота о провизии.

Володя неоднократно замечал, что дни, наиболее запоминающиеся и наиболее важные в его жизни, чаще всего не содержали никаких событий. Это были обычно прозрачные, холодноватые дни весны или осени; каждый из них был непохож на другой, каждый нес с собой новую волну ветра, за которой открывался еще неизведанный, как казалось, простор. Казалось, что воздух долго был неподвижен, как давно остановившаяся жизнь; и вот одну незабываемую минуту в городе, на улице происходил точно незримый уход всего, что было дорого и нужно и близко; точно улетали птицы и за ними тянулся медленный клубящийся вихрь уходящих чувств, воспоминаний и слов – как след воды за кормой парохода. Вот ушло одно, теперь уходит другое, и кто знает, в какой стране, под каким чужим небом опять остановится это движение и все снова полетит вниз, как листья?

– Летит саранча, – вспоминал Володя рассказ Александра Александровича об африканском путешествии, – и наталкивается на встречный ветер; и такое впечатление, точно она встречает стеклянную стену и падает вниз с особенным, сухим шорохом.

Александр Александрович уже третий день лежал в постели с высокой температурой. Володя приходил к нему каждый вечер. Белая комната Александра Александровича теперь стала особенно похожа на больничную палату – и когда Володя подумал об этом, он представил себе, что в один прекрасный день он может войти и увидеть ставшее навсегда неподвижным тело Александра Александровича.

Он шел по улице и вспоминал вечерний вчерашний разговор.

– Надо странствовать, Володя. Надо уйти, меня всегда тянет, всю жизнь. Но я не могу, я свалюсь на первом переходе, у меня плохие легкие и никуда не годное сердце. Вот вы, Володя, другое дело.

– Странствовать, – повторил теперь Володя. Он представил себе дорогу, поля, реки, города, бесконечные российские пространства, болота, леса, большаки, и вот все то же тревожное ощущение, точно улетают птицы. «Paris soir!»[1] – закричал газетчик рядом с Володей; Володя посмотрел на него, не понимая. – Да, надо уезжать. Прохладный ветер, дувший весь день, внезапно стих, воздух стал тяжелее и жарче; был конец мая, густо зеленели каштаны. Над деревьями высоко и медленно летело небо, белое облако покрывало конец его далекого полукруга. Володя посмотрел наверх. В России были другие облака – не такие, как здесь, – так же, как солнце, заходящее за огромный простор полей, колоколен и лесов. Какая загадочная вещь, какая страшная, непостижимая сила разлилась в морях и реках, вытянула из земли дубы и сосны – и где начало и смысл этого безвозвратного движения, этого воздуха, насыщенного тревогой, и этой глухой тяги внутри, немного ниже сердца?

– А может быть, потому, – думал Володя, отвечая самому себе на заданный вопрос, – что мне, в сущности, почти нечего терять? Будто кто-то забыл, что мне тоже нужно дать непреодолимую любовь или простое, сердечное знание того, что это хорошо, а это плохо, – как у Николая. Но если есть нечто непреодолимое, то это воздушная стена, отделяющая меня от близких и дорогих людей. Идут облака, летит ветер и пригибает к земле траву; течет река, длинные океанские волны шипят и катятся на отлогий берег, падает снег, шумит лес – и опять та же тоска, то же сожаление о неизвестных вещах. – Странствовать, – продолжал он думать, – или уехать, или быть обуреваемым ослепляющей страстью – для того и только для того, чтобы не видеть, не понимать и забыть.

Опять поднялся ветер, пролетел, как гигантская невидимая птица, и исчез. Володя подходил к Трокадеро. Вот av. du Président Wilson, последняя дорога, на которой закончилось земное странствие доктора Штука; и он

[1] «Вечерний Париж» (*фр.*); название газеты.

больше никогда не увидит ни одной улицы ни в Париже, ни в Вене, как не увидит синих глаз Виктории.

– Attention, ou je t'écrase![1] – закричал необыкновенно знакомый голос. Володя поднял глаза. Сверкая на солнце стеклами, перед ним остановился автомобиль Николая. – Вирджинии очень идет белое, – подумал Володя.

– С тебя мало одной автомобильной катастрофы, – свирепо кричал Николай, не удерживая улыбки, – лунатик несчастный! Куда ты идешь?

– Я гуляю.

– Садись к нам.

Солнце начинало опускаться. Николай ехал со своей обычной быстротой по незнакомым Володе улицам и вскоре выехал на широкую дорогу. – Route de Fontainebleau[2], – сказал он голосом гида. Автомобиль ускорил ход – Володя посмотрел на счетчик: стрелка стояла, дрожа и колеблясь, на цифре девяносто шесть.

И тогда, проезжая мимо бесшумно бегущих навстречу деревьев, Володя явно почувствовал – в одну необъяснимую секунду, – что этот период его жизни кончен, кончено еще одно путешествие. И глубоким вечером, на обратном пути, он смотрел уже невольно чужими глазами на улицы и дома Парижа, точно это были не настоящие каменные здания, а нечто зыбкое и исчезающее в темноте, нечто, уже сейчас, сию минуту, безвозвратно уходящее в воспоминание.

* * *

Odette никогда не жила на чьем-либо содержании. Odette вообще не думала, как люди зарабатывают деньги, и этот вопрос, как бесчисленное множество других вопросов, не касавшихся непосредственно ее чувств, для нее не существовал. Было естественно – об этом она тоже не думала, но это само собой подразумевалось, – что всякий человек, имеющий счастье ее близости в течение более или менее продолжительного времени, должен заботиться об ее еде, квартире и платьях. Это было обязательно – не счи-

---

[1] – Осторожно, раздавлю! (*фр.*).

[2] – Дорога на Фонтенебло (*фр.*).

тая, конечно, того, что сама Odette называла aventures[1]; но то были случайные и несущественные события, почему-то, однако, совершенно неизбежные. Все несколько осложнялось вопросом о браке; и в данном случае Odette была совершенно безжалостна в своей оценке французской юстиции, которая была слишком медлительна, чтобы поспеть за матримониальной кривой Odette. В сущности, сама Odette не придавала браку особенного значения и имела к этому все основания; но ее поклонники относились к этому иначе и с очевиднейшей ошибочностью полагали, что брак может каким-нибудь образом закрепить их союз с Odette, не понимая того, что в этом мире не существовало ничего, что могло бы обеспечить супружескую верность Odette – за исключением, быть может, смерти, паралича или холеры.

Вопрос об Odette обсуждался у Николая и возник по поводу того, что Сереже Свистунову угрожала перспектива быть лишенным дамского общества. Володя протестовал против приглашения Odette, выразительно глядя на Николая и давая понять, что ее приглашать просто неудобно. Возмущала его, однако, не нравственность Odette – к этому он был совершенно равнодушен, – а необходимость опять ехать с очередным визитом черт знает куда; с недавнего времени Odette переселилась в ville d'Avray. Николай сказал, когда они остались вдвоем:

– Слушай, ну не все ли тебе равно? Что ты ей – муж, любовник, ухаживатель? А Сереже мы скажем, что она работает в Армии Спасения.

– Да, но согласись все-таки..,

– Я поеду вместе с тобой, хорошо?

И Володя, сразу успокоившись, сказал:

– Заметь, Коля, что я ее не осуждаю, я не имею ни права, ни вкуса к этому. Кто знает, она, может быть, неплохая женщина.

– Я даже уверен. Иначе почему бы за ней всегда был хвост? Не одной же все-таки... – Николай сказал соленое русское слово, заставившее Володю пожать плечами, – она их привлекает? Есть что-то другое.

---

[1] приключениями (*фр.*).

– Ну, она, я думаю, вообще специалистка.

– Во всяком случае, едем.

Они приехали в ville d'Avray в пять часов вечера. Odette жила в небольшом павильоне, закрытом деревьями. В воздухе стоял тяжеловатый и сладкий запах цветущего жасмина. На столе Odette высился настоящий русский самовар, принадлежавший в свое время monsieur Simon. Она напоила братьев чаем с Володиным любимым клубничным вареньем, они поговорили о политике, о кинематографе, условились и уехали совершенно довольные; и только Николай удивлялся, отчего Odette забралась в такую глушь, потому что не знал, что этот очередной переезд Odette был обусловлен многими сложными причинами, в число которых входили инстинкт размножения и биологические законы, кодекс Наполеона и римское законодательство и несколько на первый взгляд второстепенных, но, в сущности, быть может, решающих моментов – запах цветов, некоторые движения, некоторые интонации. Odette, стоя на дороге, смотрела вслед уезжающему автомобилю.

Володя оглянулся, помахал рукой, задумался на минуту и от мысли об Odette перешел к Жермен, которая будет ждать его сегодня ночью. Он потянулся всем телом и сказал больше себе, чем Николаю:

– А в сущности, если не очень много рассуждать, то жизнь может быть прекрасной.

– Вот ты столько лет философствуешь, – ответил Николай, – как же ты не понимаешь, что жизнь не может быть ни прекрасной, ни непрекрасной? Она для каждого своя – прекрасная для счастливых, ужасная – для несчастных. Это как вода, морская вода, ты понимаешь? Ты в ней плывешь, она очень красивая и прозрачная; но вот тебя схватила судорога, ты тонешь, и она холодная и ужасная, а только что была замечательная. А вода, между прочим, все такая же. Вот вы там с Александром Александровичем рассуждаете и пытаетесь что-то обобщать; а обобщений нет.

– Ну, знаешь, Коля, философ ты средний.

– Я совсем не философ, я просто нормальный человек, а ты фантазер и сволочь. У тебя работает воображение, которое вообще есть вещь иллюзорная.

– А у тебя железы внутренней секреции.

– И очень хорошо.

Володе хотелось двигаться, а не говорить. Он привстал с сиденья – автомобиль против обыкновения шел медленно, дорога была пустынна – и навалился всем телом на Николая, захватив его голову давно знакомым приемом, так что шея была зажата сгибом руки.

– Володька, – хрипел Николай, – пусти. А то остановлю машину, слезу и изобью, как собаку.

– Кого? Меня?

Автомобиль остановился. Николай легко, точно ему нужно было преодолеть сопротивление ребенка или женщины, разогнул руку Володи, схватил его за пояс и жилет и поднял на воздух.

– Проси прощения.

– Нет.

– Проси прощения или que Dieu ait pitié de ton âme[1].

– Пусти, а то я брату скажу! – закричал Володя.

Николай засмеялся.

– Тут крыть нечем, черт с тобой.

Они поехали дальше; Володя сидел и вспоминал, от скольких неприятностей его избавила эта спасительная фраза: не тронь, а то брату скажу. Репутация Николая в гимназии была непоколебима. Особенно пугало его сверстников не искусство драться – хотя и в этом Николай был сильнее других, – а полное отсутствие страха: он мог полезть на нож, мог идти один на трех или четырех противников, – опустив голову, напрягая свое крепкое тело, и никогда не останавливался. Однажды его принесли домой избитого до полусмерти; в тот раз его поймала в глухом месте парка шайка городских хулиганов, их было шесть человек. Они навалились на него все вместе, но он не просил пощады и, несмотря на сыпавшиеся удары, не отпускал главаря шайки, которого сразу же подмял под себя. Он завернул ему руку на спину, медленно сдвигая ее

[1] пусть Бог сжалится над твоей душой (*фр.*).

кверху, и ничто не могло его остановить до той секунды, когда раздался одновременно особенный, влажный хруст сломанного плеча и отчаянный крик его противника. Ничего не видя от крови, заливающей ему лицо, он поймал еще чью-то руку и сжал ее изо всей силы, ломая пальцы, и только в эту минуту от тяжелого удара палкой по голове потерял сознание. Его принесли домой с опухшим, неузнаваемым лицом, но через два дня он явился в гимназию как ни в чем не бывало. Парня, который ударил его палкой по голове, он потом поймал на улице и сказал ему:

– Не бойся, дура, не трону. Скажи ребятам, что мир, но только пусть не трогают. А то поймаю по очереди и всех переколочу к чертовой матери. Понял? – Понял. – Ну, катись.

Его связывали потом с этим миром – городских хулиганов, «ребят», только что выпущенных из приюта малолетних преступников, воров, – особенные отношения, начавшиеся с того, что после памятной драки в парке и разговора с парнем, ударившим его дубиной, – он опять столкнулся с ним, выходя из библиотеки.

– Что тебе? – спросил Николай.

– Может, ты можешь помочь, – сказал парень, ерзая рукой по плечу, точно почесываясь, – это происходило от смущения. – Гришкина сестра лежит больная. Так, может, ты знаешь доктора. Потому что нет денег.

Николай отправился к Гришке, на окраину города. У него сжалось сердце, когда он вошел в полутемную комнату, где лежала больная; пахло плесенью, мокрым бельем и прелой картошкой. Из-под штопаного одеяла на него смотрело лицо пятнадцатилетней девочки. – Что с вами? – спросил он.

– У меня болит выше правого бедра, – сказала она. Она училась раньше в гимназии, но ее взяли из третьего класса, так как было нечем платить. Он вышел, поехал на извозчике к знакомому доктору, который сказал, что у девочки аппендицит; ее перевезли в клинику, сделали ей операцию – и за все это заплатил Николай, взяв у матери, которая ему ни в чем никогда не отказывала, зная, что он даром не возьмет, необходимую сумму денег.

Девочка эта потом приходила к нему, он давал ей уроки и успел за короткое время пройти почти весь гимназический курс. В день ее именин он был торжественно приглашен в гости, принес подарки и сидел за столом рядом с ее тетками, поденщицами и прачками, и отцом, фабричным рабочим, – и выпил с ней на брудершафт.

И однажды вечером – он сидел за английским переводом – она неожиданно пришла к нему.

– Коля, – сказала она; светлые, большие ее глаза смотрели прямо ему в лицо. – Коля, возьми меня в любовницы.

– Ты с ума сошла?

– Коля, смотри, разве я не красивая? А без тебя я пропаду, я пойду в содержанки.

– Что ты говоришь? Точно это служба какая-то. Почему, что такое?

От нее пахло вином, она была пьяна и плакала. Коля уложил ее спать в своей комнате, сам заснул, не раздеваясь, на диване в гостиной, и, когда утром проснулся, ее уже не было. С тех пор ее называли «Колькина любовница». Николай встретил ее еще раз, незадолго до своего отъезда, она была хорошо одета, глаза ее были подведены.

– Не захотел ты меня, Коля, – сказала она с упреком. Николай сердито на нее посмотрел и испытал глубокое сожаление.

А когда со двора Николая унесли сушившееся белье и мать его ужасалась – видишь, Коля, все опять надо покупать, теперь ты такого полотна заграничного, Коленька, ни за какие деньги не достанешь, – то на следующий день в квартиру позвонил субъект такого страшного вида, что горничная шарахнулась в сторону, и сказал:

– Мне надо видеть товарища Николая Рогачева.

И когда Николай вышел и спокойно, как с обыкновенным знакомым, поздоровался с этим человеком, тот вышел с ним на улицу и сказал, что с бельем произошло недоразумение и что ребята его принесут – и вечером, действительно, Николаю доставили две громадные корзины с бельем. – Сволочи вы, вот что, – сказал Николай.

Это было вообще его любимое слово, имевшее самый разнообразный смысл – в нем был даже грубовато-ласковый оттенок, когда он называл этим словом Володю; и даже в этом слове была подчас особенная душевная привлекательность, которую ощущали все, знавшие Николая, – как женщины, так и дети. Была в нем еще особенная крепость, чувствовалось, что на него можно положиться: не обманет, не выдаст.

– Завидую я тебе, Коля, – говорил Володя; они подъезжали к Парижу.

– А ты не завидуй. Ты только постарайся стать нормальным человеком, и всем будет хорошо, – убежденно ответил Николай.

* * *

За три дня до пикника Сережа начал вырабатывать свой продовольственный план. До этого он смертельно скучал, ходил по квартире в халате, осматривал в тысячный раз полки библиотеки и все не мог решиться, какую книгу взять. Библиотеку составлял сам Сережа – и об этом Володе тоже рассказывал Николай. Сережа, по словам Николая, с канадской точки зрения его жены, был человеком чрезвычайно просвещенным и с непогрешимым литературным вкусом. Все вышло случайно; он заговорил как-то о нескольких книгах, которых его жена не читала; почувствовав, что ничем не рискует, он пустился в отвлеченные литературные рассуждения, говорил о Кальдероне, Шекспире, Гете и вообще вел себя совершенно так, как некогда, давным-давно, в России, поразивший его проезжий лектор, красивый мужчина, излагавший свои соображения на тему – смысл жизни и смысл искусства. Сережа до сих пор, с холодком зависти, помнил некоторые места его речи: – В Италии, стране вечного солнца, есть статуя Моисея, работы Микеляанджело. Каждый человек должен ее видеть: езжайте в Италию. Если вы не можете ехать – идите. Если вы не можете идти – ползите. Если вы не можете ползти – влачитесь; но нельзя умереть, не увидев Моисея... – Сережа ушел с лекции потрясенный, и в памятный день литературного разговора с женой,

которая была так же беззащитна перед ним, как он сам, Сережа, тогда, перед этим лектором, он говорил с тем же пафосом, теми же обобщениями, тем же размахом, которые докатились до этого дня – сквозь много лет и стран. – Величайшие гении человечества, сумевшие – ты понимаешь?.. – чтобы напомнить об этом нам, нам – забывчивым и неблагодарным... Она слушала его с изумлением и восторгом. Вскоре после этого Сережа начал составлять библиотеку, но, конечно, теперь, после этого литературного великолепия, всякая возможность отступления была отрезана. И он уже не мог приобрести – как это было бы нужно и интересно – те книги, которые его всегда интересовали и которым он остался бы верен: «Граф Монте-Кристо» и «Анж Питу», «Вечный Жид», «Молодость Генриха Четвертого», «Атлантида» Пьера Бенуа и «Король Брильянтов» Брешко-Брешковского; он должен был приобрести Шекспира, Шиллера, Гете, Бальзака и Стендаля. В результате читать Сереже было нечего.

Его литературное увлечение было не очень долгим; он, однако, успел даже побывать на вечере русских литераторов, в каком-то маленьком кабачке, возле place St. Michel, и слушал чтение стихов и прозы; отметил, что, чем старше или чем некрасивее были поэтессы, тем с большей энергией трактовались в их стихотворениях эротические темы. Поразил его также поэт без шляпы, в смокинге неверного покроя – и в длинном галстуке, завязанном с холодной небрежностью, так, точно это была естественнейшая в мире вещь. Он ушел с этого вечера одновременно грустный и довольный и потом даже начал писать новеллу – он очень любил иностранные слова, особенно когда они имели некоторый уклончивый смысл, – но после первых трех страниц устал. С этого времени, однако, он сохранил некоторый неопределенный душевный размах и смутное сожаление о недописанной новелле. Кто знает, быть может... Но была Масленица, были блины и поездки с женой на автомобиле, холодноватый воздух парижской весны, и такое полное счастье, и такая бесконечная смена удивительных блюд – черные слезы икры на желтовато-лоснящемся блине, по которому легкой золотой волной

разливалось масло; звонкий и твердый, как серебро, звук разгрызаемого малосольного огурца – и рот его жены, не похожий по вкусу ни на что другое и создававший впечатление прелестной и далекой свежести канадских яблок, яблок ее страны. Сереже было не до литературы.

Теперь он был поглощен продовольственным планом. Жена его была в Канаде, ни на чью помощь он не мог рассчитывать. Что же надо было взять с собой? – холодную телятину – как это предложил Николай в одном из телефонных разговоров с Сережей. – Холодная телятина! – большей пошлости Сережа не мог себе представить. – Холодная телятина? – сказал он, и Николай в трубку почувствовал Сережино превосходство. – Mais, mon pauvre ami[1], все берут холодную телятину, все: консьержки, и бакалейщики, и почтальоны, и прачки; миллионы людей едят холодную телятину.

– Не везти же жареного гуся? – сказал густой голос Николая.

– А почему бы и нет? – язвительно и вежливо ответил Сережа. – Ты, может быть, считаешь, что он несъедобен? Ну, черт с тобой, вези хоть крокодилью печенку.

И тогда Сережа убедился окончательно, что он должен был всецело принять на себя всю ответственность. Он вышел из дому, поехал в Булонский лес; и там, в тишине и зное, в легком шелесте листьев, перед ним впервые, как видение громадной и сверкающей архитектурной композиции, – возник отчетливый и ясный план.

* * *

Тот роман Володи, о котором говорил Николай в начале своей речи по поводу пикника, давно уже лежал в ящике письменного стола, и Володя к нему не притрагивался. Главной причиной этого было то, что в последний вечер, когда он пытался писать, произошла его aventure – как сказала бы Odette – с Жермен, и это теперь было так тесно связано, Жермен и роман, что Володе было непри-

[1] Но, мой бедный друг (*фр.*).

ятно прикасаться к рукописи; и нужен был особенный толчок, чтобы ему снова захотелось писать.

У него вообще было чувство, что он живет не собственными желаниями и почти не собственной волей; он попадал в полосу тех или иных ощущений, и лишь когда они проходили, он освобождался на короткое время от них, чтобы потом опять быть подчиненным каким-то незримым и внешним влияниям. Но как это ни казалось странно и неправдоподобно, та самая aventure с Жермен, которая мешала ему писать роман, – так, точно ему было совестно перед собой и тем, что написано, – она же вдруг освободила его от груза печальных мыслей; она точно напомнила ему, что он молод и здоров и, в сущности, ничто не мешает ему быть счастливым, кроме отвлеченных и, в конце концов, может быть, несущественных вещей. И теперь ему не нужно было писать – он не чувствовал себя ни слишком счастливым, ни несчастным – и не было толчка, – до тех пор, покуда однажды вечером – и опять Николай и Вирджиния были в театре – Володя, проходя под окнами квартиры Артура, не увидел сидящую спиной к улице Викторию и пока из открытого окна, из обычно печального рояля Артура не послышалась стремительная и гремящая музыка, совершенно непохожая на то, что обычно играл Артур. Володя уходил, оборачиваясь, и музыка все гремела вслед ему, все возвращалась – и потом, уже отойдя далеко, он все повторял про себя этот шумный, как мир, музыкальный рассказ.

И тогда все, что он знал печального и нехорошего, скрылось и исчезло; и жизнь вдруг представилась ему, как стремительный лирический поток. – Только движение, только полет, только счастливое ощущение этой перемещающейся массы мускулов и чувств. Не думать, не останавливаться, не оборачиваться, не жалеть. И так ночь напролет – и потом утро, и розовый восход, и сверкающая роса на утомленной траве.

Он вошел в квартиру, было темно; наверху, на последней ступени лестницы, сидела Жермен. Володя поднял ее на руки. – Не думать, не жалеть...

Он проснулся в пять часов утра, налил себе холодного кофе без сахара, закурил папиросу и, набросив купальный халат, сел писать – об Италии и всем, что казалось ему самым прекрасным в огромном мире разнообразных вещей, и что было, в сущности, лишь продолжением, – вечерней музыкой Артура, телом Жермен, словом «напролет» – все тем же неудержимым движением.

Свой роман Володя писал уже несколько лет, обрывая и начиная снова и заменяя одни главы другими. В роман входило все или почти все, о чем думал Володя, – исправленные и представленные не так, как они были, а как ему хотелось бы, чтобы они произошли, – многие события его жизни; рассказы обо всем, что он любил – охота, моря, льды, собаки, государственные люди, женщины, разливы рек, апрельские вечера, и выпадение атмосферных осадков – как иронически говорил сам Володя, – и первые, ранней весной зацветающие деревья. Но, несмотря на такое обилие матерьяла и на широту темы, которая не ограничивала Володю ничем, роман получался значительно хуже, чем должен был бы получаться. То, что Володя думал изобразить и что в его представлении было очень сильно, вещи, которые он ясно видел прекрасными или печальными, умершими или неувядающими, в его описании тускнели и почти исчезали, и ему удавалось лишь изредка выразить в одной главе едва ли не десятую часть того, что он так хорошо понимал и видел и сущность чего, как ему казалось, он так прекрасно постигал. Он замечал тогда, что полнота впечатления создается почти иррациональным звучанием слов, удачно удержанным и необъяснимым ритмом повествования, так, как если бы все, что написано, нельзя было рассказать, но что шло между словами как незримое, протекающее здесь, в этой книге, человеческое существование. Но когда он пытался писать так, почти не обращая внимания на построение фраз, все следя за этим ритмом и этим иррациональным, музыкальным движением, рассказ становился тяжелым и бессмысленным. Тогда он принимался за тщательную отделку текста, и выходило, что на его страницах появлялись удач-

ные сравнения, анекдотические места, и они становились похожими на ту среднюю французскую прозу, которую он всегда находил невыносимо фальшивой. И лишь в редкие часы, когда он не думал, как нужно писать и что нужно делать, когда он писал почти что с закрытыми глазами, не думая и не останавливаясь, ему удавалось, с помощью нескольких случайных слов, выразить то, что он хотел; и, перечитывая некоторое время спустя эти страницы, он отчетливо вспоминал те ощущения, которые вызывали их и сохранили, вопреки закону забвенья, их неувядаемую и иллюзорную жизнь. Так было и на этот раз – и позже, читая описания Италии, он видел все, что им предшествовало, – где музыка, и Жермен, и мечты сливались в одно соединение, счастливая сложность которого все углублялась и углублялась временем.

* * *

В день пикника Виктория проснулась на полчаса раньше Артура, и, когда он открыл глаза, она стояла над ним, совершенно готовая. – Скорей, Артур! – Он поцеловал ей руку и пошел в ванную. Через несколько минут внизу рявкнул клаксон автомобиля и несколько голосов закричало:

– Артур! Артур! Артур!

– Артур быстро спустился вниз и увидел два автомобиля. В первом, тесно прижавшись друг к другу, сидели Вирджиния, Николай и Володя. Второй автомобиль оказался такси, нагруженный до отказа всевозможными пакетами, коробками и корзинами, сквозь которые, как сказал Николай, можно было «разглядеть» Одетт и Сережу. После короткого разговора Одетт пересадили в автомобиль Артура, и Сережа остался один.

– Николай! – закричал он. – Помни же, что я тебе говорил: не гони как сумасшедший. Не забывай о продуктах, а то из них каша получится. Ты слышишь, Николай? – Но автомобили уже двинулись, и сердитый голос Сережи был плохо слышен.

Каждые пять минут Сережа говорил шоферу:

– Voulez vous corner, pour que ces imbéciles marchent un peu moins vite[1].

Одетт смотрела на дорогу и чувствовала себя непривычно и неловко: впервые в жизни она совершала автомобильную поездку – и все было как всегда: ветер, шум мотора и шин и уходящая, серо-желтая полоса дороги, – и в конце этого путешествия не должно было произойти решительно ничего, даже никакой aventure. Route de Fontainebleau! Одетт знала все ее повороты и все места, через которые она проходила, знала ее прямую, уходящую перспективу, как бесконечно длинную спину мчащегося чудовища, деревья, растущие по бокам, запах весеннего поля – и она погружалась в привычное и давно известное состояние, которое наполовину было заполнено этими впечатлениями, наполовину же состояло из ожидания того, что было так же непреложно и несомненно, как дорога; это было тоже путешествие, только более сладостное; и как было очевидно, что, выехав из porte d'Italie и сделав пятьдесят пять километров, автомобиль въезжал в Фонтенебло, так же было очевидно, что если Одетт ехала в Фонтенебло, то поездка ее должна была кончиться именно так, а не иначе. И вот вдруг теперь вся привычная прелесть ее ощущений была нарушена. И хотя Одетт не признавалась себе в этом, ей было неловко и даже неприятно.

Она посмотрела на Артура: он держал руль одной рукой, на нем была белая рубашка без рукавов; Виктория рядом с ним казалась тоненькой и маленькой, хотя была высокого роста и в последнее время чуть-чуть пополнела. Одетт с досадой перевела глаза на передний автомобиль и увидела три одинаково белых спины – Вирджинии, Володи и Николая. Потом она закрыла глаза и перестала думать о чем бы то ни было; и ветер бил ей в лицо.

– Видишь эти поля? – говорил Артур Виктории.

– Да. А какое место в мире тебе больше всего нравится?

– Не знаю, – сказал Артур. – В Англии есть удивительные места. В России тоже. Нет, пожалуй, в России лучше всего. Бесконечное.

[1] – Посигнальте, чтобы эти идиоты ехали немного помедленнее (*фр.*).

– И нет ни одного места, которое ты предпочитал бы другим?

– О, si[1], Виктория. Дунай и окрестности Вены – это самое лучшее место в мире.

– А я предпочитаю Тироль.

Чаще всего Артур и Виктория, когда бывали вдвоем, говорили по-немецки; и в этих разговорах, где все выражалось интонациями, было, в сущности, не важно, на каком языке говорить. Это было продолжением первого объяснения, внесмысловым, почти внесловесным, которое можно было выразить – если непременно искать одну речевую формулу – в нескольких коротких и небольших словах, которые одинаково могли значить в одном случае очень мало, в другом – бесконечно много, – являясь как бы предшествием и сопровождением двух человеческих жизней с теряющейся во времени сложностью впечатлений, ощущений, желаний и снов; но это были бы одни и те же, сами по себе почти несуществующие, слова. И потому со стороны могло казаться удивительным, что Артур и Виктория были способны часами говорить ни о чем.

Доехав до вокзала Фонтенебло, Николай обернулся, убедился, что оба автомобиля следуют за ним, свернул вправо и поехал по узкой дороге, уходившей от Фонтенебло в сторону. Она изгибалась, то поднимаясь в гору, то опускаясь, то следуя за течением реки, то удаляясь от ее берегов; потом, после еще одного поворота, Николай съехал с дороги и остановил автомобиль на опушке леса. Внезапно поднявшийся и тотчас утихший ветер прошумел в высоких деревьях.

Через минуту подъехал автомобиль Сережи. Было девять часов утра. Николай повел всех осматривать местность.

Они шли сначала красным сосновым лесом, сухим и звонким; солнце освещало громадные камни, покрытые налетом светлого песка и которые были, как сказал Николай, «по-видимому, геологического происхождения». Потом начался лиственный лес, темнеющий, более густой;

[1] – Почему же (*фр.*).

в глубине оврага кричала неизвестная птица, они шли уже минут сорок, и вдруг сквозь деревья сверкнула река.

– Кто не умеет плавать? – спросил Николай. Неумеющих плавать не оказалось. – А кто со мной идет за лодкой?

– Я, – сказала Виктория. И через десять минут голос Николая кричал с реки:

– Идите сюда!

Они доехали до небольшого острова на середине реки, разделись за кустами и вышли уже в купальных костюмах.

– Берег обрывистый, – сказал Николай, – сразу глубоко. Кто скорее доплывет до берега? Я считаю: раз, два, три!

Шесть тел одновременно бросились в воду, и на берегу остался только Володя и белый пес Артура, не успевший понять, в чем дело. – Том! – крикнула Виктория, и пес с лаем прыгнул в реку. Володя остался один. – Володька, трус! – кричал Николай. – Дисквалифицирую!

Первой отстала Одетт, второй Вирджиния, затем стал отставать Сережа. Только Николай, Виктория и Артур плыли рядом. – Дьявол! – сказал по-русски Николай Артуру. – Неужели нас эта девчонка обставит? – Он дернулся вперед, и, когда Виктория спохватилась, было уже слишком поздно. – Артур, отомсти! – сказала она. Артур послушно улыбнулся, и тотчас же его громадное тело совершило нечто вроде непостижимого прыжка по воде. Казалось, что он не делал усилий, точно скользя по воде, поднимая пену и стремительно подвигаясь вперед. Он догнал Николая, однако в самую последнюю секунду они одновременно схватились за ветку дерева, свисавшую над водой.

А Володя все стоял на берегу и смотрел. – Он умеет плавать? – спросил Артур. – Как собака, – ответил Николай. В это время тело Володи наконец отделилось от берега. – Решился братишка, – сказал Николай.

Володя долго плыл под водой, потом вынырнул и направился к берегу. В эти минуты он был совершенно счастлив. Крупная рыба пугливо метнулась в сторону от его тела, он нырнул за ней, но она уже исчезла. – Ах, как

замечательно! – повторял он. Он все нырял и плыл внизу, открыв глаза и видя светлеющую к поверхности воду, потом поднимался наверх – и наверху было горячее сверкание солнца. И так далеки от него, так чужды ему сейчас были все обычные его мысли и ощущения; мир был океаном, упругим, холодным и влажным, мир был этим движением в воде, и все остальное не существовало.

Потом Николай, Виктория, Одетт и Сережа ушли в лес. На берегу остались Артур и Володя. Голова Вирджинии то показывалась, то скрывалась на середине реки. Володя лежал на животе, жуя длинный стебель травы и ни о чем не думая. Артур, закинув руки за голову, подставлял солнечным лучам свое мокрое и бледное лицо с закрытыми глазами.

Все было тихо, вода плескалась о берег. Вдруг пронзительный крик с середины реки донесся до берега. Вирджиния появилась над водой, потом исчезла, неловко и отчаянно взмахнув рукой. – Она тонет, – успел сказать Володя и тотчас услышал тяжелый всплеск воды. Володя понял это только тогда, когда поплыл вслед за Артуром к тому месту, где за секунду до этого показалась голова Вирджинии.

Володя плавал очень хорошо – и это было для него так же легко и естественно, как дышать или ходить. Он никогда не уставал, нырял на дно в самых глубоких местах и, когда было нужно, мог плыть с необыкновенной быстротой. Но если бы в ту минуту он мог наблюдать и сравнивать, он убедился бы в громадном атлетическом превосходстве Артура, который с каждой секундой все дальше оставлял его за собой. Опять, уже совсем близко, показалась голова Вирджинии; резиновый чепчик она потеряла, и светлые ее волосы быстро ушли под воду. Володя нырнул и увидел два тела на большой глубине, почти у самого дна. Он поднялся наверх; Артур, глубоко погрузившись – видно было только его лицо, – плыл на спине, держа на груди Вирджинию, которая всхлипывала и задыхалась. Володя подплыл вплотную.

– À la brasse[1], Володя, à la brasse, – сказал Артур. Володя поплыл à la brasse, Артур тоже, Вирджиния лежала на воде, положив руки на их плечи.

– Слава Богу, все кончилось, – сказал Артур. – Вы прекрасная утопленница.

– ...Что значит... прекрасная... утопленница? – прерывисто спросила Вирджиния.

– Это значит, что вам легко помогать и что вы хорошо себя ведете, – объяснил Артур. – Я однажды вытаскивал из воды одну старую англичанку, она расцарапала мне лицо и укусила меня за руку, и в моих интересах было бы держаться как можно дальше от нее, но это было невозможно, так как тогда она утонула бы. Потом уже, придя в себя окончательно, она написала мне письмо с благодарностью и приглашением прийти к ней в гости. Но я был так напуган, что не пошел.

– А я думаю, – сказал Володя, пуская ртом звучные пузыри по воде, – что все могло быть гораздо хуже. Представьте себе, Вирджиния, что вы бы тонули и не умели плавать; и что, кроме того, Артур не был бы таким Геркулесом и тоже не умел бы плавать, и я тоже. Это было бы действительно грустно. Хоронили бы вас на английском кладбище, мы бы пришли в траурных костюмах, и Николаю, наверное, было бы очень скучно. А могли бы еще и тела не найти.

– А я думаю, – сказала окончательно оправившаяся Вирджиния, – что было бы, если бы мой beau frère[2] Володя был не глупым, а умным? Это невозможно себе представить.

– Все знают, что вы завидуете моему уму и элегантности, – хладнокровно сказал Володя.

– Николаю ни слова, – сказала Вирджиния.

– Подчиняюсь, – ответил Артур.

– А я нет, – сказал Володя. – Зачем я буду лгать? Сначала публично признайте, что я очень умен.

---

[1] – Брассом (*фр.*).

[2] деверь (*фр.*).

Несколько оживившаяся Одетт спросила Сережу:

– Скажите, мэтр, у вас еще остался ром?

– Вы могли в этом сомневаться?

– Ma foi, on ne sait jamais[1].

– Если бы вы лучше меня знали, вы бы не сделали такого предположения, – сказал Сережа. В Сережином запасе было еще около двух литров рома – на всякий случай.

– Я бы хотела одну рюмку.

– Mais ordonnez, madame[2].

Она выпила, однако, почти стакан и заставила выпить Сережу. Ей сразу стало тепло и приятно.

– Оторваться от консоммации[3] ты не можешь, – сказал Николай, проходя мимо, – и еще эту бедную женщину накачиваешь, совести у тебя нет.

– Не твоя печаль, Коленька, – ответил Сережа.

Он поднялся и пошел с Одетт вслед за другими.

– Они идут слишком быстро, – сказала Одетт.

– Я тоже нахожу, что быстро. Вы знаете, после еды необходим ряд медленных движений.

– Ряд медленных движений, – повторила Одетт и засмеялась. – Non, mais vous êtes fou[4].

Они отставали все больше и больше. Лес рос вокруг них и казался бесконечным, тихий ветер плескался в деревьях. Желтый хвост белки мелькнул и скрылся вверху. Сережа вспомнил единственный литературный разговор, который у него был с Володей, когда Володя говорил ему:

– Да, я понимаю; для вас существует только чувственная прелесть мира.

– Чувственная прелесть мира... – думал теперь Сережа. Он держал под руку Одетт, на ней было легкое платье, под ним купальный костюм. Деревья были бесчисленны, воздух почти безмолвен. Чувственная прелесть

---

[1] Господи, да кто же знает (*фр.*).

[2] как прикажете, мадам (*фр.*).

[3] Консоммация; от *фр.* consommation – потребление.

[4] Нет, но вы с ума сошли (*фр.*).

мира... – Le charme sensuel du monde[1], – пробормотал он по-французски.

– Vous en savez quelque chose?[2] – спросила Одетт голосом, который вдруг стал далеким.

Сережа наконец понял. Он мог бы понять это давно, Одетт удивлялась медленности его рефлексов и приписывала это его славянской лени. И поняв, он приблизил ее изменившееся лицо с полураскрытыми губами. Одетт была совершенно довольна: еще раз дорога, еще раз route de Fontainebleau не обманула ее ожиданий.

Это был бесконечный сверкающий день неустанного солнечного блеска, множества легких запахов летней благодатной земли, сменявшихся деревьев, крепких зеленых листьев, лепетавших под ветром; и Володе казалось, что это слишком прекрасно и не может продолжаться; но солнце все так же скользило в далекой синеве, все так же летел ветер и шумели деревья, и все это бесконечно длилось и двигалось вокруг него. Они прошли много километров, поднимались и спускались по течению реки; были на острове, точно занесенном сюда из детских немецких сказок – с омутом, и стрекозами, и громадными желтыми цветами; было так тихо на этом острове, что Володе казалось – слышно, как звенит раскаленный солнечный воздух от быстрого дрожания синевато-прозрачных крыльев стрекоз.

* * *

Поезд отошел в одиннадцать часов вечера. Весь день было облачно и душно; в час отъезда шел сильный дождь. В домах парижских пригородов кое-где горели огни, и в пролетавших освещенных окнах скрывались столы, люстры, широкие кровати и головы людей, которых нельзя было успеть рассмотреть. Володя стоял у открытого окна и думал сразу о многих вещах; и так же, как нельзя

[1] Чувственное очарование мира (*фр.*).

[2] Вам об этом кое-что известно? (*фр.*)

было рассмотреть человеческие лица в квартирах, так нельзя было остановиться на какой-нибудь одной мысли – они сливались и исчезали вместе с шумом поезда. Но вот уже эхо, отражавшееся как бегущий свет на стенах зданий, заборах, ангарах и пакгаузах, стало стихать, покатились темные пространства полей; и вместе с уменьшением этого шума, все мешавшего Володе сосредоточиться, все стало тише и медленнее.

Четверть часа тому назад Париж так же ушел от него, как перед этим уходили Вена, Прага, Константинополь. Было нечто похожее на провал в самую далекую глубину памяти в этом быстром и безмолвном поглощении тьмой громадных городов, тонущих в уходящей ночи. Казалось невероятным, что в эту минуту, когда он находится здесь, на кушетке вагона, идущего со скоростью семидесяти километров в час, – там, в Париже, неподвижно стоят деревья, бульвары, улицы, дома; и все повторялось привычное видение того, как однажды, в смертельном и чудовищном сне, вдруг сдвинется и поплывет с последним грохотом вся громадная каменная масса, увлекая за собой миллионы человеческих существований.

Еще с того вечера, когда автомобиль Николая чуть не наехал на него, Володя знал, что еще немного, может быть, несколько дней, и опять будут поезд, вокзалы, пристани, особенно и непохоже ни на что звучащие голоса на ночных остановках и все та же, поездная, проезжая, жизнь, где нет ни привязанности, ни любви, ни потерь, ни обязательств – только воспоминания и поезда. Не все ли равно, куда ехать? На этот раз он должен был остановиться в Александрии, Каире и Багдаде, где находились отделения автомобильного агентства Николая. Поездка должна была занять несколько месяцев; что произойдет потом, Володя не знал.

Его провожали на вокзал Вирджиния, Николай, Артур и Виктория, Володя махал платком, все было, как полагается при всех отъездах. Одного только Александра Александровича Володе не пришлось повидать; когда после пикника он пришел к нему на квартиру, ему сказали, что Александр Александрович уехал на юг. По-видимому,

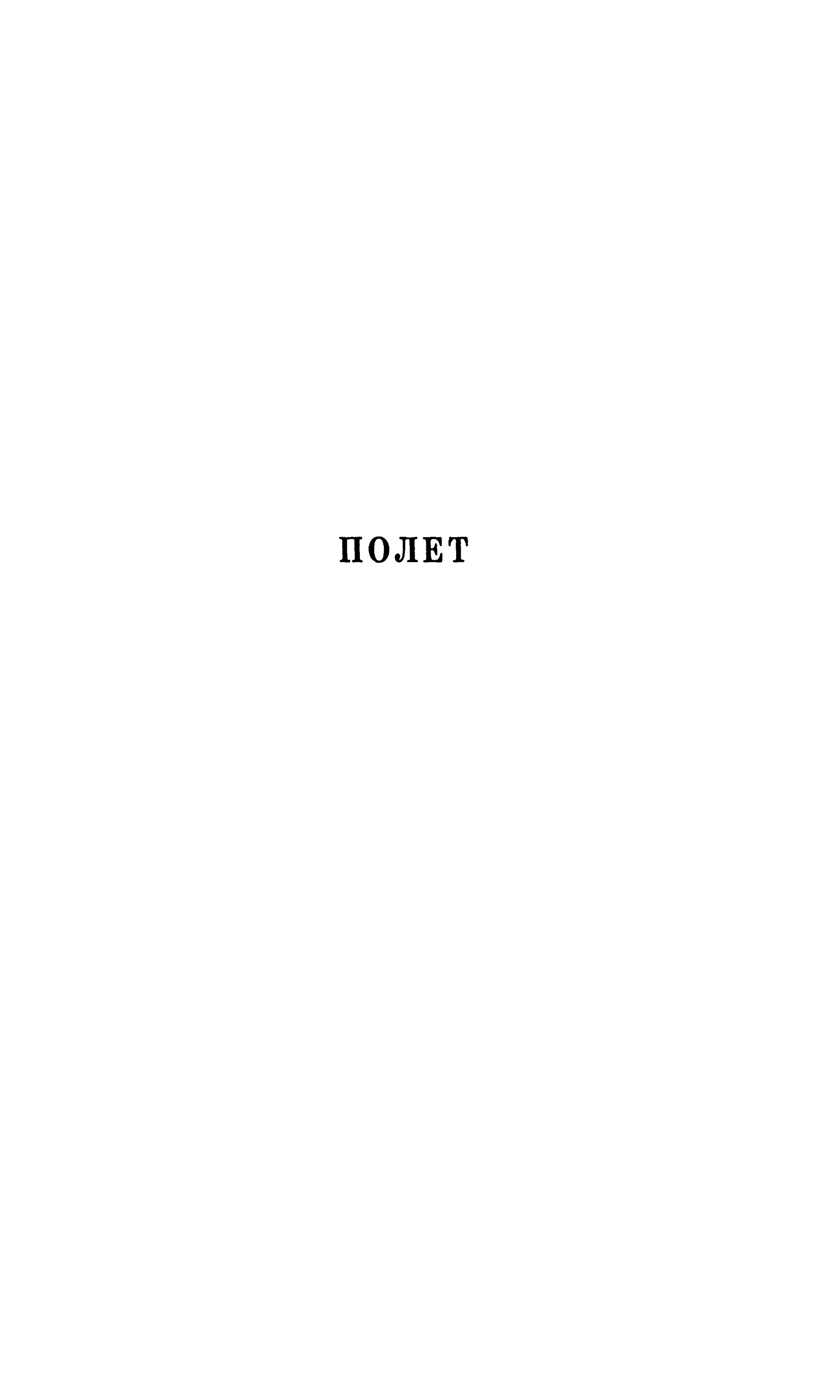
Заказ 3235

решение это было принято внезапно и Володю даже не успели предупредить.

Последний день он провел в хлопотах о визе, в поездках по консульствам, в покупках и вернулся домой только к обеду. Николай передал ему три письма. Володя сунул их в карман не читая. Теперь он вспомнил о них, распечатал первое, почти не глядя на конверт, прочел несколько строк – и вдруг непоправимая смертельная тоска остановила его.

«Мой дорогой друг, – писала Андрэ, – Александра больше нет. Он умер вчера от кровоизлияния в легких, и я не могу вам сказать, какая это безмерная потеря...»

Александр Александрович! Володя повторял эти слова, не будучи в состоянии что-либо другое сказать или подумать, – потому что не оставалось ничего, ни мыслей, ни воспоминаний, – только слезы и задыхающееся сожаление о последнем путешествии, сквозь которое сейчас проходил поезд, гремя и исчезая навсегда в стремительно несущейся тьме.



ПОЛЕТ

События в жизни Сережи начались в тот памятный вечер, когда он, впервые за много месяцев, увидел у себя в комнате, над кроватью, в которой спал, свою мать – в шубе, перчатках и незнакомой шляпе черного бархата. Лицо у нее было встревоженное и тоже не похожее на то, которое он знал всегда. Ее неожиданное появление в этот поздний час он никак не мог себе объяснить, потому что она уехала почти год тому назад и он успел привыкнуть к ее постоянному отсутствию. И вот теперь она остановилась у его кровати, потом быстро села и сказала шепотом, чтобы он не шумел, что он должен одеться и сейчас же ехать вместе с ней домой.

– А папа мне ничего не говорил, – только и сказал Сережа. Но она ничего не объяснила ему, повторила несколько раз: – Скорее, Сереженька, скорее, – потом вынесла его на улицу – была мутная холодная ночь, – где ее ждала высокая женщина в черном, прошла несколько шагов, и за углом они сели в автомобиль, который тотчас же покатился с необыкновенной быстротой по незнакомым улицам. Потом, уже сквозь сон, Сережа увидел поезд, и когда проснулся, то опять оказалось, что он в поезде, но что-то неуловимо изменилось; и тогда мать, наконец, сказала ему, что теперь он будет жить у нее во Франции, а не у отца в Лондоне, что она купит ему электрический паровоз и множество вагонов разнообразного назначения и что они теперь никогда не расстанутся, а папа иногда будет приезжать в гости.

Эту ночь потом Сережа вспоминал много раз: чужое и нежное лицо матери, быстрый шепот, которым она говорила, тревожную тишину в прохладном отцовском доме в Лондоне и затем путешествие в автомобиле и поезде. Только потом он узнал, что они ехали еще и на пароходе через Ла-Манш, но о пароходе он не сохранил даже самого отдаленного воспоминания, потому что спал глубо-

ким сном и не чувствовал, как его переносили. Ему было в тот год семь лет, и это путешествие было только началом множества других событий. Они много ездили тогда с матерью; потом однажды, под вечер летнего дня, на террасу над морем, где он обедал вдвоем с матерью, неторопливо вошел отец, снял шляпу, поклонился матери, поцеловал Сережу и сказал:

– Итак, Ольга Александровна, будем считать нынешний день концом этого романтического эпизода. – Он стоял за стулом Сережи, и большая его рука трепала волосы мальчика. Он посмотрел на свою жену и быстро заговорил по-немецки. Сережа ничего не понимал, пока отец не сказал по-русски: – Неужели, Оля, тебе это не надоело? – и опять, спохватившись, стал говорить по-немецки. Еще через несколько минут появилась новая понятная фраза, – на этот раз ее сказала мать: – Милый мой, ты этого никогда не понимал и не способен понять, ты не можешь судить об этом. – Отец кивал головой и насмешливо соглашался. Плескалось море внизу, под террасой, неподвижно обвисала буро-зеленая пальма почти над волнами, сверкала синеватая вода в маленьком заливе, недалеко от узкой дороги. В молчании мать покачивала загоревшей ногой, неподвижно и выжидательно глядя на отца, точно изучая его, хотя он был таким же, как всегда, – большим, чистым, широким и приятно гладким. – Противный язык немецкий, – сказал он наконец. – Сам по себе? – Он рассмеялся и сказал: – Да, даже независимо от обстоятельств, в которых... – Затем мать послала Сережу к себе. – А папа не уйдет? – спросил он и тотчас очутился высоко в воздухе перед гладким отцовским лицом с большими синими глазами. – Не уйду еще, Сережа, не уйду, – сказал отец.

Они долго разговаривали с матерью на террасе. Сережа успел прочесть полкниги, а они еще говорили. Потом мать звонила по телефону, Сережа слышал, лежа на полу, как она сказала: – Impossible ce soir, mon chéri, – потом: – Si je le regrette? je le crois bien, chéri[1], – и Сережа понял, что Шери сегодня не придет, и был очень доволен,

[1] – Сегодня вечером невозможно, мой дорогой... Сожалею ли я об этом? думаю, что да, дорогой (*фр.*).

так как не любил этого человека, которого вслед за матерью тоже называл Шери, думая, что это его имя, и вызывая смех неизменно оскаленного, темного лица, над которым густо вились тугие курчавые волосы, черные, как сам черт. Шери больше никогда потом не появлялся. Был другой, немного похожий на него человек, говоривший тоже с акцентом, все равно по-русски или по-французски. Отец не уехал в тот день, а остался на две недели и лишь потом скрылся рано утром, не попрощавшись с Сережей. И после этого, уже в Париже, на вокзале, он встречал жену и сына с цветами, конфетами и игрушками; цветы держал в руке, а остальное лежало в том самом длинном синем автомобиле, который Сережа помнил еще по Лондону. И тогда они поселились в новом громадном доме, и по комнатам квартиры Сережа ездил на велосипеде, и все шло очень хорошо, пока мать снова не уехала, взяв с собой только маленький несессер и жадно поцеловав Сережу несколько раз. Она, впрочем, вернулась ровно через десять дней, но мужа не застала, нашла только лаконическую записку: «Считаю, что в наших общих интересах необходимо и мое отсутствие. Желаю тебе...» Через два дня, вечером, зазвонил телефон – матери не было, она должна была вернуться с минуты на минуту; к телефону позвали Сережу, и он издали услышал отцовский, очень смешной, как ему показалось, голос, который спрашивал его, не скучает ли он. Сережа сказал, что нет, что он вчера с матерью играл в разбойников и это было очень интересно. – С мамой? – спросил смешной голос отца. – Ну да, с мамой, – сказал Сережа и, обернувшись, увидел ее; она только что вошла в комнату, и мягких ее шагов по ковру Сережа не слышал. Она взяла у него трубку и быстро заговорила. – Да, опять, – сказала она. – Нет, не думаю. Конечно. Нет, просто разные души, разные языки. Да. В котором часу? Нет, отплатить любезностью за любезность, ведь ты встречал меня с цветами. Как, и цветы для него? Я думала, только игрушки. Хорошо.

– Отчего ты все уезжаешь? – спросил Сережа у матери. – Тебе скучно с нами? – Глупый мой Сереженька, – сказала мать, – глупый мой мальчик, глупый мой малень-

кий, глупый мой беленький. Когда будешь большой, тогда все поймешь.

Так же, как Сережа помнил с первых дней своего сознания мать и отца, – так же, отчетливо и неизменно, он помнил тетю Лизу, ее черные волосы, красные губы и ее запах – смесь английских папирос, которые она курила, духов, тепловатых, скользких материй и легкой кислоты, ее собственной. Это был очень легкий запах, но такой характерный, что забыть его было невозможно, так же, как особенный ее голос, всегда звучавший точно издалека и необыкновенно приятный. Но насколько жизнь отца и матери была полна объяснений, разговоров на непонятном немецком языке, отъездов, путешествий, возвращений и неожиданностей, настолько существование Лизы было лишено каких бы то ни было неправильностей. Она, действительно, была как бы живым укором для родителей Сережи – у нее в жизни все было так ясно, безупречно и кристально, что Сережа слышал случайно, когда лежал в своей любимой позе на полу в коридоре, как отец сказал матери: – Посмотреть на Лизу, так ведь даже и подумать невозможно, что она может вдруг ребенка родить, а между тем... – И мать Сережи всегда глядела на Лизу немного виноватыми глазами; даже если сам отец точно ежился в ее присутствии, и, вообще, все словно извинялись перед тетей Лизой за собственное несовершенство, особенно неприглядное по сравнению с ее бесспорным нравственным великолепием. Смутно, едва-едва, у Сережи проступало, однако, воспоминание о том, что, когда он был совсем маленьким и тетя Лиза вывела его гулять, – рядом с ними шел какой-то человек, оживленно разговаривавший с теткой. Но это было так давно и так неотчетливо, что Сережа не был уверен, не видел ли он это во сне. Обычное состояние тети Лизы было спокойное удивление. Она удивлялась всему: и поведению родителей Сережи, и возможности такого поведения, и книгам, которые она читала, и газетам, и преступлениям, и не удивлялась только вещам героическим и маловероятным, – например, когда кто-нибудь жертвовал своей жизнью за кого-нибудь, или спасал людей, или предпочи-

тал смерть позору. Она была нетолстая и почти такая же гладкая, как отец, очень чистая, со всегда прохладными, твердоватыми руками. Когда однажды они все вчетвером – Сережа, его родители и тетя Лиза – проезжали случайно мимо уличного тира, и отец вдруг остановил автомобиль и сказал: – Ну, девочки, тряхнем стариной, постреляем, а? – мать Сережи ни разу не попала в цель, отец дал несколько промахов, хотя вообще стрелял хорошо, и только тетя Лиза, поставив ребром картонную мишень, срезала ее пятью пулями и сбивала шарик за шариком на подпрыгивающих струях фонтана. – У тебя рука не дрогнет, Лиза, – сказал тогда отец.

По мере того как Сережа становился старше, начинал больше понимать в людях и бессознательные его суждения обо всем мало-помалу прояснялись, он стал думать, что тетя Лиза была не похожа на других людей в том смысле, что у тех в течение жизни все менялось – в зависимости от обстоятельств, событий, впечатлений; они могли находить нелепым то, что год тому назад им казалось совершенно целесообразным, чрезвычайно часто себе противоречили и вообще менялись настолько, что было даже трудно отличить, кто умен, кто глуп, даже кто красив или некрасив; другими словами, сила их сопротивления внешним причинам, определяющим их жизнь, была ничтожна, и постоянством они отличались лишь в очень редких и всегда ограниченных отношениях. Сережа знал громадное количество людей, потому что через дом его отца проходили самые разнообразные и многочисленные гости, посетители, просители, друзья, женщины и родственники. Тетя Лиза отличалась от всех тем, что в ней ничего не менялось. Вся сложная система чувств, знаний и представлений, которая у других была движущейся и меняющей свои формы, оставалась у нее такой же постоянной и неподвижной, какой была раньше, – точно мир вообще был каким-то неизменяющимся понятием. Так думал о Лизе Сережа, так же думали и другие, и это продолжалось много лет, до тех пор, пока не произошли события, показавшие явную ошибочность этих представлений. Впрочем, у Сережи, знавшего Лизу ближе, чем все остальные, начали

зарождаться некоторые сомнения в точности того образа тети Лизы, который он себе создал, еще за несколько лет до этих событий, когда при нем его отец и Лиза спорили о недавно вышедшем романе. В романе этом рассказывалась история человека, посвятившего жизнь женщине, его не любившей, и оставившего ради нее другую, для которой он был дороже всего на свете. Отец защищал этого человека. – Ты понимаешь, Лиза, ведь главное – это что его тянуло именно к vilaine[1], а другая была почти что безразлична. Ну, она его любила, ну, это очень приятно и добродетельно, но ведь ему другой хотелось, ты понимаешь?

– Я не говорю, что не понимаю причины этого, – сказала Лиза. – Причина ясна. Вопрос в другом: в глупой неверности этого предпочтения, в его ничтожности. Она заслуживала счастья больше, чем та, другая.

– Счастья вообще не заслуживают, Лиза, – кротко сказал отец, – оно дается или не дается. – Нет, заслуживают, – твердо сказала Лиза. Сережа слушал, его удивляло, что отец говорил мягким и тихим голосом, а тетя Лиза отвечала ему твердо и безжалостно, глаза ее расширились и разозлились, и Сережа сказал: – Папа, а ты обратил внимание, какая у нас тетя Лиза красавица? – И отец смутился и ответил, что он давно обратил и что все это знают. Тетя Лиза поднялась и ушла, и вид у отца был смущенный, – что могло показаться удивительным, потому что спор был отвлеченный и не мог иметь никакого отношения ни к отцу, ни к тетке. Тогда, впервые за все время, Сережа видел тетю Лизу вышедшей из своего неизменного спокойствия.

Отца и мать Сережа видел, в общем, сравнительно редко, – тетя Лиза была постоянно с ним. У отца были дела, занятия, поездки; у матери была своя, совсем чужая жизнь. Случалось, что по два, по три дня Сереже не приходилось слышать ее быстрой походки, и только потом она появлялась; входила в его комнату, говорила: – Здравствуй, Сереженька, здравствуй, мой миленький, вот я по тебе соскучилась, прямо ужас. – Она вообще говорили с ним такими теплыми, уютными словами, всегда сразу понимала то, что его интересовало в данную минуту,

[1] дряни (*фр.*).

играла с ним охотно и подолгу была мягкая и вкусная. Она знала, почему у некоторых собак длинные хвосты, а у других короткие, почему кошки неласковые, почему у лошадей глаза сбоку и какой длины бывают крокодилы. Тетя Лиза тоже знала все это, но ее ответы никогда не удовлетворяли Сережу, потому что в них не хватало чего-то главного, может быть, этой уютности и теплоты. Но полное счастье Сережа испытывал только тогда, когда все уезжали из дому, а его оставляли одного на попечении прислуги. Обычно этому предшествовал приход Сергея Сергеевича с какой-нибудь особенно сложной игрушкой; отец давал ее Сереже, потом говорил, что надеется на хорошее поведение, просил Сережу не огорчаться, и через несколько минут Сережа из окна видел, как отъезжал длинный автомобиль отца. После этого он мог делать все, что угодно. Он стрелял из лука в портрет бабушки, съезжал по перилам лестницы, катался в лифте до головной боли – вверх-вниз, вверх-вниз – и все свободное время лежал на полу, объедался пирожными, выливал суп в уборную, ел пригоршнями соль и не хотел умываться. Вечером, лежа на полу, он натирал руками глаза и потом с удовольствием видел перед собой зеленые искры.

Потом, когда он стал старше, его свободы никто не стеснял, и тогда он начал понимать, что родителям не было до него, в сущности, никакого дела. Та постоянная смена людей, которую он помнил всегда, не только не прекращалась, но еще как будто усилилась, – и он жил в стороне от этого. Когда ему было шестнадцать лет, он впервые пригласил тетю Лизу в театр. К тому времени ее авторитет несколько ослабел; она смеялась некоторым его замечаниям, говорила: – Как ты думаешь? – и Сережа чувствовал себя почти равным ей. Про родителей Сережи и он, и она говорили «они» – точно бессознательно противопоставляя их себе. Они вместе читали, слушали одни и те же мелодии, любили одни и те же книги. Лиза была ровно на пятнадцать лет старше Сережи. Он начал видеть ее во сне, в смутных и неправдоподобных обстоятельствах; потом, однажды, – была поздняя весна и третий час ночи, Сережа читал у себя в комнате, – вдруг во всем доме заго-

релся свет, послышались шаги и голоса; родители Сережи вернулись с бала и привели с собой еще нескольких человек, чтобы «кончить вечер» дома; через несколько минут раздался знакомый стук в дверь и вошла Лиза, в очень открытом черном платье, с голой спиной, обнаженными – прохладными, подумал Сережа, – руками и низким вырезом на груди. Глаза ее казались больше, чем обычно, под прямыми ресницами, и возбужденная улыбка была не похожа на всегдашнюю. В эту минуту Сережа почувствовал необъяснимое волнение, такое, что, когда он заговорил с ней, у него срывался голос. – Перечитался ты, Сережа, – сказала она, садясь рядом с ним и положив руку на его плечо. – Я пришла пожелать тебе спокойной ночи, – и она тотчас же ушла, не обратив никакого внимания на необычное состояние Сережи, как ему показалось. После того как за ней закрылась дверь, Сережа лег не раздеваясь; его слегка тошнило, было смутно, предчувственно и приятно.

И вот, с необыкновенной быстротой, за два месяца, прошедшие с этого вечера до отъезда Сережи на море, произошла глубокая и непоправимая перемена, которая началась с того, что весь идиллический мир затянувшегося, запоздавшего Сережиного детства рассыпался и исчез. За это время не произошло, однако, никаких фактических изменений; по-прежнему задушевно и нежно звучал голос матери, когда она говорила с кем-то по телефону, по-прежнему отец ездил взад и вперед по городу, по-прежнему вечерами громадные комнаты наполнялись разными людьми, и все было так же, как раньше. Но Сережа вдруг понял множество вещей, которые хорошо знал и прежде и о которых имел совершенно неправильное представление. Отрывочные фразы из разговоров отца с матерью теперь ему стали ясны, так же, как сдержанное раздражение Лизы; он заметил многое другое – что деньги тратились беспорядочно и уходило их во много раз больше, чем нужно. Он понял вдруг, как жила его мать, – и это вызвало у него сожаление, смешанное с нежностью. Присутствуя иногда при разговорах в гостиной, он вслушивался внимательно в то, что говорилось, следил за любопытнейшей скачкой интонаций разных людей и ино-

гда, закрывая добровольно для себя смысл произносившихся фраз, слушал только звуковые их смещения, похожие в общем на какой-то своеобразный концерт – с повышениями, понижениями, монотонными баритональными нотами, высокими женскими голосами, которые ахали и срывались и вновь возникали потом, под глухой, глубокий аккомпанемент хрипловатого баса; и, зажмуривая глаза, Сережа ясно видел перед собой турецкий барабан с туго натянутой, мертвенно безразличной кожей – на том месте, где в самом деле никакого барабана не было, а сидел почтеннейший старик, философ и специалист по консультациям о многочисленных нарушениях международного права.

Отец Сережи принадлежал к числу немногих людей, которым по наследству досталось значительное богатство и которые не только не растратили, но еще и увеличили его. Этому способствовало и то, что он был – широкий, небрежный и великодушный – в делах умен и, в сущности, осторожен, и то, главным образом, что всю жизнь ему сопутствовала слепая удача. У него были предприятия в нескольких странах, на него работали тысячи людей, и это его положение объясняло тот факт, что он был знаком со всеми знаменитостями и что в его доме собирались музыканты, писатели, певцы, инженеры, промышленники, актеры и представители той особой породы людей, которые всегда прилично и хорошо одеты, но источники доходов которых, – если проследить это до конца, для чего в большинстве случаев понадобилось бы либо счастье, либо бесцеремонность полицейского расследования, – но чьи источники доходов, стало быть, бывали почти всегда такого рода, что в них никак нельзя было признаться. И в то время, как Лиза относилась к этим людям с брезгливостью, отец хлопал их по плечу, вообще вел себя с той широкой и фальшивой задушевностью и откровенностью, истинную ценность которых знали только очень близкие люди. Когда Сережа сказал своему отцу, что его обкрадывают, отец рассмеялся. – Ты не веришь? – Тогда он, не переставая посмеиваться и глядя на Сережу веселыми глазами, ответил: – А хочешь, я тебе скажу, кто и на сколько

ворует? – И объяснил Сереже, что так и нужно, что другие все равно будут воровать. Но это убеждение не вызывало в нем ни огорчения, ни удивления, он принимал это как должное и иногда забавлялся тем, что ставил своих служащих в глупое положение – как он сделал, например, с шофером, обкрадывавшим его на масле, бензине и тысяче других вещей и неизменно представлявшим «трюкованные» фактуры. Он сказал владельцу гаража, в котором все это обычно покупалось, что это обходится ему слишком дорого и что он будет вынужден переменить поставщика – и в доказательство представил фактуры, от которых владелец гаража пришел в ужас и только повторял бледным голосом: – Oh, non, monsieur, jemais, monsieur[1], – и тотчас принес книгу записей, где были совершенно другие суммы, разница между которыми оказалась чуть ли не половинной. Шоферу, однако, он ничего не сказал, и тот выяснил катастрофу только в гараже, где ему объяснили все. Он уже приготовился складывать чемоданы, но в тот же день ему был заказан автомобиль, и Сергей Сергеевич только вскользь заметил, что бензин, кажется, подешевел, потрепал шофера по плечу, сказал: – Ah, sacré Joseph[2], – и по дороге все посмеивался. Шофер, впрочем, через некоторое время, после длительных сомнений и борьбы противоречивых чувств, ушел сам, так как ежедневное сознание того, что он теперь не может воровать, а принужден довольствоваться жалованьем, довело его до нервного заболевания. Он был простой человек, из овернских крестьян, нечувствительных к физической усталости, но незащищенный душевно и умственно против непредвиденных и, в сущности, незаконных положений. Он потом проворовался довольно крупно и попал было в тюрьму, из которой его вызволил Сергей Сергеевич, – но было слишком поздно и разница оказалась лишь та, что вместо тюрьмы его посадили в сумасшедший дом, откуда он вышел уже совершенно разбитым человеком.

В других случаях это бывало менее трагично, но так или иначе Сергей Сергеевич, действительно, знал, на

[1] – О, нет, месье, никогда, месье (*фр.*).
[2] – Ох, шельма Жозеф (*фр.*).

сколько его обкрадывают, и только ограничивался тем, что включал эти суммы как самостоятельную и естественную статью в свои бюджетные исчисления, в которых вообще было множество статей. Он субсидировал театры, поддерживал начинающие таланты, в которые очень плохо верил сам, вообще платил всегда и всюду, это входило в его обязанности владельца большого состояния, и он выполнял свой долг так же, как делал все остальное, – с удовольствием, с улыбкой и кажущимся нерассуждающим одобрением. Он говорил, например, редактору крупной желтой газеты, в которой должны были появиться статьи, пропагандирующие одно из его предприятий, – внося значительную сумму на благотворительные цели неправдоподобно фантастической организации, возникшей в воображении редактора полчаса тому назад и расцветшей там, как романтический мираж, призрачность которого была совершенно очевидна для всякого нормального человека: – Я знаю, мой дорогой, что ваша неподкупная честность... – И редактор уходил, испытывая сложное чувство, состоявшее главным образом из благодарности и сожаления к этому наивному миллионеру и смутного подозрения, что если наивный миллионер только делает вид, что верит, а в самом деле знает все, то это пожертвование и прочувственные слова о неподкупности звучат уж слишком издевательски. С такой же беззаветной верой в будущее он принимал певца неопределенной национальности, но явно южного типа – с черными, как вакса, волосами, грязновато-желтыми белками глаз и руками спорной чистоты. Со всем этим он никогда не давал больше, чем полагалось по сложной системе ценностей, выработанной долголетним опытом и в силу которой, например, субсидии людям южного происхождения всегда были значительно меньше, чем субсидии представителям северных рас, к которым, впрочем, он питал нечто вроде национальной слабости. Нескончаемая армия стрелков прошла через его жизнь, удивительное разнообразие просителей, начиная от корректных людей с ласковыми баритонами и сложной биографией, непременно заключавшей в себе несколько патетических моментов, внушенных чаще

всего чтением романов даже не третьего, а второго сорта, имевших, стало быть, несомненную вдохновительную ценность, – и кончая хриплыми, почти расплывчатыми персонажами, бесконечно удаленными от каких бы то ни было отвлеченных идей, сосредоточенными исключительно на предметах первой необходимости и стоимость которых колебалась между двумя и пятью франками. Множество людей писали ему письма с разными предложениями, идущими от лаконически-уверенного «недурна собой» до «странного очарования» и даже «неукротимой жестокости» некоторых наиболее непримиримых кандидаток на семейное счастье, идея которого тоже, таким образом, таила в себе устрашающее многообразие. В его жизни, однако, не все были только письма и просьбы о деньгах; два раза на него покушались, и оба раза его спасла счастливая случайность, та самая слепая удача, которая не изменяла ему нигде и выводила его из самых безвыходных положений, вроде смертного приговора, вынесенного ему в Крыму революционным трибуналом, в котором не было ни одного трезвого человека; и часовой плохо запертого сарая, в котором он сидел, был убит шальной пулей какого-то не в меру расстрелявшегося матроса, что позволило Сергею Сергеевичу бежать и добраться до севастопольской пристани, возле которой не было ужу ни одного парохода – и только в почти наступившей темноте их силуэты чернели на рейде. Сбросив куртку и сапоги, он спрыгнул с пристани в ледяную осеннюю воду и в бурный холодный вечер доплыл до английского миноносца, капитану которого он через полчаса рассказал свою историю, смеясь в особенно нелепых местах – там, например, где речь шла о заседании революционного трибунала. А через два дня в константинопольском кабаре он поил шампанским чуть ли не половину экипажа и пел ирландские песни, которых не знал, что, впрочем, не имело значения; кроме этого, он запоминал их с такой же легкостью, как все остальное. Легкость эта была вообще характерна для всей его стремительно-счастливой жизни. Он никогда не задумывался над важными решениями; они с самого же начала казались ему ясными и исключающими возможность ошибки, которая

была бы просто очевидной глупостью. Он понимал все так быстро, что отсюда у него образовалась привычка не кончать фраз. Так же, как хорошо грамотный человек, читая книгу, не теряет времени на постепенное и последовательное соединение букв и не повторяет про себя слова, а скользит глазами по привычным зрительным изображениям печатных строк, и все быстро и послушно проходит перед ним, – так он разбирался в делах, выводах и возможностях какого-либо предприятия, или начинания, или треста, нуждавшихся, казалось бы, в длительном изучении. Вместе с тем он никогда не требовал от других, чтобы они старались поспевать за ним в его заключениях, точно заранее считал, что имеет дело с кретинами; и когда кто-нибудь из его директоров обнаруживал быстрое понимание дела, он всегда был приятно удивлен. Но так как и в том, и в другом случае он говорил одни и те же лестные и любезные вещи, то недостаточно знающие его люди полагали, что он не умеет отличать хорошего служащего от плохого и просто его счастье, что у него подобрался такой хороший персонал почти всюду.

Но он никогда не любил по-настоящему, – как никогда не был до конца откровенен, – и это знали и Ольга Александровна, и Лиза. С женой он был всегда очень хорош, как с самой лучшей подругой; но здесь – это был первый случай в его жизни – она ждала от него другого, того самого, о чем она читала в романах, над которыми он продолжал смеяться, потому что для него было очевидно, что эти книги написаны неумелыми, не очень культурными, чаще всего примитивными людьми; но он твердо знал, что об этих же вещах были написаны самые прекрасные страницы разных литератур, – и эти вещи он понимал и даже любил, но только тут его непогрешимая легкость и безошибочность оказывалась несостоятельной; и он сознавал эту свою вину перед Ольгой Александровной, которой он как-то давно, в начале их супружества, не мог ничего ответить, когда, подняв на него свои темные и нежные глаза, она сказала ему:

– Ты говоришь о хорошем отношении. Я, Сережа, говорю о любви.

Любовь, действительно, была самым важным в жизни Ольги Александровны и единственным, что ее по-настоящему интересовало и занимало. Все остальное имело только, так сказать, предварительную ценность и находилось как бы в функциональной зависимости от самого главного. Надо было ехать, было необходимо ехать куда-нибудь – потому что там ждала ее встреча; надо было прочесть такую-то книгу – чтобы потом говорить о ней с тем, кто был единственным, чьи разговоры казались ей интересны; нужно было красивое платье – для того, чтобы понравиться; нужно было, вообще, – и иначе было невозможно – любить и переживать. Она вышла замуж восемнадцати лет; но уже до брака у нее было три неудачных романа. Она влюбилась в Сергея Сергеевича, как только его увидела; это было на балу, в Москве, и тогда же она сказала своей матери, что за этого человека она выйдет замуж, что, действительно, произошло через несколько месяцев. Она никогда не была хороша собой, но обладала такой могучей силой привлекательности, что сопротивляться ей было трудно и ненужно. Ее любили все – и родители, прощавшие ей все, и прислуга, и сестры, и братья; она с необыкновенной легкостью добивалась того, чего хотела; и ее также любили дети и животные. И даже Сергей Сергеевич, имевший о женщинах снисходительное суждение, сразу почувствовал к ней такое влечение, над которым он сам посмеивался и шутил, но противостоять которому не мог. После первого же поцелуя она сказала ему, что она его очень любит и хочет выйти за него замуж. Она была небольшого роста, волосы у нее были черные, над темными ее глазами были коротенькие ресницы, отчего глаза казались больше, чем они были: первое впечатление, которое она производила, было впечатление необыкновенной молодости и здоровья – и в ней, действительно, текла неутомимая и обильная кровь, она не знала ни усталости, ни болезней, ни недомогания. Она изменила мужу через четыре месяца после брака; но это было случайно и несущественно. После рождения сына она в течение целого года не обращала никакого внимания на свою внешность, проводила все время с ребенком,

с жадностью следила, как он начал ходить, и вообще была занята только им. Потом, однажды вечером, уложив его спать, она остановилась перед зеркалом, осмотрела себя внимательно, ахнула и пришла к мужу, чтобы спросить, как он может еще ее любить. Он в это время писал – и, оторвавшись на секунду от листа бумаги, сказал: – Несмотря, Леля, – и продолжал писать, пока она не подошла к нему вплотную и не села к нему на колени. Тогда же возник очередной спор о любви; эти споры всегда начинала Ольга Александровна, к которой в то время Сергей Сергеевич уже не ощущал того непобедимого влечения, которое заставило его жениться на ней; и теперь ему казался необъяснимым тот легкий и почти прозрачный туман, который был характерен для первых месяцев их близости. Теперь начался период его отрицательной любви, как это называла Ольга Александровна; он охотно ей все прощал, никогда на нее не сердился и удовлетворял все ее желания, но никак не мог бы сказать, что без нее жизнь потеряла бы смысл. – Ну, а что ты думаешь о супружеской измене? – Темперамент и, в некоторой степени, этика, – сказал он. – Все какие-то ненастоящие, ничего не объясняющие слова, – сказала она, – что такое темперамент? что такое этика? – Он достал с полки два тома Брокгауза и Эфрона, дал их ей и сказал: – Прочти и попробуй подумать. Знаю, что тёбе это непривычно. Но возможно, Леля. – И когда она уходила, он крикнул ей вслед: – И случайность тоже.

В дальнейшем, уже за границей, ему представилось множество возможностей проверить эти суждения о том, чем вызывается супружеская измена, еще и потому, что через некоторое время он заметил, что у Ольги Александровны уходили уж что-то слишком большие суммы денег. Он быстро подсчитал, сколько она должна была бы тратить, если не возникало чрезвычайных и непредвиденных расходов, и увидел, что количество денег, которое ушло, превышало вдвое эту сумму. Тогда он сказал, вскользь, как всегда, о шантаже, о том, что неосторожно вообще писать письма. И так как Ольга Александровна по-прежнему делала вид, что не понимает, он сказал ей,

что все равно все знает и что она не должна бояться каких бы то ни было разоблачений. Через некоторое время к нему явился человек в черном пальто, черном котелке, черных туфлях и черном галстуке, которого он принял с обычным своим радушием, но сказал, что в его распоряжении ровно пять минут. Когда этот человек объяснил ему цель визита, Сергей Сергеевич сказал, что он советует ему заняться чем-нибудь другим, потому что это не доставит ему ничего, кроме огорчений. Человек, не смутившись, заговорил о газетах. Сергей Сергеевич встал, чтобы подчеркнуть, что визит затянулся, и сказал:

– Лучше не пробуйте; и, поверьте, я знаю, что говорю. – И когда тот уже уходил, он сказал ему с вопросительной улыбкой: – Хотите пятьдесят франков за беспокойство?..

Больше он никогда не принимал ни этого человека, ни его последователей, а на многочисленные письма не отвечал, и вопрос был ликвидирован, когда он сказал своей жене – отрывочно, как всегда, и не объясняя:

– Выбирала бы более порядочных, Леля.

Он сказал эту фразу, желая дать жене дружеский совет, но заранее зная, что она ему не последует. Давно уже он понимал, что ее выбор никак не мог руководствоваться какими бы то ни было рациональными соображениями, и знал, что она выбирает людей не по признаку достоинств, а по своеобразному соединению физического тяготения с интуитивным предчувствием их особенного нравственного склада, в котором эти самые этические соображения, чаще всего, не играли никакой роли. Сергей Сергеевич понимал также, почему он не подходил для своей жены. Объяснение заключалось отчасти в том, что ему было скучно рассказывать о своих переживаниях, – он слушал ее из деликатности несколько минут, потом говорил: – Да, Леля, я знаю, – и, действительно, знал заранее все, о чем она собиралась рассказывать. Те же, другие, были, чаще всего, люди душевно примитивные, не понимающие своих чувств, – и каждый роман Ольги Александровны был как бы новым объяснительным путешествием в сентиментальные страны, где она играла роль

гида, – как это сказал о ней Сергей Сергеевич, разговаривая как-то с Лизой. Вообще в доме многое было неблагополучно, и этого не замечала только Ольга Александровна, и делал вид, что не замечал – хотя знал все, до мельчайших подробностей – Сергей Сергеевич; но это хорошо знала Лиза и имела для этого все основания, и это чувствовал теперь Сережа.

* * *

Семья Сергея Сергеевича редко проводила лето вместе. В этом году, как почти всегда, все получилось неожиданно. Ольга Александровна, после нескольких дней особенного возбуждения и разрешения многих мучительных вопросов о том, вправе ли она или не вправе поступать так, как ей диктовали ее желания, внезапно уехала, неопределенно, – в Италию. Перед отъездом она с бьющимся сердцем и пылающим лицом пошла к Сергею Сергеевичу. Несмотря на то, что вся жизнь Ольги Александровны состояла именно из отъездов и измен и, казалось, можно было бы уже к этому привыкнуть, она всякий раз переживала все это с такой же силой, как и в ранней молодости, и так же мучилась, как всегда, потому что совершала нечто нехорошее и запретное и дурно поступала по отношению к мужу и к Сереже. Но то, в жертву чему она приносила все эти бесплодные чувства, казалось ей настолько замечательным, что в окончательном решении вопроса сомнений быть не могло. И совершенно так же, как в ней было неискоренимо понимание своего долга жены и матери, так же ее иллюзии по поводу очередного отъезда были свежи и неувядаемы. Каждый раз она уезжала навсегда, в неизвестность, обрекая себя, быть может, на полунищенское существование. Если это выходило иначе, то не по ее вине.

Но, направившись к Сергею Сергеевичу, она вдруг вспомнила, что сегодня был четверг, его приемный день. Тогда она позвонила ему по телефону и тотчас услышала его ровный голос в ответ: – Я очень занят, Леля. Да. Не раньше, чем через час. Не можешь? Хорошо, я сейчас.

Он вошел к ней, она была уже в шляпе и перчатках, в дорожном костюме, с несессером в руках. В глазах ее

Сергей Сергеевич увидел опять то тревожное выражение, которое хорошо знал. Но оттого, что он его увидел, его лицо совершенно не изменилось, как не изменились улыбка и голос. – Ну что, едем, Леля? – сказал он. – Да, – ответила Ольга Александровна, причем это «да» вышло помимо ее желания упавшим и невольно актерски-значительным. – Далеко? – В Италию. – Прекрасная страна, – мечтательно сказал Сергей Сергеевич, – впрочем, ты это знаешь не хуже меня, ты ведь не впервые едешь в Италию. Очень хорошо, ты что-то нервничала в последнее время, это тебя развлечет. Я рад за тебя. Ну, желаю тебе всего хорошего, пиши.

Он поцеловал ей руку и ушел. Она постояла несколько секунд, потом вздохнула и стала спускаться вниз, к подъезду, где ее уже ждал автомобиль. Ни Сережи, ни Лизы не было дома – они ушли с утра.

Сергей Сергеевич вернулся к себе, где его уже ждала очередная посетительница, знаменитая артистка Лола Энэ, пришедшая просить у него субсидию на мюзик-холл, который она собиралась открывать. Это была очень старая женщина, годившаяся по возрасту в матери Сергею Сергеевичу, но убежденная в своей неотразимости, перенесшая много хирургических операций, проводившая ежедневно долгие часы в заботах о массаже, наружности и туалетах. На первый взгляд, и особенно издали, она, действительно, могла показаться молодой. Сергей Сергеевич мельком взглянул на мертвенно неподвижную кожу ее лица и длинные черные ресницы, туго загнутые вверх, и вспомнил, что эта женщина только года два тому назад вышла замуж за человека, который был моложе ее больше чем на тридцать лет.

– Toujours délicieuse, toujours charmante, – сказал Сергей Сергеевич, здороваясь с ней. – Je suis vraiment heureux de vous voir[1].

Она улыбнулась, обнажив свои прекрасные зубы. Но чувствовала она себя, – как давно, уже много лет, – неважно. Сейчас ее мучил геморрой, она сидела точно на

[1] Всегда изысканна, всегда очаровательна... Я так рад вас видеть (*фр.*).

раскаленном пятаке, и когда она смеялась или сморкалась, то острая боль, начинавшаяся именно в том месте, где был геморрой, отдавалась во всем теле. А когда эта боль проходила, ей начинало смертельно хотеться спать, и она делала усилие, чтобы не уронить голову на грудь. Иногда ей это не удавалось, и она все же засыпала на секунду; открывая потом глаза и вздрагивая, она объясняла, что у нее бывают такие минутные éblouissements[1], объясняющиеся усиленной работой. Она прожила долгую, шумную и, в сущности, трудную жизнь; и из людей, видевших ее дебюты в театре, давно уже почти никого не было в живых. Но она не задумывалась над этим. Она вообще не задумывалась. Ее память была загромождена пьесами, репликами, диалектами и интонациями бесконечного ее репертуара. Так как она была очень глупа, то, несмотря на долгую свою карьеру, она не научилась ничему, ничего не понимала в искусстве и слепо верила театральным критикам. Она искренне считала шедевром злополучную «Даму с камелиями»; впрочем, она лично очень близко знала ее автора, которого считала гением. Она с восторгом говорила о трагедиях Корнеля, которых, помимо всего, просто не могла понять из-за недостаточной своей культуры; но с не меньшим энтузиазмом она относилась ко многим современным пьесам, уже вовсе малограмотным и не имеющим даже самого отдаленного отношения к искусству и авторы которых находились примерно на ее умственном уровне – с той разницей, что ее ум был неподвижен, а их – отличался некоторым примитивным динамизмом. Жизнь ее прошла в пьесах и романах, которые она помнила все, несмотря на их чудовищное количество. В молодости она, действительно, была очень хороша собой, и, собственно, это бесспорное ее животное великолепие и определило ее карьеру. Она приехала в Париж из Нормандии шестнадцатилетней девушкой с тем, чтобы поступить горничной, и уже до ее отъезда старая ее тетка, которая провела в Париже много лет, учила ее, как нужно себя вести, на чем выгоднее обкрадывать хозяев, как разговаривать с поставщиками провизии, и снабдила ее вообще множеством сове-

[1] обмороки (*фр.*).

тов, которым Лола – ее настоящее имя было Мария – собиралась в точности следовать. Но вышло иначе, потому что она поступила сразу же к человеку, совершенно одинокому, страстному любителю театра. Он был довольно богат и вел театральный отдел в одной из газет правого направления. Так как он начинал в те времена стареть и так как бурная жизнь его успела утомить, то признаки этой усталости и еще некоторой наивности, происходившей от восторженного и ограниченного его ума, начали сказываться в стиле его статей и фельетонов, приобретавших восклицательно-разговорный тон. – «Est-il possible que ce soit ainsi? Allons, allons!» – или – «mais si, mon pauvre lecteur, mais si!»[1].

Новаторы, по его мнению, были просто des gens de mauvaise volonté[2]. Но он был, в сущности, неиспорченный человек с чистым сердцем, и это было тем более удивительно, что он провел свою жизнь в актерской среде. Он влюбился в Лолу с необыкновенной и неожиданной силой, которой совершенно не соответствовали его физические возможности. Так как он был очень влюблен, то находил в Лоле все достоинства и решил, что единственная вещь, достойная ее, это рампа. Он был довольно влиятельным человеком, близко знавшим всех актеров и директоров театра, и, благодаря ему, Лола, после нескольких месяцев подготовки, дебютировала в небольшом театре на окраине Парижа. С тех пор ее карьера не была ничем прерываема. Ее первый покровитель вскоре умер, после роскошного ужина с шампанским и какими-то древнейшими винами, жестокого совершенства которых уже не мог вынести его усталый организм. Он умер сразу, едва лег в постель, и Лола, надев на голое тело пальто, отправилась за доктором, который пришел и сказал: – Il n'est plus, mon enfant[3]. – Она стояла рядом с кроватью, пальто ее распахнулось, и доктор, не будучи в силах, – вдруг, так, в первый раз в своей жизни, – сопротивляться внезапному и неудержимому желанию, начал целовать в совершенном иссту-

[1] «А мыслимо ли это? полноте!», «ну конечно, мой дорогой читатель, ну конечно!» (*фр.*).

[2] люди дурного нрава (*фр.*).

[3] – Его больше нет, дитя мое (*фр.*).

плении это послушное тело и тотчас же увез Лолу к себе, где она и осталась на некоторое время.

Таковы были важнейшие события в ее жизни; это происходило бесконечно давно, более полувека тому назад. Потом все шло по раз навсегда установленной программе – пьесы, покровители, покровители, пьесы. Когда ей было двадцать лет, у нее был первый любовник, то есть первый человек, к которому она испытала сильное физическое влечение. Но и он вскоре умер, свалившись с пятого этажа лестницы в пьяном виде, – он был по профессии маляр. Он был единственным человеком, которого она любила. Все остальные – с неизменными фразами, всегда напоминавшими ей театральные реплики, с их смешным и жалким исступлением, и другие, действительно замечательные люди своего времени, – были ей почти безразличны: elle les laissait faire[1]. Среди них были политики, писатели, музыканты, но никто из них не мог даже отдаленно сравниться по привлекательности с погибшим маляром, корсиканцем по национальности, звонко хлопавшим ее твердой рукой по голому телу ниже спины и от которого так приятно пахло недорогим вином и крепким потом крестьянского лохматого тела. Но по мере того, как шло время, многочисленные журналисты создали совершенно иной облик Лолы, который не имел с ней ничего общего. Она разрешала им писать все, что они хотели, – и вот появлялись ее разговоры о пластическом искусстве, об испанском театре, об итальянской живописи и даже о русской литературе, о которой она не имела никакого представления. Так, мало-помалу, за ней установилась репутация эрудитки – за это она как-то упрекала, выпив лишнее, своего старого знакомого, специалиста по коротким статьям о классическом балете: tu m'as traité d'érudite, tu croyais peut-être que je ne le saurais pas?[2]

И специалист по коротким статьям о классическом балете не знал, как это понять, и, в конце концов, решил, что это шутка. Годы шли, была все та же жизнь, рассветы,

---

[1] она их не замечала (*фр.*).

[2] ты назвал меня эрудиткой, ты думал, может быть, что это на самом деле не так? (*фр.*)

поздние вставания, романы, все те же слова о любви, божественности, экстазе, рестораны, вина, диваны – и, несмотря на крепчайший организм, к сорока годам стало пошаливать сердце, начались непонятные боли в области живота, и знаменитый доктор рекомендовал ей более умеренный образ жизни. Но когда она спохватилась, было слишком поздно, и последние двадцать лет она потратила на борьбу с болезнями и старостью. Мало-помалу дошло до того, что ей было запрещено все, что она любила. Нельзя было ни есть, ни пить как следует, нельзя было принимать очень горячие ванны, вообще ничего нельзя было. Она примирилась и с этим. У нее давно было некоторое состояние, она могла бы уехать на юг, где ей принадлежала прекрасная вилла возле Ниццы, но она ни за что не хотела оставить сцену, к которой слишком привыкла за пятьдесят лет. В самые последние годы она стала выступать в мюзик-холле и вот теперь, решив открыть собственный театр, но жалея на это тратить деньги, обратилась к Сергею Сергеевичу, которого знала так же, как его знали все. Она объяснила ему, что это будет с его стороны великодушный жест, за который ему будет благодарна многочисленная парижская аудитория, но что, в сущности, это будет одновременно и чрезвычайно удачным помещением денег, так как мюзик-холл сразу же будет давать бешеные сборы. Она сказала Сергею Сергеевичу, что у нее есть уже идеи о том, каким должно быть revue, которое могло бы называться «Ça à Paris» – il y aura des décors somptueux[1] – и она засыпала Сергея Сергеевича целым каскадом слов, неубедительных в своей пышной банальности, точно заимствованных из того убогого языка, которым писались отчеты о премьерах во всех газетах. Это был тот самый стиль, которым пользовался еще ее первый покровитель и бесконечные образцы которого она читала потом всю свою жизнь. Туда входили «décors somptueux», «tableaux enlevés à un rythme endiablé», «le charme étrange de m-lle», «la voix chaude et captivante de m-r»[2] и т.д. Лола не умела говорить другими словами, да никто никогда и не объяснял

[1] ревю... «Так в Париже» – и будут пышные декорации (*фр.*).

[2] «роскошные декорации», «сцены в неистовом ритме», «странное очарование мадемуазель», «теплый и пленительный голос месье» (*фр.*).

ей, что этот язык невыразителен и плох; сама же она этого не подозревала. Сергей Сергеевич внимательно слушал Лолу, говоря иногда: merveilleux, admirable, il fallait le trouver...[1] – и думал о том, что если бы Лола была моложе, то она все это устроила бы сразу и не обращалась бы к нему. Теперь ему надо было найти предлог, чтобы уклониться от этого субсидирования, которое было бы бессмысленной потерей денег. Поэтому, как только Лола остановилась, он сказал с задумчивой и убедительной интонацией:

– J'aime beaucoup votre projet, madame. Qui, je l'aime beaucoup. – Он остановился на секунду, как бы мысленно представляя себе все великолепие этого проекта. – Une sale pleine à craquer et la foule en deliré, la même foule qui vous a toujours adorée[2].

Он еще раз сделал паузу, потом вздохнул и прибавил:

– К сожалению, завтра я уезжаю в Лондон на несколько недель. Как только я вернусь, я вам телефонирую, и поверьте, что я был бы счастлив и горд... вы понимаете...

Лола поднялась с кресла рассчитанным и быстрым движением, от которого раздался легкий хруст и по усталому телу пошли, смешиваясь друг с другом в одно ощущение мути и дури, разнообразные боли: кололо отсиженную ногу, болел геморрой, стучало в правом виске, но на лице ее была все та же «ослепительная» улыбка, та самая, которая фигурировала на всех фотографиях и казалась удивительной, потому что должна была бы сводить искусственные челюсти Лолы, сделанные из добротнейшего материала. Она протянула Сергею Сергеевичу дрожащую свою руку с ярко-красными ногтями и ушла быстрой походкой, которую были способны во всей мере оценить только два человека: ее доктор и она сама. По дороге она вспомнила слова Сергея Сергеевича о foule qui l'a toujours aborée[3]

---

[1] прекрасно, восхитительно, надо же так придумать... (*фр.*)

[2] – Мне нравится ваш проект, мадам. Да, очень... Зал забит до отказа, и толпа безумствует, та самая толпа, которая вас всегда обожала (*фр.*).

[3] толпе, которая ее всегда обожает (*фр.*).

и еще раз улыбнулась. Она искренне верила, что ее действительно обожают, искренне верила в свое сценическое призвание, и это было для нее тем единственным, из-за чего стоило так мучиться и жить, потому что все остальное уже умерло. Ради этого она шла на унижения, отказы, ради этого – для иллюзии своей неувядаемой молодости – она вышла недавно замуж за человека, который, при всей своей добросовестности, не мог скрыть в некоторые минуты своего отвращения к ней, – и она делала вид, что этого не замечает. Все это делалось ради foule qui l'adorée[1], которой на самом деле так же не существовало, как молодости. Но этому Лола никогда бы не поверила, потому что в таком случае ей оставалась только смерть, которая была еще страшнее, чем все болезни, вместе взятые.

Следующим посетителем, задержавшим Сергея Сергеевича всего несколько минут, был известный драматург, режиссер и актер в одно и то же время, автор бесчисленного количества пьес, полный пятидесятилетний мужчина, жеманный, как кокетка, беспрестанно менявший выражение лица и интонации, чрезвычайно довольный собой и своими успехами и настолько убежденный в своем превосходстве над другими, что от этого даже добродушный. Он был совершенно непроницаем для искусства в том смысле, что все, претендовавшее на подлинный талант, подлинное понимание и подлинное вдохновение, для него не существовало и не производило на него никакого впечатления – настолько это было чуждо ему и далеко от его собственного творчества, в котором раз навсегда все было определено и сводилось к довольно многочисленным и нередко забавным вариациям одной и той же темы об адюльтере. Иногда, впрочем, его герои затрагивали и общие темы, и даже социальные; но это всегда бывало так плоско, что он сам говорил, что еще раз убедился – эти сюжеты публику не интересуют. Он пришел сияющий и счастливый, хотя, в общем, не очень любил Сергея Сергеевича за то, что тот относился к нему без достаточного уважения, но он извинял его – avec sa fortune, il peut se

[1] толпы, которая ее обожает (*фр.*).

permettre...[1] Он предложил Сергею Сергеевичу билет на бал, который устраивал в пользу неимущих артистов. Сергей Сергеевич извинился, сказав, что не может быть, так как уезжает, но что, конечно, возьмет несколько билетов и предложит знакомым и что, не желая подвергать организатора бала риску неуспеха, заплатит за них сейчас же. Кроме того, он просит принять сумму, которая... – затем он написал чек и, вручив его, не взяв ни одного билета, пожал руку своего гостя и попрощался с ним.

Последней посетительницей была совсем юная актерка. Она тоже пришла с личным приглашением на премьеру пьесы, в которой она должна была играть главную роль. Она была очень весела и довольна, так как до того, как ехать к Сергею Сергеевичу, была у врача, убедившего ее, что сифилис, которым она совсем недавно заболела, так как только что начинала свою карьеру, – совершенно и бесследно излечим. Она рассказала Сергею Сергеевичу, что все épatant, что ее коллеги tous de chics types[2] и что она очень довольна. – Alors, mon petit, – сказал Сергей Сергеевич, – qu'est-ce que tu veux?[3] – Она объяснила, что телефонные и письменные приглашения, по ее мнению, не действуют и что поэтому она решила лично это сделать. – Я тебе очень благодарен, я постараюсь прийти, – ей он не счел нужным объяснять, что он уезжает.

Лиза и Сережа вернулись только к обеду. Сергей Сергеевич сказал:

– Ну, дети мои, я рад вас видеть – а то я уж начал думать, что я просто импресарио. Представьте себе, три визита, и все артистические.

Сергей Сергеевич сразу увидел, что с Лизой происходило что-то необыкновенное: она несколько раз засмеялась – что ей было несвойственно, глаза ее блестели, движения стали быстрее. Но о причинах этого Сергей Сергеевич не спросил. Сережа тоже был возбужден после прогулки; но тут все было понятно – таким он возвращался всякий раз из Булонского леса.

---

[1] с его состоянием, он может себе это позволить... (*фр.*)

[2] в изумлении... симпатичные парни (*фр.*).

[3] – Ну, моя крошка... чего же ты хочешь? (*фр.*)

– Начинаются отъезды, – сказал Сергей Сергеевич. – Послезавтра я должен быть в Лондоне. Леля уехала сегодня днем.

– Мама уехала?

– Леля уехала?

Но Сережа спросил голосом, в котором было одновременно удивление, огорчение и неожиданность. Лиза сказала те же слова приблизительно так, как если бы хотела сказать: я так и думала; очень мило, хотя, конечно, этого следовало ожидать.

– В Италию? – спросила Лиза. – Почему ты так думаешь? – Ну, я сказала в Италию, как сказала бы в Австралию или Турцию. – Как странно, Лиза, ведь ты угадала: действительно, в Италию. Я думаю, через неделю мы получим письмо. Нет оснований сомневаться, что все будет хорошо, как всегда.

– Да, как всегда, – сказала Лиза.

Сережа слышал этот незначительный разговор, который он теперь понимал иначе, чем понял бы год тому назад, когда не знал ничего, и за теми же самыми словами был теперь иной смысл. Значили они то, что Сергей Сергеевич не хотел ни в чем обвинять Ольгу Александровну и заранее ей все прощал, а Лиза находила, что поступать так нехорошо и недостойно. Так это понимал Сережа, но это было неправильно.

– А ты, Лиза, как? – сказал Сергей Сергеевич после того, как прошла эта слегка тревожная пауза, вызванная мыслями об отъезде Ольги Александровны. – Ты едешь?

– Еду, я думаю, – сказала Лиза обычным своим медленным голосом. – Еду, я думаю. Я думаю.

– Мы уже знаем, Лиза, что ты думаешь, – терпеливо сказал Сергей Сергеевич. – Но что именно ты думаешь?

– Мы с Лизой решили ехать на юг, – быстро сказал Сережа. – Завтра.

– А меня не приглашаете?

– Ты же в Лондон, – пожав плечами, сказала Лиза.

– Из Лондона тоже люди ездят.

– Приезжай из Лондона, – сказала Лиза таким тоном, как если бы хотела сказать: что же, с этим придется примириться.

– Ты меня приглашаешь без энтузиазма, мне кажется.

– Милый мой, нельзя всю жизнь с энтузиазмом жить. И тебе это должно быть особенно понятно – у тебя ведь энтузиазма вообще никогда не было.

– Представь себе, был, – как бы сам этому удивляясь, сказал Сергей Сергеевич. – Но, конечно, как ты глубокомысленно говоришь, всю жизнь с энтузиазмом жить нельзя – устать можно. Да у тебя, конечно, и годы уж не те.

– Оставь в покое мои годы...

– Лиза, – спокойно сказал Сергей Сергеевич, – у тебя портится характер. Заметила ли ты, между прочим, что плохой характер и хороший вкус друг другу противоположны и стремятся к взаимному уничтожению?

– Заметила, – отрывисто и иронически сказала Лиза.

– Но не сделала выводов?

И тогда вдруг Лиза, с расширившимися от бешенства глазами, тихо сказала, глядя прямо в глаза Сергею Сергеевичу:

– Я больше так жить не могу, ты понимаешь? Все всегда очень мило, всегда шутки, всегда этот все прощающий ум – и полное отсутствие страсти, крови, желания.

– Боже, какие ты ужасы говоришь, – сказал Сергей Сергеевич таким же эпическим голосом, каким он рассказывал охотничьи истории: «День, как сейчас помню, был облачный, тихий. Собака моя, которую я, представьте себе, купил совершенно случайно у крестьянина и которая оказалась...»

– Не могу, не могу, не могу! – закричала Лиза и, поднявшись из-за стола, ушла к себе.

Сергей Сергеевич и Сережа остались вдвоем. Сергей Сергеевич начал медленно насвистывать серенаду, сам прислушиваясь к точному и чистому свисту; досвистел до конца и сказал:

– Там, на юге, ты тетке посоветуй как можно больше в воде сидеть, это ее нервы успокоит. À part ça[1], как твои дела?

[1] Хватит об этом (*фр.*).

– Ничего, – сказал Сережа. – Сегодня я тренировался на сто метров.

– Какое время?

– Двенадцать с половиной.

– Многовато, – сказал Сергей Сергеевич. – Я думаю, ты теряешь время на старте.

* * *

Аркадий Александрович Кузнецов, с которым Ольга Александровна уехала в Италию и с которым она познакомилась около года тому назад, был полноватый человек сорока семи лет, с блеклыми глазами, небольшой лысиной, одетый несколько по-старинному, носивший трость с набалдашником; лицо у него было желтоватой окраски, была небольшая одышка, медленная походка и неожиданно высокий голос. Он никогда не занимался никаким физическим трудом и никаким спортом; поэтому руки и тело у него были мягкие, как у женщины. По профессии он был писатель – и этому обстоятельству был обязан знакомством с Ольгой Александровной, потому что встретился с ней на литературном вечере, где поэт средних лет с отчаянными глазами на измятом лице читал невиннейшие стихи, в которых главным образом описывались природа и любовь к земле.

Билеты на этот вечер, знаменательный в жизни Ольги Александровны, купил, конечно, Сергей Сергеевич, который за обедом сказал ей и Лизе:

– Вы бы, девочки, сходили раз в жизни стихи послушать.

И объяснил, что поэт, которого им предстояло слушать, был un brave homme[1], у которого шесть душ детей и постоянно беременная жена, и что жилось ему туго. Все это было так неожиданно, что Ольга Александровна и Лиза решили поехать на этот вечер. Поэт читал стихи, чрезвычайно похожие одни на другие и настолько очевидно бесполезные, что слушателям становилось несколько неловко. К тому же у поэта был довольно заметный провансальский акцент. Но кончив свое третье стихотворение, он посмо-

[1] славный человек (*фр.*).

трел на аудиторию и вдруг улыбнулся такой откровенной и наивной улыбкой, бессознательно-очаровательной, что всем стало ясно, что стихи, это, конечно, не важно, а важно то, что это, действительно, милейший и простодушный человек и что, наверное, он очень любит детей, – и все это было в той удивительной улыбке.

– Ах, какая прелесть! – сказала Ольга Александровна по-русски.

И тогда человек, сидевший с ней рядом, повернул к ней желтовато-бледное лицо с блеклыми смеющимися глазами и сказал:

– Действительно.

Во время перерыва этот человек обратился к Ольге Александровне с извинениями по поводу реплики, которую позволил себе сделать, и назвал себя; Ольга Александровна никогда не слышала его имени, но Лиза читала его книги, и разговор перешел на литературу. Потом он пригласил их в кафе, был очень мил, любезен и скромен, и на следующий литературный вечер Ольга Александровна пошла уже с твердым намерением его встретить. Такое же намерение руководило и Аркадием Александровичем; и еще через некоторое время знакомство стало принимать угрожающие и привычные формы, вне которых жизнь Ольги Александровны каким-то роковым образом не могла протекать. Когда Лиза спросила Сергея Сергеевича, знает ли он фамилию Кузнецов, Сергей Сергеевич сказал, что знает, и на вопрос о том, что он, по его мнению, из себя представляет, сказал с обычной своей улыбкой:

– Графоман.

И потом он со всегдашним своим благодушием заговорил о литературе и писателях, которых – всех без исключения – считал очаровательными людьми, но, конечно, ненормальными и ошибающимися. Ошибались же они чаще всего в своем призвании; по мнению Сергея Сергеевича, большинству из них совершенно не следовало писать.

– Что ты называешь большинством?

– Термин, конечно, уклончивый, Лизочка. На этот раз я могу уточнить: девяносто процентов.

– Строг ты, Сергей Сергеевич.

– Почему же строг? Я им деньги даю.

– Ну, деньги ты всем даешь.

– Не всем, к счастью. Но многим, это верно.

– Нет, а уважение к писателю?

– Ну, Лиза, не капризничай, – тебе уже и уважение нужно. Ты, может быть, дневник пишешь? Тогда я тебе изложу другую точку зрения на литературу, совершенно восторженную, чтобы тебе доставить удовольствие. А так – ну за что я их буду уважать? Вот этот твой Кузнецов, он, знаешь, такие печальные книги пишет, и все есть тлен, дескать, и суета, а сам он такой интересный и умный и все это прекрасно понимает. А герои у него все говорят одним и тем же интеллигентски-адвокатским языком, которым живые люди вообще не говорят, Лизочка, а только присяжные поверенные и фармацевты. И все эти герои – от конюха до генерала – говорят одно и то же.

– Что же, ты отрицаешь законность пессимизма?

– Нет, не отрицаю, но важны причины, которые... У человека, скажем, хронический ревматизм, или почки, или печень, – вот тебе и пессимизм.

– Меня удивляет, Сережа, такое грубое физиологическое объяснение.

– Да ведь это же не так просто, это проходит через множество градаций; только я их пропускаю. Или вот, скажем, он импотент.

– Ну, этого я не думаю.

– Нет, ведь это только предположение. А вообще, он милейший человек, я его знаю, видел несколько раз, немножко меланхолический, немножко мягкий, а в общем, очаровательный. Может быть, ему деньги нужны? Почему ты вообще о нем заговорила?

– Мы с ним познакомились на литературном вечере.

– А! Ну и что же?

– Он, кажется, нам понравился, – сказала Лиза, уходя из комнаты. И вдогонку неторопливый голос Сергея Сергеевича, в котором слышалась на этот раз настоящая улыбка, сказал:

– Тебя послушать, Лизочка, ты просто святая.

Больше разговор об Аркадии Александровиче не возбуждался. Только однажды за столом Сергей Сергеевич сказал вскользь, что читал книгу Аркадия Александровича «Последний перегон» и что находит ее замечательной: такой ум, такое понимание; он сказал это с простодушным и доверчивым убеждением, и Ольга Александровна посмотрела на него благодарными глазами, и только Лиза, не поднимая головы, – она ела артишок, – проговорила: – Какой актер в вас погибает, Сергей Сергеевич!

Между тем отношения Ольги Александровны и Аркадия Александровича начинали принимать уже совершенно непоправимый характер. Ольга Александровна прочла все его книги; читая их, ей казалось, что она слышит интонации его трогательно-высокого, детского голоса, и все многочисленные страдания его героев, вызванные разнообразнейшими причинами, заставляли Ольгу Александровну возвращаться к одной и той же мысли, которую она как-то высказала сестре, сказав, что, только прочтя эти книги, понимаешь, сколько должен был страдать этот человек, чтобы написать это. Книги Аркадия Александровича были, действительно, чудесны; то неопределимое и прекрасное, что было в них, все росло и шумело и никогда не кончалось, все было умно, нежно и печально, – и только никто, кроме Ольги Александровны, не умел этого видеть. Ольга Александровна начала заботиться о его костюмах, о том, чтобы он надевал теплое пальто, потому что стояла холодная погода, чтобы он не простудился, чтобы он пошел к доктору. И Аркадий Александрович, в свою очередь, влюбился на сорок восьмом году, в первый раз в своей жизни. Выяснилось это однажды утром, когда его жена, усталая женщина с безжалостно крашенными волосами, услышала, что он пел. Она так изумилась, что вышла из спальни в пижаме и прошла в ванную, где увидела Аркадия Александровича, голого до пояса, увидела это ненавистное, белое и дряблое тело и – в зеркале – неожиданно веселые глаза. – Ты с ума сошел? – Аркадий Александрович, продолжая напевать, не обращал на нее внимания. Наконец, когда она повторила свой вопрос, он обернулся к ней, засмеялся и сказал:

– Не старайся понять то, что ты не в состоянии понять.

– Я в состоянии понять, что ты стар и глуп.

– Ограничься этим и оставь меня в покое.

И тогда она вспомнила еще несколько вещей, на которые не обращала внимания до сих пор, и, сопоставив все это, пришла к убеждению, что произошла в жизни ее мужа какая-то ускользнувшая от нее, но очевидная и значительная перемена. Во-первых, он не просил больше денег. Во-вторых, он перестал жаловаться на судьбу. В-третьих, он как-то был на концерте Крейслера. Целый ряд поразительных вещей вошел в его жизнь и изменил все. Людмиле обычно было некогда думать об этом. Ее собственная жизнь была слишком сложна, чтобы она могла останавливаться еще на этом.

Людмила была женщиной исключительной. За много лет совместной с ней жизни Аркадий Александрович не заработал почти ничего, все было сделано ее заботами. Вместе с тем, была приличная квартира, обстановка, все и всегда было заплачено, и она и Аркадий Александрович жили совершенно благополучно и обеспеченно. Мужа своего она презирала до глубины души, но сохраняла как некую юридическую фикцию, которая входила в ее бюджет так же, как газ, электричество и телефон. В ее делах она часто пользовалась его именем, о чем он чаще всего не знал. Он не знал также, что в ее рассказах он неизменно фигурировал как тиран и деспот и человек болезненно ревнивый, от которого она была вынуждена скрывать решительно все. А скрывать ей было что. Последнее по времени дело, исключительное по удачности осуществления, заключалось в том, что от своего поклонника она получила десять тысяч на похороны единственного ребенка, очаровательной восьмилетней девочки, о болезни и смерти которой она рассказывала страшные подробности; и настоящие слезы стояли в ее синих глазах. Поклонник ее, немолодой человек, сам отец семейства, не мог в свою очередь удержаться от слез, слушая ее рассказ, чудовищный по своей простоте и убедительности. Она умоляла его не звонить ей неделю, дать ей время похоронить

свою дочь, после которой на свете у нее оставалось одно утешение – его любовь, – и потом она сама позвонит ему или напишет. И она уехала, крепко сжимая сумку с деньгами, полученными путем такого труда; и только в автомобиле стала медленно отходить, и лицо ее постепенно принимало свой всегдашний характер, трудно передаваемый; холодность, некоторая душевная усталость и только в глазах нечто вроде намека на какие-то обещания. Это был своеобразный тип очарования, не лишенный привлекательности, особенно для немолодых уже людей. Людмила могла нравиться или не нравиться, ее замыслы могли не удаться, если она не нравилась; но если она нравилась, она добивалась своей цели; у нее было то, что она сама называла мертвой хваткой. Была еще и недюжинная изобретательность, которая проявилась, например, в деле о похоронах дочери; у нее никогда не было детей; но если бы они были, то они могли бы с чистой совестью болеть и умирать, так как на те деньги, которые она получила на их лечение и похороны, можно было лечить и умертвить целую семью.

У нее были туберкулезные братья – в последнем градусе чахотки – в швейцарских санаториях, откуда они должны были уйти, так как было нечем платить; были многочисленные родители, хронически голодавшие в России, сестры, разбитые параличом и навеки осужденные не вставать с постели; были векселя, подписанные в жестоких обстоятельствах и предъявленные к взысканию, потому что она, Людмила, в ответ на наглое предложение кредитора, не удержалась и дала ему пощечину и потом бессильно рыдала у себя дома, в квартире, за которую тоже давно не плачено. Вместе с тем, она отличалась немецкой аккуратностью и своеобразной щепетильностью в денежных отношениях, уплачивая все до копейки и совершая это как некий искупительный подвиг, и с презрением относилась к людям нечестным или не платящим долги. В ее жизни была только одна слепая и безжалостная страсть, ради которой она была готова забыть обо всем остальном, – эта страсть была музыка. Она сама была отличной пианисткой, и вечерами, одна в своей квартире, она играла, охваченная холодным и самозабвенным сла-

дострастьем, Баха, Бетховена, Шумана. И только в эти часы, далекая от всего остального, одна в этом призрачном и нарастающем полифоническом мире, она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Потом она прекращала игру и останавливалась, неподвижно глядя в черное зеркало рояля; и умолкнувшие мелодии продолжали беззвучно греметь, вызывая целый ряд сожалений, предчувствий и напоминаний о том, чего никогда не было. Она походила тогда на человека, содрогающегося от понимания того, что его жизнь загублена, или на женщину, над которой разразилась страшнейшая катастрофа. Потом она ложилась в холодную постель с туго натянутыми синевато-белыми простынями, выкуривала несколько папирос и, одурманенная, засыпала, с тем чтобы на следующее утро вновь приниматься за прежнее. Она не знала ни привязанностей, ни любви, ни сожаления; и Аркадий Александрович, когда примерно раз в месяц, по утрам и непременно в пижаме, она устраивала ему сцены за то, что он повесил пальто не туда, куда нужно, или бросил непотушенный окурок в корзину с бумагой, – испуганно смотрел на ее растрепанные волосы, бледные губы, тряс головой и предпочитал не задумываться над тем, как было возможно, что существовала такая чудовищная и неправдоподобная жизнь.

И точно так же, как Людмила была лишена любви и сожаления, так же Аркадий Александрович был лишен самолюбия и нравственности. Он прекрасно понимал и знал, что это такое, и конфликты его героев имели чаще всего этические основания; но этому пониманию не соответствовали никакие его личные чувства. Он не был активно дурным человеком и не совершил бы нечестного поступка по отношению к ближнему; у него только совершенно не было ни мужества, ни воли к независимости. Теоретически он понимал, что нехорошо жить на деньги презиравшей его женщины, которая вдобавок зарабатывала их таким неблаговидным образом, но как можно было поступить иначе? Он не мог даже представить себе, что он вдруг станет рабочим или служащим, уедет из прекрасной и теплой квартиры и будет жить в холодной комнате деше-

вой гостиницы и вставать в семь часов утра, – это было настолько ужасно, что нужно было мириться с чем угодно, чтобы избежать этого. И это нужно было делать ради этих самых моральных положений, которые годились только для литературы, но для которых в жизни не было места; иначе было бы слишком тяжело и неудобно жить. И когда люди, угощавшие его прекрасным обедом и предлагавшие взаймы необходимые сто или двести франков, дурно отзывались о его друзьях, он не защищал их, потому что защита значила бы, что больше не будет ни обеда, ни денег. Он даже не думал обо всем этом. Это выходило само собой, настолько это было очевидно. Раньше, когда он был молод и начинал свою литературную карьеру, он считал, что все надо изменить – и жизнь, и искусство, – и не стыдился произносить эти слова; потом почувствовал, что говорить так – искусство, жизнь – просто неловко в том обществе, в котором он вращался – почтенных людей, богатых коммерсантов с душой мецената, но не меценатов, как бывают люди с душой студента, но не студенты, известных политических деятелей или писателей, – словом, всех, чье более или менее прочное, закрепившееся положение не терпело ни желания, ни необходимости, ни чаще всего способности к отвлеченному мышлению или к сопоставлению различных концепций искусства. Мало-помалу и он становился похожим на них; но, как все ограниченные люди, не замечал этого, как не заметил своей ошибки, и стал думать, что молодежь ничего не понимает и заблуждается. В литературе он сразу усвоил себе один и тот же, раз навсегда взятый тон – несколько усталого скептицизма и постоянного, беспроигрышного эффекта – все тленно, все преходяще, все неважно и суетно. И так как это не требовало никакого усилия мысли, то все писалось легко и просто, и от этого автоматического разворачивания заранее придуманных положений Аркадий Александрович испытывал настоящее удовольствие, почти что радость, хотя судьбы его героев бывали обычно печальны. Однако литературного успеха у него не было. И этому были десятки готовых и вполне приличных объяснений; но главная причина, о которой Аркадий Александрович никогда не

думал, заключалась в том, что он не был способен испытать или понять ни соблазна преступления, ни разврата, ни сильной страсти, ни стремления к убийству, ни мести, ни непреодолимого желания, ни изнурительного физического усилия. Он был полным и мягким человеком, мирно прожившим свою жизнь в довольно приятной квартире, и ни разу его чувства не подвергались жестоким испытаниям смертельной опасности, голода или войны – все шло в культурных полутонах и оттого все получалось, в сущности, неубедительно.

В жизни его было несколько женщин. Людмила была его третьей женой. Но он никогда не чувствовал себя способным ради женской любви пожертвовать чем-нибудь, а они именно этого и требовали даже в тех случаях, когда это было совершенно не нужно. Он расставался с ними без сожаления. Но и ему была нужна своя романтическая легенда – и он создал ее; он говорил, что был счастлив с женщиной, которая... и тут он произносил целую речь, сам испытывая от этого некоторое печальное удовольствие; эта женщина была его первой женой, и ее портрет висел у него над диваном: на портрете была изображена худенькая брюнетка монашеского типа, и портрет вообще был стилизован под нечто среднее между прелестью и целомудрием; рядом с этим портретом была другая фотография, почти такого же размера, на которой был снят сам Аркадий Александрович в белом костюме, с букетом цветов в одной руке и с панамой в другой – на кладбище, у могилы своей жены. По рассказу Аркадия Александровича, который он повторял много раз и которому сам начинал не на шутку верить, все выходило романтично и прекрасно донельзя. Он познакомился с ней на концерте, они долго говорили о музыке, о литературе, об искусстве вообще; она не знала ничего о грубости той жизни, которая его окружала, как ничего не понимала в деньгах; она была создана для искусства и для единственной и неповторимой любви. Но окружавшие ее люди не были способны понять ее очарования. Она пришла однажды к Аркадию Александровичу, принесла цветы и была вся такая хрупкая и нежная в своем весеннем туалете. И тогда она сказала ему,

что вся ее жизнь принадлежит Аркадию Александровичу. И он ответил ей: – Дитя мое, если бы я считал себя способным создать ваше счастье... – Только вы способны это сделать, – торопливо ответила она. Но он взял ее руки, поцеловал их и сказал, что она слишком молода – сам он был старше ее на пять лет – и что ей нужно еще подумать, прежде чем решаться на такой шаг. Ему казалось, что хрупкое ее очарование не вынесет соприкосновения с действительностью брака, с неизбежной прозаичностью ежедневного совместного пребывания с человеком, который, быть может, недостоин ее. Но в конце концов он сказал себе, что счастье – редчайшая вещь в мире и что надо иметь мужество не отступить перед ним. И он женился. Ее бледное лицо, ее белое платье и воздушная фата в высокой церкви – он видел это как сейчас. Три года их жизни прошли – он просил прощения за тривиальное сравнение – как многогранный и смещающийся сон. Он знал, что это счастье не может быть продолжительным; она заболела дифтеритом и в несколько дней умерла. После ее смерти он вошел в свой кабинет, вынул браунинг, приложил его к виску и нажал гашетку. Раздался сухой треск, но выстрела не последовало. Он понял тогда, что это она вынула патроны из обоймы; стало быть, она хотела, чтобы он остался жить – быть может, для того, чтобы на этой земле не умирало то сожаление, которое осталось единственным следом ее кратковременного пребывания здесь и того ослепительного счастья, которое она дала ему. Он говорил о том, как шумели печальные деревья на кладбище и как никогда он не забудет мелодию этого шума, последнюю мелодию, провожавшую ее в тот мир, в который он готов поверить со всей силой убеждения только ради мысли о ней. После этого он делал небольшую паузу и прибавлял:

– Но не будем говорить об этом. Это слишком тяжело для меня, и я не хотел бы, чтобы эта чужая печаль передалась вам.

Таков был рассказ Аркадия Александровича о его первой жене, вернее, та легенда, которую он создал и которая ни в какой степени не походила на подлинную

историю его женитьбы. В легенде, например, совершенно отсутствовало какое бы то ни было упоминание о приданом; а, вместе с тем, именно это неупоминавшееся приданое явилось одновременно и причиной ухаживания Аркадия Александровича, и решившим все фактором. На концерте Аркадий Александрович не был, потому что билеты стоили слишком дорого, а встретился со своей первой женой у знакомых. Колебания перед браком, действительно, были, но вызывались они совершенно иными причинами, чем те, которые так выгодно оттеняли великодушие и жертвенность Аркадия Александровича в его рассказе, и объяснялись тем, что, во-первых, барышня была совершенно не уверена, что любит его, во-вторых, – и главным образом, – тем, что она не достигла еще совершеннолетия и не могла распоряжаться капиталом – около ста тысяч рублей, который ей принадлежал и который и составлял ее приданое. Но совершеннолетия она достигла через несколько месяцев, и тогда уже ничто не могло препятствовать браку. Аркадий Александрович действительно, впервые в жизни, проявил редкое упорство в достижении своей цели. Будущая теща его, лютая и скупая старуха, стремившаяся во что бы то ни стало выдать дочь за богатого человека, ненавидела Аркадия Александровича всеми силами. Он терпеливо сносил все и для оправдания своей снисходительности придумал теорию, извинявшую поведение старухи и ее нервность, которые объяснялись тем, что она много страдала, – что было неправильно: старуха не знала никаких страданий и прожила благополучнейшую жизнь; ей было только невыносимо жаль ста тысяч своей дочери. Дочь ее, подвергавшаяся, с одной стороны, бурным увещеваниям старухи, с другой – тихим уговариваниям Аркадия Александровича, долго колебалась, пока, наконец, Аркадий Александрович не одержал верха, – и тогда и произошла эта свадьба. Единственное, что в известной степени было верно в легенде Аркадия Александровича, это что его жена не знала цены деньгам – и они целиком перешли в его распоряжение, – и бессильная теперь старуха исчезла, как призрак. Но жена Аркадия Александровича никогда его не любила – и этому можно было бы привести множе-

ство доказательств, – и каждый из них вел свою собственную жизнь; но так как характеры обоих были лишены бурности, то, действительно, все протекало мирно, хотя и скучновато. Умерла она от неудачной операции, официально называвшейся аппендицитом. Патронов из револьвера она тоже не вынимала, потому что револьвера у Аркадия Александровича вообще не было, – и, наконец, деревья совершенно не шумели в день ее похорон, потому что было начало марта и листьев на них еще не было.

Как это ни казалось странным на первый взгляд, эта легенда Аркадия Александровича имела у его поклонниц неизменный успех. После некоторой диалектической подготовки выходило, что вывод напрашивался сам собой: в жизни Аркадия Александровича образовалась непоправимая в некотором смысле пустота, и, конечно, эту пустоту могла заполнить другая женщина, тоже почти такая же – несколько не от мира сего, романтическая, не думающая о деньгах, – и такими считали себя решительно все. Только Людмиле Аркадий Александрович никогда не рассказывал этой легенды. Но Ольге Александровне он, конечно, ее рассказал и даже сообщил программу концерта.

Для Ольги Александровны Аркадий Александрович был совершенно новым человеком – она никогда до сих пор не знала таких людей. Во-первых, он был менее примитивен, чем все предыдущие; во-вторых, ей в нем понравились мягкость и некоторая беззащитность; этот человек не умел требовать, не умел устраиваться, не имел мужества сказать обожавшей его жене, что он ее больше не любит, так как он знал, что этого удара она не вынесет. – Но скажите ей это, ведь рано или поздно она должна это узнать... – Вы не знаете ее, – ответил Аркадий Александрович, – бедная Людмила!

Поездка в Италию была придумана, конечно, Ольгой Александровной. Она должна была встретиться с Аркадием Александровичем в Ницце, в гостинице на avenue Victor Hugo. Оттуда они поедут через Ментону, Бордигеро, Сан-Ремо и Геную – в глубь Италии. Проще было, конечно, вместе уезжать из Парижа, но Ольге Алексан-

дровне непременно хотелось придать этой поездке подготовленный характер неожиданности и счастливой случайности. Одна, она едет в Ниццу; в окне вагона движется море, бегут километры – и вот вокзал, автомобиль, avenue Victor Hugo – и в холле гостиницы, наконец, неторопливая фигура, такая уютная, мягкая и родная. Ольга Александровна не понимала теперь, как можно любить человека, если у него широкие плечи, твердые руки и чудовищно двигающиеся мускулы под смуглой кожей; плечи должны были быть немного покатые, кожа трогательно белая, руки нежные и мягкие. Но вначале Аркадий Александрович категорически отказался от поездки, и он объяснил Ольге Александровне, что, к сожалению, это невозможно, потому что у него нет денег. – Глупый, – сказала она, потрепав его по щеке, которая прыгала и двигалась под ее рукой, – совсем глупый, как мальчик! – И хотя он продолжал протестовать и отказываться, кончилось это тем, что двумя днями раньше Ольги Александровны он уехал с Лионского вокзала первым классом, оставив записку Людмиле, что уезжает месяца на два и напишет ей; Людмилы третьи сутки не было дома.

Был июль месяц; Аркадий Александрович и Ольга Александровна проездом остановились в Ментоне, и им все казалось здесь так прекрасно, что дальше ехать не стоит; к тому же времени было много – целая жизнь впереди. Несмотря на то, что Аркадий Александрович был уже совсем не молод, грузен и болен, несмотря на то, что он давно перестал верить во что бы то ни стало, кроме уюта и хорошей квартиры, несмотря на то, что любовь его обычно утомляла, а длинные разговоры об одном и том же раздражали, – несмотря на все это, он почувствовал в первый раз за всю жизнь, что теперь отдал бы все, пожертвовав даже хорошей квартирой, за возможность пребывания с Ольгой Александровной. Это было высшее, на что он был способен. Иногда, после обеда, он садился писать книгу, которая называлась «Весенняя симфония» и в которой он непривычными словами описывал любовь двух молодых людей; причем в этой книге не было ни тлена, ни увядания, ни праха, а описывались вещи положительные и лирические;

и это было бы неловко читать, как неловко было бы смотреть на старую и толстую женщину в легком газовом платье, которая бы прыгала по сцене, изображая юную сильфиду. Аркадий Александрович был слишком усталым человеком для того, чтобы внешнее такое его перерождение было прилично. Но, главное, он находил, что только теперь понял, что такое счастье, и только теперь почувствовал, как надо писать, и Ольга Александровна, которой он читал свои странно неумелые страницы, была с ним совершенно согласна.

По утрам они ходили купаться вдвоем; но неудобство этого заключалось в том, что Ольга Александровна прекрасно плавала, а Аркадий Александрович плавать не умел. Стоя по горло в воде, он разводил руками, глубоко вздыхал и покачивался на месте, точно набираясь сил, чтобы поплыть, но никуда не двигался и продолжал так стоять и покачиваться. Когда Ольга Александровна оказывалась рядом с ним, он говорил:

– Как обидно, в сущности, что природа обошла человека, не дав ему способности летать, не дав ему способности плавать! Я бы поплыл сейчас далеко-далеко! – И Ольга Александровна, которая смеялась бы, если бы это сказал другой человек, как она смеялась бы над его неловкими движениями и неуверенностью в воде, умилялась его поведению и вместе с ним жалела, что человек обижен природой.

* * *

После отъезда Лизы и Сережи Сергей Сергеевич остался в Париже один. Ольга Александровна должна была находиться в Италии, писем от нее еще не было, и возвращения ее раньше чем через две недели Сергей Сергеевич не ждал.

В жизни его наступил один из редких периодов, когда он оказывался почти совершенно свободен: не было ни поездок, ни срочных обязательств, ни просителей, и все это беспрерывное движение вокруг него на некоторое время стихало. Он не изменял обычного образа жизни, по-прежнему рано вставал, по-прежнему всегда был акку-

ратен, чист и готов и по-прежнему имел такой вид, точно только что вышел из ванной. Но в такие дни он много читал, и на это, главным образом, уходили его досуги. Чрезвычайно редко, однако, он прочитывал книгу до конца; чаще же всего он ограничивался первыми страницами. Иногда он брал те романы, которые хвалила Ольга Александровна, но, прочитав несколько строк, аккуратно клал их на место. Книги Лизы были более интересны, но любимым ее автором был Достоевский, которого Сергей Сергеевич никогда не мог читать без сдержанного раздражения и усмешки. Зато Сережино чтение всегда вызывало в нем улыбку, это был либо Платон, либо Кант, либо Шопенгауэр. Кончалось все это обычно тем, что Сергей Сергеевич брал с полки Диккенса или Голсуорси и в десятый раз принимался за Оливера Твиста или хронику Форсайтов.

На второй день его отдыха, когда всем было известно, что он в Лондоне, – в то время как он почти не выходил из дому, – ему позвонил его старый товарищ с давних, еще московских времен, некий Слетов, который сказал, что ему необходимо повидать Сергея Сергеевича по очень важному делу, и, хотя Сергей Сергеевич отлично знал, что это за дело, он ответил, что будет рад его видеть. Через полчаса Слетов явился.

– Здравствуй, Федор Борисович, – сказал Сергей Сергеевич, – за такси ты заплатил?

Федор Борисович Слетов был высокий человек, чрезвычайно небрежно одетый, с помятым и желтым лицом, на котором казались удивительными восторженные голубые глаза. Ему было столько же лет, сколько Сергею Сергеевичу, но выглядел он значительно старше своего возраста.

– Представь себе, Сережа, не хватило пустяка, ты понимаешь... – быстро заговорил он. – Да, ведь ты еще не знаешь, все кончено, все, понимаешь, – он сделал решительный жест рукой, словно отсекая нечто незримое. Говорил он очень скоро, чуть ли не задыхаясь от торопливости и волнения. – Я не спал последние трое суток. Все, ты понимаешь, все. И кто бы мог подумать, – сказал он, резко замедлив свою речь и начиная говорить плавно и с размеренной горечью, – что она, Лили, окажется просто...

Он не кончил фразы и покачал головой.

– Женщиной, недостойной твоей любви? – спросил Сергей Сергеевич.

– Сомнения невозможны, – тихо ответил Слетов. – Письма, доказательства...

– Ты неисправим, Федя.

– Да, да, знаю, заранее знаю... Но вы все, и ты в том числе, – ничего не понимаете.

– Да тут не Бог весть какая мудрость, Федя.

– Нет, мудрость! – закричал Слетов. – Ты говоришь, что это все случайные женщины, что смешно полагать, будто Лили, или Женя, или Оля окажется вдруг добродетельным ангелом, да? Так вот, милый мой, поверь мне, что нет двух одинаковых женщин в мире, понимаешь? Они все разные, все.

– Возможно. Действуют они, однако, все приблизительно одинаково.

– Нет, разно.

– То есть некоторые детали, возможно, и непохожи, – сказал Сергей Сергеевич, – и все-таки каждый раз ты приезжаешь совершенно так же, как сегодня, и даже та трогательная подробность, что у тебя нет денег на такси, остается неизменной. И каждый раз у тебя доказательства и письма.

– Ты знаешь, что такое творческое начало в жизни?

– При чем тут творческое начало?

– Я тебе объясню. Вот я полюбил женщину, которая...

– Ты обедал? – спросил Сергей Сергеевич.

Было около восьми часов, Сергей Сергеевич никого не мог ждать в это время. Вдруг в передней раздался резкий и продолжительный звонок.

– Вот, Федя, кто бы это мог быть, судя по звонку, как ты думаешь? Мужчина или женщина?

– Женщина с настойчивой волей.

– А я бы сказал, что мужчина и еще, вдобавок, нахал.

Горничная передала Сергею Сергеевичу карточку, на которой было написано: Людмила Николаевна Кузнецова – и от руки, хорошо очиненным карандашом, было прибавлено: по очень важному личному делу.

– Знаешь, Федя, – сказал Сергей Сергеевич, – ты бы пошел принял ванну, побрился, привел бы себя в порядок; а я тем временем ее все-таки приму.

– Вот теперь я начал чувствовать голод, – сказал Слетов.

– Иди, иди, я тебя накормлю. Просите, – сказал он горничной.

Людмила вошла своей уверенной походкой, сказала деловитым голосом: – Здравствуйте, – села и тотчас закурила папиросу.

– Я могу вам быть чем-нибудь полезен? – спросил Сергей Сергеевич.

– Я думаю, – холодно сказала Людмила, – во всяком случае, я надеюсь.

– Если бы вы были добры сказать мне, чем именно я обязан удовольствию вас видеть...

– Вы должны это знать так же хорошо, как я.

– Видите ли что, – сказал Сергей Сергеевич, удобнее устраиваясь в кресле и точно готовясь произнести речь, – я имею несчастье – или счастье – быть сравнительно обеспеченным человеком, и это отражается самым пагубным образом на характере визитов, которые мне делают разные люди и цели которых, в общем, отличаются, я бы сказал, некоторой монотонностью. Я бы сказал, что девяносто девять процентов этих визитов имеют одно и совершенно недвусмысленное значение. В тех же случаях, когда визит делает женщина, то девяносто девять процентов можно заменить цифрой сто, нисколько не рискуя ошибиться. Другими словами, я хочу поблагодарить вас за очаровательное внимание, с которым вы выслушали все, что я говорил, и прибавить, что по поводу вашего посещения у меня не было с самого начала никаких иллюзий.

– Вы всегда так разговариваете?

– Нет.

– Вы знаете, что ваша жена уехала, но не знаете с кем.

– Видите ли что, – сказал Сергей Сергеевич. Он сделал вид, что задумался, посмотрел сначала на потолок, потом в лицо Людмилы и медленно сказал: – Я отрица-

тельно отношусь к известной категории шантажистов, точнее говоря, к тем из них, которые пользуются именем моей жены. Попытки таких людей обречены на неуспех.

– Мне нет никакого дела до шантажистов, – нетерпеливо сказала Людмила. – Я знаю, что ваша жена – любовница моего мужа, что он уехал с ней...

– Извините, я прерву вас, – сказал Сергей Сергеевич. – Я полагаю, что иногда следует избегать слишком точных выражений.

– Я не привыкла к таким комедиям. Если для вас интересы вашей жены играют какую-нибудь роль, вы обязаны проявить по отношению к ней...

– Видите ли, – продолжал, не сдерживая улыбки, Сергей Сергеевич, – возможно, конечно, что это результат заблуждения, но я считаю, что хорошо знаю свои обязанности.

– Выслушаете вы меня или нет? – закричала Людмила.

– Нет, я не вижу в этом никакой необходимости.

– В таком случае, – резко сказала Людмила, поднимаясь, – вы еще услышите обо мне.

– Как, еще услышу? – сказал Сергей Сергеевич. – Мне казалось, что я слышал о вас совершенно достаточно.

Потом он прибавил задумчивым голосом:

– Кстати, я думал, что вы работаете менее кустарно.

Людмила, поднявшаяся было с кресла, вдруг сразу упала в него, выронив сумку, закрыла лицо руками и заплакала. Плечи ее тряслись от рыданий.

– По-французски это называется les grands moyens[1], – сказал Сергей Сергеевич. – Но быстрота перемены тактики заслуживает похвалы.

– Вы чудовище, – фыркающим от слез голосом сказала Людмила. – Вам безразлично, что мне завтра, может быть, нечего есть.

– Мне очень нравится это «может быть».

– Вы мне не верите?

– Слушайте, Людмила Николаевна, – терпеливо сказал Сергей Сергеевич, – мне бы не хотелось, чтобы вы

[1] перебор (*фр.*).

упорствовали в ваших заблуждениях на мой счет. Я знаю о вас все и прекрасно знаю, на какие деньги вы существуете. Поймите это.

– Вы знаете все? – медленно сказала Людмила, подняв на него глаза. – И вам не жаль меня?

Это было сказано так искренне, голосом, столь далеким от какой бы то ни было искусственности или комедии, что Сергей Сергеевич пришел в восторг.

– Это прекрасно, – сказал он. – Ça c'est réussi, mes hommages, madame[1].

Лицо Людмилы осталось неподвижным, только в глазах промелькнула беглая и почти откровенная улыбка. Сергей Сергеевич в это время быстро написал чек. Людмила, не посмотрев на сумму, положила его в сумку, сказала прерывающимся голосом: – Простите меня, Сергей Сергеевич. Прощайте, – Сергей Сергеевич низко поклонился, – и ушла.

Когда Слетов вошел в кабинет, Сергей Сергеевич сказал ему:

– Ты был прав, Федя, это была женщина с упорной волей.

– Молодая, старая, красивая, некрасивая?

– Средних лет, Федя, не очень красивая, но, во всяком случае, интересная и с резко выраженной индивидуальностью.

– Какой именно?

– Б... – сказал Сергей Сергеевич со своей радостной улыбкой. – Кстати, расскажи мне о Лили, ведь я о ней ничего не знаю. Блондинка?

– Блондинка – такого нежного оттенка, который...

– Да, знаю. Голубые?

– Синие, Сережа.

– Рот чуть-чуть велик, ты говоришь?

– Пожалуй.

– Что-то детское, несмотря на?

– Да, это даже удивительно.

– Говорит «my little boy»?[2]

---

[1] – Вам это удалось, мои поздравления, мадам (*фр.*).

[2] «мой маленький мальчик» (*англ.*).

– Говорила, Сережа.

– Да, в общем, тип такой же, что всегда.

– Меня удивляет, Сережа, – сказал Слетов, – как ты, с твоим несомненным умом, считаешь, что может существовать определенный тип женщины, и вот их тысячи, и все они одинаковы, вплоть до выражений, размеров рта и цвета глаз. Пойми, что это не так, в каждой из них есть нечто неповторимое.

– Я бы сказал – непоправимое.

– Хорошо, непоправимое. Но когда ты дойдешь до этого и поймешь в ней вот эту одну, неповторимую черту, когда она перед тобой, понимаешь, беззащитна, как ребенок, ты понимаешь, – иногда заплакать можно.

– Это я понимаю, – сказал Сергей Сергеевич, – да ведь слез этак не хватит. Но расскажи же мне, где, что, почему? Впрочем, почему, это известно.

Сергей Сергеевич разговаривал так – откровенно, не играя никакой роли и не притворяясь, – с очень немногими людьми. Слетов был в их числе, потому что Сергей Сергеевич очень его ценил за удивительную душевную чистоту и за искренние дружеские чувства. Вместе с тем, жизнь Слетова, в которой Сергей Сергеевич не мог не принимать близкого участия, состояла из смены трагедий, всегда одних и тех же и за которые расплачивался – в буквальном смысле слова – всегда Сергей Сергеевич, на средства которого Слетов жил уже много лет. Трагедии эти состояли в том, что Слетов влюблялся в какую-нибудь женщину, причем для союза с ней не считал никакие препятствия непреодолимыми, добивался своей цели, снимал квартиру, устраивался навсегда и счастливо жил некоторое время, средняя продолжительность которого была определена Сергеем Сергеевичем в шесть месяцев приблизительно. Затем происходила драма: либо подруга Слетова оказывалась ему неверна, либо сам Слетов влюблялся в другую женщину; назревал разрыв, иногда с револьверными угрозами, потом бывало расставание, и затем, с новой возлюбленной, все начиналось сначала. Короче говоря, он был похож на Ольгу Александровну своим характером и своей неисчерпаемой верой в любовь с большой буквы. Любовь

поглощала все его замыслы и все его время, и заниматься чем бы то ни было другим у него не оставалось никакой возможности; по образованию к тому же он был русский юрист и даже при всем желании не мог бы найти себе работы по специальности во Франции. Сергей Сергеевич однажды, в ответ на его просьбу устроить его куда-нибудь, послал его в провинцию – в окрестности Марселя – заведовать бухгалтерской частью в одном из своих предприятий, но через некоторое время после этого в предприятии начались перебои, и, когда Сергей Сергеевич поехал туда, он узнал, что причиной всего этого был очередной роман Слетова с женой директора. Директор был молодой, застенчивый и очень дельный человек, недавно женившийся и живший совершенно счастливо до приезда Слетова. Слетов влюбился в его жену, она отвечала ему взаимной страстью, втроем у них происходили откровенные разговоры, сопровождавшиеся тирадами Слетова о свободе воли и ссылками жены директора на сексуальные, основные, теории жизни, которые, по ее словам, служили единственным, все определяющим началом, чем-то вроде евангельских «альфы и омеги». В общем, выхода из положения не было, хотя Слетов с пеной у рта доказывал, что она должна уйти к нему; все это осложнялось еще тем, что она была на третьем месяце беременности. В результате директор, чрезвычайно привязавшийся к Слетову, не питавший к нему никаких враждебных чувств и продолжавший оставаться влюбленным в свою жену, которая тоже, со слезами на глазах, ему говорила, что она его любит и ни за что не согласна с ним расстаться, – в результате директор начал пить мертвую и на службу приходил уже пьяным; цифры и письма плыли перед его мутными глазами, до ужаса невыразительные и потерявшие какой бы то ни было интерес; и он плакал иногда в своем бюро, перестав стесняться присутствия посторонних. В это же время Слетов читал с его женой вдвоем, вслух, Гамсуна и рассказывал ей свою жизнь.

Сергей Сергеевич с терпением и благожелательностью выслушал исповедь каждого из трех заинтересованных; лицо его осталось неподвижным, когда жена

директора говорила ему о сублимации сексуального чувства; он ей посочувствовал, сказал, что прекрасно ее понимает и не принадлежит к числу тех ограниченных людей, которые полагают, будто можно сразу, грубейшими, примитивными средствами разрешить такие предельно сублимированные конфликты; обещал сделать все, что в его силах, – и в тот же вечер увез Слетова в Париж, где Слетов собирался застрелиться и броситься под поезд метро. – Не стоит, Федя, – сказал ему Сергей Сергеевич, – я убежден, что ты найдешь еще что-нибудь неповторимое и ты увидишь, что я был прав. – Это было нетрудно предвидеть; и действительно, через две недели Слетов познакомился с какой-то чрезвычайно элегантной дамой, владелицей довольно значительного состояния, заключавшегося, однако, в совершенно неожиданных для Слетова формах – именно, в четырех крупных бюро похоронных процессий. Рассказывая это Сергею Сергеевичу, Слетов говорил о понятной, безумной, как он сказал, жажде жизни у этой молодой женщины. – Она окружена трауром, – говорил он, – у нее единственное желание: жить, жить, жить! Ты понимаешь?

Он едва не женился на ней, исчезнув на несколько месяцев, – и этому помешало только то, что она изменила ему, после чего он снова явился к Сергею Сергеевичу, не заплатив, как обычно, за такси, небритый, взъерошенный и измученный. – Что ты, Федя? – сказал ему Сергей Сергеевич. – Вот уж, подлинно, – краше в гроб кладут. Откуда ты?

И вместе с тем этот человек никогда не знал, что такое разврат или любовь по расчету. После каждого своего романа он точно вновь воскресал для жизни и о том, что этому предшествовало, сохранял самые смутные и беглые воспоминания. Каждый раз он был влюблен до сумасшествия, каждый раз он был готов на все; он неоднократно уезжал со своими возлюбленными и знал довольно хорошо Европу; он одинаково плохо, но бегло говорил на нескольких языках, а некоторым нежным и ласкательным словам он выучился даже по-венгерски и по-голландски, не говоря уж об этом «интимном лексиконе», – как он сам выра-

жался совершенно серьезно, – по-еврейски, по-армянски, по-грузински. Несмотря на помятое, желтое лицо, всегдашнюю небрежность в одежде, на начинающуюся лысину и на полное физическое несоответствие с типом соблазнителя, он имел большой успех у женщин, которых заражал стремительностью своего чувства и отсутствием каких бы то ни было сомнений по поводу предстоящего счастья. Ни годы, ни длительный и, казалось бы, печальный опыт не произвели на него никакого действия. Всего, что не касалось непосредственно главного вопроса его жизни, именно любви, он просто не замечал и существовал точно в постоянном тумане, в котором, медленно скользя и постепенно исчезая, плыли все эти многочисленные Лили, жены директоров, владелицы бюро похоронных процессий. – Интересно, что с тобой будет, когда ты придешь в себя? – задумчиво говорил Сергей Сергеевич. – Неужели вот так до самой смерти?

– Смерть есть один из аспектов любви, – говорил Слетов. – Ты понимаешь, Сережа, ведь известный момент твоей близости с женщиной есть точный образ смерти. Но ты воскресаешь вновь для того, чтобы снова умереть. Это, конечно, банальная истина, но ведь это так, этого нельзя отрицать.

– И тебе никогда не бывает скучно? – с любопытством спрашивал Сергей Сергеевич.

– Я вижу, Сережа, что ты не знаешь, что такое любовь.

– В этом есть одно жестокое противоречие, – сказал Сергей Сергеевич. – Ты вникни, Федя. Что такое ценность вообще, ценность чувства в особенности, чем она определяется? Его исключительностью, его, если хочешь, единственностью. От него идут разветвления во все концы, во все закоулки твоей личной жизни. А ведь у тебя там живого места нет.

– Все единственно, все неповторимо, Сережа.

– Но ты-то все тот же самый.

– Нет, – серьезно сказал Слетов. – Я постоянно возрождаюсь.

– Знаешь, Федя, тебе бы анекдоты рассказывать.

Но Слетов никогда не уступал и никогда не отказывался от своих убеждений. Он поддавался иногда влиянию Сергея Сергеевича, ему не могла не импонировать всегдашняя спокойная уверенность Сергея Сергеевича в том, что этот вопрос надо разрешить так, а не иначе. Но в теоретических своих построениях он не мог поступиться ничем. Вернее говоря, теорий для него не существовало как таковых, они были хороши лишь постольку, поскольку могли с большей или меньшей убедительностью выражать или комментировать его собственные чувства. Всякая измена для него всегда была катастрофой; это было совершенно так, как если бы это с ним происходило в первый раз за всю жизнь. У него была почти бессознательная, глубокая уверенность, что именно он и есть человек, о котором Лили или какая-нибудь другая женщина должна была мечтать всю жизнь; и вот теперь, когда ее мечты сбылись, изменить ему она могла только в том случае, если нашла кого-то лучше него, – а это ему представлялось невозможным. Он не думал так, вернее, эти мысли никогда не принимали такой формы, но чувствовал он именно это, сам не отдавая себе в том отчета, – незаслуженная обида, явная, грубейшая несправедливость, чудовищное, невозможное недоразумение. Понять же возможность измены он никогда не мог – и оттого он всякий раз искренне и сильно страдал. Он рассказывал Сергею Сергеевичу о Лили, которая была американской взбалмошной женщиной, в известной мере даже поразительной по редкой своей прозрачности, по полному отсутствию душевно-человеческих чувств и мыслей; это была идеально здоровая блондинка с мускулистыми руками и ногами, с прекрасной, без малейшего недостатка, кожей, с большим аппетитом и завиднейшей правильностью всех физиологических функций организма; но за всю свою жизнь она прочла едва ли десяток книг, которые, к тому же, совершенно забыла. Никакие моральные вопросы в ее существовании не играли и не могли играть роли. Слетов считал ее ребенком, еще не понимающим всей прелести своей распускающейся души, – и по досадному совпадению, в любовном письме, которое не оставляло никаких сомне-

ний в ее измене, написанном по-английски, тоже говорилось о распускающейся душе.

Они пообедали вдвоем, Слетов выпил пять стаканов вина и потом долго и горько плакал.

– Стыдно, Федя, – сказал ему Сергей Сергеевич.

– Нет, нет, не стыдно, у тебя вместо души железо, ты этого никогда не поймешь.

Глаза Сергея Сергеевича вдруг сделались задумчивыми, и потом он сказал фразу, настолько поразившую Слетова, что тот поднял голову и внимательно посмотрел на Сергея Сергеевича.

– А тебе, Федя, никогда не приходило в голову, что это неверно?

Слетов опустил голову, и когда он поднял ее, на лице Сергея Сергеевича была уже прежняя, давно знакомая, радостная улыбка.

– Сегодня концерт Шаляпина, – сказал он, – пора собираться. Едем, Федор Борисович.

* * *

Лола Энэ вернулась домой около двух часов ночи, после обязательного вечера на Елисейских полях, который устраивал известный парижский декоратор и на который бы она не пошла, если бы не рассчитывала впоследствии обратиться именно к его услугам при постановке проектируемого revue в ее проектируемом мюзик-холле. Весь вечер она ослепительно улыбалась и шутила, хотя пила, в общем, мало, зная по опыту, что если будет пить много, то непременно заболеет. Она уехала оттуда в такси, потому что со времени ее недавнего замужества она была почти всегда лишена возможности пользоваться собственным автомобилем: по настоянию ее мужа, шофер был рассчитан и, вместо ее прежнего уютного «delage», была приобретена «бюгати», которой правил ее муж. Машина, в общем, была всегда в его распоряжении, и Лола теперь почти исключительно должна была пользоваться такси. Кроме того, «бюгати» постоянно была в ремонте; это происходило либо от очередного столкновения с другим автомобилем, либо оттого, что гоночная модель «бюгати» была неприспо-

соблена для сравнительно медленного городского движения и свечи ее мотора заливались маслом. Все это стоило очень дорого и было одной из причин того, что самой главной мечтой Лолы теперь была мечта о смерти ее мужа. Она не знала, как от него избавиться, и очень боялась его, потому что, когда в первый раз она заговорила о разводе, он вдруг мгновенно побледнел и сказал, что если она начнет процесс, то он убьет ее. Лола чрезвычайно боялась смерти и очень испугалась этой угрозы. Она знала, что он способен это сделать; в последнее время, в результате жесточайшего пьянства, его рассудок начал явно мутнеть. Она мечтала, что он разобьется насмерть, что его автомобиль попадет под грузовик или под поезд на каком-нибудь переезде. Но необыкновенная и своеобразная удача помогала ему выходить невредимым из приблизительно еженедельных катастроф, что казалось особенно удивительным, потому что он правил автомобилем, будучи всегда пьян.

Он был начинавшим полнеть тридцатилетним человеком, с редеющими светлыми волосами, который прожил тихую жизнь, полную лишений, до встречи с Лолой. Он служил в страховом обществе, очень мало зарабатывал и жил в плохой гостинице, возле Больших бульваров. Все началось с того, что он написал Лоле несколько восторженных писем – о ее красоте, о ее таланте, о том, что эти письма не преследуют никакой корыстной цели, так как он не смеет даже надеяться на знакомство с ней. Единственное, чего он хотел, это чтобы Лола знала, что в мире есть сердце, которое бьется только для нее. Лола всегда была болезненно чувствительна к похвалам своему таланту и своей красоте, хотя, казалось бы, должна была знать им цену. Кончилось это тем, что она встретилась с ним и в первый же вечер стала его любовницей. Затем она решила, что выйдет за него замуж и будет, таким образом, знать, что есть любящий и всем ей обязанный человек, который будет питать к ней нечто вроде неугасаемой благодарности. Она заимствовала эту нелепую мысль из той плохой литературы, которую изредка читала. И она вышла замуж.

Все оказалось совершенно не так, как она предполагала. Во-первых, очень скоро он почувствовал к ней физическое отвращение. Когда она стремилась поцеловать его в губы, он неизменно отворачивался, так как не мог выносить постоянного дурного запаха, исходившего от нее и объяснявшегося и плохо, и медленно работающим желудком. У нее скоро появились и другие, совершенно бесспорные доказательства этого отвращения. К тому же выяснилось, что он, этот тихий и приличный Пьер, пил и, будучи пьян, начинал говорить тем языком, которым говорило французское простонародье и в котором для слуха Лолы не было бы ничего шокирующего, так как этот язык был и ее родным и естественным языком; но он говорил ей грубости, которых она никогда ни от кого не слыхала. Кроме того, он постоянно менял любовниц, некоторых из них привозил ночью к себе на квартиру, и Лола сквозь легкий, старческий сон слышала их голоса, крики и все остальное. Кроме того, он позволял себе самые нелестные замечания в присутствии прислуги, и это было совершенно неприлично.

И теперь, каждую ночь, вернувшись домой и, как обычно, долго не засыпая, Лола с наслаждением принималась мечтать о том маловероятном времени, когда она останется опять одна. Она отгоняла от себя мысль, что на это, в сущности, очень мало надежды. В конце концов, до сих пор, до этого несчастного брака, жизнь ее складывалась удачно, хотя особенного, ослепительного счастья и не было.

Был третий час ночи, Лола начала засыпать, когда раздался телефонный звонок. Испытывая необъяснимое, восторженное предчувствие, она взяла трубку. – Мадам Энэ? – сказал голос. – Ваш муж совершенно случайно, но очень тяжело ранен, его отвезли в госпиталь Божон.– Благодарю вас, – сказала она с заблестевшими глазами. Она тотчас же оделась и, остановив проезжающее такси, поехала в госпиталь. Когда она вошла туда, Пьер был уже мертв. Она настояла, чтобы ей показали его труп. То, что еще несколько минут тому назад было Пьером, лежало, скорчившись на боку и подвернув последним предсмерт-

ным движением левую руку, с которой не успели снять золотые часы-секундомер; и на закоченевшей этой руке, синяя и неизменно точная, стрелка продолжала свой вздрагивающий бег по белому циферблату. Лола стояла перед трупом; в эту минуту она была по-настоящему счастлива. Она бегло подумала о том, какая прекрасная реклама будет предшествовать открытию ее мюзик-холла: внезапная смерть мужа... в трагических обстоятельствах, которые полицейское следствие... Она расстегнула с легкой брезгливостью ремешок часов, сняла их и приложила к уху, хотя и без этого было очевидно, что они продолжали идти, – и вышла из комнаты, прикрывая платком свое преобразившееся, радостное лицо. Полицейские, привезшие Пьера в госпиталь, сказали ей, что в кабаре, где он был, произошла перестрелка между сутенерами и шальная пуля попала в ее мужа; рана, к сожалению, оказалась смертельной. Уезжая, Лола думала, что более счастливого предзнаменования для открытия ее театра, чем это неправдоподобное, заманчивое совпадение ее самой прекрасной мечты с самой несомненной действительностью, быть не может. Она вернулась домой, совершенно ошалевшая от счастья, приняла, просто для удовольствия, от необходимости как-нибудь проявить свое счастье, вторую дозу слабительного – первая была принята давно, еще до телефонного звонка и не являлась чем-то необыкновенным: Лола принимала эту порцию каждый вечер, – выпила целый стакан портвейна, легла и заснула крепким сном, каким не спала уже много месяцев.

* * *

Федор Борисович Слетов давно уже расположился ночевать в одной из «комнат для гостей» в квартире Сергея Сергеевича, который пожелал ему приятных сновидений и сказал, что ему необходимо основательно отдохнуть, готовя себя к новым и всегда возможным событиям, – и, как всегда, Слетов ответил, что жизнь его кончена. – Она столько раз кончалась, Федя... – Нет, на этот раз... ты знаешь, после такого удара... – Слава Богу, что ты жив остался, – сказал Сергей Сергеевич. И вдруг Слетов,

обернувшись к нему, – он развязывал перед зеркалом галстук, – сказал:

– Знаешь, Сережа, у тебя в лице есть что-то мертвое.

– Ты же по мужским лицам не специалист, Федя.

– Нет, Сережа, я не шучу. Знаешь, вот эта твоя всегдашняя улыбка, точно ты постоянно чему-то рад, – это как в музее восковых фигур. Веселые такие глаза и слишком правильные зубы, как с рекламы для пасты, что-то уж очень неестественное.

– Что делать, природа обидела.

– Да нет, наоборот. Но чего-то тебе не хватает.

– Сердца, Федя, сердца.

– Это тоже верно.

– Ну хорошо. Спокойной ночи, пока что. И подумать, что в эту минуту Лили, быть может...

– Не говори мне о ней, ее нет.

– Да, Федя. Жизнь кончена, спокойной ночи.

– Спи, если можешь. Я не могу.

Но уж через полчаса Слетов хрипел и вскрикивал во сне, потом поднимался на постели и открывал глаза, но ничего не было видно, все было темно, и только издалека слышался заглушенный звук струящейся воды: Сергей Сергеевич принимал ванну.

Сергей Сергеевич еще долго не ложился спать. Он спал вообще шесть часов в сутки, не больше и не меньше; он засыпал мгновенно, почти никогда не видел снов, никогда не просыпался ночью, но утром, открыв глаза, сразу в это же мгновение обретал все свои способности. Он не знал половинного состояния, знакомого и приятного большинству людей, – между сном и действительностью. С давних, еще российских, времен он сохранил привычку класть под подушку револьвер, каждый вечер проверял, заряжен ли он, хотя уже много лет жизнь его ни разу не подвергалась опасности. Он, однако, всегда был готов к ней, готов теоретически, потому что практической опасности пока что не было и не предвиделось.

Сидя в кресле и держа в руках книгу, которую он не читал, он думал о том, как и чем должна разрешиться эта сложная система отношений, которая связывала его

в разной степени с разными людьми, и главным образом с Лизой и с Ольгой Александровной. Он искренне хотел, чтобы Ольга Александровна могла, наконец, найти человека, который подходил бы к ее беспокойному идеалу счастья, – он знал твердо и очень давно, что он сам бесконечно далек от этого идеала. Кроме того, от любви к Ольге Александровне ничего не оставалось, кроме того хорошего отношения, о котором она сама говорила с таким возмущением. – Что им нужно? – подумал он с внезапным раздражением. – Федьку Слетова, который хороший человек, но сентиментальный дурак и больше ничего? – Сергей Сергеевич разговаривал сам с собой: двери комнаты были плотно заперты, никто не мог его слышать; кроме того, он произносил вслух только некоторые отрывочные фразы, главная же часть монолога происходила про себя. В эти редкие часы, когда он позволял себе роскошь таких размышлений, он был совершенно не похож на всегдашнего Сергея Сергеевича. Лицо его чаще всего выражало отвращение и тоску. Он подумал о теперешнем романе своей жены с Кузнецовым и пожал плечами, представив себе это итальянское путешествие. – Может быть, хоть на этот раз?.. – Но надежды было мало: Сергей Сергеевич слишком хорошо знал Ольгу Александровну. Потом мысль его перешла к Лизе, и он укоризненно и сокрушенно покачал головой. – Одна семья, одна кровь, – сказал он вслух. И в его послушной и непогрешимой памяти встала вся история его отношений с Лизой.

Лиза была младше Ольги на шесть лет. Она приехала в Крым, когда Сереже было три года – это было на второй год войны, – к Сергею Сергеевичу на дачу погостить; она была тогда почти такой же, как теперь, – то же овальное лицо с гладкой кожей и удлиненными глазами, те же сверкающие зубы, которыми она, заложив руки за спину, поднимала с полу довольно тяжелый чемодан, и на его кожаной ручке остались два влажных полукруга, та же удивительная для женщины подача в теннисе, та же уверенность в своей замечательности и та же непоколебимая воля. Она сразу поняла, что отношения между Сергеем Сергеевичем и Ольгой Александровной не были уже

такими, какими должны были быть, и неодобрительно отнеслась к сестре, но, по обыкновению, ничего не сказала. То, что должно было случиться, случилось в отсутствие Ольги Александровны, уехавшей на несколько дней по делам. Сергей Сергеевич видел, что Лиза ходила как пьяная, глаза ее потеряли обычный блеск; и когда, однажды вечером, он обнял ее, пожелал ей спокойной ночи своим обычным, далеким голосом, он почувствовал, как тело ее дрожало. Твердоватые прохладные ее руки все сильнее и сильнее сжимались вокруг его шеи. Потом она сказала: – Не мучь же меня, – и руки ее внезапно ослабели.

И Сергей Сергеевич, и она были настолько скрытны, что никто не знал об их связи, даже прислуга. Ольга Александровна была слишком поглощена своими личными делами, чтобы обратить сколько-нибудь внимания на отношения между своей сестрой и мужем. И эта связь продолжалась вот уж тринадцать лет. Но Сергей Сергеевич никогда не мог ни сломить волю Лизы, ни заставить ее сделать что-либо, что она не находила необходимым. Он предложил ей жить отдельно, она в ответ только отрицательно покачала головой, – но самое решительное отрицание не могло быть более категоричным. Она не была ровна с Сергеем Сергеевичем – периоды презрительной холодности сменялись припадками бурной любви, – но независимо от того, как все происходило, лицо ее в официальной семейной жизни Сергея Сергеевича сохраняло столь же классическое спокойствие, сколь традиционна была радостная улыбка Сергея Сергеевича. В разговорах с ним она никогда не уступала. Как-то, когда они были вдвоем, он сказал ей:

– Вот, Лиза, ты некоторых вещей не можешь понять, тут для тебя стена.

– И эти вещи имеют ценность?

– Общего порядка, Лиза, общего порядка. Ты понимаешь, что личных упреков я тебе не мог бы делать, ты слишком совершенна.

Лиза насмешливо на него посмотрела. Полные губы Сергея Сергеевича были раздвинуты в восторженной улыбке.

– Хорошо, какие же вещи?

– Вот, ты решительно ничем не могла бы поступиться для других. Доводя до, получилось бы: если бы на путь твоего счастья, выражаясь торжественно, кто-либо стал... – Сергей Сергеевич вытянул вперед правую руку и дернул указательным пальцем незримую чашечку воображаемого револьвера.

– Ты меня считаешь способной...

Улыбка Сергея Сергеевича стала еще шире, он несколько раз утвердительно кивнул головой

– Уж не боишься ли ты за свою жизнь?

– Нет, – сказал Сергей Сергеевич.

– Потому что ты считаешь, что ты сильнее меня?

– Нет, потому что не стоит, ты знаешь, что я тебе не помешаю.

Разговор происходил после тенниса. Лиза несколько раз подбросила в воздух ракетку и поймала ее. Потом она подняла глаза на Сергея Сергеевича и сказала особенно тихим и вкрадчивым голосом:

– Вот в этом, Сереженька, и заключается твоя ошибка.

– Это ошибка? В каком смысле? Здесь их два.

– Во втором.

– Заблуждение, свойственное уважаемой Ольге Александровне.

– И всякой женщине, Сережа, если она чего-нибудь стоит.

– Другими словами, ты хочешь, чтобы я размахивал дубиной, отбивая тебя от других?

– Именно.

– La charmante sauvage![1] – сказал Сергей Сергеевич. – Бедный Иммануил, бедный Иммануил!

– Почему Иммануил?

– Так звали, Лизочка, одного кенигсбергского мыслителя, который ошибочно полагал...

– Что его мудрость будет усвоена твоей любовницей? – сказала Лиза с потемневшими глазами.

---

[1] – Очаровательная дикарка! (*фр.*)

– И что могла найти во мне такая женщина? – с притворной задумчивостью сказал Сергей Сергеевич.

– Слушай, Сережа, – сказала Лиза, – я ведь тебя знаю. Я знаю, что ты пропитан ложью весь до конца. Даже твои мускулы лгут.

– Физиологический феномен, который современной наукой...

– Кроме этого, ты клоун.

– И казалось бы, совершенно необъяснимо, почему, в таком случае...

– Только потому, что ты знаешь все, что нужно и что знают другие; только они думают, что ты этого не знаешь.

– Они. Но не ты.

– Нет, я знаю о тебе все, и ты бы сделал все, что я захотела бы.

– В твоем очаровании, Лизочка, есть нечто бесконечно женственное и беспомощное.

Держа в левой руке ракетку, Лиза размахнулась правой рукой – полушутя, полусерьезно, и в ту же долю секунды мягкая рука Сергея Сергеевича со спокойной точностью задержала ее в воздухе. Потом Сергей Сергеевич поднял руку Лизы к губам и поцеловал.

– Вот в этом весь ты, Сережа, – сказала Лиза. – Прости, что я такая колючая.

– Ничего, Лизочка, я привык.

Никогда между ними не было серьезной ссоры, но только потому, что – как это твердо знал Сергей Сергеевич – для нее не было оснований. Сдержанное бешенство Лизы изредка проявлялось чисто физически, она вступала в борьбу с Сергеем Сергеевичем и была вне себя от гнева, когда он, прижав ее руки к телу, спокойно и медленно укладывал ее на пол, никогда не причиняя ей боли. От ее укусов оставались глубокие и болезненные следы; и однажды Сергей Сергеевич едва не упал в обморок, когда Лиза ударила его сбоку под ложечку, чего он в ту минуту совершенно не ожидал. Он покачнулся, в глазах его потемнело, он едва удержался на ногах и сквозь внезапную муть увидел радостное лицо Лизы и оскал ее зубов.

– Улыбочка с тебя-то соскочила, – сказала Лиза.

– Это потому, что я огорчился из-за тебя, – я подумал: до чего тебя могут довести разрушительные инстинкты?

Лиза иногда уезжала из дому – не так, как Ольга Александровна, а по-иному, тщательно подбирая необходимые именно для этого путешествия вещи, всегда одна, и бывала в отсутствии обычно месяц или полтора, но за это время она не давала о себе знать, и что с ней происходило, оставалось неизвестным. Затем она возвращалась – совершенно такой же, какой уезжала, настолько не изменившейся ни в чем, даже в цвете лица, что можно было подумать, будто она никуда не ездила. Иногда она не брала с собой почти ничего, это значило, что она просто на некоторое время переселялась на свою квартиру, которую ей давно снял Сергей Сергеевич и о которой, кроме них двоих, никто не знал. Однажды, в один из таких периодов, она столкнулась на улице с Ольгой Александровной, которая удивленно на нее посмотрела и потом попросила ее подтвердить, что она не грезит. – Нет, Оля, – сказала Лиза со своим всегдашним спокойствием, – нет, ты не грезишь: хочешь разгадку? – И она объяснила, что вернулась в Париж полчаса тому назад, оставила вещи на хранение и хотела кое-что купить, прежде чем вернуться домой. Она прибавила, что будет к обеду, поцеловала сестру и исчезла.

Ольга Александровна, вернувшись, сказала Сергею Сергеевичу, что встретила Лизу. – Представь себе, Сережа, она только что приехала, ну, прямо с поезда... – Потом она сказала, усевшись на ручку кресла, в котором Сергей Сергеевич читал газету:

– Ты знаешь, Сережа... ты никогда не задумывался над тем, что у Лизы может быть своя жизнь, о которой мы ничего не знаем? Я не говорю о сегодняшнем случае, здесь все ясно, это пустяки, а вообще?..

– У каждого из нас своя жизнь, Олечка. Говоря философски, конечно.

– Ну да, но разная.

– Чем ты делаешься старше, тем глубокомысленнее, Леля.

Заказ 3235

– Нет, Сережа, серьезно, – нетерпеливо сказала Ольга Александровна. – Ну, вот ты весь как стеклышко. У тебя нет ни пороков, ни увлечений, ты такой добрый, снисходительный и хороший, без единого недостатка, так что с души воротит, – но это уже другое дело. Но вот, у тебя второй жизни нет. А у нее?

– В этом смысле, Леля, она прозрачнее всех; нет, я не думаю.

– Мне кажется удивительным, – сказала Ольга Александровна, – что она не выходит, например, замуж, ведь это неестественно.

– Для одних неестественно, для других естественно.

– Машина ты, а не человек, – сказала Ольга Александровна со вздохом. – Довольно милая машина, но машина.

– Игра рефлексов, Лелечка. Ты о теории рефлексов имеешь представление?

– По правде говоря, очень смутное. Ты хочешь мне прочесть лекцию по этому поводу?

– Если это тебя интересует.

– Ну, расскажи, – сказала Ольга Александровна.

И, таким образом, разговор о Лизе превратился, действительно, в лекцию о рефлексах. Когда Сергей Сергеевич кончил, Ольга Александровна сказала:

– Какой ты мог бы быть интересный человек, Сережа.

– Не в твоем смысле, Лелечка.

– В том-то и дело, – сказала она.

Лиза, действительно, пришла к обеду, после которого Ольга Александровна уехала в город и Сергей Сергеевич остался с Лизой вдвоем и не задал ей ни одного вопроса, – как он вообще поступал обычно. Он знал, однако, что у Лизы не могло не быть второй жизни, но он никогда не сделал ей на это ни одного намека и всегда внимательно, с детской доверчивостью в глазах, слушал ее рассказы о том, какая была погода в Швейцарии или волна на Ла-Манше. И хотя Лиза знала цену этой доверчивости, она все же чаще всего поддавалась ее успокаивающему действию. Так, однако, бывало не всегда, и ее иногда прорывало.

И однажды, после поездки в Швейцарию, из которой она – в первый и последний раз за все время – вернулась взволнованной и злой, она говорила Сергею Сергеевичу о том, что снег в Межеве был рыхлый, что лыжи плохо скользили, что вообще все было неприятно. Он качал головой, сохраняя блаженное выражение лица.

– А я знаю, что ты думаешь, – сказала вдруг Лиза, прервав себя.

– Это так нетрудно, Лиза.

– Нет, не то, что ты думаешь, что я думаю, что ты думаешь.

– Постоянное чтение Достоевского вредит твоему стилю, Лиза.

– Нет, не это. Ты думаешь: сколько у меня было любовников? Да?

– Не взводи на себя поклепа, Лизочка, – сказал Сергей Сергеевич. – Я думаю, что тебе надо отдохнуть. Идем, моя девочка.

Он поднял ее на руки и понес, и тогда Лиза, уткнувшись головой в его грудь, вдруг заплакала и стала гладить рукой его бритую щеку.

И теперь, вспоминая все это, Сергей Сергеевич думал, что его жизнь сложилась с трагической неудачностью и что в самом главном ему не было счастья. Ольга Александровна, которую он вначале страстно любил и к которой до сих пор относился, как к испытанному другу, – он никогда не говорил с ней о разводе и всегда давал ей понять, что, что бы ни случилось, у нее есть дом, муж и сын и на это она может всегда рассчитывать одинаково и в периоды короткого чужого счастья, и в минуты разочарования и отчаяния, – эта Ольга Александровна давно ушла от него, и он не сумел ее удержать. Затем – Лиза, которую он действительно любил и над которой у него тоже не было никакой власти, в один прекрасный день и она могла уйти от него, как ушла до этого ее сестра. – А я стоял бы на пороге моего дома, который она покидает, как вечно провожающая и благожелательная тень. И вот это, что-то, – продолжал он думать, – то самое, что дано Феде Слетову и в чем мне было отказано.

Было около трех часов ночи, а Сергей Сергеевич все сидел в кресле, глядя перед собой на светлое пятно лампы, освещавшее ровный, чуть-чуть расплывчатый круг ковра. – Я не знаю, – сказал он вслух, – я не вижу ничего... – Потом он встал, сделал несколько шагов и раздраженно пробормотал: утешительного, утешительного, – затем поднял книгу, зажав ее указательным и большим пальцами и точно собираясь с силой бросить ее в воздух, но аккуратно положил ее на столик; затем он долго смотрел на револьвер, на вороной отлив его прекрасной стали, покачал головой и лег, наконец, в кровать. Через минуту он спал.

Со времени раннего своего детства Сережа привык к тому, что слово «дома» могло значить одновременно очень разные вещи. «Дома» могло значить – Лондон, тихая улица возле Grove End Gardens в Hampstead'е, бобби на углу, старая церковь, каменные набережные реки Темзы во время ежедневных прогулок; «дома» могло значить – Париж, близость Булонского леса, Триумфальная арка, памятник Виктору Гюго на давно знакомой площади; «дома», наконец, могло значить – хрустящий песок под колесами Лизиного автомобиля, аллея за железными воротами и невысокий дом в неподвижном саду, непосредственно на берегу точно застывшего залива, который иногда казался синим, иногда зеленым, но, в общем, не был ни синим, ни зеленым, а был того цвета, для которого на человеческом языке не существует названия. Этот пейзаж никогда не менялся – он был всегда такой же и зимой, и летом, и осенью, и весной, – так же, как не менялись люди, жившие постоянно на вилле Сергея Сергеевича: садовник, все в той же большой плантаторской шляпе, издалека щелкавший гигантскими ножницами, русский сторож Нил, из бывших солдат, огромный старик с приплюснутой немного головой и невиданных размеров гармоникой, на которой он играл по вечерам; и каждый раз, когда кто-нибудь из семьи Сергея Сергеевича приезжал туда, из окрестностей недалекой Ниццы вызывалась кухарка, крупная чер-

ноглазая итальянка, говорившая на удивительном наречии, представляющем из себя причудливую смесь ниццкого диалекта с французским и итальянским языком, и ее сын, жуликоватый и очень веселый юноша, который мыл автомобиль, починял электричество и вообще занимался мелкими работами по дому, хотя сам себя он неизменно называл chef mécanicien[1] и все в доме тоже звали его в шутку «шеф» – так это за ним и осталось. И поставщики провизии из года в год были те же самые: по-прежнему звеня единственным колокольчиком, в котором не было решительно никакой необходимости, кроме разве любви поставщика к его нехитрой мелодии, приезжал зеленщик на крохотном автомобиле с сиротливо тоненькими и высокими колесами на узких шинах; но почти от самых колес начинался большой белый конус из фанеры, с нарисованными там связкой бананов ослепительно-желтого цвета, разрезанным кроваво-красным гранатом и, в известном отдалении от граната и бананов, грудой фруктов, которые были серовато-зеленого цвета, а по форме представляли из себя нечто среднее между картофелем и грушами и уж, во всяком случае, не существующее в природе, – и над всем этим неуверенными буквами зеленого цвета было написано «Fruits et primeurs de première qualité»[2], с вызывающим accent aigu на слове «premiére»; тот же булочник, с тонкими белыми руками и темным лицом, правивший своим автомобилем, отличавшимся той особенностью, что в газоотводной трубе была образовавшаяся лет пять тому назад дыра, из которой вырывался с грохотом газ; и когда автомобиль останавливался и мотор затихал, раздавался особенный и далекий звон всех его металлических частей, возвращавшихся на свои места; и издали всегда казалось, что не то летит с полок какая-то мелкая посуда, не то раздается своеобразная лебединая песнь булочного автомобиля, который, звеня, рассыпается; и самое чудесное было то, что автомобиль все-таки оставался цел. По-прежнему приходил молочник и вообще бутылочник, маленький человек, неправдоподобно смешной; он был

[1] главный механик (*фр.*).
[2] «Фрукты и ранние овощи высшего качества» (*фр.*).

всегда без шапки, со спутанными черными волосами, на правом глазу его было бельмо, передних зубов не хватало, на нем были всегда непомерно большой пиджак, спадавшие брюки и громадные ботинки, чаще всего без шнурков, с поднятыми вверх носками. Он сюсюкал, разговаривая, размахивал слабыми руками, за которыми взлетали широчайшие рукава его пиджака, и единственное, что он любил в своей жизни, были бутылки разного вида и размера, которые он все знал и помнил. Он был женат на красивой, здоровой женщине, которая его презирала, так же, впрочем, как и все остальные, и chef mécanicien говорил про него, что, когда он проходит под телефонной проволокой, он должен нагибаться, чтобы не зацепить ее рогами – «tellement elles sont grandes, vous ne pouvez pas le croire»[1].

И у него был единственный друг и защитник – старик-сторож с гармоникой; они иногда гуляли по вечерам вместе, оживленно разговаривали, и маленький молочник бежал рядом со стариком, сюсюкая, размахивая руками и подтягивая спадающие брюки. Он очень любил гармонику и говорил, слушая ее: on dirait de grandes bouteilles, qui font du bruit mélodique[2]. По-прежнему приезжал мясник, здоровенный мужчина в очень чистой полосатой блузе, на совершенно нормальном автомобиле; мясник из года в год полнел и наливался, и «шеф» предсказывал ему, что он умрет от апоплексического удара. Но мясник покуда что не умирал.

Сереже казалось удивительным, что в жизни этих людей не происходило никаких изменений; они никуда не ездили, ничего не читали и за все время видели, наверное, меньше, чем он за несколько месяцев. Он чувствовал особенную симпатию и жалость к маленькому молочнику и всегда разговаривал с ним, когда встречал его; но молочник стеснялся, отвечал односложно и все время искательно улыбался, открывая свой беззубый рот. Зато старик-сторож разговаривал охотно, рассказывал о германской войне и плел совершенные небылицы, в которые сам искренне верил: что его пуля не берет, вот за всю войну ранен не

[1] «они так велики, что вы представить себе этого не можете» (*фр.*).

[2] как будто мелодично звенят большие бутылки (*фр.*).

был, только один раз контужен, – ну, контужен, это ведь не считается; что на Украине ведьмы коров доят; что служил он в артиллерии и всего насмотрелся, и при госпиталях две недели работал, видел, как доктора людей режут, а одному солдату, по его словам, сделали ампутацию черепа, и ничего, выжил: здоровый был мужик, вроде него. Лизу старик называл «барышня», Сергея Сергеевича «барин» и только Сереже говорил «ты» и звал его по имени, потому что помнил его совсем маленьким. Говорил он по-русски, но часто сбивался на украинский язык, и однажды, когда Сережа, которому было в те времена девять лет, принес ему большую плитку шоколада, он поблагодарил его, сказав, что Сережа хорошо сделал, и прибавил, что теперь ему только и осталось, что есть сладкое. – Бабы уже не треба, танцювати не можно, – со вздохом пояснил он. Но это было особенным кокетством, потому что старик был на редкость силен и здоров, и белые, крепкие зубы его блестели под седыми усами, когда он улыбался. К Средиземному морю он относился пренебрежительно; и говорил с сожалением, что страна вообще ничего, но с Полтавской губернией, по его словам, она не выдерживала никакого сравнения, и климат был здесь нездоровый, – это он говорил на том основании, что своего тулупа, вывезенного из России, он ни разу не надевал, так что тот просто увял, как он выразился. Он рассказывал Сереже про Полтаву, про Ворсклу, которая блестит на солнце летом, а зимой замерзает так, что можно на санях ездить, про густую, живую зелень лиственных деревьев; но потом он увлекался и говорил о вещах вовсе невероятных, – как медведи чуть ли не ежедневно заходили на хутора, как он, старик, убил волка камнем, какая у него была замечательная лошадь, которая ела все и которой он однажды скормил несколько фунтов сала. Народ там, по его словам, был такой же, что и здесь, только на другом языке говорили и были гораздо умнее, и бабы, по его мнению, были в среднем несколько толще, чем здешние.

Сережа знал всех жителей крохотного городка, вблизи которого находилась вилла Сергея Сергеевича, всех лавочников, ресторатов, всех итальянских садов-

ников, всех случайных людей, попавших сюда неизвестно почему и оставшихся здесь жить, – вроде старого сердитого англичанина, не выносившего ничьего общества и с самим собой игравшего в теннис, или рыжего художника с веснушками, по фамилии Егоркин. Егоркин много лет подряд рисовал все одни и те же картины, изображающие неправдоподобно раскрашенных баб, ехавших на лихой тройке по взрыхленному снегу; та, которая правила, держала поднятый кнут в застывшей руке, и самое удивительное было то, что все они были очень легко одеты, с открытой шеей и почти обнаженными плечами, так что Сергей Сергеевич, увидав такую картину в первый раз, спросил художника, не в оттепель ли сделана зарисовка. Сергей Сергеевич всегда покупал произведения этого художника и неизменно дарил их Слетову, который в свою очередь отдавал их своим интернациональным подругам; и следовало предположить, что теперь эти картины висели на стенах разных квартир в самых разных странах – в штате Вирджиния, в Канаде и Калифорнии, в Сиднее и Калькутте, в Персии, Турции и Афганистане и, уж конечно, во всех столицах Европы. Одно время художник, который, как и большинство художников, был простым человеком и кончил в свое время в России училище, которое он перевел на французский язык чрезвычайно произвольно «école supérieure»[1], хотя это было обыкновенное трехклассное училище в Тамбове, – решил увлечься сюрреализмом, увидев в Ницце в Palais de la Méditerranée[2] выставку какого-то современного художника, и к обычной тройке, мчащейся по снегу, стал пририсовывать, правда сбоку, на втором плане, а иногда и в отдаленной перспективе, пальмы и море густейшей синевы, сквозь которую можно было разглядеть какие-то хвостатые чудовища с рыбьими плавниками. Но Сергей Сергеевич решительно восстал против этого, и у него с художником был длинный разговор, во время которого Сергей Сергеевич уговаривал Егоркина сохранять во что бы то ни стало национальную самобытность в творчестве и не поддаваться влиянию француз-

[1] «высшая школа» (*фр.*).

[2] Средиземноморский дворец (*фр.*).

ской живописи, – современные тенденции которой, не правда ли, – сказал Сергей Сергеевич, – нам представляются спорными? – Сергей Сергеевич особенно настаивал на том, что Егоркин по призванию, помимо всего и прежде всего, анималист, а не маринист, с чем Егоркин после некоторого раздумья согласился. Сереже Егоркин, когда Сережа был маленьким, приносил дешевые конфеты, которые мальчик брал из вежливости, пучки мимозы, показывал ему фокусы и сам искренне вместе с Сережей смеялся над ними. Сереже всегда было немного жаль этого плохо одетого и очень бедного человека, и то же чувство сожаления испытывала к нему Ольга Александровна, и только Лиза никогда с ним не разговаривала, и когда она случайно смотрела на него, казалось, что она глядит на пустое место. И Сергей Сергеевич как-то сказал ей:

– Егоркин, Лизочка, сфинкс. Да, да, сфинкс. Ведь совершенно непонятно, что человек может посвятить всю свою жизнь такой явной ерунде, как его картины. Презирать его легко, стало быть, не надо. Ты не думаешь?

Ворота виллы выходили на довольно узкую дорогу, шедшую прямо над морем, которое блестело тут же, тремя метрами ниже. На верху тропинки, которая вела вниз, росло высокое дерево; внизу была маленькая, вымощенная каменными плитами бухта, одна сторона которой образовывала небольшую дамбу, с которой можно было прыгать в воду. В бухте стояла моторная лодка темно-коричневого цвета, рядом с ней покачивалась обыкновенная, двухвесельная, на которой иногда «шеф» выезжал ловить рыбу в особенных, ему одному известных местах; но особенность их существовала только в его воображении, так как рыбы там не было так же, как повсюду; вернее, ее было так мало, что об этом не стоило говорить.

Был июль месяц, тяжелый и знойный, когда Лиза и Сережа приехали на юг. «Шеф» ждал их возле ниццкого вокзала. Было около пяти часов вечера; все сверкало от солнца; с моря дул легкий ветер. У Сережи слегка ныло тело от длительного мускульного напряжения, чуть шумело в голове. То смутное и нехорошее чувство к Лизе,

которое началось в памятный вечер, когда он впервые заметил ее обнаженные плечи в бальном платье, овладело им окончательно, и он уже не мог оторваться от него. Оно мучило его всю дорогу, он почти не спал ночью, чувствуя недалеко от себя, в синеватой вздрагивающей темноте Лизино постоянное тревожное присутствие. И теперь, несмотря на зной, ему было холодно и не по себе.

– Знаешь, Лиза, – сказал он, когда они выехали с вокзала, – я почти не спал ночью, наверное, болен, что ли. Мне нехорошо.

Она посмотрела на него понимающими и сожалеющими глазами, но то, что она сказала, не имело никакого отношения к ее взгляду:

– Возможно, что ты, действительно, простудился.

– Несомненно, Лиза.

– Это было бы неожиданно, – сказала она, отвечая на свою собственную мысль, которая была, однако, не о простуде Сережи. – Вот приедем, – сказала она, – полечимся.

– Солнцем? – спросил Сережа и улыбнулся.

Когда они приехали, итальянка накормила его бульоном, и после этого он сразу заснул, погрузившись в мягкую тишину, в самой далекой глубине которой – он успел это понять, засыпая, – его ждало то же притихшее, но по-прежнему тревожное предчувствие.

* * *

Когда он проснулся, ранним утром, от смутного его состояния всех последних дней не осталось следа. Он прислушался: внизу Нил разговаривал с итальянкой на своем удивительном французском языке с украинским акцентом – в котором глаголы имели во всех случаях только одну форму, неопределенное наклонение, – о том, как печально, что в море мало рыбы и что большую рыбу в Ниццу привозят с океана. – Зачем же тогда море, когда рыбы в нем нет? – говорил Нил. – А может, вы тут ее ловить не умеете? Ву па савуар атрапе гро пуасон, ву савуар атрапе пети пуасон?[1] – On saurait bien l'avoir, – отвечала итальянка, –

[1] – Вы не уметь ловить большую рыбу, вы уметь ловить маленькую рыбу? (*фр.*)

s'il y en avait là dedans[1]. – Сережа оделся, умылся и, съехав по старой привычке по перилам внутренней лестницы, которая вела во второй этаж, где была его комната, вышел во двор. – Bonjour, monsieur Serge, – сказала итальянка. – Dieu que vous êtes devenu grand maintenant![2] – Ты что ж так рано? – спросил Нил, обняв плечи Сережи своей громадной рукой. – Куда ты собрался?

Сереже стало очень приятно, что Нил и итальянка так радушны с ним и так очевидно его любят. Он поздоровался за руку с итальянкой, спросил ее, не болела ли она в последнее время и здесь ли «шеф». Итальянка сказала, что она пока что здорова и что «шеф» моет автомобиль в гараже. Сережа пошел туда, – гараж, впрочем, был рядом, и оттуда слышался звук напористой струи, разбивавшейся об автомобиль, – странно менявшийся, когда струя попадала под крылья машины. – Здравствуй, «шеф», – сказал Сережа, – я бы хотел поехать в море, лодка у тебя действует? – У меня? – сказал «шеф» с изумлением. – Конечно, действует. Она не может не действовать, раз я за ней смотрю.

Лодка эта была сделана по заказу Сергея Сергеевича и, как все, что он заказывал или покупал, за исключением, пожалуй, картин Егоркина, была очень хороша. «Шеф» бросил недомытый автомобиль, переоделся с быстротой трансформатора, и через минуту они вдвоем уже сидели в лодке, которая шла по гладкой воде залива, поднимая две белых полупрозрачных стены пены; затем, обогнув мыс, они вышли в открытое море, где уже начиналась некрупная, упругая волна. Утро было насквозь прозрачное и далекое, в светлой увядающей синеве виднелись уходящие очертания противоположного берега.

Они оба молчали, Сережа сидел, откинувшись, то закрывая, то открывая глаза. Потом «шеф» сказал своим непринужденным тоном:

– Et bien, comment ça va à Paris?[3]

---

[1] – Мы бы умели... если бы она была (*фр.*).

[2] – Здравствуйте, месье Серж... Господи, как вы выросли! (*фр.*)

[3] – Ну, как там в Париже? (*фр.*)

Сережа не мог не засмеяться. В представлении «шефа» Париж был хотя и большим городом, но, в сущности, каким-то однородным понятием, и достаточно было жить в Париже, чтобы определить безошибочно, как в нем вообще идут дела. В ответ на объяснения Сережи «шеф» покачал головой и потом стал рассказывать события своей собственной жизни, говорил, что у него есть невеста с приданым, но что мать не позволяет ему жениться, так как он слишком молод; рассказывал о каком-то Жанно, который, по его словам, был совершенно непобедим в игре – безразлично какой, и в шары, и на бильярде, и даже в карты, что он, «шеф», подозревает, что Жанно передергивает. Потом он стал рассказывать про одинокого англичанина, которого он как-то наблюдал, когда тот сидел у себя в саду и с кем-то разговаривал, причем сердился и кричал, – а в саду, кроме него, никого не было; «шеф» ничего не понял, потому что тот говорил по-английски, но был убежден, что старик сошел с ума от пьянства, хотя никто его пьяным не видал. – Это ничего не значит, – сказал «шеф», – стало быть, он раньше пил, а теперь, когда сошел с ума, пить перестал.

Когда Сережа вернулся, Лиза уже пила кофе. Он спросил ее, как она спала, она ответила, что прекрасно; в тоне, каким она говорила, Сережа уловил, как ему казалось, какое-то очень незначительное, но несомненное отчуждение. У Лизы это вышло невольно, она сама заметила это лишь через несколько минут; но она знала причину этого, а Сережа не понимал. Впрочем, через полчаса они вдвоем отправились купаться и вернулись домой только тогда, когда плечи их уже начали болеть от быстрого южного ожога. После завтрака Лиза ушла к себе читать, а Сережа с «шефом» поехали в Канны смотреть на гонки моторных лодок и вернулись домой только к обеду.

Был уже глубокий вечер, когда Сережа и Лиза вышли вдвоем; они шагали по безлюдной дороге, освещенной яркой луной. Было очень тихо. Они шли молча; на море неподвижно и бледно сверкала узкая полоса лунного света, вздрагивая на темнеющей ряби воды, твердый песок тихо и мерно скрипел под ногами; по черной дороге,

от которой их отделяли сплошные сады вилл, проносился время от времени шум автомобильных шин, напоминавший по звуку удаляющийся шепот.

– Знаешь, Лиза, – сказал Сережа, – это похоже на немую музыку, если бы она существовала: я не умею сказать, ты понимаешь?

Она ничего не ответила. Рука ее по-прежнему лежала на его плече. Ему очень хотелось обнять Лизу правой рукой, туго налившейся кровью и неподвижно висевшей вдоль тела, но он не посмел это сделать. Все, чего не было утром и что продолжалось уже много времени, до отъезда на юг и затем в поезде, – снова вернулось к нему с еще большей силой. Он видел перед собой дорогу, пальмы, ворота, море, неподвижно и словно насмешливо стоявшие на своих обычных местах, но все было не похоже на то, как он видел их всегда. Лиза шла, прикасаясь к нему боком, он чувствовал мерные движения ее тела и закрывал глаза; и тогда все переставало существовать, кроме этого равномерного и невыразимого ритма ее движений, под которым далеко внизу скрипел невидимый песок, и звук его с волшебной точностью повторял эти колебания ее тела.

– Лиза! – хотел сказать Сережа, но не мог. Тогда ее рука медленно сдвинулась с Сережиного плеча и обняла его шею: ее лицо с блестящими глазами приблизилось к лицу Сережи; в неверном свете луны Сережа видел ее рот с раскрытыми губами. Все мускулы его тела были напряжены, он чувствовал уже как бы далекое прикосновение ее губ, и вдруг сразу ему стало нечем дышать от ее длительного и безжалостного поцелуя. Лиза почувствовала, как тело его вдруг, обмякло в ее руках, она пошатнулась, поддерживая его. Он потерял сознание. Ей делалось трудно его держать, он становился тяжелым; тогда она, нагнувшись, взяла его левой рукой под колени и подняла так, как поднимала давно, много лет тому назад, когда он был маленьким мальчиком, а она была такой же, как сейчас. Она пронесла его несколько шагов. Наконец глаза его открылись, он пробормотал: – Лиза, Лиза, что ты? – и быстро соскользнул на землю. Ему было стыдно смотреть ей в лицо.

– Мой бедный мальчик! – сказала она. – Домой, Сережа, надо идти домой.

Они вернулись к дому, у ворот на табурете сидел Нил. – Воздух с моря хороший, – сказал он Лизе, – прямо, барышня, даже приятно. А ты, Сережа, от луны совсем бледный стал, как невеста все равно под фатою.

Сережа ушел к себе, Лиза осталась одна. Она разделась, надела на голое тело свой любимый халат, по синему шелку которого летели вышитые птицы, и села в лонгшез. Она не могла успокоиться. После ледяного оранжада, который она выпила, ей все еще хотелось пить. Прикосновение халата раздражало ее набухшие соски, она распахнула его и вышла на веранду. В вечерней прозрачной тишине откуда-то очень издалека доносилась невнятная мелодия рояля. Воздух был теплый и неподвижный; снизу, с темной клумбы цветов, поднимался их особенный ночной запах. Лиза ни о чем не думала в эти минуты. Не запахивая халата, она подошла к лестнице, ведшей во второй этаж, остановилась на секунду и потом быстрыми шагами, почти бегом, стала подниматься наверх.

* * *

Париж был почти пуст в эти летние месяцы. Людмила, прожив несколько недель одна в своей идеально чистой и тоже опустевшей после отъезда Аркадия Александровича квартире, отдохнув от постоянного пребывания настороже, от постоянной разнообразной лжи, из которой состояли ее обычная жизнь и ее отношения с людьми, сыграв на рояле все свои многочисленные тетради нот, собиралась уезжать на океанское побережье, приобрела все, что для этого было необходимо, и почти готовилась уехать на вокзал, как вдруг неожиданное происшествие совершенно изменило все ее планы. Происшествие это заключалось в том, что она встретила, выходя из большого магазина на Boulevard de la Madeleine, свою старую знакомую, итальянку, которой в свое время принадлежал небольшой пансион в Швейцарии, где Людмила останавливалась несколько раз. Итальянка была замечательна тем, что лет пятнадцать тому назад и в тече-

ние очень короткого времени была любовницей одного из европейских королей, – и с тех пор жила воспоминаниями об этом; но, помимо воспоминаний, король, расставаясь с ней, дал ей некоторую, незначительную для государственного, но значительную для частного бюджета, сумму денег, на которую она существовала все эти годы. Квартира ее была увешана портретами короля в самых разнообразных позах – в теннисном костюме на корте, в кресле с книгой, на собственной яхте, в капитанском картузе, верхом на вороной лошади, верхом на белой лошади, верхом на гнедой лошади. После этого решительного в жизни итальянки периода, – до которого ее биография отличалась крайней туманностью, – она путешествовала по Европе; но так же, как ее немыслимо было себе представить вне ее блистательного прошлого, в такой же степени постоянным и неизбежным обстоятельством ее теперешней жизни было то, что ей принадлежал небольшой пансион; в его ведении ей обычно помогал один из ее многочисленных кузенов, которые менялись примерно каждые полтора года и количество которых на ее родине казалось неисчерпаемым. В ее пансионе обычно останавливались ее личные знакомые, на сравнительно короткий срок, ценившие ее скромность: несмотря на необыкновенную болтливость, итальянка не говорила того, чего не следовало говорить.

Она чрезвычайно обрадовалась Людмиле, которую не видела года два, сказала, что она уже много месяцев в Париже, и пригласила ее пить чай. Войдя в переднюю, Людмила увидела неизвестный ей, недавнего, по-видимому, происхождения, портрет короля в новой фотографической интерпретации: портрет почти походил на икону; лицо короля, подвергшееся, по-видимому, тщательной ретуши, было величественно и скорбно той особенной, условной скорбью и условной величественностью, которые характерны для олеографий. Заметив взгляд Людмилы, итальянка сказала, что его величество – она всегда выражалась так, говоря о короле, – недавно прислал ей этот портрет. Это была, очевидно, неправда, во-первых, потому что на портрете не было надписи. Во-вторых, король, хотя и был не очень культурным человеком, был все же лишен

того идеально дурного вкуса, который у него следовало бы предположить в том случае, если бы он действительно послал ей этот портрет. – Какое печальное лицо, – сказала Людмила нарочито рассеянным голосом, рассчитанным на то, чтобы итальянка приняла ее высказывание не за сочувствие ей, а за настоящее ее впечатление, – можно подумать, что он задумался над чем-то или жалеет о чем-то невозможном. – Да, у меня такое же впечатление, – сказала итальянка; и она, и Людмила одновременно испытали чувство удовлетворения – Людмила оттого, что итальянка ее поняла именно так, как было нужно, итальянка потому, что имела дело с умной и чуткой женщиной. Итальянка, впрочем, вообще очень ценила Людмилу и знала о ней гораздо больше, чем это было можно подумать. До того еще, как горничная подала чай, итальянка предупредила Людмилу, что к чаю будет один господин, очень милый, но очень несчастный англичанин, к сожалению, плохо говорящий по-французски и совсем не говорящий по-итальянски; в пансион он попал совершенно случайно, – она улыбнулась откровенной улыбкой, обнажив все свои зубы, что всегда производило чуть-чуть странное впечатление, потому что за исключением четырех передних зубов верхней и стольких же нижней челюсти все остальные чередовались в идеально правильной, нигде не нарушенной пропорции: золотой, белый, золотой, белый – и так до конца. Англичанин этот, насколько его поняла итальянка, еще молодой человек, – по мере того, как шли годы, итальянка бессознательно и великодушно отодвигала все дальше ту цифру, после которой человек переставал быть молодым: сначала это было тридцать лет, потом тридцать пять, потом сорок, теперь сорок пять и даже больше; после пятидесяти начинало входить в силу неопределенное выражение «еще не старый человек»; около пятидесяти четырех говорилось – еще, в сущности, не старый человек; и около пятидесяти восьми – еще, в конце концов, не старый человек. Итак, этот англичанин недавно потерял жену и остался совершенно один на свете; по словам итальянки, он был очень, очень мил. Людмила сразу насторожилась, и, хотя никаких планов еще не было

в ее голове, она уже сделала над собой то привычное и бессознательное усилие, которое обычно предшествовало всякому ее начинанию. Лицо ее, вообще говоря, несмотря на кажущуюся неподвижность, обладало редкой выразительностью; и, ожидая прихода англичанина, она постепенно придавала ему тот характер, который приличествовал обстоятельствам, именно – чуть-чуть усталое выражение, далекие глаза, небрежная, точно забытая в воздухе, рука с папиросой в тонких и длинных, слегка дрожащих пальцах. Англичанин, наконец, явился; это был крупный человек с совершенно седой головой, с простодушным, красноватым лицом, тип джентльмена-фермера с большим уклоном к джентльмену, как подумала Людмила. Он поздоровался с итальянкой, пожал холодную руку Людмилы и сказал медленную и совершенно непонятную фразу по-французски. – Вы меня извините, – сказала Людмила итальянке; англичанин с напряженным лицом слушал, стараясь понять ее слова, – вы меня извините, Джулия, мне очень хотелось бы знать, что думал только что m-r, я спрошу его об этом на его языке. – Англичанин выжидательно смотрел на Людмилу. Итальянка, улыбаясь, кивнула головой, и тогда Людмила, помолчав секунду и потушив в пепельнице папиросу, сказала, обращаясь к англичанину таким тоном, точно она продолжала случайно прерванный разговор:

– Sorry, I must confess I didn't understand what you just said[1].

Англичанин обрадовался, с лица его сошло напряженное выражение. Он очень рад – very, very glad[2], сказал он, что madame, слава Богу, говорит по-английски; Madame француженка? – Нет, русская. – Русская! – сказал англичанин с восторгом. – Вы приехали из России? Это замечательная страна. – Людмила ответила, со своей усталой улыбкой, что она тоже любит эту страну; но, к сожалению, лишена возможности туда вернуться. Этот разговор с различными иностранцами о России был давно разрабо-

[1] – Простите, должна признаться, я не поняла, что вы только что сказали (*англ.*).

[2] очень, очень рад (*англ.*).

Заказ 3235

тан Людмилой в мельчайших подробностях, менявшихся в зависимости от того, кто был ее собеседником – француз или голландец, немец или англичанин. Англичанам она обычно говорила, что в русском характере есть какие-то положительные начала, весьма близкие тем, в сущности, которые создали огромное и бесспорное континентальное могущество ее родины. И хотя, к сожалению, Россию преследовала судьба, adversity[1], но она, Людмила, не теряет надежды, что когда-нибудь – и, несомненно, это будет – Россия займет надлежащее место в мире; и что ей, Людмиле, хотелось бы дожить до этого и потом спокойно умереть. В этом месте она делала горловое усилие, голос ее тихонько дрожал, и это должно было значить, что, несмотря на свою сдержанность, она горячо любит свою родину и страдает вместе с ней и что, кроме того, ей вообще живется несладко. Людмила с удовольствием заметила, что сопротивляемость англичанина была ничтожна, он слушал ее только что не с открытым ртом, и было очевидно, что ни малейшего сомнения ее слова возбудить в нем не могли. Разговор продолжался еще с полчаса, затем Людмила поднялась и попрощалась с итальянкой, которая за все время разговора ничего не поняла и сидела с неизменной улыбкой, настолько неподвижной и ни на секунду, кажется, не дрогнувшей, что у англичанина от невольного сочувствия начали чуть-чуть побаливать челюсти и он несколько раз прижимал себе кулаком подбородок. Он сказал, что тоже хотел идти, – и они вышли вдвоем с Людмилой. Маленькая улица Debordé-Valmore, где находился пансион Джулии, была вся освещена июльским солнцем; пятнистые тени деревьев почти незаметно дрожали на тротуарах, когда поднимался, временами, знойный ветер. Англичанин сказал Людмиле, что он совсем не знает Парижа и его единственный шанс попасть домой – это карточка пансиона с адресом, которую он дает шоферу такси. Людмила навела его на разговор об Англии, и, когда выяснилось, что он редко сравнительно живет в своем лондонском доме и предпочитает небольшое имение в Шотландии, Людмила от волнения едва не подави-

[1] напасти (*англ.*).

лась слюной; во всяком случае, она прижала руку к груди и закашлялась, и когда англичанин забеспокоился, она сказала ему с кроткой и неизменно печальной улыбкой, что никогда не могла похвастаться здоровьем. Она выяснила в том же – предопределившем все дальнейшее – разговоре, что он одно время ошибочно считал, будто американские машины лучше английских, но что это неверно и что, в конце концов, он решил не изменять своему старому «рольсу». Людмиле нужно было большое усилие, чтобы продолжать свою меланхолическую линию поведения. Ее обрадовало не очевидное богатство англичанина, но та несомненная легкость овладения им, которая – в таких идеальных условиях – представлялась ей впервые в жизни. И с этой минуты ей стало ясно, что англичанина ни в коем случае нельзя упустить, абсолютно невозможно упустить, потому что даже кратковременная и случайная разлука с ним могла все изменить, потому что, очутившись вне влияния Людмилы, он подпадал или мог подпасть под влияние факторов, которых она не могла предвидеть и против которых была почти бессильна. Она решила не отпускать его, и план ее был готов моментально: сейчас она скажет, что ей хотелось бы подышать чистым воздухом, – у нее все-таки слабые легкие, – он спросит, куда здесь можно поехать, и они отправятся в Версаль; там, в парке, ей станет дурно, она попросит отвезти ее домой. Дома она почувствует себя лучше, они поедут ужинать в Tour d'Argent, а оттуда либо в Bal Tabarin, либо в Casino de Paris. Даже тот факт, что в данный момент у Людмилы был первый день ее ежемесячного нездоровья, ничему не мешал и был почти кстати, так как в ее планы не входило – принимая во внимание, что она имела дело с пожилым англичанином, – принадлежать ему сегодня вечером или завтра, это могло случиться лишь в конце недели, и так было даже лучше. Она тотчас же приступила к выполнению своего плана. Выйдя на rue de la Tour, они дошли до avenue Henri Martin. Разговор был академический: об Англии, о России, о Франции, – Как жарко! – сказала Людмила. – Вот несчастье больших городов. – Yes, yes[1], – сказал англича-

[1] – Да, да (*англ.*)

нин. У него не было никакой инициативы; и тогда Людмила заговорила о Булонском лесе, о парке St. Cloud, о Ville d'Avray, которые она очень любила, по ее словам. – Где все это? – спросил англичанин. Она объяснила ему, и тогда он предложил поехать туда. Людмила отказалась. Пройдя несколько шагов, он сказал, что все-таки поехать в лес было бы недурно. Людмила согласилась. Они остановили такси: Людмила объяснила шоферу, который оказался печальным мужчиной с седыми усами, по акценту которого было сразу слышно, что он русский, но Людмила избегала русского языка в разговорах с шоферами, боясь фамильярности с их стороны, и старалась говорить по-французски с английским акцентом; – она объяснила ему, что нужно сначала объехать озера в Булонском лесу и потом ехать в Версаль через St. Cloud и Ville d'Avray – и они поехали. По дороге Людмила вскользь говорила необходимые вещи о своей собственной жизни, находящиеся как раз посередине между английской классической сдержанностью в таких случаях и русской непосредственностью, национальный характер которой она не замедлила комментировать англичанину, сопроводив это некоторыми суждениями общего порядка, – с тем чтобы у ее собеседника не могло возникнуть никаких сомнений в полной корректности и порядочности всего решительно, что хоть как-то касалось Людмилы.

Людмила принимала все эти меры предосторожности отчасти на всякий случай, отчасти в силу привычки быть всегда настороже; но она прекрасно понимала, что в данном случае она могла бы держаться менее осторожно – с таким собеседником она ничем не рисковала. Но подобно тому, как она с исключительной аккуратностью выполняла все свои денежные обязательства и следовала здесь неизменным, раз навсегда установленным принципам, так в отношениях с поклонниками она всегда заботилась о малейших деталях своего поведения, точно речь шла о пьесе, которую нужно разыграть. И ее постоянное, сдержанное раздражение в значительной степени объяснялось тем, что, имея дело с живыми людьми, а не театральными персонажами, она неоднократно – из-за

какого-нибудь незначительного и невольного нарушения замысла – должна была, так сказать, переделывать текст в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Вообще же говоря, для Людмилы было характерно своеобразно-добросовестное отношение ко всему, что она делала: она держала свое слово, всегда приходила на свидания с опозданием ровно в десять минут, и на нее, вообще, можно было положиться. Во всех ее сентиментальных и коммерческих начинаниях главная роль принадлежала именно ей, а не ее партнеру. В разговоре с англичанином она отдыхала душой – все шло настолько идеально, что она готова была себя спросить: не сон ли это? Когда ей стало дурно в Версале, она зашаталась, но удержалась на ногах, сквозь почти закрытые глаза с тревогой заметила, что медлительный англичанин не сообразил, в чем дело; это, впрочем, продолжалось одну секунду, после чего он подставил руку под ее спину, и тогда она, несколько оттолкнувшись, резко упала прямо на эту руку и спиной почувствовала мгновенно напрягшиеся мускулы на ней – исключительной твердости и гибкости. Это было очень приятное ощущение; в числе немногих искренних чувств Людмилы одно из главных мест занимала любовь к атлетическому мужскому телу. – Excuse me, I am not quite well[1], – тихо сказала она, открывая глаза и слабо улыбаясь. Когда шофер чуть-чуть ускорил ход – после того как Людмила была доведена до автомобиля и они поехали в Париж, – англичанин нетерпеливо крикнул: – Slowly, slowly[2], – и Людмила тотчас перевела это своим по-прежнему слабым голосом: – Allez doucement, chauffeur[3].

Квартира ее очень понравилась англичанину, но особенно он обрадовался, увидев рояль, – в довершение всего он оказался любителем музыки. Такой ослепительной удачи Людмила не могла ожидать, слезы радости стояли в ее глазах, она была настолько счастлива, что у нее даже вырвалось: oh, darling[4], – чему следовало

---

[1] – Извините, мне нехорошо (*англ.*).

[2] – Медленнее, медленнее (*англ.*).

[3] – Поезжайте потише, шофер (*фр.*).

[4] о, дорогой (*англ.*).

вырваться – непосредственно и неожиданно – только на третий день, к вечеру, примерно к шести часам, после разговора о том, что англичанин был бы счастлив сделать для нее все, что в его силах. Впервые за много лет нарушение программы произошло по вине Людмилы. Разговор продолжался, перейдя уже к тому тону мгновенного понимания, который обычно предшествовал почти решительной фазе знакомства; Людмила поняла, что ей нужно было «переключиться» на coup de foudre[1], как она подумала, – иначе она рисковала оказаться не на высоте положения. Она между тем лихорадочно перебирала свои музыкальные познания в той области, которая должна была бы особенно интересовать собеседника, и решила, что после «Old man's river» и «Charly is my darling» она сыграет англичанину Шопена, лирическое действие которого она очень ценила; но это следовало отложить на завтра. Сегодня она не будет играть, сославшись на слабость.

В дальнейшей программе Людмилы никаких отступлений от намеченного не произошло. Они пообедали в Tour d'Argent, потом были в Bal Tabarin, затем Людмила пила шоколад у Weber'a, и, наконец, уже в третьем часу ночи англичанин отвез ее домой; и по дороге, в такси, два раза поцеловал ей руку, которую она не отняла; она неподвижно сидела, откинувшись назад, и ей хотелось броситься ему на шею. При расставании произошел довольно продолжительный, почти десятиминутный разговор; англичанин просил разрешения увидеться с Людмилой завтра же, она уверяла, что невозможно, и, наконец, согласилась, условились, что он сначала позвонит ей по телефону. Людмила прошла по передней, танцуя и напевая с закрытым ртом, как если бы ей вдруг сделалось двадцать лет; потом она разделась, легла в кровать, с наслаждением вытянулась, и, когда посмотрела в зеркало, она увидела в нем свои синие глаза, в которых вместо обычной печали была совершенно явная веселость.

Подготовительный период к тому моменту, после которого у англичанина – его фамилия была Macfarlane – не должно было оставаться никаких сомнений в том, что

[1] любовь с первого взгляда (*фр.*)

Людмила и только Людмила могла и должна была стать его женой и что теперь он не видит, как можно поступить иначе, – все эти подробности Людмила долго и со вкусом обдумывала после очень плотного обеда, отдыхая у себя, – продолжался пять дней, ровно столько, сколько нездоровье Людмилы. На шестой день утром она приняла ванну и стала готовить все к вечернему визиту Макфалена; в этот день он должен был ужинать у нее, потому что иначе это создало бы ряд технических препятствий, всегда особенно досадных и вредно отзывавшихся на непосредственности и неожиданности того, что произошло – Бог знает, как и почему. Макфален явился за полчаса до назначенного времени, был корректен и мил, как всегда, но глаза у него были сумасшедшие, именно такие, как нужно. После обеда с длинными и намеренными паузами в разговоре, прерывавшимися нарочито тревожным смехом Людмилы, она, не зажигая огня – на дворе наступали быстрые сумерки, – подошла к роялю, и Макфален приблизился к ней. Когда он, наконец, обнял ее, ее пальцы еще остались на клавишах, и получился – в последнюю секунду – длительный и смешанный, медленно умиравший звук трех различных нот; мускулы на закинутой шее Людмилы напряглись во время этого первого и неожиданного поцелуя.

Все остальное случилось именно так, как это представляла себе Людмила; безошибочное знание отношений между мужчиной и женщиной, достигнутое длительным опытом, не могло обмануть ее и на этот раз. Она знала, что от впечатлений первого вечера ее близости с Макфаленом зависело все ее будущее, и она не пожалела никаких усилий для того, чтобы это будущее себе обеспечить. Поздно ночью, после того как Макфален несколько раз потребовал у нее категорического согласия стать его женой, – она гладила в ответ его круглую голову с жестокими седыми волосами, – она, слабо улыбаясь, ответила, наконец, что очень устала и предпочитает отложить разговор до завтра. Макфален ушел, совершенно одуревший и донельзя счастливый. На следующее утро Людмилу разбудил телефонный звонок. Не совсем еще проснувшись, она сказала своим резким голосом: – Allo! – но когда услышала, что

говорил Макфален, сон слетел с нее мгновенно, и голос ее вновь приобрел ту слабую прелесть, которая была необходима в ее разговоре с англичанином.

– Боже мой, я еще сплю, – сказала она, растягивая слова, что, вообще говоря, было для нее совершенно нехарактерно, но что получалось само собой в разговоре с Макфаленом. Он явился к завтраку, после которого произошло обсуждение их совместного будущего. До сих пор Людмила только раз вскользь сказала, что она замужем за человеком, с которым не имеет ничего общего. Теперь этот вопрос предстояло осветить подробнее. Аркадий Александрович в описании Людмилы всегда имел строго определенный тип, как злодей в классической мелодраме: деспот, тиран, болезненно ревнивый человек и – в самых катастрофических случаях – пьяница, во всем облике которого не было ни одной положительной черты. Людмилу он даже не любил, в сущности, а относился к ней так, как если бы она была его собственностью. Но теперь, впервые за все время, Людмила несколько изменила это: Макфалену было бы трудно понять, – если бы Людмила настаивала на своей постоянной версии, – что ее удерживает возле этого человека. Поэтому, хотя Аркадий Александрович и был описан Людмилой в мрачных тонах, но сопровожден несколькими более снисходительными комментариями, которые имели в виду подчеркнуть не столько его хоть одно достоинство, сколько душевную мягкость самой Людмилы. Другими словами, Аркадий Александрович остался, в сущности, и деспотом, и даже тираном, если угодно, но, в конце концов, слабым человеком, которого ей, Людмиле, жаль оставить; она себе не представляла, что он будет делать без нее. В последнем случае Людмила была искренна; положение было действительно таково – во всяком случае, до самого последнего времени. – Где же он теперь? – спросил Макфален. – Я считаю, что мы должны с ним поговорить... – Его нет в Париже, – быстро сказала Людмила; перспектива встречи Макфалена с Аркадием Александровичем ее ни в какой мере не устраивала. – Тогда надо ему немедленно написать, – сказал Макфален. Было решено, что Людмила сегодня же напишет Аркадию Алек-

сандровичу; и после этого разговор перешел на идиллические темы о близком будущем – Шотландия, пруд, рыбная ловля, совместные путешествия, поездка на Ривьеру. Макфален говорил не без юмора о своей жизни в Англии, рассказывал шотландские анекдоты; незаметно наступил вечер, который был почти во всем похож на предыдущий, с той разницей, что после обеда Людмила долго играла ему самые лирические вещи. Макфален, который был настоящим знатоком музыки, не мог не оценить ее искусства, что еще больше, если это было возможно, расположило его к ней, и он опять ушел поздно ночью, одевшись медленно и с неохотой; Людмила помахала ему рукой, не поднимая с подушки белокурой головы с разметавшимися волосами.

На следующее же утро она позвонила по телефону Сергею Сергеевичу. – Говорит Людмила Николаевна, – сказала она, учащенно дыша. – Так мило с вашей стороны, что вы меня не забываете, – сказал спокойный издевательский голос в трубке, – здравствуйте. – Сергей Сергеевич! – воскликнула Людмила. – Сергей Сергеевич, я к вам с громадной просьбой, все зависит от вас. – Громадной? Какой именно? – Мне необходим адрес моего мужа, немедленно, вы понимаете? – Понимаю, – сказал Сергей Сергеевич, – боюсь, что понимаю. Вы знаете, дорогая Людмила Николаевна, мое знакомство с вашим супругом, я не хочу от вас ничего скрывать, было до сих пор скорее поверхностным, не знаю, почему так вышло.

– Сергей Сергеевич, ради Бога, вы не знаете, как это для меня важно!

– Возможно, Людмила Николаевна, что это важно, но как бы это ни было важно, фактов это изменить не может. Другими словами, – вас, может быть, это удивит, – но наша переписка с вашим супругом всегда носила крайне нерегулярный характер, точнее, ее даже вообще никогда не было, и его адреса я, к сожалению, не знаю.

– Сергей Сергеевич, есть ли у вас сердце или нет? Адрес вашей жены, – вы же это великолепно понимаете, Боже мой, я просто не нахожу слов.

– Меня начинает беспокоить состояние вашего здоровья, – сказал Сергей Сергеевич, – примите что-нибудь успокаивающее. В ближайшей аптеке обратитесь...

– Адрес вашей жены, Сергей Сергеевич, – ведь вы его знаете.

– Действительно.

– Дайте мне его.

– Я полагаю, что этого не следует делать.

– Сергей Сергеевич, даю вам честное слово...

В трубке послышался смех. Затем Сергей Сергеевич сказал:

– Если это все, Людмила Николаевна, то мне остается пожелать вам всего хорошего, до свидания.

Затем телефон щелкнул, и Людмила, закусив губу, повесила трубку.

Она не могла допустить, что после ее бесспорной и окончательной победы над Макфаленом, именно тогда, когда все, о чем она мечтала, почти осуществилось: богатство, положение, – стоило только протянуть руку и взять, – что это необыкновенное счастье могло ускользнуть от нее из-за глупейшего недоразумения, из-за одного адреса, который до сих пор ей не был нужен. Она понимала трудность положения: ехать в Италию разыскивать Аркадия Александровича было совершенно бессмысленно. Можно было, конечно, объяснить Макфалену, но Людмила полагала, что его следовало всячески ограждать от слишком детального знакомства с ее личной жизнью. Впервые за очень долгий период времени она растерялась. Что-то предпринять было, во всяком случае, необходимо. Она знала, что от Сергея Сергеевича ей будет трудно добиться чего бы то ни было, в этом отношении он был не похож на других, она убедилась в этом во время своего первого визита к нему: хотя тогда ее предприятие увенчалось успехом, но это была случайность, и причины этой удачи были не те, на которые она рассчитывала. Она вышла из дому, остановила такси и поехала к Сергею Сергеевичу. Его не оказалось дома. Она стояла на площадке лестницы, похрустывая в нетерпении пальцами и совершенно теряя голову. В это время незнакомый человек высокого роста подошел к двери и, посмотрев с некоторым удивлением на Людмилу, позвонил. Дверь открылась, и, ничего не спрашивая, он вошел было уже в квартиру; но в это время Люд-

мила схватила его за рукав. Это был Слетов. Она быстро сказала по-русски:

– Простите, пожалуйста, вы здесь живете?

– Да.

– Вы служите у Сергея Сергеевича?

– Нет.

– А какое вы к нему имеете отношение?

– Вы что, из сыскного бюро, что ли? – спросил Слетов с любопытством.

– Нет, я просто женщина, находящаяся на грани отчаяния, – сказала Людмила, продолжая хрустеть пальцами. Слетов еще раз посмотрел на нее; по тому, как Людмила была одета, ее можно было принять скорее за благотворительницу, чем за просительницу.

– Стало быть, вам не деньги нужны? – спросил он после некоторого колебания.

– Нет, нет, нет.

– Да вы войдите, – сказал он, спохватившись, – объясните мне, в чем дело, я передам Сергею Сергеевичу. Что случилось?

Людмила стала рассказывать ему, сначала очень волнуясь, потом успокоилась. Слетов внимательно ее слушал. Она сказала, что в первый раз, вот теперь, она встретила человека, которого искала всю жизнь. Лицо Слетова выразило сочувствие. Затем она объяснила, что ее вынужденное пребывание с мужем теперь совершенно невозможно, что этому надо положить конец, что иначе не стоит жить и что если ей не удастся добиться от Сергея Сергеевича того, что ей нужно, то останется одно... Она вынула из сумки небольшой перламутровый револьвер; Слетов замахал руками.

– Помилуйте, вы с ума сошли, – сказал он. – Я готов вам всячески помочь, я прекрасно вас понимаю. Но при чем тут Сергей Сергеевич?

Она объяснила ему и это. Слетов покачал головой.

– Адреса он вам не даст, тут сам черт ничего не поделает, – сказал он. – Я Сергея Сергеевича хорошо знаю.

– Мне не нужно адреса, – сказала Людмила с заблестевшими глазами. – Я при вас напишу письмо, пусть Сер-

гей Сергеевич его отошлет, это все, что мне нужно. Письмо я даже не запечатаю.

– Это – другое дело.

Людмила тотчас же крупным почерком написала письмо и передала его Слетову, который проводил ее до дверей и обещал сделать все необходимое.

Сергей Сергеевич вернулся через полчаса и застал Слетова, который сидел в кресле и с задумчивым видом вертел в руках письмо Людмилы.

– Ты что, Федор Борисович, корреспонденцией занялся?

– В известном смысле да, – сказал Слетов, – только косвенной. Здесь только что была Людмила Николаевна.

– Этого следовало ожидать. Так это ты ей письмо написал?

– Нет, это она написала.

– Мне?

– В том-то и дело, что нет.

– А, понимаю, – сказал Сергей Сергеевич. – Просила переслать это письмо ее мужу?

– Да. – И Слетов рассказал Сергею Сергеевичу свой разговор с Людмилой и прибавил, что она произвела на него впечатление совершенно искренней женщины, очень взволнованной и действительно, как она сказала, находящейся на грани отчаяния.

– Она тебе не сказала, что она девственница? Нет? Ну, и это слава Богу, а то бы ты и этому поверил. Но это что-то новое, до сих пор она работала, кажется, иначе. Давай-ка письмо.

– Как? – сказал Слетов. – Ты будешь его читать? Чужое письмо, адресованное не тебе? Сережа!

– В отношениях с заведомыми ворами, Федя, нельзя руководствоваться джентльменскими принципами, ты уж мне поверь. От этой женщины, Федя, нужно прежде всего ожидать какого-нибудь подвоха. Ну-ка, что она пишет? «Дорогой Аркадий, ты знаешь, как много я для тебя сделала; ты знаешь, что нередко мне приходилось жертвовать для этого всем решительно и даже своим самолюбием. Будучи умным и чутким человеком, ты должен это avoir

apprécié[1]». Взволновалась так, что даже языки путает. «Теперь я прошу тебя немедленно и безотлагательно, как только ты получишь письмо, прислать мне твое мотивированное согласие на развод. Что делать, наши жизни разошлись». Можно, конечно, и так выразиться. «Все расходы по процессу я беру на себя». – Сергей Сергеевич протяжно свистнул. – «Я ничего у тебя не прошу, кроме этого. Жду немедленного ответа. Пришли сначала телеграмму о твоем принципиальном согласии, затем официальную бумагу. Желаю тебе счастья. Твоя Людмила». Это, Федя, как гадалки говорят, называется перемена жизни. Но какой же это несчастный ей попался?

– Ее ведет любовь, это чувствуется во всем, – сказал Слетов, выпуская дым папиросы кольцами.

– Черт его знает, – сказал Сергей Сергеевич. – Это, может быть, менее абсурдно, чем кажется на первый взгляд. Во всяком случае, она находится в явно ненормальном состоянии, – подумать, все расходы берет на себя.

– Любовь, я тебе говорю, Сережа, – любовь.

* * *

Телеграмма с принципиальным согласием Аркадия Александровича на развод получилась через три дня, и Людмила тотчас же показала ее Макфалену. Еще через три дня пришла официальная бумага; Людмила отнесла ее адвокату, объяснив, что заинтересована в самом быстром разрешении дела и что вопрос о сумме не играет особенной роли. Он обещал сделать все в кратчайший срок, и она совершенно успокоилась. Макфален предложил ей ехать на Ривьеру, но она отказалась, она не хотела, чтобы ее встретили... пока у нее не будет развода... она предпочитала бы... Макфален соглашался на все. Было решено, что они поедут к океану, потом совершат вообще путешествие по Франции. Ранним утром они выехали из Парижа. Для Людмилы началась, наконец, жизнь, о которой она до сих пор только мечтала. Помимо элементарных удобств, вроде путешествия первым классом и дорогих гостиниц, в которых она останавливалась, то есть того, что она знала и

[1] оценить (*фр.*).

раньше, – только всегда это было явно временно и, так сказать, контрабандой, – она испытывала чувство благодарности и даже любви к Макфалену, в той степени, в какой эти чувства вообще были ей доступны. Конечно, если бы вдруг выяснилось, что Макфален совершенно разорился, она тотчас же, – хотя, быть может, с некоторым беглым сожалением все-таки, – оставила бы его. К счастью, это было невозможно. Она испытывала к нему сложное чувство, в котором значительное место занимало чисто физическое тяготение; имея дело всю жизнь с пожилыми, чаще всего, людьми – коммерсантами, владельцами фабрик, спекулянтами, – для которых почти всегда было характерно брюшко, одышка, вообще некоторая физическая несостоятельность, – она не была избалована в этом отношении. Макфален был неутомимым ходоком, очень любил природу, знал все породы деревьев, все цветы, растения, хорошо греб, бегал и плавал, а в рыбной ловле был совершенно непобедим и никогда не жаловался ни на какие недомогания, что неизменно делали все прежние поклонники Людмилы. Помимо всего – и опять-таки в отличие от них, – он был культурным человеком, Людмила разговаривала с ним как с равным. Макфален приходил в восторг от всего, что говорила Людмила, его особенно умиляло, что она чувствовала себя как дома в английской литературе. Он не думал о том, что любовь к музыке, литературе и искусству вообще может объясняться в одних случаях душевным богатством, в других, противоположных, – душевной бедностью; и Людмила принадлежала именно ко второй категории любительниц. Но так или иначе, у них очень быстро установился с Макфаленом условный язык, основные понятия которого были заимствованы из Киплинга и Диккенса, любимых его авторов; Людмила в одном из первых разговоров сказала Макфалену, что она выросла и воспиталась на английской литературе. Макфалена удивлял – как все остальное – ее беглый английский язык; он не мог знать того, что это было совершенно необходимо Людмиле для ее работы и, стало быть, теряло самостоятельную ценность, хотя и свидетельствовало о несомненных лингвистических ее способностях.

Людмила так прекрасно чувствовала себя теперь, что мало-помалу избавлялась совершенно от своей постоянной настороженности, от боязни сказать не то, что нужно, или поступить не так, как следовало, – один неудачный жест, одно неуместное замечание... Она не только вошла в свою роль, но ей начало казаться, что она никогда и не жила иначе, а так всегда и было. Она даже плакала несколько раз без того, чтобы это предшествовало какой бы то ни было просьбе об отсрочке векселя или рассказу о воображаемой смерти воображаемой дочери, – плакала просто от удовольствия и от того, что, наконец, длительные ее труды завершились заслуженным успехом. Макфален говорил ей: моя девочка, – и гладил ее по голове. Все было обдумано, все было решено: через три месяца Людмила должна была получить развод – к тому времени Макфален будет находиться в Англии, они расстанутся на две недели, только на две недели; затем Людмила, с разводом в сумке, поедет на аэродром в Буржэ, сядет в аэроплан и через два часа будет в Лондоне, а на следующий день они обвенчаются. Людмила была совершенно счастлива.

* * *

Письмо Людмилы, совершенно неожиданное и, казалось бы, долженствовавшее быть очень кстати, не доставило, однако, Аркадию Александровичу того облегчения и удовольствия, на которые следовало рассчитывать. Это объяснялось тем, что своим поступком Людмила нарушала давно обработанное и подготовленное представление о жене Аркадия Александровича, которое он придумал для Ольги Александровны и согласно которому Людмила не должна была быть в состоянии перенести мысль об окончательной разлуке с мужем, – настолько сильна, хотя и безропотна, была ее тихая любовь к Аркадию Александровичу. Можно было, конечно, предположить, что Людмила прислала это письмо, находясь в сильнейшем нервном припадке, который, быть может, предшествует сумасшествию или самоубийству. Но помимо того, что Аркадий Александрович очень хорошо знал идеальную невероятность такого предположения, это значило бы еще и необ-

ходимость немедленно ехать в Париж, постараться ее спасти – все-таки эта женщина была готова пожертвовать для него всем, а если до сих пор не жертвовала, то только в силу его великодушия; и перспектива этой поездки была для Аркадия Александровича совершенно неприемлема. Он думал некоторое время над тем, чем объяснить Ольге Александровне письмо Людмилы, и решил это представить как попытку Людмилы таким образом произвести нечто вроде взрыва, – жест отчаяния, конечно, и, если угодно, поступок неблагородный, но в известной степени понятный. На самом деле Аркадий Александрович довольно точно представлял себе, чем было вызвано письмо Людмилы, которая никогда не скрывала от него, что если ей удастся найти достойного, как она говорила, человека, то ей, в частности, любопытно будет посмотреть, под каким мостом очутится ее бывший муж. Аркадий Александрович даже испытал некоторую беглую и незначительную тревогу, – он был похож на человека, который во время движения поезда переходит из одного вагона в другой по двум площадкам, разделенным каким-нибудь полшагом расстояния, под которыми, однако, свистит быстрый воздух, сверкают бегущие рельсы и безмолвно и стремительно сыплется галька. Но когда Ольга Александровна спросила: – Не секрет, Аркаша, от кого письмо? – он сразу растерялся и протянул его ей, успев, однако, подумать, что делает глупость. Но реакция Ольги Александровны оказалась совершенно иной, чем он думал; в ее жизни интересы аналитического и объяснительного порядка играли роль только тогда, когда их результат должен был доставить ей удовольствие, – вроде того, что, вот, такой-то человек был очень грустен, чем объяснялась эта грусть? Он был влюблен в Ольгу Александровну. Там же, где объяснения могли иметь какой-либо отвлеченный либо неприятный характер, у Ольги Александровны не возникало никогда даже отвлеченного к ним интереса. Она прочла письмо, протянула его Аркадию Александровичу и сказала:

– Ныне отпущаеши... Слава Богу, все к лучшему.

– Да, – сказал Аркадий Александрович задумчиво, – быть может, лучше, мне иногда казалось... быть может, лучше не вдаваться иногда в анализ положительных собы-

тий. Анализ – как щелочи: ядовитые, разъедающие пятна на чудесной ткани бытия.

– Ты бы написал об этом, ты знаешь, ведь это очень хорошо.

– Я не знаю, я в этом не уверен. Дело в том, что проза, в силу элементарных ее законов, не должна грешить чрезмерной метафоричностью.

– Но это так красиво и верно, Аркаша.

– Любопытная вещь, – продолжал с тем же задумчивым видом Аркадий Александрович, – любопытная вещь, что некоторые, казалось бы, очевидные положения не выдерживают испытания практикой. Как бы это сказать? Они нуждаются в трансформации, нередко почти иррациональной, для того, чтобы воскреснуть в какой-либо вещи, как феникс из пепла. Кстати, ведь я не читал тебе того, что успел вчера написать, хочешь послушать?

– Да, да, конечно!

Аркадий Александрович вынул из ящика стола разрозненные листы бумаги, уселся в кресло и начал читать:

– «Он с шумом встал из-за стола. Горничная посмотрела на него испуганными глазами. Не оборачиваясь по сторонам, быстрой походкой министр прошел к себе в кабинет. Он взглянул на портрет жены, висевший над его столом, и горько усмехнулся. Потом он сделал несколько шагов, сел на кожаное кресло со спинкой полукругом, резким движением рванул к себе ящик письменного стола. Вороненая сталь револьвера чуть блеснула в ярком свете весеннего дня».

– Он застрелится, Аркаша?

– Подожди, ты увидишь. Я как раз к этому подхожу: «Потом он медленно задвинул ящик. – Умереть? – мелькнуло у него в голове. – Из-за чего? Да, конечно, молодость, право на жизнь и так далее, я все это знаю. Но ведь пройдет еще несколько лет и будет так, как говорил несчастный Дон Карлос ветреной и прелестной Лауре в ту незабываемую мадридскую ночь:

...когда твои глаза
Впадут, и веки, сморщась, почернеют,
И седина в косе твоей мелькнет...

Но они этого не понимают, – быть может, это лучше. – Мысль о том, что это лучше, однако, не носила утешительного характера». Ну вот, я написал до сих пор. Продолжение следует, как говорится.

Аркадий Александрович, начавший «Весеннюю симфонию» и задумавший ее, как «гимн молодости и любви», – он это сказал Ольге Александровне, – скоро заметил, что положительные описания необыкновенно трудны, и чтобы избавиться от них на некоторое время, он ввел в действие непредвиденного вначале героя, который был министром одной великой державы, пятидесятилетним человеком, женатым на юной красавице и узнавшим об ее измене, в связи с чем и занимавшимся такими мрачными размышлениями. Он, впрочем, был введен в роман исключительно потому, что Аркадий Александрович действительно отдыхал душой на пожилых людях, испытывающих несчастья: но министр решительной роли не играл, а благополучно кончал жизнь самоубийством; и роман должен был завершиться совершенно блестящим апофеозом без единой минорной ноты. Затем предполагалось издать книгу в небольшом количестве экземпляров, на хорошей бумаге. Роману предшествовало длиннейшее посвящение, героиня которого была обозначена тремя буквами – О. А. К. Появление министра было настолько немотивированным, что он поневоле приобрел полуфантастический облик; и потом, перечитывая написанное, Аркадий Александрович подумал с некоторой досадой, что министров, которые, хотя бы и по поводу измены жены, цитируют Пушкина, не бывает в природе. – Вот, со мной произойдет катастрофа, – подумал он, – не заговорю же я из-за этого вдруг по-испански. – Ольге Александровне, однако, и министр казался, правда, несчастным, но милым и вполне приемлемым эпизодическим героем.

Таким образом разговор о письме Людмилы, которого боялся Аркадий Александрович, не произошел немедленно после его получения, а был своевременно заменен печальным министром. Он возобновился после завтрака. Аркадий Александрович и Ольга Александровна сидели над морем; дул легкий ветерок, сверкала вода под солнцем.

– Теперь, Аркаша, – сказала Ольга Александровна, – нам надо поговорить. Собственно, все сказано, и даже больше, – она погладила его руку, – сделано. – Темные ее глаза улыбнулись. – Теперь речь о юридическом оформлении.

– Я к этому равнодушен, – сказал Аркадий Александрович. – Говорю это с риском тебя разочаровать. Не все ли равно, как это будет отмечено и вообще будет ли отмечено в каких-то бумагах? Главное, это то, что я ждал этого всю жизнь и теперь этого никто у меня не отнимет.

– Конечно, – сказала Ольга Александровна, улыбаясь, – но ведь ты ребенок, Аркаша. Мы взрослые люди, нам надо считаться с этими скучными бумагами.

– Я в твоем распоряжении.

– Прежде всего надо послать Людмиле Николаевне телеграмму. Затем бумагу с твоим согласием на развод.

– Хорошо.

– Потом я напишу Сергею Сергеевичу – он, конечно, сейчас же даст мне развод. А потом, когда все будет готово...

– Церковь, хор, старый батюшка... – мечтательно сказал Аркадий Александрович. – И на этот раз действительно новая жизнь, настоящее, непридуманное счастье. Какой ангел пролетал в Париже в тот вечер – ты помнишь?..

Аркадий Александрович почти бессознательно сводил обычно деловые разговоры с Ольгой Александровной к лирическим отступлениям; в результате делами занималась она, а он все свое время отдавал только тому, что он называл «единственно ценным».

По-своему он был не менее счастлив, чем Людмила, и, отчасти, в силу тех же причин: та глухая борьба, которую ему до сих пор приходилось вести – вечная забота о деньгах, вечное возвращение домой, где его ждала враждебная и насмешливая жена, разговоры о том, что единственное оправдание его положения Альфонса – это его графомания дешевого качества, – в отличие от Ольги Александровны Людмила достаточно хорошо разбиралась в литературе, и писательская несостоятельность ее мужа была для нее совершенно очевидна, – необходимость взять

взаймы сто франков у знакомого фабриканта, толстого еврейского инженера в очках, который считал себя меценатом и официально покровительствовал серьезной литературе, хотя втайне предпочитал Арцыбашева другим авторам и к тому же довольно давно не читал книг вообще за недостатком времени, но имел то несомненнейшее в глазах его друзей достоинство, что суммы до ста франков давал очень легко; медленное и трудное накапливание по десять или двадцать франков, полученных путем мгновенных и неожиданных займов у разных людей, на костюм, на рубашку, кальсоны, галстуки, – словом, то, что Аркадий Александрович с усталой интонацией в голосе называл прозой жизни и о чем Людмила, в ответ на его жалобы, как-то сказала: это не проза жизни, Аркадий, это просто хамство и «стрельба», я не понимаю, как ты не щадишь моего имени, когда так поступаешь, – и Аркадий Александрович едва не задохнулся от возмущения, но промолчал, – все это теперь кончилось. Вместо этого была Ольга Александровна, действительно никогда не знавшая цены деньгам и тратившая их со своей всегдашней расточительностью и еще умиленная тем, что, в отличие от ее прежних любовников, Аркадий Александрович никогда не брал у нее и не просил ничего, довольствуясь тем, что она ему давала сама. Кроме того, он уже окончательно внушил себе мысль, что его жизнь с Ольгой Александровной в самом деле беспримерная любовная симфония; и действительно, такой сладости бытия он до сих пор никогда не ощущал, разве что в те далекие времена, когда был женат первым браком на героине своей легенды. Это была, однако, не любовь в чистом виде, а любовь как функция бессознательной благодарности Ольге Александровне – благодарности за отсутствие забот, за горячее ее тело, за то, что она серьезно говорила с ним о его «одиноком призвании в искусстве», за то, что нашлась раз в жизни женщина, которая искренне и безоговорочно поверила всему решительно, поверила, главное, в реальное существование Аркадия Александровича Кузнецова – такого, каким он был всегда в своей мирной мечте и каким ему никогда не удавалось быть в действительности.

Заблуждение Аркадия Александровича было, однако, понятно и основывалось, в частности, на том, что он, как это выяснилось, недооценивал до сих пор своих физических возможностей, которыми был очень горд и доволен. Он сказал это Ольге Александровне – он никогда не думал, он полагал, что, в сущности, жизнь кончена, и вот, теперь... Он даже немного, похудел, приобрел известную размашистость в походке, и загорелое его лицо с блеклыми глазами стало несколько тверже, что ли, на вид. Он даже научился немного плавать – два-три метра, – и это доставило ему тоже большое удовольствие. Ко всему этому – издалека, почти незаметно – прибавилась, однако, какая-то опасная зыбкость; тот тленный мир, о суетности которого он писал всю жизнь, начал медленно исчезать, потерял прежнюю убедительность, и на его месте образовалась зияющая пустота, только очень постепенно заменявшаяся какими-то новыми вещами, которым в прежнем существовании Аркадия Александровича не нашлось бы применения. Но эта тревога была почти отвлеченной и, конечно, не могла помешать общей симфонии.

Ольга Александровна, по обыкновению, не задумывалась ни над чем – она, казалось, забыла обо всем, что предшествовало ее встрече с Аркадием Александровичем. Вдвоем они вспоминали свое короткое совместное прошлое: встречу на вечере поэта, потом свидание в кафе, где они не могли наговориться, потом невозможность, чтобы это так продолжалось; затем однажды, как в полусне, они дошли до небольшой гостиницы, почему-то возле плас де ла Репюблик, были встречены любезным гарсоном, лица которого они даже не заметили, хотя, в сущности, как сказал Аркадий Александрович, этот человек был привратником теплого рая, – и наконец, они вдвоем, в этой комнате с задернутыми шторами и тусклым зеркалом в полутьме; и, расставшись после этого с Ольгой Александровной, Аркадий Александрович подумал без всякого огорчения, что от денег, на которые он собирался заказывать костюм еще месяц тому назад, осталось каких-нибудь девяносто франков – все остальное ушло на кафе. Вспоминалось дальше, как Аркадий Александрович простудился, ожидая

Ольгу Александровну на площади Сен-Сюльпис, – она задержалась, потому что ее такси столкнулось с автобусом; как в другой раз у него был припадок печени, и он все же, с нечеловеческими страданиями, пришел на свидание; и вообще все это и в изложении Аркадия Александровича, и в изложении Ольги Александровны приобретало неизменно героический и торжественный характер. Затем Аркадий Александрович начинал свои цитаты из разных книг, которые читал, – память у него была довольно хорошая, – и восторг Ольги Александровны перед его умом и образованностью, чудесно сочетавшимися с непобедимым личным очарованием и кристально-чистой, почти детской душой, все рос и увеличивался так, что однажды она сказала ему, объясняя это:

– Знаешь, Аркаша, это так неудержимо, ну, вот, прямо не могу найти сравнения... Я счастлива, я довольна всем. Надо только написать, узнать, как живет, что делает мой мальчик, мой Сережа.

И тогда в ее глазах, на одну долю секунды, промелькнуло нечто вроде беглого сожаления, которого не заметил Аркадий Александрович и которого не заметила она сама.

* * *

Сережа почти не расставался с Лизой в то знойное лето; он засыпал и просыпался рядом с ней, они вместе купались, вместе гуляли и жили вдвоем, почти не замечая ничего окружающего. Но однажды, когда они вернулись к обеду, они застали в столовой Егоркина, который пришел, не думая, что может оказаться некстати, и простодушно объяснил, что ему иногда становится невмоготу, как он сказал, от постоянного и безвыходного одиночества. Сережа смотрел на его жилистую, худую шею с выдающимся кадыком, на узловатые его руки, на штаны, которые сидели на нем мешком, и, несмотря на то, что обычно ему было жаль этого человека, в тот вечер испытывал к нему почти что ненависть. Лиза за столом все время молчала; два или три раза обращалась к Сереже по-английски и тотчас небрежно извинялась перед Егоркиным, ссыла-

ясь на невольную привычку; и как ни был наивен и простодушен Егоркин, даже он, никогда не предполагавший, что его присутствие может кого-нибудь стеснить – так же, как его не могло стеснить ничье присутствие, – даже он заметил, наконец, что всем тягостно и неловко. Он поднялся и, желая как-нибудь сгладить неприятное впечатление, сказал, что пришел, собственно, узнать, не приезжает ли вскорости Сергей Сергеевич. Лицо Лизы стало точно каменным. Сережа ответил, что ничего не знает по этому поводу.

– А то вам без него, я думаю, скучновато иногда, – сказал Егоркин со своей широкой и простодушной, как всегда, улыбкой. – Ну, будьте здоровы.

Лиза кивнула головой. Сережа вышел проводить Егоркина до ворот, избегая смотреть на Лизу.

– Ты понимаешь, Сережа, – сказал Егоркин, – я почему Сергея Сергеевича жду, у меня кое-какие этюды есть, так вот, я хотел ему предложить.

Сережа вдруг подумал, что Егоркину, наверное, приходилось плохо. Он вспомнил, как художник за ужином ел – с нарочитой медленностью, но съедал все до последнего куска хлеба, которым он проводил по тарелке, – и Лиза смотрела в сторону, а Сереже очень хотелось сказать, что так не нужно делать. Он подумал, что Егоркин обедал сегодня по-настоящему, может быть, впервые за долгое время, и ему вдруг, чуть не до слез, стало жаль этого человека.

– Вам, Леонид Семенович, наверное, деньги нужны? – сказал он, преодолев стеснение.

Егоркин улыбнулся.

– Деньги мне, Сережа, всегда нужны. Только ты мне ничего не должен.

– Нет, нет, – быстро сказал Сережа, – вы меня не поняли, Леонид Семенович. Понимаете, папа у вас наверное купит картины, так не все ли равно, кто заплатит?

– Это верно, конечно.

– Подождите меня минутку, – сказал Сережа, – я сейчас приду.

– Постой, ты куда?

Но Сережи уже не было. Он прибежал наверх, в свою комнату, и открыл ящик письменного стола. От тысячи франков, которую он разменял неделю назад, оставалось две бумажки, одна в пятьсот, другая в сто. Он взял пятьсот франков, но, подойдя к дверям, остановился, вернулся, захватил еще оставшиеся сто и по бежал вниз. В свете яркой луны он увидел художника, который сидел на придорожной тумбе и смотрел на море. Услышав бегущие шаги Сережи, он поднял голову.

– Красота какая, – сказал он очень громко, – сколько лет живу – не могу налюбоваться.

– Вот, Леонид Семенович, – пробормотал Сережа, протягивая ему деньги, – вот пока что... Если вам будет еще нужно, вы мне дайте знать.

Егоркин неторопливо развернул деньги, потом крепко пожал Сережину руку.

– Ну, спасибо, – сказал он точно в раздумье.

– Я уверен, что папа у вас купит ваши этюды.

– Конечно, купит, – сказал Егоркин. – А если бы я кусок дерева ему принес, так он бы и дерево купил, разве я не понимаю? И Сергей Сергеевич знает, что понимаю. Одним много дается, другим мало. Ну, спокойной ночи, Сережа.

И он ушел быстрой походкой. Сережа пошел домой. Песок хрустел под его медленными шагами. Он остановился на секунду и вспомнил звук своих шагов по этому же песку – в тот первый вечер, когда они шли с Лизой вдвоем и когда он потерял сознание от ее поцелуя. С того времени, казалось, прошла целая жизнь. Для того чтобы понять огромное, несравненное, как думал Сережа, счастье, он напряженно искал объяснения тому, как все это могло произойти и каким образом получилось, что все, бывшее до сих пор, оказалось как бы подготовкой к теперешнему его существованию. Все, что Сережа знал и любил до сих пор, все казалось заслоненным узкой тенью Лизы – как в тот раз, когда как-то ночью она поднялась с кровати и подошла к открытому окну и Сережа смутно, сквозь начинавшийся сон, видел ее голое тело в темном воздушном пролете окна; и когда он встал и подошел

к ней вплотную, из-за ее плеч и спины, на которые спускались ее черные волосы, вдруг медленно и неожиданно появилось море, берег с деревьями, ночная неподвижная листва, низкая звезда на далеком небе и вздрагивающая полоса лунного света на воде. Так и теперь из-за Лизы было видно то, что до сих пор отделяло его от нее, – мама, отец, ощущение теплой воды в ванне, – давно, когда он был маленьким и когда смуглые руки Лизы вынимали его оттуда и особенный ее голос говорил: – А теперь, Сереженька, спа-а-ать. – Что было еще? Были смешные детские вещи, касторка, соль, которую ему запрещали есть и которая была такой замечательно вкусной, потом воображаемые путешествия по книгам, по географическим атласам: Огненная Земля, Гвиана, Таити, берега Миссури, Аляска, Австралия, Мадагаскар, Сибирь и север России. Потом книги, множество разных книг, потом лицей, футбол, бег, плавание, потом прогулки по Парижу с товарищами, кинематограф, экранная красавица с глазами в пол-аршина диаметром и глицериновыми слезами, потом посетители отца, среди которых были знаменитые и почтенные люди, потом музыка и гулкий воздух концертного зала и, за всем этим, всегда – мать, отец, Лиза. Отца Сережа не понимал до конца; ему казалось странным, как можно было жить вот таким образом – всегда шутя, посмеиваясь над всем решительно, не волнуясь, не переживая. Был период времени, когда Сережа считал, что Сергей Сергеевич, – это была неприятная мысль, потому что он все же очень любил его, – просто никогда не задумывался ни над чем; все, чем другие люди мучаются, от чего они болеют, старятся и умирают, все это прошло мимо него; и не зная никогда ни нужды, ни каких бы то ни было лишений, он просто с удовольствием жил и не использовал своих досугов хотя бы для чтения. Сережа был огорчен этим, ему хотелось, чтобы его отец во всех вопросах оказался на высоте положения, а до сих пор он обнаруживал несомненную компетенцию только в коммерческих делах и биржевых курсах, в которых Сережа ничего не понимал, да еще в спорте – Сергей Сергеевич помнил, в частности, все рекорды. Но однажды Сережа услышал разговор отца

с каким-то знаменитым и совершенно высохшим старичком о развитии религиозной философии, и было очевидно, что в этой области Сергей Сергеевич чувствовал себя так же свободно, как в спорте. Тогда Сережа вообще перестал понимать, что же, в конце концов, представлял из себя его отец. Он знал, что мать называла его машиной, что, когда Лиза говорила о нем, у нее, сквозь всегдашнее ее спокойствие, чуть-чуть сквозила либо насмешка, либо раздражение. Что они могли иметь против этого очаровательного человека, с которым никогда не было скучно и который всегда на все соглашался? Получалась парадоксальная вещь: любили отца люди, в сущности, почти не знавшие его – прислуга, Нил, который очень ценил Сергея Сергеевича, Егоркин, – а мать и Лиза относились к нему с холодком, который, вообще говоря, был для них нехарактерен. И почему мать всегда оставалась ему чужой – и когда она говорила: надо сказать Сергею Сергеевичу, надо спросить Сергея Сергеевича, – всегда казалось, что речь идет о каком-то хорошем знакомом? И почему выходило так, что Сергей Сергеевич, хозяин своего дома и владелец своего состояния, рассматривался ближними не как активный участник их жизни, а как довольно ценный, правда, и довольно приятный, советник по разным делам, но без которого, в сущности, можно было бы обойтись? Сереже очень хотелось поговорить об отце с Лизой, но в данный момент это было невозможно, так как речь непременно коснулась бы того, что сейчас происходило, и Сережа боялся этого, тем более, что и Лиза до сих пор ни словом не обмолвилась об этой самой трагической, в конце концов, проблеме, перед которой они оба очутились. Мысль, что Лиза – сестра его матери, все не могла дойти как следует до сознания Сережи, вернее, она была только на поверхности и затем где-то глубоко-глубоко внизу, где Сережа ощущал ее тревожное присутствие; и он инстинктивно избегал думать об этом. Рано или поздно, этот вопрос должен был, конечно, быть разрешен, но до этого еще было, быть может, далеко.

И опять-таки, впервые за всю жизнь, Сережа оказался перед вопросом о своей собственной судьбе, о своей

роли в событиях. До сих пор он почти не существовал в доме Сергея Сергеевича как самостоятельная величина, – в том смысле, что его жизнь и его присутствие не могли никаким образом влиять на общий ход событий и на отношения между членами этой семьи. Сергей Сергеевич мог быть недоволен – в принципе, так как на самом деле свое недовольство он никогда не обнаруживал, – Ольга Александровна в свою очередь могла поссориться с Лизой, Лиза могла рассердиться на Сергея Сергеевича, но во всех этих случаях интересы Сережи совершенно не затрагивались; и независимо от того, что происходило, все трое относились к Сереже с той неизменной ласковостью, к которой он привык с детства, и лишь Сергей Сергеевич изредка посмеивался над ним, но тоже только в тех случаях, когда знал, что это его не обидит. Но тот же Сергей Сергеевич однажды сочувственно выслушал сорокаминутную речь Сережи о международном положении. Случилось это так: Сергей Сергеевич проходил мимо комнаты Сережи; из-за неплотно закрытой двери доносился громкий голос его сына:

– Donc, je crois, messieurs, que nous sommes tous d'accord en ce qui concerne ce côté du problème. Mais pour être efficaces les mesures que nous envisageons...[1]

Сергей Сергеевич постучал в дверь; наступило молчание, и потом совсем другой, почти детский голос сказал:

– Entrez...[2] Пожалуйста.

– Ты с кем это говоришь, Сережа? – спросил Сергей Сергеевич, садясь на диван.

– Да так, глупости.

– Нет, а все-таки?

– Видишь ли, – доверчиво сказал Сережа, – представь себе, что я подумал, как бы я, если бы я был министром иностранных дел, понимаешь, произносил бы речь на очередной сессии Лиги Наций.

– Ага. По какому поводу, собственно?

---

[1] – Итак, я полагаю, господа, что мы все согласны в том, что касается этой стороны проблемы. Чтобы сделать эффективными те меры, которые мы предлагаем... (*фр.*)

[2] – Войдите... (*фр.*)

– Вообще, о международном положении.

– Хорошо, – сказал Сергей Сергеевич. – Если ты можешь себе представить, что ты министр иностранных дел, то меня рассматривай как благородное собрание, что не более неправдоподобно. Произноси речь, а я буду оппонировать.

– Ты не шутишь?

– Нет, нет, серьезно.

– Ну, хорошо. Я продолжаю. На каком языке?

– А ты министр какого государства, собственно?

– Об этом я как-то не думал, – откровенно сказал Сережа.

– Ну, хорошо, это не важно. Говори, скажем, по-французски, а я тебе буду отвечать, как представитель форен-офиса, то есть тоже по-французски, но ты должен будешь извинить акцент. Ну, поехали.

– Tant que l'Allemagne, – продолжал Сережа, – restera meurtrie, que les puissances européennes se désintéresseront complètement ou presque complètement de sa situation intérieure, nous ne pourrons aucunement compter sur elle comme sur un facteur de l'équilibre européen, ce même équilibre au rétablissement duquel nous avons sacrifié des millions de vies humaines et au nom duquel la plus atroce des guerres s'était déclenchée...[1]

– Je me permets de rappeler à Monsieur le Président, – сказал Сергей Сергеевич с честным английским акцентом, – que c'est bien l'aveugle et criminelle politique de l'Allemagne qui a provoqué la guerre[2].

– Messieurs, – громко сказал Сережа, – nous ne sommes pas ici pour analyser les causes de la guerre ni pour chercher le coupable. La vengeance de l'histoire, d'ailleurs, a été impitoyable. Mais je tiens à vous rappeler que nos efforts

[1] – Пока Германия... останется истерзанной, пока великие европейские державы будут совершенно или почти совершенно безразличны к ее внутреннему положению, мы абсолютно не сможем рассчитывать на нее как на фактор европейского равновесия, того равновесия, ради достижения которого мы пожертвовали миллионами человеческих жизней и во имя которого началась самая жестокая из войн... (*фр.*)

[2] – Я позволю себе напомнить господину президенту... что именно слепая и преступная политика Германии и спровоцировала войну (*фр.*).

ne doivent pas être ménagés pour la construction de l'Europe nouvele qui – je suis le premier à l'espérer – ne ressemblera nullement à celle qui s'est ensevelie sous les ruines fumantes, dans le sang et la souffrance[1].

И после того, как Сергей Сергеевич, всесторонне обсудив международное положение, ушел, Сережа улыбнулся ему вслед и был очень рад, что нашел достойного собеседника.

Все это было так давно! Все теперь изменилось – и вместо исторических и философских проблем, вместо Сергея Сергеевича, Ольги Александровны и той, прежней, Лизы возникло нечто новое, бесконечно более важное и ответственное и чье существование невольно и непоправимо заслонило весь этот дорогой и далекий теперь мир. Сережа видел то мгновенное удаление; казалось, что все это осталось на своих местах, люди были те же, и то же пятно на полу его комнаты, образовавшееся оттого, что тогдашняя нянька, вышедшая на минуту, оставила на этом месте электрический утюг – и вернулась через полчаса, – тот же ровный, темный блеск перил его лестницы, тот же Нил, та же итальянка; но Сережа, тем не менее, вопреки очевидности, ощущал это так, точно эти люди и вещи, окружавшие его теперь, принадлежали далекому прошлому, о котором он не мог не жалеть, – и это сожаление было одним из элементов его счастья, этого полета в неизвестные края, где Бог весть что ожидает его. Но для того, чтобы понять это счастье, он должен был сопоставить его с тем, что было раньше, и только тогда, только так увидеть его необыкновенность. Тень Лизы не оставляла его; даже когда ее не было, все было полно ее присутствием и ожиданием ее возвращения, как воздух был полон отзвуками ее голоса, как музыка была полна ее интонациями, как вода была полна ее дрожащим отражением, как в прикоснове-

---

[1] – Господа... мы здесь не для того, чтобы анализировать причины войны, и не для того, чтобы искать виновного. Впрочем, месть истории была безжалостной. Но я хочу все-таки вам напомнить, что мы не должны жалеть наших усилий для строительства новой Европы, которая – я первый на это надеюсь – совершенно будет не похожа на ту Европу, что погребена под дымящимися руинами, в крови и страданиях (*фр.*).

нии морского ветра Сережа явственно ощущал приближение к своему лицу ее теперь всегда полуоткрытых губ. Это беспрестанное и напряженное ее присутствие во всем – от бессознательной усталости, после которой Сережа засыпал крепчайшим сном каждую ночь, – стоило того, чтобы ради него пожертвовать всем, чем угодно. Это жадное счастье заключало в себе необходимость какой-то непременной жертвы, нужно было поступиться чем-то очень важным и дорогим, чтобы заслужить его. И так как никаких изменений в жизни Сережи пока не происходило, то вместо них возникло чувство потери того мира, в котором он жил до сих пор.

Но у Сережи было мало времени, чтобы думать обо всем этом; вернее всего, эти мысли не успевали дойти до его сознания точно так же, как вопрос о том, что все это должно кончиться каким-то самым важным, быть может, в жизни Сережи решением. Он этого не мог не знать; но он не думал об этом. Он вспоминал о прошлом и чувствовал настоящее; что будет потом, этого нельзя было предвидеть, хотя бы потому, что до сих пор ничего похожего на свое теперешнее состояние он не знал; и жизнь, которой он теперь жил, была ему совершенно внове.

И единственным и неизменно сильным напоминанием о том, что предшествовало теперешнему периоду его жизни, было воспоминание о его матери, которое не могла заслонить даже вездесущая тень Лизы. Сережа очень любил Ольгу Александровну; и хотя он знал уже, что ее личная жизнь далеко не была безупречной, это знание оставалось само собой и никак не затрагивало его матери. Это была все та же вкусная и мягкая мама, со своей ласковой скороговоркой, со своими нежными руками, и та женщина, которой она была для других, чужих людей, нередко покидавшая свой дом, мужа и сына, – эта женщина не имела никакого отношения к маме, хотя теоретически мама и она были одно и то же лицо. Он вспоминал ее трогательное похищение его из отцовского дома в Лондоне: – Сережа мой миленький, Сережа мой маленький, Сережа мой беленький, – вспомнилось вдруг ему. И когда он подумал после этого, что Лиза – сестра его матери, им

на секунду овладело отчаяние – тревожный и далекий холодок внутри; что она скажет, когда узнает об этом?

* * *

Они лежали вдвоем на берегу небольшой песчаной заводи. Высоко над ней шла аллея, проходящая мимо их дома, справа был ровный, почти вертикальный обрыв берега, слева – их маленькая бухта. Был двенадцатый час дня, солнце стояло высоко. Сережа перекатился несколько раз и, когда оказался рядом с Лизой, сказал:

– Вот, Лиза, мы теперь вдвоем с тобой, нас никто не слышит, и я еще раз хочу тебе сказать: самая лучшая, самая замечательная.

– Самый глупый, самый сумасшедший, – в тон ему ответила Лиза.

– Смотри, Лиза, как поразительно, – сказал он. – Самое главное, это ведь не слепое счастье. Смотри, вот там, в Париже, например, десятки тысяч людей задыхаются, ненавидят, умирают; другие тысячи лежат на больничных койках, еще другие – старики, еще другие за всю жизнь ни разу не знали, что такое любовь. И есть люди, которые никогда не видели моря. И есть вообще мир, который населен другими. И вот наряду с этим, но вне этого, в таком бесконечном и незаслуженном счастье, я лежу здесь рядом с тобой, разве это не чудо?

Лиза погладила мокрые волосы Сережи.

– Ты часто молчишь, Лиза, почему?

– Это хорошее молчание, Сережа, не огорчайся.

– Я не огорчаюсь. Но ты знаешь настолько больше меня, ты настолько умнее...

– Нет, Сереженька. Ведь мы знаем, что было. То, что было, никогда не повторяется. А когда наступает новое, то ты и я одинаково беззащитны. Потом мы будем знать, как это было, и будем радоваться или жалеть. Теперь мы ничего не знаем, Сереженька; мы чувствуем – это разные вещи.

– Нет, ведь я говорю объективно, Лиза, не потому, что я тебя люблю. Ты всегда, всю жизнь была одинаковой – такая же чистая, такая же безупречная и такая замеча-

тельная! Только ты, и ничего вне тебя, – понимаешь? Вся жизнь, все мысли, все, Лиза, все.

– Мой милый мальчик.

– Я всегда был эгоистом, Лиза, ты знаешь, но вот для тебя, мне кажется, – нет ничего, чего бы я не сделал. Ну вот, если бы мы остались вдвоем, одни, без денег, я бы работал для нас двоих, все, что угодно, хоть в шахтах, – и был бы по-прежнему счастлив. Вообще все. Я никогда не знал, что могут быть такие вещи. Знаешь, я теперь понимаю: рождению мира предшествует любовь, и я понимаю, почему это так.

Он улыбнулся и покачал головой.

– Я только одного не понимаю: вот разные люди там любят друг друга, женятся, страдают и так далее. Это мне кажется нелепым: как можно любить кого-нибудь, кроме тебя, какую-нибудь другую женщину? Ведь ни одна из них ничего общего с тобой не имеет, и это опять-таки не мое личное мнение, а просто реальность, которую я констатирую.

– Для тебя, Сереженька, для тебя.

– Хорошо, для меня. Но я же нормальный мужчина, как другие.

Теперь улыбнулась Лиза.

– Ты не мужчина, Сереженька, ты мальчик еще.

– Я им был недавно, – сказал Сережа, покраснев, – но теперь я не мальчик, ты это отлично знаешь и видишь. Лиза, подожди, куда же ты?

Но Лиза уже встала и вошла в воду; потом она упала на спину и поплыла, сделав Сереже прощальный жест рукой; Сережа бросился за ней, нырнул и вдруг его голова показалась из воды на уровне ее плеч. Тогда она повернулась на грудь и стала уплывать, он плыл рядом с ней, на секунду останавливался, кричал своим звонким голосом: – Не уйдешь, Лиза, никогда не удастся, никогда! – и в то время, как кричал, отставал на два метра, а потом снова догонял ее, прыгая в воде и кувыркаясь, как дельфин.

Подплывая к берегу, они увидели Егоркина, который, в вылинявшем купальном костюме, стоял по колени в море и брызгал на себя водой: Сережа издали видел

его худое тело с резко выступающими ребрами и пучком серых волос на груди, выбивавшихся из-под трико.

– Здравствуйте, Леонид Семенович, как живете? Купаться пришли? – кричал Сережа.

– Здравствуйте, Елизавета Александровна. Здравствуй, Сережа, – сказал Егоркин, выпрямившись и поклонившись. – Хорошо купались?

– Спасибо, Леонид Семенович, – сказала Лиза более приветливым голосом, чем обычно. – Развлеклись немного.

– А вот я никак не могу научиться, – сказал Егоркин, – боюсь воды все. Как подумаю, что под ногами дна нет, страх берет.

– Я вас научу, – сказал Сережа. – Прежде всего научитесь голову под водой держать.

– Господь с тобой, Сережа, как же я дышать буду?

– А вот смотрите. Вы набираете воздух, потом погружаете голову в воду и выпускаете воздух ноздрями в воде. Вот так.

Сережа погрузил голову в воду, стоя на коленях, и пузырьки воздуха с бульканием поднимались на поверхность. Егоркин, наклонившись, внимательно смотрел.

– Нет, уж если я так окунусь, меня потом откачивать будут, – сказал он.

– Да это же просто.

– Я не говорю, Сережа, что не просто. Умереть-то ведь тоже несложно.

– Ну, хорошо, собирайтесь, Леонид Семенович, – сказал Сережа; Лиза уже сделала несколько шагов по направлению к дому. – Идемте к нам завтракать.

Сережа подождал, пока Егоркин оделся, и вдвоем они вошли на террасу. По дороге, встретив шефа, Сережа попросил его сказать матери, что будет завтракать еще один человек. Егоркин остался один на террасе, Сережа ушел к себе одеваться. Через десять минут они втроем сели за стол.

– Вот, странно все выходит, – сказал Егоркин. – Рос я почти что на Волге, у меня в Саратове тетка замужем за ветеринаром была. И вот, ходил я с ребятами на реку, все плавали, а я так и не научился. И здесь живу столько лет и тоже никак. Не пловец я, ничего не поделаешь.

Заказ 3235

Лиза молчала. Сережа сказал:

– Так вы, значит, в Саратове были? Вот я, Леонид Семенович, русский, а России не видал почти что. Так, как сквозь сон, Крым помню немного.

– Нет, я Волгу хорошо знаю, – сказал Егоркин. – Тетка у меня была милая женщина, только на руку чуть-чуть тяжела.

– В каком смысле?

– Да смысл-то ясный, – сказал Егоркин, улыбаясь своей откровенной и простодушной улыбкой. – Нас, детей, она никогда не трогала, а мужу вот попадало.

– За что?

– Да он, как это сказать, пил немного. Ну, она женщина все-таки нервная была, и вот, бывало, и стукнет его несколько раз. Она его все попрекала: тоже, говорит, ветеринар, ты, говорит, до того допиваешься, что лошадь от коровы, говорит, не отличаешь во хмелю.

– А он часто пил?

– Нет, раз в месяц на два дня запивал, – сказал Егоркин. – Тихий был человек, рыболов, все рыбу ловил. А рыбы в Волге сколько угодно. Уж я на что не специалист и то однажды щуку в пятнадцать фунтов поймал.

Сережа засмеялся. – Чему ты? – спросил Егоркин. – Вы не обижайтесь, – ответил Сережа, продолжая смеяться, – я просто сегодня в очень хорошем настроении. Вы сказали «щука», так я вспомнил охотничьи и рыболовные истории.

– Ничего не история, – сказал Егоркин, – хорошее дело, история. Я едва жив из-за нее остался.

– Из-за щуки?

– Из-за щуки, конечно. Она, проклятая, так дергала, что я в воду упал, как был, одетый.

– Ну, и что ж?

– Ну, а удочку не выпустил и схватился за дерево, над водой росло. Потом ребята пришли, помогли вылезть, и тут-то я ее вытянул.

– Пятнадцать фунтов – сколько это на кило?

– Почти что восемь кило выходит.

– А каких вы еще рыб ловили, Леонид Семенович?

– Разных, Сережа, только я мало ловил. Дядюшка мой – тот всю жизнь на этом провел, знал всякую рыбу, и ее привычки, и места где она водится, и как лучше всего ее брать. Он действительно был специалист.

– Терпение адское нужно, я думаю, – сказал Сережа.

– Не терпение, а характер. У нас считают, что рыболов – он как бы поврежденный немного человек. Он неопасный, конечно, немного поврежденный. Да, по-моему, лучше уж рыбу ловить, чем в кабаке сидеть.

– Это несомненно, Леонид Семенович, – сказала молчавшая до сих пор Лиза.

Егоркин смутился, как смущался почти всегда, когда Лиза вступала в разговор. Лиза была единственным человеком из всех, кого он знал, чье присутствие ему было почти тягостно, он всякий раз как-то терялся и начинал чувствовать себя неуютно, хотя со стороны он очень ценил ее ум и красоту, как он говорил. Она явно принадлежала к другому миру, в который ему не было доступа; и в той степени, в какой это различие ему казалось незначительным и неважным, когда дело касалось Сергея Сергеевича, или Ольги Александровны, или Сережи, в такой же степени это становилось ясно по отношению к Лизе. Он не понимал, чем это объяснялось, но это чувство его было неизменно вот уже много лет. В ее присутствии он вдруг вспоминал, что не так, может быть, одет, как следует; не то говорит, что нужно; не так сидит за столом и вообще не тот, каким он должен был бы быть, чтобы не чувствовать этого стеснения. С Сережей, напротив, он чувствовал себя легко и свободно. Чтобы переменить разговор, он стал вспоминать, как продал свои первые картины Сергею Сергеевичу.

– Вы помните, Елизавета Александровна, – сказал он, – это в тот год было, когда вы вдвоем с Сергеем Сергеевичем приезжали к нам в первый раз сюда на лето. Тебе, Сережа, наверное, лет семь было, не больше, я тебя только на следующий год увидел. А Сергей Сергеевич и Елизавета Александровна тогда вдвоем здесь полтора месяца прожили.

Глаза Лизы расширились, она, по-видимому, хотела что-то сказать, но промолчала.

– Я тогда еще думал, – продолжал Егоркин, – когда вас вдвоем увидел, – неужели русские? Потом шел сзади, когда вы гуляли, слышу, говорят не по-русски и не по-французски; думаю, значит, ошибся. А потом Сергей Сереевич вдруг сказал: «Все это невежественные выдумки», – по-русски. Я тогда обрадовался.

И Егоркин рассказал, как он впервые разговаривал с Сергеем Сергеевичем. Был пасмурный день, редкий для этого времени года: Егоркин сидел на пустынной тропинке, разложив ящик с красками, и рисовал. Шаги, которые он слышал уже несколько секунд, остановились за его спиной. Он обернулся и увидел того человека в белом костюме, который приехал сюда несколько дней тому назад с молодой женщиной в блестящем новом автомобиле и который говорил о невежественных выдумках.

– Море рисуете? – спросил по-русски Сергей Сергеевич.

– Как видите, – сказал Егоркин, размашисто повернувшись на самодельном табурете, у которого одна ножка была значительно короче других, отчего он был чрезвычайно неустойчив; и от резкого движения Егоркин упал на землю вместе с табуретом. Сергей Сергеевич, не удерживая смеха, помог ему встать.

– Табуретку где заказывали? – сказал он, улыбаясь. – С центром тяжести она не в ладах.

– Сам делал, вот в чем секрет, – ответил Егоркин.

– Вы из каких мест? – спросил без перехода Сергей Сергеевич.

– Тамбовской губернии, – ответил Егоркин.

– Далеко заехали, – сказал Сергей Сергеевич. – Вы вообще, художник или так, любитель?

Егоркин объяснил, что он художник, что здесь он одно время специализировался на иконах, на которые у русских большой спрос, преимущественно на самого национального святого – Николая Чудотворца. Сергей Сергеевич засмеялся.

– Чему вы?

– Николай-то грек был, – сказал Сергей Сергеевич. – Ну, ничего, продолжайте. Так, говорите, на божественные сюжеты спрос?

Егоркин рассказал, что иконы он рисовал по памяти, какими их в русских церквах видел. Затем он перешел на портретную живопись, которая, однако, не удовлетворяла ни его, ни заказчиков. Его – потому что ему не удавалось достичь нужного сходства, а заказчиков и, главное, заказчиц – потому что они неизменно хотели быть гораздо красивее на портрете, чем в действительности. Особенное огорчение Егоркину доставила одна бывшая знаменитая писательница. – Как фамилия? – спросил Сергей Сергеевич. Егоркин ответил. – Помню, – сказал Сергей Сергеевич, – писала порнографическую дребедень, дальше? – которая сказала Егоркину, что она лично знала Репина и Врубеля, что Егоркин с ними сравниться не может и что портрет ужасный и она ему ничего не заплатит, потому что он не так нарисовал. И показала ему фотографию, снятую двадцать лет тому назад, где она была довольно привлекательной сорокалетней дамой с веером в правой, сильно изогнутой руке, и сказала, что вот ее точный портрет, и просила убедиться Егоркина, что его произведение не имеет ничего общего с этой фотографией, что, действительно, было очевидно. И когда Егоркин сказал, что фотография была Бог весть когда снята, она накричала на него и не заплатила денег; но портрет все же остался у нее. Егоркин не получил ни копейки, хотя затратил на работу много времени и усилий. Из его рассказов становилось ясно, что дела его вообще были катастрофически плохи, хотя Егоркину и в голову не приходило жаловаться на это, – это было его естественное состояние. Сергей Сергеевич в конце разговора сказал Егоркину, что сам он любитель оригинальной живописи и что с удовольствием приобрел бы несколько картин, если есть продажные. – Помилуйте, – вне себя от радости сказал Егоркин, – да все, что хотите! – На следующий день он принес Сергею Сергеевичу пять картин, которые тот тотчас приобрел за очень незначительную сумму. Но потом, понизив голос, он сказал художнику, что надо просить всегда дороже, что люди, обычно покупающие картины, чаще всего ничего не понимают, а судят по цене: если дорого, стало быть, хорошо. Впоследствии, однако, этот принцип Егоркин применял

с успехом только по отношению к Сергею Сергеевичу, на остальных цены производили устрашающее действие; да еще однажды молодой студент одного из калифорнийских университетов, выигравший крупную сумму в Монте-Карло и почти не протрезвлявшийся трое суток, на второй день этого беспримерного пьянства купил у Егоркина, не торгуясь, почти все его картины, после чего Егоркин съездил в Париж и остановился в гостинице, где его обокрали; он все же успел повидать Лувр и только не знал, как ему возвращаться на юг, но потом сообразил – разыскал Сергея Сергеевича, и тот снабдил его деньгами на путешествие. Вторая половина состояния хранилась у Егоркина на юге, и, приехав туда, он прожил ее за два года: он был скромным и нетребовательным человеком, которого никак нельзя было назвать расточительным, но, подобно многим бескорыстным людям, обращаться с деньгами не умел.

Завтрак давно кончился, а Егоркин все рассказывал. Сережа слушал его с интересом, Лиза скоро ушла и через полчаса явилась, переодевшись в городской костюм. Сережа с удивлением на нее посмотрел.

– Ты забыл, что нам нужно в Ниццу, – сказала она.

– Как, ты собираешься в Ниццу? Мне казалось, что мы никуда не едем.

– Это доказывает, что у тебя плохая память. Иди одеваться, Леонид Семенович нас извинит, я надеюсь.

– Помилуйте, Елизавета Александровна, помилуйте... Всего хорошего, я и так засиделся.

Когда Сережа спускался вниз, шеф отозвал его в сторону и попросил разрешения поехать с ним до Ниццы.

– Конечно, – сказал Сережа. – У тебя дела в Ницце?

– У меня свидание, – сказал шеф, – ты меня должен хорошо понимать.

– Почему именно я? – спросил Сережа, покраснев.

– Потому что если ты считаешь меня слепым, то ты ошибаешься, – сказал шеф.

– Хорошо, ты едешь с нами, – крикнул Сережа, направляясь к гаражу.

Они довезли шефа до Ниццы, где он слез; они поехали дальше. Когда Сережа спросил Лизу, зачем она

хотела ехать в Ниццу, Лиза ответила, что в Ниццу она действительно не собиралась, что придумала это путешествие, чтобы избавиться от бесконечного Егоркина.

– Почему ты его не любишь? Он хороший человек, очень простой.

– Да, уж простоты хоть отбавляй, конечно. Но он меня раздражает.

– Он такой смешной, такой простодушный и очень добрый, – сказал Сережа. – Я помню, как он приходил со мной играть, приносил мне конфеты, а ведь денег у него никогда не было. Он, может быть, не обедал, чтобы купить мне что-нибудь, это очень для него характерно.

– Я этого не отрицаю. Я только не нахожу его общество интересным. Все эти глупейшие рассказы о Волге, о щуке, о тетке, которая была замужем за ветеринаром, от всего этого челюсти сводит.

– Лиза, мне надо с тобой поговорить, – сказал Сережа. Губы Лизы дрогнули, но Сережа не заметил этого.

– Я слушаю.

– Лиза, у меня есть основание думать, ты знаешь... Как это тебе сказать?

– Nous y voilá, je crois[1]. Говори, мой мальчик.

– Понимаешь, я думаю, что наши отношения...

– Вот чего я больше всего боялась, – сказала она со вздохом. Лицо ее сделалось бледным, она с трудом дышала. Невольная ее тревога передалась Сереже.

– Лиза, как все это будет?

– Не знаю, Сереженька. Знаю только, и не хочу от тебя скрывать, что самое страшное впереди. Черт возьми! – вдруг сказала она, поднимая голову. – Я тоже имею право на мою собственную жизнь и не хочу об этом думать. Не будем говорить, Сережа, об этом. Поцелуй меня.

Сережа прижал ее голову к плечу и поцеловал ее.

– Будем осторожнее немного, вот и все. А когда придет время за все ответить, я отвечу за все. Не думай об этом.

– Хорошо, Лиза.

---

[1] – Ну вот, началось (*фр.*).

Но поздно ночью, когда Сережа заснул, Лиза не могла спать и, не переставая, думала обо всем том, о чем условилась не думать, о чем запретила думать Сереже. Собственно, начало этих размышлений было вызвано, как в прошлый раз, неловким поведением Егоркина, который поминутно упоминал Сергея Сергеевича в своем разговоре, не подозревая, в какой степени это мучительно для Лизы. Лиза отдавала себе отчет в том, что она действительно и сильно любит Сережу. Ей казалось даже, что это ее чувство не похоже на другие, предшествовавшие ему. Она не могла не быть увлечена такой полной любовью Сережи, для которого все существовало только через нее и, действительно, ничего не было вне ее. Вместе с тем, она спрашивала себя, способна ли она на такое полное перерождение, такой полный отказ от прошлого? В данный момент в этом не возникало сомнений, но что будет через пять лет, через десять лет?

Она до сих пор не знала такой всеобъемлющей, такой счастливой любви, – все всегда было временно, случайно, ненадолго, все, за исключением ее долголетней связи с Сергеем Сергеевичем, который, в конце концов, был, действительно, не человеком, а именно машиной; и она подчас начинала его ненавидеть за то, что в нем идеально отсутствовала непосредственность, все было обдуманно, не было ничего неожиданного, – все эти фразы, насмешливые ответы, насмешливые размышления. – Машина, машина, – говорила она. Даже физически – каждый мускул делал именно то, что полагалось, с точным и как будто рассчитанным напряжением. Он ни разу за все время не сделал ей больно, ни разу не сказал того, что могло бы ее по-настоящему обидеть, хотя, несомненно, при желании нашел бы нужные для этого слова; и вот это джентльменство без усилий всегда раздражало. – Il n'a pas de mérite, – говорила она себе. – Il n'a rien à vaincre[1]. – Как громадное большинство женщин, Лиза мечтала всю жизнь об исключительной любви, это было почти бессознательное желание: испытать чувство, в котором можно раствориться, почти что исчезнуть, почти что

[1] – Нет у него никаких заслуг... И никаких побед (*фр.*).

умереть и забыть себя; но для этого был нужен какой-то могучий толчок, мягкий вихрь, непреодолимое движение, невозможность жить иначе. Тогда она стала бы женственной, исчезла бы ее резкость, ее любовь к самостоятельности, ослабели бы и стали нежными ее неженские мускулы, вообще было бы полнейшее и счастливое перерождение, и та, прежняя Лиза, с ее постоянным сдержанным раздражением – оттого, что это все не приходит, а время идет, – с ее неудачными и случайными романами, в каждом из которых она чувствовала свое превосходство над мужчиной, с этой постоянной душевной оскоминой от Сергея Сергеевича, – эта Лиза перестала бы существовать и возникла бы другая, не похожая на эту и бесконечно более счастливая.

И вот теперь это произошло. Лиза знала уже давно о чувствах Сережи, она была слишком женщиной, чтобы не понимать того, в чем он сам, конечно, не отдавал себе отчета. И оттого, что Сережа тянулся к ней, она сначала испытывала только сладкую тревогу; но наступил момент, когда она не могла сопротивляться собственному желанию, – на второй вечер после их приезда сюда. Когда она поцеловала Сережу и он потерял сознание, она знала уже, что теперь начинается самая замечательная, самая важная часть ее жизни. Помимо того, что она любила Сережу вне каких бы то ни было соображений о том, подходит он ей или не подходит, она не могла остаться равнодушной к его романтическому и наивному обожанию, к его совершенной неповторимости, к его душевной беззащитности. Далеко за этими чувствами, совсем в тишине и глубине, был еще темный и соблазнительный привкус чего-то запретного. Это не было внешнее, очевидное соображение о том, что роман тетки с племянником сам по себе этически недопустим. Нет, это было нечто неопределенное, но почти физическое, нечто вроде ощущения несравненной терпкости этой любви. Никакие нравственные личные соображения не волновали Лизу, – и по одному этому она поняла, что Сережу она действительно любит. Она думала о том, что будет впоследствии, и больше всего боялась его потерять. Несмотря на всю свою власть над ним, она не

могла бы сказать, как поступит Сережа, если узнает, что Лиза уже много лет любовница Сергея Сергеевича. Кроме того, она боялась также реакции Сергея Сергеевича, которому она все-таки, в данном случае, не доверяла. Ну, хорошо, она объяснит ему, что это ее счастье, ее жизнь, что без этого она умрет, что ни при каких обстоятельствах она не расстанется с Сережей. На Сергея Сергеевича это не подействует, он может сказать, что во всяком другом случае он был бы рад за нее, но теперь... С другой стороны, скрыть от него связь с Сережей невозможно, – она еще была бы способна на это, но Сережа настолько прозрачен, что вот уж теперь об этом знают все окружающие. Что делать? Уехать с ним? Но ведь это значит исковеркать всю его жизнь, он должен осенью начать учиться в Лондоне, он еще мальчик. Уехать – и на какие средства жить? Давать уроки языков – и потом, через десять лет, с померкшими глазами, с плохо закрашенной сединой в волосах, понять, что из-за этой пожилой женщины Сережа загубил свою жизнь? Да, конечно, Сергей Сергеевич предложит присылать деньги, но ведь на это не согласится Сережа. Она почувствовала прилив ненависти к Сергею Сергеевичу. Этот человек знал, что делал: все-таки, что бы ни говорили, все они зависели от него – ни у Лизы, ни у Ольги Александровны собственных денег не было, и хотя Сергей Сергеевич никогда им ни в чем не отказывал, но за деньгами все же нужно было обращаться к нему.

Лиза боялась Сергея Сергеевича. Она, даже она, не знала, в конце концов, что скрывается за его официальной и всегдашней снисходительностью. Он мог сделать много зла, у него были большие возможности. Он никогда, ни разу в жизни не воспользовался ими по отношению к Ольге Александровне или Лизе. Но он ревниво сохранял их всегда, и, удерживая их всю жизнь, он в любую минуту мог пустить их в ход; эта угроза, к которой он не прибегал, – он засмеялся бы, если бы ему об этом сказали, – была в его руках, и, так или иначе, он ее не выпускал. Лиза знала, что его доброта происходит скорее от равнодушия, чем от чего-либо другого; он не испытывал никогда сильных страстей. Но она прекрасно понимала, что Сергей

Сергеевич – если предположить, что в нем вдруг вспыхнет ненависть, – будет ей более страшен, чем кто бы то ни было. И какая глупая мысль – назвать сына своим собственным именем! А, вместе с тем, в этом втором имени – Сережа, – казалось бы, точно похожем на первое, звучали те интонации, которые невозможно было даже предположить; казалось невероятным, что в этом же самом слове сначала – только гулкая пустота и ожидание, а потом, во втором, настоящем... Что во втором? Ручей, зеленая трава, далекий серебряный колокольчик, легкий ветер над поверхностью мягкого моря – самая лучшая, самая чистая любовь. Над чем это смеялся Сергей Сергеевич – как всегда – груз прошлого? С необыкновенной ясностью Лиза вдруг увидела далеко сверкающий на солнце Крым, Симеиз, красный грунт теннисного корта, свое белое платье на голом теле, белый костюм Сергея Сергеевича и его насмешливые глаза, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не мутнели, а оставались ясными, не перестающими понимать происходящее, – и это же ей, в припадке откровенности, однажды сказала Леля, ее сестра, как будто бы она сама этого не знала. – Ты всегда все видишь, все понимаешь? – спрашивала его Ольга Александровна. – Всегда, Леля, но с неизменной доброжелательностью, – отвечал он. – Ты всегда все видишь, всегда все понимаешь? – спрашивала Лиза. – Я вижу твои глаза, ведь это значит видеть все, – говорил Сергей Сергеевич. И потом, через несколько дней, держа Сережу, которому тогда было два года с небольшим, Лиза сказала: неужели и он таким будет? И быстрые глаза ребенка внимательно посмотрели на тетку, и маленькая пухлая рука схватила ее за щеку.

– Очень надеюсь, – сказал Сергей Сергеевич, – посмотри, какой он хороший. – Сережа начал прыгать на руках у тетки.

Это было почти пятнадцать лет тому назад. Груз прошлого? Да, потом берлинский музыкант, цветы на концерте, ночь в гостинице и решивший все разговор, что он создан для искусства и что он не может связать свою жизнь, которая... Только позже он узнал, что Лиза была

belle-soeur[1] Сергея Сергеевича, что он упустил, быть может, большие деньги, и стал писать письма, на которые она никогда не отвечала, потому что ей было противно. Затем швейцарский студент, такой замечательный лыжник, такой прекрасный атлет и такой удивительно плохой любовник, сознававший это и оттого очень робкий, – Лизе было всегда жаль его. Потом англичанин, морской офицер, погибший во время пожара на коммерческом пароходе, он ехал на нем в качестве простого пассажира, возвращался из Индии в Европу, где его ждала Лиза, проведшая мучительную неделю в лондонской гостинице, в первом этаже, мимо окна которого однажды прошел ничего не знавший Сергей Сергеевич, приехавший в Англию на два дня и шедший рядом с бывшим британским послом в Константинополе, любителем ходьбы, – Сергей Сергеевич знал его еще по Турции. Лиза быстро отошла тогда от окна. Это была еще одна оборвавшаяся тогда жизнь; был сентябрь месяц, отвратительная погода, дождь и холод, – и затем она вернулась в Париж, в дом Сергея Сергеевича, который ей сразу показался осиротевшим, хотя Роберт – его звали Роберт – не только никогда не был в нем, но даже не знал о его существовании. А в доме все было по-прежнему, та же вечно влюбленная в очередного поклонника Ольга, звонившая по телефону, уезжавшая, посылавшая телеграммы в страницу, то же милое лицо Сережи с такими чистыми и хорошими глазами – ему было тогда двенадцать лет, он читал «Машину времени» Уэллса, – и та же душевная оскомина, она не могла найти другого выражения, от присутствия Сергея Сергеевича. Сколько раз за все это время она пыталась его полюбить по-настоящему – и никогда это не получалось: он был слишком хорош, слишком все понимал, слишком добр, слишком благожелателен, слишком насмешлив – всегда решительно. И то непосредственное, почти детское, смесь материнского и ребяческого, что всегда было в Лизе, не могло проявиться; по отношению к нему это казалось всегда неуместно, и, чтобы защищаться от этого, Лиза делала вид,

[1] свояченица (*фр.*).

что она тоже насмешлива, как он, что она тоже ничего не принимает в своих отношениях с ним всерьез, что она так же олимпийски безразлична ко всему. Не желая, быть может, этого, он много лет медленно и безжалостно деформировал ее жизнь и заставлял ее всегда играть одну и ту же комедию, всегда притворяться, всегда бессознательно лгать. Все существование этого человека было построено на лжи. Ложь – его доброта, ложь – его великодушие, ложь – его любовь, одно только не ложь – его насмешка. Но ведь нельзя построить жизнь, и уже совершенно невозможно построить любовь на этом одном отрицательном качестве. И вместе с тем, если бы в его жилах текла кровь, обыкновенная человеческая кровь, а не тот идеально приготовленный физиологический раствор, который наполнял его крепкое и гибкое тело, не знавшее усталости, он был бы человеком, о котором можно только мечтать. Но вот этого ему не хватало. Это нельзя было понять – можно было только почувствовать, и только будучи женщиной, и только будучи его любовницей. Это знали сестры – Ольга и Лиза. Ольга, впрочем, может быть, забыла это, она слишком давно не имела никакого отношения к мужу. Лиза знала, однако, что ее, Лизу, Сергей Сергеевич действительно любил. Seulement ce n'est jamais grand chose[1] – этот непонятный нищенски-малый максимум того душевного богатства, которое ему отпустила природа. И это опять-таки заключало в себе загадку: Лиза была уверена, что для нее Сергей Сергеевич сделал бы все, что мог, а мог он очень много, – почему же это ее оставляло равнодушной? Потому, что все, дававшееся другим трудом и жертвами, ему давалось легко и без усилий? Лиза была уверена, что Сергей Сергеевич ей не изменял, – но и в этом не было заслуги, ему не нужно было бороться с соблазном, у него его не было. Он объяснял это ей, он говорил, что это результат длительной спортивной культуры, рационально функционирующий организм, – да, пожалуй, как у швейцарского студента; но все же Сергея Сергеевича никак нельзя было сравнить с ним, у того был недостаток физический, у Сергея Сергеевича – душевный. Так же он

[1] Только это не Бог весть что (*фр.*).

воспитывал Сережу, который, если бы его предоставить самому себе, никогда бы спортом не заинтересовался; но уже в пятилетнем возрасте Сергей Сергеевич его бросал в воду на глубоком месте, Лиза кричала ему: – Ты с ума сошел! – и собиралась броситься за ним, но спокойная рука Сергея Сергеевича ее удерживала: – Ничего, Лизочка, так нужно – утонуть я ему не дам, можешь быть спокойна, – и, действительно, Сережа барахтался и держался на воде. Но как можно было смотреть спокойно в его жалобные детские глаза, наполненные слезами? Тогда ей начинало казаться, что Сергей Сергеевич вообще лишен человеческих чувств; и, задумываясь над этим, она представляла себе, что он, как герой фантастического романа, – плод невероятной и жестокой фантазии, существо с быстрым и необыкновенно развитым разумом, мгновенно понимавшим то, постижение чего другим давалось слезами и страданием, – ему ничего этого не нужно было. Он понимал, например, что Егоркина нужно жалеть и над ним не следует смеяться, Лиза это допускала теоретически, но между теоретическим понятием и чувством у нее была вся ее жизнь, через которую она не могла пройти, а у Сергея Сергеевича вместо этого было сверкающее пустое пространство, в котором не было ни одного призрака. И во всем это было так.

Вспоминая Сергея Сергеевича за все годы, Лиза с удивлением подумала, что, кажется, никогда он не выразил своего волнения, тревоги или радости – что бы ни случилось. Очень давно, когда кончилась гражданская война и Сергей Сергеевич после своих драматических, казалось бы, приключений и полного крушения того мира, в котором, собственно, прошла его жизнь, приехал в Лондон, где давно уже была его семья, он явился с новенькими чемоданами, в прекрасном, только что выглаженном костюме, чисто выбритый и смеющийся – веселые синие глаза, ослепительно белый воротничок, – так, точно он ездил куда-нибудь поблизости по делам; и когда зашла речь о России и Ольга Александровна говорила: – Боже, какой ужас, Сережа! – он сказал, Лиза очень хорошо запомнила эту фразу: – Да-да, так жаль этих бедных, милых генералов. – После покушения на него в Афинах, когда поли-

ция задержала стрелявшего – и промахнувшегося буквально в двух шагах, – Сергей Сергеевич рассказывал потом Лизе: – Знаешь, так приятно было видеть среди этих разбойничьих и смуглых греческих физиономий такое милое, русское лицо – нос картошкой, глаза этакого отчаянного дурачка, ну, просто одно удовольствие. – Мимо! Мимо! – говорила Ольга Александровна Лизе. – Разве ты не видишь, Лизочка, что он всегда и говорит, и идет мимо жизни, как насмешливый лунатик, который все понимает! – И связать свое существование с этим человеком, все – жажду настоящей любви, глаза, которые хотели бы раствориться в чьем-то втором и единственном взоре, сильное и гибкое тело, руки с длинными пальцами и розовыми ногтями, все – в жертву этой машине?.. И вот теперь, когда эта Лиза, созданная для блистательной и несравненной любви, наконец, нашла то, без чего уже невозможно дальше существовать, теперь – точно она хочет идти к Сереже и вдруг у двери видит знакомый широкий силуэт, и металлическая, неживая рука, поперек пролета двери, загораживает ей дорогу. А сколько раз Лиза была остановлена в своем увлечении Сергеем Сергеевичем, в лучших своих чувствах, в лучшие минуты – как тогда, например, когда она цитировала ему те свои любимые строки, лежа рядом с ним и глядя в его глаза: – Ты помнишь это, Сережа?

Мы – два коня, чьи держит удила
Одна рука, одна язвит их шпора,
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.

Как это замечательно, Сережа! – Да, очень. – И только? – Есть досадная неточность; правда, в поэзии... – Ну, Сережа... – Нет, верно, Лизочка: как же – два коня и одна шпора? Одну шпору носят только ездовые в артиллерии. И потом, удила – это же не поводья, Лизочка. Удила – это во рту у лошади, а не в руках всадника, хотя бы и с одной шпорой. Почему такая скупость в экипировке – вместо четырех шпор всего одна? Но зато две последние строчки – гениальны.

Он не любил ничего замечательного, ничего героического, ничего достигающего вершин человеческого вдохновения. Во всем он находил что-нибудь смешное и тогда мог это рассматривать свысока, – что это такое? защитный рефлекс? – как он сказал бы, может быть, сам, – или жестокость? Первое, что он произносил, говоря о ком-нибудь, было: какой очаровательный человек! какая очаровательная женщина! И потом он прибавлял еще несколько слов – о самом досадном недостатке этого человека или этой женщины, и выходило, что первый оказывался мерзавцем, а вторая дурой. – Но они все-таки милейшие люди. Милые, очаровательные – это были любимые его слова, а, вместе с тем, ничье очарование на него не действовало: горох об стену. Ради чего жил этот человек? Жил – и душил своей жизнью других. – Никогда, ни за что! Опять в эти неживые объятия! – думала она. – Никогда, ни за что! – Он исковеркал жизнь Ольги, он почти исковеркал ее, Лизу, он еще не успел погубить Сережу – и этого ему не удастся сделать. Но он не должен ничего знать, иначе эта машина придет в действие, и ее нельзя будет остановить.

А вместе с тем, если бы вдохнуть в него жизнь, какой это был бы замечательный человек! Но об этом ей было неприятно думать. – Что же мы будем делать, Сереженька? – сказала она шепотом, наклонившись над Сережей. Глаза его были закрыты, он ровно дышал во сне, у него было совсем детское лицо. Лиза вспомнила, как они вдвоем с сестрой уходили на цыпочках из детской, после того как мальчик засыпал, и Леля шептала:

– Спи, моя любовь, спи, мой котик, спи, мой беленький.

И потом появлялся Сергей Сергеевич, который говорил:

– Ну, как, девочки, едем мы в цирк или не едем? Представь себе, Лиза, там выступает знаменитый итальянский жонглер Курачинелло и, жонглируя пылающими факелами, наизусть цитирует монолог Раскольникова, потом монолог Свидригайлова. Хочешь посмотреть и послушать?

И вот теперь, вместо этого неправильного, ненастоящего существования, – такая замечательная жизнь с Сережей. Ей иногда хотелось кричать полным голосом, драться, возиться, бегать, – и она, обычно медлительная Лиза, стала не похожа на себя. Когда они однажды засиделись в лесу и нужно было торопиться к обеду и до дому оставалось еще два километра – по красноватой вьющейся аллее, все время вниз, – они пробежали их вдвоем с Сережей, и ей показалось, что ей опять восемнадцать лет и вновь, как тогда, жадно и быстро в лицо бьют летние запахи горячей земли, раскаленных сосен, и дорога послушно убегает из-под ног. И рядом с ней, задерживая постоянный, стремительный разгон, бежал Сережа, подхватывая ее под руку на поворотах; потом длинные прыжки с небольших уступов, мгновенные полеты в остановившемся воздухе и запах собственного тела, свежо и сильно разгоряченного бегом. Ей нравилось все: и постоянная застенчивость, и неловкость Сережи, и неумелые его поцелуи, и то, как он беспомощно путался в ее платье, а она не могла удержаться от смеха, всячески мешая ему, хватая его за руки, – и во влажной ее улыбке блестели ее зубы. Какая глупость – жить столько лет и не знать ничего об этом! Вдвоем они мечтали вслух о том, как они жили бы на острове, в лесу, на берегу зеленой лагуны с прозрачной водой и песчаным дном, как спали бы в пещере, как укрывались бы там во время тропического ливня. Большую часть дня они проводили обычно вне дома – в море или, после обеда, в Ницце, в Вильфранш, вечером снова уходили гулять, и, когда возвращались, все в доме спало уже глубоким сном. И только однажды они провели сутки, не выходя даже на террасу, – утром того дня Лиза проснулась от ощущения холода, подошла к окну, чтобы притворить его, и, вставая с кровати, услышала сильный шум дождя. Она приподняла деревянную штору; беспрерывно обрушивающаяся водяная стена струилась и падала перед ее глазами; шел сильнейший дождь. Все пространство, которое она видела перед собой, было полно брызг и водяного тумана, мягко и грозно шумел ветер; с мокрым и звучным шуршанием беспрерывно сыпалась галька на берегу;

Заказ 3235

сквозь разнообразные шумы слышалось быстрое и одновременное журчание нескольких ручьев, все было – всхлипывание, влажный треск и чмоканье размягченной земли, и, прорезывая тяжелый и сырой воздух, где-то неподалеку кричал петух. Лиза не могла отойти от окна. Впервые, быть может, в жизни время исчезло из ее представления; давно, в страшной пропасти исчезнувших тысячелетий, неоднократно было то же: тот же неистовый дождевой вихрь, те же звуки, шум огромной земли и резкий крик петуха – и если бы представить себе мифического титана, который заснул под шум этого дождя крепким сном и проснулся из каменного века в христианской эре, – все было бы то же: водяная стена, влажный туман, резкий крик птицы в сырой, наполненной брызгами мгле. Сережа проснулся, – как бы крепко он ни спал, он всегда, через некоторое время, ощущал ее уход, – поднялся и стал рядом с ней. – Посмотри, мой мальчик, – сказала она, положив руку на его голое плечо. Они стояли оба, дрожа от утреннего холода, и оба, не отрываясь, смотрели перед собой.

– Знаешь, Лиза, что мне это напоминает?

– Что, Сереженька?

– Сотворение мира. Вот такой же космический хаос и там, чуть-чуть выше, огромная тень Саваофа над этим клубящимся и дымным миром. Ты представляешь себе это? А вокруг него, конечно, дождя нет и сухо, он в такой колоссальной водяной дыре, – ты понимаешь? Посмотри, Лиза, может быть, он там? Вот ты всматриваешься, и тебе кажется, что далеко в воздухе стелется линия гор, – а это не горы, Лизочка, это его неподвижная каменная рука.

– Там, направо, наверху, Сережа?

– Да, Лиза, приблизительно там.

– А я думаю другое, Сережа.

– Что именно?

– Я о времени. Как ты это говоришь – тяжелый полет?

– Да, если хочешь.

– Так вот, ты чувствуешь в эту минуту, что времени нет? Ты понимаешь, как нелепо – Егоркин, шеф, Париж, Лондон – ведь этого ничего не существует сейчас, а есть

мы с тобой, небо, земля, волны на море и дождь. И вот то, что нам холодно, и то, что я тебя люблю. Давай кричать вместе: времени нет!

Они прокричали это, их голоса тонули в шуме дождя. Затем Лиза сказала:

– Надо еще спать, мой мальчик, иди ложись.

И он поднял привычным движением ее тело на руки, и, как всякий раз, она говорила: – Ты с ума сошел, ты уронишь меня, я вешу почти шестьдесят кило, ты с ума сошел, ты слышишь, – но крепко держалась руками за его шею и не отпускала его.

* * *

Целый огромный мир, в котором до сих проходила ее жизнь, сместился и исчез. Лиза вспомнила теперь о нем, но от него остались только самые элементарные представления: холод, тоска, пустота и то, что как будто бы все звуки потонули в нем, не получая отклика, – этот мир был почти безмолвен и безжизнен, и никакое могучее дыхание не оживляло его. В нем так же, казалось бы, звучала музыка, лились реки, скрипел снег, плескалось море, но все это было как на давно примелькавшейся картине, в немом размахе чьего-то беззвучного и угасающего вдохновения. Она иногда начинала думать – в те, далекие времена, – что это объяснялось, помимо всего, отсутствием неисполнимых желаний материального и географического порядка: она была действительно совершенно свободна, могла делать, что хотела, ехать, куда хотела, одеваться, как хотела, – для этого рядом был Сергей Сергеевич, с неизменной охотой удовлетворявший ее желания. Ей ничего не хотелось тогда; конечно, заход солнца над Женевским озером был красивее, чем рассвет в Париже, конечно, на итальянских озерах было лучше, чем в Лондоне, но это были несущественные подробности, которые не могли изменить главное. А главного не было и не могло быть.

Теперь она все видела по-иному, так, точно у нее были другие глаза, сохранившие прежние размеры, прежний цвет, прежнюю точность перспективы, – но в тех же

пейзажах, на которые она смотрела теперь, все расцвело и изменилось: над головой развернулось гигантское и далекое небо, заблестела вода, черно-белые скалы, которыми кончался правый берег Cap-Ferrat, точно впервые возникли над морем в их двухцветной хаотической красоте. И над этим всем, в буйном и почти утомительном соединении разных красок из многоцветной тишины, все время звучала далекая музыка, лишенная мелодической стройности, – ветер в деревьях, всхлипывание воды в бухте, крик цикад, гул волн, бьющих в узкие и длинные проходы между скалами, – но живая, ни на секунду не прекращающаяся и невыразимо прекрасная. Ее зрение стало острее и внимательнее, она впитывала в себя все, что видела, и все замечала – и шаркающую походку старого итальянца, который шел к своему огороду, и мускульное усилие человека, который крепил парус под легким ветром на довольно большом расстоянии от берега, и небрежно гибкий прыжок обезьяны, жившей на длинной цепи в одном из ближайших садов, и непостижимо быстрый полет ласточки, взмывавшей непосредственно от поверхности земли к колокольне местной церкви, и стремительное движение уплывавшей из-под нее рыбы, и медленное раскачивание подводных водорослей, и плавный размах смуглого тела Сережи в воде, когда он, с разбегу отделившись от дамбы, бросался в море. Ей казалось, что ее состояние было похоже на чувства человека, который был тяжело болен, не мог двигаться, долго лежал и не надеялся, что когда-нибудь встанет, но потом поднялся и ощущал, как вновь наливается его тело, пальцы обретают волшебную, давно утраченную гибкость, и все начинает жить и неудержимо двигаться вокруг него. Та же разница была и в других ее ощущениях – от первого, нежного прикосновения Сережи у нее начинала чуть-чуть кружиться голова, и глаза ее сразу мутнели, – эта вторая и единственно настоящая жизнь началась с того вечера, когда она впервые поцеловала Сережу.

Несмотря на то, что она обычно всегда поступала в своей жизни расчетливо – в том смысле, что старалась учитывать все последствия того или иного своего поступка

и заранее принимала меры, которые должны были устранить могущие возникнуть препятствия или соображения, – на этот раз она почти не задумывалась над тем, что будет дальше, хотя в данном случае это было более необходимо, чем когда бы то ни было. Ей было слишком хорошо, и внутренний, безошибочный в каждую данную минуту ее инстинкт, которому было чуждо понятие о временной перспективе, удерживал ее от размышлений по этому поводу. Она чувствовала, однако, что чем дальше, тем невозможнее для нее станет разлука с Сережей. Во всяком случае, не думая о будущем, она знала чувством, что если с ее стороны в дальнейшем потребуются какие угодно жертвы, она не остановится пред ними.

И вот, несмотря на это неожиданное и бесспорное обогащение Лизы – в смысле большого количества чувств и ощущений, которые до сих пор были известны ей только из книг, – нельзя было не заметить, что в чисто духовном своем облике она несомненно потускнела. Книги, любимые ее книги, которые она изредка пыталась читать – ее терпения теперь хватало на полчаса, не больше, – стали казаться ей скучными. Она еще отдаленно ценила их замечательность, ей еще казались убедительными некоторые логические построения, но они потеряли ту утешительную силу, которой обладали раньше. Главное, становилось ясно, что ей до этого нет, в сущности, никакого дела. – Искусство, Лизочка, изобретено для неудовлетворенных, – говорил ей давно Сергей Сергеевич, и тогда она бурно возражала ему и утверждала, что его заставляет так думать только внутренняя пошлость. Теперь она не могла бы с ним не согласиться. Когда они однажды поехали – вместе с Егоркиным – на очередную выставку картин в Ницце, Лиза не запомнила ни одной из них; остались только цветные пятна, потому что все время рядом с ней был Сережа, который держал ее под руку, и его присутствие занимало всецело все ее внимание. Даже наружность ее изменилась. Ей и раньше случалось идти по улице и замечать, как люди оборачиваются, чтобы посмотреть на нее; но теперь это не только стало повторяться гораздо чаще, но среди тех, кто оборачивался, было много

простых людей – рабочих, рыбаков; они раньше на нее не обращали внимания, потому что было слишком явно, что это была дама, которая не имела и не может иметь к ним никакого отношения. Теперь она как-то приблизилась к ним – может быть, потому, что было слишком несомненно, и было видно по ее лицу и глазам, по всему ее чуть-чуть огрубевшему и отяжелевшему облику, что главную роль в ее теперешней жизни играло то эротическое начало, в значении которого ни один мужчина не мог ошибиться. Она понимала это, но понимание ее, как и все, что не относилось непосредственно к ее личной жизни в данное время, было чем-то отдаленным, посторонним и несущественным. Она была счастлива тем, что в ее возрасте она еще не ощущала никакой физической разницы между той, какой была много лет назад, когда держала на руках маленького Сережу, и той, которой была теперь; и она не думала и не вспоминала, что этим тоже обязана Сергею Сергеевичу, который заставлял ее заниматься спортом и говорил: – Потом меня же благодарить будешь. – Но в этом он ошибся, – по крайней мере, для данного времени; никакой благодарности по отношению к нему Лиза не чувствовала, это было меньшее, что можно было сказать. Ее радовало, что она была почти так же сильна, как Сережа, и он неизменно этому удивлялся, – тем более, что, в силу счастливого устройства ее тела, мускулы были не видны. Сережа удивился однажды, когда Лиза как-то задержалась в дороге, – он вышел ей навстречу и узнал, что у нее лопнула шина и она меняла колесо. – Как, сама? – Вот глупый, конечно, сама, – сказала она. – А как же ты гайки отвинчивала? – Вот так, Сереженька, – она сделала вращательное движение правой рукой. – И у тебя хватило сил на это? – Она засмеялась и потом предложила ему состязание, которое было основано именно на мускульном напряжении руки и из которого он вышел победителем, но с таким трудом, что все лицо его густо покрылось капельками пота. – И то я немного устала, – сказала она, – а если я буду свежая, то тебе несдобровать. – И это ей было приятно – в состязании с Сережей чувствовать его гибкую сопротивляемость; в том же упражнении с Сергеем Сер-

геевичем ее ждало разочарование – там не было ни сопротивления, ни гибкости, была только застывшая, неживая рука, которую она не могла сдвинуть с места и кончила тем, что укусила, после чего Сергей Сергеевич спокойно сказал: – Это не входило в программу, Лиза.

Лиза до сих пор не подозревала в себе возможности того непрестанного физического томления, которое теперь почти не покидало ее. Сережа не мог не поддаться ему; и за несколько дней он похудел и лицо его вытянулось, несмотря на то, что ел очень много и спал несколько часов непробудным сном.

Он очень возмужал за первую же неделю, у него стало резче лицо, точнее обрисовывался разрез чуть-чуть потемневших глаз, все-таки еще очень светлых на загоревшем лице. После того дня, когда Лиза сказала ему: – Обещай мне не думать об этом, Сережа, – он послушно подчинился ей; для него вообще не было большего наслаждения, чем исполнять ее желания, какие бы они ни были. Но он думал обо всем усиленно и напряженно и до этого запрещения, и теперь не мог помешать тому, что время от времени, в солнечном блеске, утром на берегу моря или в мягкой и точно прозрачной темноте южного вечера, перед ним появлялось лицо матери, все то же милое, с большими темными глазами, над которыми не было ресниц, с чистым лбом без морщин, с легким запахом духов, который возникал, как только она наклонялась над ним. Собственно, нельзя было сказать, что Сережа думал, это было бы неверно: не было мыслей как логично построенного рассуждения; было несколько зрительных сопоставлений, которые иногда бывали мучительнее, чем любая мысль. Ему до сих пор никогда не удавалось связать все, что он думал, видел и чувствовал, в ту последовательную и постепенно развивающуюся систему, какой обычно была представлена человеческая жизнь в книгах, которые он читал. Он не думал о том, что она всегда бывает условна и искусственна, ему только казалось, что он просто сам не способен к такому творческому воссозданию. Он очень много знал и читал для своего возраста и до самого последнего времени думал, что теоретически в мире нет вещей, кото-

рые он не мог бы понять; и огорчился однажды, когда отец ему сказал, говоря о какой-то житейской проблеме, что Сережа не может ее постигнуть. Он сказал это, ничего не объясняя сначала; тогда Сережа спросил, считает ли Сергей Сергеевич его совершенным олухом. Сергей Сергеевич потрепал его по щеке с неожиданной ласковостью и ответил, что, наоборот, он им очень доволен, что лучшего наследника он себе не хотел бы; но наследник, по его словам, слишком молод, чтобы понимать некоторые вещи.

– Не потому, Сережа, что ты глупее какой-нибудь накрашенной пожилой дамы, которая, вообще говоря, дура дурой; однако она это может понять, а ты – нет, хотя она не читала и десятой доли тех умных книг, которые...

– В чем же дело?

– В душевном опыте, Сережа, понимаешь? Трудно объяснить и не нужно. Потом. Вот тебе придется столкнуться с чем-нибудь, о чем ты читал тысячу раз, и тогда ты увидишь, что читать – одно, а чувствовать и понять – другое. Что такое каждая этическая проблема? Попытка схематизации коллективного душевного опыта – это главное, потом идет утилитаризм, целесообразность и т.д.

А Лиза говорила, что об этом не стоит думать – не вообще не стоит думать, а ему, Сереже, не следует на этом останавливаться, для него это неважно. Лиза всегда была для Сережи воплощением всех добродетелей, и это его представление о ней не только не потерпело никакого изменения теперь, но стало еще более отчетливым. Конечно, нехорошо и ужасно, что она сестра его матери; вот бы только одно это небольшое изменение – и все было бы даже с этической точки зрения замечательно. Эта сторона вопроса, однако, была тяжела для Сережи не потому, чтобы он лично испытывал из-за этого какие-либо неудобства, стеснения или неловкость, – нет, только потому, что он предвидел ужас в глазах матери, когда она узнает. Он совершенно не мог себе представить реакцию отца, но знал, что и отец, конечно, отнесется к этому отрицательно. О .Сергее Сергеевиче можно было подумать именно так: отнесется отрицательно; по отношению к Ольге Александровне эти слова звучали дико: она могла бы ужаснуться, –

это, пожалуй, было вернее всего. Но при мысли о том, что в результате этого может пострадать Лиза, кровь приливала к его лицу; все, что угодно, но только не страдания Лизы – такой замечательной, такой чистой и нежной.

Все, что думал Сережа, он думал до разговора с Лизой – и тогда это было мучительно и неразрешимо. После разговора ему сразу стало легко на душе: он, действительно, перестал ставить себе вопросы о том, в какой степени все это возможно или невозможно, точно между ним и всеми этими мучительными недоразумениями возник непрозрачный экран и остались только Лиза и любовь – и больше ничего во всем огромном мире, существующем рядом с ним.

* * *

Похороны Пьера, мужа Лолы Энэ, были исключительно удачны и необычно для летнего времени многолюдны. Все многочисленные друзья и знакомые Лолы, большинство которых полагало, что ее брак был мезальянсом, и не любило Пьера при жизни, теперь как будто бы вдруг поняли, что это был замечательный человек. И брак Лолы, всегда осуждавшийся при жизни, получил, таким образом, общественную сочувственную санкцию, в которой были даже одобрительные ноты. Лоле пришлось выслушать множество соболезнований, чаще всего ей говорили: я не имел – или я не имела – счастья близко знать вашего мужа, но в те два раза, когда я его видел, он произвел на меня самое лучшее впечатление – и поверьте, я всецело разделяю... Лола кивала головой и отвечала: мой дорогой друг, я никогда не сомневалась в ваших чувствах... На похоронах были люди самых разных возрастов, преобладали, однако, старики, которых влекло туда двойное и противоречивое чувство: с одной стороны, неприятная мысль, что собственная смерть тоже не за горами и все, к несчастью, приближается; с другой – побеждающая эти грустные соображения и явственно ощутимая радость, что умер вот этот самый Пьер, а они остались живы; они вообще приходили на все похороны, чтобы получить совер-

шенно неотразимое доказательство своего собственного, хотя и временного, бессмертия. Один из друзей Лолы, ее старший современник, который был бесконечно стар, но бодрился до последней степени и даже носил корсет, доставлявший ему постоянные мучения и тихо похрустывающий при каждом движении, автор книги, получившей некоторую известность пятьдесят шесть лет тому назад, в январе месяце того незабываемого года, академик и чрезвычайно почтенный человек со скромным седым париком на дрожащей голове, в начале церемонии сочувственно беседовал с Лолой и говорил, что все проходит; под конец он снова подошел к ней и на этот раз прибавил, что, как это ни грустно, – слезы стояли в его глазах, и он вообще устал и расчувствовался, – но вот, нельзя не констатировать, что многих из их с Лолой современников уже нет в живых; вот и этот бедный Пьер... Лола с неподвижно-грустным лицом внимательно его слушала, хотя он говорил совершенный абсурд, так как Пьер ни в какой степени не мог считаться их современником: во времена расцвета их славы его еще не было на свете; кроме того, разговор об этих давно прошедших временах был вообще неприятен Лоле, так как напоминал ей о ее возрасте. Она обычно отвечала на такие вещи одной неизменной фразой: – Да, я едва помню это, я ведь была совсем ребенком, – и собеседнику ее оставалось только вежливо улыбнуться в ответ и вспомнить про себя, что у ребенка был в те времена уже пятнадцатый любовник, тративший на нее свои деньги и готовый драться из-за нее на дуэли по обычаю той безвозвратной и исключительно героической эпохи.

Множество автомобилей темного цвета следовало за похоронной процессией, и гармонию нарушала только одна светло-серая открытая машина, которой правил очень молодой человек в летнем костюме и без шляпы, с неподдельно огорченным лицом; зато рядом с ним сидела идеально траурная пожилая дама, очень подходившая к общему, несколько старинному и торжественно-покойному тону. Появление молодого человека и огорченное его лицо объяснялись тем, что его тетка, опоздав попасть в официальный кортеж и, по жестокой своей скупости, пожа-

левшая денег на наемный автомобиль, поймала его в ту минуту, когда он проезжал мимо угла той улицы, где она жила, и заставила везти себя на похороны: ему не оставалось ничего другого, и среди всех присутствующих он был единственным человеком, горе которого было совершенно искренне. – Lola Ainée, ma tante? – сказал он. – Mais c'est une vieille toupie... – C'est une interprète remarquable de Racine et de Corneille, – сказала тетка с негодованием, – et il faunt avoir une grandeur d'âme, que est inconnue maintenant pour être à la hauteur de ces rôles. – Pour la grandeur d'âme, ma tante, – безутешно бормотал он, – je vous l'accorde, mais celle des spectateurs est encore plus remarquable. – Tu n'es qu'un imbecile, – холодно сказала тетка, – suis donc ce triste enterrement et tais-toi[1]. – На перекрестках шествие иногда задерживалось, молодой человек каждый раз едва не въезжал в едущий перед ним почтенный «ролс-ройс» и, вместо того чтобы выругаться, был вынужден проглатывать слова и, следуя совету тетки, прилично молчать.

Лола была очень довольна похоронами и искренне рада, что все вышло так трогательно и хорошо. Та толпа, которая сопровождала гроб ее мужа, была составлена из поклонников ее таланта, это была все та же, только более приличная и сдержанная, foule quil'a toujours adorée[2]. Лола была настолько глупа, что никогда никакие сомнения по этому поводу не приходили ей в голову, и вместе с тем было очевидно, что людьми, пришедшими на похороны, руководили чаще всего самые разнообразные причины, нередко имевшие особенные и личные основания вне какого бы то ни было отношения к сочувствию Лоле в глубоком горе, которого она не испытывала. Здесь было несколько журналистов, которые, сразу разыскав друг друга, шли группой все вместе, и один из них, специалист по некроло-

---

[1] – Лола Энэ, тетушка? ...Эта старая вертушка... – Она прекрасный интерпретатор Расина и Корнеля... и нужно обладать величием души, которого теперь уже не сыскать, чтобы быть на высоте этих ролей. – Насчет величия души, тетя... я с вами согласен, но у зрителей оно должно быть еще более значительным. – Ты всего лишь болван... Побудешь на этих грустных похоронах и помолчи (*фр.*).

[2] толпа, которая ее всегда обожала (*фр.*).

гам, рассказывал товарищам последние анекдоты, и они кусали себе губы, чтобы не смеяться; были люди – и их было очень много, – которым вообще было нечего делать и которые воспользовались возможностью побывать на похоронах; были такие, которые считали, что нельзя не быть на похоронах Пьера, как нельзя не быть на премьере в Опере и на скачках в Лоншан, и их было громадное большинство, и в глубине души наименее глупым из них были безразличны и премьера, и скачки, и похороны; были такие, которые пришли устроить свои собственные дела, пользуясь тем, что потом их никак нельзя будет обвинить в навязчивости – и такой удачный подход: дорогой друг, я никак не думал, что мы встретимся с вами в таких печальных обстоятельствах, какая ужасная смерть! Простите, но, между прочим, один вопрос: те акции, о которых вы так любезно... Был очень бойкий и очень хорошо, по-траурному, одетый сорокалетний мужчина с сияющим лицом, выражение которого совершенно не вязалось с похоронами, – он один из первых подошел к Лоле и долго с ней разговаривал, усиленно здороваясь со всеми, и вообще действовал таким образом, что присутствие его никак не могло пройти незамеченным; говорил всем, что его жена, к сожалению, не могла прийти, так как нездорова; потом он скрылся с неожиданной быстротой и в самом конце процессии сел в последний автомобиль, в котором его ждала необыкновенно пышная блондинка лет двадцати двух, которая тихо сказала ему: – Alors on est libre, c'est fini les condoléances?[1] – и автомобиль сначала отстал, потом свернул направо и исчез.

Нельзя было сказать, чтобы Лола не готовилась к этим похоронам; она примеряла много платьев, затем, оставшись одна в комнате, ходила особенной похоронной походкой и усиленно упражнялась, стараясь придать своему лицу нужное выражение, – торжественная церемония не застала ее врасплох; после похорон много говорилось и писалось о царственном достоинстве знаменитой артистки и о благородстве ее печали. Вместе с тем, в жизни Лолы не

---

[1] – Итак, свободен, с соболезнованиями покончено? (*фр.*)

было, кажется, события, которое бы доставило ей столько удовольствия, сколько похороны ее мужа.

Все сразу изменилось в ее доме. Прислуга, привыкшая за последнее время подчиняться Пьеру, а не ей, стала вновь такой, как была раньше, до замужества Лолы, и потеряла то неуловимое пренебрежение в ответах и интонациях, которое так раздражало Лолу. «Бюгати» была срочно продана, и вместо нее появился «делаж», как две капли воды похожий на прежний, – с теми же мягкими и упругими подушками, с теми же чудесными рессорами, и, едучи в нем, Лола не ощущала того, что преследовало ее, когда она изредка ездила в низком «бюгати», – именно, что кто-то тянет ее за ноги вниз, и мотор всхлипывает и ревет после поворота, когда дергающаяся в неумелых руках Пьера машина скачками набирает скорость. По ночам опять стало тихо, исчезли многочисленные и случайные подруги Пьера, и в глубокой этой тишине Лола, просыпаясь, слышала иногда, как шумит ветер в деревьях сада, в который выходило окно ее спальни. Этот звук напоминал ей давно прошедшие, давно забытые, казалось, вещи: ее детство в деревне, дождливый летний вечер, звучное хлюпанье коровьих копыт по мокрой земле и удивительный и любимый запах навоза, с которым не могли сравниться никакие другие запахи. Она видела себя такой, какой она была, пятнадцатилетней деревенской красавицей, с упругими мускулами ног, на которых были сабо, с большими черными глазами, с белым и крепким телом, не знавшим в те времена ни одной операции. Она засыпала, улыбаясь этим воспоминаниям.

Она была теперь совершенно свободна; целыми днями просиживала в кресле, и, когда ей хотелось спать, она опускала голову на грудь и засыпала, так как не было никого, перед кем ей нужно было притворяться. Она раскладывала пасьянсы, гадала на картах и даже позволила себе, в течение первой недели своей обретенной свободы, отступить от жестокой диеты – ела жареную курицу, мясной бульон, потом пообедала однажды вечером совершенно одна у Прюнье, который находился неподалеку от ее дома, и через несколько дней все-таки заболела, так что

потом пришлось поголодать и принимать лекарства; но все это она переносила с легкостью, которая ее самое удивляла и объяснялась, конечно, инерцией того же прилива счастья, начавшегося в тот вечер, когда ей позвонили по телефону, сообщая о смертельной ране ее мужа.

Но как только прошло это первое, счастливое состояние, прежняя энергия опять пробудилась в Лоле. Она знала по длительному своему опыту, что не должна оставаться в тени, что как можно чаще ее имя должно появляться в газетах – все равно, по какому поводу. Она заказала несколько интервью, из последовательного чтения которых можно было заключить, что Лола не собирается, после пережитого потрясения, уехать отдохнуть на юг, в свою виллу возле Ниццы; что она остается в Париже, где усиленно работает над главной ролью в пьесе, которую не хочет еще называть; что она отклонила предложение крупнейшей американской фирмы, предлагавшей ей контракт в Холливуд; что она в ближайшем будущем уезжает в турне по средней Европе; что она уезжает в турне по Южной Америке; что она уезжает в турне по Северной Америке; что намечены ее выступления в Голландии; что, вопреки распространившимся слухам, она отказалась от проекта поездки в Румынию и Грецию. Никаких слухов о ней никто не распространял, но это опровержение несуществующих слухов было обычным ее приемом, и все эти интервью и сообщения не имели решительно никаких оснований, кроме судорожного желания самой Лолы не изгладиться вдруг не то чтобы из памяти современников, – это был свершившийся и непоправимый факт, так как большинства ее современников уже давно не было в живых и те, которые были, с ужасом ждали смерти и только об этом и думали, – а из памяти теперешнего общества, которое следовало за ней на расстоянии полувека. Затем, когда все эти возможности были исчерпаны, Лола начала свои личные выступления в печати, к которой, еще со времен первого своего покровителя, она питала почти такую же слабость, как к театру. Она, конечно, ничего не писала сама, она была для этого недостаточно грамотна, – у нее был постоянный сотрудник, которому она теперь вынуж-

дена была платить деньги, что ее очень огорчало: еще несколько лет тому назад, не так давно, в сущности, она никогда не расплачивалась за услуги деньгами. Теперь ей пришлось примириться с тем, что времена изменились. Ее теперешний литературный псевдоним был молодой человек, делавший газетную карьеру и писавший небольшие статьи об искусстве; но так как статьи об искусстве давали незначительный доход, на который было невозможно прожить, то он специализировался на статьях депутатов, общественных деятелей, певцов и актеров; это была очень неприятная работа, особенно потому, что большинство людей, обращавшихся к нему, имело совершенно абсурдные представления о стиле и предъявляло требования, которые было бы невозможно выполнить, не рискуя вызвать насмешки читателей. Из всех своих клиентов он очень ценил только одного – старого сенатора, который ему говорил: – Écoutez, mon petit[1], – и заказывал статью на какую-нибудь тему, причем не только не требовал, чтобы она была написана так, а не иначе, но даже и не читал ее до сдачи в печать: прочитывал начало уже в газете или журнале, причем и тут у него никогда не хватало сил дочитать до конца. Он смотрел на мутные буквы, разбирая несколько первых фраз, и потом неизменно говорил: – Прелестно, мой юный друг, прелестно, – и платил лучше всех других; и то, что печаталось за его подписью, его совершенно не интересовало. В кругу людей, читавших его статьи, он считался проницательным и смелым политиком, неустанно следившим за всеми изменениями текущей действительности. Вначале выполнять такую работу было неприятно, потом сотрудник Лолы настолько к этому привык, что совершенно не удивился, когда узнал, что унылый и лысый мужчина с измятым и усталым лицом, которого он часто встречал в редакции одной из крупных газет, и был, оказывается, той самой Mathilde Marigny, которая давала многочисленные советы читательницам по самым разнообразным вопросам, начиная с ухода за лицом и телом и кончая любовными невзгодами и недо-

[1] Слушай, малыш (*фр.*).

умениями: «Я думаю, что мой муж изменяет мне, – должна ли я оставить его и уйти с моим ребенком к человеку, который доказал мне свою любовь неоднократно?..»

Лола встретила его с деловым видом, сказала, что им нужно поговорить, и вдвоем они стали обсуждать планы ее газетных выступлений. Дело было в том, что Лола, наконец, решила осуществить свою давнишнюю мечту – написать мемуары. Сотрудник ее – его фамилия была Дюпон – неуверенно кашлянул: этот род работы был особенно неприятен.

– Я очень польщен вашим доверием, мадам, – сказал он, – но...

– Условлено, условлено, – быстро сказала Лола. – С вашим талантом...

– Дело в том, что, боюсь... в конце концов, у меня так мало времени...

– Но, мой милый друг, это так нетрудно. Я все расскажу, все, все, все, понимаете?

– Мне кажется...

– Уверяю вас, что это будет работа, которая, кроме удовольствия, вам ничего не доставит.

– Я в этом не сомневаюсь.

– Ну вот. А с издания книги вы получите процентное отчисление от издателя.

Но от этого Дюпон отказался самым категорическим образом. Он настаивал на том, что хочет иметь дело только с Лолой; и как это ни было ей неприятно, она вынуждена была согласиться. О содержании книги мемуаров Лолы разговор должен был произойти позже, через несколько дней. В ближайшее же время следовало подготовить для печати, во-первых, нечто вроде пространнейшего письма в редакцию, в котором Лола выражала бы свою благодарность всем, кто пришел на похороны ее мужа; во-вторых, статью «Почему я пишу свои мемуары». Через два дня текст обеих статей был представлен Лоле; она сделала в них некоторые поправки, но, в общем, осталась довольна. Первая статья, редактированная в сдержанно скорбных выражениях, заключала в себе наиболее приятную для Лолы фразу о том, что люди привыкли считать, будто зна-

менитости как-то не так живут и страдают, как простые смертные: «Helas! Nous ne sommes, nous autres, que de simples mortels, doués peut-être d'un pouvoir qui...»[1] – и так далее; одним словом, все было хорошо и трогательно – все вплоть до благодарности газете, которая это поместила, за «великодушный жест»... Особенно приятно было то, что в том же номере появилась последняя по времени статья знаменитой писательницы о Лоле, – но это выяснилось лишь позже и было результатом случайности. Наконец, «Почему я пишу свои мемуары» – была статья, написанная с некоторым косвенным вдохновением Дюпоном, который в тот день был, по-видимому, в ударе. «Мы представляем из себя хронологически непостижимое соединение двух эпох, столь, казалось бы, различных; и этому неповторимому соединению суждено быть раскрытым только в том случае, если мы решимся снять с себя наши театральные одежды и предстать перед вами, дорогие читатели, такими, каковы мы в действительности. И вы убедитесь тогда, что многочисленные и воображаемые драмы некоторых исторических женщин, которые вы привыкли себе представлять воплощенными в нашей интерпретации, – что они не прошли, быть может, бесследно; и в одном повороте головы я ловлю себя на том, что это – жест Сафо, и в резко вытянутой руке – поза Селимены...»

Работа над мемуарами очень интересовала Лолу – она сводилась, правда, с ее стороны только к подробному рассказу, и Дюпон лишь говорил время от времени: да, понимаю, конечно... – и делал заметки в своем блокноте. Жизнь Лолы была представлена как ровное в своей неизменной гениальности существование, лишенное каких бы то ни было скользких мест. На этом настоял Дюпон, исключивший из рассказов Лолы все сколько-нибудь рискованные пассажи; и хотя получилось несколько странное положение, при котором выяснилось, что до брака с Пьером Лола знала лишь платоническую любовь к некоторым замечательным людям, основанную на взаимной страсти к искусству, и хотя должно было показаться неправ-

---

[1] «Увы! Мы не такие, мы иные, мы, не простые смертные, нам, может быть, дана некая власть, которая...» (*фр.*)

Заказ 3235

доподобно, что она до старости, в сущности, оставалась девственной, – настолько, что сама Лола заметила это и сказала это Дюпону, – он все же настоял именно на такой редакции мемуаров. – Все поймут, что и у вас должны были быть увлечения, – сказал он, – но оценят вашу скромность. – Нет, нельзя же так преувеличивать, – заметила Лола. – Все поймут, что это невозможно, – спокойно возразил Дюпон, – но зачем же на этом настаивать? Ведь мы не пишем, что окна существуют для того, чтобы пропускать свет, отворяться и затворяться; мы не теряем времени, чтобы объяснить это читателю, мы надеемся, что он это знает сам. Здесь то же самое, мадам. – Зато Дюпон много раз описал заходы и восходы солнца в Оверни, где молодая девушка, глядя с террасы дома, в котором она родилась, мечтала о Париже и о счастье. Семья Лолы сразу разбогатела в мемуарах, и родители ее из обыкновенных крестьян превратились в помещиков. В воображении Дюпона возникло – и переселилось в мемуары Лолы – множество никогда не существовавших и чаще всего трогательных людей: старый учитель французской литературы, говоривший ей: дитя мое, берегите ваш удивительный дар; мэр ближайшего города, плакавший в день любительского спектакля при ее появлении на сцене; тетка, которую Лола помнила морщинистой пожилой женщиной с грубыми руками и которая ее учила, как надо себя вести в Париже с хозяевами, превратилась в светскую красавицу, удалившуюся на покой в свои овернские владения оплакивать смерть своего горячо любимого мужа. Дойдя до Парижа, повествование приняло совершенно патетический тон. Здесь во многом взгляды Дюпона и Лолы совпадали, они оба считали, что Париж – лучший город в мире, и им обоим казалось, что оттого только, что какое-либо событие происходит в Париже, оно тем самым приобретает особенное значение, которого не имело бы, если бы случилось в другом месте. Речь шла преимущественно о театральных премьерах, об успехах Лолы, о том, как тот или иной человек, чаще всего государственный деятель или президент, приходил с громадным букетом цветов и благодарил Лолу за ее выступление. Особенно много писа-

лось об умерших людях, которые не могли опровергнуть ничего решительно. Но, несмотря на праздничные описания этой театральной жизни, Дюпон не мог не заметить, что все получалось несколько монотонно и запас торжественных слов, из которых чаще всего повторялось слово «триумф», давно уже истощился. Тогда он прибегнул к новому приему – вовлечение во все это простых людей; и вот появились маляры и плотники, которые отказывались брать с Лолы деньги за отделку ее квартиры, консьержки, прачки, трубочисты и извозчики, которые тоже бесплатно возили ее.

Книга Лолы должна была произвести впечатление одновременно – интереснейшего мемуарного материала и вместе с тем стилистического шедевра. Сама Лола была очень довольна ею. Дюпон работал по многу часов в день. Выходило, однако, хотя в общем хорошо, но не замечательно, и он не мог понять причины этой частичной неудачи.

Она заключалась в том, что он не любил и презирал Лолу – и сам был убежден в полной ее бездарности. В этом для него не могло быть сомнения. Он знал уже давно – в его литературной работе ему нередко приходилось сталкиваться с этим, – что множество очень знаменитых и почтенных людей ни в какой степени не заслуживали ни своей репутации, ни своей славы. В большинстве случаев было даже непонятно, каким образом могло возникнуть и продолжаться в течение десятилетий то недоразумение, в силу которого, например, Лола считалась замечательной артисткой, такой-то – прекрасным ученым, такой-то – великим писателем. В очень ограниченном круге, среди профессионалов, оценки были правильны и беспощадны, но они никогда или почти никогда не доходили до широкой публики, которая слепо верила всему, что писалось. Дюпон не сомневался, что мемуарам Лолы, которые он придумал сам, будут так же верить, как всему остальному, и его иногда, когда ему удавалось отрешиться от своих непосредственных забот, очень огорчало – так как он был еще молод – это удивительное отсутствие понимания у читателей и слушателей. Вместе с тем, ведь было очевидно, что

Лола была очень дурной актрисой, даже не понимавшей того, что она играла. Правда, никто не плакал от волнения на ее спектаклях, но все признавали ее громадный талант. Откуда? Почему? Он этого не мог понять.

Он описывал ее в условно-торжественных тонах, чувствуя, однако, что жить так, как жила в его мемуарах Лола, не могла бы ни одна женщина – это было невозможно. Но этого никто не заметит, никто; и сама Лола, совершенно забываясь, говорила Дюпону: – Я удивляюсь, дорогой друг, как вы хорошо поняли всю мою жизнь, – и он вежливо улыбался в ответ, хотя ему хотелось сказать, что он описывает нечто похожее на раскрашенный картон и что поэтому ее любезные фразы заранее лишены какого бы ни было смысла.

Но Лола мало-помалу проникалась мыслью о том, что ее жизнь действительно была такова, какой ее писал Дюпон. Она знала, конечно, что фактическая часть книги содержала в себе много неточностей – в частности, особенно туманной ей казалась первая глава, посвященная ее детству, да и в остальном все было совсем не так, как в книге. Но здесь впервые она очутилась как бы перед своим собственным психологическим портретом. Она никогда не задумывалась над тем, что она из себя представляет, чем ее жизнь отличается от жизни других людей, – что такое смерть, что такое желание, что такое страсть, – все эти вещи, которые всегда волновали людей, ей не приходили в голову. То внутреннее «я», о котором она иногда читала и которое нередко фигурировало в пьесах ее репертуара, у нее просто не существовало. Она начинала резко реагировать на что-либо только тогда, когда оно приносило ей ощутительный вред: она могла считать, что такой-то антрепренер плохой человек, так как не сразу заплатил ей деньги; что такая-то актерка дурная и развратная женщина, так как благодаря интригам получила роль, которую должна была играть она, Лола; но, как в политике и в общественной жизни, так и во всем остальном, то, что ее непосредственно не касалось, не вызывало в ней никакого отклика, – хотя бы это были самые замечательные или самые возмутительные события. У нее точно так же

совершенно не было того, что в прерывистых формах проявлялось у других людей и что они называли принципами, убеждениями, взглядами, вкусом, всеми этими словами, которые оказывались идеально бесполезными в применении к Лоле. Дюпон убедился в этом, подолгу слушая ее рассказы, и каждый раз, выходя от Лолы, он не мог отделаться от трудноопределимого, но чрезвычайно неприятного чувства, над которым ему не хотелось даже задумываться. Но, работая над мемуарами Лолы, он должен был поневоле возвращаться к этому, и в один прекрасный день он понял, как ему показалось, все до конца. Он не мог в тот вечер работать и ушел из дому, продолжая думать о том, что такого страшного примера душевной нищеты ему никогда еще не приходилось видеть. Он думал об этом почти с ужасом: такая долгая жизнь без единой мысли, без какого бы то ни было сомнения, без секунды понимания! Лола казалась ему холодным и глупым животным, достаточно выдрессированным, но не приобретшим от этого ничего человеческого. Все, что она говорила, состояло из шаблонных и неправильных выражений, которые она когда-то прочла в газетном фельетоне или вспомнила из чьего-то разговора.

И вместе с тем, в своих мемуарах она должна была казаться другой, и Дюпон с некоторым увлечением описывал эту, никогда не существовавшую женщину, и картонная ее прелесть доставляла ему известное удовольствие; она приобрела черты конфетной красавицы, появлявшейся то в поле, то в лесу, то в парижских салонах, то на сцене – со своим раз навсегда раскрашенным и, в сущности, мертвым лицом; только это была веселая покойница – в отличие от настоящей Лолы, у которой вместо души была холодная дыра. Несколько раз Дюпон, несмотря на то, что ему уже много лет пришлось быть профессиональным фальсификатором и писать самые разнообразные вещи, начиная от политических речей противоположного содержания и кончая статьями об археологии, балете, театре, живописи, музыке, и подписываться самыми разнообразными и преимущественно знаменитыми именами, – несмотря на то, что это именно он, Дюпон, напи-

сал две толстых политических книги и полторы тысячи передовых, не считая множества устных выступлений, одним словом, вынес на себе всю политическую карьеру одного богатейшего человека, который был не более грамотен и умен, чем Лола, и никогда не мог написать более или менее толковой фразы, а о социальных доктринах не имел даже отдаленного представления, но издавал газету и занимался общественной деятельностью, довольно бурной, до тех пор, пока не умер в один прекрасный день от разрыва сердца, – несмотря на этот свой опыт, Дюпон несколько раз хотел отказаться от продолжения мемуаров Лолы. Он отказался бы, но его дела не позволяли это сделать – он, как всегда, сидел без денег. Со злобой думал он иногда о том, что в смысле интеллектуальной ценности он один стоит двух десятков знаменитостей – он это твердо знал, – и, тем не менее, они существовали благополучно и наслаждались результатами его работ: «Ваша последняя статья, дорогой мэтр, несмотря на то, что мы привыкли, казалось бы, к неисчерпаемой щедрости вашего гения...» – гением и автором статьи был Дюпон, которому едва подавали два пальца, – и он, которому они были обязаны всем, был вынужден чуть ли не украдкой выходить из дому, чтобы избежать неприятного разговора с консьержкой, так как за квартиру было не уплачено уже пятый месяц. Сидя в кафе и глядя на окружающих с ожесточенной рассеянностью, он мечтал о том, что когда-нибудь напишет книгу и в ней отомстит всем этим людям, которые теперь эксплуатировали его, и расскажет все, что он знает, и тогда читатели убедятся в хрупкости и неверности всех лестных эпитетов и так называемой мировой известности. Из всех его многочисленных клиентов он по-настоящему хорошо относился только к своему сенатору, который, действительно, был милым стариком. Остальных он презирал, иногда в их статьях он позволял себе колкости и выпады против них, то есть против самого себя, но это замечали только его товарищи по работе, такие же интеллигентные пролетарии, как он сам, – и для них не существовало ни знаменитостей, ни неподкупных людей, ни всего того, что вызывало восторженные отклики в так называемом обществен-

ном мнении, которое эти обездоленные и озлобленные люди считали проявлением коллективного идиотизма.

Лола настояла на том, чтобы вне всякой хронологической последовательности Дюпон немедленно включил в мемуары ее роман с Пьером. Он должен был начать с того, как во время своих выступлений она неизменно видела его бледное лицо с горящими, устремленными на нее глазами, – он был очень беден, покупал на последние деньги билеты в самых задних рядах, но не пропускал ни одного спектакля с ее участием, и вот она не могла не обратить внимания на эти горящие глаза.

– Помилуйте, – сказал Дюпон, – если он сидел в последних рядах, то как же вы могли рассмотреть в полутемном зале его лицо? Это надо изменить.

– Хорошо, – сказала Лола, – можно посадить его ближе. «Он был беден, но на последние деньги...»

– Нет, это невозможно, – сказал Дюпон, теряя терпение, – сколько же у него было в таком случае последних денег для того, чтобы каждый день сидеть в первых рядах? Стало быть, он не мог быть беден.

– Но он был действительно беден, – простодушно сказала Лола.

– Да, конечно, я понимаю. Но тогда нужно сделать это иначе.

– Хорошо, – согласилась Лола, – тогда мы просто напишем, что я заметила его горящие глаза и что он каждый день бывал в театре, а о том, что он был беден, напишем потом.

Дюпон едва сдерживал себя – он все-таки никогда не сталкивался с таким упорным непониманием элементарных вещей; даже покойный государственный деятель, известный своей легендарной глупостью, был более сообразителен. Он вздохнул и стал пространно объяснять Лоле, почему так написать нельзя. Но Лола вдруг обиделась и стала твердить, что это просто его каприз и что, в конце концов, он может делать, как хочет. Дюпон понимал, что она давно, может быть, уже несколько недель, мечтала об этой части мемуаров, об этом убогом великолепии «бледного лица и горящих глаз» и что ей было до слез жаль расстаться с этим. Но в этом он ошибался.

Через час оживленного и непрекращающегося разговора они сошлись на том, тоже, в сущности, маловероятном, положении, что Пьеру досталось небольшое наследство – гроши, каких-нибудь десять–двенадцать тысяч франков – и что он, в тот период, когда Лола заметила его горящие глаза, тратил их на то, чтобы не пропустить ни одного ее выступления, – и Лола осталась очень довольна Дюпоном и сказала ему несколько комплиментов о его уме и знании женской души.

Лола, однако, все чаще и чаще вспоминала о Пьере – и тот факт, что она торопилась включить его в свои мемуары, отнюдь не был случайным. Если бы она умела анализировать свои чувства и хоть сколько-нибудь разбираться в них, она бы заметила, что память ее тщательно избегала всех неприятных сторон ее жизни с Пьером. Вместе с тем, неприятным было почти все, а приятным очень немногое, и именно об этом немногом она и вспоминала. Неожиданно для себя самой, однажды ночью, вспомнив о нем, она прослезилась. Через некоторое время даже Дюпон заметил в ней какую-то несомненную перемену в выражении глаз и лица, и причины ее он никак не мог понять, но не очень задумывался над этим, потому что это его не интересовало; он только с облегчением констатировал, что с Лолой легче стало сговариваться. Она сама этого изменения в себе не знала и в этом вдруг стала похожа на других женщин, которые упорно не хотят признавать, что возникшее в них чувство заставляет их видеть все другими глазами, чем до сих пор, – им кажется, что в этом есть нечто унизительное, нечто уменьшающее их замечательность, и, сколь это ни было бы очевидно, они продолжают это отрицать.

Лоле ничего отрицать не приходилось, с ней никто по этому поводу не говорил; но было, тем не менее, несомненно, что, в силу какой-то нелепой и невероятной случайности, в ней теперь с совершенной, казалось бы, неправдоподобностью возникла любовь к Пьеру, которой не было при жизни. Она родилась из бессознательной и глубокой благодарности к этому человеку за то, что он умер и таким образом вернул ей свободу и отдых, которых она была лишена так долго. И так как теперь он ничем уже не

мог ее стеснить и, перестав быть живым человеком, сделался украшением ее трогательного романа в мемуарах, она впервые, как ей казалось, поняла, что это был действительно настоящий роман. – Если бы вы знали, как я любила этого человека! – сказала она Дюпону и была при этом искренна: в ту минуту она говорила с убеждением. – У него были некоторые мелкие недостатки, конечно, но у кого их нет? – Дюпон в сотый раз с раздражением заметил, что девять десятых фраз, которые произносила Лола, были общими местами. – Но он так любил меня!

И вот теперь, в первый раз за очень много лет, Лола начала переживать этот посмертный и чудовищный по своей неестественности роман. – Le pauvre petit![1] – неизменно говорила она, когда речь заходила о Пьере. Мало-помалу в ее воспоминаниях и в ее рассказах Пьер совершенно изменился, перестал пить, перестал развратничать, стал вежлив, нежен и мил; и загробная его привлекательность все увеличивалась. – Я думаю иногда, – говорила Лола, – что я – как некоторые редкие люди, которые любят раз в жизни. Да, конечно, у меня бывали увлечения, но у кого их не было? Но любила я только Пьера – и вот я все не могу привыкнуть к мысли, что его нет в живых. Le pauvre petit!

Несмотря на крайнюю свою скупость, которая стала проявляться в ней, однако, только в самые последние годы, точно это был такой же признак старости, как седые волосы или атеросклероз, – до этого она была расточительна и небрежна в деньгах, чем и объяснялось то, что она была сравнительно небогата, – она заказала роскошный памятник Пьеру с надписью: «Моему дорогому супругу от простого и верного сердца Лолы Энэ».

И вот так же, как меняется лицо и выражение глаз человека, когда для окружающих становится ясно, что он должен умереть, с такой же несомненностью в Лоле произошло глубокое и последнее перерождение, особенно поразительное для ее возраста. Дюпон, приходивший к ней каждый день, с удивлением заметил, что от преж-

---

[1] Бедный малыш! (*фр.*)

него его раздражения не осталось и следа, и свой очередной визит к ней он перестал рассматривать как неприятнейшую обязанность. Однажды, когда она наливала ему кофе, – он писал в это время в блокноте, – и сама размешала ему сахар в чашке, у него вдруг мелькнула мысль, которая в прежнее время показалась бы дикой, что эта женщина, в сущности, могла бы быть его матерью. Было впечатление, что в мертвом ее облике вдруг стали проступать человеческие черты. Во всяком случае, все, кому приходилось с ней встречаться в это время, не то чтобы заметили происшедшую с ней перемену – для этого они были слишком ненаблюдательны и, как громадное большинство людей, вообще думали слишком мало и редко, – но почувствовали ее; и когда они потом говорили друг другу, что каждый из них нашел Лолу очаровательной, в этом было нечто более искреннее и соответствующее их подлинным впечатлениям, чем всегда.

С Лолой произошло то, что произошло бы с другим, очень старым человеком, который в последней части своей жизни, во время долгих старческих досугов, обдумал и вспомнил всю свою жизнь и пришел к некоторым выводам, единственно возможным: что нужно, прежде всего, прощать людям их невольные дурные поступки, не нужно никого ненавидеть, нужно знать, что все непрочно и неверно, кроме этого тихого и приятного примирения, этой нетребовательной любви и нежности к ближним, независимо даже от того, заслуживают ли они их или не заслуживают. Лола теперь вела себя именно так, как если бы она поняла все эти вещи, но разница заключалась в том, что она об этом не думала; и как всю свою жизнь она действовала и говорила, не размышляя, а подчиняясь какой-то внутренней необходимости и не зная, в сущности, почему она действует так, а не иначе и, в общем, правильно для достижения выяснявшейся лишь потом цели, так и теперь никакие мысли не предшествовали этому изменению в ее манере жить и в обращении с людьми.

Это был ее последний и поздний расцвет, и человек, который захотел бы иметь о Лоле сколько-нибудь правильное суждение и изучил бы всю ее жизнь, но не знал бы о

нескольких последних месяцах ее существования, получил бы неправильное и одностороннее представление о ней. И для того, чтобы это произошло, нужно было, оказывается, чтобы прошло много лет ее бесконечно длинной жизни, чтобы ни один год не оставил в ее существовании никакого следа и чтобы, наконец, самое страшное и непостижимое явление смерти прошло рядом с ней и, избавив ее от присутствия ненавистного и, в сущности, случайного человека, вдруг освободило бы одновременно с этим то, что в ней было неизменно человеческого и о чем нельзя было бы узнать, если бы не было этой смерти. Это было похоже на то, как в очень старом и глухом здании, в лесу, на берегу моря, ночью вдруг отворили бы годами запертое окно – и в мертвую тишину вдруг проникли бы многочисленные, до сих пор невидимые и неслышимые вещи: синее звездное небо, вечный бег океанской волны, крик неизвестной птицы, шум листьев на ветру, стремительный полет нетопыря.

И это не могло не повлечь за собой совершенной и резкой перемены всего уклада ее жизни и невольного и безболезненного отказа от всех прежних ее взглядов. Она продолжала еще принимать многих людей и выезжать, но и выезды, и приемы становились все реже и реже. Она читала по-прежнему отчеты о спектаклях, премьерах, концертах, но те отзывы, которые еще несколько месяцев тому назад вызвали бы в ней возмущение, оставляли ее теперь почти равнодушной – так же, как упоминание ее собственного имени, которого раньше она ждала с нетерпением. Когда ее спросили как-то о судьбе мюзик-холла, она ответила, что это еще не решено, и тогда же поняла вдруг, что она никогда мюзик-холла не откроет, потому что ненужность его была теперь для нее совершенно очевидна, хотя она ни разу не думала об этом.

Но работу над мемуарами она продолжала по-прежнему; и Дюпон, поддавшись ее теперешним настроениям, стал писать несколько иначе, чем писал до сих пор, и Лола, та самая деревянная Лола, на которую он до сих пор ни в коем случае не мог рассчитывать как на сотрудницу или помощницу, диктовала ему целые страницы; оконча-

тельная их отделка была, конечно, необходима, но в общем эти последние главы были написаны ею. Дюпона поразила в них ее неожиданная наивность; и он неоднократно задумывался над странной теперешней судьбой этой женщины. При каждом упоминании о Пьере ее глаза наполнялись слезами; и сила этого совершенного превращения презрения и ненависти к нему в сожаление и любовь была настолько велика, что если бы кто-нибудь сказал Лоле, что она боялась и не любила этого человека, она никогда не поверила бы этому. Как всегда и для всякого человека в тех случаях, когда он имеет дело с воспоминаниями и когда он сам находится во власти внезапного перерождения, вызванного проявлением какого-либо могучего чувства, для Лолы было совершенно ясно, вопреки фактам, очевидности и всему, что ничем нельзя опровергнуть, что не было ни недоразумений, ни ненависти, а была любовь и внезапная, беспощадная смерть.

Но одновременно со всеми этими изменениями здоровье Лолы, – состояние которого до этого времени было, в общем, нормальным, и ее недомогания были совершенно естественны для ее возраста, – стало не тем, каким было до сих пор. Никаких катастрофических изменений, в сущности, не произошло; все было, казалось бы, по-прежнему, но она начинала быстрее уставать, и то, что обычно ее не утомляло, теперь вызывало мгновенную слабость. Во время ежедневных прогулок в Булонском лесу она проходила вдвое меньшее расстояние, чем раньше; и однажды шофер, обеспокоенный ее ненормально долгим отсутствием, отправился ее разыскивать и нашел недалеко на скамейке: она спала, уронив голову на грудь, выпустив из рук свою сумку, и лицо ее было настолько неподвижно, что его охватил невольный страх, не умерла ли она. Он постоял несколько секунд, не шевелясь, внимательно глядя на нее: грудь ее ровно поднималась и опускалась. Тогда он кашлянул, но Лола продолжала спать. Он, наконец, решился разбудить ее, громко обратившись к ней несколько раз, и она открыла глаза и сказала с улыбкой: – Мы, кажется, заснули? – Потом со вздохом медленно поднялась и пошла к своему автомобилю.

Прошло еще немного времени, и стало совершенно ясным, что даже при самом сильном желании Лола уже не могла бы выступать на сцене. Она не думала об этом, потому что незаметно для нее самой и бессознательно, как все, что с ней происходило, сцена отошла в далекое прошлое, и она перестала вспоминать о ней. Было очевидно и выходило само собой, что надо вообще покинуть свою ненужную теперь громадную квартиру и жить скромнее, чем прежде. Оставалось только уладить все финансовые дела и подвести итоги тому, сколько денег было прожито и сколько, в конце концов, оставалось. У нее могло быть значительное состояние, но в прежние времена она слишком широко тратила деньги и прекратила эти траты только в самые последние годы. Она выяснила после длительного подсчета, что оставалось у нее до удивительного мало – меньше двухсот тысяч франков. У нее был последний ресурс, которым она уже очень давно решила воспользоваться только в случае крайней необходимости и происхождение которого было не совсем обычно.

Это было больше тридцати лет тому назад, во время ее короткого романа с одним из знаменитых в те времена лондонских банкиров, уже немолодым человеком, очень в нее влюбленным. Он предлагал ей тогда все – свое имя, свою жизнь, свое состояние, все, что она захотела бы. Она, смеясь, отвечала ему, что ее имя лучше, чем чье бы то ни было, что его жизнь ей не нужна и что те деньги, которые он ей мог бы предложить, ее тоже не соблазняют, – она достаточно богата.

– Хорошо, – сказал он, – но вы подумали, что с вами будет потом, когда ваше имя забудут и вам останется только старость и бедность?

– Я умру молодой, – сказала она, – и не все ли мне равно, что будет после моей смерти?

Но его готовность сделать для нее все тронула ее; она стала его любовницей, не любя его, только чтобы доставить ему удовольствие. Через две недели, уезжая, он сказал ей, что знает: она не любит его, и с этим он бессилен бороться. – Но вы лучше, чем вы думаете, – прибавил он, – и я не хочу, чтобы вы считали меня неблагодарным.

И он объяснил ей, что, когда она захочет, в лондонском банке, адрес которого он ей дал, в любой день по личному ее требованию ей выдадут сумму денег, которую он оставит для нее, на ее имя. – Вы неисправимый банкир, – сказала она, – все в вашем представлении сводится к чекам и банкам. Мне не нужны ваши деньги.

И он уехал. Он умер лет через пять после этого от рака, и Лола никогда больше не видела его. Но она знала, что свое обещание он сдержал, – ей из банка было своевременно прислано уведомление, что деньги, положенные на ее имя таким-то, находятся в ее распоряжении. С тех пор прошло очень много лет, теперь она вспомнила об этом, и для того, чтобы раз навсегда избавиться от денежных забот, она решила поехать в Лондон и получить то, на что имела право, – за один случайный поступок, совершенный ею больше четверти века тому назад.

* * *

Была уже середина сентября, желтые листья лежали на тротуарах парижских бульваров, по утрам стоял иногда холодок. Все лето Сергей Сергеевич – за исключением первых полутора недель – провел в разъездах: был в Швеции, Норвегии, Финляндии, несколько раз в Англии, – поезда, автомобили, бюро, бюро, автомобили, поезда. Времени поехать на юг, как он сначала предполагал, у него не оказалось. В Париже все лето почти безвыездно прожил Слетов, который немного пополнел, совершенно оправился от своих сентиментальных потрясений и завел несколько знакомств; но ни одно из них, однако, не играло пока что решительной роли. Он жил один в квартире Сергея Сергеевича, успел привыкнуть к спокойному и комфортабельному существованию и опять, как в прежние времена, через разные промежутки времени начинал мечтать о постоянных вещах: службе, квартире, жене, детях, о небольшом уютном мирке, центром которого был бы именно он, Федор Борисович Слетов. Шестнадцатого числа вечером, когда он сидел в кабинете Сергея Сергеевича и читал, в доме вдруг началось непривычное дви-

жение, отворилось и затворилось несколько дверей – и в кабинет вошел Сергей Сергеевич, который сделал вид, что удивился, увидев Слетова.

– Ты что же, Федя, все без любви? – спросил он, улыбаясь своей всегдашней улыбкой и пожимая руку Слетову. – Тебе не кажется, что в этом опустевшем мире...

– Удивительный ты человек, Сережа, – сказал Слетов, – и явно ненормальный, не знаю, известно тебе об этом или нет.

– Я, признаться, сам это подозревал, но, наверное, по другим причинам, чем ты. А в чем, по-твоему, моя ненормальность?

– Да вот, ты можешь явиться с другого конца света после долгой разлуки, и я знаю заранее, безошибочно, что первые твои слова будут насмешкой. Понимаешь? Не приветствием, не выражением радости, а именно насмешкой. Ну, вот другой человек скажет: дорогой мой, здравствуйте, как поживаете, я так рад вас видеть и т.д. А ты скажешь: здравствуйте, почему у вас такой идиотский вид? Не буквально, конечно, но приблизительно.

– Ну, хорошо, мы обсудим это потом. А вообще, что нового?

– Фактически, собственно, ничего. Но ты знаешь, мне кажется, что я начал впервые понимать некоторые вещи.

– Память, память, – быстро сказал Сергей Сергеевич.

– Что память?

– Тебя обманывает. Ты забыл, что ты их раньше тоже понимал.

– Нет, не понимал.

– Понимал, понимал. Каждому состоянию души соответствует известное мировоззрение, которое... Понимаешь? Другому – другое, а тебе кажется, что это впервые, потому что память со всем этим связана и есть только один из факторов, а не самостоятельная величина – ты не думал об этом? Это элементарно. Но неужели так-таки ни одной встречи?

– Нет, встречи, конечно, были, – сказал Слетов, виновато улыбаясь, – но, так сказать, без последствий, знаешь, только беглые, случайные впечатления.

– Я лично не теряю надежды. В общем, ты счастливый человек.

– Почему?

– Потому что тебе, например, не нужно разбирать корреспонденцию, а я этим сейчас займусь.

Но он не успел выполнить своего намерения, потому что, как только Слетов вышел из кабинета, раздался телефонный звонок. Сергей Сергеевич взял трубку и услышал знакомый голос:

– Алло! Сережа?

– Это ты, моя милая, – сказал Сергей Сергеевич, – откуда ты звонишь?

– Из гостиницы, я сейчас буду.

– Хорошо, жду.

Через десять минут вошла Ольга Александровна. Лицо ее очень загорело, в темных глазах стояла застывшая нежность.

– Рад тебя видеть, – сказал Сергей Сергеевич. Веселые его глаза были возле ее лица, он несколько раз поцеловал Ольгу Александровну в щеки и в лоб. – Вот мы и вернулись, слава Богу. И такая же красавица, и такая же непонятная женщина. С вещами все благополучно?

– Сережа, – сказала Ольга Александровна, – я приехала для очень серьезного разговора.

В ее голосе была такая непривычная интонация, что Сергей Сергеевич не мог этого не заметить.

– Что-нибудь действительно серьезное?

– Да, Сережа, ты должен мне дать развод.

– Я надеюсь, Леля, ты не сомневаешься в моем хорошем отношении. Расскажи мне, пожалуйста, в чем дело.

Ольга Александровна объяснила Сергею Сергеевичу, что до сих пор ее жизнь состояла из ошибок, – прямо классицизм какой-то, – сказал Сергей Сергеевич, – но что, вот, теперь наступил перелом; она не та женщина, которой была.

– Ты знаешь, Леля, теперь это дело прошлое, – та, другая, была очень милая женщина.

Но Ольга Александровна продолжала. Она говорила о том, что теперь ей предстоит новая жизнь, требующая от нее полного, абсолютного участия. Жить на два дома она больше не может. Она должна выйти замуж. Сергей Сергеевич останется ее другом, как всегда, в этом не будет никаких изменений.

– Ты все это действительно обдумала?

– О, много раз – и все решено, Сережа.

– Мне очень жаль. Хорошо, пусть будет по-твоему. Но ты действительно подумала обо всем?

– Да, да.

– Можно один вопрос?

– Конечно.

– На какие деньги ты будешь жить? Твой будущий муж достаточно обеспеченный человек?

Темные глаза Ольги Александровны смотрели на Сергея Сергеевича с упреком; но, помимо упрека, в них было еще другое, труднообъяснимое выражение. Она молчала, Сергей Сергеевич тоже ничего не говорил. Наконец она сказала:

– Нет, Сережа, что угодно, а в этом я не могла ошибиться.

– Ах, Леля, ты сама говоришь, что вся твоя жизнь состояла из ошибок.

– Да, но не таких.

– Я заранее допускаю, – сказал Сергей Сергеевич, – что твой будущий муж замечательный человек. Не так ли?

– Да.

– Прекрасно. Но другие – мы сейчас вдвоем, Леля, мы можем говорить откровенно – были тоже замечательные. Однако у них всех была одна поразительная особенность, которой ты не знала.

– Опять эта ироническая философия, Сережа. Проснись же, наконец, пойми, что мы не шутим. Когда ты будешь умирать, ты тоже будешь насмешливо рассуждать?

– Не знаю, Леля, не думаю. Но особенность эта стоит того, чтобы о ней упомянуть.

– Ну?

– Она заключается в том, что все эти люди любили главным образом и искреннее всего не тебя, как это казалось на первый взгляд, а меня.

– Что такое?

– Ну да, меня. То есть не меня лично, если хочешь, а меня как человека, у которого ты берешь деньги, которые ты им даешь. Понимаешь? И исключений не было. Я не хотел тебя разочаровывать. Выходить замуж, однако, ты собираешься в первый раз за все время. Хорошо, выходи, но скажи твоему жениху, что денег у тебя нет.

Ольга Александровна сидела совершенно подавленная и не знала – верить или не верить словам Сергея Сергеевича. Но огорчало ее не то, что в дальнейшем она будет лишена средств к существованию, а что Сергей Сергеевич мог даже заговорить об этом.

Это ничего не изменит, – наконец сказала она.

– С твоей стороны, конечно. Но как среагирует на это Аркадий Александрович?

– Мы сейчас это увидим, – сказала Ольга Александровна. – Могу тебе заранее сказать, что он среагирует так же, как я. Бери эту слуховую штучку.

Она подвинула к себе телефон и вызвала Аркадия Александровича. Он тотчас же ответил.

– Аркаша, – сказала Ольга Александровна взволнованным голосом, – я только что была у Сергея Сергеевича. Он согласен дать развод, но отказывает мне в деньгах, у меня не будет ни копейки. Что мы будем делать?

После очень короткого молчания голос Аркадия Александровича ответил:

– Не знаю, Леля. Знаю только одно: мне кажется, что планов наших это не должно изменить.

Ольга Александровна пристально смотрела на Сергея Сергеевича.

– Надо будет переменить гостиницу сначала, – продолжал Аркадий Александрович, – но это все детали. Может быть, даже несомненно, нам придется туго. Меня лично ничто не пугает, если ты будешь со мной.

– Спасибо, Аркаша, я не сомневалась в этом, я скоро приеду, мы поговорим.

Она повесила трубку и по-прежнему молча смотрела на Сергея Сергеевича.

– Он, по-видимому, умнее, чем я думал, – сказал Сергей Сергеевич.

– Ты никогда этого не понимал, ты не способен поверить в чью бы то ни было любовь. Но теперь ты видишь это. А денег твоих мне не нужно.

– Слушай, Леля, – сказал Сергей Сергеевич, – ты понимаешь, я надеюсь, что я не собирался тебя лишать денег. Я только сомневался, чтобы вся эта история стоила твоего ухода.

– Если бы ты мог это постигнуть!

– Хорошо, Леля. Выслушай меня.

И Сергей Сергеевич начал говорить ей, что, по его мнению, не надо бросать дом из-за очередного романа. Он говорил, что Ольга Александровна давний и близкий друг, что без нее все опустеет, что она может продолжать жить, как она хочет, но должна остаться здесь.

– Подумай, Леля, – сказал он, – ведь все остальное случайно. Я тебя давно и крепко люблю – разве, если бы я тебя не любил, ты бы могла жить так, как жила всю жизнь, не считаясь совершенно ни с моими интересами, ни с интересами Сережи, который понимает многие вещи, – а их не должно было бы существовать, Леля.

Сергей Сергеевич знал, что это было больное место Ольги Александровны. Она сидела, опустив голову, и молчала.

– Несмотря на все это, – продолжал Сергей Сергеевич, – разве ты не знаешь, что тебя здесь окружают очень хорошие чувства, такие, Леля, которые не портятся от времени, подобно другим, случайным. Ну, хорошо, я не в счет, а Сережа?

– Мне это очень тяжело, – сказала Ольга Александровна – слезы стояли в ее глазах, – но что же делать? Теперь начнется другая жизнь, эта кончена.

– Вот меня ты упрекаешь в бесчувствии, – сказал Сергей Сергеевич, – тебя я не хочу упрекать ни в чем. Сту-

пай, живи, как хочешь, если ты считаешь, что так нужно. Мы все будем об этом жалеть. Но убеждать тебя, я считаю, не надо, раз ты можешь уйти, стало быть, твои теперешние чувства сильнее тех, на которые мы так напрасно, оказывается, надеялись. Иди, я тебя не держу. Но помни всегда, – сказал он, подняв глаза на Ольгу Александровну, – что где бы ты ни была и что бы с тобой ни случилось, ты можешь рассчитывать во всем на нас с Сережей. Я бы очень хотел сказать, что мы тоже можем рассчитывать на тебя, но я думаю, что это была бы ошибка.

Ольга Александровна плакала, сидя в кресле.

– Конечно, никакого решительно изменения материального порядка произойти не может, – сказал Сергей Сергеевич, – ты будешь жить так же, как прежде. Все, что принадлежит мне, принадлежит тебе.

* * *

Ольга Александровна вернулась в гостиницу с заплаканными глазами. Аркадий Александрович поцеловал ей руку – он был тоже взволнован. Но он сразу же стал утешать ее. В ту минуту, когда она позвонила ему по телефону, он меньше всего мог ожидать удара, который случился, но в первый раз в жизни он оказался на высоте положения. Он действительно не представлял себе теперь существования без Ольги Александровны и, отвечая ей, был совершенно искренен. Было, конечно, в этом еще одно объяснение его неожиданного благородства – он не успел понять как следует, в чем дело, его, в некоторых случаях медлительный, мозг воспринял это, как небольшой толчок, и не успел в ту минуту учесть всей важности вопроса. Но, во всяком случае, в данный момент он поступил совершенно правильно – в силу соединения различных и недоступных анализу причин, как почти всегда, когда трудно определить, почему, собственно, человек отвечает не так, а иначе, и почему очень часто нельзя заранее себе представить, какова будет его реакция на тот или иной факт – прилив минутного чувства, случайное и мучительное ощущение, боязнь неизвестности, темный инстинкт могут опре-

делить и обусловить совершенно неожиданный и нехарактерный для этого человека ответ. Но за то короткое время, которое прошло от телефонного звонка до приезда Ольги Александровны, Аркадий Александрович, расхаживая по комнате, успел о многом подумать. Сначала у него было впечатление, что произошла непоправимая катастрофа, потом, когда он немного успокоился, положение стало ему казаться менее трагичным. Во-первых, было все-таки невероятно, чтобы Сергей Сергеевич лишил Ольгу Александровну всяких средств к существованию; что-нибудь он, наверное, будет давать, и на это что-нибудь можно будет прожить. Но даже в том случае, если бы он действительно отказался от какой бы то ни было поддержки Ольги Александровны, оставался еще один выход – обращение к Людмиле. Аркадий Александрович очень хорошо знал, что нормальным путем добиться от Людмилы хотя бы ста франков будет невозможно. Выговорить себе какую-либо сумму за развод – слишком поздно, надо было это делать раньше; но тогда, на юге, он не мог этого предвидеть. Единственный способ, который оставался, это угроза непосредственного обращения к ее теперешнему жениху – угроза, которую он приведет в исполнение, если Людмила откажет ему. Аркадий Александрович даже успел подумать, что потребовать единовременно крупную сумму было бы нерационально – во-первых, потому, что будущему мужу Людмилы такая просьба со стороны не может не показаться странной, во-вторых, потому, что после взноса этой суммы угроза отпадет. Нужно было, наоборот, чтобы Людмила выплачивала ему помесячно то, на что, как он полагал, он имеет право; в случае неуплаты – письмо ее мужу и вытекающие из этого последствия. Аркадий Александрович знал, что все это далеко не так просто, что Людмила окажет ему отчаянное сопротивление, но окончательный, решающий аргумент был все же на его стороне. Конечно, Ольгу Александровну в это не следовало посвящать – да и сам Аркадий Александрович не мог думать об этом выходе из положения без невольного отвращения. Но он не представлял себе, как можно разрешить все иначе: свои возможности на основании длительного опыта он считал

ничтожными и имел на это все основания. Когда он увидел слезы на глазах Ольги Александровны, он подумал, что Сергей Сергеевич был категоричен, и это все-таки его взволновало.

– Что делать, Леля, проживем как-нибудь, – сказал он своим высоким и звучавшим несколько патетически голосом. – Будем работать...

– Нет-нет, – ответила Ольга Александровна, – я не об этом. Это все улажено.

Аркадий Александрович ощутил бурную радость, которую, однако, ничем не проявил.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Сергей Сергеевич мне сказал, что никаких изменений не будет, все по-прежнему. Но он так жестоко со мной говорил, так безжалостно, как только он способен сделать, не щадя ничего, Аркаша, ничего! И вот ведь, говорил хорошие слова и даже не улыбался, и знаешь – как острый нож!

И Ольга Александровна рассказала Аркадию Александровичу весь свой разговор. Аркадий Александрович внимательно слушал и потом сказал:

– Но ведь тут одна неправильность, Леля, вопиющая неправильность. Можно подумать, что я у тебя хочу что-то отнять. Нет, – только к твоей прежней жизни прибавляется еще одна и вовсе не требующая отказа от другой. Она вообще ничего не требует, она согласна удовлетвориться тем, что есть, – тем более, что вот это, существующее теперь, так неповторимо и прекрасно! Ты хочешь жить там – живи там, не хочешь выходить замуж – не выходи. Разве это может что-либо изменить? Разве это может изменить мою любовь?

– Ах, Аркаша, ты не знаешь, до чего ты хороший человек!

– Нет, нет, я только тебя люблю, вот в чем дело.

– Вот, никогда в жизни я не видела такого понимания, такого соединения, понимаешь, души и ума, как у тебя. Боже мой, столько лет прожить на свете и не встретить тебя!

– Зачем жалеть об этом? Это случилось – самое главное.

Аркадий Александрович в этот вечер был особенно ласков и нежен с Ольгой Александровной. Та короткая тревога, которую он испытал за время ее отсутствия – которая оказалась бесполезной, – перешла теперь с удвоенной силой в новый прилив благодарной любви. Через полчаса он совершенно забыл о своем плане шантажирования Людмилы, и если бы кто-нибудь высказал мысль, что он на это способен, он искренне считал бы этого человека дураком и мерзавцем.

В один из следующих дней он позвонил по телефону Людмиле, и через некоторое время они встретились в большом кафе на Елисейских полях.

И Людмила, и Аркадий Александрович были удивлены переменой, которая произошла в каждом из них и которую другой тотчас же заметил. Людмила обратила внимание на загорелое лицо Аркадия Александровича, на более быструю его походку; он очень похудел и приобрел то, что, по сравнению с прежним его видом, можно было назвать почти стройностью; он был уверен в себе, на нем был отличный костюм, и в глазах не было того уклончивого выражения, которое Людмила знала много лет. Аркадия Александровича, в свою очередь, поразила в Людмиле явная расслабленность голоса, непривычная задушевность интонаций, предназначавшихся не ему, но продолжающихся по инерции, и, в свою очередь, отсутствие настороженности в глазах.

– Рад тебя видеть, моя дорогая, – сказал Аркадий Александрович тем идеально независимым голосом, о котором раньше мог только мечтать, и поцеловал ей руку. Людмила заговорила по-английски, тотчас извинилась, сказав, что отвыкла от русской речи – знаешь, до того, что нередко вынуждена искать слова, – и испытала давнее ощущение разочарования; для асболютного ее удовлетворения нужно было бы, чтобы Аркадий Александрович был беден, плохо одет и унижен. К сожалению, это было не так. Это была нарушенная подробность ее давней мечты, но в полноте своего счастья она готова была простить Аркадию Александровичу даже это нарушение. Разговор, после того как были исчерпаны деловые вопросы, очень незначи-

тельные, велся на самые общие темы, и Аркадий Александрович и Людмила одновременно констатировали, что им, в сущности, не о чем говорить, и оба подумали о нелепости того, что эти совершенно чуждые друг другу люди прожили вместе много лет. И Аркадий Александрович, и Людмила были, в конце концов, неглупыми и довольно образованными людьми с богатым душевным опытом и должны были, казалось бы, найти темы для разговора; но сущность заключалась в том, что каждый из них в данный период времени был поглощен одной стороной своей личной жизни, и результатом этого являлось несомненное обеднение всех их эмоциональных и душевных возможностей, не касающихся непосредственно того, что оба считали самым главным. Людмила вскользь сказала несколько фраз, цель которых была дать понять Аркадию Александровичу, что ее будущий муж очень богатый человек, – говорилось о бешеных ценах, о том, что это черт знает что, – и всюду фигурировало местоимение «мы» – вплоть до «мы думали», «мы полагали», «мы заплатили», – и Аркадий Александрович не знал, чем это объяснить: то ли тем, что Людмила пользовалась всяким предлогом, чтобы подчеркнуть существование «достойного человека», то ли тем, что она действительно была к нему неравнодушна и потеряла поэтому чувство ridicule[1] и ту умность разговора, которые ее обычно не покидали. Аркадий Александрович, в свою очередь, действовал с теми же тайно-оскорбительными целями, что и Людмила, но прибегал для этого к противоположным приемам – ни разу не сказал «мы», не говорил ни о ценах, ни об автомобилях, но дал понять, что все обстоит очень роскошно, путем косвенного и случайного упоминания о второстепенных вещах – такого упоминания, вывод из которого даже не напрашивался сам собой, хотя и становился при первом размышлении очевидным. Таким образом, он вышел победителем из этого скрытого поединка и получил от этого несомненное удовольствие.

Выяснилось, что Людмила покидает свою квартиру через несколько недель. Аркадий Александрович

[1] смешного (*фр.*).

обещал заехать на днях, чтобы захватить свои книги и несколько вещей. Потом Аркадий Александрович заплатил, они вышли вместе, он направился к такси. – Подвезти тебя? – Нет, – сказала Людмила, – нам в разные стороны. – Они попрощались, Аркадий Александрович поцеловал своей бывшей жене ее холодную, как всегда, руку и подумал, что, может быть, они никогда больше не увидятся. И когда он ехал в автомобиле, один аккорд радио, игравшего в каком-то магазине, мимо которого он проезжал, вдруг поразил его тем, что показался необыкновенно знакомым. И тогда он сразу вспомнил последний вечер, проведенный вместе с Людмилой, года три тому назад, после долгого и мучительного разговора; она вошла тогда в гостиную и села за рояль. Аркадий Александрович стоял у двери. Она начала играть первое, что ей пришло в голову; то был шопеновский этюд – и Аркадий Александрович ясно видел сейчас перед собой ее белокурую голову и синие глаза перед черной зеркальной поверхностью рояля и слышал этот мотив, который, казалось бы, он давно забыл. И тогдашнее его чувство отчетливо вспомнилось ему – сожаление, что жизнь уйдет, как умолкнет сейчас эта мелодия в черном зеркале, и никогда, никогда... – остальное не поддавалось определению, как музыка, как чувство, как сон, с этой почти неподвижной и чужой женщиной за роялем, и что всякое искусство, и особенно музыка, не оставляет нам даже самого отдаленного, самого призрачного утешения. Он представил себе всю свою напрасную и неправильную жизнь; и впервые за последние месяцы тот тленный и преходящий мир, о котором он писал до сих пор, вновь промелькнул перед ним и скрылся в мгновенном полете вместе с последним отрывком шопеновского этюда.

* * *

Было послеполуденное время сверкающего сентябрьского дня, Сережа и Лиза собирались ехать в Монте-Карло – Сережа был уже одет и ждал на террасе Лизу, которая должна была выйти с минуты на минуту, – как вдруг раздался телефонный звонок. Сережа подошел к

аппарату. – С вами говорят из Парижа, – сказала телефонистка. Потом очень знакомый голос сказал:

– Алло! Сережа или Лиза?

– Здравствуй, папа, это я, – сказал Сережа.

– Я бы тебя не узнал по голосу, у тебя какой-то подозрительный бас. Все благополучно у вас?

– Да, – несколько замявшись, ответил Сережа. – Вот идет Лиза.

Лиза действительно подходила к Сереже.

– Хорошо, передай ей трубку. Лиза? Mon amour[1], надо, чтобы вы ехали в Париж.

– Мы, в принципе, так и предполагали.

– Собственно, еще несколько дней у вас есть, Сереже нужно быть в Лондоне в последнюю неделю сентября. Но вообще – помимо удовольствия, которое... Кстати, есть семейная новость.

– Не одна, – хотела сказать Лиза, которая всегда в разговорах с Сергеем Сергеевичем впадала в иронический тон. Но она спросила:

– Какая именно?

– Твоя старшая сестра выходит замуж за Аркадия Александровича Кузнецова.

– Ты с ума сошел!

– Не я, Лиза, не я. Но в связи с этим возникает ряд интересных соображений, которые...

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего специального, но кто знает, как сложатся события?

Лиза поняла, о чем думал Сергей Сергеевич, и эта мысль ее ужаснула. Она сказала:

– Ты думаешь... у тебя впечатление, что это ее окончательное решение?

– Боюсь, что.

– Какую глупость она делает!

– Не могу не согласиться с твоим мнением. Что у тебя?

– Все прекрасно, я провела очаровательное лето.

[1] Любовь моя (*фр*).

– Рад за тебя, я бы хотел сказать то же самое о себе, но это было бы неправда. Кстати, объясни, пожалуйста, Сереже, что его мать выходит замуж, рано или поздно. Хорошо, когда же вас ждать?

– Через некоторое время, без особого предупреждения.

– Прекрасно, всего хорошего.

– Прощай, Сережа.

Сережа, стоявший рядом, спросил, когда Лиза повесила трубку:

– Кто делает глупость, Лиза?

– Все, мой мальчик, – со вздохом сказала Лиза, – все. Но без некоторых глупостей не стоило бы жить, ты не думаешь?

Лиза не знала, сказать или не сказать Сереже, что Ольга Александровна выходит замуж. Собственно, никаких особенных причин скрывать это не было; но Лизе нужно было сделать большое усилие над собой, чтобы начать этот разговор, потому что за всеми этими вещами тотчас же возникало другое, о чем никогда не говорилось, но что не могло не чувствоваться. Но она все-таки, преодолев свое внутреннее нежелание поднимать все эти вопросы, сказала ему об этом вечером. Сережа был удивлен и огорчен.

– Я не понимаю мамы, – сказал он. – Конечно, это ее личное дело. Но мы все ее так любим, она такая очаровательная, и папа всю жизнь исполняет все ее желания. Зачем же этот брак?

– Уж не по расчету, конечно, Сереженька.

– Милая такая мама – и вдруг замуж за чужого человека! Нелепо, Лиза.

– Я тоже думаю, что нелепо.

– Я ей сегодня же напишу письмо, – сказал Сережа. – Она, наверное, обо мне тоже думает. Я ей напишу, что все равно я ее так же буду любить, как раньше, она моя мать, и это самое главное. Она такая очаровательная, Лиза, правда?

Лизе было не по себе, у нее было нечто вроде тревожного предчувствия, причина которого была ясна: пред-

стояло уехать отсюда, столкнуться вплотную со всеми, в сущности, почти непреодолимыми препятствиями, которые ее ожидали в Париже, оказаться сильнее всего этого и устроить так, чтобы и в дальнейшем они остались вдвоем с Сережей.

– Теперь так, Сережа, – сказала она, наконец. – Мы приедем в Париж, потом ты отправишься в Лондон. Я останусь там на месяц приблизительно, затем тоже приеду в Англию, и мы опять будем с тобой вдвоем. Понимаешь?

– Понимаю, Лиза, а почему целый месяц?

– Так будет лучше, Сереженька. Дальше: ты понимаешь, что об этом никто не должен знать?

– Хорошо, Лиза. И так всю жизнь?

– Может быть, всю жизнь, Сережа. Ты считаешь, что это не стоит?..

– О, si[1], десять жизней, если нужно.

– Ну, вот. А по правде сказать, мне не хочется ни в Париж, ни в Англию. Я бы хотела остаться с тобой здесь, мой мальчик.

– Это, к сожалению, нельзя устроить, я думаю.

– Совершенно невозможно. Хорошо, что хоть другое возможно. А теперь закроем глаза, забудем, что существуют Париж и Лондон, и будем жить, как раньше, эти несколько дней. Это наши последние дни на юге, – сказала она с невольной грустью в голосе.

– В этом году – конечно, что будет дальше – мы не знаем.

* * *

Они приехали в Париж утром, двадцать пятого сентября; Лиза не хотела, чтобы Сережа оставался больше, чем несколько дней, вместе с ней и Сергеем Сергеевичем в Париже. Так как Сергей Сергеевич не был предупрежден, то никто их не встречал, и они доехали до дому на такси. В квартире они нашли только Слетова, который им сказал, что Сергей Сергеевич вернется поздно вечером, его

[1] конечно (*фр.*).

вызвали в провинцию. В Париже Сережа тотчас же ощутил невыносимую разницу между той атмосферой, которая была на юге, и ледяной неуютностью, которая царила здесь. Он никогда не думал, что его дом покажется ему таким чужим и неприветливым. За весь день он только один раз поцеловал Лизу, войдя к ней в комнату. И он, и Лиза – несмотря на свой возраст и опыт, – преувеличивали опасность скомпрометировать себя и потому держались по отношению друг к другу с неестественной отдаленностью, так что даже Слетов спросил Сережу:

– Ты что, поссорился с теткой, что ли?

– Да, немного, – сказал Сережа, покраснев.

Вечером позвонил Сергей Сергеевич, сообщивший, что он задержался и вернется завтра утром. Тогда Лиза позвала Сережу к себе.

– Сережа, – сказала она почти задыхающимся голосом – он никогда не видел ее в таком состоянии, – я сейчас уйду, а ты уйди через полчаса. Вот тебе ключ. Приезжай на rue Boileau, сорок четвертый номер, второй этаж налево. Я буду тебя ждать. Иди.

– А там что? – растерянно спросил Сережа.

– Увидишь, – быстро сказала она. – Иди, иди.

Когда Сережа приехал туда, он нашел Лизу, которая с той стороны у двери ждала его. Она была в том же любимом халате с вышитыми птицами: Сережа подумал об этом и удивился, каким образом халат, который должен был еще находиться в чемодане, очутился здесь.

– Второй, Сереженька, – улыбаясь, сказала Лиза. – Это моя квартира, – объяснила она, – наша, если хочешь. Ты не знал, что у меня есть квартира?

– Нет, – удивленно сказал он, – зачем она тебе?

– Каждому хочется иметь свой собственный дом, – уклончиво сказала она. Если бы на месте Сережи был другой человек, она бы так не поступила; но Сережа слепо верил всему, что говорила Лиза, и находил замечательным все, что она делала. И все-таки его не следовало посвящать в это, но Лиза не могла поступить иначе, ее желание остаться с Сережей наедине было сильнее всех других соображений. Поздно вечером они вышли вдвоем; в про-

хладном воздухе Лиза ощутила печаль, которой не было на юге. Она отправила Сережу домой, а сама вернулась только через час – он уже спал крепким сном в это время. Все было тихо в доме, только в комнате Слетова был свет; Слетов читал мемуары Казановы и пожимал плечами – он очень неодобрительно относился к этому человеку, и ему казалось непонятным, как можно потратить всю жизнь на то, чтобы чуть ли не ежедневно менять любовниц: Слетов искренне этого не понимал.

На следующее утро Сережа, поговорив с отцом четверть часа о незначительных вещах и таким тоном, точно он расстался с ним только на днях – так всегда получалось с Сергеем Сергеевичем неизвестно почему, – узнал у него номер телефона Ольги Александровны и позвонил ей. Прерывающимся от радости голосом она попросила его тотчас же приехать, встретила его долгими объятиями и поцелуями, так, как будто ему удалось спастись от смертельной опасности и он чудом остался жив. – Мой маленький, мой миленький, такой большой, такой хороший, Сереженька! Ты не забыл маму?

В ее словах и интонациях было столько любви и нежности, что у Сережи появились слезы на глазах. Он подумал тогда же, что эту женщину, что бы ни случилось, он будет любить всегда самой лучшей любовью, и вдруг тот факт, что она выходит замуж, показался ему совершенно неважным и случайным. Точно угадывая его мысль, Ольга Александровна спросила:

– Ты не перестанешь любить свою старую маму за то, что она себя не так ведет, как нужно?

– Нет, мамочка, – целуя ее теплую руку, сказал Сережа, – нет, никогда не перестану любить, ты у меня одна, другой мамы нет.

– Мы с тобой будем часто видеться, будем вместе гулять и разговаривать, ты мне будешь все рассказывать, правда, Сереженька? Ты уезжаешь в Лондон? Буду к тебе ездить, ты у меня тоже только один, но зато такой хороший. Ты уж большой, ты скоро начнешь по-настоящему жить, и мы с тобой будем говорить обо всем.

– Вот, мамочка, знаешь, – сказал Сережа, сидя на ручке ее кресла и обнимая ее шею рукой, – я очень много понял за последнее время.

– Что же ты понял, Сереженька?

– Очень важные вещи, очень важные. И знаешь, как странно, – вот мы с тобой сейчас поговорим об этом. Ты никуда не торопишься?

– Нет, нет, говори.

– Вот, есть вещи, о которых мы, казалось бы, никогда не думаем, никогда мы их не обсуждали; а когда приходится, казалось бы, впервые с ними сталкиваться, выясняется, что мы имеем о них уже совершенно готовое представление.

– Ну, например?

– Вот, например, отношение к матери. Вот я тебя очень люблю и твердо знаю, что что бы ни случилось, все равно буду любить. Никакого другого человека, а именно тебя. Это, с одной стороны, конечно, чувство, но ему соответствует и теоретическое убеждение, непоколебимое, что это хорошо и так нужно.

– У, какие мы умные! – сказала Ольга Александровна. – Ну, так и быть, я тебе тоже сделаю признание. Ты знаешь, что я выхожу замуж?

– Да.

– Ну, так вот, мне совершенно безразлично, что об этом подумают. Если кто-нибудь огорчится, очень жаль – но что мне делать? И вот, единственное, что меня волновало, это как ты отнесешься. Смешно, правда? Ты еще ребенок, мальчик, ты, Сереженька, сосунок, и вот, когда ты не обращаешь на себя внимания и не важничаешь с другими и сам с собой, то и мордочка у тебя, как у сосунка. И вот, поди же, мне важно, чтобы именно этот сосунок меня не перестал любить.

– Этого ты можешь не бояться, мамочка.

– Я теперь не боюсь, я знаю, – сказала Ольга Александровна. – А я тебе соврала только что; мне надо уходить, но уж очень жалко расставаться с тобой. Мы пойдем вместе, ты меня проводишь, хорошо?

– Хорошо. Я завтра уезжаю, ты знаешь? Еду в Лондон.

– В котором часу?

– Утром, кажется.

– Тогда я с тобой попрощаюсь, я только через недельку приеду к тебе. До свидания, мой мальчик, – сказала она, поцеловав его несколько раз. Потом она перекрестила его тремя быстрыми крестами, повторяя: – Храни тебя Христос, Сереженька, учись, будь умницей.

– Ты со мной, как с ребенком, – сказал Сережа.

– Да нет, миленький, а неловко тебя на улице целовать и крестить.

Когда они расстались, у обоих было хорошо на сердце: Сережа был рад тому, что его мать нисколько не изменила его всегдашнему представлению о ней; у Ольги Александровны после разговора с Сережей отпала единственная неприятная мысль, которая появлялась у нее в последнее время и которая была о том, что ее новый брак может повлиять на отношение к ней Сережи.

* * *

В канун отъезда Сережи и Сергея Сергеевича в Лондон обед прошел бы в молчании, если бы не разговоры Сергея Сергеевича, который рассказывал о своих летних поездках, о том, что он видел за это время множество милейших людей; как всегда, все эти милейшие люди выходили совершенными идиотами, вопреки явно абсурдной их оценке Сергеем Сергеевичем. Сергей Сергеевич с особенным удовольствием описывал одного из своих бухгалтеров, работавшего в Норвегии и который был, по его словам, необыкновенным человеком.

– Чем же он необыкновенен? – спросил Слетов.

– А вот, – сказал Сергей Сергеевич. – Ну, представьте себе, был богатейшим человеком в России, ворочал миллионными делами, был отцом семейства и все такое. Жена его покончила с собой, дети тоже все погибли, состояние тоже, сам едва ноги унес. И вот что он мне говорит: вы, говорит, Сергей Сергеевич, пожалуйста, повлияйте на

служащих, чтобы они ко мне относились, как этого требует мой ранг и положение, – и слово такое странное, «ранг», видите ли. И вот что этого старика интересует – разве не трогательно? Вот тебе, Федя, один из вариантов теории ценностей.

Слетов пожал плечами; но и Лиза, и Сережа едва ли могли бы повторить рассказ Сергея Сергеевича – настолько оба были вне разговора. У Сережи совершенно не было аппетита, он почти ничего не ел; он думал, не переставая, о том, что завтра он уже не увидит Лизы. Лиза знала, что он об этом думает, и страдала одновременно за него и за себя. Сережа не думал, что это нехорошо, так как тяжело и ему, и Лизе, он был бессознательно эгоистичнее, чем она. Сергей Сергеевич не мог не заметить этой подозрительно одновременной подавленности их. Он был, однако, далек от мысли, что это может быть объяснено чем-нибудь иным, кроме случайного совпадения или, в конце концов, естественного огорчения. Он тут же подумал, что Сережа всю свою жизнь до сих пор проводил в обществе двух женщин, матери и тетки, и что это не могло не отразиться на его характере. Он полагал, однако, что Оксфорд, который он сам в свое время кончил – до того, как начал посещать лекции в Московском университете, – должен будет повлиять на Сережу в нужном направлении. Постоянная душевная размягченность его сына, которую он унаследовал от своей матери и с которой до последнего времени Сергей Сергеевич почти не пытался бороться, казалась ему, однако, отрицательным качеством. После обеда, оставшись вдвоем с Лизой, он заговорил об этом между прочим, как всегда. Лиза очень резко ответила ему:

– Наверное, горбун считает, что отсутствие горба есть недостаток.

– Если, Лиза...

– Что «если»?

– Если он не только горбун, но при этом еще и дурак.

– Я не понимаю, что дурного в том, что у мальчика доброе сердце? С какой угодно точки зрения, это положительная черта.

– Боксом ты не занималась, Лиза?

– Как ты не понимаешь, что нельзя все сводить к этому идиотскому спорту. Идет речь о душе – сравнение с боксом, о любви – рациональное физическое развитие, о несчастии, огорчении, неудаче – я уж не знаю, с чем ты это будешь сравнивать – может быть, с футболом?

– Боюсь, Лизочка, ты меня не поняла. Дело не в непосредственном...

– Договаривай ты, ради Бога. Непосредственном – чём?

– Сравнении, voyons[1]. Но вот в чем дело. Ты наносишь одинаковой силы удар одному человеку, потом другому. Один падает в обморок, другой остается стоять как ни в чем не бывало. Почему?

– Потому что один слабый, другой сильный.

– Нет, совершенно одинаковы.

– Так почему же?

– Потому что первый размягченный, второй тренированный. А первоначально чувствительность одинакова.

– Так ты хочешь тренировать Сережу?

– Именно.

– Зачем?

– Затем, Лизочка, что это мой сын, затем, что я его люблю, затем, что хочу, чтобы на его долю выпало возможно меньше страданий и огорчений, которые неизбежны, если он будет таким, как сейчас. Понятно?

– А какое ты имеешь право это делать? Пусть живет, как хочет. Оставь свою философию для себя, подумай о том, что, слава Богу, другим людям она не нужна, они в ней задохнутся.

– Так уж и задохнутся. Но даже если так: слабые задохнутся, сильные выживут.

– Какая примитивная концепция!

– Никак тебе не угодишь, Лиза, все тебе не нравится. Что с тобой случилось в последнее время? Ты даже защищаешь размягченность, которая ведь и тебе самой не очень свойственна.

– Это кто тебе сказал?

[1] ясно же (*фр.*).

– Мне так казалось.

– Потому что ты меня не знаешь, мой милый.

– Так безжалостно разбиваешь мои лучшие иллюзии, Лиза. Мы с тобой поговорим, когда ты будешь в хорошем настроении, если это когда-нибудь произойдет. Стало быть, я тебя не знаю. On aura tout vu[1], как говорится. Спокойной ночи, прекрасная незнакомка.

Он поцеловал ей руку и ушел в свой кабинет работать. Он был такой же насмешливый и веселый, как всегда. Но Лизе, смотревшей на него с враждебным вниманием, к которому примешивалось далекое, почти забытое, но все же существующее сожаление, показалось вдруг, что в его глазах на очень короткое время появилось почти страдальческое выражение, которого она до сих пор никогда не замечала, и она подумала, что уход Ольги Александровны все-таки был для него ударом, который, при всей его идеальной «тренировке», он не мог не почувствовать гораздо более, чем это можно было предположить.

Сергей Сергеевич, действительно, был очень огорчен уходом Ольги Александровны, хотя и испытывал совсем не те чувства, которые должен испытывать муж, когда его покидает жена. Он всегда поступал в своей жизни в большем или меньшем соответствии с той этической системой, которую он себе выработал и в которой внешние, декоративные, так сказать, принципы играли главную роль. Она не была основана, как это должно было быть, на его личных чувствах, и он сам не мог бы себе объяснить, почему, собственно, нужно было поступать так, а не иначе; но что нужно было поступать так, это он твердо знал. В ней было много просто абсурдных и нелепых вещей, и он не мог этого не понимать; тем не менее он считал их необходимыми. Должна была существовать семья; должен был существовать наследник его имени и состояния и продолжатель рода; должна была существовать жена. И вот одна сторона этой системы вдруг исчезла, что было ее грубейшим нарушением. Конечно, Сергей Сергеевич знал, что уход Ольги Александровны не только исчезновение этой

[1] Посмотрим (*фр.*).

стороны, это еще и пустота, которая должна была образоваться в том месте, где были ее нежные глаза, ее ласковая и быстрая речь и все ее многолетнее очарование, которое Сергей Сергеевич очень ценил со стороны. Но моральная сторона ее ухода была ее личным делом, в которое он считал себя не вправе вмешиваться. Он вспомнил, как ему хотелось еще совсем недавно, несколько месяцев тому назад, чтобы Ольга Александровна нашла, наконец, человека, на котором остановилась бы; его мечта исполнилась – но не так, как он это себе представлял. И вот это несоответствие его представления с действительностью было ему неприятно. Он, кроме того, полагал, что Ольга Александровна должна была бы остаться еще и потому, что этого требовали интересы Сережи; не непосредственные его интересы, так как он уезжал в Англию, а интересы традиционные. Одним словом, он допускал все отступления от личной морали, но был сторонником некоторых почти патриархальных принципов. Как многие люди, лишенные прочных и узких убеждений, он понимал убожество политических доктрин, над которыми смеялся, понимал спорность и нередко бессмысленность тех вопросов, которые в известный момент считались актуальными, – и вместе с тем, несмотря на крайний свой скептицизм, был сторонником так называемых семейных устоев, хрупкость которых ему должна была быть известнее, чем кому бы то ни было. Весь опыт его жизни убеждал его в том, что нет или почти нет вещей, на которые можно было бы положиться, что политические взгляды, государственные принципы, личные достоинства, моральные базы и даже экономические законы – это он знал наверное – суть условности, по-разному понимаемые различными людьми и сами по себе почти лишенные какого-либо содержания. И оттого, что он это знал, происходила его широкая терпимость ко всему, его одобрение многих явно не заслуживающих одобрения вещей, словом, то, что приписывалось его великодушию, щедрости и идеальному характеру и что в самом деле было результатом неуверенности. Он начинал действовать только тогда, когда его к этому вынуждали, – и делал это всегда неохотно; но таких случаев в его жизни

было несколько; и он никогда не мог вспомнить об этом без отвращения, как, например, о дуэли, к счастию, без смертельного исхода, от которой Сергей Сергеевич не счел себя вправе отказаться, хотя и говорил всегда, что считает ее глупостью. Были, наконец, биржевые операции, совершая которые он знал, что разорит таких-то людей, – но здесь он имел дело с цифрами, и ему было легче. Но вообще действовать он не любил, хотя все в нем было, казалось, создано именно для действия – быстрота понимания и суждения, постоянное хладнокровие, полное подчинение всех способностей – душевных, умственных и мускульных – своей воле, в этом смысле он был похож на прекрасную пружину, качества которой, однако, пропадали даром. Он оказывался на высоте положения во всех трагических обстоятельствах, – так было в Крыму, при отступлении белых армий, так было во время второго покушения на него на людной улице, когда он один успел заметить быстрое движение человека, выхватившего нож, – и задержать его руку; но до тех пор, пока самые жестокие условия не вынуждали его действовать, он насмешливо рассуждал обо всем, восхищался заведомо глупыми людьми и был неизменно благожелателен и пассивен. Таким образом, никто – кроме Лизы, которая, однако, тоже не была в этом уверена, – не мог бы подумать, встречаясь часто с Сергеем Сергеевичем, что второй брак Ольги Александровны был для него, в сущности, первым поражением в его жизни – в той ограниченной области, вне которой он допускал все, но которую до сих пор ему удавалось сохранить в неприкосновенности.

После отъезда Сережи, которого Сергей Сергеевич проводил в Лондон и даже задержался там на два дня, и Ольги Александровны в доме остались трое: Сергей Сергеевич, Лиза и Слетов. Они все встречались за завтраком и за обедом, и у всех троих была очень разная жизнь, так что почти ничего их не связывало. Но в первые же дни после отъезда Сережи Сергей Сергеевич должен был констатировать, что Лиза стала совершенно не похожа на себя. Не говоря о том, что, когда Сергей Сергеевич подходил к ней, он встречал неизменно враждебный взгляд, – и станови-

лось ясно, что в данный момент никакое возобновление их прежних отношений невозможно, – она перестала следить за собой, причесываться, пудриться, мазать губы, и сосредоточенно-печальное выражение ее лица оставалось все время неизменным.

– Что с тобой, Лиза?

– Ничего, оставь меня в покое.

Несколько раз она не ночевала дома, но Сергей Сергеевич даже и не думал о возможности визита на rue Boileau – он слишком хорошо знал Лизу, чтобы представить себе, как был бы встречен. Но ее состояние казалось ему почти тревожным.

Как-то за столом возник спор о Сереже. Сергей Сергеевич сказал, что теперь впервые в своей жизни Сережа живет более или менее самостоятельно, что это очень хорошо и нужно, чтобы он успел сформироваться в новой обстановке и стать мужчиной.

– Я, кстати, поеду через некоторое время в Англию, – сказала Лиза, – надо посмотреть, что он там делает.

– Мне это не кажется абсолютно необходимым. Тем более, что я там бываю довольно часто.

– Ты же знаешь, что у Сережи с тобой гораздо меньше общего, чем с Лелей и со мной.

– К сожалению. Но это недостаток, мы уже как-то говорили с тобой об этом.

– Знаешь, спорить, по-моему, бесполезно. У нас разные взгляды на воспитание.

– Несомненно. В этом вопросе, однако, есть одна подробность: Сережа мой сын, и воспитываю его я.

– Поздно ты спохватился.

– Надеюсь, что еще не поздно.

Лиза получала каждые два дня письмо от Сережи по адресу своей квартиры на rue Boileau. Сережа писал, что без нее ему ничто не интересно, что его жизнь проходит в ожидании ее приезда. «Все как во сне, – писал он, – все ненастоящее, потому что нет тебя. Я знаю, что надо учиться, но не чувствую никакого желания заниматься и изучать разные бесполезные вещи, которые, может быть, имели бы смысл, если бы мы были с тобой вдвоем. Когда

я один, они мне кажутся совершенно ненужными». Лиза отвечала ему, просила подождать еще немного и не скучать, но письма ее были лишены убедительности, так как она сама испытывала все время смертельную, непрекращающуюся тоску. Ее все раздражало, она плохо и мало спала, плохо и мало ела, не могла ни на чем сосредоточиться, не могла читать; и за очень короткое время она похудела и подурнела, так что Сергей Сергеевич сказал ей:

– Я боюсь, Лизочка, что если такое состояние будет продолжаться, то твоя блистательность рискует несколько потускнеть.

Оставаясь один, он ломал себе голову над тем, что это могло значить. В конце концов он остановился на мысли о том, что у Лизы на юге был какой-то неудачный роман и что теперь она переживает очередное разочарование, более сильное, чем предыдущие. Это в известной мере было естественно; ей не двадцать лет, жизнь проходит, она не может этого не понимать. Сергей Сергеевич даже намекнул ей как-то о том, что, ввиду брака Ольги Александровны, было бы, может быть, желательно...

– Скорее смерть, чем брак с тобой, понимаешь? – в бешенстве сказала Лиза.

– Как это определение романтизма? – задумчиво сказал Сергей Сергеевич. – Exagération du sentiment personnel?[1] Да, кажется, так. Ты опоздала родиться почти на полтора столетия, Лиза. Тебе бы с Байроном тогда познакомиться. Поэт немного хромой, но очень, очень милый и ценивший преувеличения.

– Клоун! – сказала Лиза и ушла, хлопнув дверью. Из-за тотчас же открывшейся двери показалось смеющееся лицо Сергея Сергеевича, и его голос сказал:

– Как героиня в мелодраме. Лиза, ты не знаешь, до чего ты восхитительна и классична! C'est de la Comédie Française le jour des abonnés[2].

---

[1] – Гипертрофия личного чувства? (*фр.*)

[2] Прямо Комеди Франсез (*фр.*).

Но на самом деле состояние Лизы было ему почти так же неприятно, как поведение Ольги Александровны. Происходило то, чего он, в сущности, ожидал всегда – постепенный уход от него близких людей; в дальнейшем ему, по-видимому, предстояло одиночество. Лиза уже не в первый раз говорила о поездке в Англию, быть может, герой ее романа находился там и почему-либо не мог или не хотел приехать?

Он все чаще и чаще уходил один гулять по Парижу, проходя по улицам с непривычной для него бесцельностью. Так как многие его знакомые жили примерно в одном и том же районе, то он неоднократно встречал некоторых из них; в проехавшем очень солидном автомобиле он видел однажды Людмилу, сидевшую рядом с пожилым и приятным человеком, тем самым, из-за которого она разводилась со своим первым мужем; один раз он видел и его – тот медленно шел, засунув руки в карманы и глядя прямо перед собой блеклыми рассеянными глазами.

Однажды он вышел на свою очередную прогулку в субботу, под вечер. Был конец октября и удивительно мягкая, необычайная для этого месяца в Париже погода. Он был в Булонском лесу, затем поднялся до площади Этуаль, потом вышел на avenue Victor Hugo и свернул на rue de la Pompe. Движение было не очень большое, было довольно тепло, но в поднимавшемся от времени до времени легком ветре явственно и обманчиво пахло зимой. Он шел и думал, что теперь поздно уже, быть может, что-либо менять в этом нелепом, в сущности, правиле, которое он сам себе навязал и которого неизменно придерживался всю жизнь, – правиле de la bonne mine au mauvais jeu![1] В конце концов оно принесло скорее вред, чем пользу. Зачем было нужно, думал он, так притворяться всю жизнь и так ее провести, точно на сцене? Но эти мысли были почти лишены горечи, были почти что созерцательны – это объяснялось тем, что стояла все-таки очень хорошая погода, воздух был нежный и вкусный. Дойдя до угла rue de la Pompe и rue de Passy, Сергей Сергеевич подумал, что с удовольствием

[1] хорошей мины при плохой игре (*фр.*).

выпил бы чаю. Он вошел в магазин Marquise de Sevigné. Все столы были заняты. Недалеко от входа спиной к нему сидела очень пожилая дама в трауре. В ее плечах и спине было что-то знакомое. Сергей Сергеевич подошел ближе, дама повернула к нему лицо – и он узнал Лолу Энэ. Он именно узнал ее – настолько она изменилась. Старческие, ласковые, безразличные ее глаза посмотрели на него, она, улыбаясь, кивнула головой. Сергей Сергеевич вспомнил, что после ее визита к нему с предложением субсидировать мюзик-холл у нее умер муж, – он тогда же послал ей официально-сочувственное письмо, но с тех пор ничего о ней не слышал.

– Вы разрешите? – спросил он, подходя к ее столику.

– Да, да, пожалуйста, – ответила она.

Сергей Сергеевич после нескольких слов разговора убедился, что Лолу, с которой он говорил сейчас, от той, которая приходила к нему, отделяло расстояние целой жизни. Теперь иначе как очень старой женщиной ее нельзя было назвать. Когда речь зашла о ее покойном муже, ее глаза мгновенно наполнились слезами, что очень удивило Сергея Сергеевича, который так же, как и все, хорошо знал, что ее супружеская жизнь была тяжела и неудачна. Ни она, ни он не говорили о мюзик-холле – это казалось столь же неестественным, сколь неестественным показался бы разговор о том, например, что Лола собирается поступить в гимназию. И Сергей Сергеевич так же, как и все остальные, не мог не заметить поразительной душевной перемены в Лоле. Она рассказала ему, как и другим, о том, каким замечательным человеком был ее муж и как она его любила, и прибавила, что почти кончила свои мемуары. О ее сценических проектах Сергей Сергеевич не спрашивал, это было бы очевидной неловкостью. Она сказала ему, в частности, что на днях собирается в Лондон по делам, но что быстро устает и боится утомительности этого путешествия. – Вот вы очень много ездите, – сказала она, – какой способ передвижения вы рекомендуете? – Сергей Сергеевич ответил, что наименее утомительно, по его мнению, путешествие на аэроплане – меньше чем через два часа

она будет в Лондоне. – C'est une idée[1], – сказала Лола, – я, может быть, воспользуюсь вашим советом.

Сергей Сергеевич вышел на улицу, всецело находясь под впечатлением этой встречи и той удивительной перемены, которая произошла с Лолой. Светило позднее осеннее солнце. Впереди шли две хорошо одетые дамы, одна из них сказала нараспев по-русски:

– А мне все равно, что они так говорят. Просто сволочи, моя милая, вот в чем дело.

Сергей Сергеевич пошел вниз, по avenue Mozart. Он шел вначале, казалось бы, без цели. Потом он подумал, что следовало бы раз в жизни поговорить с Лизой обо всем без иронии, совсем серьезно и до конца. Надо ей сказать, что вот, она осталась одна у него, что никого, в сущности, кроме нее, он никогда не любил, если не считать кратковременного, в конце концов, увлечения ее старшей сестрой. Надо ей сказать, что он сделает над собой усилие, чтобы стать похожим на того героя ее романа, о котором она мечтала, и что это должно ему, в общем, удаться. Надо ей сказать, что он будет нежнее и чувствительнее, что он понимает теперь, с недавнего времени, что самое ценное в мире – это все-таки любовь, и это всегда будет так, сколько бы над этим ни смеялись.

Он дошел до rue Boileau, остановился на секунду у сорок четвертого номера, поднялся по лестнице на второй этаж и открыл ключом дверь. В квартире были спущены ставни, было полутемно. Голос Лизы сказал:

– Сережа?

Сергей Сергеевич мгновенно остановился. Лиза назвала его по имени, но он не мог ошибиться в интонации: таким голосом она никогда к нему не обращалась. Невероятная мысль промелькнула в его мозгу, он встряхнул головой. На полу в передней он заметил маленький кожаный чемодан. – Это я, – сказал он и вошел. Лиза лежала в кровати; волосы ее были распущены, лицо в полутьме казалось еще более смуглым, чем всегда. Она увидела в просвете двери знакомую широкую фигуру. Приподнявшись на локте, сказала задыхающимся шепотом:

---

[1] – Это мысль (*фр.*).

– Уходи, уходи сейчас же, ты слышишь? Я умоляю тебя, уходи!

– Я не знаю, надо ли мне уйти, – сказал Сергей Сергеевич. У него болело сердце, ему было холодно и нехорошо, и он успел с удивлением подумать, что эти ощущения он испытывал в первый раз в жизни.

– Уходи, ты губишь меня! – В голосе Лизы слышались слезы. – Сережа, – повторила она, – милый, уходи!

Сергею Сергеевичу показалось, что во входной двери щелкнул ключ, но он подумал, что это послышалось ему. Медленным голосом он сказал:

– Лиза, ты была моей любовницей много лет...

Лиза рыдала, уткнувшись головой в подушку. Сергей Сергеевич услышал движение в передней, обернулся и увидел Сережу, который стоял со свертком в руках и слышал его последние слова. – Я думал, ты в Англии, – как сквозь сон сказал Сергей Сергеевич. Но Сережи уже не было, он бросил сверток и выбежал из квартиры.

– Боже мой, какой ужас! – сказал Сергей Сергеевич.

Он сел в кресло и долго молчал. Плечи Лизы все время тряслись и вздрагивали. Сергей Сергеевич посмотрел на нее невидящими глазами. Наконец он сказал:

– Лиза, как ты могла это сделать?

В комнате становилось совсем темно, за окном наступали быстрые сумерки. Было тихо, слышалось только учащенное дыхание Лизы. Отчаяние, охватившее ее с той минуты, когда в двери появился Сергей Сергеевич, не прекращалось, она не могла говорить. Наконец она подумала, что единственный шанс спасения – это рассказать все Сергею Сергеевичу, затем найти Сережу и объяснить ему, что все неважно, кроме ее любви к нему, что как бы ни казались непоправимы некоторые вещи...

Она рассказала Сергею Сергеевичу – в комнате было уже совсем темно, никто из них не подумал зажечь свет – все, что произошло на юге, во всех подробностях, и прибавила, что вне ее любви к Сереже для нее мир не существует. Она сказала, что знает о всех препятствиях к этому – об ужасном родстве, о разнице возраста, о том, что

это вообще кажется невозможно и чудовищно, и вместе с тем, если этого не будет, то жизнь, конечно, теряет всякий смысл.

– Хорошо, Лиза, – сказал из темноты голос Сергея Сергеевича, – но это все о тебе. Я понимаю, что тебе очень тяжело. Надо, однако, подумать о Сереже – прежде всего.

– Для него все так же, как для меня, без меня он не представляет себе существования.

– Я понимаю. Но ему семнадцать лет, ты первая женщина в его жизни. Вспомни твой первый роман, что от него осталось? Нет, мне кажется, пожертвовать Сережей, даже для тебя – нельзя.

И Сергей Сергеевич сказал, что, по его мнению, следует все объяснить Сереже, убедить его в том, что нельзя строить жизнь на невольном преступлении и что надо забыть об этом.

– То есть ты хочешь, чтобы я отказалась от него?

– Я этого требую, – сказал Сергей Сергеевич. – Ты не привыкла к каким бы то ни было требованиям с моей стороны. Но вот, первый раз в жизни, я требую от тебя этого отказа.

– Ты не понимаешь, что ты говоришь.

Но Сергей Сергеевич настаивал. Он говорил о том, что всякий настоящий человек, и особенно человек, который любит, должен найти в себе силы для личной жертвы, отказаться от себя, чтобы не губить того, чье существование кажется ему самым ценным.

– Ты так говоришь, ты можешь так говорить только потому, что не понимаешь, что такое любовь. Любовь – это значит, что ты не можешь жить без этого человека, не хочешь жить, хочешь умереть, ты понимаешь?

– Понимаю. Надо отказаться.

– Тебе легко об этом говорить!

– Нет, Лиза, не легко. Я тебя давно люблю, и, ты видишь, я отказываюсь от тебя. Я даю тебе полную свободу – все, что угодно, кто угодно – но только не Сережа.

Лиза подумала, что наступила, наконец, минута, которой она всегда так боялась, – когда эта рассуждающая

машина пришла в действие. Она почувствовала, что никакие просьбы на Сергея Сергеевича не подействуют. Но она сказала:

– Нет, этого ты запретить мне не можешь. Это моя жизнь, я имею право ею распоряжаться.

– Да, но не жизнью Сережи.

– Это одно целое.

И вдруг Сергей Сергеевич сказал с неподдельным изумлением и гневом в голосе:

– То есть как? Неужели ты действительно неспособна от этого отказаться? Какая же тогда цена твоей любви?

– Не говори о любви, ты ее не знаешь.

– Я слышал это много лет от тебя и от твоей сестры. Я ее не знаю – наверное, потому, что любить в твоем представлении значит приносить все в жертву чувственности. Ничто не существует – ни любовь настоящая, ни забота о том, кого ты любишь, ни его интересы, ни твои обязательства, ни стыд – ничего! И даже возможность отрешиться на какое-то время от этого физического томления, чтобы понять какую-то необходимую частицу справедливости. Да, в этом смысле я любви не знаю, действительно. Я не бросил бы на произвол судьбы дом, жену и сына – только потому, что мне приятно проводить время с любовницей. Но настоящую любовь знаю я – а ты ее не знаешь. Леля лучше тебя, она бы меня поняла. Она чувственная и легкомысленная, но у нее прекрасное сердце, и она десять раз принесла бы себя в жертву, если бы это было нужно. А ты неспособна даже это сделать.

– Я не могу все это слышать! – закричала Лиза. – Ты не имеешь права говорить это мне, ты вообще не имеешь права говорить что бы то ни было. Я тебя давно ненавижу, – сказала она с силой, – потому что ты – машина, автомат, потому что ты неспособен понять ни одного человеческого чувства. Разве ты не видишь, как все пустеет вокруг тебя? Леля ушла, я ушла, Сережа ушел. Ты требуешь от меня этой жертвы – это значит моей жизни! Да, для тебя такая жертва легка, конечно.

– Все, что ты говоришь, несправедливо, Лиза,– ответил из темноты его медленный голос. – Разве ты знаешь, что такое страдание, жертвы, несчастье? Ты не имеешь об этом отдаленного представления, и ты считаешь не заслуживающими ни внимания, ни сожаления всех, кто не похож на тебя, ты никогда не сделала ни одного усилия, чтобы их понять – вроде этого несчастного Егоркина, который, однако, при всей его наивности и того, что он ridicule[1], представляет из себя большую человеческую ценность, чем ты. Я тебя очень хорошо знаю.

– Это ты мне говоришь такие вещи?

– Смотри, Лиза, что для тебя важнее всего? Алчность и эгоизм. Что тебе, если несчастный и доверчивый мальчик исковеркает всю свою жизнь из-за тебя? Об этом ты не думаешь. Зато ты приятно проведешь время – до тех пор, пока не встретишь кого-нибудь, кто тебе понравится больше Сережи, – и вот тогда-то ты от него откажешься с необыкновенной легкостью, эту жертву ты, конечно, принесешь.

Он замолчал. Лиза ничего не отвечала ему, собираясь с мыслями. И вдруг он сказал – и в голосе его послышалась невольная и неожиданная улыбка:

– И я все-таки люблю тебя.

– Я знаю, – сказала Лиза с презрением, – ты машина, но идеально сделанная машина, совсем как человек.

– Другая грубая ошибка, Лиза. Пойми же, что я совсем не машина. Меня ты и Леля всегда считаете машиной, потому что вы не понимаете, что меня заставляет так жить. Ты не думала об этом? Мне жаль людей, ты понимаешь? Мне всегда было жаль Лелю – зачем я заставлял бы ее страдать, преследуя ее за бесконечные романы? Я позволял ей жить, как она хочет, – и тем более бескорыстно, что знал, что никакой благодарности за это не будет, она продолжает считать меня бездушным человеком. Мне жаль было тебя – и ты должна это знать. Мне всех жаль, Лиза, потому я не возражаю людям, не мешаю думать, что они хотят, и жить, как им нравится, хотя действуют они почти всегда неправильно. И вот еще одно доказательство, что я

[1] смешон (*фр.*).

не машина, – это то, что этой жалости есть предел. Мы с тобой дошли до него сегодня.

Лиза услышала, что он встал с кресла.

– Я ухожу, – сказал он. – Надо разыскать Сережу. Между ним и тобой все кончено. Я постараюсь, чтобы ты больше его не увидела.

– Я убью тебя, – сказала Лиза совершенно спокойно.

– Нет, потому что тогда Сережа все равно для тебя потерян. Кроме того, ты знаешь, меня это не пугает, я смерти не боюсь. И если ты думаешь, что я очень дорожу своей жизнью...

Он повернул выключатель. Лиза сквозь зажмуренные от резкого света веки видела его высокую широкую фигуру и неподвижное лицо с непривычным, рассеянным и печальным, выражением. Он взял шляпу и перчатки и, не прибавив ни слова, не попрощавшись с Лизой, вышел из комнаты. Через секунду щелкнула входная дверь. Не закрывая подурневшего от слез лица руками, Лиза громко плакала.

* * *

Сережа выбежал из дому в совершенном исступлении, почти не понимая, что он делает, вернее, он понимал каждый свой поступок через некоторое время после того, как его совершил. Улица была пустынна. Он быстро пошел по ней вниз, дошел, не заметив этого, до avenue de Versailles и, увидев скамейку, сел на нее. Слезы душили его и мешали ему думать. Фраза его отца все звучала в ушах: «Лиза, ты была много лет моей любовницей...» Что это значит? Конечно, это была правда, так как отец знал о существовании ее квартиры. Но как это могло произойти? Как Лиза могла не сказать ему об этом? – Боже мой, что же теперь делать? – сказал он вслух. Значит, теперь об этом знает Сергей Сергеевич. Дома у Сережи больше нет. Лиза тоже навсегда потеряна для него. Лиза, такая замечательная Лиза! Так вот что это было на самом деле! Значит, все – детство, ее смуглые руки, все это родное, теплое и замечательное, все шестнадцать лет его жизни и такое их удиви-

тельное, ослепительное завершение, – все это было чудовищный и жестокий обман. Зачем же он так торопился? Он не мог выдержать больше в Лондоне и сегодня утром, никого не предупредив, уехал в Париж, к Лизе – оказывается, для того, чтобы после жарких ее объятий выйти на четверть часа из дому купить чего-нибудь к чаю, вернуться и услышать эту беспощадную, не оставляющую никаких сомнений фразу, сказанную всегдашним, спокойным голосом отца. Значит, все кончено!

И тогда он вспомнил о матери. Только она оставалась у него, – но ей он не мог рассказать об этом. Он еще раз подумал обо всем этом. Все рухнуло. Отца нет, Лизы нет – ее любовь невозможна. Что делать теперь – и зачем?

Мимо него прошла семья мастерового – отец, мать и маленький мальчик лет шести. Потом прошли, тесно обнявшись, влюбленные. Он, не видя, бессознательно, провожал их глазами. Становилось холодно. Он плотнее запахнул пиджак, и почувствовал что-то твердое в боковом кармане, и вспомнил, что это был его паспорт. Тогда он поднялся и поехал на вокзал.

Ночью он был в Лондоне, в прохладной и пустынной квартире отца. Он вошел в его кабинет, открыл несколько ящиков и в последнем, внизу справа, нашел углом лежащий револьвер. Все было тихо. Он сел за стол и написал на листке, вырванном из блокнота:

«Дорогая мамочка, прости меня за огорчение, которое я тебе причиняю. Я тебя люблю больше всех на свете. Жить больше я не могу. Я жалею, что не вижу тебя сейчас. Прости меня за все. Твой Сережа».

Он взял револьвер и приложил к виску. Его слегка тошнило, ему было очень страшно. Он подумал, что будет нехорошо, если найдут его труп с изуродованной головой, и приложил револьвер к груди, к тому месту, под которым глухо и отчаянно билось сердце. Потом он закрыл глаза и выстрелил.

Была тихая прохладная ночь, высоко в темном небе стояли звезды, чуть хлюпала темная Темза в своих каменных берегах.

* * *

Совершенно так же, как было невозможно представить себе виллу Сергея Сергеевича на юге без Нила, так же нельзя было представить себе его лондонский дом без Джонсона, которому было около шестидесяти лет и который поступил на службу к Сергею Сергеевичу очень давно, в тот год, когда Сергей Сергеевич впервые после русской революции приехал в Англию. Так же, как Нил, он знал всю семью Сергея Сергеевича и помнил Сережу совсем маленьким мальчиком. Он был очень честным и порядочным человеком, чрезвычайно ценившим свое место, относившимся к своим обязанностям с исключительной пунктуальностью, но обладавшим одним недостатком: несмотря на свой почтенный возраст, он чрезвычайно крепко спал – обстоятельство, которое он всегда яростно отрицал и которое неизменно служило поводом для шуток Сергея Сергеевича, тем более благодарным, что Джонсон, вопреки очевидности, был действительно искренне убежден, что спит очень чутко. Но на этот раз никакое отрицание не было возможно: в эту ночь он не слышал выстрела.

Он встал очень рано по давней привычке – зимой и осенью в это время было еще темно. В тот день он поднялся раньше обычного. Когда он вышел из своей комнаты, с удивлением увидел, что за неплотно затворенной дверью кабинета Сергея Сергеевича горит свет, и в ту же секунду до его слуха донесся отдаленный хрип. Он быстро пошел туда и, распахнув дверь, увидел на полу тело Сережи рядом с упавшим револьвером, пятна крови на ковре и розовую пену на губах юноши. Он тотчас же подошел к телефону и вызвал домашнего врача. Затем он заметил на столе лист бумаги, на котором было что-то написано по-русски, и спрятал его в карман. Он поднял затем с некоторым трудом отяжелевшее тело Сережи и положил его на диван. То, что произошло, настолько поразило его, что он забыл обо всем, и после того, как в первую минуту позвонил доктору, его охватило бессильное отчаяние. Со слезами на глазах он молча смотрел на задыхавшегося Сережу, который продолжал тяжело хрипеть, и пузырьки

кровавой пены по-прежнему вздувались и лопались на его губах. Только потом, после приезда доктора, он вспомнил, что Сергей Сергеевич звонил ему накануне вечером, спрашивая, не вернулся ли Сережа, и велел немедленно дать ему знать, как только Сережа будет там. Доктор быстро, с помощью Джонсона, раздел Сережу, приложил трубку к груди с запекшейся вокруг раны кровью и сказал, что надо немедленно его перевезти в клинику. – Доктор, он останется жив? – спросил Джонсон. Доктор пожал плечами, вздохнул и ответил, что он на это надеется: сердце не задето.

Только после того, как Сережу увезли – было уже около восьми часов утра, – Джонсон, придя в себя, вспомнил, что до сих пор не позвонил Сергею Сергеевичу, и бросился опять к телефону. Его долго не соединяли; потом, наконец, когда услышал голос Сергея Сергеевича, он был настолько взволнован, что в первые секунды ничего не мог объяснить. Затем все-таки рассказал, путаясь, все, что произошло. – Он жив? – спросил из Парижа незнакомый голос, который Джонсон никогда не признал бы за голос Сергея Сергеевича, если бы не был абсолютно уверен, что говорит именно с ним.

– Да, и доктор говорит, что он надеется... Он говорит, что сердце не задето.

– Я буду в Лондоне с первым аэропланом, – сказал Сергей Сергеевич. – Вышлите сейчас же машину в Кройдон.

Сергей Сергеевич, уйдя от Лизы накануне вечером, звонил Ольге Александровне, спрашивая ее, не видела ли она Сережу, потом позвонил в Лондон: Сережи нигде не было. Ночью он лег, не раздеваясь, на диван, проспал крепким сном три часа и поднялся незадолго до звонка Джонсона. С аэродрома ему ответили, что отлет аэроплана будет в половине десятого утра.

В это же время в кабинет вошла Лиза, она была одета по-дорожному: пришла к Сергею Сергеевичу, потому что у него лежал ее паспорт, – с твердой решимостью немедленно ехать в Англию. Но когда она увидела Сергея Сергеевича, те слова, которые она собиралась произнести,

вдруг остановились в ее горле. Несмотря на то, что он был так же чисто выбрит и так же аккуратно одет, как всегда, лицо его было настолько изменившимся, что на секунду ей показалось, будто она видит другого человека.

– Что с тобой, Сережа? – сказала она с такой дрогнувшей интонацией в голосе, которая еще за минуту до этого была бы совершенно немыслима.

– Он застрелился, – сказал Сергей Сергеевич.

– Что? – не понимая, спросила Лиза; ей было дурно, все было мутно в глазах, в сером свете октябрьского утра кабинет Сергея Сергеевича таял и качался. – Что?

– Сердце не задето, есть надежда, что он останется жив, – сказал Сергей Сергеевич.

Тающие предметы мгновенно затвердели. Лиза начала учащенно дышать.

– Надо ехать туда, я поеду, теперь ты не скажешь, что мне нельзя ехать.

– Главное, чтобы он остался жив, – сказал Сергей Сергеевич, – пусть будет все, даже ты, Лиза, – пусть только он останется жив.

В дверь постучали, вошел Слетов. Сергей Сергеевич сказал ему, что Сережа стрелялся. Слетов перекрестился. – Я еду с тобой, – сказал он, – ты готов?

– Нет, – сказал Сергей Сергеевич, – я не хочу по телефону рассказывать Ольге Александровне, что случилось. Поезжай к ней, скажи, что Сережа заболел, и отвези ее на аэродром. Аэроплан в половине десятого, место я ей задержал.

Через секунду Слетова не было в комнате. – Едем, Лиза, – сказал Сергей Сергеевич. – Да, вот твой паспорт.

* * *

На дороге в Бурже длинная машина Сергея Сергеевича – он сказал перед этим шоферу: – Allez en toute vitesse![1] – обогнала сначала такси, в котором, закутавшись в новую меховую шубу, ехала Людмила, затем довольно быстро катившийся «делаж» Лолы Энэ. Когда Сергей Сер-

[1] – Поезжайте как можно быстрее! (*фр.*)

геевич и Лиза приехали на аэродром, до полета еще оставалось двадцать минут. Через некоторое время они увидели, как по узкой железной лестнице тяжело поднялась Лола Энэ. Дул резкий и холодный ветер. Несколькими минутами позже по ступенькам этой же лестницы быстро прошла Людмила и скрылась в глубине машины. Сергей Сергеевич все время смотрел на часы: Ольги Александровны и Слетова не было. Оставалось несколько минут; пропеллер был уже пущен в ход, и мотор ревел, разогреваясь. В последнюю минуту к аэроплану подбежал жизнерадостный полный человек, запыхавшийся от быстрых движений, со съехавшей набок шляпой. Ни к кому не обращаясь, но дружески улыбнувшись Сергею Сергеевичу и Лизе так, точно он был с ними давно знаком, он сказал задыхающимся и веселым голосом: – Ah, j'ai de la chance![1] – и вошел в аэроплан. Ольги Александровны не было.

– Что делать, Лиза, едем, она приедет следующим, – сказал Сергей Сергеевич.

Они вошли внутрь, аэроплан быстро покатился и плавно поднялся в воздух. В эту минуту на аэродром вбежала Ольга Александровна со Слетовым – они успели увидеть поднявшийся и улетавший аппарат.

* * *

Ряд случайных и совершенно разнообразных причин, бесконечно далеких друг от друга, соединил в этом осеннем полете аэроплана Париж–Лондон столь же разных людей, которым, однако, предстояла одинаковая и одновременная судьба. Не было решительно ничего общего между Лолой Энэ, ехавшей в Лондон получать деньги, оставленные ей давно умершим любовником, и Лизой, которая летела к Сереже, самому дорогому и близкому ей человеку, без которого она не представляла себе своей жизни; между Людмилой, добившейся после долгих и мучительных мытарств и странствий того, что она тщетно искала всю жизнь, и Сергеем Сергеевичем, который в первый и последний раз за всю жизнь был занят

[1] – Мне повезло! (*фр.*)

всецело одной мыслью: Сережа должен быть спасен во что бы то ни стало. Совершенно так же никто из этих людей не имел представления об их случайном спутнике, том толстом и веселом человеке, который сказал, поднимаясь в аэроплан: – Ah, j'ai de 1a chance! – Далеко внизу чернела земля, аэроплан чуть дрожал и покачивался, и высокое и холодное воздушное пространство безгранично скользило вокруг него.

Лола Энэ по обыкновению – теперь это почти никогда не происходило иначе, если только она не шла, а сидела, – дремала, изредка просыпаясь и ощущая, как обычно, дурной вкус во рту. Время от времени ее чуть-чуть тошнило, но дремота оказывалась сильнее этой легкой тошноты. Она, просыпаясь на минуту, начинала думать о том, как она вернется в Париж, получив деньги, войдет в новую, только что снятую, небольшую квартиру на тихой улице ее любимого Auteuil – и ей больше не нужно будет ехать никуда, разве что летом, на автомобиле, останавливаясь подолгу в каждом городке, отправиться по гладкой дороге, идущей от Парижа к Ницце, и там прожить несколько недель, на берегу теплого, летнего моря. Все ее поездки и турне, все эти Румынии, Голландии, Южные Америки, Греции, и постоянная, напряженная работа в театре, и постоянная боязнь, что вдруг споткнется нога, или звучно и болезненно хрустнет ревматическое плечо, или в середине акта вдруг поплывут перед глазами огненные круги и пол начнет медленно уходить из-под ног – как это с ней неоднократно случалось в последнее время, – все это отошло теперь в прошлое и скрылось с мгновенной и удивительной быстротой – и впереди предстояла только эта блаженная дремота, эта почти приятная усталость – вплоть до того дня, когда однажды поднимется и опустится в последний раз грудь, освобождая последний запас воздуха, – и больше уже не будет ничего. Но она не могла знать, что этот день уже сейчас, сию минуту, с чудовищной быстротой клубился и летел ей навстречу. Она продолжала дремать.

Лиза думала, как ей казалось, только о Сереже. После того как Сергей Сергеевич сказал «сердце не задето», она ощутила почти что уверенность в том, что он останется жив. Но помимо ее желания сквозь эту одну неослабевающую мысль приходили другие мысли и слова, связанные, однако, с нею и, в сущности, составлявшие ее продолжение: сцена в ее квартире, появление Сергея Сергеевича и ощущение смертельной тоски и безвыходности после ухода Сережи. Как это ни казалось нелогично, теперь у нее почти не было сомнений, что ее жизнь с Сережей начнется сначала, хотя тот факт, который этому мешал и о котором узнал Сережа, продолжал быть ему известным и никакой выстрел не мог сделать его несуществующим. Но Лиза не думала об этом и с бессознательной уверенностью полагала, что раз Сережа останется жив, то все будет по-прежнему. Она подумала, однако, что Сергей Сергеевич, в первый раз за всю жизнь, оказался доступен человеческому чувству. Но она не чувствовала по отношению к нему никакой благодарности, так как ее очень задели его слова – «пусть все, даже ты»; этого «даже ты» она не могла ему простить. «Даже ты» – и это после стольких лет близости, в течение которых он не сказал ей ни одного резкого слова. Да, конечно, это следовало предполагать: после того, что он ей говорил в ее комнате, после ухода Сережи – и значит, это не было вызвано гневом, значит, он всегда так думал. Но она не чувствовала теперь и ненависти к нему, она почти прощала его. Она видела, что несчастье с Сережей нанесло ему такой удар, который способен перевернуть все его скептические и насмешливые теории – раз навсегда, и, быть может, позволит ему понять силу ее любви к Сереже. Она несколько раз взглянула на него, продолжая думать о Сереже и беспрерывно представляя себе его голову на белой подушке, любимые, потускневшие глаза и грудь, забинтованную марлей. Сергей Сергеевич неподвижно сидел на своем месте и ни разу не повернул голову в ее сторону.

Он ощущал необыкновенную усталость, его состояние было похоже на то, как если бы ему все время хоте-

лось спать. Всякий раз, когда его мысль возвращалась к Лизе, которая была причиной этой ужасной катастрофы с Сережей, он испытывал необыкновенное к ней отвращение: она носила в себе ту слепую и эгоистичную страсть, безжалостную по отношению к тем, кто являлся ее жертвами, которая была у нее в крови и по сравнению с которой все поступки и измены ее сестры казались совершенными пустяками. Если Сережа выживет – в чем он почти не сомневался, – потом он объяснит ему все это, и Лиза уедет – почти так же далеко, как чуть не уехал Сережа. Он испытывал почти что благодарное чувство, когда думал об Ольге Александровне; она не была виновата в том, что передала Сереже всю свою восторженную доверчивость, которая погубила его, так как в ту минуту, когда он впервые почувствовал тяготение к Лизе – Сергей Сергеевич не сомневался, что это Лиза вызвала его, – именно эта детская незащищенность помешала ему остановиться: разве он мог знать, что Лиза вовлекает его в чудовищный по своей жестокости мир, где ему не место и медленную отраву которого Сергей Сергеевич – даже Сергей Сергеевич – иногда чувствовал особенно явственно, хотя он был защищен от нее в тысячу раз лучше, чем кто-либо другой.

И Лола, и Людмила сидели впереди Сергея Сергеевича и Лизы; каждая из них в начале полета обернулась и поклонилась Сергею Сергеевичу, который ответил им своей неизменной улыбкой, потерявшей, однако, свою убедительность, так как глаза его не улыбались. На секунду он подумал о них, и его память тотчас послушно и мгновенно восстановила все: и разговор с Лолой у Marquise de Sevigné, когда он советовал ей ехать в Лондон на аэроплане, и письмо Людмилы, и то, как он видел ее в автомобиле рядом с ее седым спутником. Он вспомнил все это и перестал думать о них.

Людмила рассталась с Макфаленом только неделю тому назад и успела по нему соскучиться. Перед самым отъездом она получила телеграмму от него: «Дорогая, я жду вас», – эта телеграмма лежала в ее сумке, вместе с разводом, который она, наконец, получила, и всеми бума-

гами, необходимыми для брака. В Кройдоне, – она знала это, – ее уже ждал автомобиль Макфалена, ей казалось, что аэроплан двигается недостаточно быстро.

* * *

В этом небольшом пространстве внутри аэроплана, летевшего над Ла-Маншем, был сосредоточен в эти последние минуты целый мир разнообразных и неповторимых вещей, несколько долгих жизней, множество правильно и неправильно понятых чувств, сожалений, надежд и ожиданий – это была целая сложная система человеческих отношений, на тщетное изложение которой потребовались бы, быть может, годы упорного труда. Их соединение вместе, именно здесь и именно теперь, было, в свою очередь, результатом миллиона случайностей, неисчислимое богатство которых недоступно человеческому воображению, так как для того, чтобы знать точную причину, приведшую каждого из этих пассажиров в аэроплан, нужно было бы знать все, что предшествовало этому полету, и восстановить, таким образом, в эволюции последовательных обстоятельств почти всю историю мира. И расчет, который привел каждого из этих людей сюда, исходил, может быть, из давным-давно совершенной – в неизвестных для нас условиях – ошибки, если слово «ошибка» здесь вообще имеет какой-нибудь смысл. Но точно так же, как мы видим небо полукруглым сводом в силу оптического недостатка нашего зрения, так же всякую человеческую жизнь и всякое изложение событий мы стремимся рассматривать как некую законченную схему, и это тем более удивительно, что самый поверхностный анализ убеждает нас в явной бесплодности этих усилий. И так же, как за видимым полукругом неба скрывается недоступная нашему пониманию бесконечность, так за внешними фактами любого человеческого существования скрывается глубочайшая сложность вещей, совокупность которых необъятна для нашей памяти и непостижима для нашего понимания. Мы обречены, таким образом, на роль бессильных созерцателей, и те минуты, когда нам кажется, что мы вдруг постигаем сущность мира, могут быть прекрасны сами по

себе – как медленный бег солнца над океаном, как волны ржи под ветром, как прыжок оленя со скалы в красном вечернем закате, – но они так же случайны и, в сущности, почти всегда неубедительны, как все остальное. Но мы склонны им верить, и мы особенно ценим их, потому что во всяком творческом или созерцательном усилии есть утешительный момент призрачного и короткого удаления от той единственной и неопровержимой реальности, которую мы знаем и которая называется смерть. И ее постоянное присутствие всюду и во всем делает заранее бесполезными, мне кажется, попытки представить ежеминутно меняющуюся материю жизни как нечто, имеющее определенный смысл; и тщетность этих попыток равна, быть может, только их соблазнительности. Но если допустить, что самым важным событием в истории одной или нескольких жизней является последний по времени и только раз за всю жизнь происходящий факт, то полет аэроплана, в котором находились Сергей Сергеевич, Лиза, Лола Энэ, Людмила и жизнерадостный человек в съехавшей шляпе, был именно этим событием, потому что, когда аэроплан находился над серединой пролива, люди, ехавшие внизу, на пароходе, видели, как он стремительно падал вниз, объятый черно-красным вертикальным вихрем дыма и огня.

* * *

Слетов привез Ольгу Александровну в Бурже после того, как ждал ее чуть ли не целый час в холле ее гостиницы, и они успели увидеть только улетающий аэроплан. Она провела еще один мучительный час на аэродроме в ожидании следующего аппарата и так настойчиво требовала сказать правду, что Слетов, в конце концов, должен был ей рассказать, в чем дело. После этого она совсем потеряла голову. С подурневшим от неостанавливающихся слез лицом она села, наконец, в аэроплан и улетела одна; Слетов не мог ее сопровождать – у него не было визы; у Ольги Александровны, как у всех членов семьи Сергея Сергеевича, был английский паспорт. Когда она сошла с аэроплана, в Кройдоне было необычное возбуждение. Слово «катастрофа» долетело до ее слуха, но она не поняла его.

Джонсон, отправившийся в Кройдон вместе с шофером, чтобы встретить Сергея Сергеевича, первым увидел ее. – Отвезите меня к нему, – сказала она, даже не поздоровавшись и таким голосом, что Джонсон не мог не только спросить ее о чем бы то ни было, но даже ответить что-либо. В клинике она не могла дождаться минуты, когда ее пустят к Сереже; наконец, в сопровождении врача, она вошла в его комнату и наклонилась над ним. Он открыл глаза.

– Мамочка! – сказал он. – Слава Богу, я тебя увидел, теперь я могу умереть.

Ольга Александровна с отчаянием посмотрела на доктора. Тот улыбнулся и сказал, что всякая опасность миновала.

Она опустилась на колени перед его кроватью быстрым движением и поцеловала его руку. Он сделал усилие и улыбнулся.

– Вот... – сказал он с трудом. – Когда я приходил в себя, я только на это надеялся... только твое лицо, мамочка, только твои глаза... Больше у меня ничего не оставалось... И чтобы ты сказала «мой беленький».

Изменившимся и немного смешным от слез голосом Ольга Александровна говорила:

– Мой мальчик, мой Сереженька, мой беленький, все будет хорошо, ты увидишь.

Был холодный и ветреный день, было около двух часов пополудни – и в кабинете Сергея Сергеевича в Париже Федор Борисович Слетов, которому только что позвонили по телефону, сидел, опустив голову на письменный стол Сергея Сергеевича, и плакал навзрыд, как ребенок.

РАССКАЗЫ

ГОСТИНИЦА ГРЯДУЩЕГО

1. Губы как таковые

Можете себе представить – парижская улица. В орнаменте строгого асфальта, ровных стен и домов, где пол гладок, как брюхо ящерицы, и швейцары медлительны, как крокодилы.

В орнаменте: ежедневных обедов и жизней легких, как облако. Гостиница грядущего.

Косой стеклянный навес похож на площадь застывшей воды. Огненные проволоки электричества освещают траурную доску, на которой собраны в немногих словах все достижения цивилизации: центральное отопление, горячая и холодная вода и ближайшая станция метрополитена.

Грядущее помещается в пяти этажах.

Нижние комнаты сдаются на ночь возлюбленным и страдающим, – проституткам и путешественникам. Любовь отражается в зеркалах и погружает влюбленных в созерцательность. И зеркала в нижнем этаже – это дань искусству и чувству прекрасного, – в той области, где момент требует повторений.

В нижнем этаже – только одна постоянная обитательница – с именем Бланш: это псевдоним, так как она брюнетка. Ей двадцать лет.

В гостинице грядущего нет твердой привычки иметь постоянную профессию. Жизнь Бланш многоместна и разнообразна. Она вдруг приезжает домой на велосипеде и через два дня продает его. Она уходит в модной шляпе и длинном пальто и возвращается в кепи и кожаном плаще.

В графе о профессии: – студентка.

– Скажите, Бланш, чем вы, собственно говоря, занимаетесь?

– Привилегия любопытства принадлежит женщинам.

– Я знаю, Бланш, что за любопытство выгоняют из рая. Но если рай хоть немного похож на эту улицу, то мне остается только пожелать, чтобы меня выгнали возможно скорей.

– Вы настаиваете, m-r? Я пишу трактат.

Бланш пишет трактат.

– Да. «Губы как таковые».

Трактат о губах как таковых. Губы как лохмотья красоты, как материал для парфюмерных изысканий, как незаживающий шрам любви, вооруженной ножом.

Значит, Бланш недаром называется студенткой.

Дверь в комнату Бланш, вообще говоря, закрывается бесшумно.

В следующих этажах живут братья Дюжарье. Их четверо, четыре Жи. В самом деле: старшего зовут Жозефом, средних Жаном и Жаком. Имя младшего – Жакоб.

Братья в «грядущем»: постоянный свист. Некто входит в гостиницу. Когда его подметка стукнет по медным скобкам лестницы: – сразу открываются четыре двери. Со второго этажа на него смотрит Жозеф, с третьего – Жан, с четвертого – Жак и с пятого – Жакоб.

Жозеф говорит:	– Держи.	А некто поднимается по лестнице.
Жан:	– Смотри.	
Жак:	– Вот этот?	
Жакоб:	– Наплевать.	

Внизу же стоит русский матрос Сережа, заменяющий отсутствующего хозяина.

Сережа весь день поет песню:

Я на экваторе
На легком катере
К ... матери
Свой путь держу.

Еще: постоянный обитатель – на втором этаже – агент сыскной полиции. Он скрывает свою профессию. Секрет этот знают все и раньше других – братья Дюжарье. Ровно в четверть десятого агент выходит из своей комнаты.

Ровно в четверть десятого открываются четыре двери и четыре брата кричат:

– Здравствуйте, господин шпик!

Агент останавливается и поднимает голову.

– Я не допущу такого отношения...

С четырех этажей кричат:

– Не допускайте!

– Авторитет прежде всего!

– Такое отношение!

– Доложите префекту полиции!

И агент выходит из гостиницы.

В комнате Бланш – грохот падающих стульев: Бланш недовольна существующим порядком.

А Сережа все поет об экваторе.

– Сережа, расскажи что-нибудь.

– Да вот, плывем мы недалеко от Александрии. Приходит до мине кок и говорит...

Хлопает дверь. Бланш должна идти по делу.

Развевается шарф, стучат каблуки: эхо тонет в асфальте. Во втором этаже рядом с комнатой Жозефа: летают тарелки, белые палочки и маленькие пакеты, разворачивающиеся в веера. M-r Си: фантастический жонглер. Маленькая китаянка передвигает столики с тарелками и складывает веера; китаянку зовут Сюзи.

– M-r Си, – говорит Жозеф. – Научите меня свободно обращаться с тростью и ловить головой котелок.

M-r отвечает:

– Возможно.

И каждое утро Жозеф берет уроки: он хочет платить m-r Си. M-r Си отвечает – невозможно.

Дрожит лестница: три брата спускаются во второй этаж. Тогда m-r Си вызывает Сюзи.

– Скажите, Сюзи, возможно, чтобы я брал деньги с m-r Жозеф?

Сюзи говорит:

– Невозможно.

Огорченные братья уходят.

Четыре комнаты третьего этажа – наполнены: галстуками, перчатками, женскими туфлями, вращающимся зеркалом Ренэ и шумной улыбкой Армана. M-r Арман –

моряк: каждый день спорит с братьями, – он хочет убить шпика.

– Он не имеет права жить с порядочными людьми. – Братья отговаривают. Он соглашается: ну, хорошо.

В три часа дня возвращается Бланш:

– Губы негров, негритянок. Нет, они не выдерживают критики. Ведь можно проглотить губы? История любви пишется на губах: это прекрасно. Это лучше любой бумаги.

– Губы – это тавро характера: посмотрите на узкие губы монахинь: это дневник без содержания, тетрадка с белыми листами; губы шулеров сделаны из железа; губы проституток из резины.

– Приходите вечером, сейчас не мешайте. Я погружаюсь в работу.

– Не утоните.

Часов в десять вечера появляется веселая девушка Марго.

– Ни одного клиента сегодня вечером, Серж, понимаешь, мой мальчик.

Сережа понимает.

Через полчаса Марго возвращается. На буксире: клиент. Котелок клиента съехал на затылок. Воротник пальто подвернут. Он говорит – да – и больше ничего.

– 30 франков, комната № 2.

– Да.

– Из чего сделаны губы американцев, Бланш?

– Из свиной кожи.

– Значит: губы из резины и губы из свиной кожи?

– Да, мой дорогой.

2. Кровь крестоносцев

Раз в сутки в Париже бывает вечер. Он появляется, окруженный красными огнями задних фонарей на автомобилях, сопровождаемый громовым оркестром висячих и светлых шаров. Вечером они зажигаются и шипят. Вечером гостиница грядущего триумфально открыла двери перед человеком, пришедшим снимать комнату на пятом этаже.

Есть люди, которые живут безусловно и безоговорочно, – простые обитатели улиц, неприхотливые и неторгующиеся покупатели жизни.

Есть другие: они соглашаются существовать.

Ульрих согласился существовать в орнаменте ровных стен и крокодильей медлительности. Он пришел в гостиницу грядущего, может быть, потому, что хотел подчеркнуть разницу между грядущим и прошлым. Он жил, остановившись, и календари были бессильны против его упорства.

Его торжественный фрак под плащом, похожим на пальто, или пальто, похожим на плащ, блестел матовым блеском вечности. Его волосы были отброшены назад.

Желтый чемодан Ульриха был тяжел, как совесть изменника. Там лежали причудливые восточные фигурки, два волчка, громадное зеркало и шпага в зеленых ножнах. Остальное было набито книгами.

Ульрих был молод, как может быть молод старинный портрет юноши.

Эта глава написана в прошедшем времени потому, что крестоносцев давно не существует.

Ульрих поднимался по лестнице. Он не видел тренировки m-r Си, так как m-r Си не было дома. Он не заметил шумной улыбки Армана и не услышал свиста братьев Дюжарье.

Позже из комнаты Ульриха послышалось пение. Это были тяжелые и однотонные песни на языке, которого не поняли бы ни братья Дюжарье, ни Арман, ни китаец Си.

Бланш сказала – это старофранцузский язык.

Свист братьев стал медленнее и неувереннее.

Сережа понял, что нового обитателя нельзя удивить даже экватором.

Но сыщик все так же уходил на службу, и Бланш продолжала писать трактат.

– Я спрошу у него, что он думает об этой теме.

Ульрих спускался по лестнице: в четырех дверях стояли несвиставшие братья.

Бланш ждала у подъезда.

– M-r, какого вы мнения о трактате: губы как таковые?

– Я счастлив узнать, что есть люди, которые об этом думают.

– Вам не приходилось вспоминать о резиновых губах, m-r?

– Вы, конечно, говорите о музыкантах?

– Нет, я говорю о шулерах.

И третий голос сказал:

– Вы ошиблись, Бланш: губы шулеров сделаны из железа.

Ульрих поклонился и ушел.

Уже ночью сквозь шум зимнего дождя в гостиницу пришла Марго.

– Бланш, мне негде ночевать. У меня нет денег.

– Ты можешь переночевать на пятом этаже. Обратись к нашему новому жильцу.

– Я его не знаю.

– Разве ты знаешь всех, с кем ночуешь? Кроме того, на пятом этаже живет еще русский, с которым ты знакома.

По застывшей воде навеса лилась застывшая вода дождя.

Шаги Марго замялись у дверей Ульриха.

Шаги вошли в комнату и остановились.

– Я вам заплачу, как это принято, за право переночевать.

Вежливость Ульриха насчитывала несколько столетий.

– Благоволите принять мои ночные приветствия.

Но женщины с резиновыми губами не знают истории и склонны принимать вежливость за иронию.

– Ты хочешь спать со мной или нет? Я уйду, если ты такой важный.

– Вы можете лечь на мою кровать.

Свет горел только в двух комнатах пятого этажа.

Грядущее было погружено во тьму.

В эту ночь третий голос, тот самый, который вмешался в разговор Ульриха с Бланш, сказал:

– Я вас не понимаю, уважаемый сосед.

Ульрих не чувствовал иронии. Об этом можно было судить по его разговору с Марго. Его торжественный ответ был смешон, как рассуждения о добре и истине.

– В моих жилах течет кровь крестоносцев.

– Это, конечно, очень трогательно. Но цивилизованным современникам, не сохранившим воспоминания ни о раскаленном воздухе Палестины, ни о прохладной могиле Барбароссы, – совершенно безразличен состав жидкости в ваших жилах – будь это нефть или кровь крестоносцев. Я не понимаю вашего фрака, ваших реплик, звучащих анахронизмами, ваших песен на полуварварском языке. Можно подумать, что эти доводы обращены не к обитателю комнаты на пятом этаже в современном городе, а к привидению, явившемуся нарушать покой незащищенного человека. Я решительно предпочитаю парижские рефлекторы медному тазу Дон-Кихота и фонари Елисейских полей – кострам наемных убийц Валленштейна. Я протестую.

И голос Ульриха ответил:

– Вам несколько нездоровится, m-r. Идите спать.

ПОВЕСТЬ О ТРЕХ НЕУДАЧАХ

Эти три эпизода, три главы, – почти не связаны хронологически и сведены лишь условно в форму одной повести. Я все же настаиваю на их общности. Прежде всего, это рассказы о неудачах, – так как смерть я считаю неудачей. Кроме того, в облике каждого из героев я нахожу предрасположенность к катастрофе: их неудачи понятны и естественны.

География подарила нам великий закон равнодушия; история учит нас быть беспристрастными ко всему, что создано выдумками мечтателей и руками рабов многих поколений, – в чем слышатся трепет мысли и прыжки запертого сердца.

Я не всегда умел пользоваться подарками географии: каждую смерть я принимал как личное оскорбление. Время научило меня быть спокойнее. Теперь я ищу причины – и констатирую известную естественность в судьбе моих героев. Мой пес умер потому, что не понял революции. Володя Чех был убит в бою, – может быть, потому, что эта же самая судьба не любит одноглазых, слишком напоминающих ей о ее собственной слепоте. Преступление, жертвой которого стала мадам Шуцман, было, несомненно, совершено художником: я не решусь утверждать, что ее неоригинальность и обыкновенность послужили поводом для убийства, но это предположение нисколько не менее вероятно, чем другие.

Наконец, Илья Васильевич Аристархов кончил так грустно потому, что был сам по себе несвоевременен и несовременен, – был результатом ошибки в вычислении лет. Революция, строгий цензор и скверный математик, подчеркнула эту ошибку, раз навсегда лишив Илью Васильевича возможности выйти за пределы подчеркнутого. Таким образом, он был осужден. С ужасом он уви-

дел, что справа и слева ему загромождает дорогу то, что он называл «тяжелыми стенами реальности». Он мог двигаться только вперед или назад. Он выбрал второй путь; этот путь оказался аллеей сада, прилегающего к больнице для умалишенных.

Повесть о трех неудачах – написанная в первом лице – рассказ спутника осужденных, свернувшего в сторону наименьшей мягкости и наименьшего сопротивления.

I

В свое время мы родились незаржавленными и молодыми, и жизнь каждого из нас перегоняла медленные стрелки стенных часов, тяжелые удары соборного времени и беспрестанное тиканье почти хронометров Павла Буре.

Нас было четверо; и после того дня, когда я впервые увидел женщину прямых линий, гулявшую под руку с Володей Чехом, я думал о любви и рисовал смешное сердце, проткнутое стрелой и выпадающее из собачьей пасти. Это. случилось так.

Лежа в роще, мы отдыхали: перед этим я долго ехал по белому шоссе, пес бежал за задним колесом велосипеда. Мы оба устали: в роще было тихо, белое пятно моей рубашки не шевелилось, красный язык моего друга равномерно трясся на зубах. С шоссе изредка слышалось топанье лихача: оно ударялось очень минорно, и уши пса долго оставались поднятыми. В эти годы солнце стояло высоко.

Это происходило незадолго до трагедии, сломавшей крепкую четвероногую жизнь моего друга и бросившей меня далеко от моего города и загородных рощ. Я был старше пса на десять лет. Я принес его домой слепым щенком и выкормил его: я никому не позволял его бить, он вырос, не зная человеческих ударов. Мы жили вместе, он спал у дверей моей комнаты. Во многом у нас были одинаковые взгляды: мы оба никогда не трогали нищих: я – потому что им не завидовал, он – из высокомерия.

В то лето я читал «Paroles d'un révolté»; пес лежал на ковре и о чем-то думал. Мне казалось, что его мысль

была всегда о движении, статического быта он не признавал. Я разговаривал с ним: он слушал, наклоняя голову, вскакивал, подходил ближе и успокаивался. Может быть, он хотел сказать, что когда-нибудь будет знать столько же цитат, сколько и я.

– Жить, брат, все-таки можно, – сказал я, – только не надо умирать.

Мы лежали на траве: топот последнего лихача замолк с полчаса назад. Вдруг послышались шаги. Мой друг зарычал и вскочил. Я приподнялся на локте. Из-за деревьев вышла женщина прямых линий и за ней карманщик Володя Чех.

Женщина шла, не сгибая ног, гордо и резко выставив острые прямые груди. Я не видел до этого таких прямых, – и не знал, что в жизни есть своя геометрия, не уложившаяся в теоремы о сумме углов. И моя встреча с женщиной прямых линий была первым уроком ежедневной математики, науки о положительных и отрицательных величинах, о форме женской груди, о тупых углах компромиссов, об острых углах ненависти и убийства. Володю Чеха я знал случайно: он был крив на левый глаз и обладал страшной силой пальцев. Я посмотрел на него: женщина остановилась: пес вздрагивал и рычал. Я остался лежать. И я сказал Володе:

– Да ведь она, голубчик, не гнется.

Володя промолчал.

– Ты бы познакомил?

Слово было за женщиной прямых линий; она осмотрела меня, моего друга, велосипед.

– Не надо нам таких знакомств.

– До свиданья, тетенька.

Володя пробурчал:

– В двенадцать апостолов!

Нога женщины сделала шаг, опустилась, не согнувшись. Это было движение прямых и стремительных линий. Володя пошел вслед за ней.

Возвращаясь в город, мы их обогнали: Володя закричал что-то, женщина повернула голову – быстро и презрительно.

Раз днем мы пошли на базар к букинисту, тихому старику в ермолке: он сидел обычно, окруженный книгами, и читал трудные древние тексты. Он одевался в черное: глядя на него, я думал о библейских старцах и об удивительном народе пророков, мудрецов и коммерсантов, донесших свою огненную и суровую мысль до шумных рынков революционной России.

К старцу часто прибегала внучка, маленькая красивая девочка лет десяти, с черной головой и гордыми еврейскими глазами: со мной она обходилась немного пренебрежительно, со стариком ласково. Мы были своими людьми в этой лавочке. Сначала входил я, за мной – пес. Старик хорошо знал меня: я никогда не торговался и натравливал собаку на маленьких базарных хулиганов, дразнивших его жидом.

На этот раз старика не было: только внучка внезапно вынырнула из-под громадных книг: мой друг замахал хвостом.

– Деда нет.

– Ничего, я сам поищу.

Книги пахли старой пылью. Я просматривал заглавия: под томом сумасшедшего Штирнера лежал роман кн. Бебутовой «Жизнь – копейка». Девочка, увидевшая на обложке нелепую красную женщину, засмеялась. Я не заметил, как она ушла.

Через минуту девочка вбежала: она остановилась, задыхаясь от слез, и сказала:

– Там... дедушку... убьют...

Я подошел к двери и увидел белую бороду старика, окруженную красными лицами и глазами гудевшей толпы.

Резкий женский голос:

– Воры, сволочи, жиды!

Я узнал женщину прямых линий и побежал к старику. Пес прыгнул за мной, перевернув гору книг, и через несколько секунд мы очутились в толпе.

Кровь текла по лицу старика, он стонал и держался за щеку. В упор ему кричала женщина прямых линий:

– Ридикюль у меня вытащил, седины не стыдно, жидовская кровь проклятая!

От злобы я мог сказать только это:

– Оставьте старика.

– А тебе, чертов карандаш, что нужно?

Вокруг нас собиралось все больше народу: за старика, ставшего за мое плечо, держалась девочка.

Из толпы мне заметили назидательно:

– Учащийся! Тебе б уроки учить, а ты по базарам шляешься.

Пришел милиционер: ему рассказали, в чем дело, и он повел нас всех в комиссариат, девочка бежала сзади, плача и не поспевая.

На полдороге старик дал взятку милиционеру, и тот сказал начальственно:

– Иди, дед. А вам, товарищ гимназист, нечего на базар ходить.

Мы вернулись в лавочку старика: я выбрал две книги. Он меня не благодарил, ему было неловко.

– Не любят здесь евреев.

– Дикий народ, дед.

Мы пошли домой, по дороге я сказал моему другу, что от женщины прямых линий следует держаться подальше. Но какое отношение она имеет к Володе Чеху?

В тот день, когда карьере Володи угрожала гибель, когда недостатки и риск его трудного ремесла гнались за ним одичавшей в просторах революции толпой горожан, – мы просто гуляли по улицам: я шел с моим другом по асфальтовому тротуару мимо высоких домов. Но наше спокойствие было нарушено. Из-за угла донесся гул многих голосов. Через секунду мы увидели отчаянно бегущего Володю. В руке он держал браунинг, обмотанный батистовым платком.

Он бежал прямо навстречу нам, его единственный глаз спокойно и медленно поворачивался в орбите. За ним, свистя, крича, надрываясь и боясь приблизиться, тяжело топали разные люди в разной одежде: тонкие свистки милиционеров быстро пересвистывались на ближайших углах.

Пес рванулся с места и бросился на Володю. Я закричал, сколько было сил: – Назад! – Он очень удивился, но вернулся. Я прислонился к стене, держа его за ошейник: пробегая мимо нас, Володя узнал меня и успел только произнести – а! – самый легкий звук.

Дальше, третьи или четвертые ворота от того места, где я стоял, был проходной двор, извилистый, темный и запутанный. Володя бежал туда. И уже когда оставалось шагов двадцать, дворник соседнего дома бросил ему под ноги длинную палку от метлы. Володя ахнул и упал. Мы не выдержали и побежали к нему: я думал, что на этот раз Володе пришел конец. Мой друг чувствовал острый запах убийства: его шерсть стояла дыбом и кожа вздрагивала.

Но, лежа, Володя выстрелил, и дворник свалился с тротуара. Толпа приближалась. Володя поднялся и побежал, сильно хромая. Он скрылся в проходном дворе: его так и не нашли. Труп дворника с раскрытым ртом и челюстями, раздвинутыми смертью, стащили в ближайший подвал.

Был в нашем городе такой итальянец, звали его Андрей: но итальянец он был настоящий. Он продавал какие-то бархатные куртки, ел чеснок и скверно говорил по-русски. Я видел его с женщиной прямых линий: они шли под руку: за ними, прихрамывая, Володя Чех.

Я спросил у Володи, кто она такая.

– А! Катя. Рыжее любит.

И больше ничего. «Рыжее» на блатном языке значит «золотое».

С ней бывал Сергеев, темный делец, свой человек во всех публичных домах, который потом стал офицером и командовал какими-то солдатами в красной армии. Два или три раза я видел женщину прямых линий в театре, в креслах партера. Потом она надолго исчезла.

Пришел день, когда я уехал из этого города и оставил мою комнату для долгих морозных ночей, и войны, и угрюмого осеннего моря. Перед этим я видел еще первые жертвы выстрелов и спокойный открытый глаз Володи, которого убили на вторую неделю стрельбы. Мой друг

остался дома: он не ушел со мной, и нам никогда больше не придется ехать по белому шоссе и лежать, отдыхая, на траве. Он не хотел меня оставить, бежал за извозчиком до вокзала и – такой серьезный, мужественный и сентиментальный – выл у вагона. Нехорошо бросать в беде старых товарищей: но я уехал.

Моего друга отравили люди за то, что он не хотел отдать им кость, которую грыз. Это было в жестокое время, в 22-м году. Он умирал очень тяжело, моя рука не касалась его холодеющей головы: с головокружением, непонятным для собак, он вспоминал, вероятно, вращение блестящих спиц и запах каменной пыли.

А женщину прямых линий я видел здесь. У нее браслеты на руках: она любит рыжее. Все так же резко и гордо выдаются под платьем острые прямые груди: движения сохранили свою несгибающуюся стремительность. Мое окно – против ее балкона. Ночью, когда я сижу и пишу, с балкона прямыми лучами отходит свет. У нее на квартире играют в карты.

В России нас было четверо: но Володины руки и глаз разделили горькую участь честного хвоста моего друга. Оба умерли в родном городе: один от злобной пули белых, другой – от яда мохнатого сердца, которое он проглотил.

Мы остались живы: я, променявший изгибы российских дорог на ровные линии Запада, и женщина, любящая рыжее.

И осталась еще несложная аллегория: эмблема проткнутого сердца, выпавшего из собачьей пасти, урок геометрии углов и убийств, медленные стрелки тяжелых часов на готических церквах Франции, – время, покрытое ржавчиной.

II

В далеких и гулких пустырях моей памяти, окруженных зарослями крапивы безвременья, расположены квадратом четыре улицы южного города: Мещанская, Павловская, Слесарная и Владимирская. В их центре, под вывеской «Булочное и бубличное заведение», под сенью

мадам Щуцман, под эгидой Израиля, в приторном запахе еврейского квартала, белеет нарисованный образ насмешливой трагичности, пляшущий скелет на черной доске времени.

В квартале, сжатом с четырех сторон богатыми улицами, – четыре заведения пользовались наибольшей популярностью: гостиница «Русское хлебосольство» на Васильевской, с разбитыми, починенными и вновь разбитыми стеклами, бильярдная Качурьянца, общественная библиотека и прохладный подвал деда с надписью в одну строку «кафе закуска три бильярда».

Неподвижный и решительный, в валенках летом и зимой, дед был похож на заснувшего пророка. Все время, сидя за своей стойкой, он дремал: просыпаясь внезапно, крякал, недоверчиво осматривал посетителей узкими глазами, глядящими на свет вот уже семидесятый год, – и снова засыпал под стук шаров некрепким сном бессильной старости. Кончив игру, его трясли за плечо:

– Платить, что ли, дед?

– Плати, плати, дорогой: как же не платить?

В бильярдной Качурьянца, черного невысокого человека с бегающими глазами, никогда не вмешивавшегося в скандалы, Шурка Кац, один из бильярдных чемпионов, торговал керенками и кокаином. Он был тайным компаньоном хозяина; вместе они торговали скверно перегнанным денатурированным спиртом, вместе старались привлечь клиентов с деньгами. Бильярдная процветала. Ее постоянные посетители состояли из профессионалов и из людей, посвятивших себя искусству рыцарей квадратных столов, упоительного звона луз и грозного треска шаров.

Гостиница «Русское хлебосольство», одноэтажное грязное здание, казалось, вместе с одесситом-хозяином усвоила южный темперамент – отчаянные крики из-за упавшего в щель пятака и свирепые драмы из-за просчитанного полтинника.

Из гостиницы с утра гремели голоса, к обеду стихали – и снова возвышались к вечеру, регулярные и упорные, как приливы и отливы.

Из окна доносилось:

– То есть как это так, платить не будете?

– А очень просто.

– Вот так.

А!

Слышался звон стекол, топанье ног, и из двери стремительно выбрасывался чьей-то рукой хозяин гостиницы, высокий апоплексический человек. Его несчастье заключалось в том, что он прожил до сорока лет, не научившись координировать движения, а это было особенно важно для его профессии – трактирщика неспокойного квартала. Удары его попадали мимо, левая рука как-то заскакивала за спину, а ноги наступали одна на другую – то ли от того, что был он хронически пьян, то ли от этого рокового неумения вовремя их переставлять.

Уже с улицы он орал:

– Ты без ножа докажи! С ножом всякий может!

Из дверей выходил победитель, Мишка-переплетчик, средний тип с гладким и незапоминающимся лицом.

– Эх, ты, хозяин!

Но торжество Мишки было недолгим: лютый горбатый старичок, помощник хозяина, оглушал Мишку сзади – предательским ударом тяжелой дубовой палки, и Мишка с шумом падал на тротуар.

На следующий день он снова приходил в «Русское хлебосольство».

– Ты, Петрович, не сердись, поспорили мы вчера.

– Бог с тобой, Миша, и мысли такой не было, чтобы сердиться.

Я любил тихий вечерний воздух Павловской улицы. Из-за углов приближался шум большого города, но сворачивал в сторону и исчезал. Мелькали поздние тени прохожих, и два фонаря – на всю улицу – горели неярко и неровно. Тяжелые плиты камней лежали, утомленные солнцем и суетливой дневной беготней. Иногда появлялись дочери мадам Шуцман: старшая, Софья, высокая надменная девушка, ученица театральной студии, проходила с книжкой Блока или Брюсова; она всегда спе-

шила: зайдет домой на минуту – и снова в город. Младшая, Маруся, всегда что-то напевавшая, – беззаботная посетительница скабрезных фарсов, подозрительных театров и Лиги свободной любви. Мадам Шуцман знала, что ее дочери уже потеряли все, что в них было еврейского, и никогда не вернутся в семью.

Вечером мадам Шуцман выходила на улицу – погрызть семечек, «подышать свежим воздухом». Огромная, расплывшаяся, с животом, выносившим двенадцать существ, из которых выжило только двое, с сединой в волосах и неспокойными глазами, она казалась значительно старше своих лет. И только красные невыцветшие губы да быстрые и неожиданные движения говорили о том, что не так давно она была молодой.

Мадам Шуцман любила рассказывать о своей жизни – и меня всегда удивлял ее спокойный тон, ее готовое примирение со всем тяжелым и неприятным.

– Так вы бы меня здесь не увидели, если бы не покойный Арончик. Вы понимаете, – это было очень давно, – я жила себе девушкой в хорошем заведении, хотя вы молодой и вам этого не надо знать. Да, так я уже собрала денег и искала компаньона, чтобы самой стать хозяйкой. И вот пришел Арончик, привел меня в комнату и говорит: что ты здесь пропадаешь, Дора, ведь это же стыд для еврейки. Я говорю: все люди стыдно живут, и вот вы тоже пришли до девушки в публичный дом, так что вам нужно? Дора, говорит, я тебя возьму отсюда, мы поженимся и уедем в другой город. А я отвечаю: вы это можете другим рассказать, а я отсюда не уеду. Так что вы думаете? он заплакал. Сделай, говорит, мое счастье, уйдем отсюда. Ну, я подумала и ушла.

А потом мы открыли булочную в Херсоне, а потом в Екатеринославе, и я все была беременная, а дети умирали. Я говорю: нет нам счастья, Арончик. Поедем, говорит, в этот город и тут уж навсегда останемся, ты будешь с детьми спокойнее, вырастет у меня сын.

Нет, не было мне счастья, нет у меня сына, только дочки. А пять лет назад умер Арончик, колбасой отравился. Осталась я одна с дочками; народ здесь меня не обижает. Кому нужна старая еврейка?

А, думаете, мало я слышала – «жидовка, жидовская морда»? А мало нас мучили? В Херсоне мясник был Хрисанф, так он, хоть и женатый, все хотел до меня добраться, а я беременная. А Арончик за меня заступался. И вот я из окна вижу, бьет его Хрисанф, бьет, Арончик плачет – что еврей может? а у меня как сердце отрывается. Придет домой Арончик, лицо все синее, кровью обливается, слезы текут прямо без остановки, – и говорит: терпит Бог все, такая наша доля, Дорочка. А пока я живой, так он тебя не тронет. Так что вы думаете? мясника Хрисанфа собственная собака загрызла, взбесилась и загрызла.

А когда погромы были, так нас приказчик русский спас, он Соню очень любил, конфеты ей приносил и в прятки играл. Он в булочной иконы поставил, сам сел у дверей и никого не пускал.

А потом его засудили, он хозяина своего застрелил. Тогда у меня Маруся родилась.

И после паузы мадам Шуцман сказала:

– Хорошие люди русские, только сердце у них горячее и кровь густая.

Так и не узнали, кто убил мадам Шуцман. Пришли мы с товарищем однажды утром на Павловскую. Дул ветер, дело было осенью, грузное небо России давило сверху на затихшие после ночной стрельбы улицы. Булочная была закрыта, мы вошли со двора.

Сквозь щели ставень проходил свет, у наших ног лежало тело мадам Шуцман с рассеченной головой. Рядом с ним – бесстыдно обнаженные ноги Маруси, у которой юбка была завязана крепким узлом над головой. Развязанная Маруся посмотрела вокруг, сказала по-еврейски – какой стыд! – и заплакала, обнимая застывший жир материнского тела.

За прилавком, прислоненная к полкам с хлебом, стояла черная доска, на которой мадам Шуцман считала свои расходы; и вот на этой доске искусной рукой был нарисован танцующий скелет.

III

«Вселенная была в беспорядке; среди развалин города бежала шумная светлая река, гигантский силуэт черной птицы сумрачно смотрел на быструю воду, на сверкающие хвосты русалок: по воздуху с ревом неслось мохнатое стадо дьяволов: Бог ехал на автомобиле, четыре архангела трубили в сигнальные трубы. Где-то с грохотом падали в воскресших тысячелетиях массивные твердыни Иерихона».

Так начинались записки Ильи Аристархова, русского, умершего в сумасшедшем доме Charenton'a. В самые последние дни, переведенный в больницу из Парижской центральной тюрьмы, он еще писал, отчаиваясь, целые страницы: он бросался на пол, лежал неподвижно часами и вставал, чтобы вновь приняться за работу, которую считал необходимой.

Всю жизнь Илья Васильевич думал, что ему суждено написать голубиную книгу. Это сказание русского эпоса всецело захватило его. По его убеждению, голубиная книга могла быть написана только блаженным, так как взгляд обыкновенного человека отягчен гневом черных яблок или бесцветностью серого хрусталя: те из нас, кто, подобно героине «L'homme qui rit»[1], имеют разные глаза, ослеплены одновременно чувственной яростью темного дьявола и холодным бельмом серого фона.

– Я несу на себе тяжесть многих томов голубиной книги, – говорил Илья Васильевич, – и от этого усилия мои глаза наливаются кровью. Но вижу я далеко и ясно: вижу тяжелые белые паруса Летучего Голландца, седую бороду Агасфера и легкие лодки финикийцев.

Сумасшествие Ильи Васильевича состояло из двух одинаково сильных и неразрывно связанных маний: – преследования и величия. В тюрьме и сумасшедшем доме он делал вид, что никого не узнает; в те же моменты, когда

[1] «Человек, который смеется» (*фр.*).

его сознание почти целиком затемнялось, он называл доктора евнухом, служителя Франсуа – Робертом, а тихого соседа по койке, ювелира, помешавшегося из-за пропажи четырех стофранковых билетов, – своим «другом Тагором».

До больницы Илья Васильевич проделал обычный путь русского, бежавшего от революции: пошлость этого нищенского бегства не переставала его удручать. Как тысячи других, он грузил мешки в Константинополе, голодал в Вене, спекулировал в Берлине – и кончил свои сознательные дни в Париже. Но нигде и никогда он не забывал о том, что он должен написать голубиную книгу.

После его смерти служитель Франсуа передал мне его имущество: полотенце, несколько листков бумаги (остальное Илья Васильевич уничтожил) и прекрасную самопишущую ручку марки Waterman. Пером waterman'овского золота была написана голубиная книга. От нее остались только те отрывки, которые я привожу.

Я знаю, что помешательство Ильи Васильевича не было случайным: это пример одного из тех, кто не смог вместить в себе нехитрой премудрости современной ежедневности, для кого факты убедительней идей. Лирика голубиной книги, вернее, этих десятков строк, – беспорядочна и романтична: бессилие Ильи Васильевича уйти от себя свидетельствует об отсутствии непосредственного изобразительного таланта: его тенденциозность – результат скверной традиции русской общественно-беллетристической литературы. Но голубиная книга не лишена интереса: она напряженна, и фантастична, и неопределенна, как облако, принимающее форму верблюда.

«Тяжелое, братья, солнце над Дарданеллами. Вот я сплю и вижу во сне Галлиполи, плевки белой пены на гальку и длинный черно-желтый берег. Там, в этой голой стране, где голодают оборванные дикари, где пашут на ослах и коровах, где грязь – вязкая, как оскорбления, и тягучая, как передовые статьи газет, – мы жили лагерем

побежденных солдат. Мы были побеждены: революцией и жизнью.

С берега мы глядели на величественные контуры трансатлантических пароходов, везущих разбогатевших буржуа из Стамбула в Европу и дальше в Нью-Йорк. Мы бросались в море, но вода не принимала нас. Мы голодали. Однажды я проглотил кусок терпкой галлиполийской глины: и вот до сих пор этот комок, прорастающий в моем сердце, давит на меня грузом желтого отчаяния голода и тяжелой памятью о земле, где я должен жить. Жизнь, разложенная на простейшие элементы, есть соединение грабежа, торговли и любви. Мы были грабителями.

Тяжелое, братья, солнце над Дарданеллами. Перед бегством оттуда я пошел посмотреть на кладбище тех, кого судьба послала из России на бледный берег Галлиполи для утучнения чужой земли. И вот я вошел и увидел, что могилы стоят в затылок и рядами – как строй солдат, как рота мертвецов; без команды и без поворота. Они умерли по номерам и по порядку: к Страшному Суду они пойдут привычным строем, и кара их будет легка, как служба часового.

Каждый делает, что умеет: румыны играют в оркестрах, кавказцы танцуют лезгинку. А мы умели только умирать. Это очень просто. Мы заполнили нашими телами глубины российских безвестных оврагов, и оставшимся в живых нечего делать».

«Они смеются и указывают мне пальцами на этот громадный город и говорят: «Вот как надо жить. Жить надо просто: ездить на трамвае, иметь чемодан и любовницу и платить в гостинице». Их мысль бессильна пробраться сквозь строй тусклых городских призраков, они не знают, что такое море, и привыкли к клеткам, как попугаи. Я же знаю, что из мертвых лошадиных голов в мясных на меня смотрят глаза моих братьев, что с вот этими собаками я учился бегать, когда был щенком. Они назы-

вают это пантеизмом и атавизмом, но я вижу, как горят на костре книги Анатоля Франса, а они этого не видят.

Я обладаю тройным зрением: горизонтальная плоскость минутной протяженности, высокая вертикаль времени и острый угол, образованный временем и линией дальности. Но тройное зрение в жизни не нужно. Надо иметь чемодан, и в этом они правы».

«И во враждебных зрачках окружающих я вижу то злобное пламя, которое испугало меня еще в детстве, когда я встретил волка в лесу над Камой».

«Вначале меня смущало количество плоскостей, в которых я живу, три аспекта, стоящие перед глазами. Эта торжественная цифра является в такой же степени моей, как все элементы тройного зрения.

Иногда мне удается очистить дороги моего взгляда от камней и булыжников реальности: я вижу сверкающий блеск воды, и черную птицу, и Бога, охватившего земной шар.

На линии дальности, в холодном воздухе уходящей и нескрывающейся перспективы, я ставлю самое ценное, Россию.

Моя родина – дорога к Богу. Его громадное сердце бьется над куполами Москвы, и слова его, заглушенные городским шумом, трепещут в воздухе крыльями испуганных голубей».

«Утром, когда город еще спит, я стою в темном переулке и жую хлеб с паштетом. Это уже было, это повторяется. История нищенства едва ли не древнее истории воровства.

Корабль, застрявший на мели нищеты, сдвинем мы, русские. В нас есть то, чего не хватает остальным: бешеные религиозные евреи, фабричные песни и городские головы, на площадях танцующие канкан. Это святое легкомыслие нам дано христианством: мы служили Богу, как плясун Богоматери, мы чисты сердцем и нищи гордостью».

«Я вернулся в Россию, в дом, откуда уехал пять лет тому назад. И вот я увидел заколоченные ставни и чужую страну, да бурьян на заднем дворе, да развалившуюся трубу, да накопченный черный крест на двери. За два квартала, на окраине города, горели бойни, и тысячи крыс, пища, бежали по улице.

Я ушел пешком. Летучие мыши пересекают линию дальности, ноги тонут в мягкой пыли, и во всей стране играют гармоники.

Я снова в Париже.

Пусть похоронят меня в медном гробу, звучном, как труба, блестящем, как солнце, и пусть поставят надо мной высокое синее знамя».

«Я пригласил комиссионера по продаже и переоценке духовных ценностей и предложил ему всю нидерландскую литературу за один сон князя Андрея. Агент, к моему удивлению, оказался знакомым. Это швейцар Владимирского исполкома.

Сделка состоялась и была вспрыснута. Агент, впрочем, не пьет ничего, кроме дезинфицированного бензина».

«Я ехал по линии железной дороги, огибающей открытое здание на выжженной поляне. Там я увидел моих спутников по войне: лежали там Мишка Васильев, пулеметчик, татуированный череп полковника Свистунова и вторая, короткая, нога каптенармуса Офицерова.

Нам больше не по дороге, товарищи. Запах разложения побежденных бьет в лицо, ветер подымает с дороги пыль, легкую, как победа».

«Прихожу вечером, швейцар удивляется, – где, говорит, пропадаете?

Я ему сказал независимо:

– Бросьте, старик. С генералом Скобелевым, небось, не знакомы?»

«Когда я умру, пусть моя возлюбленная одарит своей благосклонностью двух иностранцев. Это необходимо для симметрии.

Дорогая Полина, остерегайся только людей с разноцветными глазами – и интриг дальнего родственника, анонимного недоброжелателя, продавца материи для синих знамен».

ШПИОН

Худой высокий мерин, на котором я проскакал четыре версты, был убит пулей, попавшей ему в голову, когда я сворачивал вправо, въезжая с вязкой, намокшей пахоты на твердую дорогу. Он рухнул на землю: я успел высвободить ноги из стремян, но, падая, сломал шпору. Когда через минуту я очнулся, я увидел лишь силуэты наших солдат, успевших уйти далеко. С проклятиями и ругательствами, прихрамывая на левую ногу, я пошел вслед за ними. И, пройдя несколько шагов, обернулся.

Всадник на громадной вороной лошади тяжело и медленно скакал за мной. Я увидел, как он забросил за спину винтовку и выдернул из ножен шашку. Он был один: за ним никто не следовал.

Я вытащил револьвер, массивный парабеллум, и, когда всадника отделяли от меня два десятка шагов, выстрелил: лошадь сразу дернулась в сторону и его сбросило с седла. Левая нога, запутавшаяся в стремени, мешала ему упасть. Я подошел к остановившемуся коню, снял человека и, положив его на землю, заглянул ему в лицо.

Под солдатским картузом с красной звездой на околыше я узнал Роберта, студента, с которым был знаком года два: он всегда отличался отчаянной храбростью и слыл за хорошего товарища. По национальности он был француз.

На горизонте появилось несколько конных. Ухватившись за луку седла, я последний раз посмотрел на Роберта. На губах его выступала кровь, он открыл глаза.

– Vous n’avez pas de chance, Robert![1] – сказал я, нагибаясь к нему.

---

[1] Вам не повезло, Роберт! (*фр.*)

* * *

Оборванные солдаты белой армии пересекали пространства южной России. Пьяные прапорщики пели, фальшивя, опереточные арии; кавалеристы, нанюхавшиеся кокаина, покачивались в седлах; проститутки и сутенеры, мародеры и коммерсанты шли по пятам наступающих.

В городе, занятом белыми, я снова встретил Роберта. Он был в форме казачьего офицера: веки его глаз покраснели и распухли. Он подошел ко мне.

– Я должен вас предупредить: моя служба у красных была миссией, которую мне поручило мое начальство. Я вас предостерегаю от ложных выводов. Я думаю, мы будем считать этот инцидент исчерпанным. Я патриот, мы спасаем родину.

– Значит, вы выздоровели? – сказал я, подумав.

И в тот же вечер Роберт пришел в мою квартиру. Он был в штатском костюме и с фальшивой бородой; на правом виске его появился шрам. Горничной он сказал, что разыскивает дезертира Семенова.

Я вышел в переднюю и, повернув выключатель, сразу узнал Роберта. Горничная смотрела на нас с изумлением.

– Что это значит, Роберт? – спросил я по-французски.

– Вы ошибаетесь, – сказал он. – Вы принимаете меня за кого-то другого. Я не говорю по-французски. Я разыскиваю дезертира Семенова, я агент…

Входная дверь открылась, и оттуда выглянула чья-то голова в зеленой армейской фуражке. За ней показалась вторая. Роберт не кончил фразы и обернулся.

– Бросай, Васька, бомбу! – закричал отчаянный голос. – Черт с ним, пускай потолок завалится!

Горничная в ужасе шарахнулась в сторону. Роберт бросился к двери. В ту же секунду ахнул взрыв.

Мы остались невредимы: Роберт куда-то исчез.

* * *

Город Севастополь не так плох, в конце концов. В последний год гражданской войны там впервые поя-

вились беспризорные. Эта шайка, собранная со всех концов южной России, жила кражами, просила милостыню и питалась объедками.

Я заметил одного мальчишку, более смышленого, чем остальные. Мне показалось, что раза два я видел его в городе – в чистом костюме, умытого и совсем не похожего на своих товарищей, ходивших в лохмотьях. Однажды я издали видел, как он говорил с французским матросом: это меня удивило.

Как-то я вновь обратил внимание на его невысокую фигурку: на Приморском бульваре он подошел к англичанину, которого я сразу узнал, взглянув на его затылок. Это был Роберт.

– Вон того, в кепке, – сказал его голос. – Только адрес, больше ничего.

И Роберт прошел мимо меня, не улыбаясь и делая вид, что он меня не узнает.

Я его не остановил.

Другой раз в том же городе я снова встретил Роберта: он шагал по Нахимовскому проспекту: женщина в грубой нижней рубашке и босиком бежала вслед за ним. Через каждые пять секунд она выкрикивала «убийца» и высовывала Роберту язык. Он не оборачивался.

– Что такое? – спросил я товарища, с которым шел. – Кто она такая?

– Старуха слабо соображает, – презрительно ответил он. – Разве ты ее не узнаешь? Это севастопольская сумасшедшая, Феня. А он, этот субъект в английской форме, – шпион.

* * *

Прошло несколько лет, несколько летописей, свернувшихся в трубочки. Я видел эту неправдоподобность, сочетание строгости и хаоса, эту смену эффектов, цирк, где время жонглирует жизнью и жизнь – человеческими лицами. За равномерными движениями дней и судорогами вечеров я искал спрятанные лица галлюцинаций. Я шел, не замечая места, – и вот, озадаченный, я оглянулся – это происходило на окраине Парижа, – и я вошел в дымное маленькое кафе. Пьяная сербка танцевала под

дуэт граммофона и гармоники; дребезжал ровный строй бутылок; свирепое, покрытое шрамами лицо мужчины в синем переднике и рубахе без воротничка, внезапно появилось перед моими глазами.

– D'la bière, du pinard?[1] – закричал он в упор.

– Старые трюки, – сказал я. – Дайте мне черного кофе.

– A la gare avec ça! J'suis pas oblige de connaître toutes les langues du monde. Q'on parle français quand on est en France[2]. – Вы слишком усердствуете, – и я остановился на секунду. – Во-первых, я совершенно отчетливо слышу ваш акцент, хоть вы и француз. Россия не прошла безнаказанно для вашего французского языка. Во-вторых, черт возьми, Роберт, здесь нет ни одного шпиона, кроме вас. Вы можете спокойно говорить по-русски. Вы слишком привыкли к этой мнимо трагической роли человека, ежеминутно рискующего жизнью. Я держу пари, что за вашу голову никто не даст даже ста франков. Мне надоело вас узнавать, Роберт. Я бы повесился от скуки, если бы вся моя загадочность заключалась в фальшивой бороде, десятке костюмов, дюжине шрамов и посредственном знании трех языков.

– Я предпочитаю мою работу вашей, – ответил Роберт. – В пустое пространство, которое вы сделали из вашей жизни, вы вписываете десяток этюдов в иронической интерпретации. Вы не знаете опасности, вы не признаете фатальности. Вы не любите карт, так как не понимаете азарта. Вы ненавидите артистов, вы предпочитаете сумасшедших ремесленников. Вы не понимаете подвига... И если я вам скажу, что мое существование состоит из комбинации вдохновения и расчета, то вы мне, конечно, не поверите, потому что это вам органически чуждо, так же, как вам чуждо чувство родины, которой я служу, и войны, которой я отдал все мое время.

– Я подумаю на досуге о философии дилетантов в шпионаже, – сказал я. – Это я вам обещаю. Сейчас же я хотел бы подчеркнуть, что я далек от мысли давать советы. Я хочу только напомнить вам, что военные выхо-

---

[1] – Пива, вина? (*фр.*)

[2] – Черт побери! Я не обязан знать все языки мира. Раз ты во Франции, говори по-французски (*фр.*)

дят из моды. Мы живем в век штатских. Вам, героям с солдатских лубков и спасителям родины, мы сохраним места в пожарных командах. Voila, mon vieux[1]. Следующий раз я встречу вас, наверное, в Сингапуре, если вы радикально не перемените взглядов и вместо вашей хлопотливой и совершенно ненужной профессии не возьметесь за скромное ремесло репортера.

И я замолчал, медленно глотая кофе. Все-таки Роберт был мечтателем и посвятил свою жизнь опасности с такой же легкостью, с какой я посвятил бы рассказ кому-нибудь из знакомых.

И вдруг за одним из столиков я увидел накрашенную женщину в глубоком трауре. Кровь бросилась мне в лицо. Граммофон продолжал греметь, и сербка не прекращала свой дикий и глупый пляс – в этом ободранном проклятом притоне. И в первый раз в жизни, забыв о себе, о скользких, продажных кроватях, о холодной пропасти подвала, в котором я жил, – в первый раз поняв, что слово печаль можно писать без кавычек, – я сказал этой женщине в трауре:

– Разве ты похоронила свою профессию, моя дорогая? Или ты ищешь богатого клиента, падкого на оригинальность?

Я встретился с ее глазами. Сколько раз на мутных перекрестках Парижа от меня ускользал этот презрительный взгляд! Я поднял тяжелые веки. В отчаянии я вспомнил о городе, в котором родился, о мертвом величии Петербурга. Улыбающееся лицо Роберта вновь очутилось на уровне моих глаз.

– Позвольте вас познакомить, – сказал он. – Это Варвара Владимировна, моя жена. В России была буржуйкой, здесь занимается шитьем.

– Вы испортили мне рассказ, Роберт.

И ей:

– Будем знакомы, сударыня.

* * *

Я вернулся домой. Мулат, живший в соседней комнате, оскаливаясь от усилия, играл на виолончели свои гаммы.

---

[1] Вот так-то, старина (*фр.*).

РАССКАЗЫ О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ

Эпиграф

«Полное пренебрежение принципом обязательности, точно так же, как отсутствие какой бы то ни было согласованности с авторитарными началами нравственности, надлежит считать одним из наиболее важных философских положений авантюризма.

Ежели бы мы захотели провести параллельное утверждение в литературе, то нам достаточно было бы сослаться на Байрона, Вольтера и Боккаччо. В частности, в русской литературе мы имеем богатейший материал, начиная от революционеров типа первых пионеров российского анархизма и кончая такими современными беллетристами, как Бабель».

«В достаточной степени правдоподобным нам представляется декларирование искусства как науки о постройке зданий на песке. Это нисколько не более бессмысленно, нежели строить небоскребы: рано или поздно все пойдет к дьяволу, и небоскребы, надо полагать, даже раньше, чем многое другое».

«Моральные начала в искусстве, таким образом, совершенно неестественны и вредны, как слишком сильные щелоки для белья. Факт до сих пор существующей зависимости искусства от наиболее распространенных заблуждений так называемой нравственности, пытающейся перешагнуть за нормальные для нее пределы утилитаризма чисто ассенизаторского характера, – объясняется в громадном большинстве случаев или дурной литературной наследственностью, неизбежной, как, скажем, наследственность сифилитического или туберкулезного происхождения, или же недостаточной культурной подготовкой рядовых работников интеллектуального труда».

«Болезнь религиозности и морализма, рассматриваемая in sich[1]*, может быть в известной степени уподоблена некоему психическому рахитизму или, в другой плоскости, тем варварским формам, в которые втискивали некогда ноги китаянок, чтобы сделать их маленькими и изуродовать на всю жизнь».*

«Как на любопытный пример совершенно несомненного аморализма в искусстве, – в данном случае речь идет о литературной стилистике христианства, – мы могли бы указать на Откровение святого Иоанна».

«Наоборот, во всяком труде, имеющем хотя бы отдаленное отношение к искусству, категория времени, согласно одному из центральных тезисов излагаемой нами теории, приобретает совершенно специальное значение. Графически она могла бы быть изображена рядом концентрических кругов. Пространства, заключенные между каждой парой последовательных окружностей, могут трактоваться как пояса свободного времени».

Аскет. Теория авантюризма. Том первый. Опыт схематизации. Москва, 1926 год (не издано). Страницы 58-я и 71-я. Единственный рукописный экземпляр, принадлежащий автору.......

I. Бунт

«Mais maintenant la lueur qui colore ces accidents leur prête un nouvel aspect».
«La peau de chagrin»[2]

Из всего, что мне обещали книги, я оставил себе только право бунтовать.

Над кроватью на стене моей комнаты висят длинная желтая перчатка из прекрасной кожи и несколько масок. Когда-нибудь мою исчезнувшую и мертвую фантазию упрекнут в пристрастности. Но я оставляю на память эти

[1] в себе; как таковая (*нем.*).

[2] «Но теперь оттенок, который окрашивает эти события, позволяет взглянуть на них по-иному». <О. Бальзак> *«Шагреневая кожа»* (*фр.*).

символы эпизодичности повторения и обещаю не соглашаться.

Я не соглашаюсь. Сквозь застывшую полупрозрачную массу остановившихся лет, сквозь тяжелую муть почти десятилетия –

Я смотрю и записываю:

медленный ритм – Туп-Тап, смешные украинские календари и конец девятнадцатого года.

Хозяйка Туп-Тапа, Екатерина Борисовна, любила только двухцветные сочетания. Бильярды в Туп-Тапе были зеленые, обои синие. Сама Екатерина Борисовна носила черные платья: белели лишь руки, и шея, и мягкая вдовья грудь. Вечерами в Туп-Тапе зажигались лампы над задумчивым зеленым сукном; по трем ступенькам узкого крыльца поднимались посетители, хлопали лимонадные пробки, и начиналась игра. Огромные белые шары с грохотом мчались по зеленому пространству, врываясь в гремящие лузы; длинные кии, нанеся удар, стремительно отступали, отдернутые недрожащей рукой профессионала; пустое горячее сердце Екатерины Борисовны останавливалось и падало, – и это были торжественные моменты партий, разыгрываемых лучшими игроками. Пятнадцатый шар застревал в лузе: он дрожал и колебался, и на зеленую плоскость, стянутую строгими прямоугольными линиями, отчаянно глядели остановившиеся глаза. И шар, нервно приблизившись к пропасти, вздрагивал в последний раз: Екатерина Борисовна хваталась за виски. И шар падал: жизнь была кончена. Ставили новую партию.

Посетители Туп-Тапа делились на своих и чужих. Свои знали друг друга до мельчайших подробностей и играли между собой бескорыстно. Когда же приходили чужие, их встречали организованной атакой, и нужно было оказаться очень хорошим игроком с большой выдержкой, чтобы не проиграть все, вплоть до шапки. Таких в Туп-Тапе уважали, но они попадались очень редко.

Свои состояли из профессионалов, полупрофессионалов и почти небильярдных людей. Их, небильярдных, было двое: Володя Чех и Алеша-прапорщик.

Память о Володе осталась – у других надолго, и у меня – навсегда.

Его кошелек был открыт для всех, и если он часто бывал пуст, то в этом следовало винить полицию. Его профессия сделала его щедрым и великодушным; и в некоторых отношениях он не походил на остальных людей. Я хочу сказать, что, в частности, Володя был одноглазым.

Иногда он не приходил неделями. И каждый раз, когда он после этого возвращался, Екатерина Борисовна неизменно спрашивала:

– Опять засыпались, Володя?

– Что я вам могу сказать, мадам? – говорил Володя. – Я вам могу сказать, мадам, что от засыпки не убережешься.

Через минуту он спрашивал:

– Мадам, вы можете мне отпустить стакан чаю, четыре бутерброда и два пирожка – в долг?

– Имеете, Володя.

И Володя подходил к Есе Богомолову, гимназисту последнего класса, одному из лучших игроков города.

– Ну, карандаш, есть с тобой игра.

– У меня нет времени, – презрительно отвечал Еся. – Я жду партнера.

Володя удивлялся:

– Ну? А я не партнер?

– У меня нет времени, Володя.

А Алеша-прапорщик носил галифе и коричневый френч, из-под которого выглядывал белый воротничок. Когда-то давно он был студентом, но университета не кончил: убил охранника, попал на каторгу и бежал, затем очутился на фронте и с фронта приехал к нам. Ему сразу приглянулись синие обои Туп-Тапа и задумчивые зеленые столы – и в несколько дней он стал своим. Вечерами он сидел со стаканом чая за мраморным столиком. Он глядел в противоположный конец бильярдной и видел белую шею и нежные черные контуры Екатерины Борисовны: его взгляд становился пристальным и блестящим, рука оставалась на стакане с горячим чаем, и он не чувствовал, что стакан обжигает ему пальцы.

– Алеша, куда ты смотришь? – иронически спрашивал Володя.

Алеша вздрагивал и не отвечал.

Было, строго говоря, два Алеши:

Алеша с сигарой
и Алеша без сигары.

Алеша без сигары был молчалив, проигрывал на бильярде и курил папиросы Лаферм, которые он глубоко презирал. Но вот, как-нибудь, пропав дня на два или три, он возвращался с сигарой. Володя, обладавший прекрасным зрением, издали его замечал. Он входил в бильярдную и шумно садился.

– Братцы, Алеша с сигарой.

Игра на минуту прекращалась. Входил Алеша. Еся Богомолов, подражая оркестру, играл губами «туш», другие ему подпевали.

В зубах у Алеши светилась огромная сигара. На руках у него были белые перчатки. Он говорил:

– Екатерина Борисовна, сегодня я плачу за всех. И получите, пожалуйста, мой долг, там, кажется, шестьдесят рублей.

И сквозь
синий
табачный
туман
фигура Алеши – с огнем в зубах и безупречно белыми пятнами перчаток – подходила к стойке Екатерины Борисовны.

– Можно с вами поговорить?

– Пожалуйста, Алеша.

Я забыл сказать, что Екатерина Борисовна кончила епархиальное училище. Может быть, оттуда она вынесла любовь к двухцветным сочетаниям. Но горячее широкое сердце, и белый цвет кожи, и эту нежную очерченность линий она приобрела позже, когда стала вдовой.

– Я очень люблю, Екатерина Борисовна, когда вечером лампы горят и вы за стойкой стоите. Днем не стоит жить, Екатерина Борисовна, днем – это ерунда. Жить можно только вечером.

И знаете что, Екатерина Борисовна? Знаете, что я хочу сказать?

– Алеша, куда ты смотришь? – кричал Володя.

И Екатерина Борисовна, взволнованная

синим

табачным

туманом,

и необычным тоном Алеши,

и жизнью, которая – только вечером,

лила дрожащей, непрофессиональной рукой горячий чай на белые перчатки Алеши.

– Я вас люблю, Екатерина Борисовна.

А под утро Алеша спал на диване в комнате Екатерины Борисовны. Свисала до полу рука в закапанной белой перчатке; окурок сигары лежал на губах.

И на следующий день хмурый Алеша снова курил папиросы Лаферм.

И устав от медленного ритма

Туп-

Тап,

мы выходили на улицу. Горела зима, и снег хрустел под подошвами, и блестели, отражаясь в стеклах витрин, дорогие меха проституток. По тротуару под фонарями двигалась вечерняя толпа, целый маскарад – презрительные, раскрашенные маски поэтов, яркие женские губы, тяжелые шубы коммерсантов, каракулевые саки аптекарш и

черная, широкополая, летящая по косой линии – вниз, шляпа и необыкновенное лицо

Розы Шмидт.

Если бы не существовало календарей с временами года,

то Розе Шмидт –

я посвятил бы север.

Север – прекрасную, мужественную страну, колыбель веселой революции, страну холода, и румянца, и далеких снежных пространств со следами лыж и четкими отпечатками волчьих лап.

Север. И восклицательный знак.

Север. И шаг вперед.

И вдруг в толпе мелькало лицо Люси, и знающие ее расступались, давая ей дорогу.

Люся была больна: ее ненасытная чувственность состарила ее в несколько лет. Ее знал весь город. Котиковое пальто ее было распахнуто на груди, точно она не чувствовала холода. Из-под меховой шапочки, осыпанной снегом и пестрыми кружками конфетти, глядели бледные, растрескавшиеся губы: и взгляд Люси скользил по опускающимся глазам встречных и по передергиваниям плеч. За ней гурьбой шли гимназисты и реалисты, которых она вела в университетский сад, где было темно и тихо под тенью белых от снега деревьев.

Розу Шмидт мы называли сестрой, это было ее прозвище. Она училась – как и другие – в гимназии, танцевала – как и другие – на вечерах, а летом играла в теннис. Мы встречали ее вечером на улице, днем в библиотеке и утром, когда она шла в гимназию, и ее туфли ступали по снегу, и снег был на полях ее шляпы.

Она носила костюм фасона tailleur[1] и длинные желтые перчатки.

Подходил девятнадцатый год, и революция начинала задыхаться. Все же, до самого последнего времени, менялись смешные украинские названия месяцев, и так же гремел Туп-Тап, и победно светилась сигара Алеши.

Но туманной и необыкновенной зимой Роза Шмидт продала свое счастье, и свою улыбку, и прекрасное слово «сестра». Она променяла это на программу единственной партии, на сытные советские обеды, на бритый затылок и кожаную куртку Шурки Розенберга, помощника коменданта города.

Морозным и тусклым утром ее встретили: откинувшись назад и прищурив глаза, она шла под руку с Шуркой, и два субъекта из комендантской команды следовали за ними на некотором расстоянии.

Потом пришли белые и случилось несчастье: Володя Чех был убит – мне не хотелось бы вспоминать об этом второй, более трудный раз.

---

[1] приталенный (*фр.*).

Я знаю, что однажды я встречу Розу Шмидт, и ей будет больше тридцати лет: я увижу эти накарминенные губы и глаза, оживленные лживым блеском белладонны.

И я вспомню о простом перечислении времени:

выстрелы, море, города.

И годы переместились – с тяжелым бильярдным грохотом, и Россия сдвинулась и поплыла. Это тоже был бунт.

Годы переместились, и время потекло по раскаленной зеленой равнине, где некогда проходили рыжие ахейцы вдоль берега коммерческого и стратегического пролива, по нищим переулкам города, где дым оттоманских папирос поднимался к небу прямо, как дым от костра праведника Авеля, по громадным уходящим перспективам венских дымчатых улиц и веселых бульваров Парижа.

По-прежнему, как и в России, – толпа, целый маскарад масок, двигалась и шумела в разных местах, и я запомнил фигуры, остановившиеся в падении, и застывшие взмахи рук.

Но Россия остановилась, и годы, как шары, упали в лузы, в пропасти прошлого, в концы жизни.

Но сквозь тяжелую муть застывших лет

все повторяется, падает и снова упорно встает
эта неизменная история проигрышей,
это оглавление
этой жизни:
медленный ритм
Туп-
Тап,
сигары Алеши,
треснувшие губы Люси,
шляпа и перчатки Розы Шмидт,
пейзаж севера и революции
и
затихший
грохот
России.

II. Слабое сердце

«Воззрите на птицы небесные».

Мы гуляли по улицам Константинополя, очень хорошего города. С европейских высот мы видели убогую яму Касим-Паши – рухнувшее величие могущественной тысячелетней империи. Мы падали в узкие переулки Стамбула, где маленькие ослы невымирающей древней породы возили на своих спинах связки дров и высокие корзины с провизией. Женщины с закрытыми лицами несли узкогорлые кувшины – это напоминало нам картинки из Библии. Неподвижные турки, целыми днями просиживающие в кофейнях, постигали, как нам казалось, самые сокровенные тайны Востока. Из этих тайн мы усвоили главную: искусство ничего не делать.

Мы ничего не делали. Бродя с утра до вечера от площади Баязет до Таксима, мы ограничивались ругательствами, но воздерживались от каких бы то ни было предприятий. Мы спускались в Галату: живой женский рынок – гречанок, турчанок, армянок, евреек, смуглых женщин, говорящих на непонятных языках, на невероятных волапюках. Женские руки хватали и останавливали нас; но мы были в безопасности, у нас не было денег.

Мы жили так несколько недель. Затем, когда нам надоели сверкающий вид Босфора и прохладные ночи над мечетями, мы прокляли постигнутую тайну ориентализма и нашли иные пути, чтобы сохранить себя; мы не должны были погибнуть, – мы, свежий человеческий материал с громадным запасом ругательств и любви к свободе; мы, ростки, вырастающие из обгоревших головней такой пламенной, такой неповторимой революции, такого великолепного костра.

В эту эпоху, отмеченную знаком скорости и суетливого солнечного потока, судьба столкнула меня с несколькими людьми, и в течение месяцев и дней мы шли вместе – с одинаковыми ругательствами и разными взглядами. Их было трое: художник Сверчков, семинарист Крестопоклонский и капитан Огнев.

Когда я думаю о художнике Сверчкове, я вижу насмешливый луч солнца, ослепительно отражающийся в лысине этого человека.

Что такое, в конце концов, художник Сверчков? Он мужественно носил желтое зеркало на пустынном и диком черепе. Он был обширен и тяжел: я помню глухой рокот его громадного живота и бесцветные блики его зеленых глаз. Отчаянный желтый галстук струился на его груди – по рубашке, которая некогда была зеленой. Сверчков глядел на нее с грустью и говорил:

– Elle était verte celle-ci![1]

И с язвительностью, которая мне много портила, я продолжал:

– Il était artiste celui-là![2]

Сверчков был плаксив, торжественен и патриотичен.

Вечером, лежа под мечетью, он говорил:

– Братцы! Ей-Богу! Господа! А? Честное слово!

И капитан Огнев сердился:

– Вы беспредметны, Сверчков.

Я люблю вспоминать о Крестопокдонском.

Это был человек, утонувший в мечтательности. Он грезил громадными сигаретами и лиловым дымом русских кабаре. И он потом переселился в страну своих грез: это значит, что он поступил в русский ресторан. У него был очень мягкий и сильный голос – и, может быть, теперь он сделал карьеру и поет где-нибудь в Буэнос-Айресе и получает хорошие деньги. Волосы у него были послушные и тонкие, характер застенчивый и склонный к компромиссам. Но даже когда он пел тропари и кондаки, бессмысленный груз семинарских потерянных лет, даже тогда мы слушали его с удовольствием.

Капитан Огнев был разочарован больше других. Всю жизнь его учили уставам, правилам артиллерийской пристрелки и внушали, что все построено на принципе дисциплины, повиновения и достоинства. Он поверил этой величественной и химерной схеме: он твердо знал уставы,

---

[1] – Она была такой зеленой! (*фр.*)

[2] – А какой он был артист! (*фр.*)

честно командовал «два патрона, беглый огонь!» и не замечал ничего из многих вещей, его окружавших.

Но когда кончилась гражданская война, он увидел, что он совершенно не нужен. Еще иногда ночью во сне он кричал:

– Беглый огонь!

И просыпался. Голос Сверчкова возвращал его к действительности:

– Капитан, не стреляйте, пожалуйста. Кончилась ваша лавочка, капитан.

И капитан Огнев умолкал. Очень хороший был, между прочим, человек: верный товарищ, исключительно честный и бескорыстный.

Я вспоминаю, о капитане Огневе как о рыцаре приличной ненужности.

И были еще с нами два брата, кадеты какого-то мифического сибирского корпуса. Только мы вчетвером, – кадеты, Крестопоклонский и я, – только мы и были материалом, только мы и могли надеяться на будущее. Огнев и Сверчков были обречены на угасание. Сверчкову было тридцать восемь и Огневу – тридцать шесть лет. Сумма этих двух возрастов превышала ровно на две единицы цифру, в которой помещались мы все вчетвером.

Последний вечер мы проводили у лестницы мечети. Со следующего дня должны были начинаться наши хлопоты о квартире и о буржуазной жизни.

В этот вечер первым заговорил Сверчков.

– Когда я учился в Париже... – сказал он и всхлипнул. – Братцы, а? Ей-Богу.

А капитан Огнев запел тонким голосом: Помню эту песенку, которую он пел с очень грустными интонациями.

– Мы хоронили, господа, наши идеи, – снова сказал Сверчков.

А капитан пел:

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет.

После капитана запел Крестопоклонский: он оборвал и не кончил. И, ежась от холода, мы заснули.

И на следующий день мы все, действительно, устроились. Кадеты продали свои паспорта каким-то малограмотным румынам, капитана Огнева приняли на турецкий баркас для ловли рыбы, Крестопоклонский поступил в кабаре, мне мои бывшие сослуживцы привезли восемьдесят метров сукна, которое я не успел получить на пароходе, а Сверчков взялся расписывать квартиру одной богатой гречанки.

Я поселился в отеле, принадлежавшем пяти румынкам. Они танцевали фокстрот, зарабатывали деньги и бегло говорили по-французски. Дом, который они не то сняли, не то купили у какого-то прогоревшего турка, был скверным домом: все четыре его этажа поминутно вздрагивали от толчков улицы, а деревянная лестница тряслась даже под легкими ногами румынок. С утра до вечера дребезжали в буфетах тарелки и чашки; когда неподалеку вспыхивал пожар, румынки выскакивали из своих комнат и все в один голос кричали:

– Au feu! Au secours![1]

Из окна моей комнаты я видел лишь крыши и куски неба и редкими ночами – зарева пожаров на азиатской стороне, голые, отчаянные люди, которых я принимал сперва за сумасшедших спортсменов, но которые оказались просто пожарными, бешено мчались по тихим ночным улицам Константинополя. Греки и турки, продававшие какую-то белую дрожащую массу или бублики, – кричали под окнами, и румынки запускали в них пустыми коробками из-под сардинок или в лучшем случае из-под папирос.

Интернациональная толпа населяла европейскую часть города, – это было в период оккупации. Медленно выступали индусы, развевались короткие юбки шотландцев, англичане чопорно шагали по тротуарам – с видом оскорбленной добродетели; красные помпоны французских матросов реяли над толпой.

[1] – Пожар! На помощь! (*фр.*)

Однажды по Pera проезжали английские батареи: дом дрожал, как в лихорадке, и я сказал румынке, которую считал главной, так как она была значительно толще других:

– Держите ваш отель, madame, он упадет в обморок.

– Oh, ces sales turques![1] – закричала она. – Но вам письмо, m-r, вы не видели?

Письмо было от Сверчкова. Он приглашал меня часам к девяти вечера в греческий ресторан «Америка». «Будут все наши».

Я пошел.

Кадеты жадно ели кебаб, Крестопоклонский держал в руке бутылку самосского вина; капитан Огнев, успевший загореть за одну неделю, как негр, курил и любовался кольцами дыма. Но самым замечательным был Сверчков – в смокинге и черных лакированных туфлях.

Ресторан дымился; играл оркестр, и Сверчков взмахивал в такт рукой и падал со стула, но удерживался.

– Гречанка предложила ему жить у нее, – сказали мне кадеты. – Он получил хорошую монету и костюмы ее мужа, который сидит в тюрьме. Видите этот смокинг?

– Я хочу, господа, – сказал Сверчков, – сделать вам одно предложение. – И Сверчков закачался на стуле. – Господа, когда я учился в Париже...

– Мы неоднократно имели удовольствие познакомиться с этой весьма поучительной подробностью вашей биографии, Сверчков, – сказал я. – Passons[2].

– Господа, – снова начал Сверчков. – Вы знаете, что в России, во времена гражданской войны, в эту эпоху героизма и подвига...

– Сверчков, мы прочтем об этом подробно в плохих военных романах.

– Тогда я перехожу прямо к делу. Я встретил недавно Надю. – Сверчков вынул платок. – О, далекое время моей юности!

– Это ерунда, Сверчков.

---

[1] – О, эти грязные турки! (*фр.*)

[2] Оставим это (*фр.*).

– Да, но Надя прекрасная женщина. Она была сестрой милосердия, и всюду, где смерть сеяла свои жертвы...

– Выпейте сельтерской воды, Сверчков. Смерть не земледелец, она ничего не сеет.

– Всюду, где появлялся бледный призрак смерти, светлый и чистый образ Нади внезапно вставал перед глазами умирающих героев. Сколько раз я, раненный в грудь и преследуемый разъяренными красноармейцами...

– Справедливость требует отметить, что вы никогда не были на фронте, Сверчков, – вставил капитан Огнев.

– Дайте же мне говорить, господа. Я встретил Надю в Константинополе. Господа, вы читали Агнивцева: «у каждой продавшейся русской на ресницах слеза Богоматери». Господа, Надя согласилась провести с нами одну ночь. Это будет стоить десять лир, господа, меньше, чем по две лиры на человека. Моя хозяйка уехала в двухдневную прогулку на острова. Ее квартира к нашим услугам. Alors[1], сегодня ночью я приглашаю вас всех. Я думаю, через полчаса можно, пожалуй, двигаться. Предложение мое, кажется, принято единогласно.

– Нет, – сказал я, – я в этом не участвую.

– Добродетель? – язвительно спросил Сверчков. – Так называемая липовая добродетель.

– Нет, я просто не хочу вспоминать о том времени, когда в России стояли длинные очереди за селедками. Я не люблю смотреть в затылок моему ближнему, в этом есть что-то унтер-офицерское. Короче – я отказываюсь. Пусть выйдет ровно по две лиры на человека.

– Вольному воля, – холодно и независимо сказал Сверчков. – Но ежели, скажем, часика через три соскучитесь, заходите все-таки. Это вам будет стоить одну лиру; кстати, лишняя тема для рассказа.

Я не спал в ту ночь, я работал. Уже под утро, часам к пяти, я вспомнил о Сверчкове и о светлом образе Нади. Шагая по улице, я перебирал в памяти то, чему меня

[1] Итак (*фр.*).

учили благочестивые служители церкви в этой темной юдоли скорби.

– Мария Египетская, – думал я, – и Мария Магдалина, и сотни библейских проституток угодных еврейскому Богу.

Я вошел в квартиру Сверчкова. Споткнувшись о порог, я упал на распростертое тело капитана Огнева.

Они все спали мертвым сном, все совершенно голые. Мебель была перевернута, ковры выпачканы. Свесившееся с дивана лицо Крестопоклонского налилось кровью. Кадеты спали прямо на полу – и в глубоком вольтеровском кресле я разглядел сквозь утренний сумрак белевшую массу Сверчкова. В глубине комнаты на кровати лежала Надя. На секунду, взглянув на ее измятое тело, и кожу с синяками, и на бледные синие полосы губ, я закрыл глаза, и судорога жалости и печали свела мое лицо. Я вспомнил пафос Сверчкова:

– О, далекое время моей юности!

Сверчков тяжело лежал в кресле: на его гигантском черепе, прикрывая лысину, красовался зеленый венок, сделанный из листьев хозяйкиного ободранного фикуса.

– Подумаешь, римлянин! – закричал я – Вставайте, Сверчков, разбудите ваших знакомых!

Первой проснулась Надя. Она поднялась, села на кровати и закрыла лицо руками.

– Сволочи, – злобно сказала она. – Женщины вам не жаль!

Был момент оцепенения. Юношеские округлые тела кадетов дрожали от утреннего холода. Мутными и отягченными глазами посмотрел на меня капитан.

И вдруг Крестопоклонский, не вставая с дивана и опершись на голую волосатую руку, запел первое что ему пришло в голову:

То не ветер ветку клонит...

И тогда Сверчков, этот старый негодяй и бездельник, заплакал. Его живот вздрагивал и трясся от рыданий.

– Ободрал фикус и плачет, – презрительно сказал один из кадет.

– Небось теперь листья синдетиконом не приклеишь.

Через несколько дней смокинг Сверчкова показался на моей улице. Он рассказал мне печальный финал их «развлечения»: после этой ночи обнаружилась пропажа хозяйкиных браслетов и колец.

– Она грозит донести в английскую полицию, – сказал Сверчков. – Друг мой, в моем возрасте я не вынесу побоев бобби. Только вы можете меня спасти. Вы ведь собираетесь стать литератором. Напишите ей такое письмо, чтобы она растрогалась и простила меня. Если вы не можете сделать это, то на кой черт вообще вы занимаетесь литературой?

– Во всяком случае, совсем не для того, чтобы писать чувствительные письма гречанкам.

– Слушайте, напишите ей письмо. Ну, в стиле Поля Бурже, например.

– Письмо гречанке – и еще в таком стиле? Нет, Сверчков, вы сошли с ума.

– Но надо же что-то делать.

– Надо! – закричал я. – Но, черт возьми, это вам надо что-то делать, а не мне. Мне ваша гречанка в высокой степени безразлична. И затем, – на каком языке я буду писать? Греческого я не знаю, французского она не понимает, наверное.

– У нее слабое сердце, вы знаете, – сказал Сверчков. – Ей-Богу, она меня простит. Но письмо все-таки необходимо. Напишите по-русски. Я отдам перевести, у меня есть знакомый грек из Одессы.

В это время пришли Огнев и Крестопоклонский.

– Письмо? – спросил Крестопоклонский. – Я напишу письмо.

И он написал:

«Уважаемая мадам! Я, ваш квартирант и брат во Христе и единой греко-славянской церкви, припадаю к вашим стопам и молю вас простить мне роковой момент заблуждения. Я проклинаю людей, толкнувших меня на стезю соблазна. Я омою слезами раскаяния. Ваш Сверчков, художник».

– А что же он омывать будет? – спросил я.

– Это неважно, она все равно не поймет.

– И потом, это слишком лаконично. И затем – кто это толкнул его на стезю соблазна?

– Вы всегда придираетесь, – сказал Сверчков. – Посмотрим, что выйдет, а там пошлем другое письмо. Но я думаю, что и этого будет достаточно. – У нее слабое сердце, – пренебрежительно сказал мне через два дня Сверчков. – Я это всегда говорил. Да она и сама не скрывает. У меня, говорит слабое сердце, я, говорит, вас прощаю. Покрасьте, говорит, пожалуйста, потолок моей спальни в синий цвет.

Я вспоминаю о Константинополе как о трамплине для прыжка на Запад, в будущее; и в ином аспекте – как о городе синего потолка, приютившего под своей синевой художника Сверчкова, обгоревшую головню российского костра.

Я вспоминаю о Константинополе как о городе слабых сердец.

III. Смерть Пингвина

Сергею Сергеевичу Страхову

Итак, ограничась поверхностью,
будем продолжать.
«Мертвые души»

В этой душной электрической жизни я долго не видел птиц. Я запомнил еще с детства – круглые зеленые крылья попугаев; осеннюю торжественность ворон; тупые и свирепые лица филинов; медленные и презрительные движения орлов.

И я знаю: остается скептический и всесильный жест: пожать плечами, лишенными крыльев.

Мне сообщили, что Аскет, которого я считал пропавшим навсегда, живет в Париже, на улице Муфтар. Я сейчас же пошел к нему. Я открыл дверь и увидел высокую белую птицу, ручного пингвина, принадлежащего Аскету.

Вы представляете изумление человека, входящего в комнату и натыкающегося на безмолвную фигуру пингвина?

В следующую секунду я увидел Аскета.

Он сидел за столом и писал: по обыкновению он не обернулся. Я поглядел на его широкую спину и белые листы бумаги, лежавшей на столе: я сразу узнал эту голову на короткой шее и волосы, падающие на плечи.

– Аскет, – сказал я, – здравствуйте. Мне помнится, что в последний раз мы виделись с вами в апреле семнадцатого года.

– Здравствуйте, – ответил Аскет. – Вы хотите сказать, что мне так и не удалось развить перед вами мысль об исторической значительности Калиостро? Садитесь.

И Аскет повернул голову и посмотрел на меня – из-под знакомой сплошной линии бровей. Я пожал ему руку. Отговорившись неохотой, он не стал защищать Калиостро. Он зато рассказал мне другое: о том, как он служил в красной армии, как попал в какой-то научный институт, где безуспешно пытался учредить кафедру истории авантюры, как потом он уехал путешествовать. Он увлекся, рассказывая о составе тундровых и солончаковых почв, об электрических эффектах полярного сияния. Там, на Крайнем Севере, он подобрал пингвина.

– Его зовут товарищ Пингвин, – сказал Аскет.

И он описал мне великий арктический океан и пустынные скалы, населенные миллионами братьев Пингвина. Затем он пожаловался на грязную воду Нила, на пошлость географии: на кой черт существуют эти розовые силуэты фламинго, и вой шакалов, и глупые пасти аллигаторов?

Потом заговорил я. Я объяснил Аскету, что мы стали похожи на пингвинов, мы потеряли крылья и трагически отяжелели. Я спросил его о России, родине бескрылых, стране больших расстояний. Я рассказал ему далее, что леди Гамильтон и Лола Монтец были неизменными спутницами моей памяти. Я вспомнил фразу о перемещении координат – в прощальной записке, оставленной мне Аскетом десять лет тому назад, и сказал, что лишь недавно я понял страшное движение этих линий, прямой и жестокий

разгон судьбы, и услышал титанический скрежет ломающегося железа.

– Вы опаздываете, – сказал Аскет. – Кому нужны теперь ваши истории о бескрылых птицах? Почему вы так любите эту нелепую революцию, которая скучна и проста, как дважды два четыре? Оставьте лирический тон, не надо держать себя в таком постоянном напряжении.

Я повернул голову и посмотрел на пингвина. Белая птица насмешливо пожала плечами.

– Вы видите, Пингвин согласен со мной. Не надо делать героических усилий, описывая бильярдную, не надо говорить в повышенном тоне о неприятном запахе истории. Не надо волноваться, мой друг.

– Мне остается... – сказал я.

– Вам остается, – повторил Аскет, – пожать плечами, как это делает Пингвин. Я тоже думал как вы, но я устал быть Дон-Кихотом. И это очень не ново. Шарлатаны делают историю, и я согласен быть безучастным зрителем. Вспомните, как бесславно кончились попытки порядочных людей комментировать мемуары времени. Разве никогда ваше воображение не рисовало вам бесплодность бескорыстия и разве вы не видели тысяч бестолковых трупов на полях Германии и Испании и на камнях Франции? Я вам говорил уже что человечество бежит, задыхаясь, за гигантскими тенями шарлатанов, и шулерская фантазия направляет этот дикий поток. Не надо думать, что в этом движении лежит некий героический смысл.

– Товарищ Пингвин, – сказал я, – Аскет уехал на две недели в Берлин и оставил тебя на мое попечение. Подожди, я куплю тебе рыбы, и ты снова услышишь запах водорослей; я тоже его люблю, этот запах моря и свободы. Ты напрасно пожимаешь плечами, Пингвин, не надо быть таким скептиком. Ты даже не имеешь права на этот жест, ведь ты никогда не умел летать.

Я жил на квартире Аскета, шатался по городу, как я делаю это всю мою жизнь во всех городах, куда попадаю, и кормил пингвина. Вернувшись домой ночью, я засыпал и видел во сне ожившую математику – летящие

треугольники, качающиеся верхушки пирамид, вращение вписанных многоугольников, скользивших остриями по полированной линии окружности и бесшумное перемещение координат. Мой учитель алгебры входил в комнату, пройдя через три с половиной года, отделяющих меня от последнего класса гимназии. Он входил в комнату, как в класс, и произносил свои обычные реплики:

– Великий метод аналогии!

И дальше:

– Понимаете? Лимит! Как? Лимит!

– Limité en argent![1] – кричал попугай из противоположного окна – и я просыпался. Он принадлежал художнику, у которого были грандиозные замыслы и ни одного сантима на их осуществление. И художник всегда говорил:

– Ah, ça... Ça serait très bien. Mais guand on est limitéen argent...[2]

Последнюю фразу он произносил чаще других, и попугай ее запомнил.

По утрам мы с пингвином гуляли на набережных Сены. Прохожие оборачивались, бросали изумленные взгляды на белую птицу, и однажды я заметил снисходительную улыбку невысокого старика, провожавшего нас глазами.

– Ты напрасно не оборачиваешься, Пингвин, – сказал я птице, – этот человек похож на знаменитого писателя, у которого есть книга – «Остров пингвинов».

Я объяснял пингвину дорогу, по которой мы шли.

– Ты видишь, – говорил я, – вот это здание на другой стороне – это собор Парижской Богоматери. Посмотри на чудовища, слетающие с его карнизов, это даст тебе представление о дьявольски жестокой истории католицизма и о религиозном вдохновении инквизиторов. Немного дальше начинается квартал Святого Павла, где живет еврейская, польская и русская нищета Парижа. В этом богатом городе много бедных кварталов. В частности, и мы

---

[1] – Ограничен в деньгах! (*фр.*)

[2] – А-а, это... Это было бы очень хорошо. Но когда человек ограничен в деньгах... (*фр.*)

живем не на самой лучшей улице. Но это ничего не значит; нам наплевать на паркетные полы, и ковры, и теплые комнаты, Пингвин. У нас есть традиции искусства и беззаботности, как теплый костюм.

Аскет не вернулся через две недели. Прошел месяц, потом другой. Я оставался один с пингвином. Я ждал письма или телеграммы, но Аскет упорно молчал.

– Пингвин, – сказал я, – с твоим хозяином случилось что-то неладное.

И Пингвин пожал плечами – Пингвин, бескрылый и спокойный фаталист.

И вновь с необыкновенной горечью я ощутил медленное сползание времени. Время скользило между пальцами моих рук и диктовало мне строки, в которых я раскаивался. И на блестящей поверхности звонкого щита моей молодости появились тусклые, тяжелые пятна.

Как-то вечером я случайно встретил Армана Дюкоте. За стойкой ближайшего кабака он угощал меня тягучими ликерами и красной жидкостью Рафаэля. С отяжелевшей головой я заснул, не раздеваясь.

Среди ночи я проснулся. Пронзительное и тревожное чувство пустоты охватило мои мускулы и мой мозг. Я поднялся с кровати и повернул выключатель. Синий свет из-под синего абажура лампы осветил комнату.

Пингвин исчез.

Мы пришли однажды в «Ротонду», я и маленький китаец-жонглер, мой знакомый. Темные и далекие волны музыки раскачивались над столиками. Я обвел глазами надоевший круг: трубки, сигары, папиросы, кепки, шляпы, котелки. Черные гладкие волосы и нежный затылок женщины в мужском костюме обратили на себя внимание. От неожиданности я широко открыл глаза: рядом с ней сидел мужчина. Я не мог ошибиться.

Она обернулась. Я узнал эти неподвижные глаза; мужской пиджак, пробор на классической голове, улетающие высокие брови и широкие огненные губы. Одна из усердных прихожанок церкви Norte Dame des Champs: Alice Courbet.

Alice Courbet. Давняя враждебность связывала меня с ней. Года два тому назад меня познакомили с двумя женщинами – одной из них была Alice – в своем неизменном мужском костюме. Мне многое показалось странным. Я не поверил в неподвижность ее глаз, в срывающийся смех, в пустой и напряженный взгляд. Я смутно догадывался о причинах ее подчеркнутой нежности к подруге, высокой вздрагивающей блондинке. Позже мне пришлось близко узнать Alice. Она не признавала мужской любви; с ней бывали только женщины. С тупой афишированной гордостью она курила опиум, вспрыскивала себе морфий и нюхала кокаин. Она умела находить себе любовниц, приучала их к наркозу и бросала их, когда они ей надоедали. Я ненавидел ее, хотя она была очень не глупа и чрезвычайно для женщины начитанна.

– Мисс Грей, – сказал я ей, расставаясь, – мисс Грей, мне нисколько не жаль ваших любовниц, которые кончают тюремной больницей или сумасшедшим домом. Мне нисколько не жаль даже вас, Alice, дорогая мисс Грей, автор плагиата у Уайльда. Я позволяю себе отклонить высокую честь принадлежать к числу ваших постоянных знакомых, так как с вашего разрешения не люблю такого тривиального и буржуазного понимания искусства и примитивного жонглирования нелепыми и архаическими понятиями о зле, грехе и раскаянии. Я ненавижу вашу религию, Alise, я считаю вашу профессию слишком вульгарной, достойной только невежественного эстетизма тротуарных святых и дешевых альфонсов.

И вот я опять увидел ее в «Ротонде»; она не изменилась. Я не видел лица мужчины, сидевшего рядом с ней, – я видел только подстриженный белый затылок.

– Тото, – сказал я китайцу, – выйди покупать папиросы и посмотри, кто сидит с этой poule[1], которая только что оборачивалась к нам. Ты мне опишешь его подробно.

– Это бледный человек, mon vieux[2], – сказал мне через пять минут китаец, добавляя сельтерской воды в

[1] милашкой (*фр.*).

[2] старина (*фр.*)

стакан с лимонадом. – Очень бледный, который имеет двадцать семь или двадцать восемь лет. Он имеет тонкие губы и вьющиеся волосы. И больше ничего. Нет, я забыл. Он имеет две брови, которые делают одну. Ты мне рассказывал вчера про Вечного жида. Он имеет брови, как Вечный жид.

Но я забыл о Евгении Сю, плохом писателе, и о Вечном жиде, неудачном путешественнике. Я знал в моей жизни только одного человека со сросшимися бровями, Аскета.

Я вскочил и быстро подошел к столику Alice. Ее тусклые зрачки спокойно посмотрели в мои глаза. Рядом с ней сидел Аскет. Он коротко остригся: я никогда не видел его таким и поэтому не узнал его сразу. Лицо его осунулось и похудело: матовый цвет кожи приобрел восковой оттенок, заставивший меня вспомнить о страшных мертвенных ликах музея.

– Вы напрасно волнуетесь, – сказал Аскет, и меня поразил ослабевший звук его голоса. – Да, я вам не писал, да, я не уезжал из Парижа. Я уговорил Армана выпить с вами однажды вечером, это было мне нужно, чтобы унести пингвина. Я надеюсь, что вы не вздумаете, чего доброго, меня спасать? Насколько я знаю, вы очень не любите этот действительно бессмысленный глагол. Подождите мне отвечать, так как вы, по-видимому, все-таки находите нужным это сделать; Alice хочет сказать вам несколько слов. Вы знакомы?

Я кивнул головой.

– Mon pauvre vieux[1], – сказала тогда Alice, и в голове у меня зашумело, и я яростно оглянулся по сторонам, но не увидел ничего хорошего. – У вас, по-видимому, есть очень неприятная привычка интересоваться тем, что вас совершенно не касается.

– Он любит птиц, – певнятно сказал Аскет.

– Пусть идет в Jardin des Plantes[2], там он их увидит. Я не позволю вам вмешиваться в мои дела, mon vieux. Я не разрешу вам так оскорблять меня, как вы сделали в про-

[1] – Бедняжка (*фр.*).

[2] Ботанический сад (*фр.*).

шлый раз, когда пришли ко мне в последний день нашего знакомства. Вы не имеете права сравнивать мою жизнь с ремеслом альфонсов и уличных женщин. У вас хватило наглости обвинить меня в плагиате и осквернить память величайшего артиста. Я предупреждаю вас, – и я увидел с изумлением, что ее глаза сузились и оживились, – что, если вы не оставите в покое меня и m-r Александра, вам придется плохо. Vous finirez mal mon pauvre[1].

– Я не буду отвечать, – сказал я ей, – мне наплевать на ваши угрозы. Но, может быть, вы, Аскет, все же захотите меня выслушать? Я не буду говорить об Alice, не буду касаться этой пошлой темы. Я ненавижу ее, как ненавижу католицизм и бессильные чудовища Богоматери. Я хочу сказать вам, – ну, хотя бы несколько слов о России.

– Не надо, – устало ответил Аскет. – На кой черт мне эта страна, где мне не разрешили напечатать мои труды, где даже с кафедры я не мог говорить о Гамильтон и Калиостро?

– Хорошо, Аскет. Но где же товарищ Пингвин?

– Его больше не существует, – сказал Аскет. – Alice вспрыснула ему слишком большую дозу морфия.

Я был в Jardin des Plantes: там сидят орлы в тесных клетках, и запах птичьего царственного умирания тяжело струится через железные прутья.

В картинной галерее моего воображения я поставлю безмолвную белую фигуру пингвина, зеленые крылья попугаев, свирепые слепые лица филинов.

И я сохраню навсегда отблеск космических, недостижимых вершин чувства, грохочущего усилия и гремящего полета мысли, ледяной, арктической, кристальной свежести сердца и безмерного титанического ощущения гигантских дистанций, – которые дал мне впервые вид уносящейся журавлиной стаи.

Я знаю: остается пренебрежительное и ироническое движение – поднять и опустить плечи, лишенные крыльев.

[1] Вы плохо кончите, бедняга (*фр.*).

Заказ 3235

ОБЩЕСТВО ВОСЬМЕРКИ ПИК

Я проснулся на мглистом рассвете
Неизвестно которого дня.

А. Блок

Их судьбу им предсказал еврей с длинной бородой и чудовищными красными руками. Белки его глаз были хронически воспалены; по профессии он был хиромантом и волшебником, и на двери легендарного домика, в котором он жил, было написано:

«Я вам открою ваше будущее. Исаак Сифон».

И Исаак Сифон рассказал им их судьбу. Они пришли к нему все вместе: Вася Моргун, фантазер и фальшивомонетчик, Боря Вертуненко, независимый, рисовальщик Вова, гимназистка Алферова по имени Джэн, польский поэт Казимиров, актер Баритонов, содержательница музея восковых фигур Марья Гавриловна Сироткина, которую называли Маруся-упади, и ученик пятого класса реального училища по прозвищу Молодой.

– Я вам могу рассказать каждому отдельно, что вы имеете делать, – сказал Исаак Сифон. – Но как я хорошо знаю ваши расходы, то я скажу всем зараз. Если вы хотите, так вы можете сесть.

– Есть такое дело, – сказала Джэн. Они сели. Сквозь желтую слюду окна слабо проходил свет, пыльные тетради были навалены на полу, в комнате пахло мускусом; громадные белые свечи призрачно пылали в сером воздухе. Исаак Сифон рассмотрел их ладони и сердито поглядел на Джэн, слишком медленно снимавшую перчатки. Потом он поставил небольшую кастрюльку на спиртовую лампу, что-то кипятил, вздыхал и бормотал по-еврейски. Маруся-упади, понимавшая этот язык лучше, чем остальные, испуганным шепотом перевела:

– Он говорит: какое время, какое время!

– Лучше бы вы не родились, – сказал им Исаак Сифон. – Вы, может, объясните мне, зачем вы родились?

– От вашего имущества останется только дым и обломки, – сказал он дальше, обращаясь к Марусе. – Господин скульптор, – он посмотрел на рисовальщика Вову, – вы будете голодовать вашу жизнь. Барышня, – Джэн вздрогнула, – вы можете пропасть с вашей красотой, в этом я вас предупреждаю. Не смотрите на меня с улыбкой, – это он сказал Молодому, – мы с вами больше не увидимся.

– Вы имеете дело, – продолжал Исаак Сифон. – Так вы не думайте, что это хорошее дело. Что я вам могу посоветовать? Есть такая линия в вашей судьбе, так было бы лучше, чтобы ее не было. Это линия преступления. Вы ее можете разорвать без совершенного усилия, вы только должны сказать сами себе: до свиданья, дорогие товарищи, потому что если мы останемся вместе, то даже Исаак Сифон нам не поможет.

– У нас нет времени, чтобы поверить Исааку Сифону, – сказал Вася Моргун.

И так как Вася Моргун пользовался известным авторитетом, потому что неоднократно сидел в тюрьме и никогда не оставался там дольше, чем считал необходимым, то с ним согласились и забыли о предостережении Исаака Сифона.

И в одиннадцать часов вечера встретились, как всегда, в квартире Маруси-упади. Звонили у двери, на которой вместо визитной карточки была прибита восьмерка пик. Маруся подходила и спрашивала:

– Кто там?

Отвечали:

– Нас восемь.

Квартира Маруси была устроена как-то так, что стульев, например, там не было, стояла только одна вертящаяся табуретка. Были ковры, низкие диваны, подушки, опять ковры. Гости не сидели, а лежали. Вася играл на

пианино, Вова рисовал неприличные картинки и показывал их смеющейся Джэн и ахающей Марусе. Поэт Казимиров, человек немецкой культуры и славянской беспорядочности, читал наизусть Фауста и Вильяма Ратклифа. Вертуненко, самый ленивый, тихо засыпал под музыку и стихи.

В час ночи Маруся приносила вино и бутерброды. Актер Баритонов, выпив, орал монолог из «Орленка», потом путался и кричал:

– Быть или не быть? Джэн, мы ждем!

И Джэн начинала петь.

Песнь идет так:

она начинается колеблющейся нотой,
медленными, извилистыми, раскачивающимися
звуками,
затем
звенит ровно,
и сдвигает сердце,
и опоясывает его
цепью тоски,
и атласом крови,
и судорожным чувством слез,
и пронзительным ощущением
улетающих призраков памяти.

Потом песнь начинает расти.

Она поднимается,
и скользит,
и трясет потолок,
и долетает до крыш,
и, спускаясь,
доходит
до вышины человеческой груди,
и струится по атласу,
и брящает цепью.

Так, по крайней мере, пела Джэн.

Обессиленные и вздрагивающие, они лежали на ковре. Из соседней комнаты слышался плач Джэн и запах эфира. Желтели электрические лампы, уступая нарождающемуся рассвету.

И когда возвращалась Джэн, Вася начинал импровизировать. Он закрывал глаза, покачивался и рассказывал истории, которые были тем неожиданнее, чем пронзительнее пела Джэн. Как все фантазеры, Вася чувствовал искусство, захлебывался музыкой и плакал.

– И вот я увидел себя в Египте, – начал Вася. Вова набросал Клеопатру с длинными глазами, ласкающую крокодила, мумию фараона в непристойной позе на пирамиде и сфинкса, который подмигивал пустыне и чесал себе лапой затылок. Он рисовал это короткими, быстрыми движениями карандаша и внизу написал:

Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

– Запыленные образы моего прошлого, – говорил Вася, – тонули в медленных волнах Нила, под неторопливой и мудрой жестокостью красного египетского солнца...

За зимними окнами изредка взвизгивали полозья саней. Сомнамбулическое бормотанье, сменявшееся медленным шепотом, беззвучно поглощалось мягкими пространствами ковров и диванов. Люстра с матовыми стеклами освещала лежащие на полу тела: черная тень Васи падала в кресла и бесшумно скользила по стенам.

Вася рассказывал, бормоча и захлебываясь, точно ныряя в черных морях своей фантазии, внезапно открывающихся под желтым светом солнц и ламп. Он рассказал, как в Египте он стал нищим, потом сделался сапожником, как встретил красавицу, полюбил ее – и с ужасом узнал, что она его сестра. – Сюжет из Мопассана, – подумал Молодой.

К пяти часам утра разговоры и крики умолкали. Долго пили чай, потом Джэн уходила в гимназию, а Молодой в реальное училище. Остальные засыпали. В десять часов Маруся шла в свой музей восковых фигур с многозначительной надписью: «только для взрослых».

Это было в далекую эпоху мечтателей, в России семнадцатого и восемнадцатого годов. Трудно сказать, на какие средства существовало бы Общество восьмерки

пик, если бы его образ возник в иные, более прозаические времена. Фантазер Вася, рисовальщик Вова и независимый Боря Вертуненко составляли в Клубе восьмерки пик некий status in statu[1], отдельную компанию, сплоченную классическим единством времени, места и действия. Вася скупал украинские карбованцы одесского производства, переделанные из бумажных полтинников, широкие листы и длинные ленты керенок. Вова и Боря были главными и ответственными их распространителями. В особенно трудные периоды Вова рисовал злободневные карикатуры для разухабистого юмористического журнала «Жало».

Финансовым центром организации была Маруся-упади, собственница музея, квартиры и автомобиля системы «бенц». Мужа ее, юнкера, убили на войне еще в четырнадцатом году. Деньги перешли в ее распоряжение, а она все боялась вложить их в сомнительное предприятие и не знала, что делать. Случай столкнул ее с Васей.

– Поймите, Маруся, – сказал он, – самое лучшее дело – это продажа наркотических средств и какая-нибудь тихая лавочка. Вы открываете, предположим, музей восковых фигур. Вы платите кому следует, и ни одна собака не сунет носа в ваше дело. Затем, так как я вижу, что вы женщина с запросами и вас не удовлетворит простое матерьяльное благополучие, мы организуем Общество восьмерки пик – я давно об этом думал – и будем вас развлекать.

Разговор происходил в открытом саду «Тиволи». Хрустел гравий под ногами свободных шансонетных артисток в черных шляпах с трепещущими перьями. Со сцены куплетист во фраке пел «Это девушки все обожают». Маруся согласилась.

Вася принялся за организацию Общества восьмерки пик. Боря Вертуненко и Вова-рисовальщик были первыми членами клуба. В квартире Маруси они сразу почувствовали себя как дома, так как обоим в равной степени была безразлична среда, в которую они попадали. Актер Баритонов стал членом клуба благодаря ошибке: в доме Маруси

[1] государство в государстве (*лат.*).

жили его знакомые, этажом выше клуба. Однажды, будучи беспросветно пьян, бормоча стихи и монологи, он недосчитался одного этажа. Пьяная гордость не позволила ему допустить мысль о возможности заблудиться в однозначных числах. Он ввалился в квартиру Маруси.

Вова-рисовальщик, Боря-независимый и Маруся-упади лежали на ковре, и Вова показывал, как можно нарисовать кота одной линией, не отрывая карандаша от бумаги.

Актер Баритонов остановился на пороге комнаты. Он был чрезвычайно грустен. Не глядя ни на кого, он сказал с чувством:

Снова я в сказочном старом лесу,
Липы осыпаны цветом...

Артисту Баритонову налили портвейна. Выпив, он закричал в отчаянии: – Мне двадцать лет!.. – и упал на пол. Наутро, проснувшись, он поблагодарил Марусю в актерских, нарочито старомодных выражениях – «великодушного вашего прощения прошу, матушка», – ушел и через три дня явился уже в качестве старого знакомого. Его не прогнали.

Следующим членом Общества восьмерки пик стал реалист Молодой. Вася Моргун познакомился с ним в бильярдной, проиграв ему перед этим четырнадцать партий. Он хотел расплатиться фальшивыми бумажками. Но реалист Молодой знал его давно и знал его профессию.

– Товарищ, – сказал Молодой, – ваши деньги действительно хорошо нарисованы. Только вы напрасно думаете, что меня можно дурачить. Я люблю другой сорт бумаги. Заплатите мне настоящими деньгами, или вы оставите здесь вашу шубу и шапку.

Несколько постоянных посетителей, по-видимому, хороших знакомых Молодого, подошли к бильярду и молча остановились. Вася быстро поглядел вокруг себя и понял, что положение безнадежно.

– Такой молодой и так разговаривает, – сказал Вася. – Что вы кушаете за обедом, товарищ?

– Вы мне платите деньги, товарищ Моргун, или потом вы сами будете жалеть.

– А, вы даже знаете мою фамилию? – удивился Вася. – Сколько вам лет, скажите, пожалуйста?

– Скоро пятнадцать, – ответил Молодой.

– Хорошо. – И Вася заплатил проигрыш настоящими деньгами. – Вы свободны? – спросил он. – Мне надо с вами поговорить.

Они вышли. Вася помолчал, потом закурил и сказал:

– Вы читали Шекспира, молодой человек? Или каких-нибудь других авторов? Вы вообще что-нибудь понимаете или вы сильны только в бильярде?

Молодой обиделся.

– Я читал, – сказал он, – Шекспира, Данте и Вольтера. Кроме этого я читал Фейербаха, Юма, Спинозу, Шопенгауэра и еще нескольких философов, которые мало известны. В последнее время я прочел Ницше, Гюйо, Конта, Спенсера и первые пятьдесят страниц «Критики чистого разума».

– Вот как. А вы не слышали ничего про такую женщину, Марусю-упади?

– Знаю, – быстро ответил Молодой. – Она имеет музей восковых фигур, но это вывеска. На самом деле она спекулирует кокаином.

– Какой талантливый, – сказал Вася. – А портвейн вы любите?

– Товарищ Моргун, мне это начинает действовать на нервы.

– Извозчик! – закричал Вася.

Было около одиннадцати часов вечера. Через пятнадцать минут Молодой очутился в квартире Маруси-упади.

– Не хватает еще двух, – сказал ему на следующий вечер Вася. – На вас возлагается обязанность доставить нам их в кратчайший срок.

И молодой отправился в кафе «Кристаль». Поэты с подведенными глазами кричали свои стихи. Молодой пригласил Казимирова, поклонника Гейне, вступить в Обще-

ство восьмерки пик. Тот согласился, но поставил условием, чтобы одновременно с ним приняли и Джэн. – Кто такая эта Джэн? – Казимиров, вместо ответа, прочел длинное стихотворение о девушке с рыжими волосами. Реалист нáхмурился, но тоже согласился.

В Джэн исключительным был только ее голос. В остальном она почти не отличалась от русских революционных гимназисток, влюбленных в классические образы «вакханок» и политическую слепоту Шарлотты Кордэ. В общем, это был прекрасный тип женщин, лишенных многих условностей добродетели, – тип, обреченный на медленное подчинение мещанским канонам идущего по дымящимся следам революции неподвижного и скудного быта. Но в пролете эпох, между гибелью державного убожества дореволюционного времени и нарождением тупого лика фанатических формул нового быта, – но в пролете эпох мы не любили других женщин.

В первом протоколе Общества восьмерки пик было написано:

«Мы благодарим Джэн за высокий лиризм ее песен».

Это написал Вася-фантазер, любитель торжественных фраз и строгого искусства в подделке кредитных билетов.

Второй протокол гласил следующее:

«Товарищ Джэн уполномочивается получить в главном отделении Купеческого банка деньги по чеку за номером 5794 (пять тысяч семьсот девяносто четыре). Эта сумма вверяется товарищу Джэн на цели непременного привлечения в квартиру Общества бывшего помещика Рандолинского».

Бывший помещик Рандолинский носил с собой бумажник, набитый иностранными кредитными билетами. Он приехал с юга. Его полная фигура и оплывшее лицо неизменно появлялись во всех веселых местах

города. Его видели в «Moulin rouge»[1], и в коммерческом клубе, где он крупно играл в карты, и в подвале «Кавказ», и в кафе «Кристаль», куда он приходил слушать поэтов. Из Общества восьмерки пик первым обратил на него внимание Молодой, который видел, как в бильярдном зале гостиницы «Метрополь» Рандолинский расплачивался со своим партнером золотыми монетами.

Дела общества шли неважно. Восковое неприличие музея с некоторых пор перестало действовать возбуждающе на ущербленную чувствительность граждан, за спекуляцию Маруся платила громадные взятки, и денег в кассе общества оставалось мало. Вася-фальшивомонетчик был в отчаянии: сообщение с Одессой прервалось благодаря зашевелившимся южным армиям.

И общество единогласно приняло Васино предложение о непременном привлечении помещика Рандолинского.

«Необходим приток капитала со стороны», – было занесено в протокол.

Поужинав в «Moulin rouge», помещик Рандолинский вышел из вращающейся двери и сейчас же увидел Джэн, одетую со специальным уличным шиком. Он ускорил шаги.

– M-lle...

Джэн испуганно посмотрела на него и пошла дальше. По пятам Рандолинского двигалась Восьмерка пик. Через несколько минут помещик остановил лихача. Джэн обернулась, увидела внимательное лицо Васи и закрыла глаза. Восьмерка пик побежала к автомобилю Маруси, стоявшему за углом.

Когда Джэн позвонила два раза, Молодой открыл дверь. Рандолинский с удивлением посмотрел на мальчика в форменной куртке.

– Это мой брат, – сказала Джэн. – Снимайте шубу.

[1] «Красная мельница» (*фр.*).

Джэн и Рандолинский прошли в гостиную. Молодой повернул ключ и запер входную дверь.

Через несколько секунд до слуха Молодого донеслись крики. Все шло именно так, как было условлено.

– Вы не смеете! – кричала Джэн. – Вы пользуетесь тем, что в квартире нет никого, кроме моего брата, ребенка, которого вы не боитесь!

И в этот момент все члены Общества восьмерки пик вошли в комнату. Кофта Джэн была разорвана, Рандолинский одной рукой держал ее кисти, другой прижимал к себе извивающееся тело. Увидев входящих, Джэн засмеялась и перестала сопротивляться.

– Нам предстоит небольшой разговор, – торжественно сказал Вася, обращаясь к растерявшемуся Рандолинскому. – Вы позволили себе оскорбить девушку, вы даже порвали ей кофту. Вы вторглись в чужую квартиру.

– Но...

– Помещик Рандолинский, мы знаем, что не существует доводов, которые могли бы оправдать ваше поведение.

Для важности Вася сделал паузу.

– Мы избавляем вас от комментариев и необходимости извиняться. Взамен этого, в возмещение убытков, мы требуем ваш бумажник и категорически настаиваем на том, чтобы, передавая его нам, вы бы ничего оттуда не вынимали.

– Мой бумажник?.. – сказал Рандолинский.

– Именно, ваш бумажник. В ваших носках, например, или подтяжках, или даже кальсонах мы не нуждаемся.

– Но это грабеж!

– Я бы на вашем месте избегал таких определений. Вы, может быть, хотели сказать – возмещение?

– Я хотел сказать – грабеж! – закричал Рандолинский.

– Боря, попроси, чтобы он не нервничал, – сказал Вася.

– Помещик, не волнуйтесь.

– Я не отдам бумажника. А ты... – он обратился к Джэн и сказал нецензурное слово. Тяжелая пощечина Казимирова загорелась на его лице.

– Пусть он благодарит своего Бога, – пробормотал Казимиров, – если я его выпущу отсюда неискалеченным.

– Помещик Рандолинский, – вмешался Вова-рисовальщик, – не подвергайте благородство нашего друга такому трудному испытанию.

– Сила ломит силу, – медленно сказал, наконец, Рандолинский. Его сейчас же поддержали Вася, Вова и Молодой.

– Именно. Плетью обуха не перешибешь.

– Против рожна переть тоже не приходится.

– Один в поле не воин, знаете.

И помещик Рандолинский отдал бумажник.

– Но я вас предупреждаю, господа... – сказал он, надевая шубу.

– Мы вас тоже предупреждаем, – мирно ответил Вася. – Катитесь с Богом, господин помещик. Жаль, лифт не действует, ужасно небрежная администрация дома – никакого уважения к гостям, прямо безобразие.

На деньги, взятые у помещика Рандолинского, общество издало три номера газеты «Знамя пик». Они были заполнены стихами Казимирова, воспоминаниями Баритонова, отрывками из дневника Маруси-упади, литературной критикой Васи-фантазера, карикатурами Вовы-рисовальщика, фельетонами Бори-независимого под общим заглавием «Даешь воздуху!» и политическими статьями Молодого. На третьем номере петлюровская власть газету конфисковала.

А дела все ухудшались. Россия бурлила, вскипая пузырями политических авантюр. В городах бродили шайки вооруженных властей, и микроб государственности беспрерывно прорастал и усиливался, расползаясь широким кольцом арестов и расстрелов. Граждане перестали думать о восковых фигурах, портвейн Маруси под-

ходил к концу, Одесса была в руках белых, а деньги местной работы ничего не стоили и никуда не годились.

И Восьмерка пик вспомнила о предостережении Исаака Сифона.

Первой их покинула Джэн. Она уезжала в Москву. Ей устроили прощальный вечер, пропитанный слезами Маруси, выкриками Баритонова и общим исступлением. Вася-фантазер рассказал историю о том, как он родился скрипачом и как был убит завистливыми музыкантами в одном из глухих переулков Рима. Позже жизнь внесла свои прозаические поправки к этой вариации: она установила, что Вася родился фальшивомонетчиком и исчез в российских тюремных подвалах. А еще позже оставшиеся на свободе члены Общества восьмерки пик прочли в газетах о торжественных похоронах товарища Алферовой, убитой бомбой, брошенной под ее автомобиль.

Потом скрылся поэт Казимиров и вынырнул на другом конце России, в Польше. Он говорил, что уезжает на несколько дней, но уехал совсем и даже не попрощался с членами клуба.

За ним последовал актер Баритонов. Он рыдал и кричал свои монологи, и месяц спустя Восьмерка пик увидела его портрет в деникинской газете, один номер которой случайно заблудился в Республике.

Приближались, однако, совсем плохие дни. Волшебник и предсказатель, старый еврей с воспаленными глазами и чудовищными распухшими пальцами, Исаак Сифон оказался прав.

Однажды вечером, под медленное бормотанье Васи, они услышали стук прикладов в дверь. Шутить не приходилось.

– Маруся, не забывайте о черном ходе, – сказал Вася. – Вам нельзя попадаться. Боря, мы стреляем одновременно. Я их задержу. Молодой, когда я скажу «Боря», вы тушите свет.

Дверь открыли. Вошли четыре милиционера. За ними показалась неторопливая фигура Рандолинского.

– Я вас предупреждал, господа, – сказал он. – А где же ваша красавица?

– Мне одного жаль, – ответил Вася, медленно поднимая глаза.

– А чего, интересно знать? – спросил Рандолинский.

– Мне жаль, что вы не успеете помолиться Богу. Боря!

Загремело два выстрела, Молодой потушил свет. Маруся отчаянно закричала. Вова, Боря и Молодой увлекли ее тяжелое тело, спустились по черной лестнице, пробежали полтора квартала и очутились в темных проходах самой разбойничьей окраины города, где знали каждый камень. Сам дьявол не мог бы их там найти. Ночь они провели в лачуге Тараса Барсукова, председателя свободной окраинной коммуны. Наутро, проходя мимо дома Маруси, Молодой увидел разбитые восковые фигуры, валявшиеся на тротуаре. Из разговора с прохожими он узнал об аресте известного фальшивомонетчика и убийстве крупного агента тайной полиции, выдававшего себя за помещика Рандолинского.

Последний протокол Общества восьмерки пик:

«По независящим от личных желаний членов клуба причинам Клуб восьмерки пик прекращает свое существование. Общество восьмерки пик отдает должное героическому поведению главного его организатора, фантазера, фальшивомонетчика и стилиста, товарища Василия Моргуна. Общество выражает единодушную благодарность Марусе-упади, иначе товарищу Сироткиной. Далее, Общество резко осуждает дезертирство поэта Казимирова и измену актера Баритонова высоким принципам политической честности.

Мы склоняемся перед тенью товарища Алферовой по имени Джэн и неизменно скорбим о смерти единственной воспевательницы Восьмерки пик.

Мы благодарим наших остальных товарищей за их лояльность и за постоянную солидарность перед беспрестанно возникавшими трудностями.

Товарищу Молодому мы желаем успешно продолжать свои занятия в реальном училище.

Мы признаем справедливость предсказания Исаака Сифона, человека, знающего будущее.

Общество сохраняет за каждым своим членом – в торжественных случаях его жизни – право на клятву именем Восьмерки пик.

Общество перестает существовать в силу инстинкта самосохранения и в силу неблагоприятных обстоятельств. Мы расстаемся и пожимаем друг другу руки.

Именем Восьмерки пик: до свиданья, товарищи!»

Париж. 18.IV.1927

ТОВАРИЩ БРАК

Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Пушкин

Мне всегда казалось несомненным, что Татьяне Брак следовало родиться раньше нашего времени и в иной исторической обстановке. Она провела бы свою жизнь на мягких кроватях девятнадцатого века, в экипажах, запряженных лубочными лошадьми, на палубах кораблей под кокетливыми белыми парусами. Она участвовала бы во многих интригах, имела бы салон и богатых покровителей – и умерла бы в бедности. Но Татьяна Брак появилась лишь в двадцатом столетии и поэтому прожила иначе; и с ее биографией связано несколько кровавых событий, невольным участником которых стал генерал Сойкин, один из самых кротких людей, каких я только знал.

В те времена, когда Татьяна Брак начинала свою печальную карьеру, ей было восемнадцать лет, и мы любовались ее белыми волосами и удивительным совершенством ее тела. Она была внебрачной дочерью богатого еврейского банкира и жила в квартире своей матери, маленькой, седой женщины с нежными глазами. В квартире всегда бывало темновато; пустые, мрачные картины висели на синих обоях, чернело тусклое дерево рояля, на тяжелых этажерках поблескивали золоченые корешки книг. Мать Татьяны давала уроки музыки и французского языка.

Когда Татьяне Брак пошел девятнадцатый год и ее глаза вдруг приобрели смутную жестокость, мы увидели, что липкие ковры разврата уже стелются под ее ногами. Мы не ошиблись: однажды Татьяна вернулась домой гораздо позже полночи, и мы узнали, что она провела

время сначала в ресторане «Румыния», потом в гостинице «Европа» – в обществе коммерсанта Сергеева. Были все основания опасаться последствий ее знакомства с Сергеевым. Об этом нас предупредил генерал Сойкин, атлетический человек тридцати четырех лет; ни в какой армии он тогда не служил и вообще не был военным: генерал было его прозвище. Мы – состояли из трех человек: сам Сойкин, его приятель Вила, бывший учитель гимназии, и я.

Я бы не сумел вполне точно определить причины, связавшие наше существование с жизнью Татьяны Брак. В этом вопросе мы не соглашались с Вилой, единственным из нас, склонным к рассуждениям и анализу. Он говорил, что существуют типы женщин, сумевших воплотить в себе эпоху, – и что в Татьяне Брак мы любили гибкое зеркало, отразившее все, с чем мы сжились и что нам было дорого. Кроме того, утверждал Вила, мы любили в Татьяне Брак ее необыкновенную законченность, ее твердость и определенность, непостижимым образом сочетавшиеся с женственностью и нежностью. «Это все не то, – говорил генерал, – не в этом дело, Вила».

Я знаю, однако, что генерал Сойкин любил Татьяну какой-то необыкновенной, деликатной любовью – и знаю также, что Татьяна Брак никогда этого не подозревала. Любовь генерала не была похожа на обычные романы развязных молодых людей: мысль о возможности обладания Татьяной, наверное, привела бы его в ужас. Генерал любил Татьяну потому, что его бескорыстная натура, наталкивавшаяся в жизни только на обижавшую его грубость и давку, обрела в Татьяне Брак какой-то сентиментальный оазис. Генерал был всю жизнь влюблен в музыку, пел романсы и играл на мандолине. И он понимал, что и его застенчивая детская скромность, и романсы, и дешевая мандолина – не нужны, может быть, никому; но когда Татьяна, у которой мы часто бывали в гостях, просила его спеть еще что-нибудь, ему вдруг начинало казаться, что и он, генерал, он тоже недаром существует на свете. И за непомерную радость, которую он испытывал в такие минуты, он отдал бы все, что имел.

Заказ 3235

Вила был человеком совершенно неопределенного типа. Он был довольно образован, но у него никогда не было ни своих убеждений, несмотря на любовь к философствованию, ни даже привычек, – ничего решительно из того, чем один человек отличается от другого. Единственным его качеством было органическое отсутствие страха, да еще, пожалуй, необыкновенная, инстинктивная способность ориентации: я не представляю себе, чтобы Вила мог где-нибудь заблудиться или чего-нибудь не найти. С генералом Сойкиным его связывала пятилетняя дружба и какая-то давняя история, о которой ни генерал, ни он не любили распространяться. Во всяком случае, он следовал за генералом повсюду: и в визитах к Татьяне Брак он тоже был нашим неизменным спутником.

И наконец: не была ли Татьяна Брак самой блистательной героиней нашей фантазии? Мы были заворожены зимой и необычностью нашей жизни; мы были готовы к каким угодно испытаниям, мы не ценили ни нашей безопасности, ни нашего спокойствия; и за каменной фигурой генерала мы пошли бы защищать Татьяну Брак так же, как поехали бы завоевывать Австралию или поджигать Москву.

И с другой стороны: что же было оберегать генералу? У него не было ни домов, ни земель, ни денег, была только мандолина, купленная по случаю, и печаль, освещенная керосиновой лампой.

Но только потом мы попытались объяснить нашу любовь к Татьяне Брак: в прежние, лучшие времена мы не могли думать об этом. И в тот момент, о котором я пишу, нас занимала одна мысль – как избавить Татьяну от коммерсанта Сергеева.

Никто не знал, почему он коммерсант и что он продает: большую часть времени он проводил с женщинами, в театре, в оперетке, в загородных шантанах; на него указывали, как на участника нескольких очень неблаговидных дел, но он был чрезвычайно скользким человеком, и прямо обвинить его было невозможно. Женщинам он очень нравился, я думаю, потому, что говорил приторно-сладким тенором, имел длинные ресницы и питал непреодолимую

любовь к цитатам из Игоря Северянина. При ближайшем знакомстве оказывалось, что он глуповат, но какой-то особенной, претенциозной и кокетливой, какой-то, я бы сказал, не русской глупостью. В делах же и в трудных обстоятельствах он был неумолимо, по-зверски жесток: рассказывали, что одной из своих любовниц он сжег волосы на теле – и в течение двух недель она не могла передвигаться.

Хотя мы хорошо знали, что Татьяна Брак очень не любит советов, мы все же послали к ней Виду с поручением предупредить ее об опасности встреч с Сергеевым. Татьяна не дослушала его доказательств – и почти выгнала Вилу из дому.

– Нет, – сказал он, вздыхая. – Это исключительно храбрая девушка. Она даже венерических болезней не боится. Знаешь, генерал, так ничего не выйдет. Ты лично переговори с Сергеевым.

– Хорошо, я переговорю лично, – задумчиво ответил генерал.

Этот день был вообще одним из самых неудачных в жизни Сергеева. Один его дальний родственник, маленький, злобный, обтрепанный горбун, приехал к нему с требованием денег; иначе он не уйдет. Сергеев всегда избегал трат, но в этом случае тупое упорство урода вывело его из себя.

– Я тебя из окна выброшу, – тихо и яростно сказал он горбуну. Тот захныкал:

– Конечно, убогого недолго выбросить! Дай денег!

Сергеев дал ему денег; затем он отхлестал карлика по щекам – и карлик с распухшим лицом, выйдя на улицу, начал бросать камни в окно Сергеева и разбил стекла, а когда обезумевший от гнева Сергеев выскочил из подъезда, горбун пустился удирать, быстро оборачиваясь всем телом, чтобы взглянуть на преследователя, показывая ему язык и отплевываясь во все стороны. Карлик бежал с необыкновенной быстротой; он производил впечатление уродливого и страшного животного. Сергеев не стал за ним гнаться.

Каким-то непонятным путем Вила узнал, что накануне Сергеев назначил Татьяне свидание в девять часов вечера в том же ресторане «Румыния». Мы считали, что это свидание не должно состояться, и в восемь часов генерал Сойкин отправился для личных переговоров с Сергеевым. Сергеев сидел в комнате с разбитыми стеклами, кутался в шубу, мерз и злился на весь свет. На генерала после нескольких слов он набросился с кулаками, но сейчас же пожалел об этом, так как кроткий обычно генерал, возлагавший надежды на свои дипломатические таланты и менее всего склонный применять способы физического воздействия, внезапно рассвирепел и сделался страшен. Он перебил многочисленные вазы с цветами, стоявшие в комнате Сергеева, переломал стулья, раздробил зеркало, сорвал ковры, висевшие на стенах, и выбросил их в окно. Сергеева он чуть не задушил: он долго таскал его по опустошенной комнате, и осколки ваз врезались в тело Сергеева; он встряхивал его и в отчаянии бросал на пол – и когда через полчаса он выходил из комнаты, Сергеев безмолвно лежал на спине, открыв рот с золотыми зубами. Генерала Сойкина встретили соседи Сергеева по меблированным комнатам, где все это происходило: они были вооружены бутылками, палками и другими, более или менее увесистыми предметами, предназначавшимися для сокрушения генерала. Генерал быстро отступил, запер за собой дверь, вылез через окно и убежал. К нам он явился с очень расстроенным видом.

Вообще вся жизнь Сойкина состояла из сплошных разочарований. В принципе он был пацифистом: не выносил драк, презирал людей, пускающих в ход кулаки, и больше всего на свете любил вежливые разговоры и мандолину. В идиллической республике гуманизма он был бы самым образцовым гражданином. Но подобно многим другим, – подобно Татьяне Брак, например, – он попал в обстановку, совсем не соответствующую его безобидным вкусам. На него постоянно нападали, кто-то обижался, кто-то в пьяном виде пытался сводить с ним счеты – и мирный Сойкин был вынужден отвечать на удары ударами; а так как он обладал исключительной физической силой,

то это всегда плохо кончалось. Изредка, впрочем, генерал, отчаявшийся в упорном нежелании людей разрешать все конфликты вежливыми разговорами и игрой на мандолине, – генерал, доведенный до исступления этой зверской косностью, вдруг приходил в неукротимое бешенство – и тогда к нему боялись приблизиться даже очень храбрые люди. Каждый раз после этого он, придя домой, вздыхал, жалобно чмокал губами и играл самые минорные мотивы.

Так случилось и на этот раз. Мы ждали генерала в его квартире: квартира генерала находилась непосредственно над бюро похоронных процессий, чем генерал не переставал огорчаться; квартиру же генерал ценил потому, что хозяин дома был несколько ненормальным человеком. Он заключил с одним из своих знакомых такое пари: в течение года он не будет требовать с квартирантов платы, и непременно найдется хоть один человек, который все-таки будет платить. Хозяин не ошибся: таким человеком оказался генерал, который после этого почувствовал себя необыкновенно обязанным хозяину и считал, что он не вправе съезжать, тем более что, кроме генерала, не платил решительно никто, даже владелец бюро похоронных процессий, заработавший большие деньги на эпидемии испанской болезни.

Сокрушенно покачивая головой и разводя руками, генерал сообщил нам, что попытка договориться с Сергеевым путем вежливого диалога потерпела самый ужасный крах. Ссадины на руках генерала свидетельствовали об этом с непререкаемой точностью. «В “Румынию”, однако, он не придет», – мрачно сказал генерал.

– До чего все-таки сволочь народ, – сочувственно отозвался Вила. – Приходят к нему поговорить, а он с кулаками. В морду такого человека, совершенно ясно.

Вместо Сергеева, надолго лишенного возможности назначать свидания, в ресторан «Румыния» отправились мы. Татьяна Брак уже сидела за столиком, на диване; бра с желтым абажуром освещало ее прекрасные волосы и верхнюю часть тела. Она была в платье с большим декольте. Кутилы с проборами, блистательно пересекающими легкие головы, несколько раз подходили к столику

Татьяны Брак, но, увидя нахмуренное лицо генерала, конфузились, пятились задом, цепляясь за стулья, и уходили. Татьяну Брак корчило от злобы и ожидания, но стыд сковывал ее движения.

– Посмотрите, – сказал Вила, – вот: любовь играет человеком.

– Что ты путаешь? – меланхолически спросил генерал. – Судьба играет человеком, а не любовь. А еще учителем был – вот и видно, что ты недобросовестно относился к своим обязанностям. Ты что преподавал?

– Географию, – сказал Вила. – И историю в младших классах. Ты напрасно говоришь, генерал, что я недобросовестно относился. Конечно, если ты играешь на мандолине, то ты должен знать «Горел-шумел пожар московский». А спроси я тебя, где Антильские острова, так ты скажешь, – в Костромской губернии.

– Антильские не Антильские – один черт, – сказал генерал.

– Конечно, при таком пессимизме...

И в эту минуту мы заметили, что за столик Татьяны Брак сел неизвестный человек в галифе. Вила укоризненно посмотрел на генерала. Неизвестный человек что-то быстро говорил Татьяне, она улыбалась.

– Чисто работает, – сказал я, набравшись храбрости.

Вила подозвал лакея, всунул ему в руку бумажку и попросил на ухо передать собеседнику Татьяны, что одна очень интересная дама с вуалью просит его на минутку в приемную. В приемную пошел генерал, и через несколько секунд после него явился собеседник Татьяны. Он поглядел на красный матовый бархат портьер, оглянулся несколько раз и уже собрался уходить, когда его остановил генерал.

– Простите, пожалуйста, милостивый государь, – сказал генерал, вознаграждая себя этим вежливым обращением за избиение Сергеева и искренно наслаждаясь собственной деликатностью. – Прошу извинения, что, не будучи вам представленным, имею дерзость к вам адресоваться.

– Это вы – интересная дама с вуалью? – спросил, гордо улыбаясь, неизвестный человек.

– Да, и если бы вы соблаговолили меня извинить...

– Что вам нужно? – нетерпеливо сказал неизвестный человек.

Генерал покраснел, но сдержался.

– Вы не могли бы говорить несколько мягче? – просительно сказал он. – Я хотел к вам обратиться с просьбой покинуть столик той девушки, с которой вы разговаривали. Видите ли, я вам откровенно скажу: это очень честная и глубоко порядочная девушка. Ведь вы на ней не женитесь? А я против таких легких связей, знаете.

– А вы, собственно, кто такой?

– Вы уклоняетесь от темы, – возразил генерал. – Ведь важен, главным образом, принцип. А детали – что? Детали совершенно несущественны.

– Вы, должно быть, пьяны?

– Вы не совсем правы. Я, если позволите, вполне трезв.

– Тогда вы идиот и хам, – сказал собеседник генерала, – я вас научу не вмешиваться в чужие дела. – Собеседник генерала размахнулся. Генерал побледнел, поймал на лету размахнувшуюся руку, потом поднял неизвестного человека на воздух, открыл дверь и вынес его на улицу.

– Я с вами разговаривал, как с человеком, – сказал он, заглядывая в изумленное лицо собеседника. – Но если вы не умеете понимать, вы должны чувствовать. – Генерал попытался вспомнить, как это будет по-немецки, но память ему изменила. – Я вас предупреждаю: если вы не оставите этой девушки и не уйдете через десять минут из ресторана, то вы об этом будете жалеть всю вашу жизнь. Вы поняли?

На этот раз неизвестный человек понял, и едва генерал успел вернуться к столику, он уже ушел.

– И этот, как все другие, – вяло сказал генерал. – Когда же наконец люди станут порядочнее?

Этот вечер кончился благополучно. Татьяна Брак пошла домой. Мы шли за ней по крепкому, хриплому снегу, через облака белой ледяной пыли. Ветер с шуршанием осыпал фонари со вздрагивающим пламенем; в длинной

галерее печальных белых огней двигалось несколько черных фигур мимо медленно уплывающих многоэтажных каменных льдин.

Спустя много лет генерал Сойкин мне говорил, что самым значительным обстоятельством, повлиявшим на Татьяну Брак, он считает чисто атмосферные условия – температуру двадцати градусов ниже нуля, сухую морозную зиму и необыкновенную чистоту ледяного воздуха, характерную для этого периода времени.

– Теперь, – сказал, – когда утекло чрезвычайно много воды, мы можем об этом свидетельствовать вполне беспристрастно.

Может быть, генерал был прав. Во всяком случае, черный силуэт Татьяны Брак, идущей между белыми фонарями, остался для нас одним из самых убедительных, самых прекрасных образов нашей памяти. «Я не забыл, – сказал я генералу, – я никогда не смогу забыть, что это все случилось зимой в нашем городе. Ты помнишь, генерал, что даже романс “чуть позабудешься ночью морозною”, который ты играл на мандолине и который, конечно, не выдерживает критики здесь, на непоэтическом Западе, казался нам тогда исполненным глубокого значения. Тогда мы вообще были лучше, генерал. Вспомни эти необыкновенные снежные пирамиды деревьев, эти лампы ресторанов, где собирались спекулянты, этот разреженный и острый ветер свободы и духовые оркестры революции, которые тебе, как музыканту, должны быть особенно близки. Конечно, этот романтизм исчез совершенно бесследно – и, пожалуй, только Татьяна Брак могла бы вновь воскресить перед нами эти пустыни поэзии, в синей белизне которых нам не перестает слышаться торжественная музыка того времени. Но Татьяна Брак, к сожалению, погибла – и ты предпочитаешь свою мандолину, генерал?

– Нет, почему же мандолину? – сказал генерал. – Я даже, если хочешь знать, предпочитаю рояль.

– Да, рояль тоже неплохая вещь. Ты помнишь, кто хорошо играл на рояле, генерал?

– Лазарь Рашевский?

Я кивнул головой. Лазарь Рашевский и был человеком, погубившим Татьяну Брак. Мы никогда не отрицали его достоинств: храбрости, ораторских данных и больших музыкальных дарований. Но нам была органически противна его длинная, худая, гибкая фигура, необыкновенно тонкие и липкие пальцы, быстрые, обезьяньи, отвратительные движения. Генерал не мог примириться с его жестокостью, резкими, язвительными замечаниями и полным нежеланием признавать правила вежливости. Вила презирал его за недостаточное знание истории, и у меня, в свою очередь, тоже были причины недолюбливать Лазаря: я не мог ему простить готовности подчинения нелепой точности политической доктрины. Правда, судьба была к нему немилосердна: зимой тысяча девятьсот девятнадцатого года по приказу генерала Сивухина он был повешен как махновский шпион на железнодорожном мосту станции Синельниково. Но о его гибели и мужественном поведении в белом плену нам только потом рассказал Вила.

Лазарь Рашевский, которого тогда не знал никто из нас, познакомился с Татьяной Брак на политическом митинге, где он выступал в качестве защитника анархизма. Татьяна не объясняла, почему он ей понравился, но когда мы однажды пришли к ней, мы увидели Лазаря, который сидел в кресле с таким видом, точно в доме Брак он бывает по крайней мере лет десять. Мы переглянулись.

– Товарищ Брак, – сказал Лазарь; голос у него был очень резкий: букву «р» он сильно картавил. – Я забыл вам сказать, что я думаю: у вас роковая фамилия. И кроме того, «товарищ Брак» звучит как парадокс. – Татьяна ничего не ответила. Глаза Лазаря остановились на рояле. – А, вы занимаетесь музыкой? Хорошо играете? Я тоже хорошо играю.

– Ну, сыграйте, – недоверчиво сказал молчавший до сих пор генерал. Лазарь сел за рояль, и мы услышали такую музыку, какой еще никогда не слыхали. Генерал растерянно моргал глазами – и когда потом Татьяна попросила его спеть что-нибудь под мандолину, он, прене-

брегая даже своей вежливостью, обычно совершенно безукоризненной, отказался самым категорическим образом.

В первый же день нашего нового знакомства мы узнали все, что можно было узнать о Лазаре. Он был анархистом-террористом, долго жил во Франции и только несколько недель тому назад приехал в Россию. Здесь он собирался устраивать организацию товарищей для борьбы с властями и экспроприаций. Надо отдать должное его энергии; в десять дней организация была создана, откуда-то Лазарь достал пулеметы, и, к нашему удивлению, стало известно, что товарищ Брак выбрана секретарем «восьмой секции Всероссийской партии анархистов-террористов».

Глубокой декабрьской ночью боевая дружина восьмой секции выехала на главную улицу, затем свернула вправо и стала подниматься вверх, к аристократическому кварталу города. Дружина была вооружена винтовками, револьверами и двумя пулеметами. Она состояла из десяти человек, и впереди отряда, рядом с Лазарем Рашевским, неловко вцепившимся оледенелыми пальцами в гриву лошади, ехала товарищ Брак. Тень черного знамени влачилась по уезженному снегу.

По постановлению исполнительного комитета, экспроприировали денежные запасы анонимного общества банка «Кернер и К°». Когда на подводы уже кончали грузить добычу, мы услышали отчаянную стрельбу. Мы в это время сидели в квартире генерала Сойкина и очень мирно разговаривали. Услыхав выстрелы, мы вышли на улицу. Пулеметы били в полквартале от нас, за углом, и раньше, чем мы успели сделать несколько шагов, мимо нас проскакала на лошади Татьяна Брак. Оторопев, мы глядели ей вслед. Стрельба не прекращалась. Еще через минуту пробежал Лазарь Рашевский с револьвером в руке. Затем послышался топот, усиленные выстрелы, и, наконец, все стихло. Мы пошли туда, откуда доносился этот шум.

У дверей анонимного общества четыре человека стояли и смотрели на двух убитых милиционеров, – хотя смо-

треть было нечего: оба были мертвы. На снегу виднелись многочисленные следы подков. Дело объяснялось просто: милиция, спешившая к банку, чтобы арестовать анархистов, была встречена пулеметным огнем. Два милиционера были убиты, четыре ранены, и анархисты, все до одного, не только ускользнули, но и увезли с собой все экспроприированное.

* * *

С тех пор имя товарища Брак стало известным. Через несколько дней после ограбления анонимного общества была совершена еще одна экспроприация, опять с человеческими жертвами. При нас о товарище Брак рассказывали легенды, рисовавшие ее самыми мрачными красками. Ее мать плакала целыми днями. Таня все не возвращалась домой, – и об ее местопребывании никто из нас решительно ничего не знал. Тогда за розыски товарища Брак взялся Вила, обладавший собачьим чутьем. Он три дня шатался по городу, после этого он пришел к нам и рассказал, что Татьяны он не нашел, но узнал, где бывает Лазарь.

– Такая, знаешь, конспирация, – сказал Вила генералу. – Прямо смешно. Ну, а Лазаря можно увидеть в паштетной бывшего Додонова.

Паштетную бывшего Додонова мы знали хорошо. Ее держал переплетчик Ваня, молчаливый и подозрительный человек. Но последние три недели паштетная была закрыта, сам Ваня пропал неизвестно куда – и мы очень удивились: – А, она опять открылась? – В тот же вечер мы пошли туда.

Паштетной мы не узнали. Из обыкновенного притона с грязной клеенкой на столах и графинами, засиженными мухами, она превратилась в чистенький ресторан с претензиями на восточный стиль. Мы вошли, огляделись и увидели человек восемь посетителей, которых мы знали всех – и о которых, ни обо всех вместе, ни о каждом в отдельности, никто бы не мог сказать ничего хорошего. Лазаря не было.

Мы сели за столик и заказали бутылку лимонаду, на что субъект, больше похожий на восточного фокусника, чем на лакея, с головой, обмотанной зеленой тряпкой, и с темным лицом, испещренным оспой, – презрительно фыркнул прямо в физиономию Вилы. Генерал переглянулся с Вилой и наступил на ногу лакея, придавив его ступню с такой силой, что темное лицо под зеленой материей побагровело от боли. Вила, откачнувшись на стуле, ткнул лакея кулаком в живот: лакей согнулся вдвое и выронил поднос, впрочем, совершенно пустой. Ваня невесело улыбнулся, глядя из-за своей стойки.

– Надо, голубчик, с гостями вежливее быть, – мягко сказал генерал. – Заказывают лимонад, значит, лимонад. А эти идиотские пофыркивания надо оставить, это неприлично.

Лакей ушел неверной походкой. Посетители посмотрели на генерала, но промолчали.

Через пять минут пришел Лазарь. «Товарищ Рашевский! – закричал генерал. – Можно вас на два слова?» И генерал объяснил Лазарю, что мать товарища Брак очень убивается; хорошо было бы, если бы Татьяна съездила бы домой: он, генерал, гарантирует неприкосновенность товарища Брак. Лазарь сморщился, точно раскусил лимон, и ответил:

– Я не могу разрешить этого товарищу Брак. Знаете, товарищ, этот глупый сентиментализм надо оставить. Мать, потом брат, потом сват... Я не могу этого разрешить.

– Пожалуйста, я вас очень прошу, – настаивал генерал.

– Я сказал нет, значит, нет.

– Ну, тогда, – сказал генерал, – я вас не отпущу до тех пор, пока товарищ Брак не навестит свою мать.

Лазарь засмеялся – и хотел встать из-за стола. Но генерал удержал его:

– Нет, товарищ Рашевский, вы так не уйдете. – Лицо Лазаря стало серьезным. Он резко рванулся со стула, но рука генерала не разжималась. – Еще есть выход, – сказал генерал. – Проводите нас к товарищу Брак, мы с ней поговорим.

– Это я могу сделать, – ответил Лазарь.

Мы вышли с черного хода паштетной, пересекли улицу и попали в освещенный шестиэтажный дом с множеством квартир. На третьем этаже Лазарь остановился, отпер ключом дверь и пригласил нас войти. В гостиной, на диване, сидели две женщины и двое мужчин, – и мы издали увидели белые волосы товарища Брак.

Через полчаса Татьяна, закутанная в шубу, выходила из своей комнаты.

– Вы куда? – спросил Лазарь.

– Я скоро вернусь.

– Я не разрешаю вам.

– Я не просила у вас разрешения.

Лазарь, дерзкий на язык и быстрый в ответах, смутился на этот раз:

– Простите.

И мы приехали на старую квартиру Татьяны Брак. Мать ее плакала от радости, целовала Татьяну без конца и упрекала:

– Ты меня пожалей, Танечка, ведь я же по тебе плакать буду. Ну, для чего мне жить, если тебя не станет?

– Не могу, мама, – сказала Таня, – нужно так, ничего не поделаешь.

Лицо матери скрылось в морщинах, она тихо заплакала. Генерал нахмурился, рассеянное отчаяние выразилось в его глазах. Вила глотал слюну, я смотрел в темное окно: невероятные узоры мороза искрились передо мной; из щели повеяло холодом.

– Ну, Христос с тобой, Танечка, – проговорила мать.

На обратном пути, подпрыгивая в санях, генерал много раз начинал:

– Ах, товарищ Таня... ах, товарищ Таня... – но от волнения так ничего и не сказал.

– Поговорил, нечего сказать, – насмешливо пробормотал Вила.

Генерал разъяренно повел на него глазами, но Вила быстро отскочил.

– Твое счастье, – сказал генерал, успокаиваясь. – Пойми, Вила, жалко.

Потом боевая дружина анархистов-террористов покинула наш город. Это совпало с приходом войск красной армии. Они появились в белом утреннем тумане, после пустынной, выжидающей ночи, наводнили город мохнатыми, заиндевевшими шкурами лошадей, плоскими носами солдат, красными звездами комиссаров и накрашенными лицами проституток, высыпавших на улицы в этот поздний для проституток час. Полки пестро одетых людей проходили мимо заколоченных магазинов; гордые знаменосцы волокли на плечах тонкие палки с кусками красной материи; торжествующие офицеры, с расплывающимися от удовольствия лицами, шагали вне строя, по тротуару, и любезно улыбались чувствительным взглядам горничных, кокоток, торговок с красными руками и хриплыми глотками. В городе шла суетливая толкотня: через несколько часов было ревизировано много зданий, застучали на машинках легионы девушек, представлявших из себя идеальное соединение ленточек губ, веселеньких носиков и глазок и всякого усердия в службе пролетариату и интернационалу, этим загадочным иностранным словам, в которых, впрочем, ремингтонистки не обязаны разбираться. Это была армия советских святых: мы с генералом любили ее за бездумность, за непонимание многих вещей, за то блаженное неведение и душевную простоту, которые служат контрамарками для входа в гигантские цирки царства небесного. Вила, более требовательный, презрительно называл ремингтонисток половыми функциями государственного аппарата. Город покашлял, повздыхал – и вновь зажил прежней жизнью; но мы уже не могли обрести нашего спокойствия: товарища Брак с нами не было.

Она ехала в это время на своей лошади, рядом с Лазарем Рашевским, по снежным дорогам – на юг. Вила сообщил нам об этом, так как один из его знакомых рабочих сказал ему, что отряд товарища Брак выехал из города в ночь на первое января. По обыкновению, мы сидели у генерала и разговаривали, но после слов Вилы мы замолчали. Не знаю, о чем думал генерал, я уверен, во всяком случае, что каждая его мысль была редактиро-

вана в самых любезных выражениях. Вила встряхивал головой и, выпрямляясь, глядел перед собой стеклянными бессмысленными глазами.

А я думал об амазонках. Еще тогда я чувствовал нелюбовь к олеографическому героизму этих воинов в юбках, – но о товарище Брак я думал иначе. Судьба втиснула ее в нелепую и жестокую дребедень батальной российской революции, но ее собственный образ оставался для меня непогрешимым. «Товарищ Брак! Я призываю в свидетели генерала Сойкина и учителя Вилу: нас нельзя упрекнуть в нерыцарском отношении к вам». Я пробормотал эти слова, огорченный генерал поднял голову и сказал:

– Товарищи, завтра утром мы едем вслед за Татьяной Брак.

Ночью мы возились, упаковывали вещи, а утром уже садились в поезд, идущий на юг. Когда хозяин дома, узнав об отъезде генерала, прибежал к нему с просьбой остаться, генерал ответил:

– Ваш дом теперь вам не принадлежит, денег вам платить нельзя. Я выполнил мой долг.

– Но куда же вы едете?

– В неизвестном направлении, – сказал генерал.

Но нам было суждено опоздать – и всегда после этого генерал с ненавистью вспоминал о жестокой ошибке времени, причем он ругал время так, точно это громадное и шумное понятие было живым человеком, нас неслыханно оскорбившим.

Мы опоздали – и, подъезжая к станции Павлоград, узнали ошеломляющую новость: карательный отряд правительственных войск во главе с товарищем Сергеевым захватил дружину анархистки Брак. Дружина была расстреляна, спасся один человек – Лазарь Рашевский. Генерал долго молча сидел на длинной скамье в зале третьего класса. Затем мы вышли в поле, увидели эти трупы и, несколько в стороне от них, – тело товарищ Брак. Она

лежала в панталонах и рубашке. «Мертвые срама не имут!» – закричал Вила. Голова товарища Брак была разнесена пулями: одна пуля попала под мышку, и на вывороченном мясе торчали обледеневшие волосы. Белые ноги товарища Брак раскинулись на мерзлом снегу: в полуоткрытом рту чернел остановившийся маленький язык.

– Наверное, товарищ Сергеев еще на станции, – сказал генерал. Вила шарахнулся в сторону, услышав эти слова, хотя генерал говорил тихо и внятно.

Действительно, товарищ Сергеев еще не уехал. Вагон первого класса стоял на второй линии рельс, охраняемый долговязым часовым. Мы обошли вокзальное здание. Весь отряд отправился в город громить большой винный склад, и на станции оставались только товарищ Сергеев и часовой. Генерал, не задумываясь, подошел к вагону, – и часовой загородил ему дорогу.

– Входа нет, товарищ, – сказал он. Чисто выбритое лицо Сергеева мелькнуло в окне.

– Входа нет, – повторил часовой, но, посмотрев на генерала, понизил голос и прошептал:

– Я караул скричу.

Генерал вырвал винтовку из его рук и ударил его наотмашь по лицу. Часовой осел: спина его заскользила по лакированному дереву вагона, ноги ушли в снег, и облитая кровью голова тихо стукнулась об рельсу. Генерал вошел в вагон. Сергеев, увидев его, схватился за револьвер, но не успел его вытащить: генеральские пальцы уже вцепились в его руку.

– Вы расстреляли товарища Брак, – сказал генерал. Сергеев молчал и отчаянно озирался по сторонам. – Вы себе не можете представить, что это был за человек, – сказал генерал и всхлипнул. Он отпустил правую руку Сергеева, которая беспомощно повисла; ее побелевшие пальцы не шевелились. Затем он охватил обеими руками шею Сергеева и начал медленно сжимать ее. Сергеев побагровел и задергался. – Не сопротивляйтесь, – сказал вошедший в вагон Вила, – он физически очень сильный человек, я хочу сказать, генерал Сойкин. Я даже, знаете, однажды с ним такое пари держал... – Слезы заструились из глаз Серге-

ева. – Думаешь, я не плакал? – сказал генерал. Через полминуты коммерсанта, донжуана и начальника карательного отряда Сергеева не существовало: в его вагоне лежал труп с выкатившимися глазами и с глубокими синими следами пальцев на шее.

– Боже мой, – бормотал генерал, – какая жестокость!..

И мы исчезли в черных туманах смуты. Нас бросало из стороны в сторону, сквозь треск и свист. Осыпанные землей и искрами, мы брели и гибли, цепляясь глазами за пустые синие потолки неба, за хвостатые звезды, падающие вниз со страшных астрономических высот. Мы жили в дымящихся снегах и взорванных водокачках, мы переходили бесчисленные мосты, обрушивающиеся под нашими ногами; мы попадали в шумные города, дребезжавшие обреченными оркестрами веселые арии опереток; мы видели невероятных женщин, отдающихся за английские ботинки на мрачных скатах угольных гор железнодорожных станций, мы видели бешеных коров и сумасшедших священников, – мы далеко заглянули за тяжелые страницы времени: десятки искалеченных Богемий покорно умирали перед нами: люди, качавшиеся на российских высоких перекладинах, молча глядели на нас.

И Лазарь Рашевский не вынес такого путешествия. Он был захвачен белыми солдатами и обвинен в шпионаже. Его, раздетого, повезли в теплушке с пылающей печью в штаб генерала Сивухина, били его по бритой голове раскаленным шомполом, но он не выдал никого. Утром следующего дня его должны были повесить. Он храбро встретил смерть, не вздыхал, не жаловался. Но близость конца заставила его, я думаю, пожалеть о Татьяне Брак и ее гибели, в которой виновен был он. И Лазарь совершил сентиментальный поступок, о котором он пожалел бы сам, если бы остался жив. Он попросил, чтобы его провели к генералу Сивухину, и сказал, что хочет сооб-

щить ему лично несколько важных сведений. Но это была неправда. Он остановился перед седым мужчиной с квадратным черепом и сказал своим резким голосом:

– Господин генерал, завтра меня повесят. – Генерал кивнул головой. – Я хотел бы просить вас об одном одолжении. В вашем поезде есть рояль, я слышал, как кто-то играл. Я очень хороший пианист, господин генерал, разрешите мне сыграть что-нибудь сегодня вечером.

– Играйте на здоровье, – сказал генерал.

Когда Вила рассказывал нам об этом, я сидел, опустив голову, и все силился что-то вспомнить. И уже когда Вила кончил говорить, перед моими глазами встала строчка из André Chenier:

– «Au pied de l'échafaud j'essaye encore ma lyre»[1].

Лазарь Рашевский играл целый вечер. Я не знаю, как он играл, – думаю, что гораздо хуже, чем обыкновенно. Его слушали генеральские сестры милосердия в белых косынках с крестиками и штабные офицеры. Все были растроганы, сестры даже плакали в носовые платки.

– А все-таки правосудие прежде всего, – сказал генерал: и на следующее утро Лазаря повесили на железнодорожном мосту, приколов к груди бумажку:

«За шпионаж в пользу бандита и анархиста Махно».

Но вот, – кончаются героические циклы и утекает чрезвычайно много воды, как говорит генерал, и мы вновь видим себя в нашем нищенском благополучии. Генерал проводит время в лирических некрологах, Вила изучает историю парламентаризма. И я вижу встающий из рухнувшего хлама календарей – черный силуэт товарища Брак, проходящий в пустынных улицах.

Париж. 1.XII.1927

---

[1] Андре Шенье: «И на ступенях эшафота не расстаюсь я с лирой» (*фр.*).

РИМЛЯНЕ

Алексей Борисович появился впервые в моей жизни между прекрасной преступницей Инес Наварро из серии Ника Картера и старым канадским траппером из романов Густава Эмара. Алексей Борисович преподавал историю, носил золотые очки и рассказывал уроки с неимоверным украинским акцентом и всегда очень волнуясь, – и когда он взмахивал руками в том месте, где Александр Невский обрушивался на своих врагов, я вздрагивал от волнения. Но Александр Невский занимал лишь небольшое место в знаниях Алексея Борисовича. Он говорил в других классах об иных вещах, иногда еще более интересных, и я завидовал той свободе, с которой его речь лилась по бесчисленным руслам столетий и народов. Единственное, что оставалось неизменным в этом потоке: берега густого баса и непобедимого акцента.

Уроки продолжались целую неделю, и только в воскресенье история забывалась. Мы шли в гимназическую церковь; Алексей Борисович тоже приходил. Священник, отец Иоанн с очень строгим взглядом и пушистой бородой, академик и религиозно-литературный критик, выходил на возвышение перед царскими вратами, крестился, произносил «во имя отца и сына и святого духа» и начинал речь:

– Дети... – говорил он и делал небольшую паузу. Потом, с видимым удовольствием, прибавлял: – и юноши… Сегодня, в день преподобного Сергия Радонежского…

Сергий Радонежский был нарисован на стене. Это был бледный мальчик с золотым ободком вокруг головы: он стоял на лугу, под его ногами пестрели яркие неправдоподобные цветы; над ним склонялся взрослый святой, серьез-

ный и благочестивый мужчина в странной одежде, похожей на женское платье; когда я сказал это отцу Иоанну, он объяснил, что святые всегда так одевались.

– А почему Сергий Радонежский в рубашке и штанах? – А он еще маленький.

От смутного церковного дыма у меня начинала кружиться голова; я пристально смотрел на картину; и вдруг мне казалось, что сам отец Иоанн приходит на этот луг и говорит: «Дети, – обращаясь к Сергию Радонежскому, – и юноши, – к большому святому». Но отец Иоанн все продолжал свою речь. Потом мы становились на колени, пел хор и оттуда Васька Крыльцов, наш одноклассник, заливался отчаянным дискантом.

– Слышишь, – шептал мне сосед, – как Васька, сволочь, кричит? А сам у меня резинку из пенала украл. Я, конечно, не скажу, но все-таки он – сволочь. А поет, как будто ангел.

– Ангелы не поют, – отвечал я, – они только кричат осанна, а хора у них нет.

Под конец богослужения мы все дружно начинали кашлять, и церковь наполнялась хрустом и клекотом. А выйдя на улицу, мы шумно ели семечки и шли по тротуарам, крича и толкаясь.

После этого периода случилось множество интересных вещей и прошло много времени, но я твердо помню: холодные солнечные дни, запах моченых яблок и веселое чувство простора. Дома, у себя во дворе, я ходил на высоких ходулях. Возил по нескончаемым пространствам черной осенней земли железные игрушечные коляски и деревянные фургоны с неровными колесами, которые делал сам, выпиливая все части из фанеры и сколачивая их гвоздями. Мы с товарищами нагружали эти фургоны камнями, строили мосты через ручейки, образовывавшиеся после дождя, прокладывали дамбы в больших лужах и утрамбовывали дороги: мы повторяли кропотливую историю работающего человечества..

Утром – снова гимназия и Алексей Борисович.

– Хвиникіяне, – говорил Алексей Борисович, – имели очень высоко поставленные денежные и литературные интересы.

Мы ненавидели этих непонятных людей с низменными коммерческими идеями: они терялись в мелких буквах учебника и запомнить их историю нам представлялось невероятным. За ними следовали рассказы Алексея Борисовича об Александре Македонском; на большой перемене мы устраивали фалангу, действуя в строгом соответствии с тактическими принципами великого полководца; Васька Крыльцов кричал своим дискантом :

– Македонцы, налетай! – и мы бросались в атаку.

Проходило время, легкие прозрачные месяцы, пестрели неземные цветы на лугу Сергия Радонежского, отец Иоанн нашел брошюру о романах Соллогуба: и, вот, мы прошли больше половины учебника и добрались до истории Рима. Алексей Борисович пришел на урок и сказал более важно, чем когда бы то ни было:

– Сегодня я расскажу вам про римлян.

Алексея Борисовича особенно возмущала эпоха упадка. Он долго объяснял нам гибельные заблуждения Рима, приводил латинские цитаты, хвалил Юлия Цезаря, сокрушался о бесславном конце такого хорошего государства и сказал, что все это мы поймем позже, когда будем в старших классах. Мы этим очень заинтересовались. А на следующем уроке отец Иоанн поучал нас:

– Высший момент в истории человечества вообще, это зарождение христианства и времена апостолов.

Но нам больше нравились римляне, мы презирали нищих духом, так как находились в самом героическом возрасте.

Мы выросли на глазах нестареющего отрока, Сергия Радонежского. Я питал к нему смешанное чувство – недоброжелательства, как к святому, и симпатии, как к очень хорошему мальчику. Босиком, он стоял на траве, мне казалось, что это час утренней росы и что у него мерзнут белые, нежные, нечеловеческие ноги. Сергий Радонежский: в торжественном тумане ладана, в обрамлении

длинных серых гимназических брюк, сменивших коротенькие штанишки, – в далекое, глухое время, за год до германской войны.

А римляне мне памятны еще по одной причине: как-то я гулял по главной улице, грыз семечки и встретил Алексея Борисовича. Он строго посмотрел на меня и сказал:

– Стыдно гимназисту четвертого класса есть семечки на улице. Вы ведете себя, как римлянин времен упадка.

И во всех случаях, когда ученики совершали какие-нибудь проступки, он презрительно говорил:

– Эх вы, римляне!

Я не знал истории римлян, хотя имел хорошие отметки; я путался в Пунических войнах и триумвиратах, но мне очень нравилась декоративная сторона: легионы со сверкающими щитами, железный топот армий и коричневые слоны Ганнибала, переселившиеся со страниц Брэма, из яркой, тропической зелени в шумную и воинственную хронологию беспримерных сражений. Об эпохе упадка нравов я знал очень мало, еще меньше, чем об остальном. Я помнил, что Федор Павлович Карамазов сравнивал себя с римлянами времен упадка; но я ненавидел этого старика со всей силой моего отвращения. Римлян же я представлял себе совсем другими. Кроме того, я не могу поверить Алексею Борисовичу, что самое глубокое нравственное падение выражается в пригоршне семечек, съеденных на улице. Тогда я взял в библиотеке несколько книг о Риме и прочел их.

И я узнал, что богатство портит людей; я прочел о браках мужчин с мальчиками, о разврате, вошедшем в привычку, о состоянии общей неуверенности, характерной для последнего периода латинской культуры. И сквозь бесстрастные ученые страницы я чувствовал, как мне казалось, что и для нас наступает эпоха позднего Рима. Революция носилась в воздухе; мы встречали на улицах пьяных гимназистов, распевающих романсы, уже открылась в городе первая лига свободной любви. Васька Крыльцов, который с третьего класса потерял дискант и начал хри-

петь, махнул рукой на хор, поступил в духовой оркестр и играл на пронзительной валторне. Ко времени революции он уже был в восьмом классе, бросил валторну и взялся за большую желтую трубу – «тенор».

Я заходил иногда к Алексею Борисовичу и спорил с ним о социологии и других серьезных вещах, и мысль о том, что я уже в пятом классе, была мне очень лестна. Алексею Борисовичу я говорил, как я понимаю слово римляне; римляне – это мы, нам суждено очень многое сделать. Мы лишены растлевающей морали и пассивности христианства, мы будем возрождать породу праздных и веселых философов, мы станем вдохновителями многотысячных толп; мы удержим знания, заботливо собранные двумя тысячами лет, но вернемся к священным временам проституции; мы создадим смеющихся, снисходительных богов, непохожих на сумрачного Саваофа.

Алексей Борисович ужасался. Он поднимал вверх руку, его золотые очки взлетали на лоб.

– Куда вы идете? Вы сгинете, как бес, перед заутреней, – вы, римляне, с вашими изуверскими фантазиями!

– Мы не уступим, Алексей Борисович! – кричал я. – Мы будем с вами воевать.

Но слово «римляне» вошло раз навсегда в наш язык. Я думал, что Алексей Борисович будет нашим врагом: он был подготовлен к этому долгими годами своей упрямой и негибкой культуры; мы были готовы бороться до конца со всеми тираническими триумвиратами. Но случилось не совсем так: Алексей Борисович изменил своим взглядам и прибег к нечестному способу: он вложил в слово римляне понятия гуманитарного порядка и идею созидательного труда, и в своей комнате повесил портрет старого бородатого еврея с широким лбом, Карла Маркса. И было понятно, что он подружился с Колей Красивым, одним из наших одноклассников.

В младших классах Коля ходил с грустным видом, не очень быстро бегал и в фаланге Александра Македонского всегда оказывался побежденным. С годами он стал влюбчив и сентиментален, гимназистом пятого класса он плакал от любовных огорчений; на уроках Алексея Бори-

совича он рисовал женские головы, наивные и белокурые, но непохожие одна на другую. Учился он хорошо.

Шел второй год революции, на улицах бродили манифестанты, в городе творились скандалы и Алексей Борисович, отвлекаясь от урока, кричал:

– Римляне! В храме святого Николая иконы поразбивали!

А Коля Красивый был влюблен. Он рассказал нам об этом: он удивленно открывал глаза и останавливался от волнения:

– Она – беженка из Польши. В шубке мехом наружу, очень красивая и замечательная.

Девушку звали Зося, мы знали ее: она была проституткой. Мы сказали об этом Коле.

– Вы не смеете ее оскорблять! – крикнул он, – я вызываю вас всех на дуэль.

Однажды ночью я увидел странную картину: на главной улице, у столба, стоял плачущий Коля Красивый. Рядом с ним – Алексей Борисович, неизвестно как очутившийся здесь в такой неподходящий для преподавателей час. Было очень поздно; над твердыми уличными снегами гудели круглые розовые фонари.

– Она мне изменила! – плакал Коля. – Я видел, как она ушла с другим.

– Не плачьте, Красивый, – очень мягко сказал Алексей Борисович.

– Я тебе говорил! – закричал я. – Чего же ты удивляешься?

– Ты умеешь только разговаривать, – ответил Коля, – а человека понять ты не можешь. Вот Алексей Борисович меня понимает, а ты понять не можешь.

– Какой сфинкс! – сказал я. – А кто бы мог подумать?

С этого времени между Колей и Алексеем Борисовичем завязалась дружба. Я иногда бывал еще у Алексея Борисовича, спорил с ним по-прежнему – и каждый раз заставал там Колю.

– Разлюбил польку? – спросил я как-то, Коля не ответил, а Алексей Борисович сказал:

– Я попрошу вас не касаться этого вопроса. Коле было бы тяжело.

Сведения о слишком прочном знакомстве Коли с Алексеем Борисовичем дошли до наших товарищей по классу. К преподавателям относились с принципиальным осуждением, как к представителям старого режима, и Васька Крыльцов, успевший залезть в политику, орал в классе:

– Товарищи, происходит возмутительная вещь! Я говорю о контакте товарища Красивого с мелкобуржуазными элементами из педагогического персонала.

– Брось, Вася, – сказали ему с задних парт, – сыграй лучше на теноре.

– Ну, если вы так просите... – согласился Васька.

Таким образом, Васькин протест не имел последствий, и дружба Коли с Алексеем Борисовичем продолжалась.

Однажды я встретил их. Они выходили из здания коммерческого клуба, где только что кончился митинг об Интернационале. Выходящих провожал духовой оркестр, толпа пела: «Никто не даст нам избавленья», и Коля Красивый, шедший рядом с Алексеем Борисовичем, раскрывал рот и плакал от непонятного мне политического умиления.

– Нам нужны труженики и борцы за революцию, – насмешливо сказал я, – а не чувствительные гимназисты, утопающие в слезах, как последняя институтка.

– Римлянин! – закричал в отчаянии Алексей Борисович, – имейте же мужество быть римлянином до конца! Что может искупить ваше позорное равнодушие в такую минуту?

В оркестре надрывался тенор Васьки Крыльцова, Коля всхлипывал, золотые очки Алексея Борисовича прыгали от негодования.

И римляне были побеждены; им осталось, однако, право насмешки над победителями.

Васька Крыльцов стал ответственным работником музыкальной секции какого-то учреждения, Коля Кра-

сивый вместе с Алексеем Борисовичем рисует агитационные плакаты. Прогоревшие святые грустно выглядывают из сохранившихся кое-где икон; мерзнут ноги Сергия Радонежского в нашей гимназической церкви. Отец Иоанн умер от огорчения религиозного характера, цветут на райских лугах неправдоподобные цветы: римские легионы наших дней спят в высоких каменных казармах.

ДРАКОН

Я жил тогда на улице Julie, в Париже была зима, мутный сумрак колебался в воздухе, звенели капли воды на черепицах, – шум трамвая приближался и заставлял дребезжать стекла окна и поглощался постепенно туманом и расстоянием; он покидал мою комнату и я оставался один.

Такое же ощущение одиночества я испытывал, когда смотрел на уходящий поезд; прогремят колеса, поднимется и осядет пыль, а я все стою там же. Самым важным в подобные минуты мне казалось – быть в трамвае или поезде и ехать вместе с другими; но и в поезде – когда встречный экспресс проносился перед вагонными стеклами – меня не покидало это чувство; мне хотелось мчаться одновременно во всех направлениях. Постоянное беспокойство не оставляло меня.

В ту зиму, на улице Julie, у меня не было денег, и оттого, что я ничего не ел и лежал в кровати целыми днями – я отделялся без сожаления от вещей непосредственных, от мыслей о бифштексе, о ресторане, о возможности устроиться. Вечная преграда, мешавшая фантазии, преграда простых и сильных физических чувств, становилась легкой и прозрачной, и волшебство этой краткой свободы вновь возвращало мне ту способность фантастических странствований воображения, которой я обладал, когда был ребенком и которую утратил, когда стал взрослым. Я обретал опять возможность чистого восприятия, и пепельницу из розовой раковины я рассматривал с изумлением, точно видел ее впервые: я чувствовал, что после долгого периода умирания я снова возвращаюсь к жизни, и необыкновенная бессмысленность самых простых вещей – домов, окон, людей – их чудовищная неправдоподобность и невероятность становились очевидными.

Вся жизнь с первых до последних лет всегда казалась мне сосредоточенной в нескольких представлениях – не потому, чтобы я ничего не знал об ее многообразии; но каждое из этих представлений заключало в себе тысячи других, и, вспоминая одно, я тотчас вспоминал все остальные, связанные с ним, и я бродил среди них, навсегда лишенных движения в реальном пространстве, идею которого внушала мне математика, и навсегда удержанных моей памятью.

Я думал о том, как у людей возникают фантастические образы и как я создал себе представление о драконе; с ним связаны луга Белоруссии, река Свислочь, город Минск, люди с колтунами и зобами – неподвижные чудовища на порогах моей жизни. Я вспомнил, как ребенком я верил в Бога и боялся его: он тоже казался мне похожим на дракона, и приход Бога на землю я видел, как космический темный вихрь, поднимающий за собой воронки дыма, воды и песка.

В детстве, когда я не имел понятия о весе, времени и мере, – жизнь была для меня сменой душевных потрясений. Представьте себе маховик, который вращается очень быстро, – его страшная летящая тяжесть сгущает и заставляет дрожать воздух: вот с этим колеблющимся воздухом я бы сравнил мое психическое состояние, прозрачную и вздрагивающую жидкость моих чувств. Но и тогда у меня была возможность двух пониманий: одно все-таки оставалось мне немного чуждым и пугало меня – и другое меня пугало. Когда мне рассказывали сказки о драконе, мне являлось существо с гремящей чешуей; но по ночам дракон мне не снился. Настоящего дракона я увидел позже.

Поздней весной я ушел однажды за город, в поле; речка мутно струилась внизу, и трава на ее берегах уже покрылась пылью; чернели норки сусликов; вдалеке был виден лес, он медленно двигался в синем воздухе и все оставался на месте. Я пошел ловить тритонов и водяных жучков, скользивших легкими паутинными ногами по гладкой воде маленьких приречных озер. Поймав десяток тритонов, я пустил их в ведро с водой, потом раскопал землю и нашел несколько личинок, похожих одно-

временно на гусениц и кузнечиков: они были разных цветов – иные с сильно развитыми челюстями, другие с маленькими, третьи совсем без челюстей. Личинок я уложил и коробку принес домой и слышал, как они копошились и шуршали. Ложась спать, поставил коробку рядом с кроватью. А наутро меня ждало зрелище, которое поразило меня сильнее всего, что мне пришлось вообще видеть: в коробке был дракон.

Он лежал на дне, разноцветный и многоногий: голова с желтыми глазами возвышалась над туловищем, большие челюсти сжимались и разжимались. Я принес увеличительное стекло и направил на дракона пучок солнечных лучей: дракон медленно пополз по картону, тяжело таща свое тело. Я смотрел на него с ужасом и отвращением: оторванные головы и ноги лежали по углам коробки; после смертельного боя погибли все личинки, за исключением самой сильной – но и она была со всех сторон сжата мертвыми челюстями. Дракон шевелился целый день, но к вечеру умер; я положил его в стеклянный пузырек и закопал в саду. Следующей ночью мне все снился тихий скрежет личинок – и дракон, страшное и жестокое животное, бесшумное и отвратительное.

Я лежал на кровати на rue Julie и вдруг вспомнил, что Леонардо да Винчи рисовал чудовище, состоящее из соединения разных гадов, и что этот рисунок до нас не дошел. В слове дракон для меня соединилось все скверное и фантастически близкое, что я не переставал видеть перед собой.

Я рос, учился, читал, ловил зеленых ящериц с отрывающимися хвостами, вытаскивал при помощи нитки с восковым шариком на конце – свирепых тарантулов из их норок, устраивал огненный забор вокруг скорпионов – когда был на Кавказе, – следил за муравьями в сосновых лесах – красными, большими муравьями, тружениками и воинами, – и ужасное чувство знания постепенно проникало в меня.

Оно принимало самые различные формы, и тысячи предметов ежедневно напоминали мне о нем, и каждый раз при этом мне становилось скучно и страшно.

Мне случалось в разговоре с незнакомым человеком вдруг знать, что он скажет: но это были не те простые фразы, которые так легко предвидеть – это бывали чаще всего неожиданные и длинные периоды, иногда очень сложные...

Я нетерпеливо и напряженно ждал фразы, которую мой собеседник должен был произнести; и когда он ее произносил, я вздрагивал – и внутри меня что-то ахало и обрывалось – но через секунду легкий шум моей второй жизни начинал по-прежнему звучать. Это второе существование, несравненно более значительное – я ощущал его подчас с необыкновенной силой и ожесточением – всегда имеет звуковую окраску – и если этот шум прекратится, то я умру.

Но я не умирал: я только – на кровати, на улице Julie – чувствовал, как, точно во сне, я возникаю для жизни; и что темный мир вещей и ощущений быстро вырастает передо мной – и я снова иду в лесу, как и раньше, и узнаю забытые и знакомые тропинки, покрытые песком, синеватые цвета папоротников и многоэтажные пирамиды муравейников. Я набирал воздух и вздыхал, и силой вздоха перемещался в другие края: темный лес беззвучно рассыпался и исчезал и вот я в полях Белоруссии, у реки Свислочь, – опять забытые люди и мужики с колтунами, чудовища на порогах моего детства, чувство знания и дракон – круг, в который я возвращался столько раз.

Я проснулся однажды – мне было восемь лет, я жил на Украине; густой сад стоял перед окнами, и птица неизвестной породы прыгала по веткам вишни. Солнечный свет и жар звенели монотонным металлическим звуком, с речки кричали лягушки, и жабы раздували горла в прохладной темноте тени. Я проснулся не таким, каким заснул, и ясно увидел себя со стороны: тело, ноги, лицо, глаза. Особенно – глаза; и с тех пор, когда я подходил к зеркалу, я неизменно встречал всегда чужой, но что-то отдаленно напоминающий взгляд – безличный и жестокий. Я узнавал его у других людей – это было до ужаса знакомо; я терялся и умолкал и дракон опять появлялся передо мной.

Но когда я бывал сыт (один раз я видел диаграмму – сколько средний человек съедает за свою жизнь: несколько коров и быков, небольшое стадо баранов, множество кур, гусей и уток, зайцы, олени, свиньи, дикие кабаны и даже лось; вот только лошадь забыли почему-то, – очень любопытная диаграмма, между прочим), то эта вторая внутренняя жизнь смирялась и умолкала под грузом бифштексов и макарон. И тогда я смеялся над моими страхами и драконом; и, рассуждая на отвлеченные темы, вспоминал ученые книги и законы человеческого развития – и лишь минутами понимал, что становлюсь похожим на людей, которым все ясно: на скептиков и энтузиастов – веселых слепых и жизнерадостных инвалидов.

Потом снова наступал голод – странствования воображения: Франциск Ассизский, мудрый святой скрывался в лесу, звери бежали за ним и золотой круг над его головой разрезал тень.

И там, где он только что стоял, появлялось гигантское, многоконечное тело и головы со свирепыми глазами, в которых я молча узнавал человеческий взгляд дракона: он лежал на лугу, и речка катилась перед ним.

Зобастые люди появлялись и таяли в воздухе – и дракон безмерно рос и увеличивался с тихим скрежетом. Он приближался ко мне, раздуваясь и поднимаясь вверх – и я видел глаза в зеркале.

Зеленый фонарь с улицы светил в мое окно, и в лучистом сумраке зимы звенели утренние трамваи.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

O Mort, vieux capitaine, il est temps!
levons l'ancre!
Ce pays nous ennuie, ô Mort!
Appareillons!
Ch. Baudelaire. «Voyage»[1]

Я блуждал – как всегда – в необъятном хаосе самых отдаленных представлений. И как бродяга, который уходит из своего города, видит сначала знакомые окраины и родные места и вступает лишь потом в неизвестные ему земли – и холод неведомого входит в его грудь; он идет и все оборачивается, прихрамывая, – как бродяга, я тоже начинал мои путешествия от привычных снов и привычных мыслей. Мне снился звенящий звук, точно если бы кто-нибудь ударял железной палочкой по тонкому медному диску; затем этот звук сменялся легким треском; я видел голого человека, вращающегося на ровном бронзовом круге; он долго мелькал передо мной, потом исчезал, и тогда из соседней комнаты доносился бой часов, игравших очень старую мелодию; удары часов пели, как колокол в густых облаках; они воскрешали вдруг длинный ряд хрупких картин, которые рассыпались, едва только я поднимал голову с подушки или протягивал руку к ночному столику. В течение долгих лет часы играли один и тот же мотив, прозрачный и задумчивый, рожденный веком сентиментализма; они силились убедить меня, что под их мелодию прошло много жизней и что она звучит, как всегда, – и ничто никогда не меняется; и они провожали мои дни неподвижными стеклянными глазами.

---

[1] Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!
Ш. Бодлер. «Плаванье»
(*Пер. М. Цветаевой*)

Помнится, в плохоньком меблированном доме большого южного города России жили две дамы в одинаковых комнатах, одна над другой. Дама, жившая наверху, умирала от страшной болезни: «лимфатические сосуды» – говорили мне, и мне казалось, что в теле этой бледной и толстой женщины стоят десятками маленькие стаканчики с белой жидкостью, – и вот жидкость темнеет, окрашиваясь в кровавый цвет, и дама поэтому умирает. Внизу же другая дама целыми днями играла на пианино; и в вечер смерти «лимфатической больной» оттуда все слышалась элегия Массне; а наверху, на столе, лежал раздувшийся труп, и белый холст завешивал зеркала; я вспомнил эту историю однажды и ресторане, когда граммофон заиграл такой знакомый мотив; я надолго задумался; пластинка давно перестала вертеться, а я не начинал есть; белый пар взвивался над супом, и волны холста струились по зеркалам.

Каждый вечер я засыпал, обессиленный океаном звуков, проходивших в моем мозгу. Гигантский и шумный мир вмещался в меня; он начинался гудением шмеля, сквозь которое бормотал чей-то голос: «Ниже, ниже... Спустись ниже; покинь отвлеченности, и тогда ты все поймешь. Ниже, ниже...» Голос обрывался, умолкал шмель; тогда начинали стрекотать кузнечики; потом гремели оркестры полков, от которых теперь ничего не осталось; и мертвые музыканты шагали сквозь мою комнату, привычно надувая щеки, за ними шли другие; сотни мотивов то приближались, то удалялись, и я тщетно старался увидеть того, кто посылал ко мне шмелей, кузнечиков и мертвых музыкантов, кто бормотал мне «ниже»; но все было пусто, только голый человек на бронзовом круге продолжал безмолвно и бешено вертеться. И вдруг все утихало.

Такое напряженное состояние становилось невыносимым; и желтыми днями, закурив папиросу и морщась от дыма, я писал мемуары мистера Томсона, британского гражданина, проведшего всю жизнь в спокойствии и благодушии маленького городка Англии, чинно праздновавшего воскресенья. Я писал его мемуары и завидовал его несокрушимой уверенности в своем праве пить традиционный эль, курить добрую старую трубку и никогда не

стремиться жить иначе. Я особенно завидовал ему, когда он возвращался вечером домой и его жена, уважаемая мадам Томсон, которую так называли потому, что один из ее родственников ездил однажды в молодости во Францию, – когда мадам Томсон говорила ему:

– Джон, обед на столе.

И в ее голосе слышалось все: и возраст, и обеспеченность, и честность, и уют домика, в котором она поселилась двадцать лет тому назад, выйдя замуж за мистера Томсона, – одним словом, все, из чего состояла мадам Томсон.

– Джон, обед на столе.

И мистер Томсон неторопливо поднимался со своего кресла и шел обедать, а потом опять садился на прежнее место: трубка выпадала из его рта, и газета с шуршанием сползала на пол. – Вы опять заснули, Джон? – Нет, я не сплю. – И мистер Томсон нагибался, чтобы поднять газету.

Я писал мемуары и завидовал мистеру Томсону; я старался жить так же, как он, но мне не хватало Англии, мадам Томсон, трубки и собственной квартиры; кроме того, мой душевный покой был многократно нарушен и не восстанавливался. В довершение всего мне досаждал мой сосед.

Я его никогда не видел: он жил отшельником. Я знал только, что никто не приходил к нему, что он был беден и очень немолод. Все эти сведения мне сообщила горничная, хотя я ее ни о чем не спрашивал; она была одержима неизлечимой страстью к разговорам: я понял происхождение этой болезни, когда узнал, что в молодости она собиралась идти на сцену и даже дебютировала в одном театре; я не узнал, однако, как она попала из актрис в горничные, – потому что это была единственная тема, на которую она не распространялась. Впрочем, ее друг, приходивший два раза в неделю, производил впечатление вполне приличного человека: сиротливая лысина его скрывалась под котелком, длинное лицо выглядывало из бакенбард, и подбородок опускался на белую рубашку с безмолвным достоинством; кланялся он очень низко и часто произносил неопределенные междометия, смеясь при этом благородно и почтительно, – и мне было трудно определить – лакей он

или актер. Впоследствии оказалось, что он агент по привлечению клиентов в игорный дом средней руки.

Итак, мой сосед не вызывал бы ни в ком внимания к себе, ежели бы у него не было одного недостатка крайне стеснительного: он слишком громко сморкался. Никогда, ни до этого, ни после этого, я не встречал подобного человека.

Он начинал с откашливания; затем умолкал, доставая, вероятно, платок из кармана; так проходило несколько минут, – и я забывал о нем, когда раздавался внезапный и громкий звук, неизменно заставлявший меня вздрагивать; звук гремел и катился по комнате, и я не мог отделаться от впечатления, что мой стул сдвигается с места. Все разговоры во всех комнатах умолкали; – и после короткой тишины опять слышался гром из комнаты моего соседа; сморканье кончалось высокой и протяжной нотой; и странная, смешная печаль слышалась мне в этом.

Однажды вечером, – я размышлял о спокойной судьбе мадам Томсон и о счастливой бессмысленности ее существования: у нее не было детей, – мой сосед постучался ко мне. Я пригласил его войти; он попросил папиросу, закурил и ушел, – и тотчас же смутное и привычное беспокойство охватило меня. Мне казалось, что я узнал моего соседа; и я уверял себя, что это одна из моих постоянных ошибок. Мне часто приходилось так ошибаться. И так как я не знаю ничего нового с тех пор, что помню себя, то люди и вещи, которые встречаются мне, кажутся мне уже известными; и у меня бывает впечатление, будто вот этот чужой человек улыбнется знакомой улыбкой – и я в ту же минуту узнаю его: он окажется моим партнером по игре, или старым гимназическим товарищем, или учителем музыки, дававшим уроки моей сестре; и я скажу: – Иван Иванович, а ведь я было вас не узнал, – и засмеюсь, и предложу ему папиросу, и мы заговорим так, точно расстались только вчера. Но я вспоминаю, что Ивана Ивановича давно уже нет, что я никогда не встречал моих старых товарищей, что мои партнеры остались верны игре и России, – и гулко смеются в российских притонах, – и что я живу здесь один в воображаемом мире толчков и вздрагиваний – в соседстве с невозмутимой четой Томсон, кото-

рую я выдумал однажды в желтый от тумана зимний день и которой никогда не существовало на свете.

Однако мой сосед не выходил у меня из головы. Этот старик с белыми волосами и лицом, выражавшим крайнюю напряженность, – казалось, что вот он внезапно придвинется к вам и расширит глаза или исступленно заплачет перед вами и потом расплывется и исчезнет; такие лица я видел во сне, – этот старик напомнил мне другого человека, которого я знал много лет тому назад. Тот был молод, богат и всегда весел; он постоянно улыбался и, улыбаясь, проигрывал деньги, улыбаясь, делал предложение, улыбаясь, женился – и жил так, как жили богатые русские люди пятнадцать лет тому назад; я был тогда маленьким мальчиком, и я плохо знаю это время. Но молодого человека с постоянной улыбкой я запомнил. Его звали Филипп Аполлонович. Фамилия его была Герасимов.

Потом Филипп Аполлонович был на войне; а на второй год войны, я помню, кто-то сказал моей тетке:

– Да, знаете, новость? Аполлоныч застрелился.

После этой фразы прошли еще долгие годы: масса мелких событий – восстаний, революций, путешествий – увела меня далеко от мысли об Аполлоныче; и, очнувшись от забытья, прошедшего бесплодно для моей жизни, я открыл глаза и увидел, что живу в Париже: Сена, и мосты, и Елисейские поля, и площадь Согласия; и тот мир, в котором я жил раньше, зашумел и скрылся: стелются в воздухе призрачные облака, и стучат колеса, гудят шмели, играют музыканты, – а я стою почти без сознания и ищу свою кровать, книжки и учебник по арифметике, – и опять просыпаюсь и иду пить кофе; Сена, Елисейские поля: Париж.

Мой сосед показался мне похожим на Аполлоныча. И хотя Аполлоныч умер двенадцать лет тому назад и не мог, следовательно, быть теперь в Париже; хотя Аполлоныч был молод, богат и всегда весел, а мой сосед – стар, беден и хмур, – все же между ними существовало какое-то неуловимое сходство. В следующее мое свидание с соседом я убедился в этом совершенно. Он стоял в коридоре, освещенном электрической лампочкой, и горничная громко излагала ему причины своей любви к театру; она делала это с такой горячностью и таким шумом, что я вышел из

комнаты посмотреть, не случилось ли чего-нибудь. Мой сосед слушал ее, опустив голову; потом он поднял глаза, и улыбка появилась на его постоянно встревоженном лице.

Я не ошибался: это был Аполлоныч. Я быстро поклонился ему и ушел к себе. Мемуары мистера Томсона лежали на столе: «Сегодня была прекрасная погода, а вчера ночью шел сильный дождь. Отчего происходят такие изменения? Это знает только Бог, потому что ему известно все. Элен даже говорит, что он знает, из-за чего я так поздно прихожу домой по субботам. Вчерашний дождик, как сказал мне мистер Броун, очень полезен для овощей, в особенности для помидоров. Интересно знать, почему помидоры от природы такие красные».

Я закрыл тетрадь с мемуарами мистера Томсона. Итак, мой сосед был Филиппом Аполлоновичем, застрелившимся на второй год войны. Но какие необыкновенные потрясения превратили молодого; улыбающегося человека в старика с беспокойным и страшным лицом и седыми волосами? Может быть, он проиграл казенные деньги и перенес позор, презрение товарищей, тюрьму и ссылку? Может быть, он потерял в один день жену и детей? Может быть, годы войны, окопов и постоянной угрозы смерти заставили его задуматься над своей улыбкой, и, задумавшись, он увидел нечто страшное – и вот живет и не может прийти в себя от испуга?

Во время его короткого визита ко мне, когда он попросил папиросу и быстро поглядел на меня, уходя, – я испытал тяжелое чувство: ощущение недовольства и неудовлетворенности вдруг поднялось во мне. Обычно в таких случаях мне стоило напрячь память, и я вспоминал, что причиной этого является какой-нибудь пустяк: отстающие часы, неуплаченный долг, оторвавшаяся пуговица. В тот раз, однако, все было в порядке; виной всего был, по-видимому, мой сосед. Что-то невыразимо тягостное было в этом старике.

Я лег спать и увидел во сне, что иду по глубокому оврагу, который приводит меня к реке, – и я узнаю Иртыш. – Как скоро, однако, я очутился в Сибири, – думаю я и вхожу в воду; и вот я плыву по быстрой синеватой поверхности; вдруг вода начинает темнеть и становится

черной, как туча. Я плыву, и устаю все больше и больше, и внезапно замечаю, что впереди медленно качается на волнах лошадиный череп с длинными желтыми зубами. Крики птиц доносятся из оврага. – Зачем я забрался сюда? – думаю я. – Ведь я очень плохо плаваю. – И вот я попадаю в воронку, начинаю вертеться на месте, и не могу выбраться; и силы оставляют меня. – Ну, что ж, – говорю я себе, – значит, я утону. Какая нелепая смерть: ведь я еще молод, я мог бы долго жить. – Я думаю о смерти, оглядываюсь вокруг себя и вдруг вижу, что вовсе не я кружусь в воронке и нет больше ни Иртыша, ни оврага – и только мой старый знакомый, голый человек на бронзовом диске, по-прежнему вращается передо мной. – Сейчас будут бить часы, – слышу я, и действительно, опять точно колокола звенят в тумане; и снова пианино с разбитыми, дребезжащими струнами играет элегию Массне.

Однажды в будний день я лежал на траве в лесу Saint-Cloud и читал Вольтера; и отрывался от чтения, чтобы посмотреть вокруг. Я видел траву, и деревья, и книжку перед собой – и закрывал глаза; торопливые мысли вновь овладевали моим воображением. – Мы окружены незримой стеной, – думал я. – От нее отскакивают оскорбления и угрозы, мысли и желания других людей, мы только слышим изредка глухой гул из-за стены; но мы осуждены на вечное одиночество. И ничто не меняется; и, может быть, странные часы, удары которых я слышу во сне, правы. Вот я лежу на траве и читаю книгу; и так же я лежал много времени тому назад на такой же траве в России; и потом то же самое было в других странах. Все, что соприкасалось со мной, все, что я видел и слышал в разное время и в разных местах, – все это более не существует; война, солдаты, сражения, пушки – железный хлам, осыпанный пеплом времени; давно лежат на дне моря тяжелые якоря пароходов, на которых я ехал; давно умер мой пес, мой лучший товарищ; и женщина, которую я любил сильнее всего, когда мне было четырнадцать лет, поет, наверное, неприличные песенки в советских кабаре и, кончив свой номер,

сидит перед зеркалом и стирает с лица жир и пудру и плачет, как полагается плакать всем шансонетным артисткам; и, захрипев однажды на сцене, она уйдет из кабаре и канет в неизвестность, в маленькую гостиницу, бедность и долги; а может быть, эта голова, и глаза, и губы еще долго сохранятся, и другие люди, подобно мне, будут думать о ней, проснувшись ночью или лежа в лесу на траве; и вот теперь, покинув на время эти разрушенные места, вынырнув из мертвого океана небытия и забыв обо всем на свете, – я читаю «Кандида»; и ветер летит сквозь лес.

Когда я открыл глаза, я увидел, что высокий человек в старом котелке стоит надо мной; он неслышно появился из-за деревьев. Взглянув на него, я узнал моего соседа. Он молча мне поклонился. – Как он сюда попал? – подумал я.

– Нет ли у вас спичек?

– Вот, пожалуйста, – сказал я по-русски.

– Вы русский?

– Да, Филипп Аполлонович. – Он испугался; лицо его потемнело: – Откуда вы меня знаете? – Я рассказал. Через десять минут он сидел рядом со мной, обхватив руками колени, и мы разговаривали: я узнал, что все интересующее меня его более не занимает.

– Почему, – спросил я, – вы так ужасно состарились, Филипп Аполлонович? Ведь вам, наверное, тридцать шесть – тридцать семь лет, не больше. Что с вами произошло?

Он нахмурился, сморщился, закрыл глаза, закурил папироску, бросив прежнюю, недокуренную, в траву, потом помолчал и, наконец, заговорил. Слабый ветер летел по лесу.

– Удивительно, что вы меня узнали, – сказал он. – Меня никто не узнает. Кстати, вы обратили внимание на то, как я сморкаюсь? Очень громко, не правда ли? – Он вздохнул. – Один из моих недостатков.

Он развел руками, как бы удивляясь – странно, дескать, но ничего не поделаешь.

– Да. Вы, кажется, меня о чем-то спрашивали? Но, уверяю вас, мне нечего рассказывать. Все было очень просто. Я был ранен в грудь; не стрелялся, как говорили, а был ранен и должен был умереть, – но не умер и от огорчения очень похудел. Вот и все.

– Это действительно несложно.

– Я умирал, – сказал он с внезапным оживлением. – Я был осужден; в этом не оставалось никаких сомнений. Я умер; все предметы, окружавшие меня, потеряли свою определенность; все голоса доходили до меня из далекого и темного пространства. Я не чувствовал веса своего тела; я ни о чем не должен был думать. Я умер; никакого движения не было вокруг меня, только воздух колебался, как вода. Я был спокоен потому, что никто не мог со мной говорить; я был мертв. Все, в чем я жил, ушло от меня на миллионы верст; и мне показалась бы нелепой мысль, что вся эта сутолока, эта жизнь с женой и сыном и массой других мелочей может ко мне вернуться. Я был во власти смерти: это лучшая власть, какую я знаю. Вы спрашиваете, почему я состарился?

И он долго и искренне смеялся; он бил руками по траве, отбрасывался назад, наклонялся вперед, качался влево и вправо; странные и протяжные звуки выходили из его горла – протяжные и печальные, – хотя он широко улыбался; и я понял, что этот человек уже давно сошел с ума.

– Я не постигаю причин вашей веселости.

– Вы ничего не понимаете. Я состарился потому, что я знаю смерть, Я могу поздороваться с ней, как со старым знакомым. Я зову ее по имени, но она не приходит. И почему вы думаете, – презрительно спросил он, – что она женщина? Смерть – мужчина. До меня это некоторые поняли; Бодлер, например. Вы ничего не понимаете. Слушайте: когда я умер, два старика с длинными седыми бородами внесли в мою комнату продолговатый серебряный ящик. Лица их были спокойны и деловиты. Потом пришел третий; это был человек лет пятидесяти, одетый в форму сторожа анатомического театра.

– Вы опустите его на глубину четырнадцати футов, – сказал он старикам. Старики стояли и мерно качали головами; когда опускалась борода одного, поднималась борода другого, и это медленное покачивание доводило меня до головокружения. Смерть стояла, заложив руку за борт мундира. Старики подняли меня и положили в ящик,

который принесли и который оказался гробом, обитым внутри парчой. – Вы думаете, Александр Борисович, что моему сыну будет мягко? – спросил один – и я узнал голос моего отца. И другой ответил: – Да, Аполлон Михайлович, я всемерно склонен подтвердить ваше мудрое предположение. – Меня опустили на веревках в глубокий вертикальный канал: четырнадцать футов, подумал я; я слышал, как далеко подо мной текла и шумела подземная река. Гроб остановился, веревки поднялись, и сверху донесся голос моей сестры, сказавшей по-французски: – Il ne bougera plus, mon père[1]. – Они ушли, и все вдруг исчезло. Когда я очнулся, доктор уверил меня, что я не умру. И я действительно выздоровел. Это было невыразимо печально.

– Теперь я переписываюсь с женой, – сказал он после паузы. – Я ведь ушел из дому одиннадцать лет тому назад. А теперь возобновил знакомство. Жена скоро приедет сюда. Ничего не поделаешь, мой юный друг.

Через месяц после этого разговора к Филиппу Аполлоновичу действительно приехала жена с сыном, мальчиком лет десяти; они покинули гостиницу, в которой я жил, и куда-то переселились. Однажды я видел их в кафе: Филипп Аполлонович обнимал одной рукой жену, другой сына; все трое улыбались. Увидя меня, Филипп Аполлонович поклонился и мерно закивал головой: я вспомнил стариков у его серебряного гроба. Но, в отличие от них, Филипп Аполлонович был гладко выбрит; седые волосы подпрыгивали на его голове, во рту шевелилась папироса с золотым мундштуком; мальчик был очень мил; жена Филиппа Аполлоновича оказалась довольно красивой женщиной, хотя несколько полной, по-моему.

Париж. 10. VII. 1928

---

[1] – Он останется здесь навсегда, отец (*фр.*).

МАРТЫН РАСКОЛИНОС

В таверне Великого Тюренна погибший музыкант Росиньоль, старик с зеленым лицом и дремучей бородой, много лет тому назад спившийся неудачник, играл, как обычно, на гармонике; и Анюта Привлекательный танцевал с мечтательной Маргаритой все один и тот же танец; Анюта грустил и задумывался. Маргарита закрывала глаза, хозяин таверны читал Диккенса и безмолвно трясся от смеха – и все шло, как всегда; уже разгорался спор между двумя завсегдатаями таверны, из которых один был толстый, а другой худой, и худой каждый вечер упрекал толстого за безделье и называл его глупым пузырем; уже свирепела за стойкой суровая родственница хозяина, недавно приехавшая из провинции; уже плакал фистулой громадный Жан, грузчик с Центрального рынка; уже калека, прислуживающий посетителям, принес Росиньолю бутылку красного вина и каменный сандвич с лошадиным мясом; уже сестра Маргариты, Андрэ – с белой кожей и бешеными глазами, собиралась заказывать третий стакан кофе с коньяком; и, конечно, через две или три минуты завязалась бы ежедневная драка и еще через полчаса хозяин, отложив «Оливера Твиста», обходил бы гостей, собирая деньги за разбитую посуду и жалуясь на трудное ремесло, – как вдруг на пороге двери показался святой Мартын. Росиньоль тотчас прервал музыку, и в таверне наступила тишина; только газ шипел в белых лампах и хозяйский дог повизгивал под стойкой.

Святой был одет в новый черный костюм; на ногах его были шелковые носки нежного цвета, белая рубашка блестела; и только неожиданное выражение его маленьких глаз свидетельствовало о том, что состояние необыкновенного духовного напряжения, в котором он находился постоянно, сменилось внезапной усталостью и тоской. Он

отозвал Анюту Привлекательного в сторону, сказал ему несколько слов и ушел; и шум в Великом Тюренне возобновился с прежней силой. Я сидел в углу один; свет лампы отражался в сладкой малиновой жидкости моего стакана. Я просидел довольно долго, думая о странной судьбе святого Мартына; и когда я ушел домой, на улицах уже гремели утренние грузовики и толпы нищих шли к площади Бастилии.

Мартын Расколинос не был, собственно говоря, юродивым; но сектантская, изуверская его кровь все же изредка давала себя чувствовать. Дед его был сначала раскольником-старообрядцем, потом хлыстом, сосланным на поселение; отец Мартына был пьяницей-столяром; матери Мартын не помнил. Он был тихим мальчиком, хилым, но живучим – и до пятнадцати лет почти ничем не отличался от своих сверстников. На шестнадцатом году его жизни, в воскресенье, в церкви с ним случился истерический припадок. С этого дня он стал еще тише, еще уединеннее, а через несколько месяцев сбежал из дому, поступил в монастырь и оставался в нем до революции.

Он не уклонялся ни от какой работы, не нарушал поста, не испытывал мирских соблазнов; и его не тянуло в город, как других. Монах, работавший вместе ним, чернобородый Герасим, лентяй и женолюбец, как назвал его однажды игумен, говорил Мартыну, густо вздыхая:

– Невинный ты человек, Мартын. В спячке живешь, как медведь. – Но был не прав: Мартын, несомненно, носил в себе бессознательную силу глубокой веры. В общении с людьми он был добр и прост, как ребенок; и однажды, когда в монастыре поймали Тишку-вора – жулика, развратника, бродягу и негодяя, кравшего у Мартына деньги, – Расколинос, узнав, что Тишку велено бить до смерти, – хоть дело и происходило в монастыре, – пошел к игумену и умолял его отпустить несчастного и даже ссылался на евангельские тексты. Тишку все-таки избили до бесчувствия. Расколинос долго смотрел на неподвижное тело Тишки, на его изменившееся, залитое кровью лицо – и вдруг почув-

ствовал себя необыкновенно одиноким, словно оставленным ночью в лесу, вдалеке от всех.

Поздней зимой тысяча девятьсот семнадцатого года по глухим улицам, мимо черных, нищих домов солдаты красной гвардии гнали плетками мобилизованных монахов, среди которых находился и Мартын. Монахи шли с непривычной для них быстротой, сопровождаемые свистками озорных мальчишек и смехом городских мещанок, прятавших озябшие руки под теплыми платками. Их привели на окраину города, разместили в казарме, кишащей крысами, и поставили караул. Ночью Расколинос вышел на улицу, не замеченный задремавшим часовым, выбрался за город и шагал по полю до тех пор, пока не дошел до небольшой деревушки, где прожил, скрываясь, некоторое время. Потом он поехал к своим родственникам, жившим в Полтавской губернии, – и там опять был мобилизован, на этот раз приказом одного из генералов, командовавших противоправительственными войсками. Так Мартын попал в белую армию; но он не хотел воевать, не брал в руки винтовки, и в тяжелой батарее, куда он был назначен, ухитрился заняться столярным ремеслом: делал солдатам сундучки. Целый день он работал над визжащими досками, поднимая изредка маленькие глаза и гнусаво распевая псалмы, а вечером читал Библию, крестился и прижимал ко лбу громадные, изувеченные работой пальцы. Тонкие брови Расколиноса поднимались, доходя почти до редких волос надо лбом. – Святый Боже, – говорил он, – святый крепкий, Господи, помилуй, Пресвятая Богородица.

Так Расколинос жил до тех пор, пока не началось последнее отступление белой армии. Тысячи лошадей, солдат и повозок, топча мерзлую, звонкую землю, быстро двигались к югу, и в ледяном воздухе далеко была видна и слышна эта сплошная масса, состоявшая из вздрагивающих лошадиных кож, синих и красных от холода человеческих лиц и тревожно дребезжавших железных ободьев колес. Мартын отступал вместе с другими.

В день эвакуации южных армий из Крыма он стоял на пристани в длинной очереди людей, ожидавших парохода. На деревянном помосте пристани происходила давка, людей сталкивали в воду, плакали женщины; кто-то вслух рассуждал: – Ведь из России, господа, уезжаем... – Сначала на пароход попади, потом уезжать будешь, – отвечали ему из толпы. – Блаженны есте, егда поносят вас, – вдруг твердо сказал Расколинос. Люди, уставшие от ожидания, повернули к нему головы. Он перекрестился и запел, сам не зная почему, молитву Ефрема Сирина. Он продолжал петь молитвы и кланяться до той минуты, пока, стоя уже на пароходе, не увидел огненный туман горящего города. И только когда пароход неслышно сдвинулся с места и вышел в море и сверкающие фосфорические линии скользнули за его кормой, Расколинос всхлипнул, опустился на узелок со своими вещами и тотчас заснул, глубоко вздыхая.

За границей он попал в Сербию и жил там довольно долго – до тех пор, пока его не уговорили поехать во Францию. Он приехал в Париж и потерялся – в маленьких улицах окраины, где он поселился: в фабричных мастерских, в шуме и грохоте; и только через полгода работы, сшив себе синий костюм и купив рубах, воротничков и галстуков, он решился, наконец, выйти в город. Он появился на avenue d'Orleans; рассматривал витрины магазинов белья, рыбные лавки, выставляющие чудовищных омаров, и лотки уличных торговцев, продающих самый разнообразный товар. И однажды вечером он случайно попал в самое большое кафе Монпарнаса.

Париж жил, как всегда, блистая и светясь красными рекламами, остановившимися в холодном небе; танцевали огоньки папирос, отражаясь в стеклах кафе; за вращающимися дверьми, вдоль столиков, стульев и диванов красного дерева медленно плясали, как шарики, подбрасываемые фонтанами, звуки оркестров, игравших лирические фокстроты; и свет белых квадратных ламп печально лился на лысины; множество женщин с нарисованными лицами

и смешанным выражением напряженности и презрения в глазах проносили мимо мужчин свои груди, свои меха; они, казалось, собирали в себе, они сгущали те мутные облака заблудившихся чувств, которые стелились по полу, как слишком тяжелые газы. Стучал мертвым, коротким звуком блестящий цинк длинной стойки, перед которой стояли высокие табуретки; и пьяная англичанка с удивленными бровями засыпала на плече чьего-то смокинга, видавшего виды и неоднократно залитого жиром; и светлая пыль электричества наполняла обессиленный воздух, в котором вились синие струи папиросного дыма, похожие на синие реки, плывущие по карте Европы. И под этими неверными электрическими облаками, сквозь запах духов и радугу жидкостей, я увидел монаха Расколиноса. В синем костюме и мягкой шляпе, с губами, сжатыми с той особенной, церковной кокетливостью, с которой сжимают губы святые на иконах, он медленно продвигался в толпе; за ним шла проснувшаяся англичанка, которую сопровождал худощавый субъект в котелке, беспрестанно улыбавшийся. Они исчезли, мелькнув в стеклянной двери, и сквозь окно было видно, как шляпа монаха медленно покачивалась в воздухе, не двигаясь ни вперед, ни назад, точно монах стоял на палубе громадного парохода, под которым глухо плачет и плещется ночная океанская зыбь.

Антон Васильевич Привлекательный – его повсюду преследовало женское прозвище Анюта – был одним из тех талантливых бездельников, родиной которых всегда оставалась Россия. Он умел делать решительно все: танцевать, гладить, стряпать, петь, читать вслух, даже вышивать, даже писать стихи. Все давалось ему с необычайной легкостью; ничему не учившись, он многое знал и помнил. Он был красив, весел и щедр, был изобретателен и насмешлив – и хорошо знал себе цену; и прекрасно понимал, что жить как следует ему не позволяют два недостатка: лень и сладострастие. В этом он был неисправим.

Он переменил множество профессий и мест, но нигде подолгу не задерживался. Служа в большой парижской

прачечной, он соблазнил хозяйку, скупую и дерзкую француженку; она забросила свои дела и углубилась с Анютой в монмартрские рестораны – и через четыре месяца осталась без денег, без прачечной и без Анюты, который неожиданно и совершенно бесследно исчез. После долгих поисков она нашла его в небольшом кафе, куда он нанялся играть вечерами на пианино. Француженка, сразу обмякшая и опустившаяся после потери всего своего состояния, долго плакала под Анютину игру; и так как Анюта по контракту имел право требовать в кафе какие угодно напитки, то он спаивал ее и напивался сам почти ежедневно; и к концу вечера его пианино издавало такие странные звуки, что даже гарсон останавливался с подносом в руках, дивясь их необыкновенности. Анюта вынужден был уйти из кафе – и вел потом призрачное существование, меняя гостиницы и женщин и ухитряясь еще числиться в Сорбонне, играть в карты, танцевать и быть всегда прекрасно одетым.

В то время, когда Мартын Расколинос, которого Анюта хорошо знал, потому что служил с ним в одной батарее, – когда Расколинос появился в Париже, Анюта уже стал постоянным посетителем таверны Великого Тюренна и неизменным спутником Андрэ и Маргариты, двух сестер, живших в удобной квартире недалеко от площади Республики. Обстоятельства сложились так, что Анюта сначала поселился в ближайшей гостинице, потом остался как-то ночевать у Андрэ, а затем и вовсе к ней переехал. В квартире двух сестер был попугай, кричавший «Pas vrai!»[1], громадный кот с голодными глазами и крохотный граммофон, чрезвычайно, однако, резкий и хриплый.

Странная судьба Мартына Расколиноса была совершенно безразлична Андрэ, из-за которой монах явился впервые к Анюте Привлекательному. Андрэ была певицей и выступала в антрактах на сценах кинематографа; она вообще не представляла себе, как можно жить вне той обстановки дебютов, авансов и жадности в

[1] «Неправда!» (*фр.*)

любви и деньгах, к которой она привыкла; и Мартын был ей чужд, как обитатель другой планеты. Ее разум не предвидел возможности существования таких людей. Она не была способна, или, во всяком случае, не была подготовлена, к пониманию вещей, превосходивших своей сложностью и странностью обычные явления того быта, который она видела и знанием которого была очень горда. Четырнадцатилетней девочкой она приехала в Париж, прослужила три года у одного старого коммерсанта в качестве горничной, потом нанялась в дрянной кабачок на улице Калэ, где научилась петь, и, постепенно выдвигаясь, дошла до того положения, которое занимала тогда, когда произошла ее встреча сначала с Анютой, потом с Расколиносом. В это время она уже была лишена какой бы то ни было сентиментальности и заботилась только о том, чтобы не простудить горло и заработать как можно больше денег. Ей бескорыстно помог Анюта, устроивший, Бог знает какими путями, концерт Андрэ в очень богатом частном доме. Андрэ стала его любовницей; только этим она могла отблагодарить Анюту, и это тоже было предусмотрено негласными законами парижской среды актрис, певиц и танцовщиц, к которой Андрэ принадлежала душой и телом. Ее сестра, Маргарита, нежная и чувствительная девочка, служила в большом бюро; к флирту Андрэ с Анютой она относилась покровительственно, так как ей чужда была зависть. Они жили втроем в одной квартире, вместе дразнили попугая, каждый вечер ходили в таверну Великого Тюренна и танцевали под гармонику Росиньоля, погибшего музыканта.

То, что Расколинос, всегда чуждавшийся людей, не знавший и боявшийся женщин и глубоко враждебный по духу шумной и суетливой жизни больших городов, попал сначала в монпарнасское кафе, а потом в кинематограф, было началом целого ряда неожиданных и странных событий. Это было первой вспышкой душевного недуга Расколиноса; и впоследствии монаха уже не оставляло посто-

янное и смутное беспокойство, столь хорошо знакомое неудачникам, игрокам и людям, раскаивающимся в своих действиях и жалеющим, что все произошло не так, как они того хотели бы.

Когда Мартын вошел в кинематограф и, сев на указанное ему место, погрузился в живую темноту зала и услышал, как заиграл оркестр, ему сразу стало не по себе. Но вот на экране появились скачущие ковбои, потом бледное женское лицо увеличилось до необыкновенных размеров и придвинулось к стеклу окна, а по стеклу струились капли дождя, и нищий под окном играл на скрипке; и в дверь богато убранной комнаты вошел молодой человек в смокинге. Бывший монах вдруг ужаснулся существованию этих людей. А внизу все играл оркестр, и Мартын все время вздыхал, захлебываясь этой рекой звуков, этим раздражающим блистанием экрана. Монах изредка еще вспоминал, что ему надо бы встать и уйти, но не мог этого сделать – и просидел до антракта. Когда после долгих звонков, шарканья ногами и хлопанья стульев лампы в зале снова потухли, монах увидел на полотне согнутую фигуру старика с длинными волосами, который скрывался в левом углу большого серого квадрата, сворачивая куда-то в сторону, и тотчас появлялся, с другого края. Потом он исчез; его заменил юноша с движениями лунатика. На лице юноши были страшные, черные глаза; он быстро шагал по гладкой дороге, и зубчатые стены фантастического города двигались ему навстречу. Его высокая фигура шла прямо на зрителей; зал застывал в напряженном молчании; и дама, сидевшая позади монаха, вдруг тяжело ахнула и закрыла глаза. Ропот и глухая, довольная речь зашумели в кинематографе. Расколинос приподнялся и перекрестился.

С этого дня жизнь Расколиноса ощутительно изменилась. Каждый вечер, жертвуя часами своего сна, заработанными деньгами и боязнью передвижений в метрополитене, он ездил то в один, то в другой кинематограф.

Однажды он смотрел веселую американскую фильму на бульваре Барбес. После того как фильма кончилась,

синие прожекторы осветили эстраду, и на ней появилась девушка в сверкающем платье. Глаза ее блестели, тело сгибалось и разгибалось, струились медленные блестки ее юбки; и далекий голос, чужой и нежный, пел под приглушенную музыку скрипок и рояля. Необыкновенное, необъяснимое исступление вдруг овладело Расколиносом; и соседи с удивлением смотрели на пожилого человека с морщинистым лбом и маленькими глазами, беспорядочно фыркающего и смеющегося.

Он понимал, что эта французская певица для него всегда останется недостижимой; и в то же время чувствовал, что без нее он жить не может. Все, что до сих пор казалось ему неизбежным и необходимым, как воздух и вода, все его прежние мысли, привычки и желания – все это вдруг потеряло свое значение. И когда это отошло от него, он ощутил тревожное одиночество, совершенно подобное тому, которое испытал много лет назад, когда стоял на коленях перед бесчувственным телом Тишки и глядел в его обезображенное лицо. Целая сложная сеть бессознательных правил жизни, ясных и несомненных для Мартына, вдруг точно сгнила и рассыпалась; и, лишившись ее, Расколинос стал беспомощен и бессилен. И в этой тревожной пустоте заклубился мутный бред, которого Расколинос никогда не знал. Мартын чувствовал себя, как тяжелобольной: больной лежит в кровати и в жару, с трудом дыша, слышит непонятный, глухой гул – и гул несет его с собой; и в его беспощадном движении только изредка мелькают знакомые куски воспоминаний – журавль над колодцем, желтый лес, река, и заводь, и туманное поле над головой. Расколинос жил теперь, постоянно преследуемый этим гулом, который изредка прекращался, но только для того, чтобы сейчас же возобновиться с прежней силой; он был так же неотступен, как страшный, старый доктор на экране, уходивший с полотна и появлявшийся через секунду с другой стороны. Каждую неделю Расколинос переезжал вслед за певицей в другой кине-

матограф – до тех пор, пока она не исчезла совсем и он не мог ее найти. Он пробродил по городу несколько часов подряд, ища ее портрет на афишах, потом, усталый и убитый, вернулся домой и лег на кровать, отогнув со слезами на глазах простыню, чтоб не запачкалась; и среди шума, немедленно его наполнившего, послышались впервые человеческие, жалобные всхлипывания.

Когда Расколинос обратился к своим бывшим сослуживцам, работавшим вместе с ним на фабрике, и попросил их указать ему какого-нибудь русского, хорошо знающего французский язык, они дали ему последний адрес Анюты. Расколинос на следующее же утро отправился туда.

Анюта принял его в пижаме, с папиросой во рту. На кровати, с которой он только что поднялся, лежал еще кто-то, закрывшись с головой одеялом. Монах, конечно, не мог бы подумать, что в постели Анюты спала Андрэ – хотя это было именно так. Расколинос увидел белую женскую ногу с обточенными, лакированными ногтями – и отвел глаза. Он объяснил Анюте, что хочет как-нибудь, хоть одним глазом, повидать французскую певичку, которую слышал в нескольких кинематографах. Он сказал – певичку, – потому что не знал другого слова, и поперхнулся от волнения.

Лицо его покраснело, глаза смотрели в пол. Когда Расколинос назвал Анюте фамилию Андрэ, – он произнес ее почти правильно, сказав только «Жали» вместо «Joli», – Анюта засмеялся, закашлялся и едва не проговорил: вот она, в кровати лежит, – но удержался. – Устроим это дело, отец, – сказал он, рассматривая линии на своей руке: на тумбочке лежала книга о хиромантии, которую он читал, – не бойся. Приходи завтра.

Расколинос пришел в девять часов утра. Анюта в столовой пил шоколад. Напротив него сидела Андрэ; рядом с ним – Маргарита, внимательно читавшая длинный роман «Страница любви» и хотевшая размешать шоколад ложечкой, не отрываясь от книги: она попадала вместо стакана то в пепельницу, то в сахарницу и очень сердилась; и поэ-

тому ей показалось, что герой романа вдруг начал говорить глупости, чего на предыдущих страницах не делал. Расколинос увидел Андрэ и в первую секунду просто не понял этого. Потом он почувствовал, что как будто бы кусочек льда быстро прокатился в нем от горла к животу – и от этого Расколинос не мог сказать ни слова.

– Садись, старик, будем шоколад пить, – приветливо сказал Анюта. – Ton admirateur[1], – обратился он к Андрэ. Бешеные глаза ее устремились на Мартына. На нем был синий костюм с узкими брюками, высокий крахмальный воротничок с круглыми краями и галстук, прикрепленный раз навсегда завязанным узлом к металлической, невидимой пряжке, купленной им у разносчика. потому что она показалась монаху чудесно простой и удобной; сам он галстука завязывать не умел. – Qu'est ce que c'est que ce type la?[2] – сказал далекий голос Андрэ, и кусочек льда опять прокатился в груди Расколиноса. Анюта пожал плечами и сказал: – C'est un saint[3], – как будто бы знакомство со святым вовсе не представлялось удивительным. Сейчас же после этого обе сестры поднялись из-за стола и ушли, кивнув на прощанье Расколиносу. Расколинос остался с Анютой.

– Вот что, отец, – начал Анюта, – дело твое непростое. – Расколинос вздохнул. – Я тебе все могу устроить, но не сразу. Посмотри на себя, монах! – вдруг закричал Анюта. – С суконным рылом в калашный ряд лезешь! Ну кто же, – продолжал он мягче, видя, что Расколинос испугался, – ну кто тебя, старик, в таком виде полюбить может? Тебе костюм нужен, тебе, старик, деньги нужны. Все, небось, на фабрике работаешь?

– Оставил временно, – ответил Расколинос.

– Ну, вот. Чем ее кормить будешь? Чулки покупать?

– Работать стану.

– Гроши, отец, заработаешь. Нет, я тебе другое придумал. Я тебе, старик, счастье сделаю. Ты только меня послушай. Где живешь, Мартын? – В Манруже, – с трудом сказал Расколинос.

---

[1] – Твой обожатель (*фр.*).

[2] – Что это еще за тип? (*фр.*)

[3] – Это святой (*фр.*).

– Переедешь через три дня в эту квартиру. Сошью тебе костюм, одену, обую. На автомобиле будешь ездить. Горничную найму. Бриться каждый день будешь. Ешь, пей сколько хочешь.

– Я в толк не возьму, Антон Васильевич. За что вы меня так держать станете?

– За святость твою, Мартын, – взволнованно сказал Анюта. – Устроим бюро, старик, – шептал он. – Бюро по религиозным советам. Люди к тебе будут приходить разные. Будут тебя спрашивать: что, Мартын, делать? Почему, Мартын, жизнь такая тяжелая? А ты объясни. Я тебе все скажу. Переводчиком буду. Заработаешь денег, старик, на певичке женишься. А то пропадешь на фабрике, от тоски по ней подохнешь. Ну, что, Мартын, согласен?

– Я согласный, – не своим голосом сказал Расколинос.

Все, что говорил Анюта, казалось Расколиносу совершенно непонятным. Он не представлял себе, какие религиозные советы он может давать, как все это будет происходить и почему он должен заработать много денег. Уйдя от Анюты, он не переставал об этом думать. Но каждый раз, когда он был готов отказаться от Анютиной затеи, прийти назад и сказать: нет, Антон Васильевич, я не могу, – он вспоминал Андрэ и, не останавливаясь, шел дальше. Он был так поглощен своими мыслями, что забыл о необходимости садиться в метрополитен и шагал по незнакомым ему улицам довольно долго, – и приехал домой позже, чем следовало.

Но в то же время уверенный тон Анюты, слова – на певичке женишься – действовали на него успокаивающе. И на следующий день все показалось Расколиносу гораздо более простым, чем накануне. Его только удивлял способ обогащения, придуманный Анютой; но возможность жениться на Андрэ казалась ему естественной. Расколинос за всю свою жизнь не знал ни одной женщины.

Через неделю у ворот дома, в который переселился Мартын Расколинос, появилась черная доска с золотой надписью: Bureau de confessions et consultations religieuses M-r Martin[1]. В газетах Анюта печатал публикации под заголовком: Pourquoi souffrir?[2] Французский поэт, приятель Анюты, написал в распространенном вечернем листке глупую статью «Визит к святому», состоящую из коротких строчек и вопросительно-неуверенных фраз: «Может быть, святой, может быть, грешный... Может быть, он, может быть, мы... Может быть, рай, может быть, ад...» Посетители и посетительницы не замедлили явиться. Их встречал Анюта: на нем были двубортный черный пиджак и широчайшие штаны. Он вводил их в большую комнату, где в глубоком кресле неподвижно сидел Расколинос. Святой отвечал на вопросы, закрывая глаза и задумываясь, но каждый раз то, о чем его спрашивали клиенты, казалось ему ясным и понятным. Он говорил, что надо прощать долги, любить, неверных жен и помогать своим врагам. И его глубокая уверенность в том учении, от которого так давно отказались люди, невольно вызывала почтительное уважение у посетителей, мстительных, мелочных французов, скупцов и тружеников; и столь же удивительной казалась она тем, кто, прослышав о русском святом, приезжал из любопытства повидать его – дамам в дорогих платьях, мужчинам в смокингах, невежественным и самоуверенным журналистам и просто светским бездельникам.

Анюта не ошибался, предсказывая Расколиносу богатство. На религиозные советы святого Мартына приходило все больше народу. Теперь на прием к нему нужно было записываться за две недели. Наблюдая множество разнообразных людей, проходивших через его руки, Анюта заметил, что все они по-детски боятся таинственного. Толстые адвокаты и нотариусы, худощавые сыщики,

---

[1] Бюро исповедований и религиозных консультаций г-на Мартэна (*фр.*).

[2] Зачем страдать? (*фр.*)

студенты, врачи, аптекари и другие, попроще – рабочие и торговки, – все одинаково вздрагивали, когда святой вдруг поднимал на них глаза и отрывисто говорил несколько слов на непонятном им языке. Сам Анюта постепенно проникался уважением к Расколиносу. Дела Анюты и Мартына шли прекрасно, и Расколинос уже думал, что недалеко то время, когда он женится на Андрэ. Она приходила к святому каждый день, глаза ее смягчались, и она, зная, что святой ни слова не понимает по-французски говорила с улыбкой:

– Il est quand même dégoûtant[1].

И Анюта переводил:

– Она, старик, говорит, что успела тебя полюбить.

Но уже приближались дни тех событий, которые положили конец всем надеждам Расколиноса, – самых страшных событий в его жизни.

Однажды Расколинос проснулся в совершенно ином состоянии, нежели то, которое у него обычно бывало по утрам. Во сне он видел свою страну, монастырь, окруженный лесом, серебряных рыб в дрожащих сетях и старческие, добрые, как ему казалось, лица угодников. Один из них сказал:

– Оглянись, Мартын!

Он оглянулся – и увидел речку, по которой плыли белые облака. – Вот оно что! – сказал сам себе Мартын – и обрадовался. И, не успев увидеть ничего другого, проснулся.

Он встал, умылся, оделся, потом вдруг похолодел, вспомнив о религиозных советах, о нечестивой жизни, которую ведет, об Анюте Привлекательном и об Андрэ. – Оглянись, Мартын! – Не об этом ли угодник сказал? Ему казалось, что он все слышит эти слова; но теперь голос произносил их сурово:

– Оглянись, Мартын!

---

[1] – Все-таки он противный (*фр.*).

И Мартын понял сразу все, что мучило его столько времени. – Замолить надо, – сказал он себе. – Уйти. Взять посох, – слово «посох» напомнило ему священные книги, которые он читал, от священных книг вспоминание перешло на монастырь; и когда он вспомнил монастырь, он невольно сравнил свою прежнюю жизнь с теперешней – и ему опять стало невыразимо тяжело. – Уйду, – сказал он вслух. – Подожди, Мартын, уходить, – вдруг донесся до него голос Анюты, – прием начинается.

Мартын опустил голову и вышел вместе с Анютой из комнаты. Зацепившись пуговицей пиджака за портьеру, он неожиданно для себя решил, что уйдет сегодня ночью; и, приняв это решение, он успокоился.

На этот раз посетительницей святого была француженка лет двадцати восьми, в шубе полосатого желтого меха, с небольшим зонтиком, похожим на тросточку, с гладким пробором на голове. – Современная дама, Мартын, – сказал вполголоса Анюта, – интересно, что она тебе будет петь.

– Понтий Пилат спросил Христа, – быстро заговорила посетительница: – что есть истина? И Христос ничего не ответил.

– Из Евангелия говорит, – перевел Анюта.

– А что? – поглядев на посетительницу, спросил святой.

Анюта передал ее слова.

– Значит, – продолжала она, – все, что написано в Новом Завете, неправильно. Если Христос сам не знал, что такое истина, то как он мог нас учить?

Анюта переводил.

– Как так не знал? – сказал Мартын. – Христос-то знал, это ты не знаешь.

– А почему же он не сказал?

– А не сказал потому, – Расколинос вздохнул, – что ты все равно не поймешь. Не можешь ты понять, – мягко сказал он. – Это он понимал, а человек не может понять. Он только должен песни петь и молиться.

– Что ты, старик? – возразил по-русски Анюта. – Песни петь? Этак все французские мидинетки в рай попадут, а уж о прачках и говорить не приходится.

– Ты молчи, Антон Васильевич, – сурово ответил святой.— Ты не имеешь отношения к Богу. Ты только переводи.

– Что же ей переводить?

– Переводи: когда апостол Павел приехал в Россию и жил в Киеве... и был вроде помощника губернатора, то вот губернатор приказал казнить двух преступников. Одного, который восемь человек зарезал, а другого невинного. Пришли к апостолу, говорят: скажи губернатору, чтоб он невинного не казнил. Апостол пошел и вышел от губернатора и сказал: ну, говорит, одного не казнят. Потом вывели преступников. И невинного казнили, а виновного выпустили. Стали тогда у апостола спрашивать, почему невинного он приказал казнить. Он отвечает: так мне Бог сказал. То, что для вас правда и истина, то для него, может, и не правда, и не истина. И никогда, говорит, не судите Бога, потому что все, как он хочет, делается. Скажи, ей, Антон Васильевич: пусть идет и песни поет и, главное, чтоб ни о чем не думала.

И Расколинос неизвестно почему всхлипнул, поцеловал руку француженки и с посиневшим, измученным лицом откинулся на спинку кресла.

Когда после обеденного перерыва Анюта вошел в квартиру святого, он не нашел никого. Анюта очень удивился. Он заглянул в спальню Мартына, в ванную, в переднюю – святого не было. Вдруг он заметил на столе записку. Он развернул ее: «Не ищите меня, Антон Васильевич, – писал Расколинос, – я ушел молиться за мои грехи. Не серчай, Антон Васильевич, прости меня Христа ради». И внизу было приписано кривыми буквами: «Я и за Андрэ молиться буду». И еще строчкой ниже: «И за вас, Антон Васильевич».

– Ну, за меня, это он из вежливости, – сказал себе Анюта. – Но где же все-таки его черт носит?

А Мартын шагал в это время по улицам и с веселой простотой смотрел по сторонам. Все ему казалось хорошим и приятным, и ласковый голос говорил:

– Оглянись теперь, Мартын.

И он оглядывался и видел, что нечестивая жизнь оставалась позади. Он испытывал глубокое душевное удов-

летворение, и когда, замечтавшись, чуть не попал под трамвай и вагоновожатый сердито закричал на него, он улыбнулся ему в ответ и сказал:

– Ну, не сердись, Христос с тобой.

И пошел дальше, все улыбаясь.

А через два дня, голодный и усталый, он сидел на скамейке в одном из маленьких городков, прилегающих к Парижу, и думал, что надо бы, пожалуй, опять поступить на фабрику. Знакомый голос вдруг сказал над ним:

– Нехорошее ты дело задумал, Мартын.

Расколинос поднял голову и увидел Анюту. Смертельная тоска овладела монахом.

– Нехорошо, Мартын, – повторил Анюта. – Что от меня ты ушел, это Бог с тобой. А Андрэ ведь третьи сутки в слезах бьется. Где, говорит, святой? Неужели меня оставил? Значит, не очень я ему нужна была, не очень, значит, любил. И плачет. Зачем, Мартын, девушку обижаешь? Ребенка да девушку обидеть – самый тяжелый грех.

И забыв обо всем, Мартын представил себе заплаканное лицо Андрэ, ее влажные глаза с синими ресницами, услыхал ее голос и чудесные слова на непонятном языке, которые она ему говорила. – Оглянись, Мартын, – слабо, издалека донеслось до него. Но он поднялся и сказал Анюте:

– Прости меня, Антон.

И зашагал рядом с ним. Анюта усадил его в автомобиль, они вернулись в квартиру святого, плачущая Андрэ бросилась ему на шею – он очень побледнел и не мог говорить от волнения, – и на следующий день все пошло, как прежде.

Как-то вечером святой, оставшись один, решил пойти в кинематограф. Программы он не выбирал. Он пришел до начала, сел на свое место и, глядя в пол, долго думал о женитьбе на Андрэ. Однако все его размышления исчезали, как только он представлял себе ее: тогда его мысль переставала работать, и монах чувствовал, что в нем поднимаются такие смутные чувства, такая внутренняя жажда, что он принужден был делать большие усилия, пытаясь вернуть себя к действительности: тогда

он смутно видел ряды стульев, и не освещенный еще экран, и скрипача, вытиравшего носовым платком смычок. В одну из таких минут он заметил, что двумя или тремя рядами ближе к оркестру сидит Анюта, которого он узнал по затылку, а рядом с Анютой какая-то девушка в новой волнистой шубе белого меха и широкополой шляпе. Монах поглядел на Анюту и его соседку и сердито отвернулся. Скоро внимание его было поглощено картиной, и только незадолго до развязки он опять посмотрел в сторону Анюты. Анюта повернулся боком на стуле, лицом к соседке; она сделала то же самое. Расколинос не мог увидеть ее лица, потому что громадная голова рабочего в кепке заслоняла собой голову женщины. Но за секунду до антракта Анюта вдруг быстро прильнул ртом к губам соседки. Когда электричество осветило зал, Андрэ – соседкой Анюты была Андрэ, которую святой сначала не узнал из-за новой шубы и новой шляпы, – оттолкнула Анюту. Он улыбнулся, пригладил волосы, посмотрел вокруг себя, потом обернулся назад – и увидел безумные глаза святого.

Он так испугался, что застонал – и его гибкий, прекрасный голос стал странно похож на овечье блеяние. Святой вскочил с места и бросился к выходу. Шел дождь, блестели тротуары. Монах побежал к себе домой.

Два часа святой Мартын провел в беспамятстве. Это не было обморочным состоянием, но монах просто не ощущал себя, точно он отсутствовал в той комнате, где сидел сорокалетний человек в черном костюме и лакированных туфлях, беспрестанно тянувший один и тот же звук «а». Иногда в темноте, стоявшей перед глазами этого человека, появлялось как будто что-то знакомое; но это что-то было таким ужасным, что человек отгонял его бессознательным усилием воли и начинал громче произносить свое «а».

Потом святой начал приходить в себя. Ему казалось, что он с удивлением возвращается из бесконечно далекого путешествия, которое только что происходило и которое он быстро забывал. Он увидел стол, за которым сидел, потом

узор обоев – женщину с корзиной винограда на голове, – потом почувствовал свои плечи, руки и ноги. Он еще раз посмотрел на женщину – где-то он ее как будто раньше видел – и вспомнил все, что произошло. Он встал и, не закрыв за собой двери, не потушив света, вышел. Попугай вслед ему кричал: «Pas vrai!»

Святой Мартын вошел в таверну Великого Тюренна. Он не слышал, что Росиньоль перестал играть, и не обратил внимания на необыкновенную тишину. Он подошел к Анюте и остановился; он забыл, что хотел сказать, – но тотчас вспомнил.

– Антон, – сказал святой Мартын и почувствовал слабость в ногах. – Конец, Антон.

Анюта ничего не спросил у монаха. И только когда фигура святого скрылась за закрывшейся дверью, он взял за талию Маргариту и пошел танцевать. Он грустил и задумывался.

Мартын вернулся домой. Он вошел в квартиру и опустился в то самое кресло, в котором сидел обычно, принимая посетителей. Потом он вдруг поднялся и побежал к двери, но на пороге остановился и, постояв немного, вернулся и опять сел. Проснувшийся попугай опять закричал: «Pas vrai!» Святой дико на него посмотрел, не понимая.

Попугай жил своей непонятной птичьей жизнью, летая во сне и подпрыгивая на жердочке. Он не понимал ничего в тех событиях, которые происходили у людей, – он даже не знал, что принадлежит этим людям. Но подобно тому, как он чувствовал себя тревожно перед грозой, – он испытывал стеснение и беспокойство всякий раз, когда обычная жизнь, его окружавшая, вдруг менялась, становясь то более светлой, то более темной. Тогда он чаще кричал «Pas vrai!» – точно отрицая возможность плохих новостей или слишком больших радостей, как пернатый мудрец, который давно и хорошо знает, что нет ничего значительного на земле и что и радости, и печали одинаково ничтожны перед его трехсотлетним бессмертием.

Громадный кот вышел из-за портьеры и тяжело и бесшумно прошел по комнате. Святой, сам того не замечая, внимательно следил за всеми его движениями. Желтый глаз попугая тревожно мелькнул в клетке. Пригнувшись к полу и поводя хвостом, кот медленно подползал к той стене, где висела клетка с птицей. Приблизившись к ней, он лег на пол и лежал, не шевелясь, несколько минут. У святого захватило дыхание. И вдруг черная тень кота взвилась в воздухе; в ту же секунду раздалось хлопанье крыльев, крик и урчание: кот сидел на клетке и бил лапой по прутьям, стараясь достать попугая. Святой быстро подошел к стене и сдернул кота за хвост; кот огрызнулся и укусил его. Маленькие глаза святого покраснели от необычного для них гнева. Святой бросился за котом схватил его руками за спину – кот успел до крови искусать ему пальцы, – прижал кота к полу и наступил ногой на его голову. Кот очень громко завизжал: этот крик был так пронзителен и страшен, что попугай, успевший было успокоиться, тоже закричал в тон коту, точно подражая ему. Тело кота металось из стороны в сторону, и длинные выпущенные когти его лап царапали ковер. Святой Мартын с застывшей на лице гримасой ужаса и отвращения, которой не соответствовало неподвижное выражение его остановившихся глаз, продолжал давить ногой кота; и даже тогда, когда кот перестал уже шевелиться, он все стоял над ним в той же позе, вдруг глубоко задумавшись. Затем он перевел дыхание, медленно поднял свою ногу и, рассеянно взглянув на черно-красное пятно с растопыренными и внезапно похудевшими лапами, на которых отчетливо были видны сухожилия, вновь направился к своему креслу. И, уже сидя в кресле, святой увидел что тело кота шевельнулось. Святой нахмурился, стараясь вспомнить и понять все, что только что произошло. Через минуту он снова посмотрел на кота и заметил слабое движение лапы, – как будто кот спал и видел что-то во сне, и, сам того не чувствуя, шевелился. – Кончается, – сказал голос святого, и святой смутно понял, что какой-то другой человек, о присутствии которого он забыл, говорит за него. И притихший попугай, услыхав знакомые звуки, бойко крикнул: «Pas vrai!»

Теперь было ясно, что кот еще жив. Лапы его дрожали и поднимались, спина шевелилась; и вот он поднялся и вслепую сделал несколько шагов по комнате, свесив до полу раздавленную, окровавленную голову. И в ту же секунду стукнула дверь, и Анюта Привлекательный остановился на пороге. Он сразу увидел и лужицу крови на ковре, и кота, в котором сверхъестественная живучесть еще сохранила подобие существования, и исцарапанные руки Мартына. Маленькие глаза святого смотрели на Анюту – и была в них такая тоска, что Анюта почувствовал, как слезы обожгли ему ресницы. Бедный святой! Взгляд Анюты остановился на черном пиджаке монаха: левое плечо пиджака несколько морщилось на худом теле. «Зачем ему теперь пиджак?» – неожиданно подумал Анюта. – Зачем пиджак теперь? – спросил он вслух.

Мартын тихо сказал:

– Уйди, Антон.

И опустил голову; и когда он поднял ее, Анюты не было в комнате. У ножки кресла лежал кот, хлопая закрывающимся, умирающим глазом.

В поле святой лег на рельсы. Он долго ждал поезда, распростершись на холодном гравии: от прикосновения железной рельсы к затылку у него начала болеть голова. Неожиданный сон клонил его. В тяжелом тумане, ничего не сознавая, он открыл глаза через полчаса после того, как заснул, и увидел прямо над собой – ему так показалось – белый фонарь на черном паровозе. Он завертелся, как змея, и соскользнул с рельс, вытягивая голову в сторону насыпи. Его сильно ударило в руку. Машинист, затормозив так, что весь состав вагонов завизжал и заскрипел, остановил поезд. Святого подняли и поставили на ноги, костюм его был измят и испачкан, левая рука сильно исцарапана. Кисти правой руки не было: ее отрезало колесом паровоза.

ГАВАЙСКИЕ ГИТАРЫ

Я ночевал в чужом доме, куда попал после случайной встречи со знакомыми, которые уговорили меня остаться у них, так как было очень поздно и холодно. Я остался и спал на глубоком сыром диване и чувствовал себя во сне беспокойно и неловко, потому что на этом диване обычно сидели гости и никто не лежал – и потому он был неуютный; кроме того, я не ощущал обычного тепла своей постели, в которую привык возвращаться, как в неподвижное бытие, – там мне никто не мешал и ничье постороннее присутствие не задевало меня. Я лег очень поздно, и, если бы это было дома, я бы не проснулся раньше двенадцати часов дня, обычного времени моего вставания; здесь же я открыл глаза, когда было совсем рано, я видел сквозь уголок окна, не вполне закрытого занавеской, что на дворе еще стояли коробки с мусором, – следовательно, было меньше семи часов. Веки мои были тяжелыми, у меня болела голова; в большой комнате было холодно, и все вокруг казалось мне погруженным в глубокий сон, – как бывало всегда, когда я сам почему-либо не высыпался и бессознательно завидовал другим, которые могут спать: это было чисто физическое томление, заставлявшее меня чувствовать тяжесть сна всюду, где останавливался мой взгляд, – даже на домах и на деревьях. Я повернулся на своем диване, внутри которого при этом тихо щелкнула пружина, и решил заснуть во что бы то ни стало – и начал постепенно засыпать и путаться в мыслях; я уже находил какую-то несомненную зависимость между щелкнувшей пружиной и вчерашним разговором – как вдруг комната наполнилась протяжными, вибрирующими звуками, соединение которых мгновенно залило мое воображение. Я не мог проснуться и открыть глаз; но я ясно слышал эти звуки и следил за их плачущим мотивом. – Снится мне это

или нет? – спрашивал я себя. – Наверное, нет, потому что такую музыку я никогда бы не мог придумать. – Я долго слышал ее, вероятно, дольше, чем она продолжалась; но она становилась все тише и тише и стала смешиваться с каким-то другим шумом. И я перестал ее слышать.

В доме встали поздно; и, когда я рассказал, что утром где-то неподалеку играли необыкновенную мелодию, мне ответили, что я, должно быть, ошибаюсь: ничего такого быть не могло. Но я твердо знал, что это неправда и что мелодия, звучавшая утром, не могла не существовать; или, думал я, даже если она не существует, то она все равно скоро появится, так как она уже живет в моей памяти. И я ушел от знакомых, и это утро, и музыка, и неуютный диван перестали быть моим впечатлением, и когда и думал и вспоминал обо всем этом, я рассказывал сам себе о чувстве неловкости прерванного сна и неизвестной мелодии, но для того, чтобы это было правдоподобным и интересным, мне приходилось обманывать себя и придумывать такие вещи, которых тогда не происходило, но которые сами по себе казались мне поэтическими и потому могли только обогатить мое воспоминание и, вместе с тем, лишить его внешней самостоятельности и неожиданности, всегда неприятных для моего сознания. Это медленное искажение воспоминания было невольным; и уже через несколько дней я прибавил к этой музыке фламинго, будто бы проходившего по комнате, и красный закат над незнакомым городом – которых я тогда не видел, которые, впрочем, может быть, были очень близки этим звукам и лишь не успели дойти до моего внимания именно в тот момент. Но вот уже и это перестало доставлять мне прежнее удовольствие; и как я ни силился вспомнить мотив, который слышал, это было невозможно. В одном я только был уверен – именно в том, что если я его где-нибудь услышу, то непременно узнаю. И я забыл это.

В то время сестра моя была тяжело больна и никакой надежды на ее выздоровление не оставалось. Случилось так, что ее муж уехал за границу на две недели, а я остался ухаживать за ней. Обыкновенно я сидел недалеко от ее кровати и рассказывал ей все, что мне приходило

в голову. Она не отвечала мне, потому что ей было очень трудно говорить и одна сказанная фраза необычайно утомляла ее – как меня не утомили бы много часов изнурительной физической работы. Только глаза ее приобрели необыкновенную выразительность, и мне было страшно и стыдно в них смотреть, так как я видел, что она понимала, что умрет, и знала, что я это понимал; и это выражалось в ее глазах с такой ясностью, которая не позволяла мне прямо взглянуть на нее. В течение целого дня она не произносила ни слова; иногда мне удавалось заставить ее улыбнуться, но улыбка производила еще более тягостное впечатление, чем всепонимающие глаза; сестра, казалось, уже находилась в том состоянии, когда человеку незачем улыбаться, и если он это делает, то только по памяти, так как к тому, что предшествует памяти, он уже нечувствителен и неспособен. Только однажды, глядя на то, как я с засученными до плеч рукавами мыл стакан в умывальнике, она подозвала меня глазами и сказала мне что-то чуть слышно. Я не разобрал ее слов; и, как ни жестоко с моей стороны было просить ее повторить сказанное – потому что капли пота уже выступили на ее лбу от сделанного усилия, – я все же проговорил:

– Извини, Оля, я не расслышал.

Слезы сразу же появились на ее глазах.

– Я говорю, – прошептала она, – какие у тебя толстые руки.

И влажные ее ресницы опустились. Тогда я мельком, чтобы она не заметила, посмотрел на ее обнаженные руки, лежавшие поверх одеяла и нечеловечески исхудавшие; она сравнила их с моими, и от такого сравнения ее мысль, временно отвлекшаяся от смерти, сразу с непривычной силой и быстротой вернулась к ней – и потому она заплакала.

– Через неделю ты переедешь в санаторию, – сказал я, – и ты увидишь, что тебе сразу станет легче.

Она несколько раз открыла и закрыла глаза, подтверждая мои слова – может быть, из бессознательной жалости к себе, может быть, не желая не соглашаться со мной и заставлять меня опять говорить ей мучительные

и лживые утешения. Потом она снова взглянула на меня своими страшными глазами, но я твердо сказал: – Да, да, ты в этом очень скоро убедишься. – И стал говорить о другом.

Врач, приходивший к ней, осмотрел ее и сказал, выйдя за дверь:

– Вопрос нескольких дней, monsieur, вопрос нескольких дней.

И когда он спускался по лестнице, мне казалось, что он идет с некоторой гордостью, потому что тоже принимает на себя часть ответственности за скорую смерть моей сестры.

Затем муж ее, Володя, вернулся из-за границы, и я стал бывать реже, раз в два или три дня, и не оставался подолгу, так как всем было неловко и тяжело и всякое присутствие лишнего человека было неприятно.

Потом, однажды утром, я получил письмо от Володи, в котором он просил меня помочь ему перевезти сестру в санаторию. Я пришел вечером, но на стук мне не ответили; и тогда я просто открыл дверь и вошел в комнату. Шурина не было дома. Сестра, которой дали, по-видимому, сильное усыпляющее средство, спала и ничего не слышала.

Она лежала на кровати в обычной своей позе, вытянув руки вдоль тела; нижняя челюсть ее беспомощно отвисала, как у мертвой; она была уже неспособна к тому мускульному напряжению, которое удерживает челюсть на месте. Она тяжело дышала; но грудь ее не поднималась, и только пустая чашка, оставшаяся на одеяле, опускалась и двигалась; она находилась на той части одеяла, которая покрывала живот, – и ложка, съезжавшая на сторону, тихонько дребезжала. Яркая лампочка освещала комнату. Я снял с одеяла чашку и поставил ее на стол и еще раз взглянул на сестру. Уже не впервые, когда я смотрел на спящих людей, я испытывал испуг и сожаление; то загадочное состояние, в котором человек живет, как ослепший и потерявший память, и во время мучительного сна силится проснуться, не может и стонет оттого, что ему тяжело, – это состояние на секунду возбуждало во

мне страх, и иногда я боялся засыпать, так как не был уверен, что проснусь. Но вид заснувшей сестры, уже почти мертвой, был особенно ужасен. Я посмотрел на ее вытянувшееся лицо и черные волосы, неподвижно лежавшие на подушке, – и почему-то вспомнил, как давным-давно, лет десять тому назад, я ходил гулять с моей сестрой, которая тогда только что вышла замуж, как мы ели в кондитерской пирожные и она испуганно останавливала меня:

– Не ешь так много, пожалуйста, это просто страшно. Ты знаешь, что достаточно еще несколько пирожных – и у тебя сделается заворот кишок, и ты публично умрешь и окончательно меня скомпрометируешь.

Затем мы шли с ней в парк, и когда она уставала, я пытался нести ее на руках, но долго не мог и предлагал:

– Ты садись мне на плечи, а то на руках очень трудно.

Я пробыл в ее комнате два часа; за это время она не пошевельнулась, я не хотел ее будить; а шурина все не было. Через день утром я должен был прийти помочь Володе уложить вещи, отнести сестру в автомобиль и ехать с ней в санаторию.

Я явился в десять часов утра; было холодно и туманно. За день до этого я купил себе новые туфли; но у меня было всего восемьдесят два франка, а туфли должны были стоить полтораста. И я поэтому купил себе пару туфель из fin de série[1] и заплатил за них семьдесят девять франков. Они были не очень красивы и, кроме того, малы мне; но других я купить не мог и был принужден носить эти. Это было очень мучительно. Пока я шел, можно было терпеть; но достаточно мне было присесть на несколько минут, чтобы потом, вставая, почувствовать такую боль, от которой мой лоб покрывался потом. Зато мне не было холодно на улице; я так мерз до покупки этих туфель, потому что у меня было только легкое пальто, – теперь же мне было больно, но не холодно. Иногда я останавливался на улице и стоял на одной ноге, давая другой отдохнуть; потом, через несколько шагов, становился на другую ногу – и затем продолжал путь.

[1] последних в партии (*фр.*).

Я поднялся по лестнице, мечтая о том, как я, наконец, сяду и перестану испытывать постоянную боль. Горничная с важным лицом спросила меня:

– Вы в какой номер, monsieur?

– В двенадцатый.

– Madame ждет вас.

Опять на мой стук никто не ответил; и я заметил, что дверь была только прикрыта. Из щели шел сильный запах quelques fleurs[1]. Я вошел. Зеркало большого шкафа было затянуто зеленым клетчатым пледом сестры; на столе в узкой синей вазе стояли какие-то белые цветы. Так как кровать была несколько в стороне, то я не сразу увидел ее. – Почему завешено зеркало? – подумал я. И раньше, чем успел себе ответить, почувствовал, что моя сестра умерла. Тогда я взглянул на кровать. Она была покрыта белой прозрачной материей, подымавшейся горбом в том месте, где стояла свеча, вложенная в руки сестры. На сестре были парчовые туфли, белые чулки и белое платье, сшитое таким образом, что большая складка шла по диагонали от левого плеча к талии и кончалась там, где была пряжка пояса, перламутровая пряжка, на которой проползала змейка, изображенная таким неестественным образом, как обычно, – то есть представляющая из себя три черных, почти одинаковых зигзага, кончающихся раскрытой пастью с высунутым жалом. Запах духов был так силен, что в комнате становилось трудно дышать. Я вышел в коридор и столкнулся с дряхлым стариком в черном пальто; он стоял, держась за перила, и так тяжело дышал, что я боялся, как бы с ним не случился разрыв сердца. Серые его глаза с яростным бессилием смотрели на меня; он хотел что-то сказать, но у него не хватало сил. Наконец он проговорил, задыхаясь и останавливаясь:

– Je suis envoyé par le commissariat du quartier. C'est pour l'acte de décès[2].

---

[1] каких-то цветов (*фр.*).

[2] – Я послан из комиссариата для составления акта о смерти (*фр.*). – *Пер. автора.*

Он вошел в комнату и неохотно и бережно снял свой котелок. Он отдернул затем белую материю, покрывавшую труп моей сестры, и хотел взять ее пальцы, но заметил свечу и не сделал этого; он приподнял локоть руки, подержал его в воздухе и бросил; локоть безжизненно упал, и свечка в руках сестры склонилась на сторону.

– Oui, elle est bien morte, – сказал старик. Потом он обратился ко мне: – C'est vous le mari de cette femme?[1]

De cette femme? Я в эту минуту особенно сильно почувствовал, что я живу в чужой стране и чужом городе. Конечно, моя сестра была для этого старика только «cette femme» и «bien morte». Я покраснел от стыда и гнева, и мне захотелось сказать старику, что очень скоро он тоже будет так же мертв, как моя сестра. Я не удержался и ответил:

– Vous êtes trop vieux vous-même, monsieur. Pourquoi parler vous de cette façon?[2]

И тотчас же я подумал, что напрасно сказал это и что смешно требовать от полицейского врача деликатности – как нельзя требовать образованности от горничной или добродетельности от проститутки.

Но старик понял меня.

– Oui, je suis tres vieux. Je mourrai aussi, jeune homme, ne vous en faites pas. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le mari de cette femme?

– Non, je suis son frère.

– Bon. Donnez-moi des renseignements[3].

Он записал то, что ему было нужно, и ушел, держа свой котелок в руках. Через несколько минут после его ухода приехал Володя; он плакал, не переставая, и сказал, что похороны будут завтра в девять часов утра.

---

[1] – Да, она, несомненно, мертва... – Вы муж этой женщины? (*фр.*) – *Пер. автора.*

[2] – Вы сами слишком стары. Почему вы так говорите? (*фр.*) – *Пер. автора.*

[3] – Да, я очень стар. Я тоже умру, молодой человек, не беспокойтесь. Но кто вы такой? Вы не муж этой женщины?

– Нет, я ее брат.

– Хорошо. Сообщите мне необходимые сведения (*фр.*). – *Пер. автора.*

Я никогда не забуду этого бесконечного путешествия по Парижу вслед за быстро едущим катафалком. Ноги у меня болели в то утро, как никогда, я шел, и отставал, и потом опять догонял процессию. Люди, которых я раньше не знал, шли за гробом сестры; многие из них даже не были знакомы друг с другом. Моего шурина вела под руку какая-то дама лет тридцати, принимавшая, казалось, самое близкое участие в его горе; он шел, потупив голову, и изредка взглядывал на свою спутницу благодарными глазами, из которых текли слезы. То, что он плакал все время, несколько удивляло меня; он знал уже год тому назад совершенно точно, что его жена умрет, а последние месяцы и недели видел ее уже почти умершей. Но на него, вероятно, как и на многих других людей, действовала обстановка, в которой это происходило, – похороны и отпевание сестры в церкви, где деловитый священник сказал обстоятельно, что панихида с хором будет стоить столько-то, а если без хора, то дешевле; но он рекомендует с хором, что, по его мнению, лучше. Все покупали свечи; потом служка, плотный человек с красным лицом, удивительно напомнивший мне одну старую пьяницу-кухарку, которую я знал в России, – служка спешно забрал обратно едва сгоревшие на четверть свечи и успел еще пройти между присутствующими на панихиде с какой-то тарелкой, куда собирал деньги; и все в церкви было организовано точно и безупречно с коммерческой точки зрения. Я не был в православном храме много лет и поэтому стал уже забывать, какой он; теперь же меня неприятно поразила тупая самоуверенность всех этих священников, дьяконов и других, своих в церкви, людей. У них, может быть, незаметно для них самих, был такой вид, точно они знают что-то важное, чего не знают непосвященные; и это вызвало у меня чувство неловкости. Они же все делали очень уверенно: распоряжались о том, куда поставить гроб, и священник, только что говоривший обыкновенным голосом о цене отпевания, внезапно и без всякой паузы перешел к тому странному и неестественному тону, каким читаются в церкви молитвы И я видел, что большинство присут-

ствующих ощущают робость перед этим толстым мужчиной в длинной и смешной одежде, который один знает, что делать, и правильно понимает все происходящее. Я всегда во время богослужения испытывал отвращение и скуку; и потому скоро вышел из церкви и ждал на улице, пока кончится отпевание. Было очень сыро и туманно.

Потом начались проводы гроба. Раньше, когда я встречал в Париже похоронные процессии, мне казалось, что они двигались медленно; в течение первых же минут после выезда катафалка из улицы, на которой находилась церковь, я убедился, что это ошибка. Все шли очень быстро. Священник, сопровождавший тело моей сестры на кладбище, чтобы там, над могилой, читать еще какие-то молитвы, потребовал автомобиль: его «духовная одежда», как он сказал, привлекает внимание французов. Ему наняли автомобиль; но, на его несчастье, вместе с ним села одна любознательная француженка, знакомая сестры, которая стала его расспрашивать, что он думает о разнице между православной и католической церковью. Он же не говорил по-французски; и она вылезла из автомобиля с растерянным видом и сказала мне:

– Но он сумасшедший, ваш поп. Он машет на меня рукой и ничего не говорит. Он или сумасшедший, или дикарь.

Я так плохо себя чувствовал, мне было так больно – ботинки неумолимо жали мне ноги, – что я просто не мог ей ничего объяснить и ограничился тем, что ответил:

– Да, да, это очень возможно.

Второй раз за короткое сравнительно время мне опять пришла в голову мысль о том, как давно и безнадежно я живу за границей. Похороны в России были совсем другими; там были заросшие кладбища, тихие улицы окраин, крестьяне, снимавшие шапки; и похоронная процессия медленно двигалась в тишине и важности. Здесь же дорогу ежеминутно пересекали автомобили, трамваи, автобусы; сквозь туман доносился непрерывный грохот; кругом возвышались большие дома, и все было так не похоже на Россию, что я вдруг вспомнил это и удивился – хотя много лет жил в Париже, знал его лучше,

чем какой-либо другой город, и никогда не находил в его облике ничего неожиданного или нового.

Наконец началось предместье, фабричное поселение с трубами и однообразными зданиями заводов; на улицах стали встречаться плохо одетые люди в кепках, рубахах без воротников и ночных туфлях; иногда попадались неряшливые женщины с жидкими космами волос на затылке, с большими красными и лиловыми от холода руками; мостовая стала ухабистее – и я сразу же это заметил, так как мне сделалось больнее идти. Еще через десять минут катафалк въехал на кладбище. Земля была глиняная и мокрая, могилы чересчур маленькие, узкие и плохо вырытые; из стен могилы высовывались длинные корни деревьев, которые цеплялись за гроб, когда его на очень растрепанных веревках опускали вниз. Рабочие говорили друг другу:

– Doucement, mon vieux, doucement! Là![1]

Вдруг стало очень тихо. Густой туман медленно двигался над кладбищем; на маленьких деревянных крестах пестрели все те же надписи: «родился тогда-то, умер тогда-то», – и нужно было небольшое напряжение внимания, чтобы узнать, наконец, кто похоронен здесь: старик или младенец. Все, кто провожал тело моей сестры, молча стояли вокруг могилы; ноги их глубоко уходили в мягкую и вязкую глину. Рабочие, кончив опускать гроб, тоже остановились. Мне очень запомнились эта неподвижная группа людей и глиняные стены ямы с выступающими длинными корнями, которые вдруг показались мне жуткими и незнакомыми, как флора неизвестной страны, – потому что, думал я, теперь все, чем жила моя сестра, она оставила для того, чтобы быть зарытой тут и окруженной этими корнями, которые здесь так же нужны и естественны, как стволы и листья наверху, на земле, где она жила до сих пор и где мы еще жили сегодня.

Как медленно двигался туман! Я бы не удивился, если бы в ту минуту я бы увидел, что все исчезает и скрывается с глаз – так, как пропадает незаметно для моего

[1] – Полегче, старик, полегче! Вот так! (*фр.*) – *Пер. автора.*

внимания какой-нибудь образ моей памяти, когда я начинаю думать о другом. Это ощущение было бы, наверное, еще более сильным, если бы непрекращающаяся боль от узких ботинок не возвращала поминутно мою мысль все к одному и тому же вопросу: когда у меня будет возможность сесть? Я надеялся, что это случится скоро; но я совсем забыл о священнике, который, приподняв одной рукой свою длинную рясу, подошел к могиле и начал служить панихиду – и один из могильщиков тихо спросил другого:

– Qu'est ce qu'il chante, ce type-là?

– C'est un pope probablement[1], – ответил другой.

И они замолчали.

Могилу засыпали, положили на нее цветы; и тут же оказался увядший белый букет, стоявший на столе в комнате сестры, – кто-то, по-видимому, захватил его с собой. Дама, сопровождавшая моего шурина, воткнула в землю толстый пучок мимоз, напоминавших те неизвестные, некрасиво расцветающие растения, которые попадались у нас в России среди бурьяна и диких трав. Едва мы отошли на десять шагов, могила стала не видна из-за тумана.

Когда мы подходили к воротам кладбища, дама пригласила шурина и меня к себе в гости. – Его нельзя оставлять одного, – шепотом сказала она мне по-французски; и мы поехали к ней. Горничная с красноватым лицом и неимоверно маленькими глазами сняла с нас пальто, и мы сели – я в кресло, Володя и дама на диване, и она стала его утешать. Речь ее походила на ровный шум без каких бы то ни было изменений, и внимание невольно отвлекалось в сторону, – и только изредка я замечал, что она говорит довольно странные вещи о необходимости немедленного забвения, которое нужно для того, чтобы впоследствии воспоминание ничем не омрачалось; в обычное время эта явная несообразность, наверное, удивила бы моего шурина; но он едва слышал, что ему говорили, и только раскачивал все время голову вправо и влево, под-

[1] – Что он поет, этот тип?
– Это, наверное, поп (*фр.*). – *Пер. автора.*

перев руками свое опухшее и изменившееся лицо. Лишь один раз он быстро забормотал:

– Что вы говорите, что вы говорите?

Но потом опять опустил голову и больше ничего не произнес.

Тем временем стемнело. От долгого сидения у меня почти прошла боль, и тогда я увидел, что в комнате совсем темно и прохладно. Но вот в столовой загорелся свет.

– Вам необходимо подкрепиться, – сказала дама; и мы поднялись и пошли обедать. Дама пропустила Володю вперед и сказала мне опять потихоньку:

– Надо, чтобы он выпил шампанского и забылся. Ему станет легче.

– Шампанского? – подумал я. – Что за абсурд?

И ответил:

– Мне это не кажется необходимым. Но если вы находите, что так лучше...

– Да, да, – прошептала она. – Я знаю по опыту.

Я пожал плечами; ее поведение становилось все менее и менее понятным. Но спорить с ней мне не хотелось.

Мы сидели, молчали; и дама все время наполняла бокал Володи, который пил и, по-видимому, не вполне сознавал, что он делает. Вскоре он захмелел: он начал улыбаться сквозь слезы и даже сказал:

– Какая вы милая. Спасибо.

– Пейте, пейте, – шептала она, кивая головой. – Надо пить, вам станет легче.

Розовые ее ногти, покрытые густым слоем лака, блестели при свете лампы, когда она брала бутылку и наливала вино. Ее глаза, очень черные, стали оживленными; было похоже на то, что вся эта странная обстановка доставляла ей какое-то редкое и запрещенное удовольствие.

Я почти не пил вина; но мясо, которое подала все та же горничная, было очень пряное, с непривычным для меня, но не неприятным привкусом; блюдо, приготовленное из сладковато-кислых овощей и обильно посыпанное перцем, тоже было необыкновенное. Потом принесли громадные груши, которые дама ела медленно, но с таким

видимым наслаждением, что мне показалось, будто я уловил в ее глазах выражение спокойного сладострастия. После груш был кофе; пустые бутылки тотчас же заменялись другими. Потом стукнула дверь; горничная ушла спать, и мы остались втроем. Я испытывал необычное стеснение, мне становилось то холодно, то жарко; и у меня было такое чувство, точно мы остались одни в этой квартире, чтобы совершить какую-то нехорошую вещь. Я проглотил слюну и вспомнил, что совершенно так же чувствовал себя, когда впервые остался наедине с женщиной.

Мой шурин сидел, тяжело опустив голову на стол; он не мог больше пить. Тогда дама поднялась, подошла ко мне, и зрачки ее быстро приблизились к моим, – хотя я ясно видел, что она не придвигалась, а стояла неподвижно, опершись руками на стол, слегка шевеля своими пальцами со сверкающими ногтями, – и так и застыла; и воздух, отделявший ее от меня, стал ощутимым и нежным; и вот тело ее, в обтянутом шелковом платье, начало медленно качаться передо мной. – Неужели я пьян? – подумал я. Мне понадобилось все напряжение воли, чтобы сидеть на своем месте. Особенно трудно мне было удержать невольное движение рук; и тогда я сильно сжал пальцами край стола. Ее брови поднялись, и, когда она совсем раскрыла глаза, я увидел в них то же выражение, которое заметил во время обеда, за грушами; только теперь оно было в тысячу раз сильнее. Я чувствовал, что необходимо заговорить, иначе я перестану владеть собой. Я сказал:

– Вы пьяны, это совершенно несомненно.

– Я тоже пьян, – вдруг проговорил мой шурин, поднимая голову.

Она отошла и села на свое место. Руки мои вновь стали послушными и пальцы гибкими; я даже побарабанил по столу. Потом я обратился к шурину и сказал, что, по-моему, пора идти домой; и я взглянул на свои часы – было половина второго. – Придется брать автомобиль, – подумал я, – метрополитен уже не ходит.

– Подождите, – сказала дама. – Вам ведь некуда торопиться. Перейдемте в гостиную.

Я опять опустился в кресло. Справа от меня стоял небольшой шкаф с книгами; верхняя его часть была затянута тонкой, но непрозрачной зеленой материей. В шкафу этом были книги Бодлера, Гюисманса, Эдгара По, Гофмана и том петербургских рассказов Гоголя в роскошном издании. Затем я отдернул зеленый полог и взглянул на верхнюю полку. На ней стояло двадцать или тридцать фигурок из слоновой кости, неприличных, но очень хорошо сделанных. Мое внимание, однако, было привлечено не этим. В самом углу полки, закрытые крохотной ширмой, лежали три статуэтки из черного дерева. Одна изображала лежащую на спине женщину, другая – обнимающихся людей и третья – дракона. Статуэтки были сделаны из очень черного и блестящего дерева. Лежащая женщина с тяжелыми, каменными глазами, казалось, плыла на спине; вино ударило мне в голову, когда я посмотрел на нее, и я сразу представил себе, что она спит, и плывет, и видит во сне черные берега с неподвижными деревьями и дремлющими чудовищами, – и потом ее сон переходит к видениям жестокой и мрачной любви. И я перевел глаза на дракона. Разные части человеческих тел, мужских и женских, переплетались на его груди; черные гладкие руки девушки, которая была под ним, охватывали его спину. Деревянный хвост дракона оканчивался змеиными головами. Рядом с ним были обнимающиеся любовники; их тела были так соединены, что оставались видны только спины, ноги и головы; и колени женщины были повернуты вправо и влево тем бесконечно знакомым движением, которое сделала бы всякая женщина, – и меня поразила необычайная верность этого положения, – голова же ее с тяжелыми волосами была сильно откинута назад. Но лицо мужчины было рассеянным и враждебным – как на известном рисунке Леонардо, которого, впрочем, японский скульптор, может быть, не знал.

Была поздняя ночь, и давно никакой шум не доносился с улицы; я все сидел в кресле и уже успел совершенно привыкнуть к этой квартире и обстановке, в которую попал впервые; и я думал, что я давно уже все это знаю – не то по чьим-то чужим воспоминаниям, не то

потому, что подобные образы и вещи я видел, быть может, когда-нибудь во сне, а наутро забыл. И вот, когда я перестал об этом думать и только изредка останавливал взгляд то на рассеянном лице мужчины, то на каменных глазах плывущей женщины, – дама быстро встала с дивана, на котором лежал мой шурин, и, пройдя мимо меня, выдвинула на середину комнаты граммофон.

– Вы оба молчите, – сказала она, – и в комнате стоит неприятная тишина. Мы сейчас устроим музыку.

– Это прекрасная мысль, – сказал я и закрыл глаза; и женщина на спине проплыла передо мной. Я даже забыл, что дама заводит граммофон, как вдруг при первых же звуках музыки я узнал тот мотив, который слышал несколько недель тому назад, ночуя у знакомых. Опять это плачущее волнение металлического трепета в воздухе охватило меня; и я вспомнил, как один из моих друзей, художник, человек необычайного таланта, говорил мне, осуждая чью-то картину:

– То, что мы видим, это воображение, а воображение – это музыка и звуки, – хотя это и кажется невероятным. Вот я представляю себе Иова: он сидит в глубине времен, сдирает черепком свои струпья и протяжно вздыхает. И разве искусство не должно быть наивно? Помните, как Бог говорит о могуществе своего гнева и о том, что его боится даже носорог, который силен и неуязвим? Помните, как он определяет неуязвимость носорога? Он говорит: «Свисту дротика он смеется». Нет, все это не так просто. Когда я читаю Библию, я чувствую и слышу и военные крики, и плач женщин, которых Бог наказал бесплодием, и говор войск, и шаги Давида по песку. Но бывают, конечно, и минуты безмолвия. Вот посмотрите на это.

И он показал мне картину, нарисованную тремя карандашами – красным, черным и коричневым. Она изображала сражение. Я увидел египтян с сухими смуглыми лицами, и коричневую кожу еврейских воинов, и красную кровь, которая ровной и широкой струей лилась из груди человека, заколотого копьем. Вдали, у стены крепости, нарисованной простыми детскими линиями, – зубчатой крепости с круглыми дырками в стенах, – невероятно

исхудавшая женщина ела жирную кость, погрузив в нее свое острое и тонкое лицо.

Я вспомнил это, слушая музыку; и я даже не обратил внимания на то, что граммофон скрипит и шуршит. Когда пластинка кончилась, я спросил даму:

– Что это такое?

– Это гавайские гитары, – сказала она.

Гавайские гитары! Потом, спустя несколько лет, я забыл и перепутал многое, что происходило в ту пору моей жизни. Но зато эти колебания воздуха теперь заключены для меня в прозрачную коробку, непостижимым образом сделанную из нескольких событий, которые начались той ночью, когда я впервые услышал гавайские гитары, не зная, что это такое, и кончились днем похорон моей сестры. Я не раз вспоминал это: яма, туман, странное мясо за обедом, шампанское, статуэтки из черного дерева – и еще постоянная ноющая боль в ногах от слишком узких туфель, которые потом я отдал починять сапожнику и так их и оставил у него: отчасти потому, что мне действительно было нечем заплатить ему, отчасти потому, что их, пожалуй, не стоило брать.

1930

ВОДЯНАЯ ТЮРЬМА

Quand nous sommes seuls longtemps,
Nous peuplons le vide de fantômes.
Maupassant[1]

В гостинице, находящейся неподалеку от «Одеона», куда я вернулся, прожив год на другом конце Парижа, ничего не изменилось за время моего отсутствия. По-прежнему гремел граммофон в комнате студента-грека, по-прежнему другой мой сосед, молодой человек из Вены, был тих и пьян, как в прошлом году, по-прежнему хозяин гостиницы играл в ближайшем кафе, поспешно тасуя карты и ежедневно проигрывая то небольшое количество денег, которое ему давала жена. Хозяйка пополнела и постарела, – но продолжала оставаться такой же нервной и чувствительной женщиной – и, как раньше, все свои досуги посвящала тому, что обсуждала возможные неприятности со стороны жильцов, которых постоянно опасалась. Больше всего она боялась, что вдруг какой-нибудь из ее жильцов не заплатит ей за комнату. И хотя этого никогда не бывало и все платили аккуратно, – а если бы даже кто-нибудь не заплатил, она не разорилась бы, так как была состоятельной женщиной, – это ее совершенно не успокаивало. Ее неизменная тревога была ей чрезвычайно дорога, потому что поддерживала в ней подобие душевной напряженности и давала ей нужную энергию для того, чтобы устроить все самым лучшим образом и рядом различных и всесторонне обдуманных мер постараться оградить себя от такого ужасного случая, когда какая-нибудь из комнат вдруг оказалась бы вовремя не оплаченной. Это стремление стало ее манией; она думала только об этом,

[1] Когда мы долгое время пребываем в одиночестве, мы населяем пространство призраками. *Мопассан* (*фр.*).

волновалась, вздыхала и все обсуждала подобные факты из практики ее знакомых, тоже владельцев и владелиц гостиниц и меблированных комнат. Без этого своеобразного душевного сладострастия жизнь ее, наверное, потеряла бы всякий смысл.

– Послушай, Жан, – говорила она мужу, – я решила внимательнее следить за семнадцатым номером. С ним что-то случилось, он такой странный последнее время. Обрати на него внимание.

Но хозяин, который, будучи крайне азартным игроком, был ко всему остальному глубоко равнодушен, так как карты поглощали его целиком и владели его воображением настолько, что даже за обедом или за ужином он думал только об игре, и если суп был невкусен, это тотчас же ему напоминало неудачную игру в пиках, которую он вел вчера, и наоборот, при виде удачного рагу в его памяти вставала прекрасная партия бубен, скомбинированная им в субботу прошлой недели, – хозяин всегда относился к замечаниям жены с недоверием, независимо от того, были ли они в самом деле правильны или неправильны. Он отвечал хозяйке ее же словами, только переставив их и придав им смысл постоянного упрека, – и никогда не задумывался перед ответом.

Он говорил: – Номер семнадцатый странный? Я не нахожу. Это ты странная, моя дорогая... – Он отвечал механически, и это стало для него столь же привычно и необходимо, как отодвигание стула, когда вставали из-за стола, или разворачивание салфетки. Он однажды даже сказал хозяйке на ее реплику о том, что номер семнадцатый опять вернулся в четыре часа утра:

– Номер семнадцатый? Это ты вернулась в четыре часа утра, – хотя хозяйка никуда обычно не выходила и не ложилась спать позже одиннадцати. Сердито всхлипывая, она заговорила о том, что если отель еще цел, то этим все обязаны ей, – и неутомимый хозяин опять ответил: – Это ты всем обязана, моя дорогая, – и ушел играть в карты. Единственным человеком, сочувствующим хозяйке в ее воображаемых несчастьях, был маленький старичок, приходивший к ней в гости и отличавшийся громовым голо-

сом, совершенно не соответствовавшим его росту; но слова этого человека не имели веса, потому что никаких собственных убеждений у него не было, был только неисчерпаемый запас энтузиазма и красноречия, – но без малейшего оттенка индивидуальности. Ни одна мысль не могла ему прийти в голову, если не была внушена кем-нибудь другим; и процесс мышления был ему совершенно недоступен. Он не мог бы сделать самого простого рассуждения, требующего хоть какого-нибудь умственного усилия; но взамен этого он обладал способностью тотчас же воспламеняться, как только кто-нибудь в его присутствии высказывал какое-либо суждение. Он поддерживал это суждение и говорил своим громовым голосом:

– Но, Боже мой, ведь это сама истина! Но, madame, ведь вы совершенно правы! Кому же можно доверять? Нет, madame, я вижу, что все, что вы говорите, это истина, истина и истина.

– Ах, если бы все так меня понимали, как вы, – говорила хозяйка.

Когда старичок уходил, его провожал муж хозяйки и, шагая рядом с ним, шептал ему на ухо:

– Вы не обращайте внимания на Луизу; она нервная, и потом, должен вам сказать правду, она с каждым днем глупеет. Ничего не поделаешь, это возраст.

И голос старичка тотчас же грохотал: – Но, мой дорогой Жан, вы совершенно правы, я всегда это знал. Я с вами согласен. Да, я с вами согласен: она женщина нервная. И потом, в ее возрасте, как вы очень хорошо сказали...

На углу старичок прощался с хозяином и заходил в кафе выпить красного вина; и владелец кафе, тоже его старый знакомый, спрашивал его: – Ты опять был у них? О, старик, у тебя большое терпение. Как ты можешь разговаривать с этими идиотами? Ведь и Луиза, и он – это идиоты. – Никто в этом не сомневается, – кричал старичок, – и если бы я стал с тобой спорить, я был бы не прав.

Он носил в петличке ленточку Почетного легиона, – которую получил за плодовитость: у него было четырнадцать человек детей, – и его уважали за эту ленточку; она казалась символом неведомой, но бесспорной благодати,

покоившейся на нем, – и если бы кто-нибудь из его знакомых сказал, что старичок просто глуп, над ним стали бы смеяться. Он был всегда аккуратно одет, носил только черные костюмы; лицо у него было красное и сморщенное; но глаза его были большие и красивые. Они были способны принимать два выражения: первое – необыкновенной живости, появлявшееся всякий раз, когда он говорил, и второе, вовсе неожиданное, – человеческой и старческой печали, непонятно как постигающей этого болтуна. Казалось, что природа создала эти глаза печальными, но ее творческой силы не хватило, чтобы поднять до понимания печали кавалера ордена Почетного легиона. Старичок никогда не знал, что в его глазах есть и укор, и напоминание о смерти, и глубокая жалость к собственному ничтожеству; и если бы он понимал это, он мог бы быть в своей жизни Дон-Жуаном и властителем сердец. Но такая мысль не могла прийти ему в голову.

В первый вечер после моего приезда я открыл окно, чтобы посмотреть, живет ли по-прежнему напротив, этажом выше меня, старый нищий со стриженой головой. Я знал, что в одиннадцать часов вечера тусклая лампочка загорится в его маленькой конуре, и тень неправильного черепа на потолке будет сновать и вздрагивать до четырех часов утра. Выглянув в окно, я убедился, что все в порядке; эту многолетнюю привычку нищего ничто не могло бы изменить, и, если бы в один прекрасный день я увидел, что свет в его комнате не зажжен, я бы знал, что он умер или умирает. Нельзя было понять, что он делает долгие часы подряд, – то ли читает, то ли работает; но он был так ужасающе беден и так слаб, что предположение о работе отпадало само собой. Несколько раз днем я видел его на улице и всегда следил за ним с болезненным любопытством и сожалением. Он все время дрожал, плохо держался на ногах и был одет в ужасные нечеловеческие лохмотья. Старая морская фуражка прикрывала его голову; он надвигал ее на лоб, и глаза его были не видны. Он был очень старый и такой жалкий, что вид его заставлял оборачиваться всех решительно, даже торговок, женщин тупых и бессердечных; и только один раз молодой грек, торговец бананами,

коренастый мужчина с темными глазами и узким лбом, сказал ему вслед: – Таких, как он, надо бы топить. – За нищего вступилась проходившая толстая дама в модных чулках с черной пяткой. Она радостно улыбнулась и проговорила: – Подожди, в старости ты будешь таким же, – и, внезапно рассердившись, прибавила: – Только тебя следовало бы утопить сейчас же, не ожидая старости. – Грека, впрочем, это нисколько не тронуло. А старик, пошатываясь и дрожа, шагал в грошовый ресторан: он купил себе тарелку жареной картошки, немного зеленовато-серого сыра, похожего на мыло, и кусок хлеба; и потом, жуя на ходу, возвращался к себе на пятый этаж; и пока он поднимался по лестнице до своей комнаты, проходило около четверти часа.

Вечером внизу начинались многочисленные визиты к мадам Матильде, которой принадлежал небольшой публичный дом; на его стеклянных матовых дверях и окнах были нарисованы красивые лебеди и цветы. Посетители вели себя в меру весело, сохраняя корректность; и только однажды пьяный матрос, неизвестно как очутившийся у двери с лебедями, ломился туда и кричал: – Je veux la patronne![1] – и два молодых человека с меланхолическими физиономиями быстро и бесшумно выводили его. Но он не унимался; он опять начинал кричать, и, когда дверь отворялась и один из молодых людей спрашивал его: – Что вы желаете, m-r? – внезапный прилив вежливости овладевал матросом, и он отвечал: – Я хотел бы несколько минут частного разговора с директрисой вашего учреждения. – Но потом вновь желание этой недосягаемой женщины пробуждалось в нем с прежней силой, и он опять жалобно кричал: – Je veux la patronne Je veux la patronne! – и наконец, на пороге показалась сама мадам Матильда: крупные слезы стояли в ее глазах, у лица она держала надушенный платок. Она была бледна, решительна и грустна. И она говорила матросу влажным голосом: мой дорогой малютка, поймите, что это невозможно; и музыкальные, легкие облака двух громадных граммо-

[1] – Я хочу хозяйку! (*фр.*)

фонов, игравших в салоне, проплывали сквозь прекрасное тело мадам Матильды и стелились в воздухе, окружая матроса; печальному исступлению его не было границ; и когда дверь закрылась перед ним в последний раз, он слабо крикнул, уже ни на что не надеясь: – Je veux la patronne! – и пошел прочь, покачиваясь и скрываясь в ночной темноте, в которую заглядывали, как в колодец, свешиваясь сверху, со столбов, четырехугольные фонари с зеленовато-белым пламенем.

Вернувшись в свою гостиницу, я опять начал вести такую же жизнь, как год тому назад: по-прежнему я ничего не делал и не знал, что будет со мной завтра; карманы мои были пусты, в ушах все звенели, не переставая, давно слышанные мною в разных местах музыкальные волны далекого моря. Ложась в кровать, я представлял себе качающийся гамак, чудом повисший над заливом, серо-синюю поверхность Босфора, прекрасные виллы, выступающие прямо из воды, белые проплывающие, как сквозь сон, паруса, и птиц, и волнистые зеркала течений; и это сложное очарование вдруг ослабляло меня, и тело мое становилось мягким и усталым, точно я провел ночь с женщиной. И, силясь не закрывать глаз, я видел, как оживали и начинали существовать все предметы, наполнявшие мою комнату, – как неведомый свет бежал по зеркалу шкафа, как раздувались страницы книг на столе, как плыл в темноте мраморный корабль умывальника и из-за овальной решетки его, помещавшейся между кранами с горячей и холодной водой, мелькало белое лицо водяного пленника, которого я оставил здесь год тому назад и которого по-прежнему нашел в его водяной тюрьме, когда вернулся. И даже днем, взглянув случайно на это овальное окошко, напоминавшее иллюминатор с решеткой, я видел, как мне казалось, что маленькая фигурка хватается пальцами за прутья решетки и умоляюще смотрит на меня.

Я чувствовал всегда, что та жизнь, которую я вел в этой гостинице и которая состояла в необходимости есть, одеваться, читать, ходить и разговаривать, была лишь одним из многочисленных видов моего существования, проходившего одновременно в разных местах и в разных

условиях – в воздухе и в воде, здесь и за границей, в снегу северных стран и на горячем песке океанских берегов; и я знал, что, живя и двигаясь там, я задеваю множество других существований – людей, животных и призраков. Некоторых из них я почти не представлял себе; мне казалось только, что они летают на мягких черных крыльях, сделанных из чудесного тела, которого я никогда не коснусь. Других я видел перед собой; они всюду сопровождали меня, я к ним давно привык и привык даже к тому, что, по непонятному мне закону, они награждены даром немой речи, доходившей до меня помимо слов и мыслей, которые были бы слишком тяжелы для них, как насыщенная влагой предгрозовая атмосфера – слишком тяжелая для прозрачных крыльев насекомых, за которыми ныряют в воздухе черные ласточки. И иногда все эти существа, точно чувствуя опасность сумасшествия, угрожавшую мне, – вдруг появлялись передо мной, как близкие родственники у постели умирающего, – и их легионы, состоявшие из почти видимого трепетания в воздухе, становились на мою защиту: и они роились в темноте, беспрестанно появляясь и исчезая, и чьи-то забытые глаза, которые они вдруг вызывали в моей памяти, заставляли меня часто дышать от волнения; глядя из глубины постели, которая неожиданно приобретала необыкновенную, нематериальную мягкость, я видел бледное умоляющее лицо пленника; и я засыпал глубоким сном.

Утром я надевал выглаженный костюм, тщательно причесывался и, после завтрака, ехал к m-lle Tito, с которой был связан несколькими пустячными делами, приносившими небольшой доход: я находил ей нужные справки в книгах о театральном искусстве старой Франции, собирал ей цитаты из Флобера, Анатоля Франса и Бальзака и объяснял ей, почему не следует злоупотреблять красными строчками, которые она очень любила.

Карьера m-lle Tito была для многих не совсем ясна потому, что, не обладая личным состоянием, она жила в очень хорошей квартире, тратила много денег, угощала приходивших к ней шампанским, – правда, довольно плохим, но все-таки шампанским, – и заказывала себе доро-

гие туалеты. Впрочем, она была относительно красива и сравнительно молода, и этого было достаточно, чтобы круг ее знакомых не суживался. Она говорила по-французски с ошибками и небольшим русским акцентом, по-русски же говорила с французским акцентом и тоже с ошибками: родного языка у нее не было, хотя по происхождению она была еврейкой. На стенах ее комнат висело множество портретов с длинными надписями – то по-английски, то по-испански, то по-французски; и когда ее спрашивали: – Кто это такой? – она отвечала, задумчиво улыбаясь: – О, это мой старый-старый друг. Он знал меня еще девушкой. – Она хотела сказать – девочкой, но разница между этими двумя словами была для нее неощутимой; и такой ответ ее звучал тем более двусмысленно, что m-lle Tito никогда не была замужем. И когда один из ее гостей, русский критик, резкий и насмешливый человек, спросил ее после такого ответа: – Наверное, это было довольно давно? – она не поняла его грубоватой иронии и простодушно сказала, что давно. Самый большой портрет изображал испанского генерала в полной парадной форме: генерал был стар и носил седые усы, спускающиеся вниз, и его мужественное простое лицо несколько напоминало Тараса Бульбу. На портрете крупными буквами была написана цитата из Ламартина, которого генерал, по-видимому, знал, хотя, глядя на его портрет, этого никак нельзя было подумать: «Et sur les ailes du temps la jeunesse s'en va»[1]. Но находя эти слова недостаточно выразительными, – а может быть, в силу военных своих привычек и своеобразных требований к литературе, заключавшихся в том, что всякая цитата должна звучать приблизительно как ария полкового оркестра, – генерал самостоятельно прибавил к этой меланхолической фразе три жирных восклицательных знака, что придавало словам Ламартина совершенно иной и комический смысл. Но и генерал, и m-lle Tito были очень довольны фотографией, тщательно запечатлевшей все сложные подробности генеральской парадной упряжи, и этой цитатой, снабженной

[1] «И на крыльях времени улетает юность» (*фр.*).

столь оглушительными добавлениями, – хотя оставалось непонятным, почему, собственно, генерал пришел в такое патетическое состояние и о чьей молодости он жалел. Другие портреты были поменьше, и лица, на них представленные, далеко не достигали солидности генерала; однако больше всего было почему-то именно испанцев, – но когда я спросил m-lle Tito, долго ли она жила в Испании, она сказала, что всего две недели. Тогда я заговорил о портретах, и она объяснила мне предпочтение, которое она явно оказывала испанцам – тем, что она очень любит латинскую расу: но ее понятие о латинской расе было совсем особенным, так как французы, например, под это определение почему-то не подходили. Я не рискнул ее дальше расспрашивать, и она прибавила, что я этого не пойму; и я заключил, что, по всей вероятности, существуют какие-то физиологические различия между французами и испанцами, недоступные обыкновенному человеческому пониманию, но совершенно очевидные для m-lle Tito, – как различие между родственными видами насекомых, совершенно незаметное для неспециалиста, но тотчас же бросающееся в глаза ученому.

Квартира m-lle Tito была обставлена довольно хорошо; и каждый предмет был непременно связан с каким-нибудь воспоминанием. Арфа, стоявшая между окном и диваном и мелодически дребезжавшая всякий раз, когда по улице проезжал грузовик, принадлежала покойной подруге m-lle Tito, которая умерла совсем молодой и перед смертью просила m-lle Tito сохранить арфу. Я не имел никакого представления об этой подруге: но, по рассказам m-lle Tito, это была женщина чрезвычайно деликатная и очень талантливая.— Elle était sur le point de mourir[1], – говорила m-lle Tito, смешивая русские фразы с французскими, – и она мне сказала: ты можешь плюнуть на все, но не на арфу. И я ей ответила: ma pauvre petite, tu peux être tranquille[2]. – Рояль был подарен m-lle Tito одним итальянским графом, который был очень беден: и поэтому,

[1] – Она была на пороге смерти (*фр.*).

[2] моя бедняжка, ты можешь быть спокойна (*фр.*).

купив рояль в кредит, он заплатил только за доставку и сделал первый взнос, а потом уехал не то в Милан, не то в Геную и больше не возвращался: но m-lle Tito не переставала громко удивляться каждый раз, когда агенты по продаже музыкальных инструментов и их принадлежностей приходили к ней через одинаковые промежутки времени, неизменно требуя очередной уплаты и многословно извиняясь за беспокойство.

Забота о библиотеке m-lle Tito была взята на себя одним знаменитым лицом, имени которого m-lle Tito по некоторым причинам не могла назвать; впоследствии я узнал, что библиотеку составлял один сенатор, действительно довольно известный, и что причины, по которым m-lle Tito не хотела назвать его имени, были те, что он уже полтора года сидел в тюрьме за растрату казенных денег и подделку подписи на векселе. Впрочем, библиотека, состоявшая вначале из французских классиков, была пополнена самой m-lle Tito, приобретшей на личные средства Надсона, Тургенева и романы Декобра, которого она искренне считала лучшим современным писателем и – по совершенно непостижимым причинам – учеником и последователем Анатоля Франса.

M-lle Tito была глубоко убеждена в том, что она – несколько испорченная светская женщина, развращенная парижским снобизмом, уставшая от красоты и искусства и очаровательная в личном обращении. Это заблуждение она незаметно впитала в себя, читая французские романы, в героинях которых неизменно находила сходство с собой; и чем прекраснее была героиня, тем больше она походила на m-lle Tito. Но самым верным своим изображением она считала какую-то Диану из Декобра.

– Я спросила его, – рассказывала m-lle Tito; она была знакома со всеми известными людьми, или, вернее, думала, что она с ними знакома; и когда какой-нибудь из таких людей, в ответ на ее нарочито небрежный поклон, который она считала самым светским, смотрел на нее с нескрываемым удивлением, она говорила, обращаясь к своему спутнику: «Regardez moi ça, c'est un peu fort quand

même»[1], – я его спросила: скажите, разве меня зовут Дианой? – он улыбнулся и сказал: peut être bien. Oh, il est très fin[2]; я его хорошо понимаю.

Она всегда говорила: вы не думайте, я это хорошо понимаю, – точно все ее собеседники ожидали, что она этого не поймет, и точно понимание ее являлось для них одним из сюрпризов, которые она очень любила. Они заключались в самых разных вещах, но всегда носили несколько странный характер, вызывавший искреннее восхищение только у самой m-lle Tito.

Она принимала у себя двух-трех человек каждый вечер. – Я люблю иметь общество немногочисленное, – говорила она, – des gens qui se comprennent bien quoi[3] и которые все принадлежат одному milieu[4]. – Наиболее частыми ее гостями были аббат Tétu и поэтесса Раймонда, которые вели длиннейшие разговоры о католицизме, буддизме и магометанстве. M-lle Tito была верующей католичкой; ее склонил к вере именно аббат Tétu, лысый и улыбающийся человек в длинной сутане, очень любивший русский чай и съедавший неимоверное количество бисквитов. Аббат был всегда надушен и постоянно улыбался; и когда я долго смотрел на него, у меня вдруг появлялось впечатление, что аббата внезапно ударили по голове, он перестал соображать и на лице его появилась блаженная улыбка, которая останется до тех пор, пока не пройдет это отупение, вызванное ударом. Но аббат не переставал улыбаться; и только складка его губ менялась в зависимости от того, какой происходил разговор. Оттенков его улыбки было множество; и даже в тех случаях, когда говорили об очень грустных событиях, аббат поднимал брови вверх, придавал своему лицу траурное выражение – и все-таки улыбался, и это можно было истолковать так: эти бедные люди убили на войне брата m-lle Tito, но разве они знали, разве они могли понять, что ожидает его на небе? – все получалось так прилично, что никто не был шокирован.

---

[1] «Посмотрите на меня, это все же слишком» (*фр.*).

[2] очень может быть. О, это очень тонко (*фр.*).

[3] людей, которые хорошо понимают друг друга (*фр.*).

[4] кругу (*фр.*).

Обычно же улыбка аббата была снисходительной и благосклонной; она как бы давала почувствовать, что аббат все понял и все знает и мягко смеется над человеческими слабостями и ничему не удивляется; и действительно, аббата нельзя было застать врасплох, – что бы ни говорилось, он сохранял вид человека, которому давно все известно и который обо всем этом имеет самые точные и непогрешимые мнения – будь то вопрос о втором пришествии, или балканских нравах, или о пользе разведения кроликов в местностях с глиняной почвой, – как однажды сказала поэтесса Раймонда, ничего решительно не знавшая о кроликах и заговорившая о них только потому, что, по ее словам, она любила всю природу. Когда аббат высказывался, – а он высказывался только о приятных для всех вещах, – то выходило, что он, ничего не подчеркивая, делает любезность окружающим: он не говорил, а брал на себя труд произнести несколько фраз, окруженных различнейшими и любезнейшими улыбками, и казалось, внутренне он все-таки жалеет о том, что растрачивает перед этими простыми людьми свою католическую, всеобъемлющую мудрость. И все-таки аббат звезд с неба не хватал – как выразился о нем русский критик, тоже бывавший частым гостем m-lle Tito, человек лет тридцати, которого она ценила за прекрасное знание французского языка; впрочем, критик приходил в гости не из-за очарования m-lle Tito, как она это думала, а по причинам более прозаическим: он дал ей идею пьесы, которую она писала, и являлся или за деньгами, которые она все не хотела ему заплатить сразу, или для обсуждения подробностей очередного акта. Игрушечный ум аббата любил специальные обороты речи, казавшиеся чрезвычайно эффектными и замечательными m-lle Tito, но вообще несколько утомительные и до смешного невинные. – Oui, – говорил он, – nous vivons entourés de mystère et c'est toujours nous qui entourons l'inconnu[1]. Или: que le ciel descende jusqu'à la terre, Dieu ne descendrait pas

[1] – Да... мы живем, окруженные тайной, и всегда неизвестное окружает именно нас (*фр.*).

jusqu'au ciel[1]. У него был целый запас таких выражений; и, произнося какое-нибудь из них, он прислушивался к тишине, воцарявшейся в комнате, и неизменно прибавлял: – Et d'ailleurs, qu'en savons nous?[2] – чем повергал m-lle Tito в состояние полного восторга. С таким же вниманием его слушала поэтесса; она даже приоткрывала немного рот с видом капризного ребенка, но ровно настолько, чтобы это оставалось приличным.

Как m-lle Tito в своем собственном представлении была светской женщиной, увлекательной и умной, так поэтесса казалась себе милым ребенком, сохранившим свежесть и прелесть детского очарования. И она говорила, смеясь и вздрагивая, особенным, детским, как она думала, голосом: – Oh, que vous êtes méchant![3] – и потом слегка выпячивала губы вперед. Вся поэзия была для нее чем-то вроде сквера, в котором играют дети, – она однажды приблизительно так и выразилась и обиделась на критика, который визгливо хохотал, представляя себе, как он говорил, Виктора Гюго с лопаточкой для песка, Верлена и Бодлера, играющих в лошадки, и Оскара Уайльда в коротеньких штанах, катившего перед собой обруч. Но специальностью поэтессы был лунный свет, который она описывала в каждом своем стихотворении и который появлялся то на небе «мраморном, как колоннады эллинов», то «в гостиной, похожей на оранжерею», то в саду, – и во всех этих случаях луна «плясала и колдовала» и была похожа иногда на лицо покинутой любовницы, иногда на крендель, иногда на какие-то брови Востока. И казалось, что если бы луны не было, то жизнь поэтессы Раймонды, без всех этих бровей Востока и лиц покинутых любовниц среди мраморных колоннад эллинов, потеряла бы всякий смысл. Поэтесса верила в загробное существование и была убеждена в том, что после смерти она превратится в маленькую звездочку с печальным светом. – А сколько вы весите? – вдруг спросил критик. Она пожала плечами и обернулась к аббату, ища у него сочувствия; и аббат улыбался, загадочный, как

[1] что небо спускается до Земли, но Бог до неба не спускается (*фр.*).
[2] – А впрочем, что мы знаем об этом? (*фр.*)
[3] – О, какой вы злой! (*фр.*)

сфинкс, и нельзя было понять, что он думает – и думает ли он вообще или за этой улыбкой скрывается зловещая пустота, в которой одиноко плавают обрывки фраз о тайне, которая нас окружает, и о неизвестном, которое окружено, нами.

M-lle Tito была очень экономна, и обеды ее состояли чаще всего из затейливо приготовленных овощей; но недостаток пищи она замещала обильным количеством вина. Любимым и чаще всего подававшимся блюдом была морковь, и по поводу этой моркови у m-lle Tito произошла даже небольшая размолвка с критиком, который в ответ на приглашение прийти обедать, сделанное в присутствии аббата и поэтессы, ответил по-русски: – Да что ж, вы опять, наверное, морковку приготовите? Я, знаете, не кролик, чтобы питаться только морковью и капустой. Вы мяса купите, тогда я приду. – M-lle Tito взглянула на него, как он сам говорил, совершенно ложноклассическим взглядом, но он не обратил на это никакого внимания и опять повторил: – Мяса купите, тогда приду, – и заговорил о декорациях последнего Foliens-Bergère.

В тот день, когда я после моего переселения в прежнюю гостиницу поехал к m-lle Tito, я застал у нее неизвестного молодого человека, которого она представила как испанского драматурга. Испанский драматург – невысокий человек в клетчатом костюме – сидел на диване и все время как-то тревожно смеялся. Я все ожидал, что он заговорит; но он не произносил ни одного слова, и по тому, что его глаза иногда вдруг принимали выражение мучительной неловкости, я подумал, что он, наверное, недостаточно свободно владеет французским языком. Это было довольно далеко от истины: испанский драматург не знал буквально ни одного звука ни на каком иностранном языке, а m-lle Tito не говорила, как это выяснилось, по-испански; и хотя она, украдкой поглядывая на меня, произносила время от времени, обращаясь к драматургу, несколько странных и неизвестных слогов на неведомом языке и надеялась почему-то, что испанец ее поймет, – но

ничего не выходило, и драматург, просмеявшись, – он считал, по-видимому, что такой способ держать себя среди людей, не знающих по-испански, самый вежливый и безобидный, – целый час, ушел, так ни о чем и не договорившись; а приходил он, как это потом выяснилось, по поводу перевода своей пьесы на французский язык. Он крепко пожал мне руку, уходя, и вдруг улыбнулся такой откровенной улыбкой, что сразу стало видно, насколько в течение всего своего визита он понимал глупость положения и как был рад, когда визит, наконец, кончился.

После его ухода m-lle Tito заговорила со мной по-русски и рассказала, что утром она едва не стала жертвой автомобильной катастрофы, потому что ее taxi, – когда она говорила по-русски, она произносила та́кси, – столкнулось с другой машиной. Потом она стала рассказывать, какая у нее замечательная память и как она способна к языкам: она прожила во Франции пятнадцать лет, из России уехала совсем «девушкой», и все же так прекрасно и свободно говорит по-русски, что никто не принимает ее за иностранку, – а по-французски она говорит еще лучше. И в доказательство она прочла мне одно стихотворение Блока и одно Бодлера, не всегда понимая смысл слов, коверкая ударения по-русски и произнося французское «je» как «же».

Затем, наконец, она показала мне свою рукопись, которую я должен был исправлять; разложив бумагу на коленях, я тотчас принялся за работу. M-lle Tito в это время завела граммофон, поставила Nocturne en ré-bémol в исполнении Эльмана – и, взглядывая изредка на нее, я заметил, что она закусывала нижнюю губу, гримасничала и вообще вела себя как-то странно; и когда я спросил ее, что с ней, она приложила палец ко рту, быстро сказала: – C'est l'inspiration[1] – и начала размахивать своим длинным шарфом с бахромой и прыгать по комнате. Она вытягивала руки в разных направлениях и закидывала голову назад таким сильным движением, что я боялся, как

[1] – Это вдохновение (*фр.*).

бы она не упала. – La danse nocturne[1], – прошептала она и опустила было голову на грудь, но потом опять ее подняла и снова стала прыгать. К счастью, пластинка скоро кончилась, и m-lle Tito перестала танцевать. – Вы понимаете искусство? – спросила она меня и, не дожидаясь ответа, который ее совершенно не интересовал, продолжала: – Я его понимаю гораздо лучше, чем другие, et j'en souffre, j'en souffre[2]. – И я вспомнил, что m-lle Tito когда-то училась в русской прогимназии, – которую она называла *прегимназией*, – и что дальше этого скромного учебного заведения ее образование не пошло. – Но я понимаю все, – вдруг сказала она, как бы угадав мою мысль, что, однако, было бы невероятно. И, в ответ на мой вопросительный взгляд, она объяснила мне, что хорошо знает, как каждый человек должен добиваться в жизни богатства. Богатство в действительности было единственной ценностью для нее; и само искусство, о котором она столько говорила, не могло существовать без этого предварительного условия. Искусству должна была предшествовать известность, известности – богатство. M-lle Tito не стала бы читать в рукописи роман Толстого или поэму Пушкина, если бы они не были уже знаменитыми и обеспеченными людьми. К авторам неизвестным и небогатым она относилась с презрением и тотчас же спросила об испанском драматурге у его переводчика: – А что он имеет? – Я понимаю все, – повторила m-lle Tito, подошла ко мне, потрепала меня по плечу и сказала: – Du courage, du courage[3], – точно хотела меня утешить или успокоить – в том смысле, что это ее всеобщее понимание мне лично никакими неприятностями не угрожает.

Вечером, как всегда, собрались ее обычные гости: аббат, поэтесса и критик, и мне не удалось уйти, как я ни отказывался остаться. Впрочем, я не жалел об этом, потому что вечер был очень оживленный и веселый. Я даже подумал, что этого нельзя было ожидать, как вдруг

---

[1] – Ночной танец (*фр.*).

[2] и я страдаю, страдаю от этого (*фр.*).

[3] – Мужайтесь, мужайтесь (*фр.*).

произошел крупный разговор, виной которого была цветная капуста, – и разговор кончился необыкновенным скандалом. Ужин шел вполне благополучно до тех пор, пока не подали – в громадном закрытом блюде – цветную капусту и m-lle Tito, улыбаясь и сияя, сказала аббату: – Et voilà une surprise spécialement pour vons[1]. – И аббат любезно наклонил лысую голову. Я заметил, однако, недовольный взгляд критика. Крышку подняли, и цветная капуста предстала глазам аббата: она была покрыта сухарями и лежала в светлом масле. Мне показалось, что аббат не очень обрадовался этому сюрпризу; но он быстро сказал:

– Que c'est charmant, que c'est charmant, mais vous avez un don mystérieux de deviner toujours ce qui est le plus désiré par tout le monde. Mais c'est merveilleux, je ne trouve pas d'autre mot pour définir toute la délicatesse avec laquelle vous avez su nous surprendre d'une façon tellement fine et agréable...[2] – и поэтесса захлопала в ладоши и поддержала аббата, сказав, что она в восторге от двойной прелести этого обеда, заключающейся в счастливом соединении красноречия аббата и кулинарного очарования m-lle Tito.

– Et bien, – сказала она, – tout le monde en est ravi. C'est fin, c'est délicat, c'est tout ce qu'il y a de merveilleux, comme i'a déjà dit monsieur l'abbé[3].

Все замолчали; и мне почудилось, что на глазах m-lle Tito и на лысине аббата выступили счастливые, прозрачные слезы. Но в это время критик повернулся на своем стуле и спокойно сказал:

– Et moi, je trouve que tout ça, c'est tout simplement bête...[4]

– Comment bête?[5] – спросила m-lle Tito тихим и вежливым голосом и почувствовала, что все погибло. –

[1] – И вот сюрприз специально для вас (*фр.*).

[2] – Как приятно, как приятно, у вас таинственный дар всегда предугадывать то, что каждому хочется больше всего. Но это чудесно, я не нахожу другого слова, чтобы определить всю вашу деликатность, с какой вы смогли нас удивить вашей заботой... (*фр.*)

[3] – Итак... все восхитительно. Остроумно, тонко, чудесно, как уже заметил месье аббат (*фр.*).

[4] – А я считаю, что все это просто глупо... (*фр.*)

[5] – Как глупо? (*фр.*)

Comment bête? – отчаянно и неожиданно завизжала она, забыв о присутствии аббата и поэтессы. – Вы приходите кушать мое мясо и мою капусту... – Я вашего мяса не ел, – ответил критик, но она не слышала его, – и вы еще делаете скандал? Je vous déteste[1], неблагодарный! – Лицо ее побагровело, взгляд блуждал; она схватила со стола тарелку и бросила ее в критика, и тарелка разбилась об стену. Затем она зарыдала, и физиономия ее стала гримасничать почти так же, как тогда, когда на нее находило вдохновение. – Я должен вам сказать, – продолжал критик, – что вы все экономите и подаете дрянь. Этот лысый, конечно, все съест, потому что он француз, а я, слава Богу, русский и всякую травку и капусту есть не намерен. Вы всем тычете ваш необыкновенный «шарм» и другую ерунду, а денег мне до сих пор не платите, между прочим. Какой же это шарм?..

– Негодяй! – закричала m-lle Tito перестав рыдать. – Gredin! Vipère![2] – При слове vipère аббат побледнел и поднялся из-за стола и в первый раз в жизни перестал улыбаться. – Mademoiselle, – мягко сказал он. – Je m'en fiche![3] – завизжала опять m-lle Tito и бросилась на критика, но упала и укусила его за ногу. Произошло всеобщее смятение. В столовую вбежала горничная, державшая в руке палку аббата; но аббат вскочил на стул с необыкновенной легкостью и стоял там, грозно подняв руки вверх. Из соседней комнаты доносились звуки граммофона, заведенного поэтессой, которая ушла из столовой, как только разговор с критиком принял угрожающий характер. В течение нескольких секунд в столовой происходил сильный шум; затем критику удалось справиться с m-lle Tito и ее горничной; он пробрался в переднюю и, увидев меня, сказал: – Ну, что ж, теперь и по домам можно, – и мы вышли с ним и перешли через мост Раззу; Париж был иллюминован по случаю какого-то праздника, и по Сене проплы-

[1] Я вас ненавижу (*фр.*).

[2] – Негодяй! Гадина! (*фр.*)

[3] – Мне наплевать! (*фр.*)

вали лодки, с которых взвивались фейерверки; и люди, стоявшие на берегах, кричали и размахивали руками.

Когда я вошел в свою комнату, меня поразил зеленоватый сумрак, который исходил от окна и распространялся повсюду; все предметы, составлявшие обстановку, тоже казались зелеными – и комната вдруг напомнила каюту затонувшего корабля. Все вокруг было тихо, только с бульвара St. Germain доносились изредка улетающие гудки автомобилей; или внезапно в воздухе, становившемся на секунду металлическим, звенел и ехал трамвай, и шуршание ролика о проволоку быстро ползло в темноте, шипя то сильнее, то слабее; возможно, что это был трамвай номер девятнадцатый, идущий на avenue Henri Martin, лучшее avenue Парижа; когда я попал туда в первый раз, я решил, что непременно буду жить в одном из этих особняков, скрытых высокими деревьями, – и оттого, что трамвай шел в том направлении, я испытывал чувство сожаления.

Зеленоватый воздух, в котором я двигался, раздеваясь, чтобы лечь в кровать, обладал странной плотностью, необычной для воздуха; и в потемневшем зеркале вещи отражались иначе, чем всегда, точно погруженные в воду давным-давно и уже покорившиеся необходимости пребывания под ней. Мне вдруг стало тяжело и нехорошо; вид моей комнаты опять напомнил мне, что уже слишком долго я живу, точно связанный по рукам и ногам, – и не могу ни уехать из Парижа, ни существовать иначе. Все, что я делал, не достигало своей цели, – я двигался точно в воде – и до сих пор не вполне ясно понимал это. Теперь же, когда я это понял, мне стало трудно дышать от огорчения – и заснул я не скоро; и как только я поворачивался, мысль, мучившая меня, исчезала и сменялась другой, не менее неприятной. И когда я, наконец, закрыл глаза, я увидел себя перенесенным в громадный и темный дом, который я тотчас же узнал, потому что сновидение мое часто приводило меня туда, и я запомнил деревянные резные колонны дома, и его высокие потолки, и его комнаты, сделанные из мягчайшей материи, поминутно менявшей свой вид и ста-

новившейся то черной лестницей, которая вела в черное подземелье, то аквариумом, где плавали крокодилы с человеческими руками, то фонтаном, то человеком, то облаком, то птицей с желтыми перьями, то воспоминанием о каком-нибудь давно случившемся событии. На этот раз я увидел, что комнаты затоплены зеленой водой и по стенам растут длинные морские травы; и высоко под потолком стояла неподвижно лысая голова аббата Têtu с неподвижными, неулыбающимися глазами. Затем проплыла m-lle Tito; тело ее было покрыто надписями. Я узнал издали восклицательные знаки испанского генерала – и понял, что надписи эти были автографами ее многочисленных друзей и знакомых. Подруга m-lle Tito, та самая, которая завещала ей арфу, сидела внизу на высоком табурете и играла на рояле; и каждый раз, как палец ее нажимал клавишу, оттуда показывался хрустальный пузырек воздуха – он поднимался вверх с легким бульканьем, напоминавшим мне те звуки, которые цирковые музыканты извлекают из множества бутылок, наполненных водой до различных уровней; подруга m-lle Tito играла неизвестный мне мотив, и серебряный аккомпанемент пузырьков делал его особенно прекрасным; пузырьки взвивались и медленно уплывали один за другим, образуя сверкающие ожерелья чудесных белых янтарей. В комнату вплыл, держась за спасательный пояс, матрос, влюбленный в мадам Матильду, и черные буквы на его поясе повторяли его отчаянные крики: – Je veux la patronne! – и желание матроса теперь, в этой водяной тюрьме, вдруг приобретало несвойственный ему зловещий смысл, как угроза всесильного тирана, от которого мадам Матильде уже не уйти.

Вдруг сильные волны пошли по комнате, голова аббата заколебалась – и я увидел человека в белом халате, в котором сейчас же узнал моего водяного пленника, хотя он увеличился в сотни раз и черные брови его плыли отдельно от лица с умоляющими глазами. «Директор водяной тюрьмы» – было написано на его груди. Он остановился посредине комнаты; ожерелья пузырьков окружили его, он поднял руки, точно собираясь вынырнуть на поверхность, но остался неподвижен. Стеклянные глаза аббата с

ужасом смотрели на директора; на месте m-lle Tito очутилась гигантская зеленая ящерица. А музыка все продолжалась – и я почувствовал, что не уйду теперь из водяной тюрьмы и вечно буду здесь, – как мой пленник, – в иллюминаторе, за решеткой умывальника. Вода стала заливать мне горло; рояль звучал все глуше, все тусклее становились пузырьки – я впал в глубокий обморок; и тогда начал дуть легкий ветер над полем ржи, доносившийся неизвестно откуда; я постепенно понимал, что со мной происходит, услышал звук медленно летящего дождя – и вспомнил, что оставил окно открытым еще вчера вечером, после моего возвращения домой из Passy, где я был в гостях у m-lle Tito.

ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ

Двадцать шестого августа прошлого года я раскрыл утром газету и прочел, что в Булонском лесу, недалеко от большого озера, был найден труп русского, Павлова. В бумажнике его было полтораста франков; там же лежала записка, адресованная его брату:

«Милый Федя, жизнь здесь тяжела и неинтересна. Желаю тебе всего хорошего. Матери я написал, что уехал в Австралию».

Я очень хорошо знал Павлова и знал, что именно двадцать пятого августа он застрелится: этот человек никогда не лгал и не хвастался.

Числа десятого того же месяца я пришел к нему за деньгами: мне нужно было взять в долг полтораста франков.

– Когда вы сможете их вернуть?

– Числа двадцатого, двадцать пятого.

– Двадцать четвертого.

– Хорошо. Почему именно двадцать четвертого?

– Потому, что двадцать пятого будет поздно. Двадцать пятого августа я застрелюсь.

– У вас неприятности? – спросил я.

Я не был бы так лаконичен, если бы не знал, что Павлов никогда не меняет своих решений и что отговаривать его – значит попусту терять время.

– Нет, особенных неприятностей нет. Но живу я, как вы знаете, довольно скверно, в будущем никаких изменений не предвижу и нахожу, что все это очень неинтересно. Дальнейшего смысла так же продолжать есть и работать, как сейчас, я не вижу.

– Но у вас есть родные...

– Родные? – сказал он. – Да, есть. Они особенно не огорчатся; то есть им, конечно, некоторое время будет

неприятно, но, в сущности, никто из них во мне не нуждается.

– Ну, хорошо, – сказал я, – я все-таки думаю, что вы не правы. Мы еще поговорим об этом, если вы хотите, конечно, вполне объективно. Вы вечерами дома?

– Да, как всегда. Приходите. Впрочем, мне кажется, я знаю, что вы мне скажете.

– Это мы увидим.

– Хорошо, до свиданья, – сказал он, открывая мне дверь и улыбаясь своей обыкновенной, обидной и холодной улыбкой.

После этого разговора я уже твердо знал, что Павлов застрелится: я был так же в этом уверен, как в том, что, выйдя от Павлова, пошел по тротуару. Однако, если бы о решении Павлова мне сказал кто-нибудь другой, я счел бы это невероятным. Я вспомнил тут же, что уже года два тому назад один из наших общих знакомых говорил мне:

– Вот увидите, он плохо кончит. У него не осталось ничего святого. Он бросится под автобус или под поезд. Вот увидите...

– Друг мой, вы фантазируете, – ответил я.

Из всех, кого я знал, Павлов был самым удивительным человеком во многих отношениях; и, конечно, самым выносливым физически. Его тело не знало утомления; после одиннадцати часов работы он шел гулять и, казалось, никогда не чувствовал усталости. Он мог питаться одним хлебом целые месяцы и не ощущать от этого ни недомоганий, ни неудобств. Работать он умел, как никто другой, и так же умел экономить деньги. Он мог жить несколько суток без сна; вообще же он спал пять часов. Однажды я встретил его на улице в половине четвертого утра; он шел по бульвару неторопливой походкой, заложив руки в карманы своего легкого плаща, – а была зима; но он, кажется, и к холоду был нечувствителен. Я знал, что он работает на фабрике и что до первого фабричного гудка остается всего четыре часа.

– Поздно вы гуляете, – сказал я, – ведь вам скоро на работу.

– У меня еще четыре часа времени. Что вы думаете о Сен-Симоне? Он, по-моему, был интересный человек.

– Почему вдруг Сен-Симон?

– А я сдаю политическую историю Франции, – сказал он, – и там, как вам известно, фигурирует Сен-Симон. Я занимался с вечера до сих пор, теперь решил пройтись.

– А вы сегодня не работаете?

– Нет, почему же, работаю. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

И он продолжал так же медленно шагать по бульвару. Но физические его качества казались несущественными и неважными по сравнению с его душевной силой, пропадавшей совершенно впустую. Он сам не мог бы, пожалуй, определить, как он мог бы использовать свои необыкновенные данные; они оставались без приложения. Он мог бы, я думаю, быть незаменимым капитаном корабля, но при непременном условии, чтобы с кораблем постоянно происходили катастрофы; он мог бы быть прекрасным путешественником через город, подвергающийся землетрясению, или через страну, охваченную эпидемией чумы, или через горящий лес. Но ничего этого не было – ни чумы, ни леса, ни корабля; и Павлов жил в дрянной парижской гостинице и работал, как все другие. Я подумал однажды, что, может быть, его же собственная сила, искавшая выхода или приложения, побудила его к самоубийству; он взорвался как закупоренный сосуд от страшного внутреннего давления. Но всякий раз, пытаясь понять причины его добровольной смерти, я вынужден был отказаться от этого, так как к Павлову не подходил ни один из тех принципов, которые определяют поведение человека в самых разнообразных случаях; и в результате Павлов неизменно оказывался вне всей системы рассуждений и предположений; он был в стороне, он ни на кого не походил.

У него была особенная улыбка, от которой вначале становилось неприятно: это была улыбка превосходства, причем чувствовалось – это ощущали почти все, даже самые тупые люди, – что у Павлова есть какое-то право так улыбаться.

Он никогда не говорил неправды; это было совершенно удивительно. Он, кроме того, никому не льстил и, действительно, говорил каждому, что он о нем думал; и это всегда бывало тяжело и неловко, и наиболее находчивые люди старались обратить это в шутку и смеялись; и он смеялся вместе с ними – своим особенным, холодным смехом. И только один раз за все время моего долгого знакомства с ним я услышал в его голосе мгновенную мягкость, к которой считал его неспособным. Мы говорили о воровстве.

– А, это любопытная вещь, – сказал он. – Вы знаете, я раньше был вором; но потом решил, что не стоит, и перестал воровать и теперь уж больше ничего не украду.

– Вы были вором? – удивился я.

– Что же тут странного? Большинство людей воры. Если они не крадут, то из боязни или по случайности. Но в душе почти каждый человек вор.

– Мне это очень часто приходилось слышать; я, пожалуй, готов согласиться, что это одно из наиболее распространенных заблуждений. Я не думаю, чтобы каждый человек был вор.

– А я думаю. У меня на воров особенное чутье. Я вижу сразу, может человек украсть или нет.

– Я, например?

– Можете, – сказал он. – Сто франков вы не украдете. Но из-за женщины можете украсть и если будет соблазн больших денег – тоже.

– А Лева? – спросил я. Я учился с Павловым уже за границей; у нас было много общих товарищей – одним из них был Лева – веселый, беспечный и, в общем, неплохой человек.

– Украдет.

– А Васильев?

Это был один из лучших учеников – угрюмый и болезненно-добросовестный человек, неряшливо одетый, очень усердный и скучный.

– Тоже, – не колеблясь сказал Павлов.

– Как? Но он добродетелен, трудолюбив и каждый день молится Богу.

– Он, главное, трус, а все остальное, что вы сказали, – неважно. Но он вор – и мелкий вор при этом.

– А Сережа?

Сережа был наш товарищ, лентяй, мечтатель и дилетант – но очень способный; он любил часами лежать на траве, думая о несбыточных вещах, мечтая о Париже – мы жили тогда в Турции, – о море и еще Бог знает о чем; и все настоящее, что окружало его, было ему чуждо и безразлично. Однажды, накануне одного из важных экзаменов, я проснулся ночью и увидел, что Сережа не спит и курит.

– Ты что, – спросил я, – волнуешься?

– Да, немного, – сказал он неуверенно. – Это пустяки. – Нет, не совсем. – Ты боишься провалиться? – Да ты о чем? – сказал он с удивлением. – Об экзамене, конечно. – Ах нет, это неинтересно. Я совсем о другом думаю. – О чем же именно? – Я думаю: паровая яхта стоит очень дорого, а парусную не стоит делать. А на паровую у меня не будет денег, – сказал он с убеждением; а ему не на что было купить папирос. Он курил – и бросил окурок; было темно, и мне показалось, что окурок упал на одеяло. – Сережа, – сказал я через минуту, – у меня такое впечатление, что твой окурок упал на одеяло. – Ну что же? – ответил он. – Дай ему разгореться, тогда будет видно. Но чаще они потухают: табак сырой. – И он заснул и, наверное, видел во сне яхту.

– А Сережа? – повторил я.

И лицо Павлова в первый раз приняло непривычное для него, мягкое выражение, и он улыбнулся совсем иначе, чем всегда, – удивительной и открытой улыбкой.

– Нет, Сережа никогда не украдет, – сказал он. – Никогда.

Я был одним из немногих его собеседников; меня влекло к нему постоянное любопытство; и, разговаривая с ним, я забывал о необходимости – которую обычно не переставал чувствовать – каким-нибудь особенным образом проявить себя – сказать что-либо, что я находил удачным, или высказать какое-нибудь мнение, не похожее на другие; я забывал об этой отвратительной своей привычке, и меня интересовало только то, что говорил Пав-

лов. Это был, пожалуй, первый случай в моей жизни, в которой мой интерес к человеку не диктовался корыстными побуждениями – то есть желанием как-то определить себя в еще одной комбинации условий. Я не мог бы сказать, что любил Павлова, он был мне слишком чужд – да и он никого не любил и меня так же, как остальных. Мы оба знали это очень хорошо. Я знал, кроме того, что у Павлова не было бы сожаления ко мне, если бы мне пришлось плохо; и убедись я, что возможность такого сожаления существует, я тотчас же отказался бы от нее.

Я помнил, как однажды Павлов рассказывал мне о знакомом, который попросил у него денег, дав честное слово, что вернет их завтра, – и не приходил две недели; затем явился к нему ночью и со слезами просил прощения – и еще хотя бы пять франков, так как ему нечего есть.

– Что же вы сделали? – спросил я.

– Я дал ему денег. Я другому человеку не дал бы; но ведь он не человек, я ему сказал это. Но он промолчал и ждал, покуда я достану деньги из кармана.

Он улыбнулся и прибавил:

– Я дал ему, между прочим, десять франков.

У него не было душевной жалости, была жалость логическая; мне кажется, это объяснялось тем, что сам он никогда не нуждался в чьем бы то ни было сочувствии. Его не любили товарищи; и только уж очень простодушные люди были с ним хороши: они его не понимали и считали немного чудаковатым, но, впрочем, отличным человеком. Может быть, это было в известном смысле верно; но только не в том, в каком они думали. Во всяком случае, Павлов был довольно щедр; и деньги, которые он зарабатывал, проводя десять-одиннадцать часов на фабрике, он тратил легко и просто. Он довольно много денег раздавал, у него было множество должников; и нередко он помогал незнакомым людям, подходившим к нему на улице. Как-то, когда мы с ним проходили по пустынному бульвару Араго – было темно и довольно поздно и холодно, во всех домах были наглухо закрыты ставни, деревья без листьев еще особенно, как мне казалось, усиливали впечатление пустынности и холода, – к нам подошел обтре-

панный, коренастый мужчина и хрипло сказал, что он только вчера вышел из госпиталя, что он рабочий, что он остался на улице зимой; не можем ли мы ему чем-нибудь помочь? – Voilà mes papiers[1], – сказал он, зная, что на них не посмотрят. Павлов взял бумаги, подошел к фонарю и показал мне их; там не было никакого упоминания о госпитале.

– Вы видите, как он лжет, – сказал он по-русски.

И, обратившись к бродяге, он засмеялся и дал ему пятифранковый билет.

В другой раз мы встретили русского хромого, который тоже просил денег. Я его уже знал. Когда я однажды – это было вскоре после моего приезда в Париж – вышел в летний день из библиотеки и проходил по улице, читая, я вдруг почувствовал, как кто-то просунул мне над книгой сухую, холодную руку, – и, подняв глаза, я увидел перед собой человека в приличном сером костюме и хорошей шляпе, хромого. Небрежным движением приподняв шляпу, он сказал с необыкновенной быстротой:

– Вы русский? Очень рад познакомиться, благодаря моей инвалидности, на которую вы можете обратить внимание, и будучи лишен возможности, подобно другим, зарабатывать деньги тяжелым эмигрантским трудом в изгнании, я вынужден к вам обратиться в качестве бывшего боевого офицера добровольческой армии и студента последнего курса историко-филологического факультета Московского императорского университета, как бывший гусар и политический непримиримый враг коммунистического правительства с просьбой уделить мне одну минуту вашего внимания и, войдя в мое положение, оказать мне посильную поддержку.

Он произнес все это, не остановившись, и я бы никогда не запомнил его длинного и бестолкового обращения, тем более что я половины не понял, – если бы впоследствии мне не пришлось слышать это еще несколько раз – и почти без изменений; только иногда он оказывался студентом не Московского, а Казанского или Харьковского

[1] Вот мои документы (*фр.*).

университета и не гусаром, а уланом или артиллеристом или лейтенантом Черноморского флота. Это был странный человек; я видел его случайно, вечером, в садике возле церкви Сен-Жермен де Пре – он сидел рядом с пожилой и грустной женщиной, согнувшись и опустив голову, и у него был такой несчастный вид, что мне стало жаль его. Но через три дня в кафе на площади Одэон этот же человек курил сигару, пил какую-то лиловую жидкость в особенно длинном стакане и обнимал правой рукой раскрашенную проститутку.

В тот день, когда он впервые подошел ко мне, у меня было всего шесть франков, и я сказал ему:

– К сожалению, я не могу вам помочь, у меня нет денег. Я могу вам дать франка два; больше мне было бы трудно.

– Три пятьдесят, пожалуйста, – сказал он.

Я удивился:

– Почему именно три пятьдесят?

– А потому, молодой человек, – ответил он почти наставительно, – что три пятьдесят – это цена обеда в русской обжорке. – И, приняв опять свой благородный вид, он прибавил: – Благодарю вас, коллега. – И ушел, прихрамывая и опираясь на свою трость.

И вот именно он обратился к Павлову и ко мне.

– Вы русские? Очень рад познакомиться, благодаря моей инвалидности...

– Я уже это знаю, – сказал Павлов. – Мне известно, что вы учились в Московском и Казанском университете, были гусаром, уланом, артиллеристом и моряком. Не плавали ли вы на подводной лодке, между прочим, и не были ли в духовной академии?

– Вы его не знаете? – спросил он меня. – Я ему давал деньги уже пять раз.

– Знаю, – сказал я. – Я думаю, что насчет историко-филологического факультета – это он увлекается. Но вообще он несчастный человек.

– Следующий раз вы обратитесь к другим, – проговорил Павлов. – В общей сложности я заплатил вам пятьдесят франков: я считаю, что таких денег вы не стоите. Не

думайте, что я вам это говорю, пользуясь вашим плохим положением: если бы на вашем месте был какой-нибудь архиерей, я бы сказал ему то же самое. Вот вам деньги.

Павлов жил в очень маленькой комнате одного из дешевых отелей Монпарнаса. Он покрасил сам ее стены, прибил полки, поставил книги, купил себе керосинку; и когда у него набиралась известная сумма денег, позволявшая ему некоторое время не работать, он проводил в этой комнате целые месяцы, один с утра до вечера, выходя на улицу, только чтобы купить хлеба, или колбасы, или чаю.

– Чем вы все время занимаетесь? – спросил я его в один из таких периодов.

– Я думаю, – ответил он.

Я не придал тогда значения его словам; но позже я узнал, что Павлов, этот непоколебимый и непогрешимый человек, был в сущности мечтателем. Это казалось чрезвычайно странным и менее всего на него похожим – и, однако, это было так. Я полагаю, что, кроме меня, никто об этом не подозревал, потому что никто не пытался расспрашивать Павлова, о чем он думает, никому не приходило в голову, тем более что сам Павлов был на редкость нелюбопытен; он делал опыты только над собой.

Он прожил в Париже четыре года, работая с утра до вечера, почти ничего не читая и ничем особенно не интересуясь. Потом вдруг он решил получить высшее образование. Это произошло потому, что кто-то в разговоре с ним подчеркнул, что кончил университет.

– Что же, университет это не Бог весть что, – сказал Павлов.

– Вы, однако, его не кончили.

– Да, но это случайно. Впрочем, вы мне подали мысль: я кончу университет.

И он стал учиться: поступил на философское отделение историко-филологического факультета и занимался вечерами после работы – что было бы всякому другому почти не под силу. Сам Павлов хорошо это знал. Он говорил мне:

– Вот пишут о каких-то русских, которые ночью работают на вокзале, а днем учатся. Такие вещи напоми-

нают мне описания военных корреспондентов; я помню, читал в газете о приготовлениях к бою, и было сказано, что «пушки грозно стояли хоботами к неприятелю». Для всякого военного, даже не артиллериста, ясно, что этот корреспондент в пушках ничего не понимал и вряд ли их видел. Так и здесь: скажут какому-нибудь репортеру, а он и сообщает – дескать, ночью работают, а днем учатся. А пошлите вы такого репортера на ночную работу, так он даже своей хроники не сможет написать, а не то что заниматься серьезными вещами.

Он задумался; потом улыбнулся, как всегда:

– Приятно все-таки, что на свете много дураков.

– Почему это вам доставляет удовольствие?

– Не знаю. Есть утешение в том, что как вы ни плохи и ни ничтожны, существуют еще люди, стоящие гораздо ниже вас.

Это был единственный случай, в котором он прямо выразил свое странное злорадство; обычно он его не высказывал. Трудно вообще было судить о нем по его словам – трудно и сложно; многие, знающие его недостаточно, ему просто не верили – да это и было понятно. Он сказал как-то:

– Служа в белой армии, я был отчаянным трусом; я очень боялся за свою жизнь.

Это показалось мне невероятным, я спросил о трусости Павлова у одного из его сослуживцев, которого случайно знал.

– Павлов? – сказал он. – Самый храбрый человек, вообще, которого я когда-либо видел.

Я сказал об этом Павлову.

– Ведь я не говорил вам, – ответил он, – что уклонялся от опасности. Я очень боялся – и больше ничего. Но это не значит, что я прятался. Я атаковал вдвоем с товарищем пулеметный взвод и захватил два пулемета, хотя подо мной убили лошадь. Я ходил в разведки – и вообще разве я мог поступать иначе? Но все это не мешало мне быть очень трусливым. Об этом знал только я, а когда я говорил другим, они мне не верили.

– Кстати, как ваши занятия?

– Через два года я кончу университет.

И я был свидетелем того, как через два года он разговаривал с тем своим собеседником, с которым он впервые заговорил о высшем учебном заведении. Они говорили о разных вещах, и в конце разговора собеседник Павлова спросил:

– Ну, что же, вы продолжаете думать, что университетское образование это случайность и пустяк?

– Больше, чем когда бы то ни было.

И он пожал плечами и перевел речь на другую тему. Он не сказал, что за это время он кончил историко-филологический факультет Сорбонны.

Странное впечатление производила его речь: никогда во всем, что он говорил, я не замечал никакого желания сделать хотя бы небольшое усилие над собой, чтобы сказать любезность или комплимент или просто умолчать о неприятных вещах; вот почему его многие избегали. Один раз, находясь в обществе нескольких человек, он сказал вскользь, что у него мало денег. Среди нас был некий Свистунов, молодой человек, всегда хорошо одетый и несколько хвастливый: денег у него было много, и он постоянно говорил, сопровождая свои слова пренебрежительными жестами:

– Я не понимаю, господа, вы не умеете жить. Я ни у кого не прошу взаймы, живу лучше вас всех и никогда не испытываю унижений. Я себе представляю, что должен чувствовать человек, просящий деньги в долг.

И вот этот Свистунов, зная, что Павлов исключительно аккуратен и что, предложив ему свою поддержку, он ничем не рискует, сказал, что он с удовольствием даст Павлову столько, сколько тот попросит.

– Нет, – ответил Павлов, – я у вас денег не возьму.

– Почему?

– Вы очень скупы, – сказал Павлов. – И к тому же мне не нравится ваша услужливость. Я ведь к вам не обращался.

Свистунов побледнел и смолчал.

Павлов не знал и не любил женщин. На фабрике, где он работал, его соседкой была француженка лет трид-

цати двух, не так давно овдовевшая. Он ей чрезвычайно нравился: во-первых, он был прекрасным работником, во-вторых, он был ей физически приятен: она иногда подолгу смотрела на быстрые и равномерные движения его рук, обнаженных выше локтя, на его розовый затылок и широкую спину. Она была просто работницей и считала Павлова тоже рабочим: он почти не говорил со своими товарищами по мастерской, и она приписывала это его застенчивости, тому, что он иностранец, и другим обстоятельствам, нисколько не соответствовавшим тем причинам, которые действительно побуждали Павлова молчать. Она неоднократно пыталась вызвать его на разговор, но он отвечал односложно.

– Il est timide[1], – говорила она.

Наконец ей это удалось. Он говорил по-французски несколько книжным языком – он ни разу не употребил ни одного слова «арго». Это была странная беседа: и нельзя было себе представить более разных людей, чем эта работница и Павлов.

– Послушайте, – сказала она, – вы человек молодой, и я думаю, что вы не женаты.

– Да.

– Как вы обходитесь без женщины? – спросила она.

Если у них было что-нибудь общее, то оно заключалось в том, что оба они называли вещи своими именами. Только говорили и думали они о разных понятиях; и я думаю, что расстояние, разделявшее их, было, пожалуй, самым большим, какое может разделять мужчину и женщину.

– Вам необходима жена или любовница, – продолжала она. – Écoute, mon vieux[2], – она перешла на «ты», – мы могли бы устроиться вместе. Я бы научила тебя многим вещам, я вижу, что ты неопытен. И потом – у тебя нет женщины. Что ты скажешь?

Он смотрел на нее и улыбался. Как она ни была нечувствительна, она не могла не увидеть по его улыбке,

[1] Он робок (*фр.*).
[2] Послушай, старина (*фр.*).

что сделала грубейшую ошибку, обратившись к этому человеку. У нее почти не осталось надежды на благополучный исход разговора. Но все-таки – уже по инерции – она спросила его:

– Ну, что ты скажешь об этом?

– Вы мне не нужны, – ответил он.

В нем была сильна еще одна черта, чрезвычайно редкая: особенная свежесть его восприятия, особенная независимость мысли – и полная свобода от тех предрассудков, которые могла бы вселить в него среда. Он был un déclassé[1], как и другие: он не был ни рабочим, ни студентом, ни военным, ни крестьянином, ни дворянином – и он провел свою жизнь вне каких бы то ни было сословных ограничений: все люди всех классов были ему чужды. Но самым удивительным мне казалось то, что не будучи награжден очень сильным умом, он сумел сохранить такую же независимость во всем, что касалось тех областей, где влияние авторитетов особенно сильно – в литературе, в науках, в искусстве. Его суждения об этом бывали всегда не похожи на все или почти все, что мне приходилось до тех пор слышать или читать.

– Что вы думаете о Достоевском, Павлов? – спросил его молодой поэт, увлекавшийся философией, русской трагической литературой и Ницше.

– Он был мерзавец, по-моему, – сказал Павлов.

– Как? Что вы сказали?

– Мерзавец, – повторил он. – Истерический субъект, считавший себя гениальным, мелочный, как женщина, лгун и картежник на чужой счет. Если бы он был немного благообразнее, он поступил бы на содержание к старой купчихе.

– Но его литература?

– Это меня не интересует, – сказал Павлов, – я никогда не дочитал ни одного его романа до конца. Вы меня спросили, что я думаю о Достоевском. В каждом человеке есть одно какое-нибудь качество, самое существенное для него, а остальное – так, добавочное. У Достоевского главное то, что он мерзавец.

[1] деклассирован (*фр.*).

– Вы говорите чудовищные вещи.

– Я думаю, что чудовищных вещей вообще не существует, – сказал Павлов.

Я пришел к нему пятнадцатого числа, пил с ним чай и потом заговорил о самоубийстве.

– Вам осталось десять дней, – начал я.

– Да, приблизительно. Ну, какие же вы приведете соображения, чтобы доказать нецелесообразность такого поступка? Вы можете говорить все, что вы думаете: вы знаете, что это ничего не изменит.

– Да, знаю. Но я хотел бы еще раз услышать ваши доводы.

– Они чрезвычайно просты, – сказал он. – Вот судите сами: я работаю на фабрике и живу довольно плохо. Ничего другого придумать нельзя: я думал об одной поездке, но теперь мне кажется, что, если бы она вдруг не оправдала моих надежд, это было бы для меня самым сильным ударом. Дальше: никому решительно моя жизнь не нужна. Моя мать успела меня забыть, я для нее умер десять лет тому назад. Сестры мои замужем и со мной не переписываются. Брат мой, которого вы знаете, оболтус двадцати пяти лет, обойдется без меня. В Бога я не верю; ни одной женщины не люблю. Жить мне скучно: работать и есть? Меня не интересует ни политика, ни искусство, ни судьба России, ни любовь: мне просто скучно. Карьеры я никакой не сделаю – да и карьера меня не соблазнила бы. Скажите, пожалуйста, после всего этого: какой смысл мне так жить? Если бы я еще заблуждался и считал, что у меня есть какой-нибудь талант. Но я знаю, что талантов у меня нет. Вот и все.

Он сидел против меня и улыбался и точно говорил всем своим высокомерным видом: вы видите, какие это все простые вещи и вместе с тем я их понял, а вы не понимаете и не поймете. Я бы не мог сказать, что мне было жаль Павлова, как жаль было бы товарища, у которого я, может быть, вырвал бы из рук револьвер. Павлов был где-то вне сожаления: он был точно окружен средой, сквозь которую чувства других людей не могли проникнуть, как не проникают световые лучи через непрозрачный экран; он был

слишком далек и холоден. Но я жалел о том, что через некоторое время перестанет двигаться и исчезнет из жизни такой ценный и дорогой, такой незаменимый человеческий механизм; и все его качества – неутомимость, храбрость и страшная душевная сила – все это растворится в воздухе и погибнет, не найдя себе никакого применения.

– Теперь скажите, что вы думаете по этому поводу, – сказал Павлов.

– Я думаю, – ответил я, – что вы не правы, когда ищете какое-то логическое оправдание всему: это, действительно, потеря времени. Вот вы говорите, что вам скучно и что в вашем существовании нет смысла. Как такие абстрактные идеи могут вас заставить совершить какой бы то ни было поступок, вернее, я считаю этот вопрос второстепенным. Представьте себе, что я работаю четырнадцать часов подряд, устаю как собака и становлюсь голоден так, точно не ел три дня. Затем я иду в ресторан, плотно обедаю, прихожу домой, ложусь на диван и закуриваю папиросу. На кой черт мне смысл?

Он пожал плечами.

– Или еще, – продолжал я. – Представьте себе, что вы прожили год без женщины: я бы не говорил вам этого, но ведь нам осталось говорить не так много, – поэтому у меня нет времени искать другой пример. Вы прожили год без женщины – и потом вы добились благосклонности девушки, которая становится вашей любовницей. Неужели и в этом вас будет интересовать смысл?

– Ну, это все вещи временные, – сказал он.

Меня удивляло то, что физическая любовь к жизни не была сильна у этого человека. Если бы он был болезненным юношей, это было бы понятно. Но он был исключительно силен и крепок; и такое соображение могло бы, пожалуй, объяснить то, что он не особенно устал бы от четырнадцати часов работы, – но других вещей это не объясняло. Ничего похожего ни на отчаяние, ни на разочарование у Павлова не было. Я знал этого человека много лет, знал его ближе, чем другие, и мог только думать в результате, что передо мной возникло и прошло таинственное явление, для определения которого у меня не оказалось

ни мыслей, ни слов, ни даже интуитивного понимания. Я мог бы успокоиться на этом, сказав себе, что Павлов с его самоубийством так же загадочен для меня, как те животные, живущие на дне моря, которые совершенно похожи на растения, как ночной шум неизвестного происхождения, как множество других нечеловеческих явлений. Но я не мог примириться с этим.

– Есть что-нибудь на свете, что вы любите? – спросил я. Я ожидал отрицательного ответа. Но Павлов сказал:

– Есть.

– Что же это такое?

И вдруг он заговорил. Я помню, какими странными показались мне его признания в тот вечер. Он говорил, не стесняясь, приводя ужасные подробности, которые в другое время покоробили бы меня: но тогда все казалось мне естественным – и ни на одну минуту я не мог забыть, что Павлов приговорен к смерти и что никакие силы не спасут его: и его голос, который тогда звучал и колебался, так и пропадет без отклика, так и заглохнет в этом теле, которое станет трупом. Он начал издалека и рассказал мне историю детства, долгие годы воровства, удивительную охоту с револьвером на барсука, в России, во Владимирской губернии, – речка, лодка, в которой он катался; и он казался явно взволнованным, когда заговорил о лебедях, которых называл самыми прекрасными птицами в мире. – Знаете ли вы, – сказал он затем, – что в Австралии водятся черные лебеди? В известное время года, над внутренними озерами этой страны они появляются десятками тысяч. – И он говорил о небе, покрытом могучими черными крыльями: – Это какая-то другая история мира, это возможность иного понимания всего, что существует, – говорил он, – и это я никогда не увижу.

– Черные лебеди! – повторил он. – Когда наступает период любви, лебеди начинают кричать. Крик им труден; и для того, чтобы издать более сильный и чистый звук, лебедь кладет шею на воду во всю длину и потом поднимает голову и кричит. На внутренних озерах Австралии! Эти слова для меня лучше музыки.

Он долго говорил еще об Австралии и черных лебедях. Он знал множество подробностей об их жизни; он читал все, что было о них написано, проводя целые дни за переводами английских и немецких текстов, со словарем и с записной книжкой в руках. Австралия была единственной иллюзией этого человека. Она соединила в себе все желания, которые когда-либо у него появлялись, все его мечты и надежды. Мне казалось, что если бы он вложил всю силу своих чувств в один взгляд и устремил бы глаза на этот остров, то вокруг него закипела бы вода; и я увидел в своем воображении эту фантастическую картину, которую мог бы увидеть во сне: тысячи черных крыльев, закрывающих небо, и холодный и пустой вечер на безлюдном берегу, возле которого кипит и волнуется море.

Я просидел с ним почти до утра – и ушел, томимый странными чувствами. – Всего хорошего, – сказал мне Павлов. – Спокойной ночи. А мне через час на фабрику.

– Зачем это вам теперь? – против воли спросил я.

– Деньги, деньги. Я их не унесу с собой, конечно, но я должен заплатить нескольким людям. Неудобно пользоваться преимуществами своего положения.

Я промолчал.

– В сущности, я уезжаю в Австралию, – сказал он.

Я вышел на улицу, было утро, уже началась обычная жизнь; я смотрел на проезжавших и проходивших мимо меня людей и думал с исступлением, что они никогда не поймут самых важных вещей; мне казалось в то утро, что я их только что услышал и понял, и если бы эта печальная тайна стала доступна всем, мне было бы тяжело и обидно. Как и всегда в первую минуту, я увидел нечто невыразимое во всем, что окружало меня, – в кинематографической витрине на углу, в остановленном грузовике со свернутыми колесами, чем-то похожем на человека, застывшего в неестественной и искривленной позе, в торговке зеленью, катившей свою ручную тележку, – я увидел во всем этом непонятное движение и скрытый от меня смысл, в который я не мог сразу вникнуть; но, против обыкновения, раздражение и немая досада на это продолжались недолго, так как в зависимости от того, что я только что

слышал, все стало неважным и пустым, только зрительным впечатлением – как пыль, вдалеке поднявшаяся на дороге.

Двадцать четвертого августа я принес Павлову полтораста франков.

– Спасибо, – сказал он, подавая мне руку.

Я сидел у него целый вечер, мы говорили о разных предметах, не имевших отношения к его самоубийству. Тому, что он был совершенно спокоен, я не удивлялся: может быть, впервые он попал в такие обстоятельства, в которых ему пригодилось его неистраченное духовное могущество – и в которых ему следовало бы провести всю свою жизнь. Он пошел со мной до площади с каменным львом, где мы расстались. Я сильно сжал его руку: я знал, что это наша последняя встреча.

– До свиданья, – по привычке сказал я. – До свиданья.

– Всего хорошего, – ответил Павлов.

Я уходил, оборачиваясь. Когда я дошел уже почти до середины площади, то поднял руку, и до меня донесся его спокойный, смеющийся голос:

– Вспомните когда-нибудь о черных лебедях!

АВАНТЮРИСТ

Анна Сергеевна уехала с бала, опять, как и третьего дня, не дождавшись конца третьего или четвертого танца, – и снова на вопросы о том, что ее побуждает к такому раннему уходу, не знала, что ответить. Действительно, никаких особенных причин к этому, казалось, быть не могло. Она по-прежнему любила танцы и боялась одиночества, по-прежнему ни одно более или менее значительное событие тогдашней петербургской жизни не обходилось без ее косвенного участия, – но все это в последнее время не то чтобы потеряло для Анны Сергеевны интерес, но стало рядом давно известных привычек, без которых она не могла бы, пожалуй, обойтись, но которые сами по себе не могли всецело заполнить ее обширные досуги и удовлетворить постоянное и смутное ожидание чего-то, что, может быть, когда-нибудь случится. Когда и как – Анна Сергеевна себе этого не представляла. Давно, много времени тому назад, она думала, что это откроется ей тогда, когда она выйдет замуж; затем она считала, что брак обманул ее ожидания и что настоящая ее страсть – искусство; потом она полагала, что и ее мужа, и ее дилетантские занятия литературой и музыкой ей заменит поручик Соколов; но и поручик Соколов при более близком знакомстве оказался неинтересным. Месяц тому назад второй счастливый ее поклонник, новый секретарь ее мужа, уехал вместе с ним за границу – и Анна Сергеевна думала сначала, что ей будет трудно обойтись без его почти постоянного присутствия, его шуток, стихов и французских комплиментов и перестать чувствовать его необъяснимую притягательность, которой она не могла сопротивляться; но уже через неделю она перестала об этом думать. Она не слишком много обо всем этом размышляла, не желая себе портить кровь, но беспричинное ее ожидание сопровождало

ее всегда и было не менее неприятно, чем распоровшийся край платья или плохо держащаяся на коже пудра.

Она медленно ехала по городу, были тишина и мороз, и изредка было слышно, как трещал и звенел снег. Кучер сидел неподвижной глыбой на козлах, лошадь шла почти шагом; ветра почти не было, улицы были белые и пустые. Но вот, проезжая мимо Горбатого моста, за которым точно врезался в снег и низкое небо длинный фантастический ряд каменных домов, Анна Сергеевна увидела на тротуарной тумбе человека с поднятым воротником шубы. Он сидел, не шевелясь, глубоко погрузив голову в воротник и не глядя перед собой – и в первый момент ей даже показалось, что человек заснул, но потом она вдруг почувствовала, что он не спит, – и она не сумела бы объяснить, почему именно она это узнала: в позе сидящего ничего не изменилось. Странное желание взглянуть поближе на этого человека вдруг пришло в голову Анне Сергеевне. Она велела кучеру остановиться, вышла из саней и направилась к тумбе. Подходя ближе, она стала как-то неуверенно шагать и тотчас же подумала, что человек пристально смотрит на ее ноги. Она все же подошла к нему вплотную – и измененным от долгого молчания голосом спросила:

– Что вы здесь делаете?

Он поднял голову, и Анна Сергеевна широко открыла глаза: ей еще никогда не приходилось видеть такого лица. Человек был необычайно красив, с удивительно правильными чертами безукоризненно овального лица; но не это поразило Анну Сергеевну, а, скорее, выражение его – неуловимо ненормальное, почти сумасшедшее, непостижимо как не искажающее это классическое лицо.

На вопрос Анны Сергеевны он ничего не ответил, только улыбнулся и слегка пожал плечами.

– Вы не хотите отвечать? – с внезапным гневом сказала Анна Сергеевна. Тогда он посмотрел на нее с удивлением. «Может быть, он иностранец», – подумала Анна Сергеевна и сказала неуверенно:

– Да вы понимаете по-русски?

– Нет, – отчетливо ответил высокий мужской голос.

– На каком же языке вы говорите? – спросила Анна Сергеевна по-французски. – Как странно, – говорила она себе, – не говорит по-русски, сидит здесь один ночью – кто это может быть? Aventurier?[1]

– Если вы хотите говорить по-французски, я буду счастлив, – ответил он. По-французски он говорил быстро и правильно, но слишком отчетливо произнося слова и вкладывая в них ту почти неуловимую металлическую интонацию, которая всегда отличает речь француза от речи иностранца, знающего язык, может быть, лучше, чем он. Анна Сергеевна, впрочем, не обратила на это внимания.

– Что же вы здесь делаете? – повторила она.

– Я сижу и смотрю и время от времени закрываю глаза, чтобы лучше запомнить то, что я вижу. Знаете, – внезапно поднимая голос, сказал он, – не думали ли вы, глядя вокруг себя ночью в Петербурге, – не думали ли вы, что конец мира, когда он наступит, будет очень похож на это? Мне не кажется, что произойдет: катастрофа или землетрясение и потоп; нет, наши потомки будут просто замерзать и вот так же глядеть на прекрасные здания, погруженные в белизну и звон снега, как мы с вами смотрим на это сейчас. Я завтра уезжаю из Петербурга, – сказал он без всякой связи с предыдущим.

Анна Сергеевна не сразу ответила иностранцу – его голос и слова, которые он говорил, показались ей вдруг почему-то соответствующими ночной улице Петербурга, покрытой слежавшимся снегом и черными зданиями, застывшему на козлах кучеру и неподвижной лошади, казавшейся черной статуей, и всей этой странной и случайной встрече. Она молчала, задумавшись внезапно, и точно в привычном ходе ее мысли и ощущения произошла неожиданная остановка. Потом она взглянула на своего собеседника: он стоял, немного согнувшись, засунув руки в карманы, и смотрел прямо перед собой напряженными глазами, которые, казалось, втягивали в себя все, что их окружало. Странная вертикальная морщина пересекала его блестящий на морозе лоб.

[1] Авантюрист? (*фр.*)

– А что вы собираетесь делать сейчас? – спросила Анна Сергеевна. Он закашлялся, засмеялся и с улыбкой ответил:

– Я поеду к вам в гости, если вы ничего не имеете против этого. Не сердитесь на меня, – сказал он, заметив, как нахмурилась Анна Сергеевна. – Если вы не хотите этого, я пожелаю вам счастья и буду ждать здесь утра – без вас.

– Авантюрист, – подумала опять Анна Сергеевна. – Впрочем... впрочем, его можно пригласить в гости.

– Прекрасно, – сказала она. – Я приглашаю вас в гости. Теперь время не для визитов, но вы ведь завтра уезжаете, и мы с вами больше не увидимся.

– Никогда, – твердо сказал авантюрист.

– Никогда? Вы совершенно в этом уверены?

– Я это знаю. Но, впрочем, может быть, вы предпочитаете говорить об этом у вас дома. Мне очень холодно, – сказал он с неожиданной почти детской интонацией.

И они поехали. Мимо них быстро двигались дома, проехало огромное здание Инженерного замка, в стороне врезались в морозный воздух и исчезли тяжелые линии Зимнего дворца, проскользнула широкая лента льда под мостом, и, наконец, кучер остановил взмыленную лошадь перед одним из невысоких домов Сергиевской улицы.

– Мы приехали, – сказала Анна Сергеевна.

Он вылез из саней и помог ей выйти: тяжелая дверь тотчас же открылась, и они очутились в передней, где спал двенадцатилетний казачок, открыв рот и невольно изображая на детском бледном лице выражение искреннего недоумения.

– Вася, – тихо сказала Анна Сергеевна, улыбнувшись. – Вася, – повторила она, когда перепуганный казачок вскочил с узкого диванчика, на котором лежал, – чему ты, голубчик, удивился? Что тебе приснилось? А?

– Простите, матушка, – сказал мальчик неожиданно решительным голосом, – задремал.

– Ну, иди, голубчик, – ласково сказала Анна Сергеевна. – Только сними с барина шубу раньше.

– Извините меня, – сказала она опять по-французски, обратившись к авантюристу, – я сейчас. Не хотите ли пройти в гостиную?

– Экскюзэ[1], – с одобрением прошептал казачок. И потом, сняв шубу с барина, сказал уже вслух с вопросительной интонацией: – Экскюзэ?

– Да-да, – сказал авантюрист, улыбаясь и гладя мальчика по голове. – Allez[2].

Он уже сидел на диване и рассматривал быстрым и точным взглядом старинные картины на стенах, освещенные пламенем больших свечей, зажженных в гостиной, и потому казавшиеся более мрачными, нежели они были при дневном свете, – когда вошла Анна Сергеевна, оставшаяся в своем бальном, очень открытом платье. Свет свечей бежал и струился по ее плечам и груди. Она села в кресло напротив своего гостя и доверчиво сказала:

– А я вас принимала за авантюриста. Но вы авантюрист, у которого, по крайней мере, я нахожу одно достоинство: вы не похожи на других.

Теперь, когда он снял шубу, он показался похудевшим, но его красота от этого еще выиграла. На минуту Анна Сергеевна подумала, что он не похож на живого человека, что изумительное совершенство этого лица, скорее, было бы свойственно статуе или картине.

– Я думаю, что вы не очень далеки от истины, – сказал гость. – Если хотите, я – авантюрист. Но я не злоумышленник, во всяком случае.

– О, этого вы могли бы не говорить, – сказала, улыбаясь, Анна Сергеевна. – У злоумышленника такого лица быть не может. Вы очень добры, наверное. И все же в вас есть что-то неприятное, – прибавила она с беззащитной откровенностью.

Он взял ее руки, и уже это одно прикосновение, с неуловимой быстротой распространившееся по всей коже Анны Сергеевны, сразу заставило ее почувствовать необъяснимую власть авантюриста над ней. У нее даже

[1] – Извините (*фр.*).

[2] Здесь: вперед (*фр.*).

несколько изменилось лицо, приняв на секунду искаженное и несвойственное напряженное выражение.

– Какая прекрасная гибкость восприятия, – медленно и точно про себя сказал авантюрист. – Как хорошо. У вас чисто русская кровь в жилах? – спросил он. – Я бы этому очень удивился. Я вижу какую-то темную полосу.

У вас в роду все русские?

– Нет, – сказала Анна Сергеевна, удивившись, – нет. Мой дед – сын норвежца и итальянки.

– Это самое исступленное соединение, – сказал гость. – Самые исступленные – норвежцы. Но вы всегда жили в России?

– Всегда.

– Я видел одну женщину, очень похожую на вас, – это было несколько лет тому назад. Но она была ирландка. Вы любите Ирландию?

– Я никогда не была в Ирландии.

– Но, может быть, вы любите Англию?

– Я никогда не была в Англии.

– Но ведь вовсе не необходимо быть в какой-нибудь стране, чтобы любить или не любить ее. Уверяю вас, что я любил Филиппинские острова, и Сан-Франциско, и Лондон до того, как мне удалось там побывать. И я очень люблю Париж, которого никогда не видел.

– Как? Разве вы не француз?

– Нет, – сказал гость, улыбаясь. – Я не француз. Я американец.

– Американец? – с удивлением повторила Анна Сергеевна. – Это совершенно на вас не похоже. Как ваше имя?

Авантюрист не сразу ответил.

– Меня зовут Эдгар, – сказал он. – Эдгар Аллан По.

– Вы не похожи на негоцианта, – сказала Анна Сергеевна. – Ни тем более на колонизатора.

– Я не колонизатор и не негоциант. Я – только не пугайтесь – поэт.

– Что же вы делаете здесь, в России?

– Вы уже забыли, что я авантюрист, – сказал Эдгар, улыбнувшись. – Авантюрист бывает всюду, на то он и

авантюрист. Я не очень хорошо знаю, зачем я приехал в Россию. Но, во всяком случае, я буду искренне жалеть, что через несколько часов я ее покину и не смогу больше разговаривать с вами.

– Вы пишете стихи? В России вам нечего делать, у нас нет поэзии. Французы лучше.

– Я не нахожу, – сказал Эдгар. – Французы, по-моему, плохие поэты.

– Как? А Корнель? А Расин? А Ронсар? А Буало?

– Из них всех один Ронсар еще немного похож на поэта. Остальные – не поэты, это ошибка. Они или подражатели, или чиновники. Я, впрочем, и Ронсара не люблю.

– Кого же вы любите?

– Франсуа Вийона, – быстро сказал Эдгар. – И Алена Шартье. Он неудачный, может быть, поэт, но замечательный человек.

– Я всегда завидовала поэтам, – сказала Анна Сергеевна. Но, взглянув на собеседника, она увидела, как потемнело и нахмурилось его прекрасное лицо, как сощурились и потухли его глаза и как губы его свела такая быстрая и ужасная судорога, что она невольно испугалась и вспомнила, что с первого же взгляда она заметила в его лице что-то сумасшедшее.

– Пусть Бог, – медленно сказал Эдгар, – пусть Бог сжалится над вами, если вы когда-нибудь почувствуете себя во власти призраков, и крыльев, и неумолимых глаз. И этого лица, – он говорил, как в бреду, – от которого вы никуда не уйдете. И этого знания, которое заставит вас заметить нелепость судорог матери у трупа своего сына, смешные движения умирающего и неправильность расположения сосков у женщины в ту минуту, когда она становится матерью моего ребенка.

Он замолчал, потом снова заговорил с той же жалобной интонацией, которая прозвучала в его голосе, когда он жаловался, что ему холодно.

– Пусть мне дадут спокойно умереть. Я больше не могу. Я никогда не отдыхаю – и вот уже много лет все вращается передо мною, и пропадает, и опять появляется –

люди, предметы, страны; а ночью я вижу сны и во сне свой труп на земле.

Она молчала, не зная что сказать этому странному человеку.

– Затем, – продолжал он, – я слишком много знаю и неумеренно много чувствую. Я вижу сквозь непрозрачные предметы, я слышу звуки скрипки в футляре и звон неподвижных колоколов. Вам это кажется странным?

– Да. Но уверены ли вы, что вы всегда видите и слышите то, о чем говорите?

– Всегда, – с отчаянием сказал он. – Дайте мне вашу руку.

Анна Сергеевна протянула ему руку. Пальцы ее дрожали. У Эдгара была холодная и неподвижная рука, и на этот раз Анна Сергеевна не вздрогнула от его прикосновения. Но по мере того, как ее горячие маленькие пальцы все дольше держали руку Эдгара, пальцы авантюриста становились вновь теплыми и живыми. Тусклые глаза его, глядевшие в сторону, постепенно оживлялись.

– Я скажу вам одну только вещь, чтобы доказать, что я не фантазирую и не ошибаюсь, – сказал Эдгар. – Я вижу у вас с левой стороны груди почти над сердцем, чуть-чуть ниже, белый шрам. Откуда он у вас?

Анна Сергеевна, знавшая, что Эдгар не мог видеть шрама, вздрогнула.

– Это оттого, – сказала она упавшим голосом и опять побледнев, – что я еще девочкой ранила себя, споткнувшись о крыльцо и наткнувшись грудью на острую железную скобку, о которую вытирают сапоги, когда бывает грязь или снег. Но неужели вы это видите?

– Вижу, – уныло сказал Эдгар. – Я вижу еще одно: у вас скоро будет ребенок.

– Это неправда, – сказала Анна Сергеевна, покрасневшая, как девушка.

– Моя дорогая, – сказал авантюрист изменившимся голосом, который показался Анне Сергеевне бесконечно давно знакомым, – не поймите меня плохо. Я знаю, что вы живете сейчас одна. Нет, я говорю не так и не потому, как вы сначала подумали. Но всякое событие, прежде чем

оно происходит в действительности, уже существует. Так в этой комнате уже существует рождение вашего ребенка, которое я вижу еще и потому, что в ваших жилах слишком густа и горяча кровь. Здесь существует сейчас моя смерть, и в небольшом пространстве, которое мы с вами видим вокруг нас, помещается целый город Америки или Англии, где я умру. Скорее, впрочем, Америки, так это далеко от нас. Почему вы не удивляетесь памяти? Память – это зрение, обращенное назад. Но ведь есть люди, которых Бог поместил впереди их жизни. Представьте себе, что вы стоите где-то далеко, на краю длинной дорожки, которую освещают факелом. Огненное знамя приближается к вам, оно освещает по пути города, в которых вы будете жить, лица людей, которых вы увидите, тела женщин, которых вы будете любить. Потом в последнюю минуту оно осветит черный океан, в который вы погрузитесь навсегда; красное пламя обожжет вам лицо и грудь, и вы умрете.

Он остановился. Оплывали свечи в гостиной, дрожащие тени бежали по потолку; за окнами было холодно и темно. Анна Сергеевна вспомнила, как, будучи маленькой девочкой и лежа в кровати, она свертывалась под одеялом, укрывалась с головой и воображала, будто это ее пещера, или большое гнездо, или берлога, где она недосягаема для всех и где ее маленькое тело обволакивает сладкое тепло. Это чувство, изменившееся с годами, все же всегда оставалось в ней; оно бывало особенно ощутительно тогда, когда на дворе была осень и шел холодный дождь или была метель, а Анна Сергеевна сидела перед пылающими дровами и чувствовала себя далекой от всех несчастий и бед, в тепле и спокойствии. Теперь же, сидя против замолчавшего Эдгара, она почувствовала внезапный холод, точно в комнату, такую недосягаемую до сих пор, вошли извне холодные камни чужих городов, ледяное дыхание замерзающей земли и точно тут, рядом с ней, лежало застывшее тело с мертвым и прекрасным лицом.

– Как странно, – сказала она, – как все это странно. Я никогда не думала, что на свете может существовать такой человек. Даже в Америке.

– Почему вы такой? – спросила она. – Не удивляйтесь моей наивности. Я не нахожу сейчас других слов.

– Я не знаю почему, – сказал Эдгар. – Я знаю, что в глазах всех знающих меня я только бродяга и сумасшедший. Я учился в Англии, я был военным, я знаю несколько языков, я силен и здоров – и мне кажется, что нет вещей, которых я не понимаю. Когда со мной говорят незнакомые люди, я знаю, что они скажут; я вижу всегда – умрет ли этот прохожий насильственной смертью или у себя дома; я узнаю шулера до того, как он возьмет карты в руки, и вора, который вдалеке пройдет по улице. Я знаю, как и почему женщина, с которой я говорю, будет меня любить и почему потом она будет плакать. Я слышу звон снега и слова, которые еще не произнесли, но сейчас произнесут; я угадываю с закрытыми глазами, находится ли в доме, куда я вошел в первый раз, мужчина или женщина; я чувствую, как тяжелым облаком летит в воздухе война, о которой еще никто не думает; и, сидя в Лондоне, я слышу, как трещит и содрогается корабль, который сейчас пойдет ко дну в середине Тихого океана. Но я не знаю, почему я обречен этим мучениям и в силу какого страшного закона я живу, окруженный десятком смертей в день.

Вспоминая потом об этом разговоре и о том, что случилось затем, Анна Сергеевна всегда испытывала тоску и стеснение в груди, как будто бы дорогой и близкий ей человек находился в смертельной опасности. Она подошла к авантюристу, села рядом с ним и начала гладить его волосы.

– Бедный Эдгар, – бормотала она, – бедный Эдгар!

Он не сделал больше ни одного движения. Его голова лежала на ее теплом плече.

Из дальней комнаты прокуковала кукушка, и все опять стало тихо. Голова Эдгара не шевелилась, глаза его были закрыты; но по тому, что сзади на стене, находившейся против спины Анны Сергеевны и которую она не могла видеть, еще стояла, как ей казалось, живая и настороженная тень, – она знала, что он не спит.

Перед закрытыми глазами Эдгара текла широкая спокойная река. Далекие чужие голоса перекликались

над ней, быстрое шуршание воды и бульканье играющей рыбы дополняли эти звуки. Река текла, и расширялась, и меняла цвет; вот она огибает желтый берег с едва виднеющимися вдали маленькими хижинами и становится мутной и серой; затем она синеет, как сталь на огне, проходя мимо невысокого замка, окруженного деревьями. – Это Рейн, – думает Эдгар.

И вот вдалеке, там, где река сливается с океаном, в приморском холодном тумане возникает гигантская фигура, держащая в руке пылающий факел. Река приближается к нему: и перед глазами Эдгара освещается широкая полоса воздуха, в которой бешено раскачиваются черные сломанные мачты и разорванные паруса; и, непостижимо держась на воздухе и не падая вниз, вьются призраки и трепещут крылья; и на воздушных волнах равномерно качается как будто заснувшее, но страшное и живое лицо, которое давно преследует Эдгара и медленно следует на ним – за кораблями и экипажами, через Англию, и Шотландию, и Россию, – для которого, как для него, не существует ни смерти, ни опасности, ни расстояний.

– Я еще не твой, – медленно и гневно сказал Эдгар по-английски. – Я еще не твой.

И тогда он вспомнил о руке, которая не переставала гладить его. Он взял ее и поцеловал, потом положил опять на свои волосы, опустил голову, и Анне Сергеевне показалось, что он заснул. Она заглянула ему в лицо. Он спал спокойно, грудь его равномерно поднималась и опускалась: длинные ресницы бросали тень на его белое неподвижное лицо, и только в левом углу губ не успел еще лопнуть маленький пузырек нежно-розовой пены.

6 мая 1930 г.

БИОГРАФИЯ

Вчера, наконец, умерла проститутка, жившая через улицу от меня, в противоположном окне, на котором теперь черные занавески; черные занавески распорядилась повесить хозяйка гостиницы, традиционная женщина из породы печальных дур. К ней же перешло имущество покойной; и теперь граммофон, который играл раньше на четвертом этаже, играет на втором, в ее комнате. По-прежнему хрипят эти парижские арии и мне представляются те люди с гладкими лицами или пожилые певицы с подведенными глазами – отцы и матери семейств; они поют чудовищно пошлые вещи и раскрывают рты от удовольствия.

Эта женщина, которая, к облегчению всех, кто ее знал, уже похоронена на загородном кладбище, в глиняной неглубокой могиле, умирала довольно долго, около трех месяцев. На днях, наверное, приедут ее родители, загорелые овернские крестьяне в смешных деревенских костюмах; через гремящие улицы они доберутся до предместья, и постоят, как полагается, у могилы, потом придут к хозяйке гостиницы, где жила их дочь, на поминки, выпьют красного вина – и опять уедут к себе в деревню, работать.

Жизнь моей соседки была очень проста. Соседка перестала хрипло смеяться только незадолго до смерти. Это была обыкновенная проститутка, лет двадцати пяти, с красными руками, короткими пальцами, почти без ногтей, узловатыми мускулами на крепких крестьянских ногах, очень сильно раскрашенным лицом и резким голосом. Жила она несложно, никогда ни о чем не думала, читала романы с цветными обложками, штопала себе чулки, носила плохие платья и вообще существовала так, как ей подсказывали инстинкт и необходимость. Она

ничему не училась, но известные эстетические потребности ей были свойственны; на руках у нее болтались зеленые роговые браслеты со стеклышками, в ушах висели серьги из легкого дутого золота. Комнату свою она украсила как умела: три женских портрета с английских гравюр – один повешен прямо, два вкось, вправо и влево; три картины какого-то не то что неизвестного художника, а просто частного человека, которому вдруг пришла в голову мысль нарисовать озеро, лодку и деревья – и он действительно нарисовал; несколько фигурок из раскрашенного гипса – негритянка, мопс, голая женщина с глубоким воронкообразным пупком; такие фигурки продаются на улицах и в парфюмерных магазинах.

Судьбой своей эта женщина была вполне довольна, работой своей горда; она искренно презирала, например, людей, принужденных десять часов в день проводить на фабрике: они больше уставали и меньше зарабатывали. Она же с удовольствием сознавала, что вот, живет в гостинице, платит двести франков за комнату, может купить в рассрочку граммофон и курить дорогие, по ее понятиям, папиросы – и никогда не берет меньше двадцати франков; разве, что если сильный дождь и вообще плохая работа. Никакого мира, кроме того, в котором она жила, она не знала, никуда не ходила, днем сидела у окна и ругалась с рыбным торговцем, одним из ее постоянных клиентов. Слов она знала довольно много, потому, что читала романы, но в разговорах ей приходилось употреблять их не больше сотни – и то из этой сотни, слов пятьдесят были нецензурными, – но разницы между цензурными и нецензурными выражениями она не понимала. Все, что выходило за пределы ее знаний, она считала ненормальным, но ненормальное встречалось редко, так как все ее знакомые были такими же, как она. Мысль о том, что ее ремесло в известном смысле унизительнее других, была ей совершенно чужда; никакого несчастья для нее в этом не было и относилась она к этому спокойно и добросовестно: работа, как работа.

Единственные соображения, которые ее огорчали, были расточительность ее сутенера и постоянное злоб-

ное соперничество другой проститутки, жившей на той же улице. Сутенер ей, собственно, нужен не был, но здесь она подчинялась известной тротуарной этике, которая накладывала на нее обязательство иметь сутенера. Он был похож на всех других сутенеров; стриженый затылок, бритое лицо, яркий галстук, новенькая кепка и двухцветные туфли.

Он любил выпить, но бил ее довольно редко. Однажды она дала ему пятьдесят франков; он должен был купить папирос и принести сдачу. Но он пропадал три часа, затем пришел и сказал, что истратил все деньги; она долго не верила, потом убедилась, что это правда, и рыдала два дня.

Со своей соперницей она ежедневно ругалась, придумывая заранее самые злые выражения, самые чудовищные оскорбления, потом эти женщины начинали драться, кусались и вырывали друг другу волосы. Иногда они мирились и тогда ночевали в одной комнате, но скоро опять ссорились.

Но вот она заболела; она держалась на ногах до последних сил. Наконец она слегла, и печальная дура, хозяйка гостиницы, пригласила доктора, который выслушал больную и заявил, что дело обстоит очень плохо: скоротечная чахотка. Хозяйка пошла наверх и сказала:

– Доктор говорит, что ты умрешь, потому, что у тебя чахотка.

– Неправда?

– Он мне это сказал.

Тогда проститутка начала потихоньку плакать – но не так, например, как тогда, когда ее сутенер истратил пятьдесят франков.

Ее соперница пришла в гости к хозяйке гостиницы и разговаривала с ней на улице, стараясь говорить, как можно громче, чтобы больная услышала через открытое окно:

– Скажите, мадам, это она плачет? Правда, что она умирает?

– Не знаю.

– Я надеюсь. Эй? – закричала она, подняв голову. – Почему ты не смеешься?

– Сволочь! – хрипло донеслось сверху.

Соперница приходила каждый день и кричала:

– Когда ты умрешь?

– Ты подохнешь раньше! – отвечала больная; но в этом, конечно, была не права. Она все больше и больше ослабевала. Она уже не вставала с кровати: сутенер ее бросил, сказав, что не может возиться с такой грязной женщиной, которая не хочет даже подняться, чтобы выйти на минуту из комнаты.

– Я не могу переносить такой грязи, – сказал сутенер. – И потом, у меня нет денег, мне надо жить.

Проститутка лежала целыми днями одна; изредка приходила хозяйка, снимала ее с кровати, меняла простыни и каждый раз при этом говорила:

– Ты знаешь, сколько мне стоит твое белье?

Больная почти ничего не ела; раз в день ей приносили бульон. Пол у ее кровати был покрыт кровавыми плевками.

Она не понимала, что такое смерть, хотя чувствовала ее приближение. Она с трудом думала об этом; и однажды, поняв, что это совершенно неизбежно и что никакие силы не могут ее спасти от смерти, опять заплакала, потому что иначе выражать свои чувства не умела: но так как плакать ей было больно, то она перестала всхлипывать и успокоилась.

Положение ее было безнадежно: можно было считать, что она уже умерла; почти ничего человеческого в ней не осталось; и когда она на короткое время засыпала, то нижняя челюсть ее беспомощно отвисала, как у трупа, и так же, как у трупа, чернела гортань. Отвратительный запах стоял в ее комнате, так как никто за ней не ухаживал и никто не заботился о чистоте; и ветер медленно колыхал на ее окнах грязные кружевные занавески.

Но все-таки она еще проявляла признаки жизни и даже старалась думать. И однажды, когда к ней пришла хозяйка, она прохрипела:

– Вы знаете, мадам, я понимаю, что такое душа.

– Ты думаешь? – недоверчиво спросила хозяйка.

– Да. Душа, это такая маленькая вещь, которая не болит, но страдает.

Это было высшее напряжение мысли, на которое она была способна.

– Возможно, – сказала хозяйка. – Я никогда об этом не думала. Когда у человека на руках целая гостиница, то у него много работы и мало времени.

– Вы правы, – вежливо хрипела больная.

– Это верно.

Особенно скверно умирающая чувствовала себя по вечерам. В окнах становилось темно. Внизу над тротуарами чернели железные сетки на светлых стеклах публичных домов, за углом катились трамваи, и дождь струился и блестел, и шумел в высоте. Соперница больной очень хорошо работала, потому, что все клиенты этой улицы теперь перешли к ней. Больная знала это и последним ее чувством была бессильная зависть к подруге.

Больная умирала: глаза ее скользили по комнате. Все так же стояли глупые гипсовые фигурки на камине, улыбались белокурые англичанки на гравюрах и человек с веслом плыл в лодке по озеру мимо зеленых деревьев. Живот больной свистел и вздувался, почерневшие руки с грязными ногтями неподвижно лежали на кровати, как посторонние и ненужные предметы, пот выступал на лице и высыхал, оставляя кисловатый запах. Наконец, живот поднялся в последний раз со страшным хрипом и свистом; (последние дни своей жизни больная дышала животом, так как легких у нее почти не оставалось). Больная захрипела – и по страшному вопросительному тону этого звука, уже нечеловеческого, можно было понять, что она умерла: в комнате, однако, никого не было.

Ее увозили на катафалке и смешной субъект в цилиндре сидел на высоких козлах и строил гримасы прохожим. Я смотрел на это сверху, из моего окна, и сокрушался о том, что так страшно и скучно умирать; и что на

медленной дороге к смерти, которую представляет из себя человеческое существование, праздно и тяжело влачатся проститутки, носительницы древних традиций – влачатся и умирают: и могильные газы свистят под жирной почвой кладбищ и слепые, белые червяки ползут по гниющему мясу – и живут в спокойной темноте положенное им время и потом тоже перестают жить и земля наливается соком и идет пузырями.

10.V.1928.
Париж

ПЛЕННИК

В России была гражданская война.

Тыловой отряд правительственных войск занимал маленькую деревню; стояли сильные морозы, и над снегом беспрерывно вилась острая ледяная пыль. На снегу чернели лохматые лошади; посиневшие от холода солдаты заводили их в раскрытые ворота деревенских дворов. Когда лошади и люди были размещены и солдаты заснули в душных избах, в поле за деревней показался всадник, гнавший перед собой человека без шубы. Пленный был одет в штатский костюм с выглаженными брюками, которые казались особенно удивительными в этой морозной российской глуши, в этой средневековой обстановке. Он сильно размахивал на ходу правой рукой; левая его рука неподвижно и безжизненно была опущена вдоль тела. Они приблизились к самой большой избе; всадник слез с лошади, упер дуло винтовки в спину пленного и толкнул дверь. Войдя, они увидели молодого офицера, на коленях которого сидела крестьянка с красно-сизыми щеками. Она нехотя поднялась при виде новых людей. Тот, который привел человека в штатском, поставил винтовку в угол, подул себе на пальцы и сказал:

– Очень холодно. Примите в ваше распоряжение пленного.

И он протянул кусок бумаги, на котором было написано карандашом:

«В штаб отряда сил доставляю арестованного за пропаганду при аресте смеялся очень опасный согласно декрету приговариваю к высшей мере завтра утром взводный Свистков!»

– Что это за Свистков? – спросил офицер.

Человек, который привел пленного, казался удивленным.

– Я Свистков! – сказал он.

– Это ты бумагу писал?

– Я, – сказал Свистков, презрительно улыбаясь.

– И приговор?

– И приговор, – сказал Свистков, удивляясь непонятливости офицера.

– Ты, Свистков, дура.

– Не имеете права, – бойко ответил Свистков.

Офицер взглянул на пленного. Тот сидел на скамейке, вытянув ноги и засунув правую руку в карман; он смеялся и веселыми глазами посматривал то на офицера, то на Свисткова.

Офицер, казалось, думал о чем-то. Потом он твердо сказал, обращаясь к Свисткову:

– Пошел вон. Придешь в полк, скажешь своему начальнику: в штабе говорят, чтобы таких идиотов больше не посылали. Понял?

– Понял, – ответил Свистков и, спохватившись, нерешительно прибавил:

– Не имеете права, гражданин.

– Пошел вон, болван! – закричал офицер.

Свистков крякнул, взял свою винтовку и вышел. На крыльце он постоял некоторое время, раздумывая о том, какой плохой офицер ему попался, потом злобно ткнул лошадь коленом в живот, вскарабкался на седло, разобрал поводья и зачмокал губами. От этой привычки он, несмотря на издевательства и насмешки, которым из-за нее подвергался, никак не мог отучиться, потому что до своего поступления в красную кавалерию он служил в ассенизационном обозе.

* * *

Офицер осмотрел пленного с головы до ног. Пленный был высокий худой человек с впалыми щеками, бледным ртом и тонкими преступными бровями, которые не сходились на переносице, а поднимались вверх ко лбу, и при скудном свете керосиновой горелки, чадившей в избе, они казались дурно нарисованными каким-нибудь провинциальным гримером. Офицер рассматривал лицо пленного и

насмешливо улыбался; пленный сидел с опущенными глазами. Потом он сразу широко раскрыл их и устремил на офицера – и тот сейчас же перестал улыбаться. В выражении этих внезапно раскрывшихся глаз не было ни гнева, ни угрозы; но в них стояло выражение такого презрительного сознания своего превосходства, что офицер покраснел от злости. Но глаза пленного вдруг смягчились, и офицер опять улыбнулся. Пленник покачал головой – и офицер бессознательно повторил его движение. И когда он поймал себя на мысли о том, что эти несколько секунд он находился под властью пленного, и сделал над собой усилие, стараясь вновь обрести свою самостоятельность, он увидел, что пленник опять смеется так же весело и добродушно, как смеялся в ту минуту, когда офицер сказал Свисткову – пошел вон... И он не знал, действительно ли что-то произошло или ему просто показалось. Он сказал пленнику с досадой:

– Я не знаю, гражданин, чему вы смеетесь. Могу вам обещать, во всяком случае, что завтра вам смеяться уже не придется.

Брови пленника поднялись и опустились.

– Вы напрасно двигаете бровями, – сказал офицер. Но брови опять пошевелились. Потом пленный отвернулся и рассеянно произнес:

– У вас очень гладкий лоб, молодой человек. Вы мало думаете. Вы всегда готовились к военной карьере?

– Это вас не касается.

– Не имею права? – спросил пленный, смеясь.

– Мы поговорим завтра утром.

Офицер подошел к двери, открыл ее и закричал в морозную глухую темноту:

– Тарасов!

Затрещал снег под грузными шагами, и к раскрытой двери подошел красногвардеец маленького роста. Гигантский маузер болтался на его поясе, доходя ему почти до колен. На груди у него висели две бомбы, за плечом торчала винтовка. Полушубок его был обернут двумя скрещивающимися пулеметными лентами.

– Пленный под твою ответственность, Тарасов. Если он попробует уйти, стреляй.

– Слушаю, – сказал Тарасов и вошел в избу.

– Ты бы еще пулемет с собой захватил, – насмешливо сказал пленный, поглядев на Тарасова. – Где ты такой револьвер достал? Это, брат, пушка, а не револьвер. Что он у вас – передвижной арсенал? – обратился он к офицеру. Офицер не ответил.

Пленник проявил внезапную словоохотливость. Он расспросил Тарасова, из какой тот губернии, как жена и дети и отчего он такой маленький.

– Мало за уши драли, оттого и маленький, – ответил Тарасов.

Потом пленный начал скучать. Офицер в это время забрался на полати, в темный угол избы; оттуда слышались взвизгивания крестьянки и ее тихий смех. Пленный подмигнул Тарасову; Тарасов произвел какой-то странный звук, похожий на всхлипывание.

– Сиди веселей, дурак! – крикнул на него пленный. Затем он начал пристально смотреть на солдата. Тот мигал глазами, дергал головой и вдруг, выронив винтовку, опустился вниз, обмяк и заснул. Пленный продолжал смотреть на него еще несколько секунд. Потом он громко сказал, повернувшись в сторону полатей:

– Товарищ офицер, ваш солдат заболел сонной болезнью...

* * *

Офицер долго тряс Тарасова, бил его по щекам, лил на него воду, но ничто не помогало. Помертвевшее бледное лицо солдата с веснушками на носу и маленькими белыми усами оставалось неподвижным. Он ровно дышал и спал глубоким сном.

– Дрянь солдаты у вас, – сочувственно сказал пленный.

– До рассвета недалеко, – сказал офицер, не отвечая. – Я дождусь утра вместе с вами.

– Милости просим, – сказал пленный, точно приглашая офицера зайти к нему в гости. – Впрочем, до рассвета я здесь не пробуду: через час мне нужно идти.

Офицер посмотрел на него с изумлением.

– Я мог бы уйти сейчас, – спокойно продолжал пленный, – но мне еще рано. Посидим немного, поболтаем.

Офицер схватил его за плечи.

– Что вы сделали с Тарасовым?

– Ничего. Он спит.

– Почему он заснул?

– Я не могу отвечать за ваших солдат. В избе тепло, он согрелся и заснул, что же тут удивительного?

– Вы вот не заснули...

– Я вообще сплю часа два в сутки, не больше.

Вдруг офицеру показалось, что плечо пленного сделано из дерева. Он пощупал левую руку ниже плеча: рука была деревянной.

– Вы инвалид?

– У меня нет левой руки.

– Нет левой руки! – пробормотал офицер с изумлением.

Пленный смотрел в сторону. Шипели сырые дрова в печке; на полатях фыркала и сморкалась крестьянка – не то она плакала, не то смеялась, – и офицеру стала казаться невероятной эта хрустящая от мороза ночь, и медленное пламя в печке, и всхлипывающая женщина в углу, и длинная фигура пленного с деревянной рукой и такими неправдоподобными, нарисованными бровями. Откуда-то издалека донесся тихий протяжный звон и остановился в ушах офицера; и ему почудилось, точно он, и изба, и пленный – все это медленно двигается, едет и покачивается на ходу; или, может быть, это в ночной темноте тихо вздрагивает и колеблется огромная тяжесть вращающейся земли? Он опустился на табурет и тотчас закрыл глаза. Ему приснилось, что он стоит и бросает деньги в пропасть; вот блестит в воздухе золотая монета, ему становится жаль терять ее, и он кидается вслед за ней и долго летит вниз, глядя неподвижными глазами на мрачные стены бездны;

и, наконец, останавливается, ударившись обо что-то плечом.

Он проснулся и увидел те же необыкновенные брови пленного, которые видел, засыпая.

– Не спите, – сказал пленник. – Тут, я вижу, у вас просто эпидемия какая-то.

– Эпидемия... – пробормотал офицер. – Эпидемия...

– Как тиф, – сказал пленный.

– Тиф... – подумал офицер и мутно увидел грязных тифозных в почерневшем белье: у них были открытые темные рты и дикие глаза. – Я, наверное, заболеваю тифом.

– Очень возможно, – произнес голос пленника. – Очень возможно, что сонная болезнь, в конце концов, дойдет и до России. В этом нет ничего невероятного. Эй, вы, не спите! – закричал он офицеру.

Офицер с усилием открыл глаза и закурил папиросу. Он постепенно приходил в себя.

– Почему вы говорили, – спросил он пленного, – что вы через час уйдете?

– Потому что я действительно уйду.

– Но ведь я застрелю вас.

Пленный улыбнулся:

– Нет, не попадете.

– Как? На таком расстоянии?

– Да.

Теперь улыбнулся офицер.

– Хотите попробовать? – спросил пленный.

– Пожалуйста.

Пленный встал и отошел на несколько шагов. Офицер навел на него револьвер.

– Вы сделаете четыре выстрела, – сказал пленный. – Если вы промахнетесь все четыре раза, я считаю себя вправе уйти. Идет?

– Идет, – ответил офицер.

Дуло револьвера было на уровне груди пленного. Нажимая курок, офицер встретил неподвижный взгляд черных глаз... Револьвер дал осечку.

– Не считается, – сказал пленник.

– Почему? Пусть считается. У меня остается еще три выстрела.

– Хорошо. Значит, каждая осечка тоже считается?

– Конечно.

Офицеру снова захотелось спать. Он пересилил себя, опять взвел курок и прицелился. Мушка револьвера прямо глядела в лоб пленного. Он нажал собачку. Выстрела не последовало; второй раз его прекрасный револьвер дал осечку.

– Невероятно! – забормотал офицер. Он направил дуло вниз, дернул за курок, и тотчас оглушительный шум наполнил избу: пуля пробила пол, серое облачко выстрела едва не потушило керосиновую лампу на столе. К дверям избы на шум стрельбы прибежало несколько солдат в нижнем белье. Они дрожали от холода и прыгали на снегу.

– Револьвер пробую, идите спать, – сказал им вышедший офицер. Все опять успокоилось.

– Остается два выстрела, – напомнил пленный.

Туман застелил глаза офицеру; ему так хотелось спать, что он едва не дремал стоя.

Снова рука с револьвером поднялась в воздух. Пленный прямо смотрел на офицера: офицер целился в грудь.

И в третий раз револьвер дал осечку.

– Колдовство, – сонно сказал офицер. – Это колдовство.

Наконец, в четвертый раз, револьвер дернулся в руке офицера, и раздался выстрел. Офицер вздохнул и закрыл глаза: с пленным было покончено. Но когда он посмотрел в том направлении, куда стрелял, он увидел прямую высокую фигуру, не сдвинувшуюся с места.

– С пяти шагов попасть не можете, – насмешливо заметил пленный. – Ну, представление окончено. Через десять минут я вас покидаю.

– Вы не уйдете... – нерешительно сказал офицер.

Пленный махнул рукой:

– Сядьте, отдохните немного. Вы, должно быть, устали от стрельбы.

Они сели – и офицер заснул, не успев закрыть рта. С полатей слышалось равномерное дыхание крестьянки.

Тарасов, почти сползший с табуретки, спал, вися в воздухе и покачиваясь.

– Сонное царство, – пробормотал пленный. Потом он открыл завизжавшую дверь и вышел.

Офицер проснулся через пять минут. Пленного не было.

Тогда он вскочил с места, вытащил из кобуры Тарасова маузер и выбежал из избы. Фигура пленного чернела уже довольно далеко. Начинался рассвет; снежная пыль взвивалась над дорогой.

Офицер бежал за пленным, не чувствуя холода. Ноги его дрожали, он падал и опять поднимался. В снежной пыли перед ним мелькала узкая спина пленника.

Он выстрелил; пуля зарылась в снег возле правой ноги человека в штатском и тотчас же в деревне завыла собака. На душе офицера сразу стало тревожно и нехорошо. Пленный обернулся.

– Стой! – хотел крикнуть офицер – и не мог. Холодный револьвер прилип к его пальцам.

Теперь пленный шел навстречу офицеру. Правая рука его была засунута в карман.

Офицер с ужасом заметил, что левая, деревянная, рука пленного не была более неподвижной. Офицер не мог пошевельнуться; он молча стоял на снегу, опустив ненужный револьвер и чувствуя, что сейчас произойдет что-то страшное.

Он дернул головой. Деревянный кулак пленного ударил его два раза по лицу; он упал ничком в снег и остался лежать неподвижно.

Размахивая правой рукой и делая большие шаги, пленник уходил все дальше и дальше в поле – пока снег не скрыл его совершенно.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

ЗАМЕТКИ ОБ ЭДГАРЕ ПО, ГОГОЛЕ И МОПАССАНЕ

Есть писатели, которых судьба не представляет ничего замечательного; и нам трудно бывает в таких случаях предположить существование непосредственной зависимости между личностью художника и его искусством, и столь же трудно – определить степень психического напряжения и соответствующую ей глубину эмоциональной тональности тех или иных произведений. Зато нет ничего легче, чем проследить этапы литературного развития такого писателя и побуждения, толкнувшие его на путь именно литературной работы: чаще всего эти причины носят характер общественной необходимости. Писатели такого рода почти всегда пользуются успехом, тираж их книг бывает высок; их романы, рассказы, пьесы и стихи, собственно, и составляют большую литературу современной им эпохи.

Они не всегда непременно плохи, среди них попадаются очень талантливые люди; но надо раз навсегда усвоить, что все это литературное производство не имеет ни малейшего отношения к искусству – да и подчиняется совершенно иным требованиям и законам. Для широкой публики этот вопрос еще иногда кажется спорным.

К категории этих писателей, чрезвычайно многочисленных, принадлежат некоторые из наиболее знаменитых: во французской литературе Золя, Виктор Гюго, в русской – Некрасов, Тургенев. Не приходится и говорить о том, что нынешняя русская беллетристика чрезвычайно богата людьми этого второсортного «искусства»: перечень их имен занял бы целую страницу. Равным образом в нынешней французской литературе, за исключением четырех-пяти писателей, других, занимающихся искусством, не существует вовсе. Было бы ошибочно, мне

Заказ 3235

кажется, считать это «знамением времени»; как будто бы так было всегда – и мы можем совершенно объективно установить, что помимо немногочисленных великих писателей, которых публика читает потому, что ей это ежедневно внушается критикой (отчасти поэтому, отчасти в силу любопытного социологического закона подражания; люди с низкой культурой подражают вкусам людей более культурных), – наибольшей популярностью всегда пользовались и пользуются авторы невежественные и неталантливые, люди потрясающего духовного убожества, редкого даже среди неграмотных: Маргерит, Декобра; популярность писателя обратно пропорциональна его близости к искусству; а в тех случаях, когда известность достается настоящему, творческому таланту, это объясняется недоразумением: таковы примеры Марселя Пруста, Достоевского, Мопассана, из многочисленных почитателей которых едва ли одна десятая часть «ведает, что творит».

Достоевский испытал переживания осужденного на смерть и ужасные эпилептические припадки; Гоголь был снедаем тем беспрерывным духовным недугом, который довел его до безумия; Мопассан, записавший в «Le Horla»[1] мысли сумасшедшего, собственно, вел дневник своей же болезни; Эдгар По провел всю свою жизнь точно в бреду.

Этот американец, скитавшийся из одной страны в другую, был подобран в бессознательном состоянии на дороге и умер на казенной койке госпиталя; и обстоятельства его смерти, при всей их банальности, страшны и убедительны. В его судьбе есть много общего с судьбой Франсуа Вийона; и подробной биографии Эдгара По до сих пор не существует. Остается, например, совершенно неизвестным, что он делал с 1826 по 1829 год; мы знаем только одно: прожив некоторое время в России, он вынужден был спешно покинуть Петербург, «будучи замешан в чрезвычайно темном и скверном деле, он должен был искать защиты у американского посла, который дал ему возмож-

[1] «Орля» (*фр.*).

ность ускользнуть от правосудия и уехать в Америку», – как сообщает один из его французских биографов Альфонс Сэпэ.

В смерти каждого большого человека есть всегда нечто кощунственное: достаточно напомнить пример Вольтера или Мопассана. Но кончина Эдгара По даже по сравнению с этими случаями представляется особенно ужасной. Он умирал в пустоте, совершенно один – так же, как и жил – умирал от нищеты и истощения. Официальный рапорт врача гласит: «Больной умер от необычайного нервного возбуждения, вызванного лишениями и усиленного долговременным пребыванием на холоде»[1].

Умирая, он говорил: «Своды неба давят меня. Пропустите меня...»

«Я убил самого себя, я вижу гавань на той стороне пропасти... Огненный корабль, медное море!..»

«Эдгар По был очень красив. Черты его лица казались искусно выточенными, лоб был высок и широк: его пропорции соответствовали в точности пропорциям черепа Наполеона!..»

Искусство фантастического возникло после того, как люди, его создавшие, сумели преодолеть сопротивление непосредственного существования в мире раз навсегда определенных понятий, предметов и нормальных человеческих представлений. Эти представления настолько тяжелы, что их можно уподобить вещам материального порядка: и среднее человеческое воображение резко ограничено их узким кругом. Для того чтобы пройти расстояние, отделяющее фантастическое искусство от мира фактической реальности, нужно особенное обострение известных способностей духовного зрения – та болезнь, которую сам По называл «болезнью сосредоточенного внимания».

---

[1] Он прибавляет: «a un mal enfin dont le nom médical est l'encéphalite» (у него была болезнь, которая в медицине называется энцефалит. (*фр.*). Я привожу это из французского перевода доклада доктора Моргана о смерти Эдг. По, описание последних минут писателя напечатано в книге: *Woestyn H.R.* Edgar Poe. Politien. Éditions Emile-Paule Frères, Paris.

За пределами нашей обычной действительности происходят явления, которых мы не можем согласовать с известными нам законами, – тем более что мы вообще лишены возможности так различать явления чувств или впечатлений, как мы различаем, например, цвета или величины. Мы не можем определить ни что такое страх, ни что такое смерть, ни что такое предчувствие. В обыкновенном языке мы знаем все слова для обозначения самых различных физических феноменов: но тот же язык изменяет нам, как только мы вступаем в область иных понятий, понятий эмоционального порядка. И столь привычная нам речь начинает звучать как иностранная:

«Рядом со мной лежало мое тело со стрелой в виске, голова была вздута и обезображена» («Сказка извилистых гор»).

Писателя, искусство которого находится вне классически рационального восприятия, неизменно постигает трагедия постоянного духовного одиночества. Он живет в особенном, им самим создаваемом мире – и состояние полного отчуждения от других людей бывает под силу лишь немногим, одаренным исключительной сопротивляемостью. Мы знаем, что большинство его не выдерживает. Мы знаем также, что обостренное сознание неминуемого приближения смертельной опасности делает этих людей, с нашей точки зрения, почти сумасшедшими: вспомните Паскаля, всегда видевшего бездну рядом со своим стулом. Чувство страха принимает у них необыкновенные размеры. «Ничего не произошло, но мне страшно», – записывает в своем дневнике герой Le Horla. «Существование страшного в каждой частице воздуха», – повторяет Рильке.

Если бы никто из них не преодолел этого страха, многие страницы Гоголя, По, Мопассана остались бы ненаписанными. Но самое древнее человеческое чувство, так жестоко наказанное библейской мудростью, побуждает их все же пытаться постигнуть неведомые законы несуществующего – почти дословно цитирую По: «Постичь

ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей, перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию – к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной и достижение которой есть смерть» («Рукопись, найденная в бутылке»).

Фантастика Гоголя, начавшаяся с карикатурных чертей «Вечеров на хуторе близ Диканьки», с полунасмешливого описания субтильных бесов и уродливых ведьм, прошла сквозь «Мертвые души» и остановилась на «Портрете» и «Записках сумасшедшего». В Петербургских его рассказах она сделалась тем страшнее, что слилась с петербургской действительностью и перестала быть отвлеченной.

В рассказе «Вий», начинающемся в тоне удивительного гоголевского юмора, почти всегда граничащего с какой-то странной формой безумия, кажется совершенно непостижимым переход от первой части, где фигурирует знаменитая бричка, напоминавшая овин, поставленный на колеса, – ко второй, где изображаются чудовища, окружившие Хому Брута.

«Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой – другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз, висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиною почти с слона, таракан остановился у дверей

и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног, протягивало на далекое пространство два своих хобота и как будто искало кого-то. Множество других, которых уже не мог различить испуганный глаз, ходили, лежали и ползали в разных направлениях: одно состояло только из головы, другое из отвратительного крыла, летавшего с каким-то нестерпимым шипением».

Но и здесь, перед лицом самого страшного, что может увидеть человек, прежнее желание знать, понять, постигнуть не оставляет его. «С ужасом заметил Хома, что лицо на нем было железное». «Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет взглянул еще раз».

Я позволю себе привести еще одну цитату из «Вия» – потому что в ней, на мой взгляд, выражена та глубоко религиозная надежда, в которой Гоголь видел возможность спасения:

«– Подымите мне веки: не вижу! – сказал подземным голосом Вий. – И все сонмище кинулось подымать ему веки.

“Не гляди!” – шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он, и глянул.

– Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа».

Эдгар По погиб, зная, что спастись невозможно; Гоголь погиб, думая, что спасение есть. Я не знаю, что более ужасно.

«Несомненно, одиночество опасно для духовной работы. Нам необходимо, чтобы нас окружали люди, кото-

рые думают и говорят. Когда мы долго остаемся одни, мы населяем пустоту призраками». Это слова Мопассана.

В рассказе «Вий» есть места, в которых язык Гоголя достигает несравненного искусства святого Иоанна:

«Ветер пошел по церкви от слов и послышался шум, как бы от множества летящих крыл».

Когда колдун из «Страшной мести» просил схимника молиться за него, то схимник открыл книгу и увидел, что буквы налились кровью.

Книги Эдгара По, казалось, преодолевают тот закон безмолвия, которому подчинены печатные страницы. И когда я читаю: «Я лишился чувств... но не все было утрачено... В самом глубоком сне не все утрачивается! В состоянии бреда – не все! В обмороке – не все! В смерти – не все!» – мне кажется, что на месте каждого восклицательного знака вдруг взвивается один из тех черных и быстрых призраков, которые преследовали Эдгара По всю его жизнь.

Эдгар По, один из лучших стилистов литературы девятнадцатого столетия, знал лучше, чем кто-либо другой, что восклицательный знак в обычном прозаическом изложении неизменно становится эффектом комическим – и оправдывает свою патетическую сущность лишь в случае последнего, крайнего напряжения, почти исступления.

Он знал вообще очень многое: рассказы некоторых женщин, близких его знакомых, свидетельствуют о том, что с ним было страшно говорить: все, что могло быть сказано, было ему заранее известно; этот человек обладал даром необыкновенного угадывания.

Его несчастье заключалось только в том, что он был слишком гениален: и его современники создали ему прекрасные условия умирания – сначала на мостовой Балтиморы, потом на железной койке госпиталя. Может быть, Блок думал о нем, когда писал о своей смерти:

Иль в ночь под Пасху, над Невою,
Под ветром, в стужу, в ледоход –
Старуха нищая клюкою
Мой труп спокойный шевельнет?

Я не думаю, чтобы Эдгар По узнал что-нибудь новое, умирая. Если смерть не была его сестрой («сестра моя смерть» – Франциск Ассизский), то в течение долгих лет она была его спутницей. Он не боялся ее, кажется, он боялся страха:

«Находясь в этом безнадежном – в этом жалком состоянии – я чувствую, что рано или поздно настанет период, когда я должен буду утратить сразу и жизнь и рассудок в какой-то борьбе с свирепым призраком, чье имя – “СТРАХ”».

Мопассан пользовался в России большей известностью, нежели во Франции. Известность эта, однако, была основана на недоразумении – как мне приходилось уже указывать. Мопассан, автор «неприличных и ничтожных сюжетов» – по отзыву Льва Толстого о «Maison Tellier»[1], но резкость такого замечания вовсе не определяет отношения Толстого к Мопассану, это скорее случайность; Толстой называл «Une vie»[2] лучшим романом современной ему французской литературы, очень хвалил «Sur l'eau»[3], рассказы Мопассана вообще и кончал свою статью о нем благодарностью за вклад в искусство, сделанный «этим сильным и мужественным человеком», – этот Мопассан был известен всюду. Но Мопассан, автор «L'auberge», «Le Horla», «Les contes du jour et de la nuit»[4], – остался бы мало читаемым автором, если бы, в силу какого-то рокового, скверного анекдота, не написал «Moustache», «Joseph» и роман «Bel Ami»[5].

---

[1] «Заведение Телье» (*фр.*).
[2] «Жизнь» (*фр.*).
[3] «На воде» (*фр.*).
[4] «Гостиница», «Орля», «Сказки дня и ночи» (*фр.*).
[5] «Усы», «Иосиф», «Милый друг» (*фр.*).

Надо полагать, что средний российский читатель очень удивился бы, узнав, что не кто иной, как Мопассан, так описывал свой испуг, взглянув в зеркало и не увидев себя: он был заслонен тенью того фантастического существа, во власти которого находился – Horla, выпивавшего молоко из закупоренной бутылки, читавшего книгу за его плечом, Horla, приехавшего на красивом корабле из Америки, страны Эдгара По.

«Как я испугался! Затем внезапно я начал видеть себя в облаке, возникшем из глубины зеркала, точно сквозь завесу воды; и мне казалось, что эта завеса медленно скользила слева направо, делая с каждой секундой мое изображение более отчетливым. Это походило на сдвигающийся край затмения. То, что скрывало меня, не обладало, казалось, точными контурами, не было чем-то тускло-прозрачным и мало-помалу прояснялось».

Образ туманной оболочки, за которой скрывается где-то незримое существование, известен давно: вспомните головы святых, окруженные тусклым сиянием.

В «Страшной мести» гора, на вершине которой стоит сказочный конь с гигантским всадником, покрыта туманом; и туман сдергивается вдруг и становится видно до Карпат. Забытые физиономии возникают в тумане; колдуну «чудится» чье-то лицо. И, как во сне, мы слышим заглушенный звук, который усиливается по мере того, как мы стремительно приближаемся к пробуждению, точно боясь опоздать, точно боясь совсем не проснуться, – так мы внезапно замечаем, что туман, отделявший нас от фантастического, быстро редеет и исчезает: и мы живем одну короткую секунду в той несуществующей стране, где рядом с Эдгаром По лежит его тело со стрелой в виске.

«Границы, отделяющие жизнь от смерти, в лучшем случае, смутны и тенеподобны» («Преждевременные похороны»). Разве князь Андрей, не понимавший, зачем

нужно присутствие у его смертного одра двух самых дорогих ему существ – сына и сестры, князь Андрей, уже перешагнувший эту «границу, отделяющую жизнь от смерти» и холодно сказавший княжне Марье: Merci d'être venu[1], – разве он заметил, как совершился этот переход?

Необыкновенная странность некоторых сюжетов Гоголя не может никак быть объяснена одной лишь оригинальностью. В самом издевательском и невероятном рассказе русской литературы «Нос» есть, несомненно, отдаленные признаки сумасшествия. Необычайная уверенность, с которой Гоголь ведет повествование о носе, превратившемся в чиновника и уже садившемся в экипаж, чтобы ехать в Ригу, – была бы недоступна нормальному человеку. Вспышка безумия мелькает даже в «Ревизоре»; в некоторых местах Хлестаков вдруг начинает говорить языком Поприщина.

В «Портрете» рассказывается о том, как чудесное искусство художника удержало жизнь в картине: глаза нарисованного человека ведут самостоятельное существование; и все это не помешало составителям учебников русской литературы причислить Гоголя к писателям-реалистам.

В коротком рассказе Мопассана «Le portrait»[2], далеком, казалось бы, от всего невероятного, давно умершая женщина наполняет собой, своим неподвижным обаянием комнату, в которой висит ее изображение.

Почти все герои фантастической литературы и, уж конечно, все ее авторы всегда ощущают рядом с собой

---

[1] Спасибо, что пришли (*фр.*).
[2] «Портрет» (*фр.*).

чье-то другое существование. Даже тогда, когда они пишут не об этом, они не могут забыть о своих двойниках. Напрасно Гоголь уверял себя:

«И думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающего мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении».

Несколько ниже он пишет, что, «без сомнения», каждому из нас в тишине летнего дня, в полуденное время, когда никого не было кругом, приходилось слышать, как кто-то позвал его по имени. «Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов».

Рассказ Эдгара По «Продолговатый ящик», необыкновенный, как все его рассказы, где действующим лицом, однако, является вовсе не автор, кончается таким неожиданным отступлением:

«Но за последнее время мне не часто удается крепко уснуть. Есть лицо, которое мучительно возникает передо мной, как бы я ни повертывался. Есть истерический смех, который неотступно звучит в моих ушах».

Когда-то Пушкин писал о Жуковском:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль.

Я привык представлять себе время как ряд водяных пластов, тяжело проплывающих над теми холмами и долинами дна, где произошли великие кораблекрушения. «...Корабль содрогается и – Боже мой – он идет ко дну!» («Рукопись, найденная в бутылке»). Перед смертью Эдгар По снова вспомнил о корабле: «Огненный корабль, медное море!..»

Сэр Артур Гордон Пим тоже совершает морское путешествие – вроде того, которое проделал Horla, прежде чем приехать во Францию. Чичиков сравнивал свою жизнь с челном, обуреваемым житейским морем: это может показаться насмешкой, сравнение это совершенно случайно и непроизвольно.

Эдгар По утонул во времени:

«Un noyé au regard pensif» (Art. Rimbaud)[1].

Один из лучших рассказов Мопассана называется «Le Gueux»[2]; это рассказ о калеке, влачившем полуживотное существование, умевшем только протягивать руку, подчинявшемся больше инстинкту, чем разуму. Последние слова рассказа:

«Когда полицейские пришли утром, чтобы допросить его, он был мертв. Какой сюрприз!»

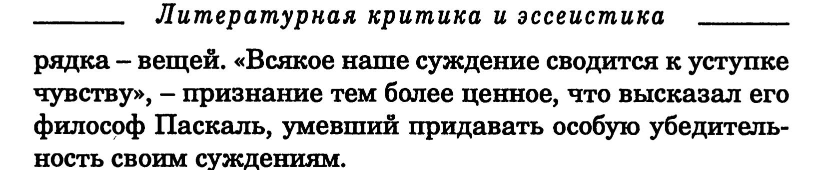
Если это не издевательство над калекой – мысль, которой нельзя допустить, – то, во всяком случае, это замечание настолько странно, что смысл его остается нам недоступен: здесь Мопассан внезапно как бы теряет себя, точно вдруг задумывается над чем-то другим и говорит так, как отвечает невпопад замечтавшийся человек.

Искусство – в вульгарном представлении – существует как социальная категория, как составной элемент общественной жизни. Так понимается его роль в России; менее категорически, но столь же несомненно – современная европейская литература лежит в области именно социальных явлений. Она говорит об известных всем вещах доступным для всякого языком – не в смысле простоты литературных оборотов, конечно, а в смысле тех несложных понятий, тех несомненных «очевидностей», из которых состоит.

Мне кажется, что искусство становится настоящим тогда, когда ему удается передать ряд эмоциональных колебаний, которые составляют историю человеческой жизни и по богатству которых определяется в каждом отдельном случае большая или меньшая индивидуальность. Область логических выводов, детская игра разума, слепая прямота рассуждения, окаменелость раз навсегда принятых правил – исчезают, как только начинают действовать силы иного, психического порядка – или беспо-

[1] «Утопленник с задумчивым взглядом» (Арт. Рембо). (*фр.*)

[2] «Нищий» (*фр.*).



рядка – вещей. «Всякое наше суждение сводится к уступке чувству», – признание тем более ценное, что высказал его философ Паскаль, умевший придавать особую убедительность своим суждениям.

«Я предлагаю эту книгу вниманию тех, кто поверил в сны, как в единственную реальность», – пишет Эдгар По. И дальше: «...удивляться – это счастье, мечтать – это счастье». Но ведь и удивление, и мечты суть явления иррациональные, тем более что в устах Эдгара По эти слова принимают иное значение, нежели то, которое им обычно придается: он и удивлялся не тому, чему удивлялся бы Золя, и мечтал не о том, о чем мечтал бы Тургенев. Он сумел поверить в мечты, в сны, как в единственную реальность: у других мечты суть лишь видоизменения самых обыкновенных желаний.

Фантастическое искусство существует как бы в тени смерти:

«Тот налет печали, который всегда неразлучно слит с совершенством красивого» («Свидание»).

В этих случайных и беглых заметках я хотел только указать на значительность иррационального начала в искусстве: ни критических, ни аналитических задач я себе не ставил и сознательно избегал систематизации, преследующей какую-нибудь специальную цель.

Мне неоднократно приходилось слышать самые резкие осуждения той литературы, которую я условно назвал «фантастической». Одни говорили: того, что описывается в чисто фантастической литературе, не может быть. Другие: это искусство декаданса. Третьи: это искусство бесполезное.

Собственно, ни одно из этих возражений не заслуживает ответа. Трудно говорить о том, что может быть и чего не может быть: я видел однажды на улице голубя, который чуть не упал, споткнувшись о папиросную коробку; видел лошадь, стоящую таким образом, что одна ее задняя нога перегибалась за другую – точно так же, как у светского провинциала на балу, гордо прислонившегося к стене и скрестившего и руки и ноги.

Искусство декаданса – выражение бессмысленное: никакого особенного искусства декаданса не существовало нигде, кроме разве учебников искусства, написанных невежественными профессорами, вроде тех, которые Гоголя причислили к реалистам. Людям, порицавшим Эдгара По и приглашавшим других присоединиться к его осуждению, высокомерно ответил Бодлэр:

«Разве вы считаете меня таким же варваром, как вы сами?»

Наконец, сторонникам «полезного» искусства, в возможность которого они твердо верили – по причинам совершенно неизвестным и недоказуемым (истинно полезное искусство, доступное всем и везде, вплоть до отдаленнейших крестьянских губерний, это «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», а еще, пожалуй, стишки Демьяна Бедного), – косвенно возразил Эдгар По, рекомендуя обратиться к ним с вопросом, почему именно они верят в то, что им кажется полезным. Бодлэр приводит его язвительное замечание:

«Спросите одного из них: и, если он человек сознательный – невежды, в большинстве случаев, сознательны, – он ответит вам так же, как ответил Талейран, когда его спросили, почему он верит в Библию. – Я верю в нее, – сказал он, – во-первых, потому, что я епископ Отенский, и, во-вторых, потому, что я в ней абсолютно ничего не понимаю».

МИФ О РОЗАНОВЕ

Я, прежде всего, хотел бы отметить, что не собираюсь писать критическое исследование о Розанове, то есть совершать работу, которую в большинстве случаев – и особенно в данном – считаю не очень важной и могущей иметь только библиографический интерес. Для всякого читателя сами произведения автора говорят за себя; всякие же комментарии к ним чаще всего бывают утомительны и ненужны – тому пример скучнейшие труды пушкинианцев, которые только компрометируют Пушкина в глазах незнающих людей и которые, к счастью, мало читают. Толстой, пишучи о критиках «Анны Карениной», излагавших и объяснявших роман на трех страницах, насмешливо замечал: «Если они могут это сделать, то, по-видимому, ils en savent plus long que moi»[1]. Пушкин мог бы сказать то же самое.

Итак, речь идет не о критическом исследовании наследства Розанова; к тому же это представило бы большие трудности, так как нет более противоречивого писателя, чем Розанов, и всякая положительная теория о Розанове могла бы быть опровергнута без всякого труда – цитатами одних его произведений, если теория основывалась бы на других, – или цитатами из других произведений, если бы она была основана на одних. Нам интересно в данном случае, – во-первых, рассмотреть один определенный и, кажется, неизбежный момент в восприятельском понимании Розанова и, во-вторых, указать на то необыкновенное качество Розанова, которое делает его не похожим ни на одного другого писателя.

Читая «Опавшие листья» и «Уединенное» Розанова, мне трудно было отделаться от чувства непобедимого отвращения: там есть множество вещей, которые не могут

[1] «...они знают об этом больше меня» (*фр.*).

не покоробить всякого, кто перелистает эти страницы. Розанов, между прочим, считал именно эти вещи своими главными вещами. «Лучшее во мне (соч<инение>), – пишет он Голлербаху, – «Уединенное». Прочее, все-таки, «сочинения», я «придумывал», «работал», а там просто – я». «Просто – я» – это, конечно, хитрость и неправда. Верно это в том смысле, что действительно житейская, литераторская сторона Розанова – не знаю, самая ли важная – изображена там довольно тщательно. Не будем говорить об «единственном» стиле Розанова, о необыкновенности книг, написанных такими отрывками, – это не имеет значения; нетрудно убедиться, что для Розанова эта сторона вопроса не представляла интереса. Думаю, что Розанов вообще искусство не очень любил – не искусство стилистическое, а искусство как таковое – и многого в нем не понимал. Я приведу сейчас, чтобы не показаться голословным, цитату о Герцене: «...никакой трагедии в душе... Утонули мать и сын. Можно бы с ума сойти и забыть, где чернильница. Он только написал “трагическое письмо” к Прудону».

Этого Розанов понять не мог. Вместе с тем страницы Герцена в «Былом и думах», описывающие этот эпизод, так потрясающи, что их можно сравнить только с некоторыми местами из Толстого. Герцена вообще знают мало и плохо; это один из самых замечательных русских писателей XIX века, и его, конечно, нельзя сравнить ни с Гончаровым, ни с Тургеневым, ни с Лесковым; я говорю это не для того, чтобы сообщить новость, а в объяснение все того же трагического письма к Прудону.

Где-то в своих письмах Толстой произносит такую кощунственную и невероятную вещь; говоря о своей дочери, которая была почти в агонии и потом начала выздоравливать, он с сожалением отмечает начало этого выздоравливания – сожалением, потому что когда она умирала, то выражение ее лица было важное и значительное – потом оно исчезло. Толстой заметил выражение лица умирающей дочери – и запомнил его сильнее, чем все остальное, и жалел, что его больше нет. Казалось бы, не может быть большего кощунства. Герцен шел по мертвецкой, где в деревянных гробах лежали жертвы морской

катастрофы, в которой погибли его мать и сын. Перед ним вскрывали каждый гроб – и он искал среди этих мертвецов своих. Но он успел увидеть молодую женщину в гробу и успел заметить, что тип ее необыкновенной красоты – южный, что она испанка или француженка с юга; и что в момент крушения она, по-видимому, кормила ребенка, потому что теперь, когда она лежала в гробу, из ее груди сочилось молоко, которое струйкой стекало по телу.

«C'est que je porte en moi cette seconde vie qui est en même temps la force et toute la misère des écrivains...

...Qu'on ne nous envie pas, mais qu'on nous plaine...»[1]

Он объясняет дальше:

«Il semble avoir deux âmes, l'une qui note, explique, comment chaque sensation de sa voisine, l'âme naturelle, commune à tous les hommes; et il vit condamné à être toujours, en toute ocassion un reflet de lui-même et un reflet des autres, condamné à se regarder sentir, agir, aimer, penser, souffrir et à ne jamais souffrir, penser, aimer, sentir comme tout le monde, bonnement, franchement, simplement, sans s'analyser soi-même après chaque foi et après chaque sanglot...

Qu'on ne nous envie pas, mais qu'on nous plaine...»[2]

Этого Розанов понять не мог. Он не понимал еще одного: аристократичности – поэтому и Герцен, и Толстой остались ему чужды; ему все казалось, что Герцен устраивает республику только потому, что он миллионер, – а будь он беден, ему бы это и в голову не пришло; о Толстом он размышлял так:

---

[1] «Дело в том, что я ношу в себе эту другую жизнь, одновременно являющуюся и преимуществом и настоящим несчастьем писателей...

...Не завидовать, а пожалеть нас надо...» (*фр.*).

[2] «Кажется, у него две души, одна – та, что замечает, объясняет, истолковывает каждое ощущение своей соседки – души природной, такой же как у всех людей, – и он обречен жить, отражая свою жизнь и жизнь других, обречен наблюдать сам за собой – как он чувствует, действует, любит, думает, страдает, и никогда не страдать, не думать, не любить, не чувствовать, как все другие люди – искренне, открыто, просто, не анализируя себя после каждого признания или всхлипывания...»

Не завидовать, а пожалеть нас надо...» (*фр.*)

«Религия Толстого не есть ли “туда и сюда” тульского барина, которому хорошо жилось, которого много славили и который ни о чем истинно не болел?»

Он все не мог допустить мысли о бескорыстности Толстого. Не может быть. Так вор не понимает, неужели человек может быть серьезно честен? Для него это непостижимо. Так лакей не понимает барина. А барином – и в самом буквальном смысле слова – Розанову очень хотелось быть. «Я барин. И хочу, чтобы меня уважали, как барина». Но:

До «ницшеанской свободы» можно дойти только «пройдя через барина». А как же я «пройду через барина», когда мне долгов не платят, на лестнице говорят гадости, и даже на улице кто-то заехал в рыло, т.е. попал мне в лицо, и когда я хотел позвать городового, спьяна закричал:

– Презренный, ты не знаешь новой морали, по которой давать ближнему в ухо не только не порочно, но даже добродетельно.

Я понимаю, что это так, если я даю. Но когда мне дают?

Известны взгляды Розанова на мораль: «и кто у нее папаша был, не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее – ничегошеньки не знаю».

Для нас не очень интересно то, что эти слова – ложь Розанова («если я бываю правдив, то только по небрежности»), – о морали он очень хорошо знал все, что нужно, и Герцена, и Толстого именно на основании морали и ругал. И когда писал статьи либеральные в либеральной газете, а консервативные – в охранительной, то тоже знал, что это гадко, когда называл Желябова дураком, тоже знал, почему это подло, – хотя потом и простосердечно удивлялся, почему на него за Желябова обиделся «даже подобострастный Струве». Знал Розанов и то, что, называя Гоголя «идиотом», – он говорит глупость и гадость – и то же говорит, когда прославляет Ходынку.

Но можно ли Розанова за это осуждать? Думаю, что осуждать его следует не за это: это дрянь и ерунда и, если бы кого-нибудь спросили: вы лично осуждаете Розанова? – он должен был бы пожать плечами и ответить: нет.

На это можно не обратить внимания, – как мы не обращаем внимания на целые категории людей, профессиональная обязанность которых заключается в обливании ближнего помоями, – фельетонистов, злободневных журналистов, как мы стараемся не обращать внимания на дурные запахи и на те гадости, которые иногда делаются перед нашими глазами. Не забудем к тому же, что Розанов был бедный человек, страдавший от своего унизительного положения – долгов не платят, – и вообще обиженный судьбой, как калека, как горбун, который злобен по своей природе, так как Бог создал его хуже других людей, а он хочет быть барином, таким же, как и другие, – и очень страдает оттого, что он горбун.

«Но я никогда не нравился женщинам... – и это дает объяснение антипатии ко мне женщин, которою я всегда (с гимназических пор) столько мучился». «Все “величественное” мне было постоянно чуждо. Я не любил и не уважал его».

Я читаю «Опавшие листья». Я читаю о том, что литературу Розанов чувствует, как штаны, что Гоголь идиот, что Толстой прожил глубоко пошлую жизнь, что Желябов дурак, что Герцен самодовольный гуляка, а он, Розанов, – civis romanus[1]. И вдруг:

«Основное, пожалуй, мое отношение к миру есть нежность и грусть».

И дальше:

«Несу литературу как гроб мой, несу литературу как печаль мою, несу литературу как отвращение мое».

«Да. Смерть – это тоже религия. Другая религия».

И после этих слов теперь мы можем осудить Розанова.

«Философия есть подготовление к смерти», – говорит Платон.

Никогда это не было ни по отношению к кому так верно, как по отношению к Розанову.

Розанов, это – настолько, насколько мы можем увидеть его в смертном тумане, – Розанов, это процесс умира-

[1] римский гражданин (*лат.*).

ния. И оттого это так не похоже на все, что мы до сих пор видели.

Когда умирает животное, оно забивается куда-нибудь так, чтобы никто его не видел. Человек умирает иначе. Человек не успевает умереть. Я хочу этим сказать, что все жизненные условия окружают его до последнего момента, он не может или не в состоянии сказать, что он умирает, и как он умирает, и как он видит мир в последний раз. «Смерть Ивана Ильича» – исключение. И «Смерть Ивана Ильича» только повесть, она недостаточно долга. Здесь не повесть, не случайность, не исключительная возможность что-то увидеть на одну минуту. Здесь перед нами всю жизнь умирает человек, и поэтому мы должны были бы от него отвернуться, и поэтому мы имели бы право его осудить.

Что же говорит Розанов – человек, видящий мир глазами?

«Господа, тише, я пишу черносотенную статью».

И еще:

«Будем целовать друг друга, пока текут дни. Слишком быстротечны они – будем целовать друг друга.

И не будем укорять; даже когда прав укор – не будем укорять».

А если мы возьмем разные сочинения Розанова, напечатанные в разное время, то мы найдем в них подтверждение того, что он сам говорит о себе:

«Я сам “убеждения” менял, как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими)».

Но это не то чтобы неверно или ложно, это как-то неточно. Человек, который умирает, может этим пренебречь; и обвинять Розанова за то, что он менял убеждения, так же нелепо, как обвинять агонизирующего за то, что он нетактично себя ведет.

Но точно так же, как в физиологии не может существовать только один какой-нибудь процесс, он должен сопровождаться другими параллельными процессами, – так и в жизни Розанова главный процесс был умирание, а остальное – это как бы аккомпанемент к нему. Все это кажется так странно, и вместе с тем именно это заста-

вило обратить внимание на Розанова: то, что он был так не похож на остальных, точно явился с другой планеты. Мы знаем о существовании в психологии явлений совершенно различных, – настолько, что одновременная их жизнь кажется почти немыслимой. Мы знаем, что есть люди, которые никогда не поймут друг друга, хотя обладают приблизительно одинаковой умственной силой; и вот существует какой-то отдельный тип психического состояния, который большинству кажется непостижимым. Все это не вполне ясно; я хочу сказать следующее: если психический мир человека, которого мы хотим узнать, очень не похож на все, что мы до сих пор думали, – мы априорно признаем его значительность и даже не обсуждаем этого. Но ведь бывает, что этот тип оказывается не очень замечательным и не очень интересным; и мы в этом убеждаемся, как только нам удается проникнуть в его особый мир. Постигает ли нас такое же разочарование, когда мы стараемся понять Розанова? Нет. Но что же нас ожидает?

«Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь».

«Смерти я совершенно не могу перенести».

А признание Розанова часто бывает априорным. Я сужу об этом потому, что во втором номере «Верст» я совсем недавно читал похвалы Розанову Святополка-Мирского – что ему Гекуба и что он Гекубе? и еще не помню чью вступительную статью к «Апокалипсису», где было написано, что Розанову чужд процесс автоматической импровизации – что, впрочем, довольно верно.

Розанова очень ругали в России, в прежние времена, Розанова очень хвалили. И тем и другим он искренне возмущался. «Никакой человек не достоин похвалы, всякий человек достоин жалости».

По-видимому, однако, причины для хвалы и ругани существовали, и произошло это потому, что не только тогда Розанова и ругаемого и хвалимого не существовало, – но его не существует и теперь.

И потому вокруг Розанова – создался миф: он одинаково неверен, как в том случае, если Розанов представлен религиозным мыслителем, так и во всяком другом. Розанов не литератор, не явление, Розанов – это смерт-

ный туман и кошмар. Никакого влияния Розанов не мог иметь и не может иметь на литературу, потому что влияние предполагает прежде всего существование какой-то цельности, каких-то взглядов, объединенных одним субъективным началом. Индивидуализм Розанова, о котором писал он сам и повторяли другие, – фантазия. Какова же индивидуальность человека, который сначала называет Коперника великим мудрецом, открывшим для нас возможности ведения о себе и о мире, – и потом того же самого Коперника называет купцом? или склоняет во всех падежах слово жид: «жиды на теле России» – и затем пишет такой панегирик евреям, необычайный по страстной убежденности, какого до него не знала русская литература? Нет, это не индивидуализм.

Произведения Розанова существуют сами по себе, настолько они различны. Розанов – литератор? Розанов – мыслитель?

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в *собственном смысле*?

– Никогда!»

Да, сочинения Розанова представляют из себя смесь совершенно несоединимых элементов, нелепых идей, кощунства и всего чего хотите. Такого убийственного разнообразия не вмещал в себя, кажется, никто. Но все это проходило сквозь него, как в бреду, и уверенность его в том, что он говорил, была очень странная, как бывает у человека нелепая уверенность в необходимости нелепого поступка во сне, это проходило и исчезало, а оставалась только одна мысль, одно чувство:

«Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь». «Завтра я умру. Почему же идея о том, чтобы устроить в церкви для новобрачных нечто вроде chambre d'hôtel[1] – почему же эта идея так, в сущности, оскорбительна? И почему они считают оскорбительным то, что Розанов считает священным – акт половой любви?»

Кажется, где-то у Роберта Оуэна – боюсь, впрочем, ошибиться – есть фраза о том, что настанет время, когда каждый акт человеческой природы станет актом

[1] гостиничного номера (*фр.*).

наслаждения. Трудно ли предсказать, когда это будет? Мне кажется, в тот момент, когда человек поймет, что он скоро должен умереть и что все, что он сейчас делает, это невыразимо хорошо и сладостно. Кажется, у Розанова нет стыда; я, по крайней мере, не нашел его следов в том, что читал. Но стыд, по словам блаженного Августина, которого цитирует Розанов, есть чувство потери прежней гармонии тела и духа. Но какая же может быть гармония в неизбежности смерти – не смерти вообще, а моей личной смерти. Вспомните Ивана Ильича:

«Все люди смертны. Кай – человек, следовательно, он смертен. Да, но то Кай, а это я, Ваня, Иван Ильич. Каю действительно, быть может, и подобает умереть. Но мне? я вот учился в правоведении, рос, был там-то и там-то, меня все знают, я Иван Ильич – и вдруг я умираю?»

Для агонизирующего законов нет. Нет стыда, нет морали, нет долга, нет обязательств – для всего этого слишком мало времени.

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло; пока моя душа была выпущена погулять на белый свет; и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, добренькая, как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу».

«Каждый акт человеческой природы станет актом наслаждения».

«Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике, я заплакал (почти): да, вот чтобы слушать его, я хочу еще жить, а главное, друг должен жить. Потом мысль: «Неужели он (друг) на том свете не услышит вентилятора»; и жажда бессмертия так схватила меня за волосы, что я чуть не присел на пол».

Все шатания Розанова, все перемены убеждений, все это не потому, что Розанов мыслитель – боги мыслители или К. Леонтьев и Достоевский, – как он писал о себе, – это опять-таки очередное заблуждение.

«Я не хочу истины, я хочу покоя».

Розанов прожил довольно долгую жизнь и умер только в 1919 году, после революции. И вот перед нами его последняя вещь – «Апокалипсис нашего времени».

Но прежде чем перейти к Апокалипсису, мне хочется указать, что когда думаешь о Розанове, то всегда невольно вспоминаешь о Толстом – так было, по крайней мере, у меня. И я приведу здесь то место из «Войны и мира», которое является, я думаю, единственным в русской литературе. Оно имеет к Розанову непосредственное отношение. Это осуждение умирающих, необычное по своей жестокости и точности описания – и такое, которое дало бы объяснение тому, что Розанов мог умереть от голода в России и никто не дал бы ему хлеба.

«Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал этого взгляда, и поспешно отошел.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц – один из них робко взглянул на Пьера – было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. "Экая дура, о чем она воет?" – подумал Пьер».

И вот Розанов умирает – на этот раз физически – в Сергиевом Посаде, в глуши большевистской России; в мороз – без дров и без хлеба. Умирает человек с душой, сплетенной из грязи, нежности и грусти. И грустит, умирая, о зарезанной корове – совершенно так же, как протопоп Аввакум о своей курочке, – и почти в таких же выражениях:

– Ужасно... и какой ужас: ведь – КОРМИЛА и ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о... печаль, судьба человеческая, (нищета). А то все – молочко и молочко. Давала 4–5 горшков. Черненькая и <нрзб> «как мамаша».

Но что бы мы сделали, чем бы помогли Розанову? Я думаю, что каждый, в ком сильна жизнь, отвернулся бы от него и стал бы вспоминать что-нибудь далекое, не имеющее отношения к вопросу о смерти. Он не был бы прав или не прав – здесь такого вопроса быть не может. Но единственное, что он мог бы сделать, это поступить именно таким образом. И как Каратаев остался сидеть под березой в ожидании расстрела один – и Пьер ушел от него, – так и Розанов остался умирать один. И этот закон об отречении от того, кто должен умереть, освящен еще и Евангелием: Петр три раза отрекался от Христа уже в то время, когда для Царя Иудейского был сколочен деревянный крест, на котором его распяли. И в тот момент, когда это происходило, прав был Петр, а не Иисус, потому что Петр остался жить, а Иисус умер.

Вот и оправдались слова Розанова о себе:

«Я не нужен, я ни в чем так не уверен, как в том, что не нужен».

А если предположить существование высшей справедливости, в чем нас тысячи лет убеждает христианство, то, значит, эта справедливость в данном случае должна гласить так:

– Я осуждаю умирающего и голодного и благословляю отворачивающегося от него; ибо тот, кто отвернулся, будет жить, а другой умрет – и, умерев, станет никому не нужен.

Вот почему нелепо было бы осудить Розанова; не за перемену убеждений, не за черносотенные статьи, не за ложь, – а за то, что он умирает, в то время как ему следовало жить.

Вспомним, что Розанов написал некогда две книги о семейном вопросе в России. Его взгляды на брак, на «незаконнорожденных» (если законна смерть, то законно и рождение) вызвали ожесточенный отпор духовенства,

и какой-то протоиерей Дернов написал даже брошюру против Розанова. Она целиком приведена в «Семейном вопросе в России» – и говорить бы о ней не стоило – ибо какую хорошую брошюру может написать теперешний протоиерей – и какому протоиерею под силу спорить с Розановым? – если бы одно место в этой брошюре не побудило Розанова высказаться еще раз о браке – и в форме, для церкви, наверное, вовсе неожиданной. «Если принять теорию Розанова, – писал от<ец> Дернов, – то следует предположить, что и животные вступают в брак, и у животных есть брак». Этот аргумент казался неколебимым. Но Розанов в комментариях написал, что брак у животных есть – и привел цитату из первой Книги Бытия:

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их и всякую птицу пернатую по роду ея. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь и исполняйте воды в морях и птицы да размножаются на земле. И был вечер и было утро; день пятый».

Бог благословил животных на брак такими словами, какими напутствовал людей.

«Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец всего существующего». И здесь начинается Апокалипсис.

Я помню, что, когда я был мальчиком лет двенадцати, меня поразили слова Бога в Откровении св. Иоанна. Бог говорил:

– Но я люблю тебя за то, что ты ненавидишь учение Николаитов, которое и я ненавижу.

Последнее, что увидел Розанов, это был Апокалипсис.

«...Потому что Евангелие есть книга изнеможений».

«И в момент, когда настанет полное и, казалось бы, окончательное торжество христианства, когда “Евангелие будет проповедано всей твари” – оно падет сразу и все, со своими царствами, “с царями, помогавшими ему”, и – “восплачут его первосвященники”».

«Христос молчит. Не правда ли? Так не тень ли он? Таинственная тень, наведшая отощание на всю землю.

Мы созерцаем конец мира.

"И четвертый ангел вострубил... и небо скрылось, свившись, как свиток". Никакое искусство до этого не доходило».

Можно ли кого-нибудь убеждать Апокалипсисом нашего времени? Думаю, что это бесполезно. Но, пожалуй, стоит напомнить некоторые строки Розанова о евреях, к которым он, конечно, несмотря на «жиды» и погромные статьи, был несравненно ближе, чем к русскому густому православию деревенских священников и дьяконов, к просвещенному невежеству архиереев, архимандритов, митрополитов и т.д., которых в виду точно имел Собакевич, когда говорил о людях, бременящих землю. И близость эту он сильнее всего чувствовал – как мы можем об этом судить – в последние смертные часы своей жизни.

«Еврей есть первый по культуре человек во всей Европе, которая груба, плоска и в "человечестве" дальше социализма не понимает. Еврей же знал вздохи Иова, песенки Руфи, песнь Деборы и сестры Моисея:

– О, фараон, ты ввергнулся в море. И кони твои потонули. И вот ты ничто».

И дальше:

«Но они пронесли печальные песни через нас, смотрели (всегда грустными глазами) на нас. И раз я на пароходе слышал (и плакал): "Купи на 15 коп. уксусной кислоты – я выпью и умру. Потому что он изменил мне". Пела жидовка лет 14-ти, и 12-летний брат ее играл на скрипке».

Я не знаю, удалось ли мне в этом докладе выполнить те простые задачи, которые я себе поставил. Я чувствовал все время, что логический анализ Розанова невозможен; остается область субъективных впечатлений, всегда вообще чрезвычайно спорная. Но мне представлялось более важным отметить именно такие ощущения, а не создавать им подтверждение как еще один миф.

И вот теперь последнее представление о Розанове: смертный туман, плач о корове и вечная песня еврейки – которыми Розанов кончил свою жизнь.

22/X 29.

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Было бы бесполезно, мне кажется, отрицать, что нынешняя эмигрантская литература старшего поколения является подлинной выразительницей «русского культурного духа» – каким он был в начале столетия и даже несколько позже – в предвоенные и предреволюционные годы. Хорош он или плох, это другой вопрос. Современникам вообще не дано понимать эпохи, в которую они живут – если условно представить себе возможность такого понимания. На примере русской литературы в этом особенно легко убедиться. В ней вообще понимающих в этом смысле было мало: был Толстой, был Блок, был Розанов, был озаряемый минутными и блистательными постижениями Андрей Белый.

Наше поколение пришло на готовое; ему, казалось, следовало только не затыкать себе уши, чтобы понять и услышать те истины, о которых знал еще Толстой. Однако наше поколение никаких откровений не принесло – и ничего не поняло. Это кажется нам настолько странным, что в первую минуту отказываешься этому верить. Но это несомненно.

Тому, как будто бы, есть две причины. Люди, выросшие в эти годы в России, были почти лишены способности что-либо самостоятельно воспринимать; цензура и правительственный дух литературы особенно помешали этому. Кроме того, советская литература является событием еще небывалым в мировой истории культуры, она биологически не похожа на литературу-искусство в том смысле, в каком мы привыкли это понимать. Этим в значительной степени объясняется враждебность к «советской» литературе – в одних случаях, в других – глубочайшее и грубейшее ее непонимание. Это явление – вне всей серии наших обычных идей об искусстве; сами советские кри-

тики этого не понимают – и потому все или почти все их писания носят такой, на первый взгляд, смешной характер. Так обстоит в данный момент в России. Какие-то частицы истины об этом нам видны уже сейчас.

За границей происходит иное. Прежде всего здесь люди, «лишенные перспективы», создали миф об эмигрантской литературе – имея в виду младшее поколение писателей. Непосредственные фактические данные неопровержимо свидетельствуют о том, что это только миф. За двенадцать лет эмиграции выдвинулись два поэта (Ладинский и Поплавский) и один прозаик (Сирин). Я не говорю об Алданове, явно принадлежащем к старшему поколению, хотя и отличающемся от него самым выгодным образом. Почти вся остальная «молодая» литература – это нечто вроде записок бывших сестер милосердия и отставных прапорщиков; само по себе это права на бессмертие, как известно, не дает.

Как это ни парадоксально, здесь сильны влияния дореволюционного порядка. Я имею в виду не влияние классиков, а действие того культурного духа, носителями которого являются некоторые второстепенные писатели старшего поколения, живущие сейчас за границей. Главная ошибка по отношению к ним заключается в том, что нынешнее эмигрантское поколение не знает одной простой вещи: в России эти писатели – за одним-двумя исключениями – никогда не были на первом плане. Им ошибочно присудили не принадлежащие им качества – и стали усердно у них учиться: естественно, что результаты получились самые плачевные.

Есть некоторые курьезные мелочи, не лишенные, однако, своеобразной характерности: в Париже, в 1931 году состоялось два вечера стихов Игоря Северянина! В одной из газет был напечатан о злополучном поэте хва-

лебный фельетон. Это, впрочем, понятно, это «человеческое»; все знают, как трудно живется за границей большинству литераторов, вынужденных вести подчас самое унизительное существование. Но все-таки возможность «поэз» в 1931 году – это такой редкий литературный анекдот, который стоит упоминания.

Следовало бы отметить еще влияние французской – не столько литературы, сколько литературной кухни, которая здесь особенно очевидна. Мы привыкли к ней так, что она перестала нас удивлять – и в русской заграничной печати нередко повторяются приемы, свойственные именно французским литературным нравам. Нам уже не кажутся неуместными дружеские отзывы, статьи, написанные в виде одолжения, и т.д. Это перестало нас шокировать.

Вместе с тем русская литература и русская критика всегда отличалась искренностью и – в известном смысле – хорошим тоном. Ни о какой Вербицкой не писали бы громадных статей – как пишут о Морисе Декобра, – никакой Пьер Бенуа не мог бы стать председателем союза писателей. Здесь это естественно.

Есть еще одно любопытное явление, несколько приближающее эмигрантскую литературу к советской – в одном определенном смысле: как здесь, так и там в искусство насильственно вводятся «инородные тела». Там – это пятилетка и строительство, здесь – это религия и какой-то своеобразный патриотизм, с подлинным патриотизмом имеющий очень мало общего.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЗНАНИЯ

Мне приходилось несколько раз слышать отзывы советских читателей о русской заграничной литературе: они хвалили некоторую «изысканность стиля» эмигрантских беллетристов, но протестовали против содержания: ни одной актуальной темы.

И на этот раз, как почти всегда, в основе всякого литературного разговора лежало какое-то неразъясненное недоразумение. Во-первых, изысканность стиля это, конечно, мягко выражаясь, преувеличение: девяносто девять процентов наших беллетристов пишут чрезвычайно бедным, условным языком с несколькими галлицизмами и печальной трафаретностью выражений – куда уж тут до изысканности. Во-вторых, «актуальная» тема – дело журналиста, а не писателя. Но объяснить это невозможно – и недоразумение продолжается.

Кстати, о темах: большинство местных произведений в смысле традиционности сюжетов похоже на злополучный рождественский рассказ о замерзающем мальчике. Только вместо замерзающего мальчика есть взрослый герой и сестра милосердия и еще священник необычайной святости, говорящий особенно фальшивым, конфетно-духовным языком. Это могло бы казаться достаточно безотрадным; это не так; и надо только отказаться от чрезмерной и несправедливой требовательности.

Невозможно представить себе литературу, которая состояла бы из Блока, Белого, Ремизова, Горького, Мандельштама, Пастернака, Бабеля и т.д. Она погибла бы, она не могла бы существовать, и люди перестали бы читать книги. Большинство таких писателей недоступны и непонятны читательской массе, и почему бы мы стали требовать, чтобы рядовой читатель брался за «Петербург» или за «Возмездие» или «Взвихренную Русь» – когда для него

написаны «Царские брильянты», «Жемчуг слез» и «От двуглавого орла к красному знамени»?

Нельзя же, поэтому, чтобы все писали, как Толстой или Пруст. И что дурного в том, что благочестивый священник благословляет блистательным распятьем «крестный путь страданий» этих героев? Есть люди, которые над их судьбой прольют слезы, – почти что над судьбой Анны Карениной и Сонечки Мармеладовой – те же самые люди, быть может. И, я думаю, не стоит бесполезно и укоризненно напоминать о существовании Мопассана, или Бальзака, или Гоголя.

Все это кажется совершенно бесспорным; кто же этого не знает? Но вопрос о требовательности несколько сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Каких-нибудь тридцать лет тому назад критика ставила рядом имена Блока, Брюсова, Белого. Ведь нам, современникам, слышать об этом, по меньшей мере, странно. Как можно было этого несчастного Брюсова, который был глубочайшим образом лишен самого ничтожного поэтического дарования, по сравнению с которым какой-нибудь Клюев – просто титан, сравнивать с Блоком? – Ведь после Пушкина был Блок, и этим все кончилось. Как нужно было, казалось бы, совершенно ничего не понимать в поэзии, чтобы об этом говорить серьезно? И вместе с тем, нельзя от этого просто отмахнуться: среди тех, кто хвалил Брюсова, были люди, прекрасно все понимающие: и ни в их честности, ни в их уме мы не имеем никакого права сомневаться. Нет, по-видимому, было нечто неуловимое, прекрасное и преходящее – что они чувствовали и понимали и чего мы, наверное, никогда не постигнем. И Брюсов это как-то выражал, – хотя нам это и кажется чудовищно нелепым. Но вот – не чувствуем же мы «до конца», как люди девятисотых годов, блоковского Петербурга, который мы понимаем только смутно и издалека, как музыку сквозь туман и расстояние. Люди девятисотых годов это ни с чем не смешают, и в этом они никогда не ошибутся. Несравненный дар Блока дал и нам возможность это понять: но для нас

это издалека и тем, быть может, «пронзительнее» и все это только – о мире, в котором мы не жили и не будем жить никогда.

Характерно и интересно то, что Сирин, единственный талантливый писатель «молодого поколения», в своих романах чаще всего описывает иностранцев. Правда, не всегда: Лужин русский, герой «Подвига» тоже русский, но Лужин сумасшедший, я думаю, это дает ему завидное право на интернационализм, «Подвиг» же не принадлежит к лучшим вещам Сирина. Но герой «Камеры Обскура», герои «Короля, дамы, валета», романа не менее замечательного, а в смысле удивительной безошибочности ритма, пожалуй, самого удачного – иностранцы, так же, как иностранец – Пильграм. Кстати, мне кажется, что «Пильграм» – лучший рассказ, появившийся в русской литературе за последние лет пятнадцать, во всяком случае, самый законченно-совершенный. То, что герои Сирина иностранцы, я думаю, не случайно: мы живем – не русские и не иностранцы – в безвоздушном пространстве, без среды, без читателей, вообще, без ничего – в этой хрупкой Европе, – с непрекращающимся чувством того, что завтра все опять «пойдет к черту», как это случилось в 14-м или в 17-м году. Нам остается оперировать воображаемыми героями – если мы не хотим возвращаться к быту прежней России, которого мы не знаем, или к сугубо эмигрантским сюжетам, от которых действительно с души воротит.

Я написал – «единственный талантливый писатель», это, конечно, ошибка: но не очень большая, как мне кажется. Нельзя же говорить о Фельзене, участь которого как будто предрешена. Это почетная гибель, заранее проигранная борьба одного против остальных; и выиграть ее невозможно. Мне хотелось бы напомнить один пример; сколько читателей знают Рильке, одного из самых замечательных поэтов и писателей Германии? Читаешь и изумляешься: как, почему это имя не известно во всем мире? Но не говоря уже о книгопродавцах, даже не все писатели его знают.

Заказ 3235

Один адвокат говорил мне:

– Слушайте, но серьезно рассуждая: ведь после того, как человеку исполнится двадцать пять лет, нельзя же заниматься литературой. Ну да, конечно, Толстой; но это же другое.

Как это ни нелепо, но в этом, мне кажется, есть какая-то часть истины. Для громадного большинства людей – самых чутких, самых романтических, – литература нечто временное и случайное. Это относится и к писателям, иногда – очень талантливым. Русские парижане, те пятьдесят или сто человек, которые все читают и все знают, помнят, для скольких поэтов и писателей литература оказалась только временным поприщем. Конечно, возможность писать и печататься сведена до минимума. Однако – сколько времени не пишут многие, от кого мы вправе были бы ожидать новых вещей – которые прошли и исчезли. Примеров можно привести сколько угодно. Кто помнит «подававших надежды» поэтов и прозаиков 24-го, 25-го года?

Осталось три-четыре имени – надежды они не вполне оправдали, но все же печатаются. Остальные более не существуют и вряд ли когда-нибудь воскреснут. Им больше, чем по двадцать пять лет, у них дела, обязательства, служба – и в общем, вдалеке – торжествующая тень адвоката.

Не знаю, надо ли огорчаться. Мне кажется, что литература, прежде всего – résignation[1]: ни иллюзий, ни поддержки, ни сочувствия и для самых удачливых – небольшое место в учебнике русской литературы, где ученый и безнадежно ничего не понимающий приват-доцент «объяснит» аптекарским языком, в чем следует полагать смысл и содержание таких-то произведений. Или речь какого-нибудь профессора – как недавно чуть ли не в Харбине, по поводу Бунина, было сказано, что «красной нитью» – и откуда такое глупое, ни чему не соответствующее выражение? – через его рассказы «проходит стремление к идеалу». Как неправильно распределены роли на земле! Из

[1] Покорность судьбе (*фр.*).

четырех самых замечательных писателей, которых я знал, один был архитектором, другой артиллерийским солдатом, третий типографским рабочим, четвертый – инженером; и никто из них не занимался литературой. И вместе с тем, в среде профессиональных литераторов я никогда не встречал ни такой точной и умело выбирающей наблюдательности, ни такого замечательного дара изложения, ни такого понимания чуждых им, на первый взгляд, вещей. Было бы утешительно предположить, что большинство литераторов оказалось бы хорошими инженерами или артиллеристами: но это, боюсь, вряд ли соответствовало бы истине.

О ПОПЛАВСКОМ

Холодный парижский вечер, потом ночь задыхающегося предсмертного сна и две строки, которые не могли не вспомниться, строки, написанные в далеком предчувствии:

> Пока на грудь, и холодно и душно,
> Не ляжет смерть, как женщина в пальто...

Внешне все ясно и понятно: Монпарнас, наркотики и – «иначе это кончиться не могло». И можно было бы, только пожалев об этом, не задумываться более, если бы эта смерть не была гораздо значительнее и страшнее, чем она кажется. То, что Поплавского всегда тянуло в «эту среду», мы все давно знали. Зачем ему были нужны эти люди, проводившие голодные ночи в кафе, не представлявшие, казалось бы, никакого интереса, эти псевдоинтеллектуальные нищие, не менее жалкие, чем парижские бродяги, ночующие под мостами? И все же Поплавский неизменно возвращался туда. Менялись его спутники, проходило время, а он все путешествовал там же. Он любил, чтобы его слушали, хотя не мог не знать, что его Монпарнасу были недоступны его рассуждения с цитатами из Валери, Жида, Бергсона и что его стихи были так же недоступны, как его рассуждения. И единственное, что могло сближать Поплавского с этими убогими людьми, – это то, что и он, и они не врастали в жизнь; не знали ни крепкой любви, ни неразрываемой независимости некоторых человеческих отношений, ни того, как следовало бы жить и к чему следовало бы стремиться. Но «их» смерть не была бы утратой. Смерть же Поплавского – это не только то, что он ушел из жизни. Вместе с ним умолкла та последняя волна музыки, которую из всех своих современников слышал только он один. И еще: смерть Поплавского свя-

зана с неразрешимым вопросом последнего человеческого одиночества на земле. Он дорого заплатил за свою поэзию. Были ли люди, которые искренно и тепло любили Поплавского – были ли такие среди его многочисленных друзей и знакомых? Думаю, что нет; и это очень страшно.

Бедный Боб! Он всегда казался иностранцем – в любой среде, в которую попадал. Он всегда был – точно возвращающийся из фантастического путешествия, точно входящий в комнату или в кафе из ненаписанного романа Эдгара По. Так же странна была его неизменная манера носить костюм, представлявший собой смесь матросского и дорожного. И было неудивительно, что именно этот человек особенным, ни на чей другой не похожим голосом читал стихи, такие же необыкновенные, как он сам:

Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров, крутящихся во мгле,
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.
И сквозь жар ночной, священный, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый, беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.

Он носил глухие черные очки, совершенно скрывавшие его взгляд, и оттого, что не было видно его глаз, его улыбка была похожа на доверчивую улыбку слепого. Но однажды, я помню, он снял очки, и я увидел, что у него были небольшие глаза, неулыбающиеся, очень чужие и очень холодные. Он понимал гораздо больше, чем нужно; а любил, я думаю, меньше, чем следовало бы любить.

Я не знаю другого поэта, которого литературное происхождение было бы так легко определить. Поплавский неотделим от Эдгара По, Рембо, Бодлера, есть несколько нот в его стихах, которые отдаленно напоминают Блока. Поэзия была для него единственной стихией, в которой он не чувствовал себя, как рыба, выброшенная на берег. Если можно сказать, «он родился, чтобы быть поэтом», то к Поплавскому это применимо с абсолютной непогрешимостью – этим он отличался от других. У него могли быть плохие стихи, неудачные строчки, но неуловимую для дру-

гих музыку он слышал всегда. И в литературных спорах, которые он вел, часто крылось одно неискоренимое недоразумение, отделявшее его от его собеседников: он говорил о поэзии, они – о том, как пишут стихи.

В последние годы он иначе писал, чем раньше, как-то менее уверенно: он чувствовал, как глохнет вокруг него воздух. Это был результат той медленной катастрофы, которая привела к молчанию его ранних и лучших товарищей. Их имена известны всем в литературном кругу и неизвестны почти никому в широкой публике. Все они перестали писать – и вместе с тем каждому из них было что сказать. Но в том диком и глухом пространстве, которое их окружало, их слова не были бы услышаны. И они замолчали.

И Поплавский остался один. Своеобразный заговор визионеров, в котором он участвовал, вдруг разорвался и исчез. И его литературная обреченность стала еще очевиднее, еще трагичнее: у него в жизни не было ничего, кроме искусства и холодного, невысказываемого понимания того, что это никому не нужно. Но вне искусства он не мог жить. И когда оно стало окончательно бессмысленно и невозможно, он умер.

О нем трудно писать еще и потому, что мысль о его смерти есть напоминание о нашей собственной судьбе – нас, его товарищей и собратьев, всех тех всегда несвоевременных людей, которые пишут бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела; ассоциация созерцателей и фантазеров, которым почти не остается места на земле. Мы ведем неравную войну, которой мы не можем не проиграть, – и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет; это не будет непременно физическая смерть, это может быть менее трагично: но ведь и то, что человек, посвятивший лучшее время своей жизни литературе, вынужден заниматься физическим трудом, – это тоже смерть, разве что без гроба и панихиды. В этом никто не виноват, это, кажется, не может быть иначе. Но это чрезвычайно печально.

И я, кажется, неправильно поступил, ставя глаголы в настоящем, а не в прошедшем времени; потому что большинство тех, с кем мы начинали нашу «жизнь в искусстве», для литературы уже умерли.

Мы были с Поплавским в кинематографе, оркестр играл неизвестную мне мелодию, в которой было какое-то давно знакомое и часто испытанное чувство, и я тщетно силился его вспомнить и определить.

– Слышите? – сказал Поплавский. – Правда, все время – точно уходит поезд?

Это было поймано мгновенно и сказано с предельной точностью. Его другие суждения, когда он давал себе труд задуматься, а не говорить подряд все, что приходит в голову, отличались такой же быстротой понимания.

Он был по-детски обидчив, необыкновенно чувствителен ко многим неважным вещам, мог огорчаться до слез, если в выходящем номере журнала не оказывалось места для его стихов. Его было легко купить – обещанием денег, напечатанием одного стихотворения – он соглашался на все. Были случаи, когда этим пользовались, и по отношению к Поплавскому это было особенно нехорошо.

Он меня спрашивал однажды:

– Скажите, вы согласились бы что-нибудь напечатать бесплатно, потому что это для искусства?

– Нет.

– А если бы вам не заплатили?

– Не знаю, я думаю, что это невозможно.

– Вот, а мне обещали заплатить, а потом ничего не дали, сказав, что это моя дань искусству; и предложили мне вместо гонорара подержанный костюм. Но он велик на меня, я не знаю, как быть.

Я помню, что не мог сразу ответить. Потом я стал объяснять, как, по-моему, следовало поступить. Он слушал, качал головой, затем сказал:

– Вы можете позволить себе известную независимость, а я не могу, вы знаете, я ведь материально совершенно не обеспечен.

И тогда внезапно я почувствовал к нему пронзительную жалость, такую, какую можно почувствовать к

голодному ребенку или калеке. Помню, как сейчас, эту ночь, темную и прохладную, узкие и мрачные улицы Латинского квартала, по которым мы шли, и это чувство жалости. Этот человек с хорошими бицепсами, в то время 23-летний спортсмен, успевший понять многое из того, что и не снилось большинству его маститых и общепризнанных коллег, был в жизни совершенно беззащитен.

С деньгами он не умел обращаться. Когда они у него бывали – что случалось чрезвычайно редко, – он покупал граммофоны, испорченные пластинки, какие-то шпаги «необыкновенной гибкости», галстуки яркого цвета; если после покупок что-нибудь оставалось, он тратил это на Монпарнасе.

У Толстого есть где-то замечание о том, что человек не бывает умным или глупым, добрым или злым; он бывает иногда умным, иногда глупым, иногда добрым, иногда злым. Если это применимо ко всем людям, то по отношению к Поплавскому возможность категорической оценки исключена вовсе; он был сложнее и глубже, чем другие, иногда неподозреваемой сложностью и неподозреваемой глубиной. В нем было много непонятного на первый взгляд, как непонятна была та душевная холодность, с которой иногда он говорил о самых лирических своих стихах. Одно было несомненно: он знал вещи, которых не знали другие. Он почти ни о чем не успел сказать; остальное нам неизвестно, и, может быть, возможность понимания этого исчезла навсегда, как исчез навсегда Поплавский.

Теперь это сложное движение его необычной фантазии, его лирических и мгновенных постижений, весь этот мир флагов, морской синевы, Саломеи, матросов, ангелов, снега и тьмы – все это остановилось и никогда более не возобновится. И никто не вернет нам ни одной ноты этой музыки, которую мы так любили и которая кончилась его предсмертным хрипением.

На последней панихиде в жалкой церкви с цветными стеклами, на которых неумелой рукой нарисованы картины священного содержания, было множество народа. Кроме тех, кто знал Поплавского как человека и

как поэта, были еще люди, неизбежно присутствующие на всех похоронах и панихидах и столь же обязательные, как гроб и яма в земле, и столь же неотделимые от мысли о чьей-либо смерти. Горели свечи, капал на руки горячий воск, брызги дождя долетали сквозь открытую дверь; и, как всегда, было то чувство последней непоправимости, которое не в силах заставить забыть ни изменившиеся обстоятельства, ни время, ни даже личное счастье.

Он ушел из жизни обиженным и непонятым. Я не знаю, могли ли мы удержать его от этого смертельного ухода. Но что-то нужно было сделать – и мы этого не сделали.

Ушел Поплавский, и вместе с ним – его постоянный бред: море и корабли, и бесконечно длящийся бег далекого океана.

O Mort, vieux capitaine, il est
temps! levons l'ancre!
Ce pays nous ennuie, o Mort!
Appareillons![1]

И опять то же видение: ночь, холод, вода, огни – и последнее отплытие из тяжелой и смертельно скучной страны.

---

[1] Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!
Ш. Бодлер. Плаванье.
Пер. М. Цветаевой

О МОЛОДОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Уже не впервые за последние годы нам приходится присутствовать при одном удивительном споре, в котором спорящие высказывают суждения общего и частного порядка, излагают программы, намечают пути и т.д. Удивительно в споре, однако, не это, а то, что предмета спора вообще не существует. Вместо него есть чисто абстрактное представление о том, что должно быть – и что, стало быть, есть – либо явное недоразумение, либо, наконец, чрезвычайно произвольное толкование слова «литература». Это спор о молодой эмигрантской литературе.

Если отбросить изложение литературных возможностей и достижений в сослагательном наклонении, если считаться только с фактически существующим материалом, если отказаться заранее от всех априорных положений и суждений о столь же претенциозной, сколь необоснованной «миссии эмигрантской литературы», – то придется констатировать, что за шестнадцать лет пребывания за границей не появилось ни одного сколько-нибудь крупного молодого писателя. Есть только одно исключение – Сирин, но о его случае стоит поговорить особо. Вся остальная «продукция» молодых эмигрантских литераторов может быть названа литературой только в том условном смысле, в каком говорят о «литературе по вопросу о свекле» или «литературе по вопросу о двигателях внутреннего сгорания», – т.е. о совокупности выпущенных книг, в данном случае имеющих некоторый, их объединяющий, беллетристический признак.

Есть множество извинительных причин, обусловливающих возможность спора об эмигрантской литературе; мы знаем, что большинство суждений современников основаны всегда на недоразумениях, на своеобразном литературно-общественном психозе и на вполне понят-

ной аберрации. В истории литературы мы знаем случаи, когда такие суждения современников остаются навсегда; отсюда незыблемые литературные репутации, не выдерживающие, по существу, никакой критики. Примеров можно привести сколько угодно: начиная от Буало, которого «Поэтическое искусство» есть просто собрание общих мест самого дурного тона, Руссо, «Исповедь» которого свидетельствует о несомненной ограниченности автора – при бесспорном огромном таланте и искренности, – и кончая чрезвычайно спорными, мягко говоря, для русской литературы «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя или «Дневником писателя» Достоевского. В совсем недавние времена приходилось слышать и читать множество раз – Блок, Белый, Сологуб, Брюсов, Гиппиус, – в то время как ценность этих поэтов не только не одинакова, но, напр<имер>, Блок так же несоизмерим с Брюсовым или Сологубом, как Пушкин с Дельвигом, хотя, конечно, Дельвиг в свои очередь несомненно значительнее Брюсова. Это одно из бесчисленных литературных недоразумений. Сумма таких общепризнанных и принятых недоразумений образует существенную и довольно прочную систему установившихся взглядов на каждый данный отрезок времени в литературе; и необходимо некоторое усилие, чтобы преодолеть сопротивление этой прочной системы. Недоразумения эти касаются не только собственно литературы: сюда входят представления о литературной и общественной среде, роли тех или иных вопросов в развитии какого-либо литературного течения и т.д.

И в последние месяцы мы – в который раз? – были призваны иметь суждение по поводу последнего по счету литературно-эмигрантского недоразумения. Статья Степуна в «Новом Граде» в этом смысле чрезвычайно показательна. Не входя в обсуждение ее основного смысла, следует прежде всего указать, что она направлена в пустое пространство. Между прочим, даже если предположить на минуту существование тех, к кому обращено воззвание Степуна, – пришлось бы констатировать, что эта предполагаемая литература призыва бы не поняла и не услышала бы; и ряд совершенно ныне архаических понятий

эпохи начала столетия, которыми оперирует Степун, не мог бы найти места в нынешней литературе. Не только потому, что абсолютная ценность этих понятий претерпела какие-то изменения, но и потому, что сознание теперешнего поколения им, так сказать, биологически чуждо; и они так же далеки от него, как от спора патриарха Никона со старообрядцами. Но дело даже не в этом, а в отсутствии литературы. Приглашаю читателя отказаться на время от его привычных взглядов и попытаться судить об этом так, как если бы речь шла о предмете, нас впервые занимающем. И на первый вопрос – почему нет литературы – ответ, мне кажется, найти нетрудно.

Заметим, прежде всего, что русская эмигрантская литература с самого начала была поставлена в условия исключительно неблагоприятные; первое из них – ничтожное количество читателей, о культурных требованиях и количестве которых нам сообщали данные, совершенно не соответствующие действительности. Можно сказать, что нам навязали обязательное представление о культурной массе русских читателей за границей, ни в малейшей степени не похожее на вещи реальные. Культурные массы эмигрантских читателей есть очередной миф, может быть, не лишенный приятности для национального самолюбия, но именно миф. В самом деле, откуда бы взяться этой массе? Если даже считать доказанным то – весьма спорное – положение, что большинство людей, выехавших шестнадцать лет тому назад за границу, принадлежало к интеллигенции, то за эти годы заграничная жизнь этих людей, в частности, необходимость чаще всего физического труда, произвела их несомненное культурное снижение. Неверно то, что бывшие адвокаты, прокуроры, доктора, инженеры, журналисты и т.д., став рабочими или шоферами такси, сохранили связь с тем соответствующим культурным слоем, к которому они раньше принадлежали. Наоборот, они по своей психологии, «запросам» и взглядам приблизились почти вплотную к тому классу, к которому нынче принадлежат и от которого их, в смысле их теперешнего культурного уровня, отделяет только разница языка. И мы не имеем права предъявлять к ним какие

бы то ни было требования. Их исчезновением – к сожалению, безвозвратным – частично объясняется то трагическое положение русской литературы за границей, в котором она находится.

Это одна сторона вопроса – отсутствие читателей; но при всей своей важности и существенности не это, мне кажется, является главной причиной русского литературного бесплодия. Страшные события, которых нынешние литературные поколения были свидетелями или участниками, разрушили все те гармонические схемы, которые были так важны, все эти «мировоззрения», «миросозерцания», «мироощущения» и нанесли им непоправимый удар. И то, в чем были уверены предыдущие поколения и что не могло вызывать никаких сомнений, – сметено как будто бы окончательно. У нас нет нынче тех социально-психологических устоев, которые были в свое время у любого сотрудника какой-нибудь вологодской либеральной газеты (если таковая существовала); и с этой точки зрения, он, этот сотрудник, был богаче и счастливее его потомков, живущих в культурном – сравнительно – Париже.

В статье «Что такое искусство», подвергнутой жестокой критике всеми людьми «эстетических» мировоззрений, Толстой – к слову сказать, понимавший в литературе больше, чем все русские эстеты, вместе взятые, – определяя главные качества писателя, третьим условием поставил «правильное моральное отношение автора к тому, что он пишет» (цитирую по памяти). В самом широком и свободном толковании это положение есть не требование или пожелание, а один из законов искусства и одно из условий возможности творчества.

И совершенно так же, как нельзя построить какую-либо научную теорию, не приняв предварительно ряда положительных данных, хотя бы временных, – так нельзя создать произведение искусства вне какого-то внутреннего морального знания.

И именно его теперь нет.

Я не хотел бы быть понятым слишком буквально: повторяю, необходимость этого морального знания есть

одна из «категорий» искусства, а не что-либо другое, тезис какого-нибудь, напр<имер>, литературного направления. Вне этого никакое подлинное искусство невозможно; никакая подлинная литература невозможна. Это не значит, что писатели перестают писать. Но главное, что мы требуем от литературы, в ее не европейском, а русском понимании, из нее вынуто и делает ее неинтересной и бледной.

Если предположить, что за границей были бы люди, способные стать гениальными писателями, то следовало бы, продолжая эту мысль, прийти к выводу, что им нечего было бы сказать; им помешала бы писать «честность с самим собой». Толстовское требование «правильного морального отношения» менее абсолютное, чем необходимость «религиозно-целостного» мировоззрения, сейчас невыполнимо. Не берусь судить, есть ли среди молодых эмигрантских писателей потенциальные гении; мне это представляется тем менее вероятным, что за все время издательской деятельности за границей не появилось ни одной значительной книги, на которую можно было бы указать, как на доказательство существования молодой эмигрантской литературы. Я выделил Сирина. Но он оказался возможен только в силу особенности, чрезвычайно редкого вида его дарования – писателя, существующего вне среды, вне страны, вне остального мира. Но и то, конечно, в его искусственном мире есть тот психологический point de départ[1], которого нет у других и который другими не может быть ни принят, ни усвоен, так как является ценностью только этого замкнутого круга творчества. И к молодой эмигрантской литературе Сирин не имеет никакого отношения.

Было бы, конечно, неправильно сказать, что за границей совершенно нет молодого литературного поколения. Есть, конечно, «труженики» и «труженицы» литературы; но только какое же это имеет отношение к искусству? Для этого поколения характерно почтительное отношение ко всему тому литературно-консервативному наследию, которое было вывезено из России представителями старшего поколения и ныне благополучно существует за грани-

[1] исходный пункт (*фр.*).

цей. Казалось бы, после всего, что мы видели и пережили, нельзя уже писать вещи, которые, не имея отношения к вечности, были бы интересны и даже в известной мере своевременны, скажем, в 1909-м или 1910-м году, но именно такие книги пишутся больше всего. Молодое поколение не получившейся эмигрантской литературы всецело усвоило готовые литературные и социальные принципы старших писателей эмиграции, принадлежащих в своем большинстве к дореволюционно-провинциальной литературной школе. Помимо несомненной устарелости этого литературного направления, в таком послушном усвоении есть еще одна очень важная сторона. Всякий писатель должен прежде всего создать в своем творческом воображении целый мир, который, конечно, должен отличаться от других – и только потом о нем стоит, быть может, рассказывать; об этом, однако, большинство тружеников не подозревает – и хорошо делает. Иначе им осталось бы бросить литературу и ехать в Парагвай. А между тем, это не Бог весть какое откровение; это объяснял молодому Мопассану даже Флобер, который, как известно, не отличался особой гениальностью мысли.

Не надо требовать от эмигрантских писателей литературы – в том смысле слова, в каком литературой называли творчество Блока, Белого, Горького. Выполнение этого требования не только непосильно, но и невозможно. Следует ли напоминать еще один раз, что культура и искусство суть понятия динамические – здесь же движение остановилось шестнадцать лет тому назад и с тех пор не возобновлялось. Зарождение литературных течений предполагает столкновение различных взглядов на искусство, лирику, поэзию, прозу. Этого столкновения тоже нет. Наконец, главное: творчество есть утверждение; и – по всей честности – этого утверждения нет. Конечно, и в эмиграции может появиться настоящий писатель – я уже указывал на общеизвестный пример Сирина. Но ему будет не о чем ни говорить, ни спорить с современниками; он будет идеально и страшно один. Речь же о молодой эмигрантской литературе совершенно беспредметна. Только чудо могло спасти это молодое литературное поколение; и

чуда – еще раз – не произошло. Живя в одичавшей Европе, в отчаянных материальных условиях, не имея возможности участвовать в культурной жизни и учиться, потеряв после долголетних испытаний всякую свежесть и непосредственность восприятия, не будучи способно ни поверить в какую-то новую истину, ни отрицать со всей силой тот мир, в котором оно существует, – оно было обречено. Возможно, что в этом есть некоторая историческая справедливость; возможно, что его жестокий опыт послужит для кого-то уроком. Но с этим трудно примириться; и естественнее было бы полагать, что оно заслужило лучшую участь, нежели та, которая выпала на его долю – в Берлине, Париже, Лондоне, Риге, в центрах той европейской культуры, при вырождении которой мы присутствуем в качестве равнодушных зрителей.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ МАСС

Нынешние времена отличаются от предыдущих периодов тем, в частности, что вновь ставят перед нами с особой силой основные вопросы жизни, которые давно казались решенными. Это нельзя назвать «переоценкой ценностей», это следовало бы определить, как создание новых понятий.

Современность нам как бы говорит: забудьте то, что вы знали раньше, и постарайтесь сами понять и продумать все; действуйте так, как если бы вы имели дело с совершенно новым материалом. Многие из нас этого еще не учли и продолжают жить и думать по-прежнему – будто ничего не случилось; но это сила инерции, и ожидать от нее что-нибудь интересное не приходится. Тем же, кто не хочет попасть в положение неизменно ошибающегося человека, следует, конечно, задуматься над всем, что казалось определенным раз навсегда.

Это положение может быть отнесено ко многим областям социальной жизни; в данном случае речь идет только о «литературе для масс». И вопрос ставится совершенно по-новому.

До сих пор к литературе для масс относились пренебрежительно. Это было результатом многих факторов, в частности, недобросовестности авторов и издателей, работавших на громадные народные тиражи. В итоге получалась литература действительно никуда не годная – дешевые популярные романы, «бульварные» книги, малограмотные брошюры и т.д. Считалось, что настоящая художественная литература массам недоступна, они ее не понимают. По-моему, такое убеждение – грубейшая ошибка. И вот почему.

Сталкиваясь с самыми разнообразными людьми, начиная от солдат, с которыми я служил, и рабочими, с

которыми работал на фабрике, и кончая профессорами и студентами, моими товарищами по университету, я с удивлением замечал, что разница между ними – в массе – оказывалась в пользу социально низшего слоя. Эти рабочие и солдаты понимали вопросы общего порядка быстрее и глубже, чем мои образованные друзья, и, главное, индивидуальнее; то есть у каждого было какое-то свое понимание, отличное от других. Я был вначале удивлен; казалось бы, они не были подготовлены к этому. Потом – позже, чем нужно – понял: их восприятие, их ум были свежее, не были загружены множеством совершенно ненужных вещей, которые нам вдалбливали в голову. У них не было множества напрасно прочитанных книг, которые все можно было бы уничтожить без вреда для культуры. Когда в какую-нибудь жидкость кладут слишком много, скажем, соли или сахара, то наступает момент и жидкость больше не в состоянии ничего растворить; это называется перенасыщенный раствор.

Так вот, с культурой происходит то же самое; нужны незаурядные личные дарования для того, чтобы человек мог преодолеть эту чудовищную культуру. Иначе он, как перенасыщенный раствор, не в состоянии реагировать ни на что новое. Такая беда нередко случается и с писателями, которые начинают видеть вещи не такими, какие они есть, а такими, как они о них читали.

Это не значит, что надо отказаться от большой культуры; нет, нужно только делать отбор. Из десяти книг, которые вам попадают в руки, восемь, наверное, можно не читать. Путем правильного подбора книг воспитывается верный вкус; а верный вкус есть бесспорнейший признак культуры.

Герцен когда-то говорил, что философские книги трудны, потому что они плохо написаны. Действительно, философский язык условен и сложен; но только потому, что философы привыкли пользоваться давно им известными обозначениями и перестали думать о том, как бы это выразить проще и убедительнее. К тому же философы редко бывают талантливыми писателями. Но сущность каждой философской системы, если ее очистить от условных тер-

минов и изложить общечеловеческим языком, доступна пониманию каждого сколько-нибудь умного человека.

Приблизительно так же обстоит дело с литературой. Только эстетствующая литература, то есть литература чаще всего дурного вкуса, требует особенной словесной подготовки. Настоящее же искусство, искусство великих писателей – Диккенса, Толстого, Бальзака – понятно всякому, кто захочет вчитаться. Есть, конечно, талантливейшие писатели, которых читать просто трудно, – Андрей Белый, например. Но если взять на себя этот труд и преодолеть его до конца, то потом не пожалеешь: стоило. Но Андрей Белый вообще исключение.

Россия всегда была и осталась страной, где очень много читают. К сожалению, теперешняя советская литература, подчиняющаяся политической администрации, вынуждена издавать книги, заведомо плохие. Литература по заказу всегда, в принципе, другая литература. А вместе с тем, именно теперь, когда у страны такие колоссальные книжные возможности, которых нет нигде в мире, можно было бы действительно с пользой работать. Но население само исправляет ошибку власти; спрос на классиков увеличивается. В начале революции на книгах, предназначенных для большого распространения, стояли на обложке строки Некрасова:

Придет ли времечко,
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого –
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Времечко настало, только не сумели использовать. Это тем более обидно, что русская литература отличалась всегда – как бы это сказать? – большей душевностью, чем литературы, скажем, иностранные; и одна хорошая русская книга вызывала больше сочувствия, больше общественной эмоциональной энергии, чем целая библиотека за границей.

Сделано в прошлом множество ошибок, делаются они и теперь. Надо постараться их не повторять. Надо,

чтобы с одной стороны, писатели знали, что их вещи ждут с надеждой и прочтут с вниманием, которые нехорошо обманывать недоброкачественными книгами и халтурой; и, с другой стороны, массам следует помнить, что всякая хорошая книга – за редчайшими исключениями – написана, в сущности, для них и к ним обращена. И только при этом взаимном и дружеском доверии и возможна настоящая культурная миссия литературы.

А.А. БЕЙЕР

Недавно в Буэнос-Айресе умер Анатолий Аполлонович Бейер. Эта смерть прошла почти незамеченной; в газете появилось несколько строк, затем в одной из церквей Парижа была отслужена панихида, на которую пришли бывшие ученики и ученицы Шуменской гимназии, которой он был директором, и всё. Вместе с тем, Анатолий Аполлонович имел бы полное право на почетное место в истории русской интеллигенции. Эмигрантские условия существования, жестокие и несправедливые обстоятельства его личной жизни решили иначе. Это, конечно, не единственный случай. Интеллектуальные ценности теперь «котируются» ниже, чем когда бы то ни было. Это в конце концов понятно и апеллировать в сущности не к кому. Анатолий Аполлонович был жертвой именно этого положения вещей.

Он был директором русской эмигрантской гимназии, образовавшейся в Константинополе в 1922 г. и переехавшей потом в Болгарию, где она и кончила свое существование через несколько лет – за недостатком средств, успев, однако, выпустить несколько поколений эмигрантов-абитуриентов. Теперь кажется невероятным, что она могла вообще существовать при таком составе учеников – бывших солдат, офицеров, матросов, спекулянтов, совершенно взрослых, только что вырвавшихся из ада гражданской войны. Как можно было «вернуть культуре» этих бывших комендантов, командиров и просто потерявшихся людей, которые давно забыли о книгах, учебниках и сочинениях по русской литературе? Эти заслуги принадлежали Анатолию Аполлоновичу – и, я думаю, только ему оказались по силам.

Он никогда не прибегал ни к каким наказаниям, он даже никогда не повышал голоса. Но удивительный его

педагогический дар заключался в том, что его авторитет никем не оспаривался, точно так же, как его решения. Сам он преподавал физику – и у него не могло быть и не было плохих учеников. У него нельзя было не учиться – не только потому, что он делал свой предмет интересным, но еще и оттого, что это было неловко по отношению к нему лично. Он об этом не говорил и даже не давал это понять – но это было очевидно в одинаковой степени и для примерного первого ученика и для последнего, которому было, казалось бы, наплевать на все решительно. Самые отчаянные люди, идущие к нему с тем, чтобы протестовать, требовать и т.д. – в его присутствии сразу терялись и все кончалось очень мирным разговором. Но он не культивировал этого своего очарования и, казалось, забывал о нем. Когда я думал о нем, мне нужно было сделать большое усилие, чтобы вспомнить, что он был генералом – настолько он был непохожим на военного – хотя я не сомневаюсь, что и военным он был выдающимся.

Он был человек огромной гуманитарной культуры – одним из лучших представителей русской интеллигенции, каких мне приходилось встречать. У него был один недостаток: как очень умные люди, он не любил, когда его не сразу понимали, и на секунду в его глазах мелькало раздражение, но он тотчас же овладевал собой и снова принимался объяснять.

Объяснения его были удивительны по разнообразию понятий, которыми он оперировал; хорошему ученику он говорил несколько фраз, прибавляя – «понимаете?», плохому или менее культурному объяснял долго, не выходя из области идей, доступных именно его поневоле ограниченному пониманию. Кто-то шутя говорил про него, что, если ему дать час времени, он объяснит средней кухарке бином Ньютона.

Он управлял гимназией на основании принципов, которые у всякого другого директора кончились бы совершенно катастрофическим образом. Он ничего не запрещал и не применял никаких взысканий; и самое удивительное было то, что это незачем было делать. Вечерами иногда он

собирал всю гимназию и говорил о некоторых поступках учеников, тут же их комментируя, – и получалось всегда так, что провинившиеся чувствовали себя в таком глупом и смешном положении, в каком никогда не бывали: и это служило совершенно достойным уроком. Его исключительный ум был совершенно лишен высокомерия, на которое имел право; он разговаривал с каждым учеником, как равный, и эффект получался безошибочный – было слишком стыдно потом не оправдать его доверие. (Помню, как мы – нас было несколько человек – пришли к нему протестовать по поводу того, что в зале, который примыкал к нашему дортуару, постоянно устраивались танцевальные вечеринки; шум мешал нам заниматься. Он сказал: вот, вы, конечно, люди глубокомысленные и занимаетесь литературой и отвлеченными проблемами – а это все молодежь, знаете, у них голова легкая, им танцевать хочется. Вы их тоже поймите и пожалейте и потом, в конце концов, что вам мешает заниматься в другом дортуаре?)

Нельзя, конечно, в нескольких строках газетного некролога описать человека, особенно такого, как Анатолий Аполлонович. Но необходимо знать об этой утрате. Он давно уже не занимался педагогической деятельностью – по крайней мере, в русской среде. Но то, что он сделал пятнадцать лет тому назад, для нас, его бывших учеников, останется незабываемо. Когда мы очутились за границей, когда всё, чему нас учили, все положительные принципы, все начала этической культуры были так страшно, так непоправимо, казалось бы, разрушены – он доказал нам, что «вечные ценности» не гибнут и сила этого обратного движения, в которое он нас вовлек, исходила именно от него. И до тех пор, пока у нас сохранится память об этих годах и об Анатолии Аполлоновиче, нам есть чем гордиться – и есть что жалеть.

Я бы хотел написать об Анатолии Аполлоновиче самые верные, самые лучшие слова, которые я знаю. Я хочу надеяться, что он знал всегда, до последних дней своей жизни, что наша благодарность ему и наша преданность его памяти неизменны – что бы ни случилось, где

бы мы ни были; потому что, будучи его верным учеником, я полагаю, лучшее, что есть в человеке, – сделано из не погибающей и в каком-то смысле, быть может, бессмертной материи: и сквозь много лет поминутных, настойчивых опровержений этой гордой истины, я верю в нее так же твердо, как тогда, в Константинополе, как нас учил ей Ан<атолий> Ап<оллонович>.

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ. ВИЗА ВРЕМЕНИ

В издательстве «Петрополис» опять вышла книга Ильи Эренбурга, которому несомненно следует отдать пальму первенства в смысле количества выпускаемых романов, рассказов и других произведений литературного порядка. Пожалуй, в истории русской литературы с Эренбургом могли бы в свое время потягаться только Немирович-Данченко и Боборыкин. Среди современных же писателей никто не может даже приблизиться к количеству эренбурговской «продукции». Это объясняется тем, что Эренбург, в сущности, меньше всего писатель и уж никак не беллетрист. Он – журналист, если хотите репортер с небольшим запасом идейного баланса, но к настоящей литературе он непосредственного отношения не имеет, – да, кажется, и не претендует на это. И если к «Визе времени» предъявлять требования журнального порядка, то она окажется книгой, не лишенной некоторого интереса.

Это очень «случайная» книга, трактующая о самых различных вопросах: горах Грузии, искусстве поствоенной Германии, и, конечно, многократно о Париже, о Польше и обо всем, чем угодно, вплоть до политического устройства Турции. Она не связана никаким философским единством – да оно и понятно; это было бы слишком обременительной и недоступной Эренбургу роскошью. Есть в книге и неизбежная эренбурговская «железная нежность пролетарских мускулов» и прочие вещи того же порядка, которые он по ошибке все помещает в свои книги, забывая, что теперь не 1920-й год. Но даже и это не очень раздражает, нельзя требовать от Эренбурга, чтобы он писал, как Максим Горький.

Не всегда приятна неизменная любовь Эренбурга к вопросам пера, но это по-видимому неизлечимо, и тем более грустно, что обо всем этом Эренбург рассуждает очень храбро и наивно – с тем налетом советского примитивизма, который, может быть, очень хорош и даже «неблагонамерен» в России, но уж слишком провинциален за границей.

Несомненный талант – только не литературный, конечно; в этом не следует заблуждаться – и ум Эренбурга служит ему для грошовой литературы: в самом начале его литературной карьеры – «Лик войны» – мы могли, казалось, рассчитывать на лучшие результаты: теперь же это, мне думается, непоправимо. Очень сокрушаться об этом не стоит; нельзя сказать, чтобы в лице Эренбурга мы потеряли возможного Толстого; но и злорадствовать причин нет, так как Эренбург все-таки честный и умный человек и не без некоторой склонности к прекрасным искусствам.

Следует, пожалуй, еще отметить небрежность языка: стилистом Эренбург никогда не был; правда, и русскую речь не пытался реформировать, язык у него, конечно, не бунинский, но все-таки писать «я хотел запросто намерить ботинки» как-то уж очень неловко, а неподготовленный читатель может и вовсе не понять, в чем дело.

Кто-то, что ли Шкловский, в свое время очень верно сказал: после «Лика войны» Эренбург написал еще «Хулио Хуренито». Все остальное – это вариации «Хулио Хуренито». Ко всем читателям Эренбургу следовало бы обратиться с просьбой: пожалуйста, читайте «Хулио Хуренито». Кроме этой книги, Эренбург ничего не написал.

<1930?>

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ. «БРИТЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Две последние книги Мариенгофа, «Циники» и «Бритый человек», имели средний успех скандального порядка. За «Циников» сам Мариенгоф лицемерно упрекал себя в непонимании советской действительности и публично каялся в своих грехах. До «Бритого человека» очередь пока еще не дошла. Обе эти книги очень похожи друг на друга и, пожалуй, равноценные, если это слово можно употребить здесь даже в самом относительном смысле – в чем есть все основания сомневаться. Книги Мариенгофа плохи не только потому, что они щеголевато-циничны; это цинизм не страшный, пензенского происхождения и местного характера. Хуже то, что они малограмотны и беспомощны. Этот наивный человек пишет: «Его голова лежала у меня на груди и тупо не понимала тюремной азбуки сердца, выстукивающего трагические ругательства». Или: «Дерево, гнедое, как лошадь, ничего, вероятно, не имело против. Собака с плакучим хвостом придорожной ивы не сквернословила».

О литературе Мариенгоф имеет понятия чрезвычайно приблизительные, что, впрочем, естественно: не в пензенской гимназии этому научиться. Он, правда, цитирует Сковороду, что производит необыкновенно странное впечатление – вроде того, как если бы какой-нибудь хуторской донжуан стал бы играть Моцарта на балалайке – вместо родного «Яблочка» или «Кирпичиков».

Но я охотно допускаю, что книги Мариенгофа должны считаться очень неплохими и передовыми где-нибудь в обществе уездных эстетов – не знаю, достаточна ли такая слава. Самое любопытное, однако, это то, что ни «Циники», ни «Бритый человек» не оригинальны. У Мариенгофа был более блистательный предшественник, писавший в таком же роде; мне кажется несомнен-

ным, что Мариенгоф черпал свое «вдохновение» именно там, и, будучи очарован этим «искусством», почувствовал невозможность писать иначе. Имя этого писателя, который был несравненно талантливее и, главное, грамотнее Мариенгофа, – Ветлугин. Теперь о нем мало кто помнит, но несколько лет тому назад его «Записки мерзавца» имели успех более шумный и более заслуженный, нежели «Бритый человек». Правда, вряд ли кому-нибудь в голову приходила мысль, что Ветлугину можно подражать. Оказывается, можно. Я не удивлюсь, если когда-нибудь мне попадется в руки книга, написанная под сильным влиянием Брешко-Брешковского; после Мариенгофа следует быть ко всему готовым.

Говорить о том, что книгу Мариенгофа нельзя рассматривать как литературное произведение, кажется, не нужно. Думаю, что критики о ней спорить не будут – и «молодое поколение» зачитываться «Бритым человеком» тоже не станет. Остается констатировать лишний раз, насколько у людей различны вкусы: один любит описания природы, другой – человеческих чувств, третий – охоты, четвертый – великосветских салонов. Мариенгоф значительно скромнее: его, по преимуществу, занимает уборная. Это довольно странно, но в конце концов законно: каждому свое.

В заслугу Мариенгофу следует поставить то, что книги он пишет довольно короткие. Правда, когда он писал «имажинистические» стихи (оттуда же и злополучная собака с плакучим хвостом) в «Гостинице для путешествующих в прекрасном», это было еще лучше. Но, к сожалению, те времена прошли.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

Вышла первая часть большого исторического романа Алексея Толстого «Петр Первый», печатавшаяся раньше в «Новом мире». Несмотря на то, что роман еще не окончен и окончательная оценка его может быть произнесена только после опубликования второй части – уже и сейчас можно не сомневаться, что «Петр Первый» будет одним из лучших исторических романов о русской литературе.

Только необыкновенный талант Толстого позволяет ему вести длиннейший рассказ таким не эпическим стилем, который у всякого другого автора вышел бы утомительным и скучным, как это бывало, когда за исторические темы, довольно модные в российской литературе, брались другие писатели средних способностей. Толстой – исключение; то, что не позволено другим, позволено ему. У нас есть, пожалуй, основания сомневаться в исторической бесспорности Петра Первого; да и тот образ, который рисует Толстой, – мальчика Петра, несколько боязливого, дикого и не очень умного, плохо вяжется с обычными представлениями о нем. Академик Платонов как-то очень резко и насмешливо писал об исторических вещах Толстого, в частности о рассказе «День Петра», и надо полагать, что имел на это полное право. Но исторические неточности портят только плохие романы – читая же Толстого, об историческом соответствии забываешь.

Недостатки «Петра Первого» – недостатки самого Толстого и всего его обильного творчества. Этот исключительно одаренный человек, прекрасный рассказчик, никогда не становящийся скучным и во всем одинаково интересный – вплоть до «Аэлиты» или даже «Гиперболоида инженера Гарина» – лишен, однако, тех качеств, которые могли бы сделать его имя мировым. Толстой –

самый лучший из второстепенных писателей. Конечно, он намного выше почти всех современных писателей в России; конечно, и в иностранной литературе мало найдется людей, которые могли бы с ним сравниться. Но ему не дано в своих вещах доходить до конца и приближаться вплотную к той границе, за которой начинается мировое значение искусства; а таланта на это у него хватило бы.

Россия раньше петровского времени изображена в романе Толстого самыми мрачными приемами: голод, разорение, дикость, невежество, глупость, трусость – кажется, все отрицательные качества собраны и сгущены в ней. Это несколько одностороннее освещение все же производит впечатление правдивости – благодаря толстовскому таланту убедительности.

Во всем романе есть два-три человека, в какой-то степени способные к рассуждению, пониманию событий и вообще мышлению. Все остальные – воры и непроходимые дураки: так же изображена и боярская Дума. Но, повторяю, искать исторической точности в «Петре Первом» – занятие ненужное и лишнее. Наша историческая литература исключительно бедна – опять также если не считать совсем третьестепенных произведений – романов Мордовцева или Мережковского. И, конечно, роман «Петр Первый» займет в ней по праву исключительное и только ему принадлежащее место.

<1930?>

В. КАТАЕВ. ОТЕЦ. СБОРНИК РАССКАЗОВ

В книге Катаева собрано шестнадцать рассказов разных размеров и не всегда одинакового литературного достоинства. Теперь, когда произведения не непосредственно пропагандного или комментаторского характера становятся в России редкостью, – этой книге читатель должен обрадоваться. Катаев – один из немногих писателей, полууцелевших от своеобразной литературной и цензурной чистки последнего времени; впрочем, «Отец» издан в Берлине и в России наверное не продается, хотя и трудно понять, почему бы: «контрреволюционного» в нем нет решительно ничего. Как почти все, написанное в недавние годы в России, книга Катаева не лишена некоторого «правительственно-доброжелательного» налета, едва, впрочем заметного и, конечно, совершенно необходимого: быть объективным русским литератором, не находясь за границей, невозможно. Но те рассказы Катаева, где он является чем-то вроде «сурового бытописателя революции», – как нарочно, наименее удачны, хотя талант автора придает относительную убедительность даже коммунисту Ерохину в рассказе «Огонь»; до сих пор герой-коммунист советской литературы неизменно выходил удивительно похожим на переодетого Кузьму Крючкова – или Николая Курбова, что было уж вовсе неправдоподобно.

Лучший рассказ в сборнике – «Отец». В нем описывается старый и несчастный человек, интеллигент, и его бесконечная любовь к сыну, доходящая до полной готовности пожертвовать всем, чтобы сыну стало легче. Прекрасно описана тюрьма, в которой сидит сын, ежедневные приходы отца и то, как старик умолял конвойных передать сыну «табачок» – когда арестантов вели по улице. Сына выпустили, он стал полноправным советским гражданином, и хорошо устроился; а отец продолжал пребы-

вать в нищете и ничтожестве и так и умер. Рассказ написан умно и хорошо, с той спокойной и жестокой беспристрастностью и тем отсутствием какого бы то ни было подчеркивания, которые доступны только настоящему писательскому дарованию.

Впрочем, в писательском даровании Катаева сомневаться никогда не приходилось. Даже в самых мелких и незначительных его вещах попадаются места удивительные по почти законченному совершенству. Это тем более неожиданно, что повествование Катаева чрезвычайно неровно; и одно время казалось, что, отдавая должное несомненному таланту этого писателя, мы не вправе все же предъявлять к нему особенно строгие требования: так можно было думать после недавней книги Катаева «Бородатый малютка» – книги грубоватого юмора.

В сборнике «Отец» Катаеву удались даже наиболее трудные по выполнению описательные и бессюжетные рассказы.

Стилистические ухищрения, особенно распространенные в рыночной советской литературе и объясняющиеся в некоторых случаях отсутствием литературного слуха, а чаще просто невежественностью – у Катаева скорее, случайны, и надо полагать, что в дальнейшем они окончательно исчезнут.

Книга лишена каких бы то ни было политических или социальных тенденций: в сущности, и генеральша, продающая сигары покойного мужа, и коммунист Ерохин описаны в почти одинаковых тонах; если о Ерохине и сказано несколько похвальных слов, то звучат они настолько вяло, что сразу же чувствуется их обязательность и невесомость.

Нынешний период российской литературы особенно скучен и тяжел: витрины литературных магазинов заполнены колхозными, ударными и пр. повестями, за которые берутся юркие полужурналисты, полуспекулянты, но меньше всего литераторы. В таких условиях книга Катаева кажется оазисом в пустыне. В нормальных обстоятельствах она несколько потеряла бы в ценности; но это не мешает ей оставаться одной из лучших книг рассказов, вышедших за последние несколько лет.

ПРОФ. САМОЙЛОВИЧ. S.O.S. В АРКТИКЕ

«S.O.S.» в Арктике» – описание экспедиции русского ледокола «Красин», отправленного на розыски экипажа злополучной «Италии» и спасшей, как известно, итальянцев. В книге нет никакого беллетристического элемента, но читается она с неослабевающим вниманием – и, конечно, она интереснее многих и многих увлекательных романов. Написана она чрезвычайно просто и лаконично, но многие места ее вызывают настоящее волнение.

Об экипаже «Красина» писали все газеты мира, но в те времена сообщения носили восторженный и отрывочный характер и, конечно, не могли дать точного представления о том, как проходило путешествие «Красина» среди полярных льдов. Теперь обо всех подробностях путешествия книга проф. Самойловича сообщает детальные данные.

Трудности продвижения во льдах были подчас настолько велики, что в течение нескольких часов самый мощный ледокол России едва делал десяток метров; а судно, идущее за ним, не могло за ним следовать, так как лед тотчас же смерзался.

Удивительны полеты советских авиаторов – Чухновского и Бабушкина, которым, собственно, экипаж «Италии» и обязан своим спасением. Не надо забывать, что воздушные разведки происходили на гигантском пространстве арктического океана, покрытого льдами, и что достаточно было бы порчи мотора, чтобы летчик разделил участь многих других, погибших; впрочем, именно это и случилось с теми, кому менее благоприятствовала судьба: участь Гильбо и Амундсена еще свежа в памяти.

Проф. Самойлович объективен в своей книге настолько, насколько вообще можно быть объективным. Но и из его беспристрастного описания становится ясным

позорное поведение Цаппи; становятся особенно трагическими обстоятельства гибели Мальмгрена: очень хорошо одним случайным замечанием определена фигура чеха Бегоунека, который, едва увидев спасителей, тотчас же спросил – сможет ли он продолжать свои научные занятия на ледоколе. Прекрасно описан почти умирающий от истощения Мариано; и с едва заметным высокомерным удивлением описан Цаппи на «Красине».

Как всегда – как на войне или в минуту особенной опасности – в Арктике люди становятся видны до конца: трусость и геройство там виднее и законченнее, чем где бы то ни было. Достаточно вспомнить, что генерал Нобиле сразу же стал предметом единодушного презрения всех читателей газет всего земного шара – так же, как и Цаппи: и, конечно, жизнь и карьера этих людей теперь погублены навсегда. Не без некоторой эгоистической гордости можно сказать, что русскому экипажу «Красина» и русским авиаторам принадлежит в этих событиях самая почетная роль.

О ШМЕЛЁВЕ

Пожалуй, из эмигрантских писателей старшего поколения Шмелёв почитается меньше всех. Почти каждый раз его очередное выступление в журнале или газете вызывает чувство неловкости и сожаления, которое иногда переходит, как это случалось уже несколько раз, в прямую насмешку, если дело касается чисто литературной критики, или в возмущение, если речь идет о политической тенденциозности его произведений. Это все в одинаковой степени естественно: трудно найти во всей русской литературе человека как-то более неуместного, чем Шмелёв.

Перед иностранцами нам бы за Шмелёва было стыдно; к счастью, иностранцы его не знают. Не так давно в «Числах» были напечатаны ответы писателей на анкету о Прусте; и среди них ответ Шмелёва производит совсем особое впечатление. Рядом с умными и сдержанными строками Алданова, рядом с вполне европейскими рассуждениями ответ Шмелёва, написанный его всегдашним небрежным и плохим языком и отдающий предпочтение Альбову перед Прустом, но свысока упоминающий о Франсе и составленный вовсе уж в удивительно нарочитых тонах, был более всего похож на критику русского семинариста или «нижнего чина из грамотных», но писательским его назвать никак нельзя – это было бы слишком оскорбительно и незаслуженно.

Не стоит, конечно, говорить о том, что и Пруст, и Франс просто недоступны Шмелёву, как недоступен Поль Валери какому-нибудь уездному дьякону, который к тому же и по-французски не знает. Но элементарная тактичность должна бы удержать Шмелёва от выступления в анкете и не говорить о литературе, то есть области явно

находящейся вне его компетенции. К сожалению, тактичности у Шмелёва и на этот раз не хватило.

Совсем недавно в «Современных записках» стал печататься роман Шмелёва «Солдаты». Сам факт появления этого романа на страницах эсеровского журнала так же удивителен, как удивительно было бы сотрудничество Демьяна Бедного на страницах «Возрождения». Но дело не только в этом. «Солдаты» претендуют на известную литературность: интересно было бы выяснить, в какой степени роман Шмелёва имеет на это право.

Это рассказ о «солдате», капитане Бураеве, который сам себя называет в одном месте «профессионалом и... гладиатором последнего срока». Капитан Бураев бьет плеткой крамольного семинариста; капитан Бураев, «воспитанный в рыцарском уважении к женщине» (так нам его рекомендует автор), ссорится со своей любовницей, которая ему изменяет с развратным и либеральным адвокатом, и называет ее словами, которые заменимы многоточиями, ввиду их нецензурности, – странное выражение «рыцарского отношения к женщине». Но капитан Бураев, помимо рассуждения об интеллигентщине, о всякой «сволочи», цитирует Пушкина, умиляется всему военному – и все это не переставая испытывать нежные и рыцарские чувства к большинству женщин, которых он встречает. В этом проходит его жизнь: полковые смотры, женщины и «умные» рассуждения о «сволочи» и интеллигенции и т.д.

Вещь, в общем до трогательности несложная. Психология героя, этого самого «гладиатора» – смесь военного писаря (со всеми прелестями писарского стиля), российского Дон-Жуана, которого много лет назад Философов, разбирая примерно такой же роман Фон-Визина, резко назвал «жеребцом», – и еще, пожалуй, анахронического, запоздавшего члена Союза русского народа. Надо отдать Шмелёву справедливость: у Пруста и Франса ничего подобного нельзя найти.

Роман написан исключительно плохо и беспомощно – с бесконечными многоточиями, восклицательными знаками, «мраморными лицами и ногами» – одним

словом, так в прежние времена писали Вербицкая и Арцыбашев – только более гладко и грамотно.

«– Люси!..

– Мой... Стеф!..

Все пропало в блаженствах ночи».

Цитаты можно было бы приводить без конца. Можно отметить совершенно объективно и нисколько не преувеличивая, что в России средний литературный комсомолец, несомненно – в смысле стиля и композиции – конечно, гораздо сильнее Шмелёва.

Небольшой Шмелёвский талант погублен чудовищной литературной некультурностью. Существует, помимо этого, еще средний образовательный уровень, обязательный для всякого «интеллигентного» человека и минимальный для писателя. К сожалению, Шмелёв находится значительно ниже этого уровня. Это было бы не так уж страшно: Гоголь был человек малообразованный, Достоевский был невежествен, но у них была гениальность. У Шмелёва же его талант ровно настолько велик, чтобы позволить ему писать небольшие бытовые рассказы, но при отсутствии очень значительных способностей необходим все тот же культурный уровень: положение создается безвыходное.

Остается только порадоваться тому, что даже в эмигрантской литературе, далеко не блестящей, Шмелёв является исключением. Идеологически он близок, пожалуй, только Краснову – Брешко-Брешковскому, т.е. людям, к литературе никакого отношения не имеющим. Этой отчужденностью и неуместностью объясняется и высокомерное отношение критики к Шмелёву.

Если бы Шмелёвский роман был произведением не то что литературным – это невозможно, литературой мы называем вещи более грамотно написанные – но ограничивался бы претензиями эстетического порядка, это можно было бы оставить без внимания: мало ли романов пишется и печатается. Но роковая и неизменная особенность такой литературы в кавычках заключается в обязательных для нее – и непосильном философствовании, и политически-государственных концепциях, излагаемых

сусальным языком какого-нибудь «огородника Балунова», который был подпаском, стал миллионером и теперь говорит о России и способен управлять государством. Ему вторят другие – какой-нибудь поп, который, как у Шмелёва, «народ ведет», не больше и не меньше, и ведет его, оказывается, в чрезвычайно полезном направлении: «к Богу и к родине». В лучшем случае рассуждения эти до трогательности бессодержательны: «Покуда в народе дух, он живет. Как дух пропал – долой со счета». А стиль такой: «Вон у меня ребята даже поют: “Наша Матушка-Расея всему свету голова”. А мы будто тому ли верим, а? А кака махина-то! Будто и без причины? Без причины и чирей не садится. Для чего удостоены такого поля? По такому полю и дорога немалая, а прямо тебе большак на самый что ни есть край света!»

Сам герой, пожалуй, еще проще «огородника»: идеал его Россия – вся Россия – «как солдаты», то есть государство, – эта «самая замечательная матушка» Россия должна уподобиться полку, да еще с такими «умственно отсталыми» людьми, как герой Шмигль, в качестве командиров. Кстати, бедная такой участи не заслужила.

БОРЬБА ЗА ПРАВДУ

Новые писатели

Неутомимый А. Седых, вполне бескорыстный интерес которого к русской литературе давно известен широким массам благородной эмиграции, провел короткую, но энергичную анкету среди русских писателей. Результаты, достигнутые талантливым журналистом, чрезвычайно плодотворны. Открыты некоторые совершенно новые корифеи русской литературы. Наряду со скромными, хотя и успевшими приобрести некоторую популярность Буниным и Алдановым, фигурируют ответы Дон-Аминадо и Саши Черного. Невежественные читатели, имевшие наивность считать Дон-Аминадо фельетонистом и комиком, теперь будут знать, что они ошибались – и прозевали крупнейшие события современной литературы. Так французы в свое время неправильно поняли Марселя Пруста. Вместе с А. Седыхом мы скорбим о невежественности читателей и сочувствуем ему в его большой и трудной задаче. Но мы надеемся, что в дальнейшем он откроет нам еще нескольких корифеев – тем более, что в этом смысле эмиграция представляет большой интерес. Было бы хорошо, если бы Седых заставил эмиграцию признать еще нескольких писателей, которых бескорыстие и крупные литературные дарования заслуживают быть отмеченными: Ал. Яблоновский, кн. Касаткин-Ростовский, А. Ренников, лирик П. Рысс и др.

Пожелаем А. Седыху успеха в его неблагодарном и тяжелом труде и поблагодарим его за то, что он уже сделал. Потомство этого не забудет.

Озверевшие большевики

Трудно поверить, до чего дожило под гнетом антихристовой власти рядовое население России, особенно национальные меньшинства. Оно дошло до полного отказа от законов нормальной физиологии, и, конечно, в силу этого попало в очень трудное положение.

Мы не решились бы на подобные утверждения, ежели бы не могли сослаться на бесспорное доказательство известного и авторитетного автомобилиста В. Зензинова, повествующего в «Днях» о трудном положении татарина, являющегося отцом двух малолетних детей, из которых первому два, а второму два с половиной года. До большевиков такой факт был бы немыслим. До каких же пределов дойдет наглость московского правительства?

Денационализация русской молодежи во Франции

Печальная истина, неоднократно отмечавшаяся на страницах русской заграничной прессы и заключающаяся в том, что русской молодежи во Франции угрожает опасность ассимиляции, нашла недавно свое очередное подтверждение на страницах одного из лучших художественных журналов эмиграции, руководство которого поручено известному эссеисту и стилизатору А. Филиппову.

В журнале «Театр и жизнь» напечатаны в переводе Н.Г. воспоминания B. de Bor'a, известного сотрудника французской вечерней газеты, имеющей из всех вечерних газет мира самый большой тираж. В объяснении, искусно составленном редакцией, сообщается, что статья прислана на французском языке и только благодаря самоотверженному труду неизвестного переводчика Н.Г. могла быть помещена по-русски.

А между тем многие старожилы эмиграции до сих пор вспоминают о том времени, когда B. de Bor был молодым русским поэтом, свободно объяснялся и даже писал на родном языке. Прошло несколько лет и – увы – B. de Bor, до сих пор еще владеющий русской разговорной речью,

уже не может более писать на родном языке и принужден прибегать к услугам переводчиков.

Выражаем В. de Bor'у наше соболезнование, равно как и благодарность неизвестному переводчику, которому мы обязаны тем, что статьи В. de Bor'a, хотя и на французском языке, но проникнутые русским национальным духом, все же появляются на страницах нашей прессы.

Похвальная осмотрительность

Это мудрое народное качество проявлено в превосходной степени редакцией крупного русского журнала в Париже под названием «Числа». В противоположность большинству журналов, выпускающих ежемесячно или еженедельно или четыре раза в год свои наспех сделанные, кое-как скомканные книги, «Числа», напротив, поставили своей целью приучить нетерпеливого и жадного читателя к методическому ожиданию. С другой стороны, редакцию «Чисел» нельзя обвинить в намеренном замедлении выхода первой книги, потому что подготовка первого номера заняла пока что всего год или полтора. Если мы вспомним, что «Война и мир», которая была в конце концов только одним романом, потребовала пять лет работы, то станет понятным, что номер журнала не может быть закончен в очень короткий срок.

Нельзя, впрочем, не отметить, что в работе редакции иногда происходят досадные перебои: так, в ноябре прошлого года какое-то безответственное лицо, явно не имеющее редакционных полномочий и не находящееся в курсе работы, поместило в газете «Последние новости» объявление о выходе «Чисел» в начале декабря. Не желая огласки, редакция не напечатала опровержения, справедливо полагая, что время само исправит эту досадную ошибку. Действительно, уже в конце декабря широкие читательские массы могли констатировать полную несостоятельность этого не авторитетного и даже дерзкого объявления. По частным сведениям можно предположить, что

номер «Чисел» выйдет не позже середины третьего десятилетия нашей эры. Это кажется тем более возможным, что гигантская работа по выпуску роскошного проспекта уже закончена.

Пожелаем дальнейших успехов этому блестящему и осмотрительному начинанию, тем более, что мы справедливо можем гордиться составом его сотрудников, среди которых в критическом, например, отделе мы находим такие знаменитые имена, как Антон Крайний и В. Фрид.

Борьба за правду

Мы обратились в редакцию «Воли России» с просьбой напечатать несколько коротких заметок, имеющих целью борьбу за истину и справедливость, равно как и защиту нашими слабыми средствами всех незаслуженно обиженных и пострадавших. Мы выиграли из всех явлений общественного характера именно литературу, потому что она отражает действительность: глубокая жизненная правда произведений наших лучших романистов – Брешко-Брешковского, Краснова, М. Гаркеса (автор знаменитого романа «Жемчуг слез») – тому ежедневное доказательство. Вместе с тем количество литературных несправедливостей поистине неисчислимо. Почему не слышим мы восторженного повторения имен наших лучших авторов? Почему не пишут о Н. Берберовой, Н. Рощине, Георгии Пескове, В. Яновском? Почему наш знаменитый юморист, которого мы склонны ставить рядом с Аверченко, Тэффи и др. – Д. Мережковский, автор книги неудержимого и гомерического хохота «Наполеон – человек», так тонко подметивший гениальность скромного французского полководца начала XIX столетия – почему Мережковский остается как бы в тени? Таких вопросов можно было бы задать сотню. Мы не возлагаем больших надежд на всю русскую общественность, непосильно утомленную передовыми статьями, критикой экономического материализма и трактатами о развитии колхозного хозяйства. Но то, что мы можем сделать – мы будем делать не щадя сил. Это наша

обязанность и в то же время наше право. И если наш голос будет услышан – это будет достаточным вознаграждением морального характера.

В наших заметках мы постараемся отмечать все достойное внимания, как положительное, так и отрицательное.

<Paris, 1930?>

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ - I

Хорошие места

Оказывается, и во Франции есть пейзажи, приятно поражающие русский национальный взор. Это было замечено русской журналисткой Ю. Сазоновой, ездившей недавно в провинцию.

«Бесконечные поля с отдельными живописными силуэтами работающих крестьян и радостные для русского глаза желтые снопы скошенной травы.

...Пролетающие по узким дорогам, с шипом и грохотом автомобили, только подчеркивают мгновенно наступающую глубокую, точно бархатную, тишину. И над всем этим тихим пейзажем, в котором все ласкает и ничто не волнует, – тень Ламартина, некогда любившего на берегу одного из этих райских безмятежных озер».

Францию следует поставить на первом месте – в смысле привлекательности для туристов: пустить тень Ламартина над озером – не всякое правительство на такие расходы пойдет.

Жаль, конечно, что сельское хозяйство только ведется уж очень спустя рукава: трава, оказывается, желтая, да еще в снопах. До сих пор таких варварских вещей в агрикультуре не наблюдалось. Возможно, впрочем, что это декоративная красота, устроенная специально для радости глаз русских литераторов.

Но тогда следует сказать, что гостеприимство Франции поистине удивительно: пускают летать автомобили, красят траву в желтый цвет и дают еще тень Ламартина, в виде бесплатного приложения. Все-таки, что бы ни говорить, а нам у Европы многому следует поучиться.

Крепостное право в России

Казалось бы, крепостная зависимость отменена в России еще в середине прошлого столетия: все об этом учили в свое время. Однако это далеко не всегда соответствует исторической действительности. Вот что пишет об этом В. Корсак в рассказе «Дым отечества»:

«И оба, сидя напротив, не спускали с меня глаз. Они ведь имели перед собой человека, который всего несколько дней назад видел и говорил с их детищем».

Все совершенно ясно и не оставляет никаких сомнений. По-видимому, и в наше время можно «иметь человека»; только, конечно, смотреть за ним следует в оба, – что, впрочем, владельцы и делают. Правда, за всем не уследишь: и крепостной автор ухитрился все-таки по недосмотру хозяев обидеть их сына, назвав его «детищем» – и пренебречь одним из основных правил русской речи: «видел и говорил с их детищем».

Трудно нынче с литературной молодежью.

Жидкие люди

Но наряду с печальными пережитками мрачного прошлого, описанными В. Корсаком, есть к счастью, и другие факты, более отрадные – как в рассуждении литературного изящества, так и в смысле неожиданности.

Например, юный автор рассказа – «Тетя Шура», Н. Рощин, настолько виртуозно владеет сюжетом, что делает со своими героями буквально чудеса и даже приводит их в жидкое состояние. Описывая тетю и племянника, он говорит:

«Они влились в медленно кружившийся поток».

Впрочем, тетя эта – женщина совершенно необыкновенная и от нее всего можно ожидать. Изображена она автором с большой изысканностью:

«...вся немного напоказ, вся искрящаяся задором, хмелем, летящая сейчас по льду с вздохновенной легкостью...».

«Вздохновенной» – это, надо полагать в типографии от полноты чувств набрали.

Хороший аппетит

Неплохая закуска в свое время была у художника Коровина. Вот из чего она состояла, – как он сам пишет об этом в своем очерке «Мельник», напечатанном в «Возрождении»:

«Подали маринованную щуку, утку, вальдшнепов, брусничку, моченые яблоки, рыжики в сметане, грузды, жареного леща, окорок ветчины и водку, настоенную ганобобелем, деревенские лепешки на масле, варенье».

И все это – на двух человек.

Куда французам!

Испорченный старик

У того же художника Коровина был знакомый старый крестьянин. Человек был неплохой, но испорченный и развращенный до мозга костей ложно русским стилем. Вот как, например, он обратился к художнику:

– Кискинький Лесенг – выдь-ка! В моховом-то болоте, как волки, чу, воют.

До чего довела старика-крестьянина плохая литература!

Загадочное место

Это – город, где происходят международные конгрессы и для географического определения которого мы не располагаем точными сведениями. По каким причинам местонахождение этого города скрывается от читателей – неизвестно.

Об этом самом таинственном городе упоминается в небольшой, но очень кокетливо составленной заметке по поводу нового романа маститого писателя Брешко-Брешковского «Жидкое золото» – заметке, помещенной в последнем номере журнала «Иллюстрированная Россия».

«Действие переносится, как в кинематографической ленте, из Венеции на международный конгресс, оттуда в Будапешт, Париж, Америку, потом снова в глухой городок Югославии...».

Пожалуй, есть основания полагать, что международные конгрессы происходят в каком-то глухом городке Югославии. Вполне доверяя сведениям авторитетного критика, не можем, однако, отделаться от некоторого досадного сомнения.

Не дай Бог!

В том же номере, того же журнала в пояснительной надписи под тремя фотографическими снимками рассерженных животных – павлина, тигра и петуха – сказано:

«Страшен гнев животного, – он преображает даже жирного петуха, превращая его в какого-то апокалитического зверя».

Действительно, жутко. Не дай Бог: петух преображается в какого-то апокалитического зверя.

Жаль только, что не объясняется, – в какого именно и что значит «апокалитический». По-видимому, это какое-то животное вроде верховой лошади: петух сидит на ней, а потом преображается.

Мир животных

Вообще в смысле зоологии в «Илл<юстрированной> России» не все обстоит благополучно. Подводит же редакцию главным образом слишком красочный стиль описаний:

«Обезьяна из берлинского зоологического сада, на лице которой с изумительной силой выражена материнская гордость и сознание достоинства».

Или:

«Примитивное материнство – йоркширская премированная свинья со своим потомством».

Заказ 3235

Примитивное материнство – это мало понятно, особенно для не профессиональных читателей «Иллюстрированной России».

Вот если бы речь шла о примитивном литературном языке – тут бы все было ясно.

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ - II

Новый классик

В наши трудные дни происходит множество важных литературных событий; мы же, поглощенные суетными делами, многого не знаем.

Так, например, лишь счастливая случайность позволила нам установить с несомненностью появление нового классика в русской литературе, имя которого, однако, далеко не достигло еще знаменитости, им бесспорно заслуженной. Фамилия этого классика – Зозуля. Вот беспристрастное свидетельство знаменитого советского критика Кольцова о вышеизложенном авторе:

«На рубеже настоящего собрания своих произведений Ефим Зозуля предстает как вполне определившийся и созревший, но далеко еще не развернувший всех своих возможностей автор».

Итак, Ефим Зозуля предстает. Не всякому писателю удается этот шаг – особенно принимая во внимание трудность местонахождения Зозули на рубеже собрания своих произведений.

Правда, следует заметить, что если Зозуля хороший писатель, то и Кольцов – критик далеко не последний.

Предшественники Ефима Зозули

Начало карьеры Ефима Зозули протекало в Одессе. Кольцов пишет по этому поводу:

«Здесь сходил с ума, волочился за губернаторшей и писал "Онегина" Пушкин.

Здесь написал свой первый рассказ М. Горький.

Здесь проводили дни литературной юности Куприн и Леонид Андреев».

Но все эти писатели могут рассматриваться лишь как предтечи; ибо после них появился Зозуля. Этот скромный гений, однако, за губернаторшей не волочился, да оно и понятно: не снизошел.

Потомству остается воздать должное добродетели Зозули и поздравить задним числом губернаторшу. Город же Одесса остается бессмертным в анналах истории.

Литературное совершенство

Установив связь между Пушкиным и Зозулей, мы склонны все же признать со всей объективностью, что Зозуля, далеко не находясь под влиянием Пушкина – мог бы еще научить последнего искусству выразительного творчества, равно как и способности сразу определять умственные качества птиц и животных, с которыми автору приходилось сталкиваться на трудном жизненном пути. Например:

«Запел первый петух – пронзительно, по-идиотски резко и самодовольно».

На полях книги чьей-то неделикатной рукой была сделана приписка по поводу петуха: «Какая сволочь».

Действительно, нехороший петух.

Жестокие люди

Это, несомненно, библейские евреи, которых Зозуля тоже описал – с тою же непогрешимой точностью, с какой в одной короткой фразе дал отрицательную характеристику петуха.

«Через несколько минут мертвый, лежал он в песке, а старики добивали замученное тело ремнями и палками.

Добивать мертвого – какая жестокость! Старики не пожалели даже замученного тела покойного».

Хорошо, что нашелся писатель, заклеймивший это неслыханное поведение библейских персонажей. Благодарное молодое поколение прочтет эти строки со слезами восторга на глазах перед грозной литературной местью Ефима Зозули.

Астрономические наблюдения

Было бы однако же ошибочно полагать, что внимание писателя, всецело поглощенное жестокими стариками, не обращалось в то же время к иным вещам, более научного порядка.

Подобно великому Гете, открывавшему, как бы между прочим законы ботаники, Ефим Зозуля делает научные наблюдения, способные заставить задуматься многих ученых и поразительные в равной степени силой художественного убеждения, глубокой верностью и резкой оригинальностью. Например:

«А небо жило своей жизнью».

Не говоря уже о тонкости такого замечания, позволяющей предполагать обширную научную эрудицию автора.

Четкость классовой линии

Будучи объективным в художественном изложении, как и подобает русскому Гете, Зозуля, тем не менее, ни на минуту не теряет четкого классового самосознания. Так, описывая разговор советского служащего с нэпманской дамой, он явно сочувствует герою и борцу за правое дело пролетариата, слова которого и комментарии к ним исполнены особой красоты и силы:

«Мало еще вас расстреливали – думал он, глядя на неземное хамство, непреодолимую жадность и подлый эгоизм возрождающейся буржуазии».

Нельзя не воздать должное законности таких мыслей, хотя героя и следует упрекнуть в некоторой излишней гуманности, наследии проклятого режима интеллигенции. Не думать о расстреле, а стрелять в упор нужно!

Элемент фантастики в произведениях Зозули

Некоторые места рассказов Зозули напоминают фантастичностью рассказы Эдгара По, хотя фантастика Зозули еще более невероятна. Как на самый яркий пример совершенно невероятного события, укажем на следующую фразу, звучащую для читателя неправдоподобно и неслыханно:

«Иду по улице и думаю».

Этот невозможный и обидный в применении к Зозуле факт тем не менее напечатан черным по белому.

Там и здесь

В то время, как в России процветает классическое начало литературы – как это неопровержимо доказывает факт существования Зозули – здесь, за границей, литературно-художественный русский язык, сталкиваясь с иностранным бытом, оказывается не в силах изобразить наблюдаемые события и впадает от этого в мистицизм и непонятность. По вышеизложенной причине описываемые таким образом факты не могут быть названы иначе, чем странным поведением туземцев, явно не поддающихся русскому беллетристическому искусству. Как на пример сего печального соображения, сошлемся на одно место из данных впечатлений молодой писательницы Н. Городецкой: («Возрождение», 1 сентября 1930 года).

«Модные танцы – как повсюду и как во всех веках и странах – провинциальные девушки ходят стадами, зацепившись под ручку и без всякого повода хохочут от избытка молодости, а потом две отбегают, обнимаются и шушукаются».

Действительно, избыток молодости не должен был бы рассматриваться как достаточный повод для невоспитанного смеха. Иначе какой хохот стоял бы всюду, где живут новорожденные! Замечание же о модных танцах надлежит признать глубоко правильным, хотя и стоящим вне грамматических правил и скучной обязательности логики русского языка.

Неблагоразумные деревья

Но не только девушки, под ручку ходящие стадами, ведут себя так странно. Оказывается, и местные деревья не уступают людям и совершают такие поступки, которые ничем, кроме их неблагоразумия, объяснить нельзя. Н. Городецкая подмечает это с наблюдательностью, характерной для молодой писательницы. Вот, что она пишет:

«Стоит жара, а некрупные пальмы все-таки надевают на стволы мохнатую шкуру».

Вместо того, чтобы набросить на себя легкую одежду и вообще принять какие-нибудь меры против жары.

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ - III

От литературы к истории

Среди многочисленных печатных трудов русских авторов за границей преобладает, конечно, беллетристика. Тем ценнее кажутся труды, посвященные изображению прошлого: к трудам именно такого рода следует отнести произведение знаменитого парижского историка и переводчика иностранных сочинений, нашего счастливого соотечественника Я. Цвибака – названное автором «Старый Париж». В этой сравнительно небольшой, но насыщенной богатым содержанием книге, изложено множество замечательных событий. Некоторые из них невольно привлекают внимание восторженного читателя.

Непростительная забывчивость

Одно из таких событий описано на 103<-й> странице вышеупомянутого труда:

«В углу – забыт старый колодезь, с железным блоком для подъема воды...».

Безошибочное чутье опытного стилиста подсказало автору необходимость поставить после этой фразы много-

точие. Действительно, если бы было сказано – «заброшенный колодезь» или даже «забытый колодезь» – это не показалось бы удивительным. Но автор подчеркивает именно тот факт, что колодезь был забыт – по-видимому, каким-то рассеянным человеком, которому принадлежал. Обычно забывают предметы мелкие и легкие: носовые платки, палки, перчатки. Но чтобы забывали такую громоздкую вещь, как колодезь, это до сих пор казалось неслыханным. Такой исторический факт надо знать.

Поблагодарим автора за сообщение этого, остававшегося до сих пор недостаточно освещенным, эпизода в истории Франции.

Таинственный незнакомец

Далее автор «Старого Парижа» описывает еще одну вещь, так же до сих пор остававшуюся почти неизвестной. Именно, инкогнито некоторых служебных персонажей столицы мира.

«В темноте на кэ[1] Конти кто-то зажигает газовые фонари».

Действительно, кто бы мог быть этот таинственный незнакомец? Было бы слишком наивно предполагать, что это просто фонарщик. Здесь чувствуется какая-то мрачная тайна. К сожалению, Я. Цвибак, по-видимому, еще не располагает точными сведениями по данному вопросу – и не хочет вводить читателей в заблуждение.

Будем надеяться, что в дальнейших своих трудах наш видный историк ответит нам и на этот вопрос: и, возможно, что мы узнаем нечто не менее интересное и неожиданное, чем забытый колодезь.

Замечательные способности Наполеона

Казалось бы, литература о Наполеоне так обильна, что ни на какие новые сведения о покойном императоре мы рассчитывать не можем. Однако это не так. Вот что мы читаем на странице 158-й того же научного труда:

---

[1] quai – набережная (*фр.*).

«В салоне госпожи Тальен собираются Баррас, Сейес, Мегуль, Вернье и молодой генерал Буонапарте...»

Как видно из этой фразы, Наполеон, будучи гениальным полководцем и стратегом, обладал еще одной способностью, людям почти несвойственной, именно, собираться во множественном числе. Нетрудно догадаться, что в случае необходимости он мог бы сходиться или расходиться, сбегаться или разбегаться. Этот, метко подмеченный талантливым автором «Старого Парижа», талант Наполеона многое объясняет в его биографии.

До нынешнего времени подобный феномен был только один раз отмечен в истории. В кондуитном журнале одного учебного заведения была сделана такая запись:

«Ученик Х. толпился у доски и пел хором».

К сожалению, фамилия учителя, сделавшего эту запись, осталась неизвестной неблагодарному потомству. Льстим себя надеждой, что открытию Я. Цвибака принадлежит более блестящее будущее.

Причины страданий Виктора Гюго

«Поглядите, старые, пожелтелые листы рукописей, бледные, выцветшие фотографии, письма, простые, суровые рисунки с острова Жерсей – все то, чем жил и страдал Гюго». («Ст<арый> Париж»).

Действительно, невольная жалость охватывает душу читателя после прочтения этих строк. Ну что, казалось бы, стоило рукописям – не пожелтеть, фотографиям – быть чуть-чуть свежее, а рисункам – помягче – и жизнь французского поэта сразу стала бы легче. Но рок неумолим. Отметим еще смелость свободного и могучего русского языка в вышеприведенной фразе – уничтожение ненужного предлога «на» после глагола «поглядеть» – и более чем естественный творительный падеж в отношении глагола «страдать». Русские литераторы, правда, до сих пор применяли такой оборот, только говоря о физических недомоганиях – да и то избегали это делать отчасти по робости, отчасти из-за недостаточного знания русского языка.

Но, конечно, к трудам, имеющим историческое значение, это стеснительное правило не относится.

Кулинарный секрет

Он изложен в немногих словах и приводится в романе зарубежной поэтессы и писательницы Н. Берберовой. Один из героев этого романа обладает удивительным свойством приготовлять кашу, не прибегая ни к каким механическим приспособлениям.

«Последние слова слились у него во рту в кашу».

К сожалению, автор не останавливается на этом случае, будучи увлечен психологическими действиями своих героев. Хотелось бы, однако, узнать некоторые подробности относительно этого совершенно нового способа приготовления вкусной и полезной пищи, – тем более, что судя по всему, это чрезвычайно экономно – что при эмигрантском бюджете играет большую роль. Хочется думать, что Н. Берберова еще вернется к этому вопросу, так как и герой, будучи вынужден питаться, предпочтет, надо полагать, экономическое приготовление каши всякому другому.

Личная трагедия литературного героя

Этот же герой, между прочим, с его глубокими личными переживаниями блестяще изображен писательницей Н. Берберовой в одном из разговоров с героиней.

«Не надо тебе меня? – спросил он с мукой».

Из чего ясно, что он рассматривает себя как пищевой продукт. До чего довели человека!

Жутко читать такие строки.

Где проводят время пьяные

Об ужасах алкоголизма много писалось и говорилось. Но, думается, никто не достиг еще в этой тяжелой проблеме такой степени осведомленности, как Н. Бербе-

рова, которой исключительная литературная наблюдательность помогла открыть, наконец, местонахождение пьяных.

«...Он спустился к ним, как спускается пьяный на дно своего пьяного омута».

В каком читателе не вызовет сострадание это возмутительное поведение алкоголика?

И доколе русская литература в лице Н. Берберовой будет вынуждена описывать омуты пьяных – вместо какой-нибудь тихой заводи, где счастливо жили бы совершенно трезвые люди?

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ - IV

Литературные сомнения

С искренней радостью отмечая выход двойного, роскошно изданного, номера «Чисел», не можем не сообщить читателю, однако, и того, что некоторые – и наиболее ценные сотрудники этого издания – суть обуреваемы горестными сомнениями поэтического характера, относящимися как к описанию погоды, так и к возможности полной самоуверенности в стихах. Поэтесса Червинская, например, пишет:

Дождь светло-серый опять...
Трудно бывает сказать,
Стоит ли так говорить?
Знаю, что важно понять,
Думаю – нужно любить.

Действительно, казалось бы – стоит ли?

Печальный индифферентизм

Этим иностранным термином можно определить пессимистическое стихотворение поэта В. Смоленского, напечатанное в двойном номере «Чисел». Вот какими строчками начинается это стихотворение:

Какое дело мне, что ты живешь,
Какое дело мне, что ты умрешь
И мне тебя совсем не жаль – совсем!

Поблагодарим редакцию «Чисел» за то, что, не руководствуясь грубо-этическими требованиями в литературе, а исключительно личными переживаниями сотрудников, она помещает на страницах своего роскошно изданного журнала то, что в российской словесности определялось выражением – «крик наболевшей души».

И дает приют многим сиротливым чувствам, которые без этого, может быть, остались бы неизвестны широким массам эмиграции – не обращая внимания ни на глагольные рифмы, ни на прочие недостатки чисто поэтического свойства.

Надежда эмиграции

Заслуги редакции «Чисел» не ограничиваются, однако, столь полезными деяниями. Вышеупомянутой редакции мы обязаны еще одним сенсационным открытием: именно, во втором номере «Чисел» напечатана потрясающая по совершенству вещь некоего Яновского – «Тринадцатые».

Не рискуя ошибиться, берем на себя смелость утверждать, что до сих пор в зарубежной печати ничего похожего не появлялось. Даже об Иванове седьмом и то выражались в единственном числе. Впрочем, «тринадцатые» – звучит гордо!

Русский язык

«Стоят себе женские туфли, небрежно кинутые в сторону»... Давно пора отбросить скучные условности русской литературной речи. Разные Тургеневы и Чеховы старались высказываться изысканно – и потому их произведения как-то тускнеют, будучи сопоставлены с блестящими сочинениями В. Яновского. Совершенно понятным логически представляется этот оборот речи. Действительно,

кому могут стоять туфли? – вот законный вопрос, который русская буржуазная грамматика до сих пор замалчивала, скрывая его от здорового литературного пролетариата.

Техника искусства

К сожалению, мы не можем привести здесь весь рассказ «Тринадцатые» – целиком. Будем надеяться, что он войдет в антологию русской литературы.

Но элементарная справедливость заставляет нас отметить некоторые места этого удивительного произведения, написанного могучим и несколько кокетливым стилем, с большим количеством многоточий – что показывает высокий уровень литературной техники. Помимо этого, однако, автор высказывает совершенно новые взгляды на многие вещи. В частности, в рассказе сказано как бы между прочим:

«Они работают много: днем удовлетворяя желудки гостей, а вечером их половые потребности – служа таким образом одновременно и технике и искусству».

С какой беспощадной правдивостью автор разоблачает обман служения искусству, о котором нагло писал один из мелких поэтов 19-го столетия, некий Пушкин.

Служение муз не терпит суеты.
Прекрасное должно быть величаво.

Но как бы в опровержение этих стихов в 1930 году появляется рассказ «Тринадцатые».

Здоровый юмор

Особенно приятно, читая рассказ «Тринадцатые», любоваться юмором автора.

«Чем это хотят их удивить. Ха».

«Ха-ха. В Буэнос-Айресе каждый может зайти в красивый многоэтажный зал».

Жизнерадостное междометие «ха» появляется довольно часто, и читатель смеется счастливым смехом вместе с автором. Юмор рассказа еще подчеркивается некоторыми описательными приемами:

«Приехавший из-за моря слепой старик танцует с внуком».

Большое русское читательское спасибо редакции «Чисел» за напечатание замечательного рассказа. Хочется верить, что это только начало – и что в дальнейшем «Числа» еще не раз будут радовать нас такой литературой.

Вредное дело

К счастью, теперь с ним покончено. Однако в свое время оно могло рассматриваться как явно отрицательное явление. Об этом пишет Е. Кельчевский в своем романе «В лесу».

«Не меньший вред делу приносило и массирование кавалерии».

Действительно, как нетрудно себе представить, такая избалованность кавалерии, которую во время войны не переставали массировать, не могла не привести ни к чему хорошему, не считая того, что содержание большого количества массажистов должно было дорого стоить.

Вначале могло даже показаться, что автор употребил не то слово, именно имея в виду сказать «концентрация» или «сосредоточивание», выразился, однако, иначе. Но несколькими строками ниже это выражение повторяется, причем автор открыто называет виновников:

«Главное командование массировало кавалерию...».

Приветствую мужество, с которым автор указывает на ошибки прошлого.

Образная речь

Следует указать – для тех, кто хотел бы прочесть роман «В лесу» – на еще одно достоинство автора – именно, стройную и красивую образность его речи:

«Я пассивно поплыл по служебному течению, сидя в штабе, то разъезжая в командировки по фронту...».

Если пассивное плавание таково, что позволяет и плыть, и сидеть, и разъезжать в одно и то же время – то каково же должно быть плавание активное? Страшно подумать.

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ. СНЕЖНЫЙ ЧАС
Париж, 1936

Я думаю, что в смысле поэтической удачности «Снежный час», выпущенный друзьями Поплавского уже после его смерти, значительно слабее «Флагов», во всяком случае, это книга менее замечательная, менее эффектная и почти тусклая по сравнению с прежними стихами Поплавского. К поэтической славе Поплавского она, конечно, ничего не прибавит, хотя и в ней, как во всем, что он писал, есть удивительные строчки, которых никто бы не мог написать, кроме него, есть никогда не покидавшая его музыкальность, – не могу найти другого слова.

Было бы ошибочно считать «Снежный час» чем-то вроде поэтического завещания Поплавского, как это до сих пор делала критика, это фактически неверно; из стихотворного наследства Поплавского можно было бы сделать еще несколько таких книг, и я не уверен, что «Снежный час» оказался бы наиболее характерным в этом смысле. Но именно потому, что эти стихи написаны небрежно и непосредственно и похожи, скорее, на «человеческий документ», чем на поэтический сборник, они приобретают почти неотразимую убедительность, в которой чисто поэтический элемент отходит на второй план.

Вся эмигрантская поэзия грустна; и мы настолько к этому привыкли, что одной печальностью на нас подействовать было бы трудно. Но и печальность Поплавского не похожа на другие; вернее, сходство идет до известного момента, – и потом вдруг становится ясно, что такой ее степени и такого ее характера мы еще не знали. Чисто внешнее ее влияние на поэзию Поплавского, конечно, отрицательное: первое впечатление от книги – бедность, монотонность, однообразие. Лишь изредка, в немногих

стихотворениях, мы находим ту прежнюю, поэтическую «роскошь», к которой привыкли.

Вряд ли можно было бы сказать, что Поплавскому изменил его огромный поэтический дар; но нельзя отделаться от убеждения, что он внутренне и неизлечимо перестал его ценить и придавать ему то значение, которое придавал прежде. Приблизительно так: если ничто на свете не важно, то и это так же не важно, как все остальное. В разговорах он и раньше выражал это убеждение; но до тех пор, пока оно оставалось теоретическим, каким оно остается до сих пор у его поэтических современников, это было нестрашно. Но потом, по-видимому, это перестало быть убеждением и стало чувством, и именно тогда это сделалось гибельным для поэтической и жизненной его судьбы. И, читая его книгу, не перестаешь испытывать чувство бессильного сожаления и невозможности – теперь – что бы то ни было противопоставить неизбежности этого медленного холодения его поэзии, так жутко похожего на холодение умирающего тела.

ЗЕМЛЯ КОЛУМБА

Сборник литературы и искусства под ред. Б. Миклашевского. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анжелос. 1936.

Первый сборник «Земля Колумба», только недавно дошедший до Парижа, заслуживает быть отмеченным, несмотря на явно случайный и в общем далекий от полной удачи подбор сотрудников. Трудно, однако, обвинять за это редактора; я думаю, что у него не было выбора и следовало либо отказаться от мысли издавать сборники, либо печатать то, что есть. Остается приветствовать его храбрость, – тем более, что в сборнике напечатан отличный рассказ Петра Балакшина «Весна над Филмором». В русской заграничной литературе не так много вещей, которые можно было бы сравнить с этим небольшим рассказом – по эмоциональной сгущенности, по свежести, по безошибочному и прекрасному ритму, – такому, которого нельзя объяснить и которому нельзя научиться. Конечно, в рассказе есть недостатки, есть конструктивное несовершенство, есть не всегда безупречный русский язык. Но впечатление непосредственной силы восприятия, соединенное с бесспорным и почти бессознательным литературным искусством, явная, не вызывающая сомнения талантливость Балакшина, – такие редкие вещи, что на них нельзя не обратить внимания.

М.А. АЛДАНОВ. БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ ТОРС

Изд. «Русские записки», 1938 г.

Небольшая книга Алданова отличается, как все, что пишет Алданов, необыкновенной насыщенностью и тем совершенством изложения, которое сейчас недоступно громадному большинству теперешних русских писателей. Я думаю, что вообще в русской литературе Алданов – первый автор исторических романов. До самого последнего времени наша историческая литература состояла из произведений второстепенных писателей, ныне почти забытых. В «активе» этой литературы – «Петр Первый» Алексея Толстого и романы Алданова. Несомненно, что после того, как книги Алданова проникнут в Россию, у него найдется множество подражателей: они есть сейчас в здешней печати, и нет оснований думать, что в России это будет иначе.

«Бельведерский торс» — рассказ о незначительном эпизоде, об одном неудавшемся покушении сумасшедшего итальянца. Как и в большинстве других вещей Алданова, фигура официального героя повести обманчиво-центральна и, подходя к концу, о ней почти забываешь. Конечно, Алданов слишком искусный конструктор для того, чтобы совершить ошибку в построении – и в нескольких беглых строках, точно случайно вставленных в текст, мы узнаем о герое все, что нам следовало знать, вернее, все, что Алданов считает нужным нам сообщить. Но зато мы читаем о конце жизни Микеланджело, об искусстве и – как всегда у Алданова – об ужасной тленности всего существующего. Люди, с которыми нас знакомит автор, – те же, с которыми нам уже неоднократно приходилось сталкиваться. Все творчество Алданова, все многочисленные его герои каждой страницей свидетельствует об этом. Вазари

из «Бельведерского торса» мог бы существовать в Риме или Элладе так же, как в современной Европе.

Подлинный, безотрадный смысл алдановских произведений остается, я думаю, недоступным среднему читателю. Автор пишет одно, читатель понимает другое; так мирные русские интеллигенты читали Гоголя, отчасти так же читали Чехова. Частично это следует, я думаю, объяснить чисто внешними причинами – например, исключительной убедительностью изложения.

Нам трудно согласиться с алдановским видением мира – но это уж область правильности или ошибочности целой философии. В противоположность Алексею Толстому, в повествовательном гении которого мысль почти всегда отсутствует, – хотя это и не сразу заметно, – у Алданова с первой и до последней строчки все умно. Закрываешь книгу с двойным сожалением – во-первых, потому, что она прочитана, во-вторых, потому, что она так печальна.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. ЗЕРКАЛО

Роман. Брюссель. 1939.

Читая роман Одоевцевой, трудно отделаться от впечатления, что он написан, как сценарий, и возникает вопрос: можно ли это в таком случае рассматривать как беллетристику? Это впечатление создается, главным образом, от того, что все глаголы в романе поставлены в настоящем времени. Трудно предполагать, что автор сделал это не умышленно; слишком очевидно, что эта форма повествования способна погубить любой шедевр, и никакой роман не выдержал бы такого испытания. «Люка встает, Люка думает, Люке кажется, Люка выходит, Люка садится» – и так на протяжении двухсот тридцати страниц.

Употребление настоящего времени в повествовании вообще есть прием чрезвычайно спорный и чаще всего не оправдывающий себя; но если он еще в какой-то мере возможен на одной странице, то на протяжении многих он становится убийственен. Убежден, что Одоевцева это прекрасно знает, не может этого не знать и не видеть; стало быть, это объясняется какими-то повелительными причинами, которые читателю неизвестны, но последствия которых ему приходится все-таки испытывать на себе. И нужно сделать большое усилие, чтобы, прочтя роман, забыть об этом досадном обстоятельстве.

«Зеркало» может нравиться или не нравиться; внешне, повторяю, из романа искусственно вынута главная возможность беллетристической убедительности. Нельзя, однако, отрицать того, что талант Одоевцевой создает ее собственный, особенный мир – черта достаточно редкая, чтобы ей не обрадоваться. Искусство Одоевцевой отдаленно, пожалуй, напоминает то, о котором некогда мечтал лорд Генри в ныне почти забытом – хотя по-своему

замечательном – «Портрете Дориана Грея». Среди всех героев «Зеркала» есть только один человек, кстати, прекрасно описанный и совершенно живой – советский путешественник, в котором мы точно узнаем старого знакомого. Все остальные живут и двигаются в абсолютно условном мире, не существующем нигде, кроме этой книги, но законченном и по-своему гармоничном. Чтобы быть справедливым, следует отметить, что ничего общего с типом наших обычных представлений он не имеет.

Героиня романа, Люка (которую мы помним по предыдущей книге Одоевцевой) становится любовницей французского кинематографического режиссера и оставляет мужа, которого, в сущности, продолжает любить. Затем любовник ее бросает, и она умирает в автомобильной катастрофе. Через некоторое время он стреляется. Вот, собственно, содержание романа. Но о переживаниях Люки мы читаем, как о чем-то совершенно новом, настолько они не похожи на то, что мы привыкли читать о таких же, примерно, переживаниях. Тот могучий этический фактор – в каком угодно его аспекте – без которого нам трудно себе представить какое-либо литературное произведение, здесь отсутствует в идеальной степени. Героиня романа не подозревает об его существовании, и автор производит над ней этот психологический опыт, надо сказать, не без некоторой жестокости. Так же лишен нормальных человеческих чувств герой, Тьери; единственно, на чем, так сказать, отдыхает читатель в его облике, это его несомненная глупость, которой Одоевцева тоже не щадит. Даже чисто физические ощущения героев не похожи на ощущения людей реального мира. «Она видит, как отражение Ривуара наклоняется к ней, поднимает ее, кладет в отражение постели... Она закрывает глаза, чтобы спрятаться в темноту».

Когда читаешь Одоевцеву, всегда кажется, что она способна на большее. Есть многое в ее книгах, с чем почти невозможно согласиться; но отрицать ее талант нельзя, оставаясь сколько-нибудь объективным.

Комментарии

Настоящее издание – наиболее полное Собрание сочинений Гайто Газданова, в него вошли все его романы и рассказы, опубликованные при жизни. Кроме того, в отличие от трехтомника, вышедшего в 1996 г. в издательстве «Согласие», оно содержит новые материалы – роман «Переворот», опубликованный после смерти писателя, рассказы, литературно-критические эссе, рецензии, заметки, выступления писателя на радио «Свобода» (1960–1970-е годы), масонские доклады, письма, найденные за последние десять лет в эмигрантских журналах, газетах, в архивах, а также воспоминания современников о Газданове и наиболее полную в настоящем издании библиографию его произведений и публикаций о нем с 1926 по 2009 г. Полностью представлена и знаменитая, имеющая важное историческое значение и вместе с тем не утратившая актуальности полемика в русской эмигрантской печати вокруг статьи Газданова «О молодой эмигрантской литературе» (1936), в которой участвовали Г. Адамович, В. Ходасевич, М. Осоргин, М. Алданов, А. Бем, В. Варшавский и др.

Собрание сочинений построено по хронологическому принципу. Произведения, включенные в него печатаются, в основном, по прижизненным изданиям и архивным материалам. Значительная часть рукописей Газданова находится в Библиотеке Гарвардского университета (США), каталог которого с «таблицей жизни и творчества» писателя и вводной статьей первого исследователя творчества Газданова – американского литературоведа, профессора Массачусетского университета Ласло Диенеша – об истории архива публикуется (в переводе с английского) в пятом томе настоящего издания. Часть рукописей не сохранилась.

Первое известное нам опубликованное произведение Газданова – рассказ «Гостиница грядущего», появилось в пражском журнале «Своими путями» в 1926 г.; последнее – неоконченный роман «Переворот» – напечатано в нью-йоркском «Новом журнале» в 1972 г.

При жизни писателя ни одно из его произведений на родине не публиковалось, а многие до войны печатались за рубежом по старой орфографии. В настоящем издании все тексты печатаются в соответствии с новой орфографией. Вместе с тем сохранены авторские орфография и пунктуация в тех случаях, где они принципиально важны; сохранено и авторское написание имен.

В комментарии к каждому произведению указывается, наряду с первой публикацией, также и первая публикация в России (если таковая была).

Отсылка к «Архиву Газданова» указывает на то, что рукопись хранится в Отделе рукописей Хотонской библиотеки Гарвардского университета.

Dienes – ссылка на книгу: *Dienes L.* Russian literature in exile: The life and work of Gaito Gazdanov. München: Verlag Otto Sagner, 1982.

«Возвращение Гайто Газданова» – ссылка на книгу «Возвращение Гайто Газданова. Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: Материалы и исследования. Вып.1) / Сост. М.А. Васильева – М.: Русский путь, 2000.

Цитаты в текстах приводятся так, как они даны у авторов. В угловых скобках (кроме оговоренных случаев) – вставки публикаторов. Переводы с латыни, французского и английского, кроме специально оговоренных, сделаны публикаторами.

В первый том собрания сочинений вошли романы, рассказы, литературная критика, эссеистика, рецензии, написанные в предвоенные годы; систематизированные по жанровому принципу, они расположены в хронологическом порядке в соответствии с датами их первых публикаций или датами, указанными в рукописи Газданова, когда речь идет об архивных материалах.

Комментаторы первого тома: вступление (Ф. Хадонова), романы «Вечер у Клэр», «История одного путешествия», «Полет» (Л. Диенеш, Ст. Никоненко, Л. Сыроватко); рассказы (Л. Диенеш, Т. Красавченко, Ст. Никоненко, Л. Сыроватко); раздел «Литературная критика и эссеистика»: вступление – Ф. Хадонова, основной комментарий – Ст. Никоненко и С. Федякин, эссе «Миф о Розанове» – Ф. Хадонова, эссе «Литература для масс», «А.А. Бейер» и раздел «Рецензии и заметки» – Т. Красавченко. Некоторые эссе, рецензии и заметки публикуются впервые или (например, рассказы «Римляне», «Дракон», «Биография») – впервые в России.

ВЕЧЕР У КЛЭР

Впервые – Париж: Изд-во Я.Е. Поволоцкого, 1930. На обороте титульного листа текст: «Настоящая книга набрана и отпечатана типографией Société Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves в декабре месяце тысяча девятьсот двадцать девятого года в количестве одной тысячи двадцати пяти экземпляров, из коих двадцать пять на бумаге Offset. Обложка работы Вал. Андреева». Печатается по этой публикации.

В настоящем издании на основании письма Газданова сербскому переводчику Николе Николаевичу (см. т. 5) исправлены опечатки, присутствующие в первом издании романа «Вечер у Клэр» и повторенные во всех отечественных изданиях, включая и трехтомное собрание сочинений: в заключительной фразе романа «Вечер у Клэр» вместо «сбывающимся... сном о Клэр» правильно: «сбивающимся... сном о Клэр», а в конце фразы поставлена точка, а не отточие.

Впервые в России – Сов. воин. 1990. № 4–5 / Публ. Ст. Никоненко, вступ. ст. Э. Сафонова; Лит. Россия. 1990. № 7–8 (в сокращ.) / Публ. и вступ. ст. Ст. Никоненко.

Еще до выхода в свет романа М. Осоргин сообщал о нем М. Горькому в Сорренто. Очевидно, он читал рукопись или же знал о ней от самого автора. 8 ноября 1929 г. он писал: «Я жду немало от Г. Газданова, книжка которого (“Вечер у Кэт” – так у Осоргина. – *Коммент.*) скоро выйдет, в «Петрополисе», автор еще очень молод, студент» (ИМЛИ. Архив А.М. Горького. КГ–П 55–12–24).

На посланную ему после выхода в свет книгу Горький ответил большим письмом, в котором высоко оценил талант Газданова. 5 марта 1930 г. Осоргин сообщал Горькому: «Ваше письмо я передал Газданову. Он очень счастлив Вашей оценкой. Любопытный юноша, умница, не без хитрецы». Связь с Горьким в ту пору шла через Осоргина. Потом они с Газдановым переписывались напрямую (см. т. 5).

«Вечер у Клэр» привлек внимание литературной общественности Русского зарубежья. Отзывы на роман появились в таких изданиях, как «Числа» и «Последние новости», «Иллюстрированная Россия» и «Россия и славянство», «Руль» и «Воля России», «Русский магазин» и др.

Георгий Адамович, говоря о литературных предшественниках Газданова, указывает, кроме Пруста, на Бунина:

«...Газданов все время прерывает свой рассказ замечаниями в сторону, наблюдениями, соображениями, стремится в самых обыкновенных вещах увидеть то, что в них с первого взгляда не видно. Как бунинский Арсеньев, он пренебрегает фабулой и внешним действием и рассказывает только о своей жизни, не стараясь никакими искусственными приемами вызвать интерес читателя и считая, что жизнь интереснее всякого вымысла.

Он прав. Жизнь, действительно, интереснее вымысла. И потому, что Газданов умеет в ней разобраться, его рассказ ни на минуту не становится ни вялым, ни бледным, хотя рассказывает он, в сущности, “ни о чем”... Общее впечатление: очень талантливо, местами очень тонко, хотя еще и не совсем самостоятельно...» (Последние новости. 1930. 8 марта).

Из общего одобрительного тона несколько выбивается отзыв Германа Хохлова (Ал. Новика) в рижском журнале «Русский магазин». Рецензент главным образом выявляет недостатки книги, подходя к ней с позиции неких закостенелых романных канонов. Тем не менее и он признает: «Но художественная неубедительность романа, как целого, не скрывает острой и бесспорной талантливости автора. Преодолевая неподвижность материала, силой стилистического сцепления соединяя его разрозненные части, в романе живет и ощущается та творческая динамика, которая определяет подлинное литературное вдохновение» (Русский магазин. 1930. № 1. С. 27).

После появления романа «Вечер у Клэр» русская зарубежная критика часто стала ставить рядом имена В. Сирина и Г. Газданова (до

тех пор в иерархии молодых писателей эмиграции Сирину принадлежало бесспорное первенство). В этой связи представляет интерес контекст, в котором объединяются эти два имени Г. Адамовичем в его статье «О литературе в эмиграции»:

«Споры эти (о возможности эмигрантской литературы. – *Коммент.*) ведутся страстно, нетерпимо. В состоянии запальчивости и раздражения одни восклицают: ничего здесь нет, ничего здесь не может быть! Другие, впадая в крайность не менее “клиническую”, уверяют, что только здесь, в эмиграции, литература и существует и что столица русской словесности теперь не Москва, а Париж.

В этом лагере очень любят слово “пораженчество”. Кто сомневается, чтобы суждено нам было увидеть и здесь, в эмиграции, расцвет русской литературы, тот и пораженец. Кто не совсем твердо убежден, что Сирин будет новым Львом Толстым, а Газданов новым Достоевским, – тот пораженец» (Последние новости. 1931, 11 июня).

Роман «Вечер у Клэр», несмотря на успех, при жизни автора не переиздавался. Лишь в 1979 г. благодаря тому, что Л. Диенеш послал экземпляр книги, выпущенной в 1930 г., и портрет писателя в специализирующееся на издании русской литературы издательство «Ардис», роман был переиздан в США. А в 1988 г. он впервые издан на английском языке: *Gazdanov G.* An Evening with Claire. Ann Arbor: Ardis, 1988.

Эпиграф – из романа «Евгений Онегин»: гл. 3, XXXI, «Письмо Татьяны к Онегину».

С. 41. *Затем разговор вернулся к Дон-Жуану, потом, неизвестно как, перешел к подвижникам, к протопопу Аввакуму, но, дойдя до искушения святого Антония, я остановился...* – В средневековых испанских легендах образ Дон-Жуана (Дона Хуана) сложнее и трагичнее, чем в последующих литературных вариациях: это, прежде всего, человек, сознательно совершающий все семь смертных грехов и бросающий тем самым вызов небу; понимаемый так, он может ассоциироваться с подвижниками (Аввакумом, св. Антонием) по контрасту.

Протопоп Аввакум. – Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682) – глава и идеолог русского Раскола, основатель старообрядчества, писатель, проповедник и ревнитель православия. Был настоятелем (протопопом) Входо-Иерусалимского собора в Юрьевце (Юрьеве-Поволжском). С начала реформы Никона (1653) – ее яростный противник. Был сослан в Сибирь (1653–1663), а после возвращения в Москву и отказа пойти на компромисс – принять реформу – отправлен в Пустозерский острог и заточен в земляной сруб (1667–1682). Здесь им написаны «Житие протопопа Аввакума», «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений», почти все послания. По царскому указу 14 апреля 1682 г. вместе со сподвижниками сожжен в срубе. «Житие» двести лет оставалось под запретом, впервые опубликовано в 1861 г.

Святой Антоний – преподобный Антоний Великий (252– 356), «отец монашества»; сын богатых родителей, в детстве был потрясен словами Евангелия: «Иди, продай имение твое и отдай нищим,

и будешь иметь сокровище на небесах». После смерти отца и матери, двадцати лет от роду, последовал этому завету и удалился в пустыню, где пребывал более восьмидесяти лет, до самой смерти. Непрестанно искушавший его демон «будил в нем воспоминания о прежней знатности и богатстве» (каноническое житие), жажду общения с людьми, плотские похоти, наводил ужас фантастическими видениями. Отшельник боролся с искушениями ужесточением своего подвига: урезал часы сна и количество пищи; поселился на каменистой горе, трудом превратив ее в цветущий виноградник; непрестанно, каждую минуту, пребывал в молитве. В конце жизни достиг полной духовной свободы и имел право произнести: «Я больше не боюсь Бога, но я Его люблю». Искушение святого Антония – излюбленный сюжет западноевропейской живописи; наиболее известны полотна на эту тему Иеронима Босха (1460–1516); неоднократно на протяжении своей жизни возвращался к этому сюжету Флобер (первая редакция философской драмы «Искушение святого Антония» датируется 1849 г., последняя – 1874 г.).

С. 49. *...память чувств, а не мысли, была неизмеримо более богатой и сильной.* – Реминисценция из Батюшкова: О, память сердца! Ты сильней / Рассудка памяти печальной... (К.Н. Батюшков. Мой гений. 1815)

С. 50. *...ее доме на Кабинетской улице...* – Имеется в виду дом 7 на Кабинетской улице (в Петербурге), который принадлежал Лидии Николаевне Погожевой, родственнице матери Гайто, жене ее дяди – Магомета Абациева. В этом доме выросло несколько поколений Абациевых. По инициативе Лидии Николаевны их детей (в том числе и Веру Николаевну – Дику, мать Гайто) привозили из Осетии, в Петербурге они воспитывались и получали образование. В этом доме родился Гайто и провел первые три года жизни См.: *Абациева-Салказанова О.В.* Дом на Кабинетской, 7 / Подг. текста, публ., примеч. В.С. Газдановой // Русское зарубежье: Приглашение к диалогу / Отв. ред. Л.В. Сыроватко. Калининград, 2004. С. 254–260. С 1923 г. и ныне Кабинетская – улица Правды.

С. 52. *Я тогда много читал; помню портрет Достоевского на первом томе его сочинений.* – В первый том Полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского (СПб., 1883) входили биография, письма и заметки из записной книжки.

...ненавидел всю «золотую библиотеку», за исключением сказок Андерсена и Гауфа. – Из всей «золотой библиотеки» (книг, признанных «образцовыми» и «доступными» для детского чтения) повествователь выбирает произведения писателей-романтиков, в которых «взгляду натуралиста» (трезвому, рациональному постижению мира, беспощадному анализу) противопоставлен «взгляд поэта» («Не спрашивайте натуралиста – спросите лучше поэта!» – Х.К. Андерсен. Жаба). В «Снежной королеве» Андерсена именно «взгляд натуралиста» («ледяная игра разума») не позволяет Каю, воплощению «мужского» начала мира, сложить слово «вечность» и освободиться – т.е. совершить то, чего добивается Герда, «дитя сердцем и душою».

С. 61. *Летучий Голландец* – согласно средневековой легенде, призрачный корабль, обреченный никогда не пристать к берегу; среди моряков по сей день распространено поверье, что встреча с ним сулит гибель в море.

С. 63. *И мне представилось огромное пространство земли, ровное, как пустыня, и видимое до конца... и вот мне уже остается лишь несколько шагов до края...* – «Пейзаж смерти», неоднократно встречающийся в произведениях Газданова, имеет большую традицию, восходя к «Мыслям» Б. Паскаля, «Сказке извилистых гор» Э. По, полотну Д. Беллини «Души чистилища» (источники, указанные самим автором). В романе «Вечер у Клэр» символом смерти становится также звон колокола (мотив колокола заявлен эпизодом смерти отца и проходит через весь роман). Таким образом, частое в творчестве Газданова метафорическое изображение смерти человека как уничтожения части общего «человеческого материка» может иметь еще один источник – широко известную метафору Джона Донна (1572–1631): «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе; каждый человек есть часть материка, часть суши; и если волной смоет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть человека умаляет и меня; ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе».

С. 66. *Никогда у нас в доме я не видел модных романов – Вербицкой или Арцыбашева...* – *Вербицкая* Анастасия Алексеевна (1861–1928) – одна из самых популярных писательниц в России в 1910-е гг. В центре ее многочисленных романов – проблемы семьи, отношения полов. В поздних романах («Ключи счастья», 1909–1913; «Иго любви», 1914–1915 и др.) проповедовала свободную любовь.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – автор романов, рассказов и повестей о первой русской революции. Скандальную известность приобрел его роман «Санин» (1907), где с непривычной для начала века откровенностью трактовались проблемы пола.

С. 74. – *Кто такой Конрад Валленрод?..* – 22-й гроссмейстер Тевтонского ордена. Во время очередного Крестового похода в прусские и литовские земли потерял около 30 тыс. человек под Вильно (1394) и умер от удара, вызванного этим потрясением (по другим источникам – покончил с собой). Герой поэмы А. Мицкевича – «Конрад Валленрод» (1828).

С. 77. *«Les malheurs de Sophie»* (1864) – роман французской писательницы, автора популярных детских книг графини Софи де Сегюр (урожд. Ростопчиной; 1799–1874).

С. 78. *...с моим ружьем монте-кристо...* – Монте-кристо – бесшумное огнестрельное оружие мелкого калибра.

С. 81. *Тринадцати лет я изучал «Трактат о человеческом разуме» Юма...* – В «Трактате о человеческой природе» (1748) английский философ, историк и психолог Дэвид *Юм* (1711–1776) приходит к выводу, что единственный предмет достоверного знания – объекты математики, действительность же – поток «впечатлений», причины

которого неизвестны и непостижимы. Единственный вид причинности, которая может быть (с оговорками) исследована, – причинность субъективная, или ассоциирование идей и порождение образов памяти чувственными впечатлениями.

С. 87. *...читал роман Марка Криницкого.* – *Марк Криницкий* – псевдоним Михаила Владимировича Сапыгина (1874–1952), писателя с репутацией «циника» и «нигилиста». Выработал концепцию, согласно которой «есть грех, несчастие, страдание, а пошлости нет». «Регистратор» низменных сторон действительности, отказывал литературе во влиянии на взгляды читателя.

С. 90. *Леда с лебедем* – один из самых «пикантных» сюжетов греческой мифологии, часто использовавшийся художниками эпохи Возрождения и рококо, а также копиистами последующих эпох. Зевс в образе лебедя соединился с супругой спартанского царя Тиндарея, от этого союза она родила яйцо, из которого появилась Елена Прекрасная – впоследствии, согласно архаическим мифам, послужившая причиной Троянской войны.

С. 92. *...становилась похожей то на леди Гамильтон, то на фею Раутенделейн.* – То есть в облике героини соединяется несоединимое – красота чувственная, реальная, земная («леди Гамильтон») и фантастическая, идеальная («фея Раутенделейн»).

Леди Гамильтон (1765–1815), урожденная Эмма Лайт, – дочь английского кузнеца-ремесленника. Отличалась, по воспоминаниям современников, необыкновенной красотой, «живой, трепетной, энергической». «Карьеру» содержанки начала в четырнадцать лет в «Храме здоровья» модного врача-шарлатана Джеймса Грэхема. В 1791 г. стала женой лорда Гамильтона (1730–1803), английского посланника в Неаполе, а в 1798 г. – любовницей адмирала Нельсона (родила от него дочь). После смерти мужа (1803), а затем Нельсона (1805) обеднела, в 1813 г. попала в долговую тюрьму, где провела год, затем бежала от кредиторов во Францию, где скончалась в нищете.

Фея Раутенделейн – персонаж драмы немецкого драматурга Г. Гауптмана (1862–1942) «Потонувший колокол» (1896).

С. 96. *Будто маленький лесной карлик, живущий где-нибудь в дупле, тихо играл на стеклянной скрипке. И вдруг мне показалось... что вместо России я очутился в сказочном Шварцвальде.* – Реминисценции из сказок немецких романтиков, в том числе Гауфа: в сказке «Холодное сердце» за сердце главного героя, Питера Мунка, борются великан Михель, олицетворение злых сил, и стеклянный человек.

Шварцвальд – горы и леса на юго-западе Германии, по правобережью Рейна, место действия многих легенд и баллад, записанных фольклористами-романтиками (Брентано, Арнимом и др.).

С. 102. *...я создавал королей, конквистадоров и красавиц... и рыже-бородый гигант Барбаросса не думал никогда ни о знании, ни о фантазии, ни о любви к неизвестному и, может быть, утопая в реке, он не вспоминал о том, о чем ему полагалось бы вспоминать...* – Рыцари, короли, конквистадоры, красавицы – образы-мотивы романтической и неоромантической культуры, склонной к поискам идеала вне совре-

менной цивилизации — в «царстве природы», народных преданиях, других исторических эпохах (раннее христианство, рыцарство, эпоха Великих географических открытий).

Конквистадоры (от исп. conquistador, завоеватель) — первые испанские колонизаторы Южной Америки (воины Франсиско Пизарро, Эрнандо Кортеца). Со временем «конквистадором» называют любого завоевателя-первопроходца. Образ «одинокого конквистадора» — мотив русской культуры Серебряного века.

Фридрих I *Барбаросса* (*букв.* Рыжая борода; ок. 1125—1190) — германский король и император Священной Римской империи (1152—1190). Один из первых феодалов, потерпевших поражение от быстро развивающихся городов (1176, битва при Леньяно), в результате отказался от замысла восстановить верховенство императора над папством, целовал туфлю Александра III и принял епитимью, одним из ее условий было участие в Третьем крестовом походе (1189—1192), во время которого утонул в реке Салеф в Киликии. Сохранилось много легенд о нем как о добром короле.

С. 103. *...говорил о нем, представляя его кому-нибудь: — Владимир, певец и партизан...* — «Певец и партизан» — ироническое переосмысление «амплуа» Дениса Давыдова (1784—1839), его образа в лирике поэтов пушкинской плеяды. По-видимому, первым, употребившим по отношению к Давыдову эту формулу, был П.А. Вяземский (послания «Партизану-поэту», «К партизану-поэту», 1814).

С. 105. *...не имел представления ни о сектантстве Сен-Симона, ни о банкротстве Оуэна, ни о сумасшедшем бухгалтере...* — Краткий обзор «истории социализма» как истории неудач, в котором акцент сделан на мировоззренческой узости этого учения и его, по мнению повествователя, оторванности от жизни.

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — граф, французский мыслитель, социалист-утопист. В сочинении «Новое Христианство» (1825), объявил своей целью освобождение рабочего класса, решение этой задачи видел в «новой религии» («все люди — братья»).

Оуэн Роберт (1771—1858) — английский предприниматель и филантроп, социалист-утопист. Понимал историю как поступательное движение к «обществу равных» — свободной федерации самоуправляющихся общин. Идею такого общества попытался воплотить в жизнь, организовав трудовые коммуны и меновые базары. Все они обанкротились; дольше всего просуществовали «Новая Гармония» (США, 1825—1829) и «Гармонхилл» (Англия,1839—1845).

Сумасшедший бухгалтер. — Имеется в виду французский социалист-утопист Франсуа Мари Шарль Фурье (1772—1837), считавший, что все несовершенства человеческой природы можно устранить, создав благоприятный для этого строй, первичной ячейкой которого должна стать фаланга. В ней труд, по его мнению, будет приносить наслаждение и станет потребностью — этому способствуют частая смена видов деятельности, регулярный переход от умственного труда к физическому, искоренение узкого профессионализма и т.д. В результате будут достигнуты высокий уровень производства и изо-

билие материальных благ, которые должны распределяться по капиталу, труду и таланту. Все социалисты-утописты строили свои теории на положении французских материалистов о решающей роли среды в формировании человека, трактуя пороки как недостаточно удовлетворенные — по вине общества — естественные потребности человеческой природы.

С. 106. *...я мог часами сидеть над книгой Бёме...* — Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий теолог-самоучка, не создал последовательной и стройной системы; его воззрения ближе всего к пантеизму. Бог и природа, по его мнению, едины, и вне этого единства ничего нет. Источник развития мира — вечное противоборство добра и зла, присутствующее во всем, включая Бога. Свои теоретические положения Бёме облекает в яркие художественные образы — его произведения необычайно поэтичны, изобилуют символами, аллегориями, метафорами, как каноническими (заимствованными из христианства, Каббалы), так и авторскими.

Горел-шумел пожар московский... — В ином варианте: «Шумел, горел пожар московский...» — первая строка песенной переработки популярного во второй половине XIX — начале XX в. стихотворения поэта и драматурга Н.С. Соколова «Он» (1850) о пожаре в Москве во время нашествия Наполеона; у Соколова первая строка: «Кипел, горел пожар московский...»

С. 107. *...никто не знал ни Столетней войны, ни войны Алой и Белой розы...* — События, определившие историю Европы.

Столетняя война (1337—1453) — война между Англией и Францией за французские земли, захваченные Англией (с середины XII в.), и богатую Фландрию. Первая половина войны ознаменована победами англичан над раздираемой смутами Францией. Перелом в войне наступил, когда непосредственная опасность стала угрожать Парижу: в результате охватившего Францию патриотического подъема (его кульминация — полумистическая миссия Жанны д'Арк) Англия потеряла завоеванные земли, за исключением Кале, остававшегося в ее владениях до 1558 г.

Война Алой и Белой розы (1455—1485) — тридцатилетняя борьба за престол между двумя ветвями английского королевского дома — Ланкастерами (в гербе — алая роза) и Йорками (в гербе — белая роза). Закончилась гибелью почти всей старой знати и приходом к власти «третьей силы» — «нового дворянства» и династии Тюдоров (отдаленных родственников Ланкастеров). Отголоски этой войны — «кровавые» финалы трагедий Шекспира.

С. 108. *...заговорил о Тредьяковском, объяснил разницу между силлабическим и тоническим стихосложением...* — *Тредьяковский* (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1768) — первый теоретик русского стихосложения, автор сочинений «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735), «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» (1755), основные положения которых пытался применить в собственном поэтическом творчестве. Перевел

на русский язык трактат Н. Буало «Поэтическое искусство» (1752). Ратовал за новый, «тонический», разделенный на стопы, стих.

Силлабическое стихосложение – основано на соизмеримости строк по числу слогов, *тоническое* – на соизмеримости строк по числу ударений.

С. 108. – *Тредьяковский был несчастный человек... нечто среднее между шутом и поэтом. Державин был много счастливее его.* – В.К. Тредиаковский стал практически первым профессиональным литератором в России, где на занятия филологией смотрели как на «безделку», простительную человеку, материально обеспеченному или имеющему место службы. Стихи Тредиаковского – «вечного труженика» (Петр I), «неутомимого возовика» (Радищев) – высмеивались современниками; особенно досталось его любимому детищу – эпической поэме «Тилемахида» (1766). Тредиаковскому «не раз случалось быть битым» знатными покровителями, что стало невозможно позднее, во времена Державина, при «стороннице просвещения» Екатерине II.

...напоминал раскольничьего святого... – Деятели Раскола – инок Епифаний, боярыня Морозова и ее сестра Урусова, протопоп Аввакум, священник Лазарь и др. – видели смысл своей жизни в повторении подвига первохристианских мучеников – апологетов христианства в «развращенном Вавилоне» и имперском Риме. Их жития, проповеди, эпистолярное наследие рисуют картины жестоких казней – урезания языков, земляных тюрем и т.д.; первопричина Раскола – несогласие с новой обрядностью – стала поводом к «страданию за веру».

...при гетмане... – Период с апреля по декабрь 1918 г., когда на территории Украины была установлена диктатура, возглавляемая гетманом Павлом Петровичем Скоропадским (1873–1945).

С. 109. *«...Егда же рассветало в день недельный...»* – Ниже приводятся два отрывка из «Жития» Аввакума: первый относится к его заключению перед ссылкой в Сибирь – началу крестного пути расколоучителя; второй *(«Таже ин началник...»)* – ко времени пребывания его в Юрьевце, еще до Раскола, когда он, как настоятель собора, ответственный за паству, за свое заступничество «был утесняем от началников».

С. 110. – *Кто из вас не знает легенды о плясуне Богоматери?* – Возможно, имеется в виду частый сюжет народных духовных стихов и преданий – Богоматерь на Страшном Суде, заступающаяся за грешников, в том числе «за плясунов и скоморохов», нарушителей благочестия. В европейской традиции существует народная легенда Средневековья о жонглере Богоматери. Как и на Руси, ремесло жонглера (аналог «скомороху», «плясуну») считалось языческим, греховным. Легенда повествует о неграмотном косноязычном жонглере, на старости лет ставшем монахом. Не зная молитв и не умея переписывать книги, он решил почтить Богоматерь единственно доступным ему способом – показав ей свое искусство, и был застигнут братией в тот момент, когда кувыркался и плясал перед ее изображением. Монахи

возмутились таким кощунством, но тут сама Богоматерь сошла к старику и утерла ему пот.

С. 110. *...то начало позднейшей биографии Толстого, где говорится о муравейных братьях...* – Под позднейшей биографией Толстого, по-видимому, подразумевается обширное исследование П.И. Бирюкова «Биография Льва Николаевича Толстого», последний, четвертый, том которого вышел в 1923 г.

Муравейные братья – «тайна» братьев Толстых. Старший, Николай, «двенадцати лет... объявил всем, что у него есть тайна, и когда она откроется, все люди сделаются счастливыми... все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями». Вероятно, мальчик имел в виду моравских братьев – общину, в которой «все жили нравственной жизнью и все имущество было общим», но заменил непонятное слово привычным (наблюдение за муравьями – одно из любимых занятий детей Толстых; по воспоминаниям современников, в старости Лев Николаевич часто посвящал созерцанию «муравейной жизни» минуты отдыха). Для вступления в общество муравейных братьев необходимо было выполнить три условия: встать в угол и не думать о белом медведе; пройти, не оступившись, по щели между половицами; в течение года не видеть зайца – ни живого, ни мертвого, ни жареного на столе. Когда общество будет создано, Николенька Толстой должен взять зеленую палочку, «на которой записана тайна», и закопать ее в заветном месте; братья же «уйдут на Фанфаронову гору жить хорошей жизнью», где все будут равны между собой в уважении и любви и «не будет ни больших, ни маленьких».

С. 111. *...заставлял святого Иоанна произносить слова, принадлежащие чуть ли не Фоме Аквинскому... – Святого Иоанна* (скорее всего, имеется в виду один из апостолов, любимый ученик Христа Иоанн Богослов; согласно традиции, он – автор одного из канонических евангелий, Апокалипсиса и трех посланий (но, возможно, речь идет и об Иоанне Златоусте (374–407), архиепископе Константинопольском, одном из Отцов Церкви, авторе произведений экзегетического, т.е. истолковывающего Священное Писание, характера, многочисленных проповедей, также причисленного православной церковью к лику святых) и *Фому Аквинского* (1225–1274) разделяют не только века, но и – что более важно – происшедшее в XI в. разделение Церкви на Западную (католичество) и Восточную (православие). Именно философская система Фомы Аквинского, строго иерархическая и рациональная (опираясь на труды Аристотеля и неоплатоников, он формулирует принцип гармонии веры и разума: разум признается способным доказать Бытие Божие и отклонить возражения против истин веры), в 1879 г. объявляется «единственно истинной философией католицизма».

С. 111. – *Помните место в богослужении: «Оглашенные, изыдите!»?* – Слова, которыми заканчивается средняя часть Литургии – Литургия Оглашенных. Произносятся они перед Херувимской песнью, во время которой приготовляются Святые Дары. В древности оглашенные (еще не крестившиеся, только постигающие основы

веры) и те из крещеных, кто отлучен или не допущен до причастия за какие-либо тяжкие грехи, при этих словах должны были выйти из храма – как недостойные присутствовать при совершении таинства. В Новое время призыв к оглашенным имеет чисто символический смысл; каждый присутствующий на литургии, слыша их, должен спросить себя, не принадлежит ли и он к числу оглашенных, достоин ли он находиться в храме, и мысленно покаяться.

С. 112. *...подолгу расспрашивал его об атеистическом смысле «Великого Инквизитора» и о «Жизни Иисуса» Ренана...* – В многочисленных трактовках гл. 5 кн. V романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880) «Великий Инквизитор» (труды К. Леонтьева, Н. Бердяева, Л. Шестова, С. Франка, Н. Лосского, В. Розанова, Д. Мережковского, Вяч. Иванова, В. Зеньковского, митрополита Антония (Храповицкого) и др.) об «атеистическом смысле» речь не идет, ибо авторская позиция проявляется недвусмысленно: и косвенно (через систему образов, композицию, сюжет произведения), и оценочно (слова Алеши Ивану: «Поэма твоя суть хвала Иисусу, а не хула!»).

Ренан Эрнест (1823–1892) в книге «Жизнь Иисуса» (1867) изображает Христа как реальное, историческое лицо, игнорируя Его божественность. Для Ренана Бог – безличный мировой разум, организующий космос; при такой трактовке вопрос о Боговоплощении отпадает. Интересно само упоминание в одном контексте произведений Ренана и Достоевского, учитывая отношение последнего к «Жизни Иисуса», неоднократно высказывавшееся им в публицистике и переписке. Для Достоевского Ренан – в одном ряду с «материалистами», не понимающими красоты образа Христа и противопоставляющими Его абстрактной «истине».

Катехизис – краткое изложение учения церкви, обычно в форме вопросов и ответов. Наиболее известные русские православные катехизисы – «Православный исповедник» Петра Могилы (1640), «Пространный христианский катехизис» митрополита Филарета (1823).

Он напоминал мне Великого Инквизитора в миниатюре: он был непобедим в диалектических вопросах и вообще был бы более хорош как католик, чем как православный. – Великий Инквизитор в «поэме» Ивана Карамазова отрекается от Христа, уступая искушениям «премудрого духа» – чуду, тайне и авторитету – взамен Христовой свободы: «...мы давно уже не с Тобою, а с ним, вот уже восемь веков...» Восемь веков назад относительно времен действия поэмы – время возникновения Папского государства; стремление к «мирской власти» любой ценой, в том числе и ценой «отречения от Христа», присуще католичеству не только по мнению Достоевского, но и по мнению многих его современников (см., например, труды славянофилов, «Encyclica» Тютчева, «Три силы» Вл. Соловьева). В отличие от православия, католичество опирается на рациональное постижение мира и Бога, конструирует иерархически четкую, философскую систему. Это отличие

выражено в формуле митрополита Илариона: «Родися Благодать и Истина, а не Закон» («Слово о Законе и Благодати», XI в.).

С. 118. *...она все какую-то Лаппо-Нагродскую читает...* — Ироническое соединение фамилий двух русских писательниц: Надежды Александровны Лаппо-Данилевской (1874—1951) и Евдокии Аполлоновны Нагродской (1866—1930). Тема произведений Н.А. Лаппо-Данилевской, как правило, жизнь аристократов и людей искусства. Романтическая фабула, изощренная любовная интрига, узнаваемость реальных прототипов (политических деятелей, творческой интеллигенции, людей высшего света), живость и занимательность при отсутствии глубины характеров — особенности ее повестей и романов. С середины 1920-х гг. жила в Париже; в 1923 г. перешла в католичество. Е.А. Нагродская причислялась критикой к «младшим арцыбашевцам», усугублявшим «худшие стороны... мэтра». Тем не менее ее произведения пользовались успехом, а роман «Гнев Диониса» был «бестселлером» 1910-х гг. В 1917 г. Е.А. Нагродская эмигрировала, жила в Париже.

Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича. — Алексей Михайлович (1629—1676) — второй царь династии Романовых, во время правления которого российское государство преодолело последствия Смутного времени, поставившего его на грань уничтожения. Были приняты законодательные акты, способствовавшие централизации государственного аппарата, развитию торговли, частично реорганизована армия, закреплено воссоединение Украины с Россией (1654), возвращены Смоленск, Чернигов и другие русские города, но при нем произошел раскол русской Церкви.

С. 121. *...чуть не до слез смеялся, когда я ему сказал, что прочел Штирнера и Кропоткина... — Штирнер* Макс (псевд., наст. имя Каспар Шмидт, 1806—1856) и *Кропоткин* Петр Алексеевич (1842—1921) — теоретики анархизма. По Штирнеру, единственная реальность — «я», индивид, руководствующийся принципом «нет ничего выше меня»; моральные и правовые нормы, установленные обществом и традицией, отбрасываются им как «стеснительная шелуха» «Другие» — лишь средство для достижения целей «я», весь мир — его собственность («Единственный и его собственность», 1845). В отличие от Штирнера, который видел главное зло в господстве отживших понятий и считал, что, «отбрасывая» их, можно изменить общество, превратив его в «союз эгоистов», Кропоткин выдвигал идеал безгосударственного коммунизма — федерации свободных производственных общин (коммун, где личность вне рамок государства, развивается свободно и творчески). Такое общество создается в ходе социальной революции, после основательного разрушения сложившихся на протяжении веков общественных порядков.

...сокрушенно качал головой, узнав о моем пристрастии к искусству Виктора Гюго... — Оценка Виталием «искусства» Виктора Гюго совпадает с отношением к его творчеству А.П. Чехова, автора блестящей пародии на стиль французского романтика — «Тысяча одна

страсть, или Страшная ночь». Не случайно и упоминание «чеховского» персонажа – «высокопарного русского телеграфиста» – в этом высказывании, что подчеркивает близость образа Виталия чеховским интеллигентам.

С. 132. *...у Махно... у Петлюры и даже в отряде эсера Саблина...* – *Махно* Нестор Иванович (1889–1934) – один из вдохновителей анархо-крестьянского движения на юге Украины в 1918–1921 гг. Неоднократно помогал Красной Армии в борьбе против деникинских войск; однако действия его были непоследовательны, подчиняться центральной власти он не желал и периодически вел бои и против красных. В конце концов его войска были разгромлены, Махно бежал в Румынию, затем перебрался в Париж, где и умер.

Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) возглавлял националистическую контрреволюцию на Украине; один из организаторов Директории в 1918 г. и ее глава с февраля 1919 г. В 1920 г. эмигрировал; убит в Париже.

Саблин Юрий Владимирович (1897–1937) командовал бригадой революционных войск.

С. 143. *...Виктория-регия* – экзотическое растение, поразившее своим видом конквистадоров, впервые нашедших его в заводях Амазонки и Ориноко. Кувшинка с огромными листьями (до двух метров в диаметре, с загнутыми краями; могут выдержать груз до пятидесяти килограммов), с большими цветами, источающими пряный аромат. Цветы виктории-регии – «однодневки» и «хамелеоны»: появившийся вечером из воды бутон раскрывается белым цветком, который к утру становится нежно-розовым; закрывшись на день, к вечеру цветок распускается малиново-красным; на второе утро, уже темно-пурпуровый, он опускается под воду, где образуется черный плод. Из-за своей необычности виктория-регия – частый атрибут при описании джунглей в произведениях романтиков.

С. 146. *...ему приснилась русалка: она смеялась, и била хвостом, и плыла рядом с ним, прижимаясь к нему своим холодным телом, и чешуя ее ослепительно блестела.* – По древнеславянским поверьям, собранным В.И. Далем, С.В. Максимовым, А.Н. Афанасьевым, А.Н. Веселовским и др., русалки – это не что иное, как души умерших, «представители царства смерти, тьмы и холода». Увидеть русалку наяву или во сне – недобрый знак, чреватый бедой, а в определенное время года – неминуемой гибелью.

С. 149. *...офицерские мессалины...* – *Мессалина* – первая жена римского императора Клавдия, ставшая символом распутства.

С. 153. *И Черное море представлялось мне как громадный бассейн Вавилонских рек, и глиняные горы Севастополя – как древняя Стена Плача.* – Речь идет о Вавилонском пленении иудеев, в 597– 586 гг. до н.э. угнанных в Ассирию, откуда они возвратились в Палестину только через полстолетия. Это событие отражено в Пророках (Исайя, Иеремия, Иезекииль), Псалмах (особенно – Пс. 136 «Плач на реках Вавилонских»), воспоминание о нем – молитвы у Стены Плача в Иерусалиме. «Реки Вавилонские» – символ любого изгнания и ностальгии.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Впервые – Современные записки. 1934. № 56; 1935. № 58–59. Первое отдельное издание – Париж: Дом книги, 1938. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – *Газданов* Г. Вечер у Клэр: Романы и рассказы / Сост., вступ. ст., коммент. Ст. Никоненко. М.: Современник, 1990.

Архив Газданова. Тетради 3, 4, 5.

В журнальной публикации 1934 г. отсутствуют некоторые главы и абзацы. Первый фрагмент романа появился под заглавием «Начало» без указания на характер и жанр произведения. Владислав Ходасевич писал в этой связи: «Полагаю... что это именно лишь “начало” более обширной вещи, начало, очень хорошо написанное, с большим чувством стиля, но – неизвестно куда ведущее» (Возрождение. 1934. 8 нояб.). Продолжение романа, уже под его окончательным названием, было опубликовано в журнале лишь спустя полгода.

С. 168. *...помнит, как была маркитанткой в войсках крестоносцев, в походе Фридриха Барбароссы... – Фридрих Барбаросса*, вместе с французским королем Филиппом II Августом и английским королем Ричардом Львиное Сердце, возглавил Третий крестовый поход, последовавший после взятия Иерусалима египетским султаном Салах-ад-Дином (1187). *Маркитантка* (от нем. Marketender) – торговка, преимущественно съестными припасами и напитками, сопровождавшая армию в походе.

С. 174. *Слабеет жизни гул упорный...* – Цитируется третье стихотворение из цикла «Венеция» (1909) А.А. Блока.

С. 175. *Точно на сказочном корабле, на нем не было видно ни души, ничей голос не отдавал команды...* – Мотив призрачного корабля в творчестве Газданова восходит как к легенде о Летучем Голландце, так и к любимой автором новелле Эдгара По «Рукопись, найденная в бутылке» (1831).

С. 182. *...за чтением романов Уэллса.* – Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) – родоначальник нового жанра научной фантастики – социально-философского «романа-предупреждения», «футурологического прогноза», «антиутопии». В его произведениях («Машина времени», 1895; «Остров доктора Моро», 1896; «Человек-невидимка», 1897; «Война миров», 1898, и др.) реализованы основные сюжеты научной фантастики, широко варьируемые литературой XX в.: космический полет, встреча с инопланетной цивилизацией, опыты над живыми существами, искусственный интеллект, необычные формы общественного устройства.

С. 188. *...Версаль, тот самый, с карпами времен Людовика Четырнадцатого.* – Во время, описываемое в романе, «тот самый... Версаль уже не существовал: при Парижской коммуне (1871) дворец Тюильри был сожжен, сокровища его частично уничтожены и разграблены, частично распределены по другим музеям. Реставрационные работы

в конце XIX – начале XX в. не смогли вернуть этому архитектурно-парковому ансамблю былого великолепия. Построенный в 1661–1708 гг., Версаль олицетворял собой величие государственности: огромный дворец и парк протяженностью около 3 километров уподоблялись гармоничному царству логики и порядка. Этому замыслу подчинено все: сведение богатых и многообразных материалов (мрамора, воды, деревьев и цветов) к строгой геометричности (ограничение плоскостями, формами кубов, цилиндров, конусов, шаров); сосредоточение на едином центре – королевском дворце (все аллеи, прямые, как стрела, сходились на площади перед ним); пространственная перспектива как интерьеров (система залов, образующих анфилады), так и парка при подавляющем величии обозреваемого пространства; иносказательность скульптурных групп, «читаемая, как единая эпическая поэма» по мере углубления в парк.

Карпы действительно существовали – в двух бассейнах-«зеркалах» перед дворцом, под балконом, с которого Людовик XIV любил рассматривать панораму Версаля.

С. 188. *...женщина пела Беранже...* – Пьер Жан *Беранже* (1780–1857) – французский поэт, сделавший фольклорный куплет профессиональным искусством. Его песни, проникнутые революционным духом, плебейским юмором, оптимизмом, приобрели всенародную популярность. Цитируется припев из его песни «Бабушка».

С. 209. *...голос Шаляпина, певшего Марсельезу в Лондоне...* – Имеются в виду гастроли Ф.И. Шаляпина в июле 1913 г., накануне Первой мировой войны.

С. 214. *...с двух часов ночи, сижу и пишу, как Боборыкин.* – *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836–1921) – «неутомимое перо» русской литературы; был необычайно общительным и деятельным человеком. Знакомый почти со всеми известными русскими и европейскими литераторами своего времени, кружком В.В. Стасова, Могучей кучкой, видными позитивистами (Тэном, Миллем, Спенсером), революционерами, театральными деятелями, он участвовал в многочисленных конгрессах и конференциях, отдал дань всем «новым течениям» в науке, политике, искусстве (позитивизму, натурализму, марксизму). Такой же диапазон интересов характерен и для его творчества: Боборыкин стремился как можно скорее откликнуться на злободневные явления духовной, общественной жизни, порой весьма разноречивые. Итог его многолетней творческой деятельности – более 100 повестей и рассказов, около 20 романов, многочисленные пьесы, социально-экономические, искусствоведческие, литературоведческие исследования, труды по театроведению, психологии творчества, критические разборы, книги воспоминаний, и часто сомнительного качества. В эмиграции о нем ходил анекдот: пишу много и хорошо.

С. 217. *...даже пошел на балет, устроенный знаменитой балериной; она «играла» мифическую царицу, отдающуюся пленному воину... Балерина говорила какие-то стихи... потом вышли танцевать пять девочек в белых платьях, и царица с варваром присоединились к их танцу...* –

По-видимому, имеется в виду Айседора Дункан (1877–1927), которая последние годы жизни провела во Франции. «Ненавидевшая классический балет», она стремилась возродить античный танец с его религиозном смыслом. Танцовщица, по мнению Дункан, должна освободиться от классической техники и выражать свои чувства в вольных, самостоятельно сочиненных движениях; избавиться от «неестественных» костюмов и обуви (ее ученицы выступали босыми, в белых туниках). По убеждению Дункан, трагедия и «комедия, как их понимали древние, т.е. служение Аполлону и Дионису, – вот искусство, танец же только часть художественного произведения, такая же необходимая составная часть, как и хоровое пение...

Соединение слова, музыки и танца – вот что только способно дать зрителю истинное и полное удовлетворение... Должны соединить свои таланты поэт, композитор и балетмейстер, и тогда только появится истинно художественное драматическое произведение...» (Из беседы А. Потемкина с А. Дункан // Биржевые ведомости. 1913. № 13331. 5 янв.).

С. 217. *Coupole* – большой ресторан на бульваре Монпарнас, популярный среди художественной интеллигенции.

С. 218. *...спорили о Сезанне, Пикассо, Фужита...* – Перечисление этих имен подчеркивает «профессионализм» разговора: рассуждают не профаны, а люди, откликающиеся на новые веяния в искусстве, непонятные «постороннему».

Сезанн Поль (1839–1906) – французский художник, представитель постимпрессионизма; в натюрмортах, пейзажах, портретах с помощью градаций чистоты цвета, используя устойчивую композицию, стремился выразить богатство и величие предметного мира, органическое единство форм природы. «...с Сезанна началась настоящая ядерная реакция в живописи» (М. Шагал).

Пикассо Пабло (1881–1973) – французский художник испанского происхождения; основоположник кубизма, суть которого – сознательное расщепление предмета на простейшие геометрические элементы.

Фужита Леонард (наст. фам. Цогухари; 1886–1968) – японский художник, представитель «парижской школы», объединявшей выходцев из разных стран – Модильяни (Италия), Шагала (Россия), Пасхина (Болгария), Кислинга (Польша), Сутина (Литва) и др. Для этой группы, создавшей свой вариант экспрессионизма, характерны фантастичность и в то же время интимность, «пасторальность» образов; общность приемов и сохранение каждым ярких национальных черт.

...цитировал стихи Бодлера и Рембо. – *Бодлер* Шарль (1821–1867) – французский поэт, критик, эссеист; предшественник французского символизма; анархическое бунтарство против буржуазного мира сочетается в его творчестве с эстетизацией пороков большого города.

Рембо Артюр (1854–1891) – французский поэт; в его стихах, часто намеренно алогичных, сочетаются реалистические и символические тенденции.

С. 218. *Rotonde* – одно из самых известных кафе в Париже, на Монпарнасе, излюбленное место литературно-художественной богемы.

...художник, рисует картины еврейского быта Херсонской губернии – Вероятно, имеется в виду Марк Шагал (1887–1985), родился в Лиозно (Витебская губерния).

Ронсар Пьер (1524–1585) – французский поэт эпохи Возрождения, глава «Плеяды», прозванный современниками «принцем поэтов». Основной творческий принцип «Плеяды» – обновление французской поэзии путем «учения у древних».

... книга в печати о русском богоборчестве, интереснейшие статьи о Владимире Соловьеве, Бергсоне, Гуссерле... – Богоборчество – отрицание благости Творца и объяснение существующего в мире страдания Его злой волей, а не виной твари. Бог – причина мирового зла, первородный грех «запрограммирован» Им; всякий, взбунтовавшийся против несправедливого мироздания, должен начать его переустройство с борьбы против Бога. В России богоборческие тенденции связаны с влиянием Вольтера и Байрона. «Вольтерьянство» и «байронизм» совпадают с развитием секуляризации в России; позднее на русское богоборчество оказывает влияние философия Ницше.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский философ-идеалист, поэт, публицист, критик. Центральная в учении Соловьева – идея «всеединого сущего». «Всеединство» понималось им как совершенный синтез истины, добра и красоты. Философ выступал за объединение «Востока» и «Запада» через воссоединение церквей, боролся за свободу совести, против национально-расовой дискриминации. Оказал большое влияние на русский идеализм и символизм.

Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма, считавший, что жизнь каждого человека – это творческий порыв, но способность к творчеству, связанная с иррациональной интуицией, как божественный дар дается лишь избранным.

Гуссерль Эдмунд (1859–1938) – немецкий философ, основатель феноменологии. Основной метод познания, по Гуссерлю, – «феноменологическая редукция», постижение смысла предмета без учета природных или культурных связей его с другими предметами. Таким образом, содержание знания сводится к «миру феноменов», постижению связей сознания субъекта, в каждом своем акте направленных на конкретный предмет, и самого предмета, очищенного от позднейших «смысловых наслоений».

С. 221. *...в глухом углу Оверни или Бретани...* – *Овернь* вплоть до начала XX в. – одна из самых бедных провинций Франции. *Бретань* славится тем, что в эпоху всеобщей стандартизации сохраняет своеобразие; в нижней Бретани до сих пор говорят на древнем бретонском языке, а женщины носят высокие цилиндрические головные уборы.

С. 233. *Помните этот вечный монотонный мотив: «положи меня, как печать, на сердце твоем...» ...уже известно, что все остальное суета: власть, мудрость, богатство и – «я, Екклезиаст, был царем над Израилем во Иерусалиме»*. – «Положи меня, как печать на сердце

твоем» – неточная цитата из Песни Песней (8, 6); далее – реминисценция из Книги Екклезиаста: «Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует – все суета!» (1, 2). «Я, Екклезиаст, был царем над Израилем во Иерусалиме» – цитата из Книги Екклезиаста (1, 12). Существует мнение, что авторство Книги Екклезиаста, как и авторство Песни Песней и Притч, принадлежит царю Соломону. Эта гипотеза импонирует Газданову и нередко обыгрывается в его произведениях, так как отвечает концепции «жизни-путешествия» в поисках смысла – «остановки», «воплощения» в любви и человеческой близости.

С. 237. *...о своем детстве в Авиньоне... – Авиньон* – некогда славный и богатый (в Средние века и эпоху Возрождения – резиденция пап, центр шелковой промышленности Франции), впоследствии теряющий свое значение город; символ гордой провинции, тоскующей о былом величии и враждебной «столичным нравам».

С. 242. *Pochette* – декоративный (обычно шелковый) платок для нагрудного кармана.

С. 244. *...из-за стекла синего вагона...* – т.е. вагона первого класса.

С. 249. *...сослаться на знаменитую и довольно каверзную в синтаксическом смысле речь Цицерона против Катилины. – Цицерон* Марк Туллий (106–43 до н.э.) – римский оратор, политический деятель, писатель, стиль которого долгое время считался образцовым. Для стиля Цицерона характерно отсутствие иноязычных и просторечных слов, обильное, но не чрезмерное употребление риторических украшений; особая черта, о которой как раз и говорит Николай, – выделение крупных, отчетливых в логическом и языковом отношении, ритмически оформленных периодов.

Разоблачение заговора Катилины принесло Цицерону, в то время уже консулу, славу не только оратора, но и мудрого политического деятеля, однако впоследствии обвинение в незаконной казни заговорщиков сыграло в его судьбе роковую роль. Всего было произнесено четыре катилинарии (речи против Катилины); в романе Газданова, по-видимому, имеется в виду первая, произнесенная 21 октября 63 г., начинающаяся знаменитым «Quousque tandem?» («Доколе ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?»).

Катилина Луций Сергий (108–62 до н.э.) – обедневший римский патриций, составивший состояние в период сулланских проскрипций (репрессий диктатора Суллы, когда каждый, убивший внесенного в списки, получал вознаграждение), претор – 68 г., заговорщик – 63 г. Все античные представления о Катилине восходят к речам Цицерона и историческому сочинению Саллюстия, его политических противников, поэтому они полны передержек, которые повторяют и позднейшие историки (в том числе Плутарх); Катилина предстает убийцей собственного брата, вносящим его имя в проскрипционные списки задним числом, чтобы скрыть злодеяние, насильником дочери, человеком, намеренно развращавшим молодежь, чтобы с совершить государственный переворот и править Римом.

С. 249. *...в его речи фигурировали и Гракхи...* — *Гракхи* Тиберий Семпроний (162—133 до н.э.) и Гай Семпроний (153—121 до н.э.) — народные трибуны. Предложенный Тиберием закон, по которому общественная земля, скупленная богатыми семействами, должна быть возвращена в казну и впоследствии поделена между неимущими римлянами, привел к гражданской войне, первой жертвой которой стал сам Тиберий, убитый на Капитолии, несмотря на неприкосновенность своего сана. Дело брата продолжил Гай; когда его сторонники, опасаясь репрессий и прельстившись обещанием помилования, отступились от него, он покончил с собой, перед этим, по преданию, прокляв римский народ. Несходные по характеру (мягкий, сдержанный Тиберий и вспыльчивый, порывистый Гай), в позднейшей традиции оба брата в равной степени предстают образцами гражданских добродетелей. В речи Николая Гракхи упомянуты, по-видимому, как образец ораторского искусства.

С. 254. *«Что день грядущий мне готовит?»* — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 7, XXI).

С. 255. *Он мною был любим, он мне был одолжен...* — Строки из стихотворения А.С. Пушкина «Умолкну скоро я. Но если в день печали...» (1821).

С. 256. *...как развевающийся белый шарф матери Юлиана, который он пригвоздил дротиком к воротам, приняв его издали за птичьи крылья.* — Имеется в виду эпизод из «Легенды о Юлиане-страннопримце» (1876, в русском переводе — «Католическая легенда о святом Юлиане Милостивом») Гюстава Флобера (1821—1880).

С. 258. *...это будет чистое чувство — и тогда это Петрарка или Песня Песней.* — «Canzoniere» («Книга песен») Франческо *Петрарки* (1304—1374), с течением времени воспринимающаяся как главное его произведение, целиком посвящена теме возвышенной любви и жажды поэтического бессмертия, предстающими как цельное, неделимое чувство. Отсюда — игра слов: Лаура, «идеальная возлюбленная» (Laura) — лавр, символ славы (lauro) — дуновение, душа (l'auro).

С. 260. *...неподвижных виселиц, точно заботливо сохраненных со времен Пугачева, когда, озаряемые факелами, они медленно плыли по течению Волги, грузно качаясь в темноте исчезающего, смутного и страшного времени.* — В русской художественной и исторической литературе образ «плавучих виселиц» восходит к «Пропущенной главе» — первоначальной редакции конца гл. XIII «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. В пушкинских «Замечаниях к истории пугачевского бунта» также отмечается, что плавучие виселицы можно было еще встретить через десять лет после пугачевщины.

С. 262. *...Если бы мир был организован рационально...*
— Как termitère?

Муравейник — частый мотив в творчестве Газданова, имеющий двойное значение: многообразие замкнутых в себе форм жизни, не понятных стороннему наблюдателю («Вечер у Клэр», «Пробуждение»), и — как в данном случае — символический образ, своего

рода авторский термин, близкий по значению «всеобщему муравейнику», «хрустальному дворцу» Достоевского – рационально организованному обществу, в целях «пользы», «всеобщего счастья», исключающему свободу личности. Возможно, сказалось и влияние книги М. Метерлинка «Жизнь термитов» (1826). Книга рецензировалась эмигранской киритикой (К. Мочульский и др.).

С. 263. – *Женщины настолько ближе нас к правильному распределению функций...*

– *...А донна Анна, a lady Hamilton?*

Возражение Володи основано не на теоретических посылках, а на образах литературы и «живой жизни». Донна Анна – «мировой тип», символ женской природы, уступающей натиску мужского начала (Дон-Жуана) вопреки всем нравственным, религиозным, мистическим запретам, вопреки доводам разума; леди Гамильтон вносит беспокойство и томление в жизнь окружающих, не исключая и «олимпийца» Гётс (см.: *Гёте* И.В. Путешествие в Италию).

С. 271. *...работает в Армии Спасения.* – Международная религиозно-филантропическая организация, основанная в 1865 г. В 1878 г. реорганизована английским методистским проповедником У. Бутсом. Имеет строгий устав, иерархическую систему по армейскому образцу. Шутка Николая основана на несоответствии облика и поведения Odette суровому пуританскому духу Армии Спасения.

С. 272. *...очередной переезд Odette был обусловлен многими сложными причинами, в число которых входили инстинкт размножения и биологические законы, кодекс Наполеона и римское законодательство...* – Римское законодательство (римское право) – система обязательных правовых норм, сложившаяся в Древнем Риме в V–III вв. до н.э.; увенчалось составлением в Византии при императоре Юстиниане Свода гражданского права (Corpus iuris civilis). Та часть римского права, которая касалась регламентации отношений между частными лицами, частными лицами и государством – частное право (iuris privatum), стала основой юриспруденции Средних веков и Нового времени благодаря тому, что в ней впервые сформулировано и развито неограниченное право частной собственности, тщательно разработан институт договора, подробно регламентированы различные типы договорных отношений.

Кодекс Наполеона (французский Гражданский кодекс – Code Civil, 1804), названный так потому, что его подготовка и обсуждение в Государственном совете проходили под председательством и при деятельном участии Наполеона Бонапарта, действует во Франции и в настоящее время (с некоторыми изменениями). Кодекс мастерски приспособил римское право к условиям современной Наполеону действительности. Согласно убеждению Бонапарта, собственник – «опора безопасности и спокойствия государства», и увеличение числа собственников идет государству на пользу. Code Civil снимал жесткие ограничения права наследования, характерные для римского законодательства и охранявшие крупные владения патрицианских фамилий

от дробления. Именно с правом наследования и связано упоминание в эпизоде поездки к Odette этих юридических документов.

С. 276. *...говорил о Кальдероне... – Кальдерон* де ла Барка Энао де ла Барреда-и-Рианьо Педро (1600–1681) – испанский драматург эпохи барокко.

С. 277. *...те книги, которые его всегда интересовали и которым он остался бы верен: «Граф Монте-Кристо» и «Анж Питу», «Вечный Жид», «Молодость Генриха Четвертого», «Атлантида» Пьера Бенуа и «Король Брильянтов» Брешко-Брешковского... – «Граф Монте-Кристо», «Анж Питу»* – романы Александра Дюма-отца (1803–1870); *«Вечный жид»* («Агасфер») – роман Эжена Сю (1804–1857) о тайнах парижского «дна»; *«Молодость Генриха Четвертого»* – цикл из девяти романов Пьера-Алексиса Понсона дю Террайля (1829–1871) – исторические факты, легенды и анекдоты служат в них канвой для «пикантного» сюжета; *«Атлантида»* – роман Пьера Бенуа (1886–1962), автора авантюрных романов с использованием многочисленных исторических и естественнонаучных сведений, не всегда достоверных, действие которых происходит в экзотических странах; *«Король брильянтов»* – Газданов имеет в виду роман «Царские бриллианты» (Париж, 1921) Николая Николаевича Брешко-Брешковского (1874–1943), ориентировавшегося на невзыскательных читателей. В эмиграции – после 1920 г. – опубликовал более тридцати романов.

ПОЛЕТ

Впервые – Русские записки. 1939. № 18–21 (публикация не закончена). Впервые полностью – *Газданов Г.* Полет / First Complete Edition with an Introduction and Bibliographical Appendix by L. Dienes. The Hague: Leuxenhoff Publishing, 1992 (с введением и библиографическим приложением Л. Диенеша).

Впервые в России – Дружба народов. 1993. № 8–9 / Вступ. слово Ф. Хадоновой, послесл. Л. Диенеша. Печатается по этой публикации.

Архив Газданова. Тетрадь 7.

Немногочисленность отзывов на первую публикацию романа, очевидно, связана с тем, что при жизни писателя роман полностью так и не был напечатан.

Все отзывы принадлежат Г. Адамовичу (Последние новости. 1939. 29 июня, 3 авг., 29 сент.). Адамович, при его двойственном отношении к творчеству Газданова, в этих рецензиях наиболее близко подходит к сути писательского дара Газданова и наиболее адекватно оценивает особенности его прозы: «О том, что Газданов очень талантлив, споров быть не может. Отрицать это способен был бы только человек или недобросовестный, или совершенно не чувствительный к свежести и силе языка, умению изображать людей, вещи и природу, к ритму, играющему в прозе роль не менее важную, чем в стихах; впрочем, безоговорочных “отрицателей” у Газданова, кажется, и нет... Если бы волею судеб книги Газданова не дошли до будущих читателей цели-

ком, а сделались известными лишь в разрозненных частях, автор "Вечера у Клэр" был бы, вероятно, включен в число самых оригинальных и крупных художников послереволюционного времени». Во второй рецензии Адамович подходит ближе, чем когда-либо до или после этого, к одной из самых существенных черт газдановского искусства: «Газданов и не гонится за психологическими редкостями. Наоборот, он ищет той сложности в общей панораме, которая произвела бы впечатление, что изо дня в день "так было, так будет" – и вместо одного человека мог бы на данном месте оказаться другой, без того, чтобы изменилось что-либо существенное. Главное у него не люди, а то, что их связывает, то, чем заполнена пустота между отдельными фигурами, – бытие, стихия, жизнь, не знаю, как это назвать».

«Полет» – одно из самых утонченных произведений Газданова-психолога. Это «камерная драма», или, быть может, точнее – «камерная музыка». В романе дается тончайший анализ «психологического существования», самых потаенных чувств и мыслей узкого круга лиц, в основном членов одной семьи; писатель изучает и славит любовь, глубоко исследует ее сентиментальные «путешествия» и «полеты», пристально вглядывается в разнообразные формы, которые она принимает.

С. 307. *Он достал с полки два тома Брокгауза и Эфрона...* – Словари и энциклопедии фирмы «Брокгауз – Ефрон» – наиболее фундаментальные справочные издания дореволюционной России. В работе над ними участвовали ученые, составлявшие цвет отечественной науки: С.А. Венгеров, И.М. Гревс, М.А. Дьяконов, С.А. Жебелев, Н.И. Кареев, Д.И. Менделеев, И.И. Мечников, Э.Л. Радлов, М.И. Ростовцев, В.С. Соловьев и др. Энциклопедический словарь, вышедший в 1890–1907 гг. (первые четыре тома – под ред. проф. И.Е. Андреевского, последующие – под ред. почетного академика К.К. Арсеньева и проф. Ф.Ф. Петрушевского), состоял из 82 основных и 4 дополнительных полутомов (всего 43 тома). В 1911 г. акционерное общество «Брокгауз – Ефрон» приступило к изданию нового, пятидесятитомного словаря; издание было прекращено после 1917 г. (вышло 29 томов).

С. 311. *Она искренне считала шедевром злополучную «Даму с камелиями»; впрочем, она лично очень близко знала ее автора, которого считала гением.* – «Дама с камелиями» (1848, пост. 1852) – роман и пьеса Александра Дюма-сына (1824–1895). «Очень близкое» знакомство с автором еще раз подчеркивает возраст актрисы: Лоле Энэ должно быть более шестидесяти лет.

Она с восторгом говорила о трагедиях Корнеля, которых... просто не могла понять из-за недостаточной своей культуры... – Наиболее часто на французской сцене ставились трагедии Пьера *Корнеля* (1606–1684) «Сид» (1637), «Гораций» (1641), «Цинна, или Милосердие Августа» (1643), «Софонисба» (1663), «Тит и Береника» (1677). Всего перу драматурга принадлежат 8 комедий и 17 трагедий, большая часть

которых основана на античных источниках и требует от постановщиков и актеров знания основ Аристотелевой теории трагического.

С. 322. *...он как-то был на концерте Крейслера. — Крейслер* Фриц (1875—1962) — австрийский скрипач, композитор.

С. 334. *Книги Лизы были более интересны, но любимым ее автором был Достоевский, которого Сергей Сергеевич никогда не мог читать без сдержанного раздражения и усмешки. Зато Сережино чтение всегда вызывало в нем улыбку, это был либо Платон, либо Кант, либо Шопенгауэр. Кончалось все это обычно тем, что Сергей Сергеевич брал с полки Диккенса или Голсуорси и в десятый раз принимался за Оливера Твиста или хронику Форсайтов.* — Характеристика героев кругом чтения — излюбленный прием Газданова. Сергей Сергеевич «в десятый раз» погружается в «уютный» мир английской семейной хроники, соответствующий его представлениям о жизненных ценностях, о собственной роли в судьбе близких.

Оливер Твист — герой одноименного романа Чарльза Диккенса (1812—1870).

Хроника Форсайтов — «Сага о Форсайтах» — цикл романов Джона Голсуорси (1867—1933) о трех поколениях собственников, «хозяев жизни», которым свойственны стремление к устойчивости, незыблемости существования, традиционализм, консерватизм. Главный герой эпопеи — «абсолютный собственник» Сомс Форсайт — напоминает Сергея Сергеевича; мир для него — сумма ценностей, личных и необходимых, за обладание которыми нужно бороться; эти ценности — «красота и любовь» и «наибольшая ценность» — сама жизнь. Подобно Сомсу, в критический момент, неожиданно для себя, Сергей Сергеевич оказывается способным на опустошающее чувство, безумие, жертву; подобно Сомсу, он начинает ощущать свое одиночество, «проигрыш».

С. 340. *...чем-то вроде евангельских «альфы и омеги». — Альфа и омега* — первая и последняя буквы греческого алфавита; в переносном значении — начало и конец чего-либо. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» — слова из Откровения Иоанна Богослова (1, 8).

...читал с его женой вдвоем, вслух, Гамсуна... — Кнут *Гамсун* (наст. фам. Педерсен; 1859—1952) — норвежский писатель, его произведениям присущи психологическое мастерство — изощренная «поэзия нервов» в романе «Голод» (1890) во многом предваряет литературу «потока сознания», противопоставление выразительных картин природы и переживаний человека цивилизованному миру, в котором распадаются связи между людьми. Значительное внимание в творчестве Гамсуна уделено иррациональному в человеческой природе, в том числе — обусловленному подсознательными физиологическими причинами. Герой Гамсуна часто — «свободный» от «пошлых» представлений, отвергающий «прозаическое существование» человек, противостоящий обществу «рядовых, обыденных» людей. Судя по контексту (интерес, наряду с Гамсуном, к теории Фрейда), именно этот аспект творчества Гамсуна интересует жену инженера. Сам «любовный треугольник» напоминает ситуацию романа Гамсуна «Бенони» (1908).

С. 341. *...о сублимации сексуального чувства...* – Сублимация (от лат. sublimare – возвышать, возносить) – переключение полового влечения (либидо) на иную, «возвышенную», далекую от сексуального удовлетворения цель; при этом энергия «низменных» инстинктов преобразуется в творческую энергию.

С. 351. – *La charmante sauvage! – сказал Сергей Сергеевич. –Бедный Иммануил, бедный Иммануил!*

– Почему Иммануил?

– Так звали, Лизочка, одного кенигсбергского мыслителя...

Имеется в виду решение проблемы человеческой свободы в этике Иммануила Канта (1724–1804), считавшего, что человек, в отличие от животного, способен контролировать свои естественные стремления и определять свою волю. Проявление истинно человеческой свободы – самоограничение собственного произвола, уважение свободы остальных.

С. 354. *Ты о теории рефлексов имеешь представление?* – Представление о рефлексах – реакциях живого организма на раздражители, позволяющих ему осуществлять взаимодействие между отдельными органами и приспосабливаться к изменениям окружающей среды, – выдвинуто еще Р. Декартом (1596–1650), который считал их актами, независимыми от сознания. Долгое время в физиологии господствовала концепция параллелизма физиологических процессов психическим, «непересекаемости» их. И.М. Сеченов и И.П. Павлов, открыв соответственно явление торможения в центральной нервной системе, при котором рефлекс может быть задержан или вообще может не возникнуть даже при достаточно сильном раздражении, и условные рефлексы – приобретенные, а не врожденные реакции, зависящие от индивидуального опыта организма, подтвердили гипотезу о единстве физиологического и психического процессов.

С. 355. – *Нет, не то, что ты думаешь, что я думаю, что ты думаешь.*

– Постоянное чтение Достоевского вредит твоему стилю, Лиза.

На «неряшливость» стиля Достоевского обращали внимание многие исследователи. «Достоевский выставляет напоказ перед читателем недоработанность стиля, как бы импровизированность своего изложения и вместе с тем не скрывает поисков высшей точности при нарочитой и даже скандальной неточности в частностях. Он обнажает конструкции и кулисную технику» (Д.С. Лихачев. «Небрежение словом» у Достоевского). Многочисленные труды о стиле Достоевского убеждают в «сознательной и целенаправленной неточности языка», для создания которой автор использует целый арсенал отработанных приемов. Фраза Лизы с наслоением тавтологических придаточных, с педалируемым союзом «что» характерна, впрочем, скорее для стиля Л.Н. Толстого, чем Достоевского.

С. 357. *Accent aigu* – фонетический значок во французском правописании.

С. 360. *Сюрреализм* (фр. *surrealisme* – над-реализм, сверхреализм) – направление в искусстве, возникшее во Франции в 1920-е годы. Наибольшее распространение получил в живописи. Основной его принцип – опора на бессознательное, на мысль «вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений» (А. Бретон. Манифест сюрреализма). Художественное произведение должно быть выражением сферы бессознательного – отсюда ориентация на любой опыт «бессознательной жизни духа» – галлюцинации, бред, наркотическое опьянение, мистический экстаз; на выбор соответствующих художественных приемов, «сближающих отдаленные друг от друга реальности» (П. Реверди), на соединение несоединимого (то, что и дает повод иронически причислить Егоркина к сюрреализму) – оксюморон, гротеск, алогичность, парадоксальность, контраст на всех уровнях.

С. 361. *...Егоркин по призванию, помимо всего и прежде всего, анималист, а не маринист, с чем Егоркин после некоторого раздумья согласился.* – Реплика Сергея Сергеевича – в его обычной саркастической манере: учитывая жанр «произведений» Егоркина – иконы, портреты, «тройки», – причисление его к «анималистам» – это не просто добродушное подтрунивание, а издевка.

С. 363. *...переоделся с быстротой трансформатора...* – Здесь имеется в виду актер, играющий в спектакле попеременно несколько ролей, для чего ему необходимо быстро менять свой облик.

С. 374. *...«Old men's river»* и *«Charly is my darling»...* – «Старик-река» и «Дорогой мой Чарли» *(англ.)* – названия песен из популярного мюзикла американского композитора Джерома Керна (1885–1945) «Плавучий театр» (1927).

С. 382. *...у них очень быстро установился с Макфаленом условный язык, основные понятия которого были заимствованы из Киплинга и Диккенса, любимых его авторов...* – Круг чтения характеризует Макфалена как человека, которому присущи чувствительность, нравственная устойчивость, основательность – добродетели «семейных хроник» Диккенса – в сочетании с культом силы, имперским патриотизмом, любовью к экзотике Киплинга. Чувство Людмилы к Макфалену приобретает тем самым сентиментально-иронический оттенок: безошибочно построив любовную игру на представлениях иностранца о «загадочной русской душе», она в то же время подпадает под обаяние расхожего представления о «типичном англичанине».

С. 384. *– Ныне отпущаеши... Слава Богу, все к лучшему. – «Ныне отпущаеши»* – первые слова благодарственной молитвы старца Симеона, которому «было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня»; когда младенца Иисуса принесли в храм, Симеон «взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 28–32). Эта молитва – Заупокойное Евангельское чтение при чине погребения, отпевания усопших, панихиды.

С. 385. *...когда твои глаза...* – Отрывок из монолога Дона Карлоса («Каменный гость» А.С. Пушкина, сцена 2: Комната. Ужин у Лауры).

С. 395. *Лига Наций* – международная организация, созданная в 1919 г. на Парижской мирной конференции; устав ее – составная часть Версальского мирного договора (1919). Цели Лиги Наций – борьба с агрессией, всеобщее сокращение вооружений и укрепление международной безопасности. Деятельность Лиги Наций осуществлялась ежегодной Ассамблеей (в ее состав входили представители всех государств – членов этой организации), Советом, состоявшим из постоянных членов (первоначально – Великобритания, Франция, Япония, Италия), и постоянным секретариатом во главе с генеральным секретарем. Лига Наций распущена в апреле 1946 г.

С. 404. *...преимущественно на самого национального святого – Николая Чудотворца.* – Святитель Николай Мирликийский Чудотворец родился в Патаре (греческая колония в Малой Азии). Жития его (из которых наиболее достоверно жизнеописание греческого автора, Симеона Метафраста) известны на Руси еще до Крещения. Со временем Николай Чудотворец становится одним из любимейших святых русского народа, появляются славянские варианты житий, значительно расширенные. Народное представление о святом Николае – «образ кротости», «скорый в помощах» – и горячее поклонение ему вызваны соответствием жития святого этическому и эстетическому идеалу славян – чудесное избранничество, проявляемое с младенчества невкушением материнского молока в постные дни, божественное благословение на епископство в Мирах Ликийских, твердое исповедание христианства и, особенно, его тайное, безымянное делание добра как нельзя лучше отвечают основным добродетелям Древней Руси: смирению, долготерпению, жертвенной деятельной любви, воздержанию, бескорыстному подвижничеству.

С. 405. *...что она лично знала Репина и Врубеля...* – *Репин* Илья Ефимович (1844–1930) и *Врубель* Михаил Александрович (1856–1910) на рубеже XIX–XX в. известны широкой «светской» публике прежде всего как блестящие портретисты, добиться у них сеанса считалось большой честью.

С. 415. *Мы – два коня, чьи держит удила...* – Вторая строфа сонета Вяч. Иванова (1866–1949) «Любовь» (1901).

С. 418. *...и если бы представить себе мифического титана...* – Титаны – архаические боги греческой мифологии, олицетворявшие стихии природы со всеми ее катастрофами и порожденные в начальной стадии творения космоса Геей (землей) и Ураном (небом). Не ведающие разумности, упорядоченности и гармонии, первобытно-дикие, обладающие только грубой силой, титаны уступают власть новому поколению богов – олимпийцам, завершающим мудрую организацию мира. После сражения с олимпийцами (титаномахии), длившегося десять лет, побежденные архаические боги были низринуты в Тартар.

С. 418. *...огромная тень Саваофа над этим клубящимся и дымным миром. – Саваоф* (Яхве, Ягве, Иегова) – одно из имен Бога в иудаистской и христианской традициях; в этом имени (буквально переводится как «Господь воинств», «Вседержитель», «Владыка сил») выражена идея единства всех воинств Вселенной («небесного» – светоносных Солнца, Луны, звезд, четырех сонмов огневидных ангелов под началом архангелов Михаила, Уриила, Рафаила и Гавриила, и «земного», созданного по образу «небесного», сражающегося с врагами веры), иерархически построенных и объединенных актом непрерывного славословия Господу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнены небо и земля славы Твоея» (Херувимская песнь). В Библии чаще всего это имя упоминается в книгах пророков.

С. 426. *Академик* – член Французской Академии – старейшей из академий Европы, основанной в 1635 г. кардиналом Ришелье с целью создания словаря французского языка и его грамматики. С середины XVIII в. Французская Академия – скорее почетное, нежели активно функционирующее сообщество; в ее составе 40 членов, избираемых пожизненно, их называют «бессмертными».

С. 433. *...и в одном повороте головы я ловлю себя на том, что это – жест Сафо, и в резко вытянутой руке – поза Селимены...* – Роли из классического репертуара.

Сафо – вероятно, имеется в виду одна из многочисленных драматических обработок мифа о любви Сафо к Фаону, литературной основой которых были «Героиды» Овидия.

Селимена – очевидно, главная женская роль в «Мизантропе» (1666) Мольера. В «Комеди Франсез» роль Селимены традиционно являлась своеобразным «экзаменом на мастерство»; за 300 лет существования театра была исполнена шестьюдесятью актрисами. На французской сцене ставилась также комедия «Селимена» Жана де Ротру (1609–1650), виднейшего автора французского барокко.

С. 462. *...Слетов читал мемуары Казановы... он очень неодобрительно относился к этому человеку, и ему казалось непонятным, как можно потратить всю жизнь на то, чтобы чуть ли не ежедневно менять любовниц: Слетов искренне этого не понимал. – Казанова* Джакомо Джироламо (1725–1798) – автор знаменитой «Истории моей жизни» (1791–1795; рукопись составила 12 томов), «эротической Илиады» (С. Цвейг). Его мемуары впервые изданы в 1822–1828 гг. основателем знаменитого книготоргового дома Фридрихом Арнольдом Брокгаузом, купившим рукопись у внучатого племянника автора, Карло Анджолини; текст отредактировал Жан Лафорг с целью «смягчения» всех «несовместимых с принятыми современной нравственностью нормами» мест. Подлинный текст впервые опубликован лишь в 1960–1962 гг.: *Casanova de Seingalt, Jacque*, Vénitien. Histoire de ma vie. Wiesbaden, Paris. V. 1–12.

Сокращенный русский перевод мемуаров в одном томе подготовил В.В. Чуйко (1887; переизд. 1902). По подлинному тексту Казановы издан сокращенный вариант мемуаров в переводе И.К. Стаф и

А.Ф. Строева (*Казанова.* История моей жизни. М.: Моск. рабочий, 1990).

Читатели высоко ценили индивидуальность стиля Казановы. Одно время авторство мемуаров даже приписывалось Стендалю. По словам Достоевского, «французы ценят Казанову, как писателя, даже выше Лесажа». «Для Казановы и деньги, и известность были лишь средством. Целью его была любовь. Женщины наполняли его жизнь. И женщины составляют предмет всех его рассказов... Он соблазняет всех, и иногда кажется, сам не видит кого»; «Сквозь все эти страницы вроходит одна сплошная бессонная ночь» (П. Муратов. Образы Италии). Вместе с тем, горькое признание Казановы – «Я распутник по профессии» – вряд ли оправданно; его похождения нередко доходят до «любовного совершенства» прежде всего благодаря искренности и силе чувства, испытываемого им к каждой новой возлюбленной, и стремлению сделать ее счастливой хоть на миг. «Вечный любовник» Слетов, несомненно, – сниженный вариант «венецианского кавалера»; ирония его оценки мемуаров заключается в том, что он «не узнает» себя со стороны и фактически выносит приговор собственной жизни.

С. 471. – *Как это определение романтизма?.. Exagération du sentiment personnel?.. Ты опоздала родиться почти на полтора столетия, Лиза. Тебе бы с Байроном тогда познакомиться. Поэт немного хромой, но очень, очень милый и ценивший преувеличения.* – «Избыточная чувствительность» – один из упреков Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788–1824) в адрес «лейкистов» (так называемой «Озерной школы» – объединения английских романтиков, куда входили В. Скотт, Колридж, Вордсворт). Приверженность поэтике классицизма Байрон сохранял всю жизнь, о чем свидетельствуют не только его ранние сатиры «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), «Проклятие Минервы» (1811), поэтический трактат «На темы Горация» (1811), но и поздние письма, наброски, например, следующие фрагменты 1822 г.: «Чем больше я думаю об этом (о современной ему литературной ситуации. – *Коммент.*), тем более я убежден, что все мы – Скотт, Саути, Вордсворт, Мур, Кэмбелл, я, – все мы в равной мере заблуждаемся, все мы строим ложную поэтическую систему – или системы, которые сами по себе ни черта не стоят...»; «Из-за всех этих “кокни” (поэтов-романтиков школы Ханта, к которым формально относился и Джон Китс. – *Коммент.*), лейкистов и последователей Скотта, Мура и Байрона мы дошли до крайнего падения и унижения литературы. Я не могу об этом думать без раскаяния убийцы»; «Пока я писал преувеличенный вздор, который развратил общественный вкус, они аплодировали даже эху моих слов...» (См.: *Дьяконова Н.Я.* Английский романтизм. М.: Наука, 1978). Таким образом, ссылка на Байрона содержит характерный для Сергея Сергеевича налет иронии: человек, ставший символом романтизма, породивший тысячи подражателей, отрицает романтизм как теорию, следуя ему в практике поэтического творчества; тем самым физический

недостаток Байрона – его хромота – приобретает переносное значение непоследовательности, нетвердости принципов (качество, которое приписывается и Лизе). Двусмысленность «рекомендации» Байрона для знакомства – еще и в его репутации «разбивателя сердец», «губителя женщин»; «роковая», «эгоистическая», «разрушительная» страсть, по мнению Сергея Сергеевича, – то, чего ищет Лиза и с чем она, к ее счастью, еще не сталкивалась. Этот взгляд на ее характер и судьбу в полной мере проявится в его упреках после разоблачения ее связи с Сережей.

РАССКАЗЫ[1]

В настоящий том включены практически все ранние рассказы (за исключением, возможно, одного, пока не найденного), опубликованные Газдановым с 1926 по 1930 г. При жизни писателя ни одного сборника его рассказов не выходило, они публиковались в различных газетах и журналах и большинство из них при жизни писателя не переиздавалось.

Гостиница грядущего (с. 493). Впервые – Своими путями (Прага). 1926. № 12/13. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – *Газданов Г.* Собр. соч.: В. 3 т. М.: Согласие, 1996. Т. 3. С. 7–12.

Рассказ открывает прозаический отдел журнала, в котором помещены рассказы Н. Еленева, Б. Сосинского, И. Тидемана, А. Воеводина, С. Эфрона (редактора журнала) и др.

Как пишет Г. Адамович: «Г. Газданов, “Гостиница грядущего”... Истрепанное, потерявшее вес и значение слово “странный” надо к нему применить. “Странность” Газданова не поверхностна, не в приемах или способах повествования, не в том, с чем свыкаешься. Она идет из глубин. Острое, жесткое, суховатое, озлобленно-насмешливое и прежде всего “странное” отношение к миру. Почти “сумасшедший дом” для человека уравновешенного, положительного. Не пленяясь, не радуясь – удивляешься. <...> Область, где витает его воображение, пустынная, и тропа с тропой в ней не сходится» (Молодые прозаики в журнале «Своими путями» // Звено. 1926. № 188. 5 сент. С. 1–2).

С. 499. *...не сохранившим воспоминания ни о раскаленном воздухе Палестины, ни о прохладной могиле Барбароссы...* – Упоминая крестоносцев, Газданов чаще всего обращается к событиям Третьего крестового похода (романы «Вечер у Клэр», «Возвращение Будды», «Эвелина и ее друзья»), одним из вождей которого был утонувший в реке Фридрих Барбаросса. См. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 812.

...предпочитаю парижские рефлекторы медному тазу Дон-Кихота и фонари Елисейских полей – кострам наемных убийц Валлен-

[1] В комментариях к рассказам в этом томе и последующих частично использованы материалы В. Кочетова и Ф. Хадоновой.

штейна. – Пресловутый «шлем Мамбрина», наряду с ветряными мельницами, – яркий пример «иллюзорного зрения» героя Сервантеса: приняв медный таз для бритья за золотой шлем, Дон-Кихот отвоевал его у цирюльника.

Армия полководца Альбрехта *Валленштейна* (1583–1643), с 1625 г. главнокомандующего в Тридцатилетней войне (1618–1648), состояла из наемников разных наций и исповеданий; его неоднократно отстраняли от должности главнокомандующего, ибо его войска нагло грабили захваченные земли.

Повесть о трех неудачах (с. 500). Впервые – Воля России (Прага). 1927. № 2. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Владикавказ. 1995. № 2. С. 144–173 / Публ. С. Каболоти.

Газданов считал эту публикацию началом своей писательской судьбы. Рассказ помещен в журнале между романом Е. Замятина «Мы» и подборкой стихов Б. Пастернака.

На первые рассказы Газданова откликнулись С. Постников (Воля России. 1927. № 5/6) и Марк Слоним в статье «Молодые писатели за рубежом» (Воля России. 1929. № 10/11. С.116–117).

С. 501. *...тиканье почти хронометров Павла Буре.* – Обыгрывается основной мотив рекламы самой известной часовой фирмы в дореволюционной России «Павел Буре», славившейся высоким качеством механизмов: «почти хронометры»: хронометр – сверхточные часы с устройствами, снижающими влияние среды на их ход; применяются в астрономии, геодезии, навигации.

С. 502. *...не уложившаяся в теоремы о сумме углов.* – В этой теореме – о сумме углов треугольника, треугольник не может иметь более одного прямого или тупого угла, ибо сумма всех трех углов равна двум прямым углам (180°).

С. 503. *...под томом сумасшедшего Штирнера лежал роман кн. Бебутовой «Жизнь – копейка».* – В России в начале XX в. было популярно сочинение немецкого философа Макса Штирнера, исповедовавшего идеи эгоизма и анархизма, – «Единственный и его собственность». См. о нем коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 817.

Бебутова Ольга Михайловна (Георгиевна) (урожд. Данилова, сценич. псевд. Гуриелли, Гурская; 1879–1952) – прозаик, актриса. В 1906 г. завоевала приз на Всероссийском конкурсе красоты. Внешние данные и атмосфера загадочности, скандала (два отчества, намеки на запутанные отношения со знаменитостями и влиятельными людьми и др.) способствовали ее популярности. Подобная «пряная» атмосфера присуща и ее романам: ложнодраматические ситуации, переживания дам полусвета, разорившихся князей, дуэли, самоубийства. После Октябрьской революции эмигрировала. Умерла в Ницце в нищете и забвении.

С. 511. *«...с грохотом падали в воскресиих тысячелетиях массивные твердыни Иерихона».* – *Иерихон* (в пер. с древнеевр. «Благоухающий», «Благовонный», из-за роз, выращивавшихся там; назывался также «Городом Пальм») – город «на равнинах Моава, при Иордане» (Чис. 22, 1), в долине гор Нево и Фасги (Чис. 22, 49; 34, 1). Кроме Библии, упоминается также античными историками и географами (Иосифом Флавием, Птолемеем, Плинием, Страбоном, Юстином и др.). Разрушен, по крайней мере, дважды: Иисусом Навином (по преданию, неприступные стены Иерихона пали при звуках священных труб) и Навуходоносором, когда «на развалинах иерихонских» (город был восстановлен при Ахаве) пленен был иудейский царь Седекия (4 Цар. 25, 5). При римлянах – царская резиденция Ирода Великого и место его смерти. Иерихон связан с именами пророков Илии и Елисея, неоднократно посещался Иисусом Христом (Мф. 26; 29; Мк. 10; 46; Лк. 18, 35; 19, 1). На дороге из Иерусалима в Иерихон (наиболее опасной из-за частых грабежей) разворачивается действие притчи о милосердном самарянине (Лк. 10, 30–38). Ныне на месте древнего города находится селение Эл-Риха.

...думал, что ему суждено написать голубиную книгу. – Голубиная книга – древнейший на Руси сборник духовных стихов, в основе которых лежит трактовка библейских сюжетов. Содержание стихов – космологическое: раскрытие тайной мудрости о мире, его происхождении. Голубиная книга – не только повествование о прошлом, но и предсказание будущего; обретение и прочтение ее приведет к наступлению счастливого благоденствия, «рая на земле».

«L'homme que rit» – «Человек, который смеется» (1869) – роман Виктора Гюго (1802–1885).

С. 511. *...вижу тяжелые белые паруса Летучего Голландца, седую бороду Агасфера и легкие лодки финикийцев.* – Летучий Голландец, Агасфер – образы, объединенные темой вечного скитания. Обе легенды основаны на принципе двойного парадокса, когда светлое и темное меняются местами: бессмертие оборачивается проклятием, а проклятие – милостью. Встреча с этими «призраками» предвещает несчастье.

Летучий Голландец – см. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 810.

Агасфер («Вечный жид») – персонаж христианской легенды позднего Средневековья: согласно апокрифу, во время крестного пути Иисуса Христа на Голгофу он отказал ему в кратком отдыхе; за это ему самому отказано в покое могилы – он должен безостановочно скитаться до второго пришествия. Образ Агасфера двоится: это и враг Христа, и в то же время свидетель о Нем; и грешник, и страдалец, которому предстоит акт покаяния и обращения «в конце времен». «Параллелизм» подчеркивается тем, что Агасфер – ровесник Иисуса Христа (ему около тридцати лет). С XIII в. легенда становится достоянием литературы, обрастает подробностями (портрет «Вечного жида», его деяния, встречи с ним). Согласно источникам, это высокий человек с длинными волосами и бородой, после каждой сотни лет возвращающийся к «исходному» возрасту и появляющийся на людях.

С. 511. *Финикийцы* – жители Финикии, страны на восточном побережье Средиземного моря, возникшей во 2 тыс. до н.э., известны в древнем мире как ткачи и мореплаватели, снискавшие славу лучших кораблестроителей. Финикийские города-государства (Библ, Тир, Сидон и др.) вели активную морскую и сухопутную торговлю, основали колонии в Средиземноморье (в том числе – Карфаген). Финикийское письмо – разновидность древнесемитского консонантного письма, употреблялось со 2-го тысячелетия до н.э. и легло в основу почти всех известных алфавитов. В 6 в. до н.э. Финикия завоевана персами, в 332 г. до н.э. – Александром Македонским.

С. 512. *«Тяжелое, братья, солнце над Дарданеллами. Вот я сплю и вижу во сне Галлиполи...»* – С 31 октября по 3 ноября 1920 г. на 126 судах из Севастополя была эвакуирована бóльшая часть врангелевской армии (со «штатскими» – более 136 000 человек). Дальнейшая судьба эвакуированных такова: первый корпус (25 000 человек) под началом генерала Кутепова отправлен на полуостров Галлиполи (который русские окрестили «Голым полем»), кубанские казаки (15 000) – на остров Лемнос, донцы (15 000) – в Четалджи; штатским (20 000 женщин и 7000 детей в том числе) разрешили высадиться в Константинополе. Пролив Дарданеллы и Галлиполи в литературе первой волны русской эмиграции – своеобразный аналог рекам Вавилонским и Стене Плача.

С. 514. *«...я вижу, как горят на костре книги Анатоля Франса, а они этого не видят»*. – Анатоль *Франс* (наст. имя Анатоль Франсуа Тибо; 1844–1924) – французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1921); многие его романы – сатира на современную политическую и социальную жизнь; писатель с иронией относится к моральным нормам буржуазного общества и религиозным догмам.

С. 515. *«...мы служили Богу, как плясун Богоматери...»* – Т.е. как умели, доступным каждому из нас языком. См. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 814–815.

«...предложил ему всю нидерландскую литературу за один сон князя Андрея...» – Т.е. за эпизод из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. IV, ч. 1, гл. XVI).

С. 516. *«...С генералом Скобелевым, небось, не знакомы?»* – Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882) – генерал от инфантерии. В 1870-е гг. руководил экспедициями в Среднюю Азию. Виднейший полководец Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; проявил выдающиеся способности и личную отвагу при переправе русских войск через Дунай у Зимницы, во время операций под Плевной, при переходе через Балканские горы и в сражении у Шипки-Шейново.

Шпион (С. 517). Впервые (анонимно) – Звено. Париж. 1927. № 221. 24 апр. С. 9–11. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Независимая газета. Книжное обозрение «Ex Libris». 2004. 29 янв. С. 3 / Публ. Г. Азатова.

Рассказ под девизом «Англичане называют их stormy petrel [буревестник (англ.)]» был прислан на литературный конкурс в журнал «Звено» (1923–1928), занял среди номинированных одиннадцати рассказов десятое место и опубликован анонимно под девизом. В 1930 г. Газданов включил его в план своего «Полного собрания сочинений» – во второй том (см. об этом: *Диенеш Л.* Гайто Газданов. Жизнь и творчество. Пер. с англ. Т. Салбиева. Владикавказ, 1995. С. 122).

В результате изучения материалов редакции «Звена», хранящихся в РГАЛИ, российскому архивисту Георгию Азатову удалось установить, что «Шпион» поступил в редакцию 11.02.1927 (РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, д. 8, л. 3), получил три «плюса» (К. Мочульский, Н. Бахтин, Г. Адамович), один знак вопроса (М. Кантор), один минус (Г. Лозинский) (там же, л. 7) и был квалифицирован как произведение дилетанта (там же, л. 12) (*Азатов Г.* Разысканный рассказ // Независимая газета. Книжное обозрение «Ex Libris». 2004. 29 янв. С. 3).

Еще стилистически несовершенный, не отшлифованный, «Шпион» тем не менее уже явно опознается как рассказ Газданова, хотя из-за своей «эстетической наивности», обнаженности, грубоватости приемов и деталей он производит впечатление пародии. Вместе с тем он явно содержит мотивы и детали, намечающие путь к роману «Призрак Александра Вольфа» (1947).

Рассказы о свободном времени (с. 522). Впервые – Воля России. 1927. № 8/9. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Независимая газета. 1993. 2 февр. (в сокращ.) / Вступ. и публ. С. Федякина.

С. 522. *«...нам достаточно было бы сослаться на Байрона, Вольтера и Боккаччо... кончая такими современными беллетристами, как Бабель». – Байрон, Вольтер* и *Боккаччо* за «безнравственность, колеблющую общественные устои», в разное время подвергались нападкам, порой доходящим до судебного преследования.

«Конармия» и «Одесские рассказы» Исаака Бабеля (1894–1940) были широко известны в эмиграции, они «каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом задевали за живое» (*Дон-Аминадо.* Поезд на третьем пути). В 1927–1928 и 1932–1933 гг. Бабель посещал Париж, что подогревало интерес к его творчеству в среде эмиграции.

С. 526. *...Екатерина Борисовна кончила епархиальное училище. Может быть, оттуда она вынесла любовь к двухцветным сочетаниям. – Епархиальные училища* – женские учебные заведения, получившие распространение после 1862 г. (с получением сословной самостоятельности духовенством после отмены крепостного права, именно дочери священников были их воспитанницами). Содержались на средства епархии (церковного округа, обычно совпадавшего с губернией в пространственном отношении, под властью митрополита). Курс епархиальных училищ включал, наряду с «духовными», и «светские» предметы – физику, космографию, геометрию, алгебру – в «облегченном» варианте. Образование, полученное в этих училищах,

оценивалось ниже, чем образование в женских гимназиях; однако некоторые (Катков, Розанов) считали их «типом школы, неизменно более культурной» в христианском, нравственном отношении. Двухцветной была обычно форма воспитанниц.

С. 529. *...глаза, оживленные лживым блеском белладонны.* — Белладонна — ядовитое растение (семейства пасленовых с цветками грязно-фиолетового цвета и ягодами, похожими на вишню) содержит атропин; один из признаков действия экстракта этого растения — расширение зрачка и особый, «влажный», блеск глаз. В древности белладонна применялась не только как наркотик и лекарство, но и как косметическое средство.

...по раскаленной зеленой равнине, где некогда проходили рыжие ахейцы вдоль берега коммерческого и стратегического пролива... — *Ахейцы* (ахеяне) — одно из древнейших греческих племен, пришедшее на Пелопоннес с севера, завоевавшее исконное население — пеласгов — и смешавшееся с ним. Согласно мифу о происхождении греков, сын Прометея Девкалион и его жена Пирра, единственные добродетельные люди, кого Зевс пощадил во время потопа, были родителями фессалийского царя Эллина, основателя Афин, отца Эола, Дора и Ксунфа, который, в свою очередь, произвел на свет Иона и Ахея. Таким образом, четыре племени — эолийцы, дорийцы, ионяне и ахейцы — происходят от общего предка, в его честь их родовое имя — эллины. Однако со времен Гомера «ахейцами» именовали всех греков (так они и названы в «Илиаде» и «Одиссее») — в противоположность «варварам», не-грекам.

Стратегический и коммерческий пролив — вероятно, Дарданеллы.

...дым оттоманских папирос поднимался к небу прямо, как дым от костра праведника Авеля... — *Оттоманы* (османы) — все жители Турции (кроме турок в империи проживали курды, арабы, грузины, греки, армяне, евреи, боснийцы и др.) — по доктрине, возникшей в конце XIX в., все граждане Османской империи должны стать «единой оттоманской нацией», чтобы возродить былую мощь страны. Название — от имени основателя династии турецких султанов Османа I (ок. 1258–1324 или 1326).

...как дым от костра праведника Авеля... — В Библии ничего не говорится о дыме жертвенного костра Авеля, лишь констатируется, что жертва была «угодна Богу». Однако с древности (о чем свидетельствуют и многие античные источники) о «приятии» или «неприятии» приношения божеством судили именно по направлению столба дыма: прямостоящий — знак милости, потухший или неразгоревшийся огонь — знак гнева.

С. 530. *«Воззрите на птицы небесные».* — Фрагмент Нагорной проповеди Иисуса Христа, содержащий призыв «не заботиться для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться»: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6, 26).

С. 530. *...на невероятных волапюках.* – *Волапюк* (от искаж. *англ.* worldspeak – «мировой язык») – созданный в 1880 г. Иоганном Шпеером искусственный международный язык; распространения не получил. «Волапюк» стало нарицательным названием бессмысленного набора фраз из разных языков, имитирующего владение ими.

С. 531. *...когда он пел тропари и кондаки...* – Богослужебный канон (ряд песнопений, приобретший нынешнюю форму в VIII в. благодаря Иоанну Дамаскину) делится на несколько частей-песней, называмых *тропарями* (от *греч.* «обращаться») и выражающих кратко суть праздничного события и внутреннее его значение. Первый стих в каждом каноне – *ирмос* (от *греч.* «связывать») – все тропари подчиняются ритму и тону ирмоса, «обращаются» к нему, уподобляясь его строфике и интонации. Канон включает также икос – песнопение, содержащее все обстоятельства из жизни какого-либо святого (исполняется после шестой песни канона), и *кондак* – краткое, в противоположность икосу, описание основных событий жития или изложение содержания праздника. Кондаки поются сначала певцом, затем подхватываются хором.

С. 533. *...это было в период оккупации.* – Имеется в виду военная оккупация Турции державами Антанты (Англией, Францией, Италией, Грецией при поддержке США), в результате которой 10 августа 1920 г. султан был вынужден подписать Севрский мирный договор: территория Турции сокращалась в четыре раза, Турция теряла все свои колонии; военный флот передавался союзникам, армия ограничивалась 50 000 человек. Под угрозой оказалось само положение Турции как суверенного государства.

С. 535. *...вы читали Агнивцева: «у каждой продавшейся русской на ресницах слеза Богоматери».* – *Агнивцев* Николай Яковлевич (1888–1932) – поэт, драматург, детский писатель. В середине 1910-х гг. «русский Беранже» (так он называл себя и так называла его критика) – заметная фигура петербургской богемы; его стихи и песни входят в репертуар Н. Ходотова, А. Вертинского и др. После Февральской революции популярны стихи Агнивцева, навеянные событиями Французской революции 1789–1793 гг. и якобинского террора, в которых видели параллель событиям русской истории. После октябрьской революции поэт оказался в эмиграции, где был издан его лучший стихотворный сборник – «Блистательный Санкт-Петербург» (Берлин, 1923). В 1923 г. Агнивцев вернулся в Россию; в последние годы жизни издал более 20 книг для детей. .

С. 536. – *Мария Египетская... и Мария Магдалина...* – Мария Египетская (446?–522) – одна из наиболее чтимых святых (ей посвящена одна из недель Великого поста), «явившая в своей жизни бездну греха и высоту благочестия и доказавшая... что Господь желает всем спастись». Житие ее, написанное св. Софронием, патриархом Иерусалимским, получило необычайно широкое распространение на Руси и вошло в фольклор. В двенадцать лет Мария ушла от родителей и «семнадцать лет предавалась ужаснейшему распутству, и не ради платы, но ради того, чтобы удовлетворять свою похоть». Из праздного любопыт-

ства отправившись в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста, она не была допущена в храм «невидимой рукой» и, пораженная этим, искренне покаялась перед иконой Богоматери, прося ее быть поручительницей за себя пред Господом. Затем она удаляется в пустыню, где проводит около 47 лет в полном одиночестве, преодолевая страсти молитвой. Святость Марии Египетской при ее жизни подтверждалась чудесами, виденными иноком Зосимой, – полным знанием Священного Писания без книг и владения грамотой, воспарением в воздух при молитве (левитацией), «немокренным» («по воде, яко по суху») переходом через реку.

С. 536. *Мария Магдалина* (т.е. Мария из города Магдал-Эр, «Башенного города») – женщина, исцеленная Иисусом Христом от злых духов (Лк. 8, 13) и ставшая его последовательницей. Присутствуя на Голгофе при его кончине, будучи свидетельницей погребения и одной из жен-мироносиц, Мария Магдалина становится первой, кому является воскресший Спаситель. В западной традиции нередко отождествление Марии Магдалины с другой Марией – сестрой Лазаря Четверодневного и Марфы, а также с кающейся грешницей, омывшей ноги Христа миром и отершей их своими волосами (Мк. 14, 3–9; Лк. 7, 37–50). Так Мария Магдалина становится образом кающейся блудницы, удалившейся в пустыню, где предается строжайшей аскезе: одежда, распавшаяся от ветхости, чудесно заменяется волосами, скрывающими изможденное тело, а физические силы поддерживаются благодатью. Перед смертью Мария исповедуется встреченному ею священнику. Кающаяся Магдалина – излюбленный сюжет западноевропейской живописи и испанской скульптуры позднего Возрождения и барокко (Тициан, Эль Греко, Ж. де Латур и др.).

...сотни библейских проституток, угодных еврейскому Богу. – Наиболее известна иерихонская блудница Раав, спрятавшая посланных Иисусом Навином соглядатаев. По преданию, Раав – одна из четырех красивейших женщин на земле, любовница всех окрестных и дальних правителей; после взятия Иерихона приняла иудейство и стала женой Иисуса Навина. Раскаявшаяся блудница Раав – прародительница восьми пророков (и в их числе – Иезекииля). Новозаветная традиция включает Раав в родословную царя Давида (и, следовательно, – Иисуса Христа). Ее история приводится как пример «спасения верой» (Евр. 11, 31), «оправдания делами» (Иак. 2, 25).

То не ветер ветку клонит... – Начальная строка популярного романса А.М. Абазы на стихи С.Н. Стромилова.

С. 537. *...напишите ей письмо. Ну, в стиле Поля Бурже, например.* – *Поль Бурже* (1852–1935) – французский писатель и теоретик литературы. В начале творческого пути близок парнасцам (сб. стихов «Поэзия, 1872–1876; «Признания», 1882, и др.). Позднее автор романов «декадентского» типа. Критика называла его персонажей «антигероями». Тщательный психологический анализ, фиксацию порой неуловимого перехода от самобичевания к цинизму, от своеволия – к фатализму, от «душевной лихорадки» – к апатии, по-видимому, и

имеет в виду герой Газданова, предлагая «стиль Бурже» для письма женщине.

С. 538. *Сергей Сергеевич Страхов* – друг Газданова.

...Итак, ограничась поверхностью, будем продолжать. – Эпиграф взят из «Мертвых душ» (т. 1, гл. 8) – заключительные слова характеристики дам губернского города N.

С. 539. *...мне так и не удалось развить перед вами мысль об исторической значительности Калиостро?* – Граф *Калиостро* (наст. имя Джузеппе Бальзамо, использовал также имена маркиза Пелегрини, графа Феникса; 1743–1795) – международный авантюрист. Сын торговца сукном, начал карьеру с подделки завещаний и патента испанского полковника; побывал в Египте и Сирии, где, по его словам, изучал древнее искусство магии; жил на острове Мальта, откуда прибыл в Неаполь с рекомендательным письмом магистра Мальтийского ордена. Так начинается его карьера алхимика и тайновидца. Уверяя, что знает тайну философского камня и эликсира жизни, с триумфом объехал Францию, Германию (где вступил в масонскую ложу), Англию (где масонскую ложу основал). Побывал в России (Митава, Петербург, Варшава), добившись даже аудиенции у Екатерины II. В 1789 г. за переписку с якобинцами заключен в крепость Св. Ангела. 21 марта 1791 г. под своим настоящим именем приговорен к смертной казни, замененной папой Пием VI на вечное заточение. Умер в тюрьме.

...леди Гамильтон и Лола Монтец были неизменными спутницами моей памяти. – *Леди Гамильтон* (см. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 811) и известная куртизанка *Лола Монтец* (Монтес) (1819–1861) – «великие возлюбленные», дамы полусвета, вырвавшиеся из своего окружения и добившиеся высокого положения в обществе. Секрет их обаяния не исчерпывается внешней привлекательностью: среди поклонников Эммы Гамильтон были Гёте, писатель Г. Уолпол, художник Ромни; с Лолой Монтец на долгие годы связал свою жизнь Людвиг I Баварский (1786–1868), «первый меценат Европы», ценитель и покровитель искусств, превративший Мюнхен в центр культурной жизни мирового масштаба. Притяжение этих женщин было таково, что Нельсон и Людвиг I рисковали ради них своим положением. Последний из-за «неподобающей страсти» вынужден был отречься от престола в пользу своего сына Максимилиана. Как и Эмма Гамильтон, Лола Монтец умерла в забвении и нищете. Подобный тип женщин воплощен Газдановым в образе Ральди («Ночные дороги», см. т. 2).

С. 541. *...похож на знаменитого писателя, у которого есть книга – «Остров пингвинов».* – Сатирический роман-памфлет (1908) Анатоля Франса, пародия на христианскую концепцию истории человечества.

С. 543. *...мисс Грей, автор плагиата у Уайльда.* – Под «плагиатом» подразумевается совпадение не только фамилий главного героя романа Оскара *Уайльда* (1854–1900) «Портрет Дориана Грея» (1890) и мисс Грей, но и их нравственной сущности.

С. 544. *...я забыл о Евгении Сю, плохом писателе, и о Вечном жиде, неудачном путешественнике.* — В авантюрном романе французского писателя Эжена *Сю* (наст. имя Мари Жозеф; 1804—1857) «Вечный жид» («Агасфер») (1844—1845) переосмыслен сюжет христианской легенды позднего западноевропейского Средневековья (см. коммент. к «Повести о трех неудачах», с. 836). Агасфер выступает в нем как таинственный помощник и спаситель, разрушающий интриги иезуитов.

С. 545. *...бессильные чудовища Богоматери.* — Имеются в виду скульптуры-химеры на соборе Парижской Богоматери.

Общество восьмерки пик (с. 546). Впервые — Воля России. 1927. № 11/12. Печатается по этой публикации.

Впервые в России — Семья и школа. 1995. № 2 / Публ. Ст. Никоненко.

В рассказе нашли отклик обстоятельства жизни самого автора в начале Гражданской войны. Образ Молодого автобиографичен. Рассказ завершает своеобразную «криминальную трилогию», куда входят также «Повесть о трех неудачах» и «Рассказы о свободном времени».

Восьмерка пик — в большинстве руководств по гаданию рубежа веков *пики* обозначают «плохие наклонности» и «плохие известия», *восьмерка* — суету, хлопоты. Значение комбинации *восьмерка пик* варьируется: «дальняя дорога, путешествие» (для себя), «смертельный удар, неожиданность» (для нее), «козни, испуг» (для друзей и родных).

Эпиграф — первые два стиха шестой главки поэмы А. Блока «Соловьиный сад» (1914—1915).

С. 548. *...читал наизусть Фауста и Вильяма Ратклифа.* — *«Фауст»* (1808—1831) — философская драма Гёте; *Ратклиф* (Рэтклифф) — действующее лицо хроник Шекспира.

...орал монолог из «Орленка», потом путался и кричал: — Быть или не быть? — *«Орленок»* — историческая драма Эдмона Ростана (1862—1918), главный герой которой — сын Наполеона I и Марии-Луизы, юный герцог Рихштадтский. Написанная с присущим Ростану преувеличенным пафосом, «трогательная» пьеса пользовалась небывалым успехом.

Быть или не быть? — начальные слова монолога Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

...набросал Клеопатру с длинными глазами... — *Клеопатра* (68—30 до н.э.) — царица Египта, прославившаяся красотой и умом.

...Сюжет из Мопассана... — Рассказ Васи по сюжету близок к рассказу Ги де Мопассана «В порту» (1869).

С. 550. *...сплоченную классическим единством времени, места и действия.* — «Правило трех единств» (времени, места и действия) в эпоху классицизма — условие для создания «образцового» драматического произведения.

С. 552. *...я читал Фейербаха, Юма, Спинозу, Шопенгауэра и еще нескольких философов, которые мало известны. В последнее время я прочел Ницше, Гюйо, Конта, Спенсера и первые пятьдесят страниц «Критики чистого разума».* — Практически все перечисленные философы

считали основной проблемой этики самосовершенствование человека; при этом векторы движения к совершенству и идеал совершенного человека порой противоположны (так, жившие в Ментоне в одно время, но не встречавшиеся друг с другом Ницше и Гюйо выдвигали как этический идеал один – сверхчеловека, другой – «человека жертвующего»).

С. 552. *Фейербах* Людвиг Андреас (1804–1872) – немецкий философ-материалист, ученик Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха «исходит из рассмотрения человека как психофизиологического существа: человек есть материальный объект и одновременно мыслящий субъект. Материализм Фейербаха стал основой становления философии марксизма. Наиболее известные произведения Фейербаха – «К критике философии Гегеля» (1839), «Сущность христианства» (1841), «Предварительные тезисы к реформе философии» (1842), «Основные положения философии будущего» (1843).

Юм Дэвид – см. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 810. Юм сформулировал основные принципы новоевропейского агностицизма. В «Трактате о человеческой природе» (1748) считал неразрешимой проблему взаимоотношения бытия и духа. В этике развил концепцию утилитаризма, отстаивая альтруистическое чувство общечеловеческой «симпатии», которое противопоставлял индивидуализму.

Спиноза Бенедикт (Барух; 1632–1677) – нидерландский философ, полагавший, что все сущее представляет собой субстанцию – единую, вечную и бесконечную природу. Человек как часть природы подчиняется ее законам. Все действия человека детерминированы не понятиями добра и зла, а стремлением к собственной выгоде. Человек – раб своих страстей, но, познавая их, может обретать разные степени свободы. Полной свободой обладает лишь Бог. Главные труды Спинозы: «Богословско-политический трактат» (1670) и «Этика» (1677).

Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ.

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ.

Гюйо Жак Мари (1854–1888) – французский философ и поэт; обосновывал этику с помощью натурфилософии. Главное сочинение Гюйо – «Нравственность без обязательства и без санкции» (1885). Ее основные положения: обычная этика беспомощна перед противоречием «я» и «другой», но оно преодолимо, ибо духовная жизнь так же экспансивна, как и физическая, и стремится расширить свое существование, охватывая себе подобных; жить по-настоящему – значит не только «питаться», но и «плодоносить» (расходовать себя).

Конт Огюст (1798–1857) – французский философ, основатель позитивизма; полагал, что метафизику, учение о сущности вещей, следует отбросить, наука должна ограничиться описанием внешнего облика явлений. Средством установления социальной гармонии считал пропаганду новой религии, в которой культ личного Бога заменялся культом абстрактного человека.

С. 552. *Спенсер* Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма; считал, что философия, в противоположность «позитивным» наукам (биологии, физике), базируется, как и религия, на ложной основе – ограниченном опыте индивида. Основываясь на теории Дарвина (который, в свою очередь, неоднократно ссылается на Спенсера), распространил теорию эволюции на общество и построил на этом тождестве свою этику. Структуру общества Спенсер считал аналогичной структуре биологического организма, в котором каждый орган выполняет свою функцию и где существует своя иерархия, этими функциями обусловленная.

«Критика чистого разума»... – одно из основополагающих сочинений немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804); впервые опубликовано в 1781 г. В нем утверждается, что ощущения, представления и вообще все «феномены», подчиненные субъективным условиям восприятия (пространству и времени), не дают подлинного знания об объектах, или «вещах в себе». Последние он объявлял непознаваемыми.

С. 553. *...она почти не отличалась от русских революционных гимназисток, влюбленных в классические образы «вакханок» и политическую слепоту Шарлотты Кордэ.* – Под *классическими образами «вакханок»*, вероятно, подразумеваются Елена Спартанская, Сафо, Аспазия, Клеопатра, Жанна д'Арк, Екатерина Медичи и др. Жизнеописания этих «исключительных женщин» даны в книге Л.Л. Иванова «Вакханки и куртизанки» (СПб., 1906), пользовавшейся в свое время популярностью.

Шарлотта Кордэ (полн. имя Мария Анна Шарлотта де Корде д'Армон; 1768–1793) – известна тем, что убила якобинца Марата. Происходила из обедневшего дворянского рода. С восторгом приняла революцию, но вскоре, убедившись, что революция не исчерпывается лозунгом «Свобода, Равенство, Братство», разочаровалась в ней. Когда террор коснулся партии жирондистов, Корде решила, что ее миссия – как некогда миссия Жанны д'Арк – спасти отечество, «восстановив право и справедливость», остановив «междоусобную войну». Главным зачинщиком террора считала Марата. Поэтому 13 июля 1793 г. она проникла в дом, где он жил, и заколола его кинжалом. На суде и во время казни (14 июля 1793 г.) вела себя с достоинством и умерла, видимо, с сознанием выполненного долга. Но террор лишь усилился, смерть Марата послужила поводом для новых репрессий.

Товарищ Брак (с. 560). Впервые – Воля России. 1928. № 2. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Огонек. 1989. № 43 / Подг. текста и публ. Ст. Никоненко, предисл. Б. Сарнова.

Рассказ датирован автором: «1.12.27. Париж» и прочитан им 17 февраля 1928 г. на собрании «Союза молодых поэтов и писателей» в Тургеневском обществе.

В связи с публикацией рассказа Г. Адамович, выделяя Газданова, наряду с «безупречно традиционным» Г. Песковым и Ю. Фельзеном, замечает, что он «в нашу литературу входит, никому не подражая, никого не напоминая», как один из немногих молодых прозаиков, кому есть что сказать. Среди безусловных достоинств «совсем юного писателя» критик отмечал «много задора» и наличие «своей техники», правда небезупречной: «Рассказ Газданова можно узнать среди других. Неприятна в нем смесь “французского с нижегородским” — влияний ультрапарижских с советскими <...>. Газданов суховат и ироничен. Рисунок его очень четок». Главный недостаток Газданова (здесь Адамович использует выражение П. Муратова) «кризис жизненности», «иссякание в <беллетристике> толстовского начала»; в этом отношении пальму первенства он отдает Пескову: «ему легко далось то, чего Газданов, если и добьется, то не скоро. <...> Его рассказы по выполнению грубее газдановских, но сильнее. Они проникнуты “настроением”, которое часто захватывает и подчиняет себе читателя» (Литературные беседы. Зарубежные прозаики // Звено. 1928. 1 мая).

Эпиграф из стихотворения А.С. Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...», 1830).

С. 562. *...питал непреодолимую любовь к цитатам из Игоря Северянина.* — Канун Первой мировой войны и вся вторая половина 1910-х гг. — время шумного успеха Игоря Северянина (псевд. Игоря Васильевича Лотарева; 1887—1941); в 1918 г. на вечере в Политехническом музее он провозглашен «королем поэтов». В то время, по свидетельству И.А. Бунина, Северянина «знали не только все гимназисты, студентки, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры».

С. 565. *...владелец бюро похоронных процессий, заработавший большие деньги на эпидемии испанской болезни.* — Имеется в виду тяжелая пандемия гриппа, названная «испанской болезнью» («испанкой»), так как первые печатные сведения о ней появились в Испании. Начавшись в январе 1918 г., болезнь эта за полтора года обошла весь мир; от нее умерло более 20 млн. человек.

...«Горел-шумел пожар московский». — См. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 813.

А спроси я тебя, где Антильские острова, так ты скажешь — в Костромской губернии. — Антильские острова — архипелаг островов в Вест-Индии; разделяется на Большие (Куба, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико) и Малые (Виргинские, Наветренные, Подветренные).

С. 576. *«Мертвые срама не имут!»* — Слова из речи князя Святослава, обращенной к дружине перед битвой с кочевниками и запечатленной в старейшей русской летописи «Повесть временных лет» (многочисленные источники собраны и отредактированы около 1113 г. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором): «В год 971... И сказал Святослав воинам своим: «Уже некуда нам деваться: хотим не хотим, да надо сражаться. Так не посрамим же земли Русской, но

ляжем костьми тут, ибо мертвые срама не имут, если же побежим – позор нам, так не побежим же, но станем твердо» (пер. В. Колесова).

С. 578. *...перед моими глазами встала строчка из André Chénier: «Au pied de l'échafaud j'essaye encore ma lyre».*

Андре Шенье (1762–1794) – французский поэт, автор элегий, идиллий, поэм, проникнутых духом эллинской античности. Сторонник революции, он, однако, не мог вынести ужасов якобинского террора и написал воззвание к народу, за что был обвинен в измене и казнен на гильотине. В рассказе цитируется третья строка последнего из дошедших до нас стихотворений Андре Шенье «Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyre...» (1793).

Римляне (с. 579). Впервые – Дни (Париж).1928.18 марта. № 1362. С. 3.

В России печатается впервые по этому изданию. Публикация Т. Красавченко.

С. 579. *...между прекрасной преступницей Инес Наварро из серии Ника Картера и старым канадским траппером из романов Густава Эмара... – Ник Картер* – один из старейших литературных детективов, «долгожитель» своего жанра, неутомимый, неунывающий сыщик; рассказы и повести о нем, написанные разными авторами, начали печататься с 1886 г., их продолжают создавать до сих пор.

Эмар Гюстав (псевд.; наст. имя Оливье Глу; 1818–1883) – французский писатель, автор цикла историко-приключенческих романов. В 1898–1899 гг. в Петербурге в русском переводе вышло 12-томное собрание его сочинений. Наиболее известные из его романов – «Охотники Арканзаса»,1858; «Следопыт», 1858; «Мексиканские ночи», 1864; «Девственный лес», 1870–1872.

...в день преподобного Сергия Радонежского... – Сергий Радонежский (в миру Варфоломей Кириллович; 1314–1392) – один из самых почитаемых святых на Руси; основатель Троице-Сергиевой лавры. Канонизирован в 1452 г. как печальник, молитвенник и заступник Русской земли. Его день (день его смерти) отмечается 25 сентября (ст. ст.), 8 октября (н. ст.).

С. 581. *– Хвиникіяне, – говорил Алексей Борисович, – имели очень высоко поставленные денежные и литературные интересы.* – См. коммент. к «Повести о трех неудачах», с. 837.

За ними следовали рассказы Алексея Борисовича об Александре Македонском; на большой перемене мы устраивали фалангу, действуя в строгом соответствии с тактическими принципами великого полководца... – Александр Македонский (356–323 до н.э.), царь Македонии с 336 г., победив персов, вторгся в Среднюю Азию и завоевал земли до реки Инд, создав крупнейшую мировую монархию древности.

Фаланга – тесно сомкнутое линейное построение пехоты, состояла из 8–16 (реже 25) шеренг и обладала большой ударной силой, но была малоподвижна.

...отец Иоанн нашел брошюру о романах Соллогуба; и, вот, мы прошли больше половины учебника и добрались до истории Рима... –

Неясно, почему Газданов в этом контексте упоминает «брошюру о романах» Владимира Александровича Соллогуба (1813—1882), известного как автора светских повестей («Лев», Медведь», «Большой свет» и др.), повести «Тарантас» (1845), комедий, водевилей. Возможно, произошла ошибка при наборе и речь идет о Федоре Кузьмиче Сологубе (наст. фам. Тетерников; 1863—1927), чье творчество гораздо естественнее ассоциируется с Древним Римом, особенно «времен упадка».

С. 581. *...хвалил Юлия Цезаря, сокрушался о бесславном конце такого хорошего государства...*— При Юлии Цезаре (102 или 100—44 до н.э.) Древний Рим был очень силен и расширил свои владения, подчинив себе всю заальпийскую Галлию. Со времен правления (Октавиана) Августа (т.е. с 27 до н.э.) он стал империей и при Траяне во 2 в. достиг максимальных границ, но в 3 в. рабовладельческие отношения приводят экономику к кризису, расшатывают государство. В 476 г. вождь германских наемников Одоакр сверг с престола последнего императора Западной Римской империи — Ромула Августула.

...мы презирали нищих духом... — В данном случае «нищие духом» («Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мф. 5, 3:) синоним христиан.

С. 582. *...я путался в Пунических войнах и триумвиратах, но мне очень нравилась декоративная сторона: легионы со сверкающими щитами, железный топот армий и коричневые слоны Ганнибала, переселившиеся со страниц Брэма... — Пунические войны* — войны между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье (первая война — 264—241; вторая — 218—201; третья — 149—146 до н.э.). *Триумвираты* — в Древнем Риме в период гражданских войн 1 в. до н.э. — союз влиятельных политиков и полководцев для захвата государственной власти. Первый триумвират — в 60 или 59—53 гг. до н.э. — между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Марком Крассом; 2-й — в 43—46 между Октавианом (Августом), Марком Антонием и М. Лепидом. *Ганнибал* (247 или 246—183 г. до н.э.) — знаменитый карфагенский полководец, сначала успешно воевавший с римлянами, затем, в 202 г. — побежденный ими. *Брэм (Брем),* Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог, просветитель, автор шеститомного труда «Жизнь животных» (1863—1869), переведенного на русский язык в 1911—1915 гг.

Федор Павлович Карамазов сравнивал себя с римлянами времен упадка... — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879—1880) назвал свою физиономию с «римским носом» и «кадыком» настоящей физиономией «древнего римского патриция времен упадка». (*Достоевский Ф.М.* Полное собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука. 1976. Т. 14. Ч. 1, кн. 1, IV, 43—45).

С. 583. *...бросил валторну и взялся за большую желтую трубу — «тенор». — Валторна* (от *нем.* Waldhorn, букв. — лесной рог) — духовой мундштучный музыкальный инструмент. *Тенор* — духовой медный музыкальный инструмент.

...сумрачного Саваофа...— См. коммент. к роману «Полет», с. 832.

Дракон (с. 587). Впервые – Дни (Париж). 1928. 17 июня. № 1452. С. 3.

В России печатается впервые по этому изданию. Публикация Т. Красавченко.

С. 588. *...луга Белоруссии, река Свислочь, город Минск, люди с колтунами и зобами – неподвижные чудовища на порогах моей жизни.* – В Белоруссии в некоторых местностях в начале XX в. отмечалась склонность к заболеваниями щитовидной железы (зобам).

С. 591 *...Франциск Ассизский, мудрый святой скрывался в лесу, звери бежали за ним и золотой круг над его головой разрезал тень.* – Речь идет о католическом святом (наст. имя Джованни Барнардоне; 1181 или 1182–1226, канонизирован в 1228 г.), одухотворявшем природу, ощущавшем неразрывную связь с нею и гармонию Вселенной. В описании Франциска в рассказе очевидно знание автором легенды о том, как святой кротостью усмирял свирепого волка, проповедовал «сестрам ласточкам», отпускал на волю пойманную рыбу или попавшего в капкан зверька. Он был проповедником «святой бедности», возведенной в жизненный идеал, цель которого – следовать «нищему Христу», что освободит человека от многих тягот мирской жизни и поможет ему обрести смирение, являющееся источником согласия с миром.

Превращение (с. 592). Впервые – Воля России. 1928. № 10/11. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Дружба народов. 1995. № 10 / Публ. Ст. Никоненко.

Эпиграф к рассказу – строки из VIII стихотворения цикла «Плавание» (1859) Ш. Бодлера. Газданов использует их и в других произведениях: тема жизни как путешествия – одна из его излюбленных, постоянных тем на протяжении всей творческой жизни. Стихотворный цикл Бодлера (более точный его перевод – «Путешествие»), по сути, и есть развернутая метафора жизни как путешествия.

С. 592. *...рожденный веком сентиментализма... – Сентиментализм* – здесь стиль поведения и жизни, культивировавшийся литературой второй половины XVIII в. (от *фр.* sentimentalisme, *англ.* sentimental – чувствительный, sentiment – чувство). Сохраняя характерный для классицизма идеал нормативной личности, литература сентиментализма доминантой его полагала не разум, а «естественное чувство». Художественные открытия сентиментализма – ценность духовного мира человека вне зависимости от его социального положения, культ природы. На бытовом уровне сентиментализм проявлялся в подражании героям романов Руссо, Ричардсона, Жан Поля.

С. 593. *...оттуда все слышалась элегия Массне... – «Элегия»* – самое известное вокальное произведение малого жанра французского композитора Жюля Эмиля Массне (1842–1912), автора более 30 опер, симфоний, хоров, ораторий, балетов. Лучшим исполнителем ее в XX в. признан Ф.И. Шаляпин.

С. 599. *...я читаю «Кандида»... — «Кандид, или Оптимизм»* (1759) — философская повесть французского писателя и философа Вольтера (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778).

С. 600. *Смерть — мужчина. До меня это некоторые поняли; Бодлер, например.* — Имеется, в виду строка из стихотворения Бодлера «Плавание»: «Смерть! Старый капитан!».

Мартын Расколинос (с. 602). Впервые — Воля России. 1929. № 8/9. Печатается по этой публикации.

Впервые в России — Время и мы. М.; Нью-Йорк. 1994. № 123. С. 248—281 / Публ. Г. Поляка.

С. 602. *«Оливер Твист»* (1838) — роман Чарлза Диккенса (1812—1870).

С. 603. *Дед его был сначала раскольником-старообрядцем, потом хлыстом... — Раскольники-старообрядцы* — верующие, не признававшие церковной реформы патриарха Никона, введенной в 1653—1656 гг. Они видели в ней «гордыню сатанинскую» и разрушение соборности — одной из основ христианской Руси. Будучи оппозиционными официальной православной церкви, до 1906 г. преследовались царским правительством.

Хлысты (христоверы) — мистическая секта, появление которой относят к середине XVII в. Основателем считается Данила Филиппович из Костромы, первый «Саваоф», давший «двенадцать заповедей». По учению хлыстов, существует мир духовный и мир материальный; дух — начало доброе, тело — злое. Необходимо умерщвлять естественные потребности тела. Члены секты убеждены, что исполняющие заповеди (из которых последняя и самая главная — «Духу Святому верьте») при жизни могут стать земным воплощением божества — «Христом» или «богородицей». Общины хлыстов называются «кораблями» и управляются «христами» и «богородицами» («кормщиками» и «кормщицами»); на каждом «корабле» — свои «апостолы» и «архангелы». Место собрания «корабля» называется «Иерусалимом»; на своих радениях одетые в длинные белые рубахи до пят («паруса») хлысты доводят себя до экстаза хождением по кругу и плясками под роспевцы.

С. 604. *— Святый Боже... святый крепкий, Господи, помилуй, Пресвятая Богородица.* — Герой произносит обрывки различных молитв и песнопений литургической службы в неопределенной последовательности, что отражает его смятение.

С. 605. *— Блаженны есте, егда поносят вас...* — Одна из Заповедей Блаженства Иисуса Христа, которая в современном переводе звучит так: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах...» (Мф. 5, 9). Заповеди Блаженства — часть литургической службы.

...запел, сам не зная почему, молитву Ефрема Сирина. — Покаянная молитва Ефрема Сирина (IV в.) об очищении от грехов и утверждении в добродетельной жизни, произносимая в дни Великого поста:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего; яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Молитва Ефрема Сирина неоднократно перелагалась стихами; самое известное из подобных переложений – «Отцы пустынники и жены непорочны...» (1836) А.С. Пушкина.

С. 616. – *Понтий Пилат спросил Христа... что есть истина?* – Рассказ об этом содержится в Евангелии от Иоанна (18, 38).

Гавайские гитары (с. 623). Впервые – Воля России. 1930. № 1. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Родина. 1989. № 6 / Подгот. текста, публ. и предисл. А. Хадарцевой.

Архив Газданова. Тетрадь 1. Рукопись датирована: «27.XII.1929».

Рассказ основан на реальном эпизоде. Прототипом героини послужила двоюродная сестра писателя, дочь дяди, Даниила Сергеевича Газданова, Аврора, балерина. Об этом Г. Газданов поведал исследовательнице его творчества А. Хадарцевой в письме 9 декабря 1964 г. (см. письма, т. 5).

Рассказ упрочил репутацию Газданова как одного из наиболее талантливых писателей молодой эмиграции. На рассказ обратил внимание М. Горький (см. вступ. ст. Ст. Никоненко).

С. 636. *В шкафу этом были книги Бодлера, Гюисманса, Эдгара По, Гофмана и том петербургских рассказов Гоголя...* – Перечисляются писатели, имеющие репутацию «мрачных провидцев», исследующих смерть, безумие, мистическое соприкосновение миров; этот ряд Газданов строит и в своей эссеистике – см., например, «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане».

Бодлер – см. коммент. к роману «История одного путешествия», с. 821.

Гюисманс Шарль Мари Жорж (1848–1907) – французский писатель, автор натуралистических романов с налетом мистики. Свойственные писателю пессимизм и фатализм создали ему репутацию наиболее мрачного из натуралистов. В поздних романах – «В пути» (1895), «Собор» (1898) – тяготел к литературе декаданса с ее уходом в вымышленные миры, опорой на символ. В России первой четверти XX в. Гюисманс необычайно популярен в литературной среде.

По Эдгар Алан (1809–1849) – американский писатель-романтик, поэт и критик; родоначальник детективной литературы. Предтеча символизма.

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) – немецкий писатель-романтик, композитор, художник. В его произведениях

тонкая философская ирония и причудливая фантазия, доходящая до мистического гротеска, сочетались с критическим восприятием действительности, сатирой на немецкое мещанство и феодальный абсолютизм.

С. 636. *Петербургские рассказы Гоголя...* – Речь идет о петербургских повестях Гоголя: «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет» и «Нос».

...лицо мужчины было рассеянным и враждебным – как на известном рисунке Леонардо... – Вероятно, имеется в виду графический автопортрет шестидесятилетнего Леонардо да Винчи, хранящийся в Туринской библиотеке (1510–1513).

С. 637. *Вот я представляю себе Иова: он сидит в глубине времен, сдирает черепком свои струпья и протяжно вздыхает... Помните, как Бог говорит о могуществе своего гнева и о том, что его боится даже носорог, который силен и неуязвим? Помните, как он определяет неуязвимость носорога? Он говорит: «Свисту дротика он смеется». Нет, все это не так просто. Когда я читаю Библию, я чувствую и слышу и военные крики, и плач женщин, которых Бог наказал бесплодием... и шаги Давида по песку.* – *Иов* – символ невинного страдания и в то же время величайшей праведности (наряду с Ноем, Лотом, Авраамом, Самуилом). Испытания обрушиваются на него одно за другим по требованию Сатаны, ведущего тяжбу со Всевышним за душу праведника: Иов теряет все свои богатства, затем – детей; Сатана поражает его страшной болезнью: «И отошел Сатана от лица Господня. И поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел» (Иов. 1, 7–8). Не понимая причины своих бедствий, Иов взывает к Богу (простые решения, которые подсказывают ему ближние – жена: «Похули Бога и умри» (Иов. 1, 9) и друзья: «погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы?» (Иов. 4, 7), – его не удовлетворяют: он верен Господу и знает, что невинен. «Господь отвечал Иову из бури» (Иов. 38, 1); смысл ответа Яхве – непостижимость мироустройства, невозможность рационального, с точки зрения «человеческой логики», объяснения его; отсюда – преобладание в речи Яхве не понятий, а ярких образов, в ряду которых выделяются описания чудищ – единорога (Иов. 39, 9–12), бегемота (Иов. 40, 20–27) и наиболее обширное – Левиафана (Иов. 40, 20–41, 1–26). Именно к Левиафану относятся цитируемые слова: «Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь – за гнилое дерево... Булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеется» (Иов. 41, 18–19, 21).

...плач женщин, которых Бог наказал бесплодием – В Ветхом Завете плодовитость рассматривается как одна из милостей Божиих, поэтому бесплодие – позор (родив первенца – Иосифа, – Рахиль так и говорит: «снял Бог позор мой» – Быт. 30, 25).

Давид – царь Израильско-Иудейского государства (X в. до н.э.), ветхозаветное повествование о котором (1 Цар. 16; 3 Цар. 2, 11;

1 Парал. 10—29) придало ему черты эпического героя, царя-воителя. Еще будучи юношей-пастухом, Давид победил в единоборстве великана-филистимлянина Голиафа и отсек ему голову.

Водяная тюрьма (с. 639). Впервые — Числа (Париж). 1930. Вып.1. Печатается по этой публикации.

Впервые в России — Владикавказ: Альм. 1992. № 1 / Публ. С. Кабалоти.

Архив Газданова. Тетрадь 1. Рукопись датирована: «21.VI. 1929».

Этот рассказ Газданова вызвал наибольшее число откликов (М. Слоним — Воля России. 1930. № 3; М. Осоргин — Последние новости. 1930. 20 марта; В. Ходасевич — Возрождение. 1930. 27 марта; А. Савельев — Руль (Берлин). 1930. 26 марта; Г. Адамович — Иллюстрированная Россия. 1930. 10 мая). Рецензируя первый номер журнала «Числа», Ходасевич отмечает, что Газданов «изобретательнее, живописнее Фельзена, в нем больше блеска». Савельев признает рассказ «самым талантливым» во всем журнале, но, вместе с тем, высказывает пожелание, чтобы Газданов начал писать «без Пруста».

Эпиграф — из повести Мопассана «Орля» (1886) — запись в дневнике героя от 12 июля.

С. 646. *...цитата из Ламартина...* — *Ламартин* Альфонс (1790—1869) — французский поэт и публицист.

С. 648. *...приобретшей на личные средства Надсона, Тургенева и романы Декобра...* — *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, в лирике которого нашла выражение скорбь не находящего себе места в жизни интеллигента. Некоторые стихи гражданственностью напоминают Некрасова. Был очень популярен, особенно среди студентов.

Декобра́ Морис (1885—1975) — французский писатель, автор популярных в 1920-е — 1930-е гг. сентиментальных романов, действие которых часто происходит в экзотических странах.

С. 653. *...Nocturne en ré-bémol в исполнении Эльмана...* — *Эльман* Мойше (Михаил Саулович; 1891—1967) — американский скрипач; родился на Украине; в возрасте 5 лет начались его публичные выступления. После успешных концертов в 1904 г. в Петербурге и Берлине гастролировал в Европе, а с 1908 г. жил в США; выступал с лучшими оркестрами, много гастролировал в Европе.

С. 654. *...m-lle Tito когда-то училась в русской прогимназии...* — *Прогимназия* — в дореволюционной России учебное заведение, соответствовавшее четырем младшим классам гимназии; учреждена в 1864 г.

Черные лебеди (с. 660). Впервые — Воля России. 1930. № 9. Печатается по этой публикации.

Впервые в России — *Газданов Г.* Вечер у Клэр: Романы и рассказы / Сост., вступ. ст. и коммент. Ст. Никоненко. М.: Современник, 1990.

Рукопись рассказа, датированная «8.VIII.1930», хранится в Библиотеке Гарвардского университета.

С. 672. – *Что вы думаете о Достоевском, Павлов?.. – Мерзавец... Истерический субъект, считавший себя гениальным, мелочный, как женщина, лгун и картежник на чужой счет. Если бы он был немного благообразнее, он поступил бы на содержание к старой купчихе.*

Павлов в своей характеристике Достоевского пользуется художественными средствами самого Достоевского: «благообразие» – многократно используемый в последних романах (особенно «Подростке») авторский термин; фактически Достоевский приравнивается к собственному персонажу – черту из кошмара Ивана Федоровича («Братья Карамазовы», кн. 11, «Брат Иван Федорович», гл. IX, «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»), «приживальщику... умеющему составить партию в карты», мечтающему «воплотиться... в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху». Мелочность, пошлость черта («он не сатана... он просто черт, дрянной, мелкий черт...») Ивану тяжелее всего вынести.

Авантюрист (с. 678). Первая публикация не установлена. Печатается по изданию: Гнозис (Нью-Йорк). 1979. № 5/6.

Впервые в России – Семья. 1992. № 3.

Рукопись, датированная «6.V.1930», хранится в Библиотеке Гарвардского университета.

Как сообщили Л. Диенешу В. Варшавский и М. Слоним, этот рассказ был напечатан в 1930 г. В середине 1970-х гг. Л. Диенеш разыскал его рукопись в архиве Газданова в Библиотеке Гарвардского университета. В одной из тетрадей писателя есть страница с надписью «Оглавление», где приводится название рассказа «Авантюрист» с пометкой в скобках: «Последние новости».

Рассказ воссоздает один из эпизодов легенды о пребывании Эдгара Алана По в России.

С. 681. *...перед одним из невысоких домов Сергиевской улицы.* – В 1923 г. Сергиевская улица была переименована в улицу Чайковского.

С. 684. – *Французы, по-моему, плохие поэты.*

– Как? А Корнель? А Расин? А Ронсар? А Буало?

– Из них всех один Ронсар еще немного похож на поэта. Остальные – не поэты, это ошибка. Они или подражатели, или чиновники...

– Кого же вы любите?

– Франсуа Вийона... И Алена Шартье. Он неудачный, может быть, поэт, но замечательный человек. –

Пьер *Корнель* – драматург эпохи классицизма, автор стансов и сонетов светского содержания, религиозных гимнов, псалмов, переводов христианских сочинений анонимных латинских авторов. См. о нем также коммент. к роману «Полет», с. 827–828.

Расин Жан (1639–1699) – драматург и поэт, представитель французского классицизма, автор трагедий «Андромаха» (1667), «Британик» (1669), «Ифигения» (1674), «Федра» (1677). Как и пьесы Корнеля, они оказали значительное влияние на европейский театр. Вместе с тем Расин писал лирические стихотворения, оды, цикл «Духовные гимны».

Ронсар Пьер. См. о нем коммент. к роману «История одного путешествия», с. 822.

Буало Николá (1636–1711) – французский поэт и критик, теоретик классицизма. Основоположник жанра ирои-комической поэмы, автор «образцовых» сатир, посланий, песен, сонетов, эпиграмм, эпитафий, а главное – стихотворного трактата «Поэтическое искусство» (1674). Поэтика Буало оказала влияние на эстетическую мысль и литературу XVII–XVIII вв. многих европейских стран, в том числе и России.

Они или подражатели, или чиновники – и Корнель, и Расин использовали сюжеты своих литературных предшественников. Так, сюжет комедии «Иллюзия» (1635) заимствован Корнелем сразу у двух драматургов – Гужено и Скюдери, сюжет «Сида» – у испанского драматурга Гильено де Кастро, сюжет комедии «Лжец» (1642) – у испанского драматурга Хуана Руиса де Аларкона. Расин использовал сюжеты из трагедий Еврипида, Сенеки. Все они состояли на службе. Корнель, сын адвоката, изучив право, был принят в руанскую корпорацию адвокатов. Служил в суде адвокатом и Буало, впоследствии (1677) получивший при дворе Людовика XIV должность королевского историографа. В 1677 г. королевским историографом стал также Расин.

Поначалу готовил себя к придворной карьере и Ронсар, но болезнь, повлекшая за собой частичную глухоту, заставила его отказаться от этого поприща и всецело посвятить себя поэзии.

Вийон Франсуа (1431 или 1432 – после 1463) – французский поэт.

Шартье Ален (1385–1433; по др. источникам: ок. 1392 – ок. 1430) – французский поэт, священник, писавший также на латыни. Его основные сочинения – «Книга о четырех дамах» и поэма «Прекрасная дама без пощады» (в которых, как полагали, отражена горестная любовная история самого автора) – служили образцом вплоть до XVI в. Признан при жизни; служил при дворе французских и германских монархов, прозван «отцом красноречия». К его творчеству обращаются романтики (в частности, название и основные мотивы «La belle dame sans merci» использованы в одноименной балладе Дж. Китса).

...почувствуете себя во власти призраков, и крыльев, и неумолимых глаз. И этого лица... от которого вы никуда не уйдете... ночью я вижу сны и во сне свой труп на земле. – В рассказе использованы мотивы произведений Э. По «Рукопись, найденная в бутылке», «Продолговатый ящик», «Сказка извилистых гор».

С. 687. *Когда со мной говорят незнакомые люди, я знаю, что они скажут...* – Газданов использует известные ему материалы об Э. По (эссе Ш. Бодлера «Заметки об Э. По», показания доктора Морана и др.), многие из которых, в частности сведения о пребывании По в Петербурге, в настоящее время признаны недостоверными.

Биография (с. 689). Впервые – Мир и искусство. Париж. 1930. № 9. С. 3–4. Печатается по этому изданию.

В России – впервые. Публикация Т. Красавченко.

В этом рассказе Газданов, один из первых среди русских писателей-эмигрантов, «культивирует» иностранных персонажей в своей прозе, осваивает «чужую», французскую, «территорию», традицию – Золя и особенно ценимого им Мопассана (примечательно, что в отличие от французов, считающих Золя «каноническим» французским писателем, Газданов, как и другие русские писатели, отдает явное предпочтение Мопассану).

Пленник (с. 695). Впервые – Мир и искусство. 1930. № 13. 1 нояб. С. 5–7. Публикуется по этому изданию.

В России впервые – Новая Россия. 1996. № 3. С. 96–98 / Публ. Л. Диенеша и Ст. Никоненко.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Наиболее раннее упоминание об участии Газданова в литературных дискуссиях русской эмиграции – 30 апреля 1927 г.[1] – на литературном вечере Союза молодых поэтов, посвященном творчеству И.А. Бунина. Трудно сказать, было ли это его первое публичное выступление. Ясно лишь, что публикациям его эссе о литературе обычно предшествовали устные доклады на вечерах литературных объединений, прежде всего «Кочевья», созданного в Париже в 1928 г. по инициативе М. Слонима. Прочитанный там 22 ноября 1928 г. доклад «Чувство страха по Гоголю, По и Мопассану» лег в основу эссе «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» (Воля России. 1929); его можно считать «официальным» началом литературно-критической деятельности писателя, учитывая и факт публикации эссе, и его «метафизическую» программность: в нем Газданов назвал истинным искусство, существующее «как бы в тени смерти», а истинными художниками тех, кто мастерски, проникновенно писал о «страхе, предчувствии и смерти».

24 октября 1929 г. он вновь выступил на вечере «Кочевья» с докладом «Миф о Розанове»[2], вызвавшем дискуссию, в ней участвовали В. Варшавский, Б. Поплавский, Н. Рейзини, Б. Сосинский, Вс. Фохт и др. Известно, что на вечерах устных рецензий в «Кочевье» Газданов говорил о книгах советских писателей. Уже тогда, в 1929 г.,

---

[1] *Beyssac M.* La vie culturelle de l`émigration russe en France. Chronique 1920–1930. Paris. 1971. P. 143

[2] Ibid, p. 204.

он был не склонен делить русскую литературу, исходя из политических или географических критериев, а воспринимать ее как единый литературный процесс. Одна из подобных рецензий дала импульс острой полемике о советской литературе, в которой участвовали М. Цветаева, Д. Святополк-Мирский, Б. Поплавский и Г. Адамович[1].

Выступления Газданова на литературных вечерах запомнились современникам ироничностью и резкостью. Ироничны, резки, остроумны, парадоксальны и его рецензии и заметки; порой, как в радиопередаче «По поводу Сартра» (1971), ирония переходит в сарказм.

Он считал гениями Пушкина, Толстого, Достоевского, Гоголя, высоко ценил Блока, А. Белого, Ремизова, Мандельштама, Пастернака, а среди писателей своего, «нового поколения» – Сирина (как самого талантливого) и Ю. Фельзена.

К категории второстепенных писателей, занятых «литературным производством», он относил из наиболее знаменитых – Золя, Гюго, Некрасова, Тургенева, Брюсова, Шмелёва. Сама возможность сопоставления имен Блока и А. Белого с Брюсовым казалась ему литературным недоразумением. Он бывал резок и к «великим писателям». Следуя своему «эстетическому счету», он назвал «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина» ученическими произведениями по сравнению с «Мертвыми душами». Розанова же причислял к немногим «понимающим» литературу, хотя заявлял, что тот не очень любит искусство и многого в нем не понимает. В сущности Л. Толстой – единственный писатель, который избежал саркастических замечаний Газданова, ироничного не только к другим, но и к себе. Он «снижал» серьезность своих действительно значительных «Заметок об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане», называя их «случайными и беглыми», а «Миф о Розанове» – «субъективными впечатлениями».

Но за его ироничностью, необычными, неожиданными, шокирующими, парадоксальными суждениями о писателях и книгах скрывалось серьезное, можно сказать трепетное отношение к литературе как наиболее подлинной жизни писателя. Он был убежден, что не биография определяет творчество, но, наоборот, «творчество определяет жизнь» писателя («О Чехове»).

Газданов был критиком-эссеистом. В «Заметках об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» он замечает: «Ни критических, ни аналитических задач я себе не ставил и сознательно избегал систематизации, преследующей какую-нибудь специальную цель». «Для меня “литературоведение” всегда представлялось чем-то загадочным», – пишет он своему другу Л. Ржевскому, откликаясь на присланную книгу статей[2].

Газданов не отрицал убедительности классификаций в учебниках по истории искусства. Но для него они лишены глубины и обаяния личного восприятия, проникновения в тот мир, где возникало непостижимое вдохновение гения. Его эссе о литературе написаны язы-

[1] См.: Вечера «Кочевья» // Воля России. 1929. № 4.

[2] См.: *Ржевский Л.* Памяти Г.И. Газданова // Новый журнал. 1972. Кн. 106. С. 291–295.

ком, непохожим на «аптекарский», по его определению, язык учебников по литературе. В эссе, как и в творчестве в целом, Газданов выступал как агностик, полагавший, что при восприятии произведения мы можем говорить лишь о впечатлении, которое производит на нас особый, уникальный мир, созданный «сложным движением воображения» или «необычной фантазии» художника. Для него важно проникнуть в этот особый мир, выявить его непохожесть, уникальность. Его лучшие эссе – это, по сути, мастерски написанные литературные портреты писателей, среди них – эссе «О Гоголе» и «О Чехове», некрологи и воспоминания о писателях – «Об Алданове», «О Поплавском», «О Ремизове». Мастер психологического портрета в прозе, он был мастером литературного портрета и в критике.

Различая искусство и «литературное производство», он точно так же делил литературную критику на подлинную и создающую мифы. Подлинная критика существует в ограниченном круге профессионалов, чьи оценки точны и беспощадны, но редко доходят до широкой публики. Мифологию, сопровождающую литературу, он определял как сумму общепризнанных недоразумений, образующих довольно прочную систему взглядов на каждом данном отрезке времени. В эссе, в рецензиях, в заметках он пытался преодолеть сопротивление этой системы. Он разрушал мифы, кочующие из учебника в учебник, из статьи в статью: миф о Гоголе – реалисте, родоначальнике натуральной школы; миф о Чехове – «певце сумерек».

В сущности, как это часто бывает в писательской критике, Газданов в эссеистике и даже рецензиях объяснял особенности собственного дара и видения мира. В эссе «О молодой эмигрантской литературе» он пояснял, почему после опыта Первой мировой и Гражданской войн невозможно писать так же, как писатели старшего поколения; сознание молодого поколения он определял как «биологически» чуждое «архаическим понятиям начала столетия», тогда как эмигрантская критика требовала традиционных сюжета, темы и упрекала его за обилие персонажей и эпизодичность повествования. Горький автокомментарий содержит эссе «О Поплавском».

Судьба русской литературы XX века сложилась так, что литературная критика оказалась возможна главным образом в эмиграции. По мнению Г. Струве, «...едва ли не самым ценным вкладом зарубежных писателей в общую сокровищницу русской литературы должны будут быть признаны разные формы нехудожественной литературы – критика, эссеистика, философская проза, высокая публицистика и мемуарная литература. Все это области, в которых в Советском Союзе давление на свободное творчество и свободную мысль сказывалось... пожалуй, еще больше, чем в художественной литературе. Это особенно верно по отношению к периоду после 1930 г. – до того, по крайней мере в литературной критике и истории литературы, созданы более ценные вещи, с разгромом же “формализма” и эта ветвь советской литературы прервалась»[1].

[1] *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 371.

Литературно-критические работы Газданова занимают особое, достойное место как в его творчестве, так и в русской литературе XX в. Его эссе, рецензии, заметки о литературе, собранные в этом томе, в сущности образуют единое целое. В них обнаруживается свобода мышления, эрудиция, глубокое понимание природы литературы.

Ф. Хадонова

Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане (с. 705). Впервые — Воля России. Прага. 1929. № 5–6. С. 96–107. Печатается по этому изданию.

Впервые в России: в сокращ. — Независимая газета. 1993. 6 июля. С. 7 / Публ. С.Р. Федякина; полностью — Лит. обозрение. 1994. № 9/10. С. 78—83 / Подгот. текста, публ. и примеч. М.А. Васильевой.

Газданов написал эту статью во многом под впечатлением от эссе Ш. Бодлера «Заметки об Эдгаре По». Он использовал переводы Э.А. По, сделанные К. Бальмонтом, иногда допуская вмешательство в них.

С. 706. ...*Маргерит* Поль (1860—1918) и *Маргерит* Виктор (1866—1942) — братья, французские писатели, авторы бульварных романов: «Новая женщина», «Проститутка», «Твое тело принадлежит тебе», «Молодые девушки». Роман В. Маргерита «Холостяк» приобрел скандальную известность, из-за чего автор был лишен ордена Почетного легиона.

Декобра Морис — см. коммент.к рассказу «Водяная тюрьма», с. 853.

...*прожив некоторое время в России*... — Газданов считал сомнительной историю о посещении Э. По России (см. также его рассказ «Авантюрист», 1930).

С. 707. ...*как сообщает один из его французских биографов Альфонс Сэшэ*. — О какой биографии идет речь, выяснить не удалось.

Официальный рапорт врача... — Ошибка Газданова: врача звали не Морган, а Моран, достоверность его показаний оспаривается. Газданов ссылается на книгу: *Woestyn H.R.*, ed. et trad. POE (Edgar Allan). Politien, drame romantique inédit... suivi les derniers moments d'Edgar Poe. Paris, 1926.

С. 708. *«Существование страшного в каждой частице воздуха...»* — Цитата из романа Р.М. Рильке (1875—1926) «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910).

С. 709. *«Рукопись, найденная в бутылке»*. — В переводе Бальмонта, использованном Газдановым, рассказ назывался «Манускрипт, найденный в бутылке».

«Выше всех возвышалось странное существо...» — Газданов цитирует первоначальный вариант «Вия», опубликованный Гоголем в сборнике «Миргород» (1835). Из поздней редакции повести Гоголь это описание исключил.

С. 710. *«Несомненно, одиночество опасно для духовной работы... Когда мы долго остаемся одни, мы населяем пустоту призраками»*. —

Последнюю фразу этой цитаты из рассказа Мопассана «Орля» Газданов использовал как эпиграф к своему рассказу «Водяная тюрьма» (1930).

С. 711. *«Я лишился чувств...»* – Из рассказа Э. По «Колодец и маятник».

С. 712. *«Иль в ночь под Пасху, над Невою...»* – Из стихотворения А.А. Блока «Все это было, было, было...» (1909).

«Находясь в этом безнадежном, этом жалком состоянии...» – Из рассказа Э. По «Падение дома Эшеров».

...по отзыву Льва Толстого... – Газданов ссылается на «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» Толстого, оно было впервые опубликовано в первом томе пятитомного собрания сочинений Ги де Мопассана, изданного издательством «Посредник» в 1894 г.

С. 713. ... *«Преждевременные похороны»* – рассказ Э. По.

С. 715. *«И думаешь, что страсти...»* – Цитата из повести Гоголя «Старосветские помещики».

...«Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов». – Там же.

«Но за последнее время мне не часто удается крепко уснуть...» – В цитате есть разночтение с переводом К. Бальмонта. См.: *По Э.* Собр. соч. / В пер. с англ. К.Д. Бальмонта. М.: Скорпион, 1901–1912. Т. 1. С. 258.

«Его стихов пленительная сладость...» – Из стихотворения А.С. Пушкина «К портрету Жуковского» (1818).

...Я привык представлять себе время как ряд водяных пластов... – не совсем точно воспроизведенная цитата из рассказа Э. По «Рукопись, найденная в бутылке», а затем – строка из стихотворения А. Рембо «Пьяный корабль»; Газданов воспроизводит устойчивый образ своей ранней прозы, на основе которого возник рассказ «Водяная тюрьма». Упомянутый ниже рассказ Мопассана «Нищий», возможно, позже отозвался в одноименном рассказе Газданова 1962 г.

С. 717. *...«Я предлагаю эту книгу вниманию тех, кто поверил в сны...»* – Эта и следующая цитаты из рассказа Э. По «Эврика» отличаются от перевода К. Бальмонта.

...«Свидание» – рассказ Э. По.

«Спросите одного из них...» – Из статьи Ш. Бодлера «Новые заметки об Эдгаре По», предваряющей второй (1857) из трех томов сочинений По, переведенных Бодлером.

Миф о Розанове (с. 719). Впервые – Литературное обозрение. 1994. № 9/10. С. 73–78 / Подг. текста, публ. и коммент. Ф. Хадоновой. Здесь печатается с уточнениями по рукописи. Публикация Ф. Хадоновой.

Архив Газданова. Тетрадь 1.Дата: «<Париж> 22 октября 1929».

На странице 12 рукописи заголовок «Оппоненты» и запись: I. Ховин. Я – сторонник величественного? Розанова можно принять или не принять. Внешние противоречия – иллюзия. <*нрзб*> Непони-

мание Розанова. <*нрзб*> Н. Рейзини. «Духовная личность Розанова». Платон был бы недоволен. Получается то, чего следовало бояться: критика. <*нрзб*> (Розанов – литературный мошенник). Далее в рукописи на шести листах (обозначены Газдановым – A, B, C, D, E, F) цитаты из произведений В.В. Розанова «Уединенное» (1912), «Опавшие листья (короб I и II)» (1913–1915), «Апокалипсис нашего времени» (Вып. 1–10, 1917–1918). Подчеркивания в тексте сделаны Газдановым.

С. 719. ...*Толстой, пишучи о критиках «Анны Карениной»*... – из письма Л.Н. Толстого – Н.Н. Страхову (№ 261) от 23 апреля 1876 г. (отправлено 26 апреля), Ясная Поляна: «И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'ils en savent plus long que moi»// *Толстой Л.Н.* Полное собр. соч. М.; Л., 1953. Т. 62. С. 269.

С. 720 ...*«Лучшее во мне (соч*<инение>)... – «Уединенное» – В.В. Розанов Э.Ф. Голлербаху, 6 июля 1915 // Письма В.В. Розанова Э. Голлербаху. Берлин, 1922. С. 14.

«...никакой трагедии в душе...» – *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб первый // *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 214. Далее ссылки на «Уединенное», «Опавшие листья» и «Апокалипсис нашего времени» даются по этому изданию.

...*«“трагическое письмо” к Прудону...»* – письмо А.И. Герцена французскому философу, социалисту, теоретику анархизма Пьеру Жозефу Прудону от 26 (14) декабря 1851 // *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т. 24. Письма 1850–1851.

С. 721. ...*«C'est que je, porte en moi cette seconde vie qui est en même temps la force et toute la misère des écrivains...»* – источник не установлен.

...*Он не понимал еще одного: аристократичности – поэтому и Герцен и Толстой остались ему чужды* ... – Газданов комментирует «Опавшие листья. Короб первый». С. 174, 195.

С. 722. ... *«Религия Толстого не есть ли “туда и сюда” тульского барина»*... – Там же. С. 228.

...*«Я барин. И хочу, чтобы меня уважали как барина»*. – Там же. С. 235.

«До “ницшеанской свободы” можно дойти только “пройдя через барина”». – Там же. С. 235. Цитата приведена Газдановым с незначительными неточностями.

«...и кто у нее папаша был, не знаю...» – *Розанов В.В.* Уединенное. С. 87.

...*«если я бываю правдив, то только по небрежности»*... – неточность в цитате. У Розанова: «Если, тем не менее, я в большинстве (даже всегда, мне кажется) писал искренно, то это не по любви к правде, которой у меня не только не было, но и «представить себе не мог», – а по небрежности». – Уединенное. С. 98.

...*и когда называл Желябова дураком... и простосердечно удивлялся... почему... обиделся «даже подобострастный Струве»*. – Газданов комментирует «Опавшие листья. Короб первый». С. 204. Андрей Ива-

нович *Желябов* (1851–1881) – революционер, народник, член Исполнительного комитета «Народной воли»; организатор покушений на императора Александра II. Петр Бернгардович *Струве* (1870–1944) – экономист, философ, историк, публицист.

С. 722. *...Знал Розанов и то, что называя Гоголя «идиотом»...* – Газданов комментирует «Опавшие листья. Короб первый». С. 210.

...и то же говорит, когда прославляет Ходынку. – Источник установить не удалось.

С. 723. *«Но я никогда не нравился женщинам...» – Розанов В.В.* Уединенное. С. 45.

«Все “величественное” мне было постоянно чуждо...» – Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый. С. 235.

..Я читаю о том, что литературу Розанов чувствует, как штаны... – Там же. С. 289.

...что Толстой прожил глубоко пошлую жизнь... – См. *Розанов В.В.* Уединенное. С. 86.

...что Герцен самодовольный гуляка, а он, Розанов – civis romanus... – У В.В. Розанова: «Я же всегда думал с гордостью: “Civis romanus sum”. <“Я – римский гражданин” (*лат.*)> У меня за стол садится 10 человек, – с прислугой. И все кормятся моим трудом. Все около моего труда нашли место в мире. И вовсе civis rossicus <русский гражданин (*лат.*)>– не “Герцен”, а “Розанов”. Герцен же только “гулял”» (там же. С. 37).

«Основное, пожалуй, мое отношение к миру есть нежность и грусть». – Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый. С. 263.

«Несу литературу, как гроб мой, несу литературу, как печаль мою...» – Там же. С. 214.

«Да. Смерть – это тоже религия». – Там же. С. 167.

«Философия есть подготовление к смерти». – Газданов перефразирует фрагмент из диалога Платона «Федон» (64 ab): «...Те, кто подлинно предан философии, заняты по сути вещей только одним – умиранием и смертью» (пер. С.П. Маркиша) // *Платон.* Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 21–22.

С. 724. *Что же говорит Розанов, – человек, видящий мир глазами?* – У В.В.Розанова: «Глазами смотрю на весь мир, и весь мир смотрит мне в глаза». – Опавшие листья. Короб второй. С. 515.; «Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить». – Там же. Короб первый. С. 169.

«Господа, тише, я пишу черносотенную статью». – Там же. С. 250.

«Будем целовать друг друга, пока текут дни...» – Там же. С. 278.

«Я сам “убеждения” менял, как перчатки...» – Там же. С. 255.

С. 725. *«Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь».* – Там же. С. 168.

«Смерти я совершенно не могу перенести». – Там же. С. 224.

...во втором номере «Верст» я совсем недавно читал похвалы Розанову Святополка-Мирского... – В статье Д. Святополк-Мирского «Веянье смерти в предреволюционной литературе» (Версты. 1927.

№ 2) Розанов назван «гениальнейшим из людей своего времени». «Вёрсты» – Париж, июнь 1926–1928 № 1–3. *Мирский (Святополк-Мирский)* Дмитрий Петрович, князь (1890–1939?) – историк русской литературы, литературный критик, публицист. С 1920 г. – в эмиграции, в 1932 г. вернулся в СССР. Погиб в лагере.

С. 725. *...и еще не помню, чью вступительную статью к «Апокалипсису», где было написано, что Розанову чужд процесс автоматической импровизации...* – Речь идет о предисловии Петра Петровича Сувчинского (1892–1985) к «Апокалипсису нашего времени» Розанова, который был издан как приложение ко второму номеру «Верст». Газданов выписал оттуда цитату на лист «А»: «...подобно Толстому, ему чужд процесс автоматической импровизации. Он только "накрывает" и судорожно фиксирует свои наблюдения над собой, что и определяет фрагментарность его литер<атурных> приемов. Это же свойство так часто делало Толстого косноязычным и стилистически беспомощным».

«Никакой человек не достоин похвалы, всякий человек достоин жалости» – У В.В. Розанова: «Всякий человек достоин только жалости». Уединенное. С. 132.

С. 726. *Какова же индивидуальность человека, который сначала называет Коперника великим мудрецом...* – См.: *Розанов В.В.* Старое и новое (гл. 5. Может ли быть мозаична историческая культура?) // *Розанов В.В.* Легенда о великом инквизиторе. Собр. соч. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М., 1996. С. 195.

«Я только смеюсь или плачу...» – см.: *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб первый. С. 216.

Почему же идея о том, чтобы устроить в церкви... – Там же. С. 184–187 – пересказ фрагмента.

Кажется, где-то у Роберта Оуэна. – Газданов имеет в виду работу английского социалиста-утописта Р. Оуэна (1771–1858) «Книга о новом нравственном мире». Ч. III. Гл. 10. См.: *Оуэн Р.* Избранные сочинения. М.; Л.: АН СССР, 1950. Т. 2. С. 15–20. Ср., например: «Вместо того, чтобы воспитывать человека в страхе смерти, надо учить людей смотреть на нее прямо. ...воспитывать людей так, чтобы они не боялись неизбежного. ...и ...каждую такую жизнь можно сделать в высшей степени сознательной, интересной и полной высоких радостей».

С. 727. *Вспомните Ивана Ильича...* – Далее Газданов по памяти цитирует «Смерть Ивана Ильича». См.: *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1936. Т. 26. С. 92–93.

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали...» – *Розанов В.В.* Уединенное. С. 86.

«Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике...» – Там же. С. 121.

...все это не потому, что Розанов – мыслитель – ...боги мыслители или К. Леонтьев и Достоевский», – как он писал о себе... – Газданов использует цитату, как указано, из писем Э. Голлербаху (лист D): «И Розанов естественно продолжает или заключает К. Леонтьева и

Достоевского. Лишь то, что у них было глухо или намеками, у меня становится ясною осознанною мыслью. Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться. Говорю п<отому> ч<то> я все-таки более их мыслитель ("О понимании"). Вот и все». (Письмо XXI от <9 мая 1918 г.>).

С. 727. *«Я не хочу истины, я хочу покоя» ...* – *Розанов В.В.* «Опавшие листья. Короб первый». С. 285.

С. 728. *И грустит... совершенно так же, как протопоп Аввакум о своей курочке, и почти в таких же выражениях...* – Газданов, по-видимому, имеет в виду фрагмент из «Жития протопопа Аввакума: «Курочка у нас черненька была... На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет... А та птичка одушевленна, Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против того два яичка на день давала...» (Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения / Ред. Гудзий Н.К. – М.: Academia, 1934. С. 99).

С. 729. *«Ужасно... и какой ужас...»* – Письма В.В. Розанова Э. Голлербаху. Берлин: Изд. Е.А. Гутнова, 1922. С. 67. Письмо XXVI, август 1918. С. 67.

«Я не нужен: я ни в чем так не уверен, как в том, что не нужен». – *Розанов В.В.* Уединенное. С. 80 – цитируется с незначительными неточностями.

Вспомним, что Розанов написал некогда две книги о семейном вопросе в России. – *Розанов В.В.* Семейный вопрос в России. СПб. 1903. Т. 1–2.

...если законна смерть, то законно и рождение... – Речь идет, по-видимому, о статье Розанова «Спор об убитом ребенке» // *Розанов В.В.* Семейный вопрос в России. СПб. 1903. Т. 2. С. 31–43.

С. 730. *...и какой-то протоиерей Дернов написал даже брошюру против Розанова.* – См.: *Протоиерей Александр Дернов.* Брак или разврат? По поводу сборника статей г. Розанова о незаконных детях // *Розанов В.В.* Семейный вопрос в России. СПб., 1903. Т. 2. Гл. XXXIV. С. 152–219.

«Если принять теорию Розанова – писал от<ец> Дернов, – то следует предположить что и животные вступают в брак...» – Там же. С. 178.

...Но Розанов, в комментариях написал, что брак у животных есть... – Там же. Примеч. 3. С. 178–179.

«Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец всего существующего...» – Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 1, 8.

...«Но я люблю тебя за то, что ты ненавидишь учение Николаитов, которое и я ненавижу». – Там же. 2, 6.

«...Потому что Евангелие есть книга изнеможений». – *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. С. 589.

«И в момент, когда настанет полное и, казалось бы, окончательное торжество христианства...» – Там же. С. 588.

«Христос молчит. Не правда ли?..» – Там же. С. 592.

С. 730. *Мы созерцаем конец мира.* – Газданов цитирует по памяти. См.: Там же. С. 588–589.

С. 731. *«Еврей есть первый по культуре человек во всей Европе...»* – Там же. С. 613.

«Но они пронесли печальные песни через нас...» – Там же. С. 614.

Мысли о литературе (с. 732). Впервые – Новая газета. 1931. 15 апр. № 4. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Независимая газета. 1994. 26 янв. / Публ. С.Р. Федякина.

Многие положения этих заметок предваряют статью «О молодой эмигрантской литературе».

С. 733. *За двенадцать лет эмиграции выдвинулись два поэта (Ладинский и Поплавский)...* – Не только Газданов, но и многие литераторы-эмигранты (среди них – Г. Адамович, В. Вейдле, В. Набоков, Г. Струве) высоко оценивали, поэтическое творчество Антонина Петровича *Ладинского* (1896–1961), автора сборников «Черное и голубое» (1930), «Северное сердце» (1931), «Стихи о Европе» (1937), «Пять чувств» (1939) и др. *Поплавский.* – См. коммент. к статье «О Поплавском», с. 866.

...в Париже, в 1931 году состоялось два вечера стихов Игоря Северянина... – вечера стихов И. Северянина, каждый – в трех отделениях, состоялись 12 и 27 февраля 1931 г.

С. 734. *Ни о какой Вербицкой не писали бы громадных статей...* – См. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 810.

Морис Декобра – см. коммент. к рассказу «Водяная тюрьма», с. 853.

...никакой Пьер Бенуа не мог бы стать председателем союза писателей. – Пьер *Бенуа* (1886–1962) – французский писатель, член Французской Академии (с 1931 г.), автор авантюрных, экзотичных и эротичных, пронизанных мистицизмом романов.

Литературные признания (с. 735). Впервые – Встречи. 1934. № 6. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Сельская молодежь. 1993. № 9. С. 51–52 (под заглавием «О русской литературе») / Вступ. заметка и публ. Ст. Никоненко.

Архив Газданова – под названиями «Мысли о литературе» (тетрадь 2) и «Русская литература за границей» (тетрадь 3). Фрагменты этих работ опубликованы в упомянутом журнале «Встречи».

С. 735. *«Петербург»* (1913–1914) – роман А. Белого; *«Возмездие»* (1910–1921, незаконч.) – поэма А. Блока; *«Взвихренная Русь»* (полностью опубл. в 1927) – книга А. Ремизова.

С. 736. *«Царские брильянты»* (Париж, 1921) – См. коммент. к «Истории одного путешествия», с. 826.

С. 736. *«Жемчуг слез»* – популярный в 1920-е гг. роман беллетриста М. Гаркеса (годы жизни и подробности биографии неизвестны).

«От двуглавого орла к красному знамени» (1921–1922) – роман Петра Николаевича Краснова (1869–1947), генерала царской армии и писателя, несмотря на сдержанную оценку критики, популярный в среде русских эмигрантов.

С. 737. *...Сирин, единственный талантливый писатель «молодого поколения»...* – Газданов перечисляет героев и произведения В. Сирина (псевдоним В.В. Набокова до 1940 г.): романы «Защита Лужина» (1930), «Подвиг» (1931–1932), «Камера обскура» (1932–1933), «Король, дама, валет» (1928), рассказ «Пильграм» (1930). Здесь он предвосхищает выводы о своем поколении писателей в статье «О молодой эмигрантской литературе».

Фельзен Юрий (наст. имя и фам. Николай Бернардович Фрейденштейн; 1894–1943) – прозаик, испытавший сильное воздействие Пруста; в эмиграции – с 1918 г., в Париже – с 1924 г. Погиб в немецком концлагере. Его произведения, несмотря на одобрительные отзывы критиков, не пользовались успехом у читателей.

О Поплавском (с. 740). Впервые – Современные записки. 1935. Кн. 59. С. 462–466. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Юность. 1991. № 10. С. 56–57.

Архив Газданова. Тетрадь 5. Дата: «Париж [1935?]».

Поплавский Борис Юлианович (1903–1935) – поэт, прозаик, критик. В эмиграции с 1920 г.

С. 740. *Пока на грудь, и холодно и душно...* – Строки из стихотворения Поплавского «Сентиментальная демонология» (1931) из сборника «Флаги».

Валери Поль (1871–1945) – французский поэт.

Жид Андре (1869–1951) – французский писатель.

Бергсон Анри. – См. коммент. к роману «История одного путешествия», с. 822.

Вдруг возникнет на устах тромбона... – Из стихотворения Поплавского «Черная Мадонна» (1927) из сборника «Флаги».

О молодой эмигрантской литературе (с. 746). Впервые – Современные записки. 1936. Кн. 60. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Российский литературоведческий журнал: Теория и история литературы. М., 1993. № 2. С. 159–163 / Публ. Т.Л. Ворониной.

С. 747. *Статья Степуна в «Новом Граде»...* – *Степун Ф.* Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы // Новый Град. Париж. 1935. № 10.

С. 749. *В статье «Что такое искусство»... Толстой... третьим условием поставил...* – В статье Л.Н. Толстого «Предисловие к сочи-

нениям Гюи де Мопассана» (см. коммент. к «Заметкам об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане») «правильное, то есть нравственное, отношение автора к предмету» является не третьим, а первым качеством писателя.

Литература для масс (с. 753). Печатается впервые. Подгот. текста и публикация Т. Красавченко.

Архив Газданова. Тетрадь 6. Эссе предположительно написано в Париже в 1937—1938 гг.

С. 755. *Придет ли времечко...* — Из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (гл. II «Сельская ярмонка»). Газданов не обозначил сокращений в цитате.

А.А. Бейер (с. 757). Печатается впервые. Подг. текста и публикация Т. Красавченко.

Архив Газданова. Тетрадь 6.

Рукопись предположительно датируется 1938 г.

Бейер Анатолий Аполлонович (1876—1938) — генерал-майор, до революции — штатный преподаватель Константиновского артиллерийского училища, инспектор классов, в Гражданскую войну — помощник заведующего артснабжением Вооруженных сил Юга России. В эмиграции — директор русской гимназии в Шумене (Болгария) до 1928 г., позже жил в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где организовал культурно-просветительское общество «Наука и техника».

С. 757. *...бывшие ученики и ученицы Шуменской гимназии, которой он был директором...* — о Шуменской гимназии, где учился Газданов, см. рассказ «На острове» (т. 2), а также воспоминания А. Воробьева «Шуменская русская гимназия» (Русская мысль. 1981. 1 янв.).

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ

Илья Эренбург. Виза времени (с. 763). Печатается впервые. Подгот. текста и публикация Т. Красавченко.

Архив Газданова. Тетрадь 1.

Рецензия написана, вероятно, в 1930 г. в Париже. Была ли опубликована, установить не удалось.

С. 763. *В издательстве «Петрополис» опять вышла книга Ильи Эренбурга...* — Виза времени. Берлин, 1930.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936) и *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатели, отличавшиеся редкой плодовитостью при постоянном внимании к ним читающей публики.

С. 764. *...в самом начале его литературной карьеры — «Лик войны»...* — *Эренбург И.* Лик войны. София. Российско-болгарское изд-во, 1920.

«Хулио Хуренито» — *Эренбург И.* Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников. М.; Берлин: Изд-во «Геликон», 1922.

Анатолий Мариенгоф. Бритый человек (с. 765). Впервые – Воля России. 1930. № 5–6.

В России публикуется впервые – по этому изданию.

Архив Газданова. Тетрадь 1.

Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962) – поэт, прозаик, теоретик имажинизма.

С. 765. *Две последние книги Мариенгофа...* – роман «Циники» вышел в 1928 г., «Бритый человек» – в 1930 г.

...цитирует Сковороду... – Григорий Саввич Сковорода (1722–1794) – украинский философ, поэт, музыкант, педагог.

...вместо родного «Яблочка» или «Кирпичиков»... – песни, крайне популярные в начале 1920-х гг.

С. 766. *Ветлугин А.* (наст. имя и фам. Владимир Ильич Рындзюн; 1897–1950) – прозаик, его книга «Записки мерзавца. Моменты жизни Юрия Быстрицкого» (Берлин: Рус. творчество, 1922) пользовалась большой популярностью.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич. – См. коммент. к роману «История одного путешествия», с. 826.

Алексей Толстой. Петр Первый (с. 767). Печатается впервые. Подгот. текста и публикация Т. Красавченко.

Архив Газданова. Тетрадь 1.

Рецензия написана, вероятно, в Париже в 1930 г. В «Оглавлении», составленном Газдановым в той же тетради (л. 102 об.), отмечена ее публикация (без даты) в журнале «Воля России», однако она не обнаружена.

С. 767. ... *Вышла первая часть большого исторического романа Алексея Толстого «Петр Первый»...* – Первая часть романа опубликована в журнале «Новый мир» (№ 7–11 за 1929 г., № 1–7 за 1930 г.).

...Академик Платонов. – Сергей Федорович Платонов (1860–1933) – русский историк, действительный член АН (1925), автор известных лекций по русской истории и многочисленных работ по истории XV–XVII вв.

С. 763. *...«Аэлита»* – Роман А.Н. Толстого опубликован в 1923 г. (М.; Пг.: ГИЗ); *«Гиперболоид инженера Гарина»* печатался частями в журнале «Красная новь» в 1925--1927 гг., после чего был включен в том 10 собр. соч. А.Н. Толстого. М.: Худож. литература, 1927.

С. 768. *Мордовцев* Даниил Лукич (1830–1905) – русский и украинский писатель, историк, автор исторических романов.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – поэт, прозаик, драматург, религиозный философ, литературный критик, – автор известных исторических романов («Смерть богов. Юлиан Отступник», 1895; «Петр и Алексей», 1904; «14 декабря», 1918 и др.), романизированных биографий («Леонардо да Винчи», 1900; «Александр I», 1911–1912) и др.

В. Катаев. Отец. Сборник рассказов (с. 769). Впервые – Числа. 1930. № 2/3. Печатается по этому изданию.

В России впервые.

Архив Газданова. Тетрадь 1.

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) – прозаик, драматург, поэт.

С. 769. *...«Отец» издан в Берлине... – Катаев В.П.* Отец. Берлин: Книга и сцена, 1930.

Проф. Самойлович. S.O.S в Арктике (с. 771). Печатается впервые. Подгот. текста и публикация Т. Красавченко.

Архив Газданова. Тетрадь 1. Датируется приблизительно 1930 г. Это рецензия на книгу Р.Л. Самойловича «Во льдах Арктики. Поход Красина летом 1928 года». (Л.: Прибой, 1930). В «Оглавлении» [2], составленном Газдановым в той же тетради, рядом с рецензией стоит пометка «Воля России» без даты. Публикация в журнале не обнаружена.

С. 771. *Проф. Самойлович* Рудольф Лазаревич (1881–1940), в 1925–1930 директор Института по изучению Севера, руководил экспедицией на ледоколе «Красин», одном из четырех советских кораблей («Персей» и ледоколы «Малыгин», «Седов»), направленных на спасение итальянского дирижабля «Италия», потерпевшего крушение в мае 1928 г. в Арктике. Именно «Красину» удалось спасти семь оставшихся в живых участников итальянской экспедиции.

...злополучной «Италии»... – Экспедиция на дирижабле «Италия», во главе с итальянским генералом, дирижаблестроителем Умберто Нобиле (1885–1978) после двух удачных вылетов в районы Шпицбергена, земли Франца-Иосифа, Новой Земли, 23 мая 1928 г. в составе 16 человек отправилась к северному берегу Гренландии и оттуда к Северному полюсу. На обратном пути (он начался в 2 часа утра 24 мая) лед покрыл корпус дирижабля, проник в механизм руля высоты. После маневров с включением и выключением моторов дирижабль с грохотом упал на остроконечные льдины, десять оставшихся в живых участников экспедиции, выброшенные на лед, наблюдали, как дирижабль, уносимый ветром к востоку, скрылся из виду. Через двадцать минут на горизонте появился черный дым: дирижабль сгорел, и из тех, кто в нем остался, никто не спасся.

...советских авиаторов... Чухновского и Бабушкина которым экипаж «Италии» и обязан своим спасением... – Борис Григорьевич *Чухновский* (1898–1975) и Михаил Сергеевич *Бабушкин* (1893–1938), полярные летчики. Чухновский первым обнаружил часть экспедиции – группу Мальмгрена, но сам потерпел аварию, успев тем не менее передать на «Красин» координаты группы.

Амундсен Руаль (1872–1928) – норвежский полярный исследователь. Амундсен и его спутники погибли в Баренцевом море во время поисков экспедиции У. Нобиле.

С. 772. *...позорное поведение Цаппи...* – После катастрофы дирижабля «Италия», не дождавшись ответов на свои радиосигналы, участники экспедиции – комендант Цаппи и первый бортовой офицер Мариано решили дойти пешком до Норд-Капа, где была вероятность встретить промысловиков и оказать помощь оставшимся на льду. 30 мая они и молодой шведский ученый Финн Мальмгрен, опытный в полярных путешествиях и разработавший план похода, отправились в путь. На четырнадцатый день обессилевший Мальмгрен, по словам Цаппи, отказался принимать пищу и убедил их идти дальше без него. Как можно было Мальмгрена, слабого и беспомощного, оставить погибать? – это на все лады обсуждалось в мировой прессе. По одной из версий, Мальмгрен был съеден спутниками, но Самойлович считает это маловероятным, учитывая их, еще вполне достаточный запас провизии. В Риме впоследствии создали правительственную комиссию, но расследование проходило втайне, 4 марта 1929 г. опубликовали постановление: поведение Цаппи и Мариано признали достойным похвалы.

...фигура чеха Бегоунека... – Чешский профессор Бегоунек, один из трех ученых (Ф. Мальмгрен, итальянский профессор Понтремоли), принимавших участие в экспедиции. Впоследствии он написал книгу об этой экспедиции.

...почти умирающий от истощения Мариано... – Когда «красинцы» обнаружили Цаппи и Мариано, то первый был бодр, шел самостоятельно (хотя, по его словам, они тринадцать суток не ели), Мариано же с отмороженными пальцами ног лежал на льдине и от слабости не мог говорить. Различие в их состоянии красинцы объяснили тем, что Цаппи был теплее одет; по мнению судового доктора, он не ел дней пять и, вполне вероятно, «обижал своего товарища в еде» (С. 169).

...с едва заметным высокомерным удивлением описан Цаппи на «Красине». – При распределении на «Красине» мест для спасенных Цаппи попросил не помещать вместе офицеров и нижних чинов. Это показалось Самойловичу «чрезвычайно странным. ...еще день тому назад все семь человек... были накануне гибели, и вот теперь, когда они снова попали в нормальные условия жизни, тотчас же выросла преграда между одними и другими. Я просил... передать Цаппи, что мы на корабле не привыкли к такому разделению и что одна из лучших наших кают будет предоставлена именно "нижнему чину" – механику Чечиони» (С. 187).

...Нобиле... стал предметом единодушного презрения... – У. Нобиле после крушения дирижабля «Италия», воспользовавшись обнаружившим их самолетом шведского летчика Лундборга, вылетел 25 июня с льдины на базисный корабль своей экспедиции – «Читта ди Милано». Правительственная комиссия в Риме обвинила его как в том, что он первым улетел с Лундборгом, оставив спутников, так и в плохой организации экспедиции (погибли семнадцать ее участников и спасателей). Газданов не упоминает о том, что в этот период у власти находился Б. Муссолини, и именно его правительство обрати-

лось с просьбой о помощи к советскому правительству; впоследствии Самойлович получил от Муссолини благодарственную телеграмму (13 июля 1928). Правда, и в самой книге об этом сказано между делом.

О Шмелёве (с. 773). Печатается впервые. Подгот текста и публикация Т. Красавченко.

Архив Газданова. Тетрадь 1. Согласно «Оглавлению» в той же тетради, л. 102 об., опубл. в «Воле России», однако дата не указана, публикация в журнале не обнаружена. Предположительно датируется 1930 г.

С. 773. ... *Перед иностранцами нам бы за Шмелёва было стыдно; к счастью, иностранцы его не знают.* — К этому времени произведения Ивана Сергеевича Шмелёва («Человек из ресторана», 1911; «Неупиваемая Чаша», 1918; «Солнце мертвых», 1923) уже переведены на иностранные языки и получили признание у европейских писателей, в их числе Т. Манн, Р. Киплинг, Г. Гауптман.

...Не так давно в «Числах» были напечатаны ответы писателей на анкету о Прусте... — См.: Числа. 1930. № 1.

...отдающий предпочтение Альбову перед Прустом, но свысока упоминающий о Франсе... — *Альбов* Михаил Нилович (1851—1911) — прозаик, продолжавший традиции Ф.М. Достоевского и предвосхитивший отдельные мотивы творчества Чехова. Возмущение Газданова вызвало как общее неприятие Шмелёвым творчества Пруста, так и отдельные его фразы, вроде: «То, что даст Пруст, слишком мало для взыскательного читателя. Было же увлечение и А. Франсом. Пройдет, если не иссякла душа». У Альбова Шмелёв уловил особенности стиля, сближающие его с Прустом. Но родство стилей стало у Шмелёва основой противопоставления писателей, всемирно известного и уже забытого: «Но у Альбова есть *полет*, и светлая жалость к *человеку*; есть Бог, есть путь, куда он ведет читателя. Куда ведет Пруст, какому Богу служит?»

С. 774. *...стал печататься роман Шмелёва «Солдаты».* — Роман начали печатать «Современные записки» (1930. № 41, 42), но завершения не последовало.

...как удивительно было бы сотрудничество Демьяна Бедного на страницах «Возрождения». — *Демьян Бедный* (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883—1945) в середине 1920-х гг. для эмиграции — нарицательное имя советского официозного стихотворца, а журнал «Возрождение» известен своей консервативной ориентацией.

С. 775. *...так в прежние времена писали Вербицкая и Арцыбашев...* — См. коммент. к роману «Вечер у Клэр», с. 810.

...Этой отчужденностью и неуместностью объясняется и высокомерное отношение критики к Шмелёву. — Высокомерие критики в отношении к Шмелёву Газданов преувеличивает.

Борьба за правду (с. 777). Печатается впервые. Подгот. текста и публикация Т. Красавченко.

Архив Газданова. Тетрадь 1. Иронические литературные заметки. Написаны, вероятно, в 1930 г. в Париже.

С. 777. *Седых* Андрей (наст. имя и фам. Яков Моисеевич Цвибак; 1902–1993), журналист, писатель, литературный критик, мемуарист.

Дон-Аминадо Аминад Петрович (наст. имя и фам. Аминодав Пейсахович Шполянский; 1888–1957) – поэт, прозаик, с 1914 г. печатался в журнале «Новый Сатирикон». В эмиграции популярны его стихотворные фельетоны в газете «Последние новости».

Саша Черный (наст. имя и фам. Александр Михайлович Гликберг; 1880–1932) – поэт, прозаик, один из поэтических лидеров журнала «Сатирикон».

Яблоновский Александр Александрович (1870–1934) – прозаик, фельетонист, публицист.

Ренников Андрей Михайлович (наст. фам. Селитренников; 1882–1957) – прозаик, драматург, фельетонист.

Рысс Петр Яковлевич (1870–1948) – журналист, публицист, прозаик, мемуарист.

С. 778. *Зензинов* Владимир Михайлович (1880–1953) – общественно-политический деятель, публицист, прозаик, мемуарист.

С. 780. *Антон Крайний* – псевдоним Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), поэтессы, прозаика, литературного критика, мемуаристки.

...глубокая жизненная правда произведений наших лучших романистов – Брешко-Брешковского, Краснова, М. Гаркеса... – См. коммент. к «Истории одного путешествия» и «Литературным признаниям», с. 826, 866.

Рощин Николай (наст. имя и фам. Николай Яковлевич Федоров; 1892–1956) – прозаик, литературный критик, журналист.

Песков Георгий (наст. имя и фам. Елена Альбертовна Дейша; 1885–1977) – прозаик.

...Яновский Василий Семенович. – См. коммент на с. 875.

Заметки читателя I, II, III, IV (с. 782). Впервые напечатаны в 1930 г. под псевдонимом Аполлинарий Светловзоров (имя варьируется в разных номерах – то ли по воле автора, то ли по корректорскому недогляду как Апполлинарий или Апполинарий) в издававшемся в Париже Анатолием Вершховским журнале «Мир и искусство».

В России публикуются впервые по этому изданию. Публикация Т. Красавченко.

Заметки читателя – I [Хорошие места. Крепостное право в России и пр.]

Впервые – Мир и искусство. Париж. 1930. 1 сент., № 9. С.17.

Архив Газданова. Тетрадь 1. Название то же, хотя текст несколько отличается. В частности, в публикации опущен иронический комментарий Газданова, завершающий заметку «Хороший аппетит», но более естественный как концовка к отсутствующей в архивных записях заметке «Испорченный старик»: «Вот это национальный язык и подлинно народный – не то, что в профессиональных романах».

В публикацию в журнале не вошла заметка: «Загадочные явления на русском флоте» (печатается впервые. Публикация Т. Красавченко):

«Они произошли, по словам капитана 2-го ранга Лукина, на линейном корабле “Адмирал Макаров”.

“Качка продолжалась”. Это, конечно, естественно. “Мало того, – почувствовалось, что крейсер стал вибрировать”. Это уже невероятно. К счастью, команда не растерялась и тотчас приняла необходимые меры: но, увы, результат их тоже оказался столь же непонятным:

“Потравили канат. Получилась слабина”.

Не везло лучшим морякам. Если бы о таких вещах написал некомпетентный человек – ни за что бы не поверили. Правда, на суше было не лучше: “С затаенным дыханием наблюдала площадь”.

Какие нужно было иметь нервы, чтобы все это спокойно перенести».

Петр Лукин – постоянный автор газетных статей по истории русского флота.

Заметки читателя – II [Новый классик – о Ефиме Зозуле и пр.]

Впервые: Мир и искусство. Париж. 1930. 15 сент. № 10. С. 15–16.

Зозуля Ефим Давыдович (1891–1941) – советский писатель-сатирик.

Заметки читателя – III [От литературы к истории. Непростительная забывчивость французов и пр.]

Рукопись – восемь иронических заметок (первая под названием «От литературы к истории») хранится в Архиве Газданова. Тетрадь 1. Впервые: Мир и искусство. Париж. 1930. 1 окт. № 11. С. 16.

С. 790. ... *«Старый Париж»* – книга Я. Цвибака (А. Седых) опубликована в 1925 г. в Париже издательством Я. Поволоцкого.

С. 792. *Баррас* Поль (1755–1829), один из организаторов термидорианского переворота 1794 г. во Франции, входил в Директорию, содействовал приходу к власти Наполеона Бонапарта.

С. 793. ... *«Последние слова слились у него во рту в кашу».* – Видимо, речь идет о романе Н. Берберовой «Последние и первые» (1930).

Заметки читателя – IV [Литературные сомнения... Надежда эмиграции – о «Числах» и пр.]

Впервые – Мир и искусство. 1930. 15 окт. № 12. С. 8.

С. 794. *...выход двойного, роскошно изданного, номера «Чисел»...* – Речь идет о № 2/3 за 1930 г. журнала, издававшегося в Париже с марта 1930 г. по июнь 1934 г. Вышло десять номеров «Чисел», первые четыре – редактировались поэтом и критиком Николаем Авдеевичем Оцупом (1894 – 1958) и Ирмой де Манциарли, последовательницей Блаватской (первое время деньги на издание «Чисел» давал французский теософский журнал «Cahiers de l'étoile»), а остальные шесть – одним Оцупом, который, после ухода госпожи де Манциарли, добывал деньги у разных меценатов. «Уже не раз отмечалось, как писали “Современные записки”, что такого изящно и любовно изданного журнала за рубежом еще не было» (1931. № 46. С. 508). Этот уникальный журнал, открытый прежде всего (хотя и не только) для молодых литераторов, дал новый импульс русской литературе за рубежом.

Газданов печатался в «Числах», но это не препятствовало его отстраненно-иронической оценке своих молодых коллег; он был с ними, один из них, и все-таки, как всегда, сам по себе. Как и они, он принадлежал к так называемому «незамеченному поколению» (термин В.С. Варшавского), но не принадлежал к «Парижской ноте», «идеологом» которой был Г. Адамович, хотя и имел с нею немало пересечений.

Лидия Давыдовна *Червинская* (1907–1988) – поэтесса, с 1922 г. в Париже. Одна из немногих, кто «программно», органически вписался в «Парижскую ноту». В эссе именно о ней А. Бем дал описание приемов этой «школы»: «Приглушенные интонации, недоуменно-вопросительные обороты, неожиданный афоризм, точно умещающийся *в одну-две строки, игра в “скобочки”*, нарочитая простота словаря и *разорванный синтаксис* (множество недоговоренных и оборванных строк, обилие вводных предложений – отсюда любимый знак – тире) – вот почти весь репертуар литературных приемов *“дневниковой поэзии”*» (Меч. Варшава, 1938. 1 мая). Автор изданных в Париже сборников «Приближения» (1934), «Рассветы» (1937), «Двенадцать месяцев» (1956). (См. подробнее: *Коростелев О.А.* «Парижская нота» // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940. Периодика и литературные центры. М.: РОССПЭН, 2000. С. 300–303. «Парижская нота»: материалы и исследования. Литературоведческий журнал. М.: ИНИОН РАН, 2008. № 22.)

Владимир Алексеевич *Смоленский* (1901–1961) – поэт. В эмиграции с 1920 г. Близок к группе «Перекресток», ориентированной на «неоклассицизм» В. Ходасевича, но и не чужд «Парижской ноте». В Париже вышли его поэтические сборники «Закат» (1931), «Наедине» (1938), «Собрание стихотворений» (1957), «Стихи» (1957–1961) (1963).

С. 795. Василий Семенович *Яновский* (1906–1989) – врач, прозаик; наиболее известны его мемуары «Поля Елисейские. Книга памяти» (Нью-Йорк, 1983). В эмиграции с 1922 г. В его рассказе «Тринадцатые» (Числа. 1930. № 2), написанном в характерной для писателя натуралистической манере, речь идет о несчастных людях «тринадцатых» в этой жизни, т.е. обыгрывается «символика неудачи, несчастья», обыкновенно связываемая с числом тринадцать. Газданов высмеивает эстетическую беспомощность и (на его взгляд) претенциозность Яновского. Заметим, что и В. Набоков отзывается о Яновском (его романе «Мир», 1931) очень резко: «Скучный, шаблонный, наивный, с парадоксами, звучащими как общие места, с провинциальными погрешностями против русской речи, с надоевшими реминисценциями из Достоевского» (*Сирин В.* Волк, Волк! // Наш век. Берлин. 1932. 31 янв.).

С. 795. *Даже об Иванове седьмом и то выражались в единственном числе.* – Тут Газданов обыгрывает суждение в рассказе И.А. Бунина «Надписи» (1924) об Иванове седьмом, т.е. обычном человеке, любящем увековечить свою память надписью на колонне, дереве, скамейке и т.п. Бунин, в свою очередь, перефразирует слова из рассказа А.П. Чехова «Жалобная книга» (1882): «Сию станцию проезжал Иванов седьмой».

...«тринадцатые» – звучит гордо! – обыгрываются слова из знаменитого диалога Сатина (4 акт) в пьесе «На дне» (1902)» «Человек – это звучит гордо!», ставшие крылатым выражением.

С. 797. *...пишет Е. Кельчевский в своем романе «В лесу».* – Е.А. Кельчевский (?–1935) – прозаик «незамеченного поколения». Первый его роман «После урагана» (Париж, 1927) с предисловием А.И. Куприна эмигрантские критики (Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, М. Осоргин, П. Пильский) одобрили. Газданов не одинок в своей критической оценке его третьего романа «В лесу» (Париж: Изд. Е. Сияльский, 1930). «Книга недурна», пишет Г. Адамович, но «непоправимо провинциальна», и хоть в ней говорится о послереволюционных временах, впечатление от нее остается такое, будто ничего в мире за последнюю четверть века не произошло, и не изменились ни чувства людей, ни их ощущение жизни, ни их отношение к литературе, от которой они по-прежнему требуют обстоятельных, мерно развивающихся романов <...> с завязкой, изложением и развязкой, приводящей к счастливому бракосочетанию влюбленных героев.» (Последние новости. 1930. 25 сент. № 3473. С. 3). В романе идет речь о русской рабочей артели «бывших» (генерала, прокурора, помещика и т.д.), живущей в лесу, недалеко от Парижа. Один из них – недоучившийся агроном и инженер, несостоявшийся актер, бывший ротмистр, после долгой разлуки встречает свою бывшую невесту Женю в Париже, их вновь тянет друг другу, но героя смущает темное прошлое Жени. Он скрывается в лесной артели, но Женя находит его, пытается покончить с собой от несчастной любви, в результате герой все ей прощает, далее ожидается свадьба.

Борис Поплавский. Снежный час. Париж, 1936 (с. 798). Впервые – Современные записки. 1936. Кн. 61. С. 465–466.

Впервые в России – Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников / Сост. Л. Аллена, О. Гриз. СПб.: Logos – Дюссельдорф: Голубой странник, 1993. С. 155–156.

С. 798. *...похожи, скорее, на «человеческий документ»...* – Расхожий термин в критике 1920–1930-х гг., его использовали в своей полемике Г. Адамович и В. Ходасевич.

Земля Колумба. Сборник литературы и искусства (с. 800). Впервые – Современные записки. 1936. Кн.61. С. 476–477. Печатается по этому изданию.

В России – впервые. Публикация Ст. Никоненко.

Балакшин Петр Петрович (псевд. Б. Миклашевский, 1898–1990) – прозаик, участник Первой мировой войны, Белого движения. В 1922 г. эмигрировал в Китай, жил в Шанхае, в 1923 г. переехал в США. Окончил Калифорнийский университет (Беркли). Редактор сбобников «Земля Колумба». Основатель и редактор газеты «Русские новости» (1937–1938).

М.А. Алданов. Бельведерский торс (с. 801). Впервые – Русские записки. 1938. № 10. С. 194–195. Печатается по этому изданию. Архив Газданова, тетрадь 6.

В России – впервые. Публикация Ст. Никоненко.

С. 801. *...Вазари из «Бельведерского торса»* – персонаж книги М. Алданова Джорджо Вазари (1511–1574) как историческое лицо – итальянский живописец, архитектор, историк искусства; маньерист. Работал главным образом во Флоренции.

Ирина Одоевцева. Зеркало (с. 803).

Впервые – Русские записки. 1939. № 15. С.196–197. Печатается по этому изданию.

В России – впервые. Публикация Ст. Никоненко.

Архив Газданова. Тетрадь 6.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ

Газданов, Гайто

Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Романы. Рассказы. Литературно-критические эссе. Рецензии и заметки / Гайто Газданов; под. общ. ред. Т.Н. Красавченко; состав., подгот. текста, коммент. Л. Диенеша, Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко и др. Вступ. ст. Л. Диенеша, С.С. Никоненко. – М.: Эллис Лак, 2009. – 880 с.

ISBN 978-5-902152-71-2
ISBN 978-5-902152-72-9 (Т. 1)

В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто́ Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.

ББК 84 (2 Рос–Рус)6–4

Гайто Газданов

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**

Том первый
Романы. Рассказы
Литературно-критические эссе
Рецензии и заметки

Корректор *Е.И. Коротаева*
Верстка – *А.Б. Метелкин*

Издательство «Эллис Лак 2000»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16

Тел. (495) 605-37-97. Факс (495) 605-89-47
E-mail: ellisluck@mail.ru
http://www.ellisiuck.ru

Подписано к печати 15.07.09
Формат 84×108 $^1/_{32}$. Печ. л. 27,5
Тираж 3000 экз. Заказ № 3235

ISBN 978-5-902152-72-9



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ГУП РМ «Республиканская типография
«Красный Октябрь»
430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а